



МИРЧА ЭЛИАДЕ

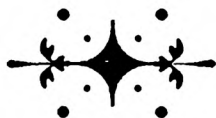
ПОД ТЕНЬЮ
ЛИЛИИ



СЕРИЯ
«МАНДРАГОРА»

MIRCEA ELIADE

LA UMBRA
UNUI CRIN



МИРЧА ЭЛИАДЕ

ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ



Перевод с румынского Анастасии Старостиной

«ЭНИГМА»

1996

Составление и перевод	Анастасии Старостиной
Предисловие	Сорина Александреску
Послесловие	Юрия Стефанова
Серийное оформление	Константина Чувашева

Элиаде Мирча

Э46 Под тенью лилии: Избр. произв. / Пер. с рум. Анастасии Старостиной; Предисл. С. Александреску; Послесл. Ю. Стефанова. — М. Энигма, 1996. — 864 с. (Мандрагора)

Диалектика — категория прежде всего духовная, она состоит в «необходимости преодоления противоречий, в устраниении двойственности человеческой природы, без чего невозможно постижение высшей реальности», — так считал Мирча Элиаде (1907—1986), философ и писатель, мировую славу которому принесли полные загадок и тайнописи романы и новеллы, а также исследования по истории, религии и магии. Элиаде долгие годы жил в Индии, постигая суть и практику йоги. Затем преподавал в Европе, в Америке основал свою школу религиоведения.

В личности писателя эрудиция ученого уникально сочетается с визионерскими способностями и художественным даром. Поразительно искусство, с каким Элиаде готовит читателя своих научных трудов и художественных произведений к встрече с труднейшими духовными понятиями, мало-помалу завораживая его псевдореалистическим антуражем, вовлекая в круг своих тем, представляя ему подчас не совсем обычных героев.

Эта книга вобрала в себя лучшие художественные произведения Мирчи Элиаде, объединенные общей метафизической проблематикой. Большинство из них публикуется на русском языке впервые. Сборник открывает новую серию издательства — «МАНДРАГОРА».

Взгляд течет издали, сквозь фильтры очков, из-под сильного, сосредоточенного лба; резкий очерк лица, подбородка, тонкая, прямая линия губ. Жесты порывистые, иногда неловкие, все время обуздываемые — внешнее спокойствие, за которым бьется непокой, а может быть, улыбается ясность духа. Говорит мало, больше слушает и смотрит. Любопытство, внимание ко всему, счастье не выражать себя, а учиться. Радость диалога, ведомого с почти отроческой страстью, не замутненной тщеславием. Ретировка в молчание и попыхивание трубкой, чтобы свести на нет давление Авторитета и дать собеседнику естественно проявить собственную оригинальность. Предупредительный, простой, непринужденный, во всех обстоятельствах изысканно-тактичный, добрый по-францискански. Интенсивность присутствия и вдруг провал в себя, так резко уходит под землю вода. С скромный, невероятно скромный — но, бесспорно, знающий себе цену. Простодушие, по-детски восторгающееся самыми обыденными вещами? Или высокая мудрость, свободная от норм, созерцающая век и века?..

Вопреки обстоятельствам жизни Мирча Элиаде как личность, по моему убеждению, сохранил свои корни. Поразительно вписавшись в международный контекст, писатель и ученый продолжает мыслить и творить в рамках румынских структур, очевидных в его литературных трудах (все они написаны на родном языке) и, как мне представляется, в самом складе его личности. Потому-то я нахожу совершенно необходимым подход к «фантастической» прозе Мирчи

* Предисловие к кн.: М. Элиаде. «У цыганок» и другие новеллы». Бухарест, 1969. Перевод дается с сокращениями. — Здесь и далее примечания переводчика помечены *, примечания автора — цифрой.

Элиаде — существенному компоненту его беллетристики — с этой точки зрения.

Том воспоминаний, опубликованный в 1966 году, подсказывает нам некоторые важные вещи. Уже в детстве складывается у Элиаде жизненная позиция, которая затем только упрочивается: восприятие реального под углом тайны. Ребенок гостит у дедушек и бабушек и открывает в их домах «неисчерпаемый на секреты мир, где на каждом шагу — неожиданность», где «начинается инобытие». В одном доме в городке Рымнику-Сэрат, куда он приезжает на время с родителями, он попадает раз в волшебную комнату, в которой никто не живет. «Если бы я мог прибегнуть к словарю взрослых, я сказал бы, что открыл тайну... В моей власти было когда угодно переносить себя в эту зеленую феерию — и тогда я замирал, не смея вздохнуть, обретая первоначальное блаженство, с неизменной силой чувств переживая вход во внезапно разверзшийся чередой мною рай» (позже он будет намеренно прибегать к этим воспоминаниям как к средству борьбы с приступами меланхолии).

Не впадая в соблазн приписать все шоку, испытанному в детстве, который определяет затем жизнь человека, мы можем тем не менее отметить раннее формирование определенного типа духовного и эстетического опыта. Банальное событие, почти неизбежное для любого ребенка в три-четыре года, каким он тогда был, преобразуется в событие экзистенциальное: проникновение в комнату, обычно запертую, понимается как вхождение в сакральную зону, недоступную для непосвященных. Неосознанный шок, испытанный в детстве, становится предметом размышления для подростка и будет объяснен зрелым ученым, который опишет, выражаясь метафорически, моменты, когда сакральное вторгается в профанное. Блаженство, испытываемое впоследствии при переживании в памяти такого момента, он назовет аннуляцией времени, возвратом в *illo tempore**.

Не ошибаемся ли мы, прилагая теорию автора к его жизни? Вряд ли. Так или иначе, я хотел бы подчеркнуть, что благодаря экскурсу Элиаде к своим истокам выявляется органическая связь между его личным опытом и позднейшими штудиями философа. С самого детства особенность восприятия настраивает его на то, чтобы видеть во всем сущем открытие и откровение, прозревать тайную символику мира, поддаваться очарованию судьбы, невидимо теплящейся в обыденном. От этого стержня личности ответвляется потом как страсть эруди-

* Время *бю* (лат.).

та, так и потребность писателя в самовыражении. Впрочем, упоминаемый здесь эпизод почти дословно будет воспроизведен в романе «Купальская ночь».

Мирча Элиаде однажды заметил, что уже со времен дебюта делил себя между «реализмом» и «фантастикой». Первые пробы пера, опубликованные в «Газете популярных наук» (1920—1921), назывались, знаменательно для его ориентации, «Как я нашел философский камень» и «Мысли из уединения». Будучи лицеистом, он пишет, не публикуя, «Мемуары свинцового солдата» с замахом на космическую историю кусочка свинца — от эпохи образования Земли до настоящего времени, когда он принял форму игрушечного солдата, — и, параллельно, «Роман о близоруком подростке».

Однако во многих его сочинениях, не будем забывать, *реальное и фантастическое накладываются друг на друга*.

Чем объяснить эту особенность, достаточно редкую в румынской литературе? Я думаю, теми же факторами, что объясняют интерес человека науки к самым разным феноменам духа: собственное восприятие чудесного, заложенное с детства, плюс открытость (чтение, путешествия, исследования, жизненный опыт) ментальным системам, которые выпадают из местных, и даже европейских, традиций, но которые именно в силу этого он способен глубже понять. Под таким углом зрения фантазии в прозе Мирчи Элиаде занимают переходное место *между* реалистической литературой и штудиями по философии или истории религий — в том же смысле, в каком любые события можно трактовать как фантастические, и эта трактовка будет помещаться *между* подходом прагматическим, безразличным к тайне, и подходом научным, толкующим их как рудименты архаических культур, как бродячие мифологические и ритуальные мотивы и т. д. Личность Мирчи Элиаде, единого в трех лицах, вылепилась именно через постоянную *интерференцию этих трех подходов*, а предпочтение того или иного из них определяло ту или иную область его трудов. Прозрачные границы между тремя ипостасями свидетельствуют о внутреннем движении, происходящем в человеке, которого никогда не удовлетворял эксклюзивизм — слишком велика была тяга к бесконечной тайне творения, к его захватывающей двойственности. Признания Элиаде, таким образом, «саморазоблачительны»: «Есть, что ни говори, четкая зависимость некоторых моих сочинений от теоретических трудов, и наоборот. Если брать самые очевидные примеры, можно вспомнить «Загадку доктора Хонигбергера», которая вытекает непосредственно из йоги»...

Хотя несколькими строками ниже в своем «Автобиографическом фрагменте» он уточняет: «Возможно, если бы я дал себе труд, символизм «Змея» полу-

чился бы более связным. Но не стеснило бы ли это литературный вымысел? Не знаю. Любопытным мне кажется вот что: хотя я «брал с бою» предмет, столь дорогой историку религий, каковым я являюсь, писатель во мне отверг любое *сознательное* сотрудничество с ученым и интерпретатором символов; он грудью встал за *свободу* выбирать то, что ему нравится, и отбрасывать символы и толкования, которые ему, в готовом виде, услужливо подсовывал эрудит и философ <...> Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы создалось впечатление, будто я прибегаю к беллетристике ради демонстрации того или иного философского тезиса. Поступай я так, мои романы были бы, возможно, содержательнее в философском смысле. Но я, как в полной мере показывает опыт «Змея», обращался к литературе ради удовольствия (или потребности) *писать свободно*, выдумывать, мечтать, мыслить, если уютно, но без пут систематического мышления. Вполне допускаю, что целый ряд моих недоумений, непроясненных тайн и проблем, не вместившихся в мою теоретическую деятельность, просились на просторы литературы».

Роман «Девница Кристина» (1936) вырастает непосредственно из румынского фольклора: мирок, на который пало проклятие, девушка-вампир, которую спасает главный герой, во второй раз убивая — пронзая сердце вампира острием железного посоха. Однако текст почти сразу перехлестывает за рамки первоначальной схемы, превращаясь в род средневековой *мистерии*, развернутой в национальном пространстве, — мистерии, сравнимой с некоторыми пьесами Блага*. В большей мере, чем в других фантастических сочинениях Элиаде, персонажи здесь не имеют автономной жизни, существуя — почти безлично — постольку, поскольку они выполняют ту или иную *функцию* в древнем ритуале. С той лишь разницей, что здесь, в отличие от всех других его фантастических вещей (о чем будет сказано ниже), мы не встретим ни диалектики «сакральное — профанное», ни теоретической проблематики, столь дорогой сердцу ученого-ориенталиста, как, например, иллюзорный характер пространства и времени в «Серампорских ночах» или концепция цельного, природного человека в «Змее». Конфликт строится не как обычно у него — на столкновении разных систем мышления, а — до парадоксальности просто — на стычке между двумя максималь-

* Лучиан Блага (1895—1961) — румынский поэт, драматург и философ, представлявшийся Шведской академией в кандидаты на Нобелевскую премию.

но обобщенными сверхсилами: Жизнью и Смертью. Впрочем, если бы не предельно насыщенная магией атмосфера текста, можно было бы заподозрить в нем некую параболу.

Обе силы оформляются чуть ли не с первых же страниц, минуя «кризис» смысла, отличающий начало других его сочинений. Как бы преднамеренно автор сразу определяет позицию каждого персонажа — на стороне добра или зла, и последующий ход событий никак не усложняет расстановку сил. Перенос читателя с одного экзистенциального уровня на другой подменяется пари: на карту поставлены победа или поражение героя по имени Егор. Мы, по сути дела, читаем сказку, в которой *магическая фактура* сверхъестественного на порядок ниже по духовности, чем у тех возвышенных сакральных сил, что развязываются в «Серампорских ночах» или в «Загадке доктора Хонигбергера».

Достоверность сатанинского мира не вызывает сомнений с самого начала: Егор и Назарие безошибочно узнают его по ужасу, который на них находит. Дилемму «реальное — ирреальное», к которой часто прибегает автор в других местах, здесь заменяет конфликт реального с ирреальным. Диалог между двумя мирами не эфемерный, не изысканный — через озарение иероглифами и через ритуал инициации, — нет, он ведется непрерывно, напористо, и тут мы имеем дело с настоящей стратегией ужаса. В одной усадьбе действуют два противоборствующих лагеря, как в некоем «дунайском вестерне», с той только разницей, что одна из воюющих сторон требует души вместо трофеев и разит оружием из арсенала магии. Даже если материальные доказательства бытия Кристины ненадежны (запах фиалок, оброненная перчатка, которая рассыпается в пепел от прикосновения), все же в *достоверности сверхъестественного* сомневаться не приходится, оно — в обиходе, поскольку *упразднен барьер* между этим миром и загробным. В обычных обстоятельствах живые и мертвые разведены по своим мирам, и их миры между собой не сообщаются — условие *sine qua non* равновесия в космосе. Появление вампира, существа с двойственным статусом, расшатывает равновесие, а прихоть этого существа — полюбить смертного — подталкивает ситуацию к кризису. Лишенное естественных подпорок, загадочное и странное, *фантастическое*, оказавшись по ту сторону традиционной дилеммы «бытие — небытие», превращается в *гипотезу* о соприкосновении несоприкасающегося — в *эксперимент*. В его результате кризис, т. е. надвижение хаоса, преодолевается уничтожением вносящего смуту фактора, что и восстанавливает порядок в космосе. Эта ситуация фантастична только в терминах рациональной логики нашего мира (мы не берем другие логические системы). Итак, «неудобная» ситуа-

ция разрешается методом устранения, и наша система торжествует — однозначно, без финальной неопределенности, которой обычно грешит автор. Нам остается только отметить разнообразие модальностей фантастического у Элиаде и подчеркнуть, что «Девушка Кристина» в этом смысле стоит особняком в его творчестве.

Роман безупречен по композиции. Завязка гораздо динамичнее, чем в «Змее» или в «Загадке доктора Хонигбергера», поскольку «стратегия» фантастического требует здесь не детального, по возможности, описания профанного (буржуазного — в «Змее») мира, в который врывается сакральное (через иерогамии, например), а немедленной схватки между человеческим и нечеловеческим. Поэтому экспозиция представляет действующих лиц, не просто нажимая на *загадочность* некоторых их слов или жестов, но и давая понять, что за ними кроется тайная *подоплека*, неизвестная лишь до поры до времени. Посреди обмена банальными репликами разверзаются пустоты, тревожные паузы. Экспозиция строится, таким образом, на ожидании чего-то устрашающего, и этому нагнетанию способствуют странности семейства и прислуги; магия дунайской ночи с доисторическим «скифским» фоном; растущее беспокойное чувство у Егора и Назарие. Первое явление Кристины, когда она ночью пробует на них обоих свои леденящие кровь чары, дает толчок конфликту и собственно действию романа, который строится на двух принципах: постепенное «проявление» Кристины, ее *материализация* и, затем, *расширение* первоначального противостояния Егора Кристине до масштабов противоборства Жизни со Смертью — через концентрические круги, расходящиеся от них и мало-помалу поглощающие всех обитателей усадьбы.

Промежуточные сцены, которые заявляют о Кристине, стремительно следуют одна за другой: драматический портрет, бросающий вызов зрителям, в ее бывшей комнате, атмосфера самой комнаты («остановленная юность»), встреча Егор — Симина, когда девочка заставляет его выслушать сказку о мертвой принцессе с очевидными провокационными намеками, чье-то, возможно Кристинино, еще невидимое явление в этот момент в темном парке, рассказ Назарие о садизме и эротомании Кристины при жизни. Затем — сон Егора, в котором Кристина возникает совершенно естественно, но *упраздняя* одним своим присутствием мир бредового сновидения, превращая его в мир сверхъестественный, пространство коего (Егорова комната), оставаясь внешне тем же, одновременно в корне преобразается. «Как хорошо, что такие вещи бывают только во

сне», — думает он. На самом деле эта инерция мысли — его последнее убежище, вскоре Егор «просыпается» и видит Кристину въяве, с предельной ясностью.

Первая их встреча уточняет важные нюансы. Кристина обуздывает свою демоническую сущность и предпринимает отчаянную попытку вернуться в мир людей — через нормальную любовь к мужчине; она хочет стать и становится женщиной, претворяя вампирическую жажду крови в женскую жажду любви. «Не бойся же меня, друг мой любезный... Я тебе ничего не сделаю. Тебе — ничего. Тебя я буду только любить...» Она роняла слова тихо, редко, с бесконечной печалью. Но сквозь печаль в ее глазах проскальзывал голодный, ненасытный блеск». Пленительность Кристины проистекает из самого ее парадоксального статуса. Женские желания делают ее женщиной, но в своей трансформации она застревает на полпути от тумана к плоти, оставаясь созданием половинчатым, близким к галлюцинации, присутствуя и отсутствуя одновременно: сладострастная соблазнительница и тем не менее — существо без пола.

Уникальная чувственность Кристины находит свое продолжение в Сими-не. Необыкновенной красоты девочка задумана как ее «дублерша», в манере, напоминающей пару детей из романа Генри Джеймса «The Turn of the Screw»*. Поведение ее колеблется между двумя крайностями: регистр человеческий — благовоспитанного, но несколько эксцентрического ребенка, и регистр дьявольский (извращающий человеческое) — доверенного лица Кристины. Из всех персонажей романа Симины — единственный фантастический, в том смысле, в каком они фигурируют в более поздних произведениях Элиаде, именно из-за двойной принадлежности, из-за нашего бессилия объяснить этот феномен (поскольку речь явно не идет ни о «вочеловечении», как в случае с Кристиной, ни о чисто спектральном образе, как в случае с кучером ее экипажа).

Не доросшая до биологической зрелости, Симины тем не менее владеет искусством соблазнять, перенимая у своей владычицы манеру напористой и одновременно абстрактной чувственности. Впрочем, она явно не ограничивается второстепенной ролью сподручницы в интриге, но и *берет на себя роль самой Кристины* — ее воплощение, метафорическое, в дневном варианте, дополняющем ночной натиск. Померявшись силой с Симиной в заброшенном каретном сарае, Егор чувствует себя таким же выжатым, как и после ночного визита Кристины, а позже, когда девочка заманивает его в подземелье, Егор, теряя рассудок, принимает садистские выходки внезапно обуянной эротоманией Симины

* «Поворот винта» (англ.).

с тем же нечеловеческим сладострастием, какое дает ему предчувствие близости Кристины.

Планы последней, подкрепляемые Симиной, встречают помеху в лице Санды. Симметрия персонажей, помещенных между Кристиной и Егором, очевидна. Санда, вероятно принуждаемая госпожой Моску к кровавым ритуалам, на глазах слабеет — магическим образом отдавая жизнь и даже свою материальность, *свою плоть женщины* в пользу Кристины. Санда заболевает точно в ночь первого явления Кристины, ее состояние усугубляется на вторую ночь, и она умирает на исходе третьей ночи — тогда же, когда Егор убивает Крестину. Этот магический параллелизм и прямо пропорциональная зависимость Жизни от Смерти — первые знаки расширения конфликта Егор — Кристина. Санда и Сими́на образуют *первый из концентрических кругов*, забирающий и Назарие, он «соратник» Егора не только из чувства товарищества, но и потому, что подвергается натиску тех же злых сил.

В следующий круг мы включили бы доктора, невольного союзника Егора, которого страх привел к нему в комнату, как, двумя ночами раньше, и Назарие; хозяйку усадьбы — даму с признаками психопатии и садизма, и кормилицу — особу со странностями, которая тоже, как alter ego Кристины, как все эти уже *не или еще не женщины*, занимает ярко выраженную эротическую позицию по отношению к Егору⁽¹⁾.

Следующий круг вбирает в себя собственно компанию призраков: кучер, за которым следуют существа животного мира — лошади в упряжке, напоминающие об убиенной, высосанной вампиром птице и скотине (сравним с дичью, принесенной доктором с охоты из мест, отдаленных от усадьбы!); затем тот устрашающий *кое-кто*, сам Сатана. Наконец, и предметы тоже организованы концентрически: экипаж, перчатка Кристины, хозяйственные постройки, мебель (особенно в Егоровой комнате) и, еще шире, все физическое пространство, усадьба, парк (акация, насаженные на месте древних лесов Телеормана!), село, земля с таинственными недрами, хранящими останки скифов...

Кульминации роман достигает в сцене третьей, и последней, встречи Егора с Кристиной. Сильнейшее отвращение, испытанное Егором при первом ее яв-

(1) Этот мотив: сильный мужчина, вызывающий желание одновременно у нескольких женщин, — часто используется Элиаде и в так называемых реалистических романах, но без фантастической его трансформации.

лении, отступает на вторую ночь, когда Кристина прибегает к пособничеству дьявола, вызывающего в Егоре отвращение *запредельное*, в сравнении с которым ее присутствие кажется благодатью. При этом Егор уже *не слышит слов* Кристины, а *думает ее словами*: магическая идентификация, выходящая за рамки сновидения, которое предполагает все же сепаратность сознаний. При третьей встрече остается, таким образом, лишь осуществить полное слияние тел и душ, одержав победу над любым отвращением или страхом.

Главы 14-я и особенно 15-я — час Встречи, отмеченной высокой поэзией, — принадлежат, по моему мнению, к числу лучших страниц о любви в румынской прозе. После приготовлений, эквивалентных обряду инициации, посвящению в «иное бытие», позиция Егора, все его ценности переворачиваются: взрыв сверхъестественного эроса не оставляет в нем даже следов страха и настороженности перед вампиром, существом «вне закона», устраняет и человеческую любовь к Санде (читай: христианскую веру) — все, что служило ему надежным щитом. Эрос, как непосредственное чувство, высвобождает своего рода чистое сознание, оторванное от времени, людей, причинности и логики. Плоть живет минутой, то есть сладострастием самим по себе, дух теряется — или, если угодно, находит себя в блаженстве тождества, — причем и плоть, и дух *освобождены от каких бы то ни было условностей*. «... чем унижительнее душило его вожделение, тем неистовее бушевала плоть. Рот Кристины имел вкус запретного плода, вкус недозволенных, упоительных, бесовских грез. Но ни в какой самой сатанинской грезе яд и роса не соседствовали так тесно. Объятия Кристины пронзали Егора остротой самых темных радостей и причащали к небесам, растворяли во всем и вся. Инцест, переступание черты, безумие — любовница, секса, ангел... — все сплеталось и тасовалось от близости ее плоти, пылающей и все же безжизненной».

Впрочем, как и во всем творчестве Мирчи Элиаде, здесь эрос есть шанс превзойти самого себя — или человеческие возможности: его *функция* — поэтическая, метафизическая — отводит любое обвинение в вульгарности. Романтическая эмоциональность текста равняется на лексику Петрарки, насыщенную контрастными образами, она одна в состоянии передать парадокс свидания, *невероятную возможность* такой любви.

Наваждение обрывается вдруг, когда среди ласк Егор, наткнувшись на кровоточащую рану, *вспоминает себя*, то есть когда память и логическое сознание возвращаются к нему и разграничивают два полярных мира, которые чуть было не слились, не отождествились. Теперь отвращение, чувство запрета выражает

предел возможностей человека, а не оберегают его *достоинство*. На первые вопросы Егора («Ты мертвая или просто мне снишься?») Кристина отвечает мольбой о забвении, то есть о выключении сознания: «Почему ты все время об этом, Егор, любовь моя? — услышал он ее мысль. — Тебе так нужно подтверждение, что я мертвая, а ты смертный?.. Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим — какое бы чудо исполнилось!» Теперь, когда ясно, что чудо не исполнится, Кристина напоминает Егору об экзистенциальных масштабах его краха и приговаривает его к *памяти*, отправляя обратно к людям, но уже как *приговоренного*, который *увидел, но не оказался достойным*: «И ты, как все, Егор, ты, любовь моя! Боишься крови!.. Дрожишь за свою жизнь, за свой жребий смертного. Я за час любви пренебрегла самой страшной карой. А ты не можешь пренебречь капелькой крови. Все вы таковы, смертные, и ты тоже, Егор... Ты будешь искать меня всю жизнь, Егор, и никогда не найдешь! Ты истомился, ты иссохнешь по мне... И умрешь молодым, унеся в могилу вот эту прядь волос!.. На, храни ее!» Огонь из керосиновой лампы, оброченной на пол Егором, пожирает постель, на которой чудо не воплотилось, а затем и всю проклятую усадьбу.

Высокий лиризм кульминационной сцены представляется мне *противовесом фантастическому*. К области чистой лирики можно отнести и «человеческий» порыв Кристины, и «противочеловеческий» — Егора, их старания забыть о пределах своих возможностей и осуществить себя в трансцендентном, что означает для них — поменяться образами бытия. Ведь сама модель этого эротико-духовного преосуществления, по сути, *человеческая* — естественная жажда всех влюбленных на свете исполниться друг в друге. Лиризм здесь противостоит фантастике благодаря введению сверхчеловеческого в человеческие термины, и писатель, который *не может по-другому* представить этот конфликт, выступает здесь чистым лириком. Однако остается фантастической сама природа конфликта, то есть возможность любви между человеком и призраком, «соприкосновение несоприкасающегося», фантастично само воображение писателя, развернувшего подобную гипотезу.

Строя роман, Мирча Элиаде, вероятно, ощущал необходимость в каких-то подкрепляющих действие мотивах и для этого прибегнул к сказке, рассказанной Симиной, и к «Люциферу» Эминеску — как двум аналогам одной и той же судьбы. Органично, умело вписывающийся в стратегию Симины, первый мотив художественно оправдан. Напротив, цитаты из Эминеску, гораздо более обильные и без должной интуиции вставляемые в моменты наивысшего напряжения, кажутся нам кричащими и неуместными; читателю хватило бы единственной,

принципиальной отсылки к тексту поэмы, чтобы расшифровать аналогии, сходную природу конфликта и расклад главных персонажей.

Ключевой характер 14-й и 15-й глав определяется и стремительностью других событий, развивающихся одновременно со свиданием Егора и Кристины в его комнате, — прием, почти повсеместно присутствующий в реалистических романах Элиаде, а из фантастических — только в «Змее». Речь идет о монтаже параллельных планов, соединяющихся в своего рода контрпункт, такой монтаж возможен в романе, но не в новелле. Повествование идет теперь не линейно, а прерывисто, персонажи действуют по отдельности, каждый по-своему соприкасаясь с решающей Тайной этой ночи. Назарие и доктор увязываются за Симиной и обнаруживают призрачный экипаж, поджидающий хозяйку. Санда в своей комнате тоже ждет Кристину вместе с госпожой Москву, принесшей для вампира несчастного живого птенца. После кульминационного момента свидания Егора с Кристиной действие безудержно несется к развязке. Пока призрачный экипаж увозит разъяренную Кристину, пожар охватывает усадьбу и Егор спасает Санду. Вновь приобщившись к логике реального мира, он начинает действовать решительно. Когда эротические чары Кристины оказываются бессильны, давление Смерти, *перед которой захлопнули единственный выход в Реальность*, теряет свой напор, давая силам Жизни воспрянуть.

Любопытно, что Егор действует рационально и холодно, но в магическом ключе, требуя железо против злых чар, разрубая портрет Кристины, как проклятый образ, излучающий злоторную силу, и, наконец, вонзая железный посох в ее тело, точно на том месте в подземелье, где совсем недавно соблазняла его Симиная.

Финальная победа дается Егору ценой самопожертвования: пусть Кристина совершенно справедливо принесена на алтарь Жизни, пусть в конфликте она поступала безжалостно, но Герой, чисто по-человечески, снова поддается сладкой отраве сатанинского дыхания. Один на один с тоской по Кристине, с ее проклятием, которое уже начинает сбываться, Егор остается смертным, чья победа граничит с поражением. Он упустил верный шанс Смерти как выхода за пределы человеческих возможностей, как «нелегальное», но великолепное приобщение к Абсолюту. «...какой тяжелый камень лег ему на сердце; словно он опять оказался совсем один, как проклятый, без надежды прорвать огненный круг ворожбы, умиловить судьбу... Больше он никогда не увидит ее, никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхания... а теперь — откуда ждать надежды, кому молиться и какое

чудо в силах придвинуть к нему теплое бедро Кристины?!» Может быть, только теперь Егор полюбил Кристину — с истинно человеческим трагизмом...

Не сумев овладеть ни духом, ни телом Егора, Кристина — или Смерть — принимается отчаянно крушить все вокруг, рывком высвобождая силы, сосредоточенные до тех пор на одном мужчине. Угасает Санда; кормилица и госпожа Москву определенно впадают в безумие. Происходит всеобщее смятение, время поворачивает вспять, люди начинают вести себя как в девятьсот седьмом году, подхваченные тем же поветрием страха, отчаяния и бессильной ярости. Сцена грандиозна и пластическим решением напоминает мастерство Ребрюну*. Финал романа представляет Мирчу Элиаде как зрелого романиста, превосходно владеющего законами жанра, раскручиванием сюжета до логической его исчерпанности. Проза Элиаде блеснет здесь на нас новой ипостасью — *реализма галлюцинаций и магии*, которая потом уйдет из его «чистой» фантастики, а в реалистических вещах не появится, о чем мы можем только сожалеть.

Как и во многих других фантастических вещах Элиаде, действие в повести «Змей» (1937) начинается самым тривиальным образом. Автор сразу задает концепцию: между реальным и фантастическим зазора не существует. Только по внешним и, следовательно, неадекватным критериям события делятся на правдоподобные (реальные) и неправдоподобные (фантастические). Внутренний же критерий есть правдоподобие эпическое (не логическое, нравственное, социальное и пр.), и, руководствуясь им, писатель сосредоточивает все усилия, чтобы, пусть самым *лукавым* способом, убедить нас в вероятности происходящего, а для того постепенно теснит тривиальное нагнетанием *странного*, пока мы не раскрываемся для естественного приятия любого чуда.

Хотя в сущности эта концепция и этот прием являются базовыми у Мирчи Элиаде, убедительнее всего, по моему мнению, они представлены в «Змее», единственной его вещи, где не происходит никаких эффектных сдвигов — ни времени, ни пространства, ни человеческой личности, ни каких бы то ни было еще.

В самом деле, в повести *ничего особенного* не происходит, линейность сюжета — почти классическая в своей простоте. Совершенное равновесие стилистических средств препятствует какому-либо выпячиванию того или иного момента действия за счет других, так что только при повторном, внимательном чтении от-

* Ливиу Ребрюну (1885—1944) — румынский прозаик. Имеется в виду его знаменитый роман «Восстание» (1933).

крываются запятанные в тексте и незаметные сразу многочисленные подсказки и намеки на то, чему еще должно быть. Автор не прибегает здесь к навязчивым символам или метафорам, обремененным подтекстом, — нужная направленность достигается не выделением деталей, а атмосферой в целом. Сам ритм ровен, нетороплив, даже как будто нейтрален, подобно чарам Андроника, без рывков вперед и провалов, используемых обычно, чтобы подчеркнуть ключевые моменты.

Начало, сцена из жизни приличной буржуазной семьи, указывает, во всей ее банальности и плоскости, на сон разума этих людей, сквозь который еле просверкивают смутные душевные порывы Лизы или Дорины, тоже тонущие в матримонимальных и других вполне практических расчетах. Появление Андроника разбудит их разум, расшевелит витальные и, в случае Дорины, духовные силы, но за пределами повести все, похоже, вернется на круги своя. Общая тональность текста вообще смягчает как шок, так и реакцию на него, и Андрониковы «чудеса» ограничиваются сферой эротического, тайного или явного.

Андроник возникает «нежданно»: отправившаяся на пикник компания вроде бы никак в нем не нуждается, — и тем не менее он отвечает скрытым неудовлетворенным желаниям всех. Ослепление бедных буржуа светским и спортивным молодым человеком дает неожиданный крен, когда в монастыре Кэлдэрушань он припоминает несчастный случай на озере и свое загадочное спасение. Страница, если процитировать ее целиком, обнаруживает искусное умение писателя подчеркивать то, что стоит за словами. Лодка «пошла ко дну... как заколдованная, как свинцом налитая», — замечает Андроник, а в это время «темнота вдруг сгустилась, будто ее волнами гнало сюда от леса». На утверждение одной из дам, что он спасся, потому что ему «Бог помог», Андроник горько усмехается. «Может быть, и это», — уступчиво отвечает он. Озеро, лес, смерть, тайна (языческая!), одному ему ведомая, — вот из чего складывается притягательность Андроника, однако это притягательность не только мужчины, но существа *не такого, как все*.

Эпизод игр с фанатами в лесу проливает свет на многое. Не преследуя никакой видимой цели, Андроник просто восстанавливает *свободу* людей, предлагая им возможность спонтанно проявлять себя на лоне природы. Стамате и Лиза, Мануила и Дорина, Владимир и госпожа Соломон переживают волшебные минуты, которые они сами же и творят, — в «ночном» своем состоянии позволяя себе то, что днем лежит под запретом. Не умея назвать свое волнение, они называют его «Андроник», и женщины начинают желать его — на самом деле желая Любви. Однако волшебство не укладывается в такие рамки, и мы уже чувству-

ем, что эманации, исходящие от волшебника, равнодушного к дамским авансам, превосходят пределы эроса.

В самом деле, в монастырских погребках Андроник вдруг пугает их преданием о гибели девы Аргире, случившейся более века назад. «Мне не кажется, что я жил, когда-то давно, *другой* жизнью. Я чувствую, что жил здесь *всегда*, от самого основания монастыря...» (Реплика напоминает слова Дорины о «ложной памяти».) Дорина проживает время *циклично*: во сне она отождествляет себя с Аргирой, а спуск, тоже во сне, в подводный дворец Андроника перекликается как с его рассказом об утопленнике, так и с предстоящим путешествием по озеру к острову. Андроник, напротив, существует в *вечном*, если можно так выразиться, времени, без повторов и циклов. Он ровесник не только монастыря, но и озера, змей и птиц, деревьев и даже водорослей, о которых двусмысленно замечает, что они проклятием обречены «никогда не знать смерти, а только расти, вечно расти под водой». Итак, есть три временных плана: собравшихся повеселиться буржуа, рабов минуты; Дорины, проживающей, *возможно*, *l'éternel retour** событий; и Андроника, существа, *возможно*, вневременного, вечного. Первый временной план соответствовал бы профанному, два других — формам сакрального. Я употребляю сослагательное наклонение и слово «возможно», поскольку нигде эта схема напрямую не обозначена. Волшебство в монастыре, как и роли персонажей, включая Андроника, опираются на подобные временные структуры, но не сводятся только к ним.

Кульминация — призывание и изгнание змея — увязывает в мощное магическое целое главные линии романа: эротические, психологические (и парapsихологические), метафизические. Андроник, кудесник, отождествляется со змеем в плане эротической притягательности: «Дорине показалось, что змея идет прямо на нее, и напор ужаса прорвал плену чар. Дорина вдруг очнулась перед зрелищем, смотреть на которое — выше человеческих сил, перед зрелищем, цепляющим душу, опасным, совершенно недозволенным для девичьих глаз. Надвигающийся гад отбирал у нее воздух, выгонял кровь из жил, сводил плоть незнакомыми ей судорогами болезненной страсти. Ощущением мертвечины и любовного возбуждения отзывалось в ней это непристойное качание, этот блеск холодного тела рептилии».

Подобные же чувства испытывают Лиза и младшая Замфиреску. Отожде-

* Вечное возвращение (*франц.*). «Миф о вечном возвращении» — так называется одна из основных научных работ Элиаде.

ствление эротического соблазна, исходящего от змея, с тем, что исходит от Андроника, намеченное в этой сцене, проявляется позже, в женских снах. Лиза, например, переживает «в бесконечном ликовании чувств, граничащем со смертной мукой», ту минуту объятия, «когда грозная голова змея взошла из сжатых в замок рук Андроника». Постепенно мы понимаем, что слово «змей», вынесенное в титул, есть скорее сверхперсонаж — человек-змей, магическое отождествление рептилии и мужчины, существо первородное, носитель теллурических сил, центр всеобщего тяготения, поскольку он реактивирует первозданные инстинкты в людях, его созерцающих. Женщины переживают не столько блаженство самого по себе объятия Андроника, сколько своего рода безличный эротический экстаз, сходный скорее с коллективной оргией у первобытных народов, когда охватывающее всех буйство эроса на самом деле выполняет функцию над-индивидуальную, функцию магического приобщения к космосу. Этот смысл не явен в повести, но скрытое его излучение бесспорно. В сцене призывания змея, как и в последующих снах, женские персонажи образуют круг с Андроником в центре. Вообще композиция повести постоянно закольцовывается. По дороге в монастырь персонажи выстроены парами; начиная с эпизода игр в лесу пары распадаются: женщины, да и мужчины (особенно Владимир), начинают тяготеть к Андронику. Один тип композиции сменяется другим вместе с появлением главного героя — и точно так же, в психологическом плане, сознание людей переходит на новые орбиты. Такое построение повести отчетливо просматривается на всех смысловых уровнях. Андроник, затем Андроник-змей находится как в эпическом, так и в пространственном центре (посередине комнаты, где появляется змей; на острове посреди озера); подобно колдуну, который запускает в ход ритуалы, или как йогин из «Серампорских ночей», Андроник будоражит души на протяжении всего романа, морочит профанов, сдвигая время и пространство. Смута исходит от Андроника постоянно, с момента его появления, но как колдовство она проявляется по-настоящему в центральном событии — изгнании змея.

Можно ли говорить в этом плане о символике центра, заложенной в основу повести? И тут положительный ответ нам дает только подтекст. Андроник-змей представляет метафизический центр точно в той же степени, в какой и эпический, пространственный или психологический. Помещение в центре Андроника-змея означало бы *иерофанию*, через которую сакральное являет себя мирянину. Спящему сознанию буржуа, не подозревающему о сакральном, оно является через Андроника; при этом его иерофаническое влияние разнообраз-

но: лишь поверхностно взбаламутив большинство действующих лиц (в женщинах возбудив желание, во Владимире — юношеские комплексы), он тотально преобразует «его» Дорины (прежнее, профанное) и творит второе ее рождение, как в классических обрядах инициации. Знаменательно и действие колдовства Андроника-змея на «самое мирское» сознание — капитана Мануилы: «Страх снова стал забирать его, и веки снова набрякли тяжестью. Надо крикнуть! Но он не смог даже застонать, даже пальцем пошевелить. Как в тот страшный час, из детства, который ему не забыть, когда он зашел к маме в комнату и, ничего не понимая, нашел ее на полу, онемевшую, с закатившимися глазами. Только после ему сказали, что к ним в деревню приходила цыганка с раковой; взялась погадать маме, села на пол, вынула из котомки руку мертвеца и очертила ею круг. Только это он и запомнил...» Здесь интересно уважение Элиаде к частному случаю сознания, в которое вторгается сакральное. Владелец ясного, ироничного ума, задетый ревностью и оттого озлобленный, капитан тверже всех сопротивляется искушению, но, будучи все же побежден, воспринимает его в собственных ментальных структурах. Испытываемый им страх, типичный рефлекс эгоцентрического сознания, внезапно лишённого главной опоры — веры в себя, — напоминает ему страх, пережитый в детстве, травму, похороненную в подсознании и в целях самозащиты надежно заваленную камнем вызывающе трезвого сознания. Душевная травма, сопровождавшаяся, вероятно, потерей чувств («только это он и запомнил»), наложилась на душевную травму матери, запечатлевшись и как страх перед колдовством, и как страх смерти (видимой: обморока), вызванной цыганкой.

Реакцию капитана можно прочесть и в психоаналитическом плане (через состояние обморока — видимой смерти — отождествление матери и любимой, сопровождающееся страхом потерять самые крупные душевные инвестиции); и в плане магическом (насылание смертоносной порчи: цыганка отождествляется с Андроником, «цыганским выкормышем», а его магическое орудие, змея, — с рукой мертвеца); и в плане отголосков архаического сознания («смерть» профанного его проявляется в чувстве ужаса — сакрального! — и во впадении в детство, т. е. в аннуляции профанного времени, которое отделяет первое откровение от второго; позитивный аспект — рождение нового «я» знаменательным образом отсутствует). Ту же многозначность можно проследить в переживаниях других персонажей (Стере, Владимир, младшая Замфиреску и прочие), что подчеркивает главный предмет внимания Мирчи Элиаде — разнообразие реакций светского сознания, совершенно плоского или романтически-тревожного, на

странное явление: в обыденных терминах — на жульничество или колдовство; на иерофанию — в терминах «сакральное — профанное». Центральное событие романа, вокруг которого выстраиваются все остальные, представляет, таким образом, художественное исследование диалектики «сакральное — профанное».

Последующие эпизоды с логической неизбежностью вытекают из центрального (и кульминационного), хотя не всегда с одинаковой художественной убедительностью.

Выход из-под власти чар, отделение от другого мира, где они жили вне времени, дается людям трудно и постепенно. На этом фоне начинается новая мистерия, любовная, которую чувствует, вернее, смутно чувствует один капитан Мануила. Внутренний разговор Андроника и Дорины получает вербальное выражение, атмосфера всеобщего транса маскирует странность реплик, а мастерство Мирчи Элиаде состоит именно в псевдоестественности диалога, принадлежащего сразу к двум смысловым пластам. Не прибегая к слишком пространным цитатам, ограничусь всего несколькими фразами, хотя их смысл проявляется именно в контексте.

«Уверяю вас,— тихо сказал Андроник,— вы нисколько не испугались. А произойти это все равно должно было». — «Да, правда», — раздумчиво согласилась Дорина. «Что должно было произойти?» — встревожился капитан. «Эта штука со змеей», — сказал Андроник... Он медленно повернул голову и со значением поглядел Дорине в глаза. Та побледнела как мел. «Что вполне объяснимо,— перешел на шепот Андроник. — Когда готовится столь знаменательное событие»».

Все нижеследующее действие романа подтверждает, что эти реплики не случайны. Идея фатальности встречи Андроника и Дорины вполне может служить оправданием — по сути, тоже эзотерическим — всей цепи событий, включая изгнание змея. Значит, эротическая сторона сюжета — это главное, а все остальное — только контекст, необходимый, но второстепенного значения? Нет, потому что встреча молодых людей сама по себе происходит не из заурядной «*source de foudre*»*, а из безличного взаимного притяжения, это не столько земная любовь, сколько транс, обаяние сверхъестественного, орудием которого, не более того, является Андроник, хотя он и кажется режиссером событий.

Следующая глава представляет собой попытку «расконспирировать» Андроника, что с художественной точки зрения выглядит несколько искусственно:

* Любви с первого взгляда (франц.).

«Ночь имеет для меня чары совсем иного рода... Поглядите! — Он обвел рукой небо и лес. — Это для меня сильнее любви. И гораздо серьезней... серьезней, потому что никогда не знаешь, откуда это все, где у него начало и конец... Женщина — вот она, рядом, даже в твоей постели, и любовь рождается и умирает на твоих глазах... А это?..» — «Понимаю, — вяло перебил его Мануила. — Это как отравы»... — «Нет, не то, — живо возразил Андроник. — Это должно быть в крови от рождения, и никто не виноват, даже твои родители»...».

Затем Андроник один гуляет по лесу и разговаривает с птицами и деревьями — это род магии францисканской, кроткой, романтической, она далека от эзотерики, и Андроник здесь скорее старшее дитя большого биологического семейства, чем маг. Любовь и гуманность наделяют его чувством космоса, чувством абсолютной, Адамовой невинности, он — по ту сторону разума, человеческого «я», даже человека как вида. «Как минует полночь... не знаю, что со мной творится. То мне кажется, я птица, то барсук, то обезьяна... И почти всегда я потом забываю, что делал, не помню, где провел ночь...» Эта сила Андроника убывает на восходе солнца и прибывает на закате, достигая апогея после полуночи. Раздвоение личности? Возможно, но в пределах дихотомии «сакральное — профанное», которой соответствует «ночное — дневное». Андроник несет в себе оба экзистенциальных уровня, сакральное пребывает в нем, то есть в его конкретной оболочке, в профанном. Если его память по видимости гораздо глубже личной, это намек на трансисторическое сознание, как если бы вторжение сакрального в профанное расширяло фатальную ограниченность последнего, наделяя индивида долголетием всего рода. Андроник в таком случае был бы человеком, но человеком цельным, живущим, как Адам или патриархи, одновременно на профанном уровне (в биологических временных рамках конкретных событий) и на сакральном (биологическая открытость космосу в повторении архетипических, вневременных событий).

Финал повести сосредоточен скорее на подробностях инициации Дорины, а если смотреть шире, он означает всего лишь пробуждение девушки к целостной жизни, воплощенной в Андронике: «Ни боли, ни страха, ни робости — душа знала одну только терпкую безоглядную радость. Во сне ей подменили душу, ей подменили тело, теперь оно было ближе к счастью, ближе к Богу»...

Две объемистые новеллы, вышедшие под одной обложкой с заголовком «Загадка доктора Хонигбергера» (1940), — единственные в фантастическом цикле Мирчи Элиаде, где фигурирует Индия. Местный колорит бесспорно присутст-

вует, но не с тем чтобы сообщить тексту оттенок экзотики — ее у Элиаде всегда минимум, лишь для обрамления священных таинств с неременной «моралью», по образцу средневековых западноевропейских мистерий. Впрочем, собственно в Индии происходит действие лишь «Серампорских ночей», в «Загадке доктора Хонигбергера» реальный фон (то есть видимость) составляет Бухарест, некая улица С., чудом сохранившаяся в патриархальной нетронутости совсем рядом с главным проспектом столицы, и только фон воображаемый (то есть реальность) — мифическая страна Шамбала, расположенная где-то на севере Индии, куда и отбывают доктор Хонигбергер из Брашова и доктор Зерленди из Бухареста.

Атмосфера знакома читателю по другим сочинениям Элиаде. Две дамы Зерленди, пожилая и молодая, как и две их служанки (тоже старая и молодая), напоминают — некоторой призрачностью облика — госпожу Москву из «Девы Кристины»: тот же мирок, застывший в немоте мучительной тайны, то же странное поведение, намекающее на разгадку и бесконечно ее откладывающее, то же присутствие невидимого режиссера; а замысловатый финал с характерной путаницей времен и лиц намечает, уже в сороковом году, мотивы, усовершенствованные позже в новелле «У цыганок» и в других.

Повествование от первого лица тут не просто условность — оно подсказывает, что мы имеем дело с личным опытом автора. Дискретность времени и пространства в «Серампорских ночах», по мысли мудреца Свами Шивананды из монастыря Ришикеш в Гималаях, означает не более чем ирреальность мира и всего, что в нем происходит и происходило. В «Загадке» та же дискретность есть знак рассечения доктором Зерленди видимой реальности с помощью практики йоги. В первой новелле повествователь испытывает на себе иллюзорность реального мира, во второй — переживает чужой опыт, читая дневник Зерленди. Проблематика та же, тот же рассказчик — приобщившийся к йоге и тантре молодой ученый, которому, по неисповедимому решению судьбы, три весьма разных гуру: Зерленди, Сурен Бозе и Свами Шивананда — преподносят уроки, тоже разные, касательно аутентичности теории, знакомой ему по книгам. Отметим: рассказчик признается, что и сам пробовал нащупать путь в Шамбалу и подступался к практике йоги («Загадка») и тантры («Серампорские ночи»), но не достиг, в отличие от своих учителей, ощутимых результатов. Не будучи в прямом смысле учеником ни одного из них, он как эрудит разбирался в истоках их духовной силы и мог скрупулезно прокомментировать ее действие, однако ему самому не удалось обрести таковую — ни в виде внезапного озарения, ни в ра-

боте над собой, путем постепенного самоусовершенствования. Вот почему эти две новеллы, как мне представляется, выделяют два крупных конфликта. Первый — между реальным и ирреальным, со спецификой, сводимой к диалектике «профанное — сакральное»; второй — между двумя подспудными, но постоянно присутствующими у Мирчи Элиаде ипостасями его драматического опыта познания: ипостасью научной и ипостасью откровения, или чуда. По сути дела, все, что происходит в этих двух новеллах, *должно было* произойти с их автором, и ни с кем иным! «Сенсационность» событий дублируется их судьбоносной важностью для человека, страстно желающего прикоснуться к высшим истинам, однако неспособного, будучи узником неисправимо европейского рационализма, самостоятельно подняться по ступеням инициации и вынужденного довольствоваться лишь теоретическим знанием. Как и в его «индийских» вещах из «эротического цикла» («Майтрейи», «Изабель и воды дьявола»), приключения молодого героя постепенно переходят в диалог менталитетов, в попытку — наполовину удачу, наполовину провал — встречи лицом к лицу Европы и Азии. Диалог между повествователем и Свами Шиванандой в финале «Серампорских ночей» наиболее характерен для этой встречи-столкновения: снисходительная улыбка мудреца обнажает перед молодым румынским патером Брауном всю иллюзорность и малость разума, даже логически безупречного.

Однако поражение интеллектуала оборачивается победой художника — факт, достойный долгих рассуждений о структуре фантастического. Дневник Зерленди не является фантастической литературой, а вот его интерпретация и включение в эпическую систему — да. Точно так же Сурену Бозе или Свами Шивананде не пришлось бы в голову счесть фантастическими действия, которые они развязывают. Фантастическое, подчеркиваю, рождается под взглядом повествователя. Иначе говоря, он втискивается на узкую полоску по *man's land** между двумя системами интерпретации мира и придает свой смысл событиям, которые сами по себе нейтральны.

Трое европейцев (знатоки азиатских религий!) попадают в переделку (заблудились в лесу, присутствуют при чьем-то убийстве и пр.), для них довольно таки странную, поскольку многое в ней противоречит логике их мышления. События становятся непредсказуемыми с момента пересечения совершенно определенного пункта на шоссе: оно видоизменяется, как и лес вокруг. Далее идет

* Ничейной земли (англ.).

цепочка: крик, «исчезновение» шоссе, фонарь, дом Дасы, затрудненная архаическая речь как слуги, так и хозяина, призрачный погребальный кортеж, свинцовый сон в лесу, пробуждение на рассвете в двух шагах от бунгало. Каждое из этих явлений кажется выкоренным из одной или более *возможных* синтагм, только целокупностью которых можно объяснить его смысл. При этом каждое явление остается изолированным означающим, потому что мы не видим его *логической* синтагмы, а только чисто случайное соседство его с другими явлениями. Переход от явления N к явлению N+1 происходит непредсказуемо, как бы в подтверждение того, что N и N+1 — составляющие величины разных синтагм. Дискретность явлений мешает, таким образом, выделить их означаемое. Из того, что дорога становится незнакомой, не следует необходимость отчаянного крика о помощи, а углубившись на несколько метров в лес, никак нельзя заблудиться и «потерять» шоссе. Поведение хозяина и его слуги тоже поначалу не кажется связанным с предыдущим ходом событий. Только погода, когда Ванманен упоминает о слышанном в лесу крике, в реакциях престарелого Дасы появляется логика: он стонет, произносит имя Лиля; а затем слуга указывает гостям на призрачный похоронный кортеж. Тут-то европейцы и строят правдоподобную версию: кричала девушка, которую убивали, родственница Дасы (степень родства будет установлена после, со слов Чаттерджи), а теперь идут приготовления к похоронам. Так события теряют свой загадочный характер, но не теряют оттенок странности, потому что невозможно объяснить, откуда взялся дом в джунглях, почему там говорят на архаическом наречии, не знают английского и т. д. Любое предположение комментаторов (то есть поиск смысла) оказывается логически непротиворечивым. Однако же и сон-обморок героев, и их пробуждение в лесу рядом с бунгало Баджа не только странны, но и — снова — загадочны. Так последовательность событий начинается и кончается смычкой загадочного со странным, в то время как *ее эпическое ядро* (происшествия в доме Дасы) *только* странно. Следовательно, существует некая предположительная, хотя и никоим образом не достоверная логика эпического ядра, но не существует никакой логики входа в это ядро и выхода из него трех европейцев! (Мы скоро убедимся, что такая организация повествования знаменательна для Мирчи Элиаде, поскольку подчеркивание момента перехода из реального, или профанного, пространства в ирреальное, или сакральное, и обратно усиливает философские тылы текста.)

Все, что произошло до сих пор, *всего лишь загадочно и странно*.

Фантастическое появляется только по возвращении героев в бунгало Бад-

жа, то есть с того момента, когда шофер, слуги, сам Бадж, наконец, а позднее Чаттерджи станут отрицать не просто какой бы то ни было связный смысл событий, что до сих пор делали и сами герои, но и сам факт этих событий вообще. Расплывчатость смысла, необычность произошедшего, при всей его *с т р а н н о с т и* и *з а г а д о ч н о с т и*, переходит теперь в более широкий разряд проблем: *приключение становится феноменом*. Персонажи по своим позициям делятся на две группы: те, кто пережил события, и те, кто никаких событий не заметил. Другими словами, эпическое пространство событий попадает в систему двойного смысла, и именно в зазоре между смыслами начинает брезжить *фантастическое*.

Эта первая его фаза, проистекающая из неразрешимой дилеммы «*наличие — отсутствие*» событий, переходит во вторую фазу, с дилеммой более масштабной: *профанное* (рациональное, научное) — *сакральное* значение событий. Ключевой момент здесь — слова Чаттерджи, который подменяет первую дилемму второй, объясняя европейцам, что события, при которых они присутствовали, действительно имели место, но только сто пятьдесят лет назад. Теперь мы понимаем, почему их эпическое ядро было логичным: оно, как всякое реальное событие, определялось *объективной*, рациональной причинностью. Странное (архаичность языка и одежды) объясняется *отчасти*, если мы учтем разрыв во времени между событием и его свидетелями. Зато загадочное (переход из *одного* времени в *другое*, из настоящего в прошлое и обратно, что подразумевает, само собой, изменение пространства, пейзажа и пр.) объясняется *полностью*. Однако в принятом объяснении остается странное несоответствие деталей — факт, который повествователь «аргументирует» перед Свами Шиванандой. То есть он как участник событий пытается проигнорировать их фантастическое качество, которое сам же, как автор и художник, сообщил им, столкнув две семантические системы реальности. Повествователь решает ограничиться следующим объяснением: магические манипуляции Сурена Бозе привели к временному сдвигу, — однако при этом удивляется пресловутой неадекватности деталей, то есть устойчивости *странного*. Прделанная им умственная работа принадлежит системе мышления рациональной, а не тантрической — объекту толкования; усилие по созданию стройной системы невозможно, если *фантастическое изгоняется, сводится до уровня странного*. Финальное действо Шивананды объясняет фантастическое только в философском плане (ирреальность мира, в сравнении с которой все неувязки, замеченные повествователем, утрачивают значение); в плане же художественном и эпичес-

ком неприкосновенность фантастического отстаивается «освободительным» финалом новеллы: «Я не вынесу этого, Свами! — вскричал я. — Разбуди меня. Второй раз я этого не вынесу!..»

Что было дальше, не помню. Когда на другой день я проснулся в своей хижине, солнце давно встало, и зеленые воды Ганга показали мне бесконечно добрыми, безмерно чистыми и благостными».

Повествователь, «неисправимый» европеец, не может *проникнуться* до конца тантрой, он может — самое большее — *понять* ее, и то отчасти. Его позиция в тексте определена как заслон против Иной Истины, с которой нельзя слиться, которую можно только описать. Фантастическое здесь есть выражение самого статуса повествователя, застрявшего между двумя мирами, между двумя системами мышления: *фантастическое есть форма выживания европейца, уstraшенного откровением, к которому он стремился*, и останавливающегося у последней черты: «Что, если это — правда?»

Сходной конструкцией фантастического отмечена и новелла «Загадка доктора Хонигбергера». Здесь автор тоже занимает позицию между чисто профанной — семейства Зерленди, только инстинктивно чувствующего прикосновение к сокровенным тайнам, — и сакральной, доктора Зерленди, который непосредственно пережил эти тайны и описал свой опыт в дневнике. Этот-то опыт и приводит повествователь в новелле: этапы и результаты практики йоги, познание мира в трансе, левитация, невидимость и, наконец, «уход» в Шамбалу, объясненный на профанном уровне как необъяснимое «пропал». Чтение дневника Зерленди, цитаты и комментарии к ним сравнимы с диалогом, который ведут повествователь и Свами Шивананда в «Серампорских ночах». Однако по художественным достоинствам текст ниже: тягу к неуловимой истине, столкновение разных систем интерпретации здесь заменяет единственно трепет повествователя, чьи предвидения, или предчувствия, сбываются. Тем не менее этот трепет стилистически поддерживается вполне успешно: взволнованностью фраз, отрывистым ритмом, да и самой необычностью йогического опыта. При том, что тут нет всего комплекса эпических средств, как в первой новелле, «работает» смысловая наполненность фантастического: сама возможность успеха подобного опыта поражает воображение и кружит голову.

Впрочем, и с художественной точки зрения центральный эпизод (чтение дневника) мастерски включен в ансамбль новеллы. Уже вначале нам намекают на какую-то тайну, чреватую смертями: работа с архивом Хонигбергера «произвела» исчезновение доктора Зерленди, смерть одного из членов семьи, который

привел в его библиотеку француза-ученого, а затем гибель некоего Ханса, который тоже занимался, до повествователя, разбором архива. Предупреждения Зерленди-младшей и служанки заявляют таким образом о *присутствии судьбы* в мешанине повседневных событий. Не вняв этим предупреждениям, повествователь чуть не становится классическим героем, втянутым, по своей ли воле или невольно, в фатальный механизм. В тот момент, когда, кажется, уже намечается профанная драма вокруг смертоносной загадки, в дневнике разверзается откровение. Истина противопоставляется видимости, позволяя герою раскрыть тайну, но именно из-за этого он теряет статус героя, который переходит, взамен, к доктору Зерленди. Итак, конфликт повторяется на другом уровне: настоящим героем оказывается доктор Зерленди, увлеченный расшифровкой тайны (она принадлежит теперь доктору Хонигбергеру!), на этот раз с онтологическим акцентом: Шамбала. Зерленди познает, благодаря Хонигбергеру, Абсолют; повествователь узнает из дневника Зерленди только способ, коим Абсолют может быть познан. Совершенная симметрия повествовательных планов выражает симметрию планов экзистенциальных: Зерленди превосходит профанное, затерявшись в сакральном, в то время как повествователь познает сакральное исключительно с научных позиций, сам оставаясь в профанном.

Как и в «Серампорских ночах», вначале мы оказываемся перед событиями только странными, то есть не поддающимися однозначному толкованию. Откровение, найденное в дневнике, соответствует откровениям Чаттерджи и Шивананды. Результат — аннуляция странного. Оно продолжает господствовать в профанном мире семейства Зерленди, но уходит из перспективы повествователя, очищенной откровением доктора Зерленди, обладателя перспективы сакральной.

Если бы новелла на этом кончилась, ее трудно было бы назвать удавшейся: при всей их симметрии оба эпических плана довольно искусственны, и таинственность первой части увядает без достаточной компенсации во второй, слишком напоминающей трактат о йоге⁽¹⁾. Финальный эпизод (путаница в семействе Зерленди) спасает текст, вводя (только теперь!) ф а н т а с т и ч е с к о е как та-

(1) За четыре года до этого (1936) Мирча Элиаде опубликовал книгу «Yogá. Essai sur les origines de la mystique indienne» («Йога. Эссе об истоках индийской мистики»), которую затем, в 1954 г., расширил в трактате «Le Yogá. Immortalité et liberté» («Йога. Бессмертие и свобода»).

ковое. Дамы Зерленди, дружно отрицая знакомство с повествователем, снова переводят конфликт в первоначальный профанный план и снова превращают повествователя в героя. Изошренность приема состоит здесь в том, что этим отрицанием ставятся под вопрос абсолютно все, как профанные, так и сакральные, события новеллы. Путаница со временем благодаря полной серьезности членов семейства Зерленди точно так же убедительна для читателя, как предыдущее повествование от автора. Наконец-то *все становится фантастичным*: как и в «Серампорских ночах», одни персонажи говорят о событии как о бывшем, другие — как о небывшем, совершенно по-разному интерпретируя то, что пережили на самом деле вместе. Предположение, что доктор Зерленди, встревоженный прикосновением к его тайне какого-то случайного смертного, — что доктор Зерленди «оттуда» управляет поведением семьи, не имеет того метафизического накала, как объяснение Шивананды, но в эпическом плане, именно из-за этой зыбкости, его достаточно, чтобы ввести в финал ноту сомнения, то есть опору фантастического.

Диалектика «профанное — сакральное», проработанная не столь убедительно, как в первой новелле, разряжает метафизическую насыщенность текста, зато диалектика «реальное — ирреальное», собственно фантастика, выстроена удачно, пусть даже она ошеломляет нас лишь под самый конец.

В послевоенных новеллах пластическая память писателя восстанавливает благостные приметы пейзажа, задумчивого и чистого, скромного и неброского, как бы вне истории, характерного для старого Бухареста, прекрасного и сегодня, без той монументальности, порой мрачноватой, которая присуща большим столицам. Издали — из дали времени и пространства — город кажется очищенным как от провинциальной скуки, так и от вибрации современности из романов периода между двух войн и плутает лирической мечтой по лону ностальгических вод. При неизбежной специфике, отнюдь, впрочем, не навязчивой, этот пейзаж нарочно построен как нейтральный, с тем чтобы оттенить из ряда вон выходящее Событие.

Послевоенные новеллы, хотя в определенной степени и продолжают тот тип фантастики, который культивировался Элиаде до войны, обнаруживают и черты фундаментально новые. В «Девике Кристине» и «Серампорских ночах» фантастическое проламывает глубокую брешь в причинно-следственной системе мира через активное, вполне очевидное вмешательство неких внешних по отношению к миру сил, будь то вампир или Сурен Бозе; даже если

Андроник в «Змее» или доктор Зерленди в «Загадке доктора Хонигбергера» принадлежат «здешнему» миру, они действуют во имя мира «иного», которому принадлежат в равной степени и с которым сливаются в апофеозе. Во всех случаях повествователь, или герой, должен сходиться один на один с «нездешними» силами, и эта схватка становится для него главным, определяющим духовным опытом.

В послевоенных новеллах *фантастическое* больше не провоцируется никакой внешней, *персонифицированной* силой. Оно *представляет собой* *изнанку реальности, то есть ирреальное, которое своим строем дублирует ее явный и логичный строй*. Выражаясь в терминах самого Элиаде, *фантастика есть неведомое присутствие сакрального, закамуфлированного в профанном*, мы называем ее фантастикой, потому что наш разум, сам принадлежащий сфере профанного, не может естественно включить ее в Космос и *отвергает, помещая в иные пределы*. Литературной диалектике «реальное — ирреальное», по мысли философа, соответствовала бы диалектика «сакральное — профанное», что мы и попытаемся показать ниже на примере новеллы «У цыганок».

Новелла отличается строгостью композиции. Восемь эпизодов, разделенных графически, представляют этапы походов Гаврилеску, выстроенные с замечательной симметрией (I: в трамвае; II—III: у цыганок, три девы; IV: у цыганок, «сон»; V: в трамвае; у Войтиновичей; VI: дома; VII: дорога, извозчик; VIII: у цыганок, окончательный уход). Итак, за вступительным эпизодом, развернутым в привычном для Гаврилеску, нормальном мире, следуют три эпизода у цыганок (которых тоже три!), затем три эпизода снова «в миру», однако теперь уже ненормальном, искривленном, и, наконец, возвращение к цыганкам и окончательный уход — в мир запредельный. Маятниковые качания Гаврилеску между реальным и ирреальным имеют свою диалектику:

реальное → «ирреальное» → «реальное» → ирреальное.

Крайние пункты этой последовательности суть «выходы» и одновременно «входы» на границе двух образов бытия. Реальное, то есть привычная повседневность Гаврилеску, исчерпывает себя в первом эпизоде, вместе с вступлением в таинственный сад цыганок, в «ирреальное». Мы берем это слово в кавычки, чтобы отличить его от финального Ирреального, по сравнению с которым оно представляет не разрыв с земным миром, а только необходимый «перевалочный пункт» — волшебное царство Цыганок. Наконец, третья точка, «реальное», тоже в кавычках, обозначает возвращение в мир, который сохранил только видимость нормального, а на самом деле полон неожиданностей, фиксирую-

щих фатальное остранение персонажа. Все четыре фазы приключений Гаврилеску, разложенные на восемь эпизодов (1+3+3+1), отмечают этапы духовного маршрута, маршрута между Жизнью и Смертью, между профанным и сакральным, между мирами «здесьним» и «тамошним». Само построение новеллы, диалектика ее развертывания «сигнализирует» о присутствии второго смыслового пласта в тексте, при всей чисто земной видимости знаковых величин. Уместно проанализировать их более пристально — так велика реверберация смыслов каждого эпического элемента, их неисчерпаемая многозначность.

В своей повествовательной технике Мирча Элиаде продолжает здесь приемы письма, восходящие еще к «Змею», то есть *незаметное включение* в текст символических вех — знаков, что за ними, кроме дословного, есть и другой смысл. Существенной и определяющей для прозы Мирчи Элиаде мне представляется *сдержанность*, намеренное отсутствие аффектации в этом приеме. Новелла «У цыганок» дает простор, на всех уровнях текста, для бесчисленных рассуждений и мифологических аналогий. Три девы — это и феи-вещуньи, и парки, и богини, а может быть, духи древних цивилизаций (последний вариант ставит новые дилеммы: эти цивилизации надо понимать как духовные варианты «великого перехода»? Или как формы культуры, искушающие художника в Гаврилеску? Или как-то еще?). Что такое Старуха? Своего рода Харон, падающий за переходом в иной мир и взимающий, по традиции, плату мелкой монетой? Колдунья, тайная владычица над временем и пространством наподобие Сурена Бозе? Какой-нибудь из злых духов, населяющих румынский фольклор? Или кто-то еще? Само *отгадывание* не есть ли испытание, обязательное для ритуалов инициации? Или, в конце концов, вид пошрины, которую должен платить дух умершего, пустившийся в путешествие? В таком случае блуждание Гаврилеску в лабиринте цыганских покоев — это тоже характерный момент связанных со смертью обрядов? И так далее и тому подобное.

Не вызывает сомнений, что специалист по истории религий мог бы извлечь замечания все поля новеллы! Ни в мои намерения, ни в мои возможности подобная работа не входит. Очертив круг затронутых в новелле мотивов, я хотел лишь показать горизонты побочных значений текста на любом из его уровней, мой же предмет — структура фантастического у Мирчи Элиаде и ее чисто литературное воплощение. Очевидность *аллегории* смерти в конструкции новеллы, а точнее сказать, *перехода в смерть*, по моему мнению, не нуждается в мифологических подпорках именно из-за того, что сильна ее литературная опора — *конвергенция подтекстов*.

В новелле выработана *генеральная стратегия* эпического, с тщательной проработкой мизансцен, как в театральном спектакле, и с работой над словом в лирической, близкой к поэзии тональности. Любое событие начинает двоиться благодаря бесконечному разнообразию декораций, игре актеров и скрещению их позиций. То есть в точности по законам сцены, когда *то, что представляют*, автор уже не может *прокомментировать* и оно идет как бы само по себе, без его вмешательства. Кроме того, слово, называющее событие, утрачивает авторитет, какой имеет обыкновенно в прозе, и может быть понято исключительно в контексте, причем не только в непосредственном, но в контексте всей новеллы — точно так же, как в стихах, где «излучение» каждого слова распространяется на все остальные, а от них к нему идет ответное.

Итак, новелла развивается с безупречной *литературной логикой* до резкого обрыва посередине, после IV эпизода — выхода от цыганок, когда все последующее уже перестает рассматриваться просто как посещение дома терпимости одним несколько эксцентричным — по-восточному — субъектом. Начинается блуждание совершенно сбитого с толку человека по городу, погруженному в зной, среди таких же бестолковых людей.

Развитие действия новеллы вообще идет в параллельных смысловых планах. Рядом с буквальным, видимым, тянется дублирующий, самостоятельный, с отдельным шифром. Так же как в драматургии или в поэзии, прямое и побочное значения слова уживаются вместе, как изотопы, а побочное в свою очередь генерирует множественность толкований.

Первый эпизод «Цыганок» — может быть, самый показательный для эпической техники «двойного дна». Внешне это «мужской» трамвайный разговор о заведении цыганок, причем мужчины делают вид, что скандализированы. Но на втором плане уже появляются детали, как бы не имеющие для первого никакого веса. Например, рассеянность Гаврилеску, который никогда не знает, куда он засунул бумажник; его преувеличенная вежливость в обращении и не менее преувеличенное пристрастие вступать в разговор с незнакомыми; его идеи-фикс: *чтог там*, за забором цыганского сада, — вопрос, возникающий всякий раз, как он проезжает мимо (три раза в неделю!); полковник Лоуренс⁽¹⁾, которого «аравийская жарахватила по темени, как сабля, и прямо-таки сразила наповал»; там же: пока еще беглое, внутренне не объясненное воспоминание о Шарлоттенбурге; но более всего — самоувещевания героя. «Гаврилеску,—

(1) Одну из книг Лоуренса перевел на румынский сам Элиаде!

прошептал он, — внимание! А то прямо как старик. Распустился — что это еще за дыры в памяти? Я повторяю: внимание! Ты не имеешь права. Сорок девять лет для мужчины — самая пора... Небольшое усилие, Гаврилеску, ну-ка, напряги немного свою память!..» (После чего он вспоминает Шарлоттенбург — первый «спуск в прошлое».) «Уже подходя, он услышал следом металлическое улюлюканье трамвая. Он остановился и приветственно сорвал с головы шляпу. «Слишком поздно! — воскликнул он. — Слишком поздно!..» (Эти слова он произносит перед входом к цыганкам, в заключение эпизода, но и абзацем раньше — тоже, вспоминая отъезды своей жены Эльзы в Германию.)

Все эти мотивы начинают складываться во вторичный смысловой план и постепенно превращаются в лейтмотив новеллы, но, повторяю, без всякого стилистического их выделения — они «зарыты» в тексте. В V эпизоде, по выходе от цыганок, трамвайный билет, подорожавший вдвое, станет первым указателем на вход в искаженное Реальное; словоохотливость Гаврилеску усиливается в присутствии трех дев, обращая его глубоко в прошлое, так что он не выдерживает испытания в настоящем — угадыванием; отсюда и нарастающий мотив «взывания к памяти» (повторяемый в тех же выражениях при выходе от старухи, в V эпизоде), постепенное прояснение памяти — и всплывшая из прошлого драма, подводящая к финальной встрече с Хильдегард; вой трамвая он услышит и во II, и в V эпизоде, то есть при входе к цыганкам и при выходе от них, всегда в присутствии старухи (!), как последний и, соответственно, первый сигнал из мира, оставленного «вовне», из повседневности, из Реального, вновь обрести которое в самом деле будет «слишком поздно»; таким образом, в его восклицании — символическое «прощай» жизни и привычной, «доцыганочной» реальности: в конце концов, что там, в их саду, Гаврилеску не узнает никогда, даже в финале, когда уйдет, вместе с Хильдегард, насовсем...

По мере чтения новеллы мы постепенно замечаем появление новых эпических мотивов, чья функция мало-помалу уточняется, причем с какой-то, я бы сказал, авторской nonchalance. Вход во владения цыганок продиктован ни в коем случае не эротической целью (впрочем, «блудницы» обрисованы скорее условно, без лишней конкретики, как бы средствами музыки — грациозные, таинственные, изысканно-грустные силуэты — одалиски, весталки, жрицы храма, затворницы гарема), а любознательностью и поисками оазиса — *по контрасту* с удушливым зноем улицы. «Моим идеалом всегда было чистое искусство. Я живу духа ради», — простодушно декларирует Гаврилеску, избобляя себя как претенциозного неудачника, находящего компенсацию в мечтаниях. Затем мо-

тив времени, сопряженный с мотивом памяти, начинает выдвигать еще одну, наряду с искусством, претензию — любовь. Старуха, что знаменательно, живет вне времени («Вечно тут что-то с часами») и в тех сферах, где у дев нет возраста и где Хильдегард осталась такой же юной, как *тогда*. Три эпизода у цыганок никак не ограничены для Гаврилеску во времени, и он сам забывает про эту меру существования, пока находится у них; только вначале, будучи еще, по инерции, пленником ментальности внешнего мира, он поправит старуху («Дело идет к четырем. В три у меня только кончился урок с Отилией»), удивленную этим бесполезным чувством времени. Типичный случай торможения механизмов сознания, свойственный выходу из мира живых душ.

Перед тем как переступить порог флигеля, Гаврилеску, охваченный волнением, «вдруг почувствовал себя счастливым, как будто он снова был молод, и весь мир принадлежал ему, и Хильдегард тоже принадлежала ему...»

Время отступает — приходит Память. Странное уравнение, противоречащее обыденному сознанию. Некая иная память вступает теперь в силу, и пережитое открывается Гаврилеску как этапы его *судьбы*; освобожденный от тяжести настоящего, он способен увидеть теперь не мелкую цель (вернуться к мадам Войтинович за забытой папкой), а *свою жизнь как целое* — позиция, которая уже отмечает его отдаление от этой жизни.

Когда девы просят Гаврилеску угадать цыганку, с него сваливается шляпа: «он усталился на них в упор, окаменев, невидящим взглядом, будто узрел нечто сквозь них, сквозь ширмы, сквозь стены». Его эйфорию (он снова называет себя свободным художником — остатки индивидуальной памяти, — упоминает о полковнике Лоуренсе, но больше всего говорит о Хильдегард, сетуя, что не помнит, что же случилось *тогда*) — его эйфорию девы толкуют как признак *трусости*. («Сам нас выбрал, а теперь боишься угадывать».) Диалог глухих между Гаврилеску и девами характерен для литературной техники Элиаде. Они говорят и живут в разных смысловых планах. Гаврилеску, все еще раб буквально понимаемой им ситуации, добросовестно выплескивает свои признания о Хильдегард, не понимая, что безудержно скользит за пределы человеческого; девы, изолированно живущие на своем уровне, сверхчеловеческом, а может быть, и сакральном, *знают*, что означает сейчас эйфория Гаврилеску: он боится угадывать. К чести Мирчи Элиаде как художника, надо отметить, что при всем том существа высшего порядка, девы, *проявляют себя* в полном соответствии с буквальной плоскостью текста, хотя, по сути дела, в своей «запредельности» уже не сообщаются ни с ней, ни с плоскостью Гаврилеску, который пока что «застрял на переправе».

За провал при угадывании цыганки учитель музыки попадает в «колдовской хоровод»: «В ту же секунду — он и глазом моргнуть не успел — его подхватили с двух сторон и закружили, завертели, что-то напевая, насвистывая, приговаривая. Только голоса доносились как бы издалека. «Не угадал! Не угадал!» — долетало до него, как сквозь сон... он чувствовал, что хоровод постепенно влечет его между кресел и ширм в глубину комнаты, но через некоторое время отказался от всякого сопротивления и больше уже ничего не помнил». Когда же наступила «клиническая смерть» Гаврилеску? В конце первого эпизода (от солнечного удара!) у калитки сада, в только что упомянутом обмороке или позже, во время «сна», когда он почувствовал, что штора завивает его, как смертные пелены? Трудно дать однозначный ответ при такой многозначности текста, хотя я склоняюсь в пользу первого предположения. Так или иначе, очевидно, что эти три момента образуют совокупность последовательных изменений сознания, «ритуал перехода». (Другая гипотеза: все сцены у цыганок представляют только обряд инициации, с помощью которого девы пытаются повернуть посредственного учителя музыки к сакральному — отсюда их огорчение, когда он не может правильно угадать, — а собственно смерть наступает только в конце новеллы.)

«Надо было не мечтать, а любить ее...» — замечает одна из дев, когда Гаврилеску рассказывает о своей любви к Хильдегард, а другие укоряют ее: «Не надо было давать ему воли (вспоминать), черта с два он теперь угадает». Тем временем Гаврилеску вспоминает наконец, в чем состояла драма его прошлого: Эльза «соблазнила» его, и он женился, бросив Хильдегард. «Ну, и что теперь? — спрашивают его девы. — Время-то идет, время идет». Еще одна попытка угадать, еще один провал. Почему? «Былое разворошил, — сказала гречанка. — Сбило оно его, увело, заморочило». Привычка грезить с открытыми глазами, отсутствие проницательности и ясности в сознании — вот из-за чего Гаврилеску *упустил жизнь* (то есть Хильдегард), а теперь *упускает и смерть*. Волнующее сходство проступает между реальным и «ирреальным» моментами экзистенциального цикла Гаврилеску. И там, и там он не сумел «угадать цыганку», в первый раз подменив Хильдегард Эльзой, теперь спутав с цыганкой сначала гречанку, потом еврейку. Упустив жизнь, он упускает и смерть, и *его человеческая вина состоит, по сути дела, в том, что он не умеет видеть, что он путает настоящее с видимостью, существенное с поверхностным*. Ритуал угадывания цыганки дается ему как *последний шанс узнавания*. Угадать — значит переступить ограниченность человеческой природы. Что было бы в случае успеха? «Если бы ты угадал, было бы чудо как хорошо, — тихо проговорила гречанка. — Мы бы тебе пели, мы бы тебе пля-

сали и провели бы тебя по всем покоям...» Рай представляется здесь как необъятной величины гарем (в полном соответствии с буквальным смыслом ситуации), в который счастливого бессмертного вводят как *homo ludens**, но с правом увидеть все («все покои»). Блаженство, безмятежность божественного состояния — вот что упускает Гаврилеску. Заблудившись в прошлом, пока «идет время», он тонет в непоправимом, ему уже не сменить замашек, он обречен на земное. Его собственная отчаянная реакция выливается в попытку вновь обрести привычную надежность существования, прибегнув к мифу о своем таланте пианиста: он «налег на клавиши с такой силой, почти яростью, словно хотел разворотить их, выцарапать ногтями и прорваться, целиком войти во чрево инструмента, а потом еще дальше, еще глубже».

Сон, который за этим следует (IV эпизод), я трактую как кошмар переступания через материю. Даже без дотошных поисков соответствий в похоронных обрядах все же напрашивается ассоциация с ними: лабиринт, темнота, тишина, страх, угроза, исходящая от предметов, почти гротескная нагота деформированного тела, наконец, последнее ощущение спеленывания и «войлочной» духоты.

После эйфории и беспечности предыдущего момента — жуть теперешнего; после сна о смерти — ее мерзость. Стоит только скрыться девам, танцующим и прекрасным, стоит только Гаврилеску упустить последний шанс своего духа, является смерть, как убожество плоти, перекрывающее химеры воспоминаний.

Переступание через материю означает отрыв от нее, и тогда дух, который не сумел познать себя, стать самому себе тождественным, предпринимает попытку вернуться в мир, посетить места, где он жил. Мы видели уже *память как судьбу*, теперь *память* — страстное желание воссоединиться с людьми. Отказ от смерти, неспособность вообще осознать ее, как таковую («Ты не понимаешь, что с тобой происходит, что уже произошло?» — удивится чуть позже Хильдегард), последняя попытка *уклониться от настоящего* — эта боязнь глядеть в глаза моменту по-прежнему характерна для Гаврилеску.

Возвращение в жизнь («реальное», эпизоды V—VI), в личность учителя музыки с его чудачествами означает возвращение во Время. «Ах, — вздохнул он, тяжело поднимаясь с дивана, — как летит время». Фраза, нормальная в буквальном контексте, приобретает в глубинном прочтении иронический оттенок. Полагая, что он осознает ход времени, персонаж не осознает как раз самого суще-

* Человека играющего (лат.).

ственного — *сколько прошло времени*, не замечает перехода в новые экзистенциальные условия.

Концентрированное и сжатое в инобытии, вне его Время осталось громоздким и растяжимым. Гаврилеску попадает в мир с другими координатами, послушный другим законам.

Фантастическое, появляясь вновь, граничит теперь со сверхъестественным и сосредоточивается в колоритной фигуре извозчика — кучера похоронных дрог, бухарестского «ваньки» из прошлого века: этакая бесхитростная и щедрая душа, неисправимый мечтатель, фигура абсолютно убедительная. Однако в другом плане он — явный посланец смерти, Харон, перевозящий Гаврилеску в иные пределы. Чужой в «реальном», потерявший способность ориентироваться в «странных» человеческих порядках, Гаврилеску снова возвращается в «ирреальное», вернее, в место их стыка, чтобы потребовать — наивнейшее непонимание! — ответа за случившееся. Результатом окажется бесповоротный уход в ирреальное. «Снится, всем нам снится... Так это начинается, похоже на сон». Сама смерть остается для Гаврилеску сном, не явью. «Ты все такой же... всего боишься», — растроганно замечает Хильдегард. На этом перепутье между жизнью и смертью она ждала его, чтобы вместе уйти, — может быть, потому, что и она не сумела «утащить цыганку». Тоже раба прошлого, несбывшейся любви, женщина осознает ситуацию, но не может подняться над ней; употребляя множественное число солидарности («всем нам снится»), наконец-то соединяющее их судьбы, она становится проводницей мужчины, новой Беатриче: самый лиричный финал из всего написанного Элиаде, чистейшей воды поэзия.

Сколь бы ни были суммарны эти заметки, надеюсь, что мне удалось показать несомненные достоинства фантастических сочинений Мирчи Элиаде. В ансамбле его художественного творчества они, по моему убеждению, стоят на первом месте, наряду с эссе, выше индийского цикла и романов, поименованных реалистическими. Прежде всего, в этой фантастике обретаются почти все фундаментальные основы его философской мысли, равно как и писательского воображения, причем часто в блестящей художественной манере. Медитация над временем, этим главным фактором, ограничивающим человеческие пределы, хотя она и пронизывает все его творчество, достигая своего пика в романе «Купальская ночь», сконцентрирована тут столь же настойчиво, как в эссе по этике и по философии религии, особенно в новеллах «Серампорские ночи» и «У цыга-

нок». По концепции писателя, человек закован в профанное время, как в кандалы, и бьется, чтобы разбить их и слиться с Временем сакральным, переступив свою человеческую ограниченность, — профанное время есть время памяти и прозаической повседневности.

Гаврилеску — персонаж типический, тогда как Зерленди и некоторые другие — это те, кто либо через практику йоги, либо случайным или чудесным образом прорывают покров иллюзии, оказываясь «по ту сторону». Стоит отметить, что медитация над временем неизбежно означает у Мирчи Элиаде и медитацию над Реальностью. И хотя последняя «обязательна» для каждого писателя-фантаста, однако у Мирчи Элиаде она включена в более широкую концепцию, охватывающую диалектику сакрального и профанного. Замечательно, что все его творчество, а может быть, и нынешняя деятельность*, и, уж во всяком случае, его личность находятся под знаком Времени.

Не пытаясь включить Мирчу Элиаде в контекст современной европейской фантастической литературы — предприятие достаточно сложное для краткого заключения, — скажу только, что его можно числить среди немногих писателей, которых еще занимает фольклорная или сакрального подчинения фантастика. Загадки и расселины в Реальности, ее ошеломляющая неустойчивость, ее строение, подобное лабиринту смыслов, случайных и недостижимых, или множество придуманных миров, логичных, но непоправимо отделенных от нашего, — все эти аспекты современной фантастической (в широком смысле слова) литературы слишком скупо представлены у Мирчи Элиаде, хотя и не обойдены совсем. Оригинальность фантастического мира Элиаде, как мне кажется, состоит в его *безмятежности, в отсутствии трагизма, обреченности, финальных катастроф, всякого рода навязчивых идей и страхов*. Фантастика Элиаде несет в себе добро, реванш Жизни, во всей ее неистощимой красоте и плодородии. А потому она останется в лоне румынской литературы, которая, по моему мнению, — одна из немногих литератур мира, где *фантастика никогда не была гротескной, трагичной, темной, а всегда сохраняла лирическую чистоту лучшей, более красивой альтернативы Реальности*.

Сорин Александреску

* Статья была написана при жизни Элиаде.

У ЦЫГА



Domnișoara Christina
Șarpele
La țigănci

ДЕВИЦА КРИСТИНА

I

У дверей в столовую Санда остановила его, прикоснувшись к рукаву — первый интимный жест за те три дня, что они провели под одной крышей.

— А у нас новый гость, знаете? Профессор...

Егор заглянул ей в глаза. Они блеснули в полутьме комнаты. «Может быть, это знак?» — подумал он и попытался привлечь девушку к себе. Но она отстранилась и распахнула двери. Егор одёрнул пиджак и застыл на пороге. Горела та же лампа с белой калильной сеткой, дававшая слишком резкий, искусственный свет. В улыбке г-жи Моску усталость сквозила заметнее, чем прежде. Егору уже не надо было видеть ее лица, чтобы угадать эту улыбку.

— Позвольте вам представить господина художника. Егор Пашкевич, — с помпой изрекла г-жа Моску, плавно поведя рукой в его сторону. — Имя несколько непривычное, но он чистокровный румын. Господин Пашкевич оказал нам честь погостить в наших пенатах...

Егор поклонился с самым любезным выражением лица. Г-жа Моску обернулась к новому гостю, вся превратившись в трепет. Нечасто ей выпадал случай насладиться церемониалом настоящего, полновесного представления.

— Господин Назарие, университетский профессор, гордость румынской науки! — провозгласила она.

Егор решительным шагом подошел к профессору и пожал ему руку.

— Я всего лишь скромный ассистент, сударыня, — пробормотал г-н Назарие, пытаясь поймать ее взгляд. — Более чем скромный...

Но г-жа Москву вдруг в изнеможении опустила на стул. Профессор в оторопи остался стоять подле, не смея поднять ни на кого глаза, боясь показаться смешным. Прошло несколько мгновений, прежде чем он тоже решился сесть, по левую руку от г-жи Москву.

— Это место занято, — громким шепотом сказала Симиная, — рядом с мамой сажу я...

Г-н Назарие вскочил и отпрянул к стене. Егор и Санда поспешили к нему, конфузливо улыбаясь и наперебой уверяя, что не стоит обращать внимания на детские выходки, что девочка избалована, к тому же для нее действительно нет большей радости, чем сидеть за столом рядом с матерью, даже когда гости.

— Ей всего девять лет, — добавила Санда.

Г-жа Москву все время сохраняла на лице улыбку, как бы прося простить ее, что она не принимает участия в разговоре. Дискуссия, должно быть, чудо как интересна, о, она-то это себе представляет, интересна, умна, поучительна, но усталость, увы, не позволяет ей насладиться в полной мере. Причем было очевидно, что г-жа Москву не слышит ни слова, что звуки порхают мимо нее, ни малейшим образом не задевая слуха.

Егор проводил г-на Назарие на друтой конец стола, предложил ему место рядом с Сандой и, еще раз бросив взгляд на г-жу Москву, подумал: «Какие странные приступы...»

— Очень вам благодарен, — вполголоса проговорил профессор, садясь. — Я, кажется, нечаянно обидел ребенка. И какого ребенка — ангела...

Он повернул голову к Симине и посмотрел на нее, широко улыбаясь, со всей теплотой, на какую был способен. Человек вполне еще молодой, лет сорока без малого, он постарался вложить во взгляд отеческие чувства, но улыбка получилась заискивающей, а его лицо, чистое, сдержанное лицо ученого, расслабилось не в меру. Симиная встретила отеческий взгляд с язвительной, колкой иронией. Несколько мгновений она смотрела гостю прямо в глаза, потом поднесла к губам салфетку, как бы стирая чуть заметную улыбочку, и не спеша обернулась к матери.

— Вы, конечно, приехали на раскопки, — нарушил молчание Егор. Профессор, еще не оправившись от неловкости, был тем более бла-

годарен Егору за то, что тот перевел разговор на его занятия, предмет его страсти.

— Да, сударь мой, — отвечал он, судорожно глотнув воздуха. — Как я уже рассказывал госпоже Моску, этим летом возобновлены раскопки в Бэлэноае. Не знаю, насколько вы осведомлены, но для нас, румын, до- историческое становище в Бэлэноае не лишено значения. Там нашли тот самый знаменитый ионический *lebēs* — казан, в котором, как вам, безусловно, известно, доставлялось на пиры мясо...

Г-н Назарие явно оседлал своего любимого конька. С воодушевлением, но не без некоторой грусти живописал он те стародавние пиры, которые позже так гротескно копировали варвары.

— ...что же вы хотите, на всем нижнем Дунае, особенно здесь, к северу от Джурджу, в пятом веке до Рождества Христова была развитая цивилизация, греко-скифо-фракийская цивилизация, как я уже имел честь доложить госпоже Моску...

Г-н Назарие опять сделал попытку перехватить взгляд хозяйки салона, но встретил только ту же застывшую улыбку, невидящее лицо.

— Бэлэноая, татап, — попробовала вывести ее из оцепенения Санда, чуть ли не крича через стол. — Господин Назарие говорит про раскопки в Бэлэноае...

Услышав свое имя и вдруг очнувшись в центре всеобщего внимания, профессор снова смешался. Он даже выставил вперед руку, как бы защищаясь или извиняясь за то, что вынудил Санду повысить голос. Г-жа Моску, казалось, приходит в себя то ли после обморока, то ли после сна. За несколько секунд ее лицо без кровинки снова налилось свежестью, высокий лоб расправился, она заговорила:

— Бэлэноая? Там у нас было когда-то родовое имяние.

— У тети Кристины, — моментально подсказала Симины.

— Да, да, ее наследство, — с живостью подтвердила г-жа Моску.

Санда укоризненно посмотрела на младшую сестру. Но та благочинно уставила взгляд в тарелку. При резком свете лампы ее смоляные кудри отливали тусклым блеском, как старое серебро. «Но какой ясный лоб, какой нежный румянец», — думал Егор. От Симины на самом деле нельзя было отвести глаз: черты ее лица уже определились, поражая безукоризненной, зрелой не по летам красотой. Егор чувствовал, что сидящий рядом с ним профессор смотрит на девочку с тем же восхищением.

— Что-то скучно у нас сегодня. Все разъехались, все нас покинули... — раздался голос Санды. Она обращалась больше к Егору.

Художник услышал вызов, укор в ее голосе и, с некоторым усилием оторвав взгляд от Симины, приготовился рассказать в меру пикантный анекдот, который всегда имел успех в семейных домах. «Мы неразговорчивы, потому что слишком умны...» — так начинался анекдот, но начать Егор не успел. Его опередил г-н Назарие:

— У вас, вероятно, летом бывает много гостей, здесь, в имении...

Он говорил несколько минут кряду, без передышки, как будто боялся, чтобы снова не пало молчание, — о раскопках, о красоте придунайских равнин; сетовал на нищенское положение музея древних культур... Егор украдкой поглядывал на г-жу Москву. Лицо ее выражало восторг, но было ясно, что она сейчас далеко. Санда, воспользовавшись паузой в монологе г-на Назарие, громко сказала:

— Маман, жаркое остынет...

— Какие интересные вещи рассказывает господин профессор! — воскликнула г-жа Москву и со своим неизменным аппетитом принялась за жаркое, слегка наклонив голову над тарелкой и больше ни на кого не глядя.

Впрочем, кроме нее, не ел никто. Даже г-н Назарие, голодный с дороги, не сумел осилить больше половины порции. Остальные едва притронулись к своим — такое амбре было у жаркого.

Санда властным жестом подозвала экономку, которая смиренно стояла у дверей.

— Я кому говорю не подавать больше баранины, — со сдержанным гневом процедила она.

— Где же, барышня, птицу взять? — защищалась экономка. — Которая была, я всю прирезала вчера и третьего дня. Которая сама не околела. Была одна гусыня, да я ее сегодня утречком тоже околемши нашла.

— Почему же у крестьян не купить? — вскипела Санда.

— А они не продают, — без запинки ответила экономка. — Не продают, или у них тоже... того, — добавила она со значением.

Санда покраснела и сделала ей знак убрать тарелки. Г-жа Москву доела жаркое.

— Какие прекрасные вещи рассказал нам господин профессор про Бэлэноаю! — начала она несколько нараспев. — Подумать только,

под землей — и столько разных фигурок, столько золотых украшений!..

Профессор забеспокоился.

— Золотые попадаютсЯ редко, — перебил он ее, — время золота тогда еще не настало. Да и здешняя цивилизация была аграрной, не города — селенья, хотя и процветающие. Золото же ходило больше в греческих портах...

— Находили и золото, украшения из старинного золота, я помню, — с негаснувшим упоением произнесла г-жа Москву.

— И у тети Кристины такие были, — ввернула Сими́на.

— Угомонись, — одернула ее Санда. — Тебе-то откуда знать?

— Мне мама говорила, — бойко парировала Сими́на. — И кормилица.

— Вечно кормилица забивает тебе голову всякими небылицами, — возмутилась Санда. — Ты уже большая, а на уме одни сказки!

Сими́на ответила сестре едва уловимой улыбкой, одновременно презрительной и равнодушной, потом перевела взгляд на Егора, посмотрела испытующе и важно, как бы прикидывая, чего от него ждать — тоже за нудства?..

Беседа не клеилась. Г-н Назарие обратился к Егору.

— Это замечательно, что вас увлекли придунайские степи, — заговорил он. — По-моему, еще никто не брался изображать такую природу. Первое впечатление от нее — безысходность. Кажется, что все тут пусто, выжжено солнцем, но стоит приглядеться — какое мощное, всесокрушающее плодородие! Дивные, чарующие места...

Он говорил искренне, с чувством. Егор смотрел и удивлялся. Вот тебе и книжный червь, вот тебе и бирюк. Куда девалась его угловатость? Жесты стали летучи, а слова — как соком налитые. То ли он произносил их по-особому, глубже, проникновеннее...

— Да, господин Пашкевич — прекрасный художник, но он и лентяй, каких свет не видал, — дразняще протянула Санда. — Живет у нас целых три дня и еще ни разу не взялся за кисть...

— Как прикажете понимать ваш дружеский укор? — галантно откликнулся художник. — Я мог бы понять его, например, в том смысле, что вам не терпится увидеть меня за работой, чтобы я поскорее все написал и уехал восвояси...

Санда улыбнулась ему поощряюще. Егор прекрасно понимал этот

язык, все его оттенки, полушутливые, кокетливые, капризные, и то, что за ними, — манок, зов, желание. «Санда, что ни говори, великолепна», — думал он. Хотя ее поведение в эти три дня порядком его разочаровало. Здесь, в имении, она меньше всего походила на ту раскованную юную особу, которая в Бухаресте с такой смелостью приблизила его к себе и так горячо пожала ему руку, когда он принял приглашение погостить месяц у них в усадьбе. «Мало ли что — может быть, просто стесняется других гостей», — пытался Егор оправдать ее сдержанность в первый вечер.

— ...Я и точно никуда сейчас не годен, — продолжал он, обращаясь к г-ну Назарие. — Во всяком случае, что касается живописи. То ли в погоде дело — осень, а похоже на разгар лета, так разлагающе действует...

— Но я бы его простила, если бы он исправился, — смеясь, сказала Санда. — Эти три дня были слишком шумные, столько народа, столько друзей, не до работы. А вот с завтрашнего утра уже можно и начать, теперь мы одни...

Егор поигрывал ножом. Рукам его требовалось сжать что-то твердое и холодное.

— Я тоже буду жить совершенно незаметно, — заверил г-н Назарие. — Мы будем видеться только здесь...

Г-жа Моску рассеяннo кивнула.

— Вы оказываете нам большую честь своим присутствием. — У нее вдруг прорезался неожиданно уверенный и сильный голос. — Подумать только: гордость румынской науки!..

Видимо, это словосочетание доставляло ей особое удовольствие. Егор опустил глаза, уже не так судорожно сжимая нож. Санда из-под ресниц следила за его движениями с внезапной досадой. «Он может Бог знает что подумать о маме».

— Сударыня, — недоуменно перебил хозяйку г-н Назарие, — позвольте мне отнести ваши похвалы на счет моего учителя, великого Василе Пырвана. Вот кто действительно был нашей вершиной, нашей гордостью, румынским гением...

Казалось, профессор только и ждал повода уйти в слова, отгородиться ими от этого странного застолья, от этих чудаковатых хозяев. Он говорил об учителе с жаром и благоговением: это у него он заразился страстью к археологии, это он, учитель, доказал, что румынская земля славна прежде всего древней историей.

— А прелесть раскопок, палаточной жизни, трепет перед каждым найденным предметом! Какой-нибудь железный гребень, ржавый гвоздь, глиняный черепок, убогие, никчемные вещицы — да валяйся они на дороге, за ними никто и не нагнется, для нас же они милее самой прекрасной книги и, быть может, даже самой прекрасной женщины...

Санда взглянула на Егора, улыбаясь и ожидая ответной иронической улыбки. Но тот слушал уважительно, с сочувствием.

— Иногда с простого железного гребня начинается открытие цивилизации... — снова обратился профессор к г-же Моску, и вдруг у него перехватило горло. Он осекся, остолбенело глядя куда-то поверх нее, не смея даже закрыть глаза — ведь каких только страстей не увидишь с закрытыми глазами!

— Кто будет кофе? — громко спросила в это мгновенье Санда, с шумом отодвигая стул и вставая из-за стола.

Г-н Назарие почувствовал, как холодная влага покрывает его плечи, грудь, руки, будто он медленно вступал в полосу студеного тумана. «Я просто устал», — подумал он, крепко сплетая пальцы. Скосил глаза на Егора. Ему показалось странным, как тот сидит: улыбается и тянет вверх руку, словно ученик на уроке.

— Вы тоже, профессор? — услышал он голос Санды и поспешно ответил:

— С превеликим удовольствием...

Но только увидев на столе чашечки с кофе, он понял, о чем его спрашивали, и совершенно пришел в себя. Вновь, уже без страха, он поднял глаза на г-жу Моску. Она сидела, задумчиво подперев щеку рукой. За столом молчали. Он только заметил, что Симина смотрит на него пытливо и как-то подозрительно. Будто трудясь над разгадкой тайны. Озабоченность ее была тяжелой, неприязненной. Совсем не детской.

II

Г-н Назарие очень осторожно отворил дверь. Снял со стены маленькой прихожей керосиновую лампу с прикрученным фитилем и потихоньку пошел по коридору, стараясь ступать бесшумно. Но крашенные темно-вишневые полы поскрипывали даже под ковровой дорожкой.

«Что за манера расселять гостей по разным углам!» — с некоторым раздражением думал г-н Назарие. Не то чтобы его мучили страхи, но до Егоровой комнаты надо было пройти через длинный коридор, мимо ряда дверей, и кто знает, не потревожит ли он чей-нибудь покой? Если же предположить, что все эти комнаты пустые... На этой мысли г-н Назарие задерживаться не хотел.

Комната Егора была последней. Он с облегчением постучал.

— Надеюсь, я вас не слишком потревожу, — сказал он в приоткрытую дверь. — Что-то не спится...

— И мне тоже, — откликнулся Егор, вставая с кушетки.

Комната была большая, просторная, с балконом, выходящим в парк. В углу стояла старинная деревянная кровать. Шкаф, умывальник, кушетка, изящный письменный стол, два стула и шезлонг дополняли убранство. Все же комната была такая большая, что казалась меблированной весьма скудно. Предметы отстояли далеко друг от друга, и между ними можно было свободно разгуливать.

— Очень славно, что вы пришли, — сказал Егор. — Я ломал себе голову, чем перебить бессонницу. Как-то не захватил с собой книг. Думал, что днем буду трудиться...

«А вечера проводить с Сандой», — закончил он мысленно, вслух же добавил:

— Сегодня первый раз я так рано ушел к себе. Эти дни было весело: большое общество, допоздна гуляли по парку. Но, кажется, гости очень утомляли госпожу Москву... Вы не курите? — Он предложил г-ну Назарие раскрытый портсигар.

— Нет, благодарю. Я хотел вас спросить, в этих комнатах, что нас разделяют, никто не живет?

— Похоже, никто, — с улыбкой ответил Егор. — Это комнаты для гостей. Целый этаж для гостей. Впрочем, по-моему, и внизу все комнаты пустые. Госпожа Москву живет во флигеле, вместе с дочерьми.

Он закурил и сел на стул подле профессора. Помолчали.

— Великолепная ночь! — сказал профессор, глядя в проем балконной двери.

В темноте проступали огромные, нечеткие контуры деревьев. Егор тоже обернулся. В самом деле, чудная ночь. Но попрощаться с гостями в половине десятого и уйти за мамой, как пайныка...

— Если долго не двигаться, — продолжал профессор, — и дышать вот так, редко и глубоко, почувствуешь Дунай... Я так делаю...

— Но все-таки он далековато, — заметил Егор.

— Километрах в тридцати. Или даже меньше. Та же ночь и там, одна на всех...

Г-н Назарие встал и вышел на балкон. Нет, луна будет разве что через несколько дней, понял он, натолкнувшись на мрак.

— И воздух тот же, — снова заговорил он, медленно запрокидывая голову и вдыхая ртом. — Вы, вероятно, не жили на Дунае, иначе от вас не ускользнул бы этот запах. Я чую Дунай даже из Бэрэгана.

Егор засмеялся.

— Ну, это вы хватили — из Бэрэгана!

— Нет, в самом деле, — возразил г-н Назарие. — Это ведь не то что чувствуется вода, по влажности воздуха. Это как легкие испарения глинистой почвы и таких растений с колючками...

— Довольно туманно, — с улыбкой вставил Егор.

— ...или как будто гниют целые леса, где-то далеко-далеко, а ветер доносит до тебя этот запах, непередаваемый и в то же время банальный. Его скоро узнаешь из любого места... Когда-то и здесь были леса. Леса Телеормана...

— И этот парк тоже такой старый... — сказал Егор, выходя на балкон и указывая рукой вниз.

Г-н Назарие посмотрел на него добрыми глазами, не в силах скрыть снисходительной улыбки.

— Всему, что вы здесь видите, не больше сотни лет, — объяснил он. — Акация... Дерево бедноты. Кое-где вязы...

И он пустился в разглагольствования о лесах, о деревьях.

— Не удивляйтесь, — неожиданно прервал он сам себя, кладя руку Егору на плечо. — Это мне знать необходимо. Для раскопок, конечно. И я набирался знаний — из книг, от людей, ученых и неученых, — отовсюду понемногу. Иначе как бы я установил, где мне искать моих скифов, гетов и всех прочих, кто тут обитал...

— Ну, здесь-то, вероятно, так много следов не найдешь, — сказал Егор, чтобы поддержать разговор о древней истории.

— Почему же, — сдержанно возразил г-н Назарие. — Дороги пролегли и тут, могли быть и селенья на лесных опушках, особенно вблизи

рек... Так или иначе, когда сходят вековые леса, места остаются зачарованные. Это наверняка...

Он смолк и снова стал впитывать воздух, чуть перегнувшись через перила балкона, в ночь.

— Всякий раз так радуюсь, когда узнаю Дунай, — продолжал он, понизив голос. — У него тоже чары, но сердце их легко принимает, без страха. Люди с порочья — умницы и храбрецы. Искатели приключений и оттуда бывают родом, не только с морских побережий... А лес — он, знаете ли, наводит страх, он с ума может свести...

Егор снова рассмеялся. Шагнул в комнату, к свету лампы.

— И это естественно, — не смутился г-н Назарие. — Лес пугает даже вас, юношу просвещенного, без предрассудков. От этого страха никто не свободен. Слишком много растительных жизней, и старые деревья слишком похожи на человеков, на тела человеческие...

— Не думайте, что я ушел с балкона, потому что испугался, — сказал Егор. — Я просто за сигаретой. И тут же снова к вам присоединюсь.

— Нет нужды, я вам и так верю. Не можете же вы бояться какого-то там парка из акаций, — успокоил его г-н Назарие, тоже возвращаясь в комнату и усаживаясь на кушетку. — Но то, что я вам сказал, — чистая правда. Если бы не Дунай, люди в здешних краях потеряли бы рассудок. Те люди, я имею в виду, два-три тысячелетия назад...

Егор глядел на него с растушим любопытством. «Профессор-то совсем не прост. Того и гляди заговорит в стихах, что-нибудь продуши умерших...»

— Я забыл вас спросить, — переменял тему г-н Назарие. — Вы давно знаете хозяйку дома?

— Я знаю только ее старшую дочь, и то не так давно, года два. У нас общие знакомые в Бухаресте. А госпожу Москву первый раз увидел здесь, когда приехал, несколько дней назад.

— Мне кажется, она переутомлена, — сказал г-н Назарие.

Егор кивнул. Его позабавило, с какой серьезностью профессор изрек свое замечание: как будто для этого нужна была особая проницательность, как будто он раскрывал Бог весть какой секрет. «И это он говорит мне, можно подумать, что мне за три дня не набила оскомину улыбка госпожи Москву».

— Я попал сюда в некотором роде случайно, — продолжал г-н Назарие. — Получил приглашение через префекта, он, сколько я понял, ста-

ринный друг семьи. Но чувствую себя очень неловко. Вам не кажется, что мы не ко времени? У меня, ей-Богу, впечатление, что госпожа Моску не совсем здорова...

Егор, как бы оправдываясь, признался, что и он, в первый же день заметив состояние хозяйки, не хотел здесь задерживаться. Но других гостей ее самочувствие совершенно не удручало. Возможно, они давно ее знают и привыкли. Или болезнь не такая уж серьезная; иногда, особенно по утрам, госпожа Моску очень оживлена и следит за разговором, о чем бы ни говорили.

— Ее силы как бы убывают вместе с заходом солнца, — помолчав, добавил он со значением. — К вечеру она еле жива или впадает во что-то вроде летаргии. Это тем более странно, что улыбка на лице сохраняется — как маска.

Г-н Назарие представил себе широко открытые, умные глаза хозяйки дома, улыбку, щедро освещающую ее черты и так легко вводящую в заблуждение. Нет, художник ошибается, говоря о маске, это не маска, а живое и весьма внимательное лицо; улыбка же сияет на нем в знак присутствия: тебе дают понять, что ловят каждое твое слово, что заморожены твоей мыслью. Сначала от такого внимания делается не по себе, бросает в краску. Пока не поймешь — очень быстро, впрочем, — что она вовсе не слушает. Или не слышит. Она просто следит за твоими жестами, за движениями твоих губ и знает, когда надо вступить.

— Поразительно! — продолжил он вслух. — Она знает, когда вступить, когда подать голос, чтобы тебя не тяготило ее молчание...

Егор не переставал удивляться профессору. «Лоску никакого, застенчив, как девушка, а вот поди ж ты — и ум, и чувство. Явные задатки артистической натуры».

— А мы не преувеличиваем? — спросил он, прохаживаясь по комнате. — Может быть, тут всего лишь хроническое истощение, если есть такой термин.

— Нету, — с невольной иронией отозвался г-н Назарие. — Хроническое истощение — это все равно что хроническая смерть...

Последние слова не понравились ему самому, он тоже встал, прошелся. Снова эта непонятная испарина. Он подозрительно оглянулся на кушетку, с которой встал, как будто хотел убедиться в ее индифферентности, приличной неодушевленному предмету. Нахмурился,

сердясь на себя за расшалившиеся нервы, за свою глупую, детскую мнительность.

— И все-таки, — раздался голос Егора с другого конца комнаты, — все-таки мы преувеличиваем. Мы слишком тонкокожие. Разве вы не видите, как держатся с ней дочери, особенно младшая?

Он остановился у двери, прислушиваясь. Кто-нибудь из прислуги — пробует двери, заперты ли, что там еще за дела в коридоре? Какая поступь — чуткая, легкая, ее скорее угадываешь, чем слышишь, и тем больше она раздражает. Вот скрипнула половица; ты ждешь — несколько долгих, тягучих мгновений, но звуки стихли, прислуга ступает не дыша, на цыпочках, деликатничает. «Тетеха деревенская, — выругался про себя Егор, напрасно прождав следующего скрипа, — лучше бы топала как следует, чтоб уж слышно, так слышно».

— Мне показалось, что кто-то ходит по коридору, — сказал он профессору. — Завтра вывешу на своей двери объявление: «Просьба на цыпочках не ходить!» Это нервирует — как будто вор крадется... Сюда, конечно, вору так легко не забраться, — добавил он со смешком. — А все равно нервирует...

Г-н Назарие снова вышел на балкон, перегнулся в темноту.

— Ночи пока еще теплые, — крикнул ему вслед Егор. — Мы могли бы гулять по парку. Чем сидеть тут взаперти...

Профессор не ответил. «Думает свою думу, философствует, — весело сказал себе Егор. — Но, в сущности, то, что он говорит про Дунай, не лишено логики: большая вода, открытые приветливые берега...» Он тут же увидёл Дунай, всю его красоту, мощь, надежность. «Неплохо бы сейчас оказаться там, далеко отсюда, на палубе яхты, например. Яхта плывет, покачивается, а ты расслабился в шезлонге под говор приемника или молодых голосов. Как же скоро становится скучно без шумной компании. Жизнь, общество, а без этого...» Он резко повернул голову, ему показалось, что он не один в комнате, что кто-то сверлит его взглядом; он явственно ощутил назойливый буравчик, а взгляд в спину всегда его раздражал. Однако в комнате никого не было. Профессор застрял на балконе. «Не очень-то вежливо с его стороны, — подумал Егор. — Или это от неловкости, и надо помочь, подать реплику». Он подошел к балконной двери. Г-н Назарие встретил его со светлым лицом.

— Простите, что я вас покинул, — извинился он. — Чуть не ста-

ло дурно. Кажется, я действительно уходился. Или меня угнетает место.

— Меня, может быть, тоже, — улыбаясь, ответил Егор. — Но это совершенно неважно. Сейчас меня заботит другое — что я не могу предложить вам ничего, кроме коньяка. Надеюсь, вы не откажетесь от капли коньяка.

— В другой раз отказался бы. Но я так опрометчиво выпил на ночь кофе, что теперь не откажусь. Клин клином. Если я потеряю ночь, и завтрашний день пойдет насмарку.

Егор раскрыл саквояж, достал початую бутылку и выбрал в шкафу два больших стакана. Аккуратно налил в каждый понемногу, на палец.

— Надеюсь, это поможет от бессонницы, — сказал г-н Назарие, одним махом опрокидывая стакан.

И, зарывшись лицом в ладони, стал разминать лоб и щеки.

«Хватил, как цуйку», — подумал Егор. Он потягивал свою порцию потихоньку, наслаждаясь. Алкоголь словно бы внес в комнату дух сердечности, приподнятости, товарищества. Никаких чужих взглядов больше не мерещилось. Удобно развалясь на стуле, Егор вдыхал невидимые пары из стакана. Хорошо знакомый запах, напоминание о приятных и светлых часах, проведенных с друзьями или с милыми женщинами. «Да здравствуют дары Вакха!» — мысленно провозгласил он.

— Давайте уж и сигарету, — потребовал профессор, все еще красный и помятый. — Кутить так кутить.

Он и вправду довольно успешно справился с сигаретой. Егор подлил еще понемногу коньяка в стаканы. Настроение у него поднялось, потянуло на разговор. «Как не хватает Санды, что бы ей догадаться!.. Мы отлично провели бы время в такую ночь, как сейчас, — в компании с чудак-профессором, за бутылкой коньяка. Ведь зачем еще человек едет в деревню, как не за долгими ночными беседами? В Бухаресте никто друг друга не слушает...»

— Растяните удовольствие, — шутливо предложил он, подавая стакан профессору.

Ему хотелось слов, откровенной беседы.

— Я вас еще не спросил, как вы делаете ваши археологические открытия... — начал он.

— Очень просто, — ответил профессор. — Очень...

И вдруг задохнулся. На минуту они скрестили взгляды, пытаясь понять, почувствовал ли другой то же самое, тот же мгновенный приступ ужаса, потом одновременно схватились за стаканы, залпом выпили. Профессор больше не прятал лицо в ладони, на этот раз коньяк пошел ему на пользу. Все же он не посмел вслух задать Егору вопрос, прочтя по его глазам, что и тот пережил миг давящего, липкого ужаса. Как будто кто-то приблизился к ним и расположился слушать, кто-то, кого не видишь, но чье присутствие чувствует кровь и отражают глаза товарища...

Надо было спешно заговорить о чем угодно. Егор судорожно подыскивал тему. Что-нибудь подальше от этой комнаты, от этого часа. Как назло, мозг работал вхолостую. И даже страх прошел. Да, он тоже почувствовал нечто, чему не знал подобия, смесь чудовищного омерзения и ужаса. На какую-то долю секунды. Достаточно было взяться за стаканы и сделать глоток коньяка, чтобы все стало на свои места.

— Вы бывали в Марселе? — наобум спросил он, снова разливая коньяк по стаканам.

— Да, но давно, — быстро ответил профессор. — Сразу после войны. С тех пор многое переменилось...

— Там есть один бар, рядом с отелем «Савойя», — заговорил Егор. — Называется «Морская звезда». Это точно, название я запомнил. А в баре такой обычай: если тебе пришелся по душе коньяк, надо спеть...

— Прекрасная мысль! — воскликнул профессор. — Но у меня нет голоса.

Егор посмотрел на него с сожалением. «Опять стесняется». Он поднес стакан к губам и, прежде чем сделать глоток, вдохнул в себя коньячные пары. Потом, слегка запрокинув голову, запел:

Les vieilles de notre pays
Ne sont pas des vieilles moroses,
Elles portent des bonnets roses... *

- * У нас старушек не найдешь
Угрюмых — никогда!
А в шляпках розовых — о да! (франц.)

III

В дверь стучали, и г-н Назарие решил по-настоящему проснуться. Уже добрых полчаса он плавал в полусне. Приоткрывал глаза, ощущал свежесть утра, залитую светом комнату и неудержимо засыпал. Сон был воробыный, прерывистый и оттого еще более роскошный. Борясь с ним, человек словно бы растягивал блаженство, которое вряд ли когда еще ему перепадет. И чем упорнее он сопротивлялся сну, тем неодолимее в него соскальзывал. Еще минутку, еще, еще... Как будто подспудно в нем тлела уверенность, что блаженство это эфемерно, что очень скоро он будет отторгнут от благодати этого парения и выкинут на твердую почву дня. Стук в дверь разбудил его со всей определенностью.

— Целую руку, барин!

Пожилая женщина, улыбаясь, внесла поднос с молоком.

— Я заспался. Наверное, очень поздно, — пробормотал г-н Назарие. Женщина потупилась.

Г-н Назарие потерял лоб. Голова побаливала, во рту было горько. Его вдруг охватили угрызения совести за то, что он так долго валяется в постели. Блаженство, которое никак его не отпускало, казалось ему теперь постыдным. Сразу, без всяких причин, навалились грусть, усталость, безысходность — обычные его спутники при пробуждении на новом месте. Огромная яма внутри, и все туда ухает... Но когда он вспомнил про коньяк, который распивал ночью, его взяла настоящая злость на себя. «Ну ладно, золотая молодежь прожигает жизнь, а ты-то куда?»

— Теплой водички, барин?

Нет, никакой теплой водички, никакого баловства. Г-н Назарие чувствовал необходимость наказать себя, и посуровее. Холодные обливания, вот что ему надо.

Женщина вышла, и г-н Назарие энергично соскочил с постели. Тяжесть и боль в голове не проходили. Он налил в лохань холодной воды и стал плескаться. Одно за другим припомнились ему происшествия этой ночи, и он чуть не рассмеялся. Что там ему вчера примерещилось, что за глупые страхи! Довольно посмотреть вокруг: этот яркий свет, эта осенняя свежесть, это горячее молоко, младенческий, кроткий пар над чашкой, и сразу становится ясно, что вчерашнее — ерунда, темная игра воображения. «И хоть бы еще курить умел по-человечески», — иронизировал

над собой г-н Назарие, одеваясь. Потом он присел к столу и медленно выпил до дна чашку молока, не тронув варенья и масла. Отломил кусок гренка и, хрустя, принялся заканчивать свой туалет. «Вчерашний ужин отменным не назовешь, — подумал он. — Если бы я не перебил аппетит коньяком, сегодня был бы голоден как зверь. Да, ужин не удался, и это все заметили. От жаркого разило бараном, овощи перепарены. Слава Богу, выручила мамалыга с брынзой, со сметанкой... — Он улыбнулся, взглянув в зеркало. — Какой заросший. Может быть, поэтому она спросила про теплую воду? Но теперь уже поздно, ничего, обойдусь холодной».

Он не спеша достал из чемодана бритвенный прибор и стал намыливать щеки. Веселый мотивчик выплыл на поверхность памяти и закачался, то теряясь, то прорезываясь опять:

Les vieilles de notre pays...

«Это Егор пел сегодня ночью», — вспомнил он с удовольствием. Вспомнились ему и обстоятельства, вынудившие того запеть. «Он почувствовал *то же самое*». Эта мысль вызвала улыбку. С какой легкостью он сейчас улыбался, какой далекой и нелепой казалась ему ночная сцена. Он весело водил помазком по подбородку. «И при всем при том что-то было. Как будто кто-то еще меня слушал. Я прекрасно помню. И за столом... Привиделось? Да нет, дело, пожалуй, нешуточное». Но сейчас столько света было в комнате, столько надежности в белых стенах, в клочке ясного неба, пойманного зеркалом, в ощущении душистой мыльной пены на щеках...

Г-н Назарие аккуратно укрепил бритву; каждый жест доставлял ему удовольствие, прикосновение к каждому предмету. Он начал бриться, глядя в зеркало, вытянув губы трубочкой и пытаясь придать этой гримасе изящество, чтобы не повредить симметрии лица.

* * *

Утро г-н Назарие провел, гуляя по полям без определенной цели. Мыслями он был далек от протоистории. Впрочем, никаких надежд на сколько-нибудь удачные раскопки он и не питал — слишком монотонны были здешние просторы. К северу от усадьбы, ближе к селу, правда, начинались курганы, но г-н Назарие намеренно пошел в противоположную

сторону, в поля, еще не тронутые зябью. Ни облачка, ни тени не набегало на небо, сколько хватало глаз, и все же солнце не утомляло своим светом, неизвестные птицы взмывали вверх, верещали кузнечики и сверчки: тишина великая, но живая, незастойная. Даже шум человеческих шагов вливался в эту мелодичную смесь мелких звуков, которые и были безмолвием и пустотой равнины. «Знаменитая мунтянская степь, — думал г-н Назарие. — Еще две-три недели — и все, конец каникулам. Бухарест, студенты, экзамены, рабочий кабинет. Хорошо бы хоть в Бэлэноае довести дело до конца...»

Он вернулся в усадьбу за несколько минут до назначенного для обеда часа. В парке встретил Симинову, она гуляла одна.

— Добрый день, деточка, — сердечно поздоровался профессор.

— Добрый день, господин профессор, — улыбаясь, ответила Симинова. — Вы хорошо спали?... Мама вас тоже об этом спросит, но я хотела бы узнать первая...

Ее улыбка незаметно перешла в короткий смешок. Профессор смотрел и не мог отвести глаз от ослепительно хорошенького личика. Как дорогая кукла: такая безупречная красота, что кажется искусственной. И зубки слишком белы, и слишком черны кудри, и ротик ал до неправдоподобия.

— Превосходно спал, деточка, — сказал г-н Назарие, подходя к ней поближе и протягивая руку погладить ее по головке.

Дитя и впрямь было дивное, но он вдруг почувствовал, что не посмеет ее погладить, она отталкивала своей улыбочкой, и он конфузливо убрал руку. Нет, Симинова уже не дитя. Девять лет, так было сказано вчера вечером, но сколько женственности в походке, сколько грации в мягких, округлых жестах.

— А вы не отрывали господина художника от работы сегодня ночью? — лукаво спросила Симинова, чуть сморщив лобик.

Г-н Назарие даже не попытался скрыть удивление. Напротив, он обрадовался случаю показать, что попался на Симинову хитрость, и так скорее завоевать ее дружбу.

— Откуда же ты знаешь, что я был ночью у господина художника?

— Ниоткуда, я это придумала!

Она рассмеялась. Профессор стоял перед ней, большой и неловкий. Симинова сделала серьезное лицо.

— Всегда, когда у нас двое гостей, они собираются вместе, — сказала она. — Комната господина художника самая лучшая. Туда обычно все и приходят...

Она не договорила, вернула на лицо победоносную усмешку и, подавшись к г-ну Назарие, шепотом продолжила:

— Но я думаю, что это нехорошо. Ведь господин художник работает. Он должен быть один по ночам...

При последних словах ее лицо потеряло улыбку, стало суровым, холодным, приказывающим. Профессор совсем смешался.

— Конечно, конечно, — промямлил он. — Один раз это случилось, но больше не повторится...

Симиная взглянула ему в глаза, чересчур пристально, если не сказать дерзко, и, не прибавив ни слова, крутанулась на каблуках прямо перед его носом и зашагала в парк.

«Кажется, она знает что-то, чего не знаю я, — подумал г-н Назарие. — Уж не готовится ли заговор против Егора? Свидания по ночам в парке, романтические прогулки — этим обычно начинается... Симиная, без сомнения, конфиденстка».

Г-н Назарие зашел к себе в комнату помыть руки перед обедом. «Нормально глупо посвящать в такие вещи ребенка, — думал он. — Да еще столь чувствительного, как Симиная...»

Он поспешно спустился вниз и направился прямо в столовую. Уже прозвучал гонг. А его осведомили об этом домашнем обычае: через пять минут после гонга подают обед, сколько бы персон ни собралось. В столовой все были на местах, кроме Симиной.

— Как вы почивали, господин профессор? — встретила его г-жа Москву.

Сегодня она выглядела пободрее. Или это дымчатое платье с бледно-розовым воротником ее молодило, но она была свежа, оживлена, открытые руки так и порхали над столом.

— Кажется, вы хорошо выспались, — обронила Санда, пытаясь скрыть удивление.

Экономка встала в дверях, руки за спину, глядя в пол, как будто ждала распоряжений, а на самом деле жадно слушая, что ответит профессор.

— Я спал как нельзя лучше, — ответил г-н Назарие. — Сначала, правда, не мог заснуть, но господин Пашкевич был так любезен...

Он обернул лицо к Егору. Тот улыбался, поигрывая ножом. «Неужели он все им рассказал? — подумал г-н Назарие. — И про вчерашние возлияния, и, может быть, другие интересные вещи про меня...»

— Да господин Пашкевич вам, наверное, уже рассказал, — закончил он.

— Право, не знаю, что бы я мог рассказать, — возразил Егор.

Только тогда г-н Назарие смекнул, что Егор не стал бы, постеснялся бы рассказывать, как они вчера полуночиали. Конечно, сейчас вся эта чертовщина кажется такой далекой, такой нелепой... но все же другим о ней знать ни к чему. Он посмотрел Егору в глаза. Тот делал вид, что ничего не понимает и не помнит. «Да, ему тоже стыдно, — подумал г-н Назарие. — Как и мне».

Тут в столовую быстрым шагом вошла Симиная и уселась по левую руку от г-жи Моску, сначала по кругу бегло оглядев присутствующих.

— Где вы гуляете, барышня? — обратился к ней Егор.

— Я ходила посмотреть, не пришли ли письма...

Санда покачала головой. Надо будет все-таки сделать ей замечание. Не при гостях, конечно, но все же надо будет ее как-нибудь отчитать за это пристрастие к бессмысленному вранью...

Она в испуге подняла глаза от тарелки. Кто-то ел с таким аппетитом, что в буквальном смысле за ушами трещало — и этот звук стал преобладать в комнате. В наступившей неестественной тишине слышалась только работа челюстей. Это кушала г-жа Моску. Санда обомлела. Г-жа Моску часто забывалась во время обеда и переставала скрывать свой аппетит, но таких вершин прожорливости еще никогда не достигала. Никто не смел произнести ни слова, все в оторопи сидели и слушали.

— Маман! — крикнула ей Санда.

Г-жа Моску продолжала уписывать жаркое, низко опустив голову над тарелкой. Г-н Назарие в ужасе косился на нее, Егор делал вид, что ничего не замечает. Санда подалась вперед и еще раз окликнула мать, снова безрезультатно. «Ей станет дурно!» — в отчаянии думала Санда. Тогда Симиная как ни в чем не бывало положила ручку на плечо г-жи Моску и тихо сказала:

— Я видела во сне тетю Кристину, мамочка.

Г-жа Моску тут же перестала жевать.

— Представь, и я вижу ее уже несколько ночей подряд. Такие удивительные сны!

Она деликатно сложила вилку и нож на краю тарелки и подняла голову. Г-н Назарие замер в предчувствии этого жеста: он боялся взглянуть в лицо только что очнувшейся от странного припадка женщины (иначе как потерей сознания он не мог объяснить то варварство, с каким она ела несколько минут назад), и для него полной неожиданностью было встретить на этом лице выражение покоя и внимания. Г-жа Моску, вне всякого сомнения, не отдавала себе отчета в своих недавних действиях и ничего не помнила.

— Вы будете надо мной смеяться, господин профессор, — заговорила она, — но я все равно вам признаюсь, что сны для меня — иной, лучший мир.

— Нисколько не буду смеяться, сударыня, — поспешил заверить ее г-н Назарие.

— Мама понимает под этим что-то свое, — вмешалась Санда, счастливая, что так легко удалось выйти из неловкой ситуации. — Во всяком случае, «иной мир» не в прямом смысле.

— Мне было бы очень интересно послушать, — подхватил г-н Назарие. — Предмет презанимательный.

Г-жа Моску с готовностью закивала.

— Да, да, мы как-нибудь об этом побеседуем. Но не теперь, конечно. — Она живо обернулась к Симине. — Как ты ее видела, моя девочка?

— Она пришла ко мне, села на мою кровать и сказала: «Ты одна меня любишь, Симина!» Она была в розовом платье, с кружевным зонтиком...

— Да, она всегда так приходит, — в волнении прошептала г-жа Моску.

— Потом она сказала про Санду, — продолжала Симина. — «Санда меня совсем забыла. Она теперь взрослая барышня». Прямо так и сказала. И мне показалось, что она плачет. Потом попросила мою руку и поцеловала ее.

— Да, да, так, — шептала г-жа Моску. — Она непременно целует твою руку или плечо...

Все молча слушали. Санда саркастически улыбалась, поглядывая на сестру. «Нет, надо ее отучить раз и навсегда от этой дурной привычки», — думала она с нарастающим гневом и наконец взорвалась:

— Зачем ты лжешь, Сими́на? Я уверена, что никто тебе не снился, никакая тетя Кристи́на.

— Я не лгу, — твердо возразила Сими́на. — Она правда со мной говорила. И что про тебя сказала, я очень хорошо помню: «Санда меня совсем забыла». И у нее были слезы на глазах, я видела...

— Лжешь! — ожесточенно повторила Санда. — Ничего ты не видела!

Сими́на смело по своему обыкновению выдержала взгляд сестры, потом ее ротик сложился в ироническую улыбку.

— Ну, пусть будет «не видела», — сказала она спокойно и отвернулась к матери.

Санда кусала губы. Еще и дерзкая стала, девчонка, даже гостей не стесняется. Она вдруг по-новому взглянула на Егора, и ее захлестнуло теплом. Как хорошо, что она не одна, что рядом есть человек, на чью любовь и поддержку она может рассчитывать.

— Но откуда же девочка знает тетю Кристи́ну? — нарушил молчание за столом г-н Назарие. — Ведь она, сколько я понял, умерла молодой...

Г-жа Москву встрепелась. Профессор еще не видел ее в таком воодушевлении. Наплыв волнующих, рвущихся наружу воспоминаний даже стер с ее лица неизменную улыбку. Егор не без удивления и не без опаски наблюдал, как загораются неестественным блеском, превращаются в налитые влагой линзы ее глаза.

— Кристи́ну никто из них не знал, — начала г-жа Москву, глубоко переведя дух. — Ни Санда, ни Сими́на. Санда родилась в первый год войны, девять лет спустя после Кристи́ниной смерти... Но у нас есть портрет Кристи́ны в натуральную величину, кисти самого Мири. Дети знают ее по портрету...

Она вдруг умолкла, склонив голову. Но г-н Назарие, чувствуя, что новое молчание было бы сейчас невыносимым, настойчиво повторил:

— И она умерла молодой?

— Ей было всего двадцать лет, — Санда постаралась опередить мать с ответом. — Она была лет на семь старше мамы.

Но г-жа Москву не заметила ее вмешательства. Затихающим, гаснущим голосом, словно впадая в очередной приступ изнеможения, она продолжала:

— Кристи́на умерла вместо меня, несчастная. Нас с братом отослали в Каракал, а она осталась. Это было в девятьсот седьмом. И ее убили...

— Здесь? — с невольным нажимом спросил г-н Назарие.

— Она переехала сюда из своей Бэлэноаи, — опять вступила Санда. — Имение тогда, до экспроприации, было гораздо больше, как вы понимаете... Но это не укладывается в голове... Потому что крестьяне так ее любили...

Егору вдруг стало не по себе. Он уже раз слышал эту историю, эту, да не совсем. Некоторые детали упоминались при нем впервые, о других — не в пример важнее — кажется, говорить не собирались. Он попытался взглянуть Санде в глаза, но та, как будто не желая развития темы, поспешила объявить:

— Кофе на веранде, господи!

— Представляю, какой это был тяжелый удар для вас, — счел нужным выразить свое соболезнование хозяйке г-н Назарие.

В ответ г-жа Моску радушно закивала головой, словно принимая обычные слова вежливости, с какими гостям надлежит подниматься из-за стола.

* * *

Кофе накрыли на веранде. Сентябрьский день был особенно прозрачен, небо неправдоподобно синело и деревья застыли, будто были задуманы неподвижными от сотворения мира.

«Пора», — сказал себе Егор. И когда на пороге столовой Санда оказалась совсем близко, он непринужденно взял ее под руку. Она была податлива, он уловил ее волнение, нетерпеливую дрожь тела — все шло как надо. Правда, миг спустя она отпрянула, но даже в этом жесте Егор предпочел усмотреть надежду. Теперь предстояло ее разговорить. Взяв чашечку кофе, он начал:

— Чем занимается Санда после обеда?

— Хочу попросить у господина художника позволения посмотреть, как он будет работать в парке.

Егор хотел было отшутиться, но увидел подле суровое лицо Симины, ее напряженный взгляд, девочка словно пыталась понять, что тут происходит без ее ведома.

— Господин Пашкевич, — раздался голос хозяйки дома, — не хотите ли взглянуть на портрет Кристины? Говорят, это лучшая работа Мири.

— Если у Мири вообще может быть что-нибудь хорошее, — иронически заметил художник.

— Вы же не видели, а говорите! — обиженно возразила Санда. — Я уверена, что вам понравится.

Ее горячность озадачила Егора. Он стоял с чашкой в руках между двумя сестрами и потерянно думал: «Черт меня дернул за язык. Если хочешь завоевать помещицью дочку, держи при себе свой снобизм. Кроме эстетических, есть и другие мерки...»

— Даже посредственный художник способен создать шедевр, если сумеет хоть раз в жизни возвыситься над собой, — нравоучительно изрек г-н Назарие.

— Миря был великий художник, — сказала г-жа Москву. — Миря — вершина румынского искусства. Отечество вправе им гордиться...

Г-н Назарие смеялся и покраснел. А г-жа Москву в волнении поднялась и слабым манием руки пригласила всех за собой. Ничуть не спокойнее были Санда с Симиной.

«Все, что касается этой злополучной Кристины, для них просто свято, — думал Егор. — Пожалуй, это говорит об их незаурядности. Причислить обожаемую покойницу к лику святых и поклоняться — пусть самой тривиальной иконе... Да, Санда — чудо. Так любить и так чтить тетюшку, которую никогда не знала!» Даже и маленькую Симику Егор теперь мысленно извинял. «Вот кто поистине избранницы, элита, я рядом с ними просто чурбан».

— Простите, тут неприбрано, — сказала Санда, отворяя массивную белую дверь. — Мы в эту гостиную редко заходим...

Оправдание было уместным. На них пахло сухой медуницей, застоявшимся, стильным воздухом — прохладой томительной, искусственной. Егор поискал глазами товарища. Г-н Назарие не смел дохнуть от скромности и старался держаться как можно незаметнее. Следом, замыкающей, шла Симица. Торжественное волнение придавало ей женскую бледность, неестественную для детского личика. «Нет, какие в самом деле чуткие натуры», — еще раз подумал Егор.

— Девушка Кристина! — представила г-жа Москву. — Всеобщая любимица...

Профессор почувствовал, как ужас взял его когтями под ребра. Девушка Кристина смотрела прямо ему в глаза с портрета Мири и улыбалась.

Это была очень юная девушка с черными локонами до плеч, в длинном платье с высокой и тонкой талией.

— Что скажете, господин художник? — спросила Санда.

Егор остановился поодаль, сиюсь разобраться, откуда этот наплыв щемящей грусти, что такого в этой девушке, которая смотрит ему в глаза, улыбаясь, как знакомому, будто именно его она выбрала из всей группы, чтобы посвятить в свое бесконечное одиночество. Тоска была на дне ее глаз. Напрасно она пыталась улыбаться, напрасно поигрывала голубым зонтиком и потихоньку ото всех ломала бровь, как бы приглашая его посмеяться вместе с ней над огромной, перегруженной цветами шляпой, которую она, конечно, терпеть не может, но мама велела: «Барышне не полагается позировать неглиже». Девушка Кристина изнывала от этого стояния. «Она предчувствовала, что скоро умрет?» — спрашивал себя Егор.

— Значит, нравится, — торжествующе заключила Санда. — Раз молчите, значит, нравится.

— С такой моделью — и не создать шедевра... — тихо проронил Егор.

У Кристины лукаво блеснули глаза. Егор потер лоб. Какой все-таки странный запах в этой комнате. Уж не ее ли это комната? Он скосил глаза в сторону. Санда сказала: гостиная, но там, в углу, стоит большая белая кровать под пологом. Он снова вскинул глаза на портрет. Девушка Кристина ловила каждое его движение. Егор легко читал в ее глазах: она заметила, что он обнаружил кровать, и не покраснела. Напротив, встретила его взгляд даже несколько вызывающе. «Да, это моя спальня, и там моя постель, моя девичья постель», — как будто говорили ее глаза.

— А господин профессор что скажет? — прозвучал голос Санды.

Г-н Назарие все это время простоял в оцепенении, не в силах стряхнуть накативший на него ужас: ему показалось, он снова видит призрак, туманную фигуру, давеча в столовой вставшую за креслом г-жи Москву. Он очнулся, лишь когда поймал на себе подозрительный, испытующий взгляд Симины.

— По-моему, великолепная работа, — решительно произнес он.

Он вдруг успокоился. Неестественный покой, как пролог к полному бесчувствию, установился в душе. Странно пахло в этой комнате: не смертью и не погребальными цветами, а как бы остановленной юностью, остановленной и хранимой здесь, в четырех стенах.

Чьи-то давние-давние молодые лета. Словно бы и солнце не бывало в этой комнате, и время не искрошило ничего. Ничего здесь не изменилось, не обновилось с тех пор, как умерла девица Кристина. Этот запах — запах ее юности, чудом сохранившееся веяние ее духов, тепло ее кожи. Каким-то образом г-н Назарие понимал теперь эти бесконечно далекие от него мелочи. Он сам удивлялся той легкости, с какой понимал их и принимал.

— Великолепно, ничего не скажешь, — повторил он, решаясь еще раз поднять глаза на портрет.

Нет, это не тот давешний призрак. Хотя сходство есть. На девицу Кристину можно смотреть спокойно. Она напугала его только в первую секунду. Кристина очень похожа и на г-жу Москву, и на Симинову. А ему померещилось. От той, *другой*, исходил леденящий ужас, в портрете ничего такого нет. Дух комнаты, ее печаль и безнадежность идут от чего-то иного и по-иному говорят душе.

— Я бы хотел как-нибудь написать ее, — сказал Егор. — Не копию сделать с портрета, а написать по-своему...

Санда в испуге дернула его за рукав, шепнула:

— Тсс! Не дай Бог, мама услышит.

Егор не понижал голоса, но г-жа Москву, опустившаяся в зачехленное белым холстом кресло, ничего по своему обыкновению не слышала. Она блуждала глазами по комнате. По-особому пульсировала здесь жизнь. Сюда она прибегала мыслью, хотя не в это конкретное пространство, не в это настоящее время. Егор взглянул на нее через плечо и понял: г-жа Москву постоянно возвращается сюда, в эту комнату, но в происшествии той поры.

— ...Слава Богу, не услышала, а то бы ей на самом деле стало плохо, — все так же шепотом продолжала Санда. — Она редко кого сюда приводит. Для вас сделано исключение. И потом, вы не знаете одной вещи...

Но рядом уже возникла Симинова. Г-н Назарие тоже направлялся к ним, вероятно предполагая, что уже прилично покинуть комнату.

— А тете Кристине понравилось бы, если бы ее еще раз нарисовали, — сказала Симинова. — С чего ты взяла, что мама не захочет?!

— Ты, конечно, больше всех знаешь, Симинова, — отрезала Санда, смеясь девочку строгим взглядом, и, повернувшись к ней спиной, позвала г-жу Москву:

— Матап, довольно уж! Пора идти...

— Может быть, ты оставишь меня еще на минутку? — попросила та. Санда протестуяще помотала головой.

— С Симиной... — просила г-жа Москву.

— С ней тем более. — Санда сгладила свой отказ улыбкой и взяла мать под руку. За ними, избегая смотреть друг на друга, двинулись Егор и г-н Назарие. На веранде Егор закурил, сначала предложив портсигар профессору. Тот отказался, усмехнувшись, и тихо проговорил:

— Нет, дорогой маэстро, по-моему, *это не то...*

Тут к ним подошла Санда. Суровое педагогическое выражение улетучилось с ее лица. Санда снова была кокетливой и весьма снисходительной барышней.

— Мы готовы к трудам, господин художник? — проворковала она.

Профессор был рад случаю ретироваться в столь подходящий момент.

IV

В тот день после обеда Егор ничего не наработал. Он долго таскал этюдник по парку, примерялся к разным живописным уголкам, но в конце концов сложил свои орудия производства в корнях старого вяза и предложил Санде просто прогуляться.

— В такой денек грех работать, — сказал он в свое оправдание. Потом спросил, много ли она знает стихов про осень. Спросил, как на экзамене, и пришлось выслушать целый концерт. Он-то хотел поскорее сменить тон на интимный, может быть, перейти к признаниям, стихи — хорошая прелюдия к любви, особенно когда вокруг такая осень, настраивающая на возвышенный лад. А получился перебор. Время уходило. Надо было сдвинуться с места. И он решил обратиться к Санде на «ты»:

— Кстати, Санда, что ты думаешь о профессоре Назарие?

— Я думаю, он себе на уме, — сдержанно ответила Санда, как бы пропустив мимо ушей фамильярность обращения. — Вы заметили, как он часто меняется в лице? Не поймешь, какое оно у него на самом деле.

Егор засмеялся. Его действительно позабавил этот ответ. И, кроме того, они спустились с небес на землю — теперь уместны были и шутки, и

флирт. В конце аллеи он обнял Санду за талию. Но она — наверное, чтобы позлить, — назвала его «господин художник».

Пора было идти к вечернему чаю. У крыльца вышагивала взад и вперед, поджидая их, Сими́на. Г-жа Моску читала на веранде французский роман. Г-н Назарие заранее предупредил, что будет только к ужину. Он ушел осматривать курганы.

Чаепитие прошло в молчании, только Санда с Егором изредка перебрасывались словом. Сими́на казалась чем-то озабоченной. Она первая встала из-за стола, прежде сложив салфетку и подобрав со скатерти крошки на тарелочку.

— Ты куда, Сими́на? — спросила Санда.

— К кормилице, — бросила девочка уже с порога, не оборачиваясь.

Проследив глазами, пока та не скрылась за деревьями, Санда строго обратилась к матери:

— Мне совсем не нравится эта дружба. Кормилица девочке только голову забивает...

— Да, да, я ей столько раз говорила... — оправдывалась г-жа Моску.

— Чем же она забивает ей голову? — поинтересовался Егор.

— Бог знает какими нелепыми сказками, — раздраженно ответила Санда.

— Но ей положено жить в окружении сказок, в девять-то лет, — заметил Егор. — Самое время для фольклора.

Санда поморщилась с досадой. Она многое могла бы возразить, но ограничилась одной фразой:

— Это довольно странный фольклор — кормилицыны сказки.

* * *

Насколько странен этот фольклор, Егор смог убедиться в тот же вечер. Он пошел на прогулку вокруг парка — смотреть заход солнца. Прислонясь к акации на опушке, он наблюдал, как западает за край поля пылающий шар, «далёко и недалёко»... Присказка вспомнилась кстати. «Лучше, чем в том народном стишке, про закат в степи не скажешь. И как все на миг замирает, когда падает солнце, и как чудно потом одушевляется тишина... Комары только тут ни к чему!» — думал Егор, закуривая в целях самозащиты.

Но душистая прохлада, пахнувшая пылью и травами, отнимала у сигареты всякий вкус. Он бросил ее на дорогу и, войдя в парк через боко-

вую калитку, не спеша пошел к усадьбе. Слева тянулись домишки, хозяйственные постройки, огороды. Егор спрашивал себя, кто присматривает за всем этим, кто ведет дела, платит слугам, продает урожай. Муж г-жи Моску несколько лет как умер, золовка живет в другом конце страны, в своем имении. Может быть, все-таки управляющий, который был еще при муже?

В окнах зажигались лампы. «Там кухни и комнаты прислуги», — определил Егор, проходя мимо ряда белых, прилепившихся друг к другу мазанок с низкими завалинками. Сновали женщины, дети пугливо таранились на барина. По-деревенски пахло сеном, скотиной, молоком. «Ночь будет великолепная», — подумал Егор, запрокидывая голову к высокому прозрачному небу.

— А собак вы не боитесь?

Голосок Симины прозвучал так неожиданно, что Егор сбился с шага. «Как же она подкралась ко мне, что я не заметил?»

— А тебе не страшно одной тут расхаживать?

— Я была у кормилицы, — спокойно объяснила Симиная.

— До сих пор?

— У кормилицы были дела, а я просто сидела...

— И слушала ее сказки, да?

Симиная постно улыбнулась. Отцепила репейник с подола платица, разгладила складочки, весьма искусно медля с ответом.

— Это вам Санда наговорила. Да, слушала. Кормилица рассказывает мне каждый день по сказке. Она их много знает...

— Сегодня была очень длинная сказка, если ты только сейчас идешь домой, — заметил Егор.

Симиная снова улыбнулась с той же поддельной кротостью. Встретясь с ней глазами, Егор испытал неприятное чувство, что его заманивают в ловушку, что тут работает ум хитрый и острый, никак не детский.

— Сказка была короткая, — ответила Симиная. — Но кормилица выдавала жалованье людям, потому что это она у нас всегда выдает жалованье...

Последние слова она проговорила особенно четко, с расстановкой, как будто знала, о чем он думал по дороге к усадьбе, и решила между делом прояснить его недоумения. Егор даже растерялся. Эта девочка уга-

дывала его мысли, просто-напросто читала их. Как тонко она подчеркнула последние слова, а потом — пауза, глазки долу...

— Короткая сказка, совсем коротенькая, — дразнила она.

Конечно, она подстрекала его, ждала, что он попросит ее рассказать сказку. Все в Егоре противилось, хотя он не понимал, в чем тут искушение. Симины томительно молчала, выжидая, замедляя шаг.

— Ну, Расскажи, — сдался наконец Егор.

— Это сказка про пастушьего сына, который полюбил мертвую принцессу, — тихо произнесла Симины.

Слова так дико прозвучали из детских уст, что Егора передернуло.

— Какая скверная, какая глупая сказка! — Он не скрывал возмущения. — Нет, Санда была права.

Симину несколько не смутила эта вспышка. Она дала его возмущению улечься, потом, не повышая голоса, продолжала:

— Такая уж сказка. Такой жребий выпал пастушьему сыну.

— Ты знаешь, что такое жребий? — удивился Егор.

— Жребий, доля или судьба, — отчеканила Симины, как на уроке. — Каждый человек рождается под своей звездой, у каждого — свое счастье. Вот...

— Смотри какая умная! — с улыбкой заметил Егор.

— Жил-был пастух, и был у него сын, — затараторила Симины, не давая больше перебивать себя. — И когда он родился, феи-вещуньи предсказали: «Ты полюбишь мертвую принцессу!» Его мама, как услышала, стала плакать. И тогда другая фея, их было вообще три, сжалилась над ее горем и сказала: «И принцесса тебя тоже полюбит!»

— Ты непременно хочешь дорассказать мне эту сказку до конца? — не выдержал Егор.

Взгляд девочки выразил недоумение — невинный и в то же время холодный, обдающий презрением взгляд.

— Вы же сами меня попросили...

И Симины надолго смолкла, подавляя его молчанием. Они находились на середине главной аллеи. Сзади, уже вдалеке, поблескивали огоньки дворовых построек. Впереди, в потускневшем от сумерек воздухе, выросло серое пятно усадьбы.

— А другую сказку, повеселее, ты не знаешь? — спросил Егор, чтобы

нарушить молчание.— Например, ту, что кормилица рассказывала тебе вчера или позавчера...

Сими́на глубоко вздохнула и остановилась, как-то нарочито повернувшись спиной к громаде господского дома. Странное напряжение появилось в посадке ее головы.

— Вчерашняя сказка очень длинная,— проговорила она.— А позавчерашняя вовсе не сказка, а настоящее происшествие. *С девицей Кристиной...*

У Егора мороз прошел по коже. Темнота внезапно пала здесь, среди деревьев, где Сими́на решила остановиться. Ее глаза засверкали, зрачки расширились, шея неестественно напряглась. А этот зловещий голос! Да, она была мастерицей выделить слово, вложить в него смысл, ей угодный, каленым железом выжечь его в твоём сердце.

— Что еще за «девица»? — сорвался Егор.— До сих пор ты звала ее тетей, она ведь тебе доводится тетей...

— Она меня попросила не называть ее так, а то она себя чувствует старой...

Егор с трудом взял себя в руки; его так и подмывало обрушить ярость на эту маленькую бестию, которая врет ему с таким дьявольским бесстыдством.

— Кто тебя попросил? Как может тебя попросить кто-то, кто тридцать лет назад умер?!

Голос у него был грозный и взгляд суровый, но Сими́на заулыбалась: столько удовольствия доставлял ей гнев мужчины, такого большого и сильного человека, гнев, который вызывала она, пигалица неполных десяти лет...

— Она меня попросила сегодня ночью, во сне...

Егор на секунду заколебался. Но ему хотелось дойти до конца, понять, что скрывается в головке этого пугающего своими повадками чада.

— И все же сегодня, у портрета,— сказал он,— я слышал, как ты назвала ее тетей Кристиной.

— Неправда,— твердо отрезала Сими́на.— Сегодня я не говорила «тетя Кристина».

Ее уверенность заставила Егора усомниться в своей правоте. Но какая непререкаемая уверенность и какая победоносная усмешка! Надо будет поговорить с Сандой, а может быть, и с г-жой Моску. Он вдруг осо-

знал нелепость ситуации: стоит тут, в темноте, посреди аллеи, меряясь силой с ребенком, — и решил тронуться с места, потому что Симиная идти к дому явно не собиралась. Но при первом же его движении девочка с криком вцепилась в него. Сам испугавшись, он взял ее на руки. Симиная приложила ладошки к Егоровым щекам, отворачивая его лицо от дома.

— Мне показалось, что за нами кто-то идет, — прошептала она, кивая в ту сторону парка, откуда они пришли. Егор покорно смотрел в темноту, и смотрел долго, чтобы ее успокоить.

— Никого там нет, девочка, — уговаривал он ее. — Ты просто трусишка. И немудрено, если ты каждый день слушаешь глупые сказки.

Он держал ее на руках, ласково прижимая к себе. Как странно — сердечко ее не трепыхалось от волнения и тельце было спокойное, теплое, податливое. Никакой дрожи, ни капельки пота. И личико ясное, довольное. Егор вдруг понял, что его надули, что Симиная притворилась испуганной и вцепилась в него, чтобы помешать ему повернуть голову к дому. Когда он это понял, его пронизало яростью вперемежку с ужасом. Симиная тут же почувствовала, как напряглись его мышцы, как изменился пульс.

— Пустите меня, пожалуйста, — кротко попросила она. — Уже все прошло...

— Зачем ты мне соврала, Симиная? — в исступлении прорычал Егор. — Ведь ты ничего не видела, а? Ничего — по крайней мере там...

Он вскинул было руку, указывая на недра парка, но рука дрожала, и он поспешно ее опустил. Однако не так быстро, чтобы Симиная не заметила этой слабости. Она смотрела на него с усмешкой и не отвечала.

— Может быть, ты увидела что-то в другой стороне... — продолжал Егор.

Но обернуться на дом он все же не посмел и не посмел сопроводить свои слова взмахом руки. Он по-прежнему стоял к усадьбе боком, вконец обескураженный тем, что Симиная, по-видимому, угадывала самые тайные его страхи и сомнения.

— ...что-то, чего ты не хотела, чтобы видел я, — через силу добавил он.

Ему стало по-настоящему жутко. Симиная стояла перед ним, руки за спину, и кусала губы, чтобы не расхохотаться. Это почти открытое издевательство никак не могло развеять необъяснимого ужаса, который его обуял.

— Можете не бояться, обернитесь, — сказала Сими́на, вытягивая ручку в сторону дома. — Вы ведь мужчина, вам нельзя бояться... Не то что мне, — прибавила она, потупясь.

И вдруг резко двинулась к дому. Егор потащился следом, стиснув зубы, дыша часто, неровно.

— Я на тебя, Сими́на, пожалуюсь, так и знай, — пригрозил он.

— А я так и знала, господин художник, — не повернув головы, ото-звалась Сими́на. — Извините, что я попросилась к вам на руки, это от испуга. Мама меня не похвалит за такую невоспитанность. Вы будете правы, если пожалуетесь...

Егор схватил ее за руку и дернул к себе. Девочка поддалась без всякого сопротивления.

— Ты прекрасно знаешь, что речь *не о том*, — наклонясь к ней, проговорил он отчетливо.

Но о чем — ему самому трудно было бы сказать. Он знал одно: Сими́на вовсе не испугалась и принудила его смотреть в другую сторону, чтобы он не увидел того, что увидела она. Вот только *почему* она не испугалась?

— ...Да, правда, глупо получилось, — сказала Сими́на.

Они были уже у веранды. В другой раз Егор поднялся бы к себе — помыть руки перед едой, но сейчас он отказался от столь долгой процедуры, а зашел в каморку при столовой, где тоже был умывальник. На пороге его встретил, словно поджидая, г-н Назарие.

— Если вы свободны после ужина, давайте пройдемся, — предложил он. — Я расскажу вам кое-какие любопытные вещи — меня просветили сегодня в селе.

— Я тоже припас для вас кое-что интересное, — с улыбкой подхватил Егор.

Ужас и ярость, испытанные им в парке, как рукой сняло. Он даже сожалел, что не сумел овладеть собой при ребенке. «С Симиной дело серьезное, — сказал он себе, — с ней надо держать ухо востро». Но не эти резонные мысли его успокоили, а свет, который он нашел в доме, присутствие нормальных живых людей.

Сели за стол. Егор время от времени поглядывал на Сими́ну, каждый раз встречая те же невинные глаза, ту же хорошо маскируемую самонадеянность. «Думает, я не пожалуюсь, не выдам ее». Он лелеял

свой сюрприз. Санда сидела рядом с ним, он заметил, что вид у нее усталый.

— Мне что-то сегодня нездоровится, — объяснила она.

Г-н Назарие разглагольствовал о курганах, о своих наблюдениях и о том, как трудно вести раскопки наугад. Однако говорил он без прежнего пыла и энтузиазма, как будто просто находил нужным отчитаться о проведенном дне и боялся молчания за столом.

— А знаете, Сими́на рассказала мне сказку, которую только что услышала от кормилицы... — вклинился в паузу Егор.

Санда густо покраснела и обернулась к сестре.

— Только что? Но кормилица после обеда уехала в Джурджу за покупками и еще не вернулась, я сама недавно о ней справлялась, — сказала она возмущенно. — Сими́на, тебя придется наказать, и строго.

Егор не знал, на кого ему смотреть. Даже г-жа Москву очнулась от своего обычного забытья.

— Так как же с сегодняшней сказкой, барышня? — со злорадством спросил наконец Егор, ощущая, какое это сладострастное удовольствие — мстить ребенку, мучить его, когда он в твоей власти.

Однако взгляд Сими́ны обдал его таким презрением, что в нем снова вспыхнула ярость.

— Эту сказку я знаю давно, — вежливо ответила Сими́на.

— Зачем же тогда это бессмысленное вранье? Зачем? — допытывалась Санда.

— Отвечай, не бойся, моя девочка, — вмешалась г-жа Москву. — Не бойся наказания. Если ты ошиблась, скажи смело.

— Не скажу, не могу... — спокойно возразила Сими́на. — А наказания я не боюсь.

Она смотрела на Санду такими ясными, без малейшего смущения глазами, что та вышла из себя.

— Ты останешься без сладкого и ляжешь спать тотчас же, — объявила она. — Софья тебя отведет.

Сими́на, казалось, на секунду утратила равновесие: побледнела, поджала губы, взглядом ища поддержки у матери. Но г-жа Москву только растерянно пожала плечами. Тогда к Сими́не вернулась ее дерзкая усмешка, она встала из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, поцеловав мать в щеку, удалилась.

— Как мне жаль нашу маленькую барышню, — сказал г-н Назарие. — Такое милое дитя... Может быть, не нужно было прибегать к столь строгому наказанию?

— Мне тоже ее жалко, тем более что я знаю ее чувствительность, — отвечала Санда. — Но надо отучить ее от этой привычки лгать, причем без всякой причины...

Г-жа Моску одобрила ее кивком головы. Все же сцена произвела на нее тягостное впечатление, и она до конца трапезы замкнулась в молчании.

— Убедились теперь, что за сказки она слушает, — тихо сказала Егору Санда.

Егор брезгливо передернул плечами. Однако он не был уверен, что Санда в полной мере понимает, как обстоит с ее младшей сестрой.

— Что самое серьезное, — начал он, — мне кажется, не все ее сказки идут от кормилицы. Многие она придумывает сама...

И тут же понял, что совершил промах: Санда вскинула на него глаза, и в них были лед и суровость.

V

Оставшись одни, Егор с г-ном Назарие направились к воротам. Довольно долго они шли молча, потом г-н Назарие решил:

— Вы не сочтете меня бестактным, если я позволю себе задать вам один деликатный вопрос?... Гм... Вы действительно влюблены в дочь госпожи Моску?

Егор впал в раздумье. Его смутила не столько нескромность вопроса, сколько собственная неуверенность: что ответить. По правде говоря, он и сам не знал, действительно ли он, как подчеркнул г-н Назарие, влюблен в Санду. Да, она ему очень нравилась. Флирт, возможно, даже любовная интрига — этому он шел навстречу с радостью. Кроме всего прочего, Санда ценила в нем художника, подогревала его скрытое честолюбие. В общем, дать односложный ответ было трудно.

— Я вижу, вы колеблетесь, — сказал г-н Назарие. — Надеюсь, вас не оскорбила моя прямолинейность — мне не хотелось бы толковать ваше

молчание в таком смысле... Но если вы не влюблены по-настоящему, я вам советую уехать отсюда немедленно. Тогда бы уехал и я, завтра же, может быть, еще до вас...

Егор приостановился, чтобы лучше вникнуть в смысл сказанного.

— Случилось что-то серьезное? — спросил он вполголоса.

— Пока нет. Но мне не нравится этот дом, очень не нравится. Проклятое место, это я почувствовал с первого же вечера. Нездоровое место, хоть они и насадили тут вязов с акациями...

Егор рассмеялся.

— Ну, это не причина, — сказал он. — Можно спокойно закурить. .

Г-н Назарие с видимым волнением следил за его движениями.

— Вот и сигарета могла бы вам кое-что напомнить. Вы забыли — прошлой ночью, у вас в комнате?..

— Да, как-то совсем забыл. Если бы не одно сегодняшнее происшествие... Могу вам рассказать...

— Я вижу, вы все-таки влюблены и уезжать вам не хочется. Что ж, дело ваше. Но я подозреваю, что вам будет трудно, очень трудно... Вы по крайней мере верите в Бога, молитесь Пресвятой Деве на ночь, осеняете себя крестным знамением, прежде чем лечь в постель?

— Не имею такой привычки.

— Тем хуже, тем хуже. Хотя бы к этому надо себя приучить...

— Да что же такого, в конце концов, вам наговорили в селе?

— Разного... Я ведь и сам чувствую, как на меня давит этот дом, а я никогда не обманываюсь. Нет, правда, я не набиваю себе цену, мне можно доверять в таких вещах. Я долго жил один, в глуши, еще до того как занялся раскопками. И вообще я, можно сказать, крестьянский сын. Мой отец служил жандармом под Чульницей. Вы не смотрите, что у меня лысина и кабинетный вид. Нюх у меня безошибочный. Я ведь тоже в некотором роде поэт. Правда, с лицейских времен стихов больше не писал, но все равно это никуда не ушло...

Егор с изумлением слушал нервное и непоследовательное словоизлияние профессора. Г-н Назарие забрался в такие дебри воспоминаний и утонченных переживаний, из которых выбраться, по мнению Егора, не было никакой надежды. Речь профессора, вначале разумная и взвешенная, незаметно приобрела горячечные интонации, как будто у него начался бред, голос осип, дыхание участилось. «Зачем он мне все это гово-

рит? Чтобы оправдать свой отъезд?» — думал Егор и наконец решил вмешаться, произнеся как можно спокойнее:

— Господин профессор, у меня впечатление, что вы *чего-то* боитесь...

Невольно сделав акцент на неопределенное местоимение, он вдруг снова почувствовал беспричинный, жуткий холодок, пробежавший вдоль позвоночника, как несколько часов назад, с Симиной.

— Да, да, — пробормотал г-н Назарие. — Я боюсь, правда. Но это не имеет никакого значения...

— Полагаю, что все-таки имеет, — сказал Егор. — Мы взрослые люди, и нам не к лицу малодушие. Хочу вас предупредить: я уезжать не намерен.

Ему понравился собственный голос, твердый и бестрепетный, принятое решение придало ему храбрости и веры в себя. «В самом деле, мы же не дети...»

— Не знаю, насколько я влюблен в дочь госпожи Моску, — продолжал он тем же мужественным голосом, — но я приехал сюда на месяц и месяц пробуду. Хотя бы для того, чтобы испытать нервы...

Он засмеялся, хотя и довольно натянуто, — слишком уж торжественно прозвучало обещание.

— Bravo, юноша, — возбужденно откликнулся г-н Назарие. — Но я все же не настолько напуган, поверьте, чтобы потерять способность к здравому рассуждению. Так вот, рассуждая здраво, я вам не советую оставаться. Добавлю: себе я тоже не советую, хотя остаюсь и я.

— Вот и ладно, а то уехать так, вдруг...

— Но я был бы не первым гостем, который уезжает отсюда через пару дней по приезде, — произнес г-н Назарие, глядя в землю. — Сегодня в селе я узнал весьма странные и весьма страшные вещи, юноша...

— Пожалуйста, не называйте меня «юноша», — перебил его художник. — Зовите Егором.

— Хорошо, буду вас звать Егором, — послушно согласился г-н Назарие и впервые за этот вечер улыбнулся. — Так вот, — начал он, оглянувшись по сторонам, как будто их мог кто-то подслушать, — с этой девицей Кристиной дело нечисто. Красавица не принесла чести своему семейству. Чего только о ней не рассказывают...

— Что ж вы хотите — народ, — сентенциозно изрек Егор.

— Положим, я народ знаю, — возразил г-н Назарие. — Просто так не возникнет легенда, да еще со столь неприглядными подробностями. Потому что подробности, скажу я вам, гнуснее некуда... Можете ли вы себе представить, что эта девица благородного звания заставляла управляющего именем бить плетью крестьян в своем присутствии, бить до крови? Сама срывала с них рубаху... и все прочее. С управляющим она сожительствовала, об этом знало все село. И он стал настоящим зверем, жестокости немыслимой, патологической...

Г-н Назарие смолк, у него язык не поворачивался пересказать все, что он услышал, что боязливым шепотом наговорили ему крестьяне в корчме и потом по дороге, провожая до усадьбы. Особенно вот это: как барышня любила взять цыпленка и живьем свернуть ему шею... Столько дикостей, кровь стынет в жилах, даже если не всему верить.

— Кто бы мог подумать! — покачав головой, сказал Егор. — По ее внешности никак такого не заподозришь. Но все ли тут правда? За тридцать лет факты наверняка смешались с вымыслом...

— Может быть... Так или иначе, в селе о девице Кристине помнят весьма живо. Ее именем пугают детей. И потом, ее смерть... Тут тоже есть над чем задуматься. Ее ведь не крестьяне убили, а тот самый управляющий, с которым она сожительствовала, и не один год. Что за дьявол в ней сидел, скажите на милость, если она уже лет в шестнадцать-семнадцать вступила на скользкую дорожку? Да еще эта склонность к садизму... Так вот, он ее убил из ревности. Начались крестьянские бунты, и...

Г-н Назарие снова смолк, в замешательстве. Говорить дальше он не решался — дальше шло нечто совсем несусветное, поистине дьявольское.

— Что, дальше совсем нельзя? — шепотом спросил Егор.

— Да нет, можно, наверное... Только это уже за всякой гранью. Люди говорят, что сошлись крестьяне из окрестных поместий, и она зазывала их по двое к себе в опочивальню — якобы раздавать имущество. Объявила, что хочет, по дарственным, разделить все свое имущество, только бы ее не убивали... А на самом деле отдавалась всем по очереди. Причем сама их завлекала. Принимала их голая, на ковре, по двое, одного за другим. Пока не пришел управляющий и не застрелил ее. И всем рассказал, что это он убил. Потом, когда прислали войска, бунтовщиков частью расстреляли — и управляющего тоже, — а частью отправили на каторгу, да

вы это знаете... Так что прямых свидетелей не осталось. Но до семьи, до родных и до близких друзей правда все равно дошла.

— Немыслимо, — прошептал Егор.

Он нервно достал еще сигарету.

— Такая женщина не может не оставить следа в доме, — продолжал г-н Назарие. — То-то у меня все душа была не на месте, словно что-то давит... А если подумать, что даже тела ее не нашли, похоронить... — добавил он, помявшись, не зная, нужно ли сообщать и эту подробность.

— Сбросили, очевидно, в какой-нибудь пересохший колодец, — предположил Егор. — Или сожгли.

— Сожгли? — задумчиво повторил г-н Назарие. — В народе не очень-то принято сжигать трупы...

Он остановился, напряженно озираясь по сторонам. Парк с его деревьями остался далеко позади. Они были в открытом поле, кое-где распаханном, по краям тонущем в темноте. Вместо горизонта со всех сторон причудливо наступали тени.

— Не самое подходящее место для разговора о трупах, — заметил Егор.

Г-н Назарие, поживаясь, сунул руки в карманы. Как будто не слыша Егорова замечания, он то ли додумывал свою мысль, то ли колебался, стоит ли выкладывать все до последнего. Он глотал воздух раскрытым ртом, по своему обыкновению запрокинув голову. На него хорошо, как всегда, действовала ночная прохлада на открытом пространстве, вне кругового плена деревьев и надзора сверху луны.

— В любом случае, — решился он наконец, — девица Кристина исчезла странным образом. Люди говорят, она стала вампиром...

Он произнес эти слова самым естественным тоном, без дрожи в голосе, все еще глядя в небо. Егор попытался изобразить улыбку.

— Я надеюсь, вы-то сами ни во что такое не верите?

— Я как-то не задумывался, — ответил г-н Назарие. — Не знаю, надо или нет верить в такие страсти, да меня это и не слишком занимает...

Егор поспешно подхватил:

— Вот именно, этого еще не хватало!

Он отдавал себе отчет, что кривит душой, но сейчас им с г-ном Назарие надо было быть заодно — так диктовало подсознание.

— ...ясно только, что эта история наложила свой отпечаток и на дом, и на домочадцев, — прибавил г-н Назарие. — Мне у них неуютно... Все, что я вам сейчас рассказал, — вполне возможно, деревенские сплетни, но я и без того чувствую, как меня что-то гнетет, когда я там...

Полуобернувшись, он махнул рукой в сторону парка и тут же — будто что-то приковало его взгляд — заговорил без умолку, сбивчиво, взахлеб.

«Ему страшно», — подумал Егор, удивляясь своему спокойствию: вот он стоит рядом с человеком, которого прямо на глазах захлестывает ужас, стоит и сохраняет трезвость рассудка и даже способность к анализу. Однако оглянуться на парк он не смел. Один взмах руки г-на Назарие был красноречивее, чем весь его горячечный монолог. «Уж не увидел ли он там то же, что Симины?» Но голова у Егора была ясная, разве что на душе — легкое беспокойство.

— Не надо ничего бояться! — прервал он поток слов своего спутника. — Не смотрите больше туда...

Однако г-н Назарие не хотел или не мог последовать его совету. Он не отрывал глаз от парка, весь превратясь в судорожное, напряженное ожидание.

— Воля ваша, но оттуда что-то идет, — прошептал он.

Тогда Егор тоже обернулся. Тень парка стояла вдалеке плотной стеной. Он ничего не увидел, только слабое мерцание с левой стороны, где находилась усадьба.

— Ничего там нет, — с облегчением проговорил он.

И в ту же минуту раздался леденящий душу вой, вой обезумевшей собаки, зловещий, inferнальный. Потом — все ближе и ближе — глухой топот, тяжелое дыхание бегущего зверя. Из темноты к ним кинулся большой серый пес. Прижав уши, дрожа и скуля, он завилял хвостом, стал тереться об их ноги, лизать руки, время от времени замирая и издавая тот же вой — вой необъяснимого ужаса.

— Он тоже испугался, бедняга, — приговаривал Егор, глядя пса. — Ишь какой пугливый...

Но ему было приятно чувствовать у своих ног теплое, сильное животное. Приятно — в этом поле, открытом со всех сторон и снова замкнутом, где-то вдалеке, туманным поясом горизонта.

Ночью Егору приснился один из его будничных снов, неинтересных и с вялым сюжетом: приятели студенческих лет, родственники, бессвязные диалоги, бессмысленные путешествия. На этот раз он был где-то во Франции, в чужой комнате, и слушал, прислонясь к косяку, разговор между своим бывшим профессором и каким-то незнакомым юношей.

Разговор шел о последней выставке живописи и... о ящиках с грузом.

— ...к этим ящикам я равнодушен, говорил незнакомец, ведь в них перевозят самые странные, самые экзотические вещи. Больше всего на свете люблю смотреть, как они стоят в лавках или на причалах, и гадать, какие там сокровища спрятаны за их дощатыми боками...

С первых же слов Егор понял, что незнакомец — это на самом деле его друг Раду Пражан, нелепо погибший несколько лет назад от несчастного случая. Он узнал его по голосу и по страсти, с какой тот говорил о чужестранных товарах. Пражан еще обожал запах краски — за сложность и крепость. «Технический», «синтетический», он напоминал ему те же ящики с грузом далеких портов и заморских фабрик... Как он, однако, изменился, Раду Пражан. Если бы не голос, не интонации, Егор бы его не узнал. Пражан отпустил длинные — иногда казалось, чуть ли не до плеч — волосы, которые при каждом кивке головы падали на лоб, закрывали глаза. Он был так увлечен разговором с профессором, что не замечал Егора. Нетерпение того росло с каждым улавливаемым словом. «Ведь он же умер, Пражан, давно умер, может, поэтому он меня стесняется. И эти длинные женоподобные волосы он отпустил тоже, чтобы я его не узнал», — думал Егор.

Но именно в этот момент Пражан испуганно обернулся к нему и одним шагом оказался подле.

— Раз уж речь зашла о тебе, — лихорадочно проговорил он, — берегись, ты в большой опасности...

— Да, понимаю, — шепотом ответил Егор. — Понимаю, что ты имеешь в виду.

Теперь и глаза у молодого человека были Пражановы, и лицо все больше приобретало прежние черты. Вот только длинные не по-мужски волосы были гадки Егору...

— Я тоже принял меры, — добавил Пражан, встряхивая волосами. — С такой пелериной никто мне ничего не сможет сделать...

В ту же минуту его вдруг отнесло в сторону и вверх, так что Егор, вскинув руку, не смог до него дотянуться. Он ясно видел Пражана и в то же время чувствовал его недостижимость, дистанцию между ними, и понимал, что Пражана отбросило страхом, какой-то невидимой Егору силой. Теперь подле Пражана собрались и профессор, и еще кучка людей, одинаково испуганных чем-то, что происходило на их глазах, может быть, как раз за спиной у Егора — потому что сам он так ничего и не видел, а только стоял, задрав голову, удивленный их внезапным бегством, заражая их страхом. Предметы вокруг стали расплываться, теряя очертания, и, обернувшись, Егор увидел в двух шагах от себя девуцу Кристину. Она улыбалась ему, как с портрета Мири, только платье на ней было как будто другое — бирюзовое, оборчатое, с пышным кружевом. Длинные черные перчатки оттеняли белизну ее кожи.

— Прочь! — приказала девушка Кристина, нахмурясь и плавным взмахом руки прогоняя Пражана.

От звуков ее голоса у Егора поплыло перед глазами, голос шел словно бы извне, из иного мира, и хотя он был не похож на голоса из сна, Егор замотал головой, намереваясь проснуться. Но девушка Кристина мягко сказала:

— Не надо бояться, друг мой любезный. Ты у себя в комнате, у нас, душа моя.

В самом деле, обстановка переменилась: приход девушки Кристины разогнал образы сна, стер преображенное лицо Пражана, растворил стены чужой комнаты. Егор с изумлением огляделся, ища дверной косяк, к которому сию минуту прислонился, но он был в своей комнате, с недоверием узнавал каждый предмет в ней, только освещение было странное — не дневное и не электрическое.

— Наконец-то, — тихо говорила девушка Кристина. — Сколько же я ждала тебя, такого красивого, такого юного...

Она подошла почти вплотную. Егора обволок терпкий запах фиалки. Он отшатнулся было назад, но Кристина удержала его за рукав.

— Не беги от меня, Егор, не бойся, что я неживая...

Но Егор думал сейчас не о том, что видит призрак, — напротив, девушка Кристина стесняла его своим слишком живым теплом, слишком

крепкими духами, своим дыханием, таким *женским*. Да, он чувствовал — это было нетерпеливое дыхание женщины, взбудораженной близостью мужчины.

— Какой ты бледный, какой прекрасный, — говорила она, клонясь к нему так настойчиво, что Егору некуда было деваться, он только вжимался головой в подушку — вдруг оказалось, что он лежит в своей постели, а девица Кристина наклоняется над ним, ища поцелуя. Он с замиранием сердца ждал ее губ — на своих губах, на щеке. Но прикосновения не последовало, Кристина только приблизила к нему свое лицо.

— Нет, *я не хочу тебя так*, — прошептала она. — *Так* я тебя не поцелую... Я боюсь саму себя, Егор...

Она вдруг отпрянула и, отойдя на несколько шагов от его постели, остановилась, как будто пытаясь перебороть в себе слепой, мощный порыв. Кусая губы, она неподвижно смотрела на Егора — и он в который раз поразился своему спокойствию в присутствии нежити. «Как хорошо, что такие вещи бывают только во сне», — думал он.

— Только не верь тому, что тебе сказал Назарие, — попросила девица Кристина, снова приближаясь к постели. — Злые языки возвели на меня напраслину. Я не была монстром, Егор. Что думают другие, мне все равно, но чтобы и ты поверил в такие бредни, я не хочу. Наговор это, душа моя, понимаешь? Гнусный наговор...

Ее слова звучали в комнате совершенно явственно. «Только бы никто не услышал, а то подумают, что я провел ночь с женщиной», — мелькнуло в голове у Егора, но он тут же вспомнил, что это сон, и с облегчением улыбнулся.

— Как тебе к лицу улыбка, — не преминула сказать Кристина, садясь на краешек кровати.

Она неторопливо стянула с одной руки перчатку и бросила ее через Егорову голову на ночной столик, вызвав буйство фиалкового аромата. «Что за манера так душиться...» И вдруг теплая рука погладила его по щеке. Кровь застыла у него в жилах, таким жутким было прикосновение этой руки, теплой, но неестественно, не по-человечески. Он хотел крикнуть, но как будто все силы ушли из него, и голос застрял в гортани.

— Не бойся же меня, друг мой любезный, — сказала Кристина. — Я тебе ничего не сделаю. *Тебе* — ничего. *Тебя* я буду только любить... «Любить — и ни единый смертный на свете не был так любим...»

Она роняла слова тихо, редко, с бесконечной печалью. Но сквозь печаль в ее глазах проскальзывал голодный, ненасытный блеск. Вот она улыбнулась и, помолчав, мелодично, нараспев проговорила:

Смертельна страсть во тьме ночей
Для струн души певучих,
Мне больно от твоих очей,
Огромных, тяжких, жгучих...

Неясная, смутная тоска навалилась на Егора. Сколько раз он слышал эти строки! И прекрасно помнил, откуда они. Та, первая строфа тоже была из «Люцифера*». И она любила Эминеску?

— Не бойся, любезный друг, — еще раз повторила девица Кристина, поднимаясь. — Что бы ни случилось, *меня* тебе не надо бояться. С тобой у нас все будет по-другому... Твоя кровь мне слишком дорога, мое сокровище... Отсюда, из моего мира, я буду приходить к тебе каждую ночь; сначала в твои сны, Егор, потом — в твои объятия... Не бойся, душа моя, верь мне...

На этом месте Егор внезапно проснулся. Сон припомнился ему чрезвычайно отчетливо, до мельчайших подробностей. Страху больше не было, но он чувствовал себя разбитым, как после напряжения всех сил. К тому же его удивил крепкий запах фиалки. Он долго моргал и тер рукой лоб, но запах не исчезал, и его уже начинало мутить. Вдруг он заметил рядом, на ночном столике, длинную черную перчатку.

«Я, выходит, не проснулся, — вздрогнув, подумал он. — Надо что-то сделать, чтобы проснуться. А то так недолго и спатить». Он сам удивлялся, как логично рассуждает во сне, и нетерпеливо ждал, когда проснется. Но вот он пощупал себе лоб — ощущение было очень четким. Вот, с силой прикусив нижнюю губу, обнаружил, что ему больно. Значит, он не спал, значит, это ему не снилось. Он хотел было соскочить с постели и зажечь свет, как вдруг увидел посреди комнаты неподвижный, уже знакомый силуэт девицы Кристины. Его пригвоздило к месту. Он медленно сжал кулаки, прикоснулся к своей груди. Вне всяких сомнений, он не спал. Не смея закрыть глаза, он отвел их на миг, потом снова скосил на девицу

* *Lucifer (лат.)* — имя гения Утренней звезды, или Венеры.

Крестину. Она стояла там же, не спуская с него сияющего взгляда, улыбаясь ему, наводя дурноту своими фиалковыми духами. «Отче наш, Иже еси на небесах, Отче наш!..» Слова давным-давно, с детства забытой молитвы мгновенно пришли Егору на ум, он сбивчиво повторял и повторял их про себя. Девуца Кристина замерла, улыбка ее потускнела, глаза померкли. «Она угадала, что я молюсь, — понял Егор, — она знает. *Она знает, что я проснулся, и не уходит...*»

Кристина сделала шаг, потом еще. Шелест ее шелкового платья был так отчетлив... Все до последнего штриха было отчетливо, ничего не пропадало. Шаги девушки Кристины уверенно вонзались в тишину комнаты. Шаги женщины, невесомые, но живые, красноречивые. Вот она снова у постели, снова это ощущение неестественного, отталкивающего тепла. Егора всего покорежило, будто судорогой свело. Девуца Кристина, глядя ему прямо в глаза, как бы для того, чтобы не оставить сомнения в своей одушевленности, прошла мимо и подобрала со столика перчатку. Снова — обнаженная рука, волна фиалкового аромата. Потом — шелковое потрескивание перчатки, которую легко, изящно натягивают до локтя... Девуца Кристина неотрывно смотрела на него, пока управлялась с перчаткой. Потом той же походкой — женской, грациозной — отошла к окну. Егору не хватило духа проследить за ней взглядом. Стиснув кулаки, в холодном поту, лежал он в темноте. Как проклятый, один. Первый раз в жизни он чувствовал такое беспросветное сиротство: никто и ничто не пробьется к нему из мира людей, не поможет, не вызволит...

Долгое время он ничего не слышал. Он понимал, что обманывает сам себя, прислушиваясь, — ведь он с точностью до секунды мог сказать, когда девушка Кристина покинула комнату, когда из пространства исчезло ее ужасающее присутствие: собственная кровь подсказала ему это, собственное дыхание. И все равно он продолжал ждать, не имея смелости повернуть голову к окну. Дверь на балкон была открыта. Может быть, она еще там, может быть, не ушла, а только притаилась. Но он знал, что опасения напрасны, что девушки Кристины нет ни в комнате, ни на балконе.

Наконец он решил: выскочил из постели и включил карманный фонарик. Нашел спички, зажег большую лампу. Слишком сильный свет испугал крупную ночную бабочку, отчаянно забившуюся о стены. С фонариком Егор вышел на балкон. Ночь была на исходе. Уже чувствовалась близость рассвета. В застывшем воздухе повис холодный туман. Не ше-

лохнувшись стояли деревья. Ни шума, ни шороха нигде. Его вдруг пронизало дрожью от собственного одиночества, и только тогда он понял, что продрог и от холода. Он погасил фонарик и вернулся в комнату. В ноздри беспощадно ударил запах фиалки.

Бабочка с сухим шелестом билась о стены, касаясь порой лампового стекла. Егор закурил, затягиваясь жадно, без мыслей. Потом прикрыл балконную дверь. Сон не шел к нему, пока не начало по-настоящему светать и петухи не пропели в последний раз.

VII

Прислуга напрасно стучала в дверь, она была заперта на ключ, а гость и не думал просыпаться и отворять. «Не добудишься, не иначе всю ночь прогулял, — несмело ухмыляясь, думала прислуга. — А молоко-то простынет. — Она поглядела на сервировочный столик, где стоял поднос с завтраком. — Может, господина профессора попросить?»

Она застала г-на Назарие уже одетым и готовым к выходу. Замялась у порога, застыдилась — ей было трудно сказать, зачем она пришла: попросить одного барина разбудить другого.

— Ты местная? — спросил г-н Назарие, желая ее подбодрить.

— Мы будем из Ардяля, — с гордостью ответила женщина. — А барин никак не встанет. Я уж стучала, стучала...

— Беда с этими художниками, здоровый поспать, — пошутил г-н Назарие.

Но он был взволнован. Почти бегом пустился он к комнате Егора и с такой силой заколотил в дверь, что тот в страхе проснулся.

— Это я! — извиняющимся голосом кричал профессор. — Я, Назарие...

В двери повернулся ключ, шаги Егора прошлепали обратно к кровати. Выждав приличную паузу, г-н Назарие вошел. За ним прислуга внесла свой поднос.

— Крепко же вы спали, — сказал г-н Назарие.

— Я теперь буду крепко спать по утрам, — с улыбкой ответил Егор.

И замолчал, дожидаясь, пока прислуга устанавит поднос на столик и уйдет. Потом без предисловий спросил Назарие:

— Скажите, чем пахнет в комнате?

— Фиалками, — невозмутимо констатировал профессор.

Ему показалось, что Егор вздрогнул и побледнел, забыв на лице улыбку.

— Значит, это правда...

Г-н Назарие подошел поближе.

— Значит, не приснилось, — продолжал Егор, — значит, это на самом деле была девица Кристина.

Обстоятельно, без спешки он посвятил профессора в ночное происшествие. Он на удивление точно помнил все подробности, но ему часто приходилось останавливаться, чтобы сделать глоток из чашки — в горле пересыхало.

* * *

Незадолго до обеда Егор узнал, что Санда заболела и не выйдет к столу. Он решил заглянуть к ней на несколько минут. Вот и предлог для отъезда. Раз обе хозяйки неважно себя чувствуют, он скажет, что не смеет более обременять их своим присутствием.

— Ну, что тут у нас стряслось? — как можно развязнее произнес Егор, входя в комнату к Санде.

Она грустно взглянула, тщетно попытавшись улыбнуться. Кивком указала ему на стул. Она была одна, и Егор почувствовал неловкость. В комнате слишком по-женски, слишком интимно пахло. Кровью.

— Я совсем расклеилась, — еле слышно заговорила Санда. — Вчера вечером у меня началась мигрень и головокружение, и вот сегодня я не могу встать с постели...

Она смотрела ему в глаза с любовью и страхом. Ноздри трепетали, щеки были очень бледны.

— Из меня как будто все соки выжали, — продолжала она. — Даже говорить устаю...

Встревоженный Егор подошел к постели и взял Санду за руку.

— Ну и не надо себя утомлять, — начал он с нарочитой бодростью. — Наверное, вы простудились, от этого и мигрень, а мигрень выматывает. Я как раз думал...

Он собирался сказать: «Я как раз думал, что мне лучше уехать, не обременять вас своим присутствием». Но Санда вдруг расплакалась, поникнув головой.

— Не оставляй меня, Егор, — лихорадочно прошептала она. — Только ты можешь меня спасти в этом доме...

Первый раз она обращалась к нему на «ты». У Егора запылали щеки. Смятение, радость, стыд за свою трусость?

— Не бойся, Санда, — твердо произнес он, нагибаясь к ней. — С тобой ничего не случится. Я здесь, с тобой, и ничего плохого не случится.

— Ах, почему я не могу сказать тебе всего...

В эту минуту Егор и сам был готов рассказать ей все, что знал, признаться во всех своих страхах. Но в коридоре слышались шаги, и он нервно отскочил на середину комнаты. Однако слова Санды придали ему уверенности. Он был покровитель, защитник.

Вошла г-жа Москву. Ее ничуть не удивило, что Санда лежит в постели и что у нее в комнате Егор.

— Ты не встаешь? — как ни в чем не бывало спросила она.

— Я сегодня полежу, — сказала Санда, пытаясь придать тону непринужденность. — Хочется отдохнуть...

— Ее утомили гости, — как бы в шутку заметил Егор.

— О, неправда! — воскликнула г-жа Москву. — Мы всегда так счастливы видеть за нашим столом замечательных людей... Где Симины?

Егор и Санда переглянулись, покраснев, словно им напомнили о какой-то связующей их постыдной тайне.

— Я ее не видела, — проронила Санда.

— Пойду-ка поищу ее, — сказал Егор, думая под этим предлогом ретироваться и вернуться позже, когда уйдет г-жа Москву.

От стыда за свою трусость он зашагал особенно решительно, с суровым видом, нахмутив лоб. Хотел бежать, не предупредив г-на Назарие! Подумывал даже подстроить себе вызов телеграммой — такой способ бегства он вычитал когда-то в одной книге. Беззащитный голос Санды разбудил в нем вкус к риску, яростное желание испытать себя. Авантюра так авантюра. Ни на что не похожая, дьявольская, коварная и дразнящая, как ядовитый плод из заморских стран.

Он спросил в людской — никто не видел Симины. Тогда он вышел через веранду в парк и направился к дворовым постройкам. Вот и случай поглядеть на пресловутую кормилицу. По дороге ему попалась экономка, которая сообщила в ответ на его вопрос:

— Барышня пошли на старую конюшню.

И указала на полуразрушенный сарай, видневшийся вдалеке. Егор повернул в ту сторону, руки в карманы, покуривая. Он не собирался придавать масштабы экспедиции своим поискам Симины. «Ого, какое гнездышко для ведьм», — подумал он, входя в каретный сарай. Сарай был длинный, темный, заброшенный, с прорехами в крыше. В дальнем конце он разглядел Симинову, сидящую в допотопном экипаже. Завидев его, девочка быстро отшвырнула прочь какую-то тряпку, которую держала в руке, поднялась на ноги, и по ее взгляду Егор понял, что поединок будет нелегким.

— Вот ты куда забралась, Симинова, — начал он нарочито жизнерадостным тоном. — Что ты тут делаешь?

— Я играла, господин художник, — ответила Симинова, глядя на него немигающими глазами.

— Что за игры! — изобразил удивление Егор, подходя ближе. — В старом пыльном драндулете...

Он осторожно потрогал пальцем фонарь, но не обнаружил ни следа пыли. Тогда он понял жест Симины, бросившей тряпку при его появлении.

— Драндулет-то старый, да ты, я вижу, им дорожишь, — продолжал он. — Смотришь за ним, в чистоте содержишь...

— Нет, — отпиралась Симинова, — я просто тут играла и, чтобы не испачкаться...

— Что ж ты тогда так испугалась и тряпку бросила? — наступал Егор.

— Не могла же я подать вам руку с пыльной тряпкой, — парировала Симинова. Выдержала паузу, улыбнулась. — Я думала, вы захотите поздороваться со мной за руку, — кокетливо добавила она.

Егор покраснел. Он сразу проиграл очко.

— Чей это был экипаж? — спросил он.

— Девушки Кристины.

Они резко скрестили взгляды. «Знает, — понял Егор, — она знает, что произошло сегодня ночью».

— Ах, Кристины, — заговорил Егор, как будто ничего не заметив. — Бедная старушка! Какая у нее была ветхая, допотопная коляска — под стать самой бедной тете. На этих подушках она покоила свои старые косточки, когда выезжала подышать свежим воздухом... — Он засмеялся, закружил по сараю. — В этой шикарной барской коляске она разъезжала по

имению, и ветер продувал ее насквозь и трепал ее седые волосы... так или нет? — Оборвав смех, он остановился перед Симиной.

На губах у девочки играла улыбка брезгливой жалости и сарказма. Встретясь глазами с Егором, она попыталась сдержать улыбку, как будто ей было за него стыдно.

— Вы прекрасно знаете, что *девица* Кристина, — заговорила она, нажимая на это слово, — что девица Кристина никогда не была старухой.

— Ни ты, ни я ничего о ней не знаем, — отрезал Егор.

— Зачем же так, господин художник? — простодушно удивилась Сими́на. — Ведь вы ее видели...

Ее глаза зловеще засверкали, торжествующая улыбка разлилась по лицу. «Это западня, — мелькнуло в голове у Егора, — еще слово, и я схвачу ее за горло и пригрожу задушить, если она не выложит мне все, что ей известно».

— ...на портрете, — закончила Сими́на после точно выверенной паузы. — Девица Кристина умерла совсем молодой. Моложе, чем Санда. И моложе, и красивее, — добавила она.

Егор пришел в замешательство: снова она выскользнула! Как же вывести Сими́ну на чистую воду, чтобы можно было напрямик *задать ей вопрос?*

— Ведь вам Санда нравится, правда? — вдруг пошла в атаку она сама.

— Да, нравится, — подтвердил Егор, — и мы с ней поженимся. А тебя возьмем с собой в Бухарест, ты будешь моей маленькой свояченицей, и я сам займусь твоим воспитанием! Я уж постараюсь выбить из твоей головки все химеры!

— Не могу понять, за что вы ко мне так придираетесь, — оробев, защищалась Сими́на.

Угроза, а может быть, просто повышенный и суровый тон Егора побавили в ней дерзости. Она затравленно озиралась, как будто ожидая какого-то знака себе в поддержку. И вдруг с улыбкой облегчения замерла, найдя опору для глаз где-то в углу сарая. Взгляд ее стал отсутствующим, остекленевшим.

— Напрасно ты туда смотришь, — тем же тоном продолжал Егор. — Напрасно ждешь... Твоя тетка давным-давно умерла, съедена червями и смешана с землей. Ты меня слышишь, Сими́на? — Он перешел на крик и

схватил ее за плечи. Ему самому было жутко слышать свой срывающийся голос, свои жестокие слова.

Девочка вздрогнула, еще больше побледнела, поджала губы. Но, как только он отпустил ее, тут же снова уставилась в угол через Егорово плечо — блаженными, зачарованными глазами.

— Как вы меня тряхнули, — наконец сказала она плаксиво, поднося руку ко лбу. — Даже голова заболела... На ребенке легко свою силу показывать, — добавила она потише, с ехидством.

— Я хочу, чтобы ты очнулась, маленькая колдунья, — снова вспыхнул Егор. — Хочу выбить из твоей головки дурь, чтобы ты перестала бредить привидениями, для твоей же пользы, твоего же спасения ради...

— Вы прекрасно знаете, что никакие это не привидения, — едко сказала Сими́на, выскальзывая из коляски и с неподражаемым достоинством проходя мимо Егора.

— Подожди, пойдем вместе, — окликнул ее Егор. — Я как раз тебя искал. Госпожа Моску меня послала на розыски... Вот уж не думал, что найду тебя за таким занятием, как чистка драндулета, которому скоро сто лет.

— Это венская коляска тысяча девятисотого года, — спокойно заметила Сими́на, не оборачиваясь и не сбиваясь с шага. — И лет ей тридцать пять, если посчитать как следует...

Она была уже у дверей. Егор распахнул створки и пропустил девочку вперед.

— За тобой послали меня, потому что Санда заболела, — сказал он. — Ты знаешь, что Санда лежит?

На ее губах мелькнула мстительная улыбка.

— Ничего серьезного, — поспешно добавил он. — Просто разболелась голова...

Девочка не отозвалась. Они шли через двор под холодным осенним солнцем.

— Кстати, — начал Егор, когда до дома оставалось немного, — я хотел тебе сказать одну вещь, для тебя небезынтересную.

Он схватил девочку за руку и, нагнувшись к ее уху, отчетливо прошептал:

— Я хотел сказать, что если что-нибудь случится с Сандой, если... ты поняла?.. Тогда тебе тоже конец. *Это не останется между нами, наде-*

юсь. Ты можешь передать это дальше, но не госпоже Москву. Твоя бедная матушка ни в чем не виновата.

— Я Санде и передам, а не маме,— громко сказала Сими́на. — Я ей передам, что не понимаю, чего вы от меня добиваетесь!..

Она попыталась выдернуть руку. Но Егор еще сильнее впился в нее, со жгучим наслаждением ощущая под пальцами по-детски пухлую и меченную дьяволом плоть. Девочка от боли кусала губы, но ни одна слезинка не замутила холодный, стеклянный блеск ее глаз. Это глухое сопротивление окончательно вывело Егора из себя.

— Имей в виду, я буду тебя мучить, Сими́на, я не убью тебя так просто,— свистящим шепотом заговорил он. — Прежде чем задушить, я выколю тебе глазки и по одному вырву зубки... Я буду жечь тебя каленым железом. Передай это дальше, ты знаешь кому. Еще посмотри...

В тот же миг его правую руку пронзила такая острая боль, что он разжал пальцы. словно все силы разом вышли из него. Руки повисли как плети, он перестал понимать, где он, на каком свете.

Он видел, как Сими́на передергивает плечиками, приглаживает складочки плати́ца и трет предплечье, на котором остались следы от его пальцев. Видел он и то, как она старательно поправляет букли и застегивает потайной крючок на лифе. Сими́на проделала все это без малейшей поспешности, ни разу не взглянув на него, как будто забыв о его существовании. Потом пошла к дому упрутим, проворным шагом. Егор оторопело смотрел ей вслед, пока маленькая грациозная фигурка не потерялась в тени веранды.

* * *

После обеда Егор и г-н Назарие были приглашены в комнату Санды. Они нашли ее еще более изможденной, с глубокой синева́й вокруг глаз; руки, бессильно лежащие поверх теплой шерстяной шали, казались особенно белыми. Санда слабо улыбнулась гостям и глазами предложила им сесть. Г-жа Москву, стоя у ее изголовья с книгой в руках, не прерываясь декламировала:

Viens donc, ange du mal, dont la voix me convie,
Car il est des instants ou si je te voyais,

Je pourrai pour ton sang t'abandonner ma vie
Et mon âme... si j'y croyais!*

Прочтя эту последнюю строфу с необыкновенным чувством, чуть ли не со слезами в голосе, она вздохнула и закрыла книгу.

— Что это было? — поинтересовался г-н Назарие.

— Пролог к «Антони», бессмертной драме Александра Дюма-отца, — строго сообщила г-жа Москву.

«Во всяком случае, сейчас не самый подходящий момент для такого чтения», — подумал Егор. Ему совсем не понравилась строка: «Je pourrai pour ton sang t'abandonner ma vie»...

Слишком жестокая ирония, отдающая цинизмом. И что означал этот вздох г-жи Москву? Сожаление? Досаду? Покорность судьбе?

— Я читаю без перерыва уже полчаса, — похвалилась г-жа Москву. — Люблю почитать вслух, как в добрые старые времена... Когда-то я знала наизусть множество стихов, — с мечтательной улыбкой добавила она.

Егор смотрел и не верил глазам. Ее было не узнать: энергия и легкость в каждом жесте. Простояла столько времени на ногах за чтением, и хоть бы что. Какой-то чудесный прилив сил — не за счет ли Санды?

— А Эминеску! — с воодушевлением продолжала г-жа Москву. — Светоч румынской поэзии! Сколько я знала из Михаила Эминеску!..

Егор искал взгляда Санды, но она лишь на секунду встретилась с ним глазами, в которых тлел страх, и шепотом сказала:

— Матап, достаточно. Ты устанешь. Присядь лучше...

Г-жа Москву не услышала. Она поднесла руки к вискам в наплыве воспоминаний, силясь восстановить в памяти бессмертные строки.

— Как же там было, вот это, знаменитое... — бормотала она.

Санда не на шутку обеспокоилась. Томик Эминеску г-жа Москву могла взять на этажерке, где стояли все их любимые поэты, но этого нельзя было допустить. Она знала болезненное пристрастие матери к некоторым стихам Эминеску, возникшее еще в те времена, ко-

* Приди же, ангел зла! Мой разум помутился.
И даже в сладкий миг, когда ты вся моя,
За кровь твою я б жизнью расплатился
И вечностью души... когда бы верил я! (франц.)

гда ей, десятилетней девочке, долгими вечерами читала вслух Кристина. «Сейчас лучше бы не ворошить былого», — с тревогой думала Санда.

...Спустись ко мне, моя Звезда, —
Дорожку луч протянет,
В мой дом, в мой сон — спустись сюда,
Пусть свет сюда нагрянет...

При первых же словах Санда сникла, почувствовав бесконечную усталость во всем теле. Как будто кровь медленно уходила из ее жил. Она боялась потерять сознание.

— Я — Люцифер, звезда зари, ты будешь мне невестой! — торжествующе гремела г-жа Москву.

«Откуда в ней взялось столько силы, она вся светится, и голос такой полновзвучный, такой великолепный», — недоумевал г-н Назарие. Г-жа Москву выживала из памяти строфу за строфой, временами очаровательно запинаясь. «И все же она перескакивает», — заметил Егор. Он слушал почти без сопротивления, следя глазами за Сандой, которую заметно била дрожь, несмотря на одеяло и теплую шаль. «Надо что-то сделать, — говорил он себе. — Надо встать, подойти к ней, приласкать, успокоить — что бы ни подумала ее матушка». Хотя г-жа Москву была в таком экстазе, так увлечена припоминанием поэмы, что явно не слышала и не видела ничего вокруг.

— Ведь я живая, мертвый — ты...

Голос г-жи Москву вдруг оборвался. Она покачнулась, стоя посреди комнаты, куда ее занесли эмоции, снова взялась руками за голову — на этот раз растерянно, с испугом.

— Что со мной? — простонала она. — Я, кажется, устала.

Г-н Назарие усадил ее на стул. Неужели это была только иллюзия — все ее одушевление, этот сильный сладкозвучный голос, свидетельствующий о здоровье и полнокровии.

— Вот видишь, мама, не послушалась меня... — чуть слышно прошептала Санда.

Егор подошел к ее постели. Санда была пугающе бледна, глаза неестественно запали, а зябкость выдавала тлеющую лихорадку.

— Я сейчас же иду за доктором, — озабоченно объявил он. — Ты мне совсем не нравишься.

Санда поблагодарила его улыбкой, постаравшись как можно дольше удержать ее на губах. Но она ни в коем случае не хотела отпускать его *сейчас*, в разгар событий, когда старая болезнь так неожиданно дала вспышку.

— Не спеши, побудь со мной, — сказала она. — Никакой доктор мне не нужен. Через несколько часов я приду в себя, а завтра мы уже будем гулять по парку...

В эту минуту г-жа Москву с внезапной живостью снова поднялась на ноги.

— Вспомнила! — ликовала она. — Я вспомнила самое красивое место из «Люцифера»:

Смертельна страсть во тьме ночей
Для струн души певучих,
Мне больно от твоих очей,
Огромных, тяжких, жгучих...

Санда вцепилась в Егорову руку. Она вся дрожала, взгляд блуждал по комнате. «Она тоже знает», — понял Егор. Он был, на удивление себе, спокоен, голова — ясна. Рядом с Сандой, сжимая ее ледяную руку в своих горячих ладонях, он ничего не боялся. Не боялся — и все равно не смел обернуться, оборвать нить ее парализованного ужасом взгляда, прикованного к чему-то за его спиной. Г-жа Москву смолкла, и ее молчание влилось в странную тишину комнаты. Егор слышал, как бьется у Санды сердце, как тяжело дышит г-н Назарие. «Он тоже *чувствует*, а может быть, и видит. Хорошо, что я ничего от него не скрыл. Не имело смысла».

— Маман! — из последних сил крикнула вдруг Санда.

Егор угадал все, что она хотела сказать этим отчаянным вскриком, — это была попытка вывести г-жу Москву из чудовищной переключки с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным. «Мама, на нас люди смотрят!» — казалось, заклинала она. Г-жа Москву, словно очнувшись, обратилась к г-ну Назарие:

— Почему вы вдруг замолчали, профессор?

— Я, сударыня? — удивился г-н Назарие. — Я, кажется, сегодня во-

обще ни слова не вымолвил, Я слушал, как вы декламируете. Редкая память!

Г-жа Моску пытливо заглянула ему в глаза — не шутит ли он.

— Хороша память с книжкой в руках, — устало сказала она, ставя «Антони» на этажерку. — Счастье, что есть книги. Вот сколько я принесла сегодня Санде, хватит чтения на много дней...

Она указала на кипу книг. Г-н Назарие скользнул взглядом по корешкам: «Жан Сбогар», «Рене», «Айвенго», «Цветы зла», «Там, внизу».

— Из Кристининой библиотеки, — объяснила г-жа Моску. — Ее любимые книги. И мои тоже, разумеется... — С усталой улыбкой она подошла к постели Санды, спросила: — А вы что притихли, дети мои?

Санда ответила укоризненным взглядом. Г-жа Моску присела на кровать и взяла руку Санды, которую минуту назад выпустил Егор.

— Да ты совсем ледяная, ты озябла! — воскликнула она. — Тебя надо напоить чаем... Впрочем, пора вставать. Скоро закат. Комары близко...

«Она бредит», — с беспокойством подумал Егор, пытаясь прочесть в глазах Санды объяснение, совет, что делать. Этот неожиданно открывшийся бред застал его врасплох.

— Может быть, нам лучше уйти? — вдруг сипло произнес г-н Назарие.

— О, не беспокойтесь, вы со мной, — ободрила г-жа Моску. — Они вам ничего не сделают. Полетают поверху, и все...

— Хорошо бы вам принять хинин, — прошептала Санда. — Мама говорит о комарах. Они очень опасны сейчас, на закате...

— Да, вот они, налетают, — тем же осипшим голосом сказал г-н Назарие. — И как странно они роятся перед самым окном!.. Вы их слышите, Егор?

Егор слышал: комары шли тучами, такого зрелища ему видеть не доводилось. Откуда их столько?

— Признак засухи, — заметил г-н Назарие. — Надо бы закрыть окно. Тем не менее он не двинулся с места, так и оставшись стоять посреди комнаты, зачарованно глядя на комариное роение перед окном.

— Нет нужды, — сказала г-жа Моску. — Солнце еще не заходит. И потом, вам нечего бояться, пока вы со мной...

Холодок пробежал по спине Егора от ее сухого, безучастного, неузнаваемого голоса. Голос шел как будто из сна, из иных миров.

— И все же лучше принимать хинин, хотя бы по полтаблетки в день, — совсем тихо прошептала Санда.

И Егор понял, что она по крайней мере больше не чувствует ничего потустороннего присутствия, не видит ничего неположного. Зато видел профессор: он явно следил за чьим-то парением, потому что его глаза были устремлены в пустоту поверх комариных туч. Застыв посреди комнаты, он даже не отмахивался от комаров, понемногу проникавших внутрь. «На запахах их тянет, что ли? — думал Егор. — Не на тот ли, что шокировал меня сегодня утром? Слишком уж их много, и все прямо сюда. На кровь?»

Г-жа Москву обвела всех ласковым, почти родственным взглядом.

— Ну, дети мои, скоро закат, давайте-ка ее поднимем.

Голос прозвучал вполне живо и все же отчужденно, как будто его хозяйка была далеко, в каких-то своих, чуждых здешним, радостях.

— Вставай, Санда, — продолжала г-жа Москву. — Вечереет... И ты озябла...

Егор сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. «Только не расстряться! Держись!» Он попытался остановить Санду, которая спустила с постели ноги и нащупывала ночные туфли. Но она мягко отстранила его.

— Мне обязательно надо идти, тамап? — покорно спросила она.

— Разве ты сама не видишь, что уже пора? — отвечала г-жа Москву.

Егор, нагнувшись к Санде, произнес властно:

— Останься. Куда ты пойдешь?

Та печально погладила его по щеке.

— Ничего, ничего, — прошептала она. — Я должна, ради мамы...

Тут Егор почувствовал острый укол в руку и, непроизвольно хлопнув себя по запястью, убил комара. На коже осталось кровавое пятнышко. «Кровожадный, бестия!»

Увидев кровь, Санда поспешно схватила его за руку.

— Уходи, уходи скорей, пока мама не увидела, — лихорадочно зашептала она. — Ей станет дурно.

Егор вытер руку о пиджак.

— Уходи, я тебя прошу! — заклинала Санда. — И прими таблетку хинина.

Егора только раззадорил этот умоляющий голос, это наваждение, границ которого он еще не знал, эти слова, в смысл которых он не мог проникнуть.

— Не уйду, пока ты не скажешь, куда вы собираетесь.

— Не беспокойся об этом, друг мой любезный, — сказала Санда.

Егор вздрогнул, возвращенный к событиям прошедшей ночи; одна за другой вставали в памяти подробности...

— Ты не рад, что я тебя так называю? — грустно удивилась Санда.

Егор заглянул ей в глаза, пытаясь подчинить ее своей воле, взять под охрану, но она уходила, ускользала, она не давалась ему в руки, эта теплая, манящая жизнь.

— Ты, Санда, никогда меня так не зови, — сказал он. — Никогда!

Санда тихонько заплакала. Совершенно не замечая ни ее слез, ни интимного разговора между молодыми людьми, к ним подошла г-жа Москву.

— Если вы будете медлить, они вас заедят... К тому же тут такой холод... Да, заедят. Как всех наших кур, гусей и коров... Где они все теперь, где?..

Егор обернулся к ней и произнес с расстановкой:

— Мне очень жаль, госпожа Москву, но Санда должна лечь в постель и лежать, пока я не приведу доктора.

Натолкнувшись на столь решительный отпор, г-жа Москву смолкла, в растерянности переводя взгляд с Егора на г-на Назарие. Было видно, что она не очень хорошо понимает, зачем они здесь, у постели ее дочери.

— Может быть, вы и правы, — наконец согласилась она. — Вы оба ученые мужи, вам виднее... Но закройте же поскорее окна. Это нужно сделать прежде всего, закройте все окна!

Егор, еще не опомнясь от своей неслыханной смелости, обеими руками пытался удержать Санду — она билась, вырываясь из последних сил, бормоча:

— Я должна идти, ради мамы, как ты не понимаешь. Больше никого не осталось — ни птиц, ни коров, ни собак!..

Г-н Назарие тоже подошел к ним, бледный, ломая пальцы. Далекий, зловещий гуд стоял в воздухе, хотя комары роились уже вокруг его головы, вызванивая тягостную, как болезнь, мелодию.

— Пусти, Егор, — потерянно просила Санда. — Иначе будет еще хуже... Иначе я вообще не поправлюсь...

«Боже, отчего вдруг такой холод в комнате», — подумал Егор. У г-на Назарие зуб на зуб не попадал, он стоял рядом с ними, белый как мел, застывший — только изредка встряхивал головой, отгоняя комаров.

— Закройте же окно, — напомнил ему Егор.

Профессор с опаской шагнул к окну, но замер на полпути. Он тоже вел себя как в гипнотическом, недобром сне. И все-таки — как ясно он понимал то, что тут творилось! Теперь все связалось: тошнотворная ба-ранина первого вечера и загадочные речи экономки, вымершая птица... и этот пес, который бросился им под ноги, его панический вой, его дыха-ние — дыхание зверя, которого травит невидимая погоня.

— Что же вы не закрываете? — снова раздался голос Егора.

Какой промозглый, неестественный холод! Откуда эти воздушные провалы в комнате, где только что витал запах девичьей крови?..

Г-н Назарие подошел к окну. Ему было страшно выглянуть наружу — глупый, нервный страх, который он не мог перебороть. Он взялся за окон-ную ручку. В первый момент ему показалось, что из сада за ним пристально следит женщина, ловя каждый его жест, будто ожидая от него чего-то, какого-то важного поступка. Было еще достаточно светло, краски неба выцвели и размылись; пространство здесь было другим и другим — воз-дух. Моргнув, г-н Назарие увидел в цветнике напротив окна Симину. От растерянности он изобразил что-то вроде улыбки. Девочка склонила го-ловку с неопишуемой грацией. Но тут же выдала себя, стрельнув глазами куда-то высоко, много выше окна. «Она не меня ожидала увидеть, — по-нял г-н Назарие. — Она ждала кого-то другого, и не здесь, в окне, а там...» Симина тут же осознала свою ошибку и выбежала из цветов, протягивая руки к г-ну Назарие. Но он уже без улыбки и молча, опустив глаза, за-хлопнул створки окна. Холод в комнате стал как будто не таким гнету-щим. Профессор долго, в изнеможении, простоял не двигаясь. Комари-ный звон приблизился и охватывал его теперь со всех сторон, навязчи-вый, выматывающий, рождая в голове профессора страшную мысль: что, если он никогда не очнется от этого томительного сна, не вырвется из этого горячего, бредового мира?..

VIII

Егор вернулся со станции уже около десяти вечера. Ему с трудом удалось дозвониться в Джурджу, вызвать врача. К местному, жи-вущему в селе по соседству, он доверия не испытывал.

Усадьба казалась освещенной слабее, чем обычно. Г-жа Москву, г-н Назарие и Сими́на поджидали его в столовой. У накрытого стола хлопотала пожилая женщина в платке, замотанном наподобие тюрбана. Все молчали. Г-н Назарие, бледный, смотрел в пустоту, как узник сквозь решетку.

— Сегодня мы поужинаем весьма и весьма скромно, господа, — объявила г-жа Москву. — Кухарка ушла в деревню и не вернулась. Боюсь, что мы остались без кухарки... Сегодня нам будет прислуживать кормилица...

«Итак, это кормилица», — сказал себе Егор, глядя на нее повнимательнее. Странная женщина, без возраста, а какая походка! Как будто она всю жизнь прикидывалась хромой, а теперь решила вдруг бросить притворство и с непривычки то и дело натыкалась на мебель. Тюрбан был низко надвинут на лоб — виднелся только белый нос, широкий, расплюсченный, и рот — как подмерзшая рана, с синюшными, шершавыми губами. Глаза прочно смотрели в пол.

— Как бы то ни было, но мамалыга с молоком и брынзой для нас найдется, — закончила г-жа Москву.

Сели за стол. При этом г-н Назарие проявил признаки беспокойства, словно его только что разбудили.

— Как чувствовала себя Санда? — спросил Егор.

Никто не ответил. Г-жа Москву уже принялась за еду и, без сомнения, не услышала вопроса. Сими́на с видом примерной девочки тянулась за солонкой. Г-н Назарие снова ушел в себя.

— Что-то случилось? — обратился к нему Егор после долгих минут молчания.

— Нет, — ответил профессор. — Когда мы уходили, она спала. По крайней мере хочется надеяться... Если это был не обморок...

Он поднял глаза от тарелки и жестко взглянул на Егора.

— Лучше бы вы вернулись с доктором.

— Он придет утром, первым же поездом, — заверил Егор. — Надо напомнить кучеру, чтобы с вечера приготовил коляску...

Г-жа Москву прислушивалась к разговору с большим любопытством.

— Боюсь, что скоро у нас не станет и кучера, — задумчиво сказала она. — Кучер сегодня попросил расчет... Кормилица, не плати ему, пока он не привезет со станции гостей...

— Приедет один доктор, — поправил ее Егор.

— Но мало ли кто еще может нагряться, — живо возразила г-жа Моску. — Сезон в разгаре. Сентябрь. В прежние годы об эту пору мы не знали, как разместить всех гостей. Сколько наезжало молодежи, барышники, кавалеры — компания для Санды...

Печалью повеяло от ее слов, и еще сиротливее стало в огромной комнате.

— В этом году тоже было много гостей... — попытался утешить хозяйку Егор.

— Но они так быстро разъехались! — перебила его г-жа Моску. — Должен же еще хоть кто-нибудь нас навестить. Может быть, родственники...

Симиная усмехнулась. Она знала, что кого-кого, а уж родственников давно никаким калачом сюда не заманишь.

— Сейчас не самое подходящее время принимать гостей, — сказал Егор. — Санда все-таки серьезно больна...

Г-жа Моску, казалось, только сейчас осознала, что ее дочь не сидит вместе со всеми за столом, а без сил лежит в постели. Она обвела комнату глазами и убедилась, что это так, Санды за столом нет.

— Я должна пойти ее проведать, — объявила она, внезапно поднимаясь.

Симиная спокойно осталась сидеть на своем месте. И даже как будто забыла, что за столом гости, потому что принялась баловаться ножом, нарезая мамалыгу на тарелке тоненькими ломтями.

— Зачем ты учишь девочку всяким гадким сказкам, любезная? — спросил Егор, повернувшись к кормилице.

Застигнутая врасплох, та от удивления оступилась на ровном месте. Она явно была польщена, что с ней заговорил молодой и такой видный барин. Хотя она и распоряжалась слугами, но в барский дом обычно при гостях не заходила.

— Я ее, ваша милость, ни единой сказке не научила, — ответила она без всякой робости. — Я их отродясь не знала. Это сама барышня меня и учит...

Голос у нее был тусклый и надтреснутый. Егор почему-то вспомнил одну пьесу, знаменитую лет пятнадцать назад, и ее героиню, торговку птицей. Но голосом кормилица вовсе не напоминала ту бабу. Ни голосом, ни

глазами, как голубая плесень, которые она держала все время долу. Такие бывают у слепых, остановившиеся, сырые, только у тех посадка головы прямая, неподвижная.

— ...наша барышня, умница, которая все книжки прочла,— продолжала кормилица, осклабясь и исподлбоя сверля глазами Егора.

«Это она улыбается»,— с содроганием сообразил Егор. Но еще больше его ошеломили кормилицыны глаза. В них бродила, набухла, просверкивала отвратительная похоть старой женщины. Егор чувствовал, как она раздевает его, как присасывается к нему голодным взглядом. Он покраснел и отвернулся, от стыда и омерзения забыв, о чем спрашивал. Его привел в себя смех Симины: девочка запрокинула голову на спинку стула, под резкий свет лампы, и хохотала, показывая все зубки.

— Вот врунья,— едва выговорила она сквозь смех.

Это было как пощечина для обоих гостей. Кормилица тоже скалилась, стоя поодаль. «Они над нами издеваются,— думал Егор,— особенно Симины. Она заметила, как старуха на меня смотрит, и прекрасно понимает, что означают эти взгляды».

Симины делала вид, что хочет перебороть смех, прикрывала ротик салфеткой, щипала себя за руку. Но при этом то и дело поглядывала на кормилицу и раздражалась новым приступом хохота. В конце концов она схватила ножик и стала быстрыми короткими взмахами резать воздух, как будто пытаясь с помощью этих манипуляций отвлечься и вернуться в рамки приличий.

— Не играй с ножом,— вдруг сказал г-н Назарие.— Ангел-хранитель улетит!..

Голос его грянул неожиданно, но так строго и серьезно, словно профессор долго взвешивал свои слова. У Симины мгновенно прошел весь смех. Она съежилась, как от холода, лицо стало необыкновенно бледным, а глаза засверкали бессильной яростью. «Молодец профессор, меткий удар,— одобрил про себя Егор.— Будь ее воля, эта маленькая колдунья сожгла бы нас сейчас заживо...» Наблюдая за Симиной, он не мог противиться чувству злой радости при виде ее унижения.

Г-н Назарие заметил, что кормилица вытаращилась на дверь. Он тоже повернул голову и увидел г-жу Москву, которая, нахмурясь, в раздумье стояла на пороге.

— Странное дело! — воскликнула она. — Санды там нет. Ума не приложу, куда она могла деться!..

Егор и г-н Назарие одновременно вскочили и, не говоря ни слова, бегом бросились по коридору.

— Фонарик... — бормотал на бегу Егор. — Сейчас бы карманный фонарик...

В эти минуты все его помыслы сосредоточились на электрическом фонарике, таком удобном. Почему он не прихватил его с собой!

В комнате Санды было темно, Егор чиркнул спичкой и отыскал лампу. Фитиль оказался сухим, холодным. У Егора слегка дрожали руки. Дрожал, сквозь облачко копоти, и язычок огня.

— Не следовало оставлять ее одну, — сказал г-н Назарие. — Теперь просто не знаю, что и думать!

В голосе профессора слышалась искренняя забота, но Егор не ответил. Он прикрыл лампу колпаком и осторожно прибавил огня. Когда пламя установилось, Егор взял лампу, намереваясь выйти из комнаты. Но ему показалось, что на кровати кто-то лежит. Высоко держа лампу, он подошел ближе и увидел Санду, одетую, наспех прикрытую одеялом.

— Что такое? — с трудом спросила она.

Щеки ее покраснелись, дыхание было частым, как будто она только что вбежала — или очнулась от страшного сна.

— Где ты была? — спросил в свою очередь Егор.

— Нигде!

Она явно лгала — судя по усилившейся краске в лице, по тому, как она стиснула пальцами одеяло.

— Неправда, — твердо сказал Егор. — Госпожа Москву заходила сюда несколько минут назад и не застала тебя.

— Я спала, — защищалась Санда. — Вы меня разбудили.

Голос у нее дрожал, сквозь слезы она заискивающе смотрела на Егора, но раз перевела просящий взгляд и на г-на Назарие, который стоял на почтительном расстоянии от кровати.

— Я же вижу, что ты одета, — уличал ее Егор. — Ты даже туфли снять не успела!

Он сдернул с нее одеяло. Так оно и было: Санда бросилась в постель одетая от силы минуту назад. «Но куда же она уходила и как вернулась незамеченной? Давит на меня эта комната», — думал Егор.

— Где ты была, Санда? — снова спросил он, нагибаясь к ней. — Скажи мне, где ты была, скажи, моя дорогая! Я хочу тебя спасти. Хочу спасти, понимаешь? — Он перешел на крик. Лампа прыгала у него в руке. Санда испуганно отодвинулась к стене, прижав пальцы к губам.

— Не подходи, Егор, — вырвалось у нее. — Я тебя боюсь! Что тебе от меня надо?

В самом деле, свет косо бил Егору в лицо, и его глаза сверкали так неистово, что г-н-Назарие тоже испугался.

— Что вам от меня надо? — повторила Санда.

Егор поставил лампу на столик и, наклонясь к Санде, встряхнул ее за плечи. Он встретил то же сопротивление, что и тогда, на закате. «Они отнимают ее у меня, они ее околдуют».

— Ну, ну, Санда, — заговорил он ласково. — Скоро придет доктор. Почему ты не хочешь сказать мне, где была?

Вместо ответа Санда только кусала губы и судорожно сплетала пальцы.

— Ты меня любишь, Санда, скажи, любишь? — допытывался Егор.

Она забилась, стараясь спрятать лицо в подушки, но Егор взял ее голову в ладони и принудил глядеть на него, а сам в ожесточении повторял один и тот же вопрос.

— Я боюсь! Закройте дверь! — вскрикнула вдруг Санда.

— Там никого нет, — сказал Егор. — К тому же дверь закрыта, вот посмотри...

Он отодвинулся в сторону, чтобы не загораживать ей дверь, Санда взглянула, потом схватилась за голову и разрыдалась, всхлипывая, захлебываясь слезами.

Егор сел на кровать рядом с ней, она с минуту смотрела ему в глаза, как если бы решила наконец раскрыть свою тайну, но только снова бесильно схватилась за голову.

— Где ты была? — шепотом спросил Егор.

— Я не могу сказать, — сквозь слезы проговорила она, — не могу!..

Она обвилась вокруг Егора, припала к нему — иступленно, отчаянно, — к его теплу, его живительной силе. Но вдруг отпрянула, как будто ее оттащили, крикнув в ужасе, с неожиданной силой:

— Я не хочу умирать, Егор! Они меня тоже убьют!..

Егор и г-н Назарие едва успели подхватить ее на руки, когда она рухнула без чувств.

IX

Перед тем как расстаться, г-н Назарие сказал Егору: — У меня такое впечатление, что я сегодня не просыпался. Сплю без просыпу вторые сутки и вижу сон.

— Если бы так, — ответил Егор. — Но я почти уверен, что мы не спим... К несчастью.

Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Егор запер за собой дверь на ключ, затворил окно. Он двигался по комнате, контролируя каждый свой жест, словно допуская чье-то невидимое присутствие. Страх не было — только болезненная усталость во всех членах, в крови, как после сильного жара. Он решил подольше не засыпать. Дело шло к двум. Он прикинул, что еще час — и можно спокойно ложиться, рассвет обезопасит его от видений. Однако стоило ему облачиться в пижаму, как всякое сопротивление сломилось. Напрасно он мотал головой, хлопал себя по щекам — ничем было не отогнать сонную негу, вдруг растекшуюся по жилам. Он уснул с зажженной лампой, успев отметить напоследок, как несколько комаров снялись с потолка, закружились все ниже и ниже...

Очнулся он в просторном салоне с позолотой на стенах, с огромными канделябрами, украшенными хрустальными подвесками. «Это начинается сон», — понял Егор и заметался, пытаясь проснуться. Но его сковало зрелище незнакомой, нарядно одетой публики. Особенно хороши были дамы — в бальных туалетах с осиной талией.

— Vous êtes à croquer!* — раздался подле него мужской голос, вызвав у дам смешки.

«Где я слышал эту фразу? — заволновался Егор. — Слышал или прочел в какой-то давней книжке?...» Однако, припомнив, что дело происходит во сне, он успокоился. — Побystрее бы только проснуться...»

Очень странная — и в то же время хорошо знакомая — музыка грянула вдруг, навевая радость с привкусом грусти и какие-то смут-

* Вы сногшибательны! (франц.)

ные воспоминания, не о былом, а скорее о детских, давно забытых снах. Егор шагнул в гущу элегантной танцующей толпы. Стараясь не мешать парам, он пробирался вдоль стены. «Да, это начало века, — определил он. — Если бы публика увидела, как я одет...» Он с опаской опустил глаза на свой костюм — костюм был чужой, старинного покроя. Но первое недоумение тут же улетучилось. Рядом заговорили по-французски. Приятный голос молодой женщины, которая знает, что ее слушают. «Она знает, что я здесь», — со сладким замиранием сердца подумал Егор. Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть женщину. Они встретились глазами. Нет, он видел впервые это лицо с очень красными губами. Дама стояла в окружении нескольких мужчин и, вероятно, ждала, что ей сейчас представят Егора, потому что улыбнулась ему. Мужчины тем не менее смотрели на него довольно враждебно. Он никого не узнавал в этом салоне, где оказался по чьей-то воле. Заглянув в соседнюю комнату, он увидел столы с зеленым сукном. Карточные игры его не занимали. Любопытно было лишь то, что игроки шевелили губами в разговоре совершенно беззвучно.

Он вернулся в бальную залу. Теперь здесь стало несколько душно. Дамы замахали большими шелковыми веерами. Егор спиной почувствовал чей-то укоризненный взгляд. Обернувшись, он увидел знакомые черты, но не сразу вспомнил имя: Раду Пражан. Его-то как сюда занесло? И что за вид — как у ряженого. Было очевидно, что Пражан чувствует себя не в своей тарелке на этом пышном балу, среди богатой публики. С ним никто не заговаривал. Егор направился в тот угол, откуда Пражан, прислонясь к стенке, смотрел на него, не мигая. Он прочел во взгляде приятеля, что должен спешить, должен пробиться к нему как можно скорее...

Но как трудно передвигаться по бальной зале в разгар танцев! Все новые и новые пары преграждали ему путь. Пришлось поработать локтями — вначале с оглядкой, поминутно прося прощения, потом — уже бесцеремонно, распахивая, расталкивая дам и кавалеров. Те несколько метров, что отделяли его от Пражана, оказались неправдоподобно длинными. Сколько бы он ни пробивался вперед, расстояние между ними не уменьшалось. Пражан настойчиво звал его глазами, и как ясно он понимал этот зов!..

Чья-то рука обвила Егора за талию. Мгновение — и будто запотевшее стекло отделило его от танцующей публики. Глаза Пражана глядели

теперь с высоты, из-под потолка, и он еще нелепее выглядел там в своем маскараде.

— Ну же, взгляни на меня, друг мой любезный! — заговорила девица Кристина, обдавая Егора тревожным веяньем фиалки, влекущим теплом дыхания, одновременно воскрешая в нем ужас и отвращение. — Тебе не по вкусу наше веселье?

Каждое слово болью отдавалось в его голове, с каждым звуком он проваливался в иное пространство, в иные сферы.

— Мы у себя дома, душа моя, — продолжала девица Кристина.

Она повела его за собой, мановением руки призывая оглядеть комнату, через которую они проходили. Егор узнал столовую, разве что вид у мебели был посвежее, не столь унылый.

— Поднимемся ко мне, хочешь? — вдруг сказала девица Кристина и потянула его вверх по лестнице, но он, вырвав руку, отскочил к окну и выговорил через силу:

— Ты мертва. И ты *знаешь*, что мертва.

Девица Кристина горько усмехнулась и снова подступила к нему. Она была бледнее обычного. «Это от луны. Как внезапно взошла луна», — подумалось Егору.

— Что с того, ведь я люблю тебя, Егор, — прошептала девица Кристина. — Ради тебя я прихожу из такой дали...

Егор смерил ее ненавидящим взглядом. Где же силы — крикнуть, проснуться?... Кристина как будто читала его мысли, потому что ее улыбка стала еще грустнее, еще безнадежнее.

— Ты всегда здесь, — наконец выдавил из себя Егор. — Ниоткуда ты не приходишь...

— Что ты понимаешь, любезный друг, — тихо возразила Кристина. — Поверь: тебя я не хочу терять, твоя кровь мне не нужна. Позволь мне только иногда любить тебя, вот и все!

Такая страсть, такой голод по любви сквозили в ее голосе, что Егор содрогнулся и кинулся прочь, надеясь спастись бегством. Он бежал по бесконечному зловещему коридору и остановился, лишь отбежав на порядочное расстояние. Он стоял, тяжело дыша и плохо понимая, где он и куда теперь податься. Мысли рассыпались, воля была слепа. Коридор уходил вниз, как рудниковая шахта. Вдруг его ноздри защекотал слабый запах фиалки. Охваченный паникой, Егор вломился в первую попавшуюся

дверь. В висках стучало, он привалился к двери, замер, прислушиваясь, не раздадутся ли снова шаги девицы Кристины. Тишина тянулась долгие-долгие минуты. Егор в изнеможении повернул голову, огляделся — и узнал свою комнату. Он попал прямо в свою комнату. Все тут было точно-точно как днем, вплоть до портсигара на столике и стакана с остатками коньяка. Вот только как-то странно, как в зеркальном отражении, преломлялся на всем свет.

Он бросился на кровать с одной мыслью — заснуть. Тут-то его и настигла снова фиалковая напасть. Сил противиться, спастись бегством больше не было. Девица Кристина сидела рядом на постели, как будто поджидала его здесь давно.

— Зачем ты бежишь от меня, Егор? — сказала она, глядя на него в упор. — Зачем не позволяешь любить себя? Или все дело в Санде?

Она умолкла, не сводя с него глаз. Что было в них — тоска, нетерпение, угроза? Егор не мог разобраться. Не мог верно прочесть ее лицо — такое живое и такое ледяное, — ее глаза, неправдоподобно большие и неподвижные, как два хрустальных ободка.

— Если дело в Санде, — продолжала Кристина, — это поправимо. Она долго не протянет, бедняжка.

Егор дернулся было в негодовании, хотел угрожающе взмахнуть рукой, однако у него достало сил лишь скрестить свой взгляд со взглядом девицы Кристины.

— Но ты же мертвая! — крикнул он. — Ты не можешь любить!

Кристина засмеялась. Он первый раз слышал ее смех, и, как ни странно, смеялась она точно так, как он себе представлял, когда несколько дней назад разглядывал ее портрет, — чистым, искренним девичьим смехом.

— Не надо поспешных суждений, любезный друг, — сказала она наконец. — Я прихожу из таких пределов... Но я все равно женщина, Егор! И если иные девушки влюблялись в утренние звезды, в Люциферов, почему бы и тебе не полюбить меня?!

Она выжидательно замолчала.

— Не могу, — признался Егор, поколебавшись. — Я боюсь тебя.

И ему тут же стало стыдно за свою трусость. Надо было не сдаваться, твердить, что она мертвая, а он живой... Кристина протянула руку... Егор снова испытал это ни с чем не сравнимое прикосновение, от которого кровь стыла в жилах.

— Придет час, и я узнаю тепло твоих рук,— нашептывала она, придвигаясь ближе и ближе. — Ты полюбишь меня. А о Санде не думай, вам больше не быть вместе...

Она помолчала, не переставая ласкать его.

— Какой ты красивый! Какой ты большой и теплый! И я ничего не боюсь. Куда бы ни завела меня любовь, во мне нет страха... Что же ты колеблешься, Егор, ты, мужчина?..

Егор еще раз попытался сбросить Кристинины чары, рвануться прочь из сна. Фиалковый дурман кружил ему голову, близость ее тела изнуряла. Но все, что он смог, — это чуть отодвинуться от нее к стене.

— Я люблю Санду, — почти без голоса произнес он. — Помоги мне, Господи Боже, помоги, Пречистая Матерь Божья... — Последние слова ему удалось произнести достаточно твердо.

Кристина вспорхнула с его постели и спрятала лицо в ладонях. Так она простояла долго.

— Мне стоит только захотеть — и мозг твой обледенеет, а язык отсохнет, — заговорила она. — Ты весь в моей власти, Егор! Захочу — сделаю из тебя все, что мне угодно, захочу — приворожу, и ты пойдешь за мной, как другие... Их было много, Егор... Что мне твои молитвы! Ты всего лишь смертный. А я пришельца из иных краев. Тебе этого не понять, никому не понять... Но тебя я не хотела губить, ты мне мил, с тобой я хочу обручиться... Скоро, скоро ты увидишь меня *по-другому*. И тогда полюбишь, Егор... Уже сегодня страх твой пошел на убыль... И сейчас тебе не будет страшно, любезный друг. *Сейчас* ты проснешься, такова моя воля, ты проснешься...

...Егор вдруг понял, что уже давно лежит с открытыми глазами, без единой мысли в голове. «Я проснулся по ее приказу», — сообразил он, сразу все вспомнив. Он знал, где оставил во сне девушку Кристину: посреди комнаты, — и резко повернул голову, ожидая встретить ее глаза с хрустальным блеском. Нет, девушки Кристины там не было. «Значит, приснилось, все-таки приснилось...» Кровь прихлынула к его голове, и приятная усталость растеклась затем по всем членам, как будто он выдержал тяжкий поединок и теперь мышцы предвкушали отдых.

Однако фиалковый дурман не ушел из комнаты. И несколько минут спустя Егор стал чувствовать чье-то незримое присутствие — не девушки Кристины на этот раз, а кого-то неизмеримо чудовищнее. Страх теперь

давал себя знать совсем иначе: Егор как бы оказался в чужом теле, чья плоть, кровь и пот были ему отвратительны. Чужая оболочка, нестерпимо тесная, сжимала ему горло, душила, не давала вздохнуть. А *кто-то* в это время смотрел на него, рассматривал его вблизи, и эти взгляды тоже принадлежали не девице Кристине...

Он не помнил, сколько продолжалась эта медленная пытка удушья, это состояние невыносимого омерзения, перевернувшее все его существо. Иногда сквозь муть и ужас слабо веяло фиалками — Егор судорожно втягивал в ноздри их запах, мысль о девице Кристине казалась теперь куда менее жуткой. По сравнению с леденящим кровь наваждением, которое он переживал сейчас, ее приходы были не в пример милосерднее.

Когда он потерял уже всякую надежду, его вдруг отпустило. Он с облегчением перевел дух. Тот *кто-то* исчез без следа. Зато с новой силой нарастал фиалковый аромат, жаркий, женский, оплетающий. Однако теперь совсем не страшный. Егор напряг глаза, вглядываясь в темноту. Когда она успела приблизиться? Что за невесомая, неслышная походка! Она снова улыбалась. Смотрела на него, как раньше, во сне, и улыбалась. Лицо ее будто бы светилось изнутри — Егор различал изогнутые в улыбке губы, тонкие ноздри, полуопущенные ресницы. «Видишь, ты меня больше не боишься, — говорили ее глаза. — Право, есть вещи пострашнее, чем моя близость. Я только явила тебе кое-кого, чтобы ты почувствовал, какие бывают страсти, какая дьявольщина, — что там я...»

«Она заставляет меня читать свои мысли, она диктует, что мне думать, — понял Егор. — Но почему она не заговорит сама, почему не подойдет? Ведь я больше не смогу защищаться...»

Чья была эта мысль, произвольно возникшая в его мозгу? Он ли подумал, что незащищен перед ней, или она, девица Кристина, принудила его так подумать, готова к дальнейшему?..

Кристина по-прежнему улыбалась. «Вот видишь, ты меня уже не боишься, — внушали ее глаза. — Ступени страха уходят гораздо глубже, друг мой любезный. Ты еще будешь помогать мне, помогать моих объятий, у тебя будет одна надежда, одно спасение — припасть к моей груди!..» Как ясно слышал Егор эти слова, хотя Кристина не разжимала губ!

«Ты полюбишь меня, — читал он в ее глазах. — Ты видел, как легко я могла бы задушить тебя кошмаром. Я только подослала к тебе кое-кого, и

ты потерял себя. Ты не знаешь, кто это был, но тебе его не забыть никогда. Таких, как он, сотни и тысячи, и все послушны моему приказу... Егор, ненаглядный... Как же ты кинешься обнимать меня! И какими жаркими будут бедра мои для тебя!»

Мысль шла за мыслью, неспешно, плавно, четко, и Егору оставалось только прислушиваться к ним. Девушка Кристина безусловно знала все, что с ним творилось, знала, что он сломлен и безропотен, — и потому наконец сделала шаг к его постели. Потом еще и еще — и вот она рядом. *Теперь уже не во сне.* Это противное природе создание перемещалось в пространстве! Егор явственно ощущал теплые колебания воздуха при ее приближении. «Придет час — и ты узнаешь мою наготу, — раздалось в Егоровой голове. — Как слитны, как долги будут наши объятия, любимый... Привыкай к моей близости, Егор. Вот моя рука, она ласкает тебя, и тебе не страшно, она несет тебе радость, чувствуешь — вот, я прижимаю ее к твоей щеке...»

Но Егор уже ничего не чувствовал. В тот миг, когда рука девушки Кристины коснулась его щеки, из него ушла вся кровь, дыхание стекло в глубь грудной клетки — побелев, с ледяным лбом он распластался на постели.

X

Доктора пригласили остаться на обед. Когда г-н Назарие вошел в столовую, г-жа Моску встала и торжественно представила ему лысеющего молодого человека в охотничьем костюме:

— Господин Панаитеску, доктор, выдающийся ученый муж и неутомимый апостол добра.

Затем состоялось представление профессора:

— Господин Назарие, университетский профессор, гордость румынской науки!

Г-н Назарие глядел в пол. Ему по-прежнему казалось, что длится дурной сон. Нервы шалили, к тому же одолевала усталость. Пожав доктору руку, он сел на свое место. Его поразило лицо Егора — белое как мел, с глубокой синевой под глазами, и он попенял себе за то, что ушел с утра в поле, в курганы за селом, не повидав товарища. А теперь вот его не узнать. Г-н Назарие искал глаза Егора — понять по ним, что могло слу-

читься. Но Егор глаз не поднимал — то ли был слишком подавлен, то ли просто занят своими мыслями.

— Господин профессор приехал в наши края на археологические раскопки, — завела беседу г-жа Москву. — Для нас большая честь принимать такого гостя...

— Обнаружили что-нибудь заслуживающее внимания, господин профессор? — поинтересовался доктор.

— О, мы едва начали... — нехотя ответил г-н Назарие.

Сими́на разочарованно посмотрела на него. Профессор явно не собирался раздражаться длинной и пылкой речью, а всего лишь спросил, чуть ли не с укором глядя на медика:

— Как вы нашли нашу больную?

Доктор непроизвольно пожал плечами, но тут же опаматовался. Провел рукой ото лба к макушке, как бы сам ужасаясь, что это его череп так гладок и гол, и нерешительно промямлил:

— Одним словом не определишь... В любом случае ничего, что внушало бы опасения. Анемия и, возможно, начало гриппа; впрочем, гриппа довольно редкой разновидности... Я даже подумал сначала, не малярия ли...

Он говорил, спотыкаясь на каждом слове, с паузами после каждого предложения. «Ему, похоже, сейчас не до больных», — подумал г-н Назарие, невольно оглядывая охотничий костюм доктора. Тот перехватил его взгляд и покраснел.

— Вас, может быть, удивляет эта куртка, — сказал он, теребя на ней пуговицу. — Но она очень удобная... И потом, я подумал, такие прекрасные деньки, недурственно было бы... Я, знаете, не то чтобы заядлый охотник, но люблю иногда пройтись по полям с ружьем... Мы, интеллектуалы... да вы лучше меня знаете, какая у нас жизнь, редко когда удается... У меня, правда, нет охотничьей собаки, а так, одному, это, конечно, не то...

И он, совсем смешавшись, принялся за еду. Г-н Назарие уже давно смотрел в тарелку.

— Когда же вы пойдете на охоту, господин доктор? — деликатным голоском осведомилась Сими́на.

Доктор неопределенно развел руками. Но он был очень рад, что хоть кто-то поддержал тему охоты. Он боялся показаться смешным, скомпро-

метировать себя в глазах этого общества, хотя и довольно-таки странного.

— А меня вы с собой не возьмете? — загорелась вдруг Сими́на. — Я никогда не была на охоте... Мне так хочется поохотиться или хотя бы посмотреть...

— Почему же нет? Буду весьма и весьма рад, — отвечал доктор.

Егор медленно перевел взгляд с г-жи Моску на Сими́ну.

— Совсем ни к чему маленькой девочке ходить на охоту, — сказал он строго. — Смотреть, как умирают ни в чем не повинные звери. Слишком много крови...

При последних словах он в упор взглянул на Сими́ну, но та не проявила ни малейших признаков беспокойства. Опустила глазки, как положено благовоспитанной девочке, когда ее распекают взрослые. И ни на секунду не дала Егору понять, что его слова имеют для нее и другой, недоступный присутствующим смысл.

— И правда, это, наверное, не самое подходящее зрелище для ребенка, — примирительно подхватил доктор. — Вот когда барышня вырастет большая...

Сими́на по своему обыкновению усмехнулась. Г-н Назарие различил в ее едва заметной усмешке торжество и презрение. Он начинал бояться эту девочку. Его приводил в смущение, а порой и парализовывал Сими́нин взгляд, дерзкий и уничтожающий, выражение ледяного сарказма, неприложимого к столь ангельскому лику.

— Я рад, что наша милая Санда скоро поправится, — заговорил он, чтобы нарушить молчание. — И заставит господина художника поработать кистью.

Егор просиял, обернувшись к нему. Но все же у него подрагивали губы и в лице была необыкновенная бледность. «Как это никто не замечает, что с ним», — еще раз удивился г-н Назарие, но, перехватив жесткий, пронизательный взгляд Сими́ны, залился краской. Она как будто услышала его, прочла его мысли. «Сими́на заметила, она одна все понимает», — в волнении подумал г-н Назарие.

— Несколько дней, и она поправится, так ведь, доктор? — спросил Егор.

Доктор пожал плечами, но мину сделал вполне бодрую.

— А как же охота? — вдруг спросила г-жа Моску. — Вы ничего не

рассказали нам про охоту. И потом, я сгораю от нетерпения отведасть дичи. Сколько новых ощущений, дичь — что может быть лучше!

На миг она воодушевилась, руки затрепетали, как бы предвкушая прикосновение к чудесным охотничьим трофеям.

Только тут Егор заметил, что в дверях столовой обосновалась кормилица. За обедом подавала какая-то новая прислуга. «Возможно, она за ней просто присматривает», — подумал Егор себе в успокоение. Ему совсем не нравилось, что кормилица явилась сюда. У него было гадкое чувство поднадзорности: он читал издевку в кормилицыных глазах, улавливал, как они с Симиной переглядываются, будто знают, что с ним происходит по ночам...

— Милостивая государыня! — с пафосом начал доктор. — Должен вам признаться, что в охоте я дилетант. Все же я льщу себя надеждой...

В эту минуту кормилица подкралась к стулу г-жи Москву и выпалила:

— Большая барышня за вами послали.

— Что же ты стоишь тут и молчишь! — в сердцах крикнул на нее Егор, вскакивая.

Кормилица вместо ответа только стрельнула глазами в Симинову сторону и поджала губы. Г-жа Москву поднялась с растерянным видом. Но Егор уже выбежал из столовой, не дав ей вымолвить ни слова.

* * *

Санда с покорным видом лежала высоко на подушках. Она вздрогнула, увидев входящего Егора.

— Что случилось? — с порога спросил он.

Санда молча смотрела на него с бесконечной любовью и страхом — слишком велико было это счастье и слишком поздно оно пришло к ней.

— Ничего не случилось, — слабым голосом сказала она наконец. — Я хотела видеть маму... — И добавила быстро: — Чтобы она мне почтала.

Егор возмутился: «Ложь без всякой логики, сама себя выдает... С утра ее утомляло чтение, а сейчас ей, видите ли, хочется послушать стихи, для этого она отрывает мать от обеда...»

— Госпоже Москву здесь нечего делать, — резко сказал он. — По крайней мере сейчас.

Он прикрыл за собой дверь и повернул ключ в замочной скважине.

Его бросило в краску от собственной смелости, но решение было принято. Он должен узнать все, любой ценой...

— Ну, говори, прошу тебя, — ласково приказал он.

В глазах Санды мелькнул ужас. Столько мыслей пронеслось в голове, столько чувств — она спрятала лицо в ладонях. Минуту спустя рука Егора легла ей на лоб.

— Говори же, родная моя, — тихо просил он.

Санда не отрывала ладоней от лица. Дыхание ее стало судорожным, плечи тряслись.

— Ведь и я должен тебе многое сказать, — продолжал Егор. — Доктор посвятил меня в тайну твоего недомогания...

Санда восторженно подняла голову и пытливо заглянула ему в глаза.

— Но прежде, — продолжал он, — я хотел спросить у тебя одну вещь. Ты часто видишь Крестину? Я имею право спросить, потому что я ее — вижу...

Санда потеряла бы сознание, если бы Егор не склонился над ней, не стиснул с силой ей руки. Боль от этого пожатия прищипывала к жизни.

— ...Я ее вижу, — снова заговорил Егор, — как вы все тут. Но это безумие, Санда, долго не продлится. Вампиру надо пронзить сердце, и я это сделаю!..

Он сам содрогнулся от звуков своего громоподобного голоса. Слова слетали с губ как бы помимо его воли. Еще минуту назад он не собирался так открыто, так беспощадно говорить с Сандой.

— Я думала прежде всего о тебе, любовь моя, — утасующим голосом вдруг проговорила она. — Ты-то ни в чем не виноват, по крайней мере ты должен спастись, уехать отсюда как можно скорее.

— Однако вчера ты просила меня остаться, — заметил Егор.

— Это мой грех, — ответила Санда. — Если бы я могла предположить... но во мне говорила любовь, Егор, я люблю тебя...

Она расплакалась. Егор отпустил ее руки и погладил по голове, по щекам.

— И я люблю тебя, Санда, и ради твоего же блага...

— Нет, не делай ничего, Егор, — прервала она его. — Нам обоим будет только хуже... Тебе особенно... Я за тебя беспокоюсь. Тебе надо уехать, уехать как можно дальше отсюда. Я потому и позвала маму — сказать ей, что ты... что ты в ее отсутствие вел себя со мной... дерзко... Что

тебя нельзя больше пускать ко мне в комнату... *В общем, чтобы тебе указали на дверь...*

Она заплакала еще отчаянней. Егор выслушал ее спокойно, так же ласково, по-братски глядя по голове. Он был готов воспринять самую чудовищную, самую убийственную весть. Но Кристина приказала всего-навсего выгнать его. «И Санда полагает, что делает это для моей же пользы, что так она меня спасет...»

Тут снаружи нажали на дверную ручку. Санда вздрогнула, залилась румянцем. «Краска стыда, — подумал Егор, — значит, еще не все потеряно, чары еще можно перебороть».

— Заперто? Почему? — слышался голос г-жи Моску.

Егор поднялся и, подойдя к двери, заговорил, тщательно подбирая слова:

— Это Санда попросила меня запереть дверь на ключ, сударыня. И не пускать кого бы то ни было из вас. Она боится. Ей надо отдохнуть... Она задремала, и ей привиделась тетя Кристина, ее покойная тетя...

Г-жа Моску не откликнулась ни единым словом, вероятно, там, в коридоре, на нее нашла полнейшая оторопь. Егор вернулся к Санде, взял за руку и, наклонясь, шепотом сказал на ухо:

— Они подумают, что мы заперлись как любовники. Пусть думают, что хотят. Это тебя скомпрометирует, и тебе придется выйти за меня замуж... Мы должны объявить о нашей помолвке прямо сейчас, Санда...

Г-жа Моску снова затрясла дверную ручку.

— Но это недопустимо! — крикнула она изменившимся голосом. — Что вы себе позволяете!

Санда собралась подняться и отпереть дверь, но Егор обхватил ее обеими руками.

— Господин Пашкевич! — зазвенел голосок Симины.

Егор снова подошел к двери.

— С этой минуты Санда — моя невеста, мы помолвлены, — твердо сказал он. — Она просит моей защиты и не велит открывать никому. Она не хочет сейчас видеть никого, кроме меня...

— Хорошенькая помолвка, заперлись на ключ в спальне! — отчетливо сказала Симиная.

Санда с плачем зарылась с головой в подушки. Егор с трудом овладел собой.

— Мы готовы уехать в любую минуту, госпожа Москву,— объявил он. — Санде здесь больше нечего делать...

Он услышал, как удаляются по коридору шаги, и сжал виски ладонями. «Что я сделал? Что сделал?» Как это вырвалось у него вдруг? Откуда вдруг эта смелость и безрассудство?

— Ты не жалеешь, Санда? — спросил он, возвращаясь к ее постели. — Не жалеешь, что поневоле стала моей невестой?!

Она затихла и со страхом в глазах обвила руками его шею. Это было первое движение любви, и Егор снова почувствовал прилив сил, уверенности, счастья.

— Нет, правда не жалеешь? — еще раз повторил он дрогнувшим голосом.

— Только бы дожить до свадьбы... — прошептала Санда.

XI

Несколько часов спустя Егор встретился в гостиной с г-ном Назарие. Тот казался чрезвычайно взволнованным, в глазах была растерянность, движения — дерганные, суетливые.

— Что происходит? — громким шепотом спросил он. — Хозяйка дома заперлась у себя, вы заперлись у Санды, младшая девочка вообще куда-то пропала... Что происходит?

— Да я и сам толком не знаю что, — устало ответил Егор. — Знаю одно: мы с Сандой обручились. Я люблю ее и хочу забрать отсюда как можно скорее...

Г-н Назарие слушал, ломая пальцы.

— Я боюсь за нее, за ее жизнь, — понизив голос, добавил Егор. — От этих маньяков всего можно ждать — они и задушить способны...

Г-н Назарие прекрасно понимал, что Егор лукавит, что отнюдь не безумие г-жи Москву держит его в страхе. Но все же одобрительно закивал головой.

— Вы очень хорошо сделали, что обручились, — сказал он. — Это кладет конец всем недомолвкам. Теперь никто не посмеет ничего сказать.

Егор не сумел сдержать нетерпеливого жеста.

— Обручиться-то обручились, но она лежит в обмороке, — глухо ска-

зал он. — Уже полчаса она лежит в обмороке, и я не смог привести ее в чувство. Ума не приложу, что делать!..

Он зашагал по гостиной, дымя сигаретой.

— Нам надо бежать отсюда, пока еще не поздно. Но сначала ее должен посмотреть доктор... Где доктор?

— Пошел на охоту, — виновато ответил г-н Назарие. — Сразу после обеда и пошел. Я ничего не знал. Только что узнал от экономки... Правда, к вечеру обещал вернуться...

Егор опустился на стул, докурив в молчании.

— Я запер ее на ключ, — резко сказал он, порывшись в карманах и с победоносным видом предъявляя профессору ключ.

«И у него тоже нехороший блеск в глазах, — подумал г-н Назарие. — Как бы он чего не натворил...»

— Разве что они попробуют через окно, — продолжал Егор, глядя в пустоту. — Особенно сейчас, когда скоро закат.

— И что вы намерены делать? — спросил г-н Назарие.

Егор усмехнулся, как бы колеблясь, раскрывать ли до конца свой замысел.

— Пойду поищу Симинову, — сказал он наконец. — Кажется, я знаю, где может прятаться маленькая колдунья...

— Надеюсь, вы не будете воевать с ребенком, — предупредил г-н Назарие. — Я хочу сказать, надеюсь, вы ей ничего не сделаете...

Егор рывком поднялся и взял профессора под руку.

— Вы знаете, где комната Санды? — спросил он, торжественно передавая профессору ключ. — Я попрошу вас охранять ее до моего возвращения. Запритесь на ключ изнутри... Я боюсь их, — шепотом добавил он. — Как подумаю, что так надолго оставил ее одну...

Они вместе вышли из гостиной, и Егор проводил профессора до комнаты Санды. Дом как будто вымер: ни одной живой души, ни малейшего шума. Шторы на окнах были опущены, как в летний полдень, отчего тишина угнетала еще сильнее.

— Ждите меня и, кроме меня, не открывайте никому, что бы ни случилось, — наказал Егор, отпирая дверь.

Г-н Назарие, волнуясь, вошел. На первый взгляд, серьезных перемен в комнате не произошло. Санда по-прежнему спала глубоким сном — таким глубоким, что дыхания не было слышно.

Егор направился напрямиком в старый каретный сарай. В быстро тускнеющем свете из подслеповатых окошек разыскал рыдван девицы Кристины и принялся его осматривать. Рыдван был старый, источенный дождями, с покоробленными сиденьями. Симины там не оказалось. «Спряталась», — подумал Егор, постоял в сомнении несколько минут, прикидывая, где ее искать.

Когда он вышел из сарая, солнце уже тонуло за кромкой поля. «Вот стемнеет, — с тревожным чувством подумал Егор. — Налетит комарье...»

Решительно не зная, куда идти, он задумчивым шагом побрел наугад к дворовым постройкам. Ни один человек не попался ему по дороге. И это безлюдье, когда кругом дома и всякое хозяйственное обзаведение, выглядело особенно зловещим. Люди, казалось, все побросали и спешно снялись с места — причем совсем недавно. Тут и там — кострища, зола и недогоревший хворост, тряпки, забытые глиняные горшки, навоз и рассыпанное зерно. Тишина тоже свидетельствовала о полном запустении. Ни квохтанья кур, ни собачьего лая.

Он поравнялся со входом в подземелье. В первый день по приезде Санда привела его сюда с целой ватагой веселых гостей, показала каменные ступени времен Тудора Владимиреску* и замурованную нишу в глубине, где какой-то их предок безвылазно скрывался три недели и куда верный слуга приносил ему по ночам крынку молока и калач, передавая их через брешь в стене, которую они тоже осмотрели. Сколько воды утекло с того теплого и ясного осеннего дня, когда у Санды лукаво блестели глаза, когда своды подземелья звенели от молодых голосов... Целая вечность отделила его от этой счастливой поры — а прошли-то, подумать только, всего считанные дни.

Он закурил и уже двинулся было дальше, к кухням, как вдруг сзади послышались тихие шаги. Он обернулся. Никого. Но звук шагов раздавался вполне отчетливо, его нельзя было спутать с неясными ночными шорохами. Он подождал несколько секунд, пока в дверях подземелья не возникла Сими́на. Она шла крадучись, стараясь ступать неслышно. На-

* Тудор Владимиреску (1780—1821) — предводитель народного восстания 1821 года в румынских княжествах.

толкнувшись взглядом на Егора, она вздрогнула, но тут же, заложив руки за спину, чинно подошла к нему.

— Я не разбираюсь в этикетках,— сказала она без предисловий, глядя ему прямо в глаза.— Мама послала меня за бутылкой содовой воды, но там столько разных бутылок... И я не думала, что там так темно...

— С каких это пор тебя стали посылать в погреб за бутылками? — спросил Егор.— Разве слуг не хватает?

Симиная пожала плечами.

— Не знаю, что случилось, но осталась одна кормилица. Остальные ушли вон туда,— она махнула ручкой,— кажется, убирать виноград... Есть еще новая экономка, но она заболела... А мне одной очень трудно управляться.

Егор погладил ее по головке, по мягким, теплым, душистым волосам. Девочка стояла смирно, опустив ресницы.

— Мне очень жаль, малышка, что мы оставляем тебя тут одну со всем управляться. Завтра утром мы уезжаем. Санда и я.

Симиная слегка отстранилась, выскользнув из-под Егоровой руки, запротестовала:

— Но Санда же больна, господин доктор ее не отпустит.

— Это не болезнь,— возразил Егор,— она просто очень напугана. Ей привиделась покойная тетя.

— Неправда! — выпалила Симиная.

Егор рассмеялся. Бросил сигарету, пригладил волосы, потер руки — ненужные, суетливые жесты,— лишь бы показать Симиной, что ее вмешательство бессильно.

— Так или иначе, завтра мы едем...

Симиная вдруг заулыбалась.

— Мама, наверное, заждалась содовой,— сказала она вкрадчиво.— Не будете ли вы так любезны мне помочь?

«Вот и ловушка»,— подумал Егор, и мороз прошел у него по коже, когда Симиная кивнула головой на подземелье. Но взгляд ее был так нескрываяемо презрителен, что ему волей-неволей пришлось изобразить невозмутимость и ответить:

— С радостью.

Однако ее предложение могло хоть кого озадачить. «Она и не думает

скрывать от меня, где была. Уж не послали ли ее и впрямь за бутылкой содовой?..»

— Ну, и где же тут бутылки? — спросил он, спускаясь по каменным ступеням.

Дыхание Симины, шедшей за ним следом, выдавало волнение. «Если она так дышит, значит, я попался», — подумал Егор.

— Они дальше, дальше, — проронила Симины.

Ступени кончились, и Егор почувствовал под ногами влажный песок.

— Погоди, я зажгу спичку, — сказал он.

Симины перехватила его руку — резким, повелительным жестом.

— Еще видно, — сказала она. — Или вы боитесь?

И засмеялась. Ледяные струи ужаса, как прошлой ночью, пробежали по спине Егора. Смех был не ее, не Симинин. И голос не ее — властный, чувственный, женский. Егор сжал кулаки. «Болван», — мысленно выругал он себя. Потом все же чиркнул спичкой и строго, с угрозой поглядел на девочку. Но вызвал только новый взрыв смеха.

— Наш храбрый Егор! — выговорила она с неподражаемым презрением.

Дунула на спичку и пошла в глубину подземелья.

— Когда мы выйдем отсюда, Симины, я тебе надеру уши, — пригрозила Егор.

— Почему же не сейчас? — откликнулась Симины и остановилась, заложив руки за спину. — Посмей только!

Егора затрясло. Непонятная дрожь охватила все члены. «Наверное, так это начинается, так сходят с ума...»

— Если тебе страшно, что же ты не идешь обратно? — прозвучал голос Симины.

Совсем незнакомый голос, совсем чуждый ее маленькому алому роту! Голос, ядом проникший в кровь Егору, похотью — сумасшедшей, звериной, — отозвавшийся во всем теле. Он зажмурился, пытаясь мысленно вызвать перед собой лицо Санды. Но он не видел больше ничего — один красный туман. Не слышал ничего — один колдовской голос Симины.

— Ну-ну, иди смелее, — приказала девочка.

Следом за ней Егор вошел в кладовую. Еле различимые, стояли по стенам старые, ветхие шкафы. Окошечко под потолком, забранное ре-

шеткой, еще чуть светилось усталым, мутным светом. В углу валялись старые корзины, драные мешки.

— Ну, что ты, что? — спрашивала Симиная, беря его за руку.

Он не сопротивлялся. Дыхание стеснилось, глаза застала пелена. Начиналось давнее, долгожданное сновидение, и он тщетно пытался нащупать в памяти момент, когда и зачем он вышел из него, для какой еще другой жизни. «Как дивно, как дивно вот так, с Симиной!..»

— Сядь! — повелела девочка.

Да, давно бы так, броситься на мешки, отдохнуть. Все тело горело, руки дрожали. Он почувствовал опустившуюся рядом Симиною.

— Она здесь? — почти невольно вырвалось у Егора.

— Нет. Ей еще рано, — шепотом ответила девочка.

— Но это ее место, да? — допытывался сквозь свой сон Егор.

Симиная заколебалась. Потом решила, что бояться нечего: из Егора — такого, с помутненным рассудком — можно было вить веревки.

— Да. Почти там, где мы!

Егор задрожал сильнее, как будто у него началась лихорадка.

— А тебе не страшно? — спросил он.

Симиная со смехом приподнялась, потрепала его по волосам.

— С ней хорошо, совсем не страшно. И тебе больше не будет страшно...

— Симиная, не бросай меня одного! — взмолился Егор, слепо, отчаянно прижимая ее к себе.

— Успокойся! — прикрикнула на него девочка и, помолчав, зашептала на ухо: — Сегодня ночью не запирай дверь. Она придет на самом деле. Придет к тебе, в постель...

Она расхохоталась, но Егор даже не услышал ее хохота. Все распалось, все поплыло перед глазами, в мозгу, в памяти.

— О, какой слонтяй! — обругала его Симиная. — Тряпка тряпкой. Если бы я ушла, ты бы умер со страху!

— Не бросай меня, Симиная, — хрипло умолял Егор. — Накажи меня! Но только не бросай одного!..

Он стал судорожно целовать ее руки. Дыхание было трудным, жарким, на лбу каплями выступил пот.

— Не так, Егор, не так! — подстрекала Симиная. — Целуй меня так, как я хочу!

Она юрко прильнула к его губам, вонзив в них свои зубки. В неземной, мучительной неге Егор запрокинул голову, отдаваясь этим поцелуям из меда и крови. Девочка кусала его губы, а ее грациозное, свежее, детское тельце оставалось холодным. Почувствовав кровь, Симиная жадно собрала ее языком и тут же вскочила на ноги.

— Даже целоваться не умеет! Вот дурак!

— Да, Симиная, — смиренно согласился Егор.

— Целуй мою туфельку!

Она выставила вперед ножку. Трясущимися руками Егор обнял ее голень и покрыл поцелуями.

— Туфельку!

Еще одна сладость — ядоносная сладость унижения! Егор поцеловал ее туфельку.

— Нет, что за дурак! Тебя надо бы высечь! А при мне, как назло, ничего нет, даже плетки!

Егор тихо заплакал, уронив голову на мешки.

— Не хнычь, слышать не могу! — прикрикнула на него Симиная. — Раздевайся!

Егор, размазывая слезы, стал снимать рубашку. Лицо его было в грязных подтеках, вокруг рта — пятна крови. Запах крови окончательно распалил Симиною. Она набросилась на Егора, неистово царапаясь и кусаясь. И чем глубже боль проникала в его плоть, тем слаще становились причиненные Симиной раны. Только раз он сказал себе: «Надо бы проснуться. Пора проснуться. Иначе я сойду с ума. Я не вынесу этого, больше не вынесу!...»

— Почему ты не кричишь, почему даже не стонешь? — спрашивала Симиная. — Почему не защищаешься?

И она с новым иступлением впивалась в него ногтями. Но Егору не было надобности защищаться. Блаженство, о существовании которого он не подозревал, блаженство, недоступное смертному, давало ему это унижение.

— Трус! — сквозь зубы процедила Симиная. — И такой же болван, как другие!.. Не понимаю, как она могла в тебя влюбиться! — И вдруг замерла, словно испугавшись чего-то. Насторожилась.

— Кто-то идет, Симиная? — слабым голосом спросил Егор.

— Нет. Но нам надо возвращаться. Боюсь, не умерла ли там Санда...

Егор разом очнулся, содрогнувшись от ужаса, сжал виски в ладонях. Резкой болью пронзило мозг. Где он и что с ним тут было, он помнил, но в голове не укладывалось, как он мог это допустить, как стерпеть...

Сильнейшее отвращение к самому себе, к скверне маленького тела, отвращение к жизни охватило его. Но сил не было, он не смог даже взглянуть в глаза Симины.

— Не забудь, что я тебе сказала,— напомнила Симины, отряхивая платице. — Не запирайся ночью на ключ...

«Она даже не дает себе труда припутнуть меня чем-нибудь,— подумал Егор. — Так она уверена, что я не посмею ее выдать, пожаловаться...»

Симины ждала, пока он встанет с мешков, наденет рубашку. Она не помогала ему. Только смотрела с неприязненной, брезгливой усмешкой.

XII

Г-н Назарие томился в комнате Санды, считая минуты. Начало смеркаться. Он отошел к окну, сам удивляясь своему присутствию здесь, подле больной в летаргическом сне. У окна было хотя бы посветлее: виднелось опаловое небо и еще пылали верхушки деревьев. О стекло снаружи бились, как всегда, комары. Г-н Назарие, робея, наблюдал за ними. Их тучи, как клубы пыли, сгущались и распадались под неслышимую музыку, тщетно пытаясь проникнуть внутрь, и это упорное бие об оконное стекло усиливало ощущение угрозы. «Что, если они разом навалятся в комнату...» Мысль оборвалась. Профессор круто обернулся. Тишина давила, угнетала. «Какой бесконечный сон,— подумалось ему. — И хоть бы дышала... Вдруг она уже умерла, а я даже об этом не знаю?!»

Он сжал кулаки. Ладони были влажные, горячие, а пальцы ледяные. Лихорадка, страх. «Но она не могла умереть незаметно, пока я здесь, я бы услышал... Люди не умирают просто так, во сне. Они стонут, они борются. Смерть является в черном плаще, с серебряной косой... А просто так, безо всего, это невозможно...»

Г-н Назарие издали посмотрел на Санду. Она лежала в прежней позе, и ее лицо еще можно было различить в полумраке комнаты. «Скоро уже вернется доктор,— подбадривал себя г-н Назарие. — Конечно, мне следо-

вало бы подойти к ее постели, потрогать лоб... А вдруг он будет холодным — или покажется мне холодным?.. Нет, лучше бежать. Пока есть силы...»

Он шагнул к двери. «Какой странный сон, не тревожимый сновидениями. Даже не застонет, словно ее ничто не мучит. Лежит — не шелохнется — там, далеко. И грудь не вздымается от дыхания. А что, если она шевелила губами, звала его, много раз звала, а он не услышал?.. Уйти сейчас? Но сейчас в коридоре еще темнее. И может быть, кто-то там, прямо под дверью, его и караулит. Так всегда: встанут под дверью, приложат к ней ухо, затаят дыхание и подслушивают, часами подслушивают и подстерегают тебя. Ждут, что ты будешь делать... Да, так и бывает. Кто-то, невидимый, неуловимый, ходит за тобой по пятам, не спускает с тебя глаз, читает твои мысли, выжидает. *Ждет, что ты будешь делать...* Как долго нет Егора. Ушел и запер меня на ключ, отдал меня на растерзание...»

Г-н Назарие подкрался к двери, стал на колени, приложил ухо к замочной скважине. Ничего не было слышно, но тишина навела на него еще больше ужаса, совсем бездыханная тишина. Хоть бы прошел кто по коридору, хоть бы что упало, гроыхнуло, зазвенело, хоть бы собака залаяла во дворе. Дом стоял как вынутый из небытия или давнего сна — даже сам воздух в нем был выдохшийся, нездешний, остуженный. Егор рыщет сейчас где-то вне этих стен — а может, и вовсе бежал...

Темнота сгустилась теперь по-настоящему. Г-н Назарие со страхом наблюдал, как она идет волнами, захлестывая прозрачность окна, гася блеск стекол. Следовало бы зажечь лампу. Но свет оживляет тени, даже от спички все начинает ходить ходуном. «Лучше побуду так. Притаюсь. Послушаю. Не только они меня, но и я их...»

И вдруг тишина разразилась глубоким вздохом — раз начавшись, он нарастал без остановки. Г-н Назарие заткнул уши. «Только бы не сойти с ума, только бы не сойти с ума... Раз, два, три, четыре... Пресвятая Богородица, спаси и помилуй!..» Но ничего не помогало, вздох не кончался, а набирал силу, он шел как будто изнутри, из его собственного сердца, бушующая в висках оглушительно, победоносно, безудержно. Г-н Назарие не отважился взглянуть на Санду. Он попятился, прижался к стене. «Может, так она меня не заметит. А то еще испугается, если вдруг увидит меня в своей комнате. А так, может, и не заметит, что уже умерла, так, может, и не поймет...»

Вдруг его позвали:

— Господин профессор!

Голос шел снаружи. Бесконечный и жуткий вздох достиг двери и бил в нее тяжелыми кулаками.

— Откройте же, господин профессор!

Голос доносился то ли из далекого далека, то ли из-под земли. Но все же профессор слышал его — глухой, искаженный. Он отнял руки от ушей. Удары загрохотали рядом. Он подошел к двери.

— Господин профессор!

Он потрогал руками замок и нащупал ключ. Чудеса! Кто же вложил его в скважину изнутри так, что он даже не заметил?..

Он повернул ключ. Белой тенью на пороге возникла Симиная. Постояла, осторожно прислушиваясь, потом спросила:

— Умерла?

— Н-не знаю...

Девочка пошла к кровати и, приложив ухо к груди Санды, долго слушала.

— Где вы? — окликнула она профессора.

— Здесь, у двери, — покорно отозвался г-н Назарие. — Ты меня не видишь?

Симина промолчала. Направилась к окну и прильнула лбом к стеклу, как будто сясь разглядеть лицо того, кто смотрел в комнату из парка, тоже прильнув к стеклу, выжидая.

Вид белого силуэта Симиной на фоне окна вогнал г-на Назарие в дрожь.

— Где Егор? — вырвалось у него.

— Право, не знаю... Где-то во дворе. Ждет доктора... А почему вы заперли дверь на ключ? Вы что, тоже помолвились с Сандой?

Г-н Назарие сконфуженно опустил голову. Но уйти не решился. Слишком темно было в коридоре, слишком страшно без Егора.

— Что Санда? — спросил он.

— Жива... Сердце бьется... — тихо ответила Симина и тут же рассмеялась. — А вы тут, я вижу, натерпелись страха, да?

— Нет, девочка, — сухо ответил г-н Назарие.

— Но подойти к ней боялись... Где вы? — снова спросила она. — Я вас не вижу.

— Здесь, у двери.

— Подите ко мне.

Г-н Назарие повиновался. Девочка уцепилась за его руку своими холодными маленькими ручками.

— Господин профессор, — зашептала она, — с мамой что-то творится... Мы должны все идти к ней... Поищите, будьте добры, Егора и приходите оба наверх, в ее комнату.

Г-н Назарие содрогнулся. Голос девочки изменился до неузнаваемости — он отсылал к воспоминаниям, к забытым снам...

— Я его поищу, — хрипло ответил профессор, отдергивая руку. — Но как мне пройти по коридору — я боюсь в темноте наткнуться на мебель. Тут нет спичек?

— Нет, — отрезала Сими́на.

Г-н Назарие, помявшись, вышел. Сими́на подождала, пока стихнут его шаги, закрыла дверь, повернула ключ в замке и снова приблизилась к окну. Постояла в раздумье, потом взобралась на стул, чтобы достать до оконной ручки, и распахнула створки окна. Далеко, посреди неба, над вязом, тьму рассекал свет луны. Безжалостный, белый, мертвенный.

* * *

Г-н Назарие нашел Егора на веранде. Опершись о перила, тот стоял с бессильно поникшей головой, как будто не в силах держать ее прямо, и смотрел вниз, в пустоту.

— Санда так и не очнулась! — обратился к нему профессор. — У нее сейчас Сими́на.

Ему показалось, что Егор не слышит, и он потрогал его за рукав.

— Отчего вы так долго? Где вы до сих пор были?

— Искал ее, — неопределенно ответил Егор. — Я искал ее везде...

Он вздохнул, отер ладонью лоб. При свете керосиновой лампы г-н Назарие заметил на лице Егора, вокруг рта, следы крови. И только тогда разглядел, что платье его в беспорядке, а волосы влажны и прилипли ко лбу.

— Что с вами? — в волнении спросил он. — Что у вас с губами?

— Оцарапался... Об акации, — через силу ответил Егор, вяло вытягивая руку в сторону парка. — Там.

Г-н Назарие смотрел на него с растущим страхом. Кто зажжет

лампу на веранде этого пустого дома, где не слышно ни звуков, ни голосов?

— Кто зажег лампу? — шепотом спросил он.

— Не знаю. Я ее нашел уже так... Может, кормилица...

— Надо уезжать, — не повышая голоса, сказал г-н Назарие. — Как только появится доктор, уедем с ним вместе.

— Слишком поздно, — после долгого молчания проговорил Егор. — Теперь это уже не имеет никакого смысла. — Он закрыл лицо руками. — Если бы знать, что со мной было, если бы понять, что это такое...

Он запрокинул голову — лицом к безжизненно-белой луне над везом.

— Хорошо бы позвать священника, — сказал г-н Назарие. — Невозможно гнетет этот дом, все эти люди.

Егор вдруг спустился с веранды и пошел к большой цветочной клумбе. Белые душистые цветы росли на ней, и ток воздуха был как будто свежее и чище.

— Но с вами что-то случилось, — нагоняя его, сказал г-н Назарие.

Он не хотел отпускать Егора слишком далеко от дома. Темнота парка была невыносима, темнота и резкие тени акаций.

— Нет, это как во сне, — добавил он.

— У меня тоже такое ощущение, — подхватил Егор. — Вы правы, что-то случилось, но я хотел бы понять что... Я искал Симинову, везде... А вы вот встретили ее, не ища... — Он устало остановился. — Я же просил вас побыть с Сандой, постеречь ее. Я за нее боюсь, как она там одна...

— Симинова попросила нас пойти посидеть с госпожой Моску, — извиняющимся голосом объяснил профессор. — С ней что-то тоже неладно.

Егор, казалось, начинает страживать с себя морок сна, в котором его застал г-н Назарие.

— Но я даже не представляю себе, как мы сможем найти госпожу Моску, — заговорил он. — Надо бы позвать на помощь... хоть кого-нибудь.

Г-ну Назарие пришлось не по душе эти слова — мыслимое ли дело говорить такое здесь, в темноте! К тому же Егор норовил углубиться в аллею, и г-н Назарие снова попытался вопросами удержать его:

— Как же вас угораздило так сильно пораниться? Как это произошло?

Егор шел вперед, не отвечая. Как будто что-то звало его оттуда, из-за цветов, из вольных зарослей сирени и рожковых деревьев, переплетшихся корнями. Пахло ночью под сенью их листьев, живых и лукавых. Бесчисленные души умерших, которые давно смолкли и лопотали теперь только листьями, обмениваясь друг с другом вестями и пересмешничая.

— Доктор должен скоро быть, — не унимался г-н Назарие, которого пугало молчание.

Ему здесь не нравилось. Тянуло вернуться. Бросить Егора одного и вернуться на веранду, где горит керосиновая лампа. А там и доктор подойдет.

— Я не понимаю, что вы задумали, — решился он наконец. — Я иду обратно. Дождусь доктора и уеду. А этому дому нужен священник... Иначе тут все сойдут с ума...

Как твердо, как четко он говорил, проясняя для самого себя не названные до сих пор мысли. Священник, служба, много народа, много огней...

— У меня болит голова, — не сразу ответил Егор. — Я хочу немного пройтись, подышать воздухом...

Он глубоко вздохнул, глядя вверх, на макушки акаций. Луна была теперь ближе, теперь она отливала серебром, и тьма вокруг расступилась, давая ей дорогу.

* * *

Наконец-то появился доктор со связкой убитых птиц. Г-н Назарие, волнуясь, встретил его на веранде. Слава Богу, теперь он будет не один. К тому же доктор — человек здравомыслящий, несуетливый.

— Вы не слышали, как я стрелял? — спросил доктор. — Я охотился в окрестностях парка. Так мне казалось по крайней мере. И все равно заблудился... Я стрелок, конечно, аховый, — добавил он, указывая на свои трофеи. — Попадаю только в растяп...

Он поднялся на веранду и упал в соломенное кресло.

— А что, людей никого нет? — спросил он. — Я так мечтал о стакане воды...

— Да, похоже, никого нет, — сдержанно ответил г-н Назарие. — Все на винограднике... Однако воду найти нетрудно...

Они вместе вошли в столовую, г-н Назарие освещал путь лампой. Доктор налил себе два стакана воды.

— Господин Пашкевич, — начал он, повеселев, — так его, кажется, зовут... у господина Пашкевича, по-моему, свиданье при луне...

Он неловко хмыкнул и потрогал пальцами лоб, как будто нащупыва-
вая невидимые ушибы. Но вовремя вспомнил, что в доме, где есть боль-
ной, смеяться неприлично, и, изобразив на лице внимание, поинтересо-
вался:

— А как себя чувствует наша барышня?

— Все еще в обмороке, — сообщил г-н Назарие. — Потеряла созна-
ние через час после вашего ухода... Если только еще не умерла...

Тон профессора, философски-невозмутимый, привел доктора в пол-
нейшую оторопь, даже взгляд у него на минуту остекленел.

— Я надеюсь, это шутка, — выдавил он, пытаясь улыбнуться. — Од-
нако нам, медикам, чувство юмора не положено. Я должен немедленно ее
посмотреть!..

Он с озабоченным видом прошел в комнатушку при столовой, вы-
мыл руки.

— Спрашивается, как можно всех отпускать в такой момент, — про-
ворчал он, нахмурясь.

Г-н Назарие, высоко держа лампу в правой руке, пошел вперед, ука-
зывая дорогу.

— Мне говорили, что это все же весьма богатое семейство... — ше-
потом начал доктор.

Г-н Назарие не поддержал разговора. Его занимали перемены, про-
изошедшие в коридоре. Здесь даже пахло теперь по-другому, и воздух был
свежий, согретый жизнью. Пустота больше не угнетала. Где-то совсем близ-
ко раздавались молодые голоса.

— Стоп, — произнес г-н Назарие, останавливаясь у двери в комнату
Санды.

Затаив дыхание, доктор постучал. Они вошли. В комнате горела силь-
ная лампа под большим, персикового цвета абажуром. Г-жа Москву с сер-
дечной улыбкой поднялась навстречу гостям. Симиная сидела на краешке
кровати, благочинно опустив глазки.

— Как чувствует себя наша барышня? — вполголоса осведомился
доктор.

— Она очень хорошо выпалась, — отвечала г-жа Моску. — Спала почти до сих пор. Я едва ее добудилась...

Она с непритворной нежностью улыбнулась Санде, лежащей высоко на подушках с усталым, но спокойным, примиренным лицом. Доктор взял руку больной, нащупал пульс. Недоуменно насупил брови, затем недоумение перешло в тревогу, в испуг.

— Как странно, — шепнул он, пытаясь поймать взгляд г-на Назарие, но тому не достало храбрости встретиться с доктором глазами.

«Что за бредовые страхи я тут испытал, что за бредовые сны — и каких-то пару часов назад...» Теперь тут все дышало теплом и уютом, как будто так было всегда.

— Странно, — повторил доктор. — У меня такое впечатление, что жар усиливается... Вы мерили температуру?

— Мне гораздо лучше, — проронила Санда.

Г-н Назарие вздрогнул. Какой утасяющий голос... Он выдавал приближение конца, и профессор почувствовал это всей кожей. Бесслезный голос, который приутовился к вечному молчанию.

— У нее сегодня было большое волнение, — вмешалась г-жа Моску. — Представьте себе, она совершенно неожиданно обручилась с господином Пашкевичем. — Г-жа Моску засмеялась, переводя взгляд с доктора на г-на Назарие. — Не поднимаясь с постели! — воскликнула она. — Вообразите себе!

Казалось, ее ничуть не расстроила эта странная помолвка. Услышав фамилию Егора, доктор снова обернулся к г-ну Назарие и на этот раз перехватил его взгляд. «Он что, сумасшедший, этот Пашкевич? — спрашивал доктор глазами. — Ничего не понимаю».

— Она у меня такая нетерпеливая невеста... — продолжала г-жа Моску. — Ее жених, господин Пашкевич, намерен немедленно увезти ее и сыграть свадьбу уже в Бухаресте...

— Да нет же, мама, — еле слышно возразила Санда. — Я сделаю так, как ты скажешь...

Симина заулыбалась. Доктор смотрел на нее, удивляясь: какие жесткие глаза, какая уничтожающая улыбка... Не по летам созревшее дитя...

— Но пора ужинать! — вспомнила г-жа Моску. — Симина, вели кормилище подавать на стол.

Когда все общество подошло к столовой, кормилица встретила их в дверях.

— Ничего нет, кроме сыра и молока, — заявила она г-же Моску.

— Надо найти, — строго ответила г-жа Моску. — Должно же быть что-то в кладовой — ну там варенье, фрукты, сухари по крайней мере.

Доктор, услышав этот разговор, залился краской. Как нелепо и оскорбительно! Остался на ужин без приглашения... Он оглянулся на г-на Назарие, ища поддержки, но его лишь еще больше обескуражила брезгливая усмешка Симины. Профессор пошел на веранду за Егором — увидел, как тот приближается к дому по главной аллее развинченной, неторопливой походкой, и понял, что его надо встряхнуть, разбудить.

— Санде лучше, мы с доктором к ней наведывались. Она еще очень слаба, но уже вне опасности, — поспешно сообщил он, бегло осматривая при этом Егора.

Кажется, тот пришел в себя, потому что волосы у него были приглажены, платье почищено.

— Мне тоже было худо, но теперь все прошло, — сдержанно сказал он. — После ужина нам с вами надо будет непременно переговорить... Посоветоваться...

Входя в столовую, Егор встретился глазами с Симиной. Она смотрела на него кротко и почтительно, как положено смотреть на гостя благовоспитанному ребенку. «Господи Боже мой, что же там на нас нашло? — в ужасе подумал Егор. — Что было на самом деле, а что примерещилось?»

— Примите наши поздравления с помолвкой, господин Пашкевич, — не без иронии произнесла г-жа Моску.

Егор поклонился, прикусив губу, чтобы сдержать себя, но распухшая рана живо напомнила ему только что пережитый кошмар. Он снова взглянул на Симины. Девочка не подавала виду, что замечает его состояние. Она смиренно ждала знака занять свое место за столом. Кормилица что-то запаздывала с ужином.

Г-н Назарие и доктор тихо переговаривались на пороге веранды. Отдавая себе отчет, что поступает крайне невежливо, Егор все же оставил г-жу Моску одну с Симиной и подошел к ним. Разговор шел о Санде. При виде подошедшего Егора доктор смущенно осекся.

— Что же вы вернулись один? — спросил он после паузы с заговор-

щической улыбкой. — Где оставили свою даму?.. Или это была барышня?!

Егор смотрел на него, часто моргая, силясь понять вопрос.

— Даму, с которой вы гуляли по парку час назад, — несколько растерявшись, стал объяснять доктор. — Я возвращался с охоты и увидел вас, сам того не желая, конечно...

Он снова улыбнулся, перебегая глазами с Егора на профессора.

— Я действительно долго гулял по парку, но я гулял один... — тихо проговорил Егор.

— Может быть, это не деликатно с моей стороны... — счел нужным извиниться доктор.

— Отнюдь нет, сударь, — возразил Егор. — Но, смею вас уверить, я гулял в одиночестве. Впрочем, вокруг на десятки километров нет никакого другого поместья. А с семейством Моску, я полагаю, вы познакомились в полном составе.

Доктор, весь красный, слушал, не веря своим ушам. То г-н Назарие позволил себе сомнительно пошутить насчет состояния Санды, теперь — его снова хотят поднять на смех?

— Тем не менее я видел даму, — сказал он, надувшись. — Меня еще удивило, издали, как она изысканно и нарядно одета. Чересчур, пожалуй, изысканно для прогулки по парку...

Г-н Назарие вздрогнул и опустил глаза. Егор с неприкрытым волнением вслушивался в слова доктора.

— И если я поступил нескромно... вроде бы подглядывал... то только из-за наряда дамы...

Внезапно возникшая в их круту Сими́на как нельзя более учтиво позвала мужчин к столу.

— А то молоко остынет, — объяснила она.

Озадаченные мужчины, переглядываясь, вошли в столовую.

XIII

Доктор очень устал и потому первым ушел в комнату, которую приготовила для него кормилица. Его утомила не только охота, но и эта странная трапеза в обществе явно больных, издерганных людей,

невпопад ронявших реплики. И какой стыд — уплел самый большой кавал сыра и выхлебал две тарелки молока! Кроме него и г-жи Москву, никто не проявил признаков аппетита. В жизни он не попадал на столь несладкий ужин — вот вам и господа богатые помещики! Однако хозяйка, поднявшись из-за стола, тотчас же вручила ему конверт с тысячью лей. Хоть это по-барски.

Ему совсем не понравилась комната, куда его проводили, — из нее как будто только что выехал кто-то, кто прожил тут долго и наложил на все свою печать. В самой расстановке мебели чувствовалась рука, приверженная к определенному порядку, который ему претил. В комнате пахло увядшими цветами — наверняка какой-нибудь старый букет осыпался где-то за шкафом или за сундуком. Над кроватью красовалась картина, выцветшая и засиженная мухами. Картина, без сомнения, любимая этим кем-то, потому что вид у нее не был ни грустный, ни бесхозяйный, — она висела уверенно, составляя как бы целое с еще не остывшей постелью. «Отсюда уехали не далее как несколько дней назад, — определил доктор. — Очень удобно: меблировано и белье под рукой, поэтому меня сюда и законопатили».

Он быстро разделся, погасил лампу и забрался в постель. Ночь предстояла короткая — завтра его чуть свет разбудит прислуга, к первому поезду на Джурджу. А гости, какие чудачки! Но притом — сама любезность. Вызвались завтра встать вместе с ним, проводить его на станцию. Даже не стали прощаться. Им, видите ли, доставит удовольствие его проводить. Гм!..

Он был уверен, что заснет мгновенно. Наискосок, в окне, стояла на карауле луна.

* * *

— Мы должны вместе встать на молитву, — сказал профессор, стараясь казаться спокойным. — Это нам поможет... — Он говорил, а сам заражался ужасом, который читал в глазах Егора. — Вы верите, что доктор правда видел? Неужели возможны такие страсти Господни?

Кто-то уже спрашивал это — давно, посреди поля, тоже ночью. Тогда было похолоднее, из-за ветра, но он не помнит такой неправдоподобной, такой непробиваемой тишины. Даже их шаги по комнате при зажженной лампе не могли ее всколыхнуть. Что-то тушило, как об войлок, все шумы.

— Давайте помолимся, — убеждал Егора г-н Назарие. — Это придаст нам храбрости.

Для храбрости Егор, не отвечая, плеснул себе в стакан еще коньяку. Он улыбался, но рука его дрожала, когда он ставил бутылку на стол.

— Если я и боюсь, то за Санду, — сказал он. — Может, нам лучше было бы вообще не ложиться в эту ночь, а караулить ее... Мне по крайней мере...

Г-н Назарие подошел к окну. Распахнутое, оно щедро впускало полуводье ночи, тьму.

— Вы не закроете? — спросил профессор. — Собираетесь спать так? Егор засмеялся.

— Я не боюсь открытых окон, — резко сказал он. — *Это* идет не отсюда.

Он показал рукой на парк под лунным небом.

— Даже луны, даже ее не боюсь, — добавил он. — Впрочем, она скоро сгинет. Луна заходит после полуночи...

Как жестоко точит его ужас, г-н Назарие почувствовал по голосу. И слова падали как в забытие. Или его разобрало от коньяка? Так скоро?

— Хотите, я сегодня лягу в вашей комнате? — предложил г-н Назарие.

Егор снова ответил смехом. Он бросился на кушетку, зажимая в пальцах дымящуюся сигарету. Голос его был нарочито груб теперь, тон — нарочито развязен...

— Ну нет. Я должен выдержать все один. Один, и будь что будет. Спать я вовсе не намерен...

«А мое ли это решение, точно ли мое? — ворочалась тем временем в мозгу пугающая мысль. — Не *она* ли внушает мне, что говорить, что делать?»

Вдруг все вещи в комнате завертело каруселью, и он обхватил голову руками. Полузакрыв глаза, г-н Назарие начал молиться. Но слова вылетали из его уст словно наобум, обрывками, без связи, без смысла.

— Вспомнить бы все, как оно было, вспомнить бы... — повторял тем временем Егор.

Их прервал отдаленный глухой стук, и они, побледнев, переглянулись. Кто-то споткнулся в недрах коридора и упал или, налетев на мебель, сшиб ее с места. «*Les vieilles de notre pays...*» — вдруг отчетливо пришло на память г-ну Назарие, и по глазам Егора он понял, что они думают об одном и том же.

— Кто-то из людей вернулся с виноградников, — произнес Егор, внятно, раздельно выговаривая каждое слово.

— Да, по звуку это шаги, — согласился г-н Назарие.

Они прислушались. Шаги раздавались все ближе, тяжелые, заплетающиеся. Как будто человек, который топал в темноте, волок на спине другого.

— Уже не случилось ли чего с Сандой?

Егор вскочил с места и бросился к двери. Открыв ее, он встал на пороге, сжимая кулаки. Несколько мгновений спустя появился доктор — в ночной сорочке и охотничьих ботинках. Он трясся от холода и волок за собой ружье.

— Я вас не беспокою? — пробормотал он, заходя в комнату и поспешно захлопывая за собой дверь. — Мне не спалось, и я подумал, что...

Нещадно стуча ботинками, он доковылял до кровати и в изнеможении опустился на край.

— Не спалось, — повторил он, — вот я и подумал...

Он вдруг осознал комизм положения — ввалился в чужую комнату, в одной сорочке и с ружьем — как бы он хотел, чтобы ружье каким-нибудь образом стало маленьким, незаметным или вовсе исчезло.

— Я не знал точно, где ваша комната, — клацая зубами, стал оправдываться он. — Вот и прихватил с собой ружье... чтобы не наткнуться на мебель... В коридоре такая темень...

— По крайней мере оно заряжено? — с иронией спросил Егор.

— Я с ним целый день проохотился, — обиделся доктор. — Это доброе ружье...

Он помолчал, глядя поочередно то на Егора, то на г-на Назарие.

— Прошу вас, продолжайте вашу беседу, — сказал он, видя в их глазах непроходящее недоумение. — Надеюсь, я вам не помешал?

— Нисколько, — сказал г-н Назарие. — Мы как раз собирались лечь спать.

— Вы спите в одной комнате? — встрепенулся доктор, таращась на него с испугом и в то же время с завистью.

— О нет, это комната господина Пашкевича. Самая лучшая в доме, с балконом, — ответил г-н Назарие.

— И кровать тут какая хорошая, отличнейшая кровать, — прошептал доктор, жадно приглядываясь к искусной резьбе спинки и с трудом отводя от нее глаза.

Егор налил в стакан коньяку.

— Чтобы вы не простудились, — мягко сказал он, протягивая доктору стакан.

Тот выпил залпом. Жгучее тепло взбудило его, он уверенней оперся о ружейный ствол. Насколько светлей и надежней в этой комнате... И кровать тут наверняка под тобой не трясется, и мебель не сдвигается с места, и пол не колышется от лунных лучей. Да и луна не подкатывает к самому окну, и ночных бабочек не больше чем надо...

— Удивительно, как у меня весь сон прошел...

Усталость, правда, давала о себе знать. Но доктор был уверен, что если закроет глаза, то снова под ним забьется в ознобе кровать, задрожат мелкой дрожью подушки — он подозревал, что наваждение поджидает его, стоит ему вернуться в *ту* комнату. Поджидает это колыхание во сне, этот ужас, который разбудил его, как будто он застал врасплох огромную ручищу, заползшую под матрас, чтобы раскачивать кровать...

— Надеюсь, я вас не обеспокоил, — повторил он, отчаянно вцепляясь в ружье.

Что бы он без него делал, как преодолел бы один, безоружный, этот путь по бесконечному, пустому и темному коридору?

— Нас тоже сегодняшняя ночь не слишком располагает ко сну, — сказал Егор. — Мы рады принять вас в компанию.

— Сколько сейчас может быть времени? — спросил доктор.

— Четверть двенадцатого, — с улыбкой доложил Егор точное время.

— А ведь мне так рано вставать, — простонал доктор. — Станция далеко?

— В шести километрах. Надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда тотчас же?

Доктор, не отвечая, еще раз с завистью оглядел кровать, потом встал и прошелся по комнате.

— По правде говоря, меня больше не клонит ко сну, — пробубнил он, не поднимая глаз. — И мне совсем не нравится комната, которую мне отвели... Она как-то на отшибе... И все там такое ветхое — мебель скрипит... только задремлешь, а она...

Егор посмотрел на профессора, но тот, глядя мимо, предложил доктору:

— Если хотите, можете лечь спать в моей комнате.

— А вы? Останетесь здесь?

— Нет, пойду с вами. У меня там две кровати...

Просияв от счастья, доктор бросился к нему.

— У нас к тому же ружье, так что вы можете не бояться, — взвлек проговорил он. — Я положу его рядом... Лишь бы только заснуть, — добавил он озабоченно, — а то что-то весь сон как рукой...

* * *

На пороге Егор спросил его:

— Между нами, как вы оцениваете состояние Санды?

Доктор заморгал.

— Ей осталось, по-видимому, недолго, — брякнул он, не подумав.

— Она моя невеста, — сурово напомнил Егор, глядя ему в глаза.

— Ах да, — залепетал доктор. — Да, да, конечно, будем надеяться, может быть, все же...

Егор долго простоял у двери, слушая, как удаляются его шаги. Каким чудом беспокойство вдруг отпустило его? Он был тих и ясен, неустрашим и могуч. Сунув руки в карманы, он прошелся по комнате. Скоро полночь, припомнил он. Но час не имел значения, никакого значения не имели эти бабкины-прабабкины суеверия... Только надежда и вера, только любовь к Санде...

Все шумы стихли, стихли шаги. Луна зашла за деревья парка. Егор чувствовал свое полное одиночество, но теперь это укрепляло, это придавало храбрости. «Только бы не заснуть, — твердил он себе. — Или, на худой конец, быстро проснуться...» Он хлопнул в ладоши. Нет, он не спал. Вот горит лампа, вот темнота входит в окно, вот стул и стол и почти допитая бутылка коньяка. Все предметы выглядят как обычно, все на местах. Точно так же, как днем... точно так же, как во сне...

Он снова стал мерить комнату широкими, ровными шагами. «Надо будет сразу проснуться, — настраивал он себя. — Если я на самом деле засну, не смогу же я не проснуться. Услышу ее голос, вдохну фиалковые духи — и проснусь».

Он несколько раз прошел мимо двери, не зная, запирать ее или нет. «Пусть будет так, открыто. Как мне было велено во сне. Если моя любовь сильнее, если... — он хотел продолжить, — если мне поможет Бог и Пречистая Матерь...» — но не сумел закрепиться до конца в своей надежде, в

своей опоре. Рассудок на долю секунды затмился. Ему почудилось, что он силится проснуться. Он вытянул руки — вот они, только чуть дрожат. Он не спит. «Сегодня все будет *по-другому*»...

Решено: *он не запрет дверь*. Только окно закроет. От ночной свежести. От холода.

С каким спокойным сердцем сел он за стол, как вольно оперся подбородком в ладони, глядя на дверь. Лоб его был чуть нахмурен, но глаза лучились молодой силой.

XIV

Время тянулось невероятно медленно. Егор вдруг заметил, что его сигарета догорела на холодном краю пепельницы. Что он делал с тех пор, как безотчетно зажег ее, где витал?.. Лампа слегка коптила, огонь подрагивал, как от чужого, неуловимого дыхания. И все же в комнате никого не было. *Еще* не было. Ничего не изменилось вокруг: то же оцепенение, тот же избыток пространства. Егор обнаружил, что сидит за столом — неподвижно, без мыслей. Спокойствие уступило место всепоглощающему безразличию. Его не удивило бы сейчас никакое чудо: так странен был сон, в котором он очнулся, — словно на перекрестке сновидений множества людей, чье присутствие рядом только угадываешь, не видя...

Он с усилием встал и прикрутил фитиль у лампы. Ему показалось, что комната выстужена, но холод существовал в комнате как бы сам по себе, не касаясь его. Он проверил окно — закрыто — и на минуту прижался лбом к стеклу, глядя наружу, в ночь. Неясный звук донесся вдруг откуда-то из недр дома. Егор отвернулся от окна, напряженно прислушался. Стон ли это или скрипнула половица под чьей-то ногой? «Не запирай дверь на ночь», — так сказала Симина. «Запирай — не запирай, будто *та* не войдет как угодно: через окно, через сон... И все-таки это кто-то застонал в забытии. Господин Назарие, вероятно, а еще вероятнее — доктор».

Он вернулся за стол. «Что же обманывать себя, что себе самому отводить глаза? Это ее шаги, никуда не денешься. Никуда». Потрескивание и поскрипывание перешло в звук легких, быстрых шагов, приближающихся из глубин коридора. «Только бы проснуться», — отчаянно подумал Егор.

И это снова был, он знал, самообман, он просто тешил себя надеждой, что спит, что все, с ним происходящее, — не более чем сон.

Пришло время пожалеть, что он до сих пор бездействовал, что никак не подготовился, а просто бессмысленно ждал. Теперь оставалось только загнанно следить, как несется вперед время: мгновенья пожирали друг друга, тяжелые, пустые, безвозвратные. Уже целую вечность шел гул шагов по коридору, но у него как будто заложило уши — он едва различал тихие, приглушенные шорохи. Шаги замерли у двери. Потянулись минуты. «Кто-то стоит за дверью, стоит и выжидает. А может быть, дверь и правда заперта? — цеплялся, как за соломинку, Егор. — Может быть, я во сне ее запер? И она не посмеет войти?..»

И тут раздался короткий и быстрый стук в дверь — так стучит женщина, когда волнуется.

Страшно побледнев, Егор встал и, опираясь руками о крышку стола, уставился на дверь большими, горячечными глазами. Стук раздался снова, еще более нетерпеливый.

— Войдите! — не сказал, а простонал Егор.

В гортани было сухо, груди не хватало воздуха. Дверь тихо отворилась и впустила девицу Кристину. Ее взгляд на мгновение скрестился с Егоровым. Потом с великолепной улыбкой она оборотилась назад и повернула ключ в замке.

* * *

С открытыми в темноту глазами, лежа на спине и стараясь не дышать, г-н Назарие прислушивался к тому, что происходило в комнате. Неужели это доктор проснулся, встал и шарит теперь по столу, сшибая предметы и тут же подхватывая их, чтобы не нашуметь? Стуки и звяки возникали и замирали, словно останавливаемые чьей-то рукой. Предметы будто вскрикивали с болезненной звонкостью, и тут же их душило войлоком, а после делалось еще тише, еще томительней.

Г-н Назарие слушал, стиснув зубы, не смея ни пошевелиться, ни отереть со лба капли холодного пота. Он был мокрый как мышь — когда он успел так взмокнуть? И что происходит — может быть, доктору что-то приснилось и он бродит теперь по комнате, не просыпаясь? А если очнется — что это будет за вопль, еще бы, в такой жуткой темноте со всех сторон!..

И тут совсем рядом с ним, за стеной, заскребло — огромный коготь

неторопливо пробовал стену в разных местах, как бы пытался процарапать насквозь. Г-н Назарие сорвался с постели и, одним прыжком выскочив на середину комнаты, налетел на кого-то, неподвижно стоящего. Доктор — это был он — отчаянно взвизгнул.

— Что вы здесь делаете? — с трудом выговорил г-н Назарие.

— Мне показалось, что кто-то ходит, — продребезжал доктор. — Что кто-то царапается снаружи... Вы разве не слышали?

— Птица, наверное, залетела в соседнюю комнату, — неуверенно предположил профессор.

Он прекрасно понимал, что никакая это не птица. Коготь корябал стену с нажимом, для птиц непосильным.

— Что вы там искали на столе, доктор? — спросил он. — Вы меня напугали.

— Это не я, — возразил доктор. — Это духи, это злые духи...

Он весь дрожал. А ружье, как назло, осталось у кровати, и сейчас он ни за что не отошел бы от г-на Назарие, не выпустил бы его руку, за которую уцепился в страхе.

— У вас есть спички? — с натугой произнес г-н Назарие.

— Там, на столе, коробок...

Держась друг за друга, они пошли к столу, стараясь не спотыкаться о стулья. Г-н Назарие долго шарил в полной тьме на столе среди мелких предметов, и когда наконец чиркнул спичкой, его руки тоже дрожали.

— Может, мы зря испугались, — прошептал он.

— Нет, я уверен, уверен, — горячо возразил доктор.

Левой рукой он скомкал рубашу на груди, у сердца, и застыл в судорожной позе, бормоча что-то нечленораздельное.

— Надо уходить, — выговорил он наконец отчетливо. — Я больше в этой комнате не останусь.

— До света недолго, — попытался успокоить его г-н Назарие. — Лучше подождать.

Они взглянули друг на друга, но это только прибавило обоим страху.

— А до тех пор можем помолиться, — предложил г-н Назарие.

— Я только это и делаю, — признался доктор. — Не помогает. Они все равно шебаршат.

Лампа горела слабым огнем. В наступившей полной тишине их дыхание казалось хрипами больного.

— Вы ничего не слышите? — вдруг спросил доктор.

Г-н Назарие резко обернулся. Звуки были другие, не те, что в комнате. Скорее, это снаружи, в парке, поскрипывал гравий под чьей-то осторожной ногой. Г-н Назарие подошел к окну. Сначала ничего не было видно, бледный свет лампы мутил оконное стекло.

— И все же я слышу совершенно ясно, — прошептал доктор, присоединяясь к г-ну Назарие.

Скоро их глаза привыкли к темноте. В самом деле, на аллее виднелась чья-то маленькая фигурка.

— Сими́на! — узнал г-н Назарие. — Может быть, ее послали за нами? Что-нибудь с Сандой...

Однако девочка, обогнув большую клумбу, направилась в глубь парка. Она шла крадучись, почти невесомо. Доктор, онемев, провожал ее глазами.

— Какого дьявола она гуляет ночью одна? — с волнением проговорил г-н Назарие. — Боюсь, не случилось бы чего...

Он еще немного постоял у окна, пытаясь не потерять из виду Сими́ну. Потом решительно принялся искать ботинки.

— Надо посмотреть, куда она пошла, — приговаривал он. — Узнать, что происходит.

Он торопливо одевался. Доктор смотрел на него ошалело, как бы силясь понять смысл его действий.

— Вы не идете? — спросил г-н Назарие.

Доктор закивал головой, влез в ботинки и накинул пальто прямо на ночную сорочку.

— Как это она нас не заметила? — удивился он. — Мы же были у окна, с лампой, а она шла как раз мимо...

Г-н Назарие прикрыл глаза.

— Неужели сомнамбула? — прошептал он с ужасом в голосе. — Не осознает, что делает... Мы должны догнать ее, пока не поздно!

* * *

Железный щелчок замка был последним живым звуком, который слышал Егор. Шаги девицы Кристины, хотя и вполне отчетливые, принадлежали иным пределам, и их тихая мелодическая дробь оплетала, как наваждение.

Она вышла на середину комнаты, держа Егора взглядом. «Если бы я мог закрыть глаза», — подумал он. «Не надо, друг мой любезный, — раздалось в его голове слова, хотя Кристина молчала. — Не бойся же меня!..»

Мысли девицы Кристины всходили в его мозг так ясно, что он без труда отличал их от своих. И страх был не так велик, как он ожидал; правда, ее приближение давило, воздух, которым он дышал, делался все реже и раскаленной, но при всем том ему удавалось оставаться на ногах, руки не дрожали и рассудок не мутился. Он не спускал глаз с Кристины, и ни одно движение ее воскового лица не ускользало от него. Фиалковый запах заполнил всю комнату. По дыханию Кристины Егор видел, что она возбуждена — его близостью, предвкушением ласк. «Нам не нужен свет, любимый, погаси», — раздалось в его мозгу. Но он не поддался, собрав все силы. Теперь можно было ожидать, что она сама задует лампу и подступит к нему. Однако Кристина так и стояла посреди комнаты, с трепетом глядя ему в глаза, отрываясь лишь затем, чтобы скользнуть взглядом по его сильным рукам, опирающимся о крышку стола. Егор сделал нечеловеческое усилие и опустился на стул. «А ведь ты раз признался, что хотел бы написать мой портрет, — услышал он мысль Кристины. — Написать так, как только ты умеешь...»

Она натянуто улыбнулась и пошла к его постели. Бесшумно, легко-легко присела на край и стала стягивать перчатки. Замедленность, мягкость, непередаваемая грация были в ее движениях. От прилива крови у Егора на миг остановилось сердце. «Почему ты мне не поможешь? — порозовев, спрашивала девица Кристина. — Какой же ты робкий любовник, Егор... И как гадко с твоей стороны сидеть так далеко от меня. Разве ты не хочешь увидеть меня всю?.. Я никого еще не подпускала к себе, мое сокровище... Но у тебя такие глаза... от них я потеряла голову, Егор! И что, что я могу дать им — только себя, только свою наготу. Ты знаешь, я белее снега, Егор, ты очень хорошо это знаешь!..»

Егор попытался сомкнуть веки, но они не слушались, и его глаза остались прикованы к девице Кристине. Неподражаемо царственным жестом она сняла шляпу и приложила ее к черным шелковым перчаткам на столике. Сквозь спокойную величавость ее повадки проскальзывала все же неясная тревога. «Ты никогда не поймешь, Егор, на что я иду ради тебя!.. На что осмелилась... Если бы ты только знал, что за кара меня ожидает... За любовь к смертному!» В ее улыбке проступила мучительная

тоска, в глазах стояли слезы. Но Егор был здесь, рядом — и одним своим присутствием уничтожал все ее страхи, все тревоги. Она встала. Вот соскользнул с ее шеи воздушный шарф, и шея нежно заблестала белизной. Она повернулась в профиль. Ее грудь на бледном фоне стены круглилась триумфально и дерзко — грудь девственницы, крепкая и маленькая, высоко поднятая пластинами корсета.

«Сейчас она разденется», — содрогнулся Егор. Вместе с ужасом и отвращением, навалившимися на него, как бредовый сон, он почувствовал и укол больного вожделения, ядовитой неги. Это было столь же унижительно, сколь сладко, сладко до помрачения ума. Кровь закипела, забила в висках. Фиалки пахли теперь куда более тонко и вкрадчиво, дурманя его. Над постелью стоял нескончаемый гул легких женских шорохов, шелест шелков, соскальзывающих с нежной кожи, — и наконец по теплому душистому дуновению он понял, что ее грудь вышла из тесноты одежд. «Я Люцифер, звезда зари...» — услышал Егор не произнесенное вслух Кристиной. Улыбка ее была все так же горька. «Ты будешь мне невестой!» Лицо ее исказилось желанием, необузданным, смутным, глаза заволокло иной огонь — томительный, палящий, тревожный. «Мне плохо одной, любовь моя, — услышал Егор. — Помоги же мне! Мне холодно... Приласкай меня, сядь рядом, возьми меня в объятия, Егор...»

Он взглянул, и в глазах у него потемнело. Медленно распуская шнуровку, туго сковывающую ее талию, девица Кристина высвобождала себя из шелков. «Сейчас она подойдет и обнимет меня вот этими голыми руками...» И все же из бездны отвращения волной поднималась сладостная отравка — его ждали ласки, какие ему и не снились...

«... Не хочу больше сниться, — подхватила девица Кристина. — Я устала от холода и бессмертия, Егор, любовь моя!...»

* * *

Санда ждала, прислонясь к косяку открытого окна. Еще немного подождать, и все кончится. Это будет так, как начиналось. Как во сне. Луна ушла глубоко вниз; мрак — крошечный. Никто не увидит, как она стоит тут. Никто не услышит ее крика. Все спят, даже ночные бабочки, даже комары...

Санда очнулась от звука шагов за спиной и покорно обернула назад голову. Сначала придет *она*, потом все остальные, тень за тенью...

— Ты почему встала среди ночи? — раздался голос г-жи Москву.

Как незаметно она вошла. И, вероятно, по дороге из парка, потому что была одета и закутана в шаль.

— Я ждала, — проронила Санда.

— Она уже не придет, — сказала г-жа Москву. — Можешь ложиться.

Санда заметила, что мать сжимает в левой руке темный живой комочек. В другой раз ее всю перевернуло бы от отвращения и гадливости. Но сейчас она только тупо смотрела на материнский кулак, сжимавший маленькую тварь.

— Где ты это поймала? — еле сумела выговорить она.

— В гнезде, — возбужденно прошептала г-жа Москву. — Он еще не умеет летать...

— И так жестоко?.. — простонала Санда.

Ей пришлось взять виски в ладони, так сразу навалились на нее все муки, все страхи самой первой бредовой ночи, страхи, смешанные с омерзением. Она замотала головой. Распахнутое окно щедро впускало в комнату промозглость ночи.

— Ложись! — с металлом в голосе приказала г-жа Москву. — Простудишься!

Дрожа, Санда вернулась в постель. Голова раскалывалась, жгло в висках.

— Не закрывай окно, — шепнула она матери. — Может, все-таки придет...

* * *

Дойдя до середины аллеи, г-н Назарие и доктор чуть не наткнулись на Симину, которая стояла спиной к ним, высматривая что-то за деревьями.

— Недалеко же она ушла, — прошептал доктор. — За столько-то времени...

Симина без всякой робости смотрела в темноту, не оборачиваясь на них. Не нарочно ли она подпустила их поближе, чтобы потом увести за собой?

— Она ничего не слышит, — сказал г-н Назарие. — Наверное, даже не отдает себе отчета, где она находится.

И тут девочка тронулась с места — уверенным, собранным шагом.

Свернув с аллеи, она пошла напролом, не ища тропинки, не опасаясь мертвых веток, целящихся в нее.

— Как бы нам не заблудиться, — пробормотал доктор.

Г-н Назарие не ответил. Его словно отпустило после долгого приступа страха, и он очнулся больной и оглушенный, с ощущением, что ввязался в какое-то бессмысленное преследование, что его заманивают в ловушку, что еще немного — и он провалится в глубокую сырую яму.

— Я потерял ее из виду, — сказал доктор, останавливаясь среди деревьев.

«Ветки так хрустят под ногами, — думал он, — как можно нас не услышать?»

— Вон она! — сухо откликнулся г-н Назарие, указывая рукой на белую фигуру вдалеке, у кустов.

Вероятно, там начиналась другая, перекрестная аллея, потому что темнота теряла там свою плотность, а деревья выстраивались по линейке.

Доктор сделал в ту сторону несколько шагов, продираясь сквозь плешивые и кривые ветки, низко провисшие, словно под невидимой тяжестью, и вперил взгляд в белую фигуру.

— У меня хорошие глаза, — прошептал он, и ужас был в его голосе. — Это не она.

Тогда и г-н Назарие заметил, что фигура возле кустов слегка колыхается, и ее руки вздымаются, как будто зовут кого-то, им невидимого, издаেকে. Конечно, какая там Сими́на! Он оцепенел, дух перехватило. Фигура была не человеческая. Скорее она напоминала его давешние видения — бесплотность, неестественное колыхание пустых одежд.

— Вернемтесь! — услышал он осипший голос доктора.

И тут мимо них прошла Сими́на. Г-н Назарие догадался по ее широко раскрытым глазам, по испугу во взгляде, который она бросила на них искоса, по крепко сжатым губам, что она пытается исправить свою оплошность. Вероятно, она считала ту аллею вполне надежным местом, где не встретишь чужих, и теперь, растерявшись при виде гостей, хотела увлечь их в противоположный конец парка. Итак, миновав их, она быстрым, сосредоточенным шагом направилась к северным воротам. Доктор сорвался было с места, чтобы бежать за ней, но г-н Назарие удержал его за руку.

— Сначала посмотрим, что там, — сказал он решительно.

Осторожно ступая, они пошли к перекрестной аллее. Фигура исчезла. То ли пустилась вслед за Симиной, то ли ее просто скрыли кусты. Г-ну Назарие стало казаться, что он уже раз переживал это приключение, что когда-то давно уже преследовал среди неподвижных деревьев существо с мягкими тряпичными движениями.

— Скрылось, — прошептал доктор. — Я по крайней мере ничего не вижу...

Зато г-н Назарие снова заметил в нескольких шагах от себя Симинову. Прижавшись спиной к стволу дерева, она в отчаянии смотрела на приближение мужчин. Перехватив взгляд г-на Назарие, девочка попыталась, как и раньше, подчинить его своему внушению, удержать на месте, сломить его волю, но г-н Назарие не поддался и, твердо пройдя мимо, увлек доктора на обочину аллеи.

— Стойте и не двигайтесь! — приказал он.

Наискосок от них, посреди аллеи, виднелся рыдван допотопного обрза, старая, потрепанная помещичья коляска, запряженная парой сонных лошадей. Кучер в белесом, вылинявшем от дождей зипуне и потертой кожаной шапке уснул на козлах. Похоже было, что он приготовился к долгому ожиданию, так основательно он спал, даже не подрагивая во сне. И лошади как будто соскользнули в такой же мертвый сон, неподвижный, бездыханный. Как темные изваяния, застыли они в упряжке и оцепенело ждали.

У доктора глаза вылезли из орбит, он снова уцепился обеими руками за г-на Назарие, свистящим шепотом спрашивая:

— Видите? Видите?

Г-н Назарие кивнул.

— Они живые? — вопрошал доктор. — Или нам блазняются?

В эту минуту фигура, которая на время скрылась, вышла прямо на них. Это был старик изможденного вида, со впалыми щеками, одетый, как одевались в старые времена дворовые люди. Он проколохался мимо, точно не замечая их, глядя под ноги. Но г-н Назарие почувствовал, что тот знает об их присутствии в непосредственной близости от себя, — он уловил момент, когда старик зыркнул на них стеклянными, усталыми, больными глазами. Доктор заслонил глаза ладонью, рванул было прочь, но пожатие холодной маленькой руки парализовало его. Симиная!

XV

Девушка Кристина ждала, обнажив грудь, распустив волосы. «Егор, ты унижаешь меня! — услышал он ее мысль. — Погаси лампу, иди ко мне!» Приказ звучал в мозгу, в кровь проникал ее манящий яд, и сопротивляться было выше человеческих сил. «Если она меня поцелует, я пропал», — мелькнула мысль. Но в то же время он чувствовал, как овладевает им наваждение, как он хочет эту плоть, такую живую и сулящую такую ярость содроганий. Под натиском ее зова Егор против воли шагнул к постели. Его шатало, с дьявольской четкостью он понимал, что гибнет, чувствовал, как захлестывает его, сквозь тошноту, вожделение. Шаг, еще шаг...

Прямо перед ним раскрылись губы Кристины. Когда же он успел подойти так близко? Он протянул руки и обнял лилейные плечи. И тогда его обожгло — сразу и льдом, и пламенем — так нещадно, что он рухнул на постель. Было нестерпимым прикосновение к этому не имеющему себе подобия огню, прикосновение к тому, чего нельзя, невозможно коснуться... Но губы Кристины уже искали его — и снова, как ожог, первая секунда отозвалась только пронзительной болью во всем теле. Потом сладкая отравка просочилась в его кровь. Больше противиться он не мог. Их дыхания смешались, и он отдал свои губы на сожжение ее губам, во власть мучительного, больного блаженства. Восторг был таким всепоглощающим, что у Егора слезы навернулись на глаза, ему казалось, у него расходятся швы черепа, размягчаются кости, и вся его плоть содрогнулась в великолепии спазма.

Кристина откинула голову назад и посмотрела на него сквозь ресницы. «Как ты хорош, Егор!» Она провела рукой по его волосам, потом тихонько пригнула его лицо к своей маленькой, затрепетавшей груди. Егору показалось, что он слышит прямо над ухом текущий протяжный голос:

Аральд, склонить не хочешь ко мне на грудь чело?
Ты, черноглазый бог мой... О! Дивные глаза...
Тебе на шею локон спущу я, как лоза...
И мы в раю, любимый, счастливее нельзя.
И в ночь очей смотреться убийственно светло!*

* Строфа из поэмы М. Эминеску «Вурдалаки».

Голос не походил на Кристинин, каким она говорила во сне; ни на тот ее неслышный голос, каким она подчиняла себе его мысли. Нет, кто-то третий читал рядом с ними эти стихи, смутно напомнившие Егору лицевские времена, минуту острого одиночества в осеннюю ночь. «А у тебя какие глаза, Егор?» — Кристина приподняла его голову своими маленькими руками, взглянула пристально и лукаво. «Ты, черноглазый бог мой!.. Они у тебя — фиалковые, отчаянные... Сколько женщин отражалось в них, а, Егор?! Как бы я растопила их лед губами, суженый мой! Почему ты не дождался меня, почему не хотел любить меня одну?!»

Егора трясло, но то был уже не страх, а нетерпение тела, сгорающего в предвкушении небывалых ласк, и чем унизительнее душило его вожделение, тем неистовее бушевала плоть. Рот Кристины имел вкус запретного плода, вкус недозволенных, упоительных, бесовских грез. Но ни в какой самой сатанинской грезе яд и роса не соседствовали так тесно. Объятия Кристины пронзали Егора остротой самых темных радостей и причащали к небесам, растворяли во всем и вся. Инцест, переступание черты, безумие — любовница, сестра, ангел... Все сплеталось и тасовалось от близости ее плоти, пылающей и все же безжизненной.

— Кристина, я сплю? — глухо прошептал он с помутившимся взглядом.

Девушка Кристина улынулась ему. Но роса ее губ не дрогнула, хотя Егор ясно услышал ответ:

«...Что, как не греза духа, есть мир?..»

«Да, да, — мысленно соглашался Егор. — Она права. Я грежу. И никто не принудит меня проснуться».

«Говори со мной, Егор! — раздался беззвучный приказ. — Какая боль, какая пытка — твой голос, как бережит он душу... Но я не могу без него!»

— Что тебе сказать, Кристина? — в изнеможении спросил Егор.

Зачем она приблизила его к своей груди, а сама заставляет говорить, изматывая его, оттягивая полноту объятий? Зачем так нетерпеливо звала и сбрасывала перед ним одежды, а теперь, приведя их в беспорядок, забыла и про свет, который так мешал ей, и про свою роль соблазнительницы, и про его неподатливость.

— Что тебе сказать? — повторил он, глядя ей в глаза. — Ты мертвая или просто мне снишься?

Лицо девушки Кристины безнадежно угасло. Она не плакала, но глаза

ее разом потеряли блеск, заволоклись пеленой. Улыбка стала принужденной, а с губ отлетело ядовитое ароматное веяние, так взбудоражившее его чувственность.

«Почему ты все время об этом, Егор, любовь моя? — услышал он ее мысль. — Тебе так нужно подтверждение, что я мертва, а ты смертен?.. Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим — какое бы чудо исполнилось!»

— Но вот же, я люблю тебя, — простонал Егор. — Я не хотел любить тебя сначала, я тебя боялся! А теперь люблю! Что ты дала мне выпить, Кристина? Какое зелье я отведал с твоих губ?!

Как будто морок вдруг обуял его. Отрава разошлась по крови, проникла в мозг и в речи. Он заговорил в беспамятстве, клонясь к груди девицы Кристины, шепча и целуя, судорожно ища снежное тело, в котором хотел потерять себя.

Кристина улыбнулась. «Так, любимый, так, говори мне страстные слова, говори, что ты без ума от моей наготы, глядись в мои глаза, глядись и забудь обо всем!..»

— Дай мне поцелуй! — вне себя прошептал Егор.

И тогда его еще раз опалило тем нездешним блаженством, которое давали ее губы. Проваливаясь в пропасть, лишаясь чувств, он зажмурился. Ее мысль приказала: «Раздень меня, Егор! Ты, сам, раздень меня!..» И он погрузил пальцы в точащие яд шелка. Пальцы горели, как будто он перебирал льдинки. Сердце бешено стучало под напором крови. Желание накатило слепо и безумно, не желание — угар, горячка, дьявольский соблазн распасться, растаять в последнем спазме. Тело Кристины отвечало дрожью его чутким пальцам. Но при всем том ни дыхания, ни слабейшего вздоха он не мог уловить на ее губах, полуоткрытых и влажных. Эта плоть жила по иным меркам, замкнутая сама в себе, безуханно, безгласно.

«Кто тебя научил ласкать, залетный мой? — звучало в его голове. — Откуда у тебя такие жгучие руки, такой смертельный поцелуй?» Распустив на ней корсет, Егор провел пальцами вдоль безропотной спины — и вдруг в ужасе замер, как будто очнулся на краю гнилого болота, еле удержавшись, чтобы не упасть. Кристина взглянула долгим, вопросительным взглядом, но Егор не поднял на нее глаз. Его пальцы наткнулись на влажную теплую рану, *единственное теплое место* на неестественном теле Кри-

стины. Зачарованное скольжение оборвалось, рука отдернулась, угодив в кровь. Рана была настолько свежая, словно только что, считанные минуты назад, открылась. Она обильно кровоточила. Но почему же тогда кровь не натекла за корсет, не залила платье?!

Он поднялся, шатаясь, обхватив голову руками. Ужас и омерзение снова пронизали его до мозга костей. «Слава Богу, что это сон, — сказал он себе, — и что я вовремя проснулся». Но тут его взгляд упал на полуобнаженную, брошенную им девицу Кристину, и он услышал в мыслях: «Да, это моя рана, Егор! Туда попала пуля, туда выстрелил этот скот!..» Ее глаза снова заискрились. Тело, раскинувшееся на его постели, как будто излучало нездешний свет. Но мара рассеялась. Егор посмотрел на свою руку. Пальцы были в крови. Он застонал, обезумев, и отскочил в другой конец комнаты. «И ты, как все, Егор, ты, любовь моя! Боишься крови!.. Дрожишь за свою жизнь, за свой жребий смертного. Я за час любви пренебрегла самой страшной карой. А ты не можешь пренебречь капелькой крови. Все вы таковы, смертные, и ты тоже, Егор...»

Кристина встала с постели, гордая, скорбная, неласканная. Егор в панике смотрел на ее приближение.

— Ты мертвая, мертвая! — завопил он, не помня себя, забиваясь в угол, за стол.

Кристина спокойно сделала к нему несколько шагов. «Ты будешь искать меня всю жизнь, Егор, и никогда не найдешь! Ты истомись, ты иссохнешь по мне... И умрешь молодым, унеся в могилу вот эту прядь волос!.. На, храни ее!» Она наступала, захлестывая его фиалковым дурманом. Но он не протянул руки. Он не вынес бы еще раз прикосновения к этому бездыханному телу. Когда Кристина сама протянула ему прядь волос, Егор отчаянным рывком тряхнул стол. Лампа упала, разбившись с глухим звоном. Польшнуло желтым пламенем. Резко запахло керосином. В язычках огня, побежавших по ковру, по полу, фигура Кристины, освещенная снизу, казалась еще более зловещей. «Просыпаюсь! — радовался Егор. — Конец кошмару!» Он только не понимал, почему стоит, сгорбясь, вцепившись в крышку стола, и что это за огонь лижет балки, окружает его кровать, пожирает на ней белье. «Это был сон, девица Кристина приходила во сне», — повторял он, пытаясь охватить разом столько сверхъестественных событий. Девицу Кристину тем временем как бы уносило от него. С презрением глядя ему в глаза, одной рукой она подбирала рас-

сыпавшиеся по плечам волосы, другой запахивала платье на груди. Только миг он видел ее такой.

Потом — он не уловил как — комната опустела.

Он остался один, посреди огня.

XVI

Г-н Назарие, доктор и Сими́на долго стояли вместе, глядя на рыдван со спящими лошадьми. Время замерло. Листья перестали шевелиться на ветках, затаились ночные птицы. Смолк человеческий разум. Г-н Назарие стоял без единой мысли, без воли. С той минуты, как к ним подошла Сими́на, его словно сковало. Впал в оцепенение и доктор. Одна Сими́на напряженно ждала, и дыхание ее было взволнованным.

— Вы должны уйти, — не выдержала она наконец. — Она вот-вот вернется... И рассердится на меня, если увидит вас здесь...

Шепот Сими́ны словно пробивался издалека. Мужчинам пришлось напрячь слух, чтобы расслышать.

— Она рассердится, — повторила Сими́на.

Г-н Назарие стал тереть глаза. Озадаченно посмотрел на своих спутников, потом снова на рыдван, на неподвижных лошадей, покорно поникнувших головами.

— Как же мы долго спали, — пробормотал г-н Назарие.

Сими́на усмехнулась, беря его под руку.

— Мы не спали, — сказала она тихо. — Мы все время стоим здесь и ждем ее...

— Да, так, — согласился профессор, тоже чуть слышно и, по-видимому, не понимая, что говорит. Разум замер, и ничем было не расшевелить его.

— Она и вас тоже позовет, — добавила Сими́на. — Придет и ваш черед. А сейчас она у Егора, сейчас она с ним...

Г-н Назарие содрогнулся. Но у него не было ни сил, ни мыслей. Чары Сими́ны отуманивали, усыпляли даже волнение, даже страх.

— Кристи́нин кучер — из наших крестьян, — прошептала Сими́на, указывая рукой. — Вы его не бойтесь, он добрый.

— Я не боюсь, — послушно сказал г-н Назарие.

В ту же минуту ледяная игла кольнула его под левую лопатку, и от этой боли он в страхе очнулся. Сразу стало холодно, его забил озноб. С другого конца аллеи быстрым шагом к ним приближалась разъяренная девица Кристина. Поравнявшись с людьми, она полоснула по ним угрожающим взглядом: будь ее воля, она превратила бы их в ледяные столпы — так сверкали ее глаза. Г-н Назарие отшатнулся, как от удара. Теперь он имел дело не с призраком из тумана и жути и не с гнетущим присутствием невидимого духа. Кристина пригвоздила их взглядом из пространства — не из сна. Он видел ее с ясностью, от которой можно было сойти с ума, в двух шагах от себя. Больше всего поражала ее походка, очень женская, стремительная и гневная. Девица Кристина забралась в рыдван, обеими руками собирая края шелков вокруг шеи. Платье на ней было в беспорядке, лиф распушен. Длинная черная перчатка соскользнула по ступеням коляски на гравий аллеи.

Симиная первая заторопилась к рыдвану, не спуская с тетушки преданных глаз. Ее бледное личико было копией перламутрового лица Кристины. Она простерла руки и замерла, не произнося ни слова. Чего она ждала — знака, поощрения, приказа? Девица Кристина улыбнулась ей очень горько, очень устало, глядя прямо в глаза, как будто одним взглядом сказала обо всем, что было, — и рыдван бесшумно тронулся, покачиваясь над землей, как тяжелое облако тумана. Спустя несколько минут он скрылся из виду.

Симиная осталась стоять, удрученно потупясь. Г-н Назарие тяжело дышал. Доктор, по-прежнему не шевелясь, зачарованно уставился на черное пятно, видневшееся в нескольких метрах от них, посреди аллеи.

— Она обронила перчатку, — наконец сдавленно сказал он.

Симиная восторженно заволновалась, как будто решая, трогать или нет оброненное. Но доктор уже подскочил и, дрожа, подобрал с земли самую настоящую черную перчатку, слабо пахнущую фиалкой. Он держал ее на ладони, не понимая, откуда берутся эти токи огня и стужи, пронизывающие его. Симиная, шагнув к нему, процедила:

— Вы зачем руками хватаете?

Подошел и г-н Назарие, он тоже смотрел, оторопело, бессмысленно, с перекошенным от ужаса и непонимания лицом. Потом потянулся потрогать шелковую вещицу, выпавшую из сна. Но перчатка незаметно истлела на ладони доктора, как будто ее пожирал скрытый огонь, и, превра-

таясь в горсточку старой, залежавшейся золы, грустно просыпалась на гравий в том месте, где проехал рыдван. Наклонив ладонь, доктор сонно смотрел на сыпучую пыльную струйку.

* * *

Огонь быстро распространялся по комнате. Уже занялся шкаф с одеждой, кровать и занавески. Задыхаясь от дыма, Егор все же долгое время тупо простоял на прежнем месте у стола. «Надо что-то делать», — думалось ему, как сквозь сон. Взгляд упал на кувшин с водой; по горящему ковру он кое-как добрался до него и стал брызгать куда попало. Силы его покидали. Воды, которая нашлась в комнате, не хватило даже, чтобы погасить пол у двери, куда он отступил. Решив позвать на помощь, он нажал на ручку. Дверь оказалась запертой. «Я не запирал», — похолодев, вспомнил он. Ужас, снова вернувшийся, придал ему силы. Он нащупал ключ в замке — железо было горячим, закоптелым; ключ повернулся тяжело, по дереву уже пришлось несколько языков огня, запятив сажей желтое лаковое покрытие.

Егор побежал по коридору, зовя на помощь. Из приоткрытой двери позади него вырывались тонкие струйки дыма, подсвеченные пламенем. Егор кричал, звал г-на Назарие. Но на всем протяжении коридора его встречала безответная тишина, которую он не мог себе объяснить. В крошечной тьме он не узнавал дверь профессора — иначе заколотил бы в нее ногами, чтобы тот проснулся. Он бросился вниз и выскочил из дому, так никого и не встретив. Некоторое время топтался во дворе, силясь понять, что с ним происходит, все еще надеясь проснуться, если это сон. Поднес к глазам руки, но даже их не разглядел в темноте. Вдруг неувольно поваяло мертвыми цветами, слежавшимся в сундуке бельем, и, вскинув глаза, он увидел сильное пламя, вырвавшееся из его окна и быстро достигшее крыши. «Сгорят живо!» — испуганно подумал он и снова закричал. Но когда на аллее, за его спиной, послышался шум шагов, он, не оборачиваясь, в панике пустился бегом к флигелю, который занимало семейство Моску. Только сейчас он сообразил, в какой опасности Санда.

«Лишь бы не опоздать! — твердил он про себя. — Лишь бы меня не заметили...»

Он столько раз звал на помощь — и никто не проснулся; не лаяла ни одна собака; все так же пуст оставался двор и так же да-

вила на него со всех сторон темная громада парка. Люди на виноградниках, сказала Сими́на. Но как же она-то его не услышала — или кормилица, или г-жа Моску? Он оглянулся. Черный воздух начал расцветчиваться заревом. Тени ближайших к дому акаций и кустов сирени дрожали под напором усталого, кровавого света. «Весь дом сгорит, — апатично подумал он. — Назарие, конечно, сбежал. Улепетнули вместе с доктором, бросили меня одного, на верную гибель. Спасают шкуру».

Он тихо, с бесполезной осторожностью обошел хозяйский флигель. «Скоро все проснутся, соберется народ с виноградников, набегут деревенские». Огонь горел далеко, бесшумно. «Еще есть время, еще есть время спасти ее, взять на руки и бежать...»

Вдруг он поймал на себе чей-то взгляд и, поискав глазами, увидел высоко в окне Санду. Она была в одной рубашке, без кровинки в лице, локти на подоконнике, подбородок в ладонях — как будто она устала ждать и ее одолевал сон. Егор вздрогнул, наткнувшись глазами на ее застывшее лицо. «Она все знает...»

— Ты? — тускло обронила Санда. — Мама сказала, что ты сегодня уже не придешь... Ночь...

Она смотрела прямо ему в глаза, но без всякого выражения, даже не удивляясь, что он вдруг оказался здесь в столь поздний час.

— Набрось что-нибудь на плечи и спускайся вниз, быстро, — сказал Егор.

Но Санда не двинулась с места. Только начала дрожать. Как будто до ее сознания дошел наконец холод ночи, промозглость тумана, сковавшего ей плечи, руки, шею.

— Нет, я не смогу, брр! — прошептала она, передернувшись. — Меня не заставляйте. Не могу!.. Мне их жалко...

Егор слушал в оторопи. Он понял, что Санда говорит не с ним, а с кем-то невидимым, кто, вероятно, стоит за его спиной и чей приход она в страхе подстерегала. Он подошел прямо под окно. Как жаль, что нельзя тут же взобраться по стене в ее комнату, укутать, взять на руки и унести отсюда силой.

— ...я давеча видела одного, — замирающим голосом говорила Санда. — Мама поймала в гнезде... Но я не смогу, мне жалко... Не выношу... вида крови...

— С кем ты говоришь, Санда? — громко спросил Егор. — Кого ждешь здесь, среди ночи?

Она осеклась, пристально и непонимающе взглядываясь в него.

Боясь отвести от нее глаза, словно она могла ускользнуть куда-нибудь, если он зазеваётся хоть на секунду, Егор вскинул руки и, цепляясь за камни стены, крикнул:

— Я пришел за тобой!

— Да, мама говорила, — пробормотала, дрожа, Санда. — Но мне страшно... Спуститься вниз? Прямо отсюда?

Егор окаменел. Санда поднялась на цыпочки и налегла всем телом на подоконник. Вероятно, она была слишком слаба, чтобы сразу одолеть такую высоту. Тогда она повторила попытку, очень спокойно, но упрямо — как будто выполняла чей-то приказ, не подлежащий обсуждению.

— Что ты собираешься делать? — крикнул он. — Стой на месте! Не двигайся!

Санда то ли не слышала, то ли до нее не доходил смысл слов. Ей удалось наконец забраться на подоконник. Теперь она ждала знака — или только прилива храбрости, чтобы прыгнуть. До земли было метра четыре, не больше. Но из той позы, в которой, покачиваясь, стояла Санда, готовая нырнуть головой вниз, прыжок мог оказаться фатальным. Егор в ужасе кричал на нее, махал руками, чтобы она услышала его, опомнилась.

— Не бойтесь, — раздался рядом сухой голос. — Она упадет нам на руки. Тут невысоко.

Он повернул голову. Г-н Назарие, потный, помятый, стоял, не глядя на него, наблюдая за безотчетными телодвижениями Санды.

— Вы бы пошли к ней в комнату, может, успеете, — шепотом добавил г-н Назарие. — А мы посторожим тут. С доктором.

В самом деле, в нескольких шагах позади них, опершись о ружье, расположился среди роз доктор. Его, казалось, уже ничем нельзя было удивить — такая неестественная уверенность была в его фигуре, такое строгое, застывшее внимание на лице.

— Кто поджег? — спросил г-н Назарие, подходя под окно.

— Я, — ответил Егор. — Опрокинул керосиновую лампу. Во сне опрокинул, нечаянно... Мне привиделась девица Кристина...

Г-н Назарие дотронулся до его руки.

— Я тоже ее видел, — спокойно сказал он. — Там, в парке...

В эту секунду Санда мягко взмахнула руками, как раненая птица крылами, и без звука рухнула вниз. Она упала на грудь Егору, свалив его на землю. С минуту Егор пролежал, прижимая к себе оголившееся при падении сонное и холодное девичье тело. Санда была неподвижна, руки повисли.

— Надеюсь, вы не очень ушиблись, — сказал г-н Назарие, помогая оглушенному ударом Егору подняться.

Потом приложил ухо к сердцу упавшей.

— Ничего, — прошептал он. — Сердце пока бьется...

XVII

Пламя вздымалось теперь высоко над домом, освещая парк до верхушек акаций. Летала стая разбуженных ворон. Где-то очень далеко проснулись наконец и глухо залаяли собаки.

— Надо отнести ее в тепло, — сказал Егор, укутывая своим пиджаком плечи Санды. — Когда еще она очнется...

Встряска от падения пошла ему на пользу — он как будто бы снова обрел чувство реальности.

— А вещички-то наши все... тью-тью, — прошептал доктор, не сводя глаз с огня и напряженно пытаясь вспомнить, что он сделал со своим гонораром. Где эта тысяча лей — при нем, в кармане пальто, или осталась на столе вместе с часами и патронташем?

— Дом сгорит дотла, — мрачно сказал г-н Назарие. — Может, оно и к лучшему. Окаянное место...

В дальнем конце двора раздались первые человеческие голоса.

— Идут с виноградников. — Егор заторопился. — Надо скорее отнести Санду.

Он взял девушку на руки. Ее голова безвольно запрокинулась, лицо было слегка запачкано — то ли сажей, то ли грязью с Егоровой одежды. «Просто чудо, что она ничего не сломала, не вывихнула, — радовался Егор. — От боли она бы, конечно, закричала, пришла в себя. Или опять обморок?..»

— Вы кто? — окликнул г-н Назарие темные фигуры, бегом приближавшиеся к ним со стороны дворовых построек.

— Свои, барин, — раздался голос. — Мартиновы, с виноградника.

— Пропащее дело, — вступил другой. — Пока подспеют деревенские, все сгорит...

— Пусть его, — строго ответил г-н Назарие. — Пусть сгинет упырь. Люди ошарашенно замерли. Переглянулись.

— Вы тоже видели? — робко спросил первый. — Это она была, покойная барышня?..

— Она, девица Кристина, — четко сказал Егор. — Это она опрокинула лампу, — добавил он уже на ходу, направляясь к заднему крыльцу флигеля.

Ему становилось жутко держать на руках бесчувственное молодое тело, биение сердца в котором почти не улавливалось.

Г-н Назарие остался с людьми.

— Оно и к лучшему, — говорил он. — Будет покончено с чертовщиной...

Народ прибывал со всех сторон. Сбившись в кучу поодаль от огня, люди стояли не двигаясь, ничего не предпринимая и только ахая. Из уст в уста передавалось сказанное Егором.

— У нас тоже скотина пала, — слышал г-н Назарие обращенное явно к нему. — Нынешней осенью — вся, и мелкая, и крупная...

— А ежели какой помрет из младенцев, как раз в упыря обернется...

Никто не подходил ближе к дому, никто ни о чем не спрашивал. Никто, кажется, не собирался тушить пожар. Теперь с треском рушились перекрытия и время от времени осыпались, в клубах дыма, потолки.

Г-н Назарие вдруг оказался один на один с толпой. Он не знал, что надо сказать этим поднятым с постели крестьянам, еще не отдышавшимся от бегства. Не знал, надо ли просить их о чем-то, и его уже начинал разбирать страх от их числа, от их угрюмого и как будто все более зловещего молчания. Столбы пламени поднимались к небу так мощно, а колеблющаяся тень толпы распространилась так широко, что г-ну Назарие невольно пришла на ум мысль о крестьянском бунте. Только пока люди держались молча, думая свою суровую думу, и ничего не требовали, ничьей жизни. Разве что жизни девицы Кристины, а вернее, ее настоящей смерти, не наступившей тогда, давно, в большой смуте девятьсот седьмого, от пули управляющего...

Г-н Назарие торопливо пошел в дом вслед за Егором. В окна прони-

кало теперь довольно света, чтобы свободно пройти по коридору. Дверь к Санде была открыта, Егор стоял на пороге.

— Не знаю, хорошо ли я сделал, что опять принес ее сюда, — сказал он. — Хочется надеяться, что она спит... Но может проснуться с минуты на минуту, и тогда мало ли что ей взбредет в голову...

— Надо ее постеречь, — предложил г-н Назарие. — Позовемте и доктора.

— Но у меня есть дело к людям... — задумчиво продолжал Егор. — Ваша помощь при этом мне тоже понадобится...

Он не знал, на что решиться. Снова вошел в комнату. Санда лежала по-прежнему неподвижно.

— Что же доктор не идет? — с раздражением сказал Егор. — Не могу понять, что с ней, почему сон такой тяжелый...

— Что доктор, — тихо заметил г-н Назарие. — Доктор, боюсь, тут не поможет.

* * *

Когда стали рушиться стены, народ подался назад. Можно было подумать, что горит нежилой дом, так безучастно они топтались перед ним прямо на клумбах с розами. Почти все молчали, словно на их глазах исполнялся наконец-то давний обет, столь долго и столь тщетно желанный, что в душах уже не осталось места для радости.

— Расступитесь! — прозвучал вдруг голос Егора.

Он как будто вырос и стоял, на голову возвышаясь над толпой. Лицо осунулось, глаза запали.

— Заклятье кто-нибудь умеет снимать, заговор от упыря кто знает? — спрашивал он направо и налево, пробивая себе путь в молчащей толпе.

Люди жались, пряча глаза.

— Это к бабкам надо... — сказал один, как-то странно жмурясь.

Егор не понял, то ли он ухмыляется, то ли подмигивает. Это был явный самый бойкий, самый храбрый из всех.

— А топоры у кого-нибудь найдутся? Или ножи? — прогремел Егор. — Сделаем вместе одно дело...

Слова попали в точку. Люди зашевелились, заволновались. Колоть, бить — вот на что у них чесались руки. Просто так смотреть на гибель в огне проклятого дома было мало.

— За мной! — крикнул Егор тем, кто первыми вышли из толпы.

Г-н Назарие подскочил к нему, схватил новоявленного атамана за руку, спросил, перепуганный:

— Что вы намерены делать?

С той минуты, как Егор покинул комнату Санды, словно бы разгневавшись на ее непонятный обморок, с пеной у рта пытая всех встречающих-поперечных, где спальня г-жи Моску, профессор не знал, что и думать. Уж не сошел ли Егор с ума? Г-н Назарие не смел смотреть ему в глаза — таким диким блеском они горели.

— На что вам топор? — допытывался он, теребя Егора за рукав.

— Мне нужно железо, — отвечал тот. — Все железное, что есть. Чем больше, тем лучше — против злых чар.

И хотя слова прозвучали ясно, отчетливо, все же Егор провел рукой по лбу, как будто отгоняя слишком страшное воспоминание, слишком свежий ужас. Затем размашисто пошел к дому, за ним гурьбой повалили крестьяне.

— С кем Санда? — на ходу спросил он у г-на Назарие.

— С доктором. И там еще две женщины из деревни, — ответил оробевший профессор.

Ему не нравились ни решительная, отчаянная походка Егора, ни клич, который тот бросил над окаменевшими головами толпы. Слишком быстро оживились крестьяне от этого клича. Сейчас, при пожаре, железо обретало смысл магического орудия, орудия мести. Но призвать людей взяться за ножи и повести их в барский дом!..

— Вы хотите впустить их всех в дом? — спросил г-н Назарие.

Крестьяне в нерешительности затоптались на пороге. Но Егор махнул рукой, чтобы они следовали за ним.

— Факелы нужны! Сделайте из чего придется, да побыстрее! — приказывал он.

В доме было темно. Кто-то внес горящую ветку акации, но она сразу погасла, напустив едкого дыма. Егор метался в нетерпении. Он не желал искать лампы. Свет горел в одном месте дома — в комнате Санды, но сейчас он не пошел бы туда. Заметив в коридоре на окнах полотняные шторы, он указал на них людям.

— Вот это нельзя приспособить?

Тот, что все время то ли жмурился, то ли подмигивал, схватился за

штору и, дернув, сорвал вместе с карнизом. Грохот падения стал как бы прологом к той утехе, которую обещал Егоров клич. Люди тяжело задышали, постепенно разъяряясь, еще не зная, против кого.

— Смотри, не подожги ничего! — строго предупредил Егор, видя, что его незнакомый товарищ уже зажигает факел.

— Это уж, барин, будьте покойны, присмотрим, — отвечал человек.

Он намотал кусок шторы на дубинку и поджег с одного конца. Кто-то еще тоже сделал факел, по его примеру, и поджег с такой же осторожностью. При слабом, колеблющемся свете от горящих и дымящихся тряпок Егор повел людей по коридору. Воздух был как в погребѣ, влажный и удушливый.

Профессор, забегая сбоку, попытался снова урезонить Егора, но поперхнулся дымом и закашлялся. Они шли мимо ряда дверей, и Егор смотрел внимательно, насупясь, пытаясь вспомнить, угадать нужную. В конце коридора он столкнулся лицом к лицу с перепутанной кормилицей. Она вытаращила на него свои мутные, сырые глаза.

— Что ты здесь делаешь? — грозно спросил Егор.

— Я барыню стерегу, — скрипучим голосом ответила женщина. — Неужто вы пришли весь двор поджечь?

Несмотря на страх во взгляде, голос ее выдавал злорадство и насмешку.

— Где госпожа Москву? — хладнокровно осведомился Егор.

Кормилица ткнула рукой в ближайшую дверь.

— У барышни...

— У Кристины в комнате, ты хочешь сказать? — уточнил Егор.

Почувствовав дыхание наступающей толпы, кормилица лишилась языка и только кивнула. Егор повернулся к людям, приказал:

— Эту возьмите и не спускайте с нее глаз, она тоже не в себе. Но чтобы никто ее пальцем не тронул...

Он толкнул дверь в комнату Кристины, не постучав. Горела керосиновая лампа. Зловещим огоньком дрожала в углу лампада. Г-жа Москву встретила толпу, величественно стоя посреди комнаты. Егор на секунду замер, оробев от торжественной позы этой женщины с белым гордым лбом и ясными глазами.

— Вы пришли за землей? — произнесла г-жа Москву. — У нас больше нет земли...

Она смотрела сквозь Егора и обращалась прямо к людям, сгрудившимся за его спиной, к ожесточенным лицам, к глазам, раздраженным видом этой барской опочивальни, в которой давно уже никто не спал.

— ...я могла бы позвать жандармов, — продолжала г-жа Москву. — Я могла бы приказать слугам побить вас палками. Капитан Дарие из Джурджу — мой хороший знакомый, я могла бы послать за ним, он привел бы сюда свой полк... Но я не хотела кровопролития. Если вы пришли за землей, я говорю вам: земли у нас нет. Землю у нас уже забрали...

Егор понимал, что г-жа Москву заговаривается, что ей мерещится крестьянский бунт, и он выставил руку, пытаясь остановить ее, боясь, как бы кто-нибудь из людей не потерял терпения, не сорвался. Пожар полыхал рядом, толпа с ножами и топорами перхала от чада самодельных факелов, но г-жу Москву было не удержать.

— Вы взбунтовали всю деревню и подожгли дом... Вы забыли, что у меня тоже есть дети...

Тут Егор почувствовал на себе чей-то взгляд, ледяной, беспощадный, убийственный. Поднял голову и встретился глазами с девицей Кристиной на портрете. Она больше не улыбалась ему. Полузакрыв веки, она пронзала его недоумением и жестоким укором. Егор вздрогнул и закусил губу. Потом вдруг бросился к ней, оттолкнув с дороги г-жу Москву. Та упала на постель Кристины и, трясаясь, прошептала:

— Убить меня хотите?

Егор выхватил у кого-то из рук топор и, размахнувшись, рубанул по портрету. Ему показалось, что глаза девицы Кристины мигнули, грудь вздрогнула. И еще ему показалось, что у него отсохла рука и повисла, бесчувственная от локтя. Однако минуту спустя он снова поднял топор на эту цветущую невинность в кружевах и лентах.

Он слышал отчаянные стоны г-жи Москву, но только неистовее закипала в нем кровь.

— Остановитесь, вы стену проломите, — кричал сзади г-н Назарие.

Егор обернулся: лоб в саже и крупных каплях пота, губы дрожат. Люди смотрели на него, распаяясь и крепясь из последних сил, потому что оскал разрубленного надвое портрета дразнил их. Барин пустил в ход железо, и теперь их тоже подмывало бить, крушить и топтать, испепелить эту барскую опочивальню на углях своей мести.

— За что вы ее убили? — раздался вдруг вопль г-жи Москву. — Она теперь всех вас задушит, всех!

Егор, сдерживая дрожь, подошел к г-ну Назарие.

— Возьмите ее отсюда, — попросил он, указывая на постель, где распростерлась г-жа Москву. — И стерегите хорошенько...

Двое парней поспешили на помощь г-ну Назарие и вынесли за дверь бьющуюся г-жу Москву как раз в ту минуту, когда лампада зачала и погасла.

— Это она и есть упырь — барышня! — прошептал кто-то от окна.

Вновь навалилась на Егора та лихорадка, что сливала для него сон с явью. Он схватился за голову, выронив топор, тут же кем-то подобранный. И вдруг в исступлении крикнул:

— Это спальня девицы Кристины! Кто боится — уходи, а кто не боится, оставайся со мной! Разнесем все в щепы!

Он первый кинулся к столику подле кровати и обрушил на него кулаки. Потом яростно сбросил со стены раскромсанный портрет. Вслед за ним люди растеклись по комнате, круша топорами мебель, убранство и стены, разбивая окна...

— Смотрите не подожгите! — истошно кричал Егор.

Но его голоса никто уже не слышал. Молча, задыхаясь в дыму, в пыли от щепня, натываясь друг на друга, люди почти вслепую громили опочивальню девицы Кристины.

— Только не подожгите! — кричал Егор, пробираясь к выходу и защищая лицо руками от нечаянных ударов. Коридор был полон людьми.

XVIII

По дороге он остановился у одного из окон — взглянуть на пожар. Пламя грозило перекинуться на хозяйский флигель. Народу собиралось все больше и больше. «Подходят из соседних сел», — отметил Егор. Возбуждение не оставляло его. Из Кристининой комнаты слышались удары топора. В коридоре густо сновали люди, наполняя воздух разгоряченным дыханием, запахом своих рубаш, хмельным биением крови. «Лишь бы не начали грабить», — содрогнувшись, подумал Егор.

Он с трудом добрался до комнаты Санды. Та по-прежнему бессильно лежала на подушках, бледная, с закрытыми глазами. Вокруг кровати тес-

нилось много женщин. В углу Егор увидел доктора, сосредоточенно вцепившегося обеими руками в ружейный ствол. В изголовье у Санды старая бабка бубнила заговор:

...Вот он, красненький сморчок,
Кровушки хотел испить,
Жизнь младую погубить.
Жизнь тебе не погубить,
Кровушки тебе не пить.
Я иголкой заклатье сниму,
Я метлой его замету,
Я в осоку его зашвырну,
Я в Дунай его окуну.
С гуся вода,
С нашей Санды хвороба!

Санда словно бы услышала свое имя из глубин сна — заворочалась, заметалась на подушках. Старуха поймала ее руку и кольнула острием ножа. Девушка застонала. Егор закрыл глаза, зажал виски в ладонях. Откуда эти глухие, непонятные шумы, как будто что-то осыпается. Как будто кряхтит фундамент дома, как будто трещат, раскалываясь, огромные крылья. Сонный, смутный звон заполонил собой пространство. Сам воздух этой комнаты был давящий, а летаргия Санды так напоминала небытие, что Егор бросился к доктору и потрянул его за плечо.

— Почему она никак не проснется?

Доктор смерил его долгим, укоризненным взглядом. Казалось, его удивляло, что Егор не понимает таких простых вещей.

— Вампир еще не сгинул, — тихо и веско произнес он.

Вошедший г-н Назарие метнулся к Егору.

— Подите к людям, — попросил он. — Они разбушевались, того и жди, разнесут весь дом!

В самом деле, из коридора все ближе к ним подступали звуки ударов и разрушения. Время от времени среди этих низких глухих стуков звонко тенькало разбиваемое стекло.

— Остановите их! — продолжал г-н Назарие. — Они уже столько комнат разгромили!.. Вас привлекут к ответу!

Егор снова сжал виски в ладонях и закрыл глаза. В голове мутилось, воля слабела.

— Пусть, это даже лучше, — тяжело проговорил он. — Пусть все порушат.

Г-н Назарие схватил его за грудки и затряс, так некстати была сейчас эта слабость.

— Вы с ума сошли! — шипел он. — Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете. Здесь же приданое Санды!

Егор с усилием встряхнулся. Нахмутив брови, сжав кулаки, он поспешил к людям.

— Все назад! — крикнул он. — Назад! Жандармы!

Он с трудом проложил себе дорогу почти до комнаты Кристины. Коридор был неузнаваем. Окна везде разбиты, мебель покорежена, стены — в выбоинах.

— Назад! Назад! — надрывался Егор. — Жандармы пришли! Полк жандармов!..

Егора никто не слушал. Погром затихал сам собой — распространилась весть, что умирает барынина старшая дочка, и люди, присмирив, стали отступать. Постепенно, по двое, по трое, они выбирались во двор, взлохмаченные, припорошенные штукатуркой, перепачканные сажей, и снова собирались в толпу, молчаливую, настороженную.

— Пойдемте со мной! — глухо позвал Егор г-на Назарие и, запрокинув голову к небу, добавил: — Эта ночь кончится когда-нибудь? Я уже не помню, когда видел дневной свет...

Однако заря приближалась, пока еще невидимая. Воздух стал особенно холоден и недвижим. Звезды поблекли в полыхании зарева. Егор взял у кого-то из рук керосиновую лампу и осторожно, чтобы не погасла на ходу, нес ее. Видя, что он решительно направляется в глубь парка, г-н Назарие испуганно спросил:

— Что вы задумали?

Ему было страшно удаляться от людей, от огня. Страшно, потому что затянувшийся обморок Санды все время напоминал ему о силе злых чар.

Егор не ответил. Он торопился к старому каретному сараю. Было очень темно, еще темнее от дрожащего, светящегося клубочка лампы. Огненный столб над усадьбой остался далеко позади. Когда Егор открыл во-

рота сарая и шагнул внутрь, г-н Назарие начал понимать, в чем дело, и похолодел, не смея поднять глаза. Егор устремился напрямик в дальний конец сарая. Коляска девицы Кристины стояла на своем месте как ни в чем не бывало.

— Эта? — спросил Егор, поднимая лампу, чтобы посветить г-ну Назарие.

Профессор кивнул, побледнев. Он признал коляску, ту самую, ветхую и сонную, что несколько часов назад, на отдаленной аллее, поджидала легкую поступь девицы Кристины.

— И дверь была заперта... — улыбаясь, прошептал Егор.

Улыбка получилась вымученной, а голос прозвучал неверно, тоскливо. Г-н Назарие смотрел в землю.

— Уйдем отсюда, — сказал он. — Мало ли что там может случиться, в доме.

Но Егор мыслями был далеко. При свете коптящей лампы он смотрел на потертые кожаные подушки рыдвана и не мог оторваться. Выходит, все правда, все было. Девица Кристина приходила наяву... *она есть*... Он смотрел и словно видел это существо, не подчиненное законам природы, на сиденье коляски. Вот и фиалковые духи еще не развеялись...

— Уйдемте же, Егор! — нетерпеливо позвал г-н Назарие.

«Неужели все окажется явью, все до последнего?» — думал Егор, устало поникнув головой. Он вспомнил, как первый раз обнаружил рыдван девицы Кристины.

— Интересно, — сказал он вдруг. — Интересно, что нам еще ни разу не попала на глаза Сими́на!

Они пошли назад. Г-н Назарие особенно спешил, боясь даже обернуться.

— Да, правда, — заметил он, — с тех пор как начался пожар, я ее не видел. Куда-нибудь заби́лась от страха...

— Я знаю, где ее искать, — снова улыбаясь, сказал Егор. — Знаю, где прятается маленькая колдунья...

И все же — какой тяжелый камень лег ему на сердце; словно он опять оказался совсем один, как проклятый, без надежды прорвать огненный круг ворожбы, умиловить судьбу...

Доктор вышел из комнаты. Подле Санды остались только женщины и г-жа Моску, которую почтительно принесли сюда на руках крестьяне. Смешавшись с толпой во дворе, доктор стоял и смотрел на догорающий дом. Он ни о чем не думал и не мог бы даже сказать, в какой момент наступила эта приятная пустота в голове, это благодатное изнеможение. Он видел, как Егор снова появился в толпе и куда-то позвал крестьян. Слов Егора доктор не слышал — только видел его вскинутые вверх руки, потемневшее лицо. Несколько человек пошли за ним, не слишком торопясь, держась кучно, глядя в землю. Пошел и доктор. Кто-то прихватил с собой факел. Егор нес в левой руке керосиновую лампу, в правой — железный посох.

— Я спущусь первый, — сказал он, приведя людей ко входу в подземелье. — Ждите здесь, пока я не крикну. Тогда спускайтесь тоже.

Г-н Назарие с воспаленными от бессонной ночи и волнения глазами вцепился в него, стараясь удержать.

— Вы с ума сошли, как можно туда одному?!

Егор рассеянно взглянул на него. «Откуда он берет силы верховодить?» — подумал г-н Назарие, угадав по Егоровым глазам, что тот страшно устал и почти невменяем.

— Вас я возьму, — сказал Егор, с трудом шевеля пересохшими губами. — Но запаситесь чем-нибудь железным... На случай, если придется защищаться, — добавил он чуть слышно, увлекая профессора вниз по ступеням.

Люди остались наверху. Сдерживая дыхание, они жались друг к другу, как бы удостовераясь, что пока еще целы и невредимы.

Прежде чем потеряться в черной пасти подземелья, Егор бросил последний взгляд наверх. Далеко, на краю неба, темнота стала редеть.

— Скоро рассвет, — сказал Егор, обернувшись к г-ну Назарие, и улыбнулся.

Затем стал быстро спускаться по холодным ступеням, держа лампу прямо перед собой.

Г-н Назарие не отставал. Почувствовав под ногами влажный песок, он вздрогнул и попытался взглянуть в темноту. Ничего не было видно — только стены, вдоль которых они шли при дрожащем свете лампы. Егор без колебаний направился в самую глубину подзе-

мелья. Чем дальше они уходили, тем глуше становился шум пожара, рушащихся стен.

Тут, под землей, снова владела всем тишина.

— Страшно? — вдруг спросил Егор, целя лампой в лицо профессору.

Тот заморгал, ослепленный. «Что с ним? Какое безумие он еще затевает?» И твердо сказал:

— Нет, мне не страшно, потому что при мне и железо, и крест. К тому же рассвет близко. И тогда уже ничего плохого не сможет случиться.

Егор, не возразив, сосредоточенно двинулся дальше, подигрывая железным посохом. Они вошли в кладовую. Егор с замиранием сердца узнавал дорогу. Через окошечко в потолке пробивался слабый красноватый отблеск. «Мы снова у пожара», — подумал г-н Назарие. Однако наружные шумы почти не проникали сюда. Тяжелый свод, толстые стены душили звуки, умеряли голоса.

— Вы видите — там?! — шепотом спросил Егор, останавливаясь и указывая лампой в темный угол.

— Ничего не вижу, — отвечал г-н Назарие.

— И все-таки это — там, — повысив голос, сказал Егор и двинулся вперед широким, решительным шагом. Влажность и духота усилились. Низко, давяще нависли над головами древние своды.

...Симина лежала, распластавшись на мягкой земле, изрытой вокруг ее пальцами. Она, казалось, не слышала мужских шагов и не переменяла застывшую позу плакальщицы. Егор задрожал, наклонясь над ее маленькой скорбной фигуркой.

— Она здесь, правда? — шепотом спросил он, беря девочку за плечо.

Та подняла голову, взглянула безучастно, не узнавая, и снова припала к земле, царапая, разрывая ее ногтями, напряженно прижимая к ней ухо. Руки у нее были изранены до крови, чулочки запачканы, платице в пятнах от зеленого сока растений, которые она раздавила на бегу, пробираясь ночным парком.

— Напрасно ты ждешь ее, Симина, — резко сказал Егор. — Кристина уже умерла раз, давно, а сейчас умрет окончательно!..

Он яростно подхватил девочку с земли, встряхнул.

— Очнись! Кристина отправится сейчас в преисподнюю, гореть на адском огне!..

Странная вялость охватила его, когда он произнес эти слова. Девоч-

ка бессильно повисла у него на руках — с остекленевшим, невидящим взглядом, с искусанными в кровь губами. Но рассудок Егора забил тревогу: «Надо решаться тотчас же, немедленно. Была не была. Надо добыть спасение для всех...»

— Подержите ее и не забывайте про крестное знамение! — сказал он г-ну Назарие, передавая ему обмякшее тело девочки.

Г-н Назарие широко перекрестился и завел тихую молитву. Егор нагнулся над тем местом, где только что лежала Сими́на, сверля его глазами, как будто пытаясь пробить взглядом толщу материи, угадать, где она скрыла нечистое, окаянное сокровище. Потом размахнулся и что было силы всадил посох острием в землю. Капли холодного пота выступили у него на лбу.

— *Здесь* ее сердце, Сими́на?! — вскричал он, не оборачиваясь.

Девочка, словно обезумев, забилась в руках профессора. Егор вытащил посох, вошедший в землю только до половины, и вонзил его чуть поодаль с удвоенной яростью.

— *Здесь?* — хрипло допытывался он.

Судорога прошла по телу Сими́ны, глаза закатились. У Егора дрогнула рука. «Я попал», — понял он и, зажмурясь, с воплем, всей своей тяжестью навалился на посох. Он чувствовал, как входит железо в живую плоть и как она сопротивляется ему. Его трясло: это медленное пронзание тянуло в бездну, топило в темноте безумия, в бреде. Как сквозь сон доносились до него крики Сими́ны. Ему показалось, что г-н Назарие сделал движение остановить его, и тогда, в полном исступлении, он упал на колени, налегая на посох, хотя железо поранило ему ладони до кости. Глубже, еще глубже, в самое ее сердце, в средостение чертовщины...

Вдруг мучительный восторг, от которого перехватило дыхание, захлестнул его. Он с изумлением узнал стены своей комнаты, старинную кровать, бутылку коньяка на столике. Заблагоухали фиалки. То ли напев, то ли наговор зазвучал, как тогда:

...Мне больно от твоих очей,
огромных, тяжких, жгучих...

Куда делись Сими́на и г-н Назарие, куда подевались низкие серые своды?... Далекий-далекий голос со щемящей тоской позвал:

— Егор!.. Егор!..

Он обернулся. Никого. Он остался один, навеки один. Больше он никогда не увидит ее, никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхания... Он рухнул наземь. Снова мрак стал густым и холодным. Он чувствовал себя похороненным заживо — там, где никто его не найдет, где неоткуда ждать спасения...

Однако из каких-то иных пространств к нему приближались человеческие шаги. Им предшествовала музыка, мелодия старого вальса, луч света. Кто-то спрашивал, низко склонясь над ним:

— Знаешь Радугу Пражана? Взгляни!

Егор в страхе приподнял голову. Он опять кого-то изображает, этот Радуга Пражан, и как нелепо! Теперь он был похож на г-на Назарие. Он не осмеливался подойти к Егору, не говорил ни слова — только смотрел ему в глаза, зовя взглядом, заклиная приблизиться, намекая на грозящую опасность. На руках он держал Симинову с побелевшими губами, со спутанными, упавшими на лоб прядями волос. «Вот, она тоже умерла!» — казалось, говорил его взгляд.

Но, может быть, все это было обманом, маскировкой, чтобы его не узнали. Он, Пражан, тоже испытывал страх, безысходный страх, оттого и смотрел такими застывшими, немигающими глазами...

* * *

Очнувшись, Егор увидел вокруг множество людей. Мелькали факелы, топоры, дубинки. Перед ним из влажной земли торчал конец железного посоха. «Значит, правда!» — подумал он, страдальчески улыбаясь. Все было правдой. Он сам, собственной рукой убил ее; а теперь — откуда ждать надежды, кому молиться и какое чудо в силах придвинуть к нему теплое бедро Кристины?!

— Вас наверх кличут, — услышал он незнакомый голос. — Барышня умирает.

Он поник головой, не отвечая. Мыслей не было. Только одиночество. Как жребий, как рок, как судьба.

— Умерла... — прошептал чей-то еще голос.

Он почувствовал, что его берут под руки, поднимают. Снова, над самым ухом, прозвучало:

— Барышня умерла, Санда! Ступайте наверх, а то беда!

Чей это голос проник в его безмерное одиночество, в эту ночь, куда не было доступа никому, никаким человеческим звукам?!

Его вели под руки. Вокруг, как по волшебству, менялись комнаты. Сначала они прошли через большую бальную залу, освещенную канделябрами с позолотой и хрустальными подвесками. Элегантные пары — кавалеры во фраках, дамы с шелковыми веерами — на секунду останавливали танец, чтобы скользнуть по ним удивленным взглядом. Потом — через залу, где за столами с зеленым сукном незнакомые люди молча играли в карты. Они тоже недоуменно оборачивались посмотреть, как его волочат под руки невидимые спутники... Вот начались ступени, ведущие в столовую со старинной мебелью. Остался один коридор... Но коридор впереди вдруг за клубился, и из голубоватых клубов дыма вырвался огромный огненный столб. Егор зажмурился. «Значит, правда», — напомнил он себе.

— Хозяйский флигель занялся! — услышал он голос и попытался оглянуться на того, кто все время говорил с ним. Но глаза встретили лишь крыло огня, без начала и без конца, и сомкнулись сами собой.

— Вот так и пропала барская фамилия...

Это был все тот же незнакомый голос, пробившийся к нему, минуя все заставы сновидения.



ЗМЕЙ

Уж ты Змей-змея,
золотая чешуя,
о девяти языках ядовитых,
о девяти хвостах страховитых,
ты за ней ступай,
проходу ей не давай,
покуда она,
краса моя,
со мной не пойдет,
речь не заведет...

Любовный заговор

I

Лиза приготовилась хлопать: романс, судя по всему, кончался. Она надеялась, что этот шумный жест и неперменные слова, которые подобают моменту, помогут ей сдержать слезы. А растрогана она была глупейшим образом, до неприличия, особенно рефреном:

Уже среди моих волос
Змеится прядка серебра...

Откуда вдруг такой наплыв воспоминаний, щемящей тоски? Неужто это те самые стихи, что были у всех на устах в давнее, довоенное время, когда ей, маленькой девочке, читала их тетя Ляна?

Змеится прядка серебра...

Она угадывала слова, еще не слыша. Вот сейчас пойдут последние. Удивительно, как берет за сердце этот сдержанный баритон!

Была ль ты, юности пора?

Нет, ей уже не справиться с волнением и тоской, слова — те самые, а за ними — улыбающееся лицо тетушки, дом с тутовым садом на бульваре Паке и тогдашние печали. Лизе казалось, что она бесконечно несчастна, что никто ее не понимает и никто никогда не поймет. Молодость была наказанием. А все мечты пошли прахом, когда ее выдали замуж за важного чиновного господина, — ей всегда, всегда не везло... Даже поплакать вволю нельзя, забиться куда-нибудь, слушать романс и плакать...

— Перепишите мне слова! — отрезвил ее голос Дорины с другого конца стола. — Прелесть!

— Слова давние, — ответил г-н Стамате, смешавшись, — новая только мелодия... мне нравится, душевная...

И украдкой взглянул на Лизу, но та не заметила. Стамате явно не ожидал, что будет иметь такой успех. И петъ-то согласился после долгих уговоров. Первый раз в доме, малознакомые люди... Однако какая приличная публика, особенно хозяева. Устроить столь грандиозный прием в каких-то Фьербинцах, захудалом сельце в трех десятках километров от столицы...

— Немного вина, если не трудно, только разбавь из сифона, — попросил Стере, через стол протягивая Лизе стакан.

Та еле скрыла осуждение во взгляде. Какая пошлость! После романса! И это мой муж...

— Но чьи же слова? — допытывалась Дорина. — Я их впервые слышу.

Она говорила нарочито громко, чтобы ее слышал капитан Мануила. Она прекрасно понимала, зачем родные устроили этот прием, назвали столько гостей сюда, в деревню. «Хотят устроить мою судьбу»... Ей было смешно. Поглядывая на капитана Мануилу и видя, как деликатно он кушает, как неусыпно следит, чтобы локти не попали на стол, она чувствовала себя участницей фарса: ей отведут роль кисейной барышни, а ему — жениха... Помолвка. Мыслимое ли дело? Только познакомились — и пожалуйста!

— На Баковию непохоже, — произнесла она так же громко. — Аргези? Нет, не он... — А мысленно добавила: «Приведем-ка вас в смущение этими именами, господин капитан».

— Чьи слова, право, не знаю, — извиняющимся тоном ответил Стамате. — Знаю только, что очень давнишние...

Капитан Мануила все это время, не поднимая глаз, слушал хозяйку дома.

— В такой обстановке, — журчала г-жа Соломон, — я тоже, господин капитан, не могу сдавать внаем квартиру. Вы знаете, господин капитан, чего только сейчас не болтают о домовладельцах...

Она поднесла к губам сигарету, красиво затянулась, чуть прижмурив глаза. Нет, этот молодой человек невыносим. Как воды в рот набрал, даже и не думает поддерживать беседу. Может, он в столбняке от Дорининых чар?

Капитан не смел взглянуть на тот конец стола, откуда стреляла вопросами Дорина. Еще по дороге во Фьербинцы, когда они со Стере остались одни в машине, ему дали понять, что тянуть с решением нельзя. Родители Дорины не расположены ждать. Этой осенью она сдала на лиценциата. Конечно, не нужда заставила ее получить профессию — господин капитан это, разумеется, понимает, но такая уж она, любит учиться. И вот теперь родители хотят подобрать для нее хорошую партию. Вариантов много. Дорина же говорит, что медовый месяц она представляет себе как каникулы, и непременно за границей...

— Кому еще кофе, господа? — спросил г-н Соломон, вскидывая руку.

Г-жа Соломон даже вздрогнула. Какое облегчение — наконец-то есть предлог покинуть этого бирюка.

— Вы меня отпустите на секундочку? Надо посмотреть, что там с кофе...

Капитан Мануила вспыхнул и закивал головой, как бы говоря: «Боже мой, сударыня, ну разумеется. Кому же, как не вам, хозяйке...» Но ненароком встретил глаза Дорины, прочел в них, как ему показалось, благосклонность и осмелел.

— Я вижу, мы любим поэзию? — вдруг обратился он к ней.

За столом разом наступило молчание. Дорина покраснела и затеребила пальцами жемчужины ожерелья. Предвкушая дискуссию о литературе, Стамате слегка налег на стол, приготовившись слушать.

— Мне просто нравятся некоторые поэты, — ответила Дорина. — Особенно современные.

— Заметил, заметил, — улыбнулся капитан Мануила. — Вы не узнали, чей романс, хотя не такая уж это глубокая древность. Раду Росетти.

Лиза посмотрела на капитана с изумлением. Да он не так уж и прост, выходит... Конечно, это Раду Росетти. У тети Ляны были томики его стихов, она и сейчас, столько лет спустя после тетиной смерти, помнит полочку с книгами в гостиной, в старом доме на бульваре Паке; книги стояли, пока тетя Ляна не умерла — от туберкулеза, как и все ее сестры. Лиза тогда уже ходила в лицей. Она помнит, что смотрела на заветную полочку горящими глазами. Там была и новинка, «Ион»*, но Лиза втайне предвкушала, как теперь, после тетиной смерти, она возьмет себе те два томика насовсем, никому в голову не придет спохватиться. Однако все мечты пресек мамин голос: «Ничего не трогать, кругом микробы!» Книжки потом сожгли, так ей сказали, сожгли и бельевую корзину с подшивками «Литературного мира»...

— Раду Росетти, Господи Боже ты мой, какой поэт! — воскликнул Стере. — Мне довелось познакомиться с ним в войну...

Лиза опустила глаза. Всего на девять лет старше меня, а кажется таким старым, таким чужим... И кто его просит стариться вот так, в одиночку, будто только в пику ей, чтобы непрерывно напоминать, что он знал другие времена, что он — другое поколение.

Г-н Соломон, воспользовавшись тем, что завязался общий разговор, под шумок покинул гостиную. Завернул в буфетную и, притворив за собой дверь, окинул хозяйским оком бутылки и сифоны, размещенные в ведрах со льдом. Потом заглянул в спальню. Г-жа Соломон курила перед зеркалом, левой рукой поправляя прическу.

— Ты знаешь, вино все прикончили, — объявил г-н Соломон.

Г-жа Соломон пожала плечами, ленивой походкой отошла от зеркала и села на край кровати.

— Но и обед кончился, слава Богу, — проронила она со скукой в голосе.

— Однако все прошло превосходно, — заметил г-н Соломон. — И стол ломился. Ты говорила, цыплят не хватит, а сколько еще осталось...

* «Ион» (1920) роман Ливиу Ребряну

Кстати, ты велела прислуге положить их на холод? При такой жаре... А они вечером понадобятся.

Он тоже закурил и подсел к жене.

— Так как решено — мы едем в монастырь вместе с гостями?

— Как скажешь, — отвечала г-жа Соломон. — Но имей в виду, я там не сплю. С клопами-то и с комарами...

— Никого, кроме комаров, — улыбнулся г-н Соломон.

— Да когда ты что чувствовал!

Они помолчали, пуская дым в потолок.

— Что ты думаешь о капитане? — спросил г-н Соломон.

— Думаю — где вы такого откопали...

— А между тем он неглуп, — заметил г-н Соломон. — После того как ты вышла, он сам завел весьма серьезный разговор... Малый стеснительный, верно. Но, может быть, это вина Стере, слишком уж круто он взял его в оборот...

— А второй кто? — поинтересовалась г-жа Соломон, поднимаясь.

— Приятель капитана, Стамате, дипломированный агроном, сколько я понял...

Г-н Соломон прислушался, сведя брови, пытаясь определить, что происходит за стеной, потом деловито сказал:

— Кофе, кажется, подают.

За дверью раздались тяжелые шаги, и, под голоса и смех из гостиной, вошла старая г-жа Соломон.

— Вот вы где, — сказала она без выражения.

Медленно, стараясь не шаркать, доковыляла до кровати, со вздохом на нее опустилась, спросила:

— Какого вы о нем мнения?

— Лишь бы решился, — ответил г-н Соломон.

— Вот и я то же говорю.

Г-н Соломон обернулся к жене.

— Аглая, золотко, тебе бы лучше все же вернуться в гостиную. Может, они захотят перейти в сад. Жара уже спала...

Г-жа Соломон мимоходом снова взглянула в зеркало, снова поправила прическу.

— А ты что скажешь? — спросила ей в спину свекровь.

Г-жа Соломон пожала плечами.

— Ах, да кто его разберет...

Когда за ней закрылась дверь, старуха посетовала:

— Он ей не приглянулся...

— Да у нее семь пятниц на неделе, разве ты не знаешь? Когда мы сидим тут одни, она вздыхает по гостям. Наедут гости — они ее утомляют... А мне капитан понравился. К тому же образованный человек...

— И другой тоже очень мил, — добавила старая г-жа Соломон.

Из-за двери донесся шум отодвигаемых стульев, смешки: гости вставали из-за стола, благодаря за угощение. Г-н Соломон заторопился из спальни.

— Будь добра, мама, — бросил он уже с порога, — распорядись насчет ужина нам в дорогу, с этим монастырем знаешь как, надо все продумать.

II

В саду было еще довольно жарко. Стере снял пиджак и повесил его на дерево, оставшись в одной рубашке, из ворота которой выступала полная, гладкая, белая шея. Рири как раз шла мимо с целым подносом запотевших стаканов. Стере остановил ее.

— Мне без варенья. Благодарю, — сказал он, беря в обе руки по стакану.

Прислонясь к стволу вишни, Лиза смотрела, как он запрокинул голову, будто хотел влить воду прямо в глотку, и пьет не переводя дух. Лиза смотрела, и ей было уже все равно. Что ж, жизнь загублена, отвели ей глаза, одурачили, не дав опомниться.

В эту минуту ей хотелось одного: найти родственную душу, излиться перед кем-нибудь, пусть это будет совершенно незнакомый человек, рассказать ему всю свою жизнь, год за годом.

Она оглянулась. Неподалеку, на траве, расположился Владимир, брат Рири, с двумя новыми гостями. Владимира было не узнать: в его манере говорить появилось что-то веское, солидное. Лиза пригляделась и заметила сигарету, которую юноша важно держал между пальцами. Дым дрожал в теплом воздухе — редкой голубоватой струйкой, быстро исчезающей на свету.

— У тебя что, голова болит?

Стере подцепил ее под руку, убоготоренный.

— Вовсе нет. — Лиза постаралась попасть ему в тон.

— Ну да, будто я не вижу! — Стере повысил голос. — Это все из-за романа. Ты какой была, такой осталась: плакса, капризуня!..

Стамате услышал и покраснел. Стере областал его дружеским, благо-клонным взглядом.

— Вы не споете нам, сударь, чего-нибудь повеселее? — крикнул он и потянул Лизу за собой, к сидящим на траве.

Стамате хотел встать, но Стере опустил руку ему на плечо.

— Без церемоний, прошу вас. Тут все свои.

— Но, может быть, даме это вовсе... — забормотал Стамате.

— Дама у нас натура сентиментальная, романтическая, — с улыбкой перебил его Стере, — поэтому я и спрашиваю, не споете ли вы нам чего-нибудь повеселее...

Стамате предпринял еще одну попытку встать, чувствуя себя в высшей степени неудобно: он сидел, обхватив руками колени, и смотрел на собеседника снизу вверх, натужной улыбкой и преувеличенной мимикой пытаюсь скрыть неловкость и недостаток энтузиазма.

— Сидите, сидите, милейший. — Стере еще раз налег ему на плечо. — Или стоя вам лучше поется?

— Не думаю, что в саду вообще можно петь, — сказала Лиза. — Не то место...

Владимир раздраженно швырнул сигарету через забор. Только дискуссия пошла на лад, только он справился со своей несчастной робостью, сковывавшей его за обедом, — и нате вам, перебивают.

— Кто же поет в такую жару? — с иронией воскликнул он. — Лучше подсаживайтесь к нам, скоротаем время до сумерек. Господин капитан знает массу интересных вещей. Он только что рассказывал нам об одной книге...

— О, не надо! — робко запротестовал капитан.

— Да вы, я вижу, кладесь премудрости! — деланно восхитился Стере.

— ...Представь, Лиза, книга о существовании Иисуса Христа! — договорил Владимир.

Лиза изобразила на лице живейший интерес.

— Кто же может знать что-нибудь наверняка об Иисусе Христе? — беспечно обронил Стере.

— Но есть документы, — осмелился заметить капитан Мануила.

— Документы! А документы не те же самые попы намарали? — с сарказмом возразил Стере. — Я всегда утверждал и позволю себе повториться: религия хороша для крестьян, для черни, чтобы не допускать анархии... Конечно, вы скажете, что Христос был идеалом нравственности, самоотречения и так далее. Перед идеалом я немею. Тут, конечно, мы все должны брать его в подражание...

— О чем это у вас такой жаркий спор? — спросила вдруг подошедшая Дорина.

Капитан почтительно вскочил, Стамате наконец тоже. На этот раз Стере не успел его удержать.

— О том, был Христос или нет, — сказала Лиза. — Господин капитан недавно читал одну книгу...

— Это не «Сын человеческий» Эмиля Людвига? — перебила ее Дорина.

— Которого Людвига? — вмешался в свою очередь Стере. — Не того, что про Наполеона? Лиза, дружок, у нас ведь она есть, по-моему, эта книга...

Капитан Мануила, деликатно склоняясь к Дорине, сказал вполголоса, как бы только для нее:

— Нет, эта книга не столь знаменита. Да и не новинка, она вышла лет десять назад. Называется «Тайна Иисуса», французского автора, Кушу...

— А мне дадите почитать? — попросил Владимир.

— С превеликим удовольствием, — вежливо откликнулся капитан.

Лиза смотрела на него с растущей симпатией. Очень неглуп. К тому же дал и Стере возможность хоть как-то блеснуть. И тема интересная — существование Христа. Правда, не успел развернуться, а можно было бы — о христианской мистике, о соборах...

Владимиру хотелось увести ото всех капитана, Стамате и Дорину, чтобы им дали серьезно поговорить, но тут Рири дернула его за рукав и шепнула:

— Тебя Аглая зовет, она в доме.

Владимир быстрым шагом пошел к крыльцу, отрабатывая свою спортивную походку, которая всегда давала ему ощущение легкости, лишней

раз напоминая: девятнадцать лет, университет, филология и вся жизнь впереди.

Г-жу Соломон он застал в гостиной, она доставала из шкафа свежие салфетки.

— Ты меня звала? — спросил он, глубоко переводя дух.

— Да, хотела спросить, патефон мы берем в монастырь?

Владимир ответил не сразу, собираясь с мыслями. Ответить было трудно: вопрос застал его врасплох и совсем не соответствовал высокому строю мыслей, вызванных начатой в саду беседой...

— Не знаю, останется ли время для танцев, — сказал он нехотя. — Мы доберемся туда вечером, надо будет показать им озеро, лес и все такое прочее... Потом сядем за стол...

— Значит, ты только зря тащил патефон, — резко сказала г-жа Соломон.

— Я думал, потанцуем здесь, — оправдывался Владимир.

— Какое! Они там увлеклись разговорами. — Г-жа Соломон метнула взгляд в окно. — Вряд ли уже захотят вернуться в дом...

— Пусть побудут на воздухе, чем плохо? — попытался убедить ее Владимир. — И вам, по-моему, удобнее: пораньше избавились от гостей...

Он хмыкнул, подчеркивая, что шутит. Но на душе слегка заскребло. Когда неделю назад г-жа Соломон позвонила ему в Бухарест, пригласив в гости вместе с Рири, он сам предложил захватить с собой патефон, чтобы развлекать общество. Он знал, к чему все это затевается, и знал характер Дорины: томительное молчание за столом и послеобеденная скука могли все испортить. А если есть патефон — пожалуйста, сразу после обеда устраивай танцы, и лед сломан. К тому же ему было известно, что значит потанцевать для г-жи Соломон, которая большую часть года проводит наедине с мужем в деревне, вдали от столицы.

— А как ты находишь капитана? — спросил он, не дождавшись отклика от Аглаи. — Он, знаешь ли, разошелся в конце концов...

— Ах, какая мне разница? Я в ваши дела не мешаюсь! — оборвала его г-жа Соломон.

«Да что это, Господи, с ней сегодня? — удивился Владимир. — Злит-ся, что нет ухажеров? — Он припомнил, что Аглая бывает вполне довольна, только если кто-то вокруг нее вьется, какой-нибудь куртуазный и обходительный кавалер, лишь бы не г-н Соломон. — К несчастью, сегодня с

кавалерами туго. Капитана привезли, чтобы он занимался Дориной. А его приятель явно не хват. Может, и правда — танцы?»

— Вообще-то мы бы успели что-нибудь устроить и тут, — заикнулся было Владимир. — Еще нет и пяти. А едем мы только в половине восьмого... Танцы будут даже кстати — наша пара сможет найти общий язык...

— Да они до сих пор не сумели и словом перемолвиться, — едко заметила г-жа Соломон. — Вы их все никак в покое не оставите...

Наступило молчание. Владимир подыскивал приличный предлог, чтобы вернуться в сад.

— А кто тот, другой? — вдруг спросила г-жа Соломон.

— Он по агрономической части, так он сказал, когда нас представляли. Стере взбрело в голову заставлять его петь в саду.

— Стере в своем репертуаре... — съязвила г-жа Соломон.

Владимир понял, что надо спешно переменить тему. Аглая могла в любой момент сбиться на семейные проблемы, и тогда ему останется только кивать и не дай Бог за кого-нибудь вступиться.

— Что, если предложить всем прогуляться по селу? — придумал он.

Аглая взглянула на него с издевкой и чуть было не сказала: «Весь в Жоржа», — но тут как раз вошел Жорж Соломон.

— Лиза о тебе спрашивала, — сообщил он жене, обмахиваясь носовым платком. И племяннику: — Как жаль, что тебя не было! До чего он красиво говорит — ей-Богу, заслушаешься! Помяните мое слово, у этого молодого человека большое будущее, при такой-то образованности... — И снова жене: — Мы тоже, золотко, едем в монастырь, я пообещал гостям... Да, забыл тебе сказать, там будут Замфиреску. Они уже с утра прикатили из города. Но остановились прямо в лесу.

Г-жа Соломон оживилась.

— Откуда ты знаешь?

— Приходил один, из судейской прислуги. Его посылали в деревню за сифонами.

Воспользовавшись тем, что г-жа Соломон отвлеклась, Владимир выскользнул в сад. Общество сгруппировалось под вишней. Капитан Мануила уже совсем по-свойски, непринужденно вел беседу с Дориной и Лизой. Рири, Стере и Стамате образовывали другой кружок.

— Скажите же и мне, что вы обсуждали, — вступил в разговор Владимир, пытаясь не выдать неприятного чувства.

Уже приближаясь, он видел, что о нем забыли, что на течение общей беседы никак не повлияли ни его идеи, ни те тонкие замечания, которые он высказал давеча в саду, в обществе двух новых гостей. Его самолюбие было задето: в конце концов, это он запустил в ход настоящую дискуссию, он взял на себя труд занять совершенно незнакомых людей и сумел направить разговор в русло литературы, проблем, столкнуть его с банальностей. Если бы не он, капитану не хватило бы духу затронуть такие сокровенные предметы.

Владимир признательно улыбнулся ему, потому что именно капитан откликнулся на его вопрос:

— Мы наговорили множество ереси, юноша.

Дорина тем временем вела свое:

— ...Нет, ты мне ответь, Лиза, о чем ты думаешь, когда у тебя появляется такой отсутствующий взгляд?

— Не знаю, не могу сказать, — задумчиво протянула Лиза, — так, смотрю в пустоту...

Однако было заметно, что разговор ей небезынтересен.

— Это обычно от усталости, — вставил Владимир, — и ничего не запоминается.

— А у вас не бывает иногда чувства, что то, что происходит, с вами уже было? — стала допытываться у капитана Дорина. — Вот, например, сейчас, здесь, в саду, вам не кажется, что это уже было, с теми же людьми, и что вы говорили именно те же слова? — Она даже не дала капитану ответить, а добавила, расширив глаза: — И когда на меня находит ощущение, что это уже было, нет ничего страшнее...

В этот миг ей вдруг показалось, что на нее вот-вот найдет. Нет, невозможно, подумала она, урезонивая себя, капитана Мануилу я точно никогда не встречала. И все же в глазах у нее слегка зарыбило.

— Я иногда жалею, что не записался еще и на философский, — вернул Владимир. — Решать проблемы духа! У нас, на филологии, ничем таким не занимаются...

Тут г-н Соломон жизнерадостно крикнул с веранды:

— Господа, кому чай, кому кофе, кому патефон с пластинками?

Стамате рассмеялся. Ему показалось весьма уместным вмешательство хозяина. Стере расписывал ему вспышку сыпного тифа в Яссах военного времени, и он не мог прислушаться к дискуссии той троицы, что

стояла рядом. Только все реплики Лизы доносились до него с необъяснимой четкостью, и ему страстно хотелось ответить. Казалось, столько надо обсудить с ней, о стольком ей рассказать... Впрочем, и Рири, судя по всему, тоже очень умная девушка.

— Решайте без промедления! — еще раз огласил сад призыв г-на Соломона.

За танцы робко высказалась одна только Рири.

Общество направилось к веранде. Стамате немного отстал.

— У вас аналитический ум, — услышал он голос Лизы.

III

Когда машины выезжали из Фьербинц, смеркалось. Жара окончательно спала, и небо пошло ввысь.

— Вечер будет великолепный! — сказала Дорина капитану.

— Жаль, дорога у нас не заасфальтирована, — обронил Владимир.

Их машина в самом деле тяжело одолевала дорогу. Давно не было дождя, и пыль в рытвинах лежала толстым слоем.

— Как свернем к лесу, будет поровнее, — заверил шофер.

Лиза прислонила голову к спинке сиденья и впивала деревенский воздух. Как хорошо, что Стере сел в другую машину. Хоть полчаса без него...

— Это какая звезда?

Дорина вытянула руку вверх.

— Люцифер! — выпалил Владимир. — В таких пределах надо бы знать астрономию!

Капитан Мануила заметил со сдержанной улыбкой, ни на кого не глядя.

— Вероятно, барышня еще никому не отдавала свое сердце... Люцифера узнают и без всякой астрономии...

— Да, да, — кивнула Лиза. — И у Эминеску так.

Дорина попыталась припомнить что-нибудь из «Люцифера», но в памяти возникали только несвязные фрагменты.

— Как, наверное, дивно жить на природе, в маленьком сельском домике! — воскликнула Лиза.

В этот миг ей действительно казалось, что счастье — это уютная вилла

в лесу, на берегу озера... не слишком далеко от Бухареста. Пару месяцев назад она видела американский фильм, где все герои жили в таких изящных пригородных виллах, разбросанных по лесу: белые домики с просторными террасами. Да и в Снагове, на озере, есть шикарные виллы, террасы подступают к самой воде, качается, всегда наготове, моторная лодка. Чем не заграница?..

— Бежать от светской жизни, от шума, от бесконечных звонков, — добавила она, мечтательно глядя в небо.

Так умиротворяли тишина и закатный свет, что Лизе и впрямь захотелось представить себя беглянкой. После утара столичной жизни она бы острее воспринимала прелесть простых радостей. Сейчас она была дамой из высшего света: утомленная безумием ночных эскапад, разрывающаяся между дипломатическими приемами и балами, пресыщенная любовными авантюрами — словом, героиня фильма, которой жизнь не отказала ни в чем, но которую в глубине души все равно точит червячок: не то, не то, опять и опять не то...

Она повернула голову к капитану Мануиле и посмотрела на него из своего бесконечного высока, иронично и вместе с тем снисходительно. Знали бы они...

— И луна сегодня будет чудная, — сказала Дорина. — Хорошо бы осталось побольше времени для прогулки.

Машина свернула. За поворотом, на меркнувшем горизонте, щетинился монастырский лес.

— Как там остальные? — вспомнила Дорина. — Отправились уже?

Остальные — супруги Соломон, Стере, Стамате и Рири — выехали позже, но их автомобиль, одолженный кем-то из знакомых, был мощнее, и скоро сзади появилось облако пыли.

— Догоняют, — ответил Владимир, оглянувшись.

— Ваш друг чересчур стеснителен, — сказала Лиза капитану Мануиле.

— Только пока не освоится, — ответил капитан. — Просто мы с ним люди не слишком экспансивные. Не то что вы, молодое поколение. — Он кивнул на Дорину. — Для вас общение — как спорт, вы очень быстро заводите дружбу. И дай вам Бог... Но мне, например, затруднительно сойтись накоротке с незнакомым человеком, хотя по роду своей профессии...

А в это время Рири, на месте рядом с шофером, во все глаза глядела из-под руки, чтобы увидеть переднюю машину.

— ...я тебе говорю, как родному, ты меня послушай,— делал Стере внушение соседу,— в твои годы главное — решиться, а то поезд уйдет.

— Да какие мои годы? — принужденно засмеялся Стамате. — Мне всего-то тридцать три...

— Вот-вот, — подхватил Стере. — Самый опасный возраст. Еще год-другой потянешь — и все, останешься бобылем. А когда бес в ребро, будет уже слишком поздно, быстро сгоришь, помани мое слово...

Стамате, багровый, смотрел в затылок Рири. Он боялся повернуть голову, чтобы не встретить глаза супругов Соломон. Вольно же ему было поддержать разговор о браке... Лучше бы изобразил наивность, полное неведение о видах семейства Соломон на капитана.

Сначала его приятно щекотали эти матримониальные разговоры, он полагал к тому же, что оказывает добрую услугу приятелю, который уехал вперед, с Дориной. Может быть, их и рассадил специально, чтобы он побеседовал с ее родными. Но беседа, начавшись с общих вопросов, быстро перекинулась на личности. Стере взял да и спросил его напрямую, почему он не женится...

— О, как мы неделикатны! — взорвалась вдруг г-жа Соломон и незаметно наступила зятю на ногу. Когда Стере в недоумении обернулся, он увидел нахмуренные брови и закушенную в гнев губу.

— Аглая! Смотрите, они остановились!

В самом деле, в полукилометре от них, перед въездом в лес, первая машина остановилась.

Кто-то посреди дороги салютовал обеими руками. Какой-то молодой человек, высокий, смуглый, с непокрытой головой и в солнечных очках. Наверное, забыл их снять — сейчас, после заката, в мягком воздухе сумерек, в них не было нужды.

— Прошу прощенья, что остановил вас, — начал он с отменной вежливостью, подходя и склоняя в поклоне голову. — Подозреваю, что вы едете в Кэлдэрушань, и покорнейше прошу взять меня с собой, на подножке машины.

Он улыбался, но без тени смущения. Правую руку положил на дверцу машины, левой медленно снял очки. Дорина вздрогнула. Он словно ожег их взглядом, глаза были с особенным блеском, и зрачки необыкновенно большие. По разговору, по манерам — явно юноша из хорошей

семьи. Лиза оценила и его спортивный костюм безукоризненного кроя, с большими накладными карманами на куртке.

— Я некоторым образом заблудился! — весело принялся объяснять юноша. — Представьте, уснул в лесу, а друзья уехали. Мы тоже собирались в монастырь...

Капитан привстал, чтобы освободить незнакомцу место.

— Но я ни в коем случае не хочу вас стеснять, — запротестовал тот. — Когда я попросился к вам на подножку, я нисколько не преувеличивал. Я прекрасно доеду и так...

— Лучше мы все-таки потеснимся, — сказала Лиза. — Или Дорина сядет мне на колени...

Юноша был вынужден повиноваться. Со множеством извинений он втиснулся в машину и представился:

— Серджиу Андроник, авиатор. Или без пяти минут авиатор...

И снова блеснул белозубой улыбкой. Протягивая ему руку, Лиза отметила, что он скорее загорелый, чем смуглый: вероятно, из той породы мужчин, что находят вкус в спорте — полжизни на воздухе. Серджиу Андроник поцеловал дамам ручки с безупречной галантностью. Дорина зарделась. От его волос исходил едва заметный мужской запах — здоровья, силы.

— Тогда уж познакомьтесь и с остальными, — сказал Владимир.

Их как раз нагоняла вторая машина.

Серджиу Андроник обернулся. И когда машина остановилась сзади, Владимир представил ее пассажирам нового знакомого.

Больше всех приключение Андроника развеселило Стере.

— Не огорчайся, если не найдешь приятелей, — заявил он, не чинясь. — Снами тоже неплохо.

Юноша поблагодарил легким наклоном головы. Впрочем, он вовсе не был огорчен и, более того, даже нисколько не озабочен. Устроившись посередке — между Лизой, державшей на коленях Дорину, и капитаном Мануилой, — он тут же завел непринужденный разговор, и даже с блесками юмора. «Что значит *l'usage du monde**, — думала Лиза, — язык хорошо подвешен, уверенность в себе». Она была очарована.

— Мы решили устроить пикник в лесу, — начал молодой человек, едва машина тронулась. — Они с утра заехали за мной в Пиперу. Мои друзья,

* Светский лоск (франц.).

я имею в виду. У меня там летные часы... только не думайте, что я уже летаю вовсю. Нет, я только учусь...

Дорина и Лиза ловили каждое его слово. Летать — какое упоительное чувство!

— Но это, должно быть, страшно трудно! — с горячностью заметил Владимир.

— Трудно? Жутковато, я бы сказал, первый раз, когда тебя поднимает самолет. Кажется, что все кончено, что уже никогда не вернешься на землю цел и невредим. А потом привыкаешь,ходишь во вкус. И уже кажется, что только и живешь, когда в небе...

Капитан Мануила, слушая, улыбался с легкой горечью. Как книжно выражается юноша — а интерес вызывает жгучий. Особенно у дам. Только посмотрите на них...

Дорина и Лиза в самом деле преобразились. Не каждый день выпадает случай побеседовать с живым авиатором. А уж проехаться в одной машине с блестящим молодым человеком, к тому же штатским, который им же и признателен за то, что его взяли с собой...

— Только не пугайтесь, когда я вам представлю моих друзей, — продолжал молодой человек. — Я даже боюсь предположить, на кого они будут похожи, когда мы их нагоним. Правда, оставил я их трезвыми и благопристойными. Точнее, они меня оставили...

И сам рассмеялся. Здоровым, дерзким, заразительным смехом. Приснули Лиза и Дорина. Капитан Мануила ограничился улыбкой. На такого юнца невозможно сердиться. Однако же легкомыслие замечательное...

— Вы на нас и вправду страх навели! — Лиза наконец-то попала в тон юноше, чего ей так хотелось с самого начала.

— Кто же они? — не столь непринужденно спросила Дорина.

— Во-первых, один инженер с Решицкого завода, очень ответственный субъект, — веско отвечал Андроник. — Среди остальных преобладает прекрасный пол, потому что на одного архитектора приходится две приятельницы. Это две милые иностранки, а больше я о них, право, ничего не знаю.

Дорина скисла, хотя и заставила себя улыбнуться. Вдруг окажется, что иностранки ни бум-бум по-румынски и придется перейти на французский? Ее не слишком окрыляла такая перспектива.

Лиза, напротив, в душе ликовала, что представится случай побол-

тать по-французски. Она два года жила в Париже, да и здесь старалась упражняться во французском с подругами... А потом, кто знает, у этих иностранок может оказаться уйма интересных знакомых в Бухаресте. Дипломатические круги, светские чаепития, аристократические приемы... Нет, эта встреча замечательна во всех отношениях. Их ждет настоящий праздник.

— Жаль, что я не захватил купального трико, — сказал Андроник, когда уже подъезжали к монастырю. — Вы не представляете себе, как приятно купаться в озере ночью, при луне...

— А не холодновато? — засомневался Владимир. — Ведь только май...

— Ах, по мне, хоть бы и февраль! — воскликнул юноша.

Это прозвучало искренне. Впрочем, его слова, хотя он сыпал ими бойко и безапелляционно, вообще не производили впечатления пустого бахвальства. Легко было представить, как он — такой загорелый, широкоплечий — разрезает поутру февральскую воду ладными, сильными руками.

— А если выйдет луна, непременно покатаемся на лодке под серенаду, — присовокупил он. — У Арсеника есть балалайка.

— У Арсеника? — переспросила Лиза.

— Ну да, у того моего друга, который с приятельницами. Надеюсь, эта бестия будет вести себя прилично!

— Как вы к нему суровы! — засмеялась Лиза.

— Еще бы! Скольких женщин он отравил своим ядом! — протянул Серджиу Андроник.

Машина въехала в аллею и тихо подкатила к воротам монастыря. Здесь, под сенью деревьев, вдруг стало ясно, что наступил вечер. Обе женщины ощутили это влажной дрожью, прошедшей по спинам.

IV

Когда общество, оставив баулы и корзины с едой в монастырской гостинице, уже спускалось к озеру, на берег со стороны келий вылетел Серджиу Андроник.

— Их нигде нет! — крикнул он на бегу с таким видом, словно сообщал нечто забавное. — Провалились сквозь землю!

Дорина не сумела сдержать радость. Это не укрылось от глаз Рири и капитана Мануилы.

— Может быть, они вернулись в Бухарест? — быстро сказала Дорина.

— Нет, нет, этого не может быть ни в коем случае, — возразил Андроник. — Я подозреваю, что произошло: они утодили не в тот монастырь!

И он расхохотался так беспечно, заснув обе руки в карманы, как будто ровным счетом ничего не случилось.

— Не надо так убиваться, — пошутил Стере, — мы подвезем тебя в город завтра утром.

— Благодарю! Но вот вопрос: в чем я буду спать ночью и как мне утром побриться?.. — Андроник повернулся к улыбающейся Лизе. — Простите меня, сударыня, за столь нескромные подробности, но если бы вы знали, в кого я превращаюсь за ночь, если бы видели, как гнусно я зарастаю щетиной... Кошмар!

Дам все это очень рассмешило, особенно г-жу Соломон.

— Нет, без преувеличения, форменный кошмар! — настаивал Андроник. — Вы постесняетесь ехать со мной в одной машине. Разве что кто-нибудь уступит мне свой багажный сундук...

Он говорил так непосредственно, с таким комическим горем, что даже капитан Мануила не удержался от смеха.

— Как вы думаете, еще успеем покататься на лодках? — напомнил Владимир.

Г-н Соломон посмотрел на часы. Он не снял с себя роли хозяина и тут, в монастыре. Впрочем, ведь это он устроил поездку. Монастырская гостиница находилась в его ведении, он был здесь лицо известное.

— Восемь без четверти, — сказал г-н Соломон. — Если вы еще не проголодались...

— Оставь, братец, мы еще насидимся за столом, вся ночь впереди, — перебила его Лиза.

Больше всего на свете ей хотелось покататься на лодке в обществе юного незнакомца. Г-н Соломон по ее тону понял, что совсем не к месту встрял с темой ужина, и согласился:

— Как вам будет угодно. Лишь бы лодки нашлись...

Андроник тем временем спустился совсем близко к воде и, чудом держась на границе влажного, с тусклым блеском ила, высматривал что-то в дали озера.

— Не поскользнься! — крикнул ему Стере. — Вода — штука коварная!

Юноша обернулся со странной улыбкой.

— Мне ли этого не знать! Я просто проверяю, настолько точно я помню место, где два года назад перевернулась лодка. Я тогда чуть не утонул.

— Да что ты! — воскликнул г-н Соломон.

Андроник пошел вверх по откосу. Он был не похож на себя: поникший, задумчивый; руки — снова в карманах, шаг потерял стремительность. Так возвращаются с кладбища.

— Я чуть не утонул — это что... Утонул мой приятель, адвокат Хараламбие...

— Как, сударь мой, ты тоже был в лодке?! Невероятно! — вскинулся г-н Соломон. — Когда ты сказал «чуть не утонул», я сразу же вспомнил про Хараламбие... Какое совпадение! Ведь мы же были знакомы. Когда меня известили, я хотел непременно приехать, но что-то, не помню, помешало...

— У тебя в тот день был суд, — подсказала г-жа Соломон.

— Ах да, — кивнул г-н Соломон. — Мы люди подневольные... Но какое несчастье!

— Как же это случилось? — спросила Дорина, обмирая.

Ее все отчаянней тянуло к Андронику. Так бравировать опасностью! На каждом шагу глядеть в лицо смерти! Вот она, жизнь под знаком тайны и авантюры, вот настоящий мужчина. Дорина смотрела на него затуманенным взором. Будто какая-то мощная сила приблизила, подтолкнула ее к прекрасному незнакомцу, а теперь сжимает и крутит, потому что надежды нет... В эти минуты капитан казался ей совсем стертым, линиялым: стоит и помалкивает, крутит пуговицу на нагрудном кармане кителя.

— Как? — повторила она.

— Я и сам не понимаю, что это было, — вполголоса отозвался Андроник. — Ведь я не в первый раз шел на веслах по этому озеру. И вдруг вон там, посредине, — он указал рукой, — лодка завертелась на одном месте и опрокинулась...

— Похоже на омут, — заметил Стамате.

— Что омут, это несомненно, — отвечал Андроник, пристально взглянув ему в глаза. — Только омутом хороших пловцов не испугаешь. И по-

том, лодка, даже опрокинутая, тоже подмога... Но она пошла ко дну, господа, пошла ко дну, как заколдованная, как свинцом налитая...

Он смолк. Всех растревожила эта история. Охота кататься на лодках пропала. Темнота вдруг сгустилась, будто ее волнами гнало сюда от леса.

— Может быть, водоросли? Тут под водой сплошь водоросли, — предположил г-н Соломон. — После того случая настоятель распорядился очистить озеро. Но их сколько ни выгребай — тут же новые нарастают...

— Как проклятые... — обронил Андроник. — Такое на них проклятье — никогда не знать смерти, а только расти, вечно расти под водой...

— И он быстро утонул? — спросил Лиза.

— В считанные секунды. Нисколько не продержался... Как я-то выплыл, не понимаю.

— Бог помог, — изрекла г-жа Соломон.

Андроник помолчал, горько усмехнувшись.

— Может быть, и это, — уступчиво ответил он.

Общество медленно двинулось вдоль берега. Владимир с тоской все оглядывался на лодку, которая осталась позади, привязанная к кольшку. Вдруг Андроник словно опомнился — стал, вытащил руки из карманов и разразился смехом.

— Так что ж, нам теперь и в лодку никогда не садиться? Нет, тушиться не будем!

Он с живостью оглядел всех, переводя блестящий, вызывающий взгляд с одного лица на другое, подольше задержавшись на Владимире и Рири.

— Вот возьмем сейчас и прокатимся по озеру! — И повернул обратно. Стере ухватил его за рукав.

— Не ребячься! — осадил он юношу. — Не испытывай судьбу!

— Но если это меня не отпускает... — прошептал Андроник чуть слышно, краем глаза косясь на воду.

Только Рири рассмешило предложение Андроника, а г-н Соломон со словами: «Лучше пойдемте в лес», — решительно увлек компанию за собой. Последними шли Андроник, Владимир и Дорина. Сам г-н Соломон, подхватив жену под руку, потащил ее вперед и, когда они оторвались на порядочное расстояние, где их не могли услышать, раздраженно заговорил:

— Что это еще за тип? Мне, знаешь ли, он совсем не нравится... Он

совершенно оттеснил капитана. А мама сказала, что сегодня вечером дело должно быть улажено... Может, как-нибудь устроить, чтобы они остались наедине, ну, наша пара...

Г-жа Соломон слушала своего благоверного безо всякого интереса. Ее глаза отдыхали на темной густой зелени, которая ждала их впереди.

— Что ты от меня-то хочешь? — лениво спросила она. — Раз вы его сами пригласили, нельзя же ему теперь сказать, что он вам надоел. Да и непохоже, чтобы он, бедняжка, приударял за Дориной...

— Чего нет, того нет, — виновато согласился г-н Соломон. — Но я же не про то... Просто он ферт, этот Андроник, пообтерся в свете, умеет кружить головы. А капитан — человек серьезный, языком попусту молоть не будет. Сама видишь — он в болтовне не участвует...

Г-жа Соломон не ответила, все так же рассеянno и томно витая где-то мыслями.

— Мы должны взять инициативу в свои руки, — подождав немного, заявил г-н Соломон. — Надо оставить их одних, может, у него прорежется дар речи... И вообще, должен же он узнать ее поближе... А если всякие будут дурить нам голову...

— Что это на тебя нашло? — с улыбкой заметила г-жа Соломон. — Раскипятился...

Г-н Соломон покраснел и сжал ее руку.

— Не время для шуток, золотко. — Он еще быстрее потащил ее за собой. — Мы должны это уладить, так ведь? Мы здесь все свои и должны посодействовать...

Тут г-жа Соломон слегка толкнула его локтем, чтобы замолчал. Навстречу, от леса, шло семейство Замфиреску. Замфиреску-дочь узнала их первая и налетела с радостным криком:

— Ах, до чего же мило, что вы тоже здесь!

За ней усталой походкой подошла г-жа Замфиреску в сопровождении мужа и деверя.

— Вы тоже заночуете в монастыре? — с надеждой спросила она, радуясь, что при сборах предусмотрительно запрятала в кармашек на дверце машины две колоды карт. Как будто знала, что партнеры для покера найдутся.

— Да. И мы тут целой компанией, — отвечала г-жа Соломон не без гордости, оборачиваясь назад, туда, где по дороге неторопливо шествова-

ли гости. — С нами один авиатор, наш хороший знакомый, очень занятый человек...

Легко на помине, подоспел Андроник в обществе Владимира, Стамате и Рири. Дорина отстала от них, примкнув к Лизе и капитану Мануиле. Она как будто нарочно держалась подальше от Андроника и избегала встречаться с ним взглядом. А юноша чувствовал себя прекрасно, с неостывающим пылом отвечал любому и не выделял никого из компании. С Владимиром, Рири и Стамате он оказался вместе потому, что их объединял темп ходьбы. Если бы не тактичность брата с сестрой, которые подозревали, зачем ушли вперед супруги Соломон, Андроник давно бы их догнал.

— ...дочь госпожи Замфиреску, — с улыбкой закончила г-жа Соломон взаимное представление и, довольная, скользнула взглядом по Андронику.

Не каждый может залучить в гости настоящего авиатора, аристократа и спортсмена в одном лице, да еще такого щеголя!

— А, вот наконец и вся честная компания! — воскликнул г-н Замфиреску, завидя приближение последних.

У него на языке уже вертелись остроты. Например: «Зачем курорты, когда есть монастыри?..» И в скобках, только для мужчин: «Конечно, предпочтительнее женские».

— Ах, милочка, и ты тут! — бурно радовалась Замфиреску-дочь, сжимая в объятиях Дорину.

— Позволь тебе представить...

Капитан Мануила и Стамате — сама учтивость и корректность — склонили головы в поклоне. Г-жа Замфиреску, смерив их зорким взглядом, сразу определила: «Хотят пристроить Дорину. И, разумеется, вот за этого, за Стамате, его облюбовали, ясное дело. Сразу видно — пентюх, такого оборотать не велика хитрость...»

— Мы идем из леса, — стрекотала между тем Замфиреску-дочка, смежая веки в экстазе. — Боже! Там чудно, чудно!

— А мы — как раз туда, — сухо сказала Лиза.

У нее было чувство, что Замфиреску их обокрали, погуляв по лесу первыми, что чужие глаза замаслили всю его прелесть. Она попыталась пресечь несносную трескотню Замфиреску-дочки, обратившись к своим:

— Надо поторапливаться, мои милые. Иначе придется блуждать на ощупь, пока не взойдет луна.

— Вы по главной, по средней дороге ступайте, — поспешно напутствовала их Замфиреску-дочка. — А то заблудитесь...

— Да, да, — уже на ходу бросила Лиза. — Мы еще увидимся в монастыре.

С ней пошли супруги Соломон и Стамате. Следом — капитан, Дорина и Стере. За ними, прогулочным шагом, весело болтая, Андроник, Рири и Владимир.

— Я ужасная трусиха, — смеялась Рири. — Смотрите не пугайте меня!

— Зарекаться не могу, — отвечал Андроник с напускной серьезностью. — Лес — не лес, если в нем не натерпеться страху.

Дорина услышала и тихо улыбнулась, не поднимая глаз.

— Вот бы где твоему приятелю развернуться, — говорил Стере капитану. — Ночь, лес — и романс...

— Да, было бы неплохо, — рассеяно согласился капитан Мануила. — Однако горожанину, без привычки...

— Мы можем сыграть в жандармы-разбойники, — снова всколыхнул Дорину голос Андроника. — Но имейте в виду: если вы не выберете капитаном меня, никого вам за всю ночь не поймать...

Рири прыснула. Дорина улыбнулась уже через силу. Ее начинал раздражать этот бессменный триумвират: Рири, Андроник, Владимир.

— Осторожнее, прошу вас!

У Дорины под ногой хрустнула сухая ветка, но этот звук испугал ее меньше, чем возглас капитана Мануилы. Повернув голову, она встретила его глаза, они горели в темноте, как кошачьи. Дорине стало не по себе.

— Не оцарапались? — спросил он уже по-другому, тепло и участливо, и деликатно поддержал ее под руку.

— Порвала чулок, Дорина? — полюбопытствовала издалека Рири и подбежала посмотреть, что случилось.

Несколькими широкими шагами достиг места происшествия и Андроник.

— Я не затем, чтобы посмотреть, не порвался ли чулок, — со смехом сказал он. — Я хочу предложить вам одну игру... И без вас, господин капитан, тут не обойтись, — совершенно по-дружески обратился он к капитану Мануиле.

— Рад служить, если вы принимаете тех, кому перевалило за тридцать, — откликнулся капитан.

— Суть вот в чем, — начал объяснять Андроник. — Все по очереди бегут... Но нам нужны часы со светящимся циферблатом, — вдруг вспомнил он.

— У Стамате как раз такие, в темноте по ним видно превосходно, — сказал капитан, напрягая глаза, чтобы разглядеть впереди, в полутьме, товарища и тех, с кем он ушел.

— Я сейчас сбегая, принесу, — предложил Владимир, срываясь с места.

Супруги Соломон, Лиза и Стамате расположились на стволе упавшего дерева.

— Какая ночь! — нарушила тишину Лиза.

Это она остановила спутников, сделав вид, что устала; на самом деле ей хотелось подождать, пока подойдут остальные, и прежде всего — Андроник. Ее удручало молчание родственников. Говорил один Стамате, и то ронял слова редко, взвешивая каждое. Влюблен он, что ли? — размышляла г-жа Соломон.

Когда из темноты вылетел Владимир, Стамате поднялся ему навстречу.

— Что случилось? — спросил г-н Соломон.

— Ничего, ничего. Просто господин капитан послал меня позаимствовать часы у господина Стамате... Мы хотим сыграть в одну новую игру, — добавил он, отирая лоб.

— Идемте, раз так, — сказала Лиза, вдруг охваченная тревогой.

Она быстрее, чем это было прилично, повернула назад по дороге, уже почти полностью погруженной в тень. Сердце зачастило, сотрясая дрожью все тело. Словно готовилось что-то очень серьезное, словно ее ждала какая-то важная и срочная весть там, в кругу, центром которого был Андроник.

— Принес! — торжествующе крикнул Владимир, перегнав всех.

Андроник взял у него часы и передал Стере.

— Вы ждете одну минуту, ровно одну, ни секундой больше, — кончил он объяснение. — Потом подаете сигнал следующему. Кто не вернется, пока следующий добежит до дерева, тот пусть пеняет на себя!

Рири захныкала:

— Но мне страшно одной бежать по лесу!

— Кому страшно, тот не играет и стоит здесь, рядом с арбитром, — отрезал Андроник.

— Ну нет, тогда я играю...

Подошедшие супруги Соломон и Лиза ничего не понимали.

— Что вы тут затеяли, милейший? — спросила г-жа Соломон.

— Теперь каждый дает свой фант, — вместо ответа продолжал Андроник. — Сложим их в чью-нибудь шляпу...

Он быстро оглядел мужчин. Шляпа была только у Стере. Фуражка — у капитана Мануилы.

— Господин капитан не будет так любезен одолжить нам фуражку? — вежливо попросил Андроник.

Капитан Мануила с улыбкой снял и подал ему фуражку.

— Благодарю. Кто пойдет со мной отмечать дерево?

Дорина хотела вызваться, но ее опередили Рири с Владимиром.

— А нам кто-нибудь объяснит правила? — нервно воскликнула Лиза.

— Ты сейчас же поймешь, — сама в смятении, сказала ей Дорина. — Это вроде бега взапуски. Главное — ничего не бояться. И еще — не споткнуться и не упасть. А то пройдет минута...

Она неотрывно глядела вслед троице, ушедшей отмечать дерево.

V

Первым, заводя игру, бежал Владимир. Он взял фант Дорины — носовой платок, перехваченный шнурочком от марцишора, — и помчался большими скачками, перемахивая через пни. Его захлестывало возбуждение. Дерево он нашел сразу. Там, в дупле, лежал его фант и зажигалка Андроника. Владимир щелкнул ею, переменил фанты и сломя голову понесся обратно другой дорогой. Голос Стере скомандовал:

— Второй, марш!

«Только бы зажигалка не погасла, пока не добежит Дорина», — думал Владимир. Краем глаза он заметил среди деревьев мельканье ее белой блузы.

— Владимир! — окликнула его Дорина. — Погоди немного, мне страшно!

— Проиграю фант! — виновато бросил в ответ Владимир.

Дорина высматривала впереди зажженный огонек, но всюду было темно. А вдруг его задуло ветром? Она стрельнула быстрее, прижимая руки к груди. Сколько прошло секунд? Она шарила взглядом по сторонам. А вдруг я сбилась с дороги? Но тут ей в глаза бросился большой белый лист бумаги, вывешенный Андроником на дереве как опознавательный знак. В дупле дрожал огонек зажигалки. Дорина с замиранием сердца взяла ее, погасила и секунду-другую сжимала в ладонях, сама не понимая, что делает. Потом быстро переменяла фанты. Сейчас черед Стамате, его фант — самопишущая ручка, с ней так удобно бежать...

— Третий, марш! — услышала Дорина далекий голос Стере.

Она вдруг испугалась, что опоздает, и со всех ног пустилась в обратный путь. Мрак показался ей кромешным. Вместо того чтобы обогнуть условленную полянку и вернуться к старту другой дорогой, Дорина побежала по уже знакомой. Скоро показалась встречная тень — Стамате бежал, как на рекорд, наклонив корпус и сильно работая локтями. Она слышала его шумное дыхание.

— Вы не по той дороге! — крикнул он Дорине, чуть не попавшей к нему в объятья.

— Боюсь! — отчаянно вскрикнула Дорина, не сбавляя шага.

Теперь фант отберут, но какое это имеет значение, если я все равно не той дорогой... А вдруг сам Андроник, он пятый по очереди...

— Разве отсюда возвращаются? — сделал ей выговор Стере, когда она добежала.

С часами в руках, строгий и важный, Стере стоял, надувшись от гордости. Конечно, лучшего арбитра они выбрать не могли: у кого еще такой зычный голос, такая дикция, чтобы слышно было до самой поляны?..

— Я побоялась через поляну, — оправдывалась Дорина, держась рукой за сердце. — Вдруг там змеи...

Женщины взвизгнули.

— Здесь змей нет, — твердо сказал Андроник.

— Четвертый! — выпалил Стере, который все время не отрываясь смотрел на светящийся циферблат. — Лиза, ты!

Лизу словно что-то толкнуло и сорвало с места. С той минуты, как стартовал Стамате и было объявлено приготовиться ей, все ее мышцы

напряглись, а глаза вонзились в темноту, следя, как силуэт Стамате тает за деревьями. Ночь подстерегала ее впереди, в нескольких шагах отсюда, чтобы сцапать и отдать на растерзание одиночеству. А тут еще дуновение ужаса прошло по спине, когда Дорина помянула змей. Хорошо, что Андроник успокоил. В конце концов, это просто игра. Две минуты в лесу, одной. И потом, следующим был Андроник...

Она довольно легко нашла дерево с белым листом бумаги. Поменяла фанты, нашарила в дупле зажигалку. Почему не горит? То ли ветром задуло, то ли этот растяпа Стамате не сумел ее хорошенько зажечь. Она прислонилась к стволу. Сердце колотилось, но не от бега. Ее вдруг зазнобило так сильно, что застучали зубы.

— Пятый, марш! — услышала она приглушенный расстоянием голос мужа.

Она прижалась к стволу, пытаясь совладать с дрожью во всех членах. Я делаю глупость, глупость...

Андроник полетел, ритмично отталкиваясь от земли, с азартом заправского атлета. Все глаза устремились ему вслед. А у Дорины и у Рири даже дух захватило от волнения, пока они смотрели, как он легко и упруго врзается в темноту. Потом Дорина обернулась вправо, не видать ли Лизы. Подождала и снова перевела взгляд вперед. Святой Боже, что она так замешкалась?

Рири не стоялось на месте, она переминалась с ноги на ногу — подходила ее очередь. Стере только поднял руку, чтобы объявить: «Следующий!» — как она уже ринулась вперед.

— Лиза! — нетерпеливо позвала Дорина. — Ты заблудилась?

— Что там с моей девочкой? — пробормотал Стере, не сводя глаз с циферблата. — Две минуты и еще пятнадцать секунд. Уж не случилось ли чего, не дай Бог? Упала?

— Лиза-а-а! — на весь лес загудел Владимир. — Ты проиграла!

Лиза слышала, как ее зовут, но не торопилась откликнуться, успокоить родных. Чуть не плача, она боролась с досадой и разочарованием. Андроник не выказал ни удивления, ни радости, застав ее у дерева. Только учтиво спросил:

— Вы устали, сударыня?

Она что-то пробормотала в ответ. Чего она ждала от него, какого поступка, какого слова? Андроник верной рукой переменял фанты, щелк-

нул зажигалкой, наскоро прочистив фитиль, и под конец нейтральным тоном бросил:

— Вы так легко сдаетесь? У вас еще секунд тридцать...

Отвернувшись своим размашистым шагом помчал огибать поляну. Лиза осталась, униженная, растоптанная. Закипая слезами, стояла она у дерева, и ей хотелось бросить ему вслед оскорбление. Тень Андроника быстро исчезла за деревьями. А она все стояла. Бежать за ним сейчас было бы верхом нелепости. Но как будет стыдно встретиться здесь с Рири...

Завидев Рири, Лиза отшатнулась в темноту и побрела наугад по лесу. У нее больше не колотилось сердце. Пустота, дурацкая игра нервов...

— Лиза-а-а! — снова содрогнулся лес от Владимирова голоса.

— Она там, отдыхает у дерева, — успокоил всех вернувшийся Андроник. — Кажется, это просто усталость.

В ту секунду, когда стартовал капитан Мануила, Лиза появилась совсем с неожиданной стороны.

— Что с тобой, дружок? — ласково спросил ее Стере.

— Слишком быстро побежала, голова закружилась, — солгала Лиза.

Ей показалось, что Дорина приглядывается к ней, недоверчиво, испытующе. Это было совсем уж несносно, и до конца игры она простояла в стороне ото всех, куря со скучающим видом. Вдруг снова грянул голос Андроника, который она уже не могла слышать без содрогания.

— А теперь — часть вторая, самая захватывающая. Без арбитра. Все разбегаются и прячутся. Арбитром будут сами часы.

Лиза присоединилась к компании.

— Сложите все фанты сюда! — велел Андроник.

— Мне тоже бежать? — вклинился Стере. — Как-то это, знаете...

— Бежать не обязательно, — разрешил Андроник. — Главное — спрятаться... — И к остальным, как бы повторяя урок: — Не позже чем через пятнадцать минут надо хотя бы раз вернуться сюда и взять первый попавшийся фант. Но это уже на честное слово, сами понимаете...

— Как, и часы здесь оставить? — спросил капитан Мануила.

— Но, кроме нас, здесь никого нет, — заметил Андроник.

— А зачем часы? — поинтересовался г-н Соломон.

— Тут-то вся соль игры, — засмеялся Андроник. — Мера и суд.

Никто ничего не понял, и это только разжигало любопытство и нетерпение. Люди озирались по сторонам, словно прикидывая, куда побе-

гут и где спрячутся. Была уже ночь. Над озером небо еще чуть светлело. Сквозь густоту крон просверкивали звезды. Установилась мертвая тишина, но никому сейчас не было до нее дела, никто не думал о страхе.

— Разбежаться надо по одному и непременно в разные стороны, — добавил Андроник. — Надеюсь, вы не попрячетесь все в монастырь, не бросите меня здесь одного!

— Вы что же, не бежите? — спросил капитан Мануила.

— В последнюю очередь!

Стамате пытался перехватить взгляд товарища, будто хотел что-то спросить.

— Кто проиграл фант, убегает первым, — объявил Андроник.

Лиза вздрогнула и, улыбнувшись, вышла вперед. Все прощально замахали ей руками, и она побежала.

— Не слишком быстро, а то опять что-нибудь... — крикнул ей вслед Стере.

Лиза не ответила.

VI

Последними остались капитан Мануила и Андроник. Еще слышалась медвежья, осторожная поступь Стере. По временам — женский смех, ауканье. Это Владимир перекликался с Рири и г-жой Соломон, которые сговорились держаться поближе друг к другу.

— Ваш черед, господин капитан, — с улыбкой сказал Андроник.

— А что, если мы всех перехитрим: спрячемся прямо здесь? — предложил капитан.

— Испортим игру. А сейчас как раз и начнется самое интересное. Непредсказуемое...

— Можно узнать — что, хотя бы мне? — попросил капитан.

Андроник рассмеялся и хлопнул его по плечу. Капитана тряхнуло, как от удара током.

— Думаете, я сам знаю, что будет? — понизил голос Андроник. — Игра тогда только хороша, когда в нее никто еще не играл.

— Вы не шутите, честное слово? — пришел в изумление капитан. — Ну а часы-то зачем бросать в лесу?

— Да уж не затем, чтобы их украли, — небрежно отвечал Андроник. — Не настолько мы наивны, дюжина взрослых людей, чтобы сговориться и выдумать новую игру, как лучше украсть часы, хотя бы и со светящимся циферблатом!

Капитан покраснел, но глаз не отвел. Юношу нимало не смутил этот пристальный и прямой взгляд.

— Так зачем? — настойчиво повторил Мануила.

— О, будто бы так трудно догадаться! — воскликнул Андроник. — Чтобы знать, как течет время!

Он снова сопроводил свои слова смехом и сделал знак рукой, напоминая, что Мануиле пора бежать и прятаться.

— Я после вас, — повторил он.

Капитан недоверчиво покачал головой и зашагал прочь, не разбирая дороги. Андроник, дав ему окончательно исчезнуть из виду, расхохотался.

— Избавился наконец, — процедил он сквозь зубы.

Наклонился, поднял часы и взглянул на фосфоресцирующий круг: пять минут десятого.

— Дадим им пошалить до десяти, — довольный, рассуждал сам с собой Андроник. — Потом детки-паиньки хорошо покушают, а уж перед сном...

Он положил часы на условленное место, на пенек, и быстрым шагом двинулся в сторону озера. Лес скоро кончился. Андроник огляделся — не заметил ли кто его. Впрочем, логично было предположить, что все выберут для прятков лесную чащу. Там и в самом деле стоял легкий гул от смешков, испуганных вскриков, хруста валежника. Андроник вышел к берегу и поискал глазами, где бы расположиться. Выбрал копну свежескошенного сена и безмятежно растянулся на ней, подложив руки под голову. Глаза вдруг охватили все вознесшееся ввысь небо и зазвездились в темноте. Издалека, из лесу, долетал едва слышный отзвук голосов.

— Только бы они *его* не заразили своим страхом, — тихо проронил Андроник, улыбаясь.

Лиза, побежавшая первой и забежавшая дальше всех, вдруг стала как вкопанная, неотрывно глядя вперед. Что-то шевельнулось там, кто-то затаился и подстерегает ее, кто-то осторожно дышит, и дыханием он похож

на зверя. От страха ее приковало к месту, она не смела даже оглянуться. Кто-то подбирался к ней спереди, тихо, крадучись, стараясь не делать шума.

Лиза простояла бы так долго — вперясь в тьму и не дыша, — если бы справа вдруг не раздался голос:

— Кто здесь?

Она узнала Стамате, он настороженно приближался к ней со сжатыми по-боевому кулаками.

— Тсс! Тише! — прошептала ему Лиза. — Вон там, впереди...

Стамате взгляделся.

— Ничего не вижу.

Может, просто ветер шевельнул кусты? Стамате был теперь совсем рядом с Лизой, ей казалось, она улавливает, как вздымается его грудь, и близость женщины вовсе не сковывала его.

— Ничего нет, — добавил он успокаивающе.

И правда, всякое движение замерло впереди, а ветер ушел в высоту, тихо перебирая ветки деревьев.

— Что другие? — горячим шепотом вдруг спросила Лиза. — Вы кого-нибудь встретили?

— Только Рири, — ответил Стамате, подвигаясь еще ближе. — Она была одна.

— Ну, если вы бросили ее одну... — дразняще сказала Лиза.

— Я не ее искал, — осмелел Стамате, беря Лизу за локоть.

Лиза не отдернула руку. Ее забавляла, но ей же и льстила внезапная страсть, которую она зажгла в сердце застенчивого молчальника. Она чувствовала, что может играть с ним без всякой опасности для себя. Такой почтительный, такой робкий кавалер...

— Интересно, что сейчас делает Андроник? — вырвалось у нее. — Мне он кажется весьма подозрительной персоной, — быстро добавила она. — Вы что-нибудь понимаете в этой игре?

— Ровным счетом ничего. Но тем больше она мне нравится. Как еще мы могли бы оказаться с вами наедине? — ответил Стамате, прижимая к груди ее руку.

Лиза услышала удары его сердца и тихо засмеялась.

— А вы уверены, что сейчас мы с вами наедине? — спросила она, заглядывая ему в глаза.

Стамате загорелся: она меня поощряет! Обнял ее и потянулся губами к губам. Лиза, смеясь, высвободилась из его рук.

— Ну, ну, так нельзя! — убегай, шепнула она.

— Но мы же играем в фанты. Кто проиграл? Разве не ты?

Лиза пустилась быстрее. Ей больше не было страшно — сейчас, когда она знала, что ее преследует мужчина. Напротив, она чувствовала себя помолодевшей, свободной, и бег только усиливал ее радость.

— Вот споткнусь и упаду — все из-за тебя! — крикнула она, слыша за спиной мужское дыхание.

Стамате поймал ее и снова обнял, теперь уже не собираясь отпустить. Да Лиза и не вырывалась.

— Разве не так играют в фанты, не так? — шепотом говорил Стамате, ища ее губы.

Лиза со смехом отворачивала лицо. Дерзость молодого человека совершенно ее не оскорбляла.

— А вдруг нас кто-нибудь увидит? — вкрадчиво шепнула она.

— Именно поэтому — не поднимаем шума, — отвечал ей на ушко Стамате, касаясь губами ее волос.

Лиза перестала сопротивляться, и Стамате еще тесней сжал объятия.

— Кто тут? — раздался голос Владимира.

Пара замерла. Лиза, которую душил смех, спрятала лицо на груди Стамате.

— Тсс! — услышала она над самым ухом. — Разыграем его...

— Кто тут? — снова отчаянно вскрикнул Владимир.

Ему слышались воркующие голоса, смех, шорохи — и все облекалось в колдовство любовной, невыносимо томящей игры. Тело наливалось смутным, незнакомым теплом, как будто его забирал внезапный хмель. Где-то совсем рядом, может быть, всего в нескольких шагах, за одним из этих высоких угрюмых деревьев, творилось что-то, чего он не знал, что ему не дозволялось... Кто же там мог быть, в конце-то концов? Владимир уже сделал шаг-другой, но тут увидел в стороне фигуру, махавшую ему обеими руками. Он поспешил на зов, стараясь, чтобы ни одна ветка не хрустнула под ногой.

Г-жа Соломон — это была она — вцепилась в его руку и загудела каким-то низким, грудным голосом:

— Ты кого-нибудь уже встретил?

Рука у нее была странно горячая, и горячечный блеск в глазах. Владимир не узнавал супругу своего дядюшки.

— Ты представить себе не можешь, сколько я страху натерпелась, пока тебя не увидела, — пожаловалась она. — Я торчу тут одна с тех пор, как заблудилась.

Владимира стала исподволь захватывать ее лихорадочная дрожь.

— Заблудилась? Как заблудилась? — пробормотал он, лишь бы что-то сказать, разбить эту гнетущую тишину, в которой гулко стучало его сердце и жарко дышала женщина.

— Мне показалось, что за мной кто-то идет, — понизив голос, зашептала г-жа Соломон. — Тебе не страшно?

— Нисколько, — как можно спокойнее выговорил Владимир. — Я просто ничего не понимаю в этой игре. И даже не знаю, сколько минут прошло, как мы разбежались...

Он взглянул на г-жу Соломон, но, встретив ее шальные глаза, залился краской.

— Что, если пойти посмотреть, сколько времени? — наугад бухнул он, лишь бы скрыть смятение.

— Какая разница? — хрипло шепнула г-жа Соломон. — Лучше давай поймем кого-нибудь на месте любовного преступления. Вот будет забавно!

Владимир повел ее под руку искать тропинку. Ему было жутковато снова идти мимо той купы деревьев, где несколько минут назад раздавались шепот и тихий смех. Жутковато — и в то же время место манило к себе, как заколдованное.

Спутница все тяжелее висела у него на руке.

— Лиза! — донесся издали зов Стере.

Г-жа Соломон рассмеялась.

— Каждый ищет свою жену! — громко сказала она. — Уж не в этом ли состоит игра?

Лиза, услышав, забилась в руках Стамате.

— Отпусти меня!

Г-жа Соломон вдруг приостановилась, будто ее тоже забрало наваждение, растревожившее Владимира.

— Там кто-то есть, — вполголоса проговорила она. — Вот мы их сейчас и застигнем...

Они повернули к дереву. Лиза решительно вышла им навстречу.

— Не иначе как в этом лесу завелся фавн! — воскликнула она с нарочитой беспечностью.

— Будем надеяться, что не один! — игриво подхватила г-жа Соломон и хотела снова опереться на руку Владимира.

Но руки его повисли, как плети, а глаза усталились туда, откуда возникла Лиза. Кто еще был там? И что совершалось в этом укромном месте под прикрытием густой тьмы?.. Ему было стыдно своих мыслей, и в то же время брала досада на робость собственного тела. Хотелось удрать куда глаза глядят. Весь лес был пронизан теперь разгулом плоти, обдавал испариной обнаженных тел. И под каждым кустом переплелись в объятиях пары.

— А ты, Владимир, что поделывал? — вдруг пошла в наступление Лиза. — Кто тут кричал-разливался на весь лес? — допрашивала она, улыбаясь.

— Будто ты не знаешь, — огрызнулся Владимир, раздавленный унижением. — Ты что, сегодня первый раз мой голос услышала?

Г-жа Соломон, рассмеявшись, притянула его к себе.

— Оставь моего мальчика в покое, не дразни ребенка! — попеняла она Лизе.

Владимир был гадок сам себе. Скорее переменить тему — и прочь.

— Где же все? — сказал он, высвобождая руку, которой завладела г-жа Соломон, и, сложив ладони рупором, издал протяжный, переливистый клич.

Это был лучший способ вырваться на волю и вернуть себе присутствие духа: весь лес заклокотал и зазвенел от его голоса.

— Вла-а-а-д! — откликнулся радостный девичий голос. — Где вы все прячетесь?

— Давайте ее попугаем! — предложила Лиза.

— Это же Рири, — возразил Владимир. — Если ее испугать, она будет так визжать, что сраму не оберешься...

Скоро со стороны поляны показалась робкая тень.

— Только не пугайте меня! — взмолилась она. — Я знаю, вы здесь.

Рири шла, обмирая от ужаса. Из-за любого дерева мог кто-нибудь выскочить и схватить ее.

— Я вам что-то скажу, — посулила она. — Только не пугайте меня...

Она остановилась, вся дрожа.

Владимир первый вышел к ней, сказал, желая успокоить:

— Ну, где же ты была?

— Я пошла посмотреть, который час, и потом заблудилась... Кто там? — спросила она, заглядывая через его плечо.

— Лиза с Аглаей, — кисло сказал Владимир. — А ты кого видела?

Рири захихикала.

— Там, где часы, — начала она, — Стере с дядей Жоржем развалились на травке и лежат преспокойненько...

Из темноты вышла Лиза.

— А Андроника кто-нибудь видел? — полюбопытствовала она.

— Я — нет, не видела, — ответила Рири. — Он что-то для нас готовит, так и знайте... — И добавила, тоном пониже: — Но у меня тоже есть секрет: знаете, кто гуляет, как влюбленные? Дорина с капитаном!

Подошла и г-жа Соломон.

— Ты сама их видела? — спросила Лиза. — С капитаном, не с Андроником?

Рири твердо отвечала, что это был точно капитан Мануила. Они с Дориной шли рука об руку и разговаривали — правда, так тихо, что она ничего не разобрала. И Дорина еще то и дело посматривала вверх, как будто хотела взглянуть сквозь ветки небо.

— Точно вдвоем? — допытывалась Лиза. — Может быть, Андроник прятался где-то поблизости?

Рири снова пустилась в заверения, но вдруг заметила, что словно бы выгораживает Андроника, на которого возводят напраслину, — и смешалась.

— Интересно, о чем говорят влюбленные?... — Владимир пожал плечами. — Скажем дяде Жоржу, пусть порадуетя.

Капитан Мануила встретил Дорину совершенно непреднамеренно. Покинув Андроника, он после недолгого колебания взял курс на известную поляну. Пока он шел, понурясь, углубленный в свои мысли, ему вдруг стало гадко собственное безволие. Как? Им, взрослым, солидным человеком, вертит-крутит какой-то сопляк! И если бы еще точно знать, что дело вполне чистое...

Многое казалось ему странным в этом Андронике. Но досаднее все-

го было то, что фанфаронада его появления, выходки шалопая с определенным кругом интересов: спорт, праздные мечты и женщины, — испортили им всем радость наивной немоты перед тайной ночного леса. Его спящая машина теперь нисколько не волновала Мануилу. С таким же успехом они могли погулять по городскому саду, где резвятся дети и бедокурят подростки. Выдумки Андроника свели на нет тайну, и сень деревьев в глазах капитана была теперь годна только на то, чтобы заниматься под ней любовью или спать.

Он уже подумывал, не вернуться ли туда, откуда пришел, когда совсем рядом увидел Дорину. Он узнал ее по вышитой блузке, по беспокойству рук.

— Господин капитан, вы? — удивилась она.

— С вашего позволения, да, — ответил Мануила. — Вы кого-то ждете?

Дорина в самом деле расположилась так, будто караулила кого-то. Место, где она стояла, укрытая между деревьями, давало хороший обзор. На вопрос капитана она принялась так бурно отнекиваться, что он все понял, и кровь бросилась ему в голову. К растущей досаде на Андроника добавилось теперь оскорбленное самолюбие и легкое презрение к этой дурочке, которая полагает, что его ничего не стоит обмануть с первым встречным.

— Чудо, а не игра, — сказал Мануила, когда Дорина потерянно смолкла. — Не удивлюсь, если ваш всеобщий любимчик затеял ее, чтобы взять, что плохо лежит, — и поминай как звали... Самое смешное, что столько взрослых людей дали себя околпачить, — поспешно добавил он, видя, что Дорина кипит от возмущения.

— Не думаю, чтобы господин Андроник оказался всего лишь заурядным мошенником, — отчеканила она, овладев собой.

Капитан вдруг рассмеялся и сделал к ней шаг. В мгновенном затмении посмотрел на нее не как на благородную барышню, к которой он собирается свататься и которую должен уважать, а как на одну из тех бесчисленных девиц, которые скрашивали его холостяцкую жизнь. Взял ее за руку и притянул к себе.

— Оставь, моя прелесть, не стоит он того, чтобы его защищала такая миленькая девушка.

Дорина окаменела — так ошеломила ее внезапная перемена в пове-

дений капитана. Что это за человек — что он себе позволяет? И какая вульгарность!

Однако кричать было бы глупо. В конце концов, дерзостей она от него пока что не слышала и, может быть, испугалась не столько самого жеста, сколько его неожиданности.

— Лучше прогуляемся! — продолжал капитан.

И, поскольку Дорина еще не опомнилась, подхватил ее под руку.

— Вы ведете себя по меньшей мере странно, господин капитан! — нашла наконец Дорина.

— А вы представьте себе, что мы играем в фанты, — со смехом отвечал Мануила. — Какие могут быть обиды, когда играешь в фанты? Даже если кавалер выпадет не тот, что нравится...

Намек был столь прозрачен, что Дорина сочла нужным пуститься в оправдания:

— Я ничего подобного в виду не имела. Меня просто несколько озадачил, признаться, ваш тон.

— Будем считать, тому причиной эхо, — сказал капитан и, помолчав, спросил, озираясь вокруг: — Не правда ли, совершенно нет впечатления, что мы в лесу?

Дорина запрокинула голову. «Да, правда, мирное, защищенное место...»

— Как в Чишмиджиу*, — добавил Мануила.

— Скорее уж как в Синае, в парке за монастырем, — с улыбкой повторила его Дорина.

— Ну, скажите, разве не жалко? Когда подумаешь, что мы могли бы с замиранием сердца бродить по настоящему лесу и припоминать разные истории про чертей и вампиров...

— Нет, нет, упаси Боже! Страсти какие! — кокетливо воскликнула Дорина.

— Со мной вам нечего бояться, я тоже на что-то годен... Да-а, мы провели бы время гораздо лучше, не встретив мы этого молодчика...

Дорину снова кольнула настойчивость капитана. Вот нахал, он Бог знает что может обо мне подумать... Но если не лукавить, Дорина и впрямь готова была в первую секунду принять его за Андроника. Ее тешила мысль

* Маленький старинный парк в центре Бухареста.

встретить Андроника одного. Мало ли что — а вдруг?.. Она не удержалась даже сейчас, обернулась. Ей почудились шаги за спиной, но никого не было. Они порядочно углубились в лес.

— Как вы думаете, что сейчас делают наши? — спросила она, чтобы перевести разговор в другое русло.

— То же, что и мы: говорят о любви, — ответил капитан с нарочитым цинизмом.

Дорину передернуло. «Что, если он сейчас возьмет и сделает мне предложение? Вот было бы невпапад... И все же, может статься, что когда-нибудь именно этот человек... Если бы еще он был глуп, как Стере, презрение к которому так легко оправдать...»

— Я по крайней мере хочу поговорить с вами именно об этом предмете, — продолжал капитан. — Но только серьезно. Не знаю, как там другие, я же хочу спросить вас со всей откровенностью, если позволите, разумеется.

— Ну разумеется, — вдруг успокоившись, без промедления согласилась Дорина.

— Я хочу спросить вас, как по-вашему: то, что называется любовью, — это так, прихоть случая, мгновенная вспышка или это нечто, растущее постепенно, с годами совместной жизни и дружества? Меня интересует, естественно, ваше личное мнение...

— *Личным* похвастаться не могу, — с нажимом начала Дорина. — Но вообще какая-то точка зрения, конечно, у меня есть. Я думала об этом, скажем так, отвлеченно — как об идеальном...

Она увлеклась и долго с жаром развивала свои представления, пока не заметила, что сыплет словами почти машинально, вся во власти иных воспоминаний, одержимая блеском иных, жгучих глаз... Она прикусила язык и снова запрокинула голову к небу, чтобы отрезветь.

Она думает о нем, понял Мануила и с такой ясностью ощутил присутствие соперника, что от глухой ревности у него перехватило горло и заалели щеки.

— Да, понимаю, — сказал он, взяв себя в руки.

— Не правда ли? Эти вещи так трудно поддаются определению... — заключила Дорина, будто извиняясь.

Они по-прежнему шли рядом. Мыслями она *с ним*, все время *с ним*, чувствовал капитан.

— Да сколько же сейчас времени? — вдруг спохватилась Дорина, словно вспомнив о каком-то срочном деле. — Не пора ли возвращаться?

VII

Когда перевалило за десять, семейство Замфиреску, расположившееся на лавочке во дворе монастырской гостиницы, стало проявлять признаки нетерпения.

— Нет, положительно они хотят сбыть с рук Дорину, — не выдержала г-жа Замфиреску. — Помяните мое слово.

Замфиреску-дочь, сочтя подобные разговоры унижительными для девицы, встала и со словами: «Пойду посмотрю, не идут ли», — проследовала к озеру.

— И я догадываюсь, кто тут дирижер, — не унималась г-жа Замфиреску, — бухарестская родня все обстрипала, втайне от нас... Боятся, ей-Богу, как бы у них жениха не отбили...

Она хмыкнула, не справляясь с растущим раздражением. Хоть бы Ли-за подошла раньше других, а то и спросить не у кого.

— Ты не проголодалась? — не поддержал тему г-н Замфиреску. — Что, если мы не станем их дожидаться и сядем за стол?

Г-жа Замфиреску не упустила случая сорвать на нем злость:

— У моего муженька одно на уме — за стол! За столом мы сидели, слава Богу, до четырех. И ты навернул — дай Боже!

Г-н Замфиреску вскипел и открыл было рот, чтобы дать отпор благоверной, но именно в этот момент показала Замфиреску-дочь. Она бежала, махала ручкой и весело кричала:

— Возвращаются! Я слышала их голоса у озера. Ах, какая милая компания!

Как она жалела, что не пошла на прогулку с ними! Наверняка они играли в разные светские игры или пели хором, оттого и загулялись допоздна.

— Вот и хорошо, — обрадовался г-н Замфиреску. — Надеюсь, вы не броситесь сразу после ужина играть в карты.

Г-жа Замфиреску гневно поднялась со скамейки и пошла навстречу дочери.

— Смотри не проговорись, что мы их ждали с ужином, — предупредила она. — А то еще подумают, что мы навязываемся. Пусть сами нас пригласят...

Голоса раздавались теперь уже вполне отчетливо. Но компания, кажется, не торопилась, потому что еще некоторое время никого не было видно. Смеялись непрерывно. Г-жа Замфиреску тоже приготовила улыбку. Вернулась на скамейку и громко заговорила, пытаясь внести оживление в свой маленький кружок. «А то еще подумают, что мы тут без них томились, помирали со скуки...»

— Когда же луна взойдет, Хорика? — Она просто истекала лаской.

— Около полуночи, — поглазев на небо, ответил муж.

— ...однако меня вы на фуфу не поймали, — трубно прозвучал голос Стере. — Мы с Жоржем сидели на месте, не шастали, как вы все, по лесу...

— Но признайтесь, что было отлично! — отозвался смеющийся голос Андроника.

На такой смех невозможно было обидеться. В нем играла, била через край молодая, гордая собой сила. Замфиреску-дочь заулыбалась, хотя еще никого не видела.

— ...если кто и остался внакладе, так это я, — продолжал Андроник, — поскольку мой план не удался.

— Но почему же вы не хотите нам признаться, что это был за план? — спросила Лиза.

— Не могу, уж извините, потому что я еще от него не отказался. Я отошел слишком далеко от нашего места и не успел вовремя вернуться, только и всего. А то бы мы и сейчас еще были в лесу...

— Умираю от любопытства, — сказала Лиза.

— Немного терпения, сударыня, — призвал Андроник. — Игра продолжается, хотим мы того или нет...

Тут компании встретились, и г-жа Соломон принялась расписывать Замфиреску прелесть пробежек в лесу.

— Было дивно! — уверяла она. — И тишина, и чистый воздух...

— Что я вам говорила! — вставила Замфиреску-дочь.

Все загомонили разом, перебивая друг друга. Даже Стамате несколько оттаял и позволил себе шутливый тон. Лизины поцелуи придали ему смелости, так что именно он предложил:

— Как луна взойдет, непременно опять в лес!

— Увольте, — сразу отказался Стере. — Это забавы для молодых.

Г-жа Замфиреску облегченно рассмеялась. Значит, на Стере она может рассчитывать. А там, глядишь, и на г-на Соломона. Уединиться в одной из гостиничных комнат — и предаться покеру.

— Кто будет накрывать на стол? — захлопотал г-н Соломон. — Корзины вынесли из машин?

Рири, Лиза и г-жа Соломон пошли заниматься хозяйством.

Замфиреску-дочь в первом порыве хотела было броситься помогать им, но увидела, что Дорина осталась, и решила не усердствовать. Сколько молодых людей — острят, смеются, — здесь будет веселее.

— Кто со мной в погреба — за вином? — продолжал распоряжаться г-н Соломон.

Почти все мужчины изъявили желание поглядеть на монастырские погреба. Особенно загорелись Андроник и Владимир.

— Но вино придется нести ведрами, имейте в виду, — предупредил г-н Соломон, польщенный готовностью, с какой гости вызвались идти за ним.

— И ведрами, и в корчагах, — уточнил г-н Замфиреску. — Только попросите, чтоб вам дали красного, это, я вам доложу... Один цвет чего стоит — как рубин! У них есть еще мускатное, но оно быстро в голову ударяет...

— Да, слишком крепкое, — подтвердила г-жа Замфиреску, — Хорика, у нас какое в машине?

— Именно такое.

— Не стоит смешивать, — заметил Стере. — Да, не забудьте про брынзу. Они тут брынзу делают — объеденье!

Гонцы отправились искать ключника. Еще когда вся шумная компания ввалилась на монастырский двор, монахи повысыпали из келий посмотреть, что происходит, но ключника среди них не было. Его бы г-н Соломон узнал: ключник был высокий, сухопарый, с редкой бородакой.

— Моль побила, — шутил г-н Соломон. — А когда говорит, будто нос зажимает. Вот так. — И г-н Соломон презабавнейшим образом загундосил.

Стамате с капитаном Мануилой засмеялись.

— А где же Андроник? — вдруг спохватился г-н Соломон, не видя юноши.

— Пошел, наверное, искать тех своих приятелей, — сказал Владимир.

— Хм! Вы верите этой байке про приятелей? — сыронизировал капитан, несколько понизив голос.

— Тсс! Не будем, он может нас услышать, — обрезал его Стамате. — Нехорошо: сплетни, да еще за глаза...

— Я ей говорил... — не удержался г-н Соломон, но тут же добавил примирительно: — Мне кажется, что молодой человек из хорошей семьи, только очень уж верченый, шалопутный...

Ключника они в конце концов нашли и попросили двадцать литров красного вина. Монах взял две большие корчаги и ведро и пошел вперед, указывая им путь.

— Уж не знаю, одолеете ли столько... — обронил он, ни на кого не глядя.

Перед окованной железом дверью ключник остановился, выбрал нужный ключ и не спеша отпер. Потом зажег свечу, ведро перехватил в левую руку, корчаги отдал на попечение Владимиру и предупредил:

— Смотрите под ноги, ступеньки у нас поистерлись.

Начали спускаться, осторожно и не без трепета. Погреб уходил глубоко вниз, и чем ниже, тем шире раздвигались его стены. Владимира пробирала дрожь: от холода и сырости, от этих таинственных древних сводов, от пляски теней, поднятой огоньком свечи.

— Бог его знает, что помнят эти стены, — пробормотал он, как в тумане.

— Я тоже об этом думаю, — поддержал его капитан. — Как будто что-то гнетет... а теперь здесь всего лишь приют для винных бочек...

Стамате только озибался с молчаливым изумлением.

— Да, и еще вашей доброй брынзы дай нам, будь любезен, — вспомнил г-н Соломон.

Монах подставил корчагу под кран бочки. Вино заклокотало, распространяя густой терпкий запах. Владимир не спускал глаз с рубиновой струи, которая, вихрясь, била в корчагу. Брызги попадали в стоящее под ней ведро.

— Это лучшее вино в здешних краях, — произнес голос Андроника. Все, вздрогнув, обернулись.

— Как же ты подошел, золотко, что мы даже не слышали? — весело воскликнул г-н Соломон.

Андроник махнул рукой в сторону входа и спокойно ответил:

— Я оттуда. Потерял вас во дворе — и прямо сюда... Я сюда дорогу знаю, — добавил он с улыбкой. — Сколько ведер такого вина я выпил в жизни...

Монах покосился на него, чтобы разглядеть получше. При свете свечи лица у всех были бледные, землистые, с глубокими тенями вокруг глаз.

— Вы ведь меня узнаете, батюшка? — спросил Андроник, ероша рукой волосы.

— К нам много господ приезжает, — ответил монах, опуская взгляд. — Всех не упомнишь.

— Но меня-то вы знаете, — сказал Андроник вполголоса, как бы только для монаха. И, резко отвернувшись от него, обвел рукой вокруг. — Я знаю здесь каждый камень, как будто живу здесь от начала начал... Иной раз думаешь — а не приснилось ли мне это? — столько всего я помню. Кто мне все это рассказал, кто показал?... Точно я родился одновременно с монастырем.

Г-н Соломон счел нужным рассмеяться. Он поднял одну из наполненных уже корчаг и, довольный ее тяжестью, подержал на весу.

— Говоришь ты как по писаному, — бросил он Андронику. — Как в тех рассказах про разных типов, которые воображают, что уже один раз жили на этом свете, в другом виде.

— Нет, не то, — просто возразил Андроник. — Мне не кажется, что я уже один раз жил, когда-то давно, в другой оболочке. Я чувствую, что *сам* жил здесь *все время*, с основания монастыря...

— Э, тому будет добрая сотня лет, — невозмутимо заметил монах.

— И даже больше, чем ваше преподобие считает, — поправил его Андроник, усмехнувшись.

Владимир с опаской поглядывал на его хмурое лицо. То ли промозглый воздух, то ли пары пролитого вина, то ли мельтешенье в глазах от пляски теней по стенам были причиной, но он не узнавал Андроника. Ему казалось, что тот ослабился, бросая им всем, в издевку, свои странные слова; что глаза его мечут искры и что мрачность лица вот-вот сменится гримасой хохота. Как же другие не замечают, что Андроник ерничает — или он бредит наяву, хмельной от какого-то иного зелья?

— Платим честно-благородно и уходим, — говорил между тем г-н Соломон, отсчитывая купюры.

Капитан Мануила, почти скрытый мраком, впал в оцепенение, из которого его вырвал лишь голос Андроника:

— Никто, я уверен, не знает, что на этом месте погибла наследница Морузи, родная его дочь, по крови, а не та, что он удочерил во втором браке.

Монах в испуге вскинул на него глаза и поспешно перекрестился. Андроник же, как бы ничего не заметив и в упор глядя на капитана Мануилу, вел свое:

— Я и сам не могу вам сказать, откуда я это знаю, но так было. Здесь она умерла, красавица Аргира, млечная дева, как ее называли в насмешку.

— Как она умерла? — почти беззвучно спросил Владимир.

— Ее бросили сюда без ведома старика отца... Кто говорит, что даже и без ведома настоятеля. В те времена женщинам не полагалось входить в мужские монастыри. Привезли ее ночью, здесь она и умерла, а отчего и какой смертью, никто не знает. От нее хотели избавиться, потому что в тот год старика задумали женить во второй раз, наследница уже ждала... И умерла Аргира на третью ночь. Здесь, вот на этом самом месте.

Андроник обернулся вокруг своей оси и встал перед монахом.

— Поминаете вы ее на службе, батюшка?

Ключник затряс головой. Он впервые слышал эту историю и не хотел верить в такое варварство: боярскую дочь уморили в монастырских подвалах — где это видано?

— Пойдемте-ка, что-то холод пробирает, — сказал г-н Соломон.

Всех на самом деле пробрало до костей — от сырости ли стен, от злобшей ли тайны, которую Андронику взбрело на ум поведать.

— Нашел место для страшных историй, какая-то девица... — попенял ему г-н Соломон, как только они оказались на воздухе.

Андроник весело рассмеялся.

— Когда люди мне симпатичны, я люблю их иногда в шутку потеребить, — сказал он своим обычным голосом. — Но все же история печальная, верно?

После промозглости погребя ночь показалась теплой. Оправа деревьев и келий заключала в себе большой кусок неба. Монастырский двор подсвечивался неизвестно откуда идущим светом.

— Великолепно! — похвалил г-н Соломон, задрав голову к небу, усыпанному звездами, и крепко держа в руках корчагу.

Андроник, воспользовавшись тем, что он стоит особняком, тихо шепнул:

— Я бы вас попросил не пересказывать дамам эту историю с Аргирой. Мы испортим им настроение...

Г-н Соломон хитро подмигнул. Но, попристальнее взглянув на Андроника, потерял охоту шутить. Что-то было в Андрониковом взгляде: он дурманил тяжелым, свинцовым блеском.

— Ах ты, чертяка! — выговорил г-н Соломон с невероятным усилием.

Силы иссякли вдруг. Глупые мысли пронеслись в голове. Уж не пройдоха ли этот Андроник — из тех, что обучены всяким штукам: подбавят, к примеру, добрым людям в вино сонное зелье, а после оберут их до нитки.

Он поплелся вслед за всеми с большой смутой на душе, но через несколько шагов окликнул Андроника:

— Не хочешь винца отведать? А то отхлебнули бы из корчаги...

Андроник в свою очередь хитро подмигнул и, приняв корчагу из рук г-на Соломона, бережно поднес к губам. Он пил долго, не отрываясь, забыв обо всем на свете. Г-н Соломон стоял, вытаращив глаза. Но этот же богатырский размах его и успокоил. Он легонько тронул юношу за плечо.

— Очнись, молодец, оставь и другим по глотку...

— Разве что по глотку! — улыбнулся ему Андроник, как заговорщик, отняв корчагу от уст.

И они быстрым шагом пустились догонять товарищей.

VIII

Дело шло к полуночи, молодежи не терпелось поскорее расправиться с ужином и перейти в соседнюю комнату. Там можно будет дать себе волю — поболтать, сыграть в какие-нибудь еще игры или даже устроить танцы. Г-жа Соломон заметила мимоходом, что ее стараниями Владимиров патефон взять не забыли. Если заткнуть носовым платком резонатор, снаружи ничего не услышат.

— Да, собственно, и слушать-то некому, — добавила она, — монахи в этот час уже спят.

Стол был скромен только на первый взгляд: одна смена тарелок, разрозненные стаканы, салфетки — бумажные. По существу же он ломился от холодных закусок, птицы, сардин, сыров и фруктов, которыми не преминули уставить его, щеголяя друг перед другом, г-жа Соломон и г-жа Замфиреску. Под столовую они отвели комнату поскромнее — с тем чтобы комнаты побольше и почище оставить для игр и танцев. Было ясно, что эта сухомятка, как выразилась г-жа Замфиреску, долго не продлится, и не стоило замусоривать другие комнаты. В двух из них предполагалось устроить спальни. Туда были снесены саквояжи, свертки, пальто. Кровати предстояло сдвинуть вместе, поскольку их на всех не хватало. Г-жа Соломон объявила о своем решении тоже остаться на ночь, пренебрегши комарами.

Владимир первым подал сигнал встать из-за стола. От выпитого вина он расхрабрился и испытывал неистощимую жажду деятельности. Сидя между г-жой Соломон и Замфиреску-дочкой, он чувствовал себя в центре их внимания: каждая сгорала желанием шепнуть ему на ушко какую-нибудь свою тайну, непременно коснувшись при этом грудью его плеча. Впрочем, ужин вообще прошел более чем непринужденно. Монастырское вино разогрело всех, даже поначалу не попадававшую в общий тон фамилию Замфиреску.

— Пора поглядеть, не взошла ли луна, — решительно сказал Владимир, вставая и подхватывая под руку молоденькую Замфиреску.

— А не прогуляться ли к озеру? — предложил кто-то.

Но шум отодвигаемых стульев, хор благодарностей хозяйкам, смех и всеобщий говор заглушили вопрос. Гости переместились в среднюю, самую большую комнату. Г-н Соломон как раз пытался выяснить, не найдется ли желающих на вторую чашечку кофе, когда вдруг заметил, что Андроник не сводит глаз с входной двери. С тех пор как все встали из-за стола, он не произнес ни слова. Что-то его тяготило, он был бледен и нервно озирался.

— Эй, тебе нехорошо, что ли? — окликнул его г-н Соломон.

Лиза и Рири припорхнули тотчас же, напустив на себя озабоченность: какой прекрасный предлог выказать участие этому обворожительному молодому человеку, который так искрометно блистал за ужином.

— А что, если еще чашечку кофе? — посоветовала Лиза, счастливая, что может снова взять его под свою опеку, как за столом, где они оказались рядом.

Она снова будто чего-то ждала, хотя Андроник не обнадежил ее ни единым жестом nepзпозволительной фамильярности.

— Со мной все в порядке, — с холодной улыбкой произнес Андроник. — Но причина для волнения есть. Однако вы будете смеяться, если я вам скажу, какая...

— Клянусь вам... — горячо начала Лиза.

— Не будем преувеличивать, — остановил ее Андроник самым корректным тоном. — Дело, в общем-то, пустячное... Но этот пустяк может кое-кому из вас досадить.

— Что случилось? — вторглась в разговор г-жа Замфиреску, приближаясь к ним вместе с г-жой Соломон и Владимиром.

— Пока ничего, — ответил Андроник. — Но скоро случится... — И добавил: — Можно попросить минуту тишины?

В столовой Стере громогласно втолковывал что-то г-ну Замфиреску и капитану Мануиле. В дверях шумела другая компания во главе со Стамате.

— Что, что такое? — слышались голоса.

Все сгрудились вокруг Андроника, постепенно затихая.

— Лучше сказать напрямую, — вполголоса заговорил Андроник. — Змея поблизости.

Женщины дружно взвизгнули.

— К чему пугать дам подобными шуточками? — довольно резко бросил капитан Мануила.

— Я никого не думаю пугать, — твердо отвечал Андроник. — Но змея действительно близко...

Снова гул испуганных вскриков и смешков прокатился по комнате. Андроник продолжал, не обращая ни на что внимания:

— Она приползет сюда, когда мы выйдем в сад, а может быть, позже, когда мы уже ляжем спать...

— Боже упаси! — Г-жа Замфиреску перекрестилась.

Андроник, нахмурясь и опустив голову, выждал минуту.

— Вот я и хотел вас спросить: не лучше ли ее приманить сразу, сейчас?

Все молчали, оторопев от неожиданности. Он снова дурачится, этот взбалмошный юноша? Снова затевает сомнительную игру?...

— Но каким же образом приманить? — после долгого молчания спросил капитан с вымученной улыбкой.

— Это уж предоставьте мне, — ответил Андроник. — Однако мы должны действовать без промедления.

Паника и любопытство прошли всех насквозь.

— Всем соблюдать тишину, — приказал Андроник. — И разойтись вдоль стен... Вот так...

Он взял за плечи г-на Соломона и подтолкнул к двери, как будто выбирал для него подходящее место. Г-н Соломон поддался без малейшего сопротивления. Едва руки Андроника коснулись его, сердце захлестнула горячая волна. Он расслаблено прислонился к стене, не в силах даже улыбнуться.

— Прошу всех прижаться к стенам, как можно теснее к стенам, — звучно и четко отдавал приказы Андроник. — И не двигаться с места. Что бы ни случилось, — подчеркнул он, переводя взгляд с одного лица на другое. — Нет, ни с кем из вас ничего дурного не случится. Но если вы пошевелинетесь или крикнете, вы меня собьете и зададите мне лишней работы...

Один за другим, ошеломленно и испуганно встречаясь глазами, гости рассыпались, прилипая к стенам. Только капитан Мануила сохранил на лице скептическую усмешку.

— Кажется, сейчас нам покажут фокус, — произнес он достаточно громко.

— Если угодно, и фокус в какой-то мере, — отозвался Андроник, не обидясь. — Но лучше его проделать, пока не поздно.

— Послушайте, да где же эта ваша змея? — взорвался капитан. — Если вы знаете, где она, пойдемте пристукнем ее, и дело с концом!

— Она здесь? — передернув плечами, обронила Лиза.

— Где она сию минуту, не знаю, — хмуро сказал Андроник, — но если вы не хотите... — Он засунул руки в карманы, оглядел всех по очереди и вдруг улыбнулся. — Насильно никого благодетельствовать не буду.

— Но почему мы должны стоять как приклеенные по стенкам? — подал голос Стамате, желая показать, что ему все нипочем.

— Чтобы ее не спугнуть, — объяснил Андроник. — Я ее позову, и она приползет как миленькая...

— Позовете сюда, в дом?! — вырвалось у г-жи Соломон.

— Вы еще и змей заклинать умеете? — издевательски спросил капитан. — Или снова собираетесь нас морочить, как в лесу?..

Однако женщины сгорали от нетерпения увидеть Андроника в деле. Что бы это ни было, пусть розыгрыш, но если он исходит от Андроника, пусть начинается поскорее...

— И долго нам так торчать, не трепыхаясь? — осведомился Стере, разрывая очарованные пути первых Андрониковых приказаний.

Все зашевелились, заговорили, хотя отодвигаться от стен еще не смели. Опасливо поглядывали под ноги, как будто ожидая увидеть там внезапно возникшую змеиную голову.

Андроник снова раздраженно засунул руки в карманы. Он предпринял последнюю попытку добиться полного послушания:

— Сейчас не время рассказывать, как я узнал про змею, каким образом намерен ее приманить... Все потом... — И добавил с досадой: — Я же говорил с самого начала, что вы будете надо мной смеяться.

— Не будем! — чуть не фыркнув, пообещала Лиза.

Но тут ее взгляд упал на г-на Соломона, и вся веселость мигом прошла. Ей показалось, что кузен не слышит ничего из того, что говорится вокруг. Что как его поставил Андроник, так он и стоит, одеревенев в ожидании. Лиза поспешно перевела глаза на г-жу Соломон. Та ничего не замечала. Значит, все в порядке, в успокоение себе подумала Лиза.

Андроник посмотрел на часы.

— Даю вам одну минуту. Если вы не утихнете, я попрошу прощенья за доставленное беспокойство и откланяюсь... Вот все, что я хотел вам сказать.

От этих его слов все пришли в замешательство. Так, значит, дело серьезное... Несколько мгновений царил полная растерянность: заверять ли его хором, что они тотчас же замолчат, или молча прижимать палец к губам, подавая знак друг другу?

— Хорошо, хорошо, — тихо произнес Андроник. — Прошу вас, так и оставайтесь.

Он снова нахмурил брови и побледнел еще больше. Неуверенно сделал шаг-другой, потом быстро направился в глубь комнаты, задул одну лампу, прикрутил фитиль у второй.

— Слишком много света, — слышался его шепот, — он может испугаться...

Пошел к двери и распахнул ее. Все это Андроник проделывал, уже ни на кого не глядя; он был один и готовился кого-то принять. Однако не-

ровное дыхание людей слышалось явственно, хотя они и сдерживали его изо всех сил.

— Еще раз прошу, не двигайтесь, что бы ни случилось. Для вашего же блага...

Это было произнесено так, как если бы публика находилась где-то за дверью: он не взглянул ни на кого. Большими шагами ходил он из угла в угол, по-видимому недовольный расстановкой мебели. Подхватил стул, который стоял на дороге, отнес его в столовую и, выйдя на середину комнаты, наконец замер. Потер рукой лоб, глядя под ноги, и решительно опустился на одно колено, сложив обе руки на другом.

«Балаган начинается», — подумал капитан, раздраженный этими фигурными приготовлениями.

Но вслух не посмел ничего сказать. Оглядел общество. Стамате напряженно ждал, явно готовый поверить во все, что бы ему ни преподнесли. Дам разбирал страх вперемешку с любопытством. Поражена ужасом была одна г-жа Замфиреску. И г-н Соломон — как в параличе. «Сколько, интересно, продлится сия комедия, — сам с собой рассуждал капитан. — Лишь бы оказалась смешной, чтобы мы от души повеселились...»

В ту же секунду он понял, что слышит бормотание Андроника, стоящего в той нелепой позе, какую он соизволил для себя выбрать. Капитан напрягся, пытаясь уловить смысл произносимого. Но различал только диковинные слоги. Румынский ли это? Звуки текли протяжно, тягуче, нараспев. И все же в них был смысл, потому что многократно повторялось слово *sagra**. «Что-то вроде заклинания? А скорее всего — просто фарс...» Он обвел глазами вокруг и в легком дурмане, уже забиравшем его, увидел, что все остальные сонно притихли и застыли, как восковые фигуры.

IX

Прошли считанные минуты, а Мануиле показалось, что несравненно больше. Он пытался сохранить трезвую голову, потому что на него тоже находила по временам непонятная истома и веки наливались тяжестью. Внезапно он ощутил, как в комнате что-то меняется, и

* Змея (санскр.).

стиснул кулаки. Полумрак распадался на два больших полотнища, прорезаемый серебряной дорожкой. Вероятно, тучка, долго скрывавшая луну, сдвинулась, пуская ее в дом.

«...Змеится прядка серебра!» — сквозь дрему припомнилось Лизе. Она тоже смотрела, как колеблющийся свет понизу проникает в комнату. Вдруг так остро ждали сердце тогдашние, из детства на бульваре Паке, печали, будто она только сию минуту рассталась с ними. «Что же я делала с тех пор? Когда успела вырасти — и сама не заметила, и никто мне не сказал?..»

Андроник тоже смолк. Тоже ждал. Лунный свет припал к его стопам. Колдовство начинается?.. Дорина не сводила с Андроника глаз, словно не веря, что все это наяву. Сейчас ее ничем было не удивить. Как во сне, любая встреча, любая несуразица — все будет к месту, все естественно. И как во сне, ее никто не тронет, никто не сделает ей ничего плохого...

И когда в комнату мимо их ног скользнула змея, никто даже не испугался. Пустота в груди, глубокая пустота, и только.

Змея была большая и серая и двигалась осторожно, как бы разминая онемевшие кольца. Она то и дело приподнимала голову и тут же быстро утыкалась ею в пол, будто искала след.

Попав в полосу света, она на мгновение потерянно застыла. Потом, круто вильнув, направилась к Андронику. Словно бы и ее заворжили лунные лучи, потому что она извивалась теперь с ленивой грацией, и на каждый извив трепетом отзывалась ее темная чешуя. Дорине показалось, что змея идет прямо на нее, и напор ужаса прорвал пелену чар. Дорина вдруг очнулась перед зрелищем, смотреть на которое — выше человеческих сил, перед зрелищем, цепящим душу, опасным, совершенно недопустимым для девичьих глаз. Надвигающийся гад отбирал у нее воздух, выгонял кровь из жил, сводил плоть незнакомыми ей судорогами болезненной страсти. Ощущением мертвечины и любовного возбуждения отзывалось в ней это непристойное качание, этот блеск холодного тела рептилии.

— Ну же, скорее! — услышала Дорина донесшийся из далекого далека голос Андроника.

Кого он зовет так властно? Кровь снова прихлынула к ее щекам, будто она подслушала чье-то заветное, тайное слово. Ужас и гадливость душили ее, и так же мощно стыд боролся с запретным желанием в крови.

— Ты — он? Где ты был так долго? — снова зазвучал приглушенный далью голос.

Змей подполз к Андронику и застыл, не в силах преодолеть робость, не смея положить голову на раскрытую ладонь, протянутую ему. Он настороженно ждал и только подергивал головой, как бы пытаясь высвободиться из-под чар.

— Иди же сюда! — повелел Андроник.

Чтобы не потерять сознания, Лиза закрыла глаза и уперлась локтями в стену. Она успела увидеть, как змей сунулся в ладонь Андронику, и на своей ладони ощутила ледяной ожог прикосновения, и в нее саму глубоко вонзилась стрела этой чуждой естеству плоти.

— Так, так, ближе! — приказал Андроник.

Дорина, тоже почти без чувств, бледная, подняла глаза. Теперь не в человеческих силах было вырвать ее из того невидимого круга, который замкнул в себе их с Андроником. Змей плавно вползал на его ладонь, обвивался вокруг руки, все выше, пока не коснулся беспокойной головой Андроникова горла. Тогда юноша перехватил его правой рукой и, сжав в кулаке, поглядел в глаза.

— Что ты такой печальный? — спросил он с улыбкой.

Мануила, пробуждаясь, увидел змею в руке Андроника, но это было в продолжение сна, так что он почти не удивился. Пошарил глазами по комнате. Бледные лица вокруг тоже не вызвали в нем беспокойства. Все было, как прежде, точно так же, как в бредовом, болезненном сне с катаньем на лодке, с «Тайной Иисуса», которую читал вслух, воздев вверх руку, Владимир. Вдруг лодка пошла ко дну, точно так, как рассказывал тогда, на берегу, Андроник, пошла ко дну посреди озера, без единого всплеска, словно налитая свинцом...

— Кто-то убил твою подружку и ты остался один-одинешенек? — переспросил Андроник, как будто выслушав шепоток змея.

Лиза открыла глаза и снова содрогнулась. Змей извивался, лицом к лицу с Андроником, но все его броски из стороны в сторону отзывались в Лизе наваждением, исступлением страсти. Забирали рассудок, насылали мару слова Андроника, змеиный танец.

— Ты хотел ужалить здесь кого-нибудь? — допытывался Андроник у своего товарища. — Хотел отомстить?.. Но разве ты не видишь, что тут

только благонадежные граждане... и столько красивых барышень, — добавил он, улыбаясь и неотрывно глядя змею в глаза.

У Дорины гулко забилося сердце. Мысли хлынули теперь беззащитно, мысли и тайные желания. Это о ней, о ком же еще, сказал Андроник: «столько красивых барышень». Это ее он выбрал.

— А, ты пришел на свадьбу! — кивал головой Андроник. — Ты почувял, что здесь будет свадьба?..

Капитана Мануилу бросило в краску. Пусть и во сне, но такие вещи не говорят во всеуслышанье. Он украдкой покосился на Дорину. Она была все так же бледна, неподвижна, только губы дрожали. В это самое мгновение начиналось для нее путешествие. Лодка ждала их на том же месте, их двоих, чтобы вынести на простор озера. Рука об руку с Андроником, крепко ухватившись за него, она больше ничего не чувствовала, даже просто радости. Сейчас они отплывут от берега и не расцепят рук, а может быть, свернутся друг подле друга на дне лодки, как в гнезде. «Второй, марш!» — выпалил голос Стере, и она хотела побежать, но непонятная тяжесть удерживала ее на месте, приковывала к плечу Андроника. «Ну же, беги!» — снова крикнул Стере, на сей раз нетерпеливо. «Проиграешь фант!» — шутиливо пригрозил кто-то. Но Дорина теперь уже понимала, что это значит, и потупилась. Это значит — быть свадьбе, вот что... Только почему все-таки никак не оторваться от берега, и почему ноги не слушаются ее, ведь надо же бежать... «Беги, беги!» — закричало сразу много голосов у нее за спиной. Неужели Андроник не решается, неужели ему не понравился ее фант?..

— А кто же, скажи на милость, будут жених и невеста? — словно куражась, спрашивал Андроник. — Которую из барышень выбрал бы ты, Богом проклятая тварь, оставшаяся без пары?

Ну да, конечно, понимала Лиза, Андроник просто для вида задает вопросы змею. О ней он думает, когда говорит, что здесь столько красивых барышень и из всех надо выбрать одну. Выберет одну, вот что сейчас сделает Андроник. Вот для чего он выстроил всех женщин в круг, по стенам. На обозренье, на смотр, чтобы выбрать невесту. Ведь он сам и есть жених, он. «И он выбрал меня, кого же еще», — грезила Лиза, завороченная дерзким призывным танцем змея.

— Говори же, говори, которая здесь нравится тебе больше всех? — поддразнивая, шептал Андроник.

Замфиреску-дочь вдруг задрожала. Что, если он выберет ее? Чтобы змей вполз ей на грудь, бесстыдно скользнул за пазуху? Нет, нет, невысказанно, мерзко! Почему ее, почему именно ее?..

— Ну ты и бестия! — рассмеялся Андроник. — Ладно. Теперь уходи, тебя ждет твоя покойница...

«Все так, так, — пораженная ужасом, думала г-жа Замфиреску. — Эта нечистая тварь — чья-то душа, вышедшая из могилы. Вот и подруга у него — мертвая. У всех есть свои покойники, давно преданные земле. Оттуда они выходят, скрытые под личиной змеи, идут в дома живых и пьют молоко, оставленное для них, или вино с медом. — Ужас г-жи Замфиреску граничил с религиозным чувством. Если бы только достало сил осенить себя крестом, помолиться за души умерших. — Кто-то, видно, не знает покоя на том свете, оттого и послал эту нечисть в такую даль, да еще в человеческий дом... Лишь бы она не потребовала кого-то еще. Не пожелала бы новой могилы, потому что есть и такое поверье...»

— Ты уйдешь далеко, — шептал Андроник. — Плыви на остров посреди озера, и чтобы я тебя больше не видел. Только не вздумай меня послушаться. И не смей жалить человека. Тогда с тобой ничего не случится, будь уверен... А теперь — прочь!

Змей немного помедлил, нежась под серебристым свечением лунного ока. Андроник плавным взмахом простер руку к двери. словно няя его приказу, змей повернулся и, дергая вверх и вниз головой, стал нерешительно искать дорогу назад.

Только сейчас Владимир рассмотрел его хорошенько, только сейчас, потому что все это время бежал сломя голову по лесу, один, гонимый невидимым духом. Он даже не разобрал, когда началась погоня. Светящийся циферблат рос, разрастался, пока не брызнул ему в глаза зелеными лунными огнями, а посередине — змей! Как же он не знал, что в часах Стамате, которые он, Владимир, нес в руке, пробегая по лесу, сидит змей? Большая стрелка незаметно удлинилась, ожила, и перепуганный Владимир увидел, как она сворачивается кольцами, подрагивая, посверкивая в фосфорическом свете. Немедленно разжать руку, выбросить часы! Но в руке уже ничего нет, часы со змеем за спиной. «Первый, марш!» — спасительно крикнул Стере. Какое счастье, что можно убежать, помчаться по лесу, где столько больших и добрых деревьев, они спрячут его. И какой добрый Стере — так вовремя подал ему сигнал, теперь он может спастись от

нечистого дыхания за плечами, уйти от колдовской фосфоресценции... Пусть он вылетел прямо на змея, и тот поднял голову с серебряной дорожки! Владимир больше не боялся его. Змей был у ног, а не догонял со спины, огромный и невидимый...

— Живее, живее! — понукал змея Андроник, вставая и делая шаг к двери.

Вот оно что, это Андроник рассказывал им сказку про Аргиру, млечную деву, тоже превращенную в змею, понял Стамате. Туго же он соображает. Только увидев совсем близко Андроника, шагнувшего к двери, Стамате узнал его голос. А ему-то казалось, что он слушает монаха. Надо же так все перепутать. Никакого монаха-ключника тут нет. Да они вовсе и не в погребе. Вот, все общество в сборе...

Андроник постоял, глядя за дверь, в ночь. Потом вернулся на свое место посреди комнаты, приложил руку ко лбу и снова что-то забормотал. Капитан Мануила слышал его на этот раз с такой ясностью, как будто тот нашептывал ему прямо на ухо — те же слова, те же заклинания, очевидно, — потому что на все лады опять повторялось слово *sarpa*, свистящее, шипящее, тягучее. Мануила ухмыльнулся. Все, что Андроник им тут наплел про фантастическое детство, проведенное среди цыган, — не очередная ли его выдумка, чтобы еще раз выставить их дураками? Но тогда как этому цыганскому выкорышшу удалось в самом деле приманить змею сюда, в комнату? Капитан Мануила видел ее собственными глазами, уж в этом-то он был уверен: большая серая змея, она прямо-таки танцевала в лунном свете и забиралась к Андронику на руки... Этим штукам учатся у цыган. Нет, нечистое дело. И кто знает, чему он обучен еще. Для такого плетового дела усыпить весь дом, забрать все подчистую — а потом пойти ищи его...

Мануила огляделся. Понять хотя бы: может, Андроник уже усыпил всех каким-нибудь дурманным зельем, чтобы слямзить, к примеру, часы у Стамате... Но ничего не прочел капитан по осунувшимся, бледным лицам. Те же, что и вначале, восковые фигуры жались по стенам. Страх снова стал забирать его, и веки снова набрякли тяжестью. Надо крикнуть! Но он не смог даже застонать, даже пальцем пошевелить. Как в тот страшный час, из детства, который ему не забыть, когда он зашел к маме в комнату и, ничего не понимая, нашел ее на полу, онемевшую, с закатившимися глазами. После ему сказали, что к ним в деревню приходила цыган-

ка с раковиной; взялась погадать маме, села на пол, вынула из котомки руку мертвеца и очертила ею круг. Только это он и запомнил... Но теперь-то Мануила прекрасно понимал, что происходит. Андроник кончает свои магические действия, завершив неправдоподобный рассказ о помещичьем сыне, которого выкрали и вырастили цыгане...

Первым, кто вышел из транса, был Стере. Увидел, что Андроник отвернулся к окну, что змея давно нет, и отступил, сначала робко, сначала на шаг, от стены, потом поспешил вон из дома. Чистая ночная прохлада действовала отрезвляюще. Стере перевел дух и помял лицо, пытаясь сообразить, что с ним было. Но все путалось в голове. Наваливалась усталость, ломило онемевшие суставы, побаливали ноги. Он сел на крыльцо, глубоко вбирая в себя воздух.

Х

— Дамы и господа! Можно возобновить веселье! — возвестил голос Андроника. — Змею, нечистой твари, орудию дьявола на земле, отказано от дома!..

Но шутка Андроника не произвела впечатления. Люди приходили в себя с трудом, неуверенно отрываясь от стен, ища взглядом друг друга. Андроник подошел к г-ну Соломону и положил руки ему на плечи. Тот вздрогнул, как со сна.

— Все кончено, господин Соломон! — объявил Андроник. — Я его выгнал! Он ушел!..

Г-н Соломон все так же глядел в одну точку. Юноша властно заглянул ему в глаза и потряс за плечи.

— Очнитесь! Все в порядке!..

Его прервал истошный женский крик: г-жа Соломон зашла в рыданиях, вызвав испуг на лицах. Растерянная фигура Стере появилась на пороге. Г-жа Соломон билась в истерике и могла в любую минуту рухнуть без чувств. Андроник бросился к ней, стиснул ее руку.

— Сударыня! Сударыня! — крикнул он во весь голос, перекрывая ее вопли. — Это была только шутка, очнитесь!..

Г-жа Соломон на секунду захлебнулась слезами, потом зарыдала еще надрывнее, дрожа всем телом.

— Этого следовало ожидать, — сказал Андроник, как бы обращаясь к мужской половине общества.

Однако и мужчины смотрели все еще осоловело, в недоумении от того, что они пережили, не улавливая, откуда исходят эти отчаянные женские вопли. Андроник подался вплотную к г-же Соломон и приложил правую руку к ее лбу.

— Перестаньте, — шепнул он. — Все прошло, не так ли?

Всклипнув последний раз, женщина послушно затихла. Приступ слегка отрезвил ее, и она, устыдившись своей слабости, нетвердым шагом вышла в соседнюю комнату.

— Что случилось? — ошалело спросил с порога Стере. — Кто это кричал?

— Аглая, — кротко сказал г-н Соломон, как бы прося прощенья. — У нее нервы... Не хватает выдержки, — добавил он, словно объясняясь с самим собой.

Отпустило наконец и капитана. Первым делом он бросился к Стамате, чтобы собственными глазами убедиться в целостности часов.

— Сколько времени?

Стамате ответил после того, как вдумчиво изучил положение стрелок:

— Двенадцать часов одиннадцать минут.

Андроник со смехом бросил капитану:

— Вы могли бы обратиться прямо ко мне. Все заняло от силы три минуты.

— Быть того не может, — не поверил капитан, тужась связать воедино то, что помнил, выстроить цельную картину произошедшего.

— Уверяю вас, — возразил Андроник. — Просто в таких обстоятельствах время уплотняется, дело обычное.

Он говорил громко и внятно и руки держал в карманах куртки, как будто ничего особенного не случилось. Всеми силами старался он сломать лед, развеять мучительную скованность, не миновавшую никого. Люди озирались и шарили глазами по полу, словно что-то, пока затаившееся, всякую минуту могло броситься им под ноги. Да и само пространство стало неоднородным, то сгущаясь, то разверзаясь опасными провалами.

— Что это было? — спросил Андроника Владимир.

— Только колдовство, и ничего более, любезный мой друг, — весело ответил Андроник. И, не желая упускать случай встряхнуть их, а заодно и

просветить, продолжал: — Ты же у нас изучаешь историю и литературу. Ты должен разбираться во всех тонкостях магии лучше, чем я. Я только ею балуюсь, и то изредка, забавы ради...

Говоря, Андроник косился по сторонам: возбудил ли он в ком-нибудь любопытство, стянется ли к нему общество.

— Возьми любую религию, — заговорил он, еще больше повысив голос. — Ты же знаешь, какая богатая символика связана у всех народов со змеей...

— Господи помилуй, Господи помилуй! — вскрикнула г-жа Замфиреску, крестясь.

Слово «змея» вернуло ее к пережитому потрясению. Андроник осекся и отошел от Владимира.

— Теперь я понимаю, в чем дело, понимаю, — говорил он, ища на столе спичечный коробок. — Просто мало одной лампы и слишком много лунного света...

Лунный свет до сих пор не давал разнять ресницы Дорине. Она все ждала от него какой-нибудь разгадки, будто только его серебряный прилив мог внести строй в сумятицу происходящего. Цепь событий то и дело прерывалась. Дорина оказывалась в разных бредовых обстоятельствах, непонятным образом вытекающих одно из другого. Но все, что творилось на берегу лунных вод, началом имело этот холодный свет. И свадьба, и жених, и лодка, так долго качавшаяся в одиночестве, лодка, которую так трудно пустить в плавание...

— Вот теперь совсем другое дело! — громко сказал Андроник, зажигая вторую лампу и выдвигая фитиль у первой.

Их стекла снова засверкали, и лунный свет поблек, тусклой струйкой сбегая к порогу. Пространство успокоилось, комната, надежно огороженная стенами, приняла свой обычный строгий вид. Снаружи, издали, доносилось цвирканье кузнечиков, посвист ночных птиц.

— Дамы и господа! — еще раз попытался Андроник расшевелить общество. — Все вернулось на круги своя! Мы можем придумать какую-нибудь новую игру, пока сварится кофе!..

Г-н Соломон в панике подумал, что совсем недавно спрашивал, кто хочет еще кофе. А потом? Вероятнее всего, он поставил кофе на огонь, разлил по чашкам, и гости выпили... Тогда о каком кофе говорит Андроник? О новой порции? Г-н Соломон с опаской потер лоб: или ему все это

примерещилось, а дурная голова свела воедино картинки из разных мест? Однако комната осталась точно такой, как прежде. И люди те же... Только Аглаи нет, ей стало дурно. Надо пойти ее проводить.

Г-н Соломон решительно проложил себе дорогу в соседнюю комнату. Он нашел жену на кровати — с потухшим лицом, с пустым взглядом.

— Думаешь, устроишься? — спросила она хрипло, увидев его подле себя.

Г-н Соломон пожал плечами. Он не выказал никакого удивления, однако совершенно не знал, о чем речь, поэтому и ограничился неопределенным жестом.

— Я про нее, про Дорину, — напомнила г-жа Соломон тем же бесильным, негнущимся голосом.

— Ах да, правда, я было запямятовал, — протянул г-н Соломон. — Очень возможно, что теперь все наладится...

— Да?

— Не знаю, это я так. Никогда же не знаешь...

Г-жа Соломон осторожно повернула к нему голову. Она тяжело дышала, и каждое движение давалось ей с видимым трудом.

— А ты как? — спросила она.

— Ничего, со мной все в порядке. Я вот думаю, может, по чашечке кофе?..

Он испытующе взглянул на жену и отвел глаза. Нет, совершенно невозможно установить, что было, чего не было. Вроде бы совсем недавно он поднимал руку, возглашая: «Кто за кофе, поднимите руку!» А может, это было раньше, после обеда, и с поднятой рукой он стоял на крыльце своего дома?..

— Стало быть, — донесся до них голос Андроника, — вы готовились к свадьбе, а мне ничего не сказали. Теперь я понимаю, отчего вы все были такие веселые...

— Видишь, — встрепенулась г-жа Соломон. — Ты был прав. И он тоже об этом проведал...

— Но слово-то за капитаном, — хмуро возразил г-н Соломон.

Капитана Мануилу застигла врасплох прямота Андроника. Он уставился в пол, красный, потерявший дар речи. Совсем не к месту затеял Андроник этот разговор. Капитан был слишком подавлен всеобщим тягостным, необъяснимым молчанием. Что с ними, отчего у них такой оша-

лелый вид? И отчего никто не говорит о самом главном — о змее, которая как из-под земли выросла посреди дома?..

— Откуда же вы взяли, что будет свадьба? — спросила г-жа Замфиреску.

«Вот теперь все и выйдет наружу», — подумала она. Однако Андроник только улыбнулся в ее сторону и вздернул плечами. Не ее собирался он вызвать на разговор.

— Кто же счастливая невеста? — продолжал он, старательно выдерживая флигельный тон.

Капитан Мануила резко вскинул глаза на Дорину. Она опустила голову, скрывая краску стыда, и это подстегнуло капитана.

— Вы задаете нескромные вопросы, сударь! — воскликнул он и сам удивился слабости своего голоса, вялости слов.

— О, если я совершил бестактность, прошу прощенья, — поспешил извиниться Андроник. — Это невольно, поверьте. Я просто хотел сказать, что все идет как нельзя лучше. Такая ночь в монастыре и знак, который нам подали... С доставкой на дом!

Он аппетитно расхохотался, но его шутка повисла в воздухе. Все так же затрудненно, ословело шевелились люди, жались друг к другу, цеплялись друг за друга взглядами, не осмеливаясь отдалиться от стен. Как будто боясь, что пол уйдет из-под ног и они соскользнут в пустоту. Только Стере, который стоял на пороге, овеваемый ветерком, смотрел уже почти трезвым взглядом. На него одного подействовал бодряще Андроников смех. Может, этот мальчишка только для смеху и заморочил им всем головы, а они-то всерьез...

— Кто бы ни была прекрасная невеста, я считаю своим долгом выпить за ее счастье! — провозгласил Андроник.

Он быстро вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся со стаканом рубинового вина.

В глазах у всех затеплилось любопытство, как будто снова им предстояло увидеть что-то из ряда вон выходящее.

Юноша залпом осушил стакан.

— Разве вы не последуете моему примеру? — воскликнул он.

Но никто даже не отозвался. Замфиреску-дочка оторопело смотрела на Андроника. Она перестала что-либо понимать. Ее клонило ко сну. Тепло наливалось усталостью, расслабляющей немощью.

— Не хочет ли кто-нибудь пройтись по свежему воздуху? — предложил Андроник.

Несколько голов повернулось к двери. Однако гнет темноты сумели преодолеть только Владимир и Стамате. Свежий воздух не помешает, решили они. В лес не пойдем, даже во двор не спустимся. Постоим на крыльце, подышим.

— Выйти на воздух! — поддержал их капитан Мануила. — Чудесная мысль. Но как же наши дамы?

Он смотрел на Дорину. Встретившись с ним глазами, та опять покраснела. Теперь все знают. И он, капитан, знает, *что* она видела, знает ее стыд...

— Мне хочется спать, — выговорила она не без труда.

Капитан Мануила вздрогнул — он не узнал ее голоса. Может быть, как раз сейчас оставлять ее одну и не следует.

— Не думаю, что стоит сразу идти спать, — мягко сказал он. — Могут присниться дурные сны.

Андроник взял его под руку.

— Не пугайте ее, — шепнул он. — Сейчас ничего не надо говорить. Будет лучше, если мы их всех оставим на несколько минут. Это пройдет само.

За ними вышли Владимир, Стамате и Рири. Луна поднялась уже почти до середины неба. Ночь стояла ясная, тихая, не плодящая тайн.

— Я так и не понял, что же все-таки произошло, — сказал Владимир. — Змея была или нет?

Ответил капитан:

— Я видел ее собственными глазами. Большая водяная змея... Спрашивается, где только такую выискал господин Андроник...

Андроник с безразличным видом пожал плечами.

— Нигде я ее не выискивал. А позвал, чтобы прогнать подальше от нас. Чтобы не случилось какого несчастья... И она меня послушалась. Сейчас плывет, верно, через озеро, торопится вон туда, на остров.

Он махнул рукой в сторону озера, за монастырские стены.

— Куда? — переспросила Дорина.

Оказалось, что и она стоит на пороге. Рири молча подошла к ней. Андроник спокойно взглянул и еще раз повторил, снова вытянув руку в даль:

— На остров посреди озера. Там она никого не ужалит...

Дорина вяло слушала. Эта убежденность Андроника, что змея никого не ужалит, никак не отозвалась в ней.

— Тебе тут не зябко? — спросил ее Стере.

— Нет, тут лучше, — ответила девушка. — Как же вы меня напугали...

— Уверю вас, — тихо сказал Андроник, — вы несколько не испугались. А произойти это все равно должно было.

— Да, правда, — раздумчиво согласилась Дорина.

— Что должно было произойти? — встревожился капитан.

— Эта штука со змеей, — сказал Андроник. — Она бы все равно пришла. Я с самого начала чувствовал, что она хочет проникнуть в дом... Но не стал портить вам аппетит за ужином. А потом надо было уже торопиться...

Он вдруг засмеялся и оглядел их всех по очереди.

— Дело шло к полуночи, — добавил он, поморщась от собственной тривиальности, — а после полуночи я над ней власти не имею...

Он осекся, нахмурился. Не зная, что сказать, все озадаченно переглядывались.

— Вероятно, вам тяжело далось сие ремесло, — произнес наконец Мануила.

— Какое ремесло? — не понял Стере.

— Заклинание змей, — пояснил Мануила. — Ясно ведь, что это дело не из простых.

Андроник заколебался. Его не тянуло раскрывать свои тайны.

— Я и сам не помню, как оно мне далось. Это было давно, — уклончиво сказал он. — Есть столько вещей, которые я знаю неизвестно откуда... Вот хотя бы историю с Аргирой, о ней ведь даже здесь, в самом монастыре, никому неизвестно...

Ни Стере, ни Дорина не слышали историю с Аргирой, но не проявили ни малейшего любопытства. Сказал и сказал. Сейчас им было не до тайн. Гадать что и как, выяснять, входить в подробности — ничто не стоило усилий.

— Я только не понимаю, как вы узнали, что она поблизости, — выпалила одним духом Рири, избегнув, однако, слова «змея».

— Не скажу до завтрашнего утра, — лукаво улыбнулся Андроник. — В темноте такие вещи не говорят...

Дорина задрожала. Рири не глядя взяла ее под руку.

— Не скажу, — продолжал Андроник, — потому что боюсь за вас. Вы особы чувствительные...

Он медленно повернул голову и со значением поглядел Дорине в глаза. Та побледнела как мел.

— Что вполне объяснимо, — перешел на шепот Андроник. — Когда готовится столь знаменательное событие...

На пороге появился г-н Соломон. Выглядел он уже молодцом.

— Кто за то, чтобы лечь спать, прошу в дом готовить себе постель. А кто за то, чтобы выпить кофе, прошу поднять руку.

Он натянуто улыбнулся. Только Андроник, Стере и капитан Мануила высказались за кофе. Остальные, квелые и сонные, разбрелись по спальням.

— Кажется, я испортил вечеринку, — сказал Андроник, выдерживая взгляд капитана.

XI

Час спустя все уже спали. Старания Андроника вытащить кого-нибудь прогуляться, хотя бы по парку, успехом не увенчались.

На разговоры никого не тянуло. И кофе пили через силу, и ноги были как ватные. Где уж там гулять, даже как следует устроить спальни не удалось. В дамской только сдвинули кровати и подняли занавески на окнах. В мужской набросали прямо на пол матрасы и тут же повалились на них, толком не раздевшись. Заводить речь о пижаме было бы сейчас неуместно, и Андроник просто составил вместе два стула, заявив, что на них якобы уснет лучше, чем на полу.

— Но пока у меня сна — ни в одном глазу, — добавил он, видя, что уже прикручивают на ночь лампу. — Пойду пройдуся. Кто со мной?

На этот раз вызвался только капитан Мануила. Хотя у него тоже, как у всех, от непонятной усталости разбежались мысли и слабела воля, однако он не мог оставить Андроника в победителях и спустился с ним во двор.

— Мне очень жаль, признаться, — начал Андроник, — что из-за меня все пошло вкривь и вкось. Если бы не эта проклятая тварь, мы бы теперь плыли на лодочках по озеру...

— По озеру ни в коем случае, — возразил Мануила. — Да и не время. Разве вы не чувствуете, как стало свежо?

— Ничего не чувствую, — сказал Андроник, глядя на небо, — кроме зверского аппетита на всякие сумасбродства. Полазить с вами по деревьям, полетать с ветки на ветку, нырнуть в эту волшебную воду...

С изумлением и не без зависти слушал его Мануила. Либо это бесы в нем играют, либо он точно колдовского роду-племени. Откуда он черпает силы, откуда в нем столько жизни, такая неутомимость на выдумки?..

— Как минует полночь, — продолжал Андроник, — не знаю, что со мной творится. То мне кажется, я птица, то барсук, то обезьяна... Вам это, наверно, смешно?

— Нисколько.

— И почти всегда я потом забываю, что делал, не помню, где провел ночь...

— Вот теперь я с полным правом могу посмеяться, — без улыбки сказал капитан Мануила.

Андроник жестко усмехнулся.

— Вы заблуждаетесь, если думаете о женщинах, о том, что называют любовью. Ночь имеет для меня чары совсем иного рода... Поглядите! — Он обвел рукой небо и лес. — Это для меня сильнее любви. И гораздо серьезней...

Он вдруг прикусил язык, как будто проговорился. Помолчал, нахмурился, с остановившимся взглядом.

— ...серьезней, потому что никогда не знаешь, откуда это все, где у него начало и конец. Женщина — вот она, рядом, даже в твоей постели, и любовь рождается и умирает на твоих глазах. А это?..

Он снова протянул руки в ночь, к громаде спящих деревьев и как будто в первый раз устрасился сам. Мануиле передалось его волнение, кажется, он даже видел все сейчас глазами Андроника.

— И если бы они только являли тебе свою мощь, — продолжал тот. — Но они деспоты. Они на тебя давят, корежат тебя всего, а бывает — отбирают разум. Потому-то я вам и говорил, что...

— Понимаю, — вяло перебил его Мануила. — Это как отрава...

— Нет, не то, — живо возразил Андроник. — Это должно быть в крови от рождения, и никто не виноват, даже твои родители... Но я вижу, вы меня не слушаете, — прибавил он, беззлобно улыбнувшись.

Капитан смотрел и уже ничего не видел. Точно от каждого слова юноши у него развязывало суставы и сон наваливался неодолимо.

— Да, — признался он, — я как раз хотел извиниться перед вами. Еле держусь на ногах... Сегодня для меня был трудный день. И столько странных вещей...

Андроник пожал ему руку и, улыбаясь, подождал, пока тот поднимется на крыльцо. У Мануилы, как у пьяного, заплетались ноги. Не помня себя, добрался он до комнаты, до своего матраса и рухнул на него одетый. Остальные уже спали мертвым сном, как после тяжелых трудов.

Оставшись один, Андроник принялся в задумчивости вышагивать перед кельями монахов, отмечая удивительное отсутствие каких бы то ни было шумов. Безжизненность была в покое, которым затянуло лес. Андроник вышел за ворота, тихо прошелся по аллее. По обе ее стороны между высокими деревьями в беспорядке разрослись карликовые акации и кусты диких роз. Все спало мертвым сном под переливчатыми лучами луны. Вдруг в кустах хрипло пискнула птица, и Андроник замер.

— Ты что, еще не спишь? Ну-ка сюда!

Он вытянул руку. Через секунду-другую затрепыхались, задевая о кусты, крылья, и мелкий птах опасливо сел ему на ладонь. Андроник осторожно поднес ладонь к лицу. Птах трясся всем тельцем, но не улетал.

— Это что такое? — притворяясь сердитым, сказал Андроник. — Скоро день...

Он бережно накрыл птицу другой рукой и погладил по головке. Птах съежился, а потом, довольный, взъерошил перья.

— Веди себя хорошо, немедленно спать. Не влюблен же ты, как некоторые!

Он снова вытянул руку, и птах полетел, совершенно успокоенный, даже не подав голоса. Юноша постоял, пока не стихло шуршание листьев, словно хотел убедиться, что его послушались.

Потом, размышляя, куда лучше пойти, сделал еще несколько шагов по аллее и решительно повернул к озеру.

Снова проходя мимо келий, он еще раз прислушался, не проснулся ли кто. То же молчание зачарованной крепости. Только когда он вышел из монастырских стен и спустился к озеру, его встретило пиршество зву-

ков: кузнечики, сверчки, лягушки, короткие вскрики больших птиц, тревожимых луной. Здесь жизнь была ключом даже в разгар сна.

«Тише! Не плачь! Ничего не было!» — твердил Андроник ей на ухо. Аглая плакала скорее для того, чтобы чувствовать тепло и близость мужчины, снова и снова слышать этот страстный шепот. «Я тебя очень прошу!» — сказал Андроник и губами тронул мочку ее уха. Такой ласки Аглая не знала, ее обожгло и растопило всю этим прикосновением. Она попыталась отстраниться, но Андроник и не подумал разжать руки. «Надеюсь, тут не один сатир на весь лес!» — жарко шепнул он. Аглая улыбнулась. «Откуда ты знаешь мои мысли?» — спросила она, защищаясь и дразня. И тут же добавила: — Лучше пойдем посмотрим, что делают другие». «Все спят, — прошептал Андроник, — не беспокойся. И потом, разве ты не видишь, что с фантом? Зажигалка погасла, это сигнал...» Аглая рванулась было из его объятий, но тепло юноши туманило, кружило ей голову. «Хоть бы только никто не зажег ее опять, а то нас увидят», — то ли вздохнула, то ли простонала она...

Лизу снова резанул голос Стере: «Пятый!» На этот раз так издалека, что она едва расслышала — только потому, что ждала этого слова. Его черед, сказала она себе, всячески сдерживая и не умея сдержать дрожь. А если змей придет первым?.. Ее опасения были напрасны. Андроник собственной персоной вынырнул из-за дерева. «Ты ждала меня?» — с улыбкой спросил он. «Да. Видишь, зажигалку задуло...» Она указала рукой на дупло, но Андроник даже не проследил ее жеста глазами. Он шагнул к ней и без всяких церемоний обнял. Лиза напряглась, но близость этого сильного тела была такой упоительной, что она не посмела даже пошевелинуться. «Ты должна отдать мне свой фант», — нашептывал ей Андроник. Лиза попробовала вырваться: ей хотелось пощекотать чувства дикой гонкой по лесу. Пусть он преследует ее, пусть настигнет и тогда сожмет в тесных, пылающих объятиях. Но вырваться не удалось, он удержал ее, шепнув: «Ты его видела?» Лиза почувствовала, как кровь приливает к щекам, но блаженство слушать его дерзкие речи пересилило стыд. «Ты его не боишься?» Лиза конфузливо помотала головой и хотела спрятать лицо на плече юноши, но он перехватил губами ее губы и держал ее так, не давая вздохнуть... В бесконечном ликовании чувств, граничащем со смертной мукой, сознание мало-

помалу покидало Лизу — и утасло в ту минуту, когда грозная голова змея взошла из сжатых в замок рук Андроника...

В темноте Владимир случайно наткнулся рукой на Лизу, лежащую рядом. Он оторопел, не решаясь спросить, что она делает в его постели. «Да разве это твоя постель?» — возмутилась Лиза, отвечая на непроизнесенный вопрос. В самом деле, Владимир с тихим изумлением заметил, что он находится вовсе не в своей комнате, а в какой-то чужой, вытянутой в длину и заставленной цветами в горшках. «Кто зажег свет?» — вдруг забеспокоился он. «Никто, здесь никого нет, — с усмешкой отвечала Лиза. — Луна вышла!» И пристально, вызывающе заглянула ему в глаза. «Это грех, — подумал Владимир, — что скажет Стере?» Лиза придвинулась к нему и прошептала: «Что ты делал в лесу, а? Ловил змей?» Владимира передернуло. Но тотчас же он с ужасом увидел, как искажается Лизино лицо, как оно, в своем омерзительном безобразии, скалится огромным, синюшным ртом. Он зажал глаза рукой и весь затрясся от глупого, непреодолимого страха. «Ну-ну, не бойся, — раздался женский голос, — пошли лучше искать остальных!» Отняв руку от глаз, Владимир обнаружил перед собой Аглаю. «Они его прикончили, — довольная, говорила она. — Навалились все вместе и убили!» Конечно, она имела в виду змея. Владимир с облегчением перевел дух. «Захудаленький оказался, — продолжала г-жа Соломон. — Вот все, что от него осталось!» И протянула Владимиру часы. Циферблат был унизан бисером. «Как бы не проворонить свою очередь, — сказал Владимир. — Тише!» Они замерли в ожидании сигнала. Вот только г-жа Соломон прижималась к нему, льнула все теснее, обвивая руками, оплетая жарким благоуханием, сулящим сладость бесчинства. Владимира забила дрожь, он твердил про себя: «Этого нельзя, нет, нет!» Тут Стере крикнул: «Второй!» И он рванулся из рук женщины и безудержно понесся в лес, в теплое и готовое принять его лоно ночи.

XII

Дорина проспала только несколько минут, а уже кто-то, приближаясь, тронул ее за плечо:
— Пора! Скоро рассвет!

Девушка испуганно вскочила с постели. Уже? А как же другие — останутся тут одни, в монастыре?

— Это было давно и во сне. Что о них вспоминать?

Дорина улыбнулась. Да, конечно, во сне; и эта несчастная вечеринка у родственников, и игры в лесу, и змей...

— Никогда не произноси этого слова, — наставительно сказала незнакомка в ответ на ее мысли. — Запомни: тебе нельзя.

— Хорошо, я запомню. Но если все же нечаянно...

Лицо разбудившей ее незнакомки омрачилось.

— Тогда ты не увидишь его девять лет. Тогда девять лет тебе искать его по всему свету...

— Кого? — содрогаясь, спросила Дорина.

— Своего жениха. Или ты и это забыла: сегодня свадьба.

— Так скоро? — оробела Дорина. — Еще ведь даже не рассвело.

— Времени у тебя — до восхода солнца, пока он человек. Днем он спрячется, и ты опять его не увидишь...

Дорина огляделась. Какие роскошные покои: стены с позолотой, сводчатый потолок... Почти всю ночь провести здесь и ничего не заметить!..

— Скорей, скорей! — заторопила ее незнакомка. — Тебя уже ждут, подвенечное платье готово.

— Но я должна сначала сказать маме, — возразила Дорина.

Незнакомка снисходительно усмехнулась. Взяла ее за руку и кивнула в глубь комнаты. Там открывалась бесконечная, как зеркалами умноженная, анфилада комнат.

— Разве есть у тебя время возвращаться? Все это было давно. Ты даже не представляешь себе, сколько воды утекло с тех пор...

Дорина смотрела на вереницу комнат, отделявших ее от прошлого, без грусти. Сами собой вымарывались из памяти последние воспоминания. Да, правда, миновала бездна времени, и возврата нет, уже никогда не будет так, как было...

— Надень кольцо! — напомнила незнакомка. — И не снимай, пока не встанешь перед ним.

— Перед Андроником, — замирая от волнения, проронила Дорина.

— Так *вы* его зовете.

Незнакомка взглянула Дорине в глаза и горько усмехнулась.

— Ты его знаешь?

— И мне он является, но только по ночам, — отвечала незнакомка. — Когда он человек и прекрасен собой...

— А как зовешь его ты?

— Так, как нельзя тебе...

Дорину пробрал страх от холодка во взгляде этой чужой, неизвестно откуда взявшейся женщины.

— Идем! Нас ждут...

Незнакомка чуть ли не силой подхватила Дорину под руку и потянула к двери. Но на пороге та остановилась как вкопанная. Порог, она чувствовала, обрывался к воде. К воде, затянутой как бы ковром — на вид, для неискушенного глаза, — а под ним крылась пучина, глубокая, черная, холодная.

— Мне страшно, — шепнула она.

— Не бойся, не утонешь, — успокоила ее незнакомка. — Ты со мной.

И подтолкнула вперед. Дорина зажмурилась и шагнула. Но не провалилась, а пошла, словно по стеклу. Вода холодила ступни, и только. И все равно дыхание почти замерло у нее в груди.

— Дыши спокойно, — сказала незнакомка. — Ни о чем не тревожься. Привыкнешь. Это ничего, что под водой.

— Как под водой? — спросил перепуганная Дорина.

— Здесь его дворец.

— Но как же сюда доходит солнце? — недоумевала Дорина, озираясь.

— Его дворец весь из стекла. Взгляни!

Незнакомка вскинула руку. Небо серебрилось далеко наверху стеклянным, как бы заимствованным откуда-то светом. Впереди же сверкали огни, яркие, ослепительные.

— Нас ждут... Как бы не обиделись, что мы опаздываем...

Она крепче сжала руку Дорины и прибавила шагу. Девушка зачарованно смотрела на сияние впереди. Уже различался гул множества голосов и легкие стонущие звуки, будто кто-то пробовал струны скрипок. Забелела прямо перед ними мраморная лестница. Дорина занесла было ногу на первую ступеньку и вдруг заколебалась. Но спутница опять потянула ее за собой.

— Иди! Иди! — приказала она.

О, какая это была тяжесть! Невидимый груз наваливался на нее, и каждый шаг отнимал силы.

— Иди же! Иди! — донеслись сверху другие голоса.

Дорина снова почувствовала помогающую руку незнакомки. Она замурилась и сделала еще шаг. Слезы выступили на глазах. Непонятный труд движения кружил голову.

— Почему так тяжело? — прошептала она.

— И ему было тяжело дойти до тебя. Ты забыла — он не мог сдвинуть лодку с места? Сколько вы прождали там, у озера, а лодка так и не отчалила.

— Да, правда, — вспомнила Дорина.

Она вспомнила жгучие глаза Андроника. Его руку, теплую и сильную, за которую крепко держалась тогда, в том давнем сне.

— Сюда! Сюда! — снова позвали сверху голоса.

— Кто они? — недоумевала Дорина.

— Разные. Их много. Все сюда собираются... Хоть это и трудно, как видишь.

Все горше и горше делалась ее улыбка, пока она смотрела на мучения Дорины.

— Еще долго? — спросила Дорина.

— Если любишь, вовсе недолго...

Девушка наморщила лоб, закусила губу и, собрав все силы, преодолела еще одну ступень и еще одну...

— Он не может мне помочь, да?

— На этой лестнице нет. Это не его место.

Голосов сверху больше не было слышно, ни голосов, ни стопа скрипок. Куда вдруг делись разом все эти люди, которые ждали Дорину, не сводя с нее глаз?

— Никуда не делись, — отвечала незнакомка на ее мысли. — Они ждут тебя. Смотри...

И правда, Дорина оказалась посреди необъятных, пышно убранных чертогов со множеством зеркал и огней. Сама сказка окружала ее. Дамы были в кринолинах, кавалеры — в мундирах с галунами, в шлемах и с длинными палашами.

— Только ни с кем не говори! — торопливо шепнула незнакомка.

Дорина, оробев, пошла через высокую, бесконечную залу, сжимаясь

под недобрыми взглядами нарядной толпы, то и дело смыкавшейся вокруг нее, чтобы задержать. Каждый манил ее рукой, каждый соблазнял какой-нибудь диковинной вещицей, извлекая на свет то золотую, невиданной красоты птицу, то кубок из драгоценного камня, то башмачок с хрустальным блеском. У девушки закружилась голова, и она спрятала лицо в ладони.

— Не отвечай им, что бы они ни говорили, — повторяла незнакомка, еще более властно увлекая ее вперед.

— Погляди же и на Аргирю, на млечную деву, — выкрикнул какой-то юноша, преграждая им путь и указывая рукой в сторону.

Дорина невольно взглянула туда. Поодаль, в сиянии, сидела на троне бледная дева с рассыпанными прядями черных волос, с широко раскрытыми глазами.

— Она тоже была невестой! — сияя улыбкой, приговаривал юноша. — Она пришла оттуда же, откуда и ты. Смотри на нее!

Дорину охватила дрожь. Дева была похожа на мертвую: недвижная, с белым застывшим лицом, с немигающим взглядом.

— Три дня он был с ней! — выкрикивал юноша, не давая им пройти. — Теперь она мертва, давно мертва! Смотри же, смотри!

Но и без понуканий юноши Дорина не могла оторвать глаз от девы на троне. Ее необъяснимо томила тайна этого изваяния, этой холодной, углубленной в себя скорби.

— Идем же! — пыталась отвлечь ее спутница, дергая за руку.

— Кто это? — проговорила Дорина. — Она тоже была невестой, но умерла?

Незнакомка замялась, не отвечая. Привлекла Дорину к себе, чтобы поскорее вывести из круга, прочь от странных, морочливых взглядов толпы.

— Посмотри хорошенько, и ты поймешь, кто это! — кричал им вслед юноша. — И на ней тоже подвенечное платье, видишь?

Дорина остановилась, дрожа. Дева на троне вдруг показалась ей знакомой: и эти огромные глаза, и поджатые губы...

— Что ж ты, себя не узнаешь? — торжествующие выкрикнул юноша.

Вмиг, точно по чьему-то невидимому знаку, смолкли все скрипки. Гробовое молчание легло на залу. Дорина еще мгновенье продержалась, с

расширенными от ужаса глазами, потом застонала и рухнула как подкошенная наземь.

Она постепенно узнавала комнату, где лежала. Все обтекал колдовской лунный свет. Дорина проснулась от судорог страха. С одной стороны доносился зычный храп и посапывание. С другой — неразборчивая мешанина шепотов-шорохов, звон насекомых. Девушка провела рукой по лицу, пытаясь понять, что с ней было. Прислушалась к неровному дыханию лежащих рядом. Скосила глаза вправо и увидела Лизу с неловко повернутой головой. Слева спала Рири, сжав кулачки у подбородка. Комната была освещена до самых потаенных уголков, но луна светила искоса, в окно попадал только кусок прозрачного синего неба.

— Мне это приснилось, — прошептала Дорина, успокаивая себя.

Тем не менее ей было боязно очнуться одной, когда все кругом спят. В далеких звуках, которые она улавливала, ей чудилась тайна, волшебство, неведомое. Она не сразу поняла, что это квакают лягушки на озере. Задумалась. Мы в монастыре. Я спала. Все, что было до сих пор, было во сне...

Но Андроник — вдруг вспыхнула она, и ее дыхание снова участилось. Неужели и он — только тень? А змей?..

Она лежала с открытыми глазами, морща лоб, силясь припомнить, что же все-таки произошло. Но ясности в мыслях не прибавилось. Только глаза Андроника глядели на нее в упор из световых колыханий комнаты. И она словно бы чувствовала его совсем рядом, узнавая по неопределимому запаху чистоты, силы, здоровья и вместе — по убийственному жару, который исходил от его глаз, от его рук... А змей?! Дорина залилась краской, сомкнула веки, до боли зажмурилась. Опять омерзение, ужас и тайное желание навалились на нее из глубин памяти. Ей было не под силу отделить одно от другого, мысли мельтешили, беспомощные, бессвязные. Все заволокло болезненной, изнуряющей мутью. Только чары змея держали ее. Чары змея и Андроника. И только лицо Андроника давало покой, когда она призывала его в мыслях. Он вставал перед ней во весь рост, неправдоподобно мужественный, kloкочущий жизнью...

Дорина еще долго боролась со сном, с картинками памяти. Храп из соседней комнаты иногда делался раздражающе отчетлив. Лунный свет не уходил из комнаты. Окно было открыто, но холода еще не ощуща-

лось. Женщины дышали глубоким, трудным дыханием. У всех был приоткрыт рот, напряжена шея, судорожно сжаты руки. Дорина смотрела, как вздымается и бурно опадает у всех них грудь, как подрагивают мускулы и клейко лоснятся лица. Никогда ей не приходилось видеть столько поваленных смертельной усталостью женщин. Никогда восприятие не обострялось в ней до такой ясности — и до такой ранимости, готовое от любого толчка соскользнуть в мираж. Наконец она закрыла глаза и тут же провалилась в сон, как в воды бездонного озера.

XIII

Андроник прошел порядочный кусок леса, прежде чем снова повернул к озеру. Поравнявшись с тем местом, где несколько часов назад устроил ристалище, он замедлил шаг и запел. Голос, сначала пробуящий себя, смиренный, постепенно округлялся и креп. Уже не напев, а призывный клич, в котором были и нежность, и жар, раскатами колыхал лес. Андроник пел без слов, только одно девичье имя прорезалось от времени до времени среди бесформенных звуков. Лес сонно прислушивался, вздрагивал и тут же затихал. Высоко, по вершинам крон, катился гул шорохов, листья бились и дрожали, будто тронутые невидимой, неутомонной рукой. Голос Андроника разносился далеко, раскалываясь о стволы, просеиваясь сквозь сплетение ветвей:

— А-о-ооо-хэу-у-у-ана-а-а-ааа!

На траве, подернутой лунным светом, робко распускались неизвестные в природе цветы с влажным мерцанием. Заботой Андроника было не помнить их, и когда он глядел под ноги, его голос уходил в землю, и только неразборчивый шепоток разбегался по лесу. Листья выворачивали шейки вслед юноше — такое смятение вызывало в лесу его шествие, бархат его голоса, когда он принимался петь. В гнездах, невидимые глазу, просыпались птицы, перекликались коротким, глухим щебетом. Андроник расплывался в улыбке и, запрокидывая кверху голову, махал им рукой:

— Никак не утомонитесь, красавицы?

Птичье волнение тут же стихало за смутным ропотом вершин. Большая ночная бабочка срывалась в полет, подхваченная крылом ветра, и, рискованно балансируя, томно припадала к древесной коре и складывала

крылышки. Пока Андроник следил за ней, глаза его углями горели в темноте. Потом он снова улыбался каким-то своим, неведомым радостям и шел дальше и пел.

У большого развесистого дерева Андроник остановился и внимательно смерил его взглядом снизу доверху, точно проверяя, все ли в порядке с его стволом и ветвями. Сбросил на траву куртку и безо всякого труда стал карабкаться. Достигнув самой высокой развилки, он попытался оглядеться, разведя руками ветви. Но высота оказалась недостаточной, он еще не поднялся выше леса. Тогда, снова уйдя в глубь кроны, он полез вверх по самым тонким веткам. Они подрагивали под его тяжестью, но не трескали. Казалось, он летит, перехватываясь руками, витает среди листвы, и тело его легко, как у птицы. Когда он поднял голову, он был под кровлей неба. Окаменевшего, в белесой лунной дымке.

— Неужели я один, быть того не может! — сказал Андроник и зааукал.

Эхо разлетелось над всем лесом, постепенно затихая. Но никто не ответил. Только одна большая птица взметнулась и, раскинув крылья, пролетела над деревьями.

— Эге-гей! — еще раз кликнул клич Андроник.

То же недоуменное молчание леса. То же ясное и мертвенное небо над головой. Андроник в задумчивости стал спускаться. И спуск давался ему легко, играючи, он не глядел, куда ему поставить ногу, не колебался. Быстро оказавшись на земле, он стряхнул шелуху листьев с волос, снова влез в куртку и пошел обратно другой дорогой. Пересекая поляну, поискал глазами ближайший куст и нырнул под него в траву, приложив ухо к земле.

— Никого! — с улыбкой сказал он. — Куда же все подевались нынешней ночью?!

Он поднялся с земли, легонько потрепал рукой травинки, точно прося у них прощенья, что примял их своим телом.

— Может, они пошли на озеро, поплавать?

И заторопился из лесу. На опушке повеяло ветерком, закачались метелки трав по обе стороны тропинки. Андроник шел, насвистывая, до самого озера. Тут он снова замер, прислушался. Различил где-то вдалеке сухой шелест камыша. Сонный верезг, лягушачье пение, скрип сверчков постепенно поглощались молчанием озера. Ни одна птица больше не проснулась в прибрежных зарослях. Андроник напряг глаза, вглядываясь в

водную даль. Она была пуста, только чуть колыхалась под ветром. Юноша прошелся взад и вперед, словно выбирая место поудобнее, и стал нетерпеливо сбрасывать одежду.

Дорина долго не решалась показаться ему. Ведь он знает, что она пришла, и не ищет, не зовет. Она прекрасно видела, как он стоит, нагой, в одной набедренной повязке из тяжелого шелка с золотой оторочкой. Почему он не готов к встрече, не одет? Неужели он выбрал не ее?.. Но в хорошеде незнакомых девиц он, смерив всех взглядом, ей бросил фант — золотое яблоко: Какой еще нужен знак? Ее он выбрал в невесты...

— Дорина! — изумленно встретил ее Андроник, когда она вышла к нему. — Какая ты стала красивая!

— Я ждала тебя, — прошептала девушка. — Мы не идем?

И тут же потупилась, смутясь наготой его плеч.

— Что ты? — сказал он. — По-другому нельзя, пойми. Чист и наг. Так предназначено.

— И мне тоже?

— И тебе... Чуть позже, не бойся, — добавил он, улыбаясь и беря ее за руку.

Снова ударом молнии отозвалось в ней прикосновение Андроника. Той же судорогой неведомого, ни на что не похожего блаженства.

— Ты умеешь плавать? — осторожно спрашивал Андроник. — Если лодка перевернется, удержишься на воде?

Дорина в испуге прильнула к его плечу.

— Если ты меня отпустишь, я погибла.

— Ну-ну, не бойся, что бы ни случилось, не бойся. Эта ладья не тонет. Если бы ты знала, сколько раз я уплывал на ней вон туда, смотри!..

Он вытянул руку вдаль. Дорина ничего не увидела: одна вода и вода без конца, чистая, неподвижная.

— Это далеко? — покорно спросила она.

Андроник засмеялся и обнял за плечи.

— Далеко не бывает, когда любишь, — шепнул он. — Ты сядешь на корме. Мы поплывем через девять морей, через девять земель. И сыграем свадьбу.

— Так нескоро? — загрустила Дорина. — До тех пор столько всего может случиться...

— Ты напрасно торопишься, — ласково сказал Андроник. — Здесь, у нас, дни идут что минуты. Раз уж ты сюда попала, назад нет возврата. А здесь куда как лучше, правда?

— Лучше там, где ты, — ответила Дорина.

И, взглянув на него, смолкла. Как он хорош, как высок, как статен. Будто не человек — полубог, змеев сын*.

— Почему ты ушел из дворца? Зачем вернулся сюда, на берег?

— Затем, что ты не сумела там остаться, испугалась. А пугаться не стоило. Эти люди давно умерли, они ничего не могли тебе сделать, разве ты не видела?..

— Я себя видела, — с ужасом прошептала девушка. — Я сидела на троне, в стороне ото всех...

— Да, — беспечно подтвердил Андроник, — так всегда и бывает.

Дорина теснее прижалась к нему. От него шла ласка, успокоение.

— Ничего не бойся, я с тобой, — сказал он. — Мы не расстанемся.

Тогда она перевела глаза на воду. Лодка давным-давно ждала их там, и это показалось знакомым Дорине. И приготовление к путешествию она тоже когда-то переживала.

— Где будет свадьба? — спросила она.

— На том берегу.

Он обвил рукой ее стан, подвел к воде.

— По-другому нельзя, — твердо сказал он.

И шагнул в лодку, качнув ее. Потом подхватил на руки и втянул за собой Дорину. Таким упоительным было качание лодки, что кружилась голова, и Дорина сжимала виски в ладонях. Андроник был рядом. Прежде чем сесть на весла, он указал рукой вперед.

— Там, посредине, остров. Мой остров...

Неведомо отчего Дорина вдруг вспомнила про змея и содрогнулась. Снова увидеть его, скользкую тварь, неутомимо подергивающуюся в лунном свете, как тогда. Только на этот раз он может неожиданным броском вынырнуть из темноты и ужалить ее.

— На острове змей! — взволнованно напомнила она. — Ты же сам прогнал его туда, сам!

* Змей в румынской фольклорной традиции имеет еще значение сказочного богатыря, героя.

В тот же миг Андроник вскочил в гнев. На побледневшем его лице глаза сверкали так мощно, что пронзали, ослепляли ее.

— Зачем ты сказала это слово, возлюбленная моя? — донеслось до нее громовыми раскатами, точно из уст сказочного змея. — Зачем слушалась повеления?

Дорина вспомнила: «Никогда не произноси этого слова при нем!» Она забыла. А теперь уже слишком поздно. Она смотрела на него, сжавшись, повергнутая его мощью. И в ожидании приговора только сумела прикрыть глаза ладонью.

— Девять лет ты будешь искать меня, пока не разыщешь! — прогремел голос Андроника.

Когда же она отняла ладонь от глаз, чтобы вымолить себе пощаду, его уже не было. Одна только бескрайняя вода простиралась впереди. Дорина сидела без слов, без сил, не зная, что ей делать. Вдруг зашелестели листья позади — она обернулась. Никого. Просто ветер порывом прошел по высоким веткам деревьев...

Она проснулась с этим горьким шумом в ушах. Комната была наполовину в тени: лунный свет отступил к окну. Дорина поняла, что оттуда тянет ветерком. Она встала и выглянула наружу. Далеко слева виднелось озеро. Девушка улыбнулась. Отошла к своей постели, уже не узнавая места. С удивлением посмотрела на спящих женщин. Тихо, но уверенно, как бывает во сне, проложила путь между кроватей и, не ища, нашла дверь. Из-за нее доносились затейливые фиоритуры: свистящие, хлюпающие, — как будто спали измученные вконец люди. Дорина, сохраняя присутствие духа и лишь крепко зажмурившись, прошла через всю комнату к наружной двери. Не заперто. Дорина спустилась во двор. Она не замечала ни холода земли под босыми ногами, ни посвежевшего ветерка на едва прикрытых плечах. Так же уверенно она повернула к озеру.

Сбежав вниз по крутому берегу, она увидела ждущую ее лодку. Точно ту же, что оставила совсем недавно во сне.

Она пошла к ней, меся ногами липкий холодный ил и нисколько о том не беспокоясь. Быстрыми, но точными движениями отвязала веревку от колышка, бросила ее в лодку, потом села сама. Поискала глазами остров и, не раздумывая, стала грести к нему — со спокойной душой, как человек, у которого нет ничего, кроме надежды.

Лиза проснулась, продрогнув от холода. Окно было распахнуто, и чувствовалось приближение рассвета: дул влажный ветер и запах воздуха стал другой. Луна потеряла яркость. Но темнота уже редела, и вдалеке, за окном, появились первые клочья тумана.

Лиза проснулась с тяжестью в голове, как после долгого ночного веселья, не сразу поняв, где она и почему уснула полуодетая и в такой большой компании. Долго лежала с открытыми глазами, дрожа, но не в состоянии получше укутаться. Ей показалось, что разбудили ее удары в деревянное било. Мало приятного проснуться в чужом, неудобном месте, а тут еще чувство, что жизнь обманула, и разбитость во всем теле. Ни в чем не осталось ни грана смысла, неоткуда ждать ни малейшей радости, одно омерзение. Птица глухо крикнула под стрехой. Надо бы закрыть окно... Но так тяжело встать, и к чему усилия?

Ей удалось наконец натянуть на себя одеяло. Тут она заметила, что место слева пустует. Рири во сне положила туда головку и поджала колени. Ничего не понимая, Лиза огляделась. Не один раз протерла глаза, чтобы угадать в неясных фигурах, кто еще спит рядом. Без всякой связи замелькало в голове: Серджиу Андроник, беготня по лесу. Потом ее промах и жгучее унижение. Потом игра... или попросту фарс... Что-то еще... Капитан Мануила... Дорина... змей... Она снова скосила глаза на Рири, свернувшуюся калачиком, и вскинулась: Дорина!

Теперь она четко знала, что несколько минут назад Дорина встала и вышла. Вне всякого сомнения — к Андронику, в соседнюю комнату! Мысль подняла бурю в Лизиной душе: праведное возмущение, страх, ревность, любопытство. Она забыла, что Андроник спит не в одиночестве. Только приподнявшись на локтях, чтобы еще раз проверить — может быть, все на месте? — она вспомнила про Стере и остальных. Конечно, они же спят в общей спальне. Но тогда... не вышла ли Дорина совсем из дома, пока все они крепко спали? Да, именно, она украдкой встала, хотя Лиза не могла бы сказать с точностью до минуты когда, и вышла — чтобы встретиться... с кем же еще, если не с Андроником?..

Она подождала, не будет ли каких-нибудь звуков, шепота. Нет, только захлебывающееся дыхание женщин и тяжелое, со всхрапами, из соседней комнаты. В порыве отчаяния Лиза решилась. Соскочила

с кровати, стараясь не задеть подвинувшуюся к ней Рири, и метнулась к окну. Перегнулась через подоконник. В ноздри ударил запах сорванных ветром листьев, свежей древесины. Небо, все еще синее, по краям уже блекло, линяло. Слева в клубах тумана лежало озеро. Лиза прислушалась, потом пошла проверить дверь: открыта. Входи, кто хочет... Стон. Она вздрогнула, но тут же поняла, что зря испугалась, это г-жа Замфиреску во сне. Лиза скользнула по ней брезгливым взглядом: та спала, укрывшись пальто. Мужской храп из-за двери, теперь еще более густой и залиvistый, тоже оскорблял ее. Неужели и Андроник с ними?..

Подавленная, она нерешительно вернулась к своей постели. «Змеит-ся прядка серебра...» Вот привязалось, теперь не отстанет. «Была ль ты, юности пора?...» Снова лица: капитана, Стамате. Поцелуй в лесу. Ей стало совестно за себя, за всех, за все, что произошло, совестно и гадко. «Была ль ты, юности пора?» Замелькали лоскутами сцены во Фьербинцах, за столом и в саду. Стере снимает пиджак и не спеша идет вешать его на дерево... Жорж с поднятой рукой: «Кто хочет еще кофе?...» И вдруг, без всякого перехода, голос Андроника: «Даю вам одну минуту. Если вы не утихнете...» Нет, раньше, раньше: «Но причина для волнения есть. Однако вы будете смеяться, если я вам скажу какая...» Она чуть не схватила его за руку: «Клянусь вам!..» Как она уронила себя! О какую холодность разбилась ее искренний порыв! Но вместе с ощущением позора в ней росла досада на Андроника, ожесточение против всего, что он делал, против его дерзкой красоты... Дорина не возвращается. Она ушла с ним, это ясно. Теперь ясно: они дождались, пока все уснут, и улизнули. Встретились во дворе — и в лес. В лес, ночью! Какой позор! От безотчетной ярости, от жажды скандала у нее темнеет в глазах. Дрожа и задыхаясь, она кидается к постели г-жи Соломон и принимается ее расталкивать. Аглая только стонет и не желает просыпаться. Лиза набрасывается на Рири и рывком стягивает с нее одеяло. Потом — опять к Аглае.

— Вставай, я не знаю, что с Дориной!

Г-жа Соломон спросонья трет глаза.

— Я не знаю, куда делась Дорина, — шипит Лиза ей на ухо.

Рири ничего не понимает. Ее затошнило от внезапности пробуждения. В голове пусто до боли. Она берется руками за виски, пытается сообразить, где находится. Увидев рядом Замфиреску-дочку, вздрагивает от

глупого страха: а вдруг эта чужая девушка слышит, что говорит Лиза, вдруг она только прикидывается, что спит, а сама слушает и все берет на заметку.

— Тише, слышат, — шепчет Лизе Рири.

— Одевайся лучше, а то как бы чего не случилось, — огрызается Лиза, нащупывая ногами туфли.

— Да в чем дело, милочка? — недоумевает г-жа Соломон.

Просыпается г-жа Замфиреску, приподнимает голову и сонно бормочет: «Что случилось?», — пытаюсь поправить упавшие на глаза волосы.

— Дорине стало нехорошо, — со скучным видом отвечает Лиза. — Она вышла. Надо посмотреть, что там с ней.

Рири молча одевается, глубоко дыша, чтобы как следует проснуться. Творится что-то непонятное, опасное, и ей, Рири, предстоит решительно вмешаться. Может быть, от ее воли и смелости зависит жизнь человека. Бедная кузина, теперь она бесконечно дорога Рири.

— Пошли! — торопит Лиза г-жу Соломон. — Поищем ее во дворе.

Г-жа Замфиреску таращится на них со своей постели. Испуганно оборачивается на дочь. Та спит на другом конце широкого ложа, и мать облегченно вздыхает.

В комнате холодно. Вот-вот рассветет. Г-жа Замфиреску вдруг вспоминает про сегодняшнего ночного змея. Вспоминает без страха, но все же украдкой крестится и вся обращается в слух.

В комнату к мужчинам вошла одна Лиза. Вернее, только просунула голову в дверь, приоткрыв ее с большой осторожностью. Дух там стоял тяжелый, разило винным перегаром, и Лиза, брезгливо зажмурившись, несколько раз позвала мужа. Она не различала, кто где лежит, — тут было темнее, потому что окна выходили во двор. Сначала ответом ей был только дружный храп с тюфяков, потом силло прорезался голос Стамате:

— А? Что?

— Разбудите, пожалуйста, Стере, — пролепетала с порога Лиза. — У меня к нему небольшое дело.

Стамате плохо соображает. Кто такой Стере? Имя ничего не говорит ему. Только что он был в другом месте, с другими людьми, примерял на себя другой возраст. Он машинально будит товарища. Капитан шумно зевает, не подозревая, что Лиза смотрит на них.

— Разбудите, если не трудно, Стере, — снова, уже погромче, просит Лиза.

Мануила слышит женский голос и вскакивает в полном смущении. Просыпается г-н Соломон.

— Что-нибудь случилось, сударыня? — спрашивает капитан.

— Что-то с Дориной, — мямлит Лиза, ретируясь. — Попробуйте, пожалуйста, добудиться до Стере...

И тут же вспоминает, что не спросила про Андроника. Знать хотя бы: а вдруг он там, в комнате? Ложился ли он спать вместе со всеми? Однако еще раз открыть дверь, спросить она стесняется. Это дало бы повод для разных толков.

— Что стряслось? — спрашивает г-н Соломон, входя к дамам и одеваясь на ходу.

— Я не знаю, где Дорина...

Г-н Соломон тупо глядит на нее, не воспринимая сказанного.

— Надо идти искать Дорину, может, ей стало дурно, — еле шепчет Рири.

Дверь открывается снова, и входит капитан, наспех приглаживая взлохмаченную шевелюру.

— Что еще удивительнее, это что господина Андроника тоже нет... — говорит он и бросает многозначительный взгляд на г-на Соломона.

Рири первая проходит к наружной двери. Она не заперта. Во дворе совсем другой воздух. Еще ясно видны звезды, но у тишины уже иная суть: пик достигнут, истекают последние минуты перед тем, как все сойдет, сметет то новое, что грянет и уже не будет принадлежать ночи.

— Мы даже не знаем, который час, — пробормотал г-н Соломон, спускаясь по ступеням.

— Три часа двадцать пять минут, — четко ответил Стамате, не забывший прихватить свои светящиеся часы.

Г-жа Соломон и Лиза зорко оглядели монастырский двор.

— Ее здесь нет, — твердо сказала Лиза.

— Может, она захотела пройтись по парку? — неуверенно предположила Рири.

Капитан Мануила с крыльца методично обшаривал глазами двор, квадрат за квадратом, как бы перебирая в уме все укромные места, куда могла спрятаться Дорина. На миг ему померещилось, что его опять втя-

нули в игру, как давеча ночью, в лесу, и это воспоминание было унизительным. Он резко повернул к озеру.

— Следует поискать сначала там, — громко сказал он.

Рири задрожала. Нет, не может быть, только не это...

— О Господи! — охнул г-н Соломон.

Лиза не стала ждать, пока они решатся, и быстро пошла в сторону озера, за ней — Стамате и Рири.

Выйдя из стен монастыря, она побежала. Она и так дала Дорине фору, теперь каждая секунда может стать фатальной — та успеет спрятаться.

— Я даже не знаю, этот молодчик ложился вообще спать или нет, — услышала она позади голос Мануилы.

Сбежав вниз с откоса, она остановилась у самой воды. Вот кривой колышек, к которому привязывают лодку, а лодки нет.

— Она сошла с ума! — взвизгнула Лиза. — Она взяла лодку!

Ну конечно, они поехали кататься вдвоем. Прокатались, прокачались всю ночь, и он шептал ей нежные слова. «Была ль ты, юности пора?..» Бледная, Лиза заматалась вдоль кромки воды, высматривая на озере очертания лодки.

— Смотрите! — крикнула Рири с высоты берега.

Все обернулись, туда, куда она указывала. Лодка была видна как на ладони: Дорина, полуодетая, одна, сидела на веслах и гребла усталыми взмахами.

— Она одна! — вырвалось у Лизы.

Право, хоть не верь собственным глазам! Неужели придется признать себя самой, что ошиблась? Нет, ей-Богу, она сошла с ума, эта Дорина. Не ровен час... У нее не хватило духу довести мысль до конца. Она снова взобралась на откос. Все завороченно провожали глазами легкие вихри от весел на воде.

— Безумная! — негодует Лиза.

— Она плывет к острову, — спокойно замечает Стамате.

Г-н Соломон напряженно думает, что предпринять.

— Надо найти другую лодку, — бормочет он, кусая губы. — Должна же быть в монастыре еще одна...

В голове мелькает: Хараламбие, вторая лодка, которую взяли в монастыре, чтобы искать тело. Его прошибает холодный пот, и он раздражается отчаянным криком:

— Дорина! Дорина!

Стамате, сложив ладони рупором, подхватывает:

— До-ри-нааа!..

Точь-в-точь как кричал Владимир в ночной игре: Лиза-а-аа!

Но это было тысячу лет назад, и с другими людьми. Теперь ему забько до дрожи. А его криков все равно не слышно на озере — она бы повернула голову.

— Там, вон там! — вдруг вскрикивает Лиза.

Совсем в противоположной стороне виден плывущий человек: сильные руки мерно, ритмически кроют воду.

— Он, Андроник! — восклицает Мануила.

Все в оторопи примолкли. Андроник тоже держал путь — может быть, вовсе не зная про Дорину — к острову.

XV

Выбравшись на берег, Андроник встряхнулся, чтобы с него стекла вода, и зашагал в глубь острова. Его стопы мягко отпечатались на присыпанном песком иле, потом следы поглотила трава. Андроник не спешил. Запрокинув голову, он как будто пытался угадать по дрожи листы час рассвета. Здесь, посреди большой воды, было ветрено, но юноша спокойно подставлял ветру влажные плечи. В кустарнике пробовали голос птицы, и только их щелканье одушевляло лес. Андроник остро чувствовал волшебство минуты, ожидание великого чуда, витающее в воздухе. Он зашел в самую чашу, где росли кусты с большими сочными листьями. Пахло мхом и прелой корой здесь, в сердце острова. Ветки провисали низко, как будто тяжесть росы тянула их к земле. Андроника несколько не смущали ни веер брызг, ни шершавые ласки листьев. Он упорно углублялся в лес, словно ища что-то очень надежно упрятанное, и оглядывал все на пути. Ему встретился пригорок с одинокой тщедушной акацией и двумя-тремя рожковыми деревцами, он взбежал на вершину и окинул взглядом озеро. Постоял, разочарованный, дыша глубоко и редко, как во сне, спустился вниз по другому склону и снова вышел к воде.

Тут он стал приискивать себе место. Нашел лощину с высокими и мягкими травами, между которыми цедила тонкая струйка воды, как

из пересыхающего родника. Потрогал ногой, докуда доходит влага, и блаженно растянулся чуть повыше, подложив под голову руки. Спать не хотелось, земля не донимала сыростью, небо ласкало глаза...

Дорина очнулась, лишь когда лодка с мягким чмоком врезалась в островной ил. Очнулась одна посреди озера, вдали от надежных берегов, в прозрачной полутьме. Тут было отчего задрожать, но она дрожала не от страха, а скорее от ветра и одиночества. С той минуты, как она окончательно проснулась, на душе было странно спокойно. Она стояла на переломе жизни и была готова: взявшиеся откуда-то силы били в ней ключом, возвещая переход в иное бытие. Выпрыгнув из лодки, она решила обойти вокруг острова. Она найдет его. Андроник не обманывает: его слова всегда подтверждаются, он должен быть где-то поблизости, он ждет...

Девушка пошла вдоль берега. Босые ноги не замечали ни колкости трав, ни зыбкости почвы. Тяжесть весел забылась мгновенно, едва она ступила на остров. Глаза давно привыкли к редющему полумраку. Когда же она зашагала по твердой земле, то и ветер стал не властен над ней. Все захлестнула восхитительная, беспричинная радость, и она не искала ее причин; просто плавный переход из сна на самый настоящий остров, буйно заросший травами и неизвестной породы деревьями, раскрыл перед ней новый, божественный путь, и она на него вступила. Все было самым настоящим... Тело, как будто далекое и не ее, могло нежиться во влажной траве в этот час на излете ночи. Ни боли, ни страха, ни робости — душа знала одну только терпкую, безоглядную радость. Во сне ей подменили душу, ей подменили тело, теперь оно было ближе к счастью, ближе к Богу...

И с каждым шагом в обход острова она расцветала, с каждым шагом крепили эти силы, забившие из тайников ее существа, обновляя ее дыхание, ритм ее крови, разум. Теперь могло произойти что угодно. Златоперая птица могла вспорхнуть со спящих ветвей и окликнуть ее по имени. Ствол дерева — ожить и обернуться великаном или змеем-богатырем. Изпод земли мог вылезти карла с белой бородой, а звериный рык — превратиться в слова... Ее бы не испугала никакая встреча, никакое чудо. Разве не чудом был сам этот полумрак, который вот-вот исчезнет, уйдет в землю и в воду? словно нечто недоступное уму приближало откуда-то свет, и она предвкушала готовящееся преобразование мира.

Прямо перед ней, совсем близко, пролетела птица. Дорина глянула ей вслед, и на миг ее обдало жаром. Птица мирно пролетела над Андроником; он открылся вдруг глазам девушки — так, как лежал в траве, лицом к небу. Она заторопилась к нему, вся превращаясь в тихий, роскошный, безграничный восторг.

— Я пришла, — прошептала она, останавливаясь.

Андроник, не вздрогнув, повернул к ней голову и улыбнулся.

— Как ты долго, — сказал он. — Я с полуночи зову тебя, ищу по всему лесу.

Дорина рассмеялась. Взгляд в глаза, потом — бесстрашно, без стеснения, без суеты — с головы до пят. «Как он хорош, мой суженый...»

— Что же ты делала до сих пор? — спросил Андроник, приподнимая голову.

— По-моему, смотрела сны, — тихо ответила Дорина, устраиваясь рядом с ним.

— О, какие вы, — протянул Андроник. — Всегда так туго понимаете...

Дорина, откинувшись назад и опершись на локти, убирала с висков волосы.

— Значит, это и есть остров, — сказала она блаженно, оглядываясь.

— По красоте ему нет равных, признайся! — похвалился Андроник.

Девушка кивнула, на миг прикрыв глаза, светясь улыбкой благодати.

— И ты ему под стать, — добавил Андроник, смерив ее пристальным взглядом, словно пытаясь проникнуть в то, чего он еще не знал, что было жизнью ее души. — Почему ты не сбросишь эти тряпки?

Он тронул рукой ее сорочку. Дорина опустила на себя глаза, только сейчас сообразив, что на ней еще что-то есть.

— Да, правда, я совсем забыла, — улынувшись, шепнула она.

Поднялась и, поведя плечами, вызволила себя из сорочки. Теперь она тоже была нага, но ни малейшая неловкость не замутила ей глаза, и краска не бросилась в лицо. Она оглядела себя и пошла к воде смыть брызги ила. Осторожно пробуя ногой дно, зашла по бедра. Тут ее охватили сомнения, и она обернулась на Андроника, который с берега улыбочиво наблюдал за ней.

— Я боюсь идти дальше! — крикнула она, махнув ему рукой.

Андроник резко встал и шумным натиском, в фонтане брызг, мигом оказался возле нее.

— Ты что, не умеешь плавать? — спросил он.

Девушка помотала головой, по-детски надув губы.

— Ничего, я тебя научу, — спокойно сказал Андроник. — Только не надо бояться. Держись за меня...

Он взял ее руку и тихонько завел в воду по грудь.

Потом распластался на животе, а девушка оперлась рукой о его спину и, смеясь, окунулась с головой. Вода набралась в рот, в нос, в уши, и эти незнакомые ощущения только веселили ее.

— Не страшно? — спросил Андроник.

Дорина не услышала. Она чувствовала только, как вода подпирала ее, а сильная рука Андроника ведет, и вся отдалась сладости витания по поверхности этих теплых безбрежных вод. Чуть удивилась, когда, решив встать на дно, не встретила его под ногами, но и это стало тут же захватывающим знаком свободы.

— Ну как? — спрашивал Андроник и не получал ответа.

Тогда он направил ее, так же спокойно и уверенно, к берегу. Из воды они вышли смеясь. Дорина коснулась его теплым плечом и обронила, глядя в глаза:

— Не так уж трудно...

— Я научу тебя и лазить по деревьям, — пообещал Андроник. — Но сначала надо спросить у них разрешения. Они бывают старые или больные и, если им больно, могут сбросить тебя на землю.

— А как ты узнаешь больных? — спросила Дорина.

— Слышно, как они кряхтят, или видно, как плачут... Несчастные... Нет, со старыми и больными просто беда...

Они поднялись на пригорок над лощиной, сели. Андроник положил голову на колени Дорине. Она безотчетно перебирала его волосы.

— ...И с цветами тоже, — продолжал Андроник. — Они вечно влюблены... Видела бы ты, как они жалуются!

Он засмеялся. Поднял на Дорину глаза, долго смотрел.

— Как тебя звать? — спросил он.

— Дорина.

Андроник задумался, будто пытаясь припомнить, где он слышал это имя.

— А как звать тебя? — прошептала Дорина, нежно касаясь рукой его лба.

Андроник с грустью усмехнулся и отвел глаза. Дорина терпеливо ждала, пока он вернется к ней.

— Тебя зовут Серджиу, правда? — напомнила она.

— Если тебе так угодно... — с покорной улыбкой ответил Андроник, изглядывая ей в глаза.

— Серджиу — красивое имя, — одобрила Дорина. — Если бы я родилась мальчиком, я бы хотела, чтобы меня так звали... Как тебя.

— Даже не думай об этом, — возразил Андроник, лоя и лаская ее руку. — Раз родилась девочкой...

— Ничего хорошего, — сказала Дорина.

Андроник залился смехом. Сжал ее плечо, потрепал по волосам, спросил, дразня:

— А если бы ты родилась жалким маленьким светлячком?

И вдруг, смолкнув, снова ушел в ее глаза, точно хотел говорить сразу с ее душой, с ее истиной.

— Ты не знаешь, что это такое — быть человеком, — добавил он в задумчивости. — Это так хорошо...

Он распростер руки, как два крыла, и запрокинул голову.

— ...Никогда не умирать, — говорил он, глядя в небо. — Быть как вон та звезда, прекрасная и бессмертная...

Он протянул руку к утренней звезде, Люциферу. Дорина вздрогнула.

— Ты чего-то боишься? — удивился Андроник.

— Смерти, — шепнула Дорина.

— И там тоже люди, — улыбнулся Андроник. — Люди всюду...

— Ты ведь все знаешь, да? — умиrotворенно сказала Дорина. — И все, что ты говоришь, — правда...

Андроник промолчал, неотрывно глядя на утреннюю звезду. Рассвет давал о себе знать. Померкли все другие звезды, и небо побледнело.

— Где твой дом? — тормошила его Дорина.

— Там, — Андроник махнул рукой в сторону монастырского леса. — А твой?

Дорина немного подумала. Надо было сосредоточиться, чтобы не брякнуть что-нибудь из сна.

— В городе Бухаресте, — дала она правильный ответ.

— И что ты там делаешь?

Андроник расплывался в улыбке, набухал смехом, задавая этот вопрос.

— Живу, — озадаченно ответила Дорина.

Андроник так и покатился со смеху. Вскочил и подхватил девушку на руки — легко, как весеннюю веточку.

Не переставая хохотать, он поднял ее на вытянутых руках, как бы показывая небу, лесу, лучам света, уже брызжущим со всех сторон. Прижал к груди, подбросил на руках раз, другой, третий и помчался с ней в глубину острова. В безумной гонке он перемахивал через рытвины, подминал валежник, прорывался сквозь высокие жесткие травы, одолевал заросли ворсистых, колючих кустов с пряным ароматом.

Дорина закрыла глаза от страха и счастья. Иногда и ей доставались царапины, но что была эта боль теперь, когда ее жизнь уже знала новое, упоительное дыхание. Она слышала гулкие удары Андроникова сердца, звонкую пульсацию его крови. Неестественный, томительный жар исходило его тело. Постепенно все ушло, остался только полет на крыле у ветра, в пустоте. Почти без памяти, она не смела открыть глаза, осмотреться...

Очнулась она, когда уже лежала на другом берегу острова. Увидела лодку, на которой приплыла, увязшую в тине. Андроник, раскрасневшийся, блистая глазами, сидел рядом, подстерегая ее взгляд. Крупные прозрачные капли пота сочились по его телу, грудь мощно дышала, намочившие волосы упали на лоб.

— День настает, — сказал он, едва Дорина открыла глаза.

— Я устала, — тихо пожаловалась Дорина. — Откуда у тебя столько сил?..

— Пойдем смотреть, как восходит солнце, — вместо ответа позвал Андроник.

Он помог ей встать и взял за руку. Девушка расслабленно влеклась за ним, не чуя под собой ног. Кудри рассыпались по плечам, кровоточила царапина на запястье.

— Надо взойти на пригорок, — сказал Андроник.

Она почти висела у него на руках, пока он вел ее, хотя пригорок был невелик. Там Андроник нашел для нее ровное место и осторожно уложил на траву.

— Я засыпаю, любимый, — шептала Дорина, глядя на него умоляющими глазами.

— Дождемся солнца... — уговаривал он, сидя рядом и с улыбкой трогая пряди ее волос. — Какая ты красивая, когда хочешь спать...

— Это из-за тебя, — просто сказала Дорина. — Когда ты меня выбрал, и такой не была...

— Да, ты была страшилище, — улыбнулся Андроник.

И замолчал, во все глаза глядя на восток. Кроваво-красная полоска неба вдруг поблекла в последнем ожидании.

— Ты когда-нибудь бывал на солнце? — сонно спросила Дорина.

— Нет, пока туда доберешься... — отвечал Андроник, не поворачивая головы.

Дорина блаженно закрыла глаза, подложила под затылок руку, другой обвила Андроника за пояс.

— Не спи, — прошептал он. — Грех...

— А еще долго? — из последних сил спросила Дорина.

— Для того, кто его любит, никогда не бывает долго, — сказал Андроник.

Дорина прикусила губу и решительно открыла глаза. Уже начиналось: деревья порозовели, травы засверкали, озеро разостлалось золотым зеркалом.

— Вот, сейчас... — порывисто шепнул Андроник.

Как будто мириады птиц грянули разом. Дорина обмерла. Откуда взялись эти неслыханно волшебные звуки, высокий перезвон в воздухе, нежное чиликанье в траве, в кустах? Кто-то дал сигнал, или они все были, только гораздо тише?

— Смотри!

Андроник встал на колени, потрясенный, ликующий. Огненное око солнца раскрылось прямо на них. Дорина смотрела, точно в первый раз видела его восход. Одной вспышкой все получило исчерпывающий и простой ответ, который она давно носила в себе, не зная о том. Ей показалось, что она проклюнулась в другой жизни, и от нестерпимой радости затуманились глаза и крепко сомкнулись веки.

Когда Андроник оторвался от солнца, Дорина спала с безмятежной, как у ребенка, улыбкой. Юноша потеревил рукой ее волосы, пытаясь разбудить. Дорина чуть разлепила веки.

— Не буди меня, любимый, — прошептала она.

То ли ей это почудилось, но что-то случилось с Андрониковым ли-

цом: гнет мрачных мыслей преобразил его до неузнаваемости. Однако даже на удивление не было сил, и она тут же снова уснула, счастливая, держа за его руку.

— Я тоже усну,— шепнул он, склоняясь к ней. — Мы не увидимся до самого заката... А там кто знает...

Он смотрел, как она спит, в наготе своей — сама жизнь, сама красота, само простодушие. Потом, как бы отгоняя злые чары, Андроник легонько дунул над ее лбом, улыбнулся долгой улыбкой и лег рядом, спрятав лицо на ее груди.

Солнце взмывало вверх, плавно накаляясь. Зароились пчелы, нарядные утренние бабочки пробовали крылья в воздухе. Над водой разносился временами голос кукушки, засевшей на краю леса.

Подплыв к острову, г-н Соломон с Владимиром и Мануилой второпях выскочили из лодки, сразу увязнув в прибрежном иле. У всех были бледные от бессонной ночи и тревоги лица. Владимир надрывно позвал:

— Дорина-аа!..

Но долго искать не пришлось. Пройдя немного вдоль берега, волнуясь и боясь признаться друг другу в своих мыслях, они издалека увидели на траве пригорка юношу и девушку, нагих, в тесном недвижном объятии. Владимир побагровел и прикусил губу. Мануила попятился. И только г-н Соломон, преодолевая себя, с замиранием под ложечкой пошел вперед.

Подойдя, он обнаружил, что Дорина крепко спит, сплетя руки на сильной спине Андроника.



У ЦЫГАНОК

В трамвае жара была еще гуще, удушливей. «Ты везучий человек, Гаврилеску», — поздравил он себя, поспешно устремляясь в другой конец вагона, к месту у открытого окна. Расположившись, он вытащил носовой платок и обстоятельно отер лоб и щеки. Затем заложил платок между шеей и воротом рубашки и принялся обмахиваться соломенной шляпой. Сидящий напротив старый господин с жестяной коробкой на коленях все это время сосредоточенно наблюдал за ним, как бы силясь вспомнить, где он мог его видеть, и наконец сказал:

— Нет, какова жара! Право, такой с девятьсот пятого не было!

Гаврилеску с некоторой укоризной покачал головой, не переставая обмахиваться.

— Жарко, я с вами согласен, — ответил он. — Но если человек культурный, для него это мелочи жизни. Полковник Лоуренс, например. Вы слышали о полковнике Лоуренсе?

— Не приходилось.

— Жаль. Впрочем, я и сам о нем услышал не так давно. Если бы он изволил сесть в этот трамвай, я бы уж его порасспросил. Люблю вступать в разговор с культурными людьми. Эти юноши, сударь мой, были, безусловно, студенты. И какие блестящие способности! Мы вместе ждали на остановке, и я присутствовал при их беседе. Они говорили именно о полковнике Лоуренсе и о его похождениях в Аравии! А память, Бог ты мой! Сыпали наизусть целыми страницами из его записок! Там была одна фраза, которая запала мне в душу, очень красивая фраза, про жару в этой самой Аравии, как она налетела на полковника ихватила его по темени

наподобие сабли. Жаль, что я не запомнил слово в слово. Эта кошмарная аравийская жарахватила его по темени. Саблей по темени — ну прямо-таки сразила наповал...

Тут Гаврилеску заметил, что кондуктор, улыбаясь, протягивает ему билет. Он посадил шляпу на голову и стал рыться в карманах.

— Прошу прощения, — пробормотал он. — Вечно этот бумажник куда-то запропаستится.

— Ничего страшного, — с неожиданным благодушием возразил кондуктор. — Время есть. Цыганок еще не проехали...

И подмигнув, обернувшись к старому господину. Тот побагровел, так и вцепившись пальцами в свою жестянку. Гаврилеску выудил между тем банкноту, и кондуктор, ухмыляясь, начал отсчитывать ему сдачу.

— Позор, — прошипел старый господин. — Как только позволяют...

— Да, разговоров много, — сказал Гаврилеску, снова используя шляпу как веер. — И правда, дом, кажется, недурен, а какой сад!.. Какой сад! — повторил он, восхищенно качая головой. — Смотрите, уже показался, — добавил он, пригибаясь к открытому окну.

Несколько пассажиров как бы ненароком тоже приблизили лица к окнам.

— Позор! — повторил старый господин, сурово глядя прямо перед собой. — Как только не воспретят!

— Ореховый сад, причем старый, — продолжал Гаврилеску, — оттого такая тень. Я слышал, что орех растет лет тридцать-сорок, прежде чем начнет давать тень. Верно ли?

Старик сделал вид, что не слышит. Тогда Гаврилеску повернулся к одному из соседей, который глубокомысленно смотрел в окно.

— Ореховый сад, и лет ему полсотни самое малое, — доложил он. — Оттого и тень. По такому пеклу, как сейчас, это одно удовольствие. Счастливицы они там...

— Счастливицы, — поправил его сосед, потупясь. — Цыганки.

— Вот именно, — подхватил Гаврилеску. — Я езжу этим номером три раза в неделю. И, даю вам слово чести, не было случая, чтобы обошлось без разговора о них, об этих самых цыганках. Но кто-нибудь знаком с ними лично? Я всегда спрашиваю себя: откуда они тут взялись?

— Они тут испокон веков, — сказал сосед.

— Уж двадцать-то лет точно, — вмешался чей-то голос. — Когда я

только-только переехал в Бухарест, оно уже здесь стояло, заведение. Правда, сад в те времена был куда больше. Еще не построили лица...

— Как я уже имел честь вам сообщить, — снова вступил Гаврилеску, — я езжу этим номером регулярно три раза в неделю. Я, с позволения сказать, учитель музыки. Я говорю «с позволения сказать», — пояснил он, натянуто улыбаясь, — потому что я не создан для этого. У меня артистическая натура...

— Так я вас знаю, — вдруг оживился старый господин. — Вы — господин Гаврилеску, учитель музыки, вы мою маленькую внучку учили на рояле, лет, наверное, пять-шесть назад. То-то я все думаю — какая личность знакомая...

— Вы совершенно правы, — подтвердил Гаврилеску. — Я даю именно уроки музыки, приходится разъезжать на трамвае. Весной, когда еще не начало припекать и ветерок, это одно удовольствие. Сядешь вот таким манером у окошка, едешь, а по сторонам сплошь сады в цвету. Как я уже имел честь вам сообщить, по этой линии я езжу три раза в неделю. И всегда слышу разговоры о цыганах. Я не раз задавал себе вопрос: «Гаврилеску, — говорил я себе, — цыганки так цыганки, ради Бога, но откуда у них столько денег? Такой дом, хоромы, можно сказать, такой сад со старыми деревьями, это же миллионное дело».

— Позор! — снова выпалил старый господин, отворачиваясь с презрительным выражением.

— И потом я задавал себе еще другой вопрос, — вел Гаврилеску дальше свою мысль. — Судя по тому, сколько зарабатывает ваш покорный слуга, по сто лей за урок, мне понадобилось бы дать десять тысяч уроков, чтобы сколотить миллион. Но, видите ли, дела обстоят не так просто. Предположим, что я наберу двадцать часов в неделю, все равно мне потребуются пятьсот недель, то есть почти десять лет, и, кроме того, двадцать учениц со своим инструментом. А проблема летних каникул, когда у меня остается от силы две-три ученицы? А каникулы на Рождество и на Пасху? Все эти потерянные часы надо вычесть и из миллиона. Так что пятьсот недель по двадцать часов и двадцать учениц со своим инструментом — это мизер, нужно гораздо, гораздо больше.

— Что верно, то верно, — поддакнул один из пассажиров. — В наши дни публика к фортепьянам поостыла.

— Ах! — вскричал вдруг Гаврилеску, хлопая себя шляпой по лбу. — Я

же чувствовал, что мне будто чего-то не хватает, только не понимал, чего. Папка! Я забыл папку с нотами. Заговорился с мадам Войтинович, тетужкой Отилией, и оставил у них папку... На что это похоже!.. — запричитал он, выпрастывая носовой платок из-за ворота и упикивая его в карман. — По такому пеклу давай-ка, Гаврилеску, тащись обратно трамваем на Претесскую... — Он со слабой надеждой покрутил головой по сторонам, словно ожидая, что его кто-нибудь удержит. Потом решительно встал. — Был очень рад познакомиться, — сказал он, приподнимая шляпу и слегка кланяясь.

Он торопливо прошел на площадку как раз в ту секунду, когда трамвай затормозил. Внизу его ждал тот же зной и запах расплавленного асфальта. Он тяжело пересек улицу, чтобы подождать трамвая в обратную сторону. «Гаврилеску, — прошептал он, — внимание! А то прямо как старик. Распустился — что это еще за дыры в памяти? Я повторяю: внимание! Ты не имеешь права. Сорок девять лет для мужчины — самая пора...» Однако он чувствовал, что совсем размяк, и поддался соблазну упасть на скамью, на самом солнцепеке. Вытащил платок и стал отирать лицо. «Это мне как будто что-то напоминает, — сказал он себе для поддержания духа. — Небольшое усилие, Гаврилеску, ну-ка, напряги немного свою память... На скамейке, без гроша в кармане. Жара была полегче, но тоже лето...» Он оглядел пустую улицу, закрытые ставни, опущенные шторы в домах, словно покинутых навсегда. «Все умные люди на водах, — подумалось ему. — На днях увезут и Отилию». И тут он вспомнил: это было в Шарлоттенбурге, он сидел, как и сейчас, на скамейке, тоже на солнце, только тогда он был голодный и без гроша в кармане. «Когда ты молод и предан искусству, что тебе эти мелочи жизни», — со вздохом подумал он. Поднялся и сделал несколько шагов по мостовой, посмотреть, не видно ли трамвая. При ходьбе зной как будто ощущался меньше. Он вернулся на остановку и, прислонясь к стене дома, снова попытался поднять ветерок своей шляпой.

Метрах в ста выше по улице темнел настоящий оазис. Через чью-то ограду перехлестывали, нависая над тротуаром, ветви густых и раскидистых лип. Гаврилеску заворуженно смотрел на них, весь во власти сомнений. Он еще раз проверил, не идет ли трамвай, и наконец сорвался с места, стараясь шагать пошире и держаться в тени домов. Вблизи липы оказались не такими густыми. Но все же из сада ощутимо веяло свежестью, и

Гаврилеску со вкусом подышал, слегка запрокинув голову. «Что бы липам быть в цвету, как месяц назад», — мечтательно подумал он, потом приблизился к воротам и заглянул сквозь их решетку в сад. Мощенные гравием дорожки были еще влажны после полива, виднелись клумбы с цветами, а в глубине — небольшой прудик, окруженный фигурками гномов. В ту же минуту он услышал позади сухое громахание трамвая и обернулся. «Слишком поздно! — воскликнул он, цветя улыбкой. — *Zu spät!*» — сказал он еще, вскидывая руку и долго махая шляпой вслед трамваю, как в давние времена на Северном вокзале, когда Эльза, бывало, уезжала погостить на месяц к своим, в село под Мюнхеном.

Затем без спешки, благоразумно отправился на следующую остановку. Дойдя, он снял пиджак и приготовился ждать, и тут его настиг горьковатый запах орехового листа, растертого в пальцах. Он огляделся. Он был один, ни души в поле его зрения. Он не посмел взглянуть на небо, но чувствовал над головой все тот же белый, раскаленный, ослепительный свет, а дышащий огнем тротуар обжигал рот и щеки. Тогда он покорно поплелся вперед, держа пиджак под мышкой, надвинув на лоб шляпу. Когда вдалеке показалась богатая тень ореховых деревьев, у него с силой забилося сердце и ноги сами пошли быстрее. Уже у самого сада его снова нагнало металлическое улюлюканье трамвая. Он остановился и приветственно сорвал с головы шляпу. «Слишком поздно! — воскликнул он. — Слишком поздно...»

Вступив под тень орехов, Гаврилеску попал в такую неправдоподобную прохладу, что от неожиданности заулыбался. Как будто его разом перенесло в горы, под сень леса. С почтительным удивлением оглядывал он высокие деревья, каменную ограду, заросшую плющом, и незаметно им овладевала бесконечная грусть. Столько лет проезжать мимо на трамвае и ни разу не сойти, не полюбопытствовать, каков этот сад вблизи. Он медленно зашагал, откинув голову назад, лицом к верхушкам деревьев, пока не оказался у калитки, а там, словно давно его карауля, навстречу вышла девушка, юная, красивая и очень смуглая, с монистом на шее и с большими золотыми кольцами в ушах.

Взяв его за руку выше локтя, она сказала вкрадчиво:

— К цыганкам барин пожаловал?

Улыбнулась ему ослепительно, губами и глазами, и, видя, что он ко-

леблется, легонько втянула за рукав во двор. Гаврилеску последовал за ней, как во сне, но, сделав несколько шагов, остановился, будто хотел что-то сказать.

— Что, не желает барин к цыганкам? — спросила девушка, еще больше понижая голос.

Она бегло и цепко заглянула ему в глаза, потом взяла за руку и стремительно повела к скрытой в зарослях бузины и сирени убогой хибарке, никак не соответствующей месту. Открыла дверь и подтолкнула его вперед. Гаврилеску обступил непонятный сине-зеленый полумрак, словно в окошках были цветные стекла. Снова взвыл, приближаясь, трамвай, и этот металлический вой так нестерпимо резал теперь ухо, что Гаврилеску сжал виски в ладонях. Когда все стихло, он увидел прямо перед собой старуху, которая восседала у низкого столика за чашечкой кофе и смотрела на него не без любопытства, как бы дожидаясь, пока ему полегчает.

— Кого твоя душа нынче просит? — сказала она. — Цыганку, гречанку, немку...

— Нет, нет, — перебил ее Гаврилеску, остерегающе выставив руку. — Только не немку.

— Тогда цыганку, гречанку, еврейку, — поправились старуха. — Три-ста лей, — предупредила она.

Гаврилеску значительно улыбнулся.

— Три урока музыки! — воскликнул он, начиная шарить по карманам. — Не считая трамвая туда и обратно.

Старуха пригубила свой кофе и задумалась.

— Ты музыкант? — вдруг спросила она. — Тогда тебя тут ублажат.

— Я — свободный художник, — отвечал Гаврилеску, вытаскивая из одного кармана брюк по очереди несколько скомканных носовых платков и методично перекладывая их в другой. — Пусть я, с позволения сказать, учитель музыки — моим идеалом всегда было чистое искусство. Я живу духа ради... Прошу прощенья, — добавил он конфузливо, помещая свою шляпу на столик и начиная выгружать в нее содержимое карманов. — Когда надо, никогда не нахожу бумажника..

— А спешить некуда, — успокоила старуха. — Время раннее. Третий час...

— Прошу прощенья, что позволяю себе вам возразить, — возразил

Гаврилеску, — но боюсь, что вы ошибаетесь. Дело идет к четырем. В три у меня только кончился урок с Отилией.

— Вечно тут что-то с часами, — посетовала старуха, снова погружаясь в задумчивость.

— Ах, наконец-то! — вскричал Гаврилеску, победоносно предъявляя ей бумажник. — И представьте, был там, где ему положено.

Он отсчитал банкноты и подал старухе.

— Проводи во флигель, — приказала старуха, поднимая глаза.

Гаврилеску почувствовал на своей руке чье-то прикосновение и, дернувшись в испуге, увидел подле себя ту девушку, что зазывала его у калитки. Он пошел за ней, оробелый, неся на сгибе локтя шляпу со всем своим scarбом.

— Запоминай хорошенько, — сказала девушка, — и не перепутай: цыганка, гречанка, еврейка...

Они пересекли ореховый сад, миновав большой дом под красной черепичной крышей, который Гаврилеску видел с улицы.

Девушка приостановилась, искоса взглянула на него и весело фыркнула, ничего не говоря. Гаврилеску как раз начал рассовывать по карманам то, что сложил в шляпу.

— Ах! — сказал он. — Я свободный художник. Будь моя воля, я остался бы здесь, в этих кущах. — И он шляпой указал на деревья. — Я люблю природу. В такую жару, как сегодня, иметь возможность подышать чистым, прямо-таки горным воздухом, побыть в холодке... Но куда мы идем? — спросил он, видя, что девушка направляется к какому-то деревянному заборчику и открывает калитку.

— Во флигель. Куда старуха велела...

Она подхватила его под руку и втянула в калитку, за которой тонули в бурьяне клумбы с розами и лилиями. Духота снова усилилась, и Гаврилеску забеспокоился, чувствуя себя обманутым.

— Я строил себе иллюзии, — пробормотал он. — Я шел сюда ради прохлады, ради природы...

— Погоди, вот войдем во флигель... — ободрила его девушка, кивая на какое-то ветхое, по видимости нежилое строение, видневшееся поодаль.

Гаврилеску нахлобучил шляпу и удрученно последовал за ней. Но когда они вошли в сени, у него так сильно забилося сердце, что он приостановился.

— Я волнуюсь, — сказал он. — С чего бы это?..

— Не пей слишком много кофе, — шепнула девушка, распахивая дверь и легким толчком загоняя его внутрь.

Сколь велико помещение, определить было трудно, потому что полумрак, творимый сдвинутыми шторами, не позволял понять, где кончаются стены и начинаются ширмы. Гаврилеску двинулся вперед, ступая по коврам, которые делались все толще, все мягче, уже вроде бы не ковры, а перины, и с каждым шагом сердцебиение его усиливалось, так что наконец он в страхе замер, боясь сделать еще хоть шаг. В ту же минуту его захлестнул прилив счастья, как будто он снова был молод и весь мир принадлежал ему, и Хильдегард тоже принадлежала ему.

— Хильдегард! — воскликнул он, оборачиваясь к своей провожатой. — Я не думал о ней двадцать лет. Как я любил ее! Это была женщина моей судьбы!..

Тут он обнаружил, что рядом никого нет. И тотчас же его ноздри защекотал вкрадчивый, нездешний запах, вслед за тем раздались хлопки, и в комнате стало таинственным образом светлеть, как если бы кто-то медленно, очень медленно раздвигал штору за шторой, постепенно впуская свет летней послеполуденной поры. Тем не менее ни одна из штор не шелохнулась, это Гаврилеску успел заметить, прежде чем увидел в нескольких шагах от себя трех юных дев, которые хлопали в ладоши и смеялись.

— Вот мы, кого ты выбрал, — сказала одна из них. — Цыганка, гречанка, еврейка...

— Еще посмотрим, как ты кого угадаешь, — сказала вторая.

— Посмотрим, как ты угадаешь, которая цыганка, — подхватила третья.

С Гаврилеску свалилась шляпа, он устоял на них в упор, окаменев, невидящим взглядом, будто узрел нечто сквозь них, сквозь ширмы, сквозь стены.

— Пить! — прохрипел он вдруг, берясь рукой за горло.

— Старуха прислала тебе кофе, — отозвалась одна из дев.

Она скользнула за ширму и вернулась с крутым деревянным подносом, на котором стояла чашечка кофе и кофейник. Гаврилеску схватил чашечку, опрокинул ее одним духом и отставил с вежливой улыбкой.

— Страшно хочется пить, — повторил он.

— Это будет погорячей, прямо из кофейника, — предупредила дева, наливая чашку. — Пей потихоньку.

Гаврилеску отхлебнул, но кофе был таким горячим, что он обжег губы и, обескураженный, опустил чашку на поднос.

— Пить хочется, — взмолился он. — Если бы можно было немного воды...

Две другие девы скрылись за ширмой и тут же вышли с подносами, ломящимися от снеди.

— Старуха прислала тебе варенья, — сказала одна.

— Варенья из розовых лепестков, — прибавила другая. — И шербет.

Но Гаврилеску разглядел крынку с водой и, хотя рядом с ней стоял стакан толстого, дымчато-зеленого стекла, обеими руками сгреб крынку и припал к ней. Он пил долго, с бульканьем, откинув назад голову. Потом перевел дух, опустил крынку на поднос и вытянул из кармана платок.

— Милые барышни! — воскликнул он, принимаясь отирать лоб. — Как же мне хотелось пить! Мне рассказывали про одного господина, полковника Лоуренса...

Девы со значением переглянулись и дружно залились смехом. На этот раз они смеялись от души, расходясь все больше и больше. Сначала Гаврилеску смотрел на них в недоумении, потом лицо его осветилось широкой улыбкой, и наконец он рассмеялся тоже, отирая лицо платком.

— Позвольте и мне задать вам один вопрос, — заговорил он, отсмеявшись. — Очень хотелось бы знать, что это на вас нашло?

— Мы смеялись, потому что ты нас назвал барышнями, — сказала первая. — Это у цыганок-то.

— А вот и нет! — возразила вторая. — Не верь ей, она тебе скажет! Мы смеялись, потому что ты перепутал и выпил из крынки вместо стакана. Если бы ты налил, как все люди, в стакан...

— Не слушай ее! — вступила третья. — Она придумает! Кроме меня, тебе никто не скажет. Мы смеялись, потому что ты струсил.

— А вот и нет! А вот и нет! — загалдели две другие. — Это она тебя так подначивает, это она тебя так на храбрость испытывает!

— Струсил! Струсил! — твердила третья.

Гаврилеску сделал шаг вперед и торжественно воздел руки.

— Милые барышни! — произнес он тоном оскорбленного. — Я вижу, вам неизвестно, с кем вы имеете дело. Я не какой-нибудь там. Я —

Гаврилеску, свободный художник. И прежде чем я докатился до уроков, с позволения сказать, музыки, и у меня была своя мечта поэта... Милые барышни! — с пафосом продолжал он, выдержав паузу. — Двадцати лет от роду я узнал и полюбил Хильдегард!

Одна из дев пододвинула ему кресло, и Гаврилеску сел с глубоким вздохом.

— Ах! — начал он после долгого молчания. — Зачем вы напомнили мне трагедию моей жизни? Вы ведь уже поняли, надеюсь, что Хильдегард так и не стала моей женой? Случилось нечто, нечто ужасное...

Вторая дева подала ему чашечку кофе, и Гаврилеску стал пить маленькими глотками, в задумчивости.

— Случилось нечто ужасное, — повторил он наконец. — Но что? Что могло случиться? Любопытно, что я не помню. Это правда, я не думал о Хильдегард очень много лет. Я свыкся с утратой. Я говорил себе: «Гаврилеску, что было, то прошло. Либо искусство, либо счастье». И вдруг давеча, как я вошел к вам, я вспомнил, что и я знал благородную страсть, я вспомнил, что я любил Хильдегард!..

Девы переглянулись и забили в ладоши.

— Все же права была я, — сказала третья. — Он струсил.

— Да, — согласились две другие. — Ты была права: он струсил...

Гаврилеску поднял глаза и смерил их долгим, меланхолическим взглядом.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду...

— Ты боишься, — вызывающе бросила первая, выступая вперед. — Ты сразу струсил, как только вошел...

— То-то у тебя в горле пересохло, — сказала вторая.

— То-то ты все время виляешь, — подхватила третья. — Сам нас выбирал, а теперь боишься угадывать.

— Я все-таки не понимаю... — попробовал защищаться Гаврилеску.

— Тебе было велено угадывать, — перебила его третья, — которая из нас цыганка, которая гречанка, которая еврейка.

— Попробуй теперь, если говоришь, что не трусишь. — предложила первая. — Угадай. Какая цыганка?

— Какая цыганка? Какая цыганка? — эхом вторили ей две другие.

Гаврилеску усмехнулся и снова смерил их взглядом.

— Это мне нравится, — сказал он, вдруг приходя в хорошее расположение духа. — Вы, стало быть, думаете, что, раз я свободный художник, значит, я витаю в облаках, значит, я понятия не имею, как выглядит цыганка...

— Опять он вилает, — перебила его первая. — Отгадывай.

— Стало быть, вы, — упрямо продолжал Гаврилеску, — вы считаете, что мне не достанет воображения хотя бы на то, чтобы представить, как выглядит цыганка, тем более когда она молода, красива и в натуральном виде...

Потому что он, разумеется, с первого же взгляда понял, кто из них кто. Та, что выступила вперед, совсем нагая, очень смуглая, с черными волосами и глазами, была, без сомнения, цыганка. Вторая, тоже нагая, но в сквозной, зеленоватых тонов накидке и в золотых сандалиях, имела кожу неестественной белизны, отливающую перламутром. Она не могла быть никем иным, как гречанкой. Третья, безусловно, была еврейка: ее бедра плотно охватывала длинная, до полу юбка вишневого бархата, грудь и плечи оставались открыты, а богатые, огненно-рыжие волосы были высоко подобраны и уложены в замысловатую прическу.

— Ну же, угадывай! Которая цыганка? Которая цыганка? — закричали разом все три. Гаврилеску поднялся с кресла и, простерев руку к деве нагой и смуглой, торжественно произнес:

— Только потому, что у меня артистическая натура, я принимаю ваш вызов, хотя это форменное ребячество. Извольте, вот — цыганка.

В ту же секунду — он и глазом моргнуть не успел — его подхватили с двух сторон и закружили, завертели, что-то напевая, насвистывая, приговаривая. Только голоса доносились как бы издалека.

— Не угадал! Не угадал! — долетало до него, как сквозь сон.

Он упирался, пытаясь вырваться из рук, втянувших его в недобрый, колдовской хоровод, но это было выше его сил. Он чувствовал запах разгоряченных юных тел, веяние тех нездешних, вкрадчивых духов, в голове отдавались глухие удары пляшущих по ковру девичьих ног. Еще он чувствовал, что хоровод постепенно влечет его между кресел и ширм в глубину комнаты, но через некоторое время отказался от всякого сопротивления и больше уже ничего не помнил.

Очнувшись, он приподнялся на локтях и увидел перед глазами ту самую нагую и смуглую: она сидела, поджав ноги, на ковре у дивана.

— Я долго спал? — спросил он.

— Не спал вовсе, — успокоила его смуглая. — Вздремнул.

— Но что же, Бог ты мой, вы со мной сделали? — простонал он, поднося руку ко лбу. — У меня что-то с головой.

Он с напряжением огляделся. Комната была как будто не та, и все же он узнал асимметрично расставленные между креслами, оттоманками и зеркалами ширмы, поразившие его с самого начала. Он не мог уловить, как они устроены. Иные, очень высокие, почти под потолок, можно было принять за стены, если бы их боковые створки, загибаясь, не выступали на середину комнаты. Иные, в таинственной подсветке, казались неплотно завешенными окнами, выходящими во внутренние пространства дома. По некоторым, в диковинной, многоцветной росписи, живописно струились шали и кружева, словно бы оттораживая нечто вроде альковов разной формы и величины. Но довольно было присмотреться к одному подобному алькову, как обнаружилось, что это оптический обман, что на самом деле две-три ширмы, составленные вместе, замыкает лишь отражение в большом золотисто-зеленоватом зеркале. Как только Гаврилеску понял, что это обман, комната тут же завертелась вокруг него, и он снова схватился за голову.

— Что, Бог ты мой, вы со мной сделали? — повторил он.

— Ты не угадал, кто я, — с печальной улыбкой шепнула смуглая. — Хотя я нарочно говорила тебе глазами, что не я цыганка. Я — гречанка.

— Греция! — воскликнул Гаврилеску, срываясь с дивана. — Бессмертная Греция!

Его усталость как рукой сняло. Он слышал удары своего сердца, все звонче и звонче, необыкновенное блаженство мягко сотрясло его тело.

— Когда я был влюблен в Хильдегард, — заговорил он восторженно, — я мечтал только об одном, о нашем путешествии в Грецию.

— Недотепа, — вздохнула гречанка. — Надо было не мечтать, а любить ее...

— Мне было двадцать лет, а ей не исполнилось и восемнадцати. Она была хороша... Мы были красивой парой, — добавил он.

И тут обнаружил, что на нем странный костюм: нечто вроде шаровар и коротенькая туника золотистого шелка. Он недоверчиво всмотрелся в зеркало, как бы сомневаясь, он ли это.

— Мы мечтали поехать в Грецию, — наконец сказал он более спо-

койным тоном. — Нет, это было больше чем мечта, мы уже строили планы, решено было ехать в Грецию скоро после свадьбы. И тут что-то случилось... Но что, Бог ты мой, случилось? — спросил он сам себя, берясь руками за виски. — Такой же жаркий летний день, как сегодня, мучительный летний день. Я увидел скамейку и двинулся к ней, и тут почувствовал, что жарахватила меня по темени, саблей — по самому темени... Нет, это она полковника Лоуренса, это я слышал сегодня от студентов, когда ждал трамвая. Ах! — возопил он в тоске. — Мне бы сейчас рояль!

Гречанка живо вскочила с ковра и, беря его за руку, шепнула:

— Иди за мной!

Она повела его между ширм и зеркал и через некоторое время так ускорила шаг, что Гаврилеску не поспевал за ней иначе, как бегом. Он попытался было остановиться, перевести дух, но гречанка не отпускала его руки.

— Поздно, поздно, — проронила она на бегу, и снова ему показалось, что голос доносится до него из далекого далека, как свист ветра.

Однако на сей раз он не потерял сознания, хотя им приходилось лавировать между бесчисленными диванами и мягкими подушками, огибать сундуки побольше и поменьше, накрытые коврами, зеркала разных размеров, а иногда и причудливых форм, озерцами возникавшие перед ними, как будто их нарочно только что разложили на самом ходу. Наконец, пробежав коридор, образованный двумя рядами ширм, они вылетели в большую, ярко освещенную комнату. Там, опершись о крышку рояля, их поджидали подружки гречанки.

— Что так долго? — спросила рыжеволосая. — Кофе остыл.

Гаврилеску вздохнул во всю грудь и, шагнув к ней, поднял руки вверх, как бы прося пощады.

— Ах нет, — сказал он. — Не надо больше кофе! На сегодня хватит. Я, милые барышни, хоть и артистическая натура, но образ жизни веду регулярный. Я не привык разбазаривать время по кофейням.

Словно его не слыша, рыжеволосая во второй раз спросила гречанку:

— Почему так долго?

— Он вспоминал про Хильдегард.

— Что ж ты его не окоротила? — бросила та, что в накидке.

— Позвольте, позвольте, — запротестовал Гаврилеску, приближаясь

к роялю. — Вопрос чисто личный. Тут я никому не дам себя окоротить. Это была трагедия моей жизни.

— Ну, начинается, — протянула рыжеволосая. — Снова увяз.

— Позвольте! — возмутился Гаврилеску. — Ни в чем я не увязал. Это была трагедия моей жизни. Вы же сами мне о ней и напомнили... Вот послушайте, — продолжал он, садясь за рояль. — Я вам сыграю, и вы поймете.

— Не надо было давать ему воли, — услышал он шепот. — Черта с два он теперь угадает...

Гаврилеску на секунду застыл, собираясь с духом, потом подался вперед и занес над клавишами руки, словно готовясь грянуть нечто вдохновенное.

— Вспомнил! — разрешился он вдруг. — Знаю, что случилось!

Он вскочил в возбуждении и, не поднимая глаз, забегал взад и вперед по комнате.

— Теперь я знаю, знаю, — несколько раз повторил он вполголоса. — Это было летом, как и сейчас. Хильдегард уехала с родителями в Кёнигсберг. Было страшно жарко. Я жил тогда в Шарлоттенбурге и вышел пройтись по улице. Улица была очень тенистая, с большими старыми деревьями. И совершенно пустынная: все попрятались по домам от жары. И вот под одним деревом, на скамейке, я увидел молодую девушку, она плакала, плакала навзрыд и прятала лицо в ладонях. Что меня больше всего тронуло — это то, что у нее под ногами стоял маленький чемоданчик, а туфельки — рядом... «Гаврилеску, — сказал я себе, — вот несчастное существо». Я и не подозревал, что... — Он резко повернулся и встал перед своими слушательницами. — Милые барышни! — горестно воззвал он. — Я был молод, я был хорош собой! И эта несчастная брошенная девушка! Моя артистическая натура не вынесла. Я заговорил с ней, стал ее утешать. Так началась трагедия моей жизни.

— И что теперь? — спросила рыжеволосая у подруг.

— Подождем, посмотрим, что скажет старуха, — предложила гречанка.

— Если еще ждать, он вообще ничего не угадает, — сказала та, что в накидке.

— Да, трагедия моей жизни... — продолжал Гаврилеску. — Ее звали

Эльза... Но я смирился. Я сказал себе: «Гаврилеску, такая твоя планида. Либо искусство, либо счастье...»

— Видите? — заговорила рыжеволосая. — Его снова заносит, а потом он не будет знать, как выбраться.

— Воля рока! — вскричал Гаврилеску, воздевая руки и оборачиваясь к гречанке.

Та смотрела на него с улыбкой, заложив руки за спину.

— Бессмертная Греция! — возгласил он. — Я так тебя и не увидел!

— Ну, будет, будет! — закричали две другие, наступая на него. — Ты лучше вспомни, кого выбирал...

— Цыганку, гречанку, еврейку, — пропела гречанка, со значением заглядывая ему в глаза. — Ты же сам нас пожелал и сам нас выбрал...

— Теперь только угадай, — подзадоривала рыжеволосая, — и увидишь, как будет хорошо!

— Которая цыганка? Которая цыганка? — загомонили все три, беря его в кольцо.

Гаврилеску увернулся и встал, облокотясь о крышку рояля.

— Стало быть, так, — выждав паузу, начал он, — такие у вас тут порядки. Вам все равно, свободный ли художник, простой ли смертный, вам подавай одно: отгадывать, которая цыганка. А с какой стати, скажите на милость? Кто дал приказ?

— Это такая здесь игра, у цыганок, — робко пролепетала гречанка. — Попробуй, правда. Не пожалеешь.

— Но мне-то сейчас не до игр, — с жаром возразил Гаврилеску. — Я вам про трагедию моей жизни, а вы... Да, да, я теперь ясно вижу: если бы в тот вечер, в Шарлоттенбурге, я не зашел с Эльзой в пивную... Или даже если бы зашел, но был бы при деньгах и мог сам расплатиться, моя жизнь приняла бы другой оборот. Однако денег, увы, не было, и заплатила Эльза. А назавтра я исходил весь город, чтобы достать несколько марок, вернуть ей долг. И не достал. Все приятели, все знакомые разъехались на каникулы. Было лето, была ужасная жара...

— Снова он трусит, — прошептала рыжеволосая, потупясь.

— Послушайте, я еще не досказал! — заволновался Гаврилеску. — Три дня я не мог раздобыть денег и каждый вечер заходил на квартиру, где жила Эльза, чтобы извиниться, а потом она приглашала меня в пивную. Если бы по крайней мере я был тверд и не принимал ее приглашений! Но посудите

сами: мне же хотелось есть! Я был молод, я был хорош собой, Хильдегард была далеко, на водах, а мне хотелось есть. Признаюсь вам, бывали дни, когда я ложился спать без ужина. Жизнь свободного художника...

— Ну, и что теперь? — в упор спросили его девы. — Время-то идет, время идет.

— Что теперь? — переспросил Гаврилеску, разводя руками. — Теперь тепло и приятно, и мне нравится тут у вас, потому что вы молоды и прелестны и стоите передо мной наготове, только и думая, как бы попотчевать меня вареньем или кофе. Но меня больше не мучает жажда. Теперь я чувствую себя хорошо, я великолепно себя чувствую. «Ну-с, Гаврилеску, — говорю я себе, — эти барышни чего-то от тебя ждут. Доставь же им удовольствие. Если они хотят, чтобы ты угадал, кто из них кто, угадывай. Но только внимание! Внимание, Гаврилеску, потому что, если ты опять обознаешься, они поймут тебя в свой хоровод и будут кружить до утра...» — Разулыбавшись, он обогнул рояль и встал за ним, как за барьером. — Стало быть, вы хотите, чтобы я вам сказал, которая цыганка. — Извольте, сейчас и скажу...

Девы с видимым волнением выстроились в ряд, не говоря ни слова, поедая его глазами.

— Извольте... — повторил он, помедлив.

Засим, внезапно выбросив руку, он мелодраматическим жестом простер ее к той, что перламутрово мерцала сквозь накидку, и выжидательно замер. Троица окаменела, как будто отказываясь верить глазам.

— Опять мимо, — наконец нарушила молчанье рыжеволосая. — Что с ним такое?

— Былое разворошил, — сказала гречанка. — Сбило оно его, увело, заморочило.

Та, которую он принял за цыганку, выступила вперед, подобрала поднос с угощением и, пройдя мимо рояля, обронила чуть слышно, с улыбкой грусти:

— Я — еврейка...

Потом скрылась, молчаливая, за одной из ширм.

— Ах! — воскликнул Гаврилеску, хлопая себе ладонью по лбу. — Как же я сразу не понял! По глазам, в них было что-то от дали времен. И этот прозрачный покров, который ничего не скрывает, но непременно покров. Все, как в Ветхом завете...

И тут рыжеволосая расхохоталась.

— Не угадал, барин! — выкрикнула она. — Не угадал, которая цыганка...

Провела рукой по волосам, качнула головой и рассыпала по плечам рыжие пылающие пряди. Медленно прошлась по кругу, прихлопывая в ладоши и напевая. Затем приказала, встряхивая гривой волос:

— Скажи ему, гречаночка, как бы оно было?

— Если бы ты угадал, было бы чудо как хорошо, — тихо прошелестела гречанка. — Мы бы тебе пели, мы бы тебе плясали и провели бы тебя по всем покоям. Было бы чудо как хорошо.

— Чудо как хорошо, — отозвался Гаврилеску с элегической грустью.

— Говори, гречаночка! — понукала цыганка, останавливаясь напротив них, но не переставая хлопать в ладоши и отбивать такт босой ногой по ковру.

Гречанка скользнула к нему и заговорила на ухо быстрым шепотом, то покачивая головой, то прикладывая пальцы к губам, но Гаврилеску не удалось разобрать ни слова. Он слушал ее, улыбаясь, с рассеянным взглядом, время от времени роняя: «Чудо, чудо как хорошо!..» Топот босой ноги по ковру отдавался в его ушах все сильнее, глухим, будто из-под земли идущим гулом, пока этот неведомый и шалый ритм не стал ему невмоготу, и тогда он отчаянным усилием подсел к роялю и ударил по клавишам.

— Теперь ты говори, цыганочка! — услышал он голос гречанки.

Но вместо слов на него надвинулось гроыханье, точно цыганка плясала на огромном бубне с бронзовым дном, и минуту спустя он почувствовал, как она жарко дышит за его спиной. Гаврилеску пригнулся к роялю и налег на клавиши с такой силой, почти с яростью, словно хотел разворотить их, выцарапать ногтями и прорваться, целиком войти во чрево инструмента, а потом еще дальше, еще глубже...

Он забылся, унесенный какими-то незнакомыми мелодиями: он мог бы поклясться, что никогда даже не слышал их, но они исторгались из памяти сами собой, как давние, забытые воспоминания. Он играл долго, а когда опомнился, в комнате было пусто и почти темно.

— Где вы? — крикнул он, в испуге поднимаясь с табурета.

Несколько помедлил, направился к ширме, за которой скрылась еврейка, и снова крикнул:

— Куда вы попрятались?

Потом, тихонько ступая на носках, словно думая застать дев врасплох, пробрался за ширму. За ней оказалась как бы другая комната, переходящая в извилистый коридор. Комната была устроена странно, потолок висел неровно и низко, а стены кривились зигзагами, то пропадая, то появляясь из темноты. Гаврилеску сделал шаг-другой наугад и остановился, прислушиваясь. Ему почудилось, что как раз в эту минуту мимо него, очень близко, прошелестели по ковру шаги.

— Где вы? — позвал он.

Послушал свое эхо, присматриваясь к темноте, пока ему не померещились в недрах коридора три жмущихся к стене фигурки. Он пошел туда на ощупь, с вытянутыми руками, однако довольно скоро понял, что потерял направление, потому что коридор как будто вильнул в сторону и увел его влево.

— Напрасно вы прячетесь, все равно я вас найду! — громко пригрозил Гаврилеску. — Лучше выходите добровольно!..

Но сколько он ни напрягал слух, сколько ни вперял глаза в полутьму коридора, ничего больше уловить не удалось. Да и коридор был что-то уж чересчур душный, так что Гаврилеску решил вернуться в комнату с роялем, от которой отошел не более чем шагов на двадцать-тридцать, и ждать там. Снова вытянув руки, он осторожно отправился назад, но почти тут же наскочил на ширму и в испуге отпрянул. Он дал бы голову на отсечение, что каких-нибудь три минуты назад ширмы здесь не было.

— Да что вы, в самом деле! — заволновался он. — Пропустите же меня!

Ему почудились в ответ легкие смешки и шепоток, и это несколько его приободрило.

— Вы, может быть, думаете, что я испугался, — начал он после краткого молчанья, стараясь говорить небрежно и весело. — Позвольте, позвольте! — поспешно добавил он, как будто опасаясь, что его перебьют. — Если я согласился играть с вами в прятки, то только из жалости. Открою вам правду: мне стало вас жалко. С самого начала, когда я увидел вас, наивных девчушек, запертых здесь, в каком-то сомнительном сарае, я сказал себе: «Гаврилеску, эти малышки хотят над тобой подшутить. Сделай вид, что ты попался. Пусть они думают, что ты не можешь угадать, которая цыганка. Такая у них игра...» Такая

игра! — крикнул он, как мог громче. — А теперь мы уже вдоволь наигрались, выходите!

Он прислушался с застывшей улыбкой, правой рукой касаясь ширмы. Из темноты к нему приблизились быстрые шаги. Он обернулся и растопырил руки.

— Попалась! — крикнул он. — Посмотрим, которая попалась. Уж не цыганка ли?

Но ему пришлось долго попусту махать руками, а тем временем стихли даже малейшие шорохи.

— Ничего, — сказал он, словно не сомневаясь, что из темноты его слушают. — Можно и подождать. Я вижу, вы еще не поняли, с кем имеете дело. Смотрите, потом будете жалеть. Я бы вас поучил игре на рояле. Обогастил бы вашу музыкальную культуру. Объяснил бы вам «Песни» Шумана. Что это за прелесть! — воскликнул он с чувством. — Что за божественная музыка!

Жара между тем ощутимо усилилась, и ему пришлось смахнуть пот со лба рукавом туники. В полном замешательстве он двинулся влево, цепляясь за бесконечную ширму. По временам останавливался и напрягал слух, потом пускался дальше, прибавляя шагу.

— Черт меня дернул связаться с девочками! — вдруг вспыхнул он, приходя в ярость. — Пардон! Я сказал «девчонки» из деликатности. Хватит церемоний. Вы прекрасно знаете, кто вы такие. Цыганки, вот вы кто. Невежество. Никакой культуры. Хоть одна из вас знает, где находится Аравия? Хоть одна из вас слышала о полковнике Лоуренсе?

Ширма тянулась и тянулась, и чем дальше, тем невыносимей делалось пекло. Он скинул с себя тунику и, со злостью утершись ею, перебросил через голое плечо, как полотенце. В который раз нащупывая ширму, он наткнулся, против ожидания, на гладкую прохладную стену и прильнул к ней, раскинув руки. Он простоял так долго, переводя дух, потом медленно, впритирку поволочился вдоль стены. Через некоторое время он обнаружил, что обронил тунику, и, поскольку нечем стало промокать обильный пот, решил пустить в дело шаровары. Но стоило ему вылезти из штанин, как он почувствовал на плече чье-то прикосновение и с коротким криком метнулся в сторону.

— Пропустите! — завопил он. — Пропустите, кому говорят!

И снова кто-то или что-то, существо или предмет, он не взялся бы

определить, коснулось его лица, плеч, и тогда он занял оборону, вслепую размахивая над головой шароварами. Жара донимала его все сильнее, пот струйками стекал по щекам, дыхание перехватывало. От одного слишком резкого взмаха шаровары вырвались у него из рук и улетели далеко в темноту. Гаврилеску мгновение постоял, судорожно сжимая пальцы в кулак, как будто надеясь, что это ошибка и что шаровары еще можно удержать. Он вдруг осознал свою наготу и съезжился, упал на четвереньки, пригнув голову, словно бегун перед стартом.

Дальше он продвигался ползком, шаря руками по ковру, теша себя надеждой найти шаровары и поминутно натываясь на предметы, распознавание которых давалось с трудом: то, что он принимал поначалу за пузатый сундучок, оказывалось тыквой огромных размеров, завернутой в шаль; диваны при тщательном ощупывании превращались в бельевые корзины, нагруженные газетами, а их подушки и валики — то ли в мячи, то ли в чехлы от зонтиков, набитые опилками; впрочем, разбираться было некогда: под руку попадались все новые предметы, которые приходилось ощупывать. Иногда на пути возникала тяжелая мебель, и Гаврилеску благоразумно полз в обход, потому что не видел ее истинных габаритов и боялся опрокинуть на себя.

Он не знал, сколько времени провел в пути вот так, на карачках и попластунски. От мысли найти в потемках шаровары он отказался. Что досаждало ему больше всего, так это духота. Точно его занесло на чердак крытого жестью дома в разгар послеполуденного зноя. Ноздри обжигало раскаленным воздухом, и предметы вокруг заметно нагревались. Он был мокрый как мышь и то и дело устраивал привалы: падал на ковер, разбрасывая руки, и лежал, как распятый, пыхтя и отдуваясь.

Один раз он даже задремал и очнулся от неожиданного дуновения, как будто где-то открыли окно, впуская ночную сырость. Но очень скоро он распознал, что это веет чем-то другим, не имеющим подобия, неназванным, и мороз прошел у него по коже, остудив капли пота. Что было после, он не помнил. Он испугался собственного крика и обнаружил, что опрометью несется в темноте, налетая на ширмы, сшибая зеркала и множество мелких вещиц, прихотливо разложенных по коврам; временами он спотыкался и падал, но быстро вскакивал и снова надавал ходу. Потом он заметил, что стал перепрыгивать через сундуки и огибать зеркала и ширмы, и по этому признаку понял, что достиг зоны, где мрак рассеял-

ся и возможно различать контуры предметов. Он вылетел в коридор, в дальнем конце которого, на необыкновенной высоте, манило светом летнего заката окно. В коридоре было жарко сверх всякой меры. Он останавливался все чаще, тылом ладони смахивая пот со лба, со щек. Дыхания не хватало, сердце колотилось на разрыв.

Почти у самого окна путь ему преградили устрашающие звуки: голоса, смех, шум отодвигаемых стульев, словно бы целое общество вставало из-за стола и направлялось напрямиком в его сторону. Он увидел себя: голый, тощий, кожа да кости — когда он успел так отощать? И при этом — что за новости — с безобразно обвислым животом! Времени отступить не было. Он ухватился за первую попавшуюся портьеру и попытался ее сорвать. Он чувствовал, что портьера вот-вот поддастся, и, упершись коленями в стену, всей тяжестью откинулся назад. И тогда произошло что-то странное. Портьера начала сама, со всевозрастающей силой, тянуть его на себя, и минуту спустя он уже был прижат к стене. Как ни пытался он высвободиться, бросив ее, выпустив из рук, все было напрасно, и очень скоро она связала его, туго обвила со всех сторон, накрыла с головой. Снова стало темно и нестерпимо душно. Гаврилеску понял, что долго не выдержит. Задыхаясь, попробовал крикнуть, но горло было сухое, одеревенелое, и звуки глохли, как в войлоке.

Он услышал голос, который показался ему знакомым:

— А дальше, барин? Говори, что дальше.

— Что говорить? — прошептал он. — Все. Я вам все сказал. Мы с Эльзой приехали в Бухарест. Денег не было. Я стал давать уроки музыки...

Он приподнял голову с подушки и увидел старуху. Она сидела у столика и держала на весу кофейник, собираясь снова наполнить чашки.

— Нет, благодарствую, мне больше не надо! — удержал он ее, выставив руку. — С меня на сегодня хватит. Боюсь, что не буду спать ночью.

Старуха налила себе и опустила кофейник на уголок стола.

— Ну а дальше? — настаивала она. — Что делали? Что было?

Гаврилеску надолго задумался, обмахиваясь шляпой.

— Дальше мы стали играть в прятки, — заговорил он несколько другим тоном, построже. — Конечно, они не знали, с кем имеют дело. Я серьезный человек, преподаватель музыки. Я зашел сюда с чисто познавательной целью. Меня интересует все новое, неизведанное. Артистическая на-

тура! Я сказал себе: «Гаврилеску, вот случай расширить свой кругозор». Я не думал, что меня втянут в наивные детские игры. Вообразите, вдруг я оказался совершенно голым и услышал голоса, я был уверен, что с минуты на минуту... Нет, вы только вообразите...

Старуха покачала головой и пригубила кофе.

— Уж как мы твою шляпу искали, — сказала она. — Обыскались, де-вушки весь дом перевернули, пока нашли.

— Да, я виноват, признаю, — продолжал Гаврилеску. — Я не подумал, что, если не угадаю, кто из них кто, при свете, придется бегать за ними и ловить их в потемках. Меня не предупредили. И, повторяю, когда я оказался совершенно голым и почувствовал, что портьера завивает меня как смертные пелены, даю вам слово чести, она запеленала меня как в саван...

— Уж как мы намаялись, пока тебя одели, — сказала старуха. — Ты никак не давался...

— Я вам говорю, эта портьера меня запеленала как в саван, захлестнулась вокруг меня и запеленала так туго, что я не мог вздохнуть. А тут еще жара! — повысил он голос, сильнее махая шляпой. — Удивляюсь, как это я не задохнулся!

— Жара, жара, — подтвердила старуха.

В ту же секунду издали донеслось громыханье трамвая. Гаврилеску приложил руку ко лбу.

— Ах! — вздохнул он, тяжело поднимаясь с дивана. — Как летит время. Я заговорился, то да се, а ведь мне надо еще поспеть на Преотесскую. Представляете, я забыл папку с нотами. Я уже раз говорил себе сегодня: «Внимание, Гаврилеску, а то прямо как... прямо как...» Да, я сказал себе что-то в этом роде, точно уже не помню...

Он пошел было к двери, но вернулся и, слегка поклонясь, изобразил прощальный привет шляпой.

— Очень приятно было познакомиться.

Снаружи его ждала досадная неожиданность. Хотя солнце зашло, духота стояла хуже чем в послеполуденные часы. Гаврилеску снял пиджак, перекинул через плечо и, старательно обмахиваясь шляпой, пересек двор и вышел за ворота. Отдалившись от тенистой ограды, от деревьев, он погрузился в горячие испарения мостовой, в запах пыли и расплавленного асфальта и зашагал, ссутулясь, удрученный, глядя под ноги. На остановке никого не было. Ему пришлось голосовать, чтобы трамвай подобрал его.

Вагон был пуст, и все окна стояли настежь. Он занял место напротив юноши в одной рубашке, завидя приближающегося кондуктора, полез за кошельком с мелочью. Тот нашелся, вопреки ожиданию, быстрее обычного.

— Невиданная жара! — воскликнул он. — Даю вам слово чести, хуже чем в Аравии. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Лоуренс, полковник Лоуренс?..

Юноша взглянул на него с рассеянной улыбкой и отвернулся к окну.

— Который может быть час? — спросил Гаврилеску кондуктора.

— Пять минут девятого.

— Вот беда! Я застану их за ужином. Они могут подумать, что я нарочно вернулся так поздно, чтобы подгадать к ужину. Вы понимаете, мне не хотелось бы, чтобы они подумали, будто я... Вы понимаете... С другой стороны, если я скажу, где я был, мадам Войтинович — особа любопытная, она меня продержит с расспросами до полуночи.

Кондуктор улыбнулся и подмигнул юноше.

— А вы скажите мадам, что были у цыганок, вот увидите, она вас ни о чем не спросит...

— Ах нет, это невозможно. Я ее хорошо знаю. Она дама любопытная. Лучше я ничего не скажу.

На следующей остановке вошла компания молодых людей, и Гаврилеску пересел поближе к ним, чтобы лучше слышать разговор. Улучив, по его мнению, подходящий момент, он выставил вперед руку.

— Разрешите, я вам возражу. Я преподаю, с позволения сказать, музыку, но я был создан для другого...

— Улица Преотесская, — раздался голос кондуктора, и он, вскочив и откланявшись, поспешно пересек вагон.

Он побрел потихоньку, обмахиваясь шляпой. Перед домом 18 остановился, поправил галстук, провел рукой по волосам и вошел. Медленно поднялся на второй этаж и, набравшись духу, позвонил долгим звонком. Тут его нагнал юноша, с которым он ехал в трамвае.

— Какое совпадение! — удивился Гаврилеску, видя, что юноша направляется к той же двери.

Дверь распахнулась, и в проеме встала женщина, еще молодая, но с бледным увядшим лицом. На ней был фартук, в руке — баночка с горчицей. При виде Гаврилеску она нахмурила брови.

— Что угодно? — спросила она.

— Я забыл свою папку, — робко начал Гаврилеску. — Мы заговорились, и я забыл. У меня были дела в городе, и я не мог вернуться раньше.

— Не понимаю. Какую еще папку?

— Если они сели за стол, не надо их беспокоить, — торопливо продолжал Гаврилеску. — Я знаю, где я ее оставил. Там, подле рояля.

Он попытался боком протиснуться мимо, но женщина не двинулась с места.

— Кого вам надо, милостивый государь?

— Госпожу Войтинович. Я — Гаврилеску, учитель Отилии. Не имел чести до сих пор с вами познакомиться, — добавил он вежливо.

— Вы ошиблись адресом, — сказала женщина. — Это дом восемнадцать.

— Позвольте, — с улыбкой возразил Гаврилеску. — Я посещаю эту квартиру пять лет. Я, можно сказать, член семьи, я бываю здесь три раза в неделю...

Юноша слушал их разговор, прислонясь к стене.

— Как, вы говорите, ее зовут? — вмешался он.

— Госпожа Войтинович. Она доводится тетушкой Отилии, Отилии Панделе.

— Здесь таких нет, — заверил его юноша. — Здесь живут Джорджеску. Вот эта дама — жена моего отца, урожденная Петреску...

— Будь добр, води себя прилично, — отрезала женщина. — Приводишь тут в дом всяких...

И, круто повернувшись, ушла в глубь коридора.

— Прошу прощения за эту сцену, — сказал юноша, пытаясь улыбнуться. — Это третья жена моего отца. На ее плечах — ошибки предыдущих браков. Пятеро братьев и одна сестра.

Гаврилеску слушал его в волнении, обмахиваясь шляпой.

— Сожалею, — сказал он. — Искренне сожалею. Я не хотел ее огорчить. Правда, я выбрал неподходящее время. Люди ужинают. Но, видите ли, у меня завтра утром урок на Дялул-Спирий. Мне понадобится папка. Там Черни, вторая и третья тетрадь, ноты с моими личными пометками на полях. Поэтому я всегда ношу их с собой.

Юноша смотрел на него, все еще улыбаясь.

— Я, кажется, непонятно выразился, — произнес он. — Я хотел сказать, что здесь живем мы, семья Джорджеску! Уже четыре года.

— Это невозможно! — воскликнул Гаврилеску. — Я был здесь каких-нибудь несколько часов тому назад, я давал урок Отилии с двух до трех. Потом побеседовал с госпожой Войтинович...

— В доме восемнадцать, второй этаж, по улице Преотесской? — явно подначивая, спросил юноша.

— Именно. Я прекрасно знаю этот дом. Могу сказать вам, где стоит рояль. Я проведу вас к нему с закрытыми глазами. Он в гостиной, у окна.

— У нас нет рояля, — возразил юноша. — Попробуйте счастья этажом выше. Хотя, уверяю вас, и на третьем этаже вы таких не найдете. Там живет капитанское семейство, Замфиры. Может быть, на четвертом? Мне очень жаль, — добавил он, видя, что Гаврилеску слушает его в испуге, все судорожнее махая шляпой. — Я был бы не прочь иметь соседкой некую Отилию.

Гаврилеску постоял в нерешительности, испытующе глядя юноше в глаза.

— Благодарю вас, — выдал он наконец. — Я попытаюсь и на четвертом. Хотя даю вам слово чести, что в три с четвертью пополудни я находился здесь, — и он твердой рукой указал на коридор.

Он стал подниматься по лестнице, тяжело дыша. На четвертом этаже, прежде чем позвонить, долго отирал пот с лица. Раздались семенящие шажки, и дверь открыл мальчуган лет пяти-шести.

— Ах! — воскликнул Гаврилеску. — Боюсь, что я ошибся. Я ищу госпожу Войтинович...

— Госпожа Войтинович жила на втором этаже, — любезно сообщила молодая женщина, показавшаяся за спиной мальчугана. — Но она уехала в провинцию, насовсем.

— Давно она уехала?

— О да, давно. Осенью будет восемь лет. Она уехала сразу, как Отилия вышла замуж.

Гаврилеску потер лоб, потом взглянул женщине в глаза и улыбнулся сколько мог учтивее.

— Я думаю, тут какое-то недоразумение, — сказал он. — Я говорю про Отилию Панделе, лицеистку шестого класса, племянницу госпожи Войтинович.

— Я их обеих хорошо знала, — кивнула женщина. — Когда мы сюда переехали, Отилия только-только обручилась, это было после той исто-

рии, ну, сами понимаете, с майором. Госпожа Войтинович не давала согласия, и правильно делала, слишком большая была разница в возрасте. Отилии и девятнадцати не исполнилось, совсем девочка. Слава Богу, она встретила этого Фрынку, инженера Фрынку, не может быть, чтобы вы о нем не слышали.

— Фрынку? — повторил Гаврилеску. — Инженер Фрынку?

— Ну да, изобретатель. О нем и в газетах писали...

— Изобретатель Фрынку, — протянул Гаврилеску. — Это любопытно. — Погладил мальчугана по головке и, слегка поклонившись, добавил: — Прошу меня простить. Вероятно, я ошибся этажом.

Юноша курил и поджидал его, прислонясь к двери.

— Узнали что-нибудь? — спросил он.

— Дама с верхнего этажа утверждает, что она вышла замуж, но я вас уверяю, это недоразумение. Отилии нет еще семнадцати, она в шестом классе лицея. Мы беседовали сегодня с госпожой Войтинович, затронули массу вопросов, и она мне ничего не сказала.

— Интересно...

— Более чем интересно, — подхватил Гаврилеску, осмелев. — Поэтому, даю вам слово чести, я ничему не верю. Но, в конце концов, что тут настаивать? Ясно, что это недоразумение... Я лучше зайду завтра утром...

И, кивнув на прощанье, он стал решительно спускаться по лестнице.

«Гаврилеску, — прошептал он, оказавшись на улице, — внимание, ты распустился. Голова стала дырявая. Путаешь адреса...» Как раз подходил трамвай, и он прибавил шагу. Только усевшись у открытого окна, он начал ощущать легкое движение воздуха.

— Наконец-то! — воскликнул он, обращаясь к сидящей напротив даме. — А то прямо как... — Но заметил, что не знает, как кончить фразу, и смущенно улыбнулся. — Да, — начал он сызнова, немного погодя. — Я давеча говорил одному знакомому, что прямо как в Аравии. Полковник Лоуренс, если вы о таком слышали...

Дама, не отрываясь, глядела в окно.

— Теперь час-другой, — переменял тему Гаврилеску, — а там и ночь. Я хочу сказать, стемнеет. Ночная свежесть. Наконец-то... Можно будет дышать.

Кондуктор выжидательно остановился перед ним, и Гаврилеску принялся рыться в карманах.

— После полуночи можно будет дышать, — обратился он к кондуктору. — Какой длинный день! — добавил он, нервничая, что роется слишком долго. — Сколько перипетий!.. Уф, слава Богу! — воскликнул он, извлекая на свет бумажник.

— Не пойдет! — сказал кондуктор, возвращая ему сотенную. — Обменяйте в банке.

— А что с ней такое? — удивился Гаврилеску, вертя бумажку в руках.

— Изъяты из обращения год назад, вот что. Обменяйте в банке.

— Любопытно! — протянул Гаврилеску, внимательнейшим образом изучая банкноту. — Сегодня утром она была хороша. И у цыганок их принимают. У меня было еще три таких, и у цыганок их прекрасно приняли...

Дама слегка побледнела и, демонстративно поднявшись, перешла в другой конец вагона.

— Не надо было говорить о цыганках при даме, — попенял ему кондуктор.

— Но все же говорят! — защищался Гаврилеску. — Я три раза в неделю езжу этим трамваем и даю вам слово чести...

— Да, правда, — перебил его один из пассажиров. — Мы говорим, но не при дамах. Это вопрос приличия. Особенно сейчас, когда они придумали завести иллюминацию. Да, да, муниципалитет уже дал согласие; они устроят иллюминацию в саду. Я, в общем-то, человек без предрассудков, но огни вокруг подобного заведения считаю провокацией.

— Любопытно, — заметил Гаврилеску. — Я ничего не слышал.

— Газет не читаете, — вмешался другой пассажир. — Позор! — воскликнул он, повышая голос. — Как только позволяют!

Несколько человек обернулись, и под их укоризненными взглядами Гаврилеску опустил глаза.

— Поищите, может быть, у вас есть другие деньги, — предложил кондуктор. — Если нет, придется сойти.

Весь красный, не смея поднять глаз, Гаврилеску снова полез в карманы. К счастью, кошелек с мелочью оказался сверху, среди платков. Гаврилеску отсчитал, сколько положено, и подал кондуктору.

— Вы мне дали только пять лей, — сказал кондуктор, суя ему под нос ладонь с монетами.

— Да, до Вама-Поштей.

— Все равно куда, билет стоит десять лей. На каком вы, сударь, свете живете? — начал распаляться кондуктор.

— Я живу в городе Бухаресте, — парировал Гаврилеску, с достоинством поднимая глаза. — И езжу трамваем по три-четыре раза на дню, и делаю это в продолжение многих лет, и всегда я платил пять лей...

Почти весь вагон с интересом следил теперь за их спором. Некоторые даже подсели ближе. Кондуктор раз-другой подбросил монеты на ладони, потом пригрозил:

— Если вы не хотите доплатить, я вас ссажу на первой же остановке.

— Трамвай еще когда подорожал, года три-четыре как, наверное... — заговорили в вагоне.

— Пять лет назад, — уточнил кондуктор.

— Даю вам слово чести... — с пафосом начал Гаврилеску.

— Тогда сходите, — оборвал его кондуктор.

— Лучше доплатить, — посоветовал кто-то. — До Вама-Поштой пешком далековато.

Гаврилеску порывшись в кошельке и достал еще пять лей.

— Интересные дела творятся в этой стране, — сказал он вполголоса, когда кондуктор отошел. — За одну ночь меняются порядки. Точнее, за шесть часов. Даю вам слово чести... Но, в конце концов, что тут настаивать? День был кошмарный. И, что еще серьезнее, мы не можем обойтись без трамвая. Я по крайней мере вынужден им пользоваться по три-четыре раза на дню. Все-таки урок музыки — это сто лей. Вот такая бумажка. А теперь, оказывается, и она не годится. Надо идти в банк менять...

— Дайте ее мне, — предложил один пожилой господин. — Я завтра обменяю у себя в конторе...

Он вынул из бумажника новую банкноту и протянул Гаврилеску. Тот бережно взял ее и стал разглядывать.

— Красивая, — похвалил он. — Давно такие в обращении?

Несколько пассажиров с улыбкой переглянулись, и один сказал:

— Да уж года три...

— Любопытно, что я до сих пор таких не видел. Я, правда, несколько рассеян. Артистическая натура, знаете ли...

Он спрятал банкноту в бумажник и отвернулся к окну.

— Вот и ночь, — прошептал он. — Наконец-то!

Только сейчас он почувствовал, как устал, и, подперев голову рукой, закрыл глаза. Так он просидел до Вама-Поштей.

Он долго возился с ключом — тот никак не входил в скважину. Пришлось жать на кнопку звонка, стучать в окна столовой, сначала тихо, потом сильнее и, наконец, колотить в дверь кулаком. Скоро в доме по соседству из темноты открытого окна появился мужчина в ночной сорочке и хрипло крикнул:

— Что вы тут буяните, сударь? В чем дело?

— Простите, — ответил Гаврилеску. — Я не знаю, что там с моей женой. Она не открывает. И замок испортился, я не могу войти в дом.

— А с какой стати вам в него входить? Вы кто такой?

Гаврилеску приблизился к окну и отвесил поклон.

— Хотя мы соседи, — сказал он, — я, кажется, не имею удовольствия вас знать. Моя фамилия Гаврилеску, я живу здесь с женой, Эльзой.

— Значит, вы ошиблись адресом. Здесь живет господин Стэнеску. Но он сейчас в отъезде, уехал на воды...

— Позвольте, — запротестовал Гаврилеску. — Мне очень жаль, но я вынужден вам возразить. Вы, вероятно, что-то путаете. Здесь, в доме номер сто один, живем мы, Эльза и я. Пятый год.

— Да уйметесь вы, господа, когда-нибудь? Дайте же спать! — раздался чей-то голос. — Какого черта?

— Тут один утверждает, что он живет в доме господина Стэнеску.

— Я не уверяю! — возразил Гаврилеску. — Это мой дом. И я никому не позволю... Но сначала я хочу знать, где Эльза, что с ней...

— Спросите в комиссариате, — предложил кто-то со второго этажа. Гаврилеску испуганно задрал вверх голову.

— Почему в комиссариате? Что случилось? — крикнул он в волнении. — Вы что-то знаете?

— Ничего я не знаю, я спать хочу. А если вы тут всю ночь будете выяснять...

— Позвольте, — перебил Гаврилеску. — Я тоже хочу спать, я, можно сказать, очень устал. Жара, как в Аравии. Но я не понимаю, что с Эльзой. Почему она не отвечает? Вдруг ей стало дурно и она лежит там без сознания?

И, вернувшись к своей двери, с новой силой обрушил на нее кулаки.

— Я разве не сказал вам, сударь, что никого нет дома? Что господин Стэнеску уехал на воды?

— Вызовите полицию! — завопил визгливый женский голос. — Немедленно вызовите полицию!

Гаврилеску перестал стучать и прислонился к двери, тяжело дыша. Он вдруг почувствовал полное изнеможение и сел на ступеньку, зажав виски в ладонях. «Гаврилеску, — сказал он себе, — внимание, случилось что-то очень нехорошее, а они не хотят тебе говорить. Усилие, Гаврилеску, напряги память...»

— Мадам Трандафир! — воскликнул он. — Как же я не вспомнил с самого начала! Мадам Трандафир! — громко позвал он, вставая и устремляясь к дому напротив. — Мадам Трандафир!

С верхнего этажа сказали, уже несколько сдержаннее:

— Пусть спит спокойно...

— Но это срочно!

— Пусть спит спокойно, царствие ей небесное, ее давно уже нет.

— Как нет? — опешил Гаврилеску. — Я говорил с ней сегодня утром.

— Разве что с ее сестрой, Екатериной... А мадам Трандафир умерла, тому будет пять лет.

Гаврилеску постоял оторопело, потом сунул руки в карман и вытащил свои носовые платки.

— Интересные дела, — прошептал он.

Медленно повернулся, взошел на три ступеньки дома номер 101, подобрал свою шляпу, еще раз подергал за ручку двери, после чего спустился и нетвердым шагом пошел прочь. Он шел волоча ноги, без мыслей, машинально утираясь платком. Трактир на углу был еще открыт, и, потоптавшись возле, он решил войти.

— Только вино, — встретил его мальчишка-половой. — В два закрываемся.

— В два? — удивился Гаврилеску. — Но сколько же сейчас времени?

— Два и есть. Третий час.

— Страшно поздно, — шепотом, больше для себя, сказал Гаврилеску.

Когда он подошел к стойке, ему показалось, что он узнает фигуру трактирщика.

— Вы случаем не господин Костикэ? — спросил он с бьющимся сердцем.

— Он самый,— подтвердил трактирщик, пристально вглядываясь в него.— Я как будто тоже вас знаю,— добавил он, помолчав.

— Наконец-то... а то прямо как... — начал было Гаврилеску, но потерял нить и смолк, конфузливо улыбаясь.— Я бывал здесь когда-то,— с трудом выговорил он,— у меня тут были знакомые. Мадам Трандафир.

— О, царствие ей небесное!

— Мадам Гаврилеску Эльза...

— Да уж, бедная мадам Эльза, она натерпелась,— подхватил трактирщик.— До сего дня неизвестно, что произошло. Полиция искала его несколько месяцев, никаких следов, ни живого, ни мертвого. Как сквозь землю провалился... Бедная мадам Эльза, она пождала-пождала и уехала к своим в Германию. Распродала имущество и уехала. Имущество — так, одно название, жили бедно. Я тоже все прикидывал тогда, не купить ли мне пианино.

— Стало быть, она уехала в Германию,— в мучительной задумчивости сказал Гаврилеску.— Давно она уехала?

— Давно, давно. Как Гаврилеску пропал, несколько месяцев спустя. Осенью будет двенадцать лет. В газетах даже писали...

— Интересные дела,— лихорадочно зашептал Гаврилеску, начиная обмахиваться шляпой.— А если я вам скажу, если я скажу, что не далее как сегодня утром, и даю вам слово чести, что я не преувеличиваю, что сегодня утром я с ней разговаривал... Больше того, мы обедали вместе. Я могу вам сказать и что мы ели на обед.

— Неужто она вернулась? — спросил трактирщик, вытаращив на него глаза.

— Нет, она не вернулась. Она вовсе и не уезжала. Это просто недоразумение. Я сейчас немного устал, но завтра утром я все расставлю по местам...

Он поклонился и вышел.

Держа в одной руке шляпу, в другой платок, он сонно брел, подолгу отдыхая на каждой скамейке. Стояла ясная безлунная ночь, и на улицы уже выплеснулась свежесть садов. Сзади его нагнала извозчичья пролетка.

— Куда, барин? — спросил извозчик.

— К цыганкам,— ответил Гаврилеску.

— Садитесь, докачу за пару двадцаток,— пригласил извозчик, придерживая лошадь.

— Очень сожалею, но я не при деньгах. У меня осталась сотня с мелочью. А сотня — это только за вход к цыганкам.

— Какое там, — со смехом возразил извозчик. — Сотней не обойдетесь.

— Я столько платил сегодня днем, — заверил Гаврилеску. — Доброй ночи, — добавил он, продолжая свой путь.

Но пролетка пустилась за ним шагом.

— Душистый табак, — заговорил извозчик, втягивая в ноздри воздух. — Из генеральского сада. Я потому и люблю здесь ездить по ночам. Есть седоки, нет седоков, я заворачиваю сюда всякую ночь. Страсть как люблю цветы!

— У вас артистическая натура, — сказал Гаврилеску с улыбкой, садясь на скамейку и прощально махая рукой.

Однако извозчик подогнал пролетку поближе, вытащил кисет и стал скручивать сигарку.

— Люблю цветы, — повторил он. — Лошадей и цветы. Я по молодому делу кучером служил на похоронных дрогах. Вот была жизнь! Шестерка лошадей, черные с позолотой попоны и цветы, цветы, пропасть цветов. Эх, где она, молодость, где оно все! И я старик, и кляча у меня одна, и таскаюсь я по ночам, как проклятый... Стало быть, к цыганкам? — переспросил он немного погодя, попыхивая сигаркой.

— Да, по личному делу, — поспешил объяснить Гаврилеску. — Я к ним заходил сегодня, и после вышла какая-то неразбериха.

— Ох, эти цыганки... — сокрушенно протянул извозчик. — Если бы не цыганки, — добавил он, понизив голос. — Если бы не они...

— Да, — поддержал Гаврилеску. — Вот и все то же говорят. Я имею в виду, в трамвае. Когда трамвай идет мимо сада, только и разговора, что о цыганках...

Он поднялся и зашагал дальше, пролетка потащилась за ним.

— Свернемте здесь, — предложил извозчик, указывая кнутом на переулок. — Маленько срежем... И мимо церкви проедем. Там тоже табак. Он, правда, не то что генеральский, но все равно вы не пожалеете...

— У вас артистическая натура, — задумчиво повторил Гаврилеску.

У церкви они остановились подышать благовонным воздухом.

— Как будто там еще что-то, кроме табака, — заметил Гаврилеску.

— Да там каких только не бывает цветов! Особенно если похороны,

так тут уж нанесут! И под утро от них самый запах... Я частенько важивал сюда покойников. Вот жизнь была!..

Он с посвистом тронул и снова пустился следом за Гаврилеску.

— Осталось всего ничего, — сказал он. — Садись бы уж.

— Сожалею, но у меня нет денег...

— Дадите мелочью. Садитесь...

Гаврилеску, немного поразмыслив, с натугой взобрался в пролетку. Но стоило ей взять с места, как он уронил голову на спинку сиденья и мгновенно заснул.

— Да, золотые деньки, — начал извозчик. — Церковь была богатая, клиентура отборная... Эх, дело молодое...

Однако, обернувшись и увидев, что седок спит, он стал тихонько насвистывать, и лошадь пошла живее.

— Приехали! — громко объявил он, слезая с козел. — А ворота заперты.

Он стал трясти ворота, и Гаврилеску, вздрогнув, проснулся.

— Ворота заперты, — повторил извозчик. — Придется позвонить.

Гаврилеску надел шляпу, поправил галстук и вылез из пролетки. Затем он начал искать свой кошелек с мелочью.

— Будет, не ищите, — остановил его извозчик. — В другой раз скви-таемся... Я все одно тут подожду, — объяснил он. — В такой час если и подвернется седок, то не иначе как здесь.

Гаврилеску приподнял на прощанье шляпу, после чего направился к воротам, отыскал кнопку звонка и нажал. Мгновенно распахнулась калитка, и, проникнув во двор, Гаврилеску пошел на дрожащий сквозь кусты огонек. Его робкий стук остался без ответа, тогда он сам толкнул дверь. Старуха за столиком спала, уронив голову на руки.

— Это я, Гаврилеску, — зашептал он, осторожно тряс ее за плечо.

И, пока старуха, позевывая, просыпалась, начал:

— По вашей милости вышла полная неразбериха...

— Поздно пришли, — сказала старуха, протирая глаза. — Никого не осталось. — Но, приглядевшись к нему, узнала. — А, это опять ты, музыкант. Есть для тебя немка. Она у нас бессонная...

В который раз у Гаврилеску забилося сердце и озноб прошел по коже.

— Немка? — переспросил он.

— Сто лей, — сказала старуха.

Гаврилеску стал рыться в карманах, но у него так сильно задрожали руки, что, раскопав среди платков бумажник, он выронил его на ковер.

— Прошу прощения, — сказал он, с трудом нагибаясь. — Я немного устал. День был кошмарный.

Старуха взяла банкноту, поднялась и указала ему с порога хибарки на большой дом.

— Смотри не перепутай, — сказала она. — Ступай прямо по коридору и отсчитай семь дверей. Как дойдешь до седьмой, постучи три раза и скажи: «Это я, меня прислала старуха».

Зевнула, прикрывшись ладошкой, и захлопнула за ним дверь.

Со стесненным дыханием Гаврилеску тихо пошел к дому, отливавшему серебром при свете звезд. Поднялся по мраморной лестнице, отворил дверь и на минуту замер в нерешительности. Перед ним тянулся слабо освещенный коридор, и Гаврилеску слышал, как снова заколотилось, на разрыв, сердце. Сам не свой вступил он в коридор, вслух считая двери, мимо которых проходил, и очнулся, только когда слышал собственный голос: «Тринадцать, четырнадцать...»

«Гаврилеску, — прошептал он, останавливаясь в замешательстве, — внимание, ты опять все перепутал. Не тринадцать, не четырнадцать, а семь. Так сказала старуха, отсчитывать семь дверей...»

Он хотел было вернуться и начать счет снова, но через несколько шагов почувствовал, что ноги подкашиваются, и, трижды постучав в первую попавшуюся дверь, вошел. За ней оказался большой салон, просто, почти скудно обставленный, а у окна, выходящего в сад, тенью стояла юная девушка.

— Простите, — через силу произнес Гаврилеску. — Я обчелся.

Тень отвернулась от окна, приблизилась к нему, мягко ступая, и запах забытых духов мгновенно ожил в его памяти.

— Хильдегард! — воскликнул он, роняя из рук шляпу.

— Как ты долго, — сказала девушка. — Где я тебя только не искала...

— Я был в пивной, — забормотал Гаврилеску. — Если бы я не зашел с ней в пивную, ничего бы не было. Или если бы у меня было хоть сколько-нибудь денег... А так заплатила она, Эльза, ну, и я, как честный человек... ты понимаешь... а теперь уже поздно, да? Слишком поздно...

— Не надо придавать этому значения, — сказала девушка. — Пошли.

— Но у меня больше нет ни дома, ничего. Сегодня был кошмар-

ный день... Я заговорился с мадам Войтинович и забыл папку с нотами...

— Ты всегда был рассеян, — прервала она его. — Пошли...

— Но куда? Куда? — чуть ли не закричал Гаврилеску. — В моем доме поселился какой-то, я забыл его фамилию, но совершенно незнакомый мне человек... И хоть бы он был дома, чтобы мы могли ему объяснить... Так нет, он уехал на воды...

— Идем же, — позвала девушка, сплетая свои пальцы с его и увлекая за собой в коридор.

— Но у меня и денег нет, — упавшим голосом признался Гаврилеску. — И как нарочно, когда денежная реформа и подорожал трамвай...

— Ты все такой же, — смеясь, сказала девушка, — всего боишься...

— Из знакомых никого не осталось, — не удержался Гаврилеску. — Все разъехались по курортам. А мадам Войтинович, у которой я мог бы одолжить, говорят, уехала насовсем в провинцию... Ах, моя шляпа, — спохватился он, поворачивая было назад.

— Оставь, — сказала девушка. — Она тебе больше не понадобится.

— Да почему же? — Гаврилеску попытался высвободить руку. — Это очень хорошая шляпа, почти новая.

— О чем ты? — удивилась девушка. — Тебе все еще мало? Ты не понимаешь, что с тобой происходит, что уже произошло? В самом деле не понимаешь?

Гаврилеску заглянул ей в глаза и вздохнул.

— Я немного устал, — сказал он. — Прости меня. День был кошмарный... Но теперь мне как будто лучше...

Девушка повела его за собой — через двор, через калитку, которую не пришлось больше открывать, — и так же легко втянула в пролетку, где на козлах ждал их, подремывая, извозчик.

— Но я клянусь тебе, — начал шепотом Гаврилеску, — даю слово чести, что я без гроша...

— Куда, барышня? — подал голос извозчик. — И как вас везти? Шагом или пошибче?

— Поезжай к лесу, длинной дорогой, — велела девушка. — И не гони. Мы не торопимся.

— Эх, дело молодое, — вздохнул извозчик и с посвистом тронул.

Она держала его руку в своих, но голову откинула на спинку си-

дня, лицом к небу. Гаврилеску смотрел на нее, неотрывно, сиюсь поняць.

— Хильдегард, — наконец не выдержал он. — Со мной и правда что-то творится, а что, я не знаю. Если бы я не слышал собственными ушами, как ты говоришь с извозчиком, я подумал бы, что это мне снится.

Девушка повернула к нему голову и улыбнулась.

— Снится, всем нам снится, — сказала она. — Так это начинается, похоже на сон...

Париж, 1959 г.



МАЙТРЕЙИ



Secretul doctorului Honigberger
Nopti la Serampore
Maitreyi

ЗАГАДКА ДОКТОРА ХОНИГБЕРГЕРА

Einem gelang es —
er hob den Schleier der Göttin zu Sais.*

Новалис

I

Осенним утром 1934 года посыльный принес мне довольно странное письмо, сказав, что ему велено дожидаться ответа. Письмо было от дамы, чья фамилия, Зерленди, мне ничего не говорила, и содержало приглашение посетить ее вечером того же дня. Стилль отличался подчеркнутой вежливостью и церемонностью — так в добрые старые времена даме предписывалось обращаться к незнакомому мужчине. «Я узнала, что Вы недавно вернулись с Востока, и смею полагать, что Вас заинтересуют коллекции, собранные моим мужем», — сообщала она среди прочего. Признаюсь, меня в то время отталкивали приглашения от людей, жаждущих заполучить в дом персону, сподобившуюся провести сколько-нибудь лет на Востоке. Не раз мне приходилось отказываться от знакомств, которые во всех других отношениях обещали быть приятными, только потому, что мне претило говорить пошлости о «непостижимой Азии», о «джунглях, таящих опасности», о факирах, чудесах и прочем, а также комментировать для моих милых собеседников всю эту сенсационную экзотику. Однако в письме г-жи Зерленди упоминались какие-то связанные с Востоком коллекции, без уточнения, что за коллекции и откуда, и этого было довольно, чтобы пробудить во мне любопытство.

Моей слабостью всегда были румыны, отдавшиеся страсти к Восто-

* Одному сие удалось —
он откинул покров с лика Саисской Богини (нем.).

ку. За много лет до описываемого здесь происшествия я нашел у одного букиниста с набережной Дымбовицы целый сундук книг по Китаю — с заметками на полях, а иногда и с исправлениями в тексте, — книг, основательно проштудированных их бывшим владельцем, чью подпись, Раду К., я находил на многих титульных листах. Этот Раду К. не был, однако, дилетантом. Его книги, во владение которыми я вступил, свидетельствовали о том, что он серьезно и систематически изучал китайский язык. Так, в шеститомнике исторических мемуаров Сыма Цяня в переводе Эдуарда Шаванна были исправлены все опечатки в китайских текстах. Он знал китайскую классику по изданиям Куврера, выписывал журнал «Тун Бао» и располагал всеми томами «Синологических разностей», выходивших в Шанхае до войны. Я был рад приобрести часть библиотеки этого человека, хотя фамилию его узнал еще не скоро. Букинист скупил несколько сот принадлежавших ему томов в двадцатом году, но только пять-шесть иллюстрированных изданий разошлись мгновенно, а на остальную коллекцию синологических текстов и штудий покупателей не нашлось. Я спрашивал себя, что за человек был этот румын, который так серьезно изучал китайский язык и, однако, не оставил после себя ничего, даже полного имени? Что за темная страсть влекла его к далекому Китаю, причем не как любителя, а заставляя изучать язык страны, пытаться вникнуть в ее историю? Удалось ли ему попасть в Китай, или он безвременно погиб в какой-нибудь фронтовой передраге?..

На часть вопросов, мелькавших у меня, когда я меланхолически листал его книги в лавке на набережной, мне предстояло получить ответ много позже. Впрочем, и ответ влек за собой неожиданные тайны. Но это уже другая история, вне всякой связи с событиями, о которых я намереваюсь здесь рассказать. Просто этот Раду К. пришел мне на память в числе других ориенталистов и ценителей восточной культуры, живущих в неизвестности здесь, в Румынии, и я решил принять приглашение незнакомой дамы.

В тот же вечер я стоял у дома номер 17 по улице С. Я узнал в нем один из тех домов, мимо которых никогда не мог пройти, не замедлив шага, — в надежде если не подглядеть, то отгадать, кто обитает там, за старыми стенами, и в противоборстве с какой судьбой. Улица С. расположена в самом центре Бухареста, неподалеку от проспекта Виктории. Каким же чудом остался нетронутым особняк под номером 17 за желез-

ной решеткой забора, с гравием во дворе, с разросшимися акациями и каштанами, затмившими тенью полфасада? Туго отворилась калитка, и дорожка, окаймленная двумя рядами богатых осенних цветов, привела меня к давно высохшему пруду с парой белесых от времени гномов на берегу. Тут, кажется, сам воздух был иной. Мир, который неостановимо угасал в других благородных кварталах столицы, тут сохранял достойный вид, не давая воли немощи и распаду. Старый особняк содержался в приличном состоянии, только сырость от деревьев раньше времени повредила фасад. Над верхней дверью — так строили лет сорок назад — помещалось полукруглое дымчатое окно веером. Несколько замшелых каменных ступеней, обставленных по бокам большими цветочными вазонами, вели на веранду с разноцветными стеклами в верхней ее части. Под кнопкой звонка именной таблички не было.

Мне открыли тотчас же. Вслед за старой хромой служанкой я вошел в салон внушительных размеров и не успел даже толком разглядеть обстановку и картины на стенах, как появилась г-жа Зерленди. Ей было за пятьдесят, но она принадлежала к тем женщинам, которых, раз увидев, нельзя забыть. Она встречала приближение старости очень по-своему или, может быть, как женщины прошлых эпох — с тайным знанием, что смерть есть шаг к великому озарению, к раскрытию всех смыслов, а не конец земного пути, распад плоти и окончательное превращение ее во прах. Я всегда разделял людей на две категории: на тех, кто понимает смерть как конец жизни тела, и тех, кто видит в ней начало новой жизни духа. И я не берусь судить о человеке прежде, нежели узнаю его сокровенное представление о смерти. Иначе я не доверяю ни уму, ни обаянию нового знакомого.

Г-жа Зерленди села в кресло и указала мне — без фамильярности, свойственной дамам определенного возраста, — на деревянный стул с высокой спинкой.

— Благодарю, что пришли, — заговорила она. — Мой муж был бы счастлив с вами познакомиться. Он тоже любил Индию. Может быть, больше, чем положено медику по профессии...

Я приготовился выслушать длинную историю, радуясь, что имею случай с совершенно естественным вниманием глядеть в лицо собеседницы. Но она, помолчав, спросила, слегка подавшись ко мне:

— Вам известно что-нибудь о докторе Иоханне Хонигбергере?.. Де-

ло в том, что вся любовь моего мужа к Индии пришла через книги этого немца из Брашова. Интерес к истории у мужа был, скорее всего, наследственный — фамильная страсть, — но Индией он стал заниматься, когда открыл работы доктора Хонигбергера. В его намерения входило даже написать о нем монографию. Будучи тоже медиком, он полагал, что справится с такой работой, и несколько лет собирал материалы.

Я, признаюсь, очень мало знал тогда о докторе Иоханне Хонигбергере. Когда-то давно я прочел в английском переводе его главную книгу — «Тридцать пять лет на Востоке», других в Калькутте не было. В то время меня занимали философия и техника йоги, и я искал в книге Хонигбергера как раз подробности ее оккультной практики, которую доктор, похоже, знал не понаслышке. Однако, поскольку его книга вышла в середине прошлого века, я подозревал автора в недостатке критического духа. Правда, я даже не догадывался, что этот доктор, столь известный среди ориенталистов, происходит из старинной фамилии румынских немцев, — деталь, которая сейчас заинтересовала меня больше всего.

— Мой муж вел обширную переписку со многими медиками и учеными, лично знавшими Хонигбергера. Хотя тот умер еще в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, вернувшись в Брашов из очередного путешествия по Индии, оставалось довольно людей, встречавшихся с ним. Один из его сыновей, от первого брака, служил прокурором в Яссах, но мужу не удалось с ним познакомиться, хотя он часто наезжал в Яссы, надеясь разыскать кое-какие бумаги...

Я против воли заулыбался. Меня тронул этот детальный подход к биографии доктора Хонигбергера. Наверное, г-жа Зерленди угадала мою мысль, потому что сказала:

— Муж так дотошно собирал все, что касается доктора Хонигбергера, что я это запомнила накрепко. Это и многое другое.

Она смолкла, задумавшись. Позже я имел случай убедиться, сколь разнообразны и глубоки были сведения г-жи Зерленди о докторе Хонигбергере. Однажды она целый вечер расписывала мне первое его пребывание в Индии (перед тем он провел четыре года в Малой Азии, год в Египте и семь лет в Сирии). Видно было, что г-жа Зерленди основательно изучила книги и рукописи мужа, возможно, даже с намерением довести до конца начатый им труд.

В самом деле, трудно было не поддаться обаянию этого немца из Бра-

шова, по диплому — всего лишь фармацевта, но ставшего благодаря самообразованию перворазрядным доктором. Больше половины своей долгой жизни Хонигбергер провел на Востоке. Он был в разное время придворным медиком, фармацевтом, директором арсенала и адмиралом в Лахоре при махарадже Ранжит-Сингхе. Не раз он наживал значительные состояния и терял их. Авантюрист высокого класса, Хонигбергер все же никогда не был шарлатаном. Он превзошел много наук, реальных и оккультных, и его коллекции — этнографические, ботанические, нумизматические и художественные — украсили знаменитые музеи мира. Понятно, почему доктор Зерленди, одержимый нашим национальным прошлым, равно как и историей медицины, потратил столько усилий на воссоздание и расшифровку *истинной* картины жизни Хонигбергера.

— Муж довольно скоро пришел к заключению, — сказала г-жа Зерленди, — что биография Хонигбергера начинена тайнами, при всей обширной литературе о нем. Взять, например, последнее, тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, путешествие Хонигбергера в Индию, когда он только что вернулся, тяжелобольной, из экспедиции в тропическую Африку. Зачем он в таком состоянии отправился в Индию? Почему умер, едва ступив на родную землю? Этими вопросами часто задавался мой муж. Точно так же ему казались подозрительными ботанические изыскания, сделанные доктором много раньше, в Кашмире. У мужа были основания полагать, что на самом деле Хонигбергер не ограничился Кашмиром, а достиг Тибета или, во всяком случае, изучал оккультную фармакопею в Гималаях, в одном из тамошних монастырей, а занятия ботаникой служили ему только прикрытием. Но об этом лучше судить вам, — добавила г-жа Зерленди.

Должен признаться, что, просмотрев книги и документы, так тщательно подобранные мужем г-жи Зерленди, я тоже стал ощущать таинственные провалы в биографии доктора Хонигбергера. Но все, последовавшее за моим первым визитом в дом на улице С., по таинственности оставило далеко позади загадку доктора Хонигбергера.

— Было бы крайне жаль, — произнесла г-жа Зерленди после долгой паузы, — если бы труды мужа пошли прахом. Я много слышала о вас и читала некоторые ваши работы. Не могу сказать, что я все в них поняла, но одно уяснила точно: к вам я могу обратиться, вам можно доверять...

Я счел нужным ответить, что польщен и прочее, однако г-жа Зерленди продолжала тем же тоном:

— В этот дом уже много лет почти никто не приходит, только несколько друзей, но у них нет специальной подготовки, чтобы судить о работе мужа. Его кабинет, его библиотека стоят нетронутыми с тысяча девятьсот десятого года. Я тоже надолго уезжала за границу, а когда вернулась, то не стала слишком настойчиво упоминать имя мужа. Коллеги, медики, считали его маньяком. Его библиотеку, которую я вам сейчас покажу, из тех, кто мог бы о ней судить, видел только один: Букура Думбравэ. Я написала ему, так же как вам, что у меня имеется богатая ориенталистская коллекция, и он приехал, хотя и долго откладывал. И, кажется, по-настоящему заинтересовался. Во всяком случае, он сказал мне, что нашел здесь книги, которые пытался заказать в Британском музее, кое-что записал и обещал прийти по возвращении из Индии. Он уезжал тогда на теософский конгресс, может быть, вы слышали. Но больше ему не удалось ступить на румынскую землю. Он умер в Порт-Саиде...

Не знаю, придавала ли г-жа Зерленди какой-нибудь тайный смысл этой смерти на пороге возвращения. Она опять смолкла, пристально глядя на меня. Чувствуя, что от меня чего-то ждут, я сказал, что нет нужды искать мистику на стороне, будь то Адьяр или тот же Порт-Саид, ее достаточно и в нашей повседневности. Г-жа Зерленди ничего не возразила. Она поднялась с кресла и пригласила меня в библиотеку. По дороге, пересекая салон, я спросил, бывал ли ее муж в Индии.

— Трудно сказать, — тихо и нерешительно проронила она, попытавшись улыбнуться.

II

Я повидал немало библиотек ученых и богатых людей, но ни одна не потрясла меня так, как эта. Когда отворилась массивная дубовая дверь, я замер на пороге. Комната была необъятной, даже по меркам самых роскошных особняков прошлого века. Большие окна выходили в сад за домом. Шторы были наполовину приподняты, и свет осенних сумерек усиливал торжественную атмосферу этой залы с высоким потолком, с деревянной галереей, почти по всему периметру опоясавшей сте-

ны, заслоненные рядами книг. Собрание состояло тысяч из тридцати томов, большинство в кожаных переплетах, по самым разным отраслям культуры: по медицине, истории, религии, страноведению, оккультизму, индологии. Г-жа Зерленди провела меня сначала к шкафам, где помещались исключительно книги по Индии. Редко встречал я в частной коллекции такие ценные издания и в таком множестве. Но только после того, как я провел целый вечер у этих бесчисленных полок, я по-настоящему убедился, сколько там сокровищ. Сотни томов одних только путевых заметок — от Марко Поло и Тавернье до Пьера Лоти и Луи Жаколио. (Было очевидно, что доктор Зерленди собирал абсолютно все, что выходило по Индии, иначе я не мог объяснить себе, как сюда затесался такой сочинитель, как Жаколио.) Наличествовали, затем, полные подшивки французского «Азиатского журнала» и лондонского «Журнала Королевского азиатского общества», не говоря уже об ученых записках и трудах всевозможных академий, посвященных языкам, литературам и религиям Индии. Словом, все значительное в области индологии, что дал прошлый век, от большого петербургского словаря до калькуттских или бенаресских изданий санскритских текстов. Последние вызвали у меня нескрываемое удивление.

— Он начал учить санскрит в девятьсот первом году, — объяснила г-жа Зерленди, — и учил основательно, сколько это возможно вдали от живых центров языка...

В самом деле, тут были не только элементарные учебники или тексты для поверхностного любителя, но и труды, которые мог заказать лишь человек, проникший в лабиринты языковой премудрости. Взять хотя бы такие сложные комментарии, как «Сидданта Каумуди», свидетельствовавшие об интересе к нюансам санскритской грамматики; или пространный трактат Медхадити о «Законах Ману»; или сложные комментарии к ведийским текстам, помещавшиеся в прессе Аллахабада и Бенареса; или многочисленные книги по индийским ритуалам. Особенно поразило меня собрание трактатов по индийской медицине, мистике и аскетизму. Из своего ограниченного опыта я знал, что подобные тексты бессмысленно читать без скрупулезнейших комментариев, а в идеале для них нужен учитель, дающий устное толкование.

Я обратил изумленный взгляд на г-жу Зерленди. Я входил в библиотеку не без волнения, ожидая найти здесь хороший хонигбергеровский

архив, а попал в библиотеку ученого-индолога, величине и богатству которой позавидовали бы такие светила, как Рот, Якоби или Сильвен Леви.

— Он дошел до всего этого, начав с Хонигбергера, — сказала г-жа Зерленди в ответ на мои мысли, указывая на дальнюю стену библиотеки, где мне вскоре предстояло познакомиться с материалами, касающимися брашовского доктора.

— Но когда же он успел собрать столько книг, и неужели он все их прочел?! — не переставая изумляться, воскликнул я.

— Часть, и довольно значительная, получена им в наследство, — ответила г-жа Зерленди. — В основном книги по истории. Остальное он покупал сам, особенно в последние восемь лет. Пришлось продать несколько имений... — Эти слова она произнесла с улыбкой, но без тени сожаления. — Его знали все букинисты Лейпцига, Парижа и Лондона. Он разбирался в книгах, что правда, то правда. Иногда он скупал целые восточные библиотеки — после смерти их хозяев. Что касается чтения, то всего он, конечно, не прочел, хотя последние годы спал два-три часа в сутки, не больше.

— Это, вероятно, и подорвало его здоровье, — предположил я.

— Отнюдь нет, — возразила г-жа Зерленди. — Работоспособность у него была феноменальная. К тому же он придерживался специального режима: совсем не ел мяса, не курил, не пил ни спиртного, ни чая, ни кофе...

Она как-будто хотела еще что-то добавить, но удержалась и пригласила меня в другой конец библиотеки, отведенный под архив Хонигбергера. Тут были все книги брашовского доктора и множество работ, посвященных его феерической жизни. Висела репродукция знаменитой гравюры Малкнехта, изображавшей Хонигбергера в костюме советника махараджи Ранжит-Сингха. В картонных папках хранились многочисленные письма Хонигбергера к ученым его времени, копии с портретов членов его семьи и современников, карты, на которых доктор Зерленди обозначил маршруты всех путешествий Хонигбергера по Азии и Африке. Я задумчиво перебирал эти документы, ценность которых еще не в полной мере осознавал, удивляясь, что человек, их собравший, жил в нашем городе всего лишь четверть века назад и что никто не подозревал о его сокровищах.

— Но почему же он не написал книгу о Хонигбергере? — поинтересовался я.

— Он начал обобщать материал, — ответила г-жа Зерленди после долгого колебания, — но внезапно прервал работу, не объяснив мне почему. Как я вам уже говорила, он вел большую корреспонденцию, разыскивая неизвестные сведения и документы. В девятьсот шестом году, по случаю Выставки, он познакомился с другом Константина Хонигбергера, сына доктора от первого брака. В руки этого человека случайно попали некоторые письма и бумаги Хонигбергера. Той же осенью мой муж поехал в Яссы, откуда вернулся в большом волнении. Не думаю, что он привез оригиналы, скорее копии. Но факт то, что с тех самых пор он бросил писать книгу и с головой ушел в индийскую философию, а в последние годы Хонигбергера окончательно вытеснил санскрит, муж целиком сосредоточился на его изучении...

Она с улыбкой указала мне на ту стену библиотеки, перед которой я почтительно замер в самом начале.

— И он никогда не говорил вам, что заставило его бросить на полпути многолетний труд? — спросил я.

— Разве что намеками, — ответила г-жа Зерленди. — По возвращении из Ясс он стал особенно молчалив. Однажды сказал, что ему необходимы основательные знания по индийской философии и оккультизму, что без них нельзя понять одного отрезка жизни Хонигбергера, о котором ходят пока только легенды. Занявшись санскритом, он обратился и к оккультизму. Но об этом я знаю довольно туманно, он не посвящал меня в свое последнее увлечение. Я могла только догадываться, сколь оно было глубоко, по тому, какие книги он непрестанно заказывал. Впрочем, вы можете убедиться и сами, — добавила г-жа Зерленди, приглашая меня к третьей стене библиотеки.

Кажется, дальше удивляться было некуда. Все, что рассказала мне г-жа Зерленди, все, что я сам увидел, содержало столько поразительного и с такой силой возбудило мое любопытство, что эти новые полки я рассматривал уже без слов, в молчаливом восхищении. С первого взгляда было ясно, что доктор удачно дебютировал как коллекционер литературы по оккультизму. Совсем отсутствовали вульгаризаторские поделки, которыми наводняла рынок в конце прошлого века французская по преимуществу печать. Теософских книг, по большей части посредственных и сомнительных, тоже было немного. Лишь несколько изданий Ледбитера и Анни Безант, а также полное собрание сочинений госпожи Блават-

ской, которое, как я убедился позже, доктор Зерленди проштудировал с особенным вниманием. Зато наряду с Фабром д'Оливе и Рудольфом Штайнером, со Станисласом Гуантой и Хартманом библиотека располагала богатейшей коллекцией классиков оккультизма, герметизма и традиционной теософии. Со старыми изданиями Сведенборга, Парацельса, Корнелия Агриппы, Бёме, Делла Ривьеры, Пернети соседствовали работы, приписываемые Пифагору, тексты по герметизму, труды знаменитых алхимиков — как в старинных изданиях Сальмона и Манье, так и в современных — Бергло. Не были обойдены вниманием и забытые книги по физиогномике, астрологии и хиромантии.

Впоследствии, когда я получил возможность не торопясь разбирать эти сокровища, я обнаружил там суперраритеты типа «*De aquae vitae simplici et composito*»* Арно де Вильнева или христианские апокрифы, например апокриф «Адам и Ева», за которым столько времени гонялся Стриндберг. В подборе книг просматривалось некое твердое намерение и некая точная цель. Как я постепенно убедился, тут не был пропущен ни один серьезный автор, ни одно важное издание. Доктор, вне всякого сомнения, не просто собирал информацию для усвоения основных пунктов оккультной доктрины и терминологии, без чего невозможно было подойти к биографии Хонигбергера, которую он писал. Нет, книги доктора Зерленди свидетельствовали, что он хотел сам прикоснуться к истине, так надежно запрятанной и хранимой в герметической традиции. Иначе зачем ему было изучать Агриппу Неттесгеймского или «*Bibliotheca chemica Curiosa*»**?

Именно этот живой интерес к оккультизму плюс страсть к индийской философии, а особенно к эзотерическим школам Индии, заинтриговали меня больше всего. К тому же г-жа Зерленди упомянула, что эта новая и последняя страсть овладела доктором по возвращении из Ясс.

— По всему видно, он не ограничивался одним только чтением, — сказал я. — Не сомневаюсь, что господин доктор подступался и к оккультной практике.

— У меня тоже есть такое подозрение, — поколебавшись, согласилась г-жа Зерленди. — Мне он никогда ничего не рассказывал. Но послед-

* О живой воде простой и сложной (лат.).

** Библиотека химических курьезов (лат.).

ние годы он почти не выходил из библиотеки или уезжал один в наше олтянское имение. Я уже говорила вам, что он никогда не проявлял признаков усталости — при всем своем аскетическом режиме. Напротив, я могла бы утверждать, что он чувствовал себя все лучше и лучше...

«И при всем том умер», — подумал я, слушая осторожные признания г-жи Зерленди. В комнате стало почти темно, и хозяйка мягкими шагами пошла зажечь свет. Два колоссальных канделябра с бесчисленными хрустальными подвесками наполнили библиотеку слишком сильным искусственным светом. Я не в силах был оторваться от полок с оккультными книгами и стоял в нерешительности. Г-жа Зерленди, закрыв одно из окон — то, что выходило на каменную террасу, — и опустив штору золотисто-зеленого бархата, снова подошла ко мне.

— Теперь, когда вы увидели, о каких коллекциях идет речь, — начала она, — я могу раскрыть вам свою мысль. Не один год меня мучает что-то вроде чувства вины перед этими горами бумаг и писем, которые муж собирал для биографии Хонигбергера. Я не знаю точно, чем он занимался в последние годы, но, что бы это ни было, оттолкнулся он все равно от доктора Хонигбергера. Когда я слышала, что вы провели столько лет в Индии, изучали там философию и религию, я сказала себе: а вдруг этот человек *знает* цель занятий моего мужа, а вдруг жизнь доктора Хонигбергера для него не предстанет сплошной тайной? Этот труд не был бы напрасным, — добавила г-жа Зерленди, кивая на «шкаф Хонигбергера». — Может статься, вы увлечетесь и закончите жизнеописание доктора из Брашова, которое начал мой муж. Я могла бы умереть спокойно, — продолжала она, — если бы знала, что эта биография увидит свет, что материалы, собранные мужем, не пропали...

Я не знал, что ответить. Никогда я не подряжался выполнять заказ не из своей области. Пусть почти все, что я написал до сих пор, я писал в спешке, подгоняемый житейской необходимостью, но предмет выбирал всегда сам, будь то роман или философский трактат. Однако колебаться до бесконечности было неприлично, и я ответил:

— Сударыня, я польщен доверием, которое вы мне оказываете, и честно вам признаюсь, что счастлив при одной мысли о том, что смогу приходить в эту библиотеку, не стесняя вас. Однако не знаю, буду ли я в состоянии довести до конца то, что начал ваш муж. Во-первых, я не медик. Кроме того, я не ориентируюсь во многих вещах, в которых ваш муж был

знатоком. Одно я могу обещать вам: что биография Хонигбергера будет написана и напечатана. Конечно, с помощью какого-нибудь лица, компетентного в медицине и истории прошлого века.

— Я тоже об этом думала, — сказала г-жа Зерленди. — Но тут важна не медицинская часть, на нее всегда можно найти хорошего специалиста, а востоковедческая. Если бы я не знала к тому же, как сильно хотел мой муж, чтобы жизнь Хонигбергера была описана именно румыном — потому что заграничных его биографий достаточно, — я обратилась бы к экспертам из Англии или Германии, где фигура Хонигбергера особенно известна. — Она вдруг запнулась и, помолчав, подняла на меня глаза. — И потом, есть еще одно обстоятельство, может быть, оно покажется вам слишком личного свойства... признаюсь, я хотела бы, чтобы эта биография писалась поблизости от меня. Есть такие моменты в жизни этого Хонигбергера, которые мне хотелось бы прояснить для себя, я еще не потеряла надежды...

III

Насколько права была г-жа Зерленди, говоря о непроясненных моментах в жизни Иоханна Хонигбергера, я понял, когда внимательно прочел рукописи и документы, расклассифицированные и помеченные рукой ее мужа. Я снова пришел в дом на улице С. несколько дней спустя и с тех пор стал проводить там по крайней мере три вечера в неделю. Осень затянулась, на редкость красивая и теплая. Я приходил около четырех и засиживался в библиотеке до позднего вечера. Иногда г-жа Зерленди встречала меня в салоне, но чаще, дав мне поработать несколько часов, заходила в библиотеку, пересекала ее со сдержанной грацией и протягивала мне свою бледную руку, выступающую из рукава черного шелкового платья. Следом за ней старая служанка вносила поднос с вареньем и кофе. Г-жа Зерленди не без основания полагала, что ее присутствие уместно при этой кофейной паузе, когда я, не закрывая очередной папки с документами, ненадолго прерывал работу.

— Как идет дело? — спрашивала она. — Вы думаете, что-нибудь можно извлечь из этих бумаг?

Дело, однако, продвигалось медленно. Конечно, и по моей вине

тоже, потому что я не довольствовался только работой с архивом Хонигбергера, а параллельно изучал полки с индологической и оккультной литературой — занятие захватывающее, от которого я отрывался с трудом. После четвертого визита в дом на улице С. мне удалось все же разобраться, насколько преуспел доктор Зерленди в составлении биографии Хонигбергера. Окончательный вариант его рукописи обрывался на 1822 годе, на возвращении Хонигбергера в Халеб, где он ввел новые методы вакцинации. Несколько глав о семи годах, проведенных в Сирии, были написаны вчерне. Все вместе едва ли охватывало одну четвертую часть биографии знаменитого немца, потому что самое в ней интересное начиналось с придворного периода, когда он попал к Ранжит-Сингху. О других периодах жизни выдающегося авантюриста я нашел только документальный материал, тщательно, в хронологическом порядке разложенный по папкам. На каждой папке были указаны: дата, место и число документов. Иногда рядом с датой стоял вопросительный знак или отсылка к досье с апокрифическими материалами — доктор Зерленди пришел к выводу (значащемуся в одной из сносок к первой главе), что Хонигбергер часто подбрасывал своим биографам ложные сведения о себе или намеренно фальсифицировал документы, которые те принимали за чистую монету. Что вынуждало его прибегать к этим мистификациям, запутывая картину своей и без того легендарной жизни, шедшей под знаком тайны и авантюры, мне было не понять.

— Вы еще не добрались до главного, на что намекал мой муж? — спросила раз г-жа Зерленди.

Я не знал, что ответить. Хотя я догадывался, какого рода сведений ждет от меня почтенная дама, я не был уверен, что смогу когда-нибудь предоставить их ей. Случаи «видимой смерти», йогического транса, левитации, невоспламеняемости и невидимости, о которых упоминал Хонигбергер и которые доктор Зерленди изучал с особым рвением, весьма трудно объяснить тому, кто не знаком с ними в теории. Что же касается таинственных путешествий Хонигбергера в Кашмир и Тибет, его исследований по магической фармакологии, его возможного участия в посвятительных церемониях секты Валлабхачарья, то тут было еще меньше ясности. Доктору Зерленди не удалось, вероятно, добыть достоверной информации об этих эпизодах.

— Здесь что ни шаг — загадка, — уклончиво ответил я. — Мне еще разбираться и разбираться.

Надежда погасла в глазах г-жи Зерленди, и она покинула библиотеку своей меланхолической походкой. Иногда она оставалась подольше, расспрашивая меня о моих индийских впечатлениях; ее особенно интересовали подробности жизни в гималайских монастырях — предмет, к которому я обращался не очень охотно. Сама г-жа Зерленди никогда не говорила ни о своей жизни, ни о семье, а упоминая о друзьях, не называла их имен. И если я что-то узнал, то совершенно случайно. Вот как это произошло.

Однажды, спустя три недели после первого визита, я пришел в дом на улице С. несколько раньше обычного. В тот день моросил дождь, грустный осенний дождь, и старая служанка открыла мне дверь с запозданием. Г-жа Зерленди прихворнула, сказала она, но я могу войти, она уже и огонь развела в камине. Я вошел, чувствуя себя не очень-то ловко. Библиотека выглядела по-другому в мутном свете дождливого осеннего дня. Камину не удавалось согреть эту огромную комнату. Однако я ревностно взялся за работу. Мне казалось, г-же Зерленди полегчает, если она будет знать, что я работаю в соседней комнате и, не исключено, уже в ближайшем будущем смогу пролить свет хотя бы на некоторые из тайн, до которых хотел добраться ее муж.

Через полчаса дверь библиотеки открылась, и вошла молодая особа с сигаретой в руке. Ее как будто ничуть не удивило, что она застала тут постороннего, да еще перед раскрытой папкой с документами.

— А, это вы тут! — воскликнула она, направляясь ко мне.

Я встал и назвал себя.

— Знаю, знаю, мама говорила, — небрежно проронила она. — Надеюсь, вам больше повезет.

Ничего не понимая, я от растерянности улыбнулся и стал докладывать, насколько далеко продвинулся в разборе архива Хонигбергера. Молодая дама глядела на меня иронически.

— Это все нам давно известно, — перебила она меня. — До такого уровня доходили и другие. А Бедный Ханс утверждал, что забрался и глубже. Если верить ему на слово...

Я уставился на нее с таким видом, что она рассмеялась. Погасила сигарету в медной пепельнице и подошла ближе.

— Или вы вообразили, что эти «тайны» только вас четверть века и дожидались? Ошибаетесь, сударь мой! Кое-кто к ним подступался. Отец был личностью, в довоенное время известной, и его «случай» не так-то скоро стерся из людской памяти...

— Если я ошибался, то не по своей воле,— сказал я, пытаюсь побороть волнение.— Я знаю лишь то, во что меня сочла нужным посвятить ваша матушка. Впрочем, мой мандат ограничен,— добавил я, криво усмехнувшись.— Я нахожусь здесь, чтобы обобщить материалы по биографии доктора Хонигбергера.

Молодая дама недоверчиво и пытливо смерила меня взглядом. Тогда и я смог лучше разглядеть ее: высокая, стройная до худобы, нервный рот, в глазах — приглушенный огонь. Она была совсем ненакрашена, что прибавляло несколько лет к ее тридцати с чем-то.

— Значит, мама с вами не откровенничала,— сказала она уже не так резко.— Что ж, я подозревала. Вероятно, она боялась, что на вас подействует расхолаживающе, если вы узнаете, что не вы первый проделываете эту работу. Собственно, вы — четвертый. Последним был немецкий офицер, он застрелян в Бухаресте с войны. Мы называем его Бедный Ханс, потому что он погиб ужасно нелепо — от несчастного случая на охоте. Поехал на охоту в одно наше имение и погиб. Так вот, он утверждал, что якобы начинает понимать «тайны», о которых говорил отец, но что ему не хватает знания румынского языка, и собирался его подучить. Не представляю, какая может быть связь между оккультными секретами и знанием румынского. По-моему, он просто тоже работал вхолостую...

— Все, что вы говорите,— возразил я,— ни в коей мере не расхолаживает меня, а, напротив, только возбуждает мой интерес к этому Хонигбергеру, чье имя еще несколько недель назад было для меня пустым звуком. Путешественник и авантюрист — вот все, что я о нем знал.

Молодая дама улыбнулась и села в кресло у стола, глядя на меня по-прежнему испытующе.

— Хонигбергером мама интересуется гораздо меньше, чем вы думаете,— проговорила она.— И правильно, впрочем, делает. В первую очередь ей хотелось бы знать, что случилось с отцом...

— Я догадывался,— подхватил я.— Но, поскольку саму госпожу Зерленди спросить не осмеливаюсь, может быть, вы мне расскажете, отчего умер ваш батюшка и при каких обстоятельствах?

Молодая дама опустила голову и задумалась, словно спрашивала себя, говорить ли мне правду или лучше будет, если я узнаю все стороной, не от нее. В конце концов, медленно поднявшись с кресла, она произнесла:

— А он не умер. Если же и умер, то мы не знаем когда. Десятого сентября десятого года он исчез из дому, и с тех пор его никто не видел. Как сквозь землю провалился.

Мы смотрели друг на друга, она — спокойно, я — потерянно, я ведь даже не знал, открыла ли она мне всю правду или утаила какие-то нелицеприятные подробности. Она достала изящный портсигар, вынула сигарету.

— Вероятнее всего, он уехал на Восток, в Индию, — сказал я, чтобы прервать молчание. — По следам Хонигбергера...

— Мы тоже так думали. То есть не я, конечно, я была тогда во втором классе и мало что понимала. Я пришла из школы, а в доме переполох, ужас. Папа пропал...

— Наверное, он хотел уйти незаметно, — предположил я. — Предвидя, какие его ждут неприятные разговоры, если он кому-нибудь признается в своем намерении.

— Возможно. Но трудно представить себе, что он уехал на Восток без паспорта, без денег и без одежды...

Я взглянул непонимающе. Она продолжала:

— Суть в том, что отец исчез — в буквальном смысле слова. Все костюмы, до одного, остались в шкафу, все деньги — в ящичке стола. Он не взял с собой ни паспорта, ни каких-либо других документов и не оставил письма ни маме и никому из друзей. Не могу вам передать, до чего невероятным выглядело это исчезновение в глазах тех, кто знал все обстоятельства его жизни. Последние годы он жил весьма странно, аскетом. Людей не видел. День и ночь проводил вот в этой библиотеке и в своей спальне, там была только деревянная кровать без перины и без подушки, и он спал на ней два часа в сутки. Ходил в холщовых штанах, рубаше и сандалиях, это был его домашний костюм, летом и зимой. И вот в этом костюме, в котором он не показывался на улицу, он и исчез. Мы не смогли установить, как и когда, ночью или утром. Весь дом обычно спал в тот час, когда он прерывал работу: в три утра. А в пять он уже вставал, принимал душ и долгое время проводил в спальне, за медитацией, — так по крайней мере

мы думали, потому что маме он ничего не рассказывал. Он отошел от мира, от семьи. Когда я его видела — правда, очень редко, — я чувствовала, что он нас по-прежнему любит, но какой-то другой любовью...

— И все поиски ничего не дали? — спросил я. — Хотя каких-нибудь следов не осталось? Не может же быть, чтобы человек пропал вот так, бесследно?!

— Не может, однако это именно так. Не нашли ничего, что выдавало бы приготовления к отъезду. И здесь, и в спальне все было в порядке. На столе, как всегда, раскрытые книги и тетради, в спальне на тумбочке — часы, ключи и кошелек с мелочью. Как будто его уход был внезапным и он не успел ни собрать вещи, ни написать хотя бы слово, хотя бы «прости»...

Она резко встала, протянула мне руку.

— Ну вот, все с признаниями, теперь вы посвящены в то, что вам следовало знать с самого начала. Прошу только не говорить ничего маме. У нее есть определенные предрассудки на этот счет, и я не хотела бы ее огорчать...

IV

Она ушла, прежде чем я набрался храбрости, чтобы задержать ее и расспросить поподробнее. Вопросов было много. Например, почему в тогдашней прессе не раструбили про это таинственное исчезновение. И как обстояло дело с теми господами, кого г-жа Зерленди приглашала поработать в библиотеке до меня и кому, как я понял, тоже немного удалось. Я опять уселся за стол, несколько оглушенный, не в силах связать воедино мысли, с новым чувством глядя на раскрытые передо мной папки, на обступавшие меня книги. Восхищение перед библиофилом-индологом уступило место сложной гамме эмоций, в которой смешались и страх, и недоверие, и жгучее любопытство. То, что сказала мне молодая дама, не укладывалось в голову. Однако в свете этих признаний понятной становилась осторожность г-жи Зерленди, старательно избегавшей темы смерти мужа, объяснялось ее едва скрываемое нетерпение и интерес к ходу моей работы.

Я говорил себе, что исчезновение доктора Зерленди казалось та-

ким невероятным, потому что он приготавливал его долго и тщательно, снедаемый тягой к Индии и решимостью сжечь за собой все мосты. Но именно этот продуманный до мелочей уход, который он держал в глубокой тайне, именно безусловная страсть к Индии со всеми ее безднами и потрясли меня больше всего. Я никогда раньше не встречался со случаями такого ухода-исчезновения — без прощальных слов, без записки, без каких бы то ни было следов. Рядом с подобным поступком бледнели все авантюры Хонигбергера, и я, бросив на столе его досье, направился к шкафам с книгами по индологии, где, как мне было известно, в ящиках хранились рукописи и картотеки доктора Зерленди, результат его многолетних трудов. Я выдвинул верхний ящик и внимательнейшим образом стал разбирать его содержимое. Оно представляло собой черновики санскритских упражнений, и я не без сладкой грусти узнал основы и склонения, над которыми тоже бился когда-то: *ngrah*, *ngrat*, *ngrena*, *ngṛāya*, *ngṛāt*, *ngṛasya*, *ngre*, *ngra* и т. д. Санскритские буквы, было видно, выводились неловкой рукой. Но доктор отличался незаурядным упорством и муштровал себя, как школьный зубрила: десятки страниц уходили у него на склонение какого-нибудь одного слова. В следующей тетради начинались уже связные фразы, по большей части из «Хитопадеши» и «Панчатантры», с дословным и тут же вольным переводом. Я перебрал кипу черновиков, от первой до последней странички исписанных упражнениями, склонениями, спряжениями и переводами. В толстую тетрадь с алфавитом доктор заносил новые слова, встречаемые в текстах, кое-где на титульных листах тетрадей стояли даты: вероятно, день начала и окончания тетради, лишнее свидетельство труда, который вложил доктор в изучение санскрита, — тетрадь в триста страниц исписывалась упражнениями меньше чем за две недели.

В тот дождливый осенний вечер ящик с рукописями не выдал мне никаких секретов, кроме ревностного желания доктора Зерленди овладеть санскритом. Только начало одной тетради на миг задержало мое внимание волнующими словами: *Shambala-Agarta*—невидимая страна. Но только начало, дальше шли те же школярские упражнения.

На другой день я снова явился раньше обычного. Никогда не входил я в библиотеку с таким трепетом, с таким нетерпеливым любопытством. Я не спал ночь, раздумывая над тем, что сообщила мне дочь г-жи Зерлен-

ди, и пытаюсь понять, какой же должна была быть та сила, что подвигла доктора на столь крутой шаг, на бесповоротный разрыв с семьей, друзьями, с родной страной. В библиотеке я сразу бросился к его архиву, набрал целую охапку тетрадей, папок и черновиков и уселся за стол. На этот раз я рассматривал их с удвоенным вниманием. Почерк доктора делался все более уверенным, и, наконец, санскритское письмо стало беглым. Через полчаса ко мне вошла г-жа Зерленди, бледная и осунувшаяся, хотя хворала всего два дня.

— Мне очень приятно видеть, что работа доставляет вам удовольствие, — начала она, кивая на кипу тетрадей, и добавила, слегка покраснев: — Этими бумагами еще никто не занимался. Вы не должны придавать значения тому, что сказала вчера Смаранда. У моей дочери богатая фантазия, она любит устанавливать связи между вещами, которые не имеют друг к другу никакого отношения. И что она могла понимать тогда, совсем девочка... Но потом ее жених, Ханс, погиб по собственной неосторожности на охоте, а поскольку он тоже начал изучать бумаги Хонигбергера, Смаранда придумала себе целую теорию: что, дескать, все, причастное к Хонигбергеру, несет на себе знак проклятия, и с теми, кто приступает к разбору его архива, а первым был мой муж, непременно случаются всякие несчастья — так же якобы, как с исследователями гробницы Тутанхамона. Она просто начиталась книг про этого Тутанхамона и дала волю воображению.

Мое замешательство только усилилось от ее слов. Теперь я просто не знал, что думать, кого слушать. Г-жа Зерленди как бы оправдывалась за свою дочь. Но откуда она узнала, что та говорила мне? Не подслушивала же она под дверью...

— Ее жених погиб в двадцать первом году, и с тех пор она безутешна, — продолжала г-жа Зерленди. — Так безутешна, что порой теряет чувство реальности.

— Но она только сказала... — решил было я вступить за Смаранду.

— Не стоит больше об этом, — перебила меня г-жа Зерленди. — Я знаю, что она говорит прямо и что дает понять тем, кого находит в этой библиотеке.

Мне показались довольно уклончивыми объяснения г-жи Зерленди. Она опять не сказала ничего определенного о своем муже: ни что он умер, ни что исчез, — а просто попыталась отвести от себя обвинение дочери в

том, что приглашала и других, до меня, на предмет разгадывания загадки Хонигбергера, которая могла оказаться загадкой и ее мужа.

— Вот все, что я хотела вам сообщить, — проронила она слабым от усталости голосом. — А теперь, простите, вернусь к себе, я еще не вполне поправилась.

Оставшись один, я заулыбался, представляя себе, как сейчас в библиотеку войдет Смаранда и станет просить меня не верить тому, что сказала ее мать. Однако любопытство взяло свое, и вскоре я снова углубился в тетради.

До самого вечера я листал упражнения по грамматике, тексты и переводы. Одну тетрадь, которая показалась мне более интересной, с выписками из ведийских и йогических книг, я отложил в сторону. Затем взялся за следующую, ничем не примечательную, в черной картонной обложке, с порядковым номером и датой, как на остальных. Первая страница была заполнена пассажами из Упанишад. Перевернув ее, я не сомневался, что так и не найду здесь ничего, кроме текстов того же рода, но тут мой взгляд упал на начало второй страницы: *Adaū vāda āsit, sa cha vāda īshvarābhimukha āsit, sa cha vāda īshvara āsit!* Смысл слов не сразу дошел до меня, и я уже был готов листать дальше, когда в голове молнией сверкнул перевод. Это была заглавная фраза Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я удивился, что доктор привел эту цитату в санскритском переводе, и опустил глаза строчкой ниже, надеясь найти объяснение. Но миг спустя кровь бросилась мне в лицо. Слова, которые я читал в чужой оболочке санскритских знаков, были румынские.

«Я начинаю эту тетрадь в день 10 января 1908 года. Предосторожности, которые я принимаю, переодевая текст, поймет тот, кому удастся прочесть до конца. Не хочу, чтобы моей мысли касались случайные глаза...»

Итак, вот зачем доктор начал вторую страницу цитатой из Евангелия от Иоанна: он привлекал внимание посвященного, что ниже следуют не индийские тексты. Защита от профанов, маскировка: тетрадь как тетрадь, так же пронумерована, то же санскритское письмо — ничего, что бы выделило ее из кипы подобных.

У меня дух захватило от волнения. К тому же пора было уходить, я и так засиделся. Если бы я позвал г-жу Зерленди и стал при ней расшифровывать текст, возможно, я поступил бы против воли автора. Нет, прежде

чем показывать другим, я должен был прочесть все сам. «Но сегодня у меня уже нет времени», — в отчаянии думал я.

Тут отворилась дверь из салона и вошла служанка. Она казалась угрюмой обычного и глядела на меня волком. Я уставился в первую попавшуюся тетрадь, испытывая чуть ли не физические мучения оттого, что не могу остаться один еще на несколько часов.

— С завтраго будем пыль трясти, — объявила служанка, приближаясь ко мне. — Чтоб вы знали. А то будете зря таскаться. Я ежели начну трясти, так меньше чем за два дня не управлюсь...

Я кивнул головой в знак согласия. Но служанке, вероятно, пристала охота поговорить. Она подошла к столу и ткнула пальцем в тетради.

— Дьявольские дела, порчу на разум наводят, — заговорила она со значением. — Вы лучше скажите барыне, что вам с ими не управиться, и спасайте свою молодую жисть, от них грех один.

Я оторвал глаза от тетради и взглянул на нее испытующе.

— Господин доктор из-за них сгинул, — продолжала она.

— Умер? — быстро спросил я.

— Ушел куда глаза глядят и сгинул, — повторила она тем же тоном.

— Но ты его мертвым видела? — допытывался я.

— Никто его мертвым не видал, ушел в белый свет и сгинул, без свечки, без ничего. Дом осиротил... Вы барыню не слушайте, — добавила она, понизив голос. — Она тоже, бедная, рассудком тронулась. Через два-то года после того пропал и братец ихний, префект, привел сюда одного француза, ученого француза...

— Ханса, — подсказал я.

— Нет, этот барчук после пришел. Да он и не француз вовсе. После войны уже пришел... И тоже молодой помер...

Я уже не знал, что сказать, и сидел, онемев, не сводя с нее глаз и впервые чувствуя, как меня одолевает мара. Служанка обтерла ладонью ребро стола.

— Затем и пришла, — проговорила она, помолчав. — Сказать, что мы будем два дня пыль трясти...

Потом, хромая, отступила и вышла в ту же дверь, ведущую в салон. Я снова придвинул к себе заветную тетрадь. Было невозможно, только что найдя, расстаться с ней на три дня. Почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, я спрятал ее под пиджак. Потом выждал несколько минут, по-

ка не унялась дрожь во всем теле, не выровнялось дыхание, положил на место остальные тетради и вышел на цыпочках, больше всего боясь встретить кого-нибудь, выдать свои мысли, свой грех.

V

Придя домой, я первым делом заперся и плотно сдвинул шторы, чтобы свет настольной лампы не навел кого-нибудь из знакомых на мысль потревожить мое одиночество. И чем дальше за полночь, тем больше я терял ощущение времени и места, всем существом уйдя в расшифровку записок доктора Зерленди. Чтение давалось не слишком легко. Вначале доктор очень старался, тщательно подыскивая для румынских звуков санскритские эквиваленты. Но уже через несколько страниц транскрипция стала приблизительной, и мне приходилось скорее угадывать слово, чем читать его, фразы делались все отрывистее, словарь — все более условным, шифрованным. На пороге своих последних опытов доктор принял дополнительные меры против профанов, используя исключительно йогическую терминологию, недоступную тем, кто не углубился, как он, в эту обильную тайнами науку.

«Письмо Хонигбергера к Ж. Э. было для меня лучшим тому подтверждением, — писал доктор в начале своего дневника, не поясняя, кто такой Ж. Э. и каково содержание его письма, о котором, правда, как-то раз упоминала г-жа Зерленди. — Еще с весны 1907-го я стал склоняться к тому, что в своих индийских записках Хонигбергер не только не преувеличивал, а, напротив, недоговорил очень многое из того, что он увидел и сумел освоить сам». Следовал ряд отсылок к работам Хонигбергера: случаи нечувствительности к боли, случаи левитации, видимой смерти, закапывания заживо и пр. — письмо к Ж. Э., вероятно, дало основания поверить в подлинность этих явлений.

«Я начал свои опыты в день 1 июля 1907 года. Шестью месяцами раньше я строго пересмотрел свой образ жизни и отказался от табака, алкоголя, мяса, кофе, чая и т. п. Не стану сейчас восстанавливать историю этого жалкого предварительного этапа. Мне понадобилась железная воля, потому что я много раз был на грани того, чтобы сдаться и вернуться к своим историографическим развлечениям. К счастью, письмо Хонигберге-

ра к Ж. Э. доказывало, что те вещи осуществимы, и постоянно поддерживало меня. Но я никогда не думал, что можно продвинуться столь далеко с помощью таких сравнительно малых затрат. Стоит только добыть первые силы, с глаз спадает пелена, и ты видишь, сколь велико людское невежество и какая плачевная иллюзия морочит нас изо дня в день до порога смерти. Чтобы удовлетворить свои социальные амбиции или свое научное тщеславие, человек прилагает, пожалуй, больше воли и энергии, чем надо для достижения истинной цели: личного спасения — спасения от низкой жизни, невежества и страданий».

Довольно подробно доктор описывает — в тот день, 10 января 1908 года, и в последующие дни — свои первые опыты. Судя по всему, он за год изучил йогическую литературу, особенно трактат Патанджали с комментариями, освоил индийскую философию в части аскезы и мистики, но до тех пор не пробовал применить знания на практике и, похоже, сразу начал с труднейшего упражнения по ритмизации дыхания — пранаямы. Обнадеживающих результатов, правда, достиг не скоро.

«25 июля я заснул во время упражнения, — записывает он, отметив, что несколькими днями раньше перенес приступ кашля необыкновенной силы. — Я занимался пранаямой регулярно после полуночи и на рассвете. Единственным результатом была тяжесть в груди и приступы сухого кашля. На третьей неделе этих трудов я понял, в чем мое упущение: пытаюсь ритмизировать дыхание по Патанджали, я забывал сконцентрировать ум на одном объекте. Именно этой ментальной пустоте я и был обязан сопротивлением организма. Я снова прибеж к совету Хонигбергера. Заткнул уши воском и начал пранаяму не прежде, чем произнес молитвы. Я достиг состояния необыкновенной внутренней тишины. Даже теперь ясно помню первые ощущения: я находился как бы посреди разъяренного моря, которое на глазах успокаивалось, пока не превратилось в бескрайнюю водную гладь, не тревожимую ни волнами, ни даже малейшей рябью. Затем наступила полнота чувств, сравнимая разве что с той, какую дает иногда долгое слушание Моцарта. Несколько дней подряд я повторял этот опыт, однако дальше продвинуться не удалось. Я просыпался через четверть часа в приятных и неопределенных грезах. Опять не то! Упражнение подразумевало совсем иную цель. Значит, где-то на полпути я терял контроль над собой и отдавался на волю эманаций своего собственного мозга. Я начал все сначала, результат был тот же: грезы, дремота или упоительная безмятежность...»

Как я волновался, читая эти свидетельства! Ведь и я тоже подступался к упражнениям, которые доктор выполнял с таким усердием, ведь и я встречал те же препоны! Но он оказался удачливее и, во всяком случае, сильнее характером. В первые дни сентября 1907 года он — может быть, невольно — перешел очень важный рубеж в пранаяме, то есть в установлении баланса между вдохом и выдохом.

«Начал, как обычно, с задержки дыхания на 12 секунд». Это означало, что ему удалось сделать вдох на 12 секунд, на 12 секунд задержать дыхание и на столько же выдохнуть.

«Предметом медитации в тот день был огонь». Значит, он зафиксировал мысль, например, на жаровне с углями и попытался проникнуть в суть *огня*, приобщиться к нему в космосе, усваивая при этом его *принцип*, отождествляя его со столькими процессами в собственном теле, сводя бесконечность различных горений, которые составляют и вселенную, и каждый отдельный организм, к этому раскаленному сгустку, предстоящему его взору.

«Я не уловил, как это произошло, но спустя некоторое время я проснулся спящим,— или проснулся во сне, который не был сном в строгом смысле этого слова. То есть в сон, все более глубокий, погружалось мое тело, мои чувства, а разум ни на секунду не прекращал свою активность. Все уснуло во мне, кроме сознания. Я продолжал медитировать на тему огня, в то же время каким-то образом отдавая себе отчет, что мир вокруг преобразуется до неузнаваемости и что, если я хоть на миг ослаблю концентрацию внимания, я естественно сольюсь с этим миром, который есть мир сна...»

Как признает ниже сам доктор Зерленди, в тот день ему удалось сделать первый и, может быть, самый трудный шаг на своем заветном пути. Он достиг того, что по йогической терминологии называется непрерывностью сознания, то есть переходной фазы от состояния бодрствования к состоянию сна безо всякого зазора в работе мозга. Сознание обычного человека грубо рассечено сном; засыпая, он не сохраняет непрерывности ментального потока, не сознает себя спящим (самое большее — иногда понимает, что видит сон), и ему не дано ясно мыслить во сне. Обрывки сновидений и неопределенный страх — вот все, что остается ему при пробуждении.

«Что больше всего напугало меня, когда я понял, что не сплю во сне,—

так это преобразование мира, который стал совсем не похож на мир дневного сознания. Очень трудно передать, как я улавливал эту перемену, поскольку мой мозг был сконцентрирован целиком, как пучок лучей, на идее огня, а чувства спали. И все-таки: я как бы пребывал в ином пространстве, где не было нужды смотреть, чтобы видеть, а я видел постепенное преобразование комнаты, где находился, трансфигурацию предметов, форм, цвета. Слова тут бессильны, и если я все же попытаюсь, как могу, описать происходившее, то только потому, что никто, сколько мне известно, не осмеливался доверить бумаге подобный опыт. Я продолжал созерцать огонь — не так, как это делают, когда хотят впасть в транс; гипнотизм я изучал достаточно, знал его технику и эффекты. Созерцая огонь, я думал о нем, я причащался к нему, проникая мыслью в собственное тело, распознавая в себе все виды горения. Мышление, таким образом, было не застывшим, а просто цельным, то есть оно не дробилось по разным направлениям, не делило себя между множеством предметов, не отвлекалось ни на какой внешний зов, ни на какие игры подсознания. Огонь был лишь точкой опоры для цельного мышления; однако оно проводило меня всюду, где мне надо было опознать огонь. Итак, гипноз исключался, тем более что ясность сознания во мне не ослабевала: я знал, кто я, почему нахожусь в таком положении, зачем ритмизирую дыхание, с какой целью медитирую на тему огня. И при всем том попутно и одновременно отдавал себе отчет, что пребываю в ином пространстве, в ином мире. Тела я больше не ощущал, лишь голову — легким теплом, но и оно постепенно ушло. Предметы вокруг стали как бы текучими, они текли непрерывно, сохраняя все же при этом свои очертания. Сначала мне казалось, что я смотрю на них сквозь текущую воду, однако такое сравнение было бы не совсем точным. Текли сами вещи, одни тише, другие быстрее, но я совершенно не мог определить, куда они текут и каким чудом их субстанция не истощается при постоянном ее переплескивании через край. Хотя, если попытаться определить точнее, речь шла не о перехлестывании предмета через свой край, а скорее о непрерывной текучести самих краев, очертаний предметов. Что было еще необычайней, так это то, что все предметы кочевали по комнате, то съезжаясь, то разъезжаясь. Не глядя на них, я знал, что все они тут: кровать, два стула, ковер, картина, ночной столик и т. д., — и у меня было впечатление, что они мгновенно сгрудятся в одном месте, стоит мне остановить взгляд на каком-либо из них. Впечатление было четким, не ил-

люзорным, я сравнил его с ощущением пловца, который определенно знает, что может поплыть дальше, а может вернуться на берег. То есть ощущение было знакомым, хотя вряд ли я переживал его когда-нибудь. Была и другая уверенность — что я могу видеть дальше, чем позволяют стены комнаты. Не то чтобы вещи стали прозрачными, нет. За исключением их текучести и способности съезжать с мест, они оставались как прежде. Но при этом я мог видеть то, что за ними, хотя, повторяю, не делал попыток смотреть. Сказать, что я видел сквозь твердые тела, будет неверно, я именно видел то, что за ними. Стены были здесь, передо мной, и все же я знал, что они — не препятствие для взгляда. Так человек, сидящий в своей комнате, может охватить мыслью весь дом, поскольку он знает, то есть как бы видит то, что находится в соседней и других комнатах, — и, конечно, без ощущения, что его взгляд проходит сквозь стены...»

VI

Запись была сделана, судя по всему, после того, как доктор многократно повторил опыт непрерывности сознания. Четкость почерка свидетельствовала, что он тщательно отредактировал приведенный выше фрагмент, прежде чем переписать его санскритскими буквами, чего никогда не делал в дальнейшем, не тратя больше времени на черновики.

«... Через некоторое время пришло желание глубже соприкоснуться с миром сна, обследовать близлежащее и видоизмененное пространство. Но я не решился оторвать взгляд от огня — меня останавливало непонятное беспокойство, граничащее со страхом. Не знаю, как получилось, что я внезапно закрыл глаза. Не от усталости, нет, ни в коем случае, потому что, повторяю, я чувствовал себя спящим, а мой мозг был бодр, как никогда. Я содрогнулся, обнаружив, что с закрытыми глазами вижу так же, как с открытыми. Только теперь потек огонь, вслед за всеми остальными предметами, причем он сверкал теперь сильнее, хотя, я бы сказал, безжизненнее. Чуть поколебавшись, я опять открыл глаза. Никаких сомнений: смотреть или не смотреть было все равно; я видел все, что хотел, не обращая глаз в ту или иную сторону, я бросал не взгляд, а мысль. Я подумал о саде за нашим домом — и тут же увидел его воочию. Зрелище изумляло: океан растительных соков в неустанном колыбании. Деревья норовили сплестись друг с другом, трава вздыма-

лась, как водоросли, только плоды на ветках были поспокойнее, влекомые плавным качанием... Затем мираж этого растительного буйства внезапно исчез — я подумал о Софье и вот уже видел, как она спит в спальне на нашей большой кровати. Вокруг ее головы подрагивала темно-фиолетовая аура, а с телом происходила как бы непрерывная линька: пласт за пластом отделялись от него и, отделившись, таяли. Я долго смотрел на Софью в упор, пытаюсь понять, что происходит, наблюдая робкий огонек, вспыхивающий то против ее сердца, то чуть ниже. Затем был страшный момент: я вдруг понял, что Софья рядом. Я видел, как она по-прежнему спит в постели, и в то же время она сидела подле меня, с изумлением заглядывая мне в глаза, как будто хотела о чем-то спросить. Изумление было сверх всякой меры. Возможно, я выглядел не так, как она привыкла меня видеть, или был не похож на тех, кого она обычно встречала во сне. В самом деле, только позже, после того как я многожды повторил свой опыт, я начал осознавать, что люди, которые возникали вокруг меня, были проекцией их собственного спящего сознания. — (Признаюсь, я не совсем понимаю, что хотел сказать доктор Зерленди. Но оставляю этот пассаж, поскольку он может быть интересен для оккультистов. Один садху, с которым я подружился в тридцатом году в Конараке, говорил мне (хотя я не знаю, насколько этому можно верить), какое потрясающее чувство — встречать во время определенных йогических медитаций духи людей, которые спят и тенями витают в измерении сна. Они смотрят на тебя с беспокойством, не понимая, как ты очутился там, бдящий, с ясным сознанием.) — Несколько минут спустя пространство вокруг меня внезапно изменилось, страх перевел меня снова в состояние бодрствования. Не меняя позы, в которой начинал опыт, я проверил свой дыхательный ритм: он был на том же уровне, на счет 12...

Итак, переход был резким, действие сознания во сне оборвалось страхом. Доктор Зерленди, запершись у себя, упражнялся весь следующий день, пока не добился того, что стал возвращаться в обычное сознание без неприятных перепадов, одной только своею волей. Акт воли выражался так: «Теперь я возвращаюсь». При этом он учащал дыхательный ритм с 12 до 8 секунд, плавно выходя из состояния сна.

Последующие опыты записаны конспективно. Он то ли не хотел, то ли не мог сказать больше, не находя сравнений. В одном месте он констатирует: «Объединение сознания достигается через плавный, то есть без всякого разрыва, переход из состояния в состояние: от бодрствования ко

сну со сновидениями, затем — в сон без сновидений и, наконец, в состояние каталепсии. Воссоединение этих четырех состояний, предполагающее (при всей его видимой парадоксальности) воссоединение сознательного, подсознательного и бессознательного, постепенное освещение темных, непроницаемых зон психоментальной жизни, есть, впрочем, цель технических прелиминарий йоги».

Индийские аскеты, с которыми я знакомился и которые соглашались давать мне кое-какие объяснения, считали именно этап воссоединения сознания самым главным. Сколько ни практикуй йогу, но, не одолев этой ступени, нечего и помышлять о духовном прорыве.

Весьма скупое сказано про переход от стадии сна со сновидениями к стадии глубокого сна: *«Мне удалось еще продлить вдох и выдох — до 15 и даже до 20 секунд».* Это означает, что он довел частоту дыхания до одного раза в минуту: задержка дыхания, вдох и выдох — все по 20 секунд.

«Впечатление, что я обращаюсь в мире спектров, где нет ничего, кроме цветных пятен, почти не отлитых в формы. Вместо форм — звуки, каждое пятно — источник звука». Тут доктор, сколько я понял, упоминает о том звучащем космосе, который делается доступным посвященному лишь в результате многократных медитаций над звуками, над «мистическими слогами» из трактатов мантра-йоги. На определенном уровне сознания в самом деле могут остаться лишь звуки и краски, а собственно формы как по волшебству исчезают. Но свидетельства доктора Зерленди слишком скупы, чтобы мы могли на них основываться.

Чем невероятнее результаты его йогической практики, тем более сдержанны записи. По поводу состояния каталепсии только один абзац: *«Последний опыт дал мне способность узнавать мысли любого человека, стоит только сосредоточить на нем внимание. Проверил на Софье, она как раз в это время кончала письмо управляющему. Я мог просто прочесть письмо, но не сделал этого, я был там, подле нее, и все ее мысли — не только те, что попали в письмо, — узнал совершенно естественно, как если бы она сама поделилась ими со мной».*

Какими бы поразительными ни были опыты, доктор Зерленди не придавал им самодовлеющего значения. *«Того же результата можно достичь и без излишне строгой аскезы, одной только максимальной умственной концентрации. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не разуму современного человека совершать подобные усилия. Он разбрасывается, он*

постоянно рассеян. Аскеза нужна не для того, чтобы разбудить в себе оккультные силы, а чтобы не пасть их добычей. Испытание неведомых состояний сознания может быть настолько соблазнительным, что есть риск убить на них всю жизнь, так и не дойдя до цели. Это новый мир, но он остается миром. Ограничиться исследованием его, не пытаясь выйти за его пределы (как я попытался выйти за пределы мира бдения), — все равно что, уча новый язык, приняться читать все книги, написанные на нем, отказавшись от изучения других языков».

Я не смог уточнить, как далеко продвинулся доктор в практике йоги при начале своего дневника. Почти двадцать страниц, датированные 10, 12 и 13 января 1908 года, в расчете на возможного читателя содержат краткое резюме предварительных этапов его продвижения, но не уточняют, до какой ступени он дошел. Много раз упоминается пресловутый Ж. Э.

«...В этом и была смертельная ошибка Ж. Э., — пишет доктор в одном месте. — Он не осознал ирреальность феноменов, которые открыл в спектральном мире, и решил, что это крайний предел, какого может достигнуть человеческий дух. Он придал своему опыту абсолютную ценность, тогда как на самом деле это была промежуточная стадия. Здесь, я думаю, причина его паралича. Хонигбергера удалось, вероятно, реактивировать у него определенные центры, но не более того. Амнезия была необратимой».

Темный пассаж. Возможно, этот Ж. Э. не сумел до конца овладеть своим сознанием и пал жертвой собственных открытий в надреальном мире. Все индийские трактаты по оккультизму считают космические уровни, на которые проникает аскет с помощью йоги, столь же иллюзорными, что и космос, доступный каждому человеку в нормальных условиях. С другой стороны, я не понимаю, о реактивации каких центров идет речь — нервных или оккультных, известных йогической и тому подобным традициям. В любом случае похоже, что несчастный Ж. Э. под прямым влиянием Хонигбергера попытался примерить на себя какую-то йогическую практику и это плохо кончилось — то ли по причине, названной доктором Зерленди, то ли по причине его конституции, не подходящей для подобной практики.

«Получилось!.. — отмечает доктор Зерленди ниже, говоря не более не менее как о проекции сознания вовне из состояния каталепсии. — Поскольку мой сенсорный склад исключительно азиатского образца. (?) Не думаю, чтобы это получилось у европейца. Они чувствуют свое тело в лучшем случае до диафрагмы, не ниже, да и то достаточно редко, а, как пра-

вило, чувствуют только голову — теперь я это знаю, теперь, когда я вижу их так, как они себя никогда не видят, когда от меня не укроется ничего».

Еще одна криптограмма. Можно предположить, что выражение «сенсорный склад азиатского образца» относится к восприятию собственного тела, которое варьируется от расы к расе. Мне известно, например, что восточный человек иначе ощущает свое тело, чем мы, европейцы. Чужое прикосновение к его ноге или плечу — для него такое же насилие, как для нас, когда нам зажимают глаза или рот. Что касается «ощущения тела ниже диафрагмы», это скорее всего обозначает неспособность западного человека к целостному восприятию своего тела. В самом деле, считанные единицы из нас могут похвастаться тем, что чувствуют тело как целое. Большинство чувствуют себя «по частям» — голову, сердце, — и то лишь в определенных обстоятельствах. Попробуйте, например, хотя бы в позиции полного покоя, когда лежите в постели, ощутить свои ноги — вы увидите, какая это трудная штука.

«Я достаточно легко соединил оба потока (?) у ступней, — продолжает доктор описание опыта, — и в ту же минуту обрел уверенность, что замкнулся, стал сферой, что теперь я — непробиваемый и абсолютно непроницаемый шар. Ощущение полной автономии и неуязвимости. Мифы о первочеловеке, замысленном в форме сферы, естественно проистекают из этого опыта соединения потоков».

Не осмелюсь утверждать, что потоки, о которых идет речь, соответствуют негативному и позитивному потокам в терминах европейской оккультной терапевтики. Скорее доктор имеет в виду ту пару флюидов весьма трудно определимой природы, которые, по индийским оккультным представлениям, пронизывают человеческое тело и которые в тантрах и йогических доктринах соотносятся с луной и солнцем. Но, повторяю, ничего определенного я утверждать не смею, поскольку лишь фрагментарно знаком с этапами эксперимента, который предпринял доктор.

VII

На протяжении февраля, марта и апреля 1908 года интервалы между записями доктора Зерленди увеличиваются. Да и эти немногие страницы больше похожи на шифровку и относятся к опытам преды-

дущих месяцев. Интерес доктора к ведению дневника заметно падает. Если раньше он старался как можно полнее описывать свои ощущения во время опытов, то теперь описание перестало его занимать. То ли он решил, что такие вещи все равно недоступны пониманию возможного читателя, которому они попадутся на глаза, то ли настолько отошел от нашего мира, что пропала потребность делиться знанием. Так или иначе, за три месяца он считанные разы делает записи, относящиеся непосредственно к опыту того же дня. В основном записывает прошлые опыты. Похоже, его открытия были слишком захватывающими, чтобы вести их регулярный учет. Особенно при переходе к новому опыту — он бывал так им поглощен, что делал соответствующую запись лишь много позже, и то весьма кратко.

«На рассвете практиковал муктасану, результаты — так себе», — записывает он в апреле.

Мне понадобилось бы несколько страниц, чтобы расшифровать фразу об этой асане, и я не стану даже пытаться, поскольку тетради доктора Зерленди изобилуют техническими указаниями относительно того или иного положения тела во время йогической медитации, относительно дыхательных упражнений или физиологии аскетизма. Тем более что кое-какие комментарии к подобной практике я включил в свою книгу о йоге и не хочу перегружать ими эту историю.

Ближе к концу апреля 1908 года интерес доктора к дневнику снова оживляется. Беглые и чисто технические заметки сменяются наконец-то более подробными пассажами.

«Среди прочих наиглавнейших вещей, которые Хонигбергер открыл Ж. Э., было и существование Шамбалы, мифической страны, по преданию располагающейся где-то на севере Индии и куда могут попасть только посвященные. Ж. Э. до того, как потерять рассудок, считал, что этот невидимый край может все же быть доступен и другим, — я нашел в Яссах листок с именами двух иезуитов, Стефана Качеллы и Жоана Кабрала, по его утверждению, побывавших в Шамбале. Мне удалось не без труда достать книги этих двух миссионеров, и я пришел к выводу, что Ж. Э. выдает желаемое за действительное. Качелла и Кабрал — в самом деле первые европейцы, которые проводили про Шамбалу и упоминают о ней. Находясь в Бхутане и ища дорогу на Катай, они узнали о том, что есть такая волшебная страна — где-то к северу, по словам местных жителей. На по-

иски ее они и отправились в 1627 году, но добрались только до Тибета, не обнаружив, конечно, никакой Шамбалы. В отличие от Ж. Э. я, прочтя о ней у Хонигбергера, подумал, что она и не может отождествляться с какой-то территорией, географически закрепленной в центре Азии. Я припомнил и Агартху из индийских легенд, и «белые острова» из буддийской и брахманской мифологии. Я никогда не встречал ни одного индийского текста, где бы утверждалось, что в эти волшебные места можно проникнуть иначе, чем с помощью сверхъестественных сил. Все свидетельства говорят о «полете» Будды или других посвященных в эти края, скрытые от глаз профанов. А «полет», как известно, на языке символов и тайн означает способность человека трансцендировать мир чувств и, следовательно, получать доступ в невидимые миры. Все, что я знал о Хонигбергере, давало основание полагать, что он проник в Шамбалу благодаря своей йогической технике — к 1858 году он преуспел в ней на диво, — но что миссию, которой он, возможно, был облечен, ему завершить не удалось. Другого объяснения, почему он не задержался в Индии и почему вскоре после возвращения умер, оставив документ столь большой важности на руках впавшего в безумие юнца Ж. Э., я не нахожу...

Как сжималось мое сердце, когда я читал эту страницу! Сколько воспоминаний всколыхнули посреди ночной глуши два эти слова: Шамбала и Агартха! Ведь и я однажды отправлялся на поиски невидимой страны в решимости не возвращаться в мир, пока не познаю ее. Открылась старая рана, которую я давно считал зажившей, и я припомнил месяцы, проведенные в Гималаях близ их границы с Тибетом, при святом Бхадринатском тракте, где я спрашивал всякого встречного-поперечного, отшельника и схимника, не слышал ли он что про Шамбалу, не знает ли кого, кто владеет этой тайной. И если бы я остался в моей хижине на левом берегу Ганга, в моем скрытом джунглями убежище, о котором я думаю не иначе как о потерянном рае, может быть, там меня и настигла бы разгадка тайны, может быть, после долгих лет приутождений и упорных попыток я бы нащупал путь, ведущий в невидимую страну. Но мне на роду было написано лишь до самой смерти лелеять ее в своих печалях и не узнать никогда...

Гораздо острее терзания того, кто свернул с полдороги, а потом узнал, что дорога была верной. Записки доктора Зерленди укрепили мои подозрения, ибо все, что последовало, происходило точно так, как долж-

но было происходить, по моим представлениям, с тем, кто посвятил себя поискам Шамбалы.

«Я всегда держал в уме живой образ невидимой страны, куда проник Хонигбергер. По сути дела, я знал, что эта страна невидима только для глаз профана. А точнее, что речь идет о стране отнюдь не географической, то есть доступ туда открывается лишь после тщательной и суровой духовной подготовки. Я представлял себе Шамбалу, скрытую от человеческих глаз не Бог знает какими природными препятствиями: высокими горами или глубокими водами,— а тем пространством, часть которого она составляет, пространством, качественно отличным от профанного. Уже первые йогические упражнения утвердили меня в этой вере, потому что я увидел, насколько пространство йогического опыта отличается от пространства других человеческих знаний. Я даже начал было, вот в этой тетради, подробно описывать упражнения, но скоро понял, что они неопишутся. Тот, кто выполнял их, согласится со мной. И все же я продолжаю свои записки, поскольку время от времени необходимо подтверждать старую истину, в которую сегодня никто не верит. Сам Хонигбергер, как я полагаю, вернул себя из, Шамбалы, с тем чтобы попытаться возродить на Западе средневековые центры инициации, пребывающие там в прозябании. Тому подтверждение — его внезапная смерть: либо он вообще не знал, каким образом выполнить свою миссию, либо с самого начала совершил промах, потому и умер при столь таинственных обстоятельствах. Что касается меня, то хотя определенности в результатах пока нет, но есть некое незримое влияние — некто ведет меня и направляет, и от этого крепнет вера, что в конце концов я добыю свое».

Больше о «незримом влиянии» доктор Зерленди не говорит. Однако о нем достаточно говорит оккультная традиция, особенно восточная, и все последующее дает мне основания думать, что не иллюзия владела доктором, когда он упоминал об этом «некто». Ибо его совершенствование в йоге скоро набирает стремительный темп. Лето 1908 года он проводит, уединившись в одном из родовых имений, а затем, по возвращении в Бухарест, кратко излагает на бумаге некоторые свои опыты. Иные из них вполне воспроизводимы. Например, он пишет о том, как он видит мир во время некоторых медитаций: мир, где все наоборот, то есть все предметы отвергают свою сущность. Так, прочное кажется хрупким, хруп-

кое — прочным; пустоты представляются наполненными, а все плотное, густое производит впечатление вакуума. Далее без всяких уточнений доктор Зерленди роняет фразу о том, что мир — в его совокупности — он видел, цитирую по рукописи, *«полной противоположностью тому, как видит его человек, когда не спит»*. Правда, это выражение в точности совпадает с формулами мистиков и ритуальных книг, где всегда говорится об ином мире, или мире, познаваемом в экстазе, как о *«полной противоположности»* тому, что мы видим глазами своей телесности.

Столь же причудливо свидетельство доктора насчет возвращения в видимый мир после долгой медитации.

«Сначала у меня было ощущение, что я не держу равновесия и упаду при первом же шаге. Пропала нормальная уверенность, как будто мне предстояло снова адаптироваться в трехмерном пространстве. Поэтому я долго не смел шевельнуться, а лежал, как камень, ожидая, что произойдет чудо и ко мне возвратится уверенность, потерянная во время транса. Теперь я понимаю, почему святые после экстаза целыми часами и даже сутками остаются без движения, словно их дух еще не отпустило божественное».

Под датой 11 сентября 1908 года записано:

«...три раза испробовал каталептический транс. Первый раз 12 часов, второй и третий — по 36. Говорил леснику, что ухожу в усадьбу, а сам запирался в своей комнате, зная, что теперь меня никто не потревожит. Впервые смог проверить на себе выход из времени: дух оставался в действии, но тело в течении времени не участвовало. Прежде чем войти в транс, я брился, и через 36 часов мое лицо оставалось точно таким же гладким. Иначе и быть не могло, потому что человек испытывает время через свой дыхательный ритм. Между вдохом и выдохом проходит определенное число секунд: жизнь и время совпадают. Мой первый каталептический транс начался в 10 утра и кончился в 10 вечера; во все это время мое тело пребывало в том состоянии, которое называют иногда видимой смертью, без малейших признаков дыхания. То есть вдох, сделанный в 10 утра, перешел в выдох в 10 вечера, и мое тело, таким образом, было изъято из времени. Для него 12 часов свелись к нескольким секундам, потраченным на долгий утренний вдох и медленный выдох, предшествующий пробуждению. Я прожил, по человеческим меркам, только половину тех суток. За 24 часа мое тело состарилось лишь на 12, жизнь приостановилась, не повредив при этом организму».

Опыт, проделанный доктором Зерленди, в сущности, достаточно популярен, хотя до сих пор изучен недостаточно. «Видимая смерть», вокруг которой было столько шума во времена Хонигбергера, — это, кажется, в самом деле выпадение из времени. Только так можно объяснить, почему после десяти- или стодневного транса человек сохраняет прежний вес тела и свежевыбритое лицо. Но это состояния, которые категорически превосходят повседневные, и о них мы просто не можем иметь ни малейшего представления. Никакая самая раскованная фантазия адекватно не воспроизведет подобный «выход из времени». Указания, которые мы встречаем у некоторых святых или в восточных оккультных книгах, нашему пониманию недоступны. Я лично собрал целую коллекцию подобных свидетельств, изложенных по большей части в аллегорических выражениях, и они остаются для меня тайной за семью печатями. Только смерть принесет — иным из нас — собственное знание проблемы.

«Вот что меня по-прежнему изумляет: люди проходят мимо этого опыта! Самые видные из ученых довольствуются тем, что просто отвергают подлинность подобных экспериментов — пусть при них присутствуют сотни свидетелей, — предпочитая оставаться на своих ретроградных позициях. Это все равно что признавать передвижение по воде только вплавать и отвергать возможность пересечь море лишь на том основании, что не признаешь лодок».

VIII

С сентября 1908 года дневник на четыре месяца прерывается. Записи возобновляются в начале января 1909-го. Они настолько «техничны», что воспроизводить их здесь бесполезно. Это просто-напросто изложение метафизических принципов и практических приемов йоги, изложение отрывочное, порой на вид бессмысленное.

«26 января. Опыт темноты. Каждую букву сначала».

Тут, без сомнения, ссылка на предыдущие эксперименты, возможно, на медитацию вокруг звуков и букв, так называемую мантра-йогу, хотя прямых указаний на то нет. Но что такое «опыты темноты»? Ниже:

«5 февраля. Произвел над телом самьяму. Это невероятно, и все же так оно и есть».

Фраза имела бы смысл, если бы доктор ссылался на текст Патанджали, где говорится, что, совершив над своим телом самайму, йог становится невидимым для чужих глаз. Самамой Патанджали называет три последние ступени совершенствования в йоге, о которых не место здесь рассуждать. Все же мне трудно поверить, что доктору удалось это чудо еще 5 февраля 1909 года. Как же тогда объяснить его удивление много месяцев спустя? Как объяснить эти последующие 18 месяцев, о которых мы хотя и знаем слишком мало, но все же знаем, что они ушли у доктора именно на приобретение способности делаться невидимым?

Впрочем, понимать текст становится все сложнее. И к тому же объяснить для себя его противоречия.

«Март. Перечел кое-что из Упанишад. Изумительный прогресс в понимании оригинала».

Как прикажете трактовать подобное признание? Когда человек достиг того, чего достиг он, что может дать чтение Упанишад в оригинале? И потом — какой смысл могло иметь изучение санскрита для того, кто уже усвоил нечто большее, чем сухая наука? Разве что он свернул на время с дороги или решил растянуть свое продвижение в йоге под тем «влиянием», о котором предпочитает умалчивать. А может, тут дело в другом подходе к тексту — не «книжном», когда читают и размышляют над смыслом, но чисто индийском, когда мистическое знание добывают одним только точным произнесением священных слов, через которое открывается Логос. Действительно, в одном месте доктор вскользь упоминает о каких-то упражнениях по «мысленному произнесению» священного индийского текста. А в начале лета он пишет о подтверждении «мистических букв» определенными состояниями «разреженного сознания» (которое правильнее было бы назвать «сверхсознанием»).

К тому же периоду относится свидетельство об усвоении «оккультного зрения» благодаря «реактивации третьего глаза». Я знал по мифологии и мистическим учениям Азии, что тот, у кого открылось третье око между бровей, получает способность видеть на необозримые расстояния. Сведения об этом «оке Шивы», как его называют индийцы, Впрочем, довольно противоречивы и в любом случае крайне невняты для человека несведущего. Одни говорят, что «око Шивы» ориентирует в пространстве и является как бы шестым чувством, другие — и их большинство — утверждают, что новое зрение, обретаемое посвященным, не имеет ниче-

го общего с миром форм и иллюзий, а относится исключительно к миру духовному. «Око Шивы» позволяет непосредственно созерцать духовный мир, то есть дает доступ к сверхчувственному измерению. Однако доктор Зерленди предпочитает не распространяться на эту тему. Не может — или не волен?..

Снова следует интервал, долгое молчание, границы которого я даже не могу уточнить, поскольку возобновившиеся записи не датированы. К тому же они почти не поддаются расшифровке. Разве что место о «безличном сознании», если исходить из следующего отрывка:

«Самое трудное, а лучше сказать, недоступное ныне для западного человека есть безличное сознание. За несколько последних столетий только считанное число мистиков обрели его. Все митарства, которые претерпевает человек после смерти, все эти муки ада и чистилища, на которые обречены души умерших, происходят из неспособности человека обзавестись при жизни безличным сознанием. Драма души после смерти и наждачная чистка, которой она подвергается,— всего лишь этапы мучительного перехода от личностного сознания к безличному...»

Следующая страница тетради вырвана. Затем идет запись от 7 января 1910 года.

«Может быть, я был наказан за свою нетерпеливость. Но я думал, что мне дозволено самому творить свою судьбу. Я уже не так молод. Смерти я не боюсь, ведь я достаточно хорошо знаю ту нить, которой должен держаться. Но я думал, что надо спешить, ибо здесь, где я сейчас, моя помощь уже никому не нужна, а там мне предстоит еще многому научиться».

Через несколько дней:

«Теперь я знаю дорогу в Шамбалу. Знаю, как туда попасть. Более того: совсем недавно туда проникли еще три человека с нашего континента. Они пришли туда поодиночке, каждый — своим способом. Голландец добрался, даже не скрывая своего имени, до Коломбо. Я знаю это из своих долгих трансов, когда вижу Шамбалу во всем ее величии, вижу это зеленое чудо среди покрытых снегом гор, эти диковинные дома, этих людей без возраста, которые так скупно обмениваются словами, но понимают мысли друг друга. Если бы не они, не их молитва за нас всех, не их мысль о нас всех, континент давно расштатили бы, сотрясли сатанинские силы, гуляющие на воле со времен Ренессанса. Или судьба Европы предрешена и ничего нельзя сде-

латя для этого мира, ставшего добычей темных сил, которые тянут его, без его ведома, в пропасть? Опасаюсь, что Европу ожидает участь Атлантиды и что она скоро сгинет, погрузится в воды. Если бы человечество знало, что только духовной силой, эманацией Шамбалы отодвигается со дня на день это трагическое смещение земной оси, случающееся в геологии и грозящее обрушить наш мир в пучину вод, а вместо него образовать новый, уже без нас...»

Страх перед трагическим концом нашего континента проскальзывает в разных местах дневника. Такое впечатление, что доктор все яснее прозревает серию катаклизмов, которые разразятся над Европой.

Все это совпадает с теми многочисленными пророчествами, более или менее апокалиптическими, относительно калиюги — смутного времени, к концу которого мы приближаемся семимильными шагами. По всей Азии ходят легенды — в самых разных вариантах — о неизбежном конце света. Доктор Зерленди упоминает о «смещении земной оси», которое стало бы непосредственной причиной катастрофы. Насколько я понимаю, катастрофы сейсмической, невиданных масштабов, от которой иные континенты затонули бы или изменили свои нынешние очертания, а из вод выступили бы новые. Неоднократное упоминание об Атлантиде доказывает, что он считал ее существование реальностью и ее исчезновение как континента связывал с духовной деградацией ее жителей. Стоит подчеркнуть в его трагических предсказаниях и то, что они делались за несколько лет до первой мировой войны, когда человечество еще убаюкивала иллюзия бесконечного прогресса.

11 мая 1910 года доктор вдруг возобновляет йогические упражнения, дающие невидимость телу. Нетрудно понять, почему я не привожу здесь его ошеломляющих свидетельств. Чувство, похожее на панику, владело мной, когда я читал эти записи доктора Зерленди. До тех пор мне попадало в руки немало документов разной степени достоверности, подтверждающих этот чудесный феномен, но никогда вещи не назывались так открыто своими именами. Когда я приступал к рассказу, я еще колебался, переписывать или нет эту ввергающую в трепет страницу. Но недели мучительных раздумий привели меня к выводу, что ее надо опустить. Те, кто понимает, что такое «самьяма над собственным телом», будут знать, где искать объяснения, — эта мысль меня утешает.

IX

И все же игры с невидимостью, кажется, были не столь уж невинны. Усилие, затрачиваемое на то, чтобы сделать свое тело невидимым для чьих бы то ни было глаз, *убрать его с вида*, производило такое потрясение в организме доктора, что после он по многу часов лежал без чувств.

«Возможно, я не стану прибегать к этому средству, чтобы войти в Шамбалу,— записывает он в иконе 1910-го. — Время моего окончательного ухода близится, но я еще не знаю, хватит ли мне сил уйти неувиденным».

И далее, в том же месяце:

«Иногда мне страшно, какие силы я в себе сконцентрировал. Моя воля не знает сомнений, но контролировать всю эту мощь, которая до сих пор помогала мне проникать в невидимые миры, бывает трудно. Сегодня утром, во время медитации, я вдруг почувствовал, как атмосфера разрежается, а мое тело стремительно теряет вес. Вовсе того не желая, я поднялся на воздух и, хотя пытался удерживаться руками за предметы, скоро почувствовал, что касаюсь теменем потолка. Самым пугающим в этом происшествии было то, что левитация произошла помимо моей воли, лишь игрой сил, раскрепощенных духовным упражнением. Я чуть не потерял контроль над собой, а ведь единственный миг рассеянности стоил бы мне падения с высоты». Я слышал о таких случаях: при развитии оккультных способностей есть риск потерять бразды правления над собой и пасть жертвой магических сил, высвобождаемых собственной же медитацией. Мне говорили в Хардваре, что самые серьезные опасности подстерегают йога не в начале, а в конце, когда он овладевает поистине разрушительной мощью. Впрочем, по мифам мы знаем, что чем ближе к Богу, тем ниже падение. Тщеславие есть тоже форма темных, люциферических сил, которые человек развязывает в себе через самоусовершенствование и которые в конце концов могут его же раздавить.

Ниже, 16 августа:

«Полная отрешенность от мира. Единственная мысль вызывает во мне дрожь желания: Шамбала. Не хочу делать никаких приготовлений перед уходом. Завещание написано еще в тот год, когда родилась Смаранда. Не прибавлю к нему ни строчки — они не должны ничего заподозрить».

Затем, вероятно в тот же день, доктор наскоро набрасывает:

«Бог знает кому попадет в руки эта тетрадь, ее вполне могут уничтожить, ничего не подозревая. Попытки запечатлеть такой из ряда вон выходящий опыт пойдут прахом. Но сожалений нет...» Далее идет стертая строчка, которую мне удалось частично восстановить: *«Если тот, кто прочтет и разберется... попробует использовать... серьезные... трудно даже предсказать...»*

На пороге ухода доктор, очевидно, собирался дать какие-то советы возможному читателю, напомнив при этом о риске, которому тот подвергнется в случае опрометчивого раскрытия тайны. Не понимаю, что заставило его взять назад свои советы и стереть начатую фразу. Все же я решил уважать его волю и самую важную часть его признаний не разгласил.

«19 августа. Я снова проснулся невидимым. Обнаружив это, пришел в ужас, потому что никаких усилий к тому не приложил. Несколько часов я расхаживал по двору, пока случайно не понял, что невидим. Слуги проходили мимо, не обращая на меня никакого внимания. Сначала я думал, что это они просто по небрежности, но потом заметил, что не отбрасывают тени. Тогда я пошел следом за одним работником, направлявшимся к конюшням. Он будто чувствовал позади себя что-то нечистое, потому что все время в беспокойстве оглядывался и в конце концов, осенив себя крестным знаменем, пустился бегом. При всех своих стараниях я сумел стать видимым только к полуночи, когда очнулся, совершенно разбитый, в постели. Я думаю, этот страшный упадок сил был вызван как раз моими усилиями прекратить невидимость — потому что впал я в нее случайно, помимо воли и совершенно безотчетно...»

Это последняя подробная запись в дневнике доктора. Однако дальнейшее не менее поразительно:

«12 сентября. С позапрошлой ночи я уже не могу вернуться. Пишу на чердачной лестнице, прихватив карандаш и тетрадь, которую потом запрячу среди других, с санскритскими упражнениями. Лишь бы только не заблудиться по дороге в Шамбалу...»

Эта запись сделана через два дня после исчезновения доктора. Если бы кто-то мог тогда же, по свежим следам, расшифровать рукопись и прочесть последнюю страницу, он узнал бы, что доктор Зерленди все еще находится в доме, совсем рядом с семьей.

На третий день, собравшись вернуть тетрадь и от корки до корки прочесть ее г-же Зерленди, я отправился на улицу С. Мне открыла старая служанка.

— Барыня хворают,— объявила она.— А молодая барыня уехали в Париж!

— Как это, вот так сразу — в Париж? — опешил я.

— А так ее милости было угодно,— отвечала служанка, не глядя мне в глаза и явно не намереваясь вступать в откровенности.

Я оставил свою визитную карточку и сказал, что наведаюсь на днях, узнать, как здоровье хозяйки, но сумел выбраться лишь через неделю. Калитка оказалась заперта, и мне пришлось долго трясти ее и нажимать на ржавую кнопку звонка, пока не вышла служанка. Она нехотя проковыляла по дорожке через сад, в котором как-то внезапно, словно за одну ночь, опали последние цветы, и ворчливо сказала:

— Барыня уехали в деревню.

А уже показав мне спину, обернулась и добавила:

— И когда возвернутся, не сказывали...

Я приходил еще много раз — и той осенью, и зимой: калитка всегда была заперта, и в лучшем случае, если служанка вообще удосуживалась выйти ко мне, я слышал грубое: «Нету их дома...» Я слал г-же Зерленди письмо за письмом, но не получал ни ответа, ни подтверждения, что они получены. Я терялся в догадках. Никким образом г-жа Зерленди не могла проведать, что я нашел и забрал с собой дневник ее мужа. Никто, я голову бы дал на отсечение, не видел, как я прятал его под полу пиджака. Даже если за мной шпионили и подглядывали в замочную скважину, все равно разоблачить меня было невозможно, поскольку я сидел спиной к двери, зарывшись в кипу тетрадей.

В конце февраля 1935 года, проходя мимо знакомого дома на улице С. и заметив, что калитка открыта, я вошел. Признаюсь, на кнопку звонка я нажимал с бьющимся сердцем, ожидая явления все той же угрюмой старухи, но, на мое удивление, дверь открыла молодая горничная. Я спросил, дома ли кто-нибудь из хозяев. «Все дома»,— был ответ. Я подал свою визитную карточку и вошел в салон. Несколько минут спустя отворилась дверь из спальни и передо мной предстала Смаранда. Ее было не узнать: она казалась помолодевшей лет на десять, со вкусом подкрашена и волосы другого цвета. Прежде чем протянуть мне руку, она еще раз бросила

взгляд на мою визитную карточку. Притворство удавалось ей на славу. Она назвала себя, как будто мы не были знакомы, и спросила:

— Чему обязаны вашим визитом?

Мне пришлось напомнить, что я некоторое время работал в библиотеке доктора Зерленди, что, собственно, его супруга сама пригласила меня изучить архив мужа и что с ней, Смарандой, мы тоже знакомы.

— Тут, вероятно, какое-то недоразумение, — улыбнувшись, ответила она. — Я уверена, что мне вас никогда не представляли. В здешнем обществе у меня очень мало знакомых, и я бы вас запомнила, если не по имени, то по внешности...

— Однако госпожа Зерленди уж точно хорошо меня знает. Я несколько недель подряд проработал в вашей библиотеке, — настойчиво сказал я, указывая на массивную дубовую дверь.

Смаранда проследила мой жест в изумлении, словно не веря глазам.

— То, что вы говорите, действительно странно, — сказала она, — потому что здесь на самом деле была когда-то библиотека моего отца. Но это было много, очень много лет назад. Во время оккупации нам не удалось ее сохранить, а библиотека была ценнейшая...

От растерянности я засмеялся, потом, после долгой паузы, возразил:

— Мне очень трудно поверить в то, что вы говорите. — При этом я смотрел ей прямо в глаза, давая понять, что разгадал ее игру. — Каких-нибудь пару месяцев назад, не более, я работал в этой библиотеке. Я изучил ее полка за полкой и могу на память сказать, что где стоит...

Не дав мне продолжать, Смаранда быстро пошла к двери в спальню и позвала:

— Мама, можно тебя на минутку?

Г-жа Зерленди вышла, держа за руку маленького мальчика. Я низко поклонился, но по ее глазам понял, что она тоже не хочет меня признавать.

— Этот господин утверждает, что он якобы несколько месяцев назад работал в библиотеке, — сказала Смаранда, указывая на дубовую дверь.

Г-жа Зерленди взглянула на меня с видом оскорбленного достоинства и, погладив мальчика по головке, отослала его:

— Поди поиграй, Ханс.

— Но вы же сами написали мне, вы сами ввели меня в эту библиотеку! — взорвался я. — И попросили закончить биографию доктора Хонигбергера, которую начал ваш муж!

Г-жа Зерленди переводила изумленный взгляд с меня на Смаранду. Надо отдать ей должное, она тоже притворялась мастерски, и я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.

— Мой первый муж, доктор Зерленди, в самом деле занимался жизнеописанием какого-то медика с немецким именем, — сказала она, — но, честное слово, сударь, имени его я не помню. Мой первый муж умер двадцать пять лет назад, а библиотека утрачена в войну...

И поскольку я стоял столбом, не в силах оторвать глаз от двери, которую я столько раз открывал всего пару месяцев назад, г-жа Зерленди добавила:

— Смаранда, покажи гостю комнату...

Я машинально последовал за ней и замер на пороге, ошеломленный тем, что увидел. Только канделябры и шторы остались прежними, но ни письменного стола, ни книжных шкафов, ни большого ковра — ничего этого не было. Зал принял вид гостиной: пара чайных столиков, ломберный, несколько кушеток, шкуры перед камином. Довольно потертые обои оголенных стен скрашивались лишь картинами и образцами старинного оружия. Деревянная галерея, опоясывавшая стены, исчезла. Я попятился в полном замешательстве и закрыл за собой дверь.

— Вы правы, — пробормотал я. — Библиотеки нет. Если бы я по крайней мере знал, кто ее купил. Мне хотелось бы подробнее заняться Хонигбергером...

— Но, сударь, — возразила г-жа Зерленди, — библиотеку распродали почти двадцать лет назад...

— Самое главное все же — это то, что вы меня не узнаете, — сказал я, пытаюсь улыбнуться.

Мне показалось, что рука г-жи Зерленди чуть-чуть дрожит, но не могу утверждать этого наверняка.

— Представьте же себе и наше удивление, сударь, — вмешалась Смаранда. — По меньшей мере странно, чтобы кто-то помнил комнату, в которой два десятка лет назад была библиотека, тем более что в нее, сколько я знаю, и тогда-то никто из посторонних не заходил...

Пора было откланяться. Я понимал, что по неизвестным мне причинам ни та, ни другая из дам не хотят меня узнавать. Уж не под действием ли незримого влияния, идущего из иных пределов?

— Интересно, узнает ли меня хотя бы служанка, старая хромая слу-

жанка, уж с ней-то я последнее время говорил много раз? — решился спросить я на прощание.

Г-жа Зерленди испуганно обернулась к Смаранде.

— Это он об Арнике...

— Много раз? Последнее время? — воскликнула Смаранда. — Да она пятнадцать лет как умерла!

Я почувствовал, что схожу с ума, глаза заволокло пеленой. Задержись я здесь еще на несколько минут, я рухнул бы у их ног без чувств. Пробормотав что-то вроде извинения и стараясь не поднимать глаз, я вышел. Мне пришлось долго блуждать по улицам, пока голове не полегчало, пока передо мной не забрезжил смысл этого ошеломляющего случая. Но я не посмел ни с кем поделиться. Не будет признаний и в этом рассказе. Моя жизнь и так подверглась опасности из-за прикосновения к тайнам, в которых заставила меня разбираться г-жа Зерленди, не имея на то позволения доктора...

Несколько месяцев спустя после описанных выше событий ноги снова привели меня на улицу С. Дом под номером 17 сносили. Решетка ограды была уже местами выломана, прудик завален плитами дорожки и всяким барахлом. Я долго стоял, карауля, не появится ли кто из домашних, не объяснится ли как-то их загадочное поведение. Но по двору сновали только рабочие и распорядитель, надзиравший за ними. Наконец я отправился восвояси, почти больной от этой тайны, которая только поманила меня, не раскрывшись до конца. Посреди улицы мне попался мальчик, тот самый, которого при моем последнем посещении выводила за руку из спальни г-жа Зерленди.

— Ханс! — окликнул я его. — Как хорошо, Ханс, что я тебя встретил! Мальчик посмотрел на меня с искусно подделанным удивлением.

— Я никакой не Ханс, — ответил он вполне учтиво. — Я Штефан.

И пошел своей дорогой, не оборачиваясь, со скучающим видом ребенка, который не нашел себе товарища для игры.



I

Никогда не забуду ночей, проведенных в обществе Богданова и Ванманена в Серампоре и Титагархе, под Калькуттой. Богданов, еще при царе десять лет прослуживший русским консулом в Тегеране и Кабуле, учил меня персидскому, и мы подружились, несмотря на разницу в возрасте и положении: он — известный ориенталист со множеством солидных публикаций, а я — зеленый юнец, школяр, зато тоже православный. Свою веру Богданов оберегал — как раньше среди мусульман Персии и Афганистана, которых любил, так и теперь среди индусов Бенгала, неприязнь к которым с трудом сдерживал. В отличие от него Ванманен обожал весь индийский мир. Он много лет занимал должности библиотекаря и секретаря Бенгальского азиатского общества, а перед тем — библиотекаря Теософского общества в Адьяре. Этот голландец средних лет приехал в Индию в ранней молодости, страна обворожила его и, как многих других, оставила у себя навсегда. Знаток тибетского языка, он, будучи пассивен и привержен вольготной жизни, опубликовал очень мало. Почти четверть века он вникал в язык исключительно ради собственного удовольствия, не испытывая никакого пиетета перед научными званиями. Жил бобылем и имел склонность, которую предпочитал не афишировать, — к оккультизму.

Как только завершался сезон дождей и спадала жара, мы становились неразлучными. С утра до вечера просиживали мы в библиотеке Азиатского общества на Парк-стрит, я с Богдановым за одним столом, Ван-

манен — в своем кабинете. Богданов делал сверку перевода из Мохамеда Дхары Шикуха, Ванманен заносил в каталог новые поступления тибетских манускриптов, приобретенных обществом в Сиккиме, а я бился над расшифровкой текста «Subbashita Samgraha», знаменитого своими закатами.

Труд товарищей считался у нас делом святым, и, за исключением скупого обмена словами во время перекуров, мы были абсолютно безмолвны. Зато перед закрытием библиотеки мы, все трое, собирались в кабинете у Ванманена и уж там-то отводили душу в беседах, которые кончались иногда поздно ночью.

А калькуттские ночи в разгар осени приобретали ни с чем не сравнимую прелесть. В их воздухе соединялись истома Средиземноморья и звонкость Севера, дыхание вечности, которым пробирают душу моря Востока, и крепкие растительные благовония, исходящие из лона Индии. Я никогда не мог устоять перед чарами этих ночей и еще до того, как сошелся с моими учеными друзьями, любил по вечерам уходить из дому и, случалось, возвращался только под утро.

В то время я жил в северной части Калькутты, на Райпон-стрит, которая примыкает к главной артерии города, Уэлсли-стрит, в непосредственной близости от чисто индийского квартала. Обычно я выходил после ужина и, пройдя по узким улочкам, между скрытых цветущим кустарником стен, оставлял позади виллы местных англичан и проникал в лабиринт туземных лачуг, где жизнь не затихает круглые сутки. К сведению тех, кто не знает: в этом конце Калькутты жители никогда не спят. Двери их хибарок вечно стоят нараспашку, и как бы поздно ты ни возвращался домой, ты застанешь их за работой или за пением, за беседой или за игрой в карты, на пороге или прямо на тротуаре. Это квартал бедноты, и ночное оживление в нем так связано с музыкой, со звуками тамтама, как будто здесь правится вечный праздник. Карбидные лампы бросают вокруг резкий свет, дымок хуки и, сладковатый, опиума вливаются в неповторимый букет запахов индийского квартала: корица, молоко, вареный рис, медовые сласти, вынимаемые из кипящего масла, и всякая другая мешанина, которую невозможно определить и в которой порой, кажется, распознаешь влажность хлеба, терпкость эвкалиптового листа, благовоние масел, приготовленных на аттаре, дуновение ладана от какого-то ночного цветка... Все то же — стоит только удалиться от европеизиро-

ванного центра или от огромных парков, где буйствуют мощные, дурманящие голову испарения джунглей. Все то же, хотя на каждой улочке непременно встречаешь свой оттенок, иногда в резком контрасте с предыдущей композицией, и эта добавка в первый миг бьет в ноздри отчетливо на удивленье.

Для меня, раба калькуттских ночей, готового упиваться разнообразием их магии, чередуя праздничный шум туземных кварталов с полнейшим безлюдьем Озер или необъятного парка на Пустыре, где я забывал, что нахожусь в городе с миллионом и больше жителей, — для моих ночей компания Богданова и Ванманена была находкой. Вначале, пока мы еще не сошлись накоротке, мы ограничивались поздними прогулками по Эленбургскому шоссе, которое широкой полосой пересекает Пустырь. Вскоре мы начали осваивать Озера, откуда возвращались далеко за полночь.

Самым разговорчивым из нас был Ванманен: с одной стороны, он пользовался правом старшего, а с другой — прожил жизнь, богатую со всех точек зрения, и знал Индию, особенно Бенгал, как немногие европейцы. Он-то и пригласил нас однажды, ближе к вечеру, в Серампор, где у его приятеля, Баджа, было так называемое бунгало. Взял автомобиль в Калькуттском клубе, и мы тут же поехали — прямо из библиотеки, без всяких приготовлений.

Серампор и Титагарх, северные пригороды Калькутты, расположены милях в пятнадцати от нее: Серампор — на правом берегу реки Хугли, соединяющей Ганг с Бенгальским заливом, Титагарх — на левом. Два хороших шоссе, одно на Ховру, другое — на Читпур, связывают Калькутту с этими древними поселениями, от которых сегодня немного осталось. Бадж, приятель Ванманена, купил себе дом несколько в стороне от Серампора, где еще сохранились леса.

Дом был старый, его приходилось часто латать, да по-другому и быть не могло в бенгальском климате и в такой близости от джунглей. Это бунгало — как скромно называл его Бадж — напомнило мне, возникнув из-за пальм в наш первый приезд, заброшенные виллы Чандернагора, некогда славной французской колонии тоже в окрестностях Калькутты, — виллы начала прошлого века, за железными решетчатыми оградами, с деревянными беседками, давно заглушенными лесом. Нет ничего более печального, чем прогулка по Чандернагору после захода солнца. Идешь под эвкалиптовыми деревьями, и от руин, еле различи-

мых в полумраке среди неумолимых волн растительности, на тебя накатывает щемящее чувство печали. Нигде нет таких печальных руин, как в Индии, причем светло-печальных, тоже как нигде, потому что сквозь них прорастает, трепещет, жизнь, новая, нежнейшая, пронизанная музыкой трав, лиан, змей и светляков. Я любил блуждать по Чандернагору — там я заставлял останки истории, навсегда отошедшей во всей остальной Индии. Колоритная и драматическая история первых европейских колонистов, французских первопроходцев, по морю обогнувших Африку и часть Индийского полуострова, чтобы вступить в схватку с джунглями, с малярией, со зноем, нигде не вспоминалась мне с такой притягательной грустью, как в Чандернагоре. Здесь я находил старинный пейзаж, окружавший славного пионера джунглей, воображал себе его легендарную жизнь авантюриста, — но все это оборачивалось суетой сует и всяческой суетой в ночи, набальзамированной эвкалиптовым цветом и чуть подсвеченной звездами и светляками.

Бадж купил бунгало у какого-то местного фермера-англичанина вскоре после войны и держал его в основном как убежище, где он мог укрыться, когда дела слишком уж одолевали его в Калькутте. Он был чужак, этот Бадж, старый холостяк, богач, заядлый и сказочно невезучий охотник, невезучесть его стала притчей во языцех, о чем нам первым делом доложил Ванманен.

В тот наш наезд в Серампор мы застали Баджа дома. Он приехал незадолго до нас, намереваясь провести в своем гнездышке пару дней. Мы нашли его на веранде, с толстой сигарой в зубах, вокруг роились москиты, которых он не удостоивал ни малейшим вниманием. Вид у него был усталый, и он еле поднялся нам навстречу, предложив подкрепиться виски со льдом. Затем, пока готовился ужин, мы с Богдановым оставили его и Ванманена беседовать на веранде, а сами пошли осматривать окрестности.

— Поосторожнее там, не вспугните змей! — крикнул нам вслед хозин, когда мы сходили с лестницы.

Змей мы наверняка вспугнули, потому что, не разбирая пути, направились напрямик к опушке пальмовой рощи, где блестела вода. Издали мы не могли разобрать, что там такое, поскольку луна еще не взошла, а при звездах много не разглядишь. Приблизясь, мы обнаружили пруд, довольно большой и поросший лотосами. Подле нас бро-

сала стройную тень на воду кокосовая пальма. Мы отошли всего на несколько сот метров от бунгало, чьи карбидные лампы отсюда казались подернутыми туманом из-за мириад ночных бабочек и эфемерид, — и вдруг оказались на берегу заколдованного озера, так глубока была тишина, столько тайны в воздухе.

— Будем надеяться, что истинный наш Господь и сегодня сохранит нас, — произнес Богданов, садясь на траву.

Я улыбнулся в темноте, прекрасно понимая, что он говорит серьезно. Богданов никогда не упоминал всуе Божьего имени. Я же — то ли не устал, то ли побоялся (был случай, когда после прогулки на лодке я приготовился выпрыгнуть на берег, но приятель удержал меня за руку и палкой убил в подсохшем иле маленькую зеленую змейку, как раз на том месте, куда я должен был ступить ногой), — так или иначе, я предпочел не следовать примеру Богданова и, стоя, прислонился к кокосовой пальме.

— Всегда надеялся, что не встречу на земле с Царь-Змеей, — сказал Богданов, заметив мою осторожность. — Так, кажется, вы ее называете?

«Вы» были для Богданова как изучающие санскрит, так и те, кто говорил на нем по всей Индии.

— Sarparaja, — подтвердил я, — но можно и по-другому: sarpapati, sarparishi, sarpeshvara и так далее. И все это будет ее имя, Царь-Змея, если вам угодно...

— Упаси Господи ее встретить, — подхватил Богданов. — Ни на здешней ядовитой земле, ни в иных пределах, в аду.

Я закурил. Мы надолго смолкли. За нами высилась чуть колышемая неуловимым для нас дуновением ветра пальмовая роща. Когда жесткие листья касались друг друга, можно было подумать, что роща — медная, потому что металлический лязг, от которого по спине пробегали мурашки, никак не вязался с густой атмосферой растительных испарений. Но потом все стихало, и снова неподвижно стояли лес и вода. И как бывает у неподвижной воды, на нас нашло забытье, и мы в оцепенении ждали, когда распустятся лотосы.

— В самом деле дивно! — прошептал наконец Богданов. — Приедем сюда еще...

И мы стали частенько наведываться в бунгало. Баджа мы заставляли не всегда, но Ванманен знал порядки дома, и никогда не случалось, чтобы мы не нашли хороший ужин, виски прямо со льда, сигареты всевозмож-

ных сортов, а если у нас уже не было сил возвращаться обратно в Калькутту — удобные постели с пологом, защищавшим от москитов. Иногда мы садились в лодку и переплывали на другой берег, в Титагарх, где пруды кишели рыбой и раками. На этом берегу Хутли леса были реже — отсюда начинались большие поля риса и сахарного тростника, но воздух был так же душист, ночь — так же таинственна, и мы бродили вдоль реки до изнеможения.

Бадж никогда не приглашал нас с собой на охоту. Раз вечером, приехав без предупреждения, мы застали его только что возвратившимся из джунглей. Вернулся он, понятное дело, с пустыми руками, зато весь пропитанный солнцем, запыленный и жадно пил воду во дворе.

— Птицы попадались все какие-то несъедобные, — сказал он вместо приветствия, как бы оправдываясь.

Но мы провели вместе славный вечер. Ванманен рассказывал о своей дружбе с Ледбитером в те времена, когда тот был активным деятелем Теософского общества, а Бадж — о своих приключениях на Яве, где он начал карьеру промышленника. Мы засиделись за столом до поздней ночи, и только Богданов, которого раздражал свет, рвался к своему любимому месту у пруда. Вдруг Бадж, прервав на полуслове анекдот — который, впрочем, обещал быть длинным и нудным, — воскликнул:

— Никогда не угадаете, кого я только что встретил, когда выходил из леса! Сурена Бозе!

Мы не поверили своим ушам. Что понадобилось в Серампорском лесу, да еще на ночь глядя, Сурену Бозе, почтенному профессору — хотя и самому младшему из коллег, — которого невозможно было себе представить иначе как в стенах университета или у храма в Калигхате, потому что Сурен Бозе строго держался веры предков и даже горделиво подчеркивал это. Он в числе немногих калькуттских профессоров не стеснялся ходить в дхоти и носить на лбу начертанный шафраном знак приверженца шиваизма.

— Вероятно, навещал в Серампоре кого-то из родственников, — сказал Ванманен. — Не приключений же искать он сюда приехал...

И хмыкнул. Но мы его не поддержали. Даже шутка, что такой ревнитель религиозной чистоты может искать приключений ночью, в лесу, звучала кощунственно. А родственников в Серампоре, по утверждению Баджа, у Сурена Бозе не было, поскольку он был родом из Ориссы.

— Впрочем, он сделал вид, что меня не заметил, — добавил Бадж.

Тут я вспомнил, что однажды в университете слышал, как о Сурене Бозе говорили что-то в связи с тантрической практикой. Кажется, он примыкал к этой оккультной школе, о которой ходило — тем более в Индии — столько самых разных легенд. Должен сказать, что я как раз проштудировал *тантру* по ее классическим текстам, но до сих пор не имел дела с людьми, выполняющими ее предписания. К тому же тантрическая инициация предполагала совершение ряда особых ритуалов, тайну которых посвящаемый не смел — или не мог — никому раскрывать.

— Может быть, он выбирал здесь место для тантрических церемоний? — сказал я.

И, поскольку никто не принял всерьез мое предположение, стал настойчиво развивать тему. Я знал из прочитанного, что для некоторых медитаций и ритуалов тантризма нужен зловещий антураж: кладбище или место, где сжигают усопших. Что иногда посвящаемому надо доказать свое самообладание, проведя ночь на человеческом трупе в позе предельной ментальной концентрации. Об этих условиях, как и многих других, от которых нельзя было не содрогнуться, я поведал своим товарищам — уже не столько оправдывая присутствие Сурена Бозе ночью на опушке леса, сколько поддавшись притяжению ужаса, навьим чарам тантрических ритуалов. В конце концов я вообще отвлекся от Бозе и патетически вещал, излагая свое знание предмета, совершенно непостижимого и в то же время безусловно достоверного. Я втайне надеялся, что Ванманен, с его знанием оккультных учений, поддержит дискуссию и оживит ее своей непревзойденной эрудицией. Ванманен, однако, на этот раз только рассеянно кивал.

— Никто ничего определенного не знает про их ритуалы, — сказал он нехотя в ответ на мои подстрекательские речи.

— Что там знать? Бесовские оргии! — вмешался Богданов, который неизменно усматривал в индуизме дело рук дьявола. — Несчастные безумцы — искать спасение души в играх с мертвецами! С нами крестная сила!

— Я что-то не понимаю, при чем тут бедный Сурен Бозе, — напомнил Бадж. — Вернемся лучше к нашим баранам...

Я понял, что дал маху, заговорив среди ночи, вблизи леса, о кладбищах и некрофильских медитациях, и взялся за новую сигарету с фаль-

шиво-покаянной улыбочкой. Честно признаться, меня задело, что мое краткое, но пылкое изложение тантрической практики встретило такой сдержанный прием. Я был тогда очень молод и очень горд теми немногими сведениями о загадочной индийской душе, которых успел набраться. Мне, разумеется, хотелось показать этим ученым мужам, чуть ли не старожилам Индии, что и я кое-что смыслю по части тайн индийских религий.

При всех стараниях Баджа, который продолжил прерванный анекдот, мы не смогли восстановить обычное очарование наших вечеров. По какому-то молчаливому соглашению ни один из нас не хотел ни ложиться спать, ни возвращаться в Калькутту. Напротив, мы дружно налили в стаканы виски — даже Богданов, известный своей воздержанностью, — кое-как дотянули вялый разговор почти до трех ночи и только тогда поднялись из-за стола, чтобы разойтись по комнатам, приготовленным с вечера.

II

Этот эпизод был, разумеется, скоро забыт. Когда несколько вечеров спустя мы снова собрались в Серампор, мои товарищи ни словом о нем не обмолвились. Да и я бы не вспомнил о своей оплошности, если бы вскоре, ясным и на редкость полнозвучным ноябрьским днем, не столкнулся у ворот университета именно с Суреном Бозе. Он всегда выказывал по отношению ко мне симпатию, даже сердечность, то ли потому, что я был единственным румыном на весь университет, то ли потому, что с таким рвением вникал в религии его предков. Он остановил меня и спросил, как идет учеба. Я ответил, что профессора мной довольны, но что сам я часто теряю надежду на благополучное завершение курса. Он улыбнулся и ободряюще похлопал меня по плечу. Тогда я вдруг спросил, нет ли у него друзей в Серампоре, потому что Бадж говорит, что, дескать, видел его там, на окраине городка. У меня язык не повернулся сказать: на краю леса.

— С детства не бывал в Серампоре, — ответил он, не изменившись в лице. — Старина Бадж просто спутал меня с кем-то.

Я пришел в некоторое смущение. Трудно было спутать с кем-то Су-

рена Бозе: такие твердые черты, такой высокий лоб, такие пронзительные глаза — редкость в Бенгале, где мужчины склонны к полноте и все лица одинаково круглы и расплывчаты.

— Тем более что я хожу, как все, — добавил он, посмеиваясь и показывая на свое дхоти. Потом пронзил меня испытующим взглядом. — А с каких это пор ты на дружеской ноге с миллионером?

Я еще больше смутился и, как бы оправдываясь, стал лепетать что-то о наших с Ванманеном и Богдановым вылазках в Серампор — теперь, когда ночи чудо как хороши. Он слушал крайне внимательно, будто каждое мое слово имело для него особый смысл.

— Чудо, а не ночи! — воскликнул я в тщетной попытке выпутаться из сетей его взгляда.

— В самом деле, таких ночей, как в Бенгале, нет нигде, — произнес он задумчиво. — Но если с вами ездит Ванманен, то знай, что его в Серампоре привлекает кое-что иное... Аперитивы вашего хозяина!

Он рассмеялся, словно хотел уверить меня, что отпустил замечательную остроту. Впрочем, все подшучивали таким образом над Ванманеном, потому что его слабость к спиртному была известна всей Калькутте, то есть кругам ученых, снобов и миллионеров, которые он равно посещал без всякой предубежденности.

На этих словах мы расстались, и, встретясь с Ванманеном в библиотеке на Парк-стрит, я первым делом пересказал ему свой разговор с Суреном Бозе. Не понимаю, почему меня так обрадовало, что Бадж, который хвастал своим давним знакомством с этим известным профессором, принял за него какого-то бедного бенгальского крестьянина. Ванманен тоже развеселился. Снял трубку, позвонил Баджу в офис и все ему передал, добавив от себя несколько колкостей, причем называл его, по примеру Бозе, не иначе, как «старина Бадж». Но Бадж был, вероятно, в тот день не в духе, потому что, выслушав его ответ, Ванманен, по инерции улыбаясь, положил трубку.

— Упирается, говорит, что это был Бозе, — сообщил мне. — Говорит, что видел его, как я тебя сейчас. И еще что ему, в сущности, нет дела, был или не был Бозе в Серампоре. И он не понимает, почему это так интересуется библиотекаря одного азиатского общества...

— А также одного очень серьезного студента, — дополнил я, поднимаясь, чтобы идти в читальный зал.

— Да, он прав, какое нам дело, — подвел итог Ванманен. — И я скажу ему об этом лично, когда увижу.

Они увиделись с Баджем в тот же вечер в клубе, где иногда ужинали в большой компании снобов и финансовых воротил. Но я так и не узнал, коснулись они этого вопроса или нет. Когда несколько дней спустя мы снова собрались в Серампор, по дороге у нас было достаточно предметов для обсуждения. Ванманен, например, пытался убедить Богданова, что буддизм как доктрину не так-то легко опровергнуть и что, во всяком случае, он, как ученый, не взялся бы судить о чужой религии с позиций миссионера. При слове «миссионер» Богданов взвился. Этот спор они вели с предыдущками уже лет пять.

— У нас, православных, миссионеров нет, — отрезал он. — Образ мыслей миссионера мне неизвестен. Это ваши затеи, протестантские.

И обернулся ко мне, рассчитывая на поддержку. Но Ванманен не сдался.

— Во-первых, я протестант только наполовину, по отцу, — уточнил он. — Наполовину — католик. Правда, насколько мне известно, у католиков тоже принято миссионерство, уже много столетий... Что скажет наш юноша?

Последний вопрос предназначался мне. Конечно, они были оба по-своему правы, но кончить спор так легко не удалось. Ванманен поставил перед собой цель написать учебник по буддизму для широкого читателя и в дискуссиях с Богдановым пытался нащупать самые простые и точные формулировки. В который раз он втолковывал ему свою интерпретацию «закона двенадцати причин», а машина тем временем везла нас в Серампор. Вдруг Ванманен осекся и сделал шоферу знак притормозить. Впереди нас, метрах в десяти, по обочине шоссе быстрым шагом шел какой-то бенгалец. Не знаю, что показалось Ванманену таким примечательным в этом факте. Еще толком не стемнело, и городок был довольно близко. Правда, бенгалец направлялся к лесу, разве что это насторожило Ванманена. В самом деле, когда машина поравнялась с прохожим, мы все повернули головы и узнали Сурена Бозе. Он шел размашисто, с высоко поднятой головой, и три прочерченные шафраном борозды на лбу были отчетливо видны. Мне даже почудилось, что он на миг скользнул по нам взглядом, никого не узнав. Во всяком случае, не выказал никакого волнения от нежиз-

данной встречи с тремя знакомыми европейцами. И, не сбившись с шага, решительной походкой продолжал свой путь.

— Значит, Бадж все-таки не ошибся, — сказал Ванманен, когда машина снова набрала скорость. — Дело нечистое с этим Суреном Бозе.

Мы еще раз обернулись и увидели, как тот входит в лес. Несколько сот метров — и мы тоже свернули с шоссе налево, к бунгало. В тот вечер за ужином мы не преминули обсудить это происшествие, но только вторым — Бадж остался в Калькутте. Как обычно, сразу по приезде мы распорядились насчет ужина и отправились гулять вокруг пруда. Был канун полнолуния. Лес, курящийся невидимыми испарениями, сразу забрал нас дурманом благовоний — тем крепче, чем дальше мы углублялись в пальмовые заросли. То ли странная встреча с Суреном Бозе, то ли волшебство лунного воздуха подействовали на нас, но мы впали в возбуждение, граничащее со страхом. Тишина стала теперь путающей, все замерло под чарами луны, и стоило шелохнуться ветке, как мы дружно вздрагивали, точно нарушалось что-то в торжественной незыблемости пейзажа.

— Как не потерять рассудок в такую ночь, — шепотом сказал Богданов. — Она слишком хороша, чтобы в ней не таился грех. Человеку не должно знать такой красоты иначе, как в раю. На земле — это дьявольское прельщение... — И добавил как бы про себя: — Тем более на земле индийской.

Мы промолчали. Не хотелось ни говорить, ни думать. Сейчас все было возможно, любое чародейство, сейчас ничто не могло удивить. И когда Ванманен остановил нас, указав рукой на воду, мы были готовы к любому чуду. Осторожно подошли мы к берегу и увидели, как нескончаемые ряды раков выползают из озера и тяжело тащатся по земле, держась друг за дружкой, к вывернутым корням недавно упавшей пальмы.

— Это они так перед полнолунием, — просветил нас Богданов.

III

Несколько часов спустя, вскоре после полуночи, мы собрались в Калькутту. Ужин прошел под знаком меланхолии: Богданов вспомнил, что скоро будет двенадцать лет, как он не ступал на родную землю, а вообще в Азии он уже двадцать два года. Ванманен, напротив,

нисколько не страдал от ностальгии и давно примирился с мыслью, что смерть найдет его здесь, в стране, где он провел две трети жизни. Мне нечего было сказать по существу вопроса — я был гораздо моложе их и обретался в Индии каких-нибудь два года.

— Погоди, еще хлебнешь, — сказал мне Богданов.

Но когда мы садились в машину, Богданов забыл про свою ностальгию. И немудрено: трудно было противостоять красоте этой ночи, когда отступало все земное, все личное. Даже шофера, кажется, пробрало. Ванманен напомнил ему, чтобы не очень гнал, и мы отправились.

Как обычно, ехали с зажженными фарами, хотя светила луна. В машине я сразу одолжился у Богданова сигаретой — он специально заказывал их в Адене, признавая только египетский табак. Я курил, Ванманен развивал — не знаю уж в который раз — теорию о том, как следует вести себя с умными женщинами. Время от времени приходилось, конечно, поддакивать, но думал я о другом. Что-то не то происходило с пейзажем, как будто мы сбились с пути. В самом деле, нам давно уже пора было выехать на шоссе, но дорога длилась, постепенно видоизменяясь. Вот я на секунду закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, а когда открыл, местность было не узнать. Словно мы оказались где-то совсем в другом конце Бенгала, так странно выглядело все вокруг.

— Да где же мы сейчас находимся? — в волнении перебил я Ванманена.

Мои товарищи с не меньшим, чем я, удивлением взглянули на вековые деревья, вставшие по обе стороны дороги.

— По-моему, мы заблудились, — сказал Богданов неожиданно дрогнувшим голосом.

Шофер гнал вперед с подозрительной невозмутимостью. Ванманен окликнул его и спросил на хинди, уж не ошибся ли он дорогой.

— Ошибиться никак невозможно, — отвечал шофер, не оборачиваясь. — От сахиба Баджа другой нету...

Его ответ нас не успокоил. Мы и сами прекрасно знали, что другой дороги, которая вела бы к шоссе, нет. По крайней мере раз тридцать мы проделывали этот путь, но сейчас окрестности были точно не те. В полной растерянности смотрели мы в окна, и у нас сиротливо сжималось сердце от вида этих незнакомых деревьев, все теснее, все зловещее сплетающихся над нами ветви — как силки, как ловушку.

— Наддай! — нервничая, приказал Ванманен шоферу.

Фары зажглись ярче, и мы дружно качнулись вперед, пытаясь как можно дальше проникнуть взглядом в темноту, угадать приближение шоссе. Однако впереди, сколько хватало глаз, тянулась все та же и та же бесконечная незнакомая дорога.

— Лучше вернуться! — решил Богданов. — Езды от бунгало до шоссе пять-шесть минут, а мы едем уже полчаса.

— Поворачивай! — велел Ванманен шоферу.

Тот выбрал место, где можно было развернуться, и без единого слова поехал назад.

— Он пьян, — вполголоса обронил Ванманен.

И хотя говорил он тихо и к тому же по-английски, шофер совершенно впопад тут же откликнулся на хинди:

— В жизни ни капли в рот не брал, сахиб!

Богданов сидел как на иголках, вглядываясь в темноту и осеняя себя крестным знамением.

— Не понимаю, как это может быть, — говорил он. — Если бы мы куда-нибудь не туда свернули сразу от дома, мы бы тут же заехали в лес или угодили в пруд.

— Сейчас увидим, как это может быть, — пробормотал Ванманен.

Я пытался узнать место, где в первый раз заметил, что мы едем не той дорогой, но не мог ухватить взглядом никаких ориентиров. В полном недоумении я раскрыл было рот, чтобы сказать об этом товарищам, и тут где-то очень близко раздался отчаянный вопль. Шофер резко затормозил. Мы, онемев, придвинулись друг к другу.

— Что это было? — спросил я наконец.

— Убили кого-то, кажется. Женщину... — отвечал белый как мел Ванманен.

Но мы не осмелились вылезти из машины. Не знаю, сколько времени провели мы так, оцепенев от ужаса. Мы больше не слышали ничего, кроме урчания мотора, и только он удостоверял, что все происходит на самом деле. Вдруг вопль повторился, теперь уже совсем близко, а вслед за ним — крики о помощи: «Убивают! Убивают! Спасите! На помощь!»

Кричали по-бенгальски, но я достаточно хорошо разбирался в языке, чтобы понять смысл слов. Мы все, кроме шофера, выскочили из машины и, хотя ничего не было видно, побежали на голос. Крики, пока мы

бежали, делались все глуше, но мы как будто различили слово «babago» — отец, — повторенное несколько раз.

Однако бежали мы напрасно: ни людей, ни следов борьбы, никого и ничего не попало нам на глаза. Ванманен, будучи довольно плотного сложения, тяжело пыхтел позади. Богданов хмуро, сжав зубы, вперял взгляд в темноту. Мы решили все-таки продолжить поиски. Но деревья вдруг плотно сомкнулись над нами, мрак стал непроницаем. Лунный свет подрагивал высоко наверху сквозь лианы. Тем не менее Ванманену почудилось впереди какое-то движение, и он крикнул по-бенгальски:

— Что случилось?

Мы прислушались, затаив дух. Никакого ответа, ниоткуда. Лес стоял как каменный. И даже ковер мертвых листьев не шелестел под нашими ногами, словно мы ступали по войлоку.

— Что случилось? — еще раз крикнул Ванманен.

Мы пошли наугад, стараясь все же не слишком отдаляться от дороги. Не знаю, сколько времени плутали мы под деревьями, готовые каждую минуту наткнуться на страшное зрелище. Я чувствовал тяжесть во всем теле, мысли разбегались, не отпускало ощущение, что я — в дурном сне и никак не могу проснуться.

— Вернемтесь! — Богданов остановился, потирая рукой лоб. — Я начинаю думать, что мы жертвы галлюцинации.

Вряд ли, конечно, у четверых человек могла быть одинаковая галлюцинация: душераздирающий крик и одни и те же, совершенно одни и те же слова. Но интуитивно я чувствовал, что Богданов прав, и мы вернулись на дорогу.

— Кажется, нас далеко занесло, — сказал я, не видя машины. — Куда теперь?

Мои товарищи взглянули на меня в недоумении, и Ванманен заметил:

— Куда бы нас ни занесло, машина должна быть где-то поблизости. Покличьте-ка этого болвана!

Я крикнул изо всех сил, сотрясая немоту ночи и сам содрогаясь от гула, который поднял. Мы подождали, растерянно озираясь посреди пустой дороги. Шофер не откликался.

— Он пошел нас искать, — предположил я.

— Но где же тогда машина? — спросил Богданов, с усилием раз-

жимая челюсти.— Не мог же он бросить нас вот так, ночью, в джунглях?!

— Конечно, не мог,— успокоил его Ванманен.— К тому же мы были неподалеку, слышали бы мотор. Вероятно, просто уснул, дожидаясь...

Мы пошли в том направлении, где, по нашим понятиям, оставили машину. Луна сияла теперь в полную силу, и дорога как бы раздвинулась вширь.

— Укатил. Укатил без зазрения совести,— шепотом сказал Богданов.— Убить мало...

Ванманен никак не мог в такое поверить. Он без конца отирал платком лоб и щеки.

— Так или иначе, надо что-то делать,— сказал он, тоже очень тихо.

— Придется пешком вернуться в бунгало,— решил Богданов.— К утру как-нибудь доберемся...

В эту минуту впереди, справа от дороги, блеснул свет фонаря и, колеблясь, стал удаляться в глубь леса. Страннее некуда было — появление человека с фонарем в такой час и в таком месте. Тем более после того, что с нами произошло. Но не знаю, какой темной марой поманил нас, каждого в отдельности, огонек, быстро уходящий в джунгли. И когда Богданов приглашающе махнул рукой, ни Ванманен, ни я не возразили ни словом. В тот миг у нас вылетело из головы, что совсем недавно нам леденил кровь женский голос, зовущий на помощь. Свет был сейчас зна́ком жизни. Его нес человек, который направлялся, вне всякого сомнения, либо к жилью, либо к тому, нужному нам шоссе.

И мы со всех ног пустились за ним вдогонку.

IV

Углубившись в лес, мы уже через несколько минут потеряли фонарь из виду. Мы шли, не растягиваясь, я — впереди, как самый молодой, Ванманен следом, Богданов замыкающим. Не знаю, откуда взялась в нас уверенность, ведущая наш маленький отряд сквозь джунгли, еще час назад невыносимо страшные для белого человека, тем более ночью. Джунгли потеряли в наших глазах всякую опасность. Мы и думать

забыли о змеях, хищных зверях. И ужаса, который пронзает душу в чаще индийского леса, как не бывало.

— Куда же он пропал? — трагически спросил Ванманен.

Мы с Богдановым не ответили. Мы шли, ни о чем не думая, чувствуя только, что нельзя останавливаться здесь, посреди леса, что мы должны идти и идти, пусть нелепо, пусть безо всякой цели.

— Вероятно, он свернул, а мы эту тропинку проскочили, — предположил Богданов.

— Да, похоже, он знает дорогу, — добавил я. — Слишком уж быстро он исчез.

Тем временем мы забирались в самые дебри; толстые лианы уже касались наших голов, ноги утопали в настиле из мертвых листьев, папоротника и мхов. Но какая-то слепая сила вела и вела нас в одном направлении. Ни у кого не возникало желания повернуть обратно или попытаться счастья в другой стороне. Мы ломились вперед, продираясь сквозь бесконечные глухие заросли.

— Вон он, опять! — вдруг воскликнул Богданов.

Мы остановились, затаив дух. На этот раз свет был очень близко, однако мутный и слабый и совсем не похожий на тот, за которым мы гнались. Из всех оставшихся сил бросились мы к нему и через несколько минут выбрались на опушку. Свет подымался от жаровен с горящими углями. Однако, прежде чем подойти к ним, мы заметили, что левее огни множатся, и различили неподалеку причудливых форм здание, обнесенное оградой из серого камня.

— Вероятно, мы попали на другой конец Серампора, — сказал Ванманен. — Но, Господи Боже, как нас могло сюда занести?!

Станным нам показалось и то, что мы никого не встретили подле жаровен. Правда, угли почти во всех из них уже догорали, однако даже следов человеческого присутствия у огня мы не обнаружили. Все же нам было не до того, чтобы осматривать окрестности, мы слишком устали и устремились прямо к дому.

— Кто бы здесь ни жил, индус или мусульманин, нас должны приютить, — твердо сказал Ванманен.

Он пошел вперед: во-первых, он лучше нас всех говорил по-бенгальски, а во-вторых, его имя было достаточно известно в Бенгале — и, уж во всяком случае, известностью пользовалось Азиатское обще-

ство, где он состоял библиотекарем. Навстречу нам из ворот вышел с невозмутимым видом вышел старик, будто ничего особенного не было в нашем появлении в такой час у дома, спрятанного глубоко в джунглях.

— Кто твой хозяин? — обратился к нему Ванманен.

Старик стоял неподвижно, словно не слыша. Ванманен громко, во весь голос, повторил вопрос. Как будто очнувшись от глубокого сна, старик прошелестел:

— Ниламвара Даса...

— По-моему, знакомое имя, — пробормотал Богданов.

— Несколько архаичное, — заметил Ванманен. — Никогда о таком не слышал в Калькутте. — Потом, обернувшись к старику, велел: — Поди разбуди своего хозяина и скажи, что сахиб Ванманен с еще двумя сахибами попали в затруднительное положение и просят приютить их на эту ночь...

Ему пришлось три раза повторить свои слова, прежде чем старик кивнул и удалился.

— Совсем глухой, — обронил Богданов.

У меня же не проходило ощущение, что мой сон длится и что я все никак не могу стряхнуть его с себя. Эти брошенные без присмотра жаровни, этот дом в непроходимых дебрях, этот старик, с трудом понимающий, о чем речь, на каком бы диалекте Ванманен к нему ни обращался, — тут было отчего всколыхнуться тревоге. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем старик вышел снова, со светильником в руках. Время то и дело замирало, и мы жили с перерывами, от эпизода к эпизоду.

— Хозяин приглашает, — объявил старик.

То ли он говорил слишком тихо, то ли я недостаточно хорошо воспринимал на слух бенгальский, а может быть, мне мешала усталость, но я скорее угадал, чем понял смысл фразы.

— Какой странный выговор, — обратился я к Ванманену.

— Сельский, — ответил тот. — К нему надо привыкнуть.

Дом оказался старым, какие редко встречаются в этом конце Бенгала, где набег мусульман были особенно жестоки весь XVIII век. Мы вошли во внутренний двор, наполовину вымощенный камнем и по углам обсаженный священным растением индусов — *ficus religiosa*. Отсюда уже хорошо просматривались первые помещения дома, очень большие, с зарешеченными окнами — по всей очевидности, мужские комнаты. Нас, ка-

жется, ждали: горело несколько факелов, кроме многочисленных площадок с маслом и каганцов, чье несмелое мерцание освещало ступени, ведущие на женскую половину. Нас провели в залу с полом из красного песчаника, и мы предстали перед человеком средних лет, мертвенно-бледным, с застывшим взглядом. Он обратился к нам по-бенгальски:

— Прошу вас повременить несколько минут, пока будут готовы комнаты для ночлега.

До меня с трудом дошел смысл фразы: такой бенгальский я встречал до сих пор только в книгах. К тому же у образованных бенгалцев определенного социального ранга принято обращаться к европейским гостям по-английски. Никогда, за исключением каких-то особых случаев, они не «оскорбят» гостя обращением к нему по-бенгальски. Это означало бы, что гостя сочли за бедного крестьянина или слугу. Тем более смутил меня оказанный нам прием. Зато Ванманена, прекрасно владеющего бенгальским, смутить было не так-то легко, и он, попросив разрешения, уселся, не переставая извиняться за наше вторжение в столь поздний час. Ниламвара слушал, погруженный, похоже, в свои мысли, и, когда Ванманен покончил с извинениями, остался стоять, переводя взгляд поочередно с одного из нас на другого, словно не понимая, как мы здесь оказались. При этом он не произносил ни слова, что совершенно обескураживало нас и усугубляло неловкость ситуации.

— Такой уж глупый случай, извините, Бога ради, — произнес по-английски Богданов, не в силах больше выносить его тяжелый взгляд.

Но Ниламвара будто не слышал. Он продолжал оглядывать нас, время от времени вздрагивая всем телом. Богданов сделал к нему шаг и повторил свои слова, повысив тон. Наш хозяин изобразил нечто вроде улыбки и ответил гаснущим голосом:

— Я не понимаю по-английски.

Как невероятно прозвучало это признание в стране, где английский знают даже дети! Может быть, Ниламвара, минув школу, получил ортодоксальное образование в монастыре? Но мне резало слух и его диковинное произношение, а кроме того, он выговаривал слова с усилием, природу которого я не мог определить. Каждое слово давалось ему с видимым трудом.

— Скоро комнаты для милостивых государей будут готовы, — повторил он после бесконечно долгой паузы, натужно раздвигая губы в улыбке.

Я многозначительно взглянул на Ванманена. Ему наконец-то тоже стало не по себе от застывшего взгляда нашего хозяина, от его архаического выговора. В самом деле, стоило присмотреться к Ниламваре, и все его странности начинали бить в глаза. Затрудненность движений, непонятные конвульсии, время от времени пробегавшие по его телу, стеклянный блеск глаз, руки, постоянно сжатые в кулаки, — ничто теперь не ускользало от нашего внимания. Не могла не изумлять и его манера смотреть на нас. Временами возникало ощущение, что его гальванизирует невидимая сила, а не будь ее, он замер бы перед нами с погасшей улыбкой.

К тому же я не понимал, что это за дом — изрядно освещенный и все же, на наш слух, пустой. Подобное событие — появление среди ночи трех иностранцев — не могло бы пройти незамеченным в индийском доме. Логично было ожидать суеты вокруг нас, любопытные женские тени, жмущиеся по углам, подглядывающие из-за решетчатых окон, глухой шепоток слуг, поднятых с постели, мягкое шлепанье ног по плитам двора...

— Скоро ночлег будет готов, — в третий раз повторил Ниламвара.

Однако никто не торопился объявить нам, что комнаты готовы. А мы бы разошлись с удовольствием — не из-за усталости, нет, слишком много было волнений в эту ночь, не до сна, — а чтобы избавиться от тягостного общества нашего хозяина. Вдруг Ванманен взглянул на нас и сказал по-английски:

— Но мы же не спросили про тот женский крик на дороге...

В самом деле, это — главное — мы и опустили в нашем рассказе: со-врали, что машина сломалась и что шофер остался ее сторожить, но даже словом не обмолвились о призывах на помощь, которые слышали своими ушами всего час назад. Ни один из нас не мог понять, как случилось, что, сидя столько времени перед этим человеком, наверняка что-то знавшим, мы обошли молчанием самое потрясающее. При мысли о криках в лесу мы словно ожили. Словно внезапно схлынула непонятная сонная одурь, нашедшая на нас в ту минуту, когда мы пустились вдогонку за фонарем, нам снова стало жутко, нам захотелось действовать. Хотя время было упущено — та женщина наверняка уже умерла, ведь мы проделали изрядный путь сквозь джунгли до дома Ниламвара Дасы. Что за нечистые чары отняли у нас разум и вогнали в прострацию, держа под прицелом взгляда этого человека, который каждые десять минут повторял одно и то же!

— Расскажите ему, вдруг он что-то знает, — призвал Ванманена Богданов.

Не поднимаясь с кресла, Ванманен начал, с трудом скрывая волнение. Но при первых же его словах наш хозяин со стоном заслонил лицо руками. Вскочив, мы все бросились к нему.

— Лила, Лила! — слышалось сквозь стоны и невнятное бормотание.

— Что, что он говорит? — набросились мы на Ванманена.

— Я тоже не понял, — ответил он и по-бенгальски еще раз переспросил Ниламвару: — Что там произошло? Кто она?

Те же стоны, та же невнятица слов раздалась в ответ, мы различали только имя Лила, остальное тонуло в возгласах горя.

— Я думаю, это была его дочь, — сказал Ванманен. — Но что он говорит в точности, мне не разобрать...

— Вероятно, что ее убили... — прошептал Богданов. — Только как он об этом узнал? И если он знал, почему до сих пор не сказал нам?

Ванманен не осмелился больше задавать Ниламваре вопросы. Мы молчали, раздумывая, не лучше ли нам без лишних слов убраться восвояси или все-таки дожждаться возвращения старика, который уже тысячу лет готовил нам комнаты.

— Что же никто не пришел ей на помощь? — вдруг взорвало Ванманена. — Ведь она, конечно, была не одна. Тут женщины поодиночке не ходят, тем более среди ночи...

В эту минуту в залу усталой походкой вошел наконец старик и еле слышно объявил, слабо поднимая руку:

— Вот она! Ее несут! Там!

Мы выбежали во двор. Мне показалось, он полон народа и несколько диковинно одетых людей в тюрубанах несут погребальные носилки, сплетенные из веток. Но все это было как мелькание теней, и я не услышал ни криков, ни плача, ни причитаний. Почувствовав за своей спиной какое-то движение, я испуганно обернулся: это удалялся Ниламвара. Он шел с таким трудом, будто каждый шаг намного превосходил его силы.

— Мы не можем здесь оставаться, — зашептал Богданов. — Нельзя требовать гостеприимства от человека, у которого погибла дочь или жена...

— Да, лучше уйти, — согласился Ванманен.

Мы хотели предупредить кого-нибудь о нашем уходе и еще раз при-

нести извинения хозяину, но двор был пуст. Исчез, как сквозь землю провалился, и старик. Богданов первым пошел к воротам, боясь оглянуться назад. С каким облегчением миновали мы жаровни с тлеющими углями, которые встретили нас на поляне перед домом!

V

Усталость настигла меня, как только мы отделились от дома. Сначала — легкой дурнотой, потом — постепенным упадком сил, и, наконец, чтобы не рухнуть в изнеможении на землю, мне пришлось прислониться к дереву.

Я не понимал, что со мной творится, не знал, остался ли в одиночестве или товарищи ждут рядом, пока я приду в себя. Понятия не имею, сколько я простоял так, привалясь к дереву, но, когда очнулся, уже светало. Я все еще был без сил, без единой мысли в голове, без единого четкого воспоминания о том, что произошло.

К своему удивлению, я обнаружил, что оба моих спутника сидят на траве в нескольких шагах от того места, где усталость одолела меня. Они дремали, подперев головы руками. Еле волоча ноги, я дотащился до них и спросил, натянуто улыбаясь:

— Что случилось? Почему мы тут остановились?

Богданов поднял голову, и я испугался при виде его лица, непривычно бледного, с синевой под глазами, которые смотрели прямо в мои глаза, не понимая.

— Устали... Отдохнуть... — выговорил он наконец.

Я с трудом подогнул колени и сел рядом с ними. Слабость была такая, как после долгих недель тяжелого недуга. Глаза заволакивало пеленой при самом легком движении. Все же до сознания доходило, что уже рассвело и трава мокра от росы. Мы сидели, не произнося ни слова. И поскольку мои товарищи, особенно Ванманен, который так и не мог поднять головы, были совершенно разбиты, я почувствовал себя обязанным действовать. С натугой встав на ноги, я начал оглядываться вокруг со всем вниманием, на какое был способен. Места показались мне не такими уж незнакомыми. Лес поредел и состоял из старых пальм, высоких акаций и благоуханных кустов. Неверной походкой пошел я вперед и шагов через

десять завидел дорогу, которая ответвлялась от большого шоссе и вела к бунгалу Баджа. Открытие придало мне сил. Я крикнул, обернувшись к своим спутникам:

— Мы рядом с бунгалом!

Известие было ошарашивающим, ведь мы-то считали, что находимся где-то в северной части Серампора. Я увидел, как Богданов, пошатываясь, поднимается и протягивает руку Ванманену. Я хотел побежать к ним, помочь, но при первом же резком движении земля закружилась вместе со мной. Пришлось замереть, чтобы прийти в чувство. Скоро они доплелись до меня. Ванманен, осунувшийся, с набрякшими веками и оторопелым взглядом, тяжело дышал. У Богданова дрожали руки. Он ворочал по сторонам глазами, не в силах поверить, что мы действительно рядом с бунгалом.

— Мы просто заблудились, — сказал я, подбадривая их. — Шофер, должно быть, ищет нас на другом краю леса.

При упоминании о шофере у Ванманена вырвалось такое смачное ругательство, какого я никогда не ожидал от него услышать. Однако оно оказало на нас благотворное действие. Мы вышли из лесу и взяли курс на бунгалом.

— Никак в толк не возьму, что с нами, — сказал Ванманен. — С чего это нас так развезло...

Скоро взошло солнце. Яркий свет ободрил нас, мы прибавили шагу. Впрочем, ходьбы до бунгалом оказалось не более получаса. С изумлением увидели мы нашу машину, мирно стоящую у веранды. Шофер дремал за рулем. Во дворе возились по хозяйству слуги, они оцепенели при виде нас — еле живых от усталости, в рваных костюмах, в грязных башмаках. Ванманен бросился напрямик к шоферу и, чествуя его напропалую, стал осыпать тумками. Бедняга от растерянности даже не защищался, только охал, загородив глаза рукой.

— Как ты посмел сбежать, бестия?! — грохотал Ванманен. — Ведь если бы мы заблудились в джунглях — все, нам бы каюк!

Слуги сгрудились подле машины, таращась на Ванманену, который всегда был воплощением доброты, а сейчас бранился и бил человека.

— Мы и правда спаслись только чудом, — сказал Богданов на хинди специально для слуг, чтобы оправдать ярость Ванманену. — Этот осел бросил нас посреди дороги и сбежал...

— Мы проплутали всю ночь,— добавил я.

Слуги смотрели на нас, опешив. Вновь подходившие в страхе переводили глаза с шофера на нас, ничего не понимая.

— Но он прождал вас всю ночь здесь,— набрался наконец смелости сторож.

Другие подхватили:

— Здесь, здесь! Никуда он не ездил!

Сначала мы не сообразили, что они имеют в виду. Я понял так: шофер, видя, что мы не выходим из лесу, вернулся к бунгало и прождал нас у веранды до утра. Однако Ванманен как раз и обвинял шофера в том, что тот слишком скоро потерял терпение и уехал. Как, интересно, он представлял себе наш обратный путь домой — пешком через ночные джунгли?

— Ну да, он отсюда не выезжал! — настаивал сторож. — Мы с ним вместе сидели, время коротали, а уезжать он не уезжал...

— Я еще удивлялся: что это главный сахиб раздумал ехать? — подхватил шофер.

Кровь прилила у меня к щекам. Они, чего доброго, подумают, что мы напились до полного беспамятства!

— Что ты хочешь этим сказать? — вступил Богданов. — Как это ты никуда не ездил? Разве ты не вывез нас отсюда в час ночи, разве мы не заблудились потом, разве не услышали женский крик в лесу?

Шофер не посмел возразить и только затравленно озирался, ища поддержки. Но когда Ванманен стал припоминать ему все, что мы говорили по дороге, шофер решил:

— Да не возил я вас никуда, сахиб! Машина со двора не выезжала!

— Так, так,— подтверждали слуги.

Ванманен опять сорвался:

— Это что же значит? Что мы врем, да?

— Может быть, вы на другой машине... — робко предположил шофер. — Моя-то, взгляните, как я помыл ее с вечера, так и стоит, чистехонькая!

Ванманен обернулся к нам.

— Не могу больше! Они тут все тронутые! Пойдемте в дом...

Мы нашли двери открытыми, что было не по правилам: сразу после нашего отъезда сторожу полагалось запираť все комнаты.

— Комедию ломает, сговорился со слугами, — сказал Богданов, как только мы остались одни. — Думал, верно, что везет пьяных...

— Ему придется за это ответить, и дешево он не отделается, — пробормотал Ванманен, снимая пиджак и бросаясь в соломенное кресло.

Я тоже считал нужным что-то добавить. Когда мы говорили про наши ночные блуждания в джунглях, у некоторых слуг в глазах, как мне показалось, мелькнула насмешка. Мысль, что они сочли нас настолько пьяными, чтобы позволить себе издевку, бесила меня.

— Так или иначе, по-моему, это не алиби — чистая машина, — заключил я. — Напротив, это даже выдает злой умысел.

Прохлада дома, изнеможение, которое мы перебарывали несколько часов кряду, положили конец всем выяснениям: смыв с себя грязь, мы растянулись в привычных уже постелях и очень скоро заснули.

VI

Нас разбудил Бадж, прибывший задолго до заката с намерением немного поохотиться. Он не был в восторге, застав нас у себя. В таких делах, как охота, он предпочитал обходиться без свидетелей. Наш потрепанный вид произвел на него впечатление.

— Вы, я вижу, пустились во все тяжкие, — заметил он, глядя на Ванманена.

Я снова почувствовал, как кровь приливает к щекам. По лицу Богданова было видно, что ему тоже неловко.

— У тебя не шофер, а бандит! — с горячностью начал Ванманен.

Но когда он приступил к рассказу о ночных событиях, Бадж, с трудом сдерживая улыбку, перебил его:

— Да никуда вы не ездили, это не только шофер говорит, это и слуги подтверждают.

— По всей видимости, они сговорились, — строго осадил его Богданов. — Дослушай лучше до конца...

Ванманен в большом возбуждении продолжил рассказ. Мы следили, чтобы он не упустил ни одной детали, и эта скрупулезность начала беспокоить Баджа.

— Но каким образом вы могли заблудиться? — снова перебил он Ванманена. — Тут же нет другой дороги. Вы в этом сами можете убедиться.

— Дорогой друг, давай мы сначала расскажем тебе, как обстояло дело, — возразил Ванманен. — А потом уже будем искать объяснения.

И вернулся к тому моменту, когда мы, потеряв надежду добраться до шоссе, велели шоферу возвращаться.

— А что вы видели по обочинам дороги, не помните? — спросил Бадж.

Тут уже я описал деревья, сопровождавшие наш путь, и какие они были толстые и высокие. Бадж поднялся со стула.

— Простите, мои милые, но в наших краях такие не растут. Кроме пальмовой рощи, которую вы знаете, — он махнул рукой в сторону пруда, — во всех окрестностях нет ничего, кроме эвкалиптов, кокосовых пальм и акаций. Этому *Urwald**, о котором вы мне толкуете, тут неоткуда взяться.

— И все же это нам не приснилось! — вставил Богданов.

— Почему ты не дослушаешь до конца? — возмущился Ванманен.

Бадж пожал плечами и снова присел на край стула. Ванманен вернулся к своему рассказу. Когда он дошел до эпизода с душераздирающим женским криком, Бадж сначала заулыбался, а потом стал подавать признаки нетерпения. Но всякий раз, как он собирался перебить Ванманена, вступались мы, прося дослушать до конца. Бадж уже едва владел собой. При каждой подробности, которую мы уточняли, его подбрасывало на месте.

— Да вы смеетесь надо мной! — не выдержал он наконец, когда Ванманен приступил к описанию дома Ниламвары Дасы. — Нет тут такого дома, уж я как-нибудь знаю окрестности. И имени такого я в жизни не слышал. Вы меня просто разыгрываете.

Он забегал по комнате, деланно хохоча — дескать, его на мякине не проведешь. Но нам было не до смеха. С одной стороны, нас не могло не смутить упорное повторение им того, что мы, впрочем, и сами знали: что во всей округе нет такого дома, а с другой стороны — раздражала его недоверчивость, его дурацкое подозрение в розыгрыше.

— Честное слово, ноги моей здесь больше не будет, если ты еще хоть раз скажешь про розыгрыш, — с горячностью произнес Ванманен. — Хо-

* Девственный лес (нем.).

чешь, устрой нам допрос поодиночке. Убедишься тогда, что мы все *видели* одно и то же. Трудно так сговориться, чтобы не было разногласий в самых мельчайших деталях. О галлюцинации тоже не может быть и речи, потому что я, например, *действительно* сидел в кресле у Ниламвары Дасы, и мои друзья видели своими глазами, как я сижу в кресле, и слышали своими ушами, как я рассказываю хозяину про наши злоключения.

— И он, конечно, тебе тоже, как я, не поверил, — еще раз попытался свести дело к шутке Бадж.

— Напротив, — резко возразил Ванманен. — Он тоже знал по это убийство и при одном упоминании о нем закрыл лицо руками и застонал.

Мы с Богдановым поспешили подтвердить, добавив, что не понимали слов Ниламвары, а разобрали только имя Ли́ла. Бадж взглянул озадаченно, на сей раз без всяких комментариев, и даже сделал Ванманену знак продолжать. Наконец-то Ванманен смог спокойно, с помощью лишь наших уточнений закруглить рассказ. Когда он подошел к тому моменту, как мы очнулись, полуживые, на краю леса и как обнаружили, что находимся недалеко от его бунгало, Бадж торжественно поднялся и, выдержав паузу, во время которой, казалось, взвешивал слова, заговорил с пафосом:

— Даю вам слово чести, что с тех пор, как я живу в Индии, я ничего подобного не слышал. Мне известно достаточно таинственных и необъяснимых случаев, но этот превосходит их все. Ведь я знаю Серампор, как Калькутту, я здесь охочусь, облазил все на пятьдесят миль вокруг, и никогда я не встречал даже следов того дома, о котором вы говорите. Если хотите убедиться в этом сами, одевайтесь и поедем осмотрим все. До темноты у нас еще три-четыре часа...

Мы с Богдановым и Ванманеном в замешательстве переглянулись. А что, если мы и в самом деле стали жертвами самообмана? Но мы с такой ясностью все помнили и так спокойно провели прошлый вечер, выпив виски не больше чем положено, что никак не могли усомниться в подлинности нашей встречи с Ниламварой Дасой. Ванманен первым решительно спрыгнул с постели.

— Поехали!.. Но только на твоей машине, — обратился он к Баджу. — Потому что тому ослу шоферу я вспорю брюхо, если он еще раз покажется мне на глаза. Надо же так врать: со двора он, видите ли, не выезжал!

— Вот это-то меня больше всего и интригует, — сказал Бадж. — Да-

же если допустить, что вы здорово набрались — на чем я, спешу вас уверить, не настаиваю, — все же непонятно, как вы могли пройти незамеченными мимо шофера и других слуг? Ведь они уверяют, что не ложились спать, а ждали ваших распоряжений.

— Тогда как же они не поняли, что комнаты пусты? — спросил Ванманен. — Кто погасил там лампы? Неужели никто не входил туда до утра — приготовить чай или посмотреть, не нужно ли чего?

Бадж задумался, озадаченный вопросами Ванманена. Шофер и слуги, очевидно, что-то знали, и что-то весьма подозрительное, если пытаются так хитро упрятать все концы.

— Ими я займусь после, — решил он. — Сначала давайте убедимся, что тут нет никакой другой дороги, никакого дома и всего прочего.

Мы стали поспешно одеваться. Я мимоходом глянул в зеркало и испугался — таким нездоровым было лицо, изможденное и помятое. Выйдя на крыльцо, мы увидели, что двор полон народу. Сбежался не только весь дом, но и крестьяне, остановившиеся здесь по пути в Серампор. Пока мы шли через толпу к машине, я, чтобы не молчать, сказал Ванманену:

— Вы вот еще что забыли: мы вчера вечером опять встретили Сурена Бозе, и опять у леса.

Эта подробность произвела на Баджа ошеломляющее впечатление. Он пронзительно взглянул на нас, как бы в обиде, что мы сразу не сообщили ему об этой встрече.

— Да, может быть, все не так уж и просто, — пробормотал он.

Я спросил, что он имеет в виду, но Бадж только промывчал что-то невнятное и не прибавил больше ни слова, предпочитая держать при себе возникшую мысль.

VII

В машине я одолжился у Богданова сигаретой специального аденского заказа. Затянувшись, я вспомнил — до боли отчетливо — про ту сигарету, которую закурил вчера вечером вскоре после того, как мы тронулись в путь. В голове мелькнула мысль: по времени, за которое я выкурю сигарету, можно приблизительно определить место, где я в первый раз понял, что мы заблудились. Я попытался привлечь к этой идее

внимание Баджа, но он только молча кивнул. Ванманен сидел, вывернув голову назад, прикидывая, не могли ли мы от бунгало взять не в ту сторону. Однако он вынужден был согласиться с тем, что знал, впрочем, и сам: ветка от шоссе упирается в бунгало, а дальше, до пруда, идет только наезженная повозками колея.

Мы пустили машину тихим ходом. Пейзаж был знакомый, давно примелькавшийся и совершенно не похожий на вчерашний ночной. Лес виднелся лишь в отдалении, вдоль шоссе на Калькутту; при подъезде к нему мы и встретили Сурена Бозе. По дороге же, соединяющей шоссе с бунгало, деревья стоят не сплошняком, а поодиночке и разных пород.

Так, поглядывая то вправо, то влево, мы добрались до шоссе, а я еще не кончил сигарету. Когда я сообщил об этом вслух, Бадж велел шоферу поворачивать назад и еще больше сбавить скорость.

— Сможешь узнать место, где ты очнулся сегодня утром? — спросил меня Ванманен.

После некоторых сомнений я попросил остановить машину. Мы все вылезли и направились к лесу. Там, метрах в пятистах от дороги, я узнал не только место, но и дерево, к которому прислонился в беспамятстве.

— Вы тоже сидели где-то тут, — сказал я Ванманену и Богданову и добавил, показывая рукой на чащу леса: — И, по-моему, мы пришли вон оттуда.

— Тогда все очень просто, — решил Бадж. — Надо найти ваши следы.

В самом деле, наметанный глаз мог бы различить на ковре мертвых листьев следы европейских башмаков. Шофер Баджа со страстью следопыта пошел по ним. Но метров через пятьдесят следы вывели его из леса на большую поляну и там потерялись. Мы ничего не понимали. Мы не помнили, чтобы нам приходилось пересекать открытое пространство — кроме того, что находилось перед домом Ниламвары, с трех сторон окруженным лесом.

— Если хотите, прочедем весь лес, — сказал Бадж. — Но только он у меня хожен-перехожен, и я вас уверяю, что даже руин какого бы то ни было дома вы тут не найдете. Однако остерегайтесь змей.

— Но мы всю ночь плутали в самой чаще джунглей, и ничего с нами не случилось, — возразил Ванманен.

— В тех джунглях, где вы плутали, змеи не жалят, — загадочно отозвался Бадж.

Мы прошли еще около получаса, не встретив никакого жилья, даже хижины. Ванманен начал уставать.

— Ну что, продолжим путь? — спросил Бадж. — Хотя предупреждаю, что точно такой же лес тянется еще на несколько миль.

— Не стоит труда, — отвечал Богданов. — Я чувствую, что не по этому лесу мы ходили сегодня ночью.

— Другого нет, — отрезал Бадж.

Мы обескураженно повернули обратно. Ванманен то и дело озирался, как бы отказываясь верить глазам.

— А что, если мы ночью нечаянно обогнули Серампор и попали на северный его конец? — пробормотал он.

Бадж бросил через плечо, убыстряя шаг:

— Поехали в Серампор!

Машина домчала нас туда за десять минут, еще раз доказав нам, что Серампор нельзя обогнуть, минуя большое Калькуттское шоссе.

— Заедем к Чаттерджи, — предложил Бадж. — Вдруг он нас просветит...

У Баджа, который знал всех на свете, и в Серампоре был знакомый, Чаттерджи, торговец джутом, живущий на окраине. Мы застали его дома.

— Говорите обиняками, как будто так, где-то что-то слышали, — предупредил нас Бадж. — А то он подумает, что вы либо со сдвигом, либо над ним издеваетесь.

Чаттерджи был настоящий кладезь всевозможных сведений. Но о старинном доме посреди джунглей даже он не слышал. Только когда Ванманен дошел до рассказа о Ниламваре Дасе и некоей Лиле, его жене или дочери, таинственным образом убитой ночью, он вытаращил на нас глаза.

— Откуда вы это взяли?

— Один наш знакомый был у Ниламвары как раз в ту ночь, когда это случилось, — соврал Ванманен.

— Но это случилось полтора века назад! — изумился Чаттерджи. — Ниламвара Даса принадлежал к высшей вишнуитской знати Бенгала, и его молодую жену, Лилу, действительно убил главарь мусульманской банды: влюбился в нее, хотел похитить... Так говорит легенда.

— А ты не знаешь случайно, где жил этот Даса? — спросил Бадж.

— Да где-то под Серампором, — был ответ. — Дом, правда, давно сровняли с землей, еще в тысяча восемьсот десятом, когда громили особняки индуистов. Впрочем, Ниламвара Даса, человек очень богатый, имел не один дом. А жену его пытались похитить, когда она возвращалась из города в их летнюю резиденцию. Слуг при ней было немного, одному удалось спастись, он оповестил Ниламвару, тот бросился на выручку, и разбойник при его приближении убил Лилу.

Мы ошарашенно смотрели друг на друга. Бадж продолжал допытываться у Чаттерджи, не живет ли в окрестностях какой-нибудь другой Ниламвара Даса.

— Маловероятно, — отвечал Чаттерджи. — Род был знатный и утас в начале прошлого века. К тому же сейчас нет такого имени: Даса. Его современная форма — Дас...

Он смолк, глядя на наши потрясенные лица, недоумевая, почему мы принимаем все это так близко к сердцу.

— Ваш знакомый просто пересказал вам легенду, в здешних краях о Ниламваре осталась память, — проговорил наконец Чаттерджи. — Целые баллады сложены про похищение и убийство его Лилы...

Ванманен резко поднялся.

— Пойдемте! — бросил он Баджу. — Я уже ног под собой не чую.

Мы распрощались с Чаттерджи и отправились напрямиком в Калькутту. Мы в самом деле были порядком измотаны и первое время даже не разговаривали. Наконец Ванманен повернулся к Баджу.

— Ты понимаешь, надеюсь, что не стоит болтать об этой истории...

Бадж задумчиво кивнул.

— Мы пали жертвой дьявольской галлюцинации, — шепотом сказал Богданов.

— Если бы только галлюцинации, — отозвался Бадж.

Мы снова замолчали, не глядя друг на друга.

— Не понимаю, зачем Сурену Бозе понадобилось натолкнуть нас на такие страсти, — сказал Ванманен. — Мне будет теперь нелегко подать ему руку...

— Но, может быть, мы сами невольно вторглись куда не следует? — предположил я.

— Так или иначе, — заключил Ванманен, — все это должно остаться

ся между нами. По возможности надо избегать Бозе, а если он идет навстречу и деваться некуда, тогда ведите себя так, будто ничего не произошло...

VIII

Ни один из нас больше не попал в Серампор. Богданов слез в лихорадке, Ванманен ходил чернее тучи, а Бадж бросил привычку проводить уикенды в своем бунгало. Вскоре мы узнали, что он продал его за бесценок.

Обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к этому рассказу, вынудили меня срочно покинуть Калькутту и отправиться искать тишины в одном из монастырей на западных отрогах Гималаев, в окрестностях Хардвара. Сурена Бозе после того случая в Серампоре я встретил лишь раз. Я побледнел при виде его, но уклониться от встречи было поздно. Мы довольно вяло поговорили — он, как обычно, расспрашивал про мои занятия, я скупно отвечал. Все же он не смог отказать себе в удовольствии бросить камешек в огород Ванманена.

— Наш старый приятель слишком много пьет для здешнего климата... — сказал он, явно провоцируя меня этой заведомой клеветой.

Я промолчал, поскольку обещал ни с кем, тем более с Суреном Бозе, не обсуждать происшествие в Серампоре.

Однако, поселившись в Гималаях, в Ришикеше, и проведя там много месяцев, я все же нарушил обещание и рассказал Свами Шивананде, человеку, с которым сошелся ближе всех в монастыре, о нашем необыкновенном приключении. Да и как было не рассказать, если он сам когда-то изучал и практиковал тантру, если от него только и могла прийти разгадка тайн, непосильных для моего незрелого ума. Свами Шивананда был личностью замечательной. Сингапурский медик, женатый, имевший двоих детей, в один прекрасный день он все бросил и ушел искать спасения в гималайский монастырь. Я бы хотел описать когда-нибудь удивительную жизнь этого медика-аскета, который пешком обошел всю Индию, участвовал в религиозных церемониях всех сект и изучил все философии в поисках спокойствия для собственной души. Он нашел то, что искал, в хижине на берегу Ганга, в Ришикеше, где обосновался лет за семь до моего

прибытия туда. Обосновался — не совсем точно сказано, поскольку шесть месяцев в году он проводил в дороге, то восходя к снежным вершинам Бхадринатха, то спускаясь в Пондишери или Рамешварам.

Однажды вечером, когда мы гуляли по берегу реки, огибая большие камни, скатившиеся с гор, я открылся ему и рассказал о происшествии, участником которого стал помимо своей воли. Как обычно, отужинав, я зашел за ним в его хижину, и мы не спеша зашагали в сторону Лакшманджулы, держась поближе к воде. Когда я кончил рассказ, он с улыбкой обернулся ко мне.

— И у тебя есть какое-нибудь объяснение этим чудесам?

Я отвечал, что перебрал множество объяснений, но полностью меня не удовлетворяет ни одно. В одном я уверен: происшедшим с нами мы обязаны тому факту, что невольно оказались слишком близко от места, где Сурен Бозе совершал в ту ночь тайный ритуал.

— Однако я не понимаю, — продолжал я, — как могли мы, находясь в бунгало Баджа, помешать развернуться этому чудовищному ритуалу? Может быть, для ритуала требуется чрезвычайно обширная сакральная зона, — может быть, развязываются совершенно особые магические силы, подразумевающие обрамление самое злое и к тому же неблагопристойное? В таком случае, выехав из дому — или не выезжая вовсе, как утверждают шофер и слуги, — мы либо вторглись в ритуальную зону, либо находились от нее непозволительно близко и так или иначе оказались в ареале медитации Сурена Бозе. Тогда он, чтобы мы не мешались, отодвинул нас своей оккультной силой в другое пространство и в другое время, спроецировал нас в тот эпизод, который имел место сто пятьдесят лет тому назад под Серампором, и сделал своего рода свидетелями убийства юной жены Ниламвары Дасы...

Свами Шивананда слушал меня со вниманием, но с лица его не сходила добрая, терпеливая улыбка.

— Рассуждаешь ты, во всяком случае, как настоящий детектив, — заметил он, посмеиваясь.

— Я так рассуждаю, поскольку у меня есть специальная теория чудесного, — подхватил я, — но этот случай чудом не был, это была игра магических сил низшей природы, дьявольской...

— *Тантра* не знает нравственных определений для магических сил, о которых ты говоришь, — возразил он. — В этом отношении она схожа с

вашей физикой, с европейскими представлениями об объективном характере силы...

Однако я горел желанием услышать от него толкование происшествия и совсем не был расположен слушать про сходство и различие между *тантрой* и европейской наукой. Так что я прервал его:

— В любом случае — выезжали мы со двора бунгало или нет — не это вызывает во мне самые большие недоумения, а вот какая подробность, позвольте, я вам о ней сейчас расскажу... Итак, я прекрасно понимаю, что нас вырвали из нашего времени и пространства и сделали свидетелями преступления, совершенного полтора столетия назад в тех же самых местах. Лес, что мы видели, с определенного момента стал тогдашним лесом: очень большим, со старыми, почтенными деревьями, их постепенно вырубали весь прошлый век и, конечно, вырубил. Дом Ниламвары, тоже постройки восемнадцатого века, был, как я узнал, одной из нескольких его вилл в окрестностях Серампора; впоследствии его сровняли с землей. Люди, которые несли на носилках тело юной Лилы, тоже были одеты, как в восемнадцатом веке, в тюрбаны и шаровары, теперь в Бенгале так не ходят. Все это я могу понять. И я бы не удивился, если бы мы трое действительно оказались свидетелями убийства молодой женщины и скорби в доме ее мужа. Но нам дали лишь слышать ее крики, и, хотя мы метались во все стороны, мы никого не увидели: ни ее, ни похитителей. А вот что совсем для меня непостижимо, так это момент нашего входа в дом Ниламвары Дасы. Было бы естественным, если бы мы застали его предающимся скорби полуторавековой давности, застали, и ничего более. Однако тут не имело места простое повторение событий, в их ход вторглись новые черточки, привнесенные нашим появлением в доме. Мы говорили с Ниламварой, и он нам отвечал. Он даже сказал Богданову, что не понимает по-английски. Однако такого ведь не было сто пятьдесят лет назад! Значит, мы не просто *присутствовали* при сцене, некогда случившейся, но мы *вмешались* в эту сцену, видоизменив ее нашим присутствием, которое действующие лица приняли во внимание, и нашими вопросами, на которые они отвечали. Кроме того, два главных персонажа, старый слуга и сам Ниламвара, показались нам неестественно скованными в движениях. Если бы я узнал от Чаттерджи, что они оба умерли той же ночью, когда была убита Лила, я бы понял, что мы имеем дело с их спектральными телами в момент смерти. Но Даса жил еще сколько-то време-

ни после смерти жены, и то же можно предположить про его слугу. Следовательно, их вид в ту ночь не был тем, какой они имели, когда умирали, годы спустя. Тогда чем же объяснить их оцепенелость? Эпизод, при котором мы присутствовали, — убийство Лилы, — не предполагал, что их самих коснется трупное окоченение. Таким образом, это было не просто *точное повторение при нас* события, но повторение события, *которое мы модифицировали*, — вот что превосходит пределы человеческого понимания. Если мой разум еще может принять гипотезу, что благодаря каким-то неизвестным силам я в состоянии выпадать из времени и своими глазами видеть события прошлого, то тот же разум отказывается принять возможность модификации структуры и внешнего облика этих событий. Я принимаю гипотезу, что мог бы наблюдать битву при Ватерлоо, но наблюдать битву при Ватерлоо, в которой побеждает Наполеон, — это выше моего разумения...

Свами Шивананда рассмеялся и взял меня под руку.

— Твое логическое построение очень красиво, но совершенно ошибочно, — сказал он и вдруг предложил: — Однако не хочешь ли пройтись в гору?

Я последовал за ним вверх по тропе, ведущей от берега Ганга в лес.

— И ошибочно потому, — продолжал он, — что ты придаешь качество *реальности* событиям, будь они прошлые, настоящие или будущие. Ведь ни одно событие в нашем мире не имеет реальности, дорогой мой. Все, что происходит в этом космосе, *иллюзорно*. И смерть Лилы и скорбь ее мужа, и встреча между вами, живыми людьми, и их тенями — все это мираж. А в мире видимостей, где ни единая вещь, ни единое событие не обладают устойчивостью, не имеют собственного бытия, кто угодно может стать владыкой над теми силами, которые вы зовете оккультными, кто угодно может хозяйничать по своему усмотрению. Естественно, и он не сотворит ничего *существенного*, а только игру иллюзий.

— Я не понимаю, — признался я в смущении. — Все вещи в этом мире иллюзорны, допускаю, но ведь и у иллюзий есть какие-то свои законы, которые придают им вид факта.

— Иллюзии подчиняются так называемым законам только для того, кто в эти законы *верит*, — возразил Свами Шивананда. — Но, кажется, Сурен Бозе не верил в «законы», якобы правящие миром иллюзий, и, возможно, он был не одинок в своем неверии...

Я только опустил глаза, не убежденный его аргументами. Тогда он взял меня за руку.

— Пойдем, я объясню...

В ту же секунду меня обдало внутренним жаром, и дыхание почти замерло в груди. Я покачнулся и наверняка упал бы, если бы меня не удержала твердая рука Свами Шивананды. Мне показалось, что я прорезался в другом мире. Прохлада гималайской ночи в мгновение ока уступила место влажной и теплой ночи юга. Не понимая, что происходит, я со страхом поднял глаза — и содрогнулся, увидев вокруг джунгли. Свами Шивананда вел меня вперед быстрым шагом и ничего не говорил. Вдруг я узнал место: тлели угли в брошенных без присмотра жаровнях, и за ними, невдалеке, возникал дом Ниламвары. Кровь застыла у меня в жилах, и, невзирая на сопротивление моего спутника, я вырвал руку и упал к его ногам.

— Я не вынесу этого, Свами! — вскричал я. — Разбуди меня. Второй раз я этого не вынесу!..

Что было дальше, не помню. Когда на другой день я проснулся в своей хижине, солнце давно встало, и зеленые воды Ганга показались мне бесконечно добрыми, безмерно чистыми и благостными.



МАЙТРЕЙИ

...Tomar ki mane acche, Maitreyi? Yadi
thake, tahale ki kshama karte paro?..*

I

Я долго колебался, приступая к этим запискам, потому что мне до сих пор так и не удалось установить дату моего знакомства с Майтрейи. В своем дневнике за тот год я напрасно искал ее имя. В дневнике оно возникает много позже, уже после того, как я вышел из больницы и поселился в доме инженера Нарендры Сена, в квартале Бхованипор. Но это относится к осени двадцать девятого года, а я познакомился с Майтрейи по крайней мере десятью месяцами раньше. И если что и мешает мне начать рассказ, так это именно непонятные пробелы в дневнике, не дающие мне пережить наново шок, озадаченность и смятение от первых встреч.

Первый раз я увидел ее у магазина «Оксфордская книга» — она ждала в машине, пока мы с ее отцом, инженером, выберем книги для рождественских подарков, — и, помню, испытал едва ли не потрясение, сопровождаемое, как ни странно, брезгливостью. Она показалась мне безобразной: эти слишком большие и слишком черные глаза, эти толстые, вывороченные губы, эта литая грудь, — словом, бенгальская девушка с преувеличенной плотью, как набухший зрелостью плод. Когда я был представлен и она в приветствии поднесла ко лбу сложенные ладони, мне бросилась в глаза ее обнажившаяся до плеч рука, и меня пронзил цвет ее ко-

* Помнишь ли ты, Майтрейи? И если помнишь, можешь ли ты простить?.. (бенг.)

жи — матово-смуглый, оттенка, какого я ни у кого раньше не видел, смесь глины и воска, так я бы сказал. Тогда я жил еще на Уэллсли-стрит в пансионе «Райпон», и моим соседом по блоку был Гарольд Карр из морского торгового ведомства, я водил с ним дружбу, потому что у него, как у старожилы, были в Калькутте знакомства, и он брал меня с собой в гости, в семейные дома, а по выходным мы с его девушками ходили на танцы. Вот этому-то Гарольду я и попытался описать — чтобы прояснить впечатление скорее для самого себя — голую руку Майтрейи, странность горчичного колорита кожи, такого волнующего, но меньше всего по-женски, словно это была рука богини, а не обычной смертной.

Гарольд брился, сидя за своим столиком перед зеркалом на подставке. Как сейчас, вижу эту сцену: чашки с чаем, его сиреневая пижама, запачканная ваксой (за что он до крови избил боя, хотя запачкал ее сам, когда пьяный вернулся ночью с бала ИМКА*), никелевые монеты, рассыпанные по небранной постели, и я, в тщетной попытке прочистить трубку бумажным жгутом, скрученным до толщины спички.

— Нет, ей-Богу, Аллан, как тебе может нравиться бенгалка? Тошнит на них глядеть. Я здесь родился, в Индии, и знаю их получше, чем ты. Они грязные, уверяю тебя. И потом, подкатываться к ним бесполезно. Эта твоя девица даже прикоснуться к себе не даст...

Я слушал его с необыкновенным наслаждением, хотя Гарольд ничего не понял и думал, что если я говорю о чьей-нибудь руке, то, значит, с совершенно определенным прицелом. Это удивительно, как мне нравится слушать гадости о тех, кого я люблю или с кем чувствую близость. Когда я кого-то по-настоящему люблю, а его ругают последними словами, для меня это словно маслом по сердцу, таким образом проявляют себя подсознательные процессы, которых я не понимаю и в которых предпочитаю не копаться. Я сказал бы так: параллельно со страстью или искренним интересом к кому-то во мне растет и другая, зловердная страсть, требующая зачеркнуть, изгадить, развенчать первую. Не знаю. Но, застигнув себя на чувстве удовлетворения от идиотских замечаний Гарольда — недалекого и фанатичного, как все евразийцы, — которые он делал в адрес бенгальских женщин, я немедленно понял, что Майтрейи оставила в

* YMCA (Young Men's Christian Association) — Христианская ассоциация молодежи (англ.).

моих мыслях, или моих желаниях, впечатление отнюдь не поверхностное. Это и удивило, и смутило меня. Я ушел к себе в комнату, машинально продолжая чистить трубку. Что было после, не могу сказать, потому что привожу эпизод по памяти, я и не вспоминал о нем до случая с гирляндой из жасмина, о которой еще пойдет речь в этой тетради.

В то время моя колониальная карьера была в самом начале. Я приехал в Индию с известной суммой предрассудков, состоял членом Ротари-клуба, очень гордился своим метрополийским происхождением и гражданством, увлекался математической физикой (хотя в отрочестве мечтал стать миссионером) и пунктуально вел дневник. Поработав в местном представительстве заводов «Нозэль энд Нозэль», я устроился прорабом в новом обществе по прокладке каналов в дельте. Там я ближе познакомился с Нарендрой Сеном, человеком очень известным и уважаемым, первым в Калькутте инженером с Эдинбургской премией, и моя жизнь приняла иной оборот. Теперь я меньше получал, зато мне нравилась работа. Не надо было торчать в душной конторе на Клайв-стрит, подписывать и разбирать бумажки и по вечерам неизменно напиваться, чтобы не впасть в ипохондрию. Каждые две-три недели я выезжал на объект — я отвечал за работы в Тамлуке, — и сердце радовалось, когда я видел, как продвигается дело.

Эти месяцы были для меня по-настоящему счастливыми, потому что на рассвете я садился в экспресс Хаура — Мадрас и к полудню прибывал на стройку. Мне всегда нравилось путешествовать по нашим колониям. По Индии первым классом — это просто праздник. Я ощущал дружелюбие вокзала всякий раз, когда высаживался из такси и бодро бежал по перрону: каскетка надвинута на глаза, позади мой бой, под мышкой пятачок иллюстрированных журналов, в руках пара пачек «Кэпстэна» (я много курил в Тамлуке и не мог пройти мимо табачной лавки в Хауре, чтобы не купить «Кэпстэна» про запас, — так меня преследовало воспоминание об одной ночи, когда мне нечем было набить трубку и пришлось курить с рабочими их махорку). Я никогда не вступал в разговор с соседями по купе, мне не нравились ни бара-сахибы*, недоучки из Оксфорда, ни коммивояжеры с торчащими из карманов детективами, ни богатые индийцы, которые научились путешествовать первым классом, но не научились

* Важные господа (*хинди*).

носить пиджак и пользоваться зубочисткой. Я смотрел в окно на поля Бенгала — никем не воспетые, никем не оплаканные, и мне хотелось молчать даже с самим собою, ничего не прося, ничего не желая...

На стройке я чувствовал себя полновластным хозяином, как если бы был там единственным белым. Те несколько евразийцев, которые руководили работами на участке возле моста, не пользовались таким авторитетом: они добирались до места третьим классом, носили обычные костюмы-хаки — шорты и блузу с большими нагрудными карманами — и крыли рабочих на правильном хинди. Совершенство языка и богатый арсенал бранных слов принижали их в глазах рабочих. Я же говорил плохо и с акцентом, и это внушало им уважение, потому что подтверждало мою иностранность и мое превосходство. Впрочем, я с большой охотой беседовал с ними по вечерам, перед тем как забраться в свою палатку, чтобы сделать запись в дневнике и спокойно выкурить на ночь трубку. Я любил этот приморский кусок земли, эту печальную, населенную змеями равнину, где пальмы были редки, а кусты ароматны. Я любил час перед рассветом, когда стояла такая тишина, что хотелось скулить от радости, я ощущал, почти как человеческое, одиночество этой равнины, такой зеленой и такой всеми забытой, ждущей странника под самым красивым небом, какое мне дано было видеть в жизни.

Дни на стройке казались каникулами. Я работал всласть, отдавал распоряжения направо и налево, меня переполняла радость, и не хватало только умного друга рядом — разделить это дивное состояние.

Однажды, когда я возвращался из Тамлука, прокаленный солнцем и со зверским аппетитом, и ждал на перроне, пока бой найдет мне такси, я встретил Люсьена Меца, а вернее, он сам налетел на меня (как раз пришел бомбейский экспресс, и на вокзале было столпотворение). С Люсьеном мы познакомились два года назад в Адене: я ехал в Индию, а он — в Египет, куда его должен был доставить итальянский пароход. Мне с самого начала понравилось в нем сочетание невежества и наглости. Этот газетчик, очень талантливый и неимоверно остроглазый, стряпал экономические обзоры, листая прейскуранты на борту парохода и сравнивая их с теми, что получал в порту, и мог превосходно описать город, по которому прогнал полным ходом на автомобиле. К моменту нашего знакомства он уже исколесил Индию, Китай, Малайю и Японию и принадлежал к числу

тех, кто честил почем зря махатму Ганди не за то, что тот сделал, а за то, чего не сделал.

— Эй, Аллан! — крикнул он мне, нисколько не удивившись встрече. — Все по Индиям, *mon vieux**? Втолкуй, будь добр, этому типу, который притворяется, что не понимает моего английского, чтобы он отвез меня в ИМКА, а не в отель. Я приехал писать книгу про Индию. Бестселлер, политика наполовину с детективом. Я тебе расскажу — ахнешь!

Люсьен в самом деле приехал писать книгу о современной Индии и обретался здесь уже несколько месяцев; брал интервью, посещал тюрьмы, фотографировал. В первый же вечер он показал мне свой альбом и коллекцию автографов. Если с чем у него и была загвоздка, так это с главой о женщинах, он еще не вышел на *настоящих* индийских женщин и имел довольно смутные представления об их жизни в парда**, об их гражданских правах и особенно о детских браках. Он все спрашивал меня:

— Аллан, неужели правда, что индийцы женятся на восьмилетних девочках? Нет, правда, я прочел в книге у одного типа, который тридцать лет протрубил тут в магистрате...

Мы провели вместе очень приятный вечер на веранде в моем пансионе, но я при всем желании тоже не мог внести ясность в вопрос, потому что о частной жизни индийцев знал только по кино. Однако мне пришла в голову мысль напроситься в гости к Нарендре Сену, чтобы тот просветил Люсьена. Может быть, меня грела мысль лучше разглядеть Майтрейи, которую я с того раза у книжного магазина больше не видел, поскольку мои прекрасные отношения с Сеном не выходили за рамки деловых контактов в конторе и бесед в машине по дороге домой. Случалось, он приглашал меня к чаю, но я, дорожа своим досугом, который старался отдавать математической физике, всякий раз уклонялся.

Когда я сообщил ему, что Люсьен Мец пишет книгу об Индии и собирается печатать ее в Париже, и еще сказал, какая именно глава вызывает у него затруднения, Сен предложил мне привести Люсьена в гости не откладывая, в тот же вечер. С какой радостью я взлетел по ступеням пансиона, чтобы сообщить ему об этом! Люсьен, ни разу не попадавший в

* Старик (франц.).

** Женская половина дома (хинди).

состоятельный индийский дом, стал предвкушать, какой блестящий репортаж он напишет.

— Этот твой Сен из какой касты? — поинтересовался он.

— Настоящий брахман, но совсем не ортодоксальный. Он и член-учредитель Ротари-клуба, и член Калькуттского, и в теннис превосходно играет, и машину водит, и ест рыбу и мясо, и даже приглашает в дом европейцев и представляет их жене. Ты будешь очарован, вот увидишь.

Надо признаться, что дом инженера вызывал у меня изумление не меньшее, чем у Люсьена. Этот дом в Бхованипоре я однажды видел из машины, когда заезжал к Сену за кое-какими чертежами. Но я бы никогда не подумал, что во внутреннем убранстве бенгальского дома могут обнаружиться такие тонкости: такое нежное преломление света сквозь прозрачные, как шали, занавеси, такие мягкие на ощупь ковры, кушетки, покрытые тканями Кашмира, одноногие столики, подставляющие свои латунные столешницы под чашки с чаем и бенгальские пирожные, выставленные Нарендрой Сеном для просвещения Люсьена. Я разглядывал все это так, как будто только что попал в Индию. Околачиваться здесь два года и ни разу не удосужиться подойти к бенгальцам поближе, оценить хотя бы их быт, если не душу! Я жил посреди колониальной страны один на один со своей работой, читая те книги и смотря те спектакли, которые с таким же успехом мог прочесть и посмотреть, оставаясь в метрополии, среди белых! В тот вечер я узнал первые сомнения и, помню, вернулся домой несколько подавленный. Люсьен кипел от восторга и проверял свои впечатления, справляясь у меня, верно ли он понял те или иные слова хозяина, я же был полон мыслей, которые до той поры никогда у меня не возникали. Тем не менее никакой записи в дневнике я не сделал и напрасно сегодня ищу в нем какой-нибудь след, какой-нибудь намек на встречу с Майтрейи. Это удивительно, насколько я не способен предвидеть значительные события, угадывать людей, которым суждено изменить направление моей жизни.

Майтрейи, в сари и покрывале разных оттенков желтого — чайной розы и желтой черешни, в белых, шитых золотом туфлях, показалась мне гораздо красивее, и ее слишком черные волосы, слишком большие глаза, слишком красные губы словно одушевляли чем-то надчеловеческим ее тело, обвитое одеждами и все же проступавшее сквозь них, как будто бы обязанное своим бытием чуду, а не законам биологии. Я смотрел на нее с

любопытством, потому что не мог понять, что за тайну несет это существо в своих мягких, шелковых движениях, в робкой улыбке, вот-вот готовой смениться гримасой паники, а прежде всего — в своем голосе, бесконечно изменчивом, будто сию минуту открывающем для себя те или иные звуки. Она говорила на стертом и правильном школярском английском, но стоило ей открыть рот, и я, и Люсьен замирали — такой зов был в этом голосе!..

Чай прошел со многими сюрпризами. Люсьен строчил в блокноте, дегустируя все подряд пирожные, и без конца сыпал вопросами. Поскольку по-английски он говорил скверно, а инженер заверил его, что понимает по-французски (он бывал в Париже на конгрессах и составил целую библиотеку французских романов, которых, правда, не читал), Люсьен время от времени переходил на парижское аргю, и тогда инженер отвечал: «Oui, oui, c'est ça»*, улыбаясь и сияя от удовольствия. Люсьен попросил позволения рассмотреть поближе наряд Майтрейи, орнаменты на одежде и украшения, и инженер, восприняв это с должным юмором, сам подвел к нему дочь за руку, потому что Майтрейи не хотела отойти от окна, губы у нее дергались, а покрывало съехало на лоб. Последовала ни с чем не сравнимая сцена осмотра одежд и украшений. Люсьен проводил осмотр не без помощи рук, сопровождая его возгласами энтузиазма и вопросами и стенографируя ответы, в то время как Майтрейи не знала, куда деваться от смущения, и дрожала вся, бледная, испуганная, пока не встретила глазами со мной. Я улыбнулся ей, как бы предлагая убежище, и больше она не отводила глаз, постепенно и плавно успокаиваясь. Не знаю, сколько длился этот взгляд, но я никогда не встречал и не выдерживал подобного, и после того как экзамен кончился и Майтрейи снова отпрянула к окну, мы уже избегали смотреть друг на друга, настолько сокровенно и тепло соприкоснулись наши глаза.

Не смея больше взглянуть на нее, я глядел — другими глазами — на инженера и спрашивал себя, как человек с такой неказистой внешностью может быть отцом Майтрейи. Я вдруг уловил его сходство с лягушкой — глаза навывкате и огромный рот, — я словно впервые увидел круглое смуглое лицо с низко растущими ото лба черными вьющимися волосами, приземистую сутулую фигуру на коротких ногах и с бесформенным живо-

* Да, да, верно (франц.).

том. Тем необъяснимее были симпатия и даже любовь, которые вызывал в людях мой патрон. По крайней мере для меня Нарендра Сен был обаятельнейшим человеком, умным и тонким, просвещенным, добрым и прямым, но не обделенным и чувством юмора.

Пока я сидел и вот так рассматривал его, вошла, внеся совершенно особую атмосферу радушия и трепетной пугливости, жена инженера, Шри-мати Деви Индира, в голубом с золотой каймой сари, ступни и ногти на ногах подведены красным. Английский госпожа Сен знала чрезвычайно слабо, но зато непрерывно улыбалась. Губы у нее тоже были очень алые — возможно, от бетеля. При виде ее я просто пришел в изумление: я бы никогда не принял ее за мать Майтрейи, в лучшем случае — за старшую сестру, такая была она молодая, свежая и застенчивая. Она привела с собой и младшую дочь, Чабу, лет десяти-одиннадцати, стриженую и в ситцевом платье без рукавов, тоже босую и своей босоногостью и смуглым хорошеньким личиком напоминающую цыганочку.

Что было после, трудно передать. Эти три женщины, выставленные нам напоказ, испуганно жались друг к другу, и инженеру никак не удавалось их ободрить и заставить разговаривать. Госпожа Сен хотела сама подать чай, но раздумала и поручила это Майтрейи. Не знаю, по чьей оплошности чайник опрокинулся с подноса прямо Люсьену на брюки, все кинулись ему на помощь, и пока Люсьен извинялся по-французски, без всякой надежды быть понятым, инженер весьма строго отчитывал по-бенгальски свое семейство, а потом указал Люсьену на другое кресло: — *Scusez-moi! Ici votre place**.

Дочери сбегали и переменили шелковое покрывало на кресле, а инженер все выговаривал им, я же не знал, куда девать руки, на ком остановить взгляд. Даже Люсьен почувствовал некоторую неловкость, хотя потом, в машине, с невероятным наслаждением смаковал это происшествие. Лишь госпожа Сен сохраняла ту же улыбку на алых губах и ту же робкую ласку во взгляде.

Беседа вскоре свернулась. Инженер показывал Люсьену санскритские рукописи из библиотеки своего дяди, в прошлом советника правительства, затем — картины и старинные вышивки. Я отошел к окну взглянуть на двор, странный двор с высокими стенами, где цвели какие-то кусты и

* Извините меня! Вот ваше место (*искаж. франц.*).

глициния под трепещущим опахалом кокосовой пальмы. Я смотрел и гадал, чем творится эта прелесть, эта тишина, небывалая для Калькутты, — и вдруг меня резанул по сердцу безудержный, заразительный смех, смех женщины и ребенка в одно и то же время. В волнении я высунулся из окна и увидел на крыльце Майтрейи, она каталась от хохота, перебирая ногами, прижимая руки к груди, — сари размоталось, волосы упали на глаза, — и наконец с такой силой разогнула колени, что туфли отлетели к дальней стене. Я смотрел на нее во все глаза, и эти несколько минут показались мне бесконечными. Не знаю, что за священное действо явил мне ее смех и буйство давшего себе волю тела. У меня было ощущение, что я совершаю кощунство, подглядывая за ней, но я не находил в себе сил оторваться.

Все комнаты, через которые инженер вел нас к выходу, были полны ее смеха.

II

Как-то раз в Тамлуке я пошел побродить по берегу реки. Тут на меня и нахлынуло ощущение моего одиночества. Помню, за два дня до этого была помолвка Норин, и мы кейфовали всю ночь: упились, натанцевались до упаду, перецеловали всех девушек, а на рассвете расселись по машинам и поехали на Озера. Мы планировали и «пижамную» вечеринку, как прошлой весной, в марте, когда мне пришлось решать свои разногласия с Эдди Хиггеригом посредством бокса. В Норин я тоже был влюблен одно время, как положено молодому человеку в двадцать четыре года, а вернее, я любил танцевать с ней в обнимку и целоваться. Больше ничего... И вот когда я медленно шел со своей трубкой и с хлыстом — солнце еще не раскалило пространство, и птицы еще гомонили в кустах, пахнущих корицей и ладаном, — я вдруг понял какую-то свою особость, я понял, что остался один и умру один. Мысль меня не опечалила; напротив, я был спокоен, ясен, примирен с лежащей вокруг равниной, и, если бы мне сказали, что жить мне осталось час, я бы не испытал сожалений. Я лег бы в траву, заложил руки за голову и, глядя в голубизну надземного океана, ждал бы, пока истекут мои минуты, не считая их и не торопя, просто не ощущая. Не знаю, что за гордыня, естественная ли, чуждая ли

человеческой природе, говорила тогда во мне. Мне все было по плечу — и ничего не надо. Вкус одиночества в этом волшебном краю вскружил мне голову. Я думал о Норин, о Гарольде, об остальных и спрашивал себя, как они попали в мою жизнь и как я затесался в их плоские и посредственные жизни. Я бродил долго, так и не сумев ответить.

На стройку я вернулся с утроенной жаждой одиночества, тишины и радовался, что у меня есть еще неделя палаточной жизни, без газет и без электричества. Меня встретил дежурный:

— Сахиб, вам телеграмма из Калькутты.

Я решил, что речь идет о приемке материалов, и не спешил ее вскрывать. А прочтя, был неприятно удивлен. Меня срочно вызывал Нарендра Сен. Выехать пришлось в тот же вечер, и я с печалью смотрел в окно вагона на бледные тени одиноких пальм, проступавшие сквозь испарения земли, на эту равнину, которая не далее как сегодня утром щедро приняла меня в лоно своей жизни без начала и без конца. Как я жалел тогда, что несвободен, что не могу остаться в своей палатке при газолиновой лампе и слушать хоры сверчков и цикад...

— Аллан, хорошие новости для тебя, — сказал мне инженер. — Нам нужен толковый человек в Ассаме, земляные работы и мосты на линии Лумдинг — Садийя. Я сразу подумал о тебе, и совет дал согласие, под мою ответственность. У тебя три дня на сборы и сдачу дел в Тамлуке...

Он смотрел на меня с непередаваемой доброжелательностью, и его некрасивое лицо светилось такой теплотой и любовью, что мне стало даже неловко. Позже я узнал, что он выдержал нешуточную битву на совете за мою кандидатуру, поскольку общество было свараджистским — стояло за устранение последних иностранных служащих и замену их национальными кадрами. Должность была ответственнее и платили лучше: от 250 до 400 рупий в месяц, такого жалования я не получал даже в «Нозль энд Нозль». Конечно, работать предстояло в местности нездоровой и дикой, но моя страсть к джунглям, с которой я прибыл в Индию и которую все еще не удовлетворил в полной мере, оказалась решающей. Я принял предложение с благодарностью. Инженер положил руку мне на плечо.

— Ты нам очень дорог, Аллан, и мне, и моей супруге, мы часто о тебе думаем. Как жаль, что ты не понимаешь нашего языка...

Тогда я над всем этим не задумался. В голове мелькнул, правда, во-

прос, почему Сен предпочел меня своим соотечественникам, но я ответил на него просто: из-за моих деловых качеств. Я всегда верил в конструктивность своего мышления, в свою энергию белого цивилизатора, в свою полезность для Индии.

Гарольд, узнав новость, настоял, чтобы мы отметили мое повышение небольшим банкетом в китайском квартале. Мы пригласили девушек и с шумным весельем погрузились в два такси. Выхав с Парк-стрит на Чоуринги-роуд, мы решили устроить гонки, понукали своих шоферов (наш был отличный парень, сикх, он воевал во Франции и умел кричать: «Diable, diable! Vin rouge, vin blanc!»*), хлопали их по спинам, подзадоривая. Герти, сидевшая у меня на коленях, прижималась ко мне (она уже знала о весомой прибавке жалованья) и повторяла:

— Ой, вывалюсь! Ты не боишься, что я вывалюсь?

На перекрестке Дхурмтолла-стрит нам пришлось ждать, пока пройдет трамвай. Второе такси успело проскочить, мы были в неопи-сваемой досаде, и тут напротив оказалась машина инженера. Я ошалел от неожиданности, увидев его вместе с женой и Майтрейи, и покраснел глупейшим образом, приветствуя их. Инженер презрительно улыбнулся, госпожа Сен взглянула на меня с ужасом и изумлением, я совершенно не знал, как к этому отнестись. Только Майтрейи подняла сложенные ладони ко лбу и ответила на мое приветствие с живым любопытством к компании, в которой я находился, и к девушке, которую держал в объятиях. Я тоже попытался изобразить это индийское приветствие, и тут до меня дошел весь идиотизм ситуации. Я пережил несколько пренеприятных мгновений, пока машины не тронулись. Обернувшись, я увидел бьющееся на ветру покрывало Майтрейи, цвета желтой черешни.

Моих товарищей скандализовали уважение и робость, с какими я приветствовал «черных».

— Не удивлюсь, если ты полезешь в Ганг на омовение, — съехидничала Герти.

— Как ты можешь поддерживать отношения с черной семьей? — возмущался Гарольд.

Зато шофер, наблюдавший эту сцену, был в восторге. Когда я распла-

* Дьявол, дьявол! Красное вино, белое вино! (франц.)

чивался с ним у дверей ресторана, он сказал мне по-французски, чтобы не поняли другие:

— Très bien, sahib, jeune fille à vous, bahut achhal*.

На другой день утром, когда мы встретились с Нарендрой Сеном, он спросил меня самым натуральным тоном:

— С кем ты был вчера вечером, Аллан?

— Это моя компания, сэр, — ответил я с подчеркнутой вежливостью.

— А девушка на коленях? Очень красивая. Она тебе нравится?

— Слишком дешевый разряд, чтобы мне нравиться, мистер Сен. Но я должен был устроить приятелям farewell-party**, а поскольку нас было много и мы хотели сэкономить на такси, то каждый посадил на колени по девушке. Дело житейское, сэр...

Он, несомненно, почувствовал перебор в моих словах и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Перед тобой, Аллан, другая дорога. Жизнь, какую ведут здешние англичане, тебя недостойна. Мне кажется, тебе очень вредит то, что ты поселился в их пансионе, ты никогда не полюбишь Индию рядом с такими...

Меня удивил интерес, который инженер выказал к моей личной жизни. До сих пор он интересовался только, как мне здешняя пища, приличный ли у меня бой, не мучают ли меня жара и шум, люблю ли я теннис.

Надо было спешно приступать к работе, оформить множество бумаг, и на прощанье Сен пригласил меня отужинать с ним в Ротари-клубе. Я пытался было сослаться на несоответствующий костюм, на усталость, но он не принял никаких отговорок. Пришлось сдаться, а после великолепного спича, который инженер произнес перед залом, полным избранной и живо реагирующей публики, я почувствовал себя даже польщенным, что сижу за одним столом с таким выдающимся человеком.

Той же ночью я отбыл в Шиллонг, меня провожал один Гарольд с напутствием против змей, проказы, малярии и желудочных болезней.

— Помни: бренди и виски с содовой! — прокричал он еще раз вслед поезду.

* Очень хорошо, сахиб, эта молодая девушка как раз для вас (франц. и хинди).

** Прощальная вечеринка (англ.).

III

Сегодня я долго сидел над своим ассамским дневником, с трудом разбирая тогдашние каракули и переписывая их в тетрадь, начатую вместе с моим уходом из той жизни. В Ассаме у меня было мироощущение пионера джунглей, я считал, что моя работа по прокладке путепроводов принесет Индии гораздо больше пользы, чем дюжина книг о ней, и что вообще эта культура, столь же древняя, сколь новы наши труды, еще ждет своего живописателя. Я забрался в такую глубинку, где побывали пока что только этнографы, я узнавал племенную Индию, а не ту, что знал по романам и очеркам, и узнавал на месте, среди ядовитой флоры Ассама, под вечным дождем, во влажной и дурманящей жаре. Я нес новую жизнь этому краю, задушенному лианами, его людям, таким нерадостным и таким неискушенным. Я хотел приобщиться к их эстетике и морали, я собирал фольклор, фотографировал, записывал родословные. Чем глубже я уходил в первобытность, тем более странную гордость испытывал: в джунглях я был добр и справедлив, выдержан и невозмутим, не то что в городе.

Но дожди... Что за ночи в борьбе с неврастенией под стук воды по крыше, от которого никуда не деться, что за дни, когда не имеющие подобия ливни лишь на несколько часов сменяются изморосью, мельчайшей и горячеей, напоенной самыми изнурительными оранжерейными запахами, — едва удержишься, чтобы не подставить им лицо, не побежать, ловя их ноздрями, ртом, шалея... Вечера я проводил в своей комнате — оазисе цивилизации и прохлады, или прогуливался по веранде бунгало, пытаюсь распробовать вкус табака (он отсыревал, несмотря на все предосторожности), и иногда чувствовал, что больше так не могу. Меня подмывало треснуть кулаком по перилам балюстрады, завывать и броситься сквозь дождь, сквозь темноту куда-то туда, где нет этого непоправимо прохудившегося неба, где трава не такая высокая, мокрая и мясистая. Я тосковал по цветам, по полям, похожим на тамлукские, по соленому бризу или по сухому ветру пустыни, потому что туманы и удушливые испарения растительности сводили меня с ума.

Мое общество составляли трое слуг и сторож, и когда к нам заносило случайного гостя, будь то надсмотрщик с джутовой плантации, чиновник из департамента или торговец чаем, держащий путь в Китай, я распи-

вал с ним бутылку виски. Я пил и один — каждый вечер, окончив инспекцию и возвратясь в бунгало принять ванну. К этому часу я уже не ощущал своего тела — кажется, уколи меня, порань, я даже не замечу. Зато нервы играли, как ртуть, руки и ноги тряслись, дыхание было тяжелым, голова кружилась всякий раз, как приходилось вставать с шезлонга, и чаще всего я так и валялся в пижаме, глядя перед собой, без воли, не замечая времени. Слуга ставил рядом со мной на столик бутылку виски и бутылку содовой, и я пил редкими глотками, уронив подбородок на грудь, пока по телу не разливалось приятное тепло и я не чувствовал, что отошел; тогда я вскакивал, одевался и выходил под дождь. Дыша мельчайшей водной пылью, я мечтал о скромной счастливой жизни, о ферме в пределах досягаемости от какого-нибудь города, куда бы я возвращался каждый день на машине. Это были часы моей слабости, я блуждал под дождем, пока меня не одолевало желание либо еще поработать, либо лечь спать. Спал я много и плохо, особенно те три недели, когда пришлось работать в сорока милях к северу от Садийи. Машина привозила меня в бунгало иногда уже за полночь, поскольку приходилось ехать окольным путем, избегая дорог в низинах, и я засыпал одетый, не умывшись, лишь проглотив чашку чаю с ромом и хинином, а наутро надо было выезжать не позже девяти. Я все больше пренебрегал своим туалетом: белые обходили стороной эти края в разгар муссонов; были, правда, несколько евразийских семейств, к которым я заезжал иногда скуки ради — услышать английскую речь и выпить за компанию.

По воскресеньям, когда прислуга отправлялась поездом в Шиллонг за провизией, я спал до полудня, просыпался с тяжестью в голове, с клейкой слюной во рту и весь день валялся в постели, записывая в дневник впечатления. Я хотел издать впоследствии книгу, чтобы в ней была правда о жизни белого в Ассаме, и старался как можно точнее анализировать себя: дни малярии и неврастения и (все-таки гораздо чаще) дни подъема, первооткрывательского духа, усилий, диктуемых честолюбием.

За весь июль я только раз попал в Шиллонг и там подставил себя солнцу, сходил в кино, починил патефон и накупил детективов — единственное чтиво, на которое я оказался способен по приезде в Ассам. Однако я знал, что мой труд хорошо оценивают в центре, знал не через нашего шиллонгского агента, надутого ирландца, который попытался было заставить меня ждать под дверью, а непосредственно от Нарендры Сена:

почти каждую неделю я получал от него весточку, продиктованную на машинку, несколько теплых и дружеских строк. В октябре мне полагался месячный отпуск. Правда, я мог бы поехать в Калькутту и в середине августа, если бы управился с инспекцией и ремонтом трудных участков под Садийей и представил отчет.

Но случилось то, чего я боялся в минуты депрессии. В начале августа я заболел малярией, малярией тяжелой, усугубляемой нервным истощением. Я вернулся в бунгало несколькими часами раньше обычного, и чай показался мне совершенно безвкусным. Меня знобило, поднялась температура. Я накачался бренди, памятуя наказы Гарольда, и лег в постель. Но наутро у меня начался бред, пригласили врача-евразийца, мистера Франка, он определил малярию, и в тот же день меня повезли в город. Солнце грело на славу, я смотрел на цветы и птиц, а на вокзале испытал потрясение при виде женщины: я четыре месяца не видел белых женщин.

Больше я уже ничего не помнил. Потом я узнал, что меня отвезли в Шиллонг и положили там в больницу для европейцев, что в Калькутту дали телеграмму, и, пока мне подыскивали замену, навестить меня приехал мистер Сен. Через пять дней первым классом, в сопровождении двух сестер милосердия и Гарольда, меня отправили в Калькутту, прямиком в центр тропической медицины.

...Когда я очнулся, было утро, пахло жженым сахаром и нашатырем, я, ничего не понимая, глядел на белые стены и на женщину, которая читала, уютно сидя в кресле у окна. Несколько минут я прислушивался к шороху вентилятора, пытаясь вспомнить, кто мне говорил только что про конрадовского «Лорда Джима», я слышал и узнавал этот голос, и чего бы я не дал за то, чтобы встать с постели и сказать его обладательнице, что это очень средний роман и что он не идет ни в какое сравнение с моей любимой книгой — «Капризом Олмейера», написанной Конрадом в юности.

— Кто не читал «Каприз Олмейера», тот не знает Конрада, — твердо сказал я женщине, сидевшей вполоборота ко мне.

— Господи! Значит, вы не потеряли дар речи?! — воскликнула ошеломленная сиделка, кидаясь ко мне и нажимая кнопку звонка. — Хотите чего-нибудь?

— Побриться, — невозмутимо заявил я, погладив отросшую бороду и чувствуя, какие впалые у меня щеки. — Прошу меня простить, что я в

таком виде перед вами. Вероятно, меня привезли сюда не по моей воле. Еще раз простите.

Сиделка рассмеялась. Потом, посерьезнев, сказала:

— Слава Богу, что вы пришли в себя. Мы уже отчаялись. Надо позвонить мистеру Карру. Бедняга, он каждый день справляется о вас...

Известие, что Гарольд обо мне беспокоится, неожиданно растрогало меня до слез. Я-то думал, что я один как перст, заброшенный, без друзей и знакомых. Вдруг мне стало страшно. Я представил себе, что мог умереть здесь, в пяти неделях езды от моей страны, и эта мысль меня парализовала, остановила кровь в жилах.

— Что с вами? — испуганно спросила сиделка.

— Нет, ничего, стыдно, что я небрит, — солгал я. Мне показалось, что она меня не поймет. Но слезы все же не сумел сдержать и, всхлипнув, спросил: — Вы думаете, я поправлюсь, я еще увижу Нью-Йорк и Париж? Я выздоравлию?

Не помню, что она мне ответила, хоть этот день подробно зафиксировался в памяти. Приходили доктора-европейцы, потом — Гарольд, который жал мне руку целых три минуты, повторяя:

— Ну как ты? Как ты, а?

Он засыпал меня забавными новостями. Что Гертти крутит с одним менеджером из «Мидл-Банка», он мало того что хлюпик, но и выставить его больше чем на билет в кино за три рупии восемь анн невозможно, что Норин в замужнем состоянии подурнела, что в мою комнату на Уэллсли-стрит вселилась супружеская пара, она на сносях, он приводит в комнату девчонок-школьниц и щупает их при ней, а она ему: «Джек, ты опять разнервничаешься...»

Пока мы болтали о всякой чепухе, пришел инженер, он с чувством пожал мне руку и погладил по голове, заглянул в глаза. Я представил ему Гарольда, который нагло сказал:

— Бесконечно счастлив познакомиться, мистер Сен.

— Аллан, ты переусердствовал в работе, от этого твоя болезнь, — начал было инженер. — Но ты сейчас ни о чем не беспокойся, все будет улажено...

Я видел, что присутствие Гарольда его стесняет и что наедине он сказал бы мне больше. Мы договорились, что он приедет на другой день, после работы.

— Жуткий тип, — заметил Гарольд. — Чего он к тебе, интересно, привязался? Не иначе как решил спихнуть за тебя дочку.

— Что ты мелешь, Гарольд? — возмутился я, покраснев при этом.

Майтрейи — видением, давно меня покинувшим, — снова встала перед глазами, на этот раз она была не такой неземной, как раньше, а теплой и улыбающейся (как бывает во сне, лица перепутались, и Майтрейи в придачу к большим глазам и гладко убранным волосам получила красные от бетеля губы матери). Несколько мгновений я видел ее, я смотрел на нее с жадностью и каким-то щемящим чувством. Была ли это тоска по ней или страх перед неминуемой встречей и обменом словами? Присутствие Гарольда вдруг показалось мне кошунственным, и я не знал, как объяснить самому себе то странное, что чувствовал: любовь? — нет, ни в коем случае; уважение? — тоже нет. Уважать причуды высокомерной бенгалки, которая презирает белых и все же тянется к ним? Но болтовня Гарольда решительно перестала меня занимать. Я хотел, чтобы он ушел, хотел остаться один. Слишком много впечатлений навалилось на меня за день. Среди них, я прекрасно понимал, и видение Майтрейи, взошедшее в сознании, когда оно освободилось от жара, видение, места которому я не знал, как не знал и что буду делать в ее живом присутствии.

Я никогда не болел, и меня томила медленность выздоровления. Мне хотелось сбросить с себя простыню, отыскать свою одежду и пуститься в загул, так я соскучился по огням Калькутты. Я пошел бы первым делом в китайский квартал и съел бы чау — лапшу во фритюре, приправленную луком-пореем и разными овощами, с омарами и яичными желтками, а потом заглянул бы в «Фирпос» и за хорошим коктейлем послушал джаз. Моя гордыня здорового белого человека противилась больничной преснатины. Здесь ничего не позволялось, даже курить.

На другой день я жаловался девушкам, Герти и Кларе, которые пришли ко мне и принесли шоколад, сигареты и фрукты:

— Сбежать бы отсюда и пуститься во все тяжкие!

Гарольд планировал большой кутеж с продолжением на Озерах в ту самую ночь, когда меня выпишут. Герти, с ее страстью к точности, вытаскивала листок бумаги и карандаш и принялась составлять список приглашенных. Симпсонов мы не позовем, потому что Айзек любит уединяться и дуть неразбавленное виски, а Джеральд нечист на руку, она сама видела на помолвке Норин, как он крадет сигареты, Кэтрин надо будет позвать

непременно, она про меня все время спрашивала и ужасно расстроилась, когда узнала, что я загремел в больницу. О братьях Хьюберах и о красотке Айви мы еще поговорим. С остальными все ясно.

Слушая, как она сыплет именами и решает за меня, я не знал, огорчаться мне или радоваться. Я смотрел на нее, но глаза то и дело соскальзывали в пустоту.

— Господин Сен, — объявила сестра.

Я совершенно растерялся, как всегда, когда мне приходилось общаться с индийцем, которого я уважаю, в присутствии соотечественников, моих сверстников. Улыбаясь во весь свой огромный рот, вошел Нарендра Сен, а за ним, застенчивой, мягкой походкой, — Майтрейи. У меня упало сердце, я тут же вспомнил, что сегодня не брился, что на мне казенная пижама и что выгляжу я по-дурачки. Я пожал руку инженеру, изобразил на лице печать страдания, чтобы прикрыть любые возможные оплошности с моей стороны, и поднес ладони ко лбу, с комической серьезностью приветствуя Майтрейи. Но каково же было мое изумление, когда она, представляясь девушкам, решительно пожала им руки и вежливо сказала:

— How do you do?

— Моя дочь знает два кодекса хороших манер, — объяснил господин Сен, подмигивая Герти, которую он все время держал под прицелом, особенно когда отпускал остроты. — Но западный она применяет только в присутствии дам.

Я сидел как на иголках. Девушки заговорили между собой, отозвав в сторонку и Гарольда, а инженер стал объяснять что-то по-бенгальски своей дочери, которая смотрела вокруг со жгучим и в то же время насмешливым любопытством. Я впервые заметил, что, когда она внимательно слушает, на ее губах намечается улыбка не просто иронии, но почти сарказма, которую с трудом можно было предположить на этом лице, столь пугливо-девственном. Разозлившись на себя за собственное смущение, я подумал: что я, собственно, разволновался присутствием этой девицы, в которой нет ничего особенного, которую я никогда в жизни не полюблю и с которой мне предстоят только эпизодические, ничего не значащие встречи?

— Когда вы придете к нам, мистер?

На звуки ее голоса вся троица моих друзей обернулась.

— Как только встану на ноги... — Я заколебался, не зная, как ее на-

звать: *мисс* не подходило, *деви* я не посмел; от такого затруднения меня бросило в краску, и я стал извиняться: — Простите, я не успел побриться, и в комнате не прибрано. Я сегодня чувствовал себя так плохо... — Тут я снова изобразил на лице крайнее изнеможение, мысленно моля Бога, чтобы все они поскорее ушли и разрядили ситуацию, которая казалась мне невыносимой.

— Вот что, Аллан, я предлагаю тебе пожить у нас, — заговорил инженер. — Эту мысль подала мне жена. Ты не привык к здешней пище, ослаблен болезнью, и, если тебе придется остаться в Калькутте, боюсь, ты не выдержишь. Кроме того, таким образом ты сэкономишь значительную сумму и через год, от силы два сможешь поехать навестить родителей. Для нас же твое присутствие... я думаю, излишне объяснять.

Он закрутил фразу своей влажной лягушачьей улыбкой. Майтрейи выжидательно смотрела мне прямо в глаза, не говоря ни слова, не прося, не убеждая. Как мне теперь досадно, что я не записал тогда, сразу после их ухода, тревожное состояние духа, вызванное словами Нарендры Сена. Смутно припоминаю (и тому причиной не столько время, сколько мои бесконечные сомнения и колебания, отнявшие у нашего разговора новизну и краски, затушевавшие его под банальность), смутно припоминаю, что во мне говорило два голоса: один звал меня в новую жизнь, которую, насколько мне было известно, ни один белый человек не знал непосредственно в ее источнике, жизнь, которую наезд Люсьена открыл мне как чудо и которой присутствие Майтрейи сообщало очарование легенды, влекущей, забирающей в плен; другой голос восставал против этого заговора, которым меня хотели лишить свободы, подчинить уставу совершенно чуждого мне существования, исключающего веселое времяпрепровождение со спиртным и прочим, допускающего изредка разве что кино. Оба голоса я ощущал равно для себя органичными, равно «моими»... Но нельзя было и затягивать ответ.

— Я вам так признателен, мистер Сен. Но боюсь, что доставляю вам слишком много хлопот, — вполголоса проговорил я, косясь на наших девочек, которые с досадой наблюдали, как я сдаюсь (инженер с Майтрейи сидели у моей постели, Гарольд с подругами стояли у окна).

— Пустое, — засмеялся Нарендра Сен. — У нас столько свободных комнат, внизу, рядом с библиотекой. И потом, твое присутствие станет

еще одним ферментом в процессе цивилизации моей семьи, поверь мне. — (Я не понял, была ли ирония в его словах.)

Когда-то, говоря с нашими девочками об инженере и о его прекрасной дочери, я сказал им в шутку, что мне понадобится их помощь, помощь такого рода: если мы встретимся все вместе, инженер, они и я, чтобы Герти с невинным видом спросила меня: «Аллан, как поживает твоя подружка?» Я сделаю вид, что сконфужен, что пытаюсь подать ей знак, но она пусть продолжает как ни в чем не бывало: «Ну-ну, не прикидывайся, будто не знаешь, о ком речь! Я тебя спрашиваю, как поживает Норин?» (Или Изабел, или Лилиан, любое женское имя, какое ей придет на ум.)

Так вот, Герти, сочтя, что сейчас самый подходящий момент запустить эту шутку, о которой я успел забыть, громко спросила, подмигивая: — Аллан, а как, кстати, поживает твоя подружка?

И, не дожидаясь ответа (у инженера слова замерли на губах, Майтрейи вскинула подбородок), Герти продолжала, по-видимому очень довольная собой:

— Ну-ну, не строй из себя невинность! Ты же должен ее спросить, прежде чем переселяться к мистеру Сену. Так ведь?

— Без сомнения, — согласился, пытаюсь улыбнуться, инженер.

Майтрейи посмотрела на Герти с неподдельным изумлением, потом перевела глаза на отца.

— Моя дочь хотела тебе почитать, Аллан, — поспешно заговорил инженер, чтобы сгладить эту неловкость. — Она выбрала «С востока» Лафкадио Херна. Но сейчас, наверное, не время.

— Я бы не смогла читать, бабá, — сказала Майтрейи. — Мой английский — *incomprehensible**. — Она выговорила это слово с безупречным произношением, особенно старательно.

— Так как насчет подружки, ты мне не ответил, — недовольно вмешалась Герти, обманутая в своих ожиданиях.

— Да отстань же ты, нет у меня никакой подружки! — взорвался я в досаде и на свою, и на ее глупость.

— Врет, — сказала она потише, почти конфиденциально, обращаясь к инженеру. — Такого бабника еще поискать...

Немая сцена. Инженер в полном замешательстве глядел на свою дочь.

* Невообразимый (англ.).

Взгляд Майтрейи стал отсутствующим. Гарольд, полагая, что битва выиграна, издали корчил мне гримасы. Идиотизм ситуации достиг предела, а поскольку в идиотской ситуации я не способен принять никакого решения и всегда жду чуда, я устался в одну точку и стал тереть себе лоб, изображая ужасную головную боль.

— Аллану надо отдохнуть, до свидания, — сказал мистер Сен, пожимая мне руку.

— Мы тоже сейчас пойдем, — подхватил Гарольд, прощаясь с инженером и с Майтрейи, с которой он, впрочем, не знал, как проститься.

Когда те ушли, девочки подскочили к моей кровати, фыркая от смеха и поздравляя меня.

— Ну, Аллан, пропал мальчишка, — смеялась Герти.

— А она ничего, — заметила Клара, — только, кажется, такая же грязная, как все их женщины. Чем они мажут волосы?

Тут я окончательно струсил и позволил своим гостям городить ерунду и про инженера, и про Майтрейи, не слыша ни их, ни самого себя. Чары рассеялись — все, даже почтение, исчезло без следа. Я перестал понимать что бы то ни было.

— Давай пересмотрим список, — напомнила Герти. — Наверно, все-таки стоит пригласить Хьюберов. У старшего, Дэвида, есть машина... Кстати, скажи, здорово я вернула про «подружку»? Я тебя спасла, Аллан, так и знай...

IV

Каждое утро первым моим чувством было удивление. Я просыпался на своей походной кровати в каком-то диковинном месте и переводил глаза с высокого зарешеченного окна на зеленые стены, на большое бамбуковое кресло и две табуретки у письменного стола, на литографии с видами Бенгала, висящие справа от книжного шкафа. Мне нужно было некоторое время, чтобы вспомнить, где я нахожусь, сообразить, что за глухие шумы доносятся из открытого окна или из-под двери в коридор, которую я на ночь запираю деревянным засовом. Я раздвигал прозрачный полог над кроватью и шел обливаться водой во двор, в обитую жестью кабинку, где стояла огромная цементная кадь, с вечера на-

полняемая водой. Мне в новинку были эти бодрящие омовения в импровизированной ванной посреди двора. Я черпал воду кружкой и лил на себя, дрожа от холода, потому что стояла зима, а двор был вымощен камнем. Зато я гордился, какой я храбрый: другие приносили с собой в кабинку по ведру горячей воды и, узнав, что я обливаюсь только холодной, охали и ахали от восхищения. Несколько дней в доме только и разговоров было что о моей утренней закалке. Я ждал похвалы от Майтрейи, которую встречал за чаем в простом белом сари, босую. И наконец дождался первых ее неформальных слов:

— В вашей стране, наверное, очень холодно. Поэтому вы такие белые...

Слово «белые» прозвучало с оттенком зависти и меланхолии, и взгляд ее невольно задержался чуть дольше на моей руке, открытой для обозрения, поскольку я был в рабочей блузе с короткими рукавами. Мне было странно и приятно уловить эту зависть, но подчеркнуть разговор не удалось, Майтрейи допила свой чай, слушая в молчании нашу с инженером беседу и отделяваясь кивком, когда я обращался к ней.

Она почти никогда не участвовала в общем разговоре. Я встречал ее в коридоре, я слышал ее пение, я знал, что добрую половину дня она проводит, запершись в своей комнате или на террасе, она была как бы совсем рядом и в то же время за семью печатями, и это не давало мне покоя. Впрочем, мне казалось, что я сам под постоянным надзором — не думаю, что меня в чем-то подозревали, скорее заботились, как бы мне лучше угодить в моем новом жилище. Оставаясь один и посмеиваясь надо всем, что казалось мне диким и непонятным, я каждый час получал то пирожные и фрукты, то чай с молоком, то тщательно очищенные кокосовые орехи. Все это приносил один и тот же слуга, голый по пояс, с волосатой грудью, единственный, с кем я мог перемолвиться словом на хинди. Он садился, скрестив ноги, у двери и, с жадностью разглядывая мои вещи и меня самого, медлил уходить и сыпал вопросами: удобна ли моя постель, хорошо ли защищает от москитов полог, люблю ли я сырое молоко, есть ли у меня братья и сестры, скучаю ли я по родине, и я знал, что наверху его ждет госпожа Сен с целым штатом кумушек (я их не различал) и он слово в слово повторит им то, что выведает.

Майтрейи держала себя, как мне казалось, очень высокомерно. Часто я застигал на ее губах чуть ли не саркастическую усмешку. Она все-

гда вставала из-за стола раньше других, чтобы пожевать бетель, и из соседней комнаты тут же раздавался ее смех и бенгальская речь. За общим столом она никогда не обращалась ко мне, а если я встречал ее одну, то сам не осмеливался начать разговор. Я боялся по неведению преступить какое-нибудь местное правило хорошего тона и поэтому часто делал вид, что просто ее не замечаю, и скрывался за своей дверью. Я задавал себе вопрос, что она думает обо мне, что за душу скрывает это изменчивое лицо (в иные дни она дурнела, в иные я не мог отвести от нее глаз, так она была хороша), глупа ли она, как все девушки, или первобытно проста, в соответствии с моими представлениями об индианках. Чтобы отвлечься от этих бесплодных мыслей, я вытряхивал пепел из трубки и возвращался к чтению. Библиотека инженера занимала две комнаты на первом этаже, и каждый день я брал оттуда и уносил к себе новые книги.

Однажды — прошло около месяца с тех пор, как я поселился в Бхованипоре, — я встретил Майтрейи на веранде. Я приветствовал ее, почти машинально соединив ладони у лба, почему-то я счел неуместным приподнять свою каскетку. (Думал, что оскорблю ее не принятым в их народе приветствием, или, может быть, хотел завоевать ее доверие?)

— Кто вас научил здороваться по-нашему? — спросила она, улыбнувшись с неожиданным дружелюбием.

— Вы, — ответил я, вспомнив плачевную встречу наших машин.

Она молча взглянула на меня, лицо ее исказилось страхом, губы задрожали, и она выбежала в коридор. Я пошел к себе, совершенно сбитый с толку, решив поговорить с инженером, посвятить его в мои затруднения и попросить совета.

Несколько дней спустя, когда я, вернувшись из конторы, валялся на кровати, усталый, без единой мысли в голове, Майтрейи постучала в мою дверь.

— Скажите мне, пожалуйста, когда должен приехать отец? — спросила она, в смущении переминаясь на пороге.

Я ошалело вскочил, по-прежнему не зная, как держать себя с этой девушкой, и ответил на ее вопрос гораздо многословнее, чем требовалось, не смея к тому же предложить ей войти и присесть.

— Меня мама послала, — робко объяснила она, но глаза ее смотрели прямо в мои глаза. — Вам у нас скучно, и вы поэтому все время сидите

взаперти. Мама говорит, что, если вы будете работать после заката, вы заболете.

— А что же мне еще делать после заката? — поинтересовался я.

— Если хотите, можете поразговаривать со мной... Или погулять. Навестить друзей.

— У меня больше нет друзей, — признался я честно. — Мне не к кому пойти. А гулять я гуляю достаточно, когда иду с работы.

— Вам было веселее там, на Уэллсли-стрит, — сказала она с улыбкой. И, словно что-то вспомнив, повернулась и пошла на веранду. — Пойду посмотрю, нет ли писем.

Я остался ждать ее, прислонясь к косяку. Она напевала на свой манер, без мелодии, как обычно по вечерам, перед сном. Я знал, что наверху, окнами на пустынную улочку, располагается ее комната с балконом, густо заросшим красной глицинией. Мне слышно было, как она поет или отчитывает младшую сестру, как выходит на балкон — оттуда доносился короткий возглас вспугнутой птицы, когда она отвечала на чей-то зов снизу: «Giàcè!»

Она вернулась с веером писем и остановилась передо мной, пытаясь завязать ключик в край своего сари.

— Почтовый ящик доверен мне, — с гордостью сказала она и добавила, погрузнев, разглядывая надписи на конвертах: — Только мне никто не пишет.

— А кто вам должен писать?

— Люди. Зачем же почта, как не затем, чтобы получать письма от людей, которых не видишь?

Я смотрел на нее, не понимая. Она тоже задумалась, прикрыв веки, испуганная чем-то.

— Мне показалось, я сделала грамматическую ошибку, — объяснила она свое волнение.

— Никакой ошибки.

— Тогда почему вы на меня так посмотрели?

— Я не очень хорошо вас понял. Как это вы ждете писем от незнакомых людей?

— Так не может быть, да? Вот и отец говорит то же самое. Отец говорит, что вы очень умный, это правда?

Я глупо улыбнулся, попытался сострить, а она предложила:

— Хотите посмотреть террасу?

Я с радостью согласился, я уже давно мечтал попасть на крышу дома, вволю наглядеться на небо, на купы кокосовых пальм, на сад, увидеть сверху весь этот квартал — сплошные виллы и парки, где я поначалу пропадал целыми днями.

— Я могу пойти прямо так, как есть?

Теперь она смотрела, не понимая. Я объяснил:

— Без воротничка, без пиджака, в теннисках на босу ногу.

Она смотрела все так же. Потом вдруг спросила со жгучим любопытством:

— У вас как ходят на террасу?

— У нас нет террас.

— Что, совсем?

— Совсем.

— Как это, должно быть, грустно. А солнце, где же вы тогда видите солнце?

— На улице, в поле, где придется.

Она на минуту задумалась.

— Поэтому вы белые. Это очень красиво. Я бы тоже хотела быть белой, но это невозможно, правда?

— Не знаю, но похоже, что так. Разве что пудриться.

Она сделала презрительную мину.

— Пудра смывается. Вы пудрились, когда были маленьким?

— Нет, у нас никто не пудрится, когда маленький.

Она просияла.

— Кто пудрится, тот заболевает. И Толстой так говорит.

Я посмотрел на нее, наверное, совсем ошалело, потому что она тут же приняла очень серьезный вид.

— Граф Луи (она произнесла Lew по-английски) Толстой, великий русский писатель, вы не знаете? Он очень красиво пишет; и потом, он был очень богатый, но под старость все оставил и ушел в лес, совсем как индеец...

Тут она вспомнила про свое намерение повести меня на террасу. Мы стали подниматься по лестнице, мимо женских комнат, я — в смущении, она — пытаясь говорить нарочито громко. (Для мамы, как она призналась мне позже, показать, что она меня «развлекает»: госпожа Сен ночи

не спала, терзаясь, что я остался без «развлечений», то есть без патефона и без друзей.) Наверху было потрясающе. Я бы никогда не подумал, что мир выглядит совсем по-иному, если смотреть с крыши, так тиха отсюда была наша цитадель, так зелен квартал. Я каждый день проходил под деревьями Бхованипора, но не представлял, что их такое множество. Я перегнулся за парапет и стал смотреть вниз, во двор. Вспомнил день, когда увидел, как Майтрейи катается от смеха по крыльцу. Кажется, с тех пор прошли годы. Годы прошли и с тех пор, как Майтрейи боязливо встала в дверях моей комнаты с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда должен приехать отец?»... Я по-прежнему не понимал ее. Теперь она казалась мне ребенком, дикаркой. Меня очаровывали ее речи, этот наив, эта скачущая логика мысли, и еще долгое время спустя я искренне считал, что превосхожу ее по развитию.

— Моя сестра не очень хорошо говорит по-английски, — сказала она, подводя ко мне за руку Чабу. — Но все понимает. Она просит вас рассказать ей сказку... Я тоже люблю сказки.

На меня снова нашло оцепенение, я стоял перед этими двумя девочками, которые держались за руки, под вечеряющим небом, какого я никогда прежде не видел, со странным ощущением сна, мгновенной смены декораций. Как будто кто-то внезапно поднял занавес. Или перемена была во мне?

— Я давно не читал сказок, — ответил я после довольно долгой паузы. — Но даже не в этом дело: из меня плохой рассказчик. Нужен особый дар, чтобы рассказывать сказки. Это не каждый умеет.

Их личики выразили такое искреннее огорчение, что я почувствовал себя виноватым и стал думать, а не помню ли я все же какую-нибудь сказку из детства? Но ни одна не приходила мне на ум. Я обозвал себя бестолочью и от сознания собственной ограниченности совсем потерялся. Быстро перебрал в памяти: Перро, Гриммы, Андерсен, Лафкадио Херн... Мне казалось, что все они слишком известны, не рассказывать же им историю про Красную Шапку, или про Спящую царевну, или про Зачарованный клад. Я хотел припомнить какую-нибудь неизвестную сказку, с приключениями и разными перипетиями, чтобы понравилось и Майтрейи. Что-нибудь достойное интеллигентного, начитанного юноши; что-нибудь оригинальное, сильное, символическое. Но именно ничего символического мне и не приходило в голову.

— Расскажи мне сказку про дерево, — сказала Чабу и взглянула на сестру — правильно ли она выразилась.

Я решил, что смогу симпровизировать, и начал:

— Росло однажды дерево, а в корнях этого дерева был зарыт клад. Один рыцарь...

— Что такое рыцарь? — перебила Чабу.

Сестра объяснила ей по-бенгальски, а я тем временем судорожно прикидывал, что сказать дальше.

— Одному рыцарю ночью приснилась фея и указала ему место, где зарыт клад. — Я понимал, что несу чушь, мне было стыдно глядеть на сестер, и я нагнулся, как бы завязать шнурки. — С помощью волшебного зеркала рыцарь нашел клад. — Продолжать я был не в силах. Мне казалось, что Майтрейи угадывает мой провал, но, покосившись на нее, я заметил, что она слушает очень внимательно и, по-видимому, с большим интересом. — Каково же было его удивление, когда он увидел, что под деревом сидит настоящий дракон — глаза горят, из пасти дым. — Я покраснел при последних словах. — Тогда рыцарь...

— А дерево? — перебила Чабу. — Что сказала дерево?

— Это было не волшебное дерево, оно не умело говорить, так что оно промолчало.

— А разве надо быть волшебным, чтобы говорить? — спросила Чабу.

Я пришел в легкое замешательство и отметил про себя: пантеизм.

— Что поделаешь, такие у нас сказки. Там не у всех деревьев есть душа, только у волшебных.

Чабу очень горячо стала обсуждать что-то с Майтрейи, и я в первый раз пожалел, что не понимаю их языка. Звуки его были по-итальянски нежны, гласные произносились нараспев, готовые с минуты на минуту перейти в песню.

— Что она говорит? — спросил я у Майтрейи.

— Она пытается у меня, есть ли душа у ее дерева. Я ей говорю, что у всех деревьев есть душа.

— А у нее есть свое дерево?

— Не то чтобы дерево, скорее куст, тот, что растет под верандой. Чабу приносит ему каждый день еду: лепешки и пирожные и вообще понемножку от всего, что ест сама.

Я был в восторге — на какой редкостный этнографический материал я попал — и твердил в уме: пантеизм, пантеизм.

— Но, Чабу, дерево же не ест лепешек.

— Как это, я же ем! — ответила она, очень удивленная моим замечанием.

Я решил по свежим следам записать мое открытие и под предлогом, что должен выкурить трубку, спустился к себе. Закрыв дверь на засов и записал в дневнике: *«Разговор с Майтрейи, первый раз. Замечательный примитивизм мышления. Ребенок, который начался больше чем нужно. Мой позор на террасе — я не способен придумать сказку; какой-то ступор перед наивностью, неискушенностью, может быть, из-за этого. Настоящее открытие — Чабу, пантеистическая душа. Наделяет своими ощущениями неодушевленные предметы; например, дает лепешки дереву, потому что сама их ест. Очень интересно».*

Записав в дневнике эти несколько строк, я растянулся на кровати и задумался. Не знаю, что за сомнения одолели меня тогда, но спустя несколько минут я встал и добавил в дневнике: *«А может, я ошибаюсь...»*

Вечером мы работали с инженером в его кабинете. Перед тем как разойтись, он коснулся моего плеча и сказал:

— Ты нам очень дорог, Аллан, моей жене и мне. Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя у нас как дома. Ты можешь свободно ходить по всем комнатам. Мы не ортодоксы, и у нас в доме нет женской половины, мужской половины. Если тебе что-то будет нужно, прошу тебя, скажи моей жене или Майтрейи. Я полагаю, вы с ней уже подружились...

Сегодняшнее происшествие позволило бы мне сказать «да». Все же я выложил ему свои трудности.

— Любая индийская девушка ведет себя так с иностранцем...

И он рассказал мне, как однажды они были приглашены к чаю в итальянское посольство, и консул, сопровождая Майтрейи по внутреннему дворику, взял ее под руку, потому что шел дождь, а зонтик был всего один. Этот жест со стороны незнакомого мужчины так перепутал Майтрейи, что она кинулась под дождь на улицу, забралась в машину, проплакала до самого Бхованипора и затихла только на руках у матери. А случилось это всего год назад, когда Майтрейи было уже почти пятнадцать лет, она уже сдала вступительные экзамены в университет и готовилась стать бакалавром искусств. Другой раз знакомое европейское семейство пригласило ее

в свою ложу в оперном театре, и когда один милый юноша попытался в темноте взять ее за руку, Майтрейи сказала ему на ухо, но так, чтобы все слышали: «Хочешь получить в зубы?» Паника, все повскакали с мест. Вмешалась сама госпожа Х. (имя слишком известное в Калькутте, чтобы упоминать его вслух). Последовали объяснения и извинения. «Я что, допустила грамматическую ошибку?» — спросила Майтрейи.

Я смеялся от души, хотя и спрашивал себя: она наивна или дурачит нас всех? Может быть, она просто оттачивает свое остроумие и хохочет за нашей спиной? Мне было не уйти от этой мысли всегда, когда я слышал ее смеющийся голос из соседней комнаты.

— Ты знаешь, что Майтрейи пишет стихи? — с гордостью спросил меня инженер.

— Подозревал, — ответил я.

Однако это открытие вызвало во мне раздражение. Все девушки пишут стихи. Я видел, что инженеру хочется изобразить дочь как эдакого вундеркинда, и меня покорило. И раньше бывали дни, когда я присматривался к ней с досадой, думая: какие в ней таланты, что она так самоуверенна?

— Она пишет философские стихи, они очень нравятся Тагору, — добавил инженер, наблюдая за мной.

— Да? — Я постарался изобразить равнодушие.

Спускаясь по лестнице, я встретил Майтрейи, выходившую из библиотеки.

— Я не знал, что ты поэтесса, — сказал я, пытаюсь говорить язвительно.

Она покраснела и прижалась к стене. Меня стала уже нервировать эта ее болезненная чувствительность.

— В общем-то, тут нет ничего плохого, если ты пишешь стихи. Лишь бы они были красивые.

— А откуда вы знаете, что они некрасивые? — спросила она, листая том, который несла из библиотеки.

— Красивые, не сомневаюсь. Мне только интересно, что ты можешь знать о жизни, чтобы писать философские стихи?

Она задумалась и вдруг рассмеялась, стыдливо скрестив руки на груди.

— Чему ты смеешься?

Она оборвала смех

— Я не должна была смеяться?

— Не знаю. Я ничего тут у вас не понимаю. В конце концов, каждый поступает, как ему нравится. Я просто спросил тебя, чему ты смеешься, я думал, что ты можешь мне объяснить.

— Отец говорит, что вы очень умный. — (Я поморщился). — Поэтому я все время боюсь сделать какую-нибудь ошибку, чтобы не раздражить вас.

— А почему ты так боишься меня раздражить?

— Потому что вы наш гость. А гостей посылает Бог...

— А если гость — плохой человек? — Я экзаменовал ее, как ребенка, хотя лицо ее было серьезным, почти мрачным.

— Бог позовет его обратно, — быстро ответила она.

— Который Бог?

— Его Бог.

— Как, у каждого человека — свой Бог?

Я нажал на слово «свой». Она посмотрела на меня, подумала, опустила веки, а когда подняла их снова, взгляд был влажным.

— Я ошиблась, да?

— Как я могу знать, — сказал я, пытаюсь скрыть замешательство. — Я же не философ.

— А я — да, — выпалила она, не колеблясь. — Я люблю думать, сочинять стихи, мечтать.

«Тоже мне, философия!» — подумал я и улыбнулся.

— Я хотела бы быть старой, — вдруг проговорила она с таким чувством, с такой тоской, что я вздрогнул. — Старой, как Роби Тхакур.

— Кто это — Роби Тхакур? — спросил я в непонятном волнении.

— Тагор. Я хотела бы быть старой, как он. Когда ты старей, ты больше любишь и меньше страдаешь.

И, вдруг застыдившись, метнулась прочь, но сдержала себя и остановилась, может быть поняв по моему виду, что мне тоже нелегко с ней.

— Мама ужасно огорчилась: она прочла в одной книжке, что в Европе по вечерам едят суп. Мы вас никогда не угощали супом, поэтому вы у нас такой худой. Мы все отвары выливаем птицам.

— Но я вовсе не люблю супов, — попытался я ее успокоить.

— А лучше бы вы любили! — сказала она, и глаза ее сверкнули.

— Да какая разница, в конце концов?

— Для мамы есть разница...

Она не договорила. Я смеялся и не знал, что думать об этих перепадах настроения, о внезапной ярости в глазах. Может быть, я ляпнул что-то не то, подумалось мне.

— Прости, пожалуйста, если что не так, — сказал я мягко. — Я не знаю, как вести себя с индийцами...

Она уже шагала вверх по лестнице. Моя реплика заставила ее обернуться. На этот раз взгляд ее был таким странным (о, эти ее взгляды, всегда разные, никогда не повторяющиеся), что я замер, не сводя с нее глаз.

— Зачем вы попросили у меня прощения? Вам нравится меня мучить?

— И в мыслях не было, — ошеломленно ответил я. — Мне показалось, что ты обиделась, вот я и...

— Разве может мужчина просить прощения у девушки?

— Ну а как же, если он в чем-то не прав... В общем, так положено...

— У девушки?

— И у ребенка, — похвастался я. — По крайней мере...

— Так делают все европейцы?

Я поколебался.

— Настоящие европейцы — да.

Она задумалась и на секунду закрыла глаза, но только на секунду, потому что тут же прыснула со смеху и снова стыдливо скрестила на груди руки.

— Может быть, они просят прощения только друг у друга, белые у белых. У меня они попросили бы прощения?

— Конечно.

— И у Чабу?

— И у Чабу.

— Чабу чернее меня.

— Разве?

У нее снова засверкали глаза.

— Да, да. Мы с мамой белее, чем Чабу и отец. Вы не замечали?

— Ну и что, какая разница?

— Как какая разница? Чабу будет труднее выйти замуж, потому что она чернее и за ней придется дать гораздо больше денег...

Выговорив все это, она зарделась, задрожала. Я тоже был смущен, потому что со времен Люсьенова визита несколько расширил свои знания индийских обычаев и понимал, как неприятно индийской девушке говорить об этих торгах. На наше счастье, Майтрейи окликнула госпожа Сен, и она бросилась вверх по лестнице, очень довольная, зажимая под мышкой книгу и крича:

— Giacè!

Я вернулся в свою комнату в полном восторге от всего, что открыл в этот день. Умылся, потому что приближалось время ужина (мы ели очень поздно, часов в 10—11, как принято в Бенгале, а после ужина сразу ложились спать), и раскрыл дневник, чтобы сделать еще запись. Но, повертев в руках перо, захлопнул тетрадь: глупости...

V

Должен сказать, что мысли о любви ни разу не приходили мне в первые месяцы, проведенные в обществе Майтрейи. Она интересовала меня как феномен, и эти семь печатей на ее жизни будоражили мое воображение. Если я часто думал о Майтрейи, если заносил в дневник ее словечки и разные подробности встреч, если она вызывала во мне некоторый беспокойный интерес, то это потому, что в ее глазах, в ее ответах, в ее смехе были странность и непонятность. Не стану отрицать, меня к ней тянуло. Необъяснимо волновала даже ее походка. Но я солгал бы, умолчав, что все мое существование в Бхованипоре, а не только эта девушка, казалось мне таинством и волшебством. Я так внезапно и так безоговорочно вошел в быт, где все читалось мной как тайнопись, что, очнувшись порой от этого индийского сна, вспоминал себя прежнего с улыбкой. Я стал другим человеком. Мой прежний мир потускнел, я не встречался ни с кем, кроме гостей семьи Сен, и даже круг чтения у меня изменился, я постепенно утрачивал интерес к математической физике и все больше увлекался романами, политикой, а потом и историей.

Однажды Майтрейи спросила меня, не хочу ли я учить бенгальский язык, она бы давала мне уроки. Поселившись у них в доме, я счел нужным сразу купить себе простенький разговорник и штудиро-

вал его украдкой, пытаясь ухватить смысл слов, которые Майтрейи кричала, когда ее звали или когда она была чем-то недовольна. Так я узнал, что «Giacè» означает «иду», а замеченное мной в каждой их беседе «ki vishan!» — нечто вроде возгласа удивления: «Надо же!» Но я понимал, что на разговорнике далеко не уедешь, и поэтому согласился брать уроки у Майтрейи. Взамен я должен был учить ее французскому.

В тот день после обеда мы принялись за дело. Мне казалось неловким уединяться с Майтрейи в моей комнате, и я предложил библиотеку, но инженер заметил, что у меня в комнате нам будет спокойней. (Видимые усилия, которые Сен употреблял на то, чтобы сблизить нас с Майтрейи, и излишняя снисходительность госпожи Сен смущали меня все больше, развивали подозрительность: не хотят ли они меня женить? По логике вещей, я знал, это было исключено: допустив подобную свадьбу, они оказались бы вне касты, потеряли бы имя.)

Мы сели за стол на почтительном расстоянии друг от друга, и Майтрейи начала урок. Я сразу понял, что не смогу учить бенгальский иначе как в одиночку. Она объясняла все так красиво и так пристально глядела мне в глаза, что я отключался от смысла, ничего не запоминал и лишь время от времени ей поддакивал.

Я весь обратился во взгляд, отдался тому флюидному току, который не имеет ничего общего с глазами, хотя исходит из них. Я никогда не видел существа столь изменчивого, так отвергающего всякую статику. У меня в ящике стола сохранились три фотографии Майтрейи, но напрасно я смотрю на них, ее не узнать ни на одной.

По нашему уговору последовал урок французского. Я начал с местоимений и с алфавита, Майтрейи очень скоро прервала меня:

— Как будет: «Я молодая девушка»?

Я сказал, и она повторила, совершенно счастливая:

— Je suis jeune fille, je suis jeune fille!

Произношение ее было удивительно чистым. Но вообще урок пошел насмарку, потому что она меня все время перебивала, заставляя переводить на французский совершенно бессмысленные фразы.

— Вы что-нибудь скажете, потом переведете, а я повторяю, — придумала она наконец свою методику.

Последовал ряд очень странных бесед, потому что Майтрейи все

время допытывалась у меня, перевожу ли я ей точно то, что сказал по-французски.

— Я говорю одно, а перевожу другое, — призналась она.

Уроке на третьем или четвертом она перестала смотреть мне в глаза, утыкалась в тетрадку, писала десятки раз: «Роби Тхакур, Роби Тхакур», подписывалась, рисовала цветок, каллиграфически выводила: «Калькутта», «Мне очень жаль», «Почему?» или набрасывала по-бенгальски стихи. Я, не видя ее глаз, говорил как лектор перед аудиторией, но сделать ей замечание не решался.

— Почему ты не скажешь, что это нехорошо — писать, когда с тобой разговаривают? — вдруг спросила она, поднимая на меня глаза, очень «женским» голосом, заставшим меня врасплох.

Я что-то промямлил и продолжал урок, правда несколько разозлился. Она снова склонилась над тетрадкой и написала: «Поздно, слишком поздно, но еще не поздно».

— Что это значит? — не удержался я от вопроса.

— Так, одна игра, — небрежно проронила она, стирая написанное букву за буквой и вырисовывая по цветочку на месте каждого слова. — Вот что я подумала: я буду давать уроки французского Чабу.

Я так искренне расхохотался, что развеселил и ее.

— Ты думаешь, не смогла бы? Я была бы учителем получше тебя, пусть и французского языка...

Она говорила с наигранной серьезностью, косясь на меня лукаво, как никогда раньше, и я почувствовал радость и волнение, потому что так мы становились свои. Я лучше понимал ее, когда она вела себя по-женски, чем когда она была «пантеисткой», представления которой уходили в бездну времен. Я сказал ей что-то по-французски без перевода. Она оживилась, с румянцем в лице попросила меня повторить и, схватив француско-английский словарь, стала разыскивать слова, которые уловила в моей таинственной фразе (на самом деле я брякнул какую-то банальность). Не нашла ни одного и осталась весьма недовольна.

— Ты не умеешь играть, — обвинила она меня.

— А я и не собираюсь играть на уроках, — отрезал я как можно суше.

Она задумалась, на секунду прикрыв веки, по своему обыкновению. Веки у нее были бледнее, чем все лицо, с прелестной и легкой синеватой тенью.

— Пойду посмотрю, нет ли писем, — сказала она, поспешно поднимаясь из-за стола.

Я ждал ее в некотором раздражении, потому что видел, что успехов она не делает, и боялся, как бы инженер не подумал, что это моя вина. Вернулась она очень быстро, какая-то удрученная, с двумя гроздьями красной глицинии. Села и спросила меня:

— Мы не продолжим урок? Je suis jeune fille...

— Это ты усвоила, а еще что-нибудь?

— J'apprends le français...

— Это мы проходили на прошлой неделе.

— А ту девушку, в машине, ты тоже учил французскому? — спросила она ни с того ни с сего, настороженно взглядывая на меня.

Я понял, что это она о Герти, которую видела в моих объятиях, покраснел и стал оправдываться:

— Ее бы я не научил, даже если бы хотел. Она была глупая. Ее хоть пять лет учи...

— А тебе сколько будет через пять лет? — перебила меня Майтрейи.

— Тридцать, тридцать первый, — ответил я.

— Вдвое меньше, чем ему, вдвое с лишним, — пробормотала она.

Опустила глаза в тетрадку и стала выводить «Роби Тхакур» бенгальскими и латинскими буквами. Я занервничал: во-первых, я не понимал, что это за страсть к семидесятилетнему мужчине; во-вторых, оставалась в стороне тема Герти, а мне почему-то вдруг захотелось вызвать в Майтрейи ревность; наконец, я подозревал, что она просто куражится надо мной, играя в наивность. Я ни за что на свете не допустил бы, чтобы надо мной издевалась шестнадцатилетняя девчонка, с которой меня связывала не любовь, а лишь интеллектуальные удовольствия. Поэтому я долгое время предпочитал по-иному трактовать ее попытки поддеть меня и выставить на смех. В конце концов, думал я, мы живем под одной крышей, я — первый мужчина, которого Майтрейи узнала поближе, к тому же белый, так что у нее есть причины хотеть мне понравиться. Эта мысль меня очень грела и придавала мне смелости: я чувствовал себя неуязвимым, не поддающимся игре, предметом ее возможной страсти — и никак от нее не зависящим. Дневник тех дней дает этому щедрые свидетельства. Я наблюдал игры Майтрейи абсолютно трезво. В самом деле, с тех пор как она справилась со своей первоначальной стыдливостью

и начала говорить со мной свободно, у меня все время было впечатление, что она играет.

Она поднялась, собрала книжки, взяла одну гроздь глицинии, а вторую оставила.

— Я выбирала самые красивые, — сказала она, не глядя на меня. И шагнула к дверям.

— Ну и забери их с собой, — бросил я вслед, набивая трубку, чтобы показать, как мне мало дела до ее забав.

Она послушно вернулась, поблагодарила за урок, взяла вторую гроздь и вышла. Но тут же просунулась в дверь, метнула цветок на стол (другой был уже приколот к ее волосам) и убежала. Я слышал, как она скачет вверх по лестнице, через две ступеньки, и не знал, что думать: признание в любви? Раскрыл дневник и записал эту сцену с глупыми комментариями.

На другой день после утреннего чая Майтрейи мимоходом спросила меня, что я сделал с цветком.

— Засушил, — соврал я, решив: пусть думает, что во мне тоже зреет идилия.

— А я свой обронила на лестнице, — меланхолично призналась она.

Я целый день вспоминал эту сцену, и у меня разыгралось воображение. Вернувшись из конторы, я посмотрел в зеркало и впервые в жизни подумал, что мне не мешало бы быть по красивее. Однако мне достало юмора увидеть себя со стороны, как я кривляюсь перед зеркалом, будто какая-нибудь кинозвезда, и я со смехом плюхнулся на кровать, радуясь, что все же я не кретин и голова у меня ясная. В эту минуту вошла Майтрейи с книгами под мышкой.

— Сегодня будем заниматься? — смиренно спросила она.

Мы начали с бенгальского, в котором я уже продвинулся, потому что по вечерам учил его самостоятельно и с Чабу говорил только по-бенгальски. Майтрейи дала мне задание, но, когда я начал писать, спросила:

— Куда ты дел глицинию?

— Она под прессом.

— Покажи.

Я замялся, потому что на самом деле выбросил гроздь в окно.

— Не могу, она далеко, — сказал я.

— Ты держишь ее в тайном месте? — загорелась она.

Я промолчал, оставив вопрос открытым, и занялся переводом. Ко-

гда она ушла, я сорвал на веранде гроздь глицинии поярче и положил в книгу, присыпав слегка пеплом из трубки, чтобы она выглядела увядшей. За обедом Майтрейи сияла, и глаза ее все время смеялись.

— Мама говорит, что мы занимаемся глупостями...

Я похолодел и перевел глаза на госпожу Сен, которая улыбалась совершенно благодушно. Мысль, что она поощряет и наши сентиментальные выходки, меня убили. Я решил, что это всеобщий заговор, имеющий целью свести меня с Майтрейи. Теперь все объяснилось: и почему нас постоянно оставляют одних, и почему инженер проводит вечера в своей комнате за чтением детективов, и почему ни одна из женщин, живущих наверху, никогда не спускается посмотреть, что мы делаем. Мне захотелось тут же бежать из этого дома, потому что для меня нет ничего более отвратительного, чем матримониальный заговор. Я опустил глаза в тарелку и ел молча. За столом нас было только трое: Майтрейи, госпожа Сен и я. Инженер ужинал в гостях. Майтрейи болтала не переставая. Я, впрочем, давно заметил, что она молчит лишь в присутствии отца или посторонних. Со всеми нами, домашними, она была весьма разговорчива.

— Ты должен перед сном гулять, — сказала Майтрейи. — Мама говорит, что ты опять похудел...

Я что-то буркнул в ответ довольно холодным тоном. Госпожа Сен немедленно это уловила и стала расспрашивать Майтрейи по-бенгальски, а та отвечала, насупившись, притопывая под столом ногой. Я делал вид, что ничего не замечаю, но мне было больно видеть, что я огорчил госпожу Сен, которую любил как мать, несмотря на ее моложавый и застенчивый вид. Когда я пошел к себе, Майтрейи нагнала меня в коридоре.

— Верни мне, пожалуйста, цветок.

Она была явно взволнована, даже допустила очень серьезную грамматическую ошибку. Я не решился пригласить ее в комнату, было уже поздно, но она вошла и без приглашения. Я подал ей спрессованную гроздь глицинии и сказал что-то вроде того, что это с возвратом, потому что я все же хочу ее сохранить, или еще какую-то душещипательную чепуху. Она взяла гроздь дрожащей рукой, рассмотрела, и ее чуть не повалил хохот, так что она должна была ухватиться за дверь.

— Это не моя, — выговорила она, ужасно довольная.

Наверное, я слегка побледнел, потому что она посмотрела на меня торжествующе.

— Как ты можешь говорить такое? — Я попытался изобразить негодование.

— В ту я вплела свой волос.

Она еще раз бросила на меня взгляд, кажется, совершенно убаго-творенная, и убежала. Далеко за полночь я слышал пение из ее комнаты.

VI

Раз ближе к вечеру в мою дверь постучали. Отворив, я увидел инженера, одетого для выхода, и Майтрейи в наряднейшем сари цвета свежих кофейных зерен, в шоколадном покрывале и золотых туфельках. В руках она держала свиток.

— Моя дочь читает сегодня лекцию о сущности прекрасного, — объявил инженер.

Я изобразил улыбку восхищения. Майтрейи теребила кончик покрывала. Она была тщательно причесана и надушена «Кеора атар», я уже знал резкий запах этих духов.

— От всего сердца желаю успеха. Главное — не робеть, — напутственно произнес я.

— Это не первое ее выступление, — с гордостью сказал инженер. — Жаль, что ты не так хорошо понимаешь по-бенгальски, тебе тоже было бы интересно послушать...

Они ушли, а я остался в некотором смятении чувств. Снова сел за книгу, но мне не читалось — перед глазами неотступно стояла Майтрейи, разглагольствующая о высоких материях. «Или это все фарс, или я просто осел, — думал я. — В жизни бы не заподозрил, что эта девчонка может что-то смыслить в таких серьезных вещах. Сущность прекрасного, надо же...»

Часа через два, услышав шум подъезжающей машины, я пошел встретить их на веранду. Майтрейи показалась мне не в духе.

— Ну как? — спросил я.

— Мало кто понял, — со вздохом ответил инженер. — Она взяла слишком глубоко, говорила о таких сокровенных предметах: творчество и эмоция, перевод прекрасного в духовное... — публика не всегда поспевала за развитием мысли.

Я вопросительно посмотрел на Майтрейи, но она, и не взглянув в мою сторону, побежала вверх по лестнице. Из ее комнаты слышался стук закрываемых окон. Я не находил себе места и, надев каскетку, пошел пройтись по парку. Спускаясь во двор, я услышал:

— Куда ты?

Майтрейи, в белом домашнем сари, с обнаженными руками и распущенными волосами, перегнулась через балюстраду своего балкона. Я ответил, что хочу пройтись по парку и заодно пополнить запасы табака.

— За табаком можешь послать кого-нибудь из слуг.

— А мне что тогда делать?

— Поднимайся сюда, если хочешь, поговорим.

Предложение меня взволновало: хотя я мог свободно расхаживать по всему дому, но в комнату Майтрейи пока что вхож не был. В мгновение ока я взлетел наверх. Она поджидала меня в дверях: лицо усталое, а губы неестественно красные. (После я узнал, что, выезжая «в свет», она красит их бетелем, по бенгальским правилам хорошего тона.)

— Прощу тебя, сними ботинки, — попросила она.

Я остался в одних носках, ощущая от этого крайнюю неловкость. Она предложила мне сесть на подушку у балконной двери. Комната была больше похожа на келью. По размерам такая же, как моя, а обстановка — кровать, стул и две подушки на полу. На балконе, правда, приткнулся еще маленький письменный столик. Ни зеркала, ни картины на стенах, никаких шкафов.

— На кровати спит Чабу, — сказала она с улыбкой.

— А ты?

— А я — вот на этой циновке.

Она вытащила из-под кровати тоненькую бамбуковую циновку. Я был потрясен и смотрел на Майтрейи как на святую. Она продолжала задумчиво:

— Я часто сплю на балконе: бриз веет, и я слышу внизу улицу. — (Улицу, по которой после восьми вечера никто не ходил, скорее уголок парка.) — Я люблю слушать улицу, — повторила она, глядя вниз с балкона. — Кто знает, куда ведет эта дорога...

— На Клайв-стрит, — сострил я.

— А с Клайв-стрит?

— К Гангу.

— А дальше?

— К морю.

Она вздрогнула и вернулась в комнату.

— Когда я была совсем маленькая, еще меньше, чем Чабу, мы каждое лето ездили на море, в Пури. Там у дедушки был отель. В Пури волны — на других морях таких волн нет. С наш дом высотой...

Я представил себе волну высотой с дом, а рядом Майтрейи, читающую лекцию о сущности прекрасного, и не мог сдержать снисходительной улыбки.

— Чему ты улыбаешься? — серьезно спросила она.

— По-моему, ты преувеличиваешь.

— А если и так, обязательно надо смеяться? Дедушка, например, тоже преувеличивал: он родил одиннадцать детей...

И она отвернулась от меня к окну. Я решил на всякий случай извиниться и пробормотал что-то невнятное.

— Не надо, — сказала она холодно. — Сегодня у тебя не получается. Ты сам не веришь тому, что говоришь. Тебе нравится Суинберн?

Я уже привык к перепадам ее мысли и ответил, что Суинберн мне, в общем-то, нравится. Она принесла с балкона потрепанный томик и показала мне место из «Анактории», отчеркнутое карандашом. Я стал читать вслух. Очень скоро она забрала у меня из рук книгу.

— Может быть, тебе кто-то и нравится, но не Суинберн.

Я опешил и стал оправдываться, доказывая, что вообще вся романтическая поэзия не стоит одного стихотворения Поля Валери. Она слушала очень внимательно, глядя мне прямо в глаза, как на первых уроках французского, и одобрительно покачивая головой.

— Чашечку чая? — перебила она меня на полуслове как раз в тот момент, когда я критиковал философскую поэзию как таковую, называя ее неполноценным гибридом.

Я смолк в досаде. Она вышла на лестницу и крикнула вниз, чтобы принесли чаю.

— Надеюсь, ты не опрокинешь мне чайник на брюки, как тогда Люсьену!

Я думал, что она засмеется, но она вдруг застыла посреди комнаты, вскрикнула что-то по-бенгальски и метнулась в дверь. Ее шаги удалились по направлению к отцовскому кабинету, примыкающему к гостиной.

Вернулась она с двумя книгами.

— Вот, получила сегодня из Парижа, но эта лекция так заморочила мне голову, что я совсем про них забыла. — И она подала мне один из двух экземпляров *«L'Inde avec les Anglais»** Люсьена Меца. — Это тебе.

Поскольку их прислал издатель, книги были без посвящения.

— Давай знаешь что сделаем? — предложил я. — Сами напишем друг другу посвящения!

Она захлопала в ладоши, принесла чернила и перо и едва сдерживала нетерпение, пока я писал: *«Моему другу Майтрейи Деви от ученика и учителя, на добрую память и пр.»*. Это «и пр.» понравилось ей больше всего. На своем экземпляре она написала только одно слово: «Другу».

— А если книга попадет в чужие руки?

— Ну и что, каждый может быть мне другом.

Она села на циновку, обхватив руками колени, и смотрела, как я пью чай. Уже совсем смерклось. На улице зажегся фонарь, и тень кокосовой пальмы непомерно выросла и стала отливать голубым. Я думал, что поделявают другие обитатели дома, почему никогда не слышно ни голосов, ни шагов, не заговор ли это — оставлять нас всегда одних, теперь уже в ее комнате, освещенной только синеватым отблеском фонаря.

— Сегодня начало нашей дружбы, да? — спросила Майтрейи очень мягко, забирая у меня пустую чашку.

— Почему только сегодня? Мы давно друзья, с тех пор как у нас пошли серьезные разговоры.

Снова опустившись на циновку, она сказала, что, если бы мы были совсем друзья, она открыла бы мне тайну своей грусти. И смолкла, глядя на меня. Я тоже молчал.

— Роби Тхакур не пришел на мою лекцию, — проронила она наконец.

У меня потемнело в глазах. Захотелось крикнуть ей что-нибудь обидное, например, что она зря считает меня другом, что она смешна со своей влюбленностью...

— Ты в него влюблена, — бросил я в сердцах. И, наверное, добавил бы еще что-то, поехиднее, но она вдруг сухо спросила:

* «Индия при англичанах» (франц.).

— Вам нравится сидеть в темноте с девушками?

— Не знаю, не пробовал, — ответил я наугад.

— Я хочу остаться одна, — проговорила она после паузы тоном крайней усталости и, уйдя на балкон, вытянулась там на циновке.

Я с трудом нашупал в потемках свои ботинки, обулся и, злой и растерянный, тихо спустился по лестнице.

Во всех комнатах дома горел свет.

* * *

Из дневника за тот месяц:

«Она красива не правильной красотой, а какой-то бунтарской, вне всяких канонов, и ее очарование — магического свойства. Думал о ней всю ночь, не мог не думать. И теперь мне мешает работать ее призрак в сари небесного шелка с золотым орнаментом. А волосы... Как точно персияне уподобляли такие волосы змеям в своей поэзии. Что будет, что будет? Может, я все же отвлекусь?..

Дашь ли ты мне покой, Господи, утешитель мой?

Чабу написала сказку, и Майтрейи со смехом перевела мне ее сегодня на террасе. Примерно так: «У одного царя был сын по имени Пхул. Однажды он ехал верхом и приехал в большой лес. Вдруг все, кто с ним был, превратились в цветы, только принц и его лошадь остались как были. Вернувшись во дворец, он рассказал об этом происшествии царю, но царь не поверил, стал ругать его за лживость и велел придворному пандиту прочесть принцу примеры и наставления против лжи. Так как принц все равно стоял на своем, царь снарядил целое войско и отправился в тот лес. Вдруг они все превратились в цветы. Прошел один день. Тогда Пхул, царский сын, приехал в лес и привез с собой книги с примерами и наставлениями против лжи. Он раскрыл книгу и начал вырывать страницы и бросать их по ветру. Страницы разлетались — воины оживали, ожил и сам царь...»

Отмечаю неприятные черты в характере инженера. Он полон собой — просто невероятно, как он мнит о себе. Сегодня вечером на террасе он попросил меня рассказать ему о парижских кокотках. Он собирается через

несколько месяцев во Францию, лечить давление. У него бывают на этой почве приступы.

Приехал из Дели кузен инженера, Манту, будет преподавать тут в коммерческом училище. На вид ему лет 30, тощий и маленький. Живет в соседней комнате. Мы скоро подружились, и он признался мне, что приехал жениться. Он сам не хочет, но хочет господин Сен. А у него всякие предчувствия и страхи.

Чудак, когда говорит по-английски, закрывает глаза. И ужасно смешливый.

Брачная церемония, начатая четыре дня назад, завершилась сегодня вечером. Пиршество происходило и в доме невесты (она совсем черная, заурядной внешности, но очень приятная, зовут ее Лилу), и в доме у инженера. Интересна роль Сена: он устроил этот брак и теперь переживает — мол, Манту все что-то «выдумывает». А Манту уважает его настолько, что пожертвовал бы для него и невинностью невесты. Такой обычай есть в некоторых районах Индии: ученик уступает *ргита пох** своему гуру, — Манту же все время подчеркивает, что инженер ему не только родня, но и гуру.

Я участвовал во всем, вникал во все детали, сам был в индийском шелковом костюме (честное слово, он мне к лицу, а мой искренний, неподдельный интерес и то, что я считал своим долгом говорить по-бенгальски, принесли мне популярность). Должен признаться, что индийское общество меня совершенно покорило. Как друзья индийцы бесценны. Я и сам иногда чувствую, что заражен любовью, в божественном, индийском смысле слова, любовью к каждой женщине как к матери. Никогда я не испытывал к госпоже Сен более преданного, чистого и благодатного сыновнего чувства, чем в эти дни. (Ее, по здешнему обычаю, все зовут мамой.) С тех пор, стоит мне завидеть на улице голубое, как у госпожи Сен, сари, это чувство возвращается: я становлюсь «сыном», осеяемым самой бескорыстной, самой высокой на свете материнской страстью, какой не встретишь нигде, кроме Индии.

Мне нравилось представлять себя мужем Майтрейи. Не скрою, я бла-

* Первая ночь (лат.).

женствовал, пока длилась церемония бракосочетания, и думал о Майтрейи как о своей невесте, своей возлюбленной. Но все-таки не терял головы. (Прим.: То есть я убеждал себя, что она не так уж и красива, критиковал ее бедра, слишком широкие при такой тонкой талии, придирчиво выискивал физические недостатки, пытаюсь таким образом вызвать в себе неприязнь к ней. Но, как это часто бывает, с недостатками она делалась мне еще дороже.)

Не знаю, как понимать все эти намеки, которые делают мне друзья дома, — как шуточки? Или у них верный источник — серьезное намерение инженера женить меня? Один раз за столом я понял, что и госпожа Сен желала бы того же. Назвать это заговором я уже не могу (хотя одно время так считал), поскольку для них брак — это и счастье, и долг. К тому же хотя они любят меня искренне, от души, но все же это бенгальская элита, и Майтрейи могла бы составить себе партию более блестящую, чем я.

Интересно: я, женатый на Майтрейи, что бы я был такое? Неужели я мог бы до такой степени потерять соображение, чтобы попасть в эту ловушку? Она, вне всякого сомнения, самая талантливая и занятная из всех девушек, каких я когда-нибудь знал, но я просто-напросто не создан для брака. Что станет с моей свободой? Предположим, Майтрейи осчастливит меня согласием. Но как быть с моей страстью к бродяжничеству? Ведь моя жизнь — это скитания, это книги, которые я накупаю в каждом городе, чтобы бросить их в следующем.

Однако пока что я наслаждаюсь вполне. Сколько я увидел! Вчерашняя ночь — *grita* пох — опочивальня, тонущая в цветах, девичье пение на балконе, Майтрейи читает поэму, написанную специально для этой церемонии.

Эмоции, которых у меня переизбыток в последние дни: всякий раз, как я понимаю, что речь идет о возможности моего брака с Майтрейи или когда проскальзывает намек на это, я испытываю приступ сильнейшего волнения. Почва — повышенная нервозность, долгое воздержание, чисто сексуальное беспокойство и беспокойство душевное, страх перед будущим. Страх растет, но есть что-то захватывающее в самой нависшей надо мной угрозе, и я не решаюсь объяснить, честно сказать, что не женюсь. Даже бежать не могу. Глупо было бы бежать. Я неизлечимо моральный человек, хотя мой демон-искуситель пытается сбить меня с этого пути.

(Прим.: Дневник — почти всегда скверный психолог, чему подтверждением будут дальнейшие события. Я привожу из него выдержки, чтобы еще раз показать себе, какой нелепый крен дало мое воображение.)

Манту проболтался сегодня женищинам, передал мои слова, что я не собираюсь жениться и не женюсь никогда. Майтрейи вся — гнев и презрение, перестала приходить на уроки, больше не поджидает меня, когда я возвращаюсь с работы, и никаких бесед. В госпоже Сен тоже поубавилось сердечности.

Эти перемены меня задевают, хотя я желал их и меня пугало преждее пристрастное отношение семейства.

Майтрейи сегодня целый вечер смеялась шуткам Кхокхи (бедный родственник инженера, парнишка, приехал по случаю свадьбы Манту, спит в коридоре). Я работал у себя в комнате, испытывая страшные муки ревности и стыдясь ее. (Прим.: На самом деле я был тогда не слишком влюблен. И все же ревновал к каждому, кто мог рассмешить Майтрейи.)

Я был равнодушен к Майтрейи все то время, пока испытывал на себе любовь всего семейства, разве что опасался матримониальной ловушки; но, как только раскрылось мое решение остаться холостяком и Майтрейи ко мне переменялась, она стала мила мне (Прим.: Неправда.), и я мучаюсь от ревности, от одиночества, сомневаюсь в избранном мною пути.

Многое изменилось: обедаю только в обществе инженера и Манту, женщины садятся за стол после нас. Без Майтрейи это грустные трапезы. Послали бы меня с инспекцией куда-нибудь на юг Бенгала! А по возвращении под благовидным предлогом надо переехать от них. Эксперимент затянется.

Два дня пасмурно и идет дождь. Сегодня — настоящий потоп. Я вышел на веранду посмотреть, как затопило улицы. Встретил Майтрейи, одетую крайне изысканно (вишневый бархат и черный шелк), она тоже вышла посмотреть. (Я знал, что у нее есть стихи о дожде, может быть, она и сегодня сочиняла наверху, в своей комнате?) Мы перебросились словами, довольно холодно. Вид у нее рассеянный, безразличный. Мог ли я предполагать, что ей достанет женского чутья, чтобы так точно скорректировать свое поведение в новой ситуации?

Я стал чужим в этом доме, где только что купался в любви и нежности, самых искренних, самых индийских. Вдруг все покрылось корочкой льда, и всякая непринужденность исчезла. За столом я угрюм и молчалив, в своей комнате — почти болен. По временам ударяюсь в судорожную веселость, один танцую под собственный аккомпанемент (давненько со мной такого не случалось).

Со вчерашнего дня отношения с Майтрейи и со всем семейством вернулись в прежнее русло повышенной нежности. Может быть, из-за того, что я объяснил инженеру, когда мы встретились после работы, что Манту не просто поступил неделикатно, но и не очень верно понял мои представления о браке. (Прим.: Похоже, что та холодность, которую дневник приписывает краху проектов моей женитьбы на Майтрейи, проистекала из недоразумения. Манту сообщил им, что я издеваюсь над браком вообще, а поскольку у индийцев нет таинства более священного, чем брак, они и отреагировали так, возможно, неосознанно.)

Мы много смеялись вчера с Майтрейи, сегодня разговорились в библиотеке, вместе читали «Шакунталу», сидя на ковре, потому что пришел ее учитель и она попросила, чтобы он разрешил мне присутствовать на уроке. Поздно вечером на террасе она самозабвенно читает нам наизусть из тагоровской «Маһиуа»** и ускользает, не простясь, после стихов она не в силах говорить.*

Я люблю ее?

VII

Из дневника за следующий месяц:

Наедине с Майтрейи; говорим о мужских качествах: Уолт Уитмен, Папини и т. д. Она мало что читала, но слушает внимательно. Я ей нравлюсь, она сама сказала. И призналась, что хотела бы отдаться мужчине, как в одном стихотворении у Тагора, на морском берегу, в бурю. Литература.

* Пьеса древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы.

** «Мохуа» — название сборника любовной лирики Р. Тагора.

Страсть набирает силу, что-то среднее между нежной дружбой, сексом и восхищением, все вперемешку, но очень естественно и захватывающе. Когда мы читаем вместе на ковре, от ее прикосновений у меня в голове мутится. Знаю, что и она чувствует то же. (Прим.: Ошибка. Майтрейи ничего такого не испытывала.) Мы многое говорим друг другу через книги. Даже что мы хотим друг друга. (Прим.: Опять промашка. Майтрейи захватывала только игра, иллюзия искушения, а не оно само. Она и представить себе не могла тогда, что такое настоящая страсть.)

Первый затянувшийся (до одиннадцати) вечер наедине с Майтрейи за переводом тагоровской «Vallaka» и за беседой. Инженер, вернувшись из города со званого ужина, застал нас в ее комнате, когда мы разговаривали. Я спокоен, не дергаюсь. Майтрейи в смущении хватается за книгу:*

— Мы занимаемся бенгальским...

Значит, и она лжет? (Прим.: Это дневник остолопа. Столько кривляний, чтобы понять одного-единственного человека! Я нисколько, признаюсь, не разбирался тогда в Майтрейи. Она не лгала, она просто забыла. Забыла, что я пришел к ней читать «Vallaka», а при виде отца, естественным образом, вспомнила. Если бы это был кто-то другой, она бы не прервала разговора, но в присутствии отца у них не принято говорить, поэтому она и взялась за книгу.)

Сегодня я принес ей столько лотосов, что, когда она взяла их в охапку и поблагодарила меня, за ними не было видно ее лица. Я уверен, что она меня любит. (Прим.: Надо же было так все толковать!) Она целыми днями читает мне стихи и свои посвящает мне. Но я не люблю ее. Просто она не может не восхищать меня и не возбуждать, вся, целиком, и плоть и дух. Узнал о ней новое сегодня. Говорил с Лилу и пошутил, что передам мужу кое-какие ее слова.

Лилу, лукаво:

— А что он может сделать?

Я:

— Не знаю, я не разбираюсь в мерах супружеского воздействия.

* «Полет журавлей» — знаменитая книга стихов Р. Тагора.

— Он ее накажет, тем или иным способом,— вмешалась Майтрейи и со смехом повторила последние слова, когда мы остались одни.

Итак, она знает?.. Впрочем, она ведь сама мне призналась, что хотела бы отдаться не помня себя, в исступлении. Она откровенничает со мной, как ни с кем, и я узнаю такие вещи, которые бы не заподозрил в первые дни знакомства. (Прим.: На самом деле Майтрейи просто-напросто играла и даже после того, как Лилу раскрыла ей тайну супружеской любви, ничего не поняла и повторяла некоторые выражения только потому, что они ей нравились.)

Вылазка в местный кинематограф на фильм с Химансуралом Реем: Майтрейи, Лилу, Манту и я. Болтали и смеялись до упаду. Но напоследок с Майтрейи случился обморок. Я не знаю, как это объяснить: темнотой, впечатлением от фильма или сексуальным спазмом из-за близости ко мне? Знаю только, что она фантастически чувствenna, хотя чиста, как святая. Впрочем, это и есть чудо индийской женщины (по признанию моих бенгальских знакомых): девственница, которая с первой же ночи превращается в идеальную любовницу.

Майтрейи хочет вызвать мою ревность: идиллия с бенгальцем, молодым и красивым, который уехал учиться в Англию. Итак, перед нами проторенная дорожка мещанских сантиментов... (Прим.: Она-то имела в виду объявить мне о своем отказе от всего, что было до меня.)

Снова принес цветы. Она надулась, что я одарил и других девушек тоже, и госпожу Сен. Манту, кажется, заметил наше сближение, потому что, когда мы остаемся одни, он тут как тут. И хотя Майтрейи говорит ему, что это *private talk**, он не уходит.

Был в кино с инженером, он посетовал, что его поездка во Францию откладывается. Может, это намек на мое возможное соединение с Майтрейи? Вот вернусь и спрошу себя по-настоящему, дорога ли она мне. Хотя в машине меня все время преследовало видение нашего брачного ложа.

* Частная беседа (англ.).

Гну свою линию, и это мне нравится. Избегаю встреч с Майтрейи, делая вид, что боюсь ее, что влюблен безумно и пр. Она вызвала меня сегодня утром на разговор, почти насильно ворвавшись ко мне в комнату. Эти отношения с индианкой — что-то немыслимое! Не знаю только, как из них выйти. Такая острота ощущений, так кипит кровь, но не влюблен же я. Это несерьезно.

Неожиданный выпад со стороны Майтрейи. Я зашел слишком далеко, изображая инфантильное чувство к ней (я полагал, что это ближайший путь к сердцу индианки). Только Майтрейи не просто индианка, но и характер, и притом чрезвычайно волевой. Она сказала, что ее отталкивает собачья преданность, обожание (она причисляет и меня к своим платоническим обожателям). Она считает, что это заурядные, тривиальные, незрелые чувства. Не выносит и презирует таких поклонников. Мечтает о незаурядном мужчине, который стоял бы выше жалкой сентиментальности. Мое отношение ее нервирует.

Ах, так? Тогда я меняю тактику. Чувственный дурман сразу пошел на спад, как только она сделала мне это признание. Она развязала мне руки, теперь я гораздо свободнее. Пусть попробует прийти ко мне в комнату! Я ей покажу, что мне плевать на телячьи нежности. Знаю, что она влюблена. Этого не скрыть. Знаю, что ей никуда от меня не деться. И если мы пробудем наедине двадцать четыре часа, она отдастся мне как миленькая.

Но какого черта она говорит все время, что и любовь как у всех ей тоже противна? Это меня задевает. Есть что-то получше?

Ни одна женщина так меня не волновала. Мои чувственные мучения — просто проклятье, а тут еще этот зной и столько дел на мою голову! Неужели такая уж тайна — ее тело? Сомневаюсь. Меня волнует каждое слово, каждый намек на опасность, то есть на мой брак с Майтрейи, который явно подготавливается. Знаю, что я под угрозой. Все идет к этому. Госпожа Сен просто одолевает меня своими материнскими чувствами. Инженер зовет меня «дитя». (Прим.: Какой я был болван!)

Вечером, за столом, госпожа Сен жалуется, что я зову ее «госпожа», а

не «мама», как принято в Индии. Она добра до святости и обезоруживает своей наивностью. Искренне люблю ее.

А дальше: пошло-поехало. Манту просит называть его дядей, а Лилу — тетей, хотя ей всего-то семнадцать лет. Забавно.

С Майтрейи — проблемы. Поссорились из-за пустяка (впрочем, это с нами случается по два раза на дню), и после она не знала, как ко мне подлизаться. Я напустил на себя мрачный вид и сел за работу. Но на самом деле был доволен, надеясь, что, может, даст трещину наша слишком тесная дружба и то, в чем мы еще не признались друг другу. Я побаивался, что зашел слишком далеко, и под любым предлогом был готов пойти на понятный. Но нет, она попросила прощения, и игра возобновилась. Чувствую, что долго не продержусь.

Чуть не поцеловал ее сегодня, когда мы остались вдвоем в комнате. Мне стоило больших усилий не обнять ее, такая она была взбудораженная и так заражала меня. Только сжал ее руку выше локтя и прикоснулся к ней губами. Большого себе не позволил. Я боюсь самого себя. (Прим.: Майтрейи не испытывала того, что я думал. Ее просто беспокоило мое состояние. Она была расположена к игре, это я далеко зашел.) Майтрейи — редкая девушка, но в женах не будет ли она такой же посредственностью, как любая другая?

Ближе к вечеру она пришла ко мне в дивном пунцовом покрывале, которое только условно прикрывает убийственно смуглые груди. Знаю, что она надела этот непристойный и обольстительный наряд для меня; инженера нет дома, иначе она бы не посмела. (Прим.: На самом деле это был просто раджпутский костюм, который надевают на голое тело, а не на кофточку, как в Бенгале.)

Майтрейи приходит ко мне без всякого предложения и все время меня провоцирует. Страсть ей к лицу. Плоть такая зовущая, сверх всякой меры. Я нарочно твержу себе, что она толстая, страшная, что я не выношу индийского амбре, и таким образом еще могу сдержаться. Занимаюсь, так сказать, «медитацией по контрасту». На самом деле это бесполезная трата нервов, и я ничего, ничего не понимаю. Что со мной будет?

С утра — ссора. Опять по пустяку. Майтрейи грозит не разговаривать со мной неделю. А я сказал наконец, что пусть, переживу, и от

этого сам успокоился и смог поработать. Лилу пришла как миротворец, с вестью, что «поэтесса совсем убита». Я сказал, что я тут ни при чем и что если Майтрейи так нравятся ссоры... Как банальны женщины! Та же песня у всех, в Европе и в Азии, у глупых и умных, у развратных и невинных...

Вечером — один в кино, с полным удовольствием. За ужином Майтрейи села рядом со мной в потрясающем старинном сари. Заплаканная, молчаливая, чуть притронулась к еде. «Мама» все поняла. Расцвела, когда я перекинулся с ее дочерью словом. После ужина — короткое «объяснение». Майтрейи говорит, что я не так ее понял, что она вовсе не пренебрегает любовью и симпатией...

Поединок длился четверть часа. Я сжимал ее запястья. Она очаровательно вырывалась — в этом состоял поединок — и в слезах молилась Тагору. Я был спокоен и хладнокровно испытывал ее, подвергая боли и унижению.

Наконец она была вынуждена признать себя побежденной. Радость, смешанная с горечью: она счастлива, что я — ее победитель, но расстроена, что ее духовный учитель, гуру, не помог ей. И т. д.

Когда мы пошли к ней в комнату, она шепнула:

— Ты сломал мне руки!

Я, не долго думая, взял ее руки в свои и, погладив, поцеловал. В Индии это недопустимо. Узнай кто, ее бы могли казнить. (Прим.: Я преувеличивал.)

После обеда она без слов бросила мне в комнату цветок...

Кинематограф с Майтрейи и другими. Она, конечно, сидела со мной. Когда погасили свет, сказала, что у нее ко мне серьезный разговор. Я отрезал, что сыт по горло этими «сантиментами», что я их презираю (вражье!). Она потеряла свое величественное спокойствие (Клеопатра?) и распустила нюни. Это меня не тронуло.

Когда мы выходили, она опять было начала всхлипывать. Я сказал только: «Майтрейи!» — и смолк. В тот вечер она еще раз расплакалась, у меня в комнате, прикрыв лицо покрывалом и без всяких объяснений. Но нашла в себе силы улыбнуться, когда пришли другие.

Опять «выяснение отношений» с Майтрейи. Сегодня она держалась получше. Плакала только один раз. Зато я разнервничался, стал говорить,

что придется уехать. Финал кошмарный, я попросил ее уйти из моей комнаты, бросился на постель, изображая приступ неизвестно чего. Я был смешон. Пообещал Майтрейи, что мы снова «станем друзьями». Какой болван! Зашел со своей идиотской тактикой в такие дебри вранья и «признаний», что выглядел пошляк пошляком, докатился до «сцен» и пр., и пр., а она сохраняла завидное спокойствие. Сказала, что и ее часть вины есть в наших сентиментальных «шутках». Но с этим должно быть покончено, будем снова друзьями.

Ночь.

Ох! Но все не так просто. Я люблю ее, очень и очень, — и боюсь. Она сказала, что мучается оттого, что причинила мне зло.

Мне страшно, но и весело тоже. Душа не иссохла от всех этих новых и нерешенных проблем. Я могу еще быть влюбленным со всей страстью, и притом без сентиментальности. Но далась же мне, в самом деле, эта сентиментальность, не все ли равно?

Я влип? Доигрался? Сегодня с утра до позднего вечера я был «счастливым», если можно этим стертым словом обозначить ни с чем не сравнимый наплыв мажора, жизненных сил, аппетита к жизни и игре. Я был готов сказать Майтрейи: «Хочешь быть моей?» И сейчас готов. Какое счастье быть ее мужем! Очищенным от скверны, ясным...

После обеда разговор с Майтрейи о брачных узах. Я все время представляю себя ее мужем, главой семьи и образцом нравственности. Полная удовлетворенность, покой.

Вечером она говорит мне, что в отчаянии, потому что ей не написал Тагор. Он для нее больше чем гуру, он ей друг, поверенный ее тайн, жених, Бог, может быть, даже возлюбленный. Она признается мне, что никто не подозревает об их связи. Любовь по-индийски! Я ревную? Решил сказать ей, что в нашем браке нет смысла, раз ей так дорог другой. Но, наверное, она и сама все понимает. (Прим.: Ничего она не понимала.) Она заметила, что я надулся и встал в позу. После ужина мы не разговаривали. Прислала мне с Кхокхой записочку, что я ее обижаяю. Я не ответил.

Вся эта история то раздражает меня, то развлекает. Влюблен по уши,

в голове все время картинки нашей семейной жизни, дети. Теряю массу времени. Очень трудно сосредоточиться. Но от любви не откажусь.

Ночью было землетрясение, хотя меня трясло и без этого. Утром, когда встретил Майтрейи, подарил ей одну ценную книгу.

Сегодня между нами — такие бури, что мне трудно их описать. В двух словах. Майтрейи набросилась на меня с упреками: чего я добиваюсь, моя несдержанность ее компрометирует. Манту и Кхокха уже догадываются и пр. И это все сквозь рыдания. Я не проронил ни слова. Сидел мрачный. Снова поза. В это время на веранде, рядом с моей комнатой, был Кхокха и все слышал. Когда мы его заметили, Майтрейи заплакала еще отчаянней. Написала на краешке листа, что хочет умереть. Для индианки это бесчестье — что Кхокха теперь про нас знает.

Но все же, успокоившись, она прибралась у меня в комнате и поправила букет на столе. Я молчал.

Сегодня, когда я живописал ей распушенность девушек в Европе, она спросила, чист ли я сам, и одной только мысли, что вдруг это не так, было довольно, чтобы она расплакалась. Меня трогает эта яростная, мистическая жажда чистоты.

К вечеру — снова matrimониальные разговоры. Майтрейи рассказала, что ее сватают за одного бенгальца, с которым она, конечно, не будет счастлива. Я посетовал, что родился белым (сам себе не очень веря), — дескать, будь я индийцем, у меня было бы больше шансов и пр. Она остолбенела, и тогда я поставил вопрос ребром: почему мы не можем пожениться? Допускает ли она идею нашего союза? Она, все еще остолбенелая, оглянулась — не слышал ли кто меня. Потом стала говорить, что все решает судьба или Бог (я ее перебил: не путает ли она Бога с предрассудками, а она ответила, что Бог свои желания выражает через предрассудки), что, может быть, моя любовь — это только мимолетная иллюзия и т. д. Факт то, что эта любовь, которую я поначалу считал ненастоящей, неважной, надуманной, натолкнувшись на отношение ко мне Майтрейи, в чьих чувствах я нисколько не сомневался (тогда как их вовсе не было, ни ко мне, ни к кому), — эта любовь меня совершенно захватила и несет; ощущение счастья, какого-то роскошного счастья живет на дне души, на краю всякой мысли. Не знаю, как это описать. Серьезно думаю о браке...

С того дня я почти ее не видел. Только иногда слышал сверху ее пение. Я послал ей несколько невинных записочек с Лилу, она не ответила. Чего я только не передумал в первую ночь, потом мысли пошли на спад, потом иссякли вовсе. Я увидел, что могу прожить и без Майтрейи.

VIII

Однажды я встретил на улице Гарольда. Он, как мне показалось, держался холоднее, чем обычно.

— Это правда, что ты женишься на инженеровой дочке? — спросил он среди прочего.

Я покраснел и попытался отшутиться, как всегда, когда попадаю в затруднительное положение, особенно если приходится защищать кого-то мне дорогого. Гарольд пропустил мои шуточки мимо ушей и сказал, что он это узнал в офисе, куда заглянул как-то, чтобы пригласить меня на пикник. Еще он узнал, тогда же, что я собираюсь перейти в индуизм. Он и сам, конечно, грешник и ходит в церковь только из-за своей Айрис, но эта новость его убила. Инженер Сен — настоящий монстр, сказал он мне, они меня приворожили, и мне следует пожертвовать пять рупий «Sisters of the poor»*, чтобы те за меня помолились.

— А как девочки? — перебил его я.

— Они тебя оплакали, — сообщил он и, помолчав, добавил: — Не знаю, конечно, может, это здорово выгодно — жить в Бхованипоре. Экономить на квартире, на обедах и в город не показываешься... Что ты хоть делаешь целыми днями?

— Учу бенгальский, к экзамену на provincial manager, — соврал я. — И потом, столько впечатлений, даже не замечаешь, как летит время...

Он попросил займы пять рупий, на бал в ИМКА.

— Не соблазнишься? — сказал он напоследок.

Но я не испытывал никакого соблазна. Без всякого сожаления подумал я о годах, проведенных в пансионе «Райпон» на Уэллсли-стрит, о рас-

* «Сестры бедных» (англ.).

транжиренных годах жизни. Я смотрел на Гарольда, и никаких приятных воспоминаний не навевали на меня его атлетическая фигура и загорелое лицо с красивыми, обведенными синевой глазами. Чужой человек, а ведь когда-то он был мне товарищ по ночным попойкам с веселыми девушками. Жизнь, к которой я перешел, казалась мне чем-то таким святым, что я не посмел прикоснуться к ней словом. Гарольд пообещал как-нибудь навестить меня и тщательно записал адрес (с тем, вероятно, чтобы одолжить сумму покрупнее).

Дома я застал все общество в столовой за чаем. Там были и Манту с женой, и Кхокха с двумя сестрами (те самые женщины-тени, которых никогда не видно, не слышно). Я вполне откровенно рассказал им о встрече с Гарольдом и о той мерзкой жизни, какую ведут здесь европейцы и евразийцы и какую я сам вел столько времени. Мои признания пришлось ко двору. Женщины смотрели на меня блестящими глазами и хвалили на своем малопонятном арго, а Манту — как только он умеет — пожал мне руки, прикрыв глаза. Один инженер, заметив, что я преувеличиваю, ушел читать свой неизменный детектив.

Вместе с Майтрейи, Кхокхой и Лилу мы поднялись на террасу. Расположились на коврах, с подушкой под головой и стали ждать вечера, лениво переговариваясь и ища позу поудобнее. Я был занят тем, что старался, как бы невзначай и попристойнее, устроить ноги в сандалиях на балюстраде. За эти месяцы я усвоил весь связанный с ногами церемониал. Например, я знал, что, если нечаянно толкнешь кого-нибудь, надо наклониться и коснуться его ног правой рукой; что никогда нельзя, даже в шутку, изображать пинок. И все такое прочее. Поэтому я и колебался, прежде чем задрать ноги на балюстраду. И тут Лилу сказала что-то на ухо Майтрейи.

— Она говорит, что у тебя очень красивые ноги, белые, как из алебаstra, — передала мне Майтрейи, не в силах скрыть какую-то странную зависть и досаду.

Я покраснел — и от удовольствия (будучи некрасивым, я всегда та-ял от похвалы моей внешности), и от смущения, потому что не знал, как толковать взгляд Майтрейи: она смотрела на мои ноги чуть ли не с обидой. Чтобы нарушить молчание, я стал городить всякую чепуху — что, дескать, подумаешь, ноги, кто их видит, по крайней мере у нас, у белых.

— А у нас все по-другому, — перебила меня Майтрейи, несколько умасленная. — У нас, если ты хочешь показать другу свою любовь, то касаешься его босой ногой. Например, когда я говорю с подругами, мы делаем так. Смотри...

Она, зардевшись, высвободила ногу из-под сари и подвинула ее к Лилу. И тут произошло нечто неопишемое. У меня было впечатление, что я присутствую при самой интимной любовной сцене. Лилу стиснула между лодыжек ногу Майтрейи, трепеща и улыбаясь, как от поцелуя. Это были настоящие ласки: медленное скольжение изогнутых стоп вверх и потом пожатие ими теплой, подрагивающей голени. Я испытывал муки ревности и одновременно чувство протеста против этого абсурдного замыкания на себе женской плоти. Вдруг Майтрейи резко высвободилась и тронула своей ногой ногу Кхокхи. Я еле удержался, чтобы не убежать, видя, как черная лапа мальчишки, заскорузлая от зноя и уличной грязи, принимает, словно жертвоприношение, эту нежную близость. Кхокха скалился, как собака, когда ее гладят, а я жалел, что не вижу глаз Майтрейи — есть ли в них то сладострастие, какое выдавала ее голень при этих ласках.

Я подумал тогда, что смех Майтрейи, который вызывал этот уродец, этот клоун, обозначал тот же акт отдавания-обладания. Позже я вообще стал думать, не существует ли других способов обладания, более изысканных и неявных, чем общепринятые, обладания тайного — через слово, шутку, прикосновение, — когда женщина вся отдается чьей-то телесности или духу и ее берут всю — так, как мы никогда не сможем ее взять, даже в самые недвусмысленные и бурные минуты любви. Еще долго после того я ревновал не к прекрасным молодым людям, поэтам и музыкантам, собиравшимся в доме Сена, с которыми Майтрейи говорила, на которых глядела, которым улыбалась и книги которых любила, а к Манту и Кхокхе, особенно к первому, потому что он, доходясь ей дядей, мог себе позволить пожать в разговоре ее руку, или похлопать по плечу, или потрепать по голове. Эти жесты невинного обладания мучили меня больше, чем любое реальное соперничество. Мне казалось, что Майтрейи не сознает насилия, украдкой совершаемого над нею чужой плотью или чужим духом. Но особенную муку, если уж говорить все, причиняли мне акты духовного обладания: то это был молодой поэт, Ачинтия, которого Майтрейи видела всего раз и с которым говорила только по телефону,

когда посылала стихи в «Прабуддха Бхарата»*; то один математик, который приходил очень редко и о котором Майтрейи рассказывала мне с энтузиазмом, признаваясь, что ей нравятся высокие мужчины; то — самое болезненное для меня — ее гуру, Роби Тхакур. Я очень осторожно пытался намекнуть ей, что нельзя так втягиваться в отношения, но она смотрела на меня с таким искренним, простодушным изумлением, что я махнул рукой. Впрочем, это все происходило уже тогда, когда я получил достаточно доказательств, что мне нечего бояться соперников.

...Я остался лежать, с каким-то гадким чувством, кусая губы и глядя на первые звезды еще бледного неба. Разговор продолжался на бенгальском, очень беглый, так что я почти ничего не понимал. Да и не пытался понять и только вздрагивал, когда Майтрейи заходила от смеха на бесконечные каламбуры и кривлянья Кхокки. Вероятно, она заметила мое настроение, потому что спросила по-английски, не скучно ли мне и не хотел бы я для разнообразия в свободное время помогать ей составлять каталог отцовской библиотеки. Это неплохое переключение после конторы, сказала она, а заодно мы могли бы общаться (в самом деле, последние дни я почти не видел Майтрейи). Про идею каталога я ничего не знал — оказалось, что господин Сен, собрав около четырех тысяч томов (часть он получил в наследство), решил напечатать отдельной брошюрой, в роскошном издании, каталог библиотеки, чтобы после его смерти она перешла в дар местному колледжу. Все это показалось мне смешным, но я согласился.

— Отец не решался тебя попросить, — добавила Майтрейи, — ты ведь человек занятой. А я у них маленькая, у меня нет никаких дел, к тому же я люблю рыться в книгах.

Оставшись один, я, помню, проклинал себя за то, что так бездумно принял предложение, которое должно было и вправду отнять все мое свободное время. Сколько я понял, нам предстояло переписать все книги на карточки, с номером соответствующей полки, потом расположить их в алфавитном порядке и снова переписать, уже списком, чтобы отдать печатать. Не очень вдохновляющее занятие. К тому же я боялся, что наши игры могут возобновиться — и это тогда, когда я, казалось, уже взял за ум.

* «Пробудившаяся Индия», религиозно-публицистический журнал.

Майтрейи я встретил на другой день, перед вечерним чаем, на пороге библиотеки.

— Пойдем, я тебе покажу, как это делается, — позвала она.

Она разложила на столе ряд с полсотни томов.

— Ты начинай с того края, а я — с этого. Посмотрим, на какой книге встретимся. Хочешь?

Она казалась взволнованной, губы подрагивали, глаза смотрели на меня, часто моргая, как будто отгоняя какой-то навязчивый образ.

Я сел к столу со странным предчувствием, спрашивая себя, чего я жду: не любви ли Майтрейи, не тайного ли признания? — и не ощущал трепета перед возможными событиями. Я писал карточки и пытал себя: я еще люблю ее? Нет, это не любовь. Чем же тогда так притягивает меня Майтрейи, думал я в сотый раз, — своей иррациональностью, своей первобытной невинностью и тем, что называется «чары»? Одно было для меня очевидно: я приворожен, а не влюблен. При чем это открывалось мне не в часы ясного сознания, сколько их еще выпадало на мою долю, а в канун решающих событий, в единственно реальные минуты, когда я начинал жить. Рефлексии никогда ничего мне не давали.

Я потянулся к очередному тому и вздрогнул, наткнувшись на руку Майтрейи.

— На чем мы встретились? — спросила она.

Это оказались «Истории с неожиданностями» Уэллса. Она вспыхнула — от радости ли, от смущения ли, не знаю, — и сказала, понизив голос:

— Видишь, что у нас впереди: неожиданности.

Я улыбнулся ей, тоже слегка взволнованный совпадением, хотя большинство книг были с многозначительными названиями: «Сон», «Возьми меня с собой», «На помощь!», «Что нового?» и т. д. и т. п. Пока я подыскивал, что бы такое сказать в ответ, нас позвали к столу, и мы пошли, с каким-то сладким чувством заговорщиков, то и дело поглядывая друг на друга. За чаем я разговорился, делясь своими книжными впечатлениями — в последнее время я читал о Кришне и о вишнуитском культе, — и так увлекся, пересказывая сцены из жизни Чайтаньи, что госпожа Сен не смогла сдержать слез и, наклонясь ко мне, прошептала:

— Ты говоришь как настоящий вишнуит.

Я был польщен и признался, что считаю вишнуизм одной из самых

возвышенных религий, чем вызвал дискуссию о религиях вообще, в которой активнее всех участвовал наравне со мной Манту, а Майтрейи только слушала, уставясь в пространство и не произнося ни слова.

— Что вы знаете о религии?! — вдруг взорвалась она, меняясь в лице и чуть не плача.

Я сконфузился: надо ли тут что-то объяснять или, может быть, начать извиняться? Манту потянулся было обнять ее за плечи, но она вырвалась и убежала в библиотеку. Мы, притихшие, допили чай в молчании, и я ушел к себе отвечать на письма, с непонятной тревогой и тяжестью на душе. Но стоило мне написать первые строки, как я почувствовал, что должен тотчас же увидеть Майтрейи, и спустился в библиотеку.

Этот день занимает, может быть, центральное место в моей истории. Переписываю из дневника:

Я нашел ее в состоянии подавленном, на грани слез. Сказал, что пришел, потому что она позвала, она посмотрела удивленно, молча. Потом мы минут на пять расстались — я ушел дописать письмо. А когда вернулся, она дремала на диване у стола.

Я разбудил ее. Она вздрогнула, широко открыла глаза. Я стал смотреть в них не отрываясь, она вливала мой взгляд, время от времени спрашивая только: «Что? Что?» Потом мы были уже не в силах ничего говорить, а только сблизили лица, глаза в глаза, оба во власти сверхъестественной сладости флюидов, неспособные сопротивляться, стряхнуть морок, очнуться. Мне трудно описать эти ощущения: блаженство, тихое и в то же время мощное, против которого душа не хотела держать оборону, разнеженность, превосходящая чувственную, сродни, наверное, счастью небожителей, божественной благодати. Сначала это состояние держалось только на взглядах, потом мы встретились руками, все так же не отрывая глаз друг от друга. Благоговейные касания, ласки неискушенных. (Прим.: Я только что прочел о мистической любви Чайтаньи и потому описывал свои переживания в мистических терминах.) Потом, совершенно естественно, — целование рук. Она смотрела потерянно, и в том, как она кусала губы, было столько страсти (но притом и целомудрия!), что я мог бы поцеловать ее и по-настоящему, я мог бы все, и мне стоило большого труда сдержаться. Ситуация была рискованная. Кто угодно мог войти в библиотеку. От Майтрейи исходили мистические эманации. (Прим.: Под влия-

нием вишнунитских книг здесь и далее мой дневник изобилует словом «мистика». Вот и эта сцена от начала до конца трактуется как «мистический опыт». Теперь мне это смешно.) Я снова спросил ее, почему мы, я и она, не можем быть вместе. Ее забила дрожь. Чтобы испытать нас, я попросил ее два раза прочесть мантру против искушения, которой ее научил Тагор. Она прочла, но чары не рассеялись. Так мы убедились — я тоже в это верю, — что наш опыт не имеет сексуальных корней, а есть любовь, хотя и выраженная в телесном откровении. Я почувствовал и испытал на себе это чудо: контакт со сверхъестественным через прикосновение, через глаза, через плоть. Опыт длился два часа, изнунив нас. Возобновить его мы можем в любую минуту, для этого надо только скрестить глаза.

Она попросила меня сбросить сандалии и коснуться ногой ее ноги. Что за чувство! Я был вознагражден за все пытки ревности. Я знал наверное, что, соприкасаясь со мной лодыжкой и голенью, Майтрейи отдается мне вся, так, как не отдавалась никому никогда. Сцена на террасе забылась. Чтобы обмануть в такой близости, надо лгать божественно, думал я. Против воли я придвинул колено к ее колену — оно мерещилось мне, как в галлюцинации, шоколадное и нетронутое, не запятнанное до сих пор ни единым человеческим прикосновением. За эти два часа ласк (а чем же еще были касания наших ног?), о которых дневник говорит так бегло, суммарно, так стерто, что еще долго после того я сомневался, стоит ли дальше записывать этапы наших отношений, я пережил больше, я глубже понял Майтрейи, чем за шесть месяцев усилий, приятельства, первых движений любви. Никогда я не знал вернее, что я обладаю и что обладание это безраздельно.

До тех пор я не признавался ей в любви. Это подразумевалось само собой. Каждый ее жест я давно уже толковал в определенном смысле. Ее любовь была, по моему убеждению, бесспорной, и я думал, что во мне она столь же уверена. Потому-то меня так огорчало и тревожило ее молчаливое сопротивление (паника в глазах, спрятанное в ладонях лицо) всякий раз, как я заговаривал о том, чтобы нам связать свои жизни. Я ничего не понимал: мне казалось, все к тому идет и ее родители нас всячески поощряют.

И вот я сказал, что люблю ее. Она заслонила глаза рукой и не ответила. Не зная, как отозвались мои слова, я склонился над ней и повторил, со

всей доступной мне нежностью, те несколько слов любви, которые знал по-бенгальски.

— Оставь меня, — вдруг сказала она, пытаясь подняться. Голос ее был чужим, далеким. — Я вижу, ты не понял моей любви. Я люблю тебя как друга, очень дорогого друга. Иначе не могу и не хочу иначе...

— Но так не дружат, так любят, — весело возразил я с внезапно вернувшейся ясностью сознания.

— Душа умеет любить по-разному, — заметила она, взглядывая на меня.

— Но ты меня любишь по-настоящему, зачем отпираться, — настаивал я. — Хватит мучить друг друга, я не могу без тебя, а ты — без меня. Ты дорога мне, Майтрейи, любимая...

Я говорил, мешая языки: фразу по-бенгальски, пять — по-английски.

— Скажи мне это и на своем языке, — попросила она.

Я сказал все, что пришло на ум. Уже давно стемнело, везде зажглись лампы. Я тоже пошел было включить свет.

— Не надо, — остановила меня Майтрейи.

— А если кто-нибудь войдет и застанет нас в темноте?

— Ну и что? Мы же тут брат и сестра...

Я предпочел пропустить мимо ушей ее слова, вернулся и снова взял ее за руки.

— Почему ты не хочешь слышать некоторые слова? — спросила она, и по ее голосу я понял, что она вот-вот рассмеется.

— Потому что ты говоришь глупости, — ответил я, совершенно уверенный в себе и в любви Майтрейи.

И тогда произошло неожиданное. Майтрейи расплакалась и вскочила, порываясь бежать. Я крепко охватил ее кольцом рук, погрузил лицо в ее волосы и зашептал что-то, пытаясь успокоить, отвлечь, прося простить меня. Но, не в силах противиться аромату, теплу, пленительности этого тела, еще никем не тронутого, я поцеловал Майтрейи. Она забилась и закричала, защищая губы. На крик могли прибежать, и я разжал объятия. Она метнулась прочь со стоном, уязвившим меня. Но не к дверям, а к окну. Там, при свете уличного фонаря, я увидел ее лицо и испугался: отчаянные, заплаканные глаза, искусанные губы. Из-под рассыпавшихся волос она смотрела на меня как на злого духа или как на сумасшедшего,

показывая пальцем место на щеке, куда я угодил своим поцелуем. Говорить она не могла и не могла защищаться. Я приблизился, обнял ее и снова поцеловал, обезумев от непонимания, от слепой страсти. Поцеловал губы, они оказались влажные, свежие и душистые, ни в каких мечтах я не мог представить себе такие. В первую секунду она напряглась, пытаясь отвернуться, но сил у нее не было, и губы сами раскрылись, позволяя целовать, кусать, впивать себя. Я чувствовал ее грудь, я чувствовал всю ее, без оглядки прильнувшую к моему телу, и у меня даже чуть защемило сердце, что она отдалась мне так скоро. Не знаю, сколько длилось это первое слияние. Она стала задыхаться и, когда я оторвался от ее губ, вдруг рухнула к моим ногам. Я решил, что это обморок, и, помертвев, нагнулся поднять ее, но она обняла мои ноги и, плача, взмолилась, чтобы я больше не трогал ее, она заклинала меня именем моего Господа, именем моей матери, именем госпожи Сен. Я содрогнулся и не нашел, что ответить. Я дал ей самой подняться. Она на ходу отерла слезы, поправила волосы и, выходя, оглянулась на меня, но лица ее я не видел — тусклый свет фонаря не доставал до двери.

Взбудораженный, я вернулся к себе с целым роем ощущений, с мучительной радостью, что она моя, с гордостью, с угрызениями совести, с неясным страхом. До ужина не мог ничего делать и только гадал, хватит ли мне смелости глядеть на нее за столом. Меня очень беспокоило, что она думает обо мне и не признается ли во всем госпоже Сен или Лилу. Я ничего не понимал и не мог сосредоточиться. К ужину она не вышла, но сразу после Лилу украдкой протянула мне записочку.

— От нашей поэтессы.

Не дыша, развернул я записку. Чтобы никто не понял, она написала по-французски: «*Vous venir matin six heures en bibliothèque*»*.

IX

В офис я шел к десяти утра, а чай пил вместе со всеми в восемь. Значит, на разговор у нас оставалось целых два часа. С вечера я никак не мог заснуть и всю ночь промаялся в кошмарах: мне снилось, что

* Приходите в шесть часов утра в библиотеку (искаж. франц.).

я теряю Майтрейи, что бледнолицый ангел гонит меня из их дома, а Сен невозмутимо смотрит на это с террасы. Я то и дело просыпался в ознобе, в холодном поту. Как будто на мне лежал тяжкий грех.

В шесть утра Майтрейи в белом сари и серебристом покрывале на плечах уже писала карточки в библиотеке. Я поздоровался с ней в крайнем смущении, не зная, следует ли мне ее поцеловать или ограничиться улыбкой и вести себя так, словно между нами ничего не произошло. Наутро после решающего свидания мне обычно приходится напрягать воображение. Я никогда не знаю, что думает обо мне моя девушка, чего от меня ждет и какой тон взять. А посему каждое движение дается мне с трудом, я начинаю что-то бормотать, извиняться, в общем, выгляжу болван болваном.

Зато Майтрейи встретила меня с видом спокойным, примиренным, решительным, хотя круги под глазами и бледность выдавали ночь, проведенную за молитвой и медитацией (мне показалось или я слышал на самом деле под утро ее голос, монотонно поющий на балконе молитву? Он то прерывался, то начинался снова, пока не стих, словно захлебнувшись в слезах).

Я сел за стол напротив нее и, не поднимая глаз, тоже стал механически переносить на карточки названия книг.

— Ты хорошо спала? — не выдержал я наконец и прервал молчание.

— Совсем не спала, — ответила она твердо. — Я думаю, что тебе надо переехать от нас. Поэтому я тебя и вызвала.

Я хотел было что-то возразить, но Майтрейи остановила меня заклинаящим жестом, и я стал слушать ее, не перебивая, со всевозрастающим изумлением. Она говорила, водя пером по листу бумаги, не глядя на меня, что-то рисуя и зачеркивая, набрасывая слова, которые я не мог разобрать, чертя знаки и фигуры, которых я не понимал. Эта игра напомнила мне начало наших отношений, первые уроки французского, и я чуть не вклинился с замечанием, сколько ошибок она налепила во вчерашней записочке, но вовремя опомнился и прикусил язык, юмор был бы сейчас бестактен. Впрочем, и на серьезных размышлениях я не мог сосредоточиться: Майтрейи сообщала мне такие вещи, что я терялся. Самолюбие мое было оскорблено, уверенность — поколеблена. Никогда Майтрейи не раздражалась при мне таким длинным монологом, не меняя темы, не нуждаясь в ответе. Она говорила как будто в пустой комнате. Меня там не было.

Оказывается, я ошибался, полагая, что она любит меня так же, как люблю ее я. Ее душа давно отдана другому, Роби Тхакуру. Она любит его с тринадцати лет, и ему она читала первые свои литературные опыты. До прошлого года они всей семьей каждое лето гостили у поэта в Шантиникетане, у него там дом. Сколько вечеров на террасе провела Майтрейи у ног старца, внимая ему! Вначале она не знала, что это за чувство, которое превращает жизнь в дивный сон без пробуждения и не дает от него очнуться, она думала, что это почтение и дочерняя привязанность к гуру. Пока однажды вечером поэт не сказал ей, что это любовь. Тогда, на террасе, она потеряла сознание. Очнулась спустя какое-то время у него в комнате, на кровати, со смоченным водой лицом. В воздухе пахло жасмином. Гуру гладил ее по голове, потом дал ей ту мантру, которая защищает от грехопадения. Пусть она останется чистой на всю жизнь, так он сказал. Пусть пишет стихи, любит и мечтает и пусть никогда не забывает о нем. И она не забыла. У нее целая шкатулка его писем. Когда он путешествует, он пишет ей отовсюду. Шкатулка из ароматного дерева, он ей сам подарил, два года назад, вместе с прядью своих волос...

«Гнусный комедиант, — исходил я ревностью, бешенством и бессилием. — Раствлитель, мистика с мясом, благочестие с мелкими пакостями напополам! А я-то думал, что она чиста! Что я — первый, кто к ней приоткрылся!»

Но он ее ни разу не поцеловал и гладил только по волосам, добавила Майтрейи, как бы угадав мои мысли. Впрочем, она очень давно его не видела, он все время путешествует, и потом (о, эта легкая заминка!), госпожа Сен, кажется, заметила некоторую преувеличенность ее чувств к гуру и больше не разрешила им видеться. Но она, Майтрейи, не забывала о нем ни на миг. Она хотела, чтобы мы стали добрыми друзьями, тогда бы она поделила со мной все эти чувства и мы бы вместе любили его. Она всегда была мне другом, любила меня по-дружески, ни о какой иной любви не помышляя, и наши игры должны были остаться играми, без объятий и поцелуев (последние слова она скомкала от смущения, наделав в них ошибок, и повторила фразу по-бенгальски). Ее отношение ко мне — самое искреннее и теплое, она очень меня любит, ей нравится сидеть со мной, шутить, глядеть мне в глаза, но это все нормально для дружбы. Если я думал по-другому, это ее вина — она столько от меня скрыла и ввела таким образом в заблуждение.

Когда она смолкла в изнеможении, я поднялся и, обогнув стол, подошел к ней, как сомнамбула, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Она смотрела на меня с ужасом и жалостью, я взял ее лицо в ладони и, не дав опомниться, припал к ее губам. Мы оба знали, что в любой момент кто-нибудь может заглянуть к нам, спускаясь по лестнице, но от этого я только длил свой поцелуй, пока она не стала задыхаться.

— Зачем ты это делаешь? — проговорила она. — Я слабая, ты знаешь, что я не могу сопротивляться, но я ничего не чувствую, когда ты меня целуешь. С таким же успехом меня могла бы поцеловать Чабу, ребенок. Я спокойна. Я не люблю тебя.

Выпустив ее, я повернулся и ушел к себе, клопоча от ревности и возмущения. На работу отправился, не дожидаясь чая. Признание Майтрейи внесло ясность в положение, хотя мне казалось, что все ее поступки направлены против естества.

В тот день я больше не искал встреч с Майтрейи. Однако вечером, за столом, она, как всегда, села справа от меня. Кроме нас, ужинали только Манту и Лилу. Я завел разговор о политике: арест мэра города, речь Саро-жини Найдун, число брошенных в тюрьмы за время беспорядков... Я пообещал себе не смотреть на Майтрейи и избегать даже случайных прикосновений. Вдруг ее теплая босая нога, дрогнув, коснулась моей под столом. Я осекся, выдав свое волнение. Майтрейи незаметно отвернула край сари, и я мог тереться своей голенью о ее, даже не пытаясь противиться волнам тепла и пронзительного блаженства. Я видел бледность ее лица, на котором алели губы, испуг в глубине глаз, и меня так безудержно тянуло к ее плоти, что пришлось больно вонзить ногти в ладони, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя. Может быть, наши сотрапезники и заметили что-то неладное, тем не менее с тех пор тайные встречи ног под столом стали нашей каждодневной радостью. Только так я мог ласкать Майтрейи. Коснись я ее рукой, она сочла бы это актом пошлого сластолюбия и мгновенно усомнилась бы в чистоте моих помыслов.

После ужина Майтрейи задержала меня у дверей столовой.

— Хочешь посмотреть, сколько я сегодня наработала?

Она зажгла свет в библиотеке, но, вместо того чтобы подойти к столу с карточками, прошла в смежную комнату, где не было света. Оглянувшись на пороге, не видит ли кто, она протянула мне обнаженную до плеча руку.

— Пожалуйста, делай с ней что хочешь — целуй, гладь — увидишь, я ничего не почувствую.

Как-то раз, еще давно, мы рассуждали о чувственности, и я сказал, что истинно любящий может испытывать чувственное наслаждение даже при незначительном телесном контакте. Тогда же я развивал перед Майтрейи мысль, что для меня обладание — дело крайне сложное и темное. Очень трудно, говорил я, обладать чем-то без обмана, заполучить, завоевать что-то по-настоящему. По большей части мы только думаем, что обладаем.

Эти банальности, которые я мимоходом внушал Майтрейи, в уверенности, что другого, более серьезного, ей не воспринять, все же произвели на нее впечатление. И вот теперь она решила проверить свои чувства, спровоцировав ту ситуацию минимального контакта, о которой я говорил.

Я послушно взял протянутую мне руку — не как руку женщины, а как некий теплый живой предмет, сквозь смуглую и матовую оболочку которого просвечивала сама страсть и одновременно — сама воля к победе. Рука жила сама по себе, не принадлежа больше той, что возложила ее на горящие угли, дабы испытать свою любовь. Я держал эту руку в своих, как сокровище, ошеломленный трепетом ее жизни и необыкновенностью того, что должно было наступить. Я начал гладить, и сжимать, и целовать ее с четким ощущением, что вся Майтрейи сейчас в моих объятиях, что всю ее я ласкаю, вся она вливается в меня радостью. Я чувствовал, как она поддается моему натиску, как уступает, содрогаясь, я чувствовал муки ее нового рождения, успевая среди поцелуев заметить, как все бледнеет ее лицо, полыхают глаза, слабеет воля. Через эту данную мне руку моя любовь зывала ко всему ее существу. Скольжение моих пальцев к ее плечу звало ее, всю. И она дрогнула и стала клониться ко мне, все ближе и ближе и наконец, обвив другой рукой мою шею, притянула меня к себе со слезами на глазах, чуть дыша. Через мгновение она была в моих объятиях (я никак не принуждал ее к этому, твердо решив ограничиться только дозволенной рукой), и, найдя ее губы, я понял, что на этот раз не совершаю насилия: они сами раскрылись мне навстречу, впуская и захватывая меня, уже не было ни сопротивления, ни уступок — лишь полное совпадение желаний, биения крови. Какие бы бури ни волновали Майтрейи раньше, кто бы ни был у нее до меня, все следы этого сгорели,

улетучились при свете нового дня, к которому она снова рождалась девственной. Так я чувствовал, и не испытанное никогда блаженство вошло в меня через все поры души и тела. Я ощущал полноту и непрерывность своего существа, огромный вал поднял меня из ничего, не отрывая при этом от корней, не сбивая с пути. Я никогда не жил так мощно и неопосредованно, так вне времени, как в эти минуты. Соитие наших губ было больше чем просто любовь.

Майтрейи первая стала приходить в себя, прикрыла глаза тылом ладони, тихо отстранилась, взглянула, снова заслонив глаза. Потом двинулась к столу с книгами, машинально говоря:

— Вот сколько я сегодня наработала...

Ею двигало внутреннее чутье: в ту же секунду вошел Кхокха и передал, что госпожа Сен зовет дочь наверх, к себе в комнату. Я погасил свет, пытаюсь сдержать свою шальную радость — меня так и подмывало признаться Кхокхе, какое незаслуженное счастье мне выпало.

В своей комнате я не находил себе места. Выглядывал в забранное жалюзи окно, плюхался на постель, вскакивал и начинал шагать взад и вперед по ковру. Мне безумно хотелось еще раз увидеть Майтрейи и заснуть с этим видением, в поцелуе, не прерванном приходом Кхокхи. Мне казалось, что мы расстались не так, как следовало в первый день близости. Мы должны были проститься объятием, а этому помешали. Уверен, что и Майтрейи разделяла мои мысли, потому что я слышал ее легкие шаги наверху, то на балконе, то снова в комнате. На стену дома напротив падала тень, когда она подходила к окну. Но вдруг свет погас, и я в досаде застыл у жалюзи. Тогда раздалось легкое насвистывание, в котором можно было угадать мелодию, но я угадал иное. Я посвистел тоже, мне не ответили. Она должна быть на балконе, подумал я и, осторожно открыв дверь своей комнаты, а потом другую, из коридора, вышел на веранду. Спуститься вниз, на улицу, в круг фонарного света, не решился. Снова посвистел.

— Аллан! Аллан! — услышал я с балкона.

Первый раз она звала меня по имени. Тогда я сошел на улицу и увидел: опершись о перила балюстрады, она стояла в одном покрывале, брошенном на плечи, черные струи волос мешались с гроздьями глицинии. Я смотрел на нее как на богиню из восточной сказки, возникшую в своей наготе среди цветов на балконе, в слабом свете уличного фонаря. Я

молчал, не сводя с нее глаз. По тому, как расслабленно она опиралась о перила, как покорно склонила голову к плечу, я понял, что и у нее нет сил говорить. Мы только смотрели друг на друга. Потом она сняла что-то через голову и бросила мне, что-то белое плавно пролетело по воздуху — гирлянда из жасмина. В следующий миг Майтрейи уже не было, я даже не успел сказать слово благодарности.

Благостный и счастливый, вернулся я к себе в комнату, встретив в коридоре Кхокху.

— Пить захотелось, — сказал он мне, как бы оправдываясь, хотя я ни о чем не спрашивал.

Тогда я не задумался, зачем он кружит вокруг и не шпионит ли он за нами. Переполненный нежностью, я бережно нес жасминовую гирлянду, и мне было не до подозрений. Как я узнал позже, такую гирлянду девушка дарит юноше в знак обручения, обмен гирляндами равнозначен клятве, которая сильнее обстоятельств, сильнее смерти. Не зная еще этой символики, я целовал цветы жасмина только потому, что они были на груди Майтрейи и оттуда попали ко мне бесценным даром. Сидя на кровати, перебирая гирлянду, я вдруг вернулся к началу начал, к той минуте, когда увидел Майтрейи и она мне не понравилась, когда я подумал, что между нами не может быть ничего общего, — и понял, что на самом деле люблю ее с тех самых пор, хотя не разбирался в своих чувствах, не давал себе труда разобраться.

Это была ночь качелей между снами и воспоминаниями, с дразнящими, жасминовыми губами Майтрейи, первая ночь, когда мне показалось, что я слышу журавлей Бенгала, их крик над затопленной равниной у залива. Я увидел тогда, через открытые в мир ворота счастья, легендарную жизнь в краю змей и тамтама и себя об руку с Майтрейи — странников, возлюбленных дороги.

* * *

На другой день я задержался на работе и опоздал к обеду. Майтрейи одна поджидала меня в столовой. Она принесла туда свои карточки и раскладывала их по алфавиту в специальном ящичке с отделениями. Когда я вошел, она мгновенно вскочила и принесла мне поесть, а сама села напротив и из-под опущенного на лоб покрывала стала смотреть на меня.

Это была каторга: я не знал, как начать разговор, боялся показаться вульгарным (потому что здорово проголодался и ел с аппетитом) и заставлял себя иногда отрываться от тарелки и бросать ей взгляд — дескать, я ее не забываю, она мне так же дорога, как и прошлую ночь.

— Ты думала обо мне сегодня? — Я наконец с натугой вспомнил, как положено ворковать влюбленным.

Она опустила веки, и я увидел две — не слезинки, скорее, блестящие слез.

— Ты плачешь? — спросил я, пытаюсь изобразить большее волнение, чем испытывал (но ведь я любил ее, Господи, я был от нее без ума! Почему же я не сопереживал ей? Почему мне хотелось есть, когда ее одолевали слезы?).

Она не ответила. Тогда я перегнулся через стол и погладил ее по голове, поцеловать не решился, не сделав перед тем глотка воды, не съев банана, словом, не переменив вкус во рту. (У меня были предрассудки белого человека: не говорить с полным ртом, вытирать губы, когда целуешь, и прочее, как будто это имеет какое-нибудь отношение к любви.)

— Аллан, я тебе кое-что принесла, — сказала она кротким звенящим голосом по-бенгальски, чтобы обратиться ко мне на «ты», бесстрастное английское «вы» ее всегда раздражало.

Она протянула мне подаренную Тагором шкатулку с прядью его волос.

— Вот, можешь сжечь, можешь что хочешь. Я больше не стану держать это у себя. Я его не любила. Это было помрачение ума, а не любовь, ведь он был моим гуру. И теперь...

Она смотрела на меня, не видя — ее взгляд проходил навывлет и сливался с неким образом, созданным ею, может быть, тоже Алланом, но Алланом более полноценным, способным утолить ее жажду.

— Теперь я люблю только тебя. Все, что до тебя, — ненастоящее. Теперь я знаю, как это, теперь все по-другому.

Я потянулся обнять ее, однако на лестнице раздались шаги, и я только прикоснулся к ее руке. Шкатулку я вернул, мне казалось глупым мстить прядке седых волос. И потом, какое мне было дело до ее воспоминаний, до ее прошлого? В этот час я так неоспоримо чувствовал себя первым и единственным, что ничего не боялся. Ее прошлое пока не причиняло мне мучений — мучения наступили после: всякий раз, как Майтрейи отдаля-

лась от меня, уходя в те непроницаемые времена, когда я еще не появился в ее жизни, я подозревал, что она сравнивает меня с тем, другим.

Но она, кажется, истолковала мой жест превратно: как безразличие к ее жертве, к открытости передо мной.

— Ты не хочешь взять? — спросила она, словно не веря.

— К чему? Лучше ты сама сожги, — ответил я, как мог ласковее.

— Я? Для меня это больше не имеет цены, — с негодованием отказалась она.

Решив не спорить, я взял душистый завиток и, аккуратно упаковав его в салфетку, спрятал в карман жилета. Потом отправился во двор и с таким наслаждением насвистывал, обливаясь холодной водой, что проходившая мимо Лилу стукнула в жестяную стену кабинки со словами:

— Эй, тебе опять кошмары снились?

Эта шутка, понятная только мне, всплыла из того далекого, месячной давности, прошлого, когда я пытался объяснить свою меланхолию и тревожное состояние («проблема Майтрейи», как я называл это в дневнике) тем, что плохо сплю. Воспоминание о времени метаний и неопределенности усиливало радость и уверенность моего сегодня. Я пошел к себе, полный желания, с чувством триумфатора.

Не успел я толком одеться, как в комнату постучала Майтрейи. Войдя, она опустила за собой штору (закрывать дверь не решилась) и бросилась мне на грудь.

— Не могу без тебя.

Я поцеловал ее. Она вырвалась и отскочила к двери.

— Разве это не грех?

— В чем же тут грех? — успокоил я ее. — Ведь мы любим друг друга.

— Но мы любим без ведома мамы и отца, — напомнила она.

— Рано или поздно мы им признаемся.

Она посмотрела на меня как на сумасшедшего.

— Нельзя!

— Когда-нибудь придется, — повторил я. — Я попрошу тебя в жены. Скажу им, что мы любим друг друга, и господин Сен не сможет нам отказать. Ты знаешь, как он ко мне привязан, он же сам привел меня к вам в дом и велел подружиться с тобой...

Я не стал продолжать, потому что Майтрейи всем своим видом вы-

ражала непонятное мне волнение и муку. Я хотел снова обнять ее, она отстранилась.

— Ты не знаешь одной вещи, — сказала она. — Не знаешь, что мы любим тебя *по-другому*. — Замявшись, она поправилась: — Они любят тебя по-другому, и я тоже должна была любить тебя так, как вначале, как брата...

— Не говори глупостей, — перебил я, целуя ее в плечо. — Да и они ни о каком «братстве» не думали.

— Нет же, — возразила Майтрейи. — Ты ничего не знаешь. — Она заплакала. — Господи, зачем все так вышло?

— Ты жалеешь? — спросил я.

Она приникла ко мне.

— Не жалею, нет, ты знаешь, и, что бы ни случилось, буду любить только тебя, я твоя. И однажды ты возьмешь меня с собой, в твою страну, правда? Я забуду Индию, я хочу забыть...

Она плакала и ласкалась ко мне, жесты ее поражали меня чистотой и в то же время уверенностью, какую трудно было ожидать от девушки, только накануне узнавшей первый поцелуй.

— Ничего им не говори. Они ни за что не отдадут меня тебе в жены. Они любят тебя только как своего сына, будущего сына.

Я с удивлением и радостью слушал ее, но Майтрейи охватила дрожь.

— Они мне сказали: «Майтрейи, теперь у тебя будет брат, Аллан. Постарайся полюбить его, он будет твоим братом, и баба усыновит его, а когда баба отойдет от дел, мы все поедem в его страну; у нас есть состояние, и мы будем там жить как раджи; там нет жары и нет революции, и белые там не злые, как здесь, и они будут считать нас братьями...» А я — что я наделала? Ты понимаешь, как я люблю тебя, теперь ты понимаешь?..

Мне пришлось подхватить ее на руки, чтобы она не упала, и усадить в кресло. Мы долго просидели рядом, не говоря ни слова.

Х

И начались другие дни. О каждом из них я мог бы написать по целой тетради, столько они вмещали, так свежи они в памяти. Августовские дни, когда каждую свободную минуту мы проводили вме-

сте и я поднимался к себе, только чтобы переодеться и сделать запись в дневнике. Майтрейи готовилась к экзамену на бакалавра искусств, а я ей ассистировал. По-санскритски я не понимал ни слова, но можно было сидеть подле Майтрейи на ковре, украдкой пожимать ее руку, касаться губами волос, любоваться ею, поддразнивать ее, пока учитель, близорукий пандит, комментировал «Шакунталу» или проверял тетрадки с упражнениями по переводу и грамматике. А не то Майтрейи сама толковала мне Калидасу, находя в каждой его строфе о любви намеки на нашу тайну. Я изменился: музыка, поэзия, бенгальская литература потеснили мои прежние интересы. Я старался в оригинале разбирать вишнуитские стихи, волновался, читая перевод «Шакунталы», с полным равнодушием смотрел на полку, уставленную книгами по физике, и, через силу отработав день, бежал скорее домой, к своей Майтрейи.

Несколько дней спустя после нашего объяснения она пришла ко мне с каким-то, по ее словам, важным признанием. Я был так уверен в ее любви, так полон желания, всегда обуревавшего меня при ней, что ответил объятием и поцелуем.

— Нет, выслушай меня, — настаивала она. — Ты должен знать все. Скажи, ты когда-нибудь любил так, как сейчас?

— Никогда, — ответил я без запинки, не слишком хорошо сознавая, ложь это или только гипербола.

(Впрочем, что были те эфемерные увлечения плоти, которым я поддавался по молодости лет, по сравнению с теперешним чувством, забравшим у меня память, сделавшим из меня слепок с души и желаний Майтрейи?)

— Я тоже, — сказала Майтрейи. — Но вообще я любила. Рассказать тебе?

— Как хочешь.

— Я любила дерево по имени Семилистник, так они у нас называются, — начала она.

Я засмеялся и потрепал ее по голове.

— Тоже мне любовь, какая ты смешная!

— Нет, нет, я правда его любила. И Чабу сейчас тоже любит одно дерево, но мое было лучше, мы жили тогда в Алипоре, а там деревьев много, и они очень большие, вот я и влюбилась в одно, могучее, высокое, ужасно нежное и ласковое... мне не хотелось с ним расставаться. Мы с

ним целыми днями ласкались, целовались, разговаривали, я ему посвящала стихи — кто бы еще меня понял? И когда оно гладило меня листьями по лицу, я таяла, я переставала дышать. Бывало, убегу ночью из дому голышом и заберусь на мое дерево — я не могла спать одна. Сажу высоко на ветке и плачу до рассвета, пока не продрогну. Раз меня чуть не застигла мама, и я от страха слегла — с тех пор у меня часто болит сердце. Я лежала много дней, и мне каждый день должны были приносить свежую ветку с семью листьями...

Я слушал, как слушают сказку, и Майтрейи уходила все дальше и дальше от меня. Какая сложная натура! Я еще раз убеждался, что определения «примитивные», «простые», «наивные» подходят скорее для нас, детей цивилизации, а каждый из этих людей, которых я полюбил до того, что захотел стать одним из них, заключает в себе целую мифологию, недоступную нашему пониманию, они-то и есть души глубокие и обильные, сложные и непостижимые. Мне было больно от того, что говорила Майтрейи. Больно от этой ее способности вкладывать страсть во все, тогда как я хотел владеть ею единолично. Такая любвеобильность в женщине — может ли быть большее мучение для мужчины?

Я видел ее, нагую девочку-подростка, в исступлении обнимающую дерево, — невыносимо мучительный образ, потому что остроту наслаждений, которую она тогда испытала, мне казалось, я не смогу дать ей никогда и не смогу затмить память о нем. Соитие с ветвями и листьями — такой любви я себе не представлял. Меня томило множество вопросов: как это совершалось? Как отзывалась ее нагота на его семипалые ласки? Какие слова вырывались у нее, когда она впервые почувствовала, что отдается, что принадлежит ему?..

Она принесла мне засушенную веточку, плоскую, душистую, завернутую в серебряную бумагу. У меня в глазах потемнело от ярости, я взял веточку в руки, попробовал презрительно усмехнуться, но не сдержался и раскрошил ее в прах, кусая губы.

— Он тоже хотел так сделать, — обронила Майтрейи, — но я не дала.

Я помертвел. Значит, и он любил ее так же сильно, и он так же терзался, узнав, что его опередили, и кто — дерево! Куда девалась моя уверенность, мое самодовольство? Майтрейи бросилась целовать мне руки, повторяя, что она забыла и своего гуру, и свое дерево, что любит только меня, что *так* она никогда не любила. Я оставался нем, что-то рухнуло во

мне, и я чувствовал бесконечную усталость и зло на самого себя. Это ревность? — билась в голове мысль.

— Если бы я не любила тебя одного, я бы не посмела признаться, — сквозь слезы говорила Майтрейи. — Теперь ты тоже должен мне рассказать обо всех, кого ты любил до меня...

— Никого я не любил, — возразил я мрачно.

— Как же ты мог жить без любви? — изумилась она. — И ведь ты гораздо старше меня, ты успел бы налюбоваться вдоволь...

Я с минуту помедлил, колеблясь. Майтрейи меня разгадала.

— Нет, я не про тех девушек, которых ты держал в объятиях. Не смей мне про них говорить. Это грязь, а не любовь...

Она разрыдалась. Кто-то прошел по коридору, приостановился у нашей двери. (Вероятно, шофер, я потом узнал, что он тоже шпионил за нами.) Майтрейи подавила плач, зажав рот краем покрывала.

— Зачем ты меня мучаешь? — вдруг взорвалась она. — Почему не веришь, что я была чиста телом, сколько бы ни любила?

Я оторопел. Я ее мучаю? Она хлещет меня наотмашь своими признаниями и меня же еще обвиняет! Разве я сказал ей хоть слово, я просто безумец, который не может сопротивляться своей собственной страсти, который меньше всего хочет копаться в прошлом, а получает бесконечные напоминания о нем, бесконечное его смакование. (Я судил — и страдал — как типичный белый человек, мы предпочитаем закрывать глаза на неприятное, дорожа в первую очередь своим спокойствием, своим комфортом. Майтрейи плохо разбиралась в этих свойствах «цивилизованного человека» и отдавала мне себя всю, со всем, что оплодотворяло до сих пор ее душу. Тело ее, я знал, было неприкосновенно — по крайней мере для мужской руки.)

В тот же день она рассказала мне еще об одной своей любви. Ей было лет двенадцать-тринадцать, и они с госпожой Сен поехали в храм Джаганатх, в Пури. Когда они вместе с толпой темными галереями огибали святилище, кто-то незаметно приблизился к Майтрейи и набросил ей на шею гирлянду цветов. На первом же светлом месте госпожа Сен заметила гирлянду и, спросив, откуда она взялась, сняла ее и повесила себе на руку. Но стоило им войти в темноту, Майтрейи снова почувствовала, что на шее у нее гирлянда. И эту гирлянду госпожа Сен тоже сняла при свете, а затем взяла дочь за руку. Но как только они попадали в темноту, все повторя-

лось сначала. Так что в конце пути у госпожи Сен собралось шесть гирлянд. Она стала оглядываться с очень сердитым видом, потому что гирлянда на шее у девушки означает помолвку. И тогда появился юноша редкой красоты, с черными волосами до плеч, с пронизывающими глазами, с алым ртом (Майтрейи истязала меня этим описанием!). Он пал к ногам госпожи Сен, коснулся их рукой, произнес только одно слово: «мама» — и исчез.

Она любила этого юношу несколько лет, даже после того, как увлеклась Тагором (я подумал: а что, если она все еще любит Тагора, хотя увлечена мной? А что, если придет другой, когда я буду еще любить ее?). Потом она рассказала Тагору эпизод в храме, и ее хваленый поэт пустился в толкования: этот юноша-де был вестник любви, а шесть гирлянд были символом не знаю уж чего и так далее и тому подобное. Боже, какие джунгли в ее сердце и уме! Дремучие тропические джунгли символов и знаков, насыщенная атмосфера совпадений и чувственности. Где же мое место во всем этом? А ведь я был любим шестнадцатилетней девочкой, которая только что отдала мне, первому, свои губы...

— Теперь я твоя, только твоя, — закончила Майтрейи, обвивая меня руками. — Только ты научил меня, что такое любовь, ты дошел до моего сердца, тебе я отдалась. Когда ты сломал веточку, я была счастлива. Когда ты в ярости, ты как ветер, растопчи меня, будь суров и грозен, таким я тебя люблю. Почему ты недоволен?..

В самом деле, причин для недовольства у меня не было. Майтрейи всегда сама приходила ко мне в комнату в тот послеполуденный час, когда все спали наверху под вентиляторами. В необъятном бамбуковом кресле она принимала мои ласки, которые делались все смелее. Теперь я мог покрывать поцелуями ее шею, плечи под легкой тканью, добираться до груди — при первом откровенном прикосновении моей изголодавшейся руки она замерла, похолодела, вся собралась в комок. Потом перевела дух и, сама разведя края одежд, вручила себя мне отчаянно, неудержимо, с безумием в глазах, как будто вот-вот должен был грянуть гром. Ни у какой самой прекрасной статуи я не видел такой груди: кровь, прихлынув к обнажившейся смуглой коже Майтрейи, зажгла скульптурную красоту плоти, ждущей меня. Все ее тело было ожидание, лицо застыло, глаза смотрели на меня как на бога. Этот трепет, эти содрогания — были ли они чувственной природы? Я очнулся, принудив себя к постепенности, но каж-

дому моему прикосновению она отдавалась целиком, как чуду, на которое откликалось ее тело, будучи пока еще девственным. Только потом я узнал, что такая способность к плотским радостям была для нее крестной мукой. Одной рукой вцепившись в спинку кресла, другой глядя меня по волосам, она спросила, наконец набравшись храбрости:

— Это не грех?

Я промямлил что-то, как всегда первое попавшееся, и снова погрузился в постепенное познание ее тела. Время от времени, отрываясь, я видел откинутую на спинку кресла голову, сомкнутые веки, влажные от слез щеки с прилипшими прядками волос и, изумляясь полноте ее переживаний, пытался утешить:

— Когда мы будем муж и жена, не надо будет сдерживаться. Тогда ты будешь моей.

— Но *сейчас* это не грех? — спросила она снова, зажмурясь, кусая губы.

— Сейчас я тебя только целую и ласкаю. Тогда будет по-другому, ты будешь моей, моей...

— Разве я не твоя и сейчас? — говорила она погасшим голосом. — Разве это не грех?

Мне понадобился не один день, чтобы вникнуть в ее представление о грехе: желание ее было так велико, что она боялась, как бы роса любви, расточаемая таким образом, не пошатнула миропорядок. Как только она дала мне губы и обняла меня, приникнув всем своим телом к моему, мы заключили союз. И любовь должна была совершиться до конца, в противном случае желание делалось пороком, а счастье нашего слияния — печалью плоти. Грехом были не мои попытки постепенно овладеть ее телом, а их ограниченность, потому что Майтрейи познавала содрогания любви, но они не давали завязи и не превращались в плод. Бесплодное расточение ласк было грехом, по индуистским правилам. По этим правилам, мы затянули соитие, которое должно было дать живые плоды — детей... Иначе любовь получалась с червоточиной, радость — с поллой сердцевиной, а ласки — с привкусом греха...

Мне было неприятно узнать, что не любовь и желание вынуждают ее просить меня о решительном шаге, а предрассудки, страх перед кармой, богами, предками. В ночь этого открытия я думал, где же все-таки искать

настоящую искренность чувств, подлинную невинность плоти: у них или у нас, цивилизованных? Выходит, все, что Майтрейи делала с того раза, как впервые поцеловала меня, она делала под диктатом общественных установлений, фактически под гипнозом. И спонтанность, богатство ее любви ко мне — не простое ли следствие этого первого падения, не определяются ли они просто ее варварским суеверным сознанием?

Я стал избегать, сколько было возможно, уединения с Майтрейи и долгих объятий и, любя госпожу Сен и уважая господина Сена, ждал случая попросить Майтрейи в жены, прежде чем овладеть ею. Я был нравственным человеком, отсюда все мои трагедии. Любовь не была для меня узким понятием, я не умел пожертвовать всем ради мгновенья — истины или жизни, — потому и получал столько ударов и волны несли меня, куда хотели.

Пока же мы вкушали всю полноту, все тепло общения в совместных поездках по окрестностям Калькутты. Выезжая по вечерам и возвращаясь за полночь, мы объездили на машине десятки километров, забираясь за Баракпур, Хугли, Чандернагор. Вдвоем с Майтрейи (я говорю «вдвоем», потому что мы видели и чувствовали только друг друга, хотя нас всегда сопровождал кто-то из домашних) мы осмотрели множество пригородных деревень, примеряя себя к домикам под кокосовыми пальмами, где нам так хорошо было бы укрыться. Мы оставили столько воспоминаний на этих дорогах, темных от колоннады обступивших их деревьев! А искусственные озера, на берегу которых мы сидели, украдкой взявшись за руки, пока другие носили из машины корзины с сэндвичами и фруктами! А ночные привалы на Чандернагорском шоссе, когда мы все замирали среди тишины, деревьев, светляков, летающих вокруг как в волшебном лесу. Особенно ярко запомнилась мне одна ночь: у нас заглох мотор как раз посреди этого феерического шоссе, и шофер вместе с Манту отправились в близлежащую деревню за инструментами. Господин Сен остался вздремнуть в машине, а мы втроем — Майтрейи, Чабу и я — пошли посмотреть на лес, лес под безлунным небом со всеми звездами, какие только есть в Бенгале, со светляками, украсившими нам волосы и платье, как сказочные алмазы. Мы молчали и невольно переплелись руками под прикрытием колдовской темноты, хотя рядом была Чабу. Не знаю, чья безвестная душа во мне откликнулась тогда на зов этой вновь открываемой Индии. Лес был без начала, без конца, обманные звездочки свет-

ляков мешались с далекими звездами, проступавшими сквозь кроны вековых эвкалиптов. Мы остановились у пруда, обычного искусственного пруда, где разводят рыбу, и замерли все трое. Какие чудеса скрывала под сомкнувшими лепестки лотосами неподвижная вода с мельканием сверкающих крупинок? Мне хотелось встряхнуться — вернее, не мне, а нормальному молодому человеку во мне, который дал усыпить себя чарам соскользнувшего в сказку окружения, неземной благодати нашего присутствия у этих тихих вод. Мы простояли так долго, и я не поцеловал Майтрейи. У меня не было желаний, всякий жест оказался бы лишним. На душу снизошла неправдоподобная ясность — при всей экзальтации, почти наркотической, вызванной таинством и игрой природы. Как это совмещалось, я объяснить не умею...

Один раз, забредя на рисовое поле и промочив ноги чуть ли не до колен, мы выбрались к заброшенному дому и расположились обсушиться на руинах, зарастающих зеленью. Звезды еще не взошли, вечер был теплый, с дуновениями эвкалипта. Майтрейи, сидящая рядом в позе настолько удобной, насколько это ей позволяло шитое серебром сари, искала глазами вдаль, за полем, кромку леса. Все вокруг стало тайно сопричастным нашему желанию бежать и быть только вдвоем. Лес звал нас, предлагая убежище под своей густой тенью, среди блаженных птиц. Мы обернулись друг к другу, и волнение, превосходящее все пределы, нахлынуло на нас, как тогда в библиотеке, в наш первый день. Я помог Майтрейи спуститься со стены и на ходу коснулся губами ее волос — коснулся душой, потому что она откликнулась вся, смежив веки, не думая о том, что нас могут увидеть из машины Лилу и госпожа Сен — наша всегдашняя опасность.

Воспоминание об этих поездках — до сих пор самое пронзительное, самое светлое для меня. Если память плоти недолговечна, если соитие тел, каким бы совершенным оно ни было, подобно голоду и жажде, легко забывается, то никакой темноты и мути не было в нашем единении, на природе, когда одними глазами мы говорили друг другу все, а простое объятие давало больше, чем ночь любви. Там мы снова вернулись к открытию нашего первого дня — к встрече глаз, пристальной, гипнотической, ненасытной. Когда по дороге домой мы останавливались на перекрестках, в ярком свете, наши глаза искали друг друга и, найдя, так отчаянно, так буйно схлестывались, что я до сих пор недоумеваю, как нас не раз-

облачили тогда же наши спутники. Или для них это было проявлением той любви, какую они нам прочили?

Раз мы увидели ночной Чандернагор. Иллюминация вдоль бульвара не могла скрасить гнетущего впечатления от руин дворца — былой славы этой старой, забытой Богом французской колонии. Торжественные мысли о мощи и бессмертии Индии, которая все стерпит, все сгладит, как будто ей нет дела до своих захватчиков и владык, посетили меня. Мы мчались в машине двадцатого века, а рядом, бок о бок со мной, сидела отшельница из Упанишад*, Майтрейи — химера, святая? — душа непроницаемая и непостижимая, как, впрочем, и все ее соплеменники. Я коснулся ее руки — не сон ли это? Неужели я любим *этой* девой?

В Белур-Матх, обитель Свами Вивекананды, мы приезжали чаще, чем куда бы то ни было, особенно в праздники, потому что Ганг в этом месте оmyвает ступени храма, и зрелище чудесное, и воздух напоен благоуханиями. Там нам гулялось особенно хорошо — без лишних слов и без внешних жестов любви. Там мне казалось, что я обретаю душевный покой, какого раньше мне было не дано. Не знаю, любовь ли моя к Майтрейи или вообще переоценка ценностей повлияли на меня, но я стал подумывать об обращении в индуизм. Тогда бы между нами уже не было препятствий. Я рассуждал так: если верно то, что все религии хороши, что один и тот же Бог проявляет себя в каждой из них, тогда почему я не могу перейти в веру Майтрейи? Я отрекаюсь от своей веры не из страха и не из корысти, а потому, что любовь толкает меня на это испытание. Если мертвая догма может преградить путь живой любви, чего стоит такая любовь? Если я убежден, что истина поделена поровну между всеми религиями, почему я не воплощаю свое убеждение в поступках? Сейчас вам любой миссионер, шагающий в ногу с веком, скажет: все религии равны. Что толку от слов? Я хочу доказать самому себе, что индуизм ничуть не хуже христианства, если человек на самом деле верит в Бога. А если не верит, тогда ему не поможет ни то ни другое.

Я поделился своими мыслями с Майтрейи там же, в Белур-Матхе, и она, когда прошло первое замешательство, сказала, что, если я перейду в индуизм, нас уже никому не разлучить. Она припомнила несколько слу-

* Упанишады — древнеиндийские религиозно-философские трактаты.

чаев такого обращения (одного француза, профессора из Шантиникетана, женившегося на бенгалке, я даже знал лично — этот человек, пересаженный на чужую почву, произвел на меня сильное впечатление: просветленный, счастливый, окруженный сыновьями и дочерьми, которых он растил по индийским обычаям). В тот же вечер, по возвращении в Бхованипор, Майтрейи объявила госпоже Сен о моем решении, а после, не вытерпев, спустилась ко мне сказать, что мама вне себя от счастья, что наверху, у женщин, только об этом и разговору и что теперь, улучив удобный момент, я могу без всяких опасений попросить ее в жены. Мы обнялись, и уверенность, даже привычность наших объятий позже навели меня на некоторые мысли. («Не будет ли это всеобщее поощрение и покровительство потолком для нашей любви?» — думал я.)

Однако господин Сен, услышав новость, напротив, посуровел и твердо сказал, что мне не следует поддаваться скороспелым симпатиям к религии только из-за экзотики и красоты церемониала; что моя религия лучше и если он, господин Сен, не может в нее перейти, потому что потеряет положение в обществе, то у меня-то никаких причин отказываться от нее нет. Что он не даст своего благословения, не получив согласия властей, и что вообще религия — это вопрос не только взглядов на жизнь, но также любви и уважения к близким, которые ее исповедуют. («А моя любовь?» — думал я, слушая его. Потому что он был прав, но прав был и я.) Такое явное сопротивление господина Сена подействовало на нас с Майтрейи удручающе. Мы решили, что в октябре я уеду на месяц в Пури и вернусь уже обращенным, чтобы положить конец дискуссиям.

Вскоре у господина Сена, который уже некоторое время страдал высоким давлением, случился гипертонический криз, потом подряд еще и еще. Весь дом переполошился, наши автомобильные прогулки стали гораздо реже, приходилось сидеть при больном, читая ему романы или книги по психологии и медицине (вынужденная неподвижность навела инженера на мысли о душе и болезнях, и он хотел навести справки по первоисточникам). Мы читали по очереди — Манту, я и Майтрейи. Господин Сен боли не испытывал, но ему прописали постельный режим и черные очки на глаза. Его болезнь, длившаяся несколько месяцев, не была мне в тягость, так поддерживала меня и отвлекала игра нашей любви.

Я обнаружил в себе интерес к внешним событиям. Национальная революция снова стала угрозой — 50 000 человек были брошены в тюрь-

мы. Но понадобилось несколько ужасных сцен: атака конной полиции, разгром сикхского квартала в Бхованипоре, вид избитых детей и раненых женщин, чтобы я возмутился по-настоящему. Я стал тогда осуждать всех британцев без разбора, меня подогревали газетные заметки об очередных варварствах белых, я с гадливостью смотрел на белые лица в трамвае, отказался от английского табака и зубной пасты, вообще от всего привозного из Англии, обходясь местными товарами или, на худой конец, японскими. Впрочем, жизнь в Бхованипоре давно приучила меня к умеренности.

Спустя несколько дней после налета полиции на сикхский квартал меня навестил Гарольд. Как я и предполагал, он пришел попросить взаймы, на этот раз сумму посolidнее — 100 рупий. Деньги я хранил в банке и выдал ему чек, радуясь, что могу услужить бедняге (он задолжал за три месяца квартирной хозяйке и не знал, как перебиться до получки), и в то же время досадуя, что помогаю врагу Индии — кажется, я превращался в шовиниста. После того как Майтрейи принесла нам чай и, задержавшись немного в моей комнате, ушла, я попытался перевести разговор на Ганди и революцию. Гарольд, как всякий евразиец, не допускал мысли о подобном безобразии и приветствовал террор, развязанный полицией и армией, но поскольку он пришел ко мне просить сотню рупий, то от спора воздержался. Я почувствовал мотивы его сдержанности, и мне стало грустно. Однако у Гарольда была и еще одна цель: он пришел разнюхать, как я здесь живу — опустился ли до уровня «черномазых» или позволяю себе кое-какой комфорт. А больше всего его любопытство разжигала Майтрейи, и когда он увидел, как она разливает чай, как цветет улыбкой и румянцем, украдкой поднимая на меня глаза, как привычно двигается по моей комнате, то не преминул сказать:

— Аллан, старина, я вижу, ты влип...

— Да мне ничего другого и не надо — лишь бы они меня приняли в свой мир, — возразил я, глядя ему прямо в глаза. — Живой мир, живые люди, они терпят и не ноют, у них еще есть мораль, их девушки — праведницы, а не потаскушки, как наши. Жениться на белой? — Я постарался вложить в свои слова как можно больше сарказма. — На девушке, которая толком не знает ни что такое быть девственной, ни что такое отдаваться — отдаваться безраздельно? Слуга покорный. Наш мир изжил себя, все белые континенты мертвы. Мне

там нечего искать. Если меня примут, о чем я молю Бога, в индийскую семью, я найду в себе силы бросить прежнюю жизнь. У нас вместо здоровой основы — бредни и абстракции, у них — вера и счастье. Я вижу счастье теперь только в совершенной любви, и такую любовь я не найду нигде, кроме как здесь, в этом индийском доме...

Я говорил искренне, с жаром, проясняя для самого себя некоторые мысли, до той поры не оформленные. Гарольду слушать было и любопытно, и неловко, и дико. Впрочем, он мало что понял из моей главной идеи о смерти белых континентов, к тому же ему не терпелось поскорее уйти, пропустить стаканчик виски, которого он давно себе не позволял. Поэтому он спросил только:

— А как же твоя религия?

— По мне, христианство еще не родилось. Если что и было — так только церкви, догмы и ритуалы. Христианство зарождается здесь, в Индии, на земле, более всего согласной с Богом, где люди по-настоящему тянутся к любви, свободе, пониманию. Я не мыслю себе христианства без свободы и без примата духовности...

Гарольд, который слышал от меня раньше только разговоры о физике и инженерных конструкциях, в крайнем случае — комментарии к очередной интрижке, оторопело внимал моей апологии нового индийского христианства. Я и сам чувствовал, что меня занесло, и прекрасно понимал, что пылом своих высказываний обязан любви Майтрейи со всеми вытекающими отсюда религиозными и политическими последствиями. Может быть, все, что мы делаем, определяется рабством наших чувств? — не раз думал я потом, в те месяцы, что пытался открыть для себя новую истину.

— Очень заумно, — резюмировал Гарольд. — Вот так приворожат, упаси Бог... — добавил он, поднимаясь.

Когда в возбуждении от разговора я шагал взад и вперед по комнате, заново перебирая в голове все аргументы, не упустил ли я чего, вошла Майтрейи и бросилась мне на шею.

— Хорошо, что он ушел. Я так соскучилась...

Обнимая ее, я впервые ощутил страх, что любовь Майтрейи может мне когда-нибудь прискучить. Вот сейчас мне нужно было хоть сколько-то побыть одному, потому что приход Гарольда меня взбаламутил и мне хотелось поразмышлять, прояснить до конца и уточнить некоторые ло-

гические ходы, а Майтрейи еле дождалась, пока гость уйдет, чтобы упасть в мои объятия. Я чувствовал, что у меня отбирают что-то мое, претендуют на самое потаенное. Я отдал себя Майтрейи и ни минуты не был один: она и во сне не оставляла меня. Когда мне надо сосредоточиться, почему она этого не угадывает? Почему даже самая большая любовь так непроницательна?..

Я все еще держал ее в кольце рук, касаясь губами макушки, благоухающей кокосовым маслом, когда вошел Кхокха и, воскликнув: «Пардон!», тут же ретировался.

XI

На другой день, вернувшись из города, я нашел у себя под дверью записочку: «Жду в библиотеке» — и тут же спустился вниз. На Майтрейи лица не было.

— Кхокха может проговориться!

Я, стараясь скрыть волнение, попытался убедить ее, что тут нет ничего страшного. Майтрейи сжимала мои руки, неотрывно глядя мне в глаза, как будто черпая поддержку в моей уверенности.

— Нам надо обручиться, а после уже сказать бабá. Пока он болен, не надо его волновать.

— Но разве мы не обручились давным-давно? — удивился я. — Ты же подарила мне гирлянду, и я ее принял.

— Раз Кхокха знает, — объяснила Майтрейи, испуганно озираясь, — мы должны закрепить наш союз, чтобы на нас не пало проклятие, чтобы не нарушить ритм.

Я испытал то же чувство восхищения с привкусом горечи, что и всякий раз, как натывался в душе Майтрейи на джунгли предрассудков. Ритм, карма, предки... Сколько таинственных сил надо привлечь, у скольких испросить согласия на счастье одной четы!..

— Я выбрала камень для твоего перстня, — продолжала Майтрейи, развязывая кончик сари и доставая черно-зеленую штуковину, похожую на голову ящерицы с красной продольной полоской.

Она объяснила мне идею перстня. По традиции, он будет сделан в виде двух свернувшихся змеек, железной и золотой, обозначающих соот-

ветственно мужское и женское начало. Камень она отыскала в ларце у госпожи Сен, там их целая грудa, еще от предков. Никакой ценности он собой не представляет, так что никто не сможет обвинить ее в краже, хотя она и взяла его без спросу. Впрочем, там было много похожих на этот, в мамином ларце. (Почему она так оправдывалась, я узнал позже: она боялась, что я буду судить ее по христианским меркам.) Вообще-то помолвку освящают не вполне так, объясняла дальше Майтрейи. Полагается, чтобы невеста получила от жениха браслет, в котором переплетены две полосы — золотая и железная, а жених от нее — простое кольцо. Но поскольку она не может открыто носить обручальный браслет, то придется перенести все символы в мой перстень...

Она говорила долго, а я слушал, замороженный, хотя в редкие моменты просветления во мне поднимался протест против этого сомнительного, отдающего мистификацией ритуала. Мне казалось насилием над нашей любовью стремление ее узаконить, закрепить внешне, хотя бы и символически. Что я особенно ценил в нашей любви, так это именно ее спонтанность, ее необусловленность ничем.

Все же, когда ювелир принес мне перстень, я, вертя его в руках, испытал детскую радость. Он был так мастерски сработан, что мог сойти за обычное кольцо, правда пооригинальнее прочих, но с прекрасно закамуфлированной символикой. Никто в доме не догадался, а если Лилу с Манту и спросили, не собираюсь ли я жениться на индианке, то разве что в шутку. К тому же болезнь главы семейства целиком поглощала внимание домашних.

После вечернего чая Майтрейи, зная, что все заняты, пожаловалась на головную боль и попросила разрешения поехать на Озера, развеяться. Составить нам компанию вызвалась одна Чабу, но, поскольку уже несколько дней она вела себя как-то странно: то молчала, уставая в одну точку и не отвечая на вопросы, то принималась без удержу петь, — госпожа Сен ее не пустила, а дала нам в свиту сестру Кхокхи, молодую, очень застенчивую вдову, которая целыми днями работала по дому и была счастлива прогуляться на машине. Итак, я сел рядом с шофером, женщины — сзади, но, когда мы приехали и остановились на обочине дороги под гигантским эвкалиптом, вдова осталась в машине, шофер пошел за лимонадом, а мы с Майтрейи одни спустились к Озерам.

Озера я любил больше всего в Калькутте — из-за того, что они были

единственной искусственной зоной в джунглях, из которых вырос этот город. Вода в них стояла тихо, как в аквариуме, и ночью напоминала каток под легким качанием электрических гирлянд. Парк казался мне бесконечным, хотя я прекрасно знал, что с одной стороны его ограждает железная дорога, а с другой — шоссе и кварталы предместий. Я любил бродить по аллеям, спускаться к кромке воды, где вольно разрослись молодые деревья, насаженные после окончания работ, — они как будто чуяли, что здесь недавно были джунгли, и хотели вернуть месту утраченную свободу. В такой рощице мы и остановились, надежно скрытые зарослями со всех сторон. Майтрейи сняла перстень с моего пальца и зажала его в своем маленьком кулачке.

— Сейчас мы обрuchимся, Аллан, — сказала она, глядя прямо перед собой, на воду.

Это торжественное начало резануло мой слух. Я был слишком трезв для такого момента. (Но я любил ее, видит Бог, я любил ее!) Я ожидал, что воспоследует сцена из романа или из какой-нибудь средневековой индийской баллады о легендарной и безумной любви. Я побаивался этой литературы — пусть я был не слишком начитан, но я имел случай наблюдать, на примере Майтрейи, как она усваивается в отрочестве и юности. Обет, зарок, ритуал — я стеснялся пафоса, как всякий цивилизованный человек. (И это я, намеревавшийся отряхнуть с ног прах цивилизации, вырвать ее из себя с корнем!)

Но Майтрейи говорила так просто, так сильно, что я дрогнул и стал поддаваться. Она обращалась к воде, к небу и звездам, к лесу, к земле. Встав на колени и касаясь земли рукой с зажатым в ней кольцом, она давала обет:

— Клянусь тобой, земля, что я буду Алланова, и ничья иная. Я буду расти из него, как трава из тебя. И как ты ждешь дождя, так я буду ждать его прихода, и что для тебя лучи солнца, то будет тело его для меня. Клянусь перед лицом твоим, что союз наш будет родить, ибо я отдаю себя по своей воле, и все зло, если ему суждено быть, пусть падет на меня, а не на него, ибо я его избрала. Ты слышишь меня, мать-земля, ты не обманешь, матушка моя. Вот рука моя, вот кольцо, если ты чувствуешь меня сейчас так, как я тебя, укрепи меня, чтобы я любила его вечно, чтобы я принесла ему счастье, какого он не знал, чтобы я дала ему жизнь, полную до краев. Да будет жизнь наша подобна радости трав, что растут из тебя.

Да будет объятие наше подобно первому дню муссона. Дождем пусть будет поцелуй наш. И как ты никогда не знаешь устали, матушка, пусть не знает устали сердце мое в любви к Аллану, которого небо родило далеко, а ты, матушка, привела ко мне...

Ее слова обволакивали, зачаровывали, потом они слились в какой-то младенческий лепет, односложный, непонятный без ключа. В речитативе я различал то одно, то другое бенгальское слово, но общий смысл от меня ускользал. Когда она смолкла, дотронуться до нее я не посмел, так огораждало ее волшебство звуков. Я сидел рядом, одну ладонь положив на колено, другой опершись о землю, как будто повторяя за ней магический ритуал обета. Она заговорила первая:

— Теперь нас никто не разлучит, Аллан. Теперь я твоя, совсем твоя...

Я мучительно искал слова, но не нашел ни одного свежего, которое бы не оскорбило моего торжественного чувства и ее преобразования: у девушки на вечерней прогулке не бывает такой неподвижной сосредоточенности черт, и я долго потом вспоминал ее лицо в ту минуту.

— Однажды ты возьмешь меня в жены и покажешь мне мир, правда?

Это она произнесла по-английски, и ей показалось, что фраза прозвучала вульгарно.

— Я пока очень плохо говорю по-английски, да, Аллан? Ты Бог знает что можешь обо мне подумать... Но я хочу посмотреть на мир вместе с тобой, увидеть его так, как видишь ты. Он большой и прекрасный, правда? Отчего люди вокруг хлопчут, бьются? Я хочу, чтобы все были счастливы. Ах, нет, я говорю глупости. Как мне хорошо сейчас, как хорошо...

Она рассмеялась. Я снова оказался в обществе прежней Майтрейи, какой она была зимой, — невинного, импульсивного существа с речью прерывистой и противоречивой. Канул куда-то весь ее женский опыт, вся благоприобретенная зрелость.

Действительно, в последующие дни я убедился, что помолвка вернула ей душевный покой, радость жизни и вкус к игре. С той минуты, как обряд освятил наш союз, напряжение ее отпустило, страхи рассеялись, перестала терзать мысль о грехе. Я обрел заново ту непостижимую Майтрейи, перед которой вначале терялся, которой восхищался и которую незаметно принял в сердце — между делом, среди игр, думая, что это я представляю ей ловушки, лишённые, впрочем, всякого остроумия.

Надо было скорее возвращаться в машину, уже по-настоящему стемнело. Я так и не посмел обнять Майтрейи. Наша спутница дремала на заднем сиденье, она восторженно встрепенулась нам навстречу и с видом заговорщика смотрела, как мы идем: я — выше и крепче, чем Майтрейи, зато она — моложе: ослепительно прекрасная, с выражением участливого внимания ко всему, с радостью вновь обретенной свободы в игре лица. (Позже Майтрейи сказала мне, что сестра Кхокхи первая узнала о нашей любви и покрывала нас, как могла; она, хлебнувшая столько горя в своем неудачном браке — ее выдали замуж двенадцати лет за человека, которого она первый раз увидела в день свадьбы и которого страшно боялась, потому что он ее насиловал и избивал каждую ночь до и после «любви», — так вот, она всегда советовала Майтрейи не смущаться кастовыми законами и семейными строгостями, а начать действовать и в случае чего даже решиться на побег. Эту женщину, оказавшуюся моим другом и другом Майтрейи, единственную, кто утешал ее в черные дни, я видел очень редко, если и говорил с ней, то случайно и даже не знал ее имени. А ведь во всем доме Сенов она одна понимала нас и любила вполне бескорыстно.)

В тот вечер странности в поведении Чабу усугубились, и ее уложили спать в комнате госпожи Сен. Симптомы были непонятные: ей все время хотелось высунуться в окно, как будто ее кто-то звал с улицы или она там что-то видела.

Я лег спать, переполненный происшествиями этого дня, и уже погрузился в приятные сны с катанием на воде, с лебедями и мерцанием светляков, как вдруг меня разбудил осторожный стук в дверь. Я в удивлении спросил, кто там. Ответа не последовало. Испытав, признаюсь, некоторый страх, я зажег свет. Вентилятор создавал легкий шумовой фон, заметный, только когда его выключишь. Я отпер дверь и оцепенел при виде Майтрейи в тонком зеленоватом сари, дрожащей и босой (чтобы не шуметь на лестнице?). Я стоял в полной растерянности.

— Погаси свет, — шепнула она, проходя мимо меня в комнату и прячась за спинку кресла, чтобы ее ненароком не увидели с улицы.

Я погасил и подошел к ней, глупейшим образом спрашивая:

— Что с тобой? Ты ко мне? Что случилось, Майтрейи?

Вместо ответа она несколькими движениями расправилась со своим сари, зажмурясь, закусив губу, не дыша, обнажив плечи и грудь. Вид ее

наготы при бледном свете уличных огней подействовал на меня ошеломляюще, как чудо, в своем плотском и точном воплощении превосходящее пределы любой фантазии. Если я и представлял себе — а я представлял не раз — нашу первую ночь и ложе, где я познаю ее, то никогда моя мысль не простиралась так далеко, чтобы вообразить чистейшее тело Майтрейи, которое само, по своей воле, обнажает себя передо мной. Это было за чертой воображения, хотя я и обставлял иногда экзотическими обстоятельствами головокружительное видение нашей близости. В ее поступке меня убила именно его простота и естественность: девушка сама приходит в комнату жениха, потому что после помолвки между ними уже ничего не стоит.

Тихо-тихо я обнял ее, стараясь не привлекать слишком близко, как бы робея от ее наготы, но, ощутив все еще окутанные сари бедра, одним гладящим движением вдоль выгнутой спины высвободил их, сам содрогнувшись от такого кощунства и опускаясь на колени перед этим телом, которое для меня перешагнуло пределы мыслимого совершенства и стало причастным к сверхреальности. Она положила руки мне на плечи, словно умоляя подняться. Говорить она не могла, ее бил озноб, и тот вал радости, который принес ее в мою комнату, все же не мог развеять страхи этой минуты. Она двинулась к моей постели мягкими, медленными шагами, и тело ее зазвучало в ином ритме, пока она шла. Я хотел отнести ее на руках, но она воспротивилась и, поцеловав мою подушку, легла сама. Только один миг я видел на белой простыне живую бронзу ее тела, трепещущего, зовущего меня. Миг спустя я закрыл окна деревянными ставнями, и в комнате стало совсем темно. Я почувствовал ее рядом, сжавшуюся, будто она хотела спрятаться, затаиться, и это была не только робость и жажда тела, но жажда меня всего: она хотела перейти в меня вся, как перешла в меня ее душа. Больше я ничего не помню, я потерял себя и познал ее в беспамятстве. На исходе ночи она поднялась, не глядя на меня, завернулась в сари и, только когда я открыл дверь, провожая ее (со сколькими предосторожностями!), обронила:

— Это небо так велело. Видишь, сегодня, в день перстня, Чабу не спала вместе со мной.

Я стоял, стараясь различить ее шаги, поднимающиеся по ступенькам, но не услышал ни звука, так легко она скользила вдоль стен.

Утром не кто иной, как Майтрейи, пришла звать меня к чаю. Она принесла к тому же цветы из сада и расставила их по вазам с улыбкой, которая стоила дороже объятия. Она была убийственно бледна, с распущенными волосами («это ты их спутал так, что я не смогла причесаться») и с припухшими от поцелуев губами. Я испытал блаженство при виде этих следов нашей первой ночи. Красота Майтрейи расцвела, как будто ее тело разом проснулось, и искусанные губы рдели триумфально и вызывающе. Я удивлялся, как могла пройти незамеченной такая перемена, почему домашние так легко приняли ее объяснения (дескать, она не спала, волнуясь за Чабу, и кусала губы, чтобы не плакать, а кроме того, болезнь отца утомила ее сверх меры и т. д.).

День пролетел незаметно, мне пришлось провести его в офисе, работая с заместителем господина Сена. Вернувшись домой, я застал Майтрейи на веранде, она вертела на пальце колечко, сделанное из шпильки, с бобом глицинии вместо камня.

— Ночью не запирайся на засов, — шепнула она, убегая.

Она пришла ближе к полуночи и на этот раз не дрожала, а чуть ли не рассмеялась, когда обняла меня. Я был счастлив, что мысль о грехе больше ее не угнетает, что часы любви больше не будет омрачать суеверный страх. Я не узнал ее — так откровенны были ее объятия, так мощен зов тела, так великолепны ласки. Я вдруг обнаружил, что она сама ласкает меня — она, вчерашняя девственница! Меня потрясла ее полная раскованность, и при этом без единого распутного жеста и без самолюбования, пусть неосознанного. Она просто была сама собой в слиянии наших тел, она снова обрела способность к игре и воплощала ее, даря мне себя без каких бы то ни было ограничений, без оглядки. Что знала о любви эта девочка — и она не боялась любви! Ее не утомляла ни одна ласка, ее не заставляло врасплох ни одно мужское прикосновение. Любую смелость она принимала, как будто не ведала стыда, из всего извлекая высшую чувственную радость, ни перед чем не пасуя, не смущаясь ничем. Если бы не опасение, что нас услышат, она бы пела после каждого объятия, она вопила бы от боли и блаженства в момент соития, она кружила бы по комнате, сверхъестественно гибкая и парящая. Ее открытия в любви меня просто обескураживали. Я-то полагал, что мой прежний опыт дает мне кое-какое превосходство, по крайней мере техническое, но она оставляла меня

далеко позади по части изобретательности. Уверенность, с какой она целовалась, пристальность объятий, ритм тела, изумляющий разнообразием, каждый час иной, с каждым часом все смелей, все спонтаннее, — мое искусство бледнело перед ней. Она подхватывала любой намек и доводила до совершенства любое начинание, ее инстинкту можно было позавидовать. Она угадывала импульсы моего тела с такой точностью, что я сначала даже терялся. В ту секунду, когда мне надо было передохнуть, только держа ее за руку, она мгновенно отодвигалась, как будто это ей требовался отдых. Когда я впадал в задумчивость, она сворачивалась клубочком, обнимала подушку и закрывала глаза, как бы прося ее не беспокоить. Я нашел в комнате ночник, и мы включали его за креслом, набрасывая сверху ее покрывало, Майтрейи нужен был хоть бы слабенький свет — она не любила темноты. Ее глаза хотели меня так же жадно, как все тело, и объятия в темноте первых ночей наводили не нее тоску.

Я часто спрашивал себя, когда она спит, потому что она уходила всегда на рассвете, а уже через два-три часа, которые проводила за медитацией и письмом, чтобы наутро дать мне с собой на работу стихи и послания, посвященные нашей любви, спускалась готовить чай. И она же будила меня к завтраку стуком в дверь. А если я долго возился с умыванием, распекала меня, как ребенка, — в ее голосе появлялись тогда ворчливые, покровительственные, то ли тетушкины, то ли материнские нотки, повергавшие меня в смущение, поскольку я хотел видеть в Майтрейи только свою любимую; я не сразу проникся их очарованием, не сразу понял, что передо мной открываются новые грани любви, которых я не знал раньше и которыми пренебрегал, не подозревая об их прелести.

От недосыпания я плохо, с отвращением работал, к тому же меня раздражал новый шеф, только что из Америки и большой враг индийских традиций: сам бенгалец, он ходил исключительно в европейском костюме, даже дома, и держал себя наигранно до нелепости. Вероятно, я выглядел неважно, потому что Кхокха как-то раз заметил:

— Что-то ты бледный. Не надо спать с закрытым окном.

Из этого замечания я уяснил, что Кхокха ревниво следит за нами и наверняка уже знает о ночных приходах ко мне Майтрейи. Опасаясь, как бы он нас не выдал, я старался подкупить его — сигаретами и книжками. Вообще он был умный парень, но не в меру честолюбивый: писал киносценарии, которые у него никогда не покупали,

и поэтому ненавидел нас всех, хотя внешне держался дружелюбно, а уж посмеяться был просто мастер.

Состояние Чабу не улучшалось. Доктора, сначала местные, потом самые знаменитые английские, не могли поставить диагноза. Одни предполагали юношескую шизофрению, другие — невроз, вызванный опущением матки (бедная девочка в последнее время несколько раз неосторожно прыгала с дерева, с довольно большой высоты). Чабу уложили в постель в комнате, примыкающей к спальне матери. Она теперь почти все время молчала, а если и говорила, то о Роби Тхакуре, о «пути», который ей открывался из окна комнаты Майтрейи, и, если оставалась одна, тут же выбегала на балкон, пела там, махала кому-то руками и плакала. Поэтому ее приходилось все время стеречь, подле нее дежурили Лилу и сестра Кхокхи. Чабу перестала узнавать всех, кроме Майтрейи и меня, не всегда узнавала даже госпожу Сен. Я изумлялся, как эта добрая женщина может сохранять спокойствие и улыбку, когда у нее болен муж и сходит с ума ребенок, как ей удастся вести такой большой дом, быть внимательной к каждому из нас, следить, чтобы вовремя подавали обед и чай, меня мучило, что в столь тяжелое для нее время я занимаюсь любовью с Майтрейи, и я ждал случая признаться ей во всем и получить прощение. Моя поездка в Пури, а значит, и мое обращение снова откладывались, и не только из-за болезни инженера. Меня не отпускали Майтрейи и госпожа Сен, потому что политические беспорядки на юге Бенгала то и дело приводили к кровопролитию.

Один раз Чабу заметила мой перстень и попросила дать ей поиграть. Я заколебался, поскольку обещал никогда, ни на минуту с ним не расставаться, и вопросительно взглянул на Майтрейи. Она кивнула: надо было успокоить расхныкавшую Чабу. Я подал ей перстень, она завязала его в уголок платка, а платок обвязала вокруг шеи. Не знаю, что она нашла в этом темном камушке, но она все время его разглядывала, вертела в руках, пыталась посмотреть сквозь него на свет.

При всех стараниях докторов Чабу не становилось лучше. Тогда стали звать знахарей и заклинателей. Пришел старик с доброй и благостной внешностью — петь вишнуитские гимны: бередящие душу мелодии, пронзительно-тоскливые, размягчающие волю. Слушать его собрался весь дом, даже инженера в черных очках уложили в шезлонг, с подушкой под головой, а женщины, Манту, Кхокха и я расположились на ковре и слу-

шали, подперев голову рукой. Наблюдая, как одно общее чувство охватило всех — так что сам инженер прослезился, а Майтрейи накрылась с головой покрывалом и всхлипывала, — я почувствовал внутреннее сопротивление этому навязываемому извне коллективному страданию и вышел. Но даже и у себя в комнате мне было никуда не деться от песнопений, они пронизывали весь дом и издали еще больше баламутили душу. Тот же старец, пытавшийся зажаться звуками разум бедняжки Чабу, принес снадобье, что-то вроде мази на меду, ее полагалось втереть в кожу на макушке, перед тем срезав волосы. Разыгралась ужасная сцена — ни у кого рука не поднималась выстричь девочке полголовы. Наконец прибегли к моей помощи. Чабу ничего не создавала. Я заглянул ей в глаза и с ласковыми словами, чтобы заглушить лягз ножниц, принялся стричь под корень прядь за прядью ее волосы, которые тут же незаметно для сестренки прибирала Майтрейи, стоя у изголовья кровати. За четверть часа мне удалось выстричь Чабу макушку, и тогда госпожа Сен наложила на нее подогретую мазь. Чабу обвела всех взглядом, попыталась ощупать голову, потом сорвала с шеи платочек с перстнем, и слезы брызнули у нее из глаз и потекли по черному хорошенькому личику. Она плакала тихо, без всхлипов, без спазмов, и мы не знали отчего — поняла ли она, что ее варварски обкорнали, или плакала просто так? С тех пор как она заболела, глаза у нее постоянно были на мокром месте, особенно горько она рыдала, когда ее не подпускали к окну.

Начались дни, настолько насыщенные тревогами, что я плохо их помню. После работы я сразу бежал наверх, узнать, как самочувствие инженера и Чабу, потом, наскоро приняв душ и поев, снова шел наверх, сидеть с девочкой (она часто звала меня в своих бредовых состояниях, называя Аллан-дада, и при мне немного успокаивалась), а ночью я был с Майтрейи, которая отдавалась мне как безумная, все безогляднее, все ненасытнее, напуганная тем, что творилось вокруг нас. Утром я вставал усталый и полный неясных страхов. Господину Сену предстояла операция на глазах, и врачи предписывали ему полный покой, а обстановка в доме, чреватая неизвестно чем, конечно, угрожала его зрению. Потому-то меня смущала неосторожность Майтрейи: она приходила ко мне, когда дом еще не успевал как следует уснуть, а в комнате у Чабу пожимала или целовала мне руку, клала голову мне на плечо — все это могло быть замечено в любой момент. Кхокха и так заставлял нас несколько раз, когда мы обни-

мались, а Лилу и Манту подозревали о нашем романе, конечно не допуская мысли о том, что мы уже любовники.

К тому же у нас возникли свои сложности — ревность. Когда-то Майтрейи перенесла болезнь под названием бери-бери, и к вечеру у нее слегка распухали икры ног, так что врачи прописали ей массаж в дни, когда особенно влажно. В такие дни с утра Лилу или сестра Кхокхи растирали ее всю маслом с тошнотворным запахом, которое она после с трудом смывала. Но иногда у нее случались острые боли, и тогда надо было немедленно промассировать только икры, для этого к ней в комнату посылался Кхокха. Я был этим крайне недоволен, о чем и сообщил Майтрейи, но она посмотрела на меня с недоумением и отметила, что не меня же ей звать для такой неприятной процедуры, это дело массажистов, которым платят. Но Кхокха-то был не массажист, он был молодой парень, который умел ее рассмешить, а при мысли о том, что он касается ее тела своими черными похотливыми руками, меня начинало трясти. Раз вечером Майтрейи покричала с балкона, выходящего во двор, Кхокху — у нее свело судорогой ногу, потому что два дня подряд шел дождь, но того не было дома, и она позвала шофера. Я просто потерял рассудок и чуть было не пошел к ней наверх, устраивать скандал, но устыдился своих грязных мыслей, а вот выйти в сад и подсматривать оттуда за ней не постеснялся. Она не зажгла света, хотя могла бы это сделать, из приличия и из любви ко мне. Каких только мерзких сцен я не навоображал себе, вспоминая романы, где женщины из общества берут в любовники шоферов, перебирая в уме самые разные свидетельства женской неверности и лживости — их неперменного свойства. Мне припомнились те или иные мелочи, на которые я в свое время не обратил внимания. Один раз Манту, зайдя к Майтрейи, запер дверь на засов, и я, сидя у себя внизу, слышал шум борьбы, а когда они вышли, Манту был весь красный и растерянный, а Майтрейи — бледная, со сбившейся прической. (Потом она мне сказала, что Манту ей мерзок, что он к ней приставал и получил оплеуху, что она пожаловалась отцу, но, с тех пор как он заболел, без Манту в доме не обойтись, и поэтому его не выгоняют.) Еще я вспомнил, что Майтрейи рассказывала мне про другого своего дядюшку, тоже со стороны отца, который однажды попытался обнять ее и залезть за пазуху, но тогда господин Сен вмешался решительно, и этот человек до сих пор жалеет о своем поступке, потому что его выгнали со службы и ему пришлось вернуться в

деревню, где он влачит существование самое плачевное. Майтрейи часто сетовала при мне на то, что она вызывает в мужчинах, даже в кровных родственниках, вожделение, тогда как ей хотелось бы вселять в них совсем другие чувства. Чего только я не перебрал в уме: Кхокха, уединившийся с Майтрейи на веранде, в темноте, а потом ее появление за столом, в непонятном волнении, и его еще более красноречивое отсутствие. Каждая мелочь меня мучила, мне казалось, что все хотят Майтрейи и она всем подает надежду. Зачем шоферу шпионить за нами, если он ее не хочет, если не надеется в один прекрасный день рискнуть всем и войти в ее комнату, пусть даже ему придется тут же бежать из дома, не получив расчета? Чем только я себя не распалял, чем не терзал, прокручивая в голове кадры с самыми мучительными подробностями. Я был неспособен вырваться из этого болезненного состояния, видение Майтрейи в объятиях другого преследовало меня неотрывно.

Наконец однажды я вернулся домой совершенно без сил, во время ужина тщательно оберегал от прикосновений Майтрейи свои ноги, спрятав их под стул, а на ночь заперся на засов, полный решимости не впускать Майтрейи, что бы там ни было. Я еще не заснул, когда она пришла и попробовала дверь, но я лежал тихо, как будто не слышал. Она постучала, потом стала звать меня все громче и громче, потом — трясти дверь. Боясь, что ее услышат, я открыл.

— Почему ты меня не пускаешь? — взорвалась Майтрейи, плача и дрожа. — Ты меня больше не хочешь?

Я запер за ней дверь, мы сели рядом на кровать, и я, избегая объятий, рассказал ей, как мог, о своих переживаниях. Она сама обвила меня рукой за плечи и припала к моей щеке губами. А я все говорил, невосприимчивый к теплу ее тела, выкладывая все, что чувствовал в те минуты, когда чужой мужчина массировал ей икры. Я старался внушить ей, что недостойно вот так подставлять себя чужим рукам.

— Лучше бы он меня изнасиловал, — вдруг сказала Майтрейи и расплакалась.

— Да, с такой сексуальной и безголовой особой это проделать было бы нетрудно, — ответил я, кипя яростью. — То-то тебе всегда нравились всякие невероятные совокупления, всякое варварство, я знаю, кто задумал тебе голову — эта старая бестия, духовный учитель, видите ли...

Я вскочил и забегал по комнате, бросая ей в лицо гадости и оскорбляя

ее каждым словом. Как я ненавидел ее в эти минуты, и не потому, что она мне изменила, а потому, что заставила слепо поверить в ее любовь и чистоту. В каком положении я очутился: отдал ей всего себя без остатка, раскрылся перед ней, перенял ее пристрастия и желания — и теперь оказывается, что я отрекся от самого себя ради девицы, которая обманывает меня с первым встречным. Не то чтобы у меня были доказательства, но я увлекся собственными речами и в конце концов уверовал в ее измену. Будь она белой женщиной, мне было бы труднее убедить себя в этом: хотя я знал их ветреную и взбалмошную природу, но я знал и об их высоком о себе мнении, а также о некоторой рассудочности, не позволяющей отдаваться кому попало. Майтрейи же так и осталась для меня, по сути дела, непредсказуемой, и мне казалось в тот момент, что такая, как она есть, дикарка, живущая инстинктом, она спокойно могла бы совершить необдуманный поступок, не сознавая его чудовищности. Бешеная ревность как-то разом выбила из моей головы весь опыт последних семи-восьми месяцев, я не помнил о чистоте Майтрейи, которую она блула почти суеверно, и видел во всем один обман. Я убедился тогда, что нет ничего прочного в душе, что самое испытанное постоянство может улетучиться от единого неверного жеста, что самое достоверное обладание ничем не доказывает, потому что и достоверность можно тиражировать с одним, с другим, с третьим, что, наконец, все хорошее забывается с легкостью, раз счастье и доверие, накопленные за месяцы любви, за столько проведенных вместе ночей, рассеялись как дым, а осталось одно только мужское тщеславие и ярость на себя самого.

Майтрейи слушала с выражением страдания, которое злило меня еще больше. Она до крови искусала губы и смотрела на меня такими большими глазами, как будто сомневалась, не снится ли ей эта сцена.

— Но что же я такого сказала, что я сказала? — не выдержала она наконец.

— Ты сказала про изнасилование, — напомнил я, стараясь сдержаться.

— Отчего же ты не понимаешь? — жалобно начала она сквозь слезы. — Я тебе так противна, что ты даже не хочешь понять. Ты совсем обо мне не думаешь. Разве ты не говорил, что, если бы меня обесчестили и выгнали из дому, ты все равно бы меня любил? Вот я и мечтала, чтобы так случилось. Тогда бы между нами ничего больше не стояло. Пойми, Аллан, нам не дадут пожениться, и мы так и умрем во грехе. Даже если ты

поменяешь веру, они не согласятся. Они другого хотят, я же тебе говорила, помнишь? Но если бы кто-нибудь меня обесчестил, им пришлось бы выгнать меня на улицу — иначе грех падет на весь дом. И тогда я могла бы стать твоей женой, перешла бы в христианство — ведь для христиан это не грех, если тебя берут силой, — и ты все равно любил бы меня. Разве ты не будешь любить меня вечно? Скажи, Аллан, скажи. Ты знаешь, что меня ждет, если ты меня разлюбишь!

Я был, признаюсь, взволнован и как будто очнулся от кошмара; ярость моя прошла, и я очень жалел о вырвавшихся словах. Мне хотелось просить у нее прощенья, но я не знал как, все символы примирения, которые я прокручивал в голове, казались мне фальшивыми (упасть к ее ногам? я буду нелеп и смешон; пожать руку, сначала просто по-дружески, потом нежнее — и поцеловать? Но это так заезжено, и мне казалось, что Майтрейи сразу же разгадает всю натужность моих попыток). Я так и не решил, что делать, и только смотрел на нее, стараясь вложить во взгляд все свои сожаления, всю любовь. Но глаза Майтрейи застыли слезы, и, не заметив моего раскаяния, она сама рухнула мне в ноги и обняла мои колени, допытываясь, не надоела ли мне ее любовь или, может быть, меня пугает грех... Сейчас, когда я пишу, вопросы кажутся мне зряшными, но тогда они жгли меня, как угли из печи. Я поднял ее и дал понять своим объятием и словами, которые вдруг нашлись, что я все так же люблю ее и не пресытился и что мне бесконечно стыдно за свою слепоту и недогадливость. О браке мы больше не говорили, я начал понимать, что дело обстоит не так просто, как я себе это представлял, и предпочел лучше обходить эту тему, нежели вызывать призрак возможной разлуки с Майтрейи.

Вдруг нам обоим показалось, что мы слышим шаги под окном, мы замолчали и погасили свет. Шаги направились к веранде, потом раздался стук в дверь. Мы затаили дыхание. В дверь больше не стучали, зато через несколько минут постучали в окно, закрытое ставнями. Тогда я понял, что это Кхокха, который только что вернулся из кинематографа, но откликнулся не сразу, дав Майтрейи время взбежать наверх, к себе. Кхокха спросил меня:

— Ты с кем-то разговаривал?

— Нет, — коротко отрезал я, закрывая дверь за Майтрейи.

И тут сверху — мне показалось, что из коридора, ведущего к комнате Майтрейи, — раздался голос госпожи Сен.

Я решил, что мы погибли, и всю ночь проворочался, не смыкая глаз. На рассвете Майтрейи — момента я даже не заметил — сунула мне под дверь записочку: *«Мама ничего не знает. Не беспокойся. Не выдавай себя. Майтрейи»*. Испытывая чувства преступника, которому объявили о помиловании или хотя бы об отсрочке приговора, я ответил длинным письмом, убеждая Майтрейи повременить с нашими свиданиями, пока весь дом на ногах из-за инженера и Чабу. Теперь я уже не знал, чем кончится наш роман. Майтрейи не раз подбиралась к госпоже Сен, намекая, что я влюблен в одну ее подругу (мы выбрали ей имя Анасуйя, в память о совместном чтении «Шакунталы») и не знаю, как начать разговор о женитьбе; но госпожа Сен отвечала, что подобные супружества, построенные на самонадеянности чувств, до добра не доводят, потому что одна страсть, без опоры на традиции, не даст прочного счастья, а традиция — это благословение семьи, людей, которые знают, что брачные узы — бремя потяжелее, чем представляем это себе мы, молодые, и надевают их во все не для того, чтобы «срывать цветы удовольствия» или предаваться эфемерному, обманчивому влечению тел. Я узнавал себя в суждениях госпожи Сен — что было во мне, кроме страсти? И разве мы думали о чем-нибудь, кроме нашей любви? А госпожа Сен, рассуждая о моих вымышленных чувствах к Анасуйе, внушала Майтрейи, что супружество основывается не на любви, а на самопожертвовании, на самоотречении, на полной, безусловной покорности судьбе. Такой концепции я не мог принять, несмотря на всю свою тягу к индуизму. Зато я увидел, сколько препятствий возникнет в тот день, когда я решусь попросить Майтрейи в жены, и стал даже подумывать, не вернее ли будет прибегнуть к ее, пусть дикому, решению: если кто-то ее обесчестит, родители, поставленные перед фактом, будут вынуждены согласиться на наш брак, поскольку никто другой ее, такую, не возьмет. Только теперь я понимаю, как я любил Майтрейи, если мне казались возможными столь фантастические варианты.

Время текло, а мы, на свой страх и риск, продолжали наши свидания, пока одно событие, о котором я и собираюсь рассказать, не прервало эту череду отчаянных и беспамятных дней. Если бы не дневник, я бы ничего не мог припомнить из происшествий той поры, так захватывала меня сиюминутность, не оставляя ни малейшей возможности подумать, перебрать

в уме разрозненные факты, связать их; и сейчас, следуя нити своих тогдашних кратких записей, я как будто расшифровываю чью-то чужую жизнь — моя память не сохранила подробностей этой жгучей агонии.

Переломным событием стал день рождения Майтрейи, десятое сентября. Инженер решил отпраздновать его с размахом, хотя сам был все еще болен, а Чабу — почти без сознания. Майтрейи исполнилось семнадцать лет — в Индии этому возрастному рубежу придают особый смысл. Кроме того, сборничек ее стихотворений, «Уддхитта», вышедший на днях, бенгальская пресса оценила как настоящее открытие, и господин Сен задумал пригласить всю литературную и художественную элиту Калькутты, устроив что-то вроде турнира искусств. Ожидались все сливки бенгальского общества, кроме Тагора, который еще не вернулся из Европы. Должны были прийти Чаттерджи, автор «Шрикантхи», и Удай Шанкар, танцор, король красоты и ритма, к которому я страшно ревновал, потому что на одном его выступлении, в августе, Майтрейи совершенно забыла про меня и, опершись о барьер ложи, не спускала с него поработанных глаз, а потом несколько дней только им и бредила и мечтала с ним познакомиться, чтобы он «посвятил ее в тайну танца», как она выражалась. Пригласили и редакцию журнала «Прабуддха Бхарата», где у Майтрейи было много поклонников — как тот весьма оригинальный поэт Ачинтия, о котором много говорили, поскольку он раздражил всю плеяду почтенных мэтров Бенгала, осмелившись выступить с романом по типу джойсовского «Улисса».

Меня несколько смутили приготовления, которые велись к десятому сентября. Я знал, что в этот день Майтрейи будет принадлежать мне несравненно меньше, чем когда бы то ни было, потому что она столь же честолобива, сколь любезна, и постарается очаровать всех гостей. Я купил ей в подарок несколько книг и собирался вручить их утром того самого дня. Ночью она приходила ко мне только на полчаса, так было много дел по дому. Лестницу устлали и увешали старинными коврами, повсюду расставили цветы в вазах, освободили для приема две комнаты наверху, принеся туда маты и шали и устроив как бы два бесконечной длины дивана, на которые надо было забираться, сняв обувь; все женщины работали не покладая рук, а Майтрейи, задумав украсить ковры вдоль лестницы еще и картинами, уронила прекрасный портрет Тагора, да еще с посвящением ей, и страшно огорчилась, восприняв это как дурной знак, тем более что рама раскололась на куски, а холст лопнул.

Рано утром в библиотеке я подарил ей книжки с невинными дарственными надписями и, обняв, произнес несколько банальностей насчет безоблачной жизни и счастья, для которого она рождена. При этом у меня на глаза навернулись слезы, а Майтрейи казалась несколько рассеянной и высвободилась из моих рук гораздо легче, чем обычно.

После полудня для меня начался большой маскарад. Я облачился в бенгальский костюм из шелка и должен был занимать гостей, всех этих знаменитостей, как настоящий хозяин, поскольку инженер не вставал с кресла, составлявшего единственный предмет мебелировки в комнате; госпожа Сен со своими помощницами занялась дамами, которые поместились в отдельной комнате, а Манту остался внизу, встречать вновь прибывающих. Из женщин только Майтрейи входила к нам, то чтобы раздать книжечки своих стихотворений, то чтобы угостить сладостями. Я видел, какие взгляды на нее бросают (она в самом деле была восхитительна: бледная и кроткая, в голубом атласном сари, с обнаженными руками), как откровенно едят ее глазами, и это зрелище было для меня невыносимым, потому что никто здесь не знал, что Майтрейи — моя, и только моя, и они могли иметь на нее виды. Когда пришел красавец Удай Шанкар, вблизи, правда, тусклее, чем на сцене, но тем не менее несравненный по обаянию, потому что при стройном мужественном теле он обладал редкой даже для женщин пластикой жеста и медовостью взгляда, которые, однако, не смущали, а необыкновенно располагали к себе, Майтрейи, зардевшись, пригласила его на балкон, чтобы вызволить из тесного круга почитателей, не дающих ему проглотить ни кусочка. Я старался не выдать своего волнения: в этом незаурядном танцоре я чувствовал не только мужское обаяние, но и магию, от которой мог потерять голову весь город, не только моя бедная Майтрейи. Я знал, что перед ним не устоит ни одна женщина, и если и завидовал ему, то без ненависти, я был бы даже рад обнаружить во взглядах Майтрейи, устремленных на него, предпочтение, это бы меня освободило. Я точно знал, что в тот миг, когда это предпочтение станет явным, моя любовь рухнет. Что ж, раз Майтрейи не может противопоставить магии Удай Шанкара магию нашей любви, остается только бросить ее, как самую последнюю бабенку.

Выйдя в коридор, я увидел, как Майтрейи и Удай сидят рядом и она робко спрашивает его о чем-то, мне не слышном. Я даже удивился, как спокойно взглянул на эту сцену. Через несколько минут

мы с Майтрейи столкнулись на лестнице, и она сказала, украдкой пожимая мне руку:

— Я пыталась добиться от Шанкара, как он понимает танец. Напрасная попытка. Такой болван! Одни книжные выражения, ничего своего. Лучше бы я его не приглашала. На сцене — как бог, а по речам — ремесленник... Почему танец не прибавил ему ума?

Я не знал, как благодарить ее за эти несколько оброненных вскользь слов. Она проводила меня до библиотеки и шепнула:

— Люблю. Люблю все сильнее и сильнее.

Я хотел ответить объятием, но тут сверху раздались встревоженные женские голоса, кто-то звал Майтрейи. Мы бросились туда оба, предчувствуя недоброе. Оказалось, что Чабу пыталась спрыгнуть с балкона на улицу и ее еле удержали. Бедную девочку все бросили в этот суматошный день, сиделка зазевалась, и тогда она надела свое самое красивое сари (обычно она ходила в коротких европейских платьицах, сари очень ее взрослило) и вышла из комнаты. Но, увидев так много народу, испугалась и, выбежав на балкон, где только что был Шанкар, стала по своему обыкновению созерцать «путь» и петь. Ее заметили две гостьи в ту минуту, когда она пыталась перелезть через перила балкона, и успели схватить. Она билась в их руках, гости столпились в коридоре, инженер второй раз на моей памяти вышел из себя и отругал жену. Мне пришлось взять Чабу на руки, как маленькую, и отнести к ней в комнату, потому что меня она сразу узнала и бросилась ко мне, плача и крича:

— Аллан-дадá, Аллан-дадá!

Когда я уложил ее в постель, она спросила, насупясь:

— Они хотят продать Майтрейи?

* * *

На другой день все домашние чувствовали себя разбитыми после этого праздника, обошедшегося в пятьсот рупий и стоившего столько труда. Было много речей, стол, накрытый на террасе, ломился от угощений, а Майтрейи получила множество подарков, по большей части книг. С утра принесли огромный букет, из которого торчало письмо. Когда Майтрейи увидела почерк на конверте, она вздрогнула и быстро пробежала письмо глазами. Заслышав чьи-то шаги, сунула письмо мне.

— Запри его в стол и смотри, чтобы никто не взял. Я потом заберу,— сказала она, покраснев.

Я, признаюсь, ничего не понял, но и беспокойства не испытал: если бы что-то было нечисто, она не дала бы мне на хранение письмо — ведь я мог разобрать бенгальский текст сам или с помощью кого-либо из знакомых индийцев. Письмо и по сей день хранится у меня, хотя я так и не дерзнул его прочесть, предпочитая гадать, что за поклонник прислал Майтрейи цветы и почему она солгала домашним, сказав, что букет от ее школьной подруги, которая не смогла прийти сама.

Потом все потекло по-прежнему, но продолжалось недолго. Всего неделю спустя после дня рождения Майтрейи случилось то, из-за чего я и начал эти записки. Надо бы рассказать поподробнее о наших последних днях, но я почти ничего не запомнил, а дневник — поскольку близких перемен не предвиделось — сохранил разве что остов той жизни, которую я не могу сейчас должным образом воссоздать. Позже, особенно когда записывал эту повесть, я думал над своей судьбой, не давшей мне дара угадывать будущее, видеть дальше своего носа. Кто бы мог предположить, что нечаянно-негаданно над нашими головами грянет гром...

Каждый вечер мы ездили на Озера и иногда брали с собой Чабу. Не кто иной, как инженер, убедил нас, что и я, и Майтрейи должны отдохнуть от домашних хлопот и тревог. В самом деле, Майтрейи заметно похудела, а Чабу, которая несколько успокоилась после той вспышки на дне рождения сестры, тоже нуждалась в свежем воздухе и прогулках. Мы уезжали, когда начинало смеркаться, а возвращались часов в девять-десять. Чабу почти все время молчала, сидя на скамейке или на траве и глядя на воду, или тихо напевала и плакала. Мы сидели с ней рядом, переговаривались, строили планы, встречаясь руками. Майтрейи часто повторяла как одержимая:

— Когда-нибудь ты заберешь меня отсюда, и я тоже увижу мир, ты покажешь мне мир...

Она стала серьезно подумывать о нашем бегстве, тем более что у меня были сбережения в банке — из своих ежемесячных четырехсот рупий я почти ничего не тратил с тех пор, как поселился в Бхованипоре.

Раз вечером (это было 16 сентября) Чабу стало плохо, когда она смотрела на воду, и я перенес ее на скамейку, а мы с Майтрейи сели рядом, гладили ее по голове, говорили ласковые слова, пытались рассмешить:

Чабу последнее время смеялась по любому поводу, и доктора говорили, что это ей на пользу.

— Почему ты не любишь дада? — вдруг спросила она Майтрейи. Мы заулыбались, потому что Чабу часто говорила пустое, и мы ее не боялись.

— С чего ты взяла? Очень даже люблю, — отвечала Майтрейи.

— Тогда поцелуй его, — попросила Чабу.

Майтрейи рассмеялась и велела ей не говорить глупостей.

— Любовь — не глупости, — очень серьезно возразила Чабу. — Поцелуй же его. Вот смотри, как я.

И в самом деле она привстала со скамьи и поцеловала меня в щеку. Тогда Майтрейи, смеясь, тоже чмокнула меня, в другую.

— Теперь ты довольна?

— Нет, надо было в губы, — ответила Чабу.

— Ну, будет, приди в себя, — покраснев, сказала Майтрейи.

Но я был счастлив, что моя младшая сестренка (а я и правда очень любил Чабу) почувствовала нашу любовь и требует, чтобы Майтрейи меня поцеловала. Поскольку она отнекивалась, я тихонько просунув руку под покрывало, сжал ладонью ее левую грудь, чтобы услышать сердце и в то же время настроить на поцелуй (это была проверенная ласка, от которой Майтрейи размякала мгновенно). Но Чабу, настаивая, чтобы мы поцеловались, тоже обняла Майтрейи и ненароком наткнулась на мою руку. Хотя я мгновенно убрал ее, Чабу заметила.

— Вот видишь, дада держит руку у тебя на груди, — сказала она с торжеством.

— Не выдумывай, — возразила Майтрейи, — это была моя рука.

— Так я и поверила, там же было кольцо!

Это уточнение мне не понравилось, но я не беспокоился, потому что вряд ли кто-нибудь придаст бы значение болтовне Чабу. Целовать меня в губы Майтрейи отказалась наотрез, и скоро мы вернулись в машину, час был уже поздний. До дому я успел совершенно забыть об этом происшествии.

Ночью Майтрейи не пришла. Из предосторожности, как она призналась мне утром. Что я делал до вечера, не помню. К шести я облачился для прогулки в свой бенгальский костюм, но за мной никто не зашел. Несколько занервничав, я спросил шофера, едем мы на Озера или нет, и он ответил (дерзко, как мне показалось), что получил распоряжение поста-

вить машину в гараж. В коридоре я встретил Лилу, сообщившую мне, что госпожа Сен больше не пускает на Озера ни Майтрейи, ни Чабу. Моя тревога усилилась, раздражало, что от меня скрывают правду, которую мне нужно знать незамедлительно. Я попытался разыскать Майтрейи, но ее нигде не было, и пришлось, в самых мрачных мыслях, вернуться к себе. Странное дело, я ничего не боялся, я только хотел знать, что стряслось, почему госпожа Сен распорядилась отправить машину в гараж и почему мне нельзя увидеть Майтрейи.

К ужину меня пригласил слуга (обычно звал кто-то из домашних). За столом сидели только госпожа Сен и Майтрейи. Они не разговаривали. Я старался держаться как ни в чем не бывало, и, кажется, мне это удавалось; госпожа Сен искала моего взгляда, а я его не прятал. Она как будто пыталась увидеть меня насквозь, лицо ее было сосредоточенным, в глазах — укоризна, губы, как всегда, красные от бетеля, кривились в гримасе сарказма. Она подавала мне блюда молча и убийственно вежливо, потом снова, подперши ладонью щеку, смотрела на меня в упор, будто спрашивала себя, как это мне удавалось обманывать ее столько времени. В ее враждебной и иронической позе я читал один и тот же вопрос: «Как ты мог?» Я не знал, что известно госпоже Сен, но ее немой крик чувствовал и пытался держаться как можно непринужденнее: смотрел в глаза, спрашивал, как сегодня господин Сен, почему больше никто не вышел к ужину и прочее. Между тем Майтрейи говорила со мной на другом языке. Всю свою страсть и весь свой страх она вложила в прикосновение, стараясь ласкать меня нежнее обычного: медленно скользила теплой ступней по моей голени, как будто хотела утешить и укрепить меня в опасности, которую я угадывал, но не называл еще точно. Потом отчаянно притиснула свою голень к моей, как бы в прощальном объятии, как бы передавая мне весь жар любви и прося не забыть ее, когда мы будем в разлуке, далеко друг от друга.

Кто-то позвал госпожу Сен наверх, и, только мы остались одни, Майтрейи быстро проговорила, кусая губы:

— Чабу все рассказала маме, но я отпираюсь. Не бойся, я твоя. Если тебя будут спрашивать, ни в чем не признавайся, а то, ты понимаешь...

Она чуть не расплакалась и хотела взять меня за руку, но госпожа Сен уже спускалась по лестнице, и она успела только шепнуть:

— Завтра рано утром в библиотеке...

Это были последние слова, которые я услышал от Майтрейи. Госпожа Сен увела ее, а я пошел к себе, совершенно разбитый, потерянный, не зная, чего мне ждать от завтрашнего дня.

Заснуть я не мог, курил трубку за трубкой, сидя в своем широком бамбуковом кресле и дожидаясь рассвета. Отбивали ночное время часы, и при каждом ударе я вспоминал приходы Майтрейи в эту комнату и не мог представить себе, что она больше не придет, не сбросит одежды, как только я закрою окно, не обнимет меня, вся в слезах. Неужели нам было отпущено всего две-три недели любви — и ее заберут у меня? Сидя в темноте, я видел ее рядом, повсюду, излучающую любовь, я забыл обо всех муках, которые она мне причиняла, обо всех сомнениях и ощущал только мощный прилив любви, какой я никогда не баловал Майтрейи. Я ждал рассвета, чтобы рассказать ей, как простая разлука на одну ночь и угроза большой разлуки проявили во мне настоящее чувство. Потому что только теперь я понял, как она мне дорога, теперь, когда боялся ее потерять. При мысли, что я могу ее потерять, меня то одолевали слезы, то душила ярость, и, чувствуя, как мутится рассудок, я думал, что не переживу разлуки. Если я любил ее, когда она была моей, когда нам никто не мешал быть вместе, то теперь, когда нам грозила неведомая опасность, я просто задыхался от любви, я сходил с ума, мне казалось, что я не дождусь часа свидания, часа объятий.

Несколько раз за ночь я выскальзывал из дому посмотреть на окна и неизменно заставал свет в инженеровой комнате, откуда слышались голоса, а порой — женский стон, но чей, было не разобрать. Я возвращался к себе в ужасном волнении, снова усаживался в кресло все с той же мыслью — что бы значили слова Майтрейи: «Чабу все сказала...» Что могла сказать Чабу в своем безумии? Что она могла видеть, что понимала? Уж не застала ли она как-нибудь Майтрейи ночью, когда та выходила из своей или из моей комнаты?

Потом выяснилось, что признания Чабу были куда менее серьезными, но и этого оказалось более чем достаточно. Госпожа Сен наутро после нашей прогулки мыла ей голову, а Чабу плакала. На вопрос, почему она плачет, девочка сказала, что Майтрейи все любят, а ее — никто. К Майтрейи вон сколько народу пришло на день рождения, и все с подарками. А больше всех ее любит Аллан-дадá. «Откуда ты зна-

ешь?» — спросила госпожа Сен, просто так. «Аллан-дада́ ее целует и гладит по груди, а меня никто не целует». И она так горько расплакалась, что госпожа Сен стала ее расспрашивать, и Чабу рассказала ей все, что видела: как на Озерах мы сидели рядом, взявшись за руки, смеялись и целовались. (А я-то думал, что девочка ничего не замечает!) Госпожа Сен немедленно позвала Майтрейи и спросила, правда ли то, что говорит Чабу. Потом велела шоферу отправить машину в гараж, а сама повела Майтрейи наверх, на террасу, заставила ее поклониться предками и всеми святыми и учинила настоящий допрос. Майтрейи все отрицала, сказала только, что несколько раз действительно поцеловала меня, как брата, а я поцеловал ее в лоб, но не более того. Она на коленях просила мать не говорить ничего отцу, потому что у меня тогда будут неприятности, а я ни в чем не виноват. Раз так надо, она больше не будет со мной никогда видаться, ведь если кто и грешил, так это она. (На самом деле она рассчитывала убежать со мной и боялась только, что отец посадит ее под замок или спешно выдаст замуж и мы не успеем повидаться и договориться о побеге.) В ту ночь ее и в самом деле заперли в комнате матери, а госпожа Сен рассказала все мужу, и они чуть ли не до утра просовещались, что делать, чтобы не узнали соседи и на семью не пал позор...

Но эти подробности я узнал только на другой день от Кхокхи, а в ту ночь чего только не передумал и склонялся к тому, что Чабу все же застала сестру, возвращающуюся от меня на рассвете, и наябедничала госпоже Сен. Около четырех утра я пошел в библиотеку ждать Майтрейи и просидел там, прячась за книжными полками, пока окончательно не развиднелось, но она не пришла и не прислала с записочкой ни Лилу, ни сестру Кхокхи. В семь вниз спустилась госпожа Сен, готовить чай, и мне пришлось со всякими предосторожностями прокрасться к себе в комнату.

Я сидел и ждал приглашения к чаю, когда ко мне вошел инженер, он был еще очень слаб и нетвердо держался на ногах, а черные очки хорошо скрывали его глаза.

— Дорогой Аллан, — начал он, заметно волнуясь, но вполне дружелюбно, — я решился на операцию, которую мне уже давно предлагают доктора. Мне придется пробыть в санатории месяца два-три, и я собираюсь на это время отправить семью в Миднапур, к родным. А поскольку и ты тоже, вероятно, устал, хорошо бы тебе отдохнуть где-нибудь в горах.

— Когда мне уехать? — спросил я со спокойствием, удивившим меня самого. Впрочем, мои действия в тот день были безотчетными, я еще не мог охватить мыслью происшедшего.

— Сегодня же, потому что я уезжаю в санаторий после обеда, — сказал инженер, наблюдая за мной под прикрытием черных стекол.

— Но... мне некуда, надо сначала подыскать квартиру, перевезти вещи...

Я еще нашел в себе силы возразить, хотя как будто всю кровь выпустили из меня, и я только беспомощно указал рукой на свой скраб: кровать, кресло, книжные полки, два сундука, письменный стол. Инженер ответил с вежливой улыбкой:

— Такой энергичный молодой человек всегда найдет выход из затруднительного положения. Если ты отправишься прямо сейчас, то до часу подыщешь себе квартиру. Кхокха возьмет грузовик и перевезет твои вещи. Может быть, пока, до отъезда в горы, ты поживешь у кого-то из приятелей, а потом уже устроишься как следует.

Меня охватила дрожь, когда он поднялся, считая разговор оконченным. Я машинально потянулся к вешалке за каскеткой, чтобы уйти тут же, но госпожа Сен, стоявшая за дверью и все слышавшая, вошла и с вежливой улыбкой сказала:

— Я не отпущу тебя без чая.

— Не могу, — ответил я погасшим голосом.

— А если я попрошу? — настаивала госпожа Сен. — Чай готов.

— К чему все это теперь? — еле выговорил я, чувствуя, что вот-вот рухну без сознания, ведь я должен был уйти, не повидавшись с Майтрейи.

Мои хозяева вышли, и я разрыдался. Я рвал на себе волосы и кусал пальцы, потом замер в кресле, захлебнувшись отчаянием, имя которому дать не мог, это была не любовь и не горе, а чувство полного краха, как будто я оказался один на кладбище у свежей могилы, и рядом — никого, кто мог бы меня пожалеть. Я был расколот на куски, все тело стало одной сплошной раной, а душа рассыпалась, и мне было не собрать ни воли, ни сил, чтобы хоть как-то очнуться. Вошла Лилу, тоже заплаканная, и быстро сунула мне клочок бумаги. *«Мне не дают повидаться с тобой. Не считай, что жизнь разбита, не падай духом. Уезжай в большой мир и яви всем свою чистоту. Будь человеком. Ты скоро обо мне услышишь. Майтрейи»*. Я еле разобрал, среди клякс, ее торопливый почерк, ее импровизирован-

ный английский. Записку пришлось смять в ладони, потому что госпожа Сен, в сопровождении слуги, внесла чай.

— Не могу, мне кусок не идет в горло, — сказал я, не сдерживая слез.

— Прошу тебя, выпей чашку чаю, — мягко сказала госпожа Сен.

Мне показалось, что я слышу в ее голосе нотки жалости и сострадания, и, вспомнив, как она была добра ко мне, как любила и звала сыном, как хотела видеть меня братом двух своих дочерей, не смог удержаться и, упав ниц, обнял ее ноги.

— Прости меня, мама, не дай мне уйти отсюда! — приговаривал я сквозь рыдания. — Прости, прости меня!

Лилу плакала, прислонясь к косяку. Госпожа Сен не шелохнулась, она стояла очень прямо и улыбалась все то время, что я бился у ее ног. Я почувствовал этот лед и поднялся, всхлипывая и отирая глаза.

— Выпей чаю, — сказала она.

Я взял было чашку, но рыдания снова меня одолели, и я закрыл лицо рукавом. Лилу не выдержала и с плачем убежала. Госпожа Сен по-прежнему стояла у двери, глядя на меня с той же искусственной, несколько безразличной улыбкой и приказывая:

— Пей!

Как во сне, я очистил банан и стал прихлебывать из чашки, понемногу успокаиваясь. Госпожа Сен, дождавшись, пока я допью остывший чай, кликнула слугу забрать поднос.

— Можно перед уходом попрощаться с детьми? — умоляюще попросил я.

Вошедший в эту минуту господин Сен ответил:

— Майтрейи нездоровится, она не может сейчас выйти. — И, обернувшись к жене, распорядился: — Позови Чабу.

Госпожа Сен пошла за девочкой, а инженер протянул мне запечатанный конверт.

— Это ты прочтешь только после того, как покинешь мой дом. И если хочешь отблагодарить меня за добро, которое ты от меня видел здесь, в Индии, выполни то, о чем я тебя там прошу.

Он откланялся, не дав мне времени вымолвить ни слова. Ослабевшей рукой я сунул конверт в карман. Когда вошла Чабу, я снова заплакал и, обхватив ее обеими руками, простонал:

— Что ты наделала, Чабу, что ты наделала!

Бедная девочка ничего не понимала, но, видя, что я плачу, тоже расплакалась и стала целовать меня, а я обнимал ее хрупкое тельце и качал его, как в люльке, приговаривая одно:

— Что ты наделала, Чабу!

— Что я наделала? — спросила она наконец. — Почему ты плачешь, дадá? Почему?

Я разжал руки, чтобы отереть слезы. Впрочем, родители уже стояли в дверях с ледяными лицами, как бы говоря: «Свидание окончено. Пора!»

Еще раз расцеловав Чабу в обе щеки, я взял с вешалки каскетку, встал на колени перед четой Сен и коснулся ладонями правой ноги — его и ее — в самом почтительном приветствии, которое знал.

— Good bye, Аллан, — сказал инженер, протягивая руку.

Но я сделал вид, что не замечаю его руки, и вышел в коридор. Чабу бежала за мной и плача, и смеясь.

— Куда ты, дадá? Куда идет Аллан-дадá? — спрашивала она.

— Дадá заболел, он едет лечиться, — шепотом ответила госпожа Сен по-бенгальски, удерживая ее, чтобы она не выбежала за мной на улицу.

Спустившись по ступеням с веранды, я обернулся на балкон с глициниями и на секунду увидел Майтрейи, услышал свое имя — испуганным коротким воплем, — и Майтрейи рухнула на пол балкона как подкошенная. Я бросился было обратно, но в коридоре путь мне преградил инженер.

— Ты что-то забыл, Аллан? — спросил он холодно.

— Нет, сэр, я ничего не забыл...

Я повернулся и вышел. Остановил первое же такси и назвал адрес Гарольда. Еще раз попытался окинуть взглядом дом в Бхованипоре, но взгляд застилали слезы. Машина круто развернулась, и я больше ничего не увидел.

Я очнулся, когда машина направлялась уже к Парк-стрит. Вскрыл конверт, данный мне господином Сеном, и, вынув лист бумаги, где вместо обращения стояли, подчеркнутые, слова «сугубо лично», с болью в сердце прочел:

Вы мне чужой, и я Вас не знаю. Но если у Вас в жизни осталось хоть что-то святое, прошу Вас больше не входить в мой дом и не пытаться увидеть кого бы то ни было из членов моей семьи или писать к ним. Если у вас будет ко мне дело, ищите меня в офисе, а если когда-нибудь будете пи-

сать мне, то только так, как пишут друг другу незнакомые люди или подчиненный — начальнику. Прошу Вас не рассказывать никому об этой записке и порвать ее сразу по прочтении. Причины моего поступка Вам должны быть ясны, если в Вас еще не угасла последняя крупца разума. Вы должны сознавать всю меру Вашей неблагодарности и тяжесть оскорбления, которое мне нанесли.

Нарендра Сен

P.S. Прошу Вас не быть назойливым и не пытаться вступать в объяснения — при Вашей порочной натуре это будет только умножением лжи.

XIII

Гарольда я дома не застал, но хозяйка впустила меня в его комнату, и я сразу же бросился на постель, под вентилятор. Бедная госпожа Рибейро не знала, как ко мне подступиться, как начать расспросы.

— Со мной ничего не случилось, миссис Рибейро, — заверил я ее. — Но сегодня должны оперировать моего патрона, инженера Сена, и я этим очень обеспокоен.

Я не хотел вступать в объяснения, не хотел даже Гарольду докладывать, почему уехал из Бхованипора, давать пищу для сплетен. У меня не было сомнений, что Гарольд растреплет все своим подружкам и те бросятся утешать меня каким-нибудь сентиментальным вздором, выпивкой и сексом, а я невосприимчив к утешениям, тем более таким примитивным. Мне казалось, что я не имею права даже упоминать имя Майтрейи в их кругу. Я был так выбит из колеи, так полон боли, что не мог ни о чем думать, а только пытался сосредоточиться, интуитивно, всеми чувствами, на своей разлуке с Майтрейи. Но и того у меня не получалось, я вздрагивал в испуге всякий раз, как представлял последнюю сцену — ее обморок на балконе, и отодвигал это видение от себя. Не зная, на чем закрепить мыслью, я перебирал самые пленительные минуты: жасминовая гирлянда, библиотека, Чандернагор, — но стоило мне чуть утишить боль, как надвигались финальные кадры, и снова и снова госпожа Сен за столом сверлила меня саркастическим взглядом, а господин Сен говорил: «Если ты хочешь отблагодарить меня за добро...» — и снова так же остро и

душераздирающе налетала мысль о разлуке, я метался по постели, сто-
нал, но не мог отогнать эти образы.

Госпожа Рибейро, отлучавшаяся по домашним делам, зашла спро-
сить, что мне принести: чай, виски или пиво. Я отказался ото всего таким
усталым взмахом руки, что старушка подошла поближе, всерьез обеспо-
коенная.

— Аллан, да вы больны.

— Не знаю, что со мной, — соврал я. — Переутомился, наверное, в
последние месяцы, летом никуда не ездил, а тут еще эта болезнь моего
патрона. Надо бы поехать за город, хоть ненадолго... У вас нет ли свобод-
ной комнаты, миссис Рибейро?

Услышав такой вопрос, хозяйка вспыхнула от счастья и предложила
посмотреть комнату рядом с Гарольдовой, потом спросила, почему я не
остался в Бхованипоре, но, увидев, что расспросы мне неприятны, пере-
менила тему: поинтересовалась, не жар ли у меня, и посоветовала в самом
деле уехать из Калькутты недели на две, на три, куда-нибудь в горы.
В Дарджилинг, например, или в Шиллонг, а может быть, на море? В Го-
палпур, там такой воздух — прекрасно восстанавливает силы, и в отеле
сейчас мало народу... Я слушал и на все кивал головой, только чтобы не
отвечать, не возражать, не думать. Она немедленно принесла из холла но-
мер «Стейтсмена» с адресами пансионеров и стала их по очереди обсуждать,
вспоминая, кто из знакомых и по какому случаю там побывал, а мне под
звуки ее голоса казалось, что я сплю и вижу сон, настолько невероятным
было мое присутствие здесь, да и сама моя жизнь, мое тело, вытянувшее-
ся на постели, сигареты, которые я курил, в то время как мне положено
было умереть, потому что меня разлучили с Майтрейи. Как такое может
быть на свете? — думал я, даже не словами, эта мысль была просто разли-
та во мне как ощущение. Всего через час после изгнания из Бхованипора
я слушаю болтовню какой-то старушки, которая не подозревает, что пе-
ред ней не человек, а обломок кораблекрушения. Все казалось мне ирра-
циональным, невероятным, я понимал только, что свихнусь оконча-
тельно, если долго пробуду рядом с такими людьми, если не окажусь в одино-
честве, чтобы забыть, забыться. Единственным спасением сейчас было
уехать, хотя бы на время. Я решил, что уеду завтра же, все равно куда.

— Будьте добры, позвоните господину Сену, вот номер, — перебил я
хозяйку. — И попросите прислать мои вещи сюда.

В другое время госпожу Рибейро оскорбила бы просьба позвонить «черному», но сейчас она была в таком хорошем настроении, что позвонила, и я слышал, как вежливо она разговаривала — вероятно, с Манту — и как благодарила его за любезность.

— Пойду приготовлю комнату, — сказала она затем.

Я был рад, что наконец-то останусь один, что не надо будет скрывать слезы. Вдруг мне пришло в голову, что, наверное, я поседел от горя. Спрыгнув с кровати, я подошел к зеркалу — и правда не узнал себя: лицо бледное, вытянутое, осунувшееся, брови торчат клочками, а у рта залегли складки, совершенно меня переменявшие, — суровые, волевые складки. Меня потрясло это выражение мужественной решимости и способности к действию — давно утраченных мною свойств. (С тех пор я не верю в физиономистику. Выражение лица, по-моему, не имеет ничего общего с душевным состоянием. Может быть, только глаза выдают человека.) Подавленный, я вернулся в лежачее положение и закурил очередную сигарету.

Когда пришел со службы Гарольд, он приветствовал меня троекратным «ура». От его любопытства я избавился, сославшись на головную боль и буквально в двух словах объяснив, зачем я здесь. Он тут же послал за выпивкой, поскольку был твердо убежден, что любая лихорадка и любое огорчение проходят от виски. Я выпил стакан, но хмель заставил меня только живее почувствовать пропасть, пролегшую между мною и Майтрейи. Я чуть не завыл волком. Зато прибывшему вскоре Кхокхе я обрадовался как родному. Вся любовь, вся Индия словно пришли вместе с ним. Он явился в довольно замызганном дхоти, босой, без сандалий, с растрескавшимися пятками, и белые жилыцы смотрели на него брезгливо, с презрением, а он, гордый, что приехал ко мне, ходил взад и вперед, руководя носильщиками, которые перетаскивали вещи из грузовика. Я горел нетерпением услышать от него, что было в Бхованипоре после моего отъезда. Расплатившись с шофером и грузчиками, я повел его к себе в комнату, попросил госпожу Рибейро подать нам чаю и распечатал новую пачку сигарет. Гарольд просто зубами скрежетал, что я предпочел ему Кхокху, однако не посмел зайти к нам и помешать разговору — вероятно, догадался, что не все так просто в моем внезапном уходе от Сенов.

Кхокха принес мне экземпляр «Уддхитты», на котором Майтрейи написала: *«Моему дорогому, моему дорогому. Майтрейи, Майтрейи»*.

— И это все? — спросил я.

Кхокха посоветовал открыть на последней странице.

«Прощай, мое счастье, они не могут считать тебя виновным, я ничего не сказала, только что ты один раз поцеловал меня в лоб. Это я должна была сказать, она — мама, и она знала. Аллан, друг мой, дорогой мой, прощай! Майтрейи».

Я молча сидел, уставясь глазами в книгу. Кхокха курил и тоже молчал, потом вдруг заговорил, как бы продолжая мысль:

— И не могло не открыться. Вы были слишком неосторожны. Кто вас только не видел, когда вы целовались в кресле. Шофер разболтал и Манту, и Лилу. Просто никому не хватало смелости вас предупредить...

А Кхокха, подумал я мельком, он тоже знает столько же, сколько другие, или все понял? Но теперь это было так неважно, что я не задержался на этой мысли.

— Чабу пришла в себя, — помолчав, продолжал Кхокха. — Увидела, как Майтрейи лежит в обмороке, и как будто очнулась ото сна. Целый день спрашивала про тебя: «Где дада?» Приставала к Госпоже Сен, дергала ее за подол. А когда я сказал, что еду тебя навещать, вот, дала записочку...

На листке из школьной тетрадки Чабу вывела по-бенгальски своим самым старательным почерком: *«Дада, любимый, ты меня простишь когда-нибудь? Не знаю, зачем я проговорила. Я думала, что никому от этого не будет плохо, ведь разве это плохо — любить друг друга? Майтрейи ужасно мучается. Ты можешь сделать, чтобы она не мучилась? На что же тогда любовь? Я хочу умереть».*

— Она плакала, когда писала записку, и велела передать ее тебе непременно, и чтобы ты завтра утром ей позвонил. У нее все прошло, она больше даже не похожа на помешанную.

Он еще помолчал, потом тяжело вздохнул.

— Ты что, Кхокха?

— Ах, что говорить, когда я вижу, как ты убиваешься...

Театральность, с какой он это произнес, стараясь изобразить на лице особенное сострадание, подействовала на меня отталкивающе. Наверное, Кхокха почувствовал, что переборщил, и сменил тему:

— Когда я собирал твои вещи, Майтрейи сбегала вниз и стала их обнимать и причитать над ними. Пришлось ее силой увести назад. Господин Сен — такое чудовище — бил ее кулаками по лицу, до крови. Она потом упала без сознания у себя в комнате...

Я слушал со слезами на глазах, но боль не прибывала. Больнее, чем разлука, что еще могло быть для нас? Если бы меня избили, отхлестали по щекам, разве мне стало бы хуже? Я представлял себе ее лицо в крови, но не раны ее разрывали мне сердце, а то, что она, такая, была непоправимо далеко.

— Они заперли ее наверху, отобрали почти всю одежду, чтобы она не смогла спуститься к тебе в комнату. Пока у нее был обморок, брызгали на нее водой, а потом, когда она очнулась, снова били, чтобы призналась. А она только кричала: «Я люблю его, я люблю его!» — это я сам слышал внизу. А сестра слышала, как она кричала: «Он не виноват, что вам от него надо? Он не виноват!»

Но мне-то они пока ничего не сделали, думал я, лучше бы это меня избили. Почему господину Сену не хватило смелости дать мне пощечину? Почему он, как трус, протянул мне руку: «Good bye, Аллан»?

— Пока ее не увели наверх, она успела мне сказать: «Я ему позвоню завтра». Но не знаю, получится у нее или нет. Уж очень строго за ней следит господин Сен. Они хотят поскорее выдать ее замуж, я сам слышал разговор.

Я окаменел. Кхокха заметил мой ужас и продолжал с азартом:

— Замуж за одного профессора из Хутли, сразу как вернутся из Миднапура. Знаешь, что они едут в Миднапур?

— Знаю, — ответил я тупо.

— Чудовища, они все чудовища, — с жаром говорил Кхокха. — Ты их ненавидишь?

— Как я могу их ненавидеть? Это я причинил им зло. Они-то чем виноваты? Разве что тем, что взяли меня в дом?

— Они же хотели тебя усыновить, — напомнил Кхокха.

Я только улыбнулся. Как это было смешно и ненужно сейчас — все, что меня ожидало, если бы я был не я, — все то счастье, которое мне причиталось, если бы... Какой смысл сейчас гадать об этом. Я был один, совсем один, и невыносимее всего жгло настоящее, а ничего другого для меня не существовало.

Кхокха еще раз вздохнул для приличия.

— Моя мать очень больна, а мне нечего ей послать, я остался без рупии в кармане. Ты не мог бы мне одолжить, пока я не получу гонорар из Бенгальской кинокомпании?..

— Сколько тебе надо?

Он молчал. Я не стал глядеть ему в глаза. Мне было противно это вранье, я знал, что мать у него вовсе не больна и вообще живет на попечении его родственника, коммерсанта из Калигхата.

— Тридцати рупий хватит? — спросил я и, не дожидаясь ответа, написал ему чек.

Он стыдливо поблагодарил и снова завел разговор о Майтрейи. Я прервал его:

— Иди, Кхокха, я засну, голова болит...

* * *

Вечером, оповещенные Гарольдом, явились проводить меня девицы. Завели в холле патефон, попросили у хозяйки виски и оранжад и стали изображать бурное веселье, чтобы меня развлечь. Гарольд сказал им, что у меня депрессия, нервы, переутомление, в общем, что мне надо встряхнуться, перед тем как отбыть за город.

— Эй, Аллан, — начала Гerti, — ты что такой кислый, мальчик? Разве твоя девочка не с тобой?

Она уселась мне на колени, и меня передернуло от отвращения. Я попросил:

— Не надо, Гerti, я устал и болен.

— А может, влюблен? — Она игриво подмигнула. — Приворожила тебя какая-нибудь черномазая, немытая, у тебя к таким слабость...

Компания захохотала. Госпожа Рибейро, которая приводила для меня в порядок соседнюю комнату, заглянула к нам.

— Оставьте Аллана в покое. Пусть он лучше выпьет. От виски все проходит. Операция на глазах — не такая уж страшная штука.

— Вы что же, миссис Рибейро, думаете, что он из-за этой операции так переживает? — с сарказмом спросила Гerti. — Там дело посерьезнее. Небось его черную увел другой хахаль...

— Слушай, ты, заткнись, наконец! — крикнул я в бешенстве, вскакивая со стула.

— Повеселее со мной, дружок, — покраснев, сказала Гerti. — Мы тебе не негры из Бхованипора.

— Гerti! — одернула ее Клара. — Оставь его, ему и так плохо.

— Да что вы с ним рассюсюкались, Аллан бедный, Аллан несчаст-

ный... Киснет, как баба, водится с грязными бенгальцами. Он не имеет права меня оскорблять, меня, христианку!

— А он что, не христианин, что ли? — заметила Клара.

— Ха-ха! Это ты так думаешь, что христианин, — со смехом парировала Герти. — Вот Гарольд подтвердит, как он ему талдычил про свой индуизм и про священных коров и поносил Господа нашего Иисуса Христа. А теперь смеет мне рот затыкать!

Гарольд совершенно смешался, а госпожа Рибейро в отчаянии крикнула:

— Да уймитесь же вы!

— Я ухожу, хватит, — объявил я, поднимаясь.

Герти враждебно смотрела на меня.

— В свой храм пошел молиться. Что-то ему не помогает его боженька...

* * *

Я провел мучительную ночь. Бродил по улицам, дымя сигаретой и держась окраин, чей говор и клокотание жизни как будто приближали меня к Майтрейи. Но, как только я вернулся и лег, боль, притупленная усталостью, навалилась снова, и я был беззащитен перед ней. Напрасно я кусал подушку и бил себя по щекам, чтобы не закричать. Я твердил одно: «Майтрейи, Майтрейи, Майтрейи», — пока звуки этого имени не перестали вызывать во мне отклика и я не застыл в бесчувствии, лицом в подушку, не зная, где я и что я. Что-то порвалось во мне. Мысли перебегали с предмета на предмет, без всякой связи, я видел то Тамлук, то Садийю, то разные другие знакомые места и ничего не понимал. Мне было только страшно останавливаться на чем-либо напоминающем ласки Майтрейи в вечер расставания, или «Good bye, Аллан» господина Сена, или «Выпей чаю!» госпожи Сен... Как только эти сцены оживали в сознании, я начинал метаться по постели. Я слышал, как похрапывает в соседней комнате Гарольд, как бьют часы на башне протестантской церкви, отмеряя ночное время. Чтобы унять боль, я решил думать о смерти. Утоплюсь в Ганге, пусть Сен узнает, какое чистое чувство было у меня к Майтрейи. На другой день газеты напишут о европейском юноше, который покончил с собой по неизвестным причинам и которого вечером вытащили из воды возвращавшиеся по домам лодочники. Майтрейи упадет без чувств при

этом известии, а госпожа Сен раскается, поняв, как искренне, по-настоящему я любил ее дочь. Мысль о смерти стала моим единственным утешением. Я смаковал ее в подробностях: как я пишу письмо господину Сену, как всхожу на мост и там, обронив несколько скупых слез, смотрю, перегнувшись через балюстраду, на течение желтых, илистых вод. Кружится голова — и конец. Я снова и снова прокручивал этот фильм и уснул на рассвете.

Меня разбудил Гарольд — он звал меня к телефону. Прямо в пижаме я опрометью бросился в холл. Я сразу узнал голос Майтрейи, я упивался его звуками, хотя сам говорить боялся, чтобы меня не услышал Гарольд или кто-то из других жильцов госпожи Рибейро. То, что она говорила, я скорее угадывал, чем слышал, потому что она еле шептала, вероятно, чтобы не разбудить домашних, и то и дело принималась плакать. Это был звонок из тюрьмы, из окованной железом камеры, таким горьким был ее плач и так жаждал свободы голос.

— Аллан, ты меня узнаешь? Это я, я все та же, Аллан, что бы ни случилось... Будь мужчиной, уйди в работу, не падай духом... Больше не могу, Аллан, прости... больше не могу. Я хотела тебе сказать...

Трубка внезапно смолкла. Кто-то помешал. Госпожа Сен? Я напрасно кричал: «Алло! Алло!» Ответа не было.

Совершенно убитый я вернулся к себе. Бежать! На меня давили стены, мне мучителен был вид моих вещей — за каждую из них зацепилось слово, взгляд, эпизод. А это бамбуковое кресло, в котором мы ущемались вдвоем! Я был не в состоянии выйти из морока, положить конец пытке воспоминаний, за одни сутки превративших меня в руину.

— Как дела у инженера, Аллан, операцию сделали? — поинтересовался Гарольд.

— Еще нет, — машинально ответил я. — Может быть, сегодня.

— Бедняга...

Я бросился на кровать и снова закурил, ничего не чувствуя — только руки дрожали, а лицо застыло без всякого выражения, я даже не плакал, просто валялся под вентилятором, не зная, что мне делать и что еще может произойти.

Часов в десять у дома остановился посыльный на велосипеде и спросил меня. Госпожа Рибейро принесла мне конверт. Посыльный не стал ждать ответа. Письмо было от Сена.

Милостивый государь,

Я вижу теперь, что у Вас нет ни чести, ни совести. Вы не просто безумец — оказывается, я пригрезил змею на груди, а змея, если вовремя не размогнуть ей голову, норовит извернуться и ужалить. Вас и на сутки не хватило. Как последний трус, Вы нарушили данное мне слово — не сообщаться ни с кем из членов моей семьи, и теперь из-за Вас страдает бедная девочка, на которую Вы, к несчастью, имели некоторое влияние. Если с Вашей стороны последует еще хоть одна подобная попытка, я сделаю все от меня зависящее, чтобы Вас выслали из страны. Вы должны были уехать тотчас же — я полагал, что хоть на это у вас хватит здравого смысла. Я распорядился по телефону, чтобы Вас уволили с сегодняшнего дня. Единственное, что от Вас требуется, — взять расчет и немедленно уехать. Всякой неблагодарности есть предел...

Я оторопел, пробежав письмо глазами. Не потому, что меня уволили, я бы и сам не остался, я не мог видеть инженера после того, что мне рассказал Кхокха. Но из письма явствовало, что Майтрейи будет совершать один ложный шаг за другим, навлекая на себя самые неприятные последствия, а ее боль будет удесятывать мою — ведь я знал, что ничем не могу ей помочь, могу только бесполезно мучиться в одиночестве, вдалеке от нее. Я сложил письмо и, взяв каскетку, пошел из дому.

— К обеду будете, Аллан? — спросила госпожа Рибейро.

— Конечно.

— Я приготовлю ваши любимые блюда, я у Гарольда выведала, что вы любите... И не надо переживать...

Я улыбнулся и вышел за калитку. Цели у меня не было. Я подумал, что надо бы взять сколько-нибудь денег из банка, если я собираюсь уезжать, не по приказу Сена, конечно, его угрозы меня не пугали. Я хотел уехать, считая, что лишь так помогу Майтрейи — помогу забыть меня. Я рассуждал как подросток. До банка я дошел пешком, хотя от Ройд-лейн до Клайв-стрит расстояние порядочное.

Набив портмоне банкнотами и расстав по карманам серебро, я направился к вокзалу. Переходя Хаурский мост, остановился посмотреть на Ганг, грязный, густо усеянный лодками, и мысль о самоубийстве показалась мне до крайности нелепой... На вокзал я зашел, только чтобы выпить лимонада. Был уже полдень. От вокзала я повернул направо по

окружному шоссе, в сторону Белур-Матха. Углубившись в тенистое шоссе, я почувствовал прилив сил, на душе стало спокойнее. Я не останавливался даже покурить, а шагал размашисто и ожесточенно. Меня обгоняли автобусы, совершавшие рейс «Вокзал — Хугли», и почти все тормозили при виде такого странного зрелища: пеший европеец на загородном шоссе. Я задержался только у лавочки, где старуха торговала лимонадом, бетелем и стручковым перцем; мне хотелось выпить холодного. Я заговорил со старухой по-бенгальски, а не на хинди, как полагалось бы, и ее ответ на языке Майтрейи ласкал мой слух и был как бальзам моему сердцу.

К половине третьего я добрался до Белур-Матха, причем последние два километра шел под дождем и промок до нитки; весь забрызганный грязью, с блуждающим взглядом, я напугал Свами Мадхвананду, монаха, с которым познакомился еще в те времена, когда приезжал сюда на инженерной машине. Я пошел обсушиться на берег Ганга и, лежа на траве, лицом к солнцу, перебирал в памяти все наши с Майтрейи прогулки, вспоминая счастье и беззаботность тех дней. Плакать я больше не мог и, достав из кармана блокнот, стал писать. (Сегодня, перечитывая эти кровью написанные заметки, я нахожу их такими пресными, такими незначительными. Например: *«Зачем все кончилось? Во мне — огромная пустота. Все бессмысленно. Когда я слышу бенгальскую песню наверху, в монастыре, мне хочется плакать. Майтрейи, Майтрейи, Майтрейи. Я больше ее никогда не увижу...»* Как мы беспомощны в словах в момент слишком большой радости или слишком большого горя! Я начинаю верить, что только дистанция, только фильтры памяти могут передать жизнь. Дневник сух и невыразителен.)

Свами спросил меня, что со мной, но, когда я сказал, что пришел из Калькутты пешком и ничего не ел, потому что не могу есть, он еще больше испугался и стал чуть ли не гнать меня прочь, а то я еще разболеюсь — он знал, что год назад у меня была малярия, — а им тут больные не нужны. Он говорил категорическим тоном и, вероятно, презирал меня, погрязшего в страстях. Индийские монахи не утешают, находя недостойным утешать душу, поработленную страданием, их идеал отрешенности не имеет ничего общего с тем, что присуще человеку, — с болью, со всеми неприятными последствиями поступков. Они слишком святы, эти люди, чья цель — высшее бесстрашие.

Впрочем, поскольку я пришел в монастырь не за утешением, а затем, чтобы повидаться с моей Майтрейи, с Майтрейи из воспоминаний, где она только и была настоящей, меня не слишком задела слова Свами, они лишь усилили во мне ощущение одиночества. Я ушел, поблагодарив за фрукты и сласти, которые принес мне один из братьев. Но не повернул обратно, а пошел дальше, по тому же шоссе, к Ранагхату. На закате я был в Балли. Спустился к Гангу, сел на камень, неторопливо курил, долго смотрел, как течет река, тихая и широкая, к нашему городу. Вокруг собрались дети, сначала они кричали издали на ломаном английском: «Белая обезьяна!» — потом, видя, что я не обижаюсь, а только смотрю на них, задумчиво, со слезами на глазах, осторожно подошли поближе. Я заговорил с ними по-бенгальски и раздал мелочь. Они гурьбой проводили меня до края деревни. Вечер после дождя был прохладен, но ясен и располагал к ходьбе. Скоро я остался один на шоссе. Иногда в сторону Калькутты проносились машины с зажженными фарами. Поспешно перебежал дорогу случайный прохожий. Как рано, подумал я, ложатся спать в Индии! Вспомнил Бхованипор — и теплой волной захлестнуло горло. Остановился только раз — купить сигареты в придорожной лавке, «Сизез», других не было. Горела карбидная лампа, и несколько путников отдыхали, куря хуку — мирными, долгими затяжками. Все обернулись на меня с удивлением, а кто-то даже вышел следом за мной на шоссе, посмотреть, правда ли я пойду один, пешком, в темноту.

Не знаю, до которого часа я шел и что это была за деревня, где я остановился. Мне не хотелось спать, я не чувствовал усталости, и безрассудный марш в темноте начал меня захватывать, умиряя мысли. Я даже немного льстил себе, говоря, что делаю это от горя и ради Майтрейи. В нескольких метрах от дороги я нашел колодец под кровлей и устроил привал, улегшись прямо на плиты, положив под голову каскетку. Мне снились все те же сны с Майтрейи, и много раз я просыпался, дрожа от холода и одиночества. Потом к колодцу пришли люди, и меня окончательно разбудил шум. (Странно, что в том состоянии, в каком я находился, я не переставал помнить, что при мне пятьсот рупий, и, как только приближались люди, инстинктивно ощупывал бумажник.) Все таращились на меня в изумлении, не осмеливаясь ни о чем спросить: хотя я был в забрызганном грязью костюме и в потерявших форму парусиновых туфлях, но все же видно было, что я сахиб, к тому же белый сахиб.

Я ополоснул лицо и отправился в дорогу, шагая быстрее и деловитее, потому что с рассветом на шоссе стало больше движения. Я шел, глядя под ноги, замедляя шаг лишь тогда, когда среди пальм или на излучине дороги проглядывал Ганг. Не знаю, почему меня так тянула река, текущая туда, откуда я уходил, — к городу Майтрейи. Я едва помнил, что погнало меня в дорогу, не думал о беспокойстве, которое доставлю Гарольду или госпоже Рибейро, меня грела одна мысль: может быть, придет Кхокха и, узнав о моем исчезновении, расскажет инженеру, а тот решит, что я умер, и пожалеет о содеянном.

Обедал я в трактире под Ранагхатом. Заказал рис с карри и жареной рыбой, причем ел руками, как настоящий индеец, к восторгу соседей по столу, которые, впрочем, могли слышать и мой изысканный бенгальский. Вот только внешность моя задала им задачу, я понял, что вид у меня дикий: отросшая щетина, всклокоченные волосы, замызганный костюм и грязные ногти.

Я начал забываться и от этого почувствовал еще большую охоту к дороге. Шагал до заката солнца, шоссе стало пустынным, встречались только редкие развалюхи-грузовички и воловь упряжки. День выдался особенно знойным, и у каждого колодца я останавливался, чтобы напиться и освежить лицо. На ночь я расположился под огромным манговым деревом, одиноко стоявшим у заброшенного пруда. Меня долго мучали москиты, но в конце концов усталость взяла свое, я проспал далеко за полдень и проснулся с онемевшими членами, плохо понимая, где нахожусь. Вероятно, мне снились кошмары, потому что я был весь в холодном поту и дрожал.

Почти бегом я снова пустился вперед по шоссе, и целый день провел в беспамятстве, помню только, как сквозь сон, что спрашивал у кого-то, как называется местность и нет ли тут вокзала, и мне показали дорогу к полустанку в окрестностях Бурдвана, куда я дошел уже в сумерках. Около полуночи проходил пассажирский поезд, и я сел в вагон третьего класса, не решившись примкнуть к чистой публике.

В Бурдване меня ослепили и напугали огни вокзала. Ошарашенный и оловелый, как будто меня подняли с постели по тревоге, я не сразу сообразил, к какому окошечку подойти за билетом второго класса: на этот раз мне было стыдно толкаться у окошечка третьего класса вместе со старухами и оборванцами — я стеснялся тех нескольких европейцев, кото-

рые очень подозрительно оглядывали на перроне мой костюм. Притулившись в уголке буфета, я стал ждать скорого поезда на Лакхнау, попивая чай и пробуя восстановить с самого начала свою эскападу. Но из общей картины выпали огромные куски, и эти провалы в памяти не давали мне покоя. Закрадывалась мысль — а что, если я сошел с ума? Тогда я приказал себе ни о чем не думать. Все пройдет, все проходит, твердил я (с тех самых пор это стало рефреном моей жизни).

В Хауре я снова заволновался, как будто мог встретить здесь кого-то из Бхованипора. Я помнил, что они собирались в Миднапур, и хотя мысль об этом была для меня мучительной, но все же в ней заключалась и доля утешения: если таким образом Майтрейи оказывалась еще дальше от меня, то и Сен тоже, и я не рисковал столкнуться с ним в Калькутте. Я приехал домой на такси в тот самый час, когда меня начала разыскивать полиция с Парк-стрит. Госпожа Рибейро чуть не упала в обморок, когда увидела, как я выхожу из машины, грязный, в рваной каскетке, заросший четырехдневной щетиной.

— Где вы были, Господи Боже мой, где вы пропадали? Из Бхованипора оборвали телефон, а этот молодой человек, мистер Чаттерджи, которого вы зовете Кхокха, раз десять заходил лично. Боже мой, Боже мой...

Я оставил ее причитать и пошел в ванную. Ничего другого я не хотел в ту минуту — только смыть с себя грязь. Гарольд позвонил из конторы, справиться, нет ли новостей, и, узнав от госпожи Рибейро, что я приехал — и в каком виде приехал, — тут же взял такси и примчался домой.

— Слава Богу, нашелся, слава Богу, — повторял он, пожимая мне руки. — Все образуется, старик. Но где же ты все-таки был? Что на тебя нашло?

Я похлопал его по плечу, растроганный такой встречей.

— Гулял. Ничего страшного. Просто решил прогуляться. — Я улыбнулся. — А вы как тут?

— Вчера приходили девочки, ты их очень напугал. Хотим теперь закатиться в китайский квартал, на радостях — все-таки ты вырвался из когтей идолопоклонников. Здорово. Тут негр этот захаживал, тебя все искал. Кажется, тоже в расстройстве чувств. Он мне надоел, и я велел ему убираться. «Он теперь опять христианин», — говорю.

Вскоре позвонил Кхокха — из книжного магазина на Асутош-Мукерджи-роуд, где у него были друзья, — и сообщил скороговоркой, что

тут много чего произошло и что он должен непременно меня повидать. Попросив его взять такси и приехать, я сел дожидаться на веранде.

— Где ты был? — спросил он вместо приветствия.

— Потом скажу, — ответил я довольно резко. — Сначала выкладывай ты.

Новостей было много. Майтрейи хотели выдать замуж, но она пообещала в первую брачную ночь признаться мужу, что принадлежала мне: муж выставит ее из дому со скандалом, и семья Сен будет опозорена на весь город. Инженер, как услышал, закатил ей такую оплеуху, что свалил с ног. Правда, и у него тут же случился приступ, и его отвезли в больницу, совсем ослепшего. Как только успокоится, будут оперировать — завтра-послезавтра. Правда, успокоить его очень трудно, доктора просто теряются. Майтрейи заперли в комнате, но предварительно госпожа Сен позвала шофера, чтобы он в ее присутствии высек Майтрейи розгами, что он и делал, пока Майтрейи не потеряла сознания. Госпожа Сен сначала хотела заставить Кхокху, но он убежал. Чабу пыталась отравиться креолином. Она теперь тоже в больнице. Майтрейи посылает мне веточку цветущего олеандра в конверте, на одном листике она выдавила острием карандаша: «Аллан, мой последний подарок» — больше ничего не успела. На словах передает, чтобы я уехал не раньше чем через пять дней. О моем исчезновении она не знала, и хорошо, что не знала — могла подумать, что я покончил с собой, и мало ли какую сделать глупость...

Я слушал его, как во сне, пытаясь убедить себя в важности принесенных Кхокхой известий, но почти ничего не понимал, кроме того, что Майтрейи плохо и что ее держат взаперти. Кхокха попросил написать для нее несколько строк, но я вспомнил данное Сену обещание и только сказал:

— К чему? К чему все это теперь? Пусть забудет меня. Она должна забыть. На три года, на пять лет, пока снова не станет моей...

И я плачу самым глупейшим образом, как в бреду, приговаривая сквозь всхлипы:

— Если бы я мог любить ее, если бы я мог!.. Но я не люблю ее.

Кхокха тарашится на меня с гадкой ухмылкой.

— Я хочу ее любить! — Это уже почти вой. — Почему я не могу любить ее?..

На шум прибегает госпожа Рибейро.

— Я хочу любить Майтрейи! — кричу я ей в лицо. — Почему мне не дают любить ее? Что я им сделал? Что им от меня надо? Что вам всем от меня надо?..

* * *

Помню еще один утренний звонок Майтрейи.

— Прощай, Аллан, прощай, мое счастье. Мы встретимся в будущей жизни. Ты меня узнаешь тогда? Ты меня будешь ждать? Жди меня, Аллан, не забывай меня. Я тебя жду. Никто другой ко мне не прикоснется...

Я не мог выговорить ничего, кроме:

— Майтрейи, Майтрейи...

Я уехал на седьмой день после расставания с Бхованипором. Последние две ночи провел под их окнами, подстерегая свет в комнате Майтрейи. Но он не зажегся ни разу.

Тогда же умерла Чабу.

XIV

Месяцы, проведенные в Гималаях, так ясны и печальны, что вряд ли я смогу передать в словах это странное продолжение моей любви и разлуки.

Я попал сюда, сбежав поочередно из Дели, Симлы, Наини-Тала, где слишком много людей, особенно белых. Я сторонился людей, потому что для меня было непосильным трудом отвечать на их приветствия, обсуждать вещи, не имеющие для меня ни малейшего значения; в городе я не мог найти того уединения, в котором нуждался. Одиночество было мне теперь и пищей, и утешением. Немногие мои соотечественники, я думаю, знавали его в такой суровой и решительной форме. С октября по февраль я не видел ни одного человека, кроме сторожа бунгало, только с ним я перебрасывался словом, когда он приносил еду в мою обшитую деревом комнатку или менял воду в кувшине. Все время я проводил в лесу, окрестности Альморы славятся своими сосновыми лесами, лучшими в Гималаях, и я исходил их вдоль и поперек, без конца прокручивая в голове пленку нашей с Майтрейи любви, воображая разные приключения, одно невероятнее другого, которые приводили нас в не доступные ни для кого

места — в мертвую крепость Фатехпур-Сикхри или в заброшенную хижину посреди джунглей.

Целыми днями я предавался одной и той же фантастической грезе: я и Майтрейи в изоляции от остального мира. Давно забытые происшествия возвращались во всей их свежести, и воображение дополняло их, углубляло, связывало между собой. Подробности, на которые в свое время я не обратил внимания, сейчас изменяли все поле моего внутреннего зрения. Куда бы я ни шел, я всюду встречал ее, среди сосен и берез, на скалах и тропинках. Я так увлекался моей захватывающей сказкой, что любое вмешательство извне страшило меня до физического страдания. Я знал, что и Майтрейи там, в своей келейке, столь же страстно думает обо мне, о нашей общей жизни, и этот мысленный разговор поднимал нас над событиями, скреплял вопреки разлуке и смерти.

В лунную ночь я уходил через лес в долину и там, сидя на камне у ручья, глядя на воду, звал: «Майтрейи! Майтрейи!» — пока голос от усталости не гас, не переходил в шепот. Тогда я возвращался той же дорогой домой с невероятным умиротворением в душе, будучи уверен, что Майтрейи услышала меня, что вода и ветер донесли до нее мой зов. Не знаю, были ли эти месяцы полного затворничества настоящей жизнью, знаю только, что благодаря им я выжил. Во мне не осталось ничего от того крепко стоящего на ногах молодого человека, знающего, чего он хочет, от того европейца, влюбленного в технику, от того опонера, который считал, что, высаживаясь на индийский берег, он несет этой стране цивилизацию. Все казалось мне теперь бессмысленным и тщетным. Все, кроме месяцев любви и горя: ведь я переживал не только разлуку с Майтрейи, я чувствовал себя преступником по отношению к своему благодетелю, к несравненной матери, к маленькой Чабу, которую не кто иной, как я, подтолкнул к смерти. Чувство вины не давало мне вздохнуть спокойно. Я должен был усыпить его, принимая все более сильную дозу наркотических грез, в которых не существовало ни смерти, ни греха, ни разлуки.

Я постоянно перечитывал дневник, но никогда не осмеливался приближаться к восемнадцатому сентября. Мне хотелось похоронить этот день. Я запечатал в одном большом конверте записки Майтрейи, письма инженера, письмецо Чабу, веточку олеандра, шпильку для волос, несколько листков бумаги с записями рукой Майтрейи, по большей части из времен наших занятий французским, — словом, все материальные следы этого

переломного момента моей юности. (Я распечатал конверт только на днях, когда кончал последние главы, и многое мог бы сказать о гнетущем впечатлении от реликвий!..) В дневнике я перечитывал обычно преамбулу наших отношений, усмехаясь собственной наивности, «самонадеянности чувств», так долго не дававшей мне понять мое чувство к Майтрейи.

Я не писал и не получал писем. Раз или два в месяц сторож отправлялся в Наини-Тал за провизией, которой нельзя было купить в деревнях, в долине, и тогда я пересылал с ним чек для банка либо телеграмму для Гарольда, что я еще жив.

В канун Рождества я получил сюрприз, открывший мне, как крепко я все еще связан со своим прошлым и как опасно было бы сейчас возвращение в Калькутту. Кхокха выведаль в банке мое местонахождение и написал мне в Наини-Тал до востребования. Когда я увидел свое имя на конверте, принесенном сторожем, я не поверил своим глазам. Мне казалось, что того Аллана давно уже нет, что он остался в далеком прошлом. Я запер дверь на засов и прочел письмо Кхокхи, весь дрожа, как если бы вдруг оказался перед лицом супругов Сен или Майтрейи. Кхокха писал, что семейство провело месяц в Миднапуре, откуда Майтрейи посылает мне несколько строк на обрывках газет и вокзальных афиш, вместе со скромными полевыми цветами, вероятно собранными во время поднадзорных прогулок по окрестным полям. Я понял, что Майтрейи слишком многое пережила, чтобы сохранить меня в памяти таким, как я есть. Она сотворила себе собственного Аллана, целую мифологию, великолепную и недосыгаемую, и без конца лелеяла ее, чтобы поднять еще выше над всем бранным. Она писала: *«Как я могу потерять тебя, если ты — мое солнце, если твои лучи греют меня на этой проселочной дороге? Разве можно забыть солнце?»* На другом клочке бумаги она называла меня солнцем, воздухом и цветами. *«Разве не тебя я целую, касаясь губами букета, прижимая его к груди?»* Или: *«По ночам ты приходишь ко мне, как я приходила когда-то в комнату нашей любви в Бхованипоре. Но я приходила как женщина, потому что ты сделал меня женщиной, а ты приходишь как бог из золота и драгоценных камней, и я обожаю тебя, ибо ты больше чем моя любовь, ты — мое светило, сама моя жизнь!»*

Я размышлял над ее страстью к мифологизации, для меня это был болезненный процесс: превращаться в абстракцию, из человека — в бога, из любовника — в солнце. Я тоже открыл новую для себя

жизнь в мечтах, но мои мечты приводили ко мне ту же Майтрейи из Бхованипора, и я так же по-мужски сжимал ее в объятиях. Мои мечты, при всей их невыполнимости, продолжали нашу прерванную общую жизнь и нашу любовь, давая ей развиваться и исполниться. Ее же мифология давно сделала из меня плод воображения, идею, и я не находил себя, со всеми своими недостатками и страстями, в этом ее «солнце», в этих ее «цветах».

Я читал — и сердце мое сжималось. Она уходила от меня далеко — зачем? Зачем умоляла забыть ее ради встречи в будущей жизни? Что мне за дело до будущей жизни и до всех ее богов?..

Я жаждал конкретного, непосредственной жизни, присутствия. Меня донимало воспоминание о Майтрейи во плоти, о существе живом и проявляющем себя *незаменимо*, — эту Майтрейи, ее душу и тело я хотел, ее я встречал день за днем в бесконечном мысленном фильме. Я сопротивлялся растворению в ее любви, вытеснению себя идеей, мифом. Я не желал примириться на любви вечной и небесной, моя любовь требовала воплощения, земных, а не ангельских атрибутов...

Кхокха сообщал мне и другие новости: инженера прооперировали не слишком удачно, и он будет на больничном положении еще с полгода. Госпожа Сен поседела, у нее теперь лицо — как у святой. Майтрейи совсем исхудала и упрямо отказывается от всех вариантов замужества. По возвращении из Миднапура она все время названивает на Ройд-лейн, считая, что ее обманывают, что я на самом деле уже в Калькутте и просто не хочу ее видеть. Он, Кхокха, однажды заходил к моей хозяйке, госпоже Рибейро, и она пожаловалась, что ничего обо мне не знает, что речь шла о двух-трех неделях, но вот уже три месяца, как от меня ни слуху ни духу, ничего, кроме телеграмм на имя Гарольда. Инженер все-таки выгнал из дома Манту, он надерзил госпоже Сен, и несчастный теперь перебивается кое-как, потому что со своей свадьбой влез в долги, и живут они с Лилу врозь, она — у родителей, он — в студенческом общежитии, на хлебе и воде, чтобы поскорее расплатиться с долгами и снова съехаться с женой.

Кхокха кончал письмо вопросом, когда я думаю вернуться, и заклинал не портить себе карьеру и не ломать свою молодую жизнь из-за какого-то романа. С кем не бывает? Люди должны выходить из испытаний сильнее и крепче, чем прежде, а удаляться в горы — это не решение, заключал Кхокха. Итак, когда я возвращаюсь?

Когда возвращаюсь? Хотел бы я знать. Снова поселиться в Калькутте? Я не мог об этом и думать. Впрочем, я вообще не представлял себе, что мне там делать, потому что работу я потерял, справки не взял, а идти за ней в офис решительно не мог. Моих денег хватило бы еще на год уединенной жизни. А потом? Начать сначала, уехать куда-нибудь подальше, на Яву, например, и там отважиться на новую жизнь?... Проекты оставались проектами, я не мог допустить и мысли о разлуке с Индией, но не мог представить себя и за какой бы то ни было работой. Любая деятельность, любые честолюбивые помыслы, любая цель утратили для меня смысл и не вызывали в душе ничего, кроме смертной скуки. Я сидел на веранде бунгало и смотрел на сосновый лес, думая: что может быть лучше? Где больше смысла, чем в этом лесу, не задающемся вопросом, для чего он растет и кого хочет поразить такой невиданной красотой? Или представлял себя деревяшкой, которая неспешно блуждает, беззаботная, хмельная, по водам Ганга. Ничего не чувствовать, ничего не помнить. Разве не может быть смыслом существования превращение, например, в минерал, в кристалл? Быть кристаллом, жить и распространять свет, подобно кристаллу...

Множество глупых вопросов, никак не связанных с философией, возникало в голове. Я не взял с собой ни одной книжки и думал о чем попало, изобретая для себя разные улады и утешения. Не раскрывая рта, я непрерывно говорил с воображаемыми людьми: они все были похожи на меня, но — настоящие мужчины, глубже и свободнее, чем я. Ни один узник никогда так не хотел свободы. Я чувствовал себя скованным по рукам и ногам. У меня были свои запретные зоны, и первая — зона, в которую было заключено восемнадцатое сентября...

* * *

Вначале февраля среди ночи в бунгало явилась незнакомка и разбудила сторожа, вероятно прося комнату, но он не мог разобрать ни слова и призвал меня на помощь. Я вышел в накидке на меху, настоящей гималайской, как у монгольских горцев. В шезлонге на веранде в позе крайней усталости расположилась женщина — я разглядел только белокурые волосы и большие руки, которыми она стягивала на груди кургузый френч. Она знала буквально два-три слова на хинди и про-

сияла, увидев меня. Во дворе топтался мальчик с багажом. Они пришли пешком из Раникхета, много раз сбивались с тропинки и с трудом отыскивали брод через ручей, чтобы подняться к бунгалю. Она никак не могла отдышаться. В Раникхете, сколько я понял, вышел какой-то инцидент, отчего она должна была уйти на ночь глядя. Ее звали Джения Айзек, она приехала из Южной Африки, из Кейптауна, и уже несколько месяцев находилась в Индии, путешествуя по Гималаям в поисках монастыря, который дал бы ей пристанище. Она произвела на меня впечатление особы экзальтированной, но холодной, как будто ее экзальтация шла от разочарования, а не от жажды иной истины. Когда сторож зажег большой фонарь, я разглядел ее получше: довольно молодая, круглое лицо, голубые без блеска глаза. Детский голосок контрастировал с высокой ладной фигурой, с сильными руками и развитой грудью. Одета она была весьма своеобразно — в колониальный костюм, приспособленный для горной дороги. Сторожу пришлось отпаивать ее чаем, такая она была заледеневшая, и она пила с жадностью, без умолку тараторя, задавая вопросы, меряя меня любопытным взглядом. Я с досадой взирал на эту некстати явившуюся гостью, но успокоился, узнав, что самое позднее через два дня она отправляется в Майкхали, а оттуда — в Бхадринатх. Пути до Бхадринатха тридцать дней по хорошей дороге. Ее рассуждения вызвали у меня улыбку, я знал, что горные перевалы сейчас покрыты льдом, тропинки ушли под снег, к тому же дорога на Бхадринатх проходит не через Майкхали, а через Хардвар. Я дал ей на сей счет объяснения и посоветовал дойти до Котвары, откуда на Хардвар идут поезда. Она спросила, сколько я еще пробуду здесь и не собираюсь ли сам куда-нибудь. Надо было пресечь в корне попытку вызвать меня на откровенность, покопаться в моем прошлом, выведать планы, поэтому я кратко и сухо ответил, что облюбовал это бунгало, потому что сюда редко заходят путники, а мне нужен сосновый воздух...

На другой день я по своему обыкновению ушел из дому с рассветом. Бродил по горам, выкупался под скалой, подкрепился медовыми лепешками и вернулся к вечеру. Сторож встретил меня известием, что мем-сахиб заболела и спрашивала обо мне. Как, интересно, он об этом догадался, подумал я, при скудости словарного запаса Джении Айзек. Я постучал в ее дверь, ответил совсем вялый голос. Мне это не понравилось, потому

что перспектива сидеть с больной, да еще с белой больной, была для меня невыносима. Я нашел ее в лихорадке, в жару, но в довольно хорошем настроении. Она попросила меня написать для нее список самых употребительных слов на хинди и приготовить чашку какао, потому что от сторожа она не смогла этого добиться. Ее как будто совсем не пугало, что она оказалась больная в такой глуши, совсем одна, без языка, без надежды на помощь. Выяснилось, что у нее уже три недели лихорадка, она была даже при смерти и ее приютил один отшельник под Альморой, но она ничего не боится. Я мельком поинтересовался, зачем она приехала в Индию, и она, зардевшись, призналась:

— Ищу Абсолют...

Я чуть не расхохотался. Правда, чувство юмора, вдруг вернувшееся ко мне от ответа незнакомки, меня обеспокоило. Я-то думал, меня уже ничем не пронять, не рассмешить никакой нелепостью. Что ни буре, ни тонкой игре эмоций не пробить того бесстрастия, которого, мне казалось, я достиг. Что мне до всего этого столько же дела, сколько до камней при дороге. Но серьезность, с какой Джения произнесла слово «Абсолют», разбудила меня, вернула в мир фарса и бессмыслицы, обмана и сна, драм и нелепиц. В мир, где я столько времени жил...

Я поспешил переменить тему, спросив, что она думает о Ганди и индийском национальном движении. Я всегда так поступаю, когда хочу установить дистанцию между собой и другими. Джения ответила, что хотя она английская подданная, но происходит из семьи финских евреев, обосновавшихся на юге Африки в конце прошлого века, что она не выносит лицемерия белых, что она здесь затем, чтобы все забыть, поселиться в ашраме, обрести истину, жизнь, бессмертие. Я не моргнув глазом выслушал эту ахинею, эту галиматью Рамачараки об Индии факиров и мистиков, этот эрзац, заменяющий культуру в англосаксонских городах. Она, по-видимому, хлебнула одиночества и теперь радовалась, что нашла человека, который может ее выслушать и который «ее понимает». Она была неутомима в признаниях, сообщая мне, что у нее еще четыре сестры, что в Кейптауне она играла в муниципальном оркестре и зарабатывала сорок фунтов стерлингов в месяц, но рассорилась со своим семейством (буржуа, они хотели выдать ее замуж!) и переселилась в пригород, на ферму, куда возвращалась каждый вечер после концерта на маленьком автомобиле, купленном на собственные сбережения...

Она болтала бы и дальше, но я извинился, спросил, нет ли у нее просьб, и, напомнив, что час поздний, сдержанно пожал ей руку, пожелал скорейшего выздоровления и ретировался.

В ту ночь я долго, со щемящей жалостью размышлял над иллюзией «Абсолюта», ради которого бедная музыкантша бросила семейный очаг и независимую цивилизованную жизнь, начитавшись этого английского паяца с псевдонимом Рамачарака. (Его книги попадали к ней в руки с разными таинственностями, как она мне потом рассказывала. Раз ей приснился книжный магазин с незнакомой вывеской; на другой день, когда она на своей машине проезжала по одной из малолюдных улиц, у нее заглох мотор, и, подняв глаза, она увидела вывеску из сна! Зашла в магазин — а там целая полка книг по теософии, оккультизму и йоге! Но она выбрала только Рамачараку. Так, через него, она открыла Индию, так на нее снизошло «откровение».)

На два дня мне пришлось отложить мои прогулки, мечтания и медитации, которым я предавался эти месяцы, потому что Джения остро нуждалась в моих услугах. Она, конечно, чувствовала, что мне это в тягость, но одиночество и болезнь заставляли ее то и дело переступить через свою гордость и, изощряясь в предложениях, посылать за мной чуть ли не каждый час. Серия признаний продолжалась, как будто Джения не могла установить со мной дружеских отношений, не выложив мне сначала всю свою жизнь, не высветив все уголки своей души, которую ей так хотелось видеть непохожей на других, хотя на самом деле она повторяла весьма распространенный вариант боваризма, питаясь максималистскими идеями и истинами с большой буквы. Так она поведала мне о своем презрении к миру, обществу, к семье и любви, к своим собственным бесконечным страданиям, которые прекратились, когда она обрела свободу, отказавшись от всего мирского. Труднее было отказаться от музыки, от искусства. О любви она имела представление самое усеченное. Она никогда не любила — то есть она думала, что любит, но этот человек обручился с другой, и тогда она поняла, что все было иллюзией. Ей очень хотелось приобрести опыт плотской любви, прежде чем уйти от этой эфемерной жизни на поиски абсолюта. И за две недели до того, как покинуть Африку, она отдалась одному своему приятелю, симпатичному немцу, который прекрасно танцевал, когда-то за ней ухаживал и никак не хотел поверить, что она только сейчас собралась потерять невинность. Этот ее приятель, оказав-

шись то ли грубым, то ли просто неумелым, заставил ее испытать полное разочарование в мужской близости. Она даже с облегчением думала, что жизнь, к которой она себя готовит, исключает возможность любить и быть любимой. В мужчинах она видела теперь только скотство и бессердечие. Если кто из лиц мужского пола и заслуживал в ее глазах некоторого уважения, так это те, кто отказался от мирских «наслаждений», то есть отшельники, философы, мистики. В голове Джении была мешанина из беспочвенных идей, личных разочарований и типично женского романтизма (культ сверхчеловека, одиночки; изоляция, экзотика, отречение). Я ужасался, слушая ее, потому что с тех пор, как поселился в горах, приучил себя додумывать всякую мысль до конца, перебирая ее возможные следствия, и меня невольно корбило от перекосов в сознании этой молодой особы, ищущей Абсолюта.

Каждый раз, возвратясь в свою комнату, я записывал в дневник впечатления и суждения, потому что мне казалось, что явление Джении — это больше чем простая случайность; оно восстанавливало мой контакт с тем миром и с тем образом мыслей, от которого я бежал несколько месяцев назад. За неделю Джения успела выздороветь и окрепнуть, а я — совершенно переменить свое мнение о ней. То, что вначале меня раздражало и утомляло, теперь возбуждало интерес как феномен, и кроме того, это была *проверка*. Проверка себя миром, белым европейским миром, который я покинул и в который мне предстояло рано или поздно вернуться. И вторая, гораздо более серьезная проверка — самой моей жизни, моих молодых сил.

Однажды, застав Джению полуодетой в ее комнате, я даже испугался, оттого что ничего не почувствовал, как будто увидел неодушевленный предмет. В ту ночь я долго ворочался в постели, мучимый вопросом, не ушло ли из меня сексуальное начало; может быть, слишком сильная любовь к Майтрейи, шок от разлуки и долгое одиночество превратили меня в робкого и сентиментального импотента? Может быть, я живу вдали от света просто потому, что не в силах принять его вызов, может быть, я решил отказаться от любви и от женщин, поскольку я просто ни на что больше не способен? Я пережил часы полного ужаса, представляя себе, как первое поражение наложит отпечаток на всю мою жизнь, как я, перегоревший, по инерции буду доживать свой век. Признаюсь, свет — все его блага, его женщины, иллюзии и борьба за существование — меня не интересовал. Но меня подмывало проверить, способен ли я вообще еще

хоть на что-то. Не удаляюсь ли я от жизни с безразличной миной только из-за того, что мне ничего другого не остается, что мне просто не приходится выбирать?

Я стал присматриваться к Джени, но не испытал при этом никакого волнения, ни одна флиртующая мысль не хотела приходить в голову, и воображение не затевало никаких шалостей. И тогда я решил спровоцировать Джени, принудить ее быть женственной, какой она, несомненно, и была до отъезда из Кейптауна. Так я стал сам заботиться о своем искушении. Мне надо убедиться, думал я, что во мне не умер мужчина, что все мои грехи, мелкие подлости и страсти при мне, тогда я смогу спокойно удалиться от мира, мой выбор будет свободным. Я продолжу то, что решил, именно потому, что могу себе позволить и противоположное. Правда, Джени и сама иногда вела себя со мной вполне по-женски. Например, посвящая меня в теософию и в «тайны Тибета» (ее вера в эти мифы была безусловной), она прикрывала глаза, и ее голос делался заговорщицким, вкрадчивым. Или, напротив, на нее нападала смешливость, она очень мило угощала меня чашечкой шоколада, пудрилась к моему приходу (она отказалась от пудры и румян с тех пор, как вступила в Гималаи) и пыталась выведать у меня, зачем я здесь и в знак чего ношу на пальце кольцо с черным камнем.

Странно, как неотрывно я думал о Майтрейи, сидя и говоря с Джени. Я все время держал ее в голове и часто, пытаюсь обнять в воображении другую женщину, недоуменно пожимал плечами от полной невозможности чего-либо подобного, от нереальности для меня любовных отношений ни с Джени, ни с кем бы то ни было еще. Чувство к Майтрейи оказалось таким сильным, а воспоминание о ней так решительно исключало любое чужое присутствие в моей жизни, что я стал опасаться, не истощит ли меня окончательно это постоянное пребывание в живом прошлом. Иногда я ловил себя на мысли, что я буду делать весь остаток жизни, если не повторю истории Абелья и Элоизы? Мне надо было снова ощутить себя свободным, испытать свою свободу, чтобы любовь к Майтрейи стала делом выбора, а не бегством от жизни. Мне очень трудно объяснить здесь эти темные мысли, выбившие меня из добровольного заточения, толкнувшие в новый опыт. Возможно, я и сам их не до конца понимаю. Возможно.

Джени наметила отъезд на понедельник и даже послала в Раникхет

договориться насчет носильщика. Дня за три до этого она стала поглядывать на меня со значением, смеясь над моими самыми невинными замечаниями, как будто улавливая в них какой-то намек, и пеняла на то, что отказывается от жизни, не познав ее, что ей хватило бы одного-единственного раза, потому что в любви нельзя ничего повторять, и так далее и тому подобное. Я приходил в восторг от этих проявлений женственности. Когда в субботу вечером взошла чудесная луна, располагающая к откровенности, я понял, что пора наконец распутать узел молчания и затворничества, и пригласил Джению на веранду, где и рассказал ей всю историю с Майтрейи, от первого до последнего дня.

Ближе к полуночи стало холодно, и мы вошли в дом согреться чаем. Сидя в комнате у Джении, я завершил свой рассказ, в нескольких словах передав содержание письма Кхокхи и сообщив о своем решении забыть Майтрейи, чтобы не причинять ей больше страданий. (Я понятия не имел, что это значит, но звучало красиво, и я произнес; вопреки своей дурацкой искренности я в этот вечер немного актерствовал.) Когда я кончил, Джения осталась сидеть молчаливая, печальная, на ресницах повисли слезы. Я спросил, почему она плачет. Она не ответила. Я придвинулся ближе, взял ее за руки, снова спросил. Она по-прежнему молчала. И тогда я нагнулся к ее лицу, так что наше дыхание смешалось, и спрашивал все тише, все нежнее. Она вдруг протяжно вздохнула, закрыла глаза и обвила мою шею руками, судорожно целуя, кусая меня в губы.

Я испытал странную радость, когда встал, чтобы запереть дверь.

* * *

Может показаться, что описанное выше уже не касается нашей с Майтрейи истории. Тем не менее это ее прямое продолжение. О Майтрейи я думал, обнимая белокожее, крепкое тело финской еврейки; Майтрейи искал в поцелуе, от нее хотел освободиться, ее забыть. Я искал и изгонял ее. Я вымаливал себе хотя бы что-то, что напомнило бы мне Майтрейи, и в то же время знал, что содрогнусь от отвращения, если мне хоть чем-то напомнит ее это белое тело, которое любовь тронула лишь мимоходом.

...Хотел ли я на самом деле ее забыть или хотел доказать себе, что ее одну я любил и что мне больше не полюбить никого? Было ли это просто испытание себя или первое бегство и первая грязь? В глубине души я не допускал, что могу забыть *такое*. Это означало бы, что я подобен тыся-

чам несчастных смертных, которые любят и забывают, у которых нет ничего святого и которые умирают, так и не прикоснувшись к вечности. Но всего несколько недель назад я чувствовал себя связанным навеки, совершенно уверенным в своей любви. А теперь? Неужели вся жизнь — один сплошной фарс?..

Я уходил в такие глупые вопросы, потому что мне было страшно признаться себе, как крепко держит меня Майтрейи. Близость с Дженией вызвала во мне лишь глубокую досаду и уверенность, что немало пройдет времени, прежде чем я снова отважусь прикоснуться к женщине, и, уж конечно, не при таких обстоятельствах. Мне нужна была Майтрейи, одна Майтрейи. Я скрежетал зубами, измышляя самые разные ласки, которые убивали ни в чем не повинную Джению, а меня лишь укрепляли в моей любви, не давая мне забвения, какого я хотел, не стирая из памяти чувств ту, другую, единственную — Майтрейи.

Я спросил Джению:

— Что ты во мне нашла?

— Я хотела, чтобы ты полюбил меня, как Майтрейи, — сказала она, поднимая на меня свои голубые, лишенные блеска глаза.

Я онемел. Какая страсть к самообману, какая жажда любви!

— Ты рассказывал, как ты любил Майтрейи, а я думала, какая я одинокая и несчастная, и чуть не разревелась...

Но, кажется, она поняла, что я никогда не смогу ее полюбить, хотя бы просто телесно. На рассвете я ушел из ее комнаты, измученный, пугающе трезвый, а она осталась лежать на постели, скомканной спазмами всех моих попыток забыть Майтрейи.

...В понедельник утром я проводил ее до ручья, пересекающего сосновый лес. Зачем мне послал ее Бог? Джения Айзек, мы когда-нибудь встретимся?

* * *

Я снова остался один, отвратительный сам себе, сбитый с толку, пытаюсь представить, что со мной будет, пытаюсь вернуть сладкий сон с Майтрейи. Я никогда не смогу описать все, что я передумал за долгие недели после отъезда Джении. Мою бессонницу, мои тусклые дни.

Но все прошло в одно мгновение. Раз утром я проснулся раньше обычного, с удивлением открыв для себя солнце, свет, зелень. Словно ка-

мень свалился с души. Мне хотелось петь, прыгать и скакать. Как это случилось, не знаю. Чем-то меня осенило, что-то на меня снизошло.

И тогда я вернулся.

XV

...**В**есь день ищу работу в конторах на набережной. Б. не сдержал обещания насчет должности французского переводчика в консульстве. Тяну последнюю сотню, хотя здесь мне многие должны. Гарольд ведет себя по-свински. Я попросился к нему в комнату, потому что у меня заплачено только до пятнадцатого числа, а он отказался под тем высокочинным предлогом, что я не христианин и что он не может делить кров с язычником! На самом деле он просто знает, что я на мели и без надежды на приличное жалованье. Госпожа Рибейро забыла, как щедро я платил ей за услуги, и спокойно смотрит на мою грязную рубашку, когда я захожу к Гарольду, — разве что нехотя угостит чаем. Продавать мне больше нечего. И рубашек осталось всего шесть-семь. Тяжелый день: много, слишком много неприятностей.

...Встреча с Кхокхой. Снова письмо от Майтрейи. Я отказываюсь взять: дескать, дал слово инженеру. (А точно ли я давал слово? Хоть убей не помню.) Кхокха говорит, что Майтрейи умоляет о свидании — либо в парке Бхованипора, либо в кинематографе; просит разрешения хотя бы позвонить. Я на все даю отказ, категорически, жестко, с болью в сердце. Зачем начинать все сначала, если все кончится теми же слезами, тем же безумием?

— Скажи ей, пусть она меня забудет. Аллан умер. Ждать больше некого.

Что бы такое придумать, невероятное, чтобы Майтрейи снова стала моей, навсегда? Ничего не придумывается, не находится. Убежать с ней... Но как ее похитить, как проникнуть в Бхованипор, охраняемый Сеном?.. И потом... может быть, я больше ее не стою. Не знаю, ничего не знаю. Пусть лучше забудет меня, пусть не мучается. Наша любовь — в прошлом.

...Со вчерашнего утра каждый час звонки. «Где Аллан? Мне надо пого-

ворить с Алланом! Скажите ему, что это срочно, что его зовет Майтрейи, его Майтрейи!» Госпожа Мактайер наконец не выдерживает.

— Аллан, да отделайтесь же вы от этой черномазой потаскухи!

Мне хочется влупить ей пощечину, но я только скалюсь улыбкой. Так, так тебе, еще раз, до крови, пока не упадешь на колени и не взвоешь: «Господи, пощади!»

...Вечером у Гертти. Замечательная девушка, эта моя Гертти. И какая добрая. Стоит сказать: «Детка, паршивые мои дела, работа мне не светит» — и она тут же протягивает мне под столом десятку, а сама смеется, когда я благодарю.

— Брось, Аллан, сколько ты таких профинтил со мной... Что будешь пить?

— Виски, — говорю я. — Виски — отличная глушилка.

— Что ты собрался глушить? — хмурится она. — Что денег нет или что она тебя бросила?

— День хочу заслушить, Гертти; жутко жить только днем, никогда не знать ночи, никогда не спать. Какой длинный день, Гертти, какой день без конца без края...

...Ну вот, приехали. Я люблю и — о Боже! — люблю Гертти. Она отдалась мне так, ни с того ни с сего, когда я пришел к ней поужинать по-человечески и одолжить пижаму — я теперь сплю в пижамах с чужого плеча. Зашел и оказался в ее постели. Нет, это не жизнь, а сплошные чудеса.

— Ты мой дорогой мальчик, — лепечет она, ласкаясь.

Во мне же отклика не больше, чем если бы она говорила: «Приятный у тебя одеколончик». Набор слов. Но поскольку я последнее время стал труслив от недоедания, я не возражаю, а тоже ласкаю ее, поругивая: «Бесстыдница, бесстыдница!» — и она заходится от восторга. Утром перед работой — ей к десяти — она кормит меня завтраком и сует пачку «Стейт-Экспресс-555». Когда я курил такие последний раз!.. На прощание я живописую ей свои трудности с жильем, и она предлагает переселиться к ней.

— А мне плевать, что скажут!

Не ожидал такой смелости от евразийки. Я-то думал, что ее интересуют только деньги. Впрочем, у нее есть, я знаю, на прицеле два типа с

мошной, два бара-сахиба. Она признается, что влюблена в меня с первого же вечера. А я-то!

...Я только что кончил разговор с Б. и вдруг слышу и со страхом узнаю голос Майтрейи:

— Аллан! Почему ты не хочешь меня выслушать? Аллан, ты все забыл...

Я опускаю трубку и, чуть ли не держась руками за стены, тащусь к себе в комнату. Господи, почему я не могу забыть? Почему они все тлеют, эти угли, бессмысленно, бесплодно? Надо сделать что-то такое, чтобы Майтрейи сама отвернулась от меня. Мы все равно никогда не смогли бы принадлежать друг другу. Переселяюсь к Гертти и пошлю Кхокху сказать ей об этом.

...Переговоры с одной нефтяной компанией. Им нужен речной агент. Я думаю, что потяну. Должен. Вторую половину дня провел в библиотеке Политехнического института, искал, что такое «речной агент». Мною уже два раза интересовались из полиции. Безработных немедленно отправляют в Европу. Это был бы полный нокдаун — если бы меня выслали... Гертти дала мне еще двадцать рупий — со слезами на глазах, даже жалко ее.

...Сегодня разбирал свои бумаги и наткнулся на письмо, присланное Майтрейи ко дню ее рожденья каким-то типом вместе с роскошным букетом. Непреодолимое желание узнать, что там написано, а поскольку мое знание бенгальского пошло на убыль, прошу одного соседа, аптекаря, перевести, что он и делает:

«Мой свет, моя незабвенная, не могу сегодня навестить тебя, потому что хочу видеть тебя только наедине, чтобы ты была только для меня, как когда-то, в моих руках, в тот день...»

Дальше цитировать не могу. Горю бешеной, нечеловеческой ревностью. Кажется, разнес бы стол в щепы. Пусть только она еще раз позовет меня к телефону! Господи, когда же я обманулся? И в чем? Неужели они все были правы?

...Давно я не делал записей в дневнике. Надеюсь вскоре развязаться с Индией. У меня верная договоренность, хотя пока и без контракта, в Син-

гапуре. Чем там придется заниматься, еще не знаю, но деньги на дорогу уже получил. Никому не говорю. Я и так уже слишком много хвастался, что не останусь без работы.

С Гарольдом порвал решительно. Если бы не Клара, стукнул бы его хорошенько. Страшно тянет на драку. Гертти из-за этого инцидента даже поссорилась с Кларой. С тех пор как я к ней перебрался, нас все считают счастливыми супругами (не знаю, кто пустил слух, что мы тайно обвенчались). Но Гертти знает «правду»: что я безумно люблю Майтрейи и переехал к ней, чтобы отомстить. На самом деле я переехал, потому что нечего было есть.

...Кхокха упорно меня осаждает. Я велел его не пускать. Тогда он стал присылать письма, но я никогда не могу разобрать больше половины, у него ужасный английский. Он намекает, что Майтрейи решила сделать так, чтобы ее выгнали из дому и она вернулась ко мне. От этой мысли я прихожу в полную негодность и поэтому стараюсь ее избегать. Кажется, он даже считает, что Майтрейи может отдаться первому встречному, только чтобы ее выгнали и она могла снова быть со мной. Литература.

...Встреча с Дж., племянником госпожи Сен, который приехал сюда работать по контракту в одной большой типографии. Радость, объятия, воспоминания. Первый знакомый из Индии, которого я вижу в Сингапуре. Приглашаю его пообедать, и после третьей сигареты он, строго глядя мне в глаза, говорит:

— Аллан, ты знаешь, что Майтрейи тебя очень любила? Об этом теперь всем известно...

Я пытаюсь его остановить: положим, мне приятно встретить человека из тех краев, но выслушивать сочувственные слова или комментарии к нашей любви я не собираюсь. Ну, любила, ну, известно. Что с того?

— Нет, нет,— настаивает он.— Я должен сказать тебе печальные вещи.

— Она умерла? — в испуге спрашиваю я, хотя не поверил бы в ее смерть, я знаю, что, если Майтрейи суждено умереть раньше меня, я почувствую этот час.

— Лучшие бы она умерла,— говорил Дж.— Она опозорила себя. Отдалась зеленичику...

Комната плывет перед глазами, я вцепляюсь в крышку стола. Дж. продолжает:

— Это был тяжелый удар для нас всех. Мать чуть с ума не сошла от горя. Майтрейи уехала в Миднапур рожать, якобы втайне, но все знают. Они пытались подкупить этого негодяя, а теперь судятся.

Я не понял. Не понимаю и до сих пор. Кто судится и с кем?

Спрашиваю: выгнали ли Майтрейи из дому?

— Отец не хочет ее выгонять ни под каким видом. Он сказал, что лучше убьет ее своими собственными руками, чем выгонит. Они готовили для нее хорошую партию, а теперь... Кто ее возьмет? Она им: «Почему вы не бросите меня собакам? Почему не выставите на улицу?» И все-таки они ее не гонят. Похоже, бедняжка свихнулась. Иначе как объяснить, что она такое над собой сделала?..

Я думаю уже много часов. И ничего не предпринимаю. Да и что я могу? Телеграфировать Сену? Написать Майтрейи?

Я чувствую, что она сделала это ради меня. Если бы я читал письма, которые приносил Кхокха... Может быть, у нее был план. Как смутно на душе, как смутно... И все же я хочу записать здесь все. Все.

...А если я обманулся в своей любви? Что можно знать? В чем быть уверенным? Мне бы сейчас увидеть глаза Майтрейи.



ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ



Ivan
Şanţurile
Pelerina
Dayan
Les trois Grâces
Tinereţe fără de tinereţe
La umbra unui crin...

Первым его увидел Замфир. Переложил карабин в левую руку, подошел. Легонько потрогал лежащего носком ботинка.

— Не жилец, — определил он, не оборачиваясь.

Раненый смотрел на него широко раскрытыми глазами. Он был молодой, белобрысый, веснушчатый, и губы его все время подрагивали, как будто он силился улыбнуться. Замфир тяжело вздохнул и опустился рядом с ним на колени.

— Иван! — позвал он громко. — Иван!

Отцепил фляжку и осторожно поднес к губам раненого. Дарий остановился за его спиной. Снял каску и отер лоб рукавом гимнастерки.

— Умирает, — сказал он, — жалко воды.

Рука раненого порывисто, испуганно дернулась и бессильно обмякла, упав слишком далеко от кармана. Пальцы судорожно впились в ком земли. Замфир вынул у него из кармана револьвер и с улыбкой протянул Дарию.

— Вам, господин студент. Трофей...

Дарий надел каску, взял револьвер, повертел его в руках.

— Не заряжен. Мало проку.

Хотел зашвырнуть револьвер в кукурузу, но раздумал и в нерешительности держал его на ладони, словно взвешивая.

Подошел Илиеску.

— Отходит. Без свечи, как собака, — вымолвил он с расстановкой, качая головой. Отвернулся и сплюнул в обе стороны. — Неужто всем так? — добавил он, понизив голос.

Дарий еще раз взглянул на револьвер и опрокинул ладонь. Глухо стукнуло, револьвер упал на застывшую комьями землю, рядом с рукой раненого.

— Если вам жалко человека, — сказал Дарий, — не пожалейте пули. Что зря мучается...

И устало отошел в сторону, озираясь, как будто искал на кукурузном поле место, защищенное от зноя, где можно отдохнуть. Вернулся пасмурный, с нераскуренной сигаретой в углу рта, буркнул:

— Пора.

Замфир встал с колен, но глаз от раненого не оторвал.

— Ежели бы я знал по-русски, я бы попросил его нас благословить, — робко произнес он, словно ни к кому не обращаясь. — Так у нас говорили: ежели тебя благословит, кто умирает, это на счастье.

— Я тоже слышал, — подхватил Илиеску. — Только надобно, чтоб от чистого сердца благословил... А это ж большевик...

— Да хоть кто, лишь бы благословил по своему закону, на своем языке...

Он обернулся к Дарию.

— Вот вы, господин студент, вы знаете столько языков...

Дарий зажег свою сигарету. Обескураженно пожал плечами, хотел улыбнуться, но не вышло.

— Его языка я не знаю. Вот теперь-то и пожалею, что не выучил русского... — Помолчал, глядя на раненого, глубоко затянулся. — Но, может, как-нибудь... Может, он знает другие языки...

В сомнениях прошло еще несколько секунд. Дарий снова пожал плечами.

— Попробуйте, господин студент, — услышал он шепот Замфира. — Попробуйте — авось поймет...

Дарий отбросил сигарету, неуверенно подошел к раненому, поймал его взгляд — и вдруг разразился жаркой, захлебывающейся речью:

— Nous sommes foutus, Ivan! Nous sommes des pauvres types! Save our souls! Bless our hearts, Ivan! Car nous sommes foutus!.. *

* Мы погибли, Иван! Мы несчастные люди! (франц.) Спаси наши души! Благослови наши сердца, Иван! (англ.) Ибо мы погибли!.. (франц.)

Раненый тихо застонал, но губы его сложились в гримасу, напоминающую улыбку. Он обвел их всех по очереди вопросительным взглядом.

— Blagoslovenie! — воскликнул Замфир, снова опускаясь рядом с ним на колени. — Воје, Christu! Благослови нас, Иван!

Он замедленно перекрестился, возвел глаза к небу, соединил вместе ладони и прикрыл веки, как будто молился, потом снова, настойчиво, страстно, уставился на раненого.

— Сделай, как я, Иван! — громко настаивал он. — Сотвори крест, как я. Воје, Christu!..

Он смолк, и все трое устремили взгляд на раненого, ожидая.

— Не понимает, — вздохнул наконец Замфир. — По-ихнему бы с ним...

— Чертова бестия! — вырвалось у Илиеску. — Нарочно прикидывается, что ничего не кумекает.

Дарий взглянул на него с конфузливой усмешкой.

— Хочешь, чтоб он тебя благословил, а сам обзывается.

— Велика важность! Когда человек умирает, ему уже ни до чего, он все простит. — Илиеску все же встал на колени и нагнулся над ухом раненого. — Прости, Иван, прости, — шепнул он.

И тут заметил, что раненый смотрит не на него. Обернувшись, он увидел поодаль, на краю поля, собаку.

— Домашняя, — сказал Илиеску, поднимаясь с колен и подзывая ее свистом. — Жилье, должно, близко.

Собака была тощая, оголодавшая, с медной шерстью, густо присыпанной пылью. Она робко пошла на зов, не смея даже вилять хвостом. Раненый повернул голову набок и ждал. У него вдруг перестали дрожать губы, лицо посуровело, застыло.

— Ежели это большевик и его никто не научил, откуда ему такое знать, — сказал Замфир, тоже поднимаясь. — Но чтоб он не слышал про Господа Бога и про Иисуса Христа и чтоб не умел перекреститься, быть того не может.

Он отступил на шаг назад и позвал: «Иван!» Потом широко раскинул руки и замер, не сводя глаз с раненого.

— Christu! — крикнул он снова. — Христос на кресте. Ты тоже сотвори крест. Сложи три пальца щепотью и благослови нас...

Лицо раненого озарилось, смягченное широкой улыбкой. Собака ли-зала ему руку, сжимавшую ком земли.

— Прикидывается, — повторил Илиеску и в ярости сплюнул в обе стороны.

Замфир вошел в кукурузу и минуту спустя вернулся с двумя початками.

— Иван! — крикнул он, ища взгляд раненого. — Смотри сюда, Иван! — Он сложил початки крест-накрест. — Гляди хорошенько и вспоминай. Это — крест Иисуса Христа, Спасителя нашего. Его распяли на кресте. Понимаешь теперь? Христос?! — спрашивал он, подходя и держа початки крест-накрест. — Вспомнил? Христос.

Раненый следил за его манипуляциями с неожиданным интересом, хотя и не без опаски. Он попытался приподнять голову, но застонал от боли и на миг закрыл глаза. А когда открыл, то улыбнулся, видя, что Замфир ждет со сложенными крест-накрест кукурузными початками.

— Christu! — выговорил раненый. — Christu!

— Чудо Господне, — прошептал Замфир, снова опускаясь рядом с ним на колени и кладя ладонь ему на лоб. — Ты понял, о чем я тебя прошу. Благослови нас!

— Béni-nous, Ivan! — загорелся и Дарий. — Béni-nous, bless our hearts! Tu t'envoies au Ciel. Au Paradis, Ivan, auprès du Dieu Père. Auprès de la Vierge*. — Внезапная, непонятная усталость появилась в его голосе. — Ты будешь рядом с Пречистой Матерью Божьей Приснодевой Марией...

Раненый слушал, охваченный легкой дрожью. Потом обвел всех глазами. Он больше не решался приподнять голову, но зашевелил пальцами, как будто хотел указать на что-то.

— Мария! — удалось ему вытолкнуть из себя в конце концов. — Мария...

— Дошло, — прошептал Илиеску. Он проследил взгляд раненого и добавил вслед удаляющейся с понурой головой собаке: — Может, он узнал собаку. Может, он местный.

* Благослови нас, Иван!.. Благослови нас, благослови наши сердца! Ты вознесешься на небо, в рай, Иван, к Богу-Отцу и Пречистой Деве! (франц. и англ.)

Раненый забормотал что-то, все судорожнее дергая пальцами, то прикрывая, то резко распахивая глаза, словно присутствие людей пугало его все больше и больше.

— Вот что — надо попробовать донести его до жилья, — решил Замфир.

Дарий смерил его долгим, недоверчивым взглядом.

— Трудновато будет. Он вот-вот кончится.

— Жалко. Только до него дошло... — возразил Илиеску. — Ежели он протянет еще час-два до села, глядишь, и благословит нас...

Собака остановилась метрах в десяти, на краю поля, поджидая их.

* * *

Они понесли его на двух карабинах. Свой Дарий взвалил на плечо, нанизав на него все вещмешки. Раненый дрожал, глухо постанывал, часто моргая. По временам Замфир кричал ему:

— Благослови нас, Иван, мы несем тебя домой!.. Небось не бросили умирать на дороге...

— Скажи хотя бы «Христос», — уговаривал Илиеску. — Христос! Мария!

Метров через сто они остановились передохнуть, не опуская носилок. Раненый со стоном попробовал перевернуться на бок, его умоляющий взгляд упал на Замфира.

— Поговорите с ним вы, господин студент, — попросил тот. — Поговорите, пусть хоть увидит, что мы желаем ему добра...

Дарий встряхнул карабин, поправляя ранцы, — безнадежным, яростным рывком.

— Что говорить? На каком языке мне с ним говорить? Если я не знаю русского, как он меня поймет?

— Говорите абы что, — уещевал Замфир. — Лишь бы он увидел, что мы для него надрываемся, что не даем ему помереть, как собаке. Говорите хоть по-тарабарски, вы ведь ученого звания...

Дарий невольно вздохнул, сдвинул на лоб каску.

— Ученого, это точно, — ответил он с кривой усмешкой и вдруг, повернувшись к раненому и найдя его взгляд, решился:

— Иван! Помнишь из «Фауста»?

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medicin,
Und, leider! auch Theologie
Durchaus studiert...*

Вот кто, Иван, говорит с тобой. *Философ*. Ты меня слышишь?

— Говорите, говорите, — прокричал Илиеску, трогаясь с места. — Говорите, он вас слушает, и то ладно.

— Пока слушает, не помрет, — добавил Замфир.

— ...Я о многом мог бы рассказать тебе, Иван, чем только не напичкают в университете, прежде чем дать диплом философа! Чего только не прокрутится в голове у студюзуса! Хватит на два-три тома, а то и на двадцать два — ведь разве у Пруста, например, не двадцать два тома? Нет, вру, это если брать и юношеские его вещи. Ты понимаешь, чтó я имею в виду, — «*Pastiches et mélanges*»** и прочее...

— Хорошо говорите, господин студент, — похвалил Илиеску, — давайте дальше... — Отвернулся и с силой сплюнул в сторону кукурузного поля.

— Иван! — с чувством продолжал Дарий. — Я мог бы целую ночь приводить тебе доказательства небытия Божьего. А об Иисусе Христе, о коем ты, вероятно, не слышал с тех пор, как пошел в начальную школу, о Спасителе вашем и нашем, о его загадочном историческом существовании или о его политической несостоятельности я мог бы говорить с тобой много ночей, с глазу на глаз, без комиссаров и без теологов, потому что ты тоже чувствуешь, Иван, что nous sommes foutus, nous sommes tous foutus*** И мы, и вы. Но первые — мы, ведущие родословную от нашего драгоценного Траяна... И если мне было бы жаль умереть сейчас, вслед за тобой, а может, и раньше, умереть в мои двадцать два года, — это и потому, что мне не придется

* Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом...
Увы! С усердьем и трудом

И в богословье я проник... (нем.) Перевод Н. Холодковского.

** «Подражания и смесь» (франц.).

*** Мы погибли, мы все погибли (франц.).

увидеть, как вы воздвигаете памятник любезному нашему Траяну. Ведь это ему заблагорассудилось дать нам начало в райском уголке, как будто он знал, что в один прекрасный день явитесь вы, усталые от долгих блужданий по степи, и набредете на нас, красивых, умных и богатых, — вы, голодные и измученные жаждой, как мы сейчас...

— Дальше, дальше, господин студент, он вас слушает, — подбодрил Замфир, видя, что Дарий примолк и понуро оттирает лицо рукавом гимнастерки.

— ...Многое, многое вертится на языке, Иван... Но вот интересно, осмелился бы я рассказать тебе когда-нибудь события тринадцатого марта, восьмого ноября и все, что за ними последовало? Это слишком интимное, Иван: меня будто разъяли на части, а потом сложили снова — и вот он я, каким ты меня видишь, — бродячий философ, который развлекает тебя болтовней, пока гнев Господень и ваши пушки еще бьют мимо, *car nous sommes foutus, Ivan, il n'y a plus d'espoir. Nous sommes tous foutus!** Как в той знаменитой новелле, которую еще никто не написал, но которая непременно будет когда-нибудь написана, потому что она слишком уж бьет в точку — если ты понимаешь, на что я намекаю, — слишком она про все, что произошло при нас и с нами. И вот интересно: как сможет автор смотреть в глаза, скажем, своей жене и детям, да даже соседям, как посмеет показаться на улице, потому что — ты угадал, конечно, мои намеки — каждый узнает себя в главном герое, а как можно жить после такого, как можно радоваться жизни после того, как узнаешь, что ты *обречен*, что нет никакого выхода, что *не может быть* никакого выхода, ибо для каждого из нас существовал некогда некий император Траян — назови его как угодно, — свой Траян в Африке, свой или свои в Китае — всюду, куда ни кинь взгляд, видишь одних только обреченных, потому что некто, некий император Траян, задолго до их рождения, за тысячи и тысячи лет до их рождения, решил зачать их род на несчастливом месте...

Он вдруг смолк и провел по лицу задрожавшей рукой.

— Дальше, дальше, господин студент, — шепнул Замфир. — Только не частите, чтоб он разбирал слова...

* Потому что мы погибли, Иван, больше нет надежды. Мы все погибли! (франц.)

Дарий поглядел на него, будто только что узнал, и снова отчаянным рывком поправил на плече ранцы.

— ...Итак, начнем сначала, Иван, начнем с тринадцатого марта. Ибо там начало всех начал. Умри я двенадцатого марта, я был бы счастливым человеком, потому что я попал бы на небо, *au Ciel*, Иван, *auprès de la Sainte Trinité**, туда, куда с напутствием священника, если таковые еще сохранились, попадешь вскорости и ты. Но если мне суждено умереть сегодня, завтра, послезавтра, куда я попаду? На небо — ни в коем случае, потому что тринадцатого марта я узнал, что неба *просто-напросто нет*. Его больше нет, Иван. Стоит тебе только понять, как мне тринадцатого марта, что небо не более чем иллюзия, — все кончено. Нет низа, нет верха, нет конца, нет начала — Вселенная всюду одинакова. Тогда, позволь тебя спросить, *куда же я попаду?..* Я зря тебя спрашиваю, знаю, ты решил не отвечать. Что ж, я сам отвечу. Я отвечу тебе восьмым ноября, вторым началом. Да, да, восьмого ноября — ты угадал, надеюсь, — я понял кое-что, может быть, даже поважнее. Я понял, что нет нужды никуда попадать, поскольку ты *уже пребываешь там*. Бесконечность, Иван, я бью другой бесконечностью. На том основании — слушай-ка хорошенько, — что я, как и ты, как и все на свете, мы, людское племя, — *неуничтожимы*. Ваши ли пушки, немецкие ли самолеты — ничему нас не уничтожить. Мы пребываем здесь от Сотворения мира и пребудем всегда, даже после того как погаснет последняя звезда последней Галактики. А посему — ты представляешь себе, Иван, *nous sommes foutus, et sommes foutus pour l'éternité***. Ведь, если я неуничтожим, куда мне отправляться — сегодня, завтра, послезавтра, — когда придет мой черед? Мне некуда отправляться — я уже есмь там и в то же время есмь везде. Вот это-то и чудовищно — быть везде и все же, в определенном смысле, *не быть*, раз я уже не жив. Это чудовищно — никогда не узнать покоя. Хорошо было нашим дедам и прадедам. Они шли, куда кому положено: кому на Небо, кому под Землю, кому — на край Земли. И, как ты понимаешь, они могли отдохнуть. А мы, Иван, что станет с нами?..

Он снова поправил за спиной ранцы и прибавил шаг.

— ...Теперь, если бы ты решился нарушить обет молчания, ты не-

* К Святой Троице (франц.).

** Мы погибли, и мы погибли для вечности (франц.).

пременно спросил бы меня: а после восьмого ноября, что было после восьмого? И поскольку закон войны требует от нас быть честными и открытыми друг перед другом, я был бы обязан ответить. Но поймешь ли ты меня? Дело в том, что тут мы столкнемся с *целым рядом очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств*, если так можно выразиться...

На этом месте его окликнули, и он вдруг увидел, что ушел вперед один, сопровождаемый только собакой. Его товарищи положили раненого в чахлую тень акации, сняли каски и утирали пот. Дарий со смущенной улыбкой вернулся.

— Он что-то все бубнил по-своему, по-русски, — сказал Илиеску.

— Воды, верно, просил, — добавил Замфир. — А вода вся вышла. Я показал ему сахар, а он закрыл глаза. Не хочет.

Замфир слизнул со своей ладони кусочек сахара и стал сосать.

— Хоть он с виду и худющий, а все тяжесть, — проворчал Илиеску. — Притомились, решили передохнуть в холодке. Села что-то все не видать.

— Глядишь, и он оклемается, — добавил Замфир.

Дарий сбросил вещмешки на выжженную, пыльную траву и встал на колени подле раненого, напряженно слушая его тяжелое, частое дыхание.

— В чем только душа держится, — проронил он. — Удивительно...

Он подтянул поближе свой мешок и стал в нем копать. Раненый следил за его движениями, по временам вздрагивая всем телом, как будто его било лихорадкой.

Дарий обернулся к Замфиру, спросил, понизив голос:

— Что будем с ним делать? Дальше нести мы его не можем, время дорого. Бросим или все-таки прекратим его мучения?

Замфир отвел глаза, замялся...

— Раз уж мы потрудились, донесли его досюда... Может, Божьей милостью, у него станет сил нас благословить. Потому — такое мое мнение — ему теперь *хочется* нас благословить...

— Ну да, мы же слышали, — поддакнул Илиеску. — Мы же слышали, как он сказал «Christu». Если его позаговаривать, он еще часок протянет. До села.

Дарий закурил и, усмехаясь, смерил их взглядом.

— Какое село, о чем вы? Тут на сто верст одни поля.

Собака встала в нескольких шагах от них, робко поскуливая, не сводя глаз с кусочков сахара. Замфир вздохнул.

— Поговорим с ним по-простому, может, он так лучше поймет. Пока тут сидим, отдыхаем, поговорим с ним, расскажем, как будет в селе.

Илиеску всем телом повернулся к раненому и вдруг заговорил совсем другим, непохожим на свой голосом, как говорят с больным ребенком:

— Уже недолго, Иван, скоро будет село, твое родимое. А в твоём селе — благодать, прямо как в нашем...

— Скажи, что мы ему дадим, — подсказывал Замфир. — Водицы студеной, сколько душе угодно...

— Иван, — нашептывал Илиеску, нагибаясь к раненому, — твое село все в садах, мы нарвем для тебя и слив, и груш, и чего ты только пожелаешь...

— Женщины умоют тебе лицо, — вторил Замфир, — уложат тебя в чистую постель...

Раненый закрыл глаза и зашевелил губами — видно было, что с большим усилием, но все быстрее, все судорожнее.

— Только и ты про нас не забудь, — гнул свое Замфир. — Не забудь, о чем мы тебя просили...

— Он не забудет, — подхватил Илиеску. — Не может такого быть. Мы же потрудились для него, мы ему были что друзья-приятели. Priatin, Иван! Priatin! — крикнул он, расцветши всей физиономией. — Ты вспомнишь про нас, Иван, ты поднимешь руку, поднимешь и благословишь нас!

Вдруг собака тихонько завyla, испуганно завертелась и, дрожа, шерсть дыбом, метнулась прочь по дороге. Раненый открыл глаза, но уже не смог повернуть головы, чтобы проводить ее взглядом. Он смотрел теперь прямо в небо, и так упорно, как будто ему не мешал ни тяжелый послеполуденный свет августовского солнца, ни пыльная взвесь, заткавшая воздух нескончаемой паутиной. Несколько секунд все молчали. Дарий нагнулся к раненому, положил руку ему на лоб, пристально заглянул в глаза, сказал шепотом:

— Боюсь, что он умер... — И добавил, тяжело поднимаясь с колен: — Господи, прости его и помилуй!

Замфир тоже положил руку ему на лоб, легонько потрепал по щеке, потряс руку.

— Господи, прости его и помилуй! — произнес он, крестясь. — И Господь его помилует, потому как он нас благословил, а это на счастье...

— Он когда давеча шевелил губами, это он нас благословлял, — подтвердил Илиеску.

Дарий закинул за спину ранец и уныло посмотрел в ту сторону, куда убежала собака.

— Пора трогаться, — сказал он. — Теряем время.

— Погодите еще маленько, господин студент, — застенчиво пробормотал Замфир, извлекая из своего мешка лопату с коротким черенком. — Не оставлять же его вóронам на растерзанье. Вы еще папиросу не докури-те, а могилка уже будет готова...

Дарий вытаращился на него в изумлении, словно не понимая.

— Потерпите, господин студент, — поддержал товарища Илиеску. — Земля тут рыхлая, не успеете в ладоши хлопнуть — могилка уже вот она...

— Вы что, ребята, спятили? — выговорил наконец Дарий. — Нет, вы положительно спятили... Но это и моя вина, — добавил он тише, отходя в сторону. — И моя вина тоже...

Когда он оглянулся и увидел, как они торопливо копают землю, тяжело дыша и не переговариваясь, ему показалось, что у него галлюцинация, потому что они разошлись больше чем на два метра друг от друга, точно рыли братскую могилу, и в ту же секунду он услышал тонкий шип немецких истребителей, приближавшихся на бреющем полете, а за его спиной, из-за поля, может быть, даже с того самого шоссе, по которому отступала их рота прошлой ночью, глухо и далеко забухали русские пушки.

* * *

— Ну, и тут, — продолжал он, вскрывая новую пачку сигарет, — тут я понял, что сплю, и проснулся. И вы не поверите, что больше всего меня потрясло и разбудило: не немецкие истребители и не русские пушки, а эта неестественной величины могила. Где у них, спрашивается, была голова, у Илиеску с Замфиром, когда они взялись ее копать? Мы ведь, я вам уже говорил, еле волокли ноги — толком не ели, не пили, не спали. Нет, им мало было мытарств.

— Так или иначе, — возразил лейтенант, глядя на него дружелюбно и даже с теплотой, — вина с самого начала лежала на вас. Не следовало позволять им брать с собой раненого. Вы были в отступлении, и каждая по-

терянная минута могла стать фатальной. Если они пожалели Ивана, они должны были кончить его тут же, на месте...

— А спасти Ивана было нельзя, как ты думаешь? — спросила Лаура.

— Нет, нельзя. Я же сказал, с первого взгляда было видно, что он при смерти. Я даже удивляюсь, как он еще столько протянул. Конечно, во сне свои мерки...

— Шесть дней боев, — перебил его лейтенант, — дают достаточно опыта. Оправдание, что вы стесняетесь командовать солдатами, которые уже год-два воюют на передовой, не работает.

— Да, вы правы, — согласился Дарий с застывшей улыбкой. — Но, с другой стороны, когда бы я в эти шесть дней ни осмеливался отдать приказ, выходило скверно. Я получил взвод, а от приказа к приказу нас осталось трое...

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — возразил лейтенант, — но тут вашей вины нет. Вся Украина была начинена партизанами, да еще под каждым кустом — спецотряд. Так что если часть отделялась от дивизии, она была почти неминуемо обречена на окружение и гибель. Это вам еще повезло, что вас хоть трое из шестнадцати уцелело.

— Ну, в общем, — вернулся к своему рассказу Дарий, — в тот раз мне не хотелось больше брать на себя ответственность... Мы тут все свои, — добавил он, — и я могу говорить откровенно. Поскольку я считал, что нас преследует злой рок, и боялся потерять двух последних солдат, я решил отдать им последний приказ: расстаться и пойти порознь, они — по одной дороге, я — по другой... Наверно, поэтому я и поддался их наивной надежде: что благословение Ивана, если он даст нам его перед смертью, будет нас хранить...

Дверь отворилась, и с большим дымящимся блюдом вошла г-жа Македон. За ней Адела несла поднос со стаканчиками и бутылкой цуйки.

— Разбирайте, пока горяченькие, — шепотом проговорила г-жа Македон, останавливаясь посреди общества.

— А я вот все думаю, — вступил в разговор судья, — кто был этот Иван? Что за человек? А главное: он понял, чего вы от него хотите? И если да, то благословил он вас или нет?

— Вне всякого сомнения, он их понял и благословил, — ответила Лаура. — Они же спаслись! Вот вам и доказательство, что благословение сделало свое дело.

— Известны случаи еще более поразительные, — заметил кто-то из угла, Дарий его до сих пор не видел. — Например, солдаты, которые чудом уцелели под Сталинградом и сумели добраться, пешком, Бог знает за сколько месяцев, до дому. Интересно: их тоже благословил какой-нибудь испускающий дух Иван?

Дарий, весь напрягшись, глядел на говорившего, как бы не веря глазам.

— Мы, кажется, раньше не встречались, — сказал тот, сконфузясь, извиняющимся тоном. — Меня зовут Прокопий. Я медик, но тоже прикасался к философии, в студенческие времена. Была такая тяга...

Лейтенант взглянул на них обоих строго, если не сказать с негодованием.

— Как это «раньше не встречались»? Вы же были одного полка!

Дарий обернулся к Лауре с вопросительной улыбкой, как бы ожидая знака, говорить — не говорить?

— Да, — решился он вдруг. — У меня с самого начала было ощущение, что мы встречались. Причем навеянное как раз тем происшествием, о котором я вам только что рассказывал. Но я не смел признаться... Видите ли, чем больше я смотрю на вас, господин доктор, тем больше мне бросается в глаза ваше сходство с Иваном...

Раздались смешки, гости сочли нужным недоуменно переглянуться. Дарий по-прежнему улыбался.

— Это, во всяком случае, любопытно, — заметила Лаура, — потому что я представляла себе Ивана не таким. Я представляла себе паренька лет восемнадцати-девятнадцати, веснушчатого и с очень светлыми волосами. А доктор, как вы видите, брюнет, никаких веснушек. И у него двое мальчиков, уже ходят в школу.

Дарий потер лоб, пытаясь уловить подробность, которая в ту минуту казалась ему решающей.

— Но, в сущности, какая разница, — продолжала Лаура. — Тебе показалось, что господин доктор похож на Ивана — это главное. А раз так, мы можем спросить господина доктора, что происходило в голове Ивана, когда его несли на карабинах. Как вы считаете, господин доктор, он их благословил?

Прокопий, несколько озадаченный, покачал головой.

— Как вам сказать? По моему разумению — и да, и нет. Трудно пред-

положить, что Иван вообще не догадался, чего от него хотят. Повторил же он: «Christu». И когда он бормотал что-то, он, по всей вероятности, отвечал им. Очень может быть, он говорил им о своей благодарности или даже о любви, христианской или нет, неважно, о любви, положим, просто человеческой. Но они-то, Замфир с Илиеску, добивались от него не этого — они ждали благословения по форме...

Дарий резко вскинул голову и обвел всех взглядом.

— Вспомнил! — взбудораженно заговорил он. — Я вспомнил, что я подумал в тот момент, когда мне передалась их вера и я стал заклинать Ивана: «Bless our hearts, Ivan! Save our souls!..» Я подумал: если *правда*, что Иван, такой, как он есть, парализованный, почти потерявший дар речи, умирающий на обочине дороги, если Иван *правда может нас спасти*, значит, тут кроется какая-то тайна, роковая и заповедная. Значит, Иван каким-то — для моего ума непостижимым — образом есть наместник или воплощение неведомого Бога, agnostos theos, о котором говорил апостол Павел. А так это или не так, я никогда не узнаю. Потому что кто может знать, сыграли какую-то роль в нашей жизни или нет его благословение или просто его любовь...

Г-жа Македон приоткрыла дверцу печи и со словами «что-то выстудилась комната» подбросила туда остатки дров.

— Открыто окно в ванной, — объяснила Адела. — Было так накурено — я решила проветрить.

— Не перебивайте нас! — прикрикнула на них Лаура. — Посмотрим, что скажет доктор. Эта идея с неведомым Богом привносит новый оттенок, для меня совершенно неожиданный. Что скажете, господин доктор?

Прокопий снова покачал головой и на секунду прикрыл рот ладошкой, словно пряча улыбку.

— Да, любопытно, я тоже все время думал, *что* мне напоминает этот случай. Он определенно мне что-то напоминает... вот только что? Но даже если это была эпифания неведомого Бога, то уж никак не афинского agnostos theos, о котором говорил апостол Павел. Непохоже, чтобы греки придумали себе такого Бога...

Дарий нетерпеливо кивнул.

— Само собой, само собой. Но их же сонмы, разных неведомых богов и божеств.

— Оставим это, — вмешалась Лаура. — Одного жаль: ты не успел объ-

яснить Ивану, что ты понимаешь под сей туманной формулой — «ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств».

Дарий вздрогнул и улыбнулся ей с затаенным волнением.

— Что понимаю? Самоанализ предельной глубины, но и предельной беспощадности. Это был миг, когда меня озарило, когда мне открылось недоступное раньше — я нащупал интуицией как бы сам принцип моего существования... И может быть, не только моего, — добавил он, понизив голос. — Я почувствовал, что прозрел тайну человеческого существования вообще. И это расплывчатое выражение, «ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств», было только подступом к облечению тайны в слова. Она уже оформлялась у меня в голове, мне казалось, я вот-вот схвачу ее... Но сны — такая штука, сейчас я уже ничего не помню...

Тут он заметил, что, кроме Лауры и Прокопия, все остальные слушают его, похоже, только из вежливости. Хозяева позвали к столу как раз в тот момент, когда Лаура задала свой последний вопрос, и гости дослушивали уже на ногах и даже тихонько подвигаясь к дверям столовой. Ему следовало тоже встать, но какая-то странная, не лишенная приятности истома удерживала его в кресле. Он рассеянно улыбался, пытаясь понять, что с ним. Лаура прикоснулась к его плечу.

— Вставай, мы остались последние, — шепнула она. — Пора.

* * *

Но он встал, только когда почувствовал, что его настойчиво тянут за руку.

— Пора, господин студент, — говорил Замфир, улыбаясь ему. — Скоро ночь.

Дарий осовело взглянул, протер глаза, потом огляделся, часто моргая, окончательно просыпаясь. Они были в кукурузе, и он никогда не слышал столько цикад одновременно. Небо уже поблекло, но звезды на нем еще не проступили.

— Где Иван? — спохватился Дарий.

— Спит спокойно под землей, — отвечал Замфир. — Только креста над ним не поставили — не из чего.

— Выручил-таки нас Иван, — добавил Илиеску. — Что тут делалось! Хуже, чем давеча на мосту. Вы-то спали как убитые, а мы знай делали свое дело...

Замфир вытянул вверх руку.

— Немец во как низко летал, аж крыльями за кукурузу цеплялся. Изрешетили все поле, думали, тут русские прячутся. А нас не тронули, дали нам докопать спокойно. Решили, верно, что мы кого из своих хороним...

— А вон оттуда,— подхватил Илиеску, махая рукой вдаль,— русские жажнули из пушек. Хорошо, досюда не долетало. Погромыхали, а после затихли. То ли в них истребители попали, то ли они повернули стрелять в другую сторону. Если немцы наслали столько самолетов, десятка два, считай,— ясное дело, они этой дорогой отступают, сколько их от дивизии осталось... Лучше бы они эти свои самолеты третьего дня послали, на мост,— добавил он, отворачиваясь и сплевывая в досаде.— Бойни было бы помене...

Дарий решительно нагнулся и взял свой ранец.

— А теперь что ж,— сказал Замфир, помогая ему приладить ранец на спине,— теперь как Богу угодно. Ежели русские повернули пушки в другую сторону, значит, дорога нам перекрытая, и тогда придется обходить их с тылу, крадучись, пока не пробьемся к нашим.

— Не бойсь,— ободрил его Илиеску.— Прокрадемся. Нам не впервой...

Они вышли на широкую ухабистую тропу, которая врезалась в самую глубь кукурузного поля.

— Мне снился сон,— начал Дарий, ни на кого не глядя.— Как будто зима, Яссы, и я рассказываю знакомым про Ивана...

— Красота,— сказал Илиеску, видя, что молчание затягивается.

— Раз сон про Ивана, это к добру,— присовокупил Замфир.

— Но вот один там, лейтенант, сказал, что мы плохо сделали, что нельзя было терять столько времени; что, если мы его пожалели, надо было застрелить, чтоб не мучился. А не тащить с собой.

— Да, так оно положено,— согласился Илиеску.— Но вы же сами видите, счастье-то он нам принес...

— Правда, мы тоже постарались,— подхватил Замфир.— Тешили его, разговоры разговаривали.

Дарий вдруг остановился, взглянул на одного и на другого.

— Слушайте, ребята, это мне кажется, или тут цикад целый миллион? Оглохнуть можно...

— Мильон, господин студент,— подтвердил Замфир.— Прорва ци-

кад, так оно всегда об эту пору... — Он улыбнулся. — Вы, верно, давненько не бывали в деревне по летнему времени.

Дарий молча посмотрел на него, снял каску и, резко крутанувшись, зашагал дальше.

— Станный сон, — вернулся он к своему рассказу после долгой паузы. — Никак не нащупаю смысл. Почему то, что я собирался сказать Ивану *здесь*, пару часов назад, когда вы меня окликнули, почему *во сне* это было так важно? Любопытно, правда? — спросил он, обернувшись к Замфиру.

— Сны, — сказал тот. — Разве их разберешь?

— И у снов есть свой толк, ежели в них соображать, — заметил Илиеску.

Дарий покачал головой и прибавил шаг.

— Нет, я думал о другом, когда сказал «любопытно». Это любопытно, потому что *во сне* я был убежден, что сейчас выскажу Ивану какие-то очень глубокие вещи и что только ваш оклик помешал мне это сделать. С другой стороны, *во сне же* я не мог вспомнить, что это были за глубокие вещи, в голове вертелось только начало: «ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств». Пусть сейчас эта формула кажется мне достаточно банальной и стилистически беспомощной, я-то знаю, о чем шла речь. Об откровении. И если бы вы нас не перебили, Иван узнал бы от меня кое-что из моих «взаимоисключающих обстоятельств». Взять, например, Лауру, ту девушку из Ясс. Она знала и знает свой способ быть *очевидной*. Но я не только про нее. Еще, например... Еще... Еще взять, например, мою слабость к философии...

Он вдруг осекся, провел по волосам, рассеяно потер лоб.

— Да, тяжелое ремесло, — сказал Замфир, — философия-то.

— Тяжелее некуда, — согласился Илиеску. — А все почему — потому как не знаешь, с какого боку к ней подходить.

Дарий машинально надел каску.

— Что еще любопытнее, — продолжил он серьезным, даже строгим тоном, — сон-то был в руку. *Я и в самом деле забыл*. Забыл, что собирался сказать Ивану. Тогда меня, наверное, вдохновляло его присутствие, его затянувшаяся агония — как он утасал, замурованный в свое абсолютное одиночество. Это было, скажем так, откровение — откровение о моей собственной бренности, хотя вряд ли я отдавал себе в том отчет. Я просто делал, что вы мне велели, говорил с ним, молот что попало, лишь бы он не умер...

Идти вдруг стало труднее: они явно сошли с тропинки. Отыскав глазами Замфира, отставшего на несколько шагов, Дарий спросил:

— Слушайте, ребята, а вы знаете, куда мы идем? Зачем нам туда, в самую непролазь?

— Так надо, господин студент, — ответил Замфир, догоняя его. — Если взять по тропе, того и гляди нарвемся на русский патруль. Так что мы лучше по полю, а уж после полуночи, с Божьей помощью, выйдем на шоссе, к русским в тыл, и до света будем держаться за ними следом. А после завернем обратно в кукурузу и устроим передых.

Илиеску, шедший слева, взмахнул рукой, привлекая их внимание.

— Поаккуратнее надо, — шепотом сказал он. — Давайте-ка пойдем розно, чтоб кукурузу не колыхать. Пока не стемнеет как следует. Тогда полегче будет... — И добавил: — Вы, господин студент, идите посередке, промеж нас. Поглядывайте по сторонам: где шевелится, там, значит, мы идем. Когда захотите дух перевести, посвистите тихонько, мы встанем, вас подождем...

Дарий заметил, что цикад поубавилось — или они затихали при человеческом приближении? Стемнело, но даже дуновения ветерка не принесла темнота — воздух не остывал, и с сухих кукурузных листьев поднималась от толчков идущих людей удушливая горькая пыль. Дарий пытался идти осторожно, не напролом, но ему мешали ранец и карабин, он то спотыкался о ссохшиеся комья земли, то застревал ботинком в сетях разросшегося вьюнка и рвался из них, выдергивая растение с корнем, поднимая клубы пыли, вспугивая стайки мелких ночных бабочек, бивших ему в лицо.

Примерно через четверть часа он услышал свист и остановился. Посмотрел направо, налево — ничего. Он перевел дух, запрокинул голову и обнаружил небо. Муть начала рассеиваться, и выступили звезды. Дарий дышал глубоко, медленно, ожидая. Снова раздался свист, и где-то очень близко, слева, голос Илиеску:

— Тронулись, господин студент.

* * *

— Мы шли так, пока не перевалило за полночь. Усталые, голодные, без воды, но меня к тому же неотвязно мучил вопрос: что с нами будет на рассвете, что — завтра днем. И будет ли у нас послезавтра. С тех пор как

мы сошли с дороги, меня не покидало ощущение, что мы повернули назад и держим курс на мост, откуда только чудом унесли ноги. Что в села нам соваться нельзя — это я понимал. Скорее всего, гипотеза Замфира была верна: русские, после воздушной атаки немцев, наверняка изменили направление обстрела, а это означало бы, что их танковая колонна оставила шоссе и рассеялась по окрестным селам. Я не понимал другого — зачем нам надо возвращаться опять к мосту. Конечно, я доверял их чутью. Они хорошо ориентировались, и оба были уверены, что мы идем правильно. Однако Замфир предупреждал, что нам придется держаться в тылу у русских, а мы вместо этого возвращались — так мне казалось... Подождем их или пойдем дальше? — спросил он, оглянувшись на ели, разбросанные среди скал. — Что-то они сильно отстали.

— Я думаю, лучше подождать, — сказал Архип, запрокидывая голову назад, на рюкзак. — По правде говоря, последний подъем меня вымотал. Я подзабыл эту дорогу. Последние годы у нас был другой маршрут: на Пьятра-Краюлуй через Омул. И что тут такая крутизна, я забыл... К тому же я хочу дослушать историю, — добавил он. — Ты раздражил мое любопытство.

Дарий стал нащупывать по карманам сигареты.

— Лаура, конечно, убеждена, что Иван так или иначе нас благословил и что его благословение нам помогло.

— Не кури пока, — остановил его Архип. — Подожди. Ты еще не отдышался. Тебе тоже подъем достался нелегко.

— Что самое интересное, — продолжал Дарий, послушно сунув в карман пачку сигарет, — это что ни на секунду я не задумался, как Иван оказался там, где не было боев, один среди кукурузных полей. Кто ранил его — еще прежде, чем там побывали немецкие истребители? Ведь он был так тяжело ранен, что не мог пошевелиться, и губами-то шевелил еле-еле. При этом почти не потерял крови — земля рядом была чуть влажной. Как это могло быть? Куда делось его ружье, его ранец? В кармане — один револьвер, и тот без патронов. Замфир его обыскал. Ничего — ни документа, ни письма, ни фотографии. Замфир-то был уверен, что Иван нас благословил, и хотел узнать его фамилию, чтобы оповестить потом семью. Чтоб они знали, где он похоронен. Но ничего не было... И ни один из нас, — добавил он, помолчав и снова доставая пачку сигарет, — ни один из нас не задал себе вопрос: *откуда он тут взялся, Иван? Как он сюда попал?*

— У каждого мира — своя структура, своя логика, — сказал Архип. — Как тебе, конечно, известно, противоречивость, или непоследовательность, бывает двух родов: очевидная *изнутри* самой системы и та, которая становится очевидной, лишь если смотреть на нее *извне*.

Дарий курил и рассеянно слушал его.

— Любопытно, — вдруг сказал он, — но чем больше я смотрю на тебя, тем больше понимаю, как ты похож на Ивана. При том что внешне в тебе ничего от Ивана нет. Однако повторяю и подчеркиваю: только *внешне*...

Архип оторвал затылок от рюкзака и посмотрел на него с интересом, будто видел впервые. Потом улынулся.

— Что ж, я ждал этих слов. Тебя так забрала Иванова тайна, что на уме у тебя одно — как расшифровать ее послание. А поскольку Иван тебе недоступен — не потому, что умер, а потому, что и живой еле говорил, да и то, что говорил, было для тебя за семью печатями, русского-то ты не знаешь, — так вот, поскольку Иван тебе недоступен, ты пытаешься найти его в каждом новом человеке. Сейчас новый человек — это я, нашему знакомству сколько? Часов пять-шесть? Так что я прекрасно понимаю, как это у тебя сорвалось с языка, и не обижаюсь. Что ты хотел спросить? О чем думал Иван? Спрашивай, я попробую ответить.

Дарий смущенно хмыкнул и поискал камень, о который можно было бы погасить сигарету.

— Вы — технологи, социологи, психологи — очень странные люди. Но я думаю, что не всегда все так просто, как вам кажется. Если откровенно, то да, твое сходство с Иваном меня пронзило как нечаянное открытие. Только я вовсе не надеялся узнать через тебя, что творилось в *его* голове. Другое: эта символическая равнозначность, ваша с Иваном, могла бы восстановить для меня контекст той мистической формулы: «ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств». Я сформулировал ее для Ивана, чтобы объяснить ему, что произошло со мной после восьмого ноября. И мне тогда казалось, что в ней я ухватил, как в простом уравнении первой степени, тайну человеческого существования...

— Вы все про Ивана? — вмешалась Лаура, вдруг возникшая за его спиной. — Разобрались?

— Откуда ты здесь? — изумленно спросил Дарий. — Почему я тебя раньше не видел?

— Ходила по магазинам,— отвечала Лаура, садясь со вздохом облегчения. — Совсем без ног...

— А остальные где? — поинтересовался Дарий, оглядываясь.

— На подходе. Адела остановилась у киоска купить газет, доктор с мамой и все прочие зашли к соседям одолжить дровишек. А то что-то похолодало, чего доброго, снег пойдет...

Дарий вдруг понял, что ласкает ладонями подлокотники кресла, и со значением улыбнулся.

— Вы должны как-нибудь рассказать мне историю этого кресла,— сказал он. — Такое впечатление, что стоит мне вспомнить про Ивана, а точнее, стоит мне вспомнить про Ивана, *сидя в этом кресле*, как я либо вижу сны, либо просыпаюсь...

— На сей раз ни то ни другое,— перебил его Архип.

— Как это понимать? — заволновался Дарий, в упор глядя на него.

Архип поднял брови.

— А что тут понимать? Вы вывели формулу: «ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств»,— только, кажется, остались недовольны. — И добавил, удаляясь:—Значит, надо еще поискать, значит, поищем еще...

Дарий смотрел ему вслед, охваченный сразу досадой и яростью, что не умеет возразить.

— Alors, nous sommes foutus,— прошептал он. — Il n'y a plus d'espoir. Foutus pour l'éternité!..

* * *

— Nous sommes foutus! — сквозь зубы процедил Дарий, когда Замфир дал сигнал отправляться. — Foutus pour l'éternité!

Они вышли на гужевую дорогу, всю в рытвинах, змеящуюся посреди поля. И снова разом, со всех сторон, взорвалась трескотня цикад. Теперь, выбравшись из кукурузных зарослей, можно было снять каски. Замфир и Илиеску прицепили их к ранцам, свою Дарий повесил на руку. Уже появились звезды, но прохлады ночи все не наступала.

— Не разговаривайте лучше, господин студент,— посоветовал Замфир. — Вы, верно, притомились...

— Полночь-то миновала, теперь только и поговорить,— возразил

Илиеску. — Пока не дойдем до шоссе. Там опять придется держать ухо востро...

Дарий отыскивал платок в верхнем кармане гимнастерки и принялся отирать лицо.

— Слушайте, ребята, — сказал он немного погодя. — А это та дорога, вы точно знаете?

— Та самая, господин студент, — успокоил его Замфир. — Гляньте на звезды. Мы только крюку дали, чтоб обойти село, а так идем верно. Держимся следом за русскими...

Дарий мельком посмотрел на светящийся циферблат.

— Без двадцати пяти час, — начал он рассуждать. — Если скоро выйдем на шоссе и все будет хорошо, тогда сможем идти часов до четырех. Потом, как вы говорите, надо снова уходить в кукурузу. А вдруг километров через десять-двенадцать начнутся другие поля — ну там пшеница, овес, сурепка, что-нибудь в этом роде? В них ведь не спрячешься.

— Не беспокойтесь, господин студент, — сказал Илиеску. — Я в этих местах был нынешней весной, когда только посевы вылезали. Вся Украина такая, как вы видите: кукуруза, потом на километр-другой пшеница либо рожь, либо еще что, а после опять кукуруза.

— Вот с водой будет тяжеленько, — вздохнул Замфир. — Воды можем не найти. Нам бы заброшенный колодец или хоть болотце, но может ничего не попасться и день, и два. Тяжеленько будет, но, с Божьей помощью, перебьемся. Я знаю травы, потом есть корешки, а то и молочный початок где уцелел... Перебьемся, это вы в голову не берите...

— А есть будем, что нынче ночью, — поддержал его Илиеску. — Кукурузу. Жалко, переспела, и печь ее без толку. Но сойдет и так. С голоду не помрем.

Дарий совал платок обратно в карман, когда его нога угодила в яму. Он покачнулся, ранец наехал ему на затылок, но Замфир крепко подхватил его под руку.

— Боже сохрани сейчас ногу вывихнуть!

— В яму попасть и не упасть — добрая примета, — вспомнил Илиеску.

Дарий запихнул платок в карман.

— Раз уж речь зашла о ямах... — начал он, ухмыляясь, — я давно хо-

тел спросить, зачем вы надрывались, копали для Ивана такую царскую могилу, я хочу сказать — такую длинную?

— Почему же длинную, господин студент? — сказал Замфир. — Могила как могила. Как для христианина.

— Когда вы начали копать с двух концов, — настаивал Дарий, — между вами было больше чем два метра. Как будто вы собирались зарыть целый патруль...

И ему стало так смешно, что он расхохотался, вмиг чудом забыв и про жажду, и про усталость. Замфир с Илиеску вторили ему, но он понимал, что только из вежливости.

— Не приведи Бог — патруль! — сказал наконец Замфир. — Однако двух метров в ней не было...

— А я вот думаю, — добавил Илиеску, — вы, господин студент, никак не могли ее видеть, вы же в поле ушли.

— Это потом. Сначала налетели немецкие самолеты и забухали русские пушки, вот в ту минуту я и видел, как вы копаете. Очень хорошо помню.

— Пусть тогда Замфир скажет, — решился немного погодя Илиеску. — Пусть скажет, как оно было. Мы только что ковырнули землю лопатами, как увидели первые самолеты, мы им замахали, потому как они стали по кромке поляшить из пулеметов, и пошли вас искать, поглядеть, не дай Бог вас какая пуля задела. Вы там же и лежали, где мы вас после разбудили. Ну, мы удостоверились и *только после* принялись копать могилу. Когда самолеты пошли вторым заходом, так примерно через четверть часа, могила была почти готова, и мы им издали махали лопатами, но они нас и так увидели и не стали рядом стрелять... Разве не так было, Замфир?

— Так и было, как Илиеску говорит, — подтвердил Замфир.

Дарий снова рассмеялся.

— Тем лучше. Значит, мне стало сниться, когда я еще не заснул. Со мной такое и раньше случалось.

Он смолк, уйдя в свои мысли. Несколько минут спустя Илиеску вдруг быстро пошел вперед, слегка пригнувшись, потому что кукуруза стала редкой и чахлой. Потом поманил их, жестом призывая к осторожности.

— Выходим на открытое место, — шепотом сказал Замфир. — Сейчас должны в шоссе упереться. Позвольте-ка я пойду вперед, господин студент...

Два часа они шли порознь по открытому полю. До шоссе добрались быстро, но пришлось пересечь его бегом, потому что со спины на них надвигалась с погашенными фарами бесконечная колонна русских грузовиков. Ночь стала ясной и прохладной. Небо вдруг приблизилось, посверкивая звездами. Единственное прозрачное облачко плыло прямо по курсу на запад. Временами ветер ленивым дуновением доносил запах сухой травы и бензина.

Увидев посреди поля одинокое дерево, он коротко посвистел товарищам, указывая им место для привала. В ответ был взмах руки, которым Замфир звал его дальше, за собой.

— *Nous sommes foutus!* — тихонько просвистел Дарий.

Ему захотелось сплунуть, как Илиеску, но во рту было сухо, и вдруг он с удивлением, даже со страхом почувствовал, что его пробирает холод. Он попытался прибавить шаг, однако не мог понять, удастся ему это или нет. Очнулся бегущим: карабин в правой руке, в левой ранец, чтобы не бил по спине. Тяжело дыша, он остановился.

— Чего вы испугались, господин философ? — раздался негромкий голос.

Он резко обернулся и встретился глазами с Прокопием. Тот поджидал его под деревом. Улыбался. Рядом сидела собака.

— Чего вы испугались? — повторил он замершему в изумлении Дарию.

— А вы что тут делаете, господин доктор? Как вы тут оказались?

Его усталость как рукой сняло, он оживился и бодро подошел к знакомому.

— Где ваша часть? — спросил он и вдруг обнаружил, что обознался. — Тут темно, я тебя не узнал, Архип, — пробормотал он конфузливо. — Но я все равно не понимаю, как ты сюда попал. Все ищешь формулу, все еще ищешь?

Тот смотрел на него с ясной, но не без иронии, улыбкой.

— Я задал вам вопрос, господин философ, но вижу, что вы не хотите отвечать. Вы говорили мне, помнится, что мы неуничтожимы. В таком случае чего вы испугались?

— Иван... — прошептал Дарий.

— Если вам угодно. Меня, правда, зовут не так, но я не обижусь. Зовите Иваном.

Дарий сделал к нему еще шаг.

— Значит, ты знал по-румынски, только не признавался, а мы-то бились...

— Теперь мы понимаем все языки,— возразил Иван. — Но это больше не имеет значения, нам они больше не нужны... И все же: вы говорили, что мы неуничтожимы. Вы не должны быть подвержены страху.

Дарий в замешательстве потер лоб рукой.

— Это не страх. Меня вдруг почему-то, я не понял, пробрало холодом, и я побежал. Только и всего...

Иван взглянул пристально, дружелюбно. Снова улыбнулся.

— Вы красиво говорили со мной — вчера, позавчера или когда там это было. И потом, вы, такой молодой, сами дошли до мысли, что мы неуничтожимы. Это меня подкупило.

— Значит, *ты все понял*, — прошептал Дарий.

— Чего я не понял, — продолжал Иван, — это настроения безнадежности, господин философ, это вашего опасения, что вы никогда не отдохнете. Но от чего ты собираешься отдыхать? Мы только начали. Что у нас за спиной? Не натянешь и миллиона лет! Если же считать с гомо сапиенс, вообще какие-нибудь несколько десятков тысячелетий. А посмотри вперед: миллиарды и миллиарды лет!..

Дарий слушал его сосредоточенно, напряженно.

— Миллиарды, — повторил он тихо. — Знаю, знаю, но что нам с ними делать, с миллиардами лет?

— Мы вдохнем дух в Землю, потом в Солнечную систему и другие галактики, и во все, что может там быть и чего мы еще не знаем. Одухотворим их, то есть дадим им толчок к жизни, пробудим дух, который дремлет в каждой жизни. Благословим все Творение, как у вас любит кое-кто говорить.

— Значит, Замфир был прав. Нас ты тоже благословил.

— И да, и нет, как справедливо заметил доктор Прокопий.

— Откуда ты знаешь про доктора Прокопия?

Иван взглянул на него с веселым любопытством, пожал плечами.

— Теперь мы знаем все. Точнее, все, что нас интересует. А ты меня интересуешь, потому что тебе было жалко меня и ты говорил со мной.

Замфир с Илиеску тоже меня интересуют. Еще бы! Они волокли меня на себе, хотели донести до села, а потом похоронили. Не то чтобы меня хоть сколько-нибудь волновало, похоронен я или нет, но само намерение — трогательно.

Дарий снова начал тереть лоб.

— Ребята! — прошептал он. — Где ребята?

— Они там, впереди, поджидают тебя. Не беспокойся, они тоже отдыхают. Впрочем, я тебя долго не задержу, мне скоро пора отправляться дальше. Просто хотелось побеседовать. Мы так редко видимся в последнее время... На краю поля, но тогда мы не узнали друг друга, не сумели поговорить... У госпожи Македон, потом в горах, у Пьятра-Краюлуй... Были времена, когда мы встречались чаще.

Дарий неожиданно для себя засмеялся.

— Мне очень жаль, что приходится возражать, — сказал он в смущении, — но ты глубоко ошибаешься. С Прокопием и Архипом я познакомился совсем недавно, а тебя встретил вообще только что — вчера или позавчера, ты же сам говорил.

— Мы знакомы давно, — не согласился Иван. — Даже страшно сказать, как давно мы знакомы. Но мы узнаём друг друга, только когда уже слишком поздно.

Дарий не спускал с него пытливого, задумчивого взгляда. И, как обычно, когда дискуссия его захватывала, он машинально сунул руку в карман за сигаретами. Однако на сей раз ему хватило одного этого жеста.

— Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать, — прошептал он, кивая. — В сущности, целая человеческая жизнь может развиваться, исполниться и завершиться в считанные месяцы, иногда даже меньше.

— И что любопытно, те же проблемы постоянно возникали в наших беседах, — подхватил Иван. — Ряд очевидных, но взаимоисключающих обстоятельств, к примеру. Сколько раз и на скольких языках я слышал это от тебя...

— Но беда в том, — сокрушенно признался Дарий, — беда в том, что я не помню, что я имел в виду. Точнее, я не помню *продолжения*. Я начал фразу, собираясь развернуть перед тобой целую систему, но тут меня окликнули ребята, и я потерял нить.

— Ты сказал все, что следовало. Что *пока* следовало сказать. Осталь-

ное доскажешь потом. Мне ты уже все сказал, и тебе понравится, вот увидишь, открыть это заново...

Взгляд его был ласков и все же дразнил, и все же отдавал иронией.

— Что-то я не пойму, Иван, говоришь ты, а мне кажется, я слушаю Архипа. Помнится, в нашем последнем разговоре...

— Когда это было? — не дал ему договорить Иван. — Века назад или месяцы? В какой жизни?.. — И добавил, видя, что Дарий свел брови в недоумении: — Не пойми меня неправильно. Речь не о времени, а о зазоре между «очевидными, но взаимоисключающими обстоятельствами», как ты любишь выражаться... Сожалею, что перебил тебя, — продолжил он, промолчав и так и не дождавшись слова от Дария. — Я однажды уже перебивал тебя — ты сейчас не помнишь, поскольку слишком большой зазор между обстоятельствами. Я перебил тебя как раз ту минуту, когда ты собирался объяснить нам, в каком смысле ты употребил выражение *agnostos theos*. Перед тобой, как на внутреннем экране, было изображение Ивана, как бы погребенного в собственном теле. И ты хотел сказать, что так выглядит иногда Бог, Высший Дух — узник, закованный в материю, ослепленный, растерянный, сам себя не распознающий. Но что это был за Бог? Ни в каком случае не Бог Павла и ни один из греческих богов. Ты думал о гностических мифах, об индийских концепциях Духа и Материи...

— Видимо, видимо, так. Это и Прокопий заметил.

— И при всем том зерно истины есть в твоём сравнении, но только если взглянуть на вещи совсем в иной перспективе. Дух *всегда* закамуфлирован Материей, но смысл его присутствия в ней — будь он узник, или добровольный, временный затворник, или что-то еще, — этот смысл ты узнаёшь только потом. Впрочем, в том-то и состоит Загадка — Загадка с большой буквы, — которая загадана нам всем, вопрос, неумолимо задаваемый каждому: как распознать Дух в камуфляже Материи, то есть когда он, в сущности, *нераспознаваем*? Таковы же и мы, все мы, господин философ: не только неуничтожимы, как ты говорил, но и нераспознаваемы... Но я вижу, тебя ждут, — добавил он, взглянув в сторону.

В редеющей предрассветной тьме Дарий разглядел метрах в двадцати от них, в открытом поле, знакомую фигуру, но вспомнить, кто это, не мог. Еще дальше, ближе к шоссе, которое они пересекли в ту ночь, шло какое-то движение: медленно, словно ошупью, тянулась прерывистая цепочка людей.

— Мне тоже пора, — продолжал Иван. — Ждут и меня. Там.

Он протянул руку к востоку. Дарий взглянул туда, но ничего не увидел. Собака пошла первой, не спеша, держа морду книзу. Только тут Дарий узнал ее и улыбнулся от радости, кивая на нее Ивану, шепча:

— Вот кто тебя распознал, она одна...

— Попробуйте и вы, господин философ, — отвечал Иван, серьезно и пристально глядя ему прямо в глаза. — Попробуй в следующий раз. Когда это будет? И где? В светском салоне — в Яссах, в Токио? Или в горах, или в госпитале, или на другой планете? Если я узнаю тебя первый, я подам тебе знак, но вряд ли я узнаю тебя, даже я. А если и узнаю, ты моего знака не поймешь. Так обстоят дела, господин философ: мы нераспознаваемы и сами для себя, и один для другого...

Он зашагал было прочь, погрузившись в свои мысли, но заметил, что Дарий следует за ним, и приостановился.

— Нет, — с улыбкой сказал он, — в эту сторону — нам. Тебе — в другую. — И он простер руку к западу. — Спеши, тебя ждут...

Он кивнул на прощанье, повернулся и пошел по равнине следом за неторопливой собакой.

* * *

Дарий снова вспомнил про Илиеску с Замфиром и быстро пустился вдогонку. Близость рассвета давала о себе знать: равнина различалась все яснее, она была со всех сторон, без края. Звезды заволокло мутью, и вместо неба повис туман, какой бывает в горах. Тот, кто стоял под деревом, оказался лейтенантом.

— Я вас издали не узнал, господин лейтенант, — пробормотал Дарий в неловкости. — Было еще темновато.

— Ничего страшного. Я слушал ваш разговор, очень интересно. Ты кое-чему научился у Ивана. Не исключено, что и он был когда-то философ. — Лейтенант улыбнулся. — Однако сейчас нам надо поторапливаться. Нас ждут остальные.

Они вместе зашагали по направлению к шоссе.

— В самом деле, чего я испугался? — воскликнул на ходу Дарий. — Я же давно знал, что мы неуничтожимы. — Но, помолчав, добавил: — И все же... и все же...

Тут он увидел свой взвод и остановился, боясь задохнуться от волнения.

— А, вот и вы, господин-студент, — встретил его улыбающийся Маноле. — Как видите, мы все снова в сборе, почти все...

«А Илиеску с Замфиром?» — подумал Дарий, озираясь.

— Ребята! — лихорадочно прошептал он.

— Они просто нас обогнали, — успокоил его лейтенант и не без грусти заметил: — Каждый возвращается домой, как может. Мы держим путь к реке, там у нас сбор...

Дарий обнаружил, что уже некоторое время они идут в строю, но, когда начался марш, он не уловил. Ему было хорошо, он пожал плечами и, прибавив шаг, очутился впереди взвода. Солдаты переговаривались, и, хотя звук был как будто выключен, он ухитрился слышать, о чем они говорят. Небо по-прежнему оставалось мутным, но света было достаточно, и куда бы он ни обращал взгляд, отовсюду, со всех сторон, малыми группами стекались люди — в полной тишине, размеренным шагом — и все же с какой-то непостижимой быстротой. Он не раз отставал, чтобы оглянуться назад. Равнина лежала без границ, сколько хватало глаз, под тусклым, клубящимся туманом неба, далеко друг от друга маячили одинокие деревья. И Дарию вдруг стало странно, что он не слышит ни птиц, ни самолетов, ни даже глухого гула русских грузовиков, которые видел недавно, пересекая шоссе.

— Такова Украина, — раздался рядом голос лейтенанта. — Она будет хороша для них, потому что это их земля. Но у нас, когда мы вернемся к себе, — вот увидишь...

— А еще долго? — спросил Дарий и тут же спохватился, что задал глупый вопрос. В определенном смысле они уже прибыли, и он это знал.

Короткий смешок, извинение чуть было не слетели с его губ, когда лейтенант вдруг ответил:

— И долго, и недолго. Тяжелее всего, говорят, будет до реки. Но ты же знаешь, наша дивизия — из олтян, люди рвутся по домам, каждый в свое село... Отдохнуть, — прибавил он, улыбнувшись.

— Ну а потом, господин лейтенант, — с пристрастием спросил Дарий, — что станет с нами потом, после того, как мы вернемся по домам — кто в Яссы, кто в Бухарест, кто в Олтению? Мы ведь, я вам уже говорил, неуничтожимы. Иван в этом со мной согласился. И Замфир — по-своему тоже, Замфир с Илиеску...

Он осекся, увидев их впереди, метрах в двадцати, они не шли, а тащились, с невероятным трудом преодолевая каждый шаг, потому что несли на карабинах раненого; к тому же дорога по краю кукурузного поля была вся в воронках от снарядов, и нечем было дышать от горячей полуденной пыли. Он побежал за ними, крича:

— Вы что, ребята? Вы спятили, честное слово, спятили! Опять все сначала? Мало вам было Ивана, еще кого-то подобрали?

Но, подбежав ближе, он оцепенел, увидев себя, лежащего на двух карабинах, с набухшим от крови платком на лбу, с растянутой гимнастеркой, из-под которой виднелась окровавленная, разорванная рубаха.

— Что случилось? — почти без голоса спросил он. — Что со мной?

Они тут же остановились, аккуратно опустили его на землю. Замфир перекрестился.

— Божьей волей вы в чувство пришли, господин студент, — вымолвил он, прерывисто дыша.

— Что я говорил! — вступил Илиеску. — Иванова водка!

— Нам повезло, — объяснил Замфир, — что мы на них наткнулись, когда они спали, по пьяному делу, — мы все у них подчистили, и воду, и водку, и табак.

— Но со мной-то что? — тревожно допытывался Дарий. — Меня ранило?

— Нечаянный случай, — отвечал Замфир. — Вы споткнулись, упали, зацепили за курок. Пуля прошла под мышкой. Рана пустячная, да только вы упали без памяти и крови много потеряли, пока мы вас нашли. Если б сразу вам плечо перевязать, вы бы и не заметили, как ничего и не было...

Дарий поворачивал глазами по сторонам. Дорога вилась среди кукурузных полей, и в воздухе стояла тонкая и колкая, удушливая пыль, которой он дышал, казалось, от века, но которая теперь была особенно раскаленной. Здоровой рукой он нащупал в кармане пачку сигарет. Она оказалась мятой и рваной, но Илиеску протянул ему пачку русских, подождал, пока он вытянет одну, дал огонька.

— Вот что, ребята, — сказал Дарий, несколько раз затянувшись. — Спасибо вам за доброту, за верность, вы со мной намыкались достаточно. Теперь слушайте мой приказ. Вы должны его выполнить, потому что это будет мой последний приказ.

Он сделал еще одну судорожную затяжку, чтобы не задрожал голос.

— Мы с вами солдаты, — начал он снова, — смерти видели. Я по крайней мере могу сказать, что видел собственными глазами. Я вам честно: я смерти не боюсь. И если уж делать признания, то вот еще одно: я невезучий. Сколько я себя помню, за мной всегда по пятам злосчастье...

— Ну да, — вмешалась Лаура, — только он им про невезенье и злосчастье, как они сразу на него руками замахали, будто услышали кощунство. И были, впрочем, правы. — Она обернулась к нему. — Ведь мы к тому времени встречались уже три года и считались как бы помолвленными. Если господин философ называет это невезеньем и злосчастьем...

— Факт тот, — продолжал Дарий, — что они не хотели меня слушать, когда я просил их прикончить меня или зарядить карабин и оставить рядом. Чего я им только не предлагал: и вырыть мне могилу, как для Ивана, если уж они считают, что без этого нельзя, и просто посидеть со мной до вечера, запомнить, что надо передать в Яссы, когда они туда попадут, к кому пойти сначала... Ничего их не брало. И тогда, боюсь, я вышел из равновесия и стал им угрожать.

Он взял еще сигарету, и Илиеску поднес к ней спичку — смиренно, с влажными глазами.

— Вы попадете под трибунал. — Он заговорил неожиданно твердым голосом. — Если мы доберемся до батальона, я немедленно потребую, чтобы вас отдали под трибунал за неподчинение приказу и оскорбление командира.

— На все воля Господня, — обронил Замфир, не решаясь поднять глаза. — Там тоже есть добрые люди, в трибунале. Мы им скажем. Мы что положено делали.

— Скажем, что вы крови много потеряли и что от лихоманки, от жару нас и попросили зарядить вам карабин, потому — не знали, на каком вы свете, с голодухи, со слабости...

Дарий еще раз смерил их взглядом с немой досадой, отбросил сигарету и, резко встав, решительно направился к лейтенанту.

— Что с ними делать, господин лейтенант, они больше не слушают приказов!..

Лейтенант взгляделся в него, будто силясь узнать, пожал плечами и пошел прочь. Дарий бросился за ним, приговаривая на ходу:

— Я же Дарий, господин лейтенант, Дарий Константин из вашего пол-

ка. Вы меня хорошо знаете. Мы и этой ночью тоже разговаривали, в поле, когда я расстался с Иваном.

Лейтенант остановился и взглянул на него дружелюбно и все же строго.

— *За шесть дней под огнем*, Дарий, — с расстановкой проговорил он, подчеркивая каждое слово, — ты мог бы понять, что значит приказ.

— Вот самое трудное для меня место, — снова возник голос Лауры. — «Ты мог бы понять, что значит приказ». Как это трактовать?..

* * *

— ...Осенняя, одиннадцать, Яссы. Улица Осенняя, дом номер одиннадцать!

Я бесчисленное число раз повторил им этот адрес, я боялся, что они не затвердят его, спутают с другими, у них в голове за последние месяцы накопилось уже столько адресов, столько предсмертного шепота! Ведь они были на фронте второй год, их роты истребляли одну за другой, и так до июля, пока из оставшихся в живых не сколотили взвод, которым командовал я и которому тоже предстояло быть уничтоженным за каких-нибудь шесть дней огня, как сказал лейтенант. Яссы. Осенняя, одиннадцать. Номер одиннадцать...

— Барышню зовут Лаура, — Замфир кивал и улыбался. — Будьте покойны, господин студент, мы, ежели попадем в город вперед вас, первым делом — туда. И скажем барышне, что вы в скором времени прибудете, и прибудете с погонами младшего лейтенанта.

— Не надо, — возразил Дарий. — Про погоны не надо. Скажите ей так, как я вас просил.

Он вдруг почувствовал, что силы иссякли, и скосил глаза на покалеченную руку. У него было ощущение, что рана кровоточит, и кровоточит уже давно, что под гимнастеркой накопилась кровь и вот-вот теплыми струйками хлынет на землю.

— Если вы не все запомнили, — сказал он, передохнув, очень тихо, — скажите ей по крайней мере самое главное. Что, хотя мы знакомы только три года, мы знали друг друга от сотворения мира и всегда были счастливы, и будем счастливы, пока не погаснет последняя звезда последней галактики... А теперь самое важное, не упустите. Передайте ей, что липа, наша липа в Яссах, что *ее было достаточно*. Что та ночь, когда мы стояли

под ней, есть и будет нашей ночью на веки веков. Что эта липа никогда не отцветет. *Просто не сможет отцвести.* Она наша, а все, что наше, все вне времени, все нетленно...

— Передадим, господин студент, — заверил Илиеску, очень осторожно обтирая ему влажным платком лоб, лицо, смачивая губы. — Вы только теперь-то отдохните, вон уж звезды, после полуночи нам снова в дорогу...

Их, как всегда, укрывало кукурузное поле. Мелкая, горьковатая, пахнущая гарью пыль висела в воздухе, они говорили шепотом, осмеливаясь повышать голос, лишь когда их заглушала трескотня цикад.

— Уму непостижимо, как они продержались столько дней, — снова вступила Лаура. — Как их проносило между русскими войсками, как им удавалось находить воду и даже водку, чтобы промывать ему рану. И доживать хоть какую-то еду...

— Пересохшую кукурузу, корешки, иной раз сухарь, — с улыбкой перечислял Дарий. — На пятый день — кусок шоколада, Илиеску нашел его в кармане у одного убитого немца. По шоссе проходили конвои с пленными, и было много раненых. Если кто падал, то так и оставался на обочине, пока Бог не приберет или не сжалится какой-нибудь конвоир из следующей колонны, не прекратит его мучения. Илиеску научился, где у них находить полезные вещи: воду, сухари, спички, табак. Только хлеба никогда не было.

— Как они не заблудились! — все удивлялась Лаура. — Как им удалось за столько дней ни разу не попасться на глаза крестьянам. Ведь кукурузу уже начали убирать.

— Это, конечно, везенье, — отвечал Дарий. — К тому же у Замфира был звериный нюх, он за версту чуял, когда к нам кто-нибудь приближался, и мы тут же затаивались. Однажды целый день прятались в скирде сена и слышали, как женщины работали в двух-трех сотнях метров от нас. Меня, конечно, больше всего угнетала собственная немощь. Не знаю, как им хватало сил волочить меня каждую ночь то на карабинах, то на русской шинели. Не помню. Наверное, я терял сознание или попросту ничего не соображал от истощения. Правда, про Ивана я много думал, про наш разговор, это меня не оставляло. Его самого, видно, никто не благословил. Потому что его они несли меньше часа, а меня, с его благословения, ночь за ночью. Я даже подумал, как сейчас помню, а не *пожелал*

ли Иван мне этого несчастного случая, чтобы мы могли встретиться и чтобы он мог сказать мне все, что хотел сказать. Но Илиеску-то с Замфиром чем были виноваты в нашем пристрастии к философии?..

— Это не философия виновата, господин студент, — раздался шепоток Замфира. — Час недобрый...

* * *

— Снова воронов поналетало, — проворчал Илиеску. — К чему бы?

Дарий посмотрел из-под ладони, потому что раскаленное добела небо слепило глаза, сказал:

— Это самолеты.

— Самолеты тоже, только они высоко, совсем высоко, — согласился Замфир. — А вороны — они тут, пониже...

Дарий помолчал, улыбнулся.

— В сущности, мы делаем то же, что и они. Подбираемся к людям, но соблюдая дистанцию. Идем следом за своими, но отстаем, отстаем все больше и больше... За сколько километров отсюда фронт, как вы считаете? Сколько уж дней не слышно ни их пушек, ни наших...

— Ежели немцы пойдут в контрнаступление, — рассудил Илиеску, — день-два, и мы очутимся на передовой.

— *Nous sommes foutus!* — просвистел Дарий сквозь зубы. — *Foutus pour l'éternité!*

Он попытался снова уснуть, но духота в тот день давила особенно тяжело, и как он ни ворочался под кукурузной тенью, кровь прилиwała к раненой руке, и он ощущал ее пульсацию в висках, оглушительную, нарастающую. Его товарищи спали, прикрыв носовыми платками лицо, держа руку на карабине, — чутким, прерывистым сном, по очереди приподнимая голову — присматривая за ним. Наконец, уже после захода солнца, Дарий понял, почему не может уснуть. Они расположились на том же месте, что и много дней назад (сколько, он не мог вспомнить), — в какой-нибудь сотне-другой метров от них была могила Ивана. Он узнал это место на рассвете, когда они крадучись, тяжело дыша, с замиранием сердца пробирались между кукурузных стеблей. Однако от усталости не мог даже языком пошевелить. В ту ночь он попробовал первый раз встать и идти, опираясь на палку, выломанную из палаточного каркаса, прочного и массивного, который тоже нашел Илиеску. Ноги не слушались, он оста-

навливался каждые пять-десять минут, товарищи по временам подставляли ему плечо. Часов за пять такого марша они не прошли и десяти километров, но все равно это было больше, чем в предыдущие ночи, когда его надо было нести.

— Вернулись, откуда пришли, — прошептал он как можно тише, чтобы не разбудить их. — Опять к Ивану.

Его разобрал смех — такой абсурдной представилась ему вся их авантюра. Будь он уверен, что не потревожит их сон, он тихонько добрался бы по кукурузе до Ивановой могилы и сел там, ждать их.

— А в общем-то, какая разница, — продолжал он шепотом. — Все равно — и так, и эдак. *Nous sommes foutus*. Как ни крути. Я это знал сначала. Все, что случилось после восьмого ноября...

Когда-то тоже был вечер, тоже в кукурузе — но когда, когда? И он вздрогнул от голоса Замфира:

— Что случилось после восьмого ноября, господин студент?

— Разные вещи, — с усмешкой начал он. — Они меня разъярили на части, а потом заново сложили...

— Но признайся, что ты не посмел им сказать *про меня*. Ты говорил про Лауру Петрарки — интересно, что они поняли из этой длинной и замысловатой феноменологии Музы, тем более что у тебя был жар. Я это не к тому, что они темные, но какое им дело до романтической истории времен раннего итальянского Возрождения? Вот если бы ты сказал им *про меня*, про Яссы, про Осеннюю, одиннадцать, это было бы им ближе и интересней — очень возможно, это была бы и их история.

— Пора, господин студент, — тихо сказал Замфир.

Он тяжело поднялся с помощью Илиеску, но, хотя чувствовал себя разбитым больше чем обычно, зашагал решительно, даже с ожесточением. Замфир шел впереди, прокладывая ему дорогу в кукурузных джунглях. Впервые на небе не было звезд, но итуч словно не было — одна плывущая очень высоко сплошная пелена тумана. И в первый раз не было слышно цикад. Только кукурузные листья вздрагивали иногда с глухим металлическим лязгом, как от ветерка, которого люди не чувствовали.

— Не туда, господин студент, — сказал Замфир, когда он поспешно заковылял к проплешине на поле, где стояли два одиноких дерева. — Так мы попадем на проселочную дорогу, мы по ней пришли нынче утром.

— Вот и я про то же, — откликнулся Дарий, не останавливаясь. — Мы

вернулись, откуда вышли — десять, двенадцать или сколько там дней назад. Вон там, левее, у дерева, там вы копали могилу. Могилу для Ивана! — вскрикнул он, чувствуя, что Замфир удерживает его за здоровую руку.

— Могила не здесь, господин студент, — шепотом урезонивал его Замфир. — Иван лежит верстах в сорока позади, на восток отсюда.

— Но я-то помню, я видел, вы *тут* ее копали, — настаивал Дарий. — Пойдемте, покажу, недалеко же.

Они подошли. Яма была неглубокой. Как будто те, кто ее копал, увидели, что она слишком длинная, и бросили работу. Или не успели.

— Это не могила, господин студент, — тихо сказал наконец Замфир. — Это для чего другого копали. А для чего — не пойму. Только видите, она метра три с лишним, а вот там, рядом, еще одна, тоже чудная, сама длинная, а поперек — другая, навроде креста. Может, там дальше и еще есть, только отсюда не видно.

— Идти надо, — буркнул Илиеску, еще поразглядывав небо. — Боюсь, быть дождю.

* * *

Моросить начало, когда они уже добрались до шоссе, пересекли его, чтобы их не настигли сзади русские грузовики, и нашли метрах в двухстах параллельную узкую дорожку.

— Ежели дождик припустит, — сказал Илиеску в минуту передышки, — наше счастье, с водой будет полегче. Вот ежели зарядит надолго — плохо; река вздуется, и на переправе нам солоно придется.

Моросило мелко, тихо, неспешно, и Дарию было все труднее передвигаться. Он сжимал зубы, чтобы не стонать. Замфир вышагивал рядом, Илиеску — метрах в двадцати впереди. Вдруг он махнул им рукой, чтобы остановились, и вернулся почти бегом. Было около трех часов ночи.

— Тут село, — зашептал он. — Надо сызнова перейти шоссе и попробовать той стороной.

Дарий позволил себе шумно отдышаться, но стон подавил с яростью.

— Тихонечко подходим к шоссе, — командовал Илиеску, — караулим, тут как раз поворот. Как будет зазор промеж грузовиков — сразу бегом. Я первый, — добавил он.

Они сели ждать, скорчившись под прикрытием чахлого бурьяна. Грузовики проезжали как будто все реже и реже, с погашенными фарами.

Минут через десять Илиеску вскочил и, пригнувшись, побежал. Они проследили, как он скрылся в темноте.

— Будьте готовы, господин студент, — шепнул Замфир. — Ваш черед. Дадим вот этому пройти... Пора! Пора! Бегом, господин студент!

Застонав от боли, Дарий выпрямился и, собрав все силы, заковылял к шоссе. Палку он держал наготове, если понадобится на нее опереться, но очень скоро почувствовал, что может бежать, и, отбросив ее, ринулся напрямик через равнину. Он издали увидел реку и так и бежал бы, если бы его не окликнули. Обернувшись, он встретился глазами с лейтенантом.

— Мы добрались, господин лейтенант! — крикнул он. — Добрались вовремя... Только где тут мост?

Лейтенант указующе протянул руку и улыбнулся. Река текла перед ними спокойно, величаво, в безмолвии. Другого берега не было видно, мелкая водяная пыль от дождя висела пеленой, которую не мог пробить бледный, нерешительный свет занимавшегося утра. Сзади подходили и подходили люди, приостанавливались на миг, потом спускались на берег и там выстраивались в колонны, точно ожидая сигнала к походу.

— А мост? — снова спросил Дарий. — Я не вижу моста...

Лейтенант покачал головой.

— Смотри хорошенько, Дарий. На свете есть множество разных мостов. Вот этот, что здесь, ведет к нам домой.

— Домой, — повторил Дарий, — ведет к нам домой. А после того, как мы вернемся домой, что станет с нами, господин лейтенант? Я уже спрашивал вас об этом, вы мне не ответили. Что будет, когда мы вернемся? Было бы чудовищно никогда не узнать покоя...

Он спустился вниз вместе с лейтенантом и, подойдя к берегу, понял, что это молчаливое сборище, чьи разговоры он каким-то образом слышал, эти колонны, которые, ему казалось, ждут сигнала к походу, уже движутся, уже идут, и довольно быстро, через реку, как будто у них под ногами была твердая опора. Они с лейтенантом подошли уже к самой кромке воды.

— Ну, идешь, Дарий? — сказал лейтенант и направился к той группе, что ждала их, нескрывая нетерпения, хотя им и улыбались и смотрели на них с радостью, даже с волнением. Первые уже начали переход, как вдруг — словно солнце брызнуло со всех сторон сразу — Дарий увидел

мост, по которому колонны шли все быстрее и быстрее, мост из ослепительного золотого сияния. И в ту же минуту его оглушило взрывом звуков, никогда не бывающих вместе: гигантские хрустальные колокола, медные тарелки с флейтами и звон цикад.

Он почувствовал на лбу руку Лауры, услышал оклик, но не стал открывать глаза.

— Не буди меня, Лаура, — прошептал он. — Я хочу смотреть. Смотреть, как они переходят мост.

— Это не Лаура, господин студент. Это мы, Илиеску и Замфир из вашего взвода.

— Так я не сплю? — спросил Дарий, не открывая глаз. — На этот раз *все правда?*

— Все взаправду, господин студент, — прошептал Замфир сдавленным от волнения голосом. — Что сказать вашей девушке?

— Скажите, чтоб она не боялась. Что все так, как должно быть. И красиво. Скажите, что это очень красиво. Это как большой свет. Это как на Осенней, в Яссах...

Он вдруг поднялся и, не глядя на них, бросился вперед. Больше не было золотого сияния над мостом, да и сама река отступила вдаль. Он не столько видел, сколько угадывал ее впереди, к западу. Но он мчался, охваченный забытой, детской радостью, пронизанный с головы до пят блаженством, безымянным, необъяснимым. И вдруг вспомнил: *«Я не благословил их...»*

Он остановился во внезапной досаде. Сердце билось, он слышал, все звонче, все звонче. Он еще раз взглянул в сторону реки, и ему показалось, что ее потихоньку заволакивает туманом. Он постоял в раздумье, потом решительно повернул назад и торопливым шагом направился к кукурузному полю, где они его навсегда укрыли — *но когда, когда? В какой жизни?..*



ОКОПЫ

Я сказал всем:

— Дождя не будет. С Божьей помощью, найдем нынешней ночью.

Но нас было мало, от силы человек двадцать. Ликсандру с внуками, батюшка, учитель и женщины.

— Где же народ? — спросил я у батюшки.

Тот пожал плечами.

— А ты будто не знаешь. Навостри ухо!

Я прислушался. Далеко-далеко внизу привычно гроыхало, разве чуть почаще.

— Это не русские, отче, — уверил его я. — Это наши. Да они к нам сюда и не полезут. Какой интерес? Им другая высота нужна, Оглиндешты. Немцы туда стянулись. Вот там и начнется заваруха, через день-другой...

Батюшка вздохнул, поплевал на ладони и глубоко всадил лопату в землю. Но копал недолго.

— Тут не может быть, — возроптал он. — Тут одни камни...

Как она услышала? Когда успела подойти? Я не чаял увидеть ее здесь этой ночью. Она осталась сидеть со Стариком. «Не хочу, чтоб он умер, не дождавшись, — так она объяснила. — Ему уже недолго...»

И вдруг ее голос раздался из-за спины у батюшки. Мы оба вздрогнули.

— Если камни, это добрый знак, отче. Так было и в Марьину ночь. Я сначала уперлась в камни.

Она еще раз пыхнула папироской и, сунув ее мне подержать, попросила кайло. Я встал в стороне, держа папиросу между пальцами. Мне было стыдно, что я уступил ей кайло. Сердце зачастило. Подошли остальные.

— Точно, должно быть здесь, — сказала Илария. — Все точно, как в Марьину ночь. — Она подковырнула кайлом большой камень. — Глянька, Ликсандру.

Обернулась ко мне и забрала папиросу. Ликсандру стал разгребать землю под камнем.

— Господи, помоги. Помоги, Матерь Божья, — забормотали женщины, крестясь.

— Благослови нас, отче, — попросил Ликсандру, не разгибаясь. — Заведи молитву, чтобы он не ушел больше под землю.

— Чтоб не ушел, как вода в песок, — подхватила одна из женщин. — Как в Марьину ночь. А если он заколдован...

— Будет тебе, — оборвал ее учитель.

Ликсандру распрямился в канаве, опираясь рукой на кайло.

— Дайте батюшке сказать молитву.

Батюшка осенил себя крестом и склонил голову.

— Да поможет нам Господь обрести, что ищем. Ибо мы пропащие и гонимые. Ибо грядет лихая година, разор и голод. Не оставь нас, Господи, милостью Своей...

Мы повторяли за ним и крестились.

— Ну, с Богом! — сказал Ликсандру и снова согнулся в канаве.

— Сегодня, даст Бог, найдем, клад незаколдованный, — подбодрил его учитель. — Иначе был бы синий огонек...

Ликсандру вытащил камень и взгромоздил его на край насыпи. Булыжник был здоровенный и покачивался на краю. Учитель уперся в него руками и откатил в сторону. Ликсандру снова пустил в ход кайло. Мы все столпились вокруг и замерли. Наконец послышался вздох. Лица его мы не видели, но угадали досаду и горечь.

— Значит, не здесь, — заговорил первым батюшка. — Значит, лучше разойтись по своим местам. До света еще пять часов. Если приведет Господь, успеем, найдем.

Взмахом руки он пригласил столпившихся женщин вернуться к новой канаве, начатой две ночи назад. Как и все остальные, она пролегалa от шоссе к кладбищу. Таков был совет Старика. Но женщины мялись.

— Погодите, — прошептала одна. — Слышите?

Где-то очень далеко раскатисто бухали пушки. Но было и другое: накатывал и отступал то ли стон, то ли вздох.

— Уж не умер ли Старик?

Илария испуганно стрельнула глазами в мою сторону и бегом пустилась к дому.

— Упаси Господи! — произнес батюшка, крестясь и направляясь следом за ней.

Пошли и мы.

Нет, Старик не умер. Моргая, смотрел он на лампу. Илария поправляла у него под головой подушки.

— Зажги мне свечку, — попросил он. — Пусть будет тут, возле: может, Господь окажет милость...

Батюшка тоже подошел к постели. Старик долго глядел на него, словно силясь узнать.

— Почему вернулись? — обронил он. — Испугался кто?

— Да это все они, — пробормотал батюшка. — Одна как скажет...

И кивнул мне, чтобы я объяснил.

— Им слышалось. А я им говорю: не русские это пушки. Это наши. Идут на Оглиндешты.

Старик точно так же долго глядел на меня, то ли признавая, то ли нет, и вдруг забеспокоился:

— А где Василе? Почему ушел? Кто мне сделает гроб?

— О том не тревожься, — успокоил его батюшка. — Все будет честь по чести. Как-нибудь найдем тебе в семи-то селах плотника сколотить гроб.

— Такого, как Василе, не найдете, — возразил Старик. — Такого мастера еще поискать. — Он медленно повернул голову к Иларии. — Почему Василе ушел?

— Со страху. Все в горы, и он со всеми.

— Он, верно, не знает, — сказал Старик. — Потому и ушел, что не знает?

— Чего не знает? — воскликнул я.

— Не знает, — повторил Старик еле слышно.

И закрыл глаза, как будто заснул, ясный, примиренный. Батюшка опустился на стул. У окна, глядя в темноту, курила Илария.

— Идите же! — внезапно потребовал Старик. — И найдите. А не то Господь не приберет меня. Оставит мучиться до Димитрова дня.

Ликсандру, учитель, женщины ждали нас во дворе.

— Что он? — спросил учитель.

— Велит расходиться, кто где копает. И с пустыми руками не возвращаться.

Мы пошли за батюшкой тесной ватагой, потому что женщины путиливо жались друг к другу.

* * *

Я спал тяжелым сном. Илария еле добудилась, тряся меня изо всех сил.

— Пришли, — повторяла она. — Немцы пришли.

— А золото? — встрепенулся я.

— Половина — у Ликсандру, поделим на всех, когда вернутся. А половину я спрятала под кровать к Старiku.

Я протер глаза. Значит, не приснилось: клад есть. Нашла его Илария, под утро, когда остались только Ликсандру с внуками да я. Мы копали, уже плохо понимая, что к чему, когда Илария издала окликнула нас:

— Сюда! Или мне мерещится, или...

Мы перекрестились. Как подсчитал Ликсандру, там была примерно тысяча червонцев, в этом глиняном горшочке...

— Не вставай в полный рост, часовые в окошко увидят, — шепотом сказала Илария.

Пригнувшись, я добрался до походного сундука, кое-как влез в сержантский китель. На нем остался только один орден, зато самый сейчас нужный: железный крест. Когда я направился к двери, Илария, смотрясь в зеркальце, наказала:

— Если сможешь с ними объясниться, скажи, мол, ничего не знаем, не ведаем.

Да, крепко же я спал! На шоссе, наискосок от дома, стояло четыре грузовика с пулеметами в боевой позиции, у церкви — мотоциклеты. Надо же так спать! Ладонью я разгладил китель: давненько я его не надевал, больше года. Чего-то все-таки не хватало, я все время чувствовал. Но только когда открыл калитку и увидел часового с автоматом и двух офицеров, понял: не хватало пушечного гула.

— Kamerad! — издали закричал я. — Ich spreche Deutsch. Aber wenig, sehr wenig...*

Один из офицеров прыснул. Другой смотрел на меня испытующе: не решил ли я их подразнить?

— Мы говорим по-румынски, — бросил он. — Что тут происходит? Где люди?

— Ушли в горы. От греха подальше.

Лейтенант, который с таким аппетитом смеялся, смотрел теперь на меня дружески и очень сочувственно.

— Где ты потерял руку? — спросил он, неторопливо подходя.

— В излучине Дона. Вторая операция по окружению в излучине Дона.

— Вторая операция по окружению, — задумчиво повторил он. — Вторая в излучине Дона.

Не верилось, что он не румын, — так хорошо он говорил по-нашему. Он обернулся к товарищу.

— Как нам его поприветствовать? Как героя, как союзника, как врага, как пленного, как заложника?

Его, казалось, снова разбирал смех, но он сдержался, щелкнул каблуками и выкрикнул:

— Heil! Sieg!

Солдат дернулся, переложил автомат в другую руку и улыбнулся мне.

— Господин лейтенант у нас писатель, он у нас поэт, — начал второй офицер. — Воображение, фантазия, юмор — все при нем. Знаешь ли ты, что такое писатель, что такое поэт?

— Знаю. Проходили в школе. И стихи тоже читал. Эминеску, Александри.

— Вот-вот, Эминеску. Господин фон Бальтазар — такой же великий поэт. Он и родился, как Эминеску, на Буковине. И если он унесет ноги от русских и от военного трибунала, он станет самым великим поэтом Великого рейха!

Поэт, я угадал. Сердце снова заколотилось. Ведь я было подумал сначала, что он навеселе. Хорошо, что ошибся.

— Господин фон Бальтазар имеет воображение, имеет фантазию, —

* Друг!.. Я говорю по-немецки. Но немного, очень немного... (нем.)

продолжал второй офицер. — Когда он увидел окопы, он сказал мне: «Леопольд, эти ямы приготовлены для нас. Видимо, они вообразили, что выиграют бой, и, чем брать пленных, решили лучше заранее приготовить им могилы».

Не сводя с меня глаз, фон Бальтазар процедил что-то сквозь зубы. Леопольд смолк, сконфуженно улыбаясь.

— Что это за окопы на краю села? — строго спросил фон Бальтазар. — Кто дал приказ их отрыть?

Я был готов к вопросу и знал, что отвечать. И все равно меня пробила дрожь.

— Мы ищем клад! — выпалил я. — Мы люди бедные. Земля здесь плохая. Мы решили искать клад, а как найдем, поделить его по-братски, по-христиански, на сотню дворов. Только сейчас все поразбежались, подались в горы. Нас осталось мало, дело идет туго...

— Дело?

— Ну, канавы. Рытье. Только по ночам и работаем. Хоронимся от соседей. Как бы те чего... Надо найти, пока не нагрянут русские, иначе дело гиблое.

— А откуда вы взяли про клад? — поинтересовался Леопольд. — Кто надоумил?

Я криво усмехнулся, как бы решая, признаваться или нет.

— Это долгая история. У нас тут, в селе, есть один старик. Ему за девяносто. Клад ему приснился во сне, когда он был еще мальчишкой, и с тех пор все так и снится. Он говорит: «Я вижу пять крестов — значит, сначала было пять бадей, полных золота. Четыре бадьи выкопали, когда еще не было на свете наших дедов и прадедов. И оттого один крест я вижу золотой, а четыре — деревянных, почерневших. Четыре заброшенных. Те четыре нашли другие. До нас».

Фон Бальтазар снял каску и отер лоб платком. Грязным, кровавым, пыльным платком.

— Но отчего же вы столько ждали? — спросил он. И, думая, что я не понял, добавил: — Если старику за девяносто, а клад ему снится с детства, отчего вы стали искать его только теперь?

Я улыбнулся, потому что приготовил ответ, который бы его запутал. Я не хотел, чтобы он узнал про Иларию. Как она тоже увидела сон, и как подняла всех нас, и как в ту же, Марьину, ночь почувствовала клад под

лопатой, но, пока подоспел Ликсандру с кайлом, клад, точно стрела, ушел глубоко в землю.

— А это мы после двадцать третьего августа, как узнали про перемирие. До тех пор народ все тянул. А тут Старик сказал: время злое подступает, теперь в самый раз.

— Теперь в самый раз... — задумчиво повторил фон Бальтазар. — Теперь в самый раз, потому что подступает злое время. Время искать клад — мир рушится... Сармизегетуза! — вскричал он вдруг, просияв лицом. — Ты знаешь про Сармизегетузу?

— Как же этого не знать? Учили в школе. Даки, наши предки.

— Однако ж они, когда рушился мир, закапывали свои сокровища. А вы раскапываете, да еще вон когда спохватились...

Я не знал, что на это ответить, и пожал плечами.

— Так Старик сказал. Говорит, надо искать клад, про черный день.

Фон Бальтазар возвел очи горе. На небе как будто бы собирались тучи.

— Ах, Румыния, Румыния! — воскликнул он, глядя поверх наших голов, поверх села, поверх холма. — Что за страна! Что за народ!.. Вы не меняетесь с течением тысячелетий. Пали боги, вас забыл Залмокис, но пращуры все равно правят вами...

Он перевел взгляд на меня. Его глаза молниями вонзались в мои.

— Почему от вас отвернулось счастье? — прогремел он. — Почему опять крах? За что вам эта гибель без времени? — Настоящая ярость сверкала в его глазах. — Вы рухнете во мрак еще на тысячу лет. Во мрак, в пропасть, в бездну...

Он провел рукой по лицу, словно бы подавлял стон. Потом обернулся к Леопольду, обронил с горькой улыбкой:

— Schicksal!*

— Schicksal! — откликнулся тот.

Фон Бальтазар решительно надел каску и снова остановил взгляд на мне — взгляд, обдающий теперь холодом.

— Нам нужны люди, — отчеканил он. — Динамита у нас достаточно, не хватает людей. Нам надо взорвать шоссе на Думбравы. Взорвем мы сами, а вы должны выкопать рвы по краям. Но не такие, как там у вас. Нам нужны рвы глубокие и широкие, против танков.

* Судьба! (нем.)

Я слушал и улыбался. Я завидел его издалека, и от сердца отлегло.

— А вы небось думали, что я его без домовины оставлю? — крикнул он, Василе. Остановился, подбоченясь, и похвастался:

— Я срубил для него сосну. Знатную сосну.

— Кто это? О чем он? — недоумевал Леопольд.

— Сосна для гроба, — объяснил я. — Гроб для Старика. Он при смерти. Ему под сотню лет...

Солдат тарачился на нас всех по очереди, силясь отгадать, что происходит. Я решил помочь ему.

— Sarg, — сказал я. — Ein schöner Sarg für Großvater. Neunzig Jahre alt*.

* * *

Он объявил нам, что ему нужна колокольня — установить там пару пулеметов. При этом он добавил, что, если мы не соберем людей, церковь взлетит на воздух — сначала колокольня, потом клирос, потом царские врата, потом алтарь. Когда я увидел, как на колокольню понесли динамит, я повернулся к батюшке.

— Их взяла, отче. Надо покориться. Вели Ликсандру собирать народ. Раз все равно придется копать, лучше сейчас, пока нет дождя.

Я пошел к дому. В сенях меня ждала Илария. Я ее не узнал. Она была как городская. Я не умел ничего сказать и только смотрел на нее.

— Марин, запомни меня такую, как сейчас видишь, молодую и красивую... — Она тоскливо улыбнулась. — Не знаю, что со мной. Душа замлела, и свет точно померк. А если мне больше не жить, то похороните меня так, как сейчас, в этом платье и с этой ниткой бус...

— Что ты, что ты, помилуй Бог, — перебил я ее, крестясь.

— Ну вот, ты меня увидел, я тебе сказала... — Она осеклась, побледнела, спросила, понизив голос: — Что это?

— Немцы шоссэ взрывают. Динамитом. Говорят, у них приказ — взорвать шоссэ на Думбравы.

Она помолчала, потом взяла папиросу.

— В этом платье, — повторила. — И непременно с бусами.

Я очень хотел сказать ей что-нибудь, но не знал что.

— Когда меня в Констанце расспрашивали, я говорила: сирота я с

* Гроб... Хороший гроб для дедушки. Девяносто лет (нем.).

тех пор, как себя помню, но Бог меня не забыл и послал мне названного брата. Названный, да лучше, чем кровный. Только он теперь на фронте — на фронте в России... — Она вздрогнула. — Что это, Марин?

Я тоже прислушался.

— Пушки,— сказал я озадаченно. — Но не наши. И вроде не немецкие тоже. Похожи на русские.

— Ну вот, я тебе сказала, душу облегчила, а теперь — как Богу угодно. Только запомни хорошенько, в каком платье...

Я вошел следом за ней в горницу и остановился на пороге. Старик лежал тихо, с закрытыми глазами. В изголовье кровати горела свечка. Я вынул револьвер и жестом позвал Иларию.

— Мне надо идти. Чтоб тебе не было страшно, вот, держи револьвер. Только он заряжен, знай. Смотри, поаккуратнее...

— Не то, не то,— отвечала Илария. — Я не боюсь. Ни немцев, ни русских. Просто душа замлела, вот что...

Уже подходя к церкви, я вспомнил, что мы не обсудили, как быть с кладом. Заколебался: возвращаться, нет ли. Прислонясь к единственному оставшемуся грузовику, фон Бальтазар смотрел на меня в упор, но как будто не видел.

— Это русские пушки,— сказал я ему. — Прорезались, давеча их не было.

Он смотрел все так же в упор и сквозь меня.

— Жалко шоссе,— добавил я. — Только отремонтировали.

Он не отвечал, и тогда я, пожав плечами, отошел. На колокольню я не взглянул. Я знал, что они там, с пулеметами и с динамитом.

Грохотали далекие и все равно мощные разрывы. «Двойными порциями начали»,— подумал я. Остановился, вздохнул. Грузовики уехали вверх, за рощу, к Думбравам. Сколько хватало глаз, шоссе было все разбито, разворочено, как после бомбежки.

Я подошел к Ликсандру, сказал:

— Если они разворотят шоссе до Думбрав, то обратно уже пройти не смогут. Значит, отступают. Отступают в горы. Но тогда кой черт они тянули силы к Оглиндештам?

Ликсандру помял рукой лицо и в сердцах сплюнул направо и налево.

— Это ж ты говорил, что русские сюда не пойдут, что они целят на Оглиндешты. А они как раз и нагрянут сюда всей ордой...

Он еще раз сплюнул и взглянул вверх.

— Дождь собирается, — сказал я.

— Теперь давай снова его закапывай. Хорошо хоть, народ взбаламутить не успели. Знает один батюшка. А если б бабы прознали — это когда русские-то идут...

— Да хоть бы и пришли, наши будут за ними, — уверил его я.

Он взялся за кайло, замахнулся было, но раздумал и украдкой огляделся вокруг. Его внуки с учителем копали метрах в пяти-шести от нас, на пашне. Женщины и батюшка — по ту сторону шоссе. Ликсандру поманил меня поближе.

— Ты червонцы видел, Марин? — спросил он вполголоса.

Я помотал головой и скосил глаза на учителя, не слышит ли он.

— А Старик видел?

— Не знаю. Навряд ли. Илария их сразу сунула к нему под кровать, как грузовики услышала.

— Оно и лучше, если не видел, — сказал, помолчав, Ликсандру. — Потому как это не тот клад, что ему сызмальства снится.

Я не понял, и Ликсандру, поиграв кайлом, объяснил:

— Старик бы сразу увидел, что не тот. Перво-наперво он нам говорил про бадью с золотыми, а у нас — глиняный горшок. Потом. Старику сон был еще когда, в прошлом веке. А я как взялся считать червонцы, гляжу — они почти что все новые. Есть девятьсот одиннадцатого года. А один я нашел, греческий, девятьсот тринадцатого...

Я хотел сказать: «Значит, их два, клада...» Но тут совсем близко грохнул артиллерийский залп. Мы все вздрогнули и все обернулись к долине.

— Что это, Марин? — крикнул батюшка с той стороны шоссе. — Что делается?

— Господь милостив, батюшка, — откликнулся я. — Может, какая дивизия на подходе. Может, они хотят через Думбравы зайти к немцам в тыл, когда те станут от Оглиндешт отступать. А что шоссе разбито, не знают.

Батюшка оставил лопату в земле, осенил себя крестом и пошел к нам, с трудом пробираясь по развороченной дороге.

— Застранут они здесь, на нашу голову, — говорил он. — Еще расквартируются...

Все бросили копать, посматривая то на нас, то вниз, в долину. Тогда

заговорили пулеметы на колокольне. Они палили поверх наших голов. Попугать и напомнить, что при них динамит. Потом показались мотоциклисты. Они съехали по тропе вдоль кладбища и теперь, спешившись, шли прямо по пашне, с натугой толкая свои мотоциклы.

— Schnell! Schnell!* — прикрикнули они на нас.

Люди взялись за лопаты. Немцы выбрались на шоссе, оседлали мотоциклы, еще раз крикнули нам «schnell», помахали рукой и покатили вниз, в долину.

— Ничего не понимаю, — пробормотал я, провожая их взглядом. — Что они задумали? Нарвутся же на русских. Или там наши?

Ликсандру распрямил спину, сказал:

— Нет, оно конечно, червонцы всякие хороши. Да только если это не те, что ему снились, он не помрет. Так и будет маяться, сердечный, так и будет, как четыре года уже маятся...

* * *

Мы застали ее у изголовья Старика. Она зажгла ему новую свечку. Батюшка и Ликсандру устало присели на стулья.

— Он больше с нами не разговаривает, — сказала Илария. — Сегодня с утра не вытянула из него ни словечка. Обиделся на нас на всех. И на меня первую...

Батюшка поднялся и подошел к постели.

— Это правда, старый? Ты правда на нас обиделся?

Старик задержал глаза на батюшке, потом молча перевел их по очереди на Ликсандру, меня и Иларию. Мы тоже молчали. Только снаружи дзенькала пила.

— Слышишь? — снова подступил к нему батюшка. — Это Василе. Василе вернулся. Принес для тебя сосну...

— Знает он про Василе, — перебила батюшку Илария. — Я ему еще утром сказала. Впустую.

Она отошла в сторону, закурила и, затянувшись, поглядела на нас с вымученной улыбкой.

— Я хотела как лучше. Думала: и старика утешу на старости лет, от маеты избавлю, и всему миру помогу. Бедность-то какая у нас...

* Быстро! Быстро! (нем.)

Мы не понимали и смотрели на нее во все глаза. Илария вздохнула. Медленно отвернулась к окну.

— Я вам тогда соврала, в Марьину ночь, что чую клад под лопатой. Но я хотела как лучше. Это были мои деньги, имела же я право разделить их на всех. Я их из Констанцы привезла, летом. — Она подошла ко мне, положила руку мне на плечо. — Ты только не подумай, Марин, что я у него была на содержании. Как на духу говорю, при батюшке. Как перед Господом Богом. Я греку не была сожительницей, ни ему и никому другому. У него внуки сгибли, вот он и позвал меня. «Я старик, — говорит, — и я один остался на этом свете. Прими от меня подарок, потому что ты росла в моем доме, пела и смеялась, и я вспоминал молодость. У меня эти деньги не последние, есть еще и дом, и земля, и есть кому меня похоронить. А про червонцы никто не знает. Спрячь их хорошенько...»

Старик слушал напряженно, не шевелясь, но как будто не ее. Как будто он напрягал слух, чтобы расслышать что-то другое, что-то совсем другое.

— Теперь, когда я вам во всем призналась и облегчила душу, я хочу попросить у него прощенья, что сама закопала золото и притворилась, что нашла. Я хочу попросить у Старика прощенья, но не знаю как. Я чувствую, что он на меня обижен и не хочет со мной разговаривать. Я думала, если здесь будет батюшка и если мы его попросим всем миром, он меня простит... Я-то ведь хотела ему помочь. Раз человеку с малых лет снился клад...

Старик приподнял голову, снова обвел нас взглядом, и мы затаили дух, ожидая от него слова. Но он только задвигал руками, ощупывая себя, потом, глубоко вздохнув, с усилием откинул одеяло. Мы обмерли. Он был одет и в новых опинках. Он не обувал их с тех пор, как слег.

— Оставьте его! — крикнула Илария, когда мы бросились к постели. — Пусть делает, что хочет. Довольно мы его мучили.

С ее помощью Старик встал на ноги. Я поразился, как он иссох. Пока он лежал, я думал, что он все такой же рослый, с гордой осанкой. И только теперь стала видна вся его белая борода, закрывающая грудь. Он протянул руку, что-то ища.

— Посох, — прошептал я. — Ищет посох.

Я кинулся и подал ему посох.

— Куда, дедушка? — спросил священник.

Тот словно не слышал. Поддерживаемый Иларией, с посохом в правой руке, неверным шагом он направился к двери. Мне даже показалось, что он прихрамывает, но он просто сильно волочил ноги.

— Чудо Господне! — произнес Ликсандру и перекрестился.

Мы пошли за Стариком. Ноги вели его к церкви. Земля тряслась, и Ликсандру вопросительно обернулся на меня.

— Тяжелая артиллерия, — сказал я.

Завидев нашу процессию, фон Бальтазар заволновался, вылез из кабины грузовика и вышел нам навстречу. Губы его шевелились. Было похоже, что он читает сам себе стихи. Может быть, даже собственные. Он отдал нам честь, поднеся руку к каске и щелкнув каблуками. Сказал:

— Леопольд лопнет от зависти, когда узнает. И никогда мне не простит, что я послал его в Думбравы...

— Это он сам, — как бы оправдываясь, пустился я в объяснения. — Сам встал с постели и потянулся за посохом. Но Илария верно говорит, мы должны дать ему делать, что он хочет.

— Антигона, — определил фон Бальтазар, улыбаясь Иларии. — Или нет, Корделия, ведущая короля Лира. Леопольд сразу бы сказал. Он режиссер. Он бы понял. Он бы знал, как смотреть, как удивляться, как восторгаться...

Женщины тоже заметили нас и потянулись следом, крестясь.

— Куда вы его ведете? — крикнул фон Бальтазар, когда мы миновали церковь. — Вы что, не видите, что он слеп и глух?

— Неправда, — откликнулась Илария, на миг обернув к нему лицо.

Но Старик уже тянул ее дальше. Он шатался, еле передвигал ноги и, наверное, рухнул бы, если бы не Илария. Однако остановиться как будто уже не мог.

— Он зрячий. Он знает, куда идти, только не хочет нам говорить.

— Он же умирает, разве вы не видите? — добавил фон Бальтазар с глубокой грустью.

Илария снова обернула к нему лицо, посмотрела пристально.

— Умирает, — повторил фон Бальтазар. — Но, может быть, так и лучше. Он умрет стоя, как его предки.

— Не помрет, — буркнул Ликсандру. — Нам-то лучше знать. Не помрет.

Фон Бальтазар пожал плечами, усмехнулся.

— Все там будем, — задумчиво проронил он. — Даже боги смертны. Вот и Залмоксис умер.

— Бог не умирает, — отрезал батюшка, не глядя на него. — Истинный Бог не умирает.

— Он был с вами тысячу лет, — продолжал фон Бальтазар. — А потом ушел. Бросил вас. Ушел в свою пещеру и больше уже не вышел. Разве что вознесся на небо, — добавил он, поднимая глаза к вершине горы.

Мы собрались теперь все, сколько нас еще оставалось. Вышли за околицу. Илария хотела направить Старика на одну из тропинок, но он решительно повернул к шоссе.

— Как он может еще помнить, непостижимо, — прошептал фон Бальтазар с внезапной бледностью в лице. — Не видит, не слышит, лишен дара речи, доживает свои последние минуты, а вот же — помнит. Тысячу лет спустя еще помнит...

Дойдя до шоссе, Старик стал шарить посохом. По всей вероятности, искал то место на обочине, откуда велел нам начать рыть канавы. Фон Бальтазар зачарованно смотрел.

— Так будет и с вами. Через тысячелетие мрака вы вспомните. И начнете сначала...

Старик наткнулся на камни, вывороченные и раздробленные ди-намитом, опустился на колени и, протянув руку, стал брать их, один за другим, и ощупывать. Так он дотянулся до края ямы, образованной первым взрывом. Поводил рукой по земле, как будто недоумевая, что это. Медленно поднялся с колен, мотнул головой к нам, потом в другую сторону. Илария вдруг почувствовала, что он весь обмяк, и подхватила его под руки.

— Марин! Пропал наш Старик! — крикнула она. — Пропал и не молвил мне ни словечка. Не простил меня!

* * *

Я наблюдал, как он сноровисто провел грузовик на шоссе, к ямам. Выскочил из кабины и, не выключая мотора, достал из кузова канистры с бензином и стал толкать грузовик сзади. Когда тот опрокинулся на бок, в канаву, он облил его бензином и поджег.

Возвращался он ленивой походкой. Встретясь со мной глазами, улыбнулся.

— Жалко, красивая девушка, — сказал он. — Зачем ты позволяешь ей курить?

— Она долго жила в Констанце, в доме уютного старого грека. Там и приучилась.

Я с сожалением смотрел на пылающий грузовик. Он мог достаться нам.

— Мне кажется, ты угадал, — сказал фон Бальтазар. — Это тоже отвлекающий маневр. Но не слишком удачный, полагаю. К этому часу мы уже давно должны были вызвать огонь на себя.

Я обратил его внимание на снаряды, которые по временам падали примерно в километре от околицы. Он только пожал плечами.

— Это чепуха. Минометы. Если бы они поверили, что мы хотим принять бой в Думбравах, они бы направили массированный огонь на шоссе, за рошу. — Он махнул туда рукой. — А она очень хороша. Илария — так, кажется, ее зовут?

— Илария, да.

— Илария, — повторил он с улыбкой. — Красивое имя. Но ей не подходит. Слишком она грустна.

Я сделал вид, что не понял, и снова уставился на грузовик.

— Когда вы отступаете? — вдруг решился я. — Мы хотим перенести его в церковь. К ночи гроб будет готов, и мы хотим перенести его в церковь. Но если в звоннице динамит...

— Мы вытащили запалы, — перебил меня фон Бальтазар. — Нет никакой опасности.

— А если оттуда начнут стрелять из пулеметов? — настаивал я.

— Кто начнет? — спросил он со смешком. — Патруль давно ушел. Всей колонной. Теперь они где-нибудь в лесу. Если им повезет, доберутся до Думбрав.

Я глядел на него, стараясь осмыслить сказанное.

— Да, я остался один, — подтвердил фон Бальтазар. — Хочу посмотреть, как далеко может завести отвлекающий маневр, если он дурно подготовлен.

— Тогда зачем вы еще и мотоциклистов вниз послали? Загубили напрасно.

— Не напрасно. Хоть кто-то останется цел. Хоть один. У него будут добиваться информации, и он ее даст. Ложную, понятное дело. Сосредоточение в Думбравах и прочее.

Снаряды все падали, некоторые совсем близко от шоссе.

— А может быть, ни один не уцелел, — задумчиво продолжал фон Бальтазар. — Или же уцелел, а его не стали допрашивать. Или же стали, но не поверили...

Он, встряхнувшись, повернул обратно к селу. У церкви его поджидали Ликсандру с внуками и кучка женщин.

— Нашли себе рабов! — выкрикнул Ликсандру, опираясь на кайло. — Почему мы должны на вас копать? Вы даже женщин в ярмо впрягаете, как скотину! — Он бешено сплюнул в обе стороны, потом указал на колокольню. — Даже церковь не пощадили. Полезли с пулеметами в святую обитель. В звонницу наклали динамиту!

Фон Бальтазар слушал белый как мел, оцепенев, вытянувшись чуть ли не во фрунт. Вдруг он вскинул руку к каске, отдавая честь, потом снял портупею с револьвером и, ни слова не говоря, протянул Ликсандру. Видя, что тот ошеломлен, вмешался я.

— Возьми у него револьвер, — сказал я, — Он сдается нам в плен. Теперь он пленный.

— Больно много чести, пленный, — пробурчал Ликсандру. — Не ему решать...

Впервые фон Бальтазар улыбнулся под взглядом Ликсандру.

— Смерть где угодно прекрасна и непостижима, — сказал он. — Но если посчастливится умереть перед церковью...

Ликсандру еще раз кольнул его взглядом и зашагал к дому. На правую руку он повесил портупею, кайло закинул на плечо. Фон Бальтазар долго провожал его глазами. Снял каску, повертел в руках, поискал глазами, куда бы ее зашвырнуть. А зашвырнув, подошел ко мне.

— Не знаю, приходилось тебе такое испытывать или нет. Я бы не назвал это страхом смерти. Но каждое утро я говорю себе: может быть, это случится здесь. Может быть, здесь — то самое место.

Его глаза затуманились, на губах заиграла улыбка. Я не знал, что он завидел приближающуюся Иларию.

— Когда мы пришли сюда сегодня утром и наткнулись на окопы, я сказал Леопольду: «Мне нравится село, потому что рядом роща. И церковь нравится — большой будет грех, если придется ее взорвать. А вот окопы не нравятся. К чему они здесь? Что-то в них есть зловещее, даже что-то дьявольское. Здесь бы я не хотел умереть. Слишком много свежих

ям... Счастье, что вы рассказали мне про клад,— добавил он.— Я стал спокоен.

Он улыбнулся, глаза в глаза с Иларией.

* * *

Уже смерклось, когда мы принесли его в церковь. Внизу, над долиной, зажглось и заполыхало зарево.

— Сейчас бы дождичку,— сказал учитель.— Чтоб огонь не растекся.

Снаряды падали теперь за рощу, осыпая шоссе на Думбравы. Я по временам выскакивал из церкви посмотреть, как обстоят дела. Доходил до кладбища, а возвращался окопами, на случай, если они вдруг изменят направление стрельбы.

— Ты что ушла с бдения? — сказал я, увидев ее на обочине дороги, на камне.

— Мы пробудем с ним всю ночь,— отвечала Илария, не глядя на меня.— Все. Батюшка сказал, чтобы мы все были на бдении. Если сначала войдут русские и застанут нас всех в церкви, может, они нас не тронут.

— Одни они не придут,— успокоил ее я.— Разве что...

— Марин! — Она не дала мне договорить, порывисто вскочив и хватая меня за руку.— Не убивайте его, Марин, пожалуйста, он такой молодой.

— Он пленный,— сказал я.— Как мы можем его убить?

— Давай переоденем его во что-нибудь наше и спрячем, переждать всю эту напасть.

Она понизила голос, потому что увидела его. Он тоже шел по тропинке вдоль кладбища. Поравнявшись с нами, всмотрелся в железный крест на моей груди.

— Ты бы лучше снял,— заметил он.— Теперь он ни к чему.

— Раз сам не отцепился, я его трогать не буду...

Фон Бальтазар хотел что-то возразить, но сдержался и только взглянул на меня с горечью.

— До чего же мне обидно, что я не умею писать стихи по-румынски. Сколько раз пробовал — не выходит. Пробовал даже сам свои стихи переводить, но получается не то. Как будто это уже не мое. Обидно.

Он смолк, заглядевшись на зарево над долиной.

— Я ему сказала,— заволновалась вдруг Илария.— Я ему сказала, он

говорит, что ты пленный, тебя нельзя убивать... Мы тебя переоденем, мы тебя укроем...

Фон Бальтазар, вспыхнув, резко вскинул на нас глаза. Он был в ярости, но и на этот раз сумел овладеть собой.

— Если они хотят меня убить, они в своем праве. В своем праве, потому что я не пленный. Гражданские лица не могут брать пленных. Я в плен не сдавался. Я отдал себя на их волю, я объявил себя добровольной жертвой... Впрочем, мне ничего другого не оставалось, — добавил он задумчиво. — Расстреляй они меня на месте, это не было бы преступлением.

— Но Марин говорит, они тебя не тронут, — робко проронила Илария.

Фон Бальтазар посмотрел на нас обоих с нежностью, пожал плечами.

— И все же мне жаль, что я не пишу стихов по-румынски. Было бы отлично: вы бы послушали и узнали меня... Если я умру здесь, ямы уже готовы. Окопы. Останется только закопать. Пусть. И все-таки жаль...

— Марин говорит, что тебя не убьют, — повторила Илария. — Тебя не убьют.

— Жаль, очень жаль, — продолжал, словно грезя наяву, фон Бальтазар. — Жаль, потому что вы так и не узнали и никогда не узнаете, как я вас понимаю. Кроме поэтов, вас никто не понимает. Надо испытать на себе немилость судьбы, чтобы понять вас. Она была немилосердна к вам три тысячи лет назад, потом тысячу лет назад. И на этот раз вам нет пощады. Но память вернула вас к началу начал. И вот так же вы начнете сначала еще через тысячу лет и снова вспомните. Все, о чем мы говорим с вами сейчас, и все события сего дня, и все зло, что я вам причинил, все это вы припомните и начнете с самого начала.

— Теперь ты пленный, — прошептала Илария. — Мы тебя простили.

— Такова же и участь поэта, — продолжал фон Бальтазар, отвернув лицо к долине. — Пробуешь — не идет, снова пробуешь — и снова не идет, а ты упорствуешь и опять начинаешь с нуля. И каждый раз вспоминаешь все, на чем споткнулся, и все, что тебе не удалось, и все, чем ты замарал себя. Вспоминаешь и даешь себе еще одну попытку. И еще одну. И еще, и еще. Как это делаете вы. Не ропща, без усталости. Но храня память обо всем, через что вы проходили, обо всех поражениях, обо всех унижениях, обо всех изменах.

Мы оба вздохнули, и фон Бальтазар рывком повернулся к нам.

— Пройдет тысяча лет, и ваши потомки снова вспомнят про клад, что вы искали, и снова начнут поиски. Они тоже перероют землю канавами. И тогда припомнят меня и Леопольда, как мы в одно прекрасное утро вторглись в ваше селенье и принудили вас копать по-нашему. Не канавы — окопы. Рвы, чтобы в них застряли танки. Припомнят все то зло, что я вам причинил, и проклянут меня. Только вы еще умеете проклинать. И я не найду успокоения. Минет тысяча лет, а я успокоения не найду...

Илария медленно пошла к нему. Я опустил глаза и понуро зашагал обратно к церкви.

Горели в два ряда свечи, и лежащий между ними Старик казался спящим. По обе стороны, на клиросе, в полудреме сидели женщины, подперев голову руками. Я вдруг понял, что устал. Прислонился к стене и закрыл глаза. Камень стены был холодный, холоднее, чем в пещере, и я чувствовал, как щиплет меня холод, точно затем, чтобы разбудить. Я очнулся и стал протирать глаза.

— Идут! — крикнул кто-то с улицы. — Русские идут!

Я сорвался с места и побежал. Трудно было сообразить, который час. Издали завидев на шоссе колонну, я поднял руку и закричал:

— Brat! Brat! Ia govoriu po russki! — Я бежал к ним с поднятой вверх рукой, не переставая кричать: — Brat! Rumunski! Zdies niet Niemetzi!

Потом остановился перевести дух.

— Окстись! — крикнули мне в ответ. — Свои! Русские идут на Ог-линдешты.

Я вздохнул с облегчением, впору было перекреститься.

— Это шоссе на Думбравы? — спросил меня младший лейтенант.

— Оно самое, только его немцы сегодня с утра — динамитом... — отвечал я, кивая на то, что начиналось в нескольких метрах от нас, разбитое, развороченное, и добавил: — Аидти туда нет надобности. Вы их в Думбравах не найдете. Они мне сказали, что это отвлекающий маневр.

Младший лейтенант усмехнулся и прошел мимо, сделав знак полку следовать за ним.

— Это такой у них был маневр — взорвать нам шоссе! — надсадно кричал я вслед. — Такой маневр, чтоб им вовеки Божьей помощи не видать!

Когда зарядил дождь, мы все реже стали выходить из церкви. Старухи тихонько причитали у изголовья покойного, за восковыми свечами. Батюшка, учитель, Василе, все прочие подремывали на клиросе.

Сколько бы раз я ни выглядывал, они стояли рядом под ореховым деревом у церкви. Я уже ни о чем не спрашивал, только улыбался им, проходя мимо. «Мне надо смотреть в оба, — говорил я себе. — Я тут один хоть сколько-нибудь говорю по-русски. Может, наши просто не знали. Может, русские тоже поднимаются следом сюда».

Но усталость наконец меня одолела, и когда один из Ликсандровых внуков сказал, что вроде слышен танк, я сразу не понял. Если бы я понял, я бы выбежал и крикнул, что шоссе разбито. Но я понял, только когда танк уже провалился в окоп.

— Еще загорится, а там люди! — бросил я, пробегая мимо них.

Я услышал, как они оба пустились бегом за мной. Потом услышал топот многих ног. Бежали и Ликсандру с внуками, и учитель, и батюшка.

Танк слепо и натужно пытался выкарабкаться из окопа. Метрах в десяти от него на шоссе остановился другой. Я заметил и полк, шедший обочиной. Я хотел было крикнуть: «Подождите, мы вам сейчас поможем!» — когда вдруг заговорили пулеметы со звонницы. Я в ужасе обернулся и увидел фон Бальтазара. Он окаменел, не сводя со звонницы глаз. В тот же миг из танка ответили огнем, а потом раздались автоматные очереди пехоты.

Я бросился на землю и крикнул им:

— Ложись! Все на землю!

Фон Бальтазар остался стоять, прикованный взглядом к церкви, а рядом с ним — Илария, точно не слыша, точно не понимая, что происходит.

— Ложись! — завопил я.

И тогда увидел, как они оба осели на землю, неподалеку от края окопа. Я подполз, боясь дышать.

— Илария! — крикнул я, хватая ее руку. — Илария!

— Он сказал, что с ним всё, — прошептала она. — Что место — здесь. Она была теплая, и открытые глаза смотрели на меня. Но я уже знал.



ПЕЛЕРИНА

I

Он приметил его издалека — по той же короткой допотопной пелерине с двумя симметричными заплатками на плечах, вызывающе нашитыми как бы вместо эполет. Теперь-то Пантелимон знал, что такой формы — пелерина с эполетами — в румынской армии не было.

«По крайней мерев этом веке, — заверил его Улье-ру. — Разве что в далеком прошлом, в какую-нибудь там феодальную эпоху... — И после короткого молчания продолжил: — Вот если бы доказать, что заплаты *на самом деле* прикрывают следы эполет, — доказать, как положено, по науке, современными методами, тогда, конечно... — Он еще помолчал, буравя Пантелимона взглядом. — Вы давно знакомы?» — «Давно? Да я вообще с ним незнаком. Понятия не имею, кто это такой и как его фамилия. Я вам доложил, потому что мне бросились в глаза заплатки. Я же говорю: пришиты точь-в-точь где эполеты...» — «Подозрительно, — кивнул Улье-ру. — И если доказать как следует, по науке, это было бы весьма и весьма. Понимаешь почему?...» Пантелимон озадаченно пожал плечами. «Нет, — признался он, — не понимаю». — «Да потому что тогда пелерина *наверняка* краденая. Из музея вооруженных сил... Так незнакомы, говоришь?..» — протянул он раздумчиво. «Я и видел-то его всего раз, у большого продуктового на Мэтэсарь, вход Б. Он выходил, я входил. Шел за колбасой».

...На этот раз Пантелимон замедлил шаг, чтобы получше разглядеть пелерину. Нет, он не ошибся: заплаты, выкроенные по мерке эполет, красовались на подобающем им месте. То ли его пристрастный взгляд, то ли

невольная улыбка подействовали на старого человека в пелерине поощряюще, потому что он вдруг остановился.

— Простите, пожалуйста, вы не подскажете, который сейчас год?

— Девятнадцатое мая, — машинально ответил Пантелимон.

— Ах нет, вы меня не поняли. Что девятнадцатое мая, это я знаю. А вот год? Год какой сейчас?

Пантелимон слегка посторонился, пропуская женщину с ребенком.

— Шестьдесят девятый, — пробормотал он. — Девятнадцатое мая тысяча девятьсот шестьдесят девятого года.

— Так я и думал! — воскликнул старик. — Позволю себе даже сказать, что был уверен: шестьдесят девятый. И тем не менее некоторые придерживаются другой точки зрения. Представьте: есть люди, которые утверждают, что сейчас — шестьдесят шестой! И не только люди — газеты! Я прочел их внимательнейшим образом и вынужден признать: газеты действительно были за март, апрель и май шестьдесят шестого года.

— Не понял, — сказал Пантелимон с кривой улыбкой.

— Вы уж мне поверьте, — продолжал старик, как-то особенно молодцевато встряхивая своей пелериной. — Я человек серьезный, здравомыслящий. Но перед лицом фактов, то бишь газет, я был вынужден склониться...

— Да каких газет? — недоумевал Пантелимон.

— Наша самая популярная газета, «Скынтейя»*. Я начинаю с нее день. Сегодняшний утренний номер прочел от заголовка до телефона редакции.

— Ну и что? — Пантелимон занервничал, видя, что вокруг них собирается народ. — Я тоже прочел и тоже не пропустил ни строчки.

— Положим. Но газета, о которой я говорю, свидетельствует, что сейчас идет май шестьдесят шестого года!

— Старый номер небось попался, — вступил в разговор парень в берете, натянутом до бровей.

— Видите ли... — собрался ответить старик, снова встряхнувши пелериной так, будто хотел собрать все складки на спине.

— В чем дело? — вмешался кто-то, дымя сигаретой и протискиваясь поближе к Пантелимону.

* «Скынтейя» [искра — (рум.)] — орган коммунистической партии Румынии.

— Вот тут товарищ утверждает, что сейчас шестьдесят шестой год...

— Прошу прощения, товарищ, я этого не утверждал. Я только позволил себе спросить, какой сейчас год. А точнее: я хотел убедиться, что не ошибаюсь, считая, что год сейчас — шестьдесят девятый, хотя...

— Хотя что?

Спрашивающий вынул изо рта сигарету, и в его голосе зазвучал металл.

— Хотя, повторяю, газета, которую я читал не далее как сегодня утром, свежая «Скынтейя», была датирована девятнадцатым мая шестьдесят шестого года. И такое не первый раз. Три дня назад и два раза на прошлой неделе, и еще раньше, весь апрель, номера «Скынтейи», которые я вынимал из ящика, были шестьдесят шестого года...

— Бывает, — сказали в толпе. — У меня приятель в Слатине, он мне тоже такие показывал, я их видел собственными глазами. Свеженькая «Скынтейя», и вся — шестьдесят шестого года.

— Провинция, — заметили в ответ. — Слатина — красивый город, но провинция есть провинция...

Вокруг захихикали. Пантелимон почувствовал на плече чью-то руку и обернулся. Старик улыбался ему со значением.

— Неплохо бы и вам поспешить в Слатину, — сказал он. — Может быть, вы снова окажетесь в шестьдесят шестом году, и тогда ...

Но, уловившись о взгляд Пантелимона, который жадно затягивался сигаретой, конфузливо смолк.

— Что вам неймется! — сквозь зубы процедил Пантелимон, давя каблуком окурочку. — Дурью маетесь. Занялись бы лучше делом...

II

Когда полчаса спустя он выходил из магазина, от стены отделился человек.

— Ну, Пантелимон, давно знаком с Зеведем?

Пантелимон тяжело сглотнул и переложил сверток в другую руку.

— Вообще незнаком. И понятия не имел, что его фамилия Зеведей. Он мне попадался пару раз на глаза, и я обратил внимание: пелерина, да еще с заплатами на месте эпюлет. А шеф, товарищ Ульеру, говорит: в ру-

мынской армии пелерин с эполетами не было. Поэтому подозрительно... Разве что в эпоху феодализма...

— Ты это брось с эпохой феодализма, — обрезал его человек. — Ты говори, почему подозрительно.

— Потому что, как говорит товарищ Ульеру, если бы можно было доказать по-научному, каким-нибудь методом, — если б доказать, что заплатки пришиты на месте эполет, тогда, значит, пелерина наверняка краденая. Из музея вооруженных сил.

— Ты мне лапшу на уши не вешай, — оборвал его человек, доставая пачку сигарет. — Еще музей вооруженных сил приплел... Давно знаком с Зеведем?

Пантелимон поиграл свертком, но тут же опамятовался и прислонился к стене.

— Я же говорю: знаком полчаса. Шел в магазин за колбасой, а он меня остановил и спрашивает: «Простите, пожалуйста, вы не подскажете, который сейчас год?» А я ему... — Пантелимон мотнул головой и усмехнулся. — Я не понял, я думал, он спрашивает, какое сегодня число, и ответил: девятнадцатое мая. А он мне: нет, говорит, что девятнадцатое мая, это я знаю. А год? Который сейчас год?..

— Который сейчас год... — повторил человек с ухмылкой. — И ты ничего не заподозрил?

Пантелимон вжался в стену.

— Я подумал, что он или не в своем уме, или...

— Или — что? Ты к чему клонишь? Тебе кажется, дело нечисто? Пахнет аферой — это ты хочешь сказать?

— Ну, в общем, вроде этого, а может... в общем, вы лучше меня понимаете, что я хочу сказать.

Человек снова ухмыльнулся и не спеша сунул в рот сигарету.

— Но почему шестьдесят шестой? — спросил он с внезапным, строгим прищуром. — Тебе не показалось подозрительным, что Зеведей напирал на шестьдесят шестой, а не на какой-нибудь другой год, к примеру на пятьдесят шестой или шестидесятый?

— Нет, — оробев, признался Пантелимон. — Вот когда вы мне это сейчас подсказали, я тоже вижу: подозрительно. Потому как, в самом деле, почему шестьдесят шестой?

Человек рассмеялся.

— Вы нас за дураков-то не считайте, товарищ.

Пантелимон побледнел и залепетал с жалкой улыбкой:

— Я? Как я могу вас считать за... за кого вы говорите? Да я...

Но тут он осекся, увидев, что к ним рысцой приближается парень в берете, натянутом до бровей.

— Вышел из дому, — запыхавшись, прохрипел он. — Пять минут назад.

— Из номера тринадцать?

— Нет, из тринадцать-бис.

— Значит, снова он тебя провел. Говорил же я тебе, что в тринадцать-бис... ну да ладно, пока время терпит... Откуда ты взял про музей вооруженных сил? — Последняя фраза целила в Пантелимона.

— Я... Я ничего не брал...

— Товарищ Пантелимон, — раздельно выговорил человек, — не скрою, сердце у меня доброе, однако...

У Пантелимона поникли плечи.

— Наш шеф, административный директор, товарищ Ульеру, привлек мое внимание к тому, что... что, если по-научному, современными методами... если на месте заплат...

— Это я от тебя пятый раз слышу. А музей вооруженных сил тут при чем?

— Так ведь товарищ директор, товарищ Ульеру, сказал, что дело серьезное, потому что музейный экспонат. Ну, получается, что экспонат украден. Из музея вооруженных сил.

Человек отнял от губ сигарету и стряхнул пепел прямо перед носом Пантелимона.

— Ага, это ты раскумекал, а почему шестьдесят шестой — нет? Зеведей-то ведь говорил: шестьдесят шестой. Не шестидесятый и не пятьдесят шестой!

Он опять сощурился и процедил сквозь зубы:

— Совсем нас за дураков считаете, товарищ!

— Я, товарищ? — воскликнул Пантелимон, прижимая к груди свободную от колбасы руку.

— Именно вы, товарищ! — И отвернулся к парню в берете. — Что у нас со Слатиной? Он там фигурирует?

— Это по секции Фэинару. Вроде бы смахивает на сентябрьское дело.

— Так, так...

— Вот и Фэинару про то же. Дескать...

— Все. Понял! — отрезал человек, грозно глядя ему прямо в душу.

III

Как всегда, за несколько минут до обеденного перерыва Пантелимон вышел из лаборатории, чтобы подняться к Ульеру. Но у лифта его встретила молоденькая секретарша.

— Зря проездите, его сегодня не будет. — И с улыбкой добавила: — Дела. Двадцатого мая, двадцать первого мая и так далее...

Пантелимону показалось, что секретарша пытается подмигнуть ему левым глазом, и он покраснел, озадачась.

— А! — сказал он и пошел было обратно. Но отошел недалеко, вернулся и спросил, понизив голос: — А что — двадцатое и двадцать первое мая? Какие-то даты?

Секретарша посмотрела на него с ужасом и — на этот раз Пантелимон уже не мог сомневаться — в самом деле подмигнула ему левым глазом.

— Зависит от места, — сказала она. — В некоторых провинциальных городах двадцатое мая важнее, чем двадцать первое...

— В провинциальных! — оживился Пантелимон. — Любопытная вещь! Вчера вечером я как раз думал о провинциальных городках. Сам не знаю почему. Слатина, например...

Будто не слыша, девушка кивнула и показала ему спину.

На другой день Пантелимон расположился на обед прямо в лаборатории. Достал сверток с закусками и приладил было открывалку к пиву, когда в дверях появился Ульеру.

— А, уже вернулись! — радостно приветствовал его Пантелимон. — Тогда пошли в столовую.

Но, поскольку Ульеру молчал, меряя его взглядом, он все же откупорил бутылку и протянул ему стакан с пивом.

— Как ты проведаль, что я был в Слатине? — спросил Ульеру, отхлебнув глоток-другой.

Пантелимон оторопел.

— Вы были в Слатине? Убей меня Бог, если я об этом знал!

— Тогда почему ты сказал секретарше, что твой любимый город — Слатина? Почему именно Слатина, куда меня как раз посылали? Да еще с инспекцией, это я тебе признаюсь, как другу, потому что доверяю.

Пантелимон выпил свое пиво и сел.

— Начнем с того, что я не говорил, что Слатина — мой любимый город. Я его знать не знаю. Я в жизни не был в Слатине. Я сказал только, что накануне, не знаю почему, думал о провинциальных городках. К примеру, о Слатине.

— Все-таки о Слатине! — Ульеру упорно смотрел ему в глаза.

Пантелимон пожал плечами.

— Может, из-за него... я не успел вам сказать... Третьего дня я снова встретил у продуктового того типа в пелерине, ну, вы помните... Типа, про которого вы говорили, что если бы можно было точно доказать...

Ульеру на цыпочках подкрался к двери, рванул ее на себя, осторожно высунул голову в коридор, покрутил ею направо и налево. Потом вернулся и уселся на стул.

— По-моему, он сдвинутый, — продолжал Пантелимон.

— Ты что, с ним поговорил?

— Поговорил — сильно сказано. Было не до того, потому что... Ну да это целая история.

— И он тебе что-то сказал про Слатину?

— Не то чтобы он. Там, вокруг нас, собралась целая толпа, и кто-то вякнул, что в Слатине выходит «Скынтейя» за шестьдесят шестой год. Вместо, скажем, девятнадцатого мая шестьдесят девятого на ней стоит девятнадцатое мая шестьдесят шестого. Вот так вот...

Слушая, Ульеру промокал лоб платком. Потом, в смущении сунув платок в карман, стал потирать руки.

— Да, это весьма и весьма, — пробормотал он наконец. — Втянул ты меня — верю, что без злого умысла, но ты нас обоих втянул в историю, и как мы выкарабкаемся, одному Богу известно.

— Что ж тут такого уж весьма? — заволновался Пантелимон.

— То и весьма, что этот крайне подозрительный субъект в пелерине завел речь о газетах шестьдесят шестого года.

— А что там было особенного — в шестьдесят шестом?

Ульеру сорвался с места и снова выглянул в коридор.

— Лады, лады! — крикнул он и помахал рукой. Потом подвинулся со

стулом поближе к Пантелимону и зашептал: — Надо потише, Петреску Два вернулся проверять аппараты... — Он глубоко перевел дух. — Что такого особенного в шестьдесят шестом году? Особенное — не особенное, но в любом случае в шестьдесят шестом было наверняка лучше, чем сейчас, в шестьдесят девятом. И если, сам понимаешь, люди читают газеты за май шестьдесят шестого, тогда как, по сути дела, идет май шестьдесят девятого, налицо подрывной акт... угроза строю... — Он на мгновение смолк, повернув голову к двери, предупреждающе поднял палец и продолжал на повышенных тонах: — Это направлено на подрыв нашего социалистического строя! На каждом предприятии — саботажники! И что тут удивляться! Классовый враг не откажется от привилегий, которые партия и народ по праву...

Дверь распахнулась, и с протянутым портсигаром вошел Ионикий Петреску.

— Знаю, знаю, что не курите, это я так, вас испытываю... Как идет следствие, товарищ Ульеру?

— Какое следствие? — отвечал Ульеру, стараясь придать лицу неприличное, почти скучающее выражение. — Я ездил с инспекцией. Все идет согласно плану.

Ионикий Петреску иронически улыбнулся:

— И при всем при том они не поставили нам и двадцати процентов заказа.

— Поставят, все поставят согласно плану, — скороговоркой сказал Ульеру, вставая. — Однако неплохо бы пообедать. Схожу в столовую, сухоматка не для меня.

— Сегодня фасолевая похлебка, — не переставая улыбаться, сообщил Петреску.

Он выждал несколько минут, рассеянно поигрывая портсигаром, потом, не глядя на Пантелимона, обронил:

— А я и не знал, что ты знаком с Нэстасе...

— Нэстасе? Кто это? Что-то не припомню, — задумчиво отозвался Пантелимон, разворачивая сверток с закусками.

— У вас с ним вчера был большой разговор, близ продуктового на Мэтэсарь. Имей в виду, очень способный кадр. И цельная натура. Ему можно безоговорочно доверять... Однако, — добавил он, вскидывая на Пантелимона глаза, — поскольку мы тут без свидетелей, могу тебе сказать, что ты его разочаровал.

— Я? — так и обомлел Пантелимон.

— Ты, ты. Ты вел себя с ним так осторожно, как с чужим. Не счел нужным рассказать о своих отношениях с Зеведем: давно ли ты его знаешь и прочее...

Пантелимон проглотил ком в горле и, схватив стакан, из которого отпил Ульеру, опрокинул его одним духом.

— Если жажда мучает, перейдем ко мне. У меня всегда припасена бутылочка холодного пивка.

— Нет, спасибо, не мучает. Но поскольку речь зашла про товарища Нэстасе и про субъекта в пелерине...

— Такой уж у него бзик, у Зеведея, — перебил его Петреску, — ходить в полковничьей пелерине. Своего родного дяди.

— А товарищ Ульеру подозревал, что она краденая. Из музея вооруженных сил.

— Нет, не краденая. Его дядя служил полковником в австро-венгерской армии. Он умер в преклонном возрасте, далеко за девяносто, под конец войны. А Зеведей любит всякие выкрутасы: ему лишь бы выделяться из народа, и он ничем не брезгует.

Пантелимон слегка осмелел и принялся раскладывать сыр и колбасу на пластмассовой тарелке.

— То есть он как бы сам себя записывает в классовые враги...

— Вот-вот, — подтвердил Петреску, раскрывая портсигар. — Его право.

— Его право? — оторопел Пантелимон. — Это в нашем-то, социалистическом обществе?

— Он так считал. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ты же знаешь, он отсидел пятнадцать лет. Пятнадцать лет, как один день, пока не реабилитировали.

Пантелимон, сунувший в рот кусок «Паризера», судорожно жевал. Ионикий Петреску, с улыбкой выдержав паузу, продолжил:

— А если человека реабилитировали, нет никакой возможности арестовать его за то, что он носит старую дядину пелерину... Но ты сам видишь: он никак не угомонится. Нэстасе прав, бывают такие типы: как их жизнь ни учит, они никак не угомонятся.

Пантелимон, слушая, светлел лицом.

— Вот почему он спрашивал, который сейчас год!

— И вот почему ты разочаровал Нэстасе своим отпирательством.

— Я? — не без труда воскликнул Пантелимон, успевший снова набить рот.

Петреску смачно рассмеялся и вдруг выщелкнул из портсигара сигарету.

— Была не была, одну, заграничную, с фильтром, припасал на торжественный случай... Да, ты, — уже спокойнее подтвердил он. — Тебе совсем не идет роль наивного простофили. Мы все тебя прекрасно знаем. И ценим как способный кадр, надежный и с большим будущим.

— Я не понимаю, — сказал Пантелимон. — Убей меня Бог, если я понимаю, на что вы намекаете.

— Ты ему отвечал так, как будто не был раньше знаком с Зеведем.

— Так я и не был...

— Позволь, позволь, — осадил его Петреску с предупреждающим жестом. — Во-первых, как будто ты с ним незнаком, а во-вторых, как будто ты не понимаешь, при чем тут шестьдесят шестой год.

— Вот теперь понял! — просиял Пантелимон. — Шестьдесят шестой — это, наверное, год, когда его реабилитировали...

Ионикий Петреску помолчал, сверля его взглядом, попыхивая сигаретой.

— Да, надо отдать тебе должное, играешь ты мастерски... Твое право, — добавил он, вновь обретая улыбку. — Но если ты запомнил, я напомню. Зеведея выпустили в шестьдесят четвертом, когда и всех. Это знают даже дети...

IV

Как всегда в девять, когда соседи включали телевизор, Пантелимон только уперся в стол локтями, заткнул пальцами уши и не оторвался от учебника. Встречая иностранное имя, он усердно его скандировал: «Да-вен-порт. Знаменитый английский физиолог Джон А. Давенпорт... Да-вен...»

В дверь постучали условным стуком — пять раз с паузой после третьего, — и он поспешил открыть.

— Пора тебе жениться, ты же у нас перспективная молодежь, — с по-

рога сказал Ульеру. — Завели бы себе телевизор, смотрели бы, как все люди, девятичасовую программу... — И, понизив голос до шепота, предложил: — Пошли пивка попьем.

Когда они пересекли бульвар, Ульеру спросил:

— Что тебе говорил Петреску-Два после моего ухода?

Внимательно выслушал ответ, незаметно озираясь, не идет ли кто следом. Потом остановился и глубоко перевел дух.

— Значит, кое-что ему известно. Две вещи по крайней мере. Во-первых, что в Слатине волнения после взрыва на красильной фабрике. А во-вторых, к чему пришло следствие...

Он прикусил язык, поймав в поле зрения открытое окно на третьем этаже. Пантелимон проследил его взгляд, после чего они дружно сорвались с места.

— То есть? — осмелился наконец спросить Пантелимон.

— То есть что в ходе следствия было раскрыто, откуда взята краска, которой еще две-три недели назад печатали фальшивые номера «Скынтейи» — за февраль и март шестьдесят шестого.

— Получается, что Зеведей не врал! — воскликнул Пантелимон.

— Говори потише, — напомнил Ульеру. — Да, не врал этот твой... Фальшивые номера существуют, я их сам видел. В Слатине и видел.

— Ну и?.. — с замиранием сердца выдохнул Пантелимон.

— Дело темное. Мне же всего не скажут. Что сказали, то знаю: заговор. Крупных масштабов и дьявольски хитро организован. Угрозидло же нас так влипнуть! — Он шагнул к краю тротуара и яростно плюнул на мостовую. — Вот влипли! Я — что меня послали в Слатину. Ты — что обратил внимание на эту дурацкую пелерину и попал в лапы к Нэстасе. Теперь хоть в лепешку расшибись, мы под подозрением. Петреску-Два — видал? Он когда-нибудь заглядывал к тебе в обед, ни с того ни с сего?

— Вроде нет.

— Это потому что он меня засек, когда я высовывался в коридор... Пантелимон, глядя под ноги, долго напряженно думал.

— Однако в чем же суть заговора, никак что-то в толк не возьму...

— Вот и я никак. Те, кто сравнивал настоящие газеты шестьдесят шестого года с фальшивыми, говорят, что тексты *почти полностью* совпадают. Если и есть различия, то незначительные, и много опечаток, гораздо больше обычного.

— Ну и?

— Ну и говорят, что заговор. Пока что идет работа по выявлению тех, кто получает эти фальшивые экземпляры. Они поступают с утренней почтой, наряду с нормальными. Но народ же знаешь какой ушлый: кто припрячет, кто уничтожит... Хотя, с другой стороны, — вспомнил он, — в некоторых городишках ими торгуют на черном рынке...

Они тщательно ощупали скамейку, сухая ли, и, удостоверившись, в молчании сели.

— Нет, интересно, просто невероятно интересно, — пробормотал Пантелимон себе под нос. — Я хочу сказать, интересный заговор... — Его голос окреп. — Воспроизводят «Скынтейю» трехгодичной давности, но не забывают поставить на ней дату, чтобы сразу было видно, что фальшивая...

— Я тоже так рассуждал. И тем не менее, если заговорщики имели в виду опутать всю страну, они не могли бы найти более верную сеть, чем орган самой партии.

Пантелимон покачал головой.

— Положим. Но теперь-то, когда они засветились, шансы у них нулевые. Теперь ни одного экземпляра не пропустят на рассылку без контроля.

— Нереально за ночь проконтролировать весь тираж — десятки тысяч экземпляров как-никак. Это парализовало бы распространение газеты... Кроме того, фальшивки появляются нерегулярно: то два-три дня подряд, то простой на целую неделю...

Он вдруг смолк, вперил глаза в бортик тротуара, нервно потер руки, потом сказал:

— Женился бы ты, обзавелся семьей, купил телевизор. Пока молодой. А то будешь как я. — Устало вздохнул и повернул лицо к Пантелимону. — Все, что я тебе тут говорил, я не в Слатине узнал, а от Нэстасе, только что. Он сам ко мне явился и все выложил. На откровенность бил. Ну я и раскололся. Начал-то он издавека, а потом как стал про тебя пытаться: с каких пор знакомы, то, другое... А на прощанье сказал, что ждет тебя завтра у себя в конторе, перед обедом... Ты только не волнуйся: если он тебя задержит, он сам позвонит, куда следует...

V

Снова все утро моросило. Выйдя на улицу, Пантелимон с удовольствием осмотрел небо, поднял воротник плаща, надвинул берет до бровей и пошел быстрым шагом. Но минуту спустя дождь усилился, и ему пришлось скрепя сердце открыть сломанный драный зонтик. Он почти бежал, горбясь под руинами зонтика, стараясь не замечать, как встречные усмеваются и оборачиваются ему вслед, но позор жег ему щеки. За несколько домов от номера 4 он не выдержал и сложил зонтик.

— Да ты, товарищ, промок до нитки, — встретил его Нэстасе. — Как бы тебе не простудиться. Прими-ка аспирина. Если у тебя нет при себе, я дам.

— Что вы, спасибо, не нужно. Меня простуда так легко не берет.

Откинувшись на спинку кресла, Нэстасе смотрел на него с иронией — и в то же время радушно, почти ласково.

— Я слышал о тебе только хорошее, — начал он. — Особенно тебя хвалит твой шеф, товарищ Ульеру. Ты, говорят, на пороге большого открытия. Какое-то там вещество, которое, в случае чего...

— Простите, — перебил его Пантелимон с виноватой улыбкой. — Есть кое-какие разработки, по сырьевым материалам, но, как бы это сказать, вопрос деликатный... э... в общем, некоторым образом государственная тайна.

— Понимаю, понимаю и ни на чем не настаиваю... Куришь?

Он вынул из кармана сигареты.

— Нет, спасибо. Никогда не курил.

— Хвалю! — Он посмотрел Пантелимону прямо в глаза. — Знаешь, зачем я тебя вызвал?

— Мне сказал вчера товарищ Ульеру.

— Что он тебе сказал?

— Чтобы я явился к вам в контору перед обедом. А если вы меня задержите...

— Он не все тебе сказал. Впрочем, я и не ждал, что он все тебе скажет. Итак, поговорим по существу.

Он затаился и продолжал с сигаретой в углу рта:

— Суть для нас не в том, чтог тебе наболтал Зеведей. Нас интересует цепочка, о которой ты тоже упоминал три дня назад: взрыв на

слатинской красильной фабрике — подпольная типография, где набирают фальшивую «Скынтейю», а главное — подчеркиваю, главное, — инцидент в музее вооруженных сил, который имел место именно в шестьдесят шестом году и подвел под суд замдиректора. Подробности ты, конечно, знаешь, напоминать сейчас не буду... Но, — он вынул изо рта сигарету и слегка перегнулся через стол, так и впившись в Пантелимона взглядом, — тебе известно и кое-что еще... — Он выдержал паузу. — Например, формула краски, которой перекрасили несколько образцов военной формы девятнадцатого века. Замдиректора музея говорил «подправили цвет», но на самом деле цвет был изменен до неузнаваемости по сравнению с оригиналом. А следствие показало, что эту краску в шестьдесят шестом году можно было получить только в двух местах: на слатинской красильной фабрике и в лаборатории, где ты тогда, в шестьдесят шестом, работал. — Он тщательно раздавил окурок в пепельнице. — Вот почему я тебя вызвал. Из нашей краткой беседы три дня назад я вынес, что ты тоже выстроил цепочку, которую мы засекали... Ну, можешь начинать, откуда хочешь.

Пантелимон вдруг поймал на своем лице улыбку и беспокойно дернулся на стуле.

— Если я скажу всю правду, — вдруг твердым голосом начал он, — я рискую потерять место, а уж понизят-то меня точно, потому что вы подумаете, что я либо кретин, либо не в своем уме. Но я скажу. Правда состоит в том, что три года назад, в шестьдесят шестом, я работал над тем же проектом, что и сейчас, с сырьевым материалом. В красильном производстве я просто-напросто ни в зуб ногой. Что же касается перекрашенных экспонатов из музея вооруженных сил, про это я в первый раз слышу. А про взрыв в Слатине знаю только со вчерашнего дня от товарища Ульеру...

— Ты меня не так понял, — почти сурово перебил его Нэстасе. — Я не сказал, что ты непосредственно участвовал в изготовлении краски. Я только напомнил, что такую краску могли изготовить в лаборатории, где ты работал. Мало того, одна твоя коллега, молодая интересная особа...

— Это была моя ошибка, — покраснев, остановил его Пантелимон. — Мы не сошлись характерами.

— Нет, я не про то. Просто напоминаю, что твоя юная химичка жила в доме тринадцать по улице Лучафэр, а в тринадцать-бис живет Зеведей...

Пантелимон заперхал, как будто пытался прочистить горло.

— Трудно поверить, что ты никогда не встречал Зеведея.

— Трудно, но факт. — Голос вернулся к Пантелимону. — Никогда его не встречал!

— Допустим и это, — спокойно согласился Нэстасе. — Однако не может же быть, чтобы ты совсем не знал, чем занимаются... о чем говорят в других лабораториях, например в красильной...

— Я же вам признался, в красках я полный нуль.

— А ведь твоя коллега, Санда Иринеу, работала именно в красильной лаборатории.

Пантелимон пожал плечами.

— Наедине, — сказал он, — мы никогда не поднимали проблемы химии.

— А на людях? В столовой, к примеру, или в походе? Поход в горы летом шестьдесят шестого — вы и еще двенадцать человек с работы?

— Тогда мы последний раз были вместе, — веско произнес Пантелимон. — По возвращении в Бухарест расстались.

— И тебе ничего не показалось странным в разговорах, в дискуссиях? Ничего не запало в память? Что говорил, например, доктор Магеру, которого потом перевели в Слатину? Я слышал от твоих коллег, вы были друзьями...

— Кем-кем, а друзьями мы не были. И если хотите знать, то это именно из-за него мы с Александрой расстались.

Нэстасе слушал, кивая.

— Тем не менее ты не окончательно порвал с товарищ Иринеу. Ты ей писал.

— Открытки, — улыбнулся Пантелимон. — Она их коллекционирует.

— А в прошлом году послал ей целую бандероль...

— Специальную брошюрку на немецком языке... хотел сделать ей приятное.

— Не дошла твоя брошюрка, — сразил его Нэстасе. — Товарищ Иринеу успела переменить адрес. Получила командировку в Швецию и там осталась...

Пантелимон побледнел, провел рукой по волосам и в недоумении уставился на мокрую от дождевых капель руку.

— Ты не знал, что она осталась в Швеции?

— Н-нет, — проямлил Пантелимон и уронил руку на колени.

— Если волосы намокли — верная простуда, — сказал Нэстасе, поднимаясь. — Дам-ка я тебе аспирина.

Пантелимон послушно проглотил таблетку и залпом выпил стакан воды.

— Спасибо, — поблагодарил он, переведя дух.

— Но представь, шведский климат ей не подошел, и она перебралась южнее. Гораздо южнее... Кажется, в Уганду...

VI

Прослушав магнитофонную запись, Гиберча поднял голову и спросил:

— Зачем ты брякнул про Уганду?

— Так, вырвалось. Посмотреть, как он будет реагировать.

— Онотреагировал блестяще. Либо правда ничего не знает и тогда совершенно справедливо считает себя полным кретином. Либо умеет прятать концы. Но с нами играть — это надо быть не в своем уме, как он тоже справедливо считает...

Гиберча помолчал, устремив взгляд в потолок.

— Время идет, подпольная типография работает — правда, через пень-колоду, с перебоями, — а мы все топчемся на месте. Три месяца! Три месяца, как обнаружили первый фальшивый номер...

Нэстасе поерзал на стуле и, видя, что молчание затягивается, осмелился:

— Если позволите, товарищ полковник, мы все же кое-что установили.

— Например?

— Например, связь между Слатиной и музеем вооруженных сил...

— Да если бы знать наверняка, что есть такая связь!

— ...или, например, что изменения, внесенные в текст, и прежде всего опечатки составляют код, посредством которого передаются сообщения...

Гиберча медленно крутанул свое кресло на колесиках к окну, не отрывая от потолка задумчивого взгляда.

— Изменения, внесенные в текст, — отдельно повторил он. — Самое главное, оно же самое загадочное: «Уединенные всех стран, соединяйтесь!»

Но прежде всего — да, опечатки. Вместо «провинциальный» — «провиденциальный»; вместо «верный» — «скверный», все вот в таком роде. То подменяют одну букву, то пару буковок прибавят...

— Согласно коду, — застенчиво подсказал Нэстасе.

— Однако за три месяца спецслужбы его еще не расшифровали, этот код.

Нэстасе подвинулся к самому краешку стула.

— Мы знаем по крайней мере, что передаются сообщения каким-то подрывным группам; очень возможно, организуются акты саботажа, а еще вероятнее — готовится заговор!

Гиберча крутанул кресло обратно и, очутившись лицом к лицу с Нэстасе, пристально посмотрел ему в глаза.

— Ты, товарищ, прекрасно знаешь, что если классовый враг и совершает преступные акты саботажа, то это никак не заметно. В последние три месяца все идет так, будто никаких фальшивых номеров вообще нет, будто они и не циркулируют вовсе. Кто же сомневается, что это подпольная антигосударственная организация? Но где результаты ее действий? Где?

— Может, они просто еще не перешли к действию, — предположил Нэстасе.

— Возможно, возможно. В пользу версии о заговоре — один аргумент: Зеведей.

— Я же говорил!

— Не в том смысле, в каком ты говорил, — осадил его Гиберча. — Ошибка была допущена с самого начала, когда вы дали Зеведею понять, что на него есть компромат и что за каждым его шагом следят. Хорошо еще, не арестовали! Вот был бы номер!.. Да, поведение Зеведея можно объяснить только наличием секретной организации, к деятельности которой он прямо или косвенно причастен. В противном случае нам пришлось бы считать его сумасшедшим. А таковым он *точно* не является.

— И все-таки... — робко начал Нэстасе.

— Нет, конечно, те, кто с ним не знаком, сказали бы, что ты прав, — перебил его Гиберча. — Это же надо сообразить — приставать к людям у магазина в самом центре, если *знаешь*, что объект под наблюдением, — приставать с вопросом, который сейчас год, то есть напрямую заводить речь о газетах-фальшивках! А это рубище с двумя заплатками вместо эпolet! Какой во всем этом смысл? А такой, что, кто раз его увидел и раз

услышал, уже его не забудет. Зеведей нарочно привлекает к себе внимание, да так, *чтобы его нельзя было забыть*. А тут еще некоторые — в интересах дела, разумеется, — посылают своих курьеров на улицу Лучафэр, тринадцать и адрес кричат во всю глотку.

Нэстасе снова заерзал, намереваясь оправдываться.

— Знаю, знаю, ты выполнял свой долг, но тем не менее ошибка есть ошибка... Вернемся лучше к вопросу о цели, которую преследует Зеведей. Я вижу единственное объяснение: он потерял связь — то ли со своим агентом, то ли с шефом. Тот находится где-то здесь, в столице, Зеведей это знает и шлет во все концы сигналы. Надеется, что про его чудачества вот-вот пройдет слух по всему Бухаресту и, глядишь, как-нибудь ночью к нему постучит тот, кого он ждет...

— Оба жилых объекта находятся под наблюдением двадцать четыре часа в сутки, — отчеканил Нэстасе. — И номер тринадцать, и номер тринадцать-бис. За номером десять, двенадцать и четырнадцать тоже приглядывают наши люди. Все, кто посещает Зеведея или его соседа, Иоана Роатэ, проверяются и в случае необходимости берутся на допрос. По ночам к нему никто не приходит. И сам он после десяти вечера из дому не вышел ни разу...

— Знаю, все это я знаю, — отмахнулся Гиберча. — Однако же когда-то, днем ли, ночью ли, он должен вступить в контакт со связным, которого ждет. В противном случае...

— Значит, все же заговор... — проронил Нэстасе, тщетно прождав окончания фразы.

— По всем признакам — да. Только если это заговор, а Зеведей потерял связь, тогда как получилось, что сегодня, двадцать шестого мая, фальшивые номера обнаружены в четырнадцати городах, не говоря уже о Бухаресте? Как получилось, что...

Он не договорил, забарабанил пальцами по столу, потом нажал на кнопку слева от телефона. Когда дверь открылась, бросил, не оборачиваясь:

— Последнее досье от спецслужб.

И стал ждать в молчании, постукивая пальцами по столу — то как по барабану, то как по клавишам пианино.

— Нулевой результат, как и на прошлой неделе, — бормотал он, листая принесенное досье. — Регистрация опечаток, графики и статистиче-

ские таблицы, консультации с двумя крупнейшими математиками и даже с одним экспертом по компьютерам... И ничего. Мы до сих пор ровным счетом ничего не знаем! — Он поднял глаза от досье и криво усмехнулся. — Однако что же мы будем сами себе пудрить мозги, товарищ Нэстасе?! Улавливаешь, на что я намекаю? — Его голос зазвучал глухо. — Ведь всем все ясно: и нам, и выше, и на самом верху... Давно ясно. Тайная типография — разве такое может быть в нашем государстве? Разве не напрашивается сама собой мысль, что фальшивые номера фабрикуют хоть и в столице, но на территории какого-нибудь из посольств какой-нибудь дружественной нам страны?.. Более или менее дружественной, — поправился он. — Пусть это только гипотеза...

— Так-то оно так, — осмелился вставить Нэстасе, — но краска-то слатинская...

— Кабы хоть это было наверняка! — возразил Гиберча. — Допустим даже, что краска именно оттуда. Но где типография, как обеспечивается распространение? А главное — цель. Зачем? *Cui prodest?** — если ты ненароком учил в лицее латынь и еще не все забыл. *Cui prodest?* «Уединенные всех стран!» Где они уединились? Кто таковы?

VII

Каждый день перед обедом Пантелिमон порывался зайти за Ульеру. Он энергично выходил из лаборатории, но постепенно сбавлял скорость. На площадке у лифта прислонялся к стене и, раскрыв газету, утыкался в нее. Время от времени поднимал глаза на стенные часы и наконец сворачивал газету и плелся в столовую. Он оказывался в числе последних и ел торопливо, не разбирая вкуса, опустив глаза в тарелку. Если к нему обращались, испуганно вздрагивал и часто моргал, вымучивая из себя улыбку. А кончал всегда тем, что интересовался, где тут поблизости продаются зонтики.

— Так, значит, люди правду говорят, — услышал он за спиной голос Ульеру. — Ты во что бы то ни стало хочешь купить себе зонтик.

Крепко пожав ему руку, Ульеру окинул его озабоченным взглядом.

* Кому выгодно? (лат.)

— Что с тобой происходит? На тебе лица нет.

— Да снова бессонница, — забормотал Пантелимон. — Товарищ Нэстасе был прав: если волосы намокнут, особенно на макушке, — верная простуда. Я здорово промок тогда, на прошлой неделе, и, хотя он дал мне аспирину, простудился. С тех пор все собираюсь купить зонтик посолиднее. Какой-нибудь из этих.

Он кивнул на витрину.

Когда они вышли из магазина, Ульеру предложил:

— Если у тебя нет сейчас других дел, пройдемся. Мы не виделись неделю... А за эту неделю, — он понизил голос, — я узнал о тебе больше, чем за два года...

Пантелимон с испугом обратился к нему глазами.

— Уверен, что и ты порядочно узнал обо мне, — продолжал Ульеру, усмехнувшись. — Мы общались не переставая. Через посредника. Нэстасе пересказывал мне все ваши разговоры, а иногда включал магнитофон и просил прокомментировать то или иное место. Не сомневаюсь, что точно так же занимались и с тобой...

— Да, точно так же, — проронил Пантелимон, опуская глаза. — В точности так же...

— Ну и не надо угрызаться, — заметил Ульеру. — Время такое... — Он остановился, перевел дух. — Я не из-за этого тебя разыскал. Просто ты так интерпретируешь некоторые вещи...

— Что я интерпретирую? — вскинулся Пантелимон.

— Все, что касается Зеvedея. Очень интересно. Выходит, — перешел он на шепот, — ты его хорошо знаешь. Когда вы познакомились?

— Да не знакомился я с ним. Один-единственный раз он меня остановил и спросил, который сейчас год. Просто он у товарища Нэстасе на пленках, целая коллекция, и товарищ Нэстасе их мне крутил, иногда по два-три раза.

Он вдруг заулыбался и стал, глядя на Ульеру.

— Этот Зеvedей, — вдруг начал он взвзвешивать, — личность презанимательная. Уникальная прямо-таки личность! Может, оттого у меня и расстроился сон. Ночи не проходит, чтобы я не думал о нем, особенно об одном его высказывании: *На политику у меня ушло пятнадцать лет...*

— ...на тюрьму еще пятнадцать, — с улыбкой подхватил Ульеру, — и я хочу понять...

— ...хочу понять смысл этих тридцати лет,— опередил его Пантелिमон,— потому что обе фазы, вместе взятые, составляют целое.

— По-моему, он сказал оба фрка,— поправил его Ульеру.— Но суть одна.

— Потому-то меня и занимает время как проблема,— цитировал дальше Пантелिमон.— Проблема времени,— повторил он задумчиво и приостановился, ища взгляд Ульеру.— Только ее никак не пришьешь к газетам-фальшивкам шестьдесят шестого.

— И все же Нэстасе подозревает именно его,— возразил Ульеру.— Пойдем, лучше не останавливаться.

— Нет, передатировка газет, конечно, имеет отдаленную связь с «проблемой времени». Но Зеведей говорил перед тем другие вещи. И если он говорил откровенно, в чем я совершенно уверен: будь он сто раз псих, но душой он не кривит,— те другие вещи для нас важнее. Не знаю, прослушали ли вы целиком ту пленку...

— Целиком или нет, но главное слышал. Ты, вероятно, имеешь в виду место про фон Брауна.

— Да, да! — подтвердил Пантелिमон.— Я прослушал это место три раза и знаю его почти наизусть. Во-первых, меня потрясла Зеведеева прямота, когда он заявил, что потерял всякий интерес к политике...

— А перед тем — помнишь? — перебил его Ульеру.— Что он перед тем подпустил? Загадка с передатировкой газет — это псевдозагадка. Достижение технического прогресса, не более того.

— По-моему, это он попозже, после заявления о потере интереса к политике. Но не суть важно. Так... сначала рассуждение о «проблеме времени», а потом: Вам следовало бы меня холить и лелеять, потому что такие, как я, одержимые проблемой времени, абсолютно безопасны в политическом плане.

— Вспомните ответ фон Брауна,— продолжил Ульеру,— вспомните, что он ответил, когда Гитлер попросил его ускорить работу над ракетами, чтобы обеспечить победу...

Пантелिमон замер и вцепился в рукав Ульеру.

— Он ответил: «А меня не интересует, как скорее выиграть войну, меня интересует, как скорее долететь до Луны». Так и вышло: немцы войну проиграли, зато благодаря фон Брауну люди полетели на Луну!

— Пошли, пошли!

Ульеру потянул его за собой, зорким взглядом окинув улицу.

— Однако же случай фон Брауна, — немного погодя возобновил тему Пантелимон, — можно понять двояко. Предположим, Зеведей хотел сказать: меня интересует «проблема времени», и фон Браун — блестящий пример *дальновидности* человека, который не думал о сиюминутном, о времени вообще. Но, — ответим мы, — триумф фон Брауна — чисто технологического порядка и, как таковой, зависит от власти, от политики...

— Значит... — вклинился Ульеру.

— Значит, приводя пример фон Брауна, Зеведей думал совсем о другом... Но о чем?.. То-то я не могу заснуть, — добавил он, помолчав. — Ворочаюсь с боку на бок и все пытаю себя: о чем же он думал?

— А если он ни о чем не думал? — предположил Ульеру.

— Тогда еще лучше. Значит, он выдал себя невольно, сам того не ведая! — И, снова вцепившись в рукав Ульеру, зашептал: — Кто пойдет: я или вы? Это же первое звено в расшифровке кода...

— Пойди ты, ты молодой, тебе надо заработать погоны. Только скажи мне. А я после им все повторю — пусть в конце концов убедятся, что я от них ничего не скрываю.

Они одновременно вывернули шеи назад, огляделись.

— Фон Браун, Луна, прилунение, — зашептал Пантелимон. — Код к шифру может быть основан на фазах Луны. У опечаток и всяких отклонений от оригинального текста появится смысл, если их сверить с лунным календарем.

— Не понял, — выдохнул Ульеру.

— Поймете, не так уж сложно. Открываете газету, находите информацию синоптиков: полнолуние, луна растет, луна идет на убыль, — и беретесь за опечатки. Предположим, сегодня полнолуние. Отсчитываете двенадцать слов — или двенадцать букв — от первой опечатки. Потом от второй, от третьей и так далее. Переписываете слова или буквы, на которые попали, — вот вам и расшифровка.

— Неужели правда? — обмирая, проронил Ульеру.

— Не знаю, я ни одного фальшивого экземпляра в руках не держал. Но это можно проверить.

— Идем сейчас же! — вскричал Ульеру.

Они шли молча, и Ульеру время от времени искоса поглядывал на Пантелимона с восхищением и опаской.

— Поздравляю, — не выдержал он наконец. — И польщен, что ты мне доверяешь... Я порядком расстроился, когда услышал, как ты говоришь о своем неудачном романе с этой девушкой. Я же ничего не знал. Мы почти два года знакомы, а ты мне ни слова...

VIII

— **Я** все думал нынешним утром в самолете, — начал Пантази, пожав всем руки, — все думал, что мне это напоминает? И только сейчас, как вошел, вспомнил. Это как в легенде про тот город, где решили избавиться от стариков. И избавились, уцелел только один. А когда пришла беда... Продолжение вам известно...

— Отдельные ошибки имели место, — криво улыбнувшись, сказал Гиберча.

Пантази метнул в него взгляд, покачал головой и опустил в кресло.

— Партия никогда не ошибается, — напомнил он, вынимая из угла рта зубочистку и кладя ее на блюдечко, рядом с кофейной чашкой. — Меняется конъюнктура, это да... И как приятно, — добавил он, окидывая глазами стол, — как приятно, что вы не забыли моих привычек: кофе по-турецки, без пенки...

Застенчивая улыбка на миг озарила лица присутствующих. Потом все шестеро повернули головы к Гиберче. Пантази взял чашечку чуть заметно дрожащей рукой и стал неторопливо смаковать кофе.

— Совсем как в прежние незабвенные времена... Однако история про город, оставшийся без стариков, — обратился он к Гиберче, — наводит меня на всякие мысли. Если вы послали за мной спецсамолет, значит, дела совсем плохи. А поскольку в прежние незабвенные времена поговаривали, что я владею разрыв-травой...

Как по команде, все шестеро робко фыркнули, заискивающе глядя на Гиберчу.

— ...вы вообразили, что стоит мне вынуть мою разрыв-траву из кармана, как тут же все замки и запоры сами собой распадутся. — Он одним глотком допил кофе. — Ну, так что жестралось?

Гиберча подложил ему досье.

— Полагаю, вы уже в курсе.

Пантази раскрыл папку, взял в руки экземпляр «Скынтейи», пробежал глазами первую страницу и аккуратно уложил газету на место.

— Это от шестого июня тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, — сказал он.

— Отпечатана и разослана три дня назад, — пояснил Гиберча. — Вы разве ничего не слышали об *апокрифических* номерах «Скынтейи»?

Пантази взял зубочистку, разломал на щепочки и стал задумчиво их жевать.

— Последние два года я занят проверкой кадров на известных вам заводах. Каждую личность проверить, каждую анкету — это съедает почти все время. Кое-что я, конечно, слышал, но ничего определенного...

Он не спеша, методично принялся выкладывать на блюдечко обломки зубочистки.

Гиберча кивнул молодому человеку с залысинами и в темных очках, сидевшему в конце стола.

— Докладывай, Думитреску.

Пантази слушал и листал досье. Через несколько минут он жестом остановил говорящего.

— Эти газеты, «апокрифические», как вы их назвали, либо печатаются в типографии самой «Скынтейи», либо доставляются через какое-то из посольств.

— Мы тоже так считаем, — с многозначительной улыбкой кивнул Гиберча. — Но поскольку с уверенностью можно сказать, что наша типография этим не занимается, встает вопрос: зачем иностранному посольству завозить их к нам и распространять?.. Выслушайте до конца, пожалуйста.

Пантази достал очередную зубочистку и, склонив набок голову, прикрыв веки, стал слушать выкладки спецслужб: химический анализ бумаги и краски, статистический обсчет опечаток, попытки расшифровки кода, посредством которого передаются сообщения.

— А с чего вы взяли, что они что-то передают? — спросил Пантази.

— Иначе какой же смысл? Ведь это немалый труд — напечатать и распространить по всей стране тысячи и тысячи фальшивок, — ответил Гиберча. — И потом, вы увидите, будут еще кое-какие детали...

Пантази облокотился о стол и, посасывая кончик зубочистки, слушал еще минуту-другую.

— А что там с Зеведеевой пелериной? — перебил он докладчика. — Я знавал его когда-то.

По знаку Гиберчи Нэстасе раскрыл лежащее перед ним досье и прочел начало, а на экране тем временем появился Зеvedей, с лучезарным лицом выходящий из продуктового на Мэтэсарь и движением плеч поправляющий на себе пелерину.

— Вообще-то он обычно не такой веселый, — заметил Нэстасе, — но в тот раз ему повезло на ветчину...

Изображение застыло: Зеvedей сиял улыбкой, сжимая в руках сверток и готовясь рывком поправить пелерину.

— Пелерина принадлежала его дяде, полковнику австро-венгерской армии Бруно Флондору, — прокомментировал Нэстасе. — А сейчас, я думаю, уместно будет включить одну из первых наших бесед.

Он нажал на клавишу магнитофона.

«На политику у меня ушло пятнадцать лет, — зазвучал голос Зеvedей, — на тюрьму еще пятнадцать... Потому-то меня и интересует время как проблема...»

Пассаж с фон Брауном Пантази попросил повторить. Потом ему подали еще чашечку кофе, и он, прихлебывая маленькими глотками, слушал, как Нэстасе читал личное дело Пантелимона. «Социальное происхождение здоровое: из шахтерской семьи (долина Жиу). Студент-отличник, хотя и без политической жилки. Еще до защиты диссертации подает смелый проект в секцию Б. Шесть месяцев испытаний, блестящие результаты, проект вне плана передают в секцию А, следует назначение завлабораторией со званием старшего научного. По неизвестным мотивам расторгает помолвку с товарищ Сандой Ириней, коллегой по работе. Подозрения начинают вызывать с ноября 1967 года и с тех пор находится под наблюдением. Друзей не имеет. Водит знакомство только с товарищем Ульеру из административного управления (вместе обедают в столовой, иногда встречаются во внеслужебное время).

— Покажите, — сказал Пантази.

Пантелимона показали: вот он перед продуктовым на Мэтэсарь, вот в лаборатории, хмуро разглядывает содержимое какой-то мензурки, вот идет по улице рядом с Ульеру и, наконец, кладет руку на плечо девушки, собираясь ее обнять.

— Товарищ Санда Ириней, — отрекомендовал Нэстасе. — Четыре года

училась на химфаке в Москве. Специальность — анилиновые красители. В ноябре шестьдесят седьмого делегирована на конгресс в Стокгольм. Не-возвращенка. В настоящее время — в Уганде. Коллекционирует почтовые открытки стран мира.

Затем Нэстасе сделал краткий обзор своих бесед с Ульеру и Пантелимоном, перелистывая досье и зачитывая некоторые места, а иногда, по просьбе Пантази, включая магнитофон. Через четверть часа, во второй раз прослушав объяснения Пантелимона насчет кода, основанного на фазах Луны, Пантази поинтересовался у Гиберчи:

— И как? Вы попробовали?

Гиберча улыбнулся, не пытаясь скрыть торжества, и развел руками.

— Пустой номер. Спецслужбы приступили к расчетам в ту же ночь, со второго на третье июня, на основе утреннего апокрифического издания. Проверили и все предыдущие номера. С тем же успехом... Пантелимон хитро придумал, однако код — если допустить, что код существует, — с помощью его гипотезы не расшифровывается.

Пантази погрузился в задумчивость, и никто не посмел больше нарушить молчание.

— Скажу прямо, — заговорил он наконец. — Вы напрасно меня привезли. Ничем не могу быть вам полезен. По той простой причине, что это дело переходит за наши государственные границы, а я не специалист по делам международного класса. Вам надо проконсультироваться с соответствующими службами дружественных нам стран...

— Мы давно с ними связались, — возразил Гиберча. — Да и как иначе? Они же про все пронюхают, разве что с отставанием в несколько часов. Они шли с нами ноздря в ноздю: взрыв на красильной фабрике, процесс замдиректора музея вооруженных сил, надзор за типографией и за распространением. Я повсюду натыкался на их людей. Наверняка у них и электроника надрывалась — вычисляла. И тоже вхолостую.

— Предположим, — согласился Пантази, спокойно дожевывая остатки зубочистки. — Все равно это дело международное, *иначе и быть не может*. Мы — страна маленькая, и наши внутренние враги давно пущены в расход или приведены в негодность. Совершенно исключено, чтобы у нас под носом кто-то мог за три-четыре месяца организовать подрывную деятельность таких масштабов и на такой технической базе, какой позавидовали бы многие страны...

Слушая, Гиберча поглядывал вокруг с победительным видом.

— Мы пришли к такому же заключению, — кивнул он. — Но напрашивается вопрос: зачем, с какой целью? Если через апокрифические издания передаются сообщения подрывных групп, почему же ничего не происходит — ничего *нового* по сравнению с прошлой зимой? И будь эта цель хоть сто раз подрывная, она не оправдывает таких сверхсложных и дорогостоящих средств.

Сосед Гиберчи слева поднял руку.

— Если позволите, товарищ полковник, я бы хотел задать вопрос товарищу Пантази... Вы говорите, что дело международного класса, — а какой им в нас интерес?

Прежде чем ответить, Пантази пристально поглядел на него, словно только что заметив.

— А такой, что, возможно, сами авторы операции подбросили нам идею подрывных сообщений и заговора.

— Н-не понял, — сказал сосед Гиберчи слева.

— Я тоже, — присоединился к нему Гиберча. — С чего бы это они стали так стараться?

Пантази пододвинул к себе блюдечко с чашкой.

— Благодарю, — сказал он. — Только здесь и попьешь настоящего кофею, без пенки. Как вам это удастся? — Он поднес чашку к губам, деликатно отхлебнул. — И горячий, как положено. Великолепно!.. Но возвращаясь к сказанному. Я допускаю, что сообщения действительно передаются. Однако отнюдь не с целью подрыва именно нашего строя. Вполне возможно, что они адресованы каким-то формированиям в других странах, а чтобы они вернее дошли по назначению, их посылают через фальсифицированные издания нашей газеты.

— Ну, это уж слишком, — с улыбкой вмешался Гиберча. — Правой рукой через левое плечо.

— Я сказал: *вполне возможно*. В качестве одной из гипотез. Не исключены и другие.

— Например? — оживился Гиберча.

— Я изложу их попозже, когда ознакомлюсь с подробностями. Покамест мне надо знать, распространялись ли фальшивые экземпляры за границей. А точнее, имеются ли они в центральных библиотеках Европы, в редакциях газет европейских компартий и на других континентах, куда

рассылают «Скынтейю». Как вы считаете, в обозримый период времени мы сможем получить точную информацию?

— Это-то да, — ответил Гиберча. — Но если фальшивки и рассылали, то маловероятно, что их кто-то сохранил, а не выбросил сразу, при виде даты: тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Получатели наверняка решали, что это ошибка или небрежность.

— И все же стоит попробовать. Если кто-нибудь заметил, что ошибка или небрежность повторяются, могли быть рекламации в адрес редакции. Нет ли сведений о рекламациях?

Гиберча обвел вопросительным взглядом стол.

— Есть, — отпартовал сосед Пантази, тот, что подавал ему кофе. — Имеются по крайней мере две жалобы: одна из центральной библиотеки Мехико, а другая — из газеты «Унита».

— Какого рода жалобы?

— Обе одинаковые: что им время от времени присылают старые номера, и подшивка получается разрозненной... Но мне не приходило в голову, что это связано с апокрифическими экземплярами, — добавил он, зардевшись.

— Когда поступили жалобы?

— Из Мехико — в марте, из Италии — чуть позже. «Унита» прислала даже список номеров, пропущенных в комплекте. Очевидно, речь идет о...

— Это упрощает дело, — пресек его Гиберча, нажимая на красную кнопку.

IX

Совещание возобновило работу в два пятнадцать. Перед каждым участником было выставлено по термосу с лимонадом и по стакану растворимого кофе со льдом. Кофе по-турецки и графин с холодной водой принесли специально для Пантази. Он рассеянно слушал доклад очередного инспектора: перечень городов, куда поступали фальшивки, классовый состав получателей и их показания на допросах. Большинство — рабочие или руководители разного ранга. Интеллигенции очень мало. Почти все — члены партии. Сначала никто не хранил фальшивые но-

мера, тем более что те иногда приходили одновременно с правильными. Но в последнее время пошли разговоры, и люди стали их придерживать или продавать любителям...

— Каким еще любителям? — спросил Пантази.

— Которые коллекционируют курьезы. Они тоже допрошены. Ничего подозрительного. Вполне благонадежны. Но, конечно, болтают направо и налево, и волей-неволей получается огласка. Теперь уже вся провинция в курсе.

— Да, так и я узнал, — сказал Пантази, разламывая зубочистку. — Одни смеются, другие злорадствуют. Говорят: пожалуйста, значит, *можно совершать акты саботажа* под самым носом у «секуритате»*, ей слабо выловить преступников.

— Тут серьезнее всего, конечно, огласка, — признал Гиберча. — Сколько человек заметили опечатки, трудно установить. Многие не обратили внимания даже на главную: «Уединенные всех стран, соединяйтесь!» Но сам по себе успех заговорщиков — вот что всех впечатляет.

— Может быть, именно на это и сделана ставка. Но если бы только на это!.. Я вас слушаю. — Он кивнул инспектору.

— Как будто бы все существенное я изложил, — откликнулся тот, еще раз пролистав досье.

Пантази машинально запустил пальцы в верхний кармашек пиджака — и озабоченно замер. В ту же секунду Гиберча протянул ему прозрачный тюбик с зубочистками и улыбнулся своей оперативности — его рука оказалась первой, остальные повисли в воздухе.

— Благодарю, — сказал Пантази. — Приятно видеть, что вы не забыли мои маленькие слабости... Но вернемся к подозреваемым лицам. Итак, мы имеем Пантелимона, Зеведея и Санду Иринеу. Если речь идет о какой-то деятельности и, следовательно, об организации, я легко могу понять роль товарища Иринеу, но гораздо труднее — двоих других. Или троих, если считать Ульеру...

— Что касается Зеведея, — вступил Гиберча, — у меня есть кое-какие соображения.

И он изложил гипотезу, по которой поведение субъекта не объяс-

* Румынская тайная полиция, аналог КГБ.

нить иначе, как потерей связи с агентурой. Пантази внимательно слушал, посасывая зубочистку.

— Очень интересная гипотеза. Только я вот думаю: не ловушка ли это, не отводят ли они нам глаза лжеприманками: Зеведеева пелерина, взрыв на красильной фабрике, неполадки в музее вооруженных сил и прочее — может, мне еще и не все известно...

— Как хотите, но связь прослеживается, — вмешался Нэстасе. — Судите сами: Санда Ириней, будучи помолвлена с Пантелимоном, была соседкой Зеведея, а товарища Магеру, из-за которого Пантелимон расторг помолвку, перевели не куда-нибудь, а в Слатину, на красильную фабрику.

— Все так, — согласился Пантази, — но вполне вероятно, что эта на вид подозрительная связь как раз и использована в качестве мормышки. А именно: чтобы мобилизовать нашу энергию на поиски фиктивного внутреннего заговора и закамуфлировать международный источник и характер операции. Если это так, они в том преуспели, потому что мы потеряли три месяца.

Гиберча, слегка побледнев, спросил упавшим голосом:

— Что же мы могли еще сделать?

— Это не упрек, — продолжал Пантази. — Вы по крайней мере эффективно поработали с Зеведеем, ознакомили Пантелимона с его показаниями (не упустив, отмечу особо, то, что про фон Брауна) — и таким образом установили характер кода...

Гиберча оглядел присутствующих с потерянной улыбкой.

— Вы шутите, товарищ, — сказал он. — Я вам сразу доложил, что наши спецслужбы просто землю рыли, беря за основу фазы Луны и шестьдесят шестого года, и текущего. Все абсолютно без толку. Не сложилось не то что сообщения — ни одного внятного слова.

Пантази с задумчивым видом взялся за новую чашечку кофе, предупредительно ему поданную.

— Ясное дело, это всего лишь гипотеза. Но поскольку мы теперь знаем, что фальшивые издания пересылались за границу — в Мексику, в Италию, и, разумеется, не только туда, а значит, речь идет о международной акции, — не стоит основывать расчеты на фазах здешнего лунного календаря. Следует проверить лунный календарь на других меридианах, собрать данные по многим, даже по очень многим странам. Я полагаю, спецслужбы могут приступить к делу прямо сегодня вечером, с помощью элек-

тронных калькуляторов. Пусть обсерватория передаст в их распоряжение лунные таблицы всех широт. Остальное сделают компьютеры. Стоит начать охват планеты с наших соседей, потом перейти на Францию, Италию, Швецию, Мексику... Только не пропустите Уганду, — добавил он, чуть запнувшись.

X

Завидя Пантази, человек в белом халате сложил газету, порывлся в портфеле, потом нехотя поднялся со скамьи, как будто ему было жаль уходить из-под тенистой липы, и лениво пошел прочь, то и дело оборачиваясь. Лишь убедившись, что Пантази сел на его место, он прибавил шагу и быстро исчез.

— Очень приятно, что наконец-то имею случай с тобой познакомиться, — заговорил Пантази, — да еще в таком месте, под липами. Не зааживал сюда три года. — Он вынул из кармашка зубочистку и повертел ее в пальцах. — Я хотел тебя поздравить и заодно выяснить, когда именно ты расшифровал код. За сколько дней до того, как сообщил Нэстасе?

Пантелимон обернулся к нему всем корпусом в крайнем изумлении.

— Да я разве расшифровал? Они же просчитали все, что возможно, мне товарищ Нэстасе сказал. И никакого результата.

Пантази молча приглядывался к нему, потихоньку разламывая зубочистку.

— Ты не смущайся, что я ихломаю, а потом жую. Это вроде нервного тика. Понимаю, не очень-то аппетитно смотреть, но такова цена, которую я плачу уже пять лет за отказ от курения... Так о чем я? — продолжал он, посерьезнев. — Меня интересует, сколько дней прошло с того момента, как ты проследил связь «фон Браун — прилунение — фазы Луны», до того момента, когда сообщило о своем открытии Нэстасе.

Пантелимон прикрыл глаза и закивал головой, как будто считая в уме.

— Четыре дня, не больше. А за день перед тем поделился с товарищем Ульеру, когда мы случайно встретились в галантерее, отдел зонтиков...

— Значит, три дня,— не скрывая удовлетворения, констатировал Пантази.— Ты держал секрет про себя три дня. Почему?

— Не решался... Принцип казался мне *абсолютно очевидным* и в то же время — ни в какие ворота. Что, впрочем, и подтвердилось.

— А почему ты открылся Ульеру?

— Потому что мы... ну... не скажу друзья, но просто он как-никак единственный, кому я вполне доверяю.

— Следовательно,— подытожил Пантази,— если бы твой приятель Ульеру в тот же день побегал к кому-нибудь с твоей тайной, этот кто-нибудь имел бы перед нами преимущество в двадцать четыре часа...

Пантелимон озадаченно пожал плечами.

— Но оставим это,— продолжал Пантази.— Сенсационный момент тут вот в чем: расшифровку кода тебе подсказала Зеведеева пелерина! Ведь ты признался — не правда ли? — на первом же допросе, что тебя поразили заплатки, пришитые на месте эполет.

Пантелимон в смущении заерзал по скамейке.

— Если бы не заплатки, Зеведей не остановил бы тебя у магазина на Мэтэсарь, чтобы спросить, который сейчас год, и ты и по сей день занимался бы потихонечку своими делами в лаборатории. Ты не стал бы объектом номер один некоторых секретных служб, и нам не пришлось бы охранять тебя день и ночь... Надеюсь,— добавил он с улыбкой,— ты понял, что, если тебя в срочном порядке перевели в провинцию, а затем поместили в санаторий под предлогом назревающего воспаления легких, а сегодня на министерской «скорой» доставили в Бухарест как бы для консультаций, а потом пригласили погулять по парку в сопровождении санитара и, наконец, предложили посидеть вот на этой вот скамейке... надеюсь, ты понял, что все это для твоего же блага?

— Нет, я ничего такого не понял... Я думал только, что меня стали подозревать после того, как...

— Ты и до этого был под подозрением,— перебил его Пантази.— Но сейчас дело приняло другой оборот: нам приходится тебя охранять. Люди исчезают легче, чем ты можешь себе представить. Толькохватишься человека, а он уже за морем, на другом континенте... Такие времена. Кое-кто проведаль о твоём открытии, и проведаль на двадцать четыре часа раньше нас...

— Но они же все просчитали... — снова попытался возразить Пантелимон.

— Об этом чуть позже. Я начал с пелерины Зеvedей, не будь которой... Пелерина его мне известна, для меня новостью было только то, что он таскает ее, прямо так, с заплатками, и зимой, и летом. Зеvedей — личность мне знакомая, — добавил он, чуть помолчав. — Это я его упрятал за решетку. Мне вовремя доложили, что он собрался в горы, примкнуть к отряду вооруженных до зубов вредителей. И поскольку отряд, по моим сведениям, был уже окружен, я из жалости — Зеvedей-то я знал чуть ли не с пеленок, водил когда-то знакомство с его дядей, полковником Бруно Флондором, — так вот, из жалости я в ту же ночь устроил ему арест под предлогом участия в фиктивном заговоре. Думал, получит он лет пять от силы, а он на суде разболтался не к месту и наболтал себе на все двадцать пять. Я был очень огорчен. Но главное — он все-таки вышел сухим из воды. Тех-то, в горах, взяли через несколько дней и сразу — к стенке. — Он помолчал, пристально глядя на Пантелимона. — Если ты его встретишь, не проговоришься. Это старая история, Зеvedей ничего не подозревает... Да, пелерина! — спохватился он, протягивая Пантелимону руку, как будто хотел показать ему зубочистку, которую только что достал из кармашка. — Я прочел по сто раз все стенограммы — все надеялся узнать, зачем он таскает эту пелерину!

— Да еще заплатками указывает место эполет, — подчеркнул Пантелимон.

— Эполеты сорвали при обыске, в ночь ареста. Я дал инструкцию искать валюту. Нашли бы — он схлопотал бы максимум три года, как раз шел подходящий процесс. Но Зеvedей — цельная натура, настроился партизанить в горах, и в доме — ни цента, ни пенса, ни завалящего швейцарского франка!.. Тем не менее, — добавил он, улыбнувшись, — по городу, вероятно, прошел слух про такое внимание к эполетам, потому что с тех пор при обысках практически перестали изымать драгоценности и валюту из-под подкладки. Вот тут-то и начинается черная страница в истории нашей службы: мы не подумали о музейных коллекциях одежды, и в частности о коллекции военной формы. Таким образом, организация смогла свободно проработать по крайней мере десять лет. У них были свои люди в музее вооруженных сил и опытная агентура. Под разными предлогами: моль, пыль, каталогизация и прочее — то один, то другой предмет вынимали из витрин и относили в специально отведенную для этого комнату.

Остальное можешь додумать сам... Так они припрятали немало драгоценностей, валюты и даже кое-какое золотишко. Операция, естественно, дорого стоила, почти половину от цены предметов, которые они прятали. Однако с годами экспонаты стали приходить в ветхость — столько раз их пороли-перепарывали. Тогда замдиректора музея пришла в голову несчастная мысль: отдать их на реставрацию. Это с нашими-то красителями! В общем, форма после реставрации выглядела еще хуже, чем до, и замдиректора предложил ее радикально перекрасить. Так все и вышло наружу, разразился скандал...

— Прямо как в приключенческом романе, — сказал Пантелимон.

Пантази испытующе, с тенью разочарования взглянул на него.

— И все же мне никак не понять, *зачем* Зеведей и зимой, и летом ходит в этой пелерине. Насколько я его знаю, без причины он ничего делать не станет. Но что за причина? Нет, конечно, мы должны быть ему признательны. Из-за пелерины ты с ним познакомился, узнал про фальшивые издания, про фон Брауна и прилунение и выдвинул единственную стоящую гипотезу. Вот только ты не до конца ее изложил. Концовку приберег для себя.

— Я не понимаю, о чем вы, — упавшим голосом пробормотал Пантелимон.

Пантази снова смерил его долгим взглядом. Улыбнулся.

— Мне трудно поверить, что ты остановился на полпути. Я ожидал, что ты подскажешь Нэстасе при расшифровке посланий учитывать лунный календарь не только наших широт, но и, например, Франции, России или Мексики. Или Уганды.

Пантелимон, побледневший, резко вскинул голову.

— Но это чистая бессмыслица! — громко сказал он. — Если подпольные издания, предположительно с шифровками, появляются в Румынии, они не могут быть адресованы никому, кроме как румынам, и только по-румынски.

— По виду бессмыслица, — согласился Пантази, нащупывая в кармашке новую зубочистку. — *Но факт.* В компьютер ввели лунные календари всех широт, и расшифровано уже за сотню сообщений на пятнадцати языках, включая румынский.

— Не может быть! — обомлел Пантелимон. — Вздор! Какие сообщения?

— Вполне безобидные и пресные. Цитаты из Ганди, из Евангелия, из Хартии ООН, из Марка Аврелия, Конфуция и из прочих подобных источников. Больше всего из Евангелия. Пока что на пятнадцати языках, но еще не весь набор исчерпан...

Пантелимон слушал с изумлением, глядя на него во все глаза.

— Но зачем? — прошептал он наконец. — Какой смысл печатать у нас многоязычное издание, да еще зашифрованное так, чтобы никто не понял?

— А это в некотором роде пацифистская пропаганда, — отвечал Пантази, по-прежнему с улыбкой, — осуществляемая в мировых масштабах.

— Но смысл, смысл? Что это за пропаганда, если ее под силу расшифровать только компьютерам?..

— Да, мне тоже это не совсем понятно, — признался Пантази. — Но не стоит забывать, что прибегнуть к компьютерам пришлось только нам, румынам. Французский, шведский или мексиканский читатель обходится без них: смотрит на дату, когда напечатана газета, смотрит, в какой фазе в тот день находилась луна над его страной, потом, по системе, которую открыл ты, начинает складывать слова. Если видит, что не складываются, — ничего страшного, он проинструктирован: значит, в тот день посланные адресовали не его стране.

— Однако же это чересчур сложно! — настаивал Пантелимон. — И ни на гран смысла. При чем тут румынская газета?

— Кое-какое объяснение все-таки есть, — возразил Пантази. — И ты его сейчас услышишь. Ты доказал, что умеешь хранить тайну. Целых три дня. Но твоей тайне, надо признать, цены не было. А то, что скажу тебе я, это только мои домыслы и не относится непосредственно к нашей стране. Однако предпочтительно и это не разглашать.

— Даю вам честное слово, — пообещал Пантелимон, прижимая руку к сердцу.

— Мы — страна маленькая, — начал Пантази с оттенком грусти в голосе. — И принадлежим к разряду более или менее закрытых обществ. Такова историческая конъюнктура, мы должны с ней считаться... Среди наших соседей были попытки несколько видоизменить систему — то, что на Западе называют «либерализацией». Ты знаешь, с каким результатом. Но неверно думать, что тенденцию к «либерализации» можно радикаль-

но уничтожить. С другой стороны, неверно думать, что отдельные сверхдержавы упустят возможность нагреть руки на такой тенденции.

Он смолк, извлек обломки зубочистки изо рта и стал аккуратно укладывать их рядком на краю скамейки.

— То, что я тебе сейчас говорю, это, повторяю, только догадки. Я их тебе излагаю, потому что ты усвоил урок фон Брауна: кто смотрит далеко вперед, за тем победа. Ты молодой, тебе еще смотреть и смотреть... Уточняю. Какой смысл, говоришь ты, печатать фальшивые издания «Скынтейи» с шифrogramмами, которые в Румынии никто не расшифрует. Смысл тут может быть один. Определенные службы некоей сверхдержавы проводят некие испытания, и, по мотивам, которые нам не известны, проводят их на нас. А чтобы избежать разных ошибочных интерпретаций, и прежде всего дипломатических трений, для шифrogramм используется код, который в нашей стране расшифровке не поддается; более того, содержание шифrogramм политического веса не имеет, то есть *пока* это просто пацифистская пропаганда.

— С трудом верится, — сказал Пантелимон. — Такие затраты средств и сил — только чтобы посылать шифrogramмами тексты из Евангелия или там из Ганди!..

— Если моя гипотеза верна, это — испытания чрезвычайной важности. Со временем они могут иметь весьма серьезные последствия. Я еще вернусь к этому аспекту проблемы. Пока что проанализируем цель испытаний. Их организаторы ищут пути: как передавать *по всему миру* те или иные лозунги, информацию, а на более позднем этапе, не исключено, даже инструкции политического или военного порядка. То есть идет проверка кода, который, с одной стороны, так прост, что его легко выучить наизусть, а с другой — автоматически перекодируется в случае, если его расшифрует противник. Да ты это знаешь лучше меня: на бессменной основе — на фазях Луны — шифр можно менять до бесконечности. В нашем случае слова отсчитываются вправо или влево от опечаток в тексте, но стоит модифицировать порядок отсчета, и образуется сколько угодно новых вариантов кода. Важно одно: чтобы существовала инвариантная и вполне доступная, то есть подходящая для всех широт, основа. И ты попал в точку: единственной такой основой был и остается лунный календарь.

— Но... — попробовал возразить Пантелимон.

— Понимаю, — остановил его Пантази. — Да, крайне сложно, я с тобой согласен, фабриковать искаженные копии газеты, переправлять их всеми правдами и неправдами через границу, предварительно проинструктировав зарубежных читателей, как, в случае необходимости, перекодировать метод шифровки, и прочая и прочая. Это и вправду архисложно, но сама система незыблема. Пока существует лунный календарь и пока существуют сверхдержавы, даже со скромными техническими средствами, никак нельзя воспрепятствовать распространению в мировых масштабах сообщений любой категории... Пока что, — добавил он, улыбнувшись, — они протаскивают пацифистскую пропаганду. Зеведей, например, ничего не смыслит в шифровальном деле, но он уверен, что речь идет о религиозных посланиях, предвещающих всеобщий мир. Он-то ведь все бился, чтобы, по его выражению, свести воедино два антагонистических периода своей жизни: пятнадцать лет политики и пятнадцать — медитаций в камере — и пришел к выводу, что только всеобщее примирение, так называемый «мир во всем мире», может спасти человечество от катастрофы. С того момента, как ему в руки первый раз попал свежий экземпляр газеты с датой трехгодичной давности, он считает, что в разных частях света уже началось мощное духовное движение. Но поскольку прочесть посланий он не умеет, он и спрашивает у всех встречаемых и поперечных, как у тебя, например, который сейчас год, в надежде, что в один прекрасный день попадет на того, кто владеет кодом и расшифрует ему послания... Если ты его увидишь, — улыбка Пантази стала грустной, — скажи, что он был прав: большинство посланий — это выдержки из Евангелия, *блаженства* чаще всего.

— Блаженства? — переспросил Пантелимон. — Это как?

— Ты разве никогда не слышал про Заповеди блаженства, провозглашенные Иисусом? «Блаженны алчущие... ибо они насытятся». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны миротворцы...»

— А, это! — перебил его Пантелимон, залившись краской. — Слышал, конечно. Просто не знал, что они так называются: *блаженства*.

— Всего восемь блаженств, — сказал Пантази, кладя слегка дрожащими пальцами последнюю щепочку на край скамьи. — Попробую припомнить их все по порядку.

Он прикрыл веки, сосредоточась.

— Вы говорили, что были послания и по-румынски, — осмелился нарушить молчание Пантелимон.

— Только одно, но многожды повторенное: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!»

У Пантелимона кровь отхлынула от щек.

— «Нищие духом», — шепотом повторил он. — Если только это не бестактно с моей стороны...

— Нисколько. Это послание — единственное, переданное по-румынски, — поддается расшифровке только через лунный календарь Уганды...

— Ее любимое выражение, — как во сне, продолжал Пантелимон. — Она все мне его повторяла. Я его воспринимал тогда как уничижительное и не понимал, зачем это она. И почему именно мне?...

Пантази резко смахнул со скамьи останки зубочистки, растоптал их каблуком, смешивая с гравием дорожки.

— Может, и поймешь когда-нибудь, — сказал он. — Было много нищих духом на этом свете. Но самым знаменитым все равно останется Парцифаль. Потому что он единственный задал себе вопрос: где находится чаша Святого Грааля? Хвала нашему Граалю! — продолжал он усталым, ушедшим в себя голосом. — Вот и у нас есть Грааль, который нам было суждено искать. Искать и найти! — добавил он, поднимаясь.

Пожал Пантелимону руку и медленно пошел прочь, слегка запрокинув голову, как будто его только что коснулось благоухание лип.

август 1975 г.



ДАЯН

Тем, кто придет следом...

I

Только в самом конце улицы, еще раз оглянувшись, нет ли кого за спиной, Добридор приступил к главному:

— Ты ничего такого не заметил в Даяне?

Думитреску пожал плечами с подчеркнутым равнодушием.

— Ты же знаешь, — отвечал он, не меняя темпа размеренной, экономайской походки, — его особа меня не интересует. Не люблю ни гениев, ни выскочек.

— Знаю, но я сейчас не про то, — сказал Добридор, понижая голос. — Тут какая-то каверза... — Он еще раз обернул назад голову. — По правде говоря, я просто теряюсь. Подозрительно, одним словом.

Думитреску от изумления резко застопорил.

— Подозрительно?! — выпалил он. — Это ты про Даяна? Да он без пятнышка, вечный отличник! Неделя-другая до диплома *summa cum laude**, пара месяцев до блестящей защиты, год до кафедры, которую подгонят специально под него, три года до академии, семь до...

— Ну, может, не подозрительно, — перебил его Добридор, — но каверза тут есть. Говорю тебе: я теряюсь в догадках. Я вчера это заметил, на геометрии, когда он был у доски. Помнишь, его еще Доробанцу вызвал, чтобы он нам объяснял?

* С отличием (*лат.*).

— А как же. «Объясни-ка им ты, Даян, а то у меня просто руки опускаются!» Вечная песенка и припевчик к ней: «Растолкуй им, Даян, будь добр, и если до них и тогда не дойдет, я отправлю этих придурков на черную работу!»

— Удивляюсь, как это никто больше не заметил, — продолжал Добридор. — Сегодня утром я проверил. Прошелся мимо несколько раз. Потом сделал вид, что не разбираю его каракули, когда он чиркал на доске, и сунулся совсем близко. По-моему, он заметил, потому что начал запинаться и покраснел. Вот это-то и подозрительно. С чего бы ему вдруг краснеть, если на него смотрят, особенно если *смотрят на его левый глаз?*..

— А с чего это ты вздумал его разглядывать? — недоумевал Думитреску.

Добридор загадочно улыбнулся.

— Сколько я его знаю, он всегда носил черную повязку *на правом глазу*, а сейчас она у него — *на левом*.

— Не может быть!

— Я тебе говорю: я проверил. Еще несколько дней назад у него был здоровым левый глаз, а сейчас — правый.

Думитреску впал в задумчивость, потом провел кончиком языка по губам и изрек:

— Это значит, что у него *здоровы оба глаза*.

— А тогда...

— А тогда значит — повязка у него для форсу, внимание к своей особе привлекать... Если только, — добавил он с расстановкой, — тут нет *других мотивов*.

— Вот я и говорю: подозрительно.

— Надо проинформировать кого следует, — глухо сказал Думитреску.

— Я тоже об этом думал, — шепотом отозвался Добридор, — что надо проинформировать...

— Только мы должны быть очень осторожными, — предупредил Думитреску, судорожно глотая и снова облизывая пересохшие губы, — очень осторожными. Чтобы он ничего не заподозрил и не успел переменить повязку обратно.

На другой день с утра было так пасмурно, что в кабинете декана горели все лампы. Юноша постучался, выждал с минуту, потом робко потянул на себя дверь и застыл на пороге, ослепленный электрическим светом.

— Товарищ секретарь сказал, что вы меня вызывали, — пробормотал он.

Декан Ириною долго молча изучал его взглядом, как будто впервые получил такую возможность. Наконец знаком велел приблизиться.

— Оробете Константин, — произнес он, — с каких пор тебя прозвали Даяном?

Юноша покраснел и вытянул руки по швам.

— С шестьдесят девятого года, с шестидневной войны, когда во всех газетах были фотографии Моше Даяна. Из-за черной повязки, как вы понимаете...

Ириною снова долго вглядывался в него, не сдерживая сокрушенной, недоверчивой улыбки.

— А отчего ты носишь черную повязку?

— Это после несчастного случая. Мне сосед нечаянно попал в глаз деревянным штырем. Купил по оказии вешалку — большую деревянную вешалку — и тащил ее к себе в комнату на плече. А у самой двери вдруг как развернется — и заехал мне штырем в глаз. Он не заметил, что я там стою, в коридоре. Я у стенки стоял, прижавшись, ждал, пока он пройдет со своей вешалкой...

— И не спасли глаз?

— Нет, не удалось. Штырь так глубоко в него вонзился, что даже стеклянный нельзя было вставить. Поэтому пришлось носить повязку.

— Который же это был глаз? — вкрадчиво спросил Ириною, поднимаясь из-за стола.

Юноша вскинул было правую руку, но только скользнул ею по щеке.

— Вот этот, который вы и видите, — пробормотал он, смешавшись.

Ириною подошел к нему чуть ли не вплотную, так и пронзая взглядом.

— Значит, левый, — сказал он с нажимом. — А между тем в твоём личном деле, которое я только что просмотрел, имеется справка из цен-

тральной городской больницы, где недвусмысленно значится, что деревянным предметом — ни слова про вешалку, — что острым деревянным предметом тебе выкололо правый глаз...

Оробете безнадежно поник головой.

— А ну-ка, сними повязку!

И со злорадством стал наблюдать за его движениями. Когда юноша развязал узел и осторожно снял повязку, Ириною наморщился и отпрянул. Орбита была пустая, лиловая, останки века висели жалко, никчемно.

— Можешь надеть повязку, — сдержанно бросил Ириною, возвращаясь за стол.

Полистал бумаги, выбрал пожелтевший листок и протянул юноше.

— Если ты запомнил детали несчастного случая, произошедшего восьмого сентября шестьдесят третьего года, прочти справку, которую тебе выдали в хирургическом отделении центральной горбольницы три дня спустя, одиннадцатого сентября.

Юноша дрожащей рукой взял листок, подержал и переложил в другую руку.

— Читай! — приказал Ириною. — И убедишься сам. Правый глаз. Черным по белому: правый!

В приливе отваги юноша вдруг уронил справку на стол и вперил отчаянный взгляд в глаза декана.

— Вы мне не поверите, знаю, — начал он твердо, — но я клянусь могилой моих родителей, что говорю правду. Это случилось четыре дня тому назад, в прошлое воскресенье. Под вечер я пошел пройтись — по бульварам в сторону Чишмиджиу. Вдруг слышу, меня окликают: «Даян! Даян!» Я обернулся. Я думал, это кто-то из знакомых. Но это был старый, очень старый господин с седой бородой и престранно одетый: в какой-то длиннополый кафтан, довольно-таки потрепанный. «Ведь тебя друзья и коллеги зовут Даяном, правда?» — говорит. «Правда, — говорю, — а откуда вы знаете?» — «Это долгая история, а вы, теперешние молодые люди, истории слушать не любите... Просто прими к сведению, что у Моше Даяна повязка не на том глазу. Если хочешь быть на него похожим, тебе надо ее перевязать. Давай-ка присядем на скамейку, и я мигом управлюсь». Я думал, он шутит, и говорю с улыбочкой: «Если вы облечены такой властью,

лучше верните мне второй глаз». — «Нет, — говорит, — этого я не могу...»

Небо полыхнуло мощной молнией, и Оробете пришлось переждать, пока затихнут раскаты грома.

Декан нетерпеливо задвигался в кресле.

— Что же дальше?

— «Этого я не могу, — говорит, — потому что не имею права творить чудеса...» У меня мороз прошел по коже, я ему: «Кто же вы такой?» А он: «Если бы я даже назвал тебе свое имя, оно бы тебе ничего не сказало, не читают нынешние молодые люди Эжена Сю». Я так и ахнул. «Вечный жид»?! — говорю. — Я читал, когда был маленький, в деревне у бабушки с бабушкой...» А он подхватывает: «В Стриндарах, в общественном амбаре, и кончил в канун Купальской ночи, еле разобрал последнюю страницу: свет уже мерк, а бумага была самая негодная, дешевое довоенное издание. До первой мировой войны...»

— Неужели правда? — перебил его Ириною. — Неужели так и было?

— В точности так, как он описал. Я еле разобрал последнюю страницу, потому что в амбаре стало темно, а бумага на самом деле была не ахти — макулатурная; на такой в старые времена печатали брошюрками романы... Тут я просто остолбенел от страха. А он подтолкнул меня к скамейке и усадил рядом с собой. «Не особо-то я имею право отдыхать, — говорит, — но раз в десять-пятнадцать дней там, наверху, смотрят на меня сквозь пальцы... На скамейке я уж сколько лет не сиживал. Как устану, норовлю прилечь, на чем придется — когда на лежанке, когда на завалинке, а тепло — так и на земле...» И под разговор, потихоньку, стянул у меня с головы повязку, а что потом, я уже смутно помню, все было как во сне.

Гром загрохотал совсем рядом, и юноша умолк. Ириною недовольно поглядел в окно.

— Все было как во сне, и я не пытался ничего понять, просто сказал себе: чего только не бывает во сне... Кажется, он поклонил палец и несколько раз очень осторожно провел по слепому глазу. Потом перевязал повязку на другую сторону и улыбнулся. «Теперь, — говорит, — ты и в самом деле похож на Моше Даяна. И правым глазом видишь лучше, не так ли?» Я и правда стал лучше видеть, но не смел

радоваться, не верилось, что все это наяву. Я был совсем сбит с толку и даже не заметил, как он исчез. Я все старался поудобней устроить повязку. Не привык носить ее на левой стороне, и она мне мешала, хотелось поправить ее перед зеркалом. Я встал со скамейки и тут только заметил, что старика рядом нет. Оглядел всю улицу из конца в конец. Никого. А когда пришел домой и снял перед зеркалом повязку...

Он не договорил, потому что ярко вспыхнула молния и тотчас же долгие раскаты грома сотрясли окна.

Ириною решительно вышел из-за стола и большими шагами заходил по комнате, уже не пытаясь скрыть раздражение.

— Совсем рядом ударило, — прошептал юноша.

В окна застучал град, и скоро гроза начала стихать.

— Вот что, Оробете Константин, — со сдержанной яростью произнес декан. — Ты мне зубы не заговаривай. Хватит, наслушался я про Вечно-го жида и трюки со слюнявым пальцем. Если бы я не знал, что твой отец был жестянщик, а мать — прачка, если бы не знал, что ты круглый сирота и круглый отличник с самого первого класса начальной школы и что товарищ Доробанцу хвастается направо и налево твоим якобы математическим гением...

Он остановился посреди кабинета, держа одну руку в кармане, нервно жестикулируя другой, — пережидая гром.

— ...если бы я всего этого не знал, я заявил бы на тебя за обскурантизм, мистицизм и суеверие. Да что там! Эта история вызывает у меня подозрения повесомее. Пока я не стану ничего предпринимать, не пойду никому докладывать. Но чтобы ты завтра же явился в том виде, в каком тебя приняли в университет и как записано в деле: с повязкой на правом глазу!

— Клянусь вам, что все было так, как я рассказал, — еле выговорил Оробете. — И как я повяжу повязку на правый глаз, если левым больше не вижу?

— Это твои проблемы! — отрезал взбешенный Ириною. — Если завтра же ты не представишься в полном соответствии с медицинской справкой, я доложу куда следует. И учти: при судебном разбирательстве на меня можешь не рассчитывать. Я всегда говорю правду, правду и одну только правду!

II

Он завидел его вдалеке и бросился следом, но скоро сердце так застучало, что пришлось на минуту остановиться. Прижимая рукой непокорное в надежде утихомирить, он снова заторопился вдогонку. И, несколько сократив расстояние, осмелился крикнуть:

— Пойдите, господин... господин израильтянин!.. Пойдите!

Какой-то прохожий зыркнул на него, прикрыл ладонью рот, пряча смешок, и перешел на другую сторону.

Из последних сил, держась за сердце, Оробете прибавил шагу и снова крикнул:

— Господин израильтянин! Господин Вечный жид!

Старик в удивлении обернулся.

— Даян! — воскликнул он. — Почему ты здесь? Я как раз шел к университету. Надеялся встретить тебя там...

— Из университета меня выгнали, — проговорил Оробете, все еще держась за сердце. — То есть не то чтобы совсем, но не разрешают посещение, пока я не...

У него стеснило грудь, и он смолк, сясь улыбнуться. Потом процедил с трудом:

— Прошу прощенья, страшно колотится сердце, того и гляди разорвется. Со мной первый раз такое.

— И последний, — молвил старик.

Протянул руку и легким касанием осенил сначала его плечи, потом грудь. Оробете глубоко перевел дух и отдышался.

— Прошло, — с облегчением сказал он.

— Ну а как же иначе? — откликнулся старик. — Ведь еще две-три минуты, и ты свалился бы в обмороке, а пока дождешься «скорую», мало ли что может случиться... Как видишь, мы оба платим: я вернулся с дороги, чтобы восстановить справедливость, а твое сердце как почувствовало, что его ждет... — И добавил, снова тронув его за плечо: — Идем. Все равно ты не поймешь, какую бы я метафору ни употребил. И вот тебе совет: не говори, не спрашивай. Пусть между нами накопится Время. Если ты и впрямь, как о тебе говорят, математический гений, ты уловишь и это благодатное свойство времени: сжиматься и расширяться, смотря по обстоятельствам. Итак, ни о чем

не спрашивай. Но если буду спрашивать я, отвечай. Я хочу быть уверен, что ты меня слышишь.

Они остановились у какого-то особняка, по видимости постройки прошлого века.

— Ты не знаешь случаем, кто здесь живет?

— Нет, — отвечал Оробете.

— Я тоже. Войдем. Можете, тут для нас отыщется уголок, где можно спокойно поговорить.

Он открыл железную калитку и, поскольку юноша замялся, взял его под локоть и повлек за собой. Они быстро пересекли несколько метров, отделявших их от бокового входа. Старик почти одновременно нажал на кнопку звонка и на дверную ручку. Они вошли.

— Мне здесь не нравится, — сказал старик, окинув помещение взглядом.

Они стояли на пороге большой, вытянутой в длину гостиной, довольно опрятной, но без ковров и почти без мебели. Два окна, справа и слева от двери, были занавешены шторами цвета спелой вишни, а остальные, вообще без штор, щедро пропускали послеполуденный свет майского дня.

— Не нравится мне здесь, — повторил старик. — Как будто бы хозяйка не успели распродать всю мебель.

Он двинулся вперед неожиданно скорым, молодым шагом, таща за собой Оробете и приговаривая:

— Не бойся. С нами ничего не случится, потому что мы вошли сюда без дурных мыслей.

Юноша озибался на ходу, вытягивая шею к окнам, за которыми то ли мелькали, то ли чудились ему тени прохожих. И только он в очередной раз вывернул назад голову, как оказалось, что гостиная в неуловимый миг сменилась залом, напоминающим старомодную столовую, но ни в коем случае не столовую того дома, в который они входили.

— Нет, — снова заговорил старик, — и это не то. Попробуем счастья на другом конце сада.

В следующую минуту они уже спускались по каменной лестнице в маленький парк с прудиком, где Оробете заметил несколько рыб, сонно подрагивающих среди лилий. Удивленный сверх всякой меры, он открыл было рот, чтобы задать старику вопрос.

— Я вижу, тебе очень нравится Пушкин, — опередил его старик. — Ты носишь в кармане томик его повестей, да еще в оригинале.

— Я выучил русский из-за Пушкина, — смущаясь, сказал Оробете. — Но если позволите, я задам вам один вопрос...

— «Капитанская дочка»! — воскликнул старик с меланхолической улыбкой. — Как сейчас помню тот вечер в Санкт-Петербурге, трактир, какой-то студент врывается вихрем с улицы, выкрикивает: «Пушкин убит! На дуэли!» — и, рыдая, закрывает лицо руками.

— Я тоже чуть не заплакал, когда дочитал его биографию до конца...

— Осторожней, не поскользнься! — Старик энергично поддержал юношу под руку. — Вероятно, паркет навозили к празднику, мы попали в канун карнавала.

Оробете недоуменно поглядел по сторонам, желая сориентироваться, но они шли так быстро, что взгляд выхватывал лишь фрагменты все новых и новых декораций, плывущих мимо.

— Если позволите... — попробовал он еще раз.

— Великий, гениальный поэт-романтик! — не дал ему договорить старик. — Пушкин! «Капитанская дочка»! Ты перечитывал ее, я уверен, раз пять-шесть. Но помнишь ли ты то место, где один персонаж объясняет другому, почему русский офицер *вынужден* играть на бильярде?

— Прекрасно помню, потому что оно меня огорчило и навело на разные мысли. Я могу прочесть его наизусть по-русски, но лучше прочту по-румынски, в своем переводе.

— Я тебя слушаю, — церемонно сказал старик, останавливаясь посреди комнаты.

Комната была довольно большая, но с очень низким потолком и с одной скошенной, как в мансарде, стеной. Печальный серый свет проникал через несколько овальных окошечек.

— «В походе, например, — начал Оробете, — придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде...»

— Совершенно точно. Так было когда-то в России. Да и сейчас положение вещей не слишком изменилось. Но, в сущности, это говорит только персонаж Пушкина.

— Я тоже так подумал. Не Пушкин, а его персонаж. К тому же персонаж несимпатичный... Но я хотел вас спросить...

— Знаю, — перебил старик, снова подхватывая его под руку, — и отвечу, как только мы найдем тихое место, где можно будет поговорить без опасения, что помешают. Но сначала надо выйти из этого лабиринта... Сам видишь: на месте старых домов, которые сгорели или были снесены, построены новые, но прежняя планировка не соблюдена, так что нас выносит иногда на бульвар, иногда в сад... Вот как сейчас, — добавил он, сильнее сжимая его руку. — Этот сад принадлежал очень богатому человеку; вон там, в глубине, была оранжерея, а по обеим ее сторонам — клумбы с розами. Представляешь, как все это выглядело с мая до середины октября... Но сейчас, когда повернуло на зиму...

Оробете очнулся на аллее, среди высоких безлистных деревьев и почувствовал, как холодит ноги влажный стылый гравий.

— Настоящий денежный мешок, — продолжал старик. — Поговаривали, что у него девяносто девять слуг, и не все рабы, он вывез из-за границы отличных поваров, и лакеев, и садовников. Еще поговаривали, что у него всегда жили гости, и зимой, и летом, но никогда не более дюжины — ему не нравилась шумная жизнь...

Когда в конце аллеи старик отворил дверцу на какую-то крытую галерею и хотел пропустить юношу вперед, тот уперся.

— Интересно, — сказал он, — как это до сих пор мы не встретили ни одной живой души? Ни шума, ни детского гомона...

Старик положил руку ему на плечо.

— Кого ты хотел встретить, Даян? Чей гомон услышать? Тех, кто жили когда-то в этих домах, давно нет. Самые младшие умерли в конце прошлого века.

Оробете вздрогнул и пристально поглядел на старика. Видно было, что он напуган.

— Ну а другие — их дети или те, кто пришли на их место?

Старик покачал головой, горько усмехнувшись, словно бы пряча разочарование.

— Математическому гению, в коих ты числишься, подобный вопрос лучше бы не задавать, потому что он лишен смысла. *Другие*, те, что еще живы, живут в своих домах, некоторые даже в тех самых, через которые мы проходили. Но, как тебе прекрасно известно...

— Значит, — бледнея, перебил его Оробете. — *значит...*

Старик взглянул на него с веселым любопытством и снова взял за руку.

— Я думал, ты давно понял, — сказал он. — Но сейчас поторопимся, нам нужно миновать зиму...

III

Юноша послушно повлекся за ним, больше не озираясь по сторонам. Иногда он ловил себя на мысли об одном крайне загадочном уравнении, над которым бился уже несколько месяцев.

— Будь внимательнее, Даян! — услышал он окрик. — Если ты заблудишься во сне, выбираться придется не один год.

— Я не сплю, и спать мне не хочется, — ответил Оробете, покраснев. — Я думаю о Пятой теореме. Мне бы решить ее — тогда бы я понял, что со мной происходит *сейчас*.

— Поймешь и без теоремы. Но надо поторапливаться.

Они уже не шли, а, как ему казалось, мчались сквозь вереницу слабо освещенных комнат, чьих очертаний ему было не различить, и скоро очутились у огромного, в полстены, окна в салоне с мебелью необыкновенного изящества, с живописными драпировками и венецианскими зеркалами.

— *Mira ahora!* — воскликнул старик. — Теперь смотри! Солнце! Солнце над озером! Осталась минута до заката!

— До заката... — во внезапном волнении повторил Оробете. — А солнце как будто и похоже, и непохоже на наше.

— Так оно выглядит в здешних краях под конец октября. Я без всякой счетной машинки мог бы сказать, в который раз я вижу заход солнца. По легенде, на протяжении тысячи девятисот с чем-то лет. Вот и подсчитай. Но на самом деле *гораздо, гораздо больше*.

Он за руку подвел юношу к боковой двери, приоткрытой наполовину.

— Зачем я говорю все это именно тебе, который противится коварству Времени, *List der Zeit*, если перефразировать знаменитое гегелевское *List der Vernunft*, коварство Разума? Взгляни — вот дверь, она открыта. Мы не войдем, потому что то помещение, что за ней, лежит не на нашем

пути. Однако из его окон никогда не увидишь заката. А это-то обстоятельство, такое на вид банальное — *что оттуда никогда не виден закат*, — долгое время и питало заветную тайну. Ты понимаешь, что кроется за этим словом: «тайна». Трагедия с преступлением в конце, причем с преступлением столь загадочным, столь искусно утаенным, что никто ничего не заподозрил...

— Я чувствую почерк гениального поэта, сочинившего невероятную историю, — прошептал Оробете. — Мне бы хотелось услышать ее...

— И я бы с удовольствием рассказал ее еще раз, — отвечал старик, беря юношу под локоть, — но при нашем темпе на это ушло бы несколько дней. Оставим же ее такой, какой она была для всех тех, кто совпал с ней по времени: не поддающейся объяснению...

Они двинулись вперед еще стремительней, так что скоро Оробете не выдержал и невольно замедлил шаг.

— Я знаю, о чем ты все порываешься спросить меня с тех пор, как мы встретились во второй раз, — сказал старик, останавливаясь. — Ты хочешь спросить, *вправду ли все это*. А мне не просто тебе ответить. В иные времена, Даян, когда люди любили сочинять легенды и сказки и, не сознавая того, через сам акт доверчивого слушания проникали во многие тайны мира, — повторяю, даже не подозревая, сколь многому научаешься, сколь многое открываешь, когда слушаешь сказку, когда ее пересказываешь... — так вот, в иные времена я звался Агасфером, Вечным жидом. И воистину — до тех пор, пока люди всерьез воспринимали мою историю, я был им, Вечным жидом. Не стану объясняться, оправдывать себя. Но если я столько времени оставался среди вас, это имеет смысл — смысл глубокий и грозный. Когда же настанет Суд для вас всех на этой окончечности света — будь вы христиане и евреи или скептики и неверующие, — вас будут судить по тому, что вы поняли из моей истории...

Только тут Оробете заметил, что стоят они посреди бедной каморки с железной кроватью и старым столом, на котором не было ничего, кроме керосиновой лампы.

— А теперь, когда ты отдохнул, — продолжал старик, — поспешим дальше. Темнеет.

И снова мягко повлек его за собой. Свет и правда убывал прямо на глазах. Но Оробете никак не мог понять, смеркается ли на самом деле или

это по ходу их движения падают драпировки на окнах бесконечно длинной галереи, которой они шли.

— Чтобы тобой сызнова не завладела теорема, — сказал старик, — я отвечу на второй вопрос, который ты чуть не задал мне, когда я заметил у тебя в кармане томик Пушкина. Ты хотел спросить, сколько времени я буду еще блуждать по свету, не зная покоя. Ты ведь понимаешь, что это единственное, чего я хочу: сподобиться смерти в один прекрасный день, как всякая тварь на свете... — Он вдруг стал и, встряхнув юношу за плечо, воскликнул: — Ну же, Даян! Брось Эйнштейна, брось Гейзенберга! Слушай, что говорю я. Ибо скоро я узнаю, понял ты или нет, почему *только теперь* я отвечаю на твои вопросы.

— Я слушаю, — смущенно отвечал Оробете. — Но без принципа, без аксиом мне не на что опереться.

— Напряги воображение — и опора найдется. Только прежде припомни *легенду*. Тут все дело в *моей* легенде. Припомни: в ней говорится, что мне будет позволено отдохнуть — умереть, иными словами, — когда наступит конец света, незадолго (какая мера у этого *незадолго, какая?*) до Страшного суда. Вот почему на протяжении двух без малого последних тысячелетий не было на земле человека, который бы алкал так, как я, конца света. Вообрази, с каким нетерпением я ждал круглую дату, канун второго тысячелетия! Как горячо молился ночью тридцать первого декабря девятьсот девяносто девятого года!.. А в недавнем времени мне снова подняли дух термоядерные взрывы... Слушай хорошенько, Даян, потому что отсюда речь пойдет и о тебе тоже...

— Я слушаю, — подтвердил Оробете. — Вы говорили...

— Да, о последних термоядерных взрывах. О них говорит весь мир, но для меня водородные и кобальтовые бомбы — последняя «надежда» (ты чувствуешь кавычки? Подразумевается-то совсем другое. К тому же я открыл скобки: учись, Даян, различать условный язык за языком повседневности. Ты скоро научишься. Это своего рода игра, а ты ведь математик, да еще со склонностью к поэзии... Теперь я закрываю скобки).

— Я слушаю, — повторил Оробете, поскольку старик смолк и порядком замедлил шаг. — По-моему, я понимаю, что вы хотите сказать...

— И попробуй не думать больше о Пятой теореме, — не сразу отошел старик, — потому что начался спуск, а сейчас, когда стемнело...

— Спуск? — с удивлением переспросил Оробете, озираясь. — Я бы сказал — наоборот.

Несмотря на почти полную темноту, ему казалось, что они вступили на плавно уходящий вверх и слегка вправо пригорок.

— Осторожнее! — предупредил старик, с силой сжимая его локоть. — Еще пара шагов — и лестница, а она, хоть и каменная, изрядно стерта от времени...

— Да, вот она! — сказал Оробете, почувствовав под ногами первую ступеньку. — Не беспокойтесь, я не поскользнусь, я к темным лестницам привычный...

И все же он не мог отделаться от ощущения, что они вовсе не идут вниз, а пробираются по горизонтальному туннелю, мощенному каменными плитами.

— Пожалуй, можно продолжить, — сказал старик. — Тебе неоткуда знать, что в день двадцать первого апреля тысяча пятьсот девятнадцатого года, в Страстную пятницу, Фернандо Кортес водрузил над мексиканской землей стяг с крестом — там, где после был заложен город Веракрус. Неоткуда тебе знать и то, что двадцать первое апреля тысяча пятьсот девятнадцатого года по ацтекскому календарю пришлось на последний день благодатной эры (они называли ее «эрой небес»). Эта эра состояла из тринадцати циклов по пятьдесят два года в каждом и переходила в «эру преисподней» как раз в день двадцать первое апреля тысяча пятьсот девятнадцатого года... Слушай со вниманием, Даян, — повысил он голос, снова сжимая его руку, — повторяю, это касается тебя!

— Я слушаю, только...

Оробете запнулся, как бы не решаясь продолжить.

— Ну же, смелее! — подбодрил его старик.

— ...только *мы не спускаемся!*

— Другими словами, наш путь ровен и прям? Но на сей раз ты ошибаешься, Даян. Ты поймешь это, как только мы выйдем на свет. Будь у тебя гений Галилея, ты внял бы голосу разума, а не чувств.

— Вы правы, — согласился Оробете, и тут его прорвало. — Это-то и мучительно: я никак не могу распознать голос *разума*. До тех пор, пока я не пойму аксиом, мне не вызволиться из мнимости ощущений... А мнится мне, что, ей-Богу, никакого спуска тут нет и в помине, уж скорее подъем. В крайнем случае этот темный туннель ведет прямо.

— Кто сегодня читает эпос о Гильгамеше! — посетовал старик.

Оробете в страхе замер.

— Значит, вам и это известно...

— И это, — подтвердил старик и потянул его за собой.

— Просто я не позволяю себе спать больше четырех-пяти часов в сутки, и далеко за полночь...

— Я подскажу тебе, что происходит далеко за полночь, — перебил его старик. — Ты усташь думать, «обмозговывать математику», как ты называешь это про себя, и возвращаешься к своей первой любви, к поэзии.

— Именно так, — проронил Оробете, — но об этом никто не знает.

— И не надобно никому знать. Ты хорошо сделал, что запер стихи в голубой сундучок.

— Это все, что мне осталось от мамы. Сундучок из-под ее приданого...

— Знаю, — кивнул старик. — Все книжки не поместились. Часть ты заткнул за словари на этажерке. Ты скупал стихи у букинистов или, по сходной цене, у бывших коллег. Так ты напал на эпос о Гильгамеше в переводе Контено. Тыдумал, это классический эпос, как у Гомера и Вергилия.

— Невероятно! — прошептал потрясенный Оробете. — Откуда вы знаете?

— Поймешь после... Когда ты сказал, что мы идем по туннелю, это ты невольно вспомнил подземный путь Гильгамеша. Помнишь, как Гильгамеш отправился искать Ут-напишти, чтобы выпытать у него секрет бессмертия, и дошел до ворот, через которые солнце каждый день спускается во тьму, а ворота стерегли два чудовища — полулюди, полускорпионы...

— ...они все же его пропустили, — подхватил в волнении Оробете, — потому что признали в нем сына богини Нинсун, зачатого ею от смертного. Гильгамеш проник в подземный ход и прошел путем, который солнце проделывает каждую ночь, — он шел двенадцать часов, пока не оказался по другую сторону гор, в райском саду...

— Нам так долго не понадобится, — сказал старик. — Но если бы ты с самого начала, вместо того чтобы верить ощущениям или искать аксиомы, пустил свое воображение вслед за Гильгамешем, ты бы понял, что точно так же, как знаменитый месопотамский герой, ты *спускаешься* под землю...

— Верно, — тихо сказал Оробете.

— Хотя, может быть, это и моя вина, — продолжал старик, — с чего бы это тебя, юного математического гения, в год пять тысяч семьсот тридцать третий от сотворения мира, — с чего бы это тебя стали интересоваться надежды какого-то там Агасфера из ветхой легенды?

— Нет, мне интересно, — с усилием выговорил Оробете, — ведь вы же не раз пытались привлечь мое внимание — а я не понимал или притворялся непонимающим, — что ваша «надежда» (видите, маэстро, я тоже употребляю кавычки), ваша «надежда» напрямую связана с моей судьбой. И не только с моей, — добавил он еле слышно.

— Ну-ну, — сказал старик, — скоро ты станешь, каким был прежде. А потому спешу закончить. Тот день, двадцать первое апреля тысяча пятьсот девятнадцатого года, отмечал не только конец благодатной эры, но и начало «эры преисподней», которая, по расчетам ацтекских прорицателей, должна была уложиться в девять циклов по пятьдесят два года в каждом, то есть в четыреста шестьдесят восемь лет — и завершиться в год тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Ее конец мог бы означать конец света, а для меня...

— Да, так, — сказал Оробете, — Но все зависит от условного языка, от того, как понять, как перевести пророчество с ацтекского языка.

— Bravo! — похвалил старик, энергично сжимая его руку. — И раз ты назвал меня «маэстро», я тоже скажу тебе, что ты выдержал экзамен, хотя и не самый трудный... Вот мы и пришли, — объявил он, чуть помолчав. — Туннель кончается.

IV

Они как бы вынырнули на свет, с непривычки неестественно яркий, и Оробете заслонился от него рукой.

— Устал, — проронил он, — и очень хочется пить.

— Как видишь, мы вышли к воде, — сказал старик, кивая на два тихих источника, текущих неподалеку среди тополей и кипарисов, и предупредил: — Но будь очень осторожен. Не кидайся к первому попавшемуся.

Оробете почти бегом пустился к рощице. Упал на колени у одного из источников, сложил ладони пригоршней и стал жадно пить.

— Даян! — услышал он позади. — Ты выбрал верно, только не торопись.

— В таких пределах и я осведомлен, маэстро, еще со времен походов в Карпаты. Никогда не пить из источника, который по левую руку... Умирал от жажды, — прибавил он, — думал, никогда не напьюсь...

Старик был уже рядом, и Оробете рывком встал с колен.

— думал, никогда не напьюсь, — повторил он, — а хватило нескольких глотков...

Старик смотрел на него испытующе, с любопытством, словно бы ожидая, не скажет ли он чего-то еще.

— Вот и место, которое мы искали, — наконец заговорил он, кивая на скамью, укрытую в тени под кипарисами.

На сей раз он не тянул Оробете за руку, а просто пошел вперед. Оробете молча последовал за ним, постепенно расплываясь в улыбке.

— Зачем вы меня дурачили, маэстро? — мягко спросил он, садясь рядом со стариком на скамью. — В той комнате за полуоткрытой дверью ничего особенного не произошло: ни драмы, ни преступления. Комната как комната, мы таких прошли множество — без тайны.

— Верно, — отвечал старик, так и просияв. — Но дурачить тебя я не хотел. Это была просто загадка, самая простенькая из загадок.

— А зачем вы сказали мне, что у помещика было девяносто девять слуг? У него всего-то и было, что несколько рабов-цыган, пара прислужников в доме и один садовник-австрияк. Да и тот в конце концов уехал в свою Вену, потому что хозяин обнищал и не платил ему целый год.

Старик взглянул на него, как никогда раньше, с особенной теплотой.

— Девяносто девять, Даян, — мистическое число. Только не надо применять к нему мерки твоей математики. Я просто вводил тебя в игру — как на лету схватывать условный язык под камуфляжем обыденного.

— «Тайный язык», — с пониманием улыбнулся Оробете. — *Parlar cruz*, как его называли провансальские мистики в Италии и во Франции, те самые *Fedeli d'Amore**. Хотя я давно о них читал, я все очень хорошо помню.

* Верные любви (итал.).

Старик взял его за плечо и разочарованно заглянул в глаза.

— Помнишь, потому что читал? Только-то? Усилие, Даян! Ты вспомнишь множество того, чего не читал никогда!

Оробете потер лоб, напряженно глядя прямо перед собой.

— Глагол... — пробормотал он. — Я мог бы заговорить по-арабски — мне бы только вспомнить глагол...

— Прочь арабский! — отрезал старик, встряхнув его за плечи. — Он тебе не понадобится.

— Наплывает столько всего, что я теряюсь... Слишком много событий. Слишком много людей — то ли я знал их когда-то, то ли...

— Сделай усилие и забудь ненужное, — приказал старик. — Помни только *существенное*. То, что ты выделил бы как *существенное*.

Оробете снова потер лоб.

— Столько вещей кажутся мне *существенными*, — проговорил он в смятении. — Сколько вещей...

— Забудь! Забудь! — прикрикнул на него старик. — Не давай захлестнуть себя всему, что было с тобой самим или на твоей памяти, не то снова заблудишься. Память может быть такой же фатальной, как и беспамятство. Сделай усилие! Убеди себя, что *тебе нет до них дела*, до всех этих людей, — и ты увидишь, они уберутся туда же, где были до сих пор: в тот же сон забвения...

— Делаю! Так и делаю! — чужим голосом, глухо, будто сквозь сон, заговорил Оробете. — Выбираю; отставляю в сторону.

— Верно сформулируй вопрос, — повелел старик. — Единственный, который тебя занимает. Вспомни *существенное*... В иные времена ты рисковал бы попасть на костер, как еретик, в нынешнее же...

— Жак де Безье! — вскричал Оробете в озарении, порывисто оборачиваясь к старику. — И все, что он описал в трактате «*C'est des fiez d'Amours*»*.

— Сосредоточься, — снова властно вступил старик, видя, что он опять мнется. — Не поддавайся искусу других воспоминаний. *Существенное!*

— По всей вероятности, — обрел твердый голос юноша, — в те времена *существенным* было тайное значение слова *амог*...

* «О верных любви» (*старофранц.*).

— Было и осталось поныне, — уточнил старик.
Улыбаясь, Оробете продекламировал:

A senefie en sa partie
Sans, et *mor* senefie *mort*;
Or l'asemblons, s'aurons *sans mort**.

— По всей вероятности, — кивнул старик, — это и было тайное послание. Откровение. «Любовь», *истинная* любовь есть то же, что «бес-смертие».

— Но до сих пор, — обескураженно, как будто его резко выбили из грёз, сказал Оробете, — моей единственной любовью были поэзия и математика.

— Не исключено, что они — всего лишь разные лики непроницаемой Madonna Intelligenza**. Пока ты выбрал как нельзя лучше: Мудрость, которая есть одновременно Вечная женственность и женщина, которую полюбишь... Об этом не беспокойся, — добавил он, — ты еще очень молод, время не упущено.

Оробете грустно усмехнулся.

— До несчастного случая меня звали «Прекрасный витязь, весь в слезах»***, потому что одна из хозяйских дочек раз застала меня на кладбище, когда я плакал над маминой могилой. А после несчастного случая меня прозвали Даян.

— Пути Господни неисповедимы, — торжественно изрек старик. — Давно пора тебе это знать... А теперь, — продолжал он, — поскольку ты полностью пробудился, дерзай! Ведь, с тех пор как ты утолил жажду, тебя мучает несколько вопросов.

— Первым долгом, — волнуясь, начал Оробете, — я хотел бы знать: это все — *на самом деле*?

Старик снисходительно улыбнулся и положил руку ему на плечо.

— Это ты поймешь, как только мы расстанемся... Смелее, твой во-

* Образец «тайного языка».

** Мадонна Мудрость (*итал.*).

*** Перефразированное название сказки Михаила Эминеску «Прекрасный витязь, дар слезы».

прос! — еще раз призвал он, видя, что молчание затягивается.

Призванный к смелости, Оробете решительно поднялся со скамьи и посмотрел прямо старику в глаза.

— Почему я должен вернуться? — спросил он одними губами.

Старик ответил не сразу, словно ожидая продолжения.

— Должен тебе сказать, что твой вопрос некоторым образом меня разочаровал... Садись, садись рядом.

Оробете послушно сел на скамью и понурился.

— Куда вернуться, Даян? Разве ты уходил? И как бы ты мог уйти, не став прежде тем, чем тебе догжно: гениальнейшим из математиков?

— Но в таком случае, — пробормотал Оробете, — может оказаться, что история комнаты с полуоткрытой дверью — правда.

С лукавой улыбкой старик снова коснулся его плеча.

— В таком случае я ответил бы тебе твоими собственными словами, которые ты произнес, выслушав пророчество мексиканских ясновидцев. Все зависит от условного языка: от того, как понять, как *перевести* историю комнаты с полуоткрытой дверью...

Оробете на миг забылся — и вдруг расцвел.

— Так оно и есть! — воскликнул он. — Как же я сразу не понял! Это оттого, что я еще не вполне перешел на *parlar cruz*.

— Скоро, скоро перейдешь, — ободрил его старик. — Как только снова увидишь декана, профессоров и своих коллег. А теперь давай немного поговорим, тут нам никто не помешает. Поговорим на том обыкновенном языке, на каком ты изъяснялся до сего дня в Бухаресте.

Нависла пауза, они сидели, не глядя друг на друга.

— Долго рассиживаться мне не позволено, — начал старик. — Впрочем, как только солнце зайдет, нам придется расстаться... Итак, вернемся к той несправедливости, которую над тобой совершили...

— Теперь это совершенно не важно, — тихо улыбнулся Оробете.

— Всё важно, всякая несправедливость. Но тут есть и моя вина: я должен был принять во внимание человеческую злобу. В сущности, если бы те двое твоих коллег не были отравлены завистью, никто бы ничего не заметил. Осенью двадцать пять страничек о теореме Гёделя принесли бы тебе степень доктора, твоя работа произвела бы сенсацию во всем мире, ты стал бы знаменитым — и кто бы тогда отважился, даже в такой стра-

не, как твоя, поинтересоваться у великого человека, который глаз у него утрачен, левый или правый?

— Все это совершенно не важно, — повторил Оробете.

— Ты так говоришь, потому что *сейчас* ты под впечатлением того, что тебе вспомнилось, что открылось. Тебе кажется, и с полным основанием, что это гораздо важнее, чем критика Гёделевой теоремы. Но послушай меня хорошенько, потому что, повторяю, *мы говорим сейчас на обыкновенном языке*... Прежде чем Гёдель и остальные узнают о твоей гениальности, тебе придется убедить декана, что он совершил самую большую глупость в своей жизни...

Смех так и повалил Оробете, но он быстро сдержал себя и пристыжено провел ладонью по лицу.

— Хорошо, что ты окончательно проснулся, — заметил старик, — и вернулся к обычной своей манере мыслить и вести себя. Итак, повторяю: тебе придется убедить декана...

— Это будет трудновато, — серьезно сказал Оробете. — Я его хорошо знаю: он ни в зуб ногой по математике, не осилит даже уравнение второй степени. Деканом его назначили по политическим мотивам. А если невежда к тому же еще и крепколобий... — Он улыбнулся. — В общем, его может переубедить только приказ сверху.

— Об этом-то я и подумал, — кивнул старик. — Я не имею права перedefеливать то, что содеал. Ты останешься таким, как есть, по образу Моше Даяна, до конца своих дней. Надо искать другие возможности. Тот же приказ сверху.

— Но как мы его получим? — с грустной усмешкой спросил Оробете. — У меня нет протекции. И меня никто не знает, кроме моих преподавателей.

Старик поднял глаза к небу.

— Скоро закат, — задумчиво проговорил он. — Надо спешить... Завтра вечером в Принстоне секретарь Гёделя найдет на столе твою работу. Он потратит полночи на то, чтобы ее понять, но как только поймет, побежит будить Учителя. Таким образом, послезавтра утром все крупные математики и логики Принстона *узнают*. Через двадцать четыре, самое большее через сорок восемь часов они будут названивать тебе по телефону.

— Которого у меня нет.

— Они будут звонить не тебе, а в американское посольство и на факультет. Потому что, если до них дойдет — а Гёдель, я полагаю, и еще двое-трое в состоянии тебя понять, — они затрепещут. И, уверяю тебя, на этот раз не повторится история с Эйнштейном или с Гейзенбергом... Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю, — отвечал Оробете.

— Итак, тебе надо переждать три, самое большее — четыре дня.

Старик легко поднялся и крепко, с теплотой пожал ему обе руки.

— А теперь нам пора расстаться. Но помни, что пишет Франческо да Барберино: «*Sed non omnia omnibus possunt glossari*».

— Не все, — с задумчивым видом перевел Оробете, — может быть растолковано всем.

— Совершенно верно... Ты найдешь дорогу домой?

— Найду, маэстро, — отвечал Оробете, едва сдерживая волнение. — Это недалеко...

V

Он увидел стоящую перед домом машину, но не обратил на нее внимания. Вынул ключ, чтобы открыть дверь, и тут на его плечо легла рука милиционера.

— Товарищ Оробете Константин? — сухим, непроницаемым голосом спросил тот. — Студент математического факультета?

— Да. А что такое?

— Пройдете со мной. Вас ждет товарищ декан.

Забравшись в машину, он наклонился к шоферу и так же без выражения приказал:

— Передай, что объект вернулся. Уточни время: шесть двадцать пять. Это необыкновенно развеселило юношу.

— Раз уж речь зашла о точности, — заговорил он, — хронометр показал бы шесть двадцать шесть и восемнадцать секунд. По счастью, у нас с вами нет часов с таким точным ходом. Они стоят целое состояние. К тому же один немецкий ученый доказал, что даже самый лучший хронометр, если его носить восемьдесят пять лет подряд, начинает отставать на долю секунды. Правда, на ничтожную долю — на трехтысячную...

Милиционер выслушал его с невозмутимым видом и снова нагнулся к шоферу:

— Оставишь нас у главного входа, а ждать будешь там, откуда выезжали.

...Он проворно выскочил из машины и, только Оробете вслед за ним ступил на асфальт, крепко взял его за руку выше локтя. Юноша опять улыбнулся, как будто еще более обласканный, но на сей раз промолчал. Вахтер был явно осведомлен, потому что уже маячил у входа. Приоса-нясь, он без промедления проводил их по коридору к лифту, пропустил вперед, нажал на кнопку, а когда лифт остановился, вышел первым и устремился к кабинету декана. Прежде чем распахнуть дверь, милиционер дважды постучал.

— Оробете Константин! — вскричал декан Ириною, поднимаясь из-за стола. — Что ты со мной сделал, Оробете!

— Что я с вами сделал, господин декан?

— Где ты пропадал?

— Вы же мне сами велели не сметь являться на факультет иначе, как в соответствии с медицинской справкой. Ну, я и не посмел сегодня утром, хотя должен был представить курсовую на семинар по дифференциальному исчислению. Пошел слоняться по улицам, думал: вдруг встречу того человека, из-за которого у меня такие неприятности. И мне повезло. Не прошло и часа, как я его встретил. Мы долго гуляли, беседовали. Вернее, говорил больше он. Очень интересные вещи. Для меня по крайней мере. Потом, в пять тридцать, мы расстались, и я отправился домой. Как вам может подтвердить товарищ милиционер, вернулся я в шесть двадцать пять.

Ириною слушал его, нахмурясь, сплетая и расплетая пальцы.

— Мало того, что ты скрывался, — процедил он, — ты еще и...

Он наткнулся взглядом на милиционера и осекся.

— Вы можете подождать в коридоре. Мне уже позвонил товарищ инспектор. Он будет здесь с минуты на минуту.

Когда дверь за милиционером закрылась, Ириною бессильно упал в кресло.

— Не ожидал от тебя такой неблагодарности, — заныл он, не поднимая глаз. — Люди, которые столько для тебя сделали, вырастили, можно сказать, как родного! А я-то — я так тобой гордился, напра-

во и налево расхваливал: математический гений, математический гений!..

— Но что же я такого сделал, господин декан? — снова, уже с полной серьезностью спросил юноша. — Разве нельзя на несколько часов отлучиться из дому?

— Лжешь! — гаркнул Ириною, стукнув кулаком по столу. — Как только нам все сообщили, мы послали за тобой милицию! Ты скрылся в среду вечером!

— Так сейчас и есть среда. И вечер только начинается.

Декан взглянул на него затравленно, с тайным страхом.

— Ты либо потерял память, либо издеваешься. Сесть!

Юноша послушно присел к столу.

— Ты пропадал три дня и три ночи, — с расстановкой произнес Ириною. — Сегодня суббота, девятнадцатое мая. Вот, посмотри на календарь.

Юноша еще и еще раз провел рукой по лбу — и залучился кроткой таинственной улыбкой.

— Итак, — заговорил он как бы сам с собой, — четыре дня и четыре ночи... Я же был в полной уверенности, что всего пять часов. С точностью знал час, но не день. Выпал из второго микроцикла, жил только в первом. Да, правда, время способно сжиматься так же, как и расширяться, но любопытно, что я не устал, не проголодался и что мне не хочется спать. А еще, — он потрогал щеки, — любопытно, что за три дня у меня не отросла щетина...

На этих словах дверь распахнулась, и вошел человек средних лет, с тщательно прилизанными редкими волосами, в летнем, но безукоризненно строгом костюме. Ириною вскочил, кинулся навстречу и долго тряс ему руку. Оробете тоже встал и учтиво поклонился, назвав себя:

— Константин Оробете.

— Товарищ Альбини, инспектор, — представил Ириною. — Товарищ инспектор хотел непременно познакомиться с тобой лично, прежде чем решать, что и как...

— Так вот он какой, — заговорил Альбини, приближаясь и протягивая юноше руку. — Вот он, наш таинственный герой, которого мы разыскиваем три дня и три ночи. Садись, будь добр, — пригласил он, усаживаясь в кресло у стола. — Товарищ декан, знаю, не курит, но, может быть, ты...

— Нет, спасибо, я тоже не курю, — отказался Оробете.

— А у меня слабость к английским сигаретам, — признался Альбини, доставая портсигар. — Так ты — математический гений, если верить твоему профессору, товарищу Доробанцу. Стране нужны, очень нужны большие ученые. Однако прежде всего мне хотелось бы поподробнее узнать о твоих встречах с так называемым Вечным жидом. Товарищ декан рассказал мне, как тебе перевязали повязку с одного глаза на другой. — На его губах заиграла усмешка. — И к тому же хотелось бы знать, где ты ходил — или где скрывался — три дня и три ночи...

— Оробете считает, что отсутствовал всего пять часов, — вставил декан.

Альбини смерил их обоих пытливым взглядом: не ослышался ли он?

— То есть? Это в каком же смысле?

— У меня было впечатление, — начал объяснять Оробете, — что сейчас — вечер того же дня, когда я пошел куда глаза глядят и снова повстречал старика, который переменял мне повязку. То есть что сейчас все еще среда. Но я, надо признать, ошибался. И при всем том, — заключил он с улыбкой, — как я уже говорил господину декану, я не чувствую себя усталым, и совсем не похоже, что я три дня не брился...

Альбини сосредоточенно глядел на него, вертя в руках портсигар.

— Не стану вам рассказывать, что со мной было, — продолжал Оробете, — вы все равно не поверите, слишком уж это неправдоподобно. Ограничимся гипотезой, что я пережил нечто странное, паранормальное, назовем это «опытом экстаза», — и для меня это оказалось решающим, поскольку открыло мне перспективу абсолютного уравниения. Если нам удастся — я говорю не только о себе, но обо всех математиках мира, — если нам удастся решить это уравнение уравнений — тогда *невозможного не будет*. Впрочем, уже Эйнштейн к нему подступался, и я догадываюсь...

— Прости, что перебиваю, — сказал Альбини с повелительным жестом, — но, прежде чем переходить к дебатам об абсолюте, давай сначала разберемся, что произошло в среду после полудня, когда ты встретил... ну, скажем, Агасфера... Помнишь, ты еще не знал, как к нему обратиться, — добавил он другим тоном, — и кричал вслед: «Господин израильтанин! Господин Вечный жид!» Было очень забавно.

Оробете изменился в лице.

— Откуда вам известны такие подробности? — спросил он.

Альбини рассмеялся. Потом, вернув лицу серьезную мину, раскрыл портсигар и тщательно выбрал сигарету.

— У нас тоже есть свои секреты, — сказал он. — Не только у Агасфера, не только у тебя. Но поскольку мы тут все свои, я, пожалуй, проговорюсь. Тебя услышал один человек... наш человек, — уточнил он, — и ему это показалось странным, тем более что немного погодя он увидел того, кого ты окликал, старика Агасфера. И пошел за вами следом.

— Ну, если за нами следили, какой смысл тогда мне рассказывать? — заметил Оробете.

— Увидишь, какой смысл, — возразил Альбини. — Очень скоро увидишь. Так что начинай.

Оробете вопросительно взглянул на декана. Пожал плечами и улыбнулся.

— Старик предложил пойти поискать тихое место, где бы мы могли спокойно поговорить. Вы же понимаете, — он повернулся к Ириною, — я сразу сказал ему, что если не представляюсь с повязкой на правом глазу...

— Понимаем, понимаем, — нетерпеливо перебил его Альбини.

— Он остановился у большого дома, у такого старинного барского особняка, и за руку втянул меня туда. Дом был пустой. Сначала мы попали в очень большую и просторную гостиную. Описать ее не берусь, смутно помню и что там было, и как мы проникли из нее в соседний дом, а оттуда — дальше. У меня было полное впечатление, что мы переходим из дома в дом, пробираемся через какие-то сады, а один раз угодили прямо-таки во дворец и плутали там по бесконечным галереям, по залам...

Он сбился и в замешательстве полез в карман за платком — отереть лоб.

— Давай-ка я расскажу *поточнее*, как оно было, — предложил Альбини, закуривая. — Вы вошли с черного хода в дом номер три по улице Енэкицэ Вэкэреску. Дом действительно старый, известный; жильцов из него давно выселили, и как раз на другое утро, в четверг, начался снос... Через десять минут ты вышел один из парадной двери — как это тебе удалось, нам непонятно, потому что дверь изнутри была забита железной поперечиной, — ты выбрался на улицу и пошел по направлению к Монументу. Скоро к тебе присоединилась какая-то старая женщина, и вы, разговаривая, дошли до Монумента. Там ты остановился и достал из кармана книжицу, русскую книжицу.

— Пушкин! Проза Пушкина, — прошептал Оробете с зачарованной улыбкой.

— Именно. Ты начал ее листать, как будто искал определенное место. Тем временем старуха потихоньку удалилась, и когда ты оторвал глаза от книги, перед тобой стоял рабочий в комбинезоне, стояли и смотрел на тебя во все глаза. Ты его о чем-то спросил, он начал отвечать. Что он говорил, не знаю, но ты слушал с живейшим интересом и не переставал улыбаться. Замечу в скобках, — Альбини обернулся к декану, — что мы на него еще не вышли. Но выйдем, так же как и на старуху. Тем не менее, — снова обратился он к юноше, — нам интересно услышать и от тебя, прямо сейчас, кто были эти люди, которых ты встретил вроде бы случайно, но с которыми так азартно беседовал.

— Сказать по правде, — начал Оробете медлительным, не похожим на свой голосом, — я не припоминаю никакой старухи и никакого рабочего в комбинезоне. Я был в полной уверенности, что не разлучался со стариком ни на минуту. Да и как же иначе? Ведь он почти не выпускал мою руку, вел меня за собой и говорил без умолку. Я едва сумел задать ему вопрос-другой... И вот жалость — не успел (или он мне не дал) спросить о главном: что сказал Эйнштейн перед смертью? А точнее: почему это так строго хранится в тайне? И еще: откуда Гейзенберг узнал, что сказал Эйнштейн на смертном одре? А Гейзенберг знал, что сказал Эйнштейн, и ответил ему, хотя и этот ответ хранится в тайне...

Альбини многозначительно взглянул на декана и жестом остановил юношу.

— Мы еще вернемся к этой проблеме, — сказал он. — А пока, раз у тебя из памяти стерлись и старуха, и рабочий, я напому тебе, что было дальше. Вы с рабочим пошли вместе на трамвайную остановку, весьма и весьма оживленно беседуя. Ты остался на остановке, а рабочий пересек улицу и затерялся в толпе. Но ты не сел ни в первый трамвай, ни во второй, а явно кого-то ждал. И в самом деле, из третьего трамвая вышел твой Агасфер, *Le Juif Errant*, и вы вдвоем направились к еврейскому кладбищу.

— Быть того не может! — запротестовал Оробете. — Клянусь вам, что я в жизни не был на еврейском кладбище. Я даже не знаю, где оно находится!

— Вспомнишь попозже, будем надеяться, — сказал Альбини. — Стрик подхватил тебя под руку и на ходу что-то тебе втолковывал, а ты бук-

вально впивал каждое его слово. Вы вошли на кладбище — и напрямиком в часовню. Наш сотрудник, который осуществлял наблюдение, остался снаружи, прождал вас до семи вечера, а когда решился наконец заглянуть туда, посмотреть, в чем дело, дверь часовни оказалась запертой. Тогда он позвонил куда следует, через полчаса прибыли из спецотдела и взломали дверь. Уже стемнело. Часовню обыскали, но не нашли ничего, кроме твоего томика Пушкина. Тем временем подъехал секретарь еврейской общины, который подтвердил то, что мы и сами знали: что в часовне нет ни склепа, ни тайного выхода. Наши из спецотдела караулили всю ночь, а в четверг утром прибыла команда с ультразвуковой аппаратурой и обследовала стены, пол, окна, словом, все, что в таких случаях положено. С разрешения общины за часовней и кладбищем было установлено наблюдение, которое сняли час назад, как только нам просигнализировали, что ты вернулся домой.

Альбини потушил окурок и задержал пристальный взгляд на Оробете.

— Ну, теперь ты понимаешь, почему нам так интересно узнать, что произошло на самом деле. Как вы оттуда выбрались?

Оробете, который сосредоточенно слушал с улыбкой на губах, вздрогнул, словно его разбудили, и заговорил — то твердо и четко, то глухо, уходя в себя:

— Даю вам честное слово, что ни в какую часовню я не входил — по крайней мере я этого не помню. Правда, был момент, когда я так увлекся мыслями о той тайне, которой окружены последние слова Эйнштейна и ответ ему Гейзенберга (но как, как Гейзенберг *узнал*?) — я так увлекся, что перестал слушать старика. Тогда он тряхнул меня за руку и сказал: «Даян, не думай больше о конечном уравнении, ты и сам придешь к нему, без моей помощи»...

— Почему же оно «конечное»? — поинтересовался Альбини.

Так и распираемый ликованием, Оробете объяснил:

— Если интуиция меня не подводит, они оба — и Эйнштейн, и Гейзенберг — вывели уравнение, которое позволяет интегрировать в одно целое две системы: «материя — энергия» и «пространство — время». Это и есть конечное уравнение, потому что дальше двигаться уже некуда. В лучшем (или худшем) случае мы можем повернуть вспять.

— То есть? — насторожился Альбини.

— Если интуиция опять же меня не подводит, — с жаром продолжал Оробете, — а я смею на это надеяться, поскольку, по мысли маэстро Агасфера, мне суждено разгадать их тайну, — они оба установили, что *время можно сжимать и растягивать*. Вперед и назад.

— И что же? — нетерпеливо спросил Альбини.

— А то, что тогда *невозможного нет* и человек того и гляди *подменит Бога* — на свою голову. Вполне вероятно, что именно по этой причине все так строго хранится в тайне. Вполне вероятно, что они нас предупредили: «Осторожнее, вы играете с огнем. Вы рискуете в считанные секунды не только превратить в пепел весь земной шар, но и отбросить себя на сотни тысяч, даже на миллионы лет назад, к началу жизни на земле. Вам стоит подготовить группу избранников, элиту, не одних математиков-физиков, но еще и поэтов и мистиков, которые бы знали, как вернуть человечеству память, то есть как восстановить цивилизацию, если она того стоит».

Альбини переглянул с деканом, потом мельком взглянул на часы.

— Так, по сути дела, — сказал он, — кто такой этот Агасфер?

Оробете улыбнулся блаженной улыбкой.

— Вот только сейчас, когда вы задали мне вопрос, я, кажется, начинаю понимать, кто такой Агасфер. И начинаю понимать благодаря ему, потому что именно он научил меня, как надо мыслить: первым делом надо правильно сформулировать вопрос, а уж после этого искать ответ. В каком-то смысле, если использовать метафору, которую многие мыслители ошибочно принимали за философскую концепцию, Агасфер — это своего рода *anima mundi*, мировая душа, но все и гораздо проще, и гораздо глубже. Потому что на самом деле Агасфер может быть любым из нас. Это могу быть я, может быть кто-то из моих коллег, можете быть вы или ваш дядя, полковник Петрою, который покончил с собой в Галаце, причем так искусно, что никто не заподозрил в несчастном случае самоубийство.

Альбини дернулся в изумлении и наморщил лоб.

— Прошу прощения, что позволил себе коснуться фамильной тайны, — продолжал Оробете, — которая вообще-то известна только вам, и то с тех пор, как вы несколько лет назад прочли корреспонденцию вашего дядюшки. — Он смолк во внезапном изнеможении и потер ладонями щеки. — Как видите, я включился в физиологический цикл. Чувствую, что совсем зарос и чертовски устал. Если позволите, я пойду. Не столько хочется есть, сколько спать.

Альбини поднялся с кресла.

— Все готово, — сказал он. — Мы знаем, что больше трех дней никто не выдерживает. Нас ждет машина, — добавил он, снова переглянувшись с деканом. — Эту ночь ты проведешь в санатории.

VI

Проснувшись, он увидел на стене напротив, почти под потолком, узкое и длинное, чуть ли не двухметровое окно. Тут же в коридоре раздался знакомый голос, и он повернул голову к двери. Дверь была приоткрыта.

— Господин доктор, это просто трагедия, — захлебывался от волнения Доробанцу. — Неужели он потерял рассудок? Трагедия масштабов Михаила Эминеску! Оробете — математический гений, каких еще не рождал румынский народ! Это не только мое мнение, это мнение всех наших крупнейших математиков. Он опроверг теорему Гёделя!

Оробете томно улыбнулся, не спуская глаз с двери.

— Случай достаточно трудный, — услышал он голос доктора Влэдуца. — Мы еще не установили, что, *по сути дела*, с ним такое. Я прослушал — вместе с шефом и коллегами, — три раза прослушал магнитофонные ленты, которые предоставили в наше распоряжение, и, признаюсь, мало что понял... Я не говорю о математических формулах и выкладках, это вне пределов нашей компетенции. Я имею в виду все, что он нес после первых инъекций. Вначале я диагностировал это как классический случай шизофрении, что и доложил товарищу инспектору. Но сейчас я уже не так в том уверен... И, знаете ли, мы совершили ошибку, что не позволили вас раньше. Пациент неоднократно произносил ваше имя — во-первых, в связи то ли с дипломом, то ли с диссертацией, а во-вторых, всегда рядом с Гёделем. «Ну, убедились теперь, товарищ Доробанцу?» — а сам улыбается во весь рот, чуть ли не хохочет...

— А почему дверь открыта? — спросил Доробанцу, понижая голос, — Вдруг он...

— Такие правила, — объяснил доктор. — Дверь должна быть приоткрытой, когда пациент остается один.

— Но вдруг он нас слышит?

— Исключено! Я смотрел его пять-шесть минут назад. Он крепко спит. Так крепко, что это скорее похоже на катаlepsию. Дыхание почти неуловимо, а пульс... — Он замялся. — В общем, пульс на пределе. Что касается всего прочего, то сегодня он не реагировал даже на иглоукалывание в самые чувствительные точки... Даже на инъекции — обычно он после них разговорчив, а сегодня молчит. Одна наша ассистентка просидела с ним все утро, и мы только что проверили пленку: ни единого слова.

— А как велика опасность? — услышал он шепот Доробанцу.

— Не больше, чем в день, когда его положили. Только вот молчит, сколько ни кололи.

Оробете зажал рот ладонью, чтобы подавить смех. Потом набрал в грудь воздуха, приподнял голову с подушки и чистым, сильным голосом крикнул:

— Господин профессор! Господин Доробанцу! Я вас жду не дождусь! Почему вы не входите?

Миг спустя в комнату ворвались испуганные доктор и профессор Доробанцу.

— Даян! — только и вымолвил потрясенный Доробанцу. — Даян! — повторил он глухо, как будто его душили слезы.

— Я давно здесь? — спросил Оробете. — Три дня прошло?

Доробанцу в замешательстве посмотрел на доктора, который взял юношу за запястье.

— И три, и больше, — ответил доктор, почти бегом ретируясь к двери. Раздались его дробные шаги по коридору.

— Значит, уже слишком поздно, — сказал Оробете с кроткой улыбкой. — Слишком поздно...

Доробанцу смотрел на него неотрывно, испуганно, потирая ладони.

— Что ты с нами сделал, Даян! — наконец простонал он. — Что ты с нами сделал!

— Что я сделал, господин профессор? — полюбопытствовал Оробете, не переставая улыбаться.

— Америка узнала, Советы узнали, немцы узнали, — запричитал Доробанцу. — Все узнали, кроме нас. Нам ты ничего не сказал! Но как, как? Как ты их проинформировал?

Оробете, словно в забытьи, провел рукой по лицу.

— Это не я, — сказал он с тихой, ясной улыбкой. — Это сделал маэст-

ро, Агасфер, как и обещал. Но если прошло больше трех дней, значит, уже поздно. *Les jeux sont faites**.

Доробанцу подвинулся ближе к его постели, в отчаянии заламывая руки.

— Что ты хочешь сказать? Какая тут связь?

Оробете с теплотой, пристально поглядел на него, все так же улыбаясь.

— Это долгая история и звучит уж очень неправдоподобно, даже если ничего не пропускать в рассказе. Но хотя бы начало я вам расскажу, потому что вы всегда в меня верили...

— Мы все в тебя верили, — перебил его Доробанцу. — Как только ты принес мне работу и я сообщил о ней в Центр, а потом — в Академию наук, мне все в один голос заявили: «Оробете Константин — гений». А я им: «Дай ему Бог здоровья, он еще и не такую задачу одолеет, он мне уже намекал». И тут я повторил им твои слова: «Я пока ничего вам не скажу, господин профессор, потому что решения еще нет».

Оробете молчал и глядел на него не мигая.

— Только не теряй рассудок, Даян! — взмолился Доробанцу, размазывая по лицу слезы. — Не сходи с ума, как Эминеску. Пусть и у нас будет гений, которым мы могли бы гордиться перед всем миром!

Оробете вдруг подался к нему и поймал его руку.

— Благодарю вас, господин профессор, я вам очень признателен... Но если я не сошел с ума до сих пор, то не сойду и в дальнейшем. — Он помолчал. — Я расскажу вам, как все началось. Все началось утром шестнадцатого мая. И все из-за грозы.

Доробанцу с беспокойством обернулся, потом достал платок и вытер слезы.

— Если бы не гроза, — продолжал Оробете с той же тихой улыбкой, — все пошло бы по-другому... Вы знаете, господин декан боится грозы, особенно молний. А в то утро молнии так и сыпались, и все поблизости. Последняя, по-моему, ударила в двух шагах от его окна.

— К чему ты клонишь? — встревоженно спросил Доробанцу. — При чем тут молнии?

— Если вы послушаете меня еще пять-шесть минут, вы пойме-

* Ставки сделаны (франц.).

те, к чему я клоню. Все началось, повторяю, из-за грозы. Господин декан занервничал, растревожился и наконец впал в ярость. Поэтому он и не поверил моей истории со стариком, который переменял мне повязку. Он решил, что тут какой-то подвох, — а какой тут мог быть подвох?..

Оробете горько усмехнулся и вдруг заметил, что доктора Петреску и Влэдуц тоже в палате и слушают чрезвычайно внимательно.

— Если позволите, я продолжу, — обратился к ним юноша, — хочу объяснить товарищу профессору, как это произошло, точнее, как все началось из-за грозы, утром шестнадцатого мая...

— Продолжай, будь добр, — кивнул Влэдуц. — Нам не терпится понять, отчего ты все время твердил про молнии, про грозу над университетом.

— Ах, так я говорил об этом и во сне, — Оробете проникательно взглянул на доктора. — В том особом сне, от вакцины, от того, что вы называете «прививки правды»... Что ж, тем лучше, — добавил он, поскольку доктора стыдливо потупились. — По крайней мере теперь никто не усомнится в истинности моих слов.

— Но какое все-таки отношение имеют молнии, — недоумевал Доробанцу, — к тому уравнению, о котором узнали сначала в Принстоне, а через несколько дней и во всем мире?..

Оробете смотрел именинником. Как раз вошла медсестра, и он с улыбкой помахал ей рукой.

— Приветствую вас, товарищ Эконому. Приветствую и благодарю. Никто лучше вас не воткнет иглу прямо в точку!

Доробанцу в испуге обернулся на врачей, а Оробете как ни в чем не бывало продолжал:

— Отношение самое непосредственное, надо только его заметить. Если бы не гроза, господин декан не был бы так раздражен и отнесся бы ко всему с пониманием. Он не стал бы угрожать, что выгонит меня из университета перед самым дипломом, если я не явлюсь с повязкой на правом глазу...

Доробанцу в смущении снова полез за платком и отер лоб.

— Вы все время поминали эту повязку на правом глазу, — сказал доктор Петреску. — Но к чему, я не понял. Хотя, конечно, знаю, что многие ваши коллеги и друзья и даже кое-кто из профессоров зовут вас Даяном.

— Например, я. Я только его увидел, у меня так и вырвалось: «Даян», — признался Доробанцу с застенчивой улыбкой.

— А вот послушайте... — сказал Оробете.

И он не спеша, как будто смакуя, пересказал все, что обрушил на него декан, по временам вставляя: «И тут снова громыхнуло и ударила молния».

Альбини остановился в дверях, слушая. Когда Оробете повторил угрозу декана: «Если завтра же ты не представишься в полном соответствии с медицинской справкой, я доложу куда следует», — он двинулся к постели и пожал юноше руку.

— Поздравляю, товарищ Оробете! Ты оправился скорее, чем мы ожидали, и твоя память не утратила остроты... Но раз уж речь зашла об Агасфере: как он переменял тебе повязку и прочее, — я должен заметить, что тут некоторое недоразумение. Конечно, товарищу декану неоткуда было знать, — продолжал он, присаживаясь на стул и неторопливо раскрывая портфель, — ему неоткуда было знать, что в твое личное дело вкралась ошибка. Я проверил твою медицинскую карту в хирургическом отделении центральной городской больницы, переговорил с профессором Василе Наумом, который тебя оперировал, и восстановил истину. Вот *точная* копия, — он достал из портфеля листок бумаги и протянул юноше, — копия выписки из истории болезни от одиннадцатого сентября шестьдесят третьего года. Прочти. Видишь? Черным по белому: «Произведена операция на левом глазу». Значит, правый с самого начала как был, так и остался здоровым. Во всей этой путанице виновата машинистка, это она ляпнула ошибку, когда перепечатывала на справку текст доктора Наума. Товарищ декан никак не мог знать, что в справке опечатка. Сейчас, когда я показал ему оригинал, он, естественно, сожалеет, что угрожал тебя отчислить и все прочее. Так что вопрос с правым глазом полностью прояснен. К нему можно не возвращаться.

Оробете слушал очарованно, с застывшей улыбкой.

— Я давно знал, что не бывает задач без решения, — сказал он, еще раз просмотрев медицинскую справку. — Знал и про самое «творческое» решение — на примере гордиева узла. «Гордиево познание» — так это называл когда-то один румынский мыслитель. Вы помните, — обратился он к остальным, — про Гордия, царя Фригии, и как никто несколько веков подряд не мог распутать завязанный им узел. Считалось, что кто его распута-

ет, тот станет повелителем Азии. Александр Македонский, если помните, узнавши об этом от оракула, вытащил меч и разрубил узел. И, разумеется, завоевал всю Азию, как явствует из учебника истории.

Альбини сдержанно хмыкнул и аккуратно уложил справку в досье.

— Мне нравится эта формула: «гордиево познание», — сказал он. — Возьму ее на вооружение. Однако, — добавил он, снова надевая серьезную мину, — если вопрос с повязкой закрыт и Агасфер, как и следовало ожидать, — не более чем химера, иллюзия, жертвой которой ты стал, — на повестке дня остается все же целый ряд животрепещущих вопросов. Начнем с простого: куда ты делся после того, как вошел в часовню на еврейском кладбище? Где скрывался три дня и три ночи?

Оробете сосредоточенно смотрел на него, как бы силясь понять, потом широко улыбнулся.

— Я изложил вам все, как мог, в кабинете господина декана. Если вы не поверили, я не удивлюсь, история действительно невероятная. Но мне уже не один день делают «прививки правды» — и все, что я говорю, записывается. Если вы слушали пленки, вы могли убедиться, что я вам не лгал и ничего от вас не украл...

— Пленки-то я прослушал, и по многу раз, — возразил Альбини. — Но, кроме зауми и цитат на самых разных языках, там только математические выкладки и формулы, по большей части невразумительные.

— Тут нужен математик, — робко заметил Доробанцу.

— Я привлек самых знаменитых столичных математиков, — бросил Альбини, не глядя на него. — И именно в связи с этими математическими формулами, — продолжал он с расстановкой, — нам предстоит выяснить еще один вопрос, посложнее первого... — Он вдруг обернулся к докторам, спросил: — Мы не слишком его утомляем?

Оробете рассеянно потер лоб.

— Вот теперь, — шепотом сказал он, — когда вы сами об этом заговорили, признаюсь, что, кажется, начинаю устывать...

Альбини поднялся и протянул ему руку со словами:

— Отдых, как можно больше отдыха. Отдых и сон. Мы еще побеседуем, будет время.

— Теперь дверь плотно не закрывайте, — попросил Оробете. — Мне надо знать, перевозжу ли я так, как следует, или даю обмануть себя иллюзиям и надеждам.

VII

Дождавшись, пока все, кроме сестры, вышли, он открыл глаз и спросил:

— Какое сегодня число, товарищ Антохи?

Сестра испуганно зыркнула на него и покраснела.

— Не знаю, имею ли я право без разрешения... я сейчас...

И бросилась к двери.

— Я неверно выразился, — вскрикнул Оробете, протягивая руку ей вслед. — Я не выпытываю у вас точную дату. Мне довольно знать: двадцать первое июня, день солнцестояния, миновал или нет?

Сестра замялась, потом робко шепнула:

— Нет еще. Только, пожалуйста, не говорите ничего господину доктору.

Оробете улыбнулся ей улыбкой заговорщика.

— Будьте покойны... Но как это получается, что в разгар лета тут никогда не бывает солнца?

Сестра посмотрела на него с недоуменным любопытством.

— Как это не бывает? Вас в такую палату положили — светлее некуда. Тут с пяти утра до самого вечера светло.

— Я не о том, — возразил Оробете. — Да, летние дни светлые. Но как получается, что отсюда никогда не видно солнца, *самого* солнца?

— А! — сказала сестра, радостно улыбаясь оттого, что поняла. — Просто эта часть здания так построена, чтобы весь день получать солнечный свет, но чтобы солнце не било в глаза, не беспокоило пациента. Иначе пришлось бы задергивать занавески. А занавесок, сами видите, нет. Они не нужны. Щит на окно опускается автоматически, как только темнеет.

— Понятно, — кивнул Оробете. — И если вы увидите академика Павла Богатырева, скажите ему, чтобы он больше не стоял в коридоре со своим аппаратом, который умеет записывать разговоры на расстоянии двух-трех сотен метров. Пусть заходит, побеседуем. Передайте ему, что я прекрасно понимаю по-русски, хотя говорю не очень правильно. Впрочем, товарищ Богатырев знает столько языков...

Сестра слушала его в изумлении, натянуто улыбаясь.

— Я не понимаю, о чем вы, — прошептала она, отступая к двери.

— Доложите по начальству, — посоветовал Оробете, — они поймут.

Когда сестра выскочила, оставив дверь приоткрытой, Оробете зажал рот, чтобы заглушить смех. Вскоре с озабоченным видом вошел доктор Влэдуч.

— Сестра сказала мне, что вы говорили о ком-то, кто якобы подслушивает в коридоре...

— Товарищ Павел Богатырев из московской Академии наук.

— Уверяю вас, что никогда о таком не слышал и что никто в коридоре не подслушивает. Да и вообще нахождение посетителей в коридорах строго воспрещается.

Оробете с улыбкой пожал плечами.

— Если я даже не знаю, какое сегодня число, откуда мне знать: он *есть* или *был* здесь, Павел Богатырев, а может, только *будет* в более или менее отдаленном будущем. Поскольку я вынужден — а точнее, поскольку вы меня вынудили — жить в *персональном измерении*, без календарного контроля, я не берусь отличить прошлое от будущего.

— В вашем случае это совершенно нормально. Но уверяю вас, что...

— И я вам верю, — беспечно перебил его Оробете. — Если товарища Богатырева нет и не было в коридоре, то он будет там в один из ближайших дней. Однако в тех пределах, в которых вам дозволено говорить мне правду, вы же не станете отрицать, что сегодня утром в своем кабинете ваш директор, профессор Маноле Дрэгич, убеждал профессора Льюиса Думбартона из Института точных исследований Принстона, что он подвергнет меня опасности — мое душевное равновесие, — подчеркнул Оробете, улыбнувшись, — если придет сюда, ко мне в палату, задать несколько вопросов относительно моей записки «*Quelques observations...*».

Доктор покраснел и, чтобы скрыть неловкость, усталился на наручные часы.

— Не понимаю, что вы хотите сказать. Я доложу профессору Дрэгичу. Надеюсь, что не забуду имена, которые вы произнесли, и все прочие подробности.

— Не беспокойтесь, — сказал Оробете, — магнитофон вам подскажет.

Оставшись один, он спрятал лицо в ладони и застыл в сосредоточенности. Скоро явились оба его врача и приблизились к нему с видом выжидательного любопытства.

— Смелее, смелее! — заговорил Оробете, не глядя на них. — Спрашивайте! Только поставьте вопрос правильно, — добавил он, снова возвращаясь в прекрасное расположение духа.

— Хотелось бы знать, — начал доктор Влэдуц, — кто вас проинформировал о визите американского ученого.

— Никто меня не информировал, — спокойно отвечал Оробете. — К тому же, кроме директора, товарища Альбини и посольского переводчика, никто и не знал ни о визите Льюиса Думбартона, ни о содержании разговора. Вы сами узнали только что, когда докладывали директору.

— Так откуда же у вас информация?

Оробете с коротким смешком пожал плечами.

— Я слышал, как они разговаривали... Было очень забавно, как переводчик путался и коверкал математическую терминологию...

— Слышали разговор в директорском кабинете? — переспросил доктор Петреску. — Вам, вероятно, неизвестно, что его кабинет находится на четвертом этаже в другом крыле здания.

Оробете снова пожал плечами.

— Что вы хотите? Для современной математики, как и для физики, расстояние не проблема.

— И тем не менее, — начал доктор, — трудно поверить, что...

Тут в комнату скользнула сестра и шепнула ему:

— Сказал, что сейчас будет.

— Наконец-то! — воскликнул Оробете. — Наконец-то профессор Маноле Дрэгич почтит меня своим присутствием, когда я не под наркозом! Не смущайтесь, пожалуйста, — добавил он, потому что доктора явно задержались, — тут нет вашей вины. Вы следовали предписаниям. И если откровенно, то я предпочитаю наркоз и инъекции известной вакцины классическому лечению шизофрении — электрошоку и прочим удовольствиям...

Когда вошел профессор Дрэгич в сопровождении молодого человека в штатском и без халата, Оробете приподнялся на локтях.

— Очень вам признателен, что пришли, — сказал он.

Профессор остановился в двух шагах от постели и долго изучал его взглядом.

— Мне доложили, — начал он наконец, — что вы каким-то образом узнали о визите к нам одного иностранного ученого...

— Профессор Льюис Думбартон, Институт точных исследований, Принстон.

— Вы не хотели бы нам все-таки рассказать, каким образом вы узнали?

Оробете с беспечным видом оглядел присутствующих.

— Просто слышал то, что говорилось у вас в кабинете.

Профессор метнул взгляд на двух докторов.

— Как я уже сообщил доктору Влэдуцу,— продолжал Оробете,— профессор Думбартон приехал с одним из посольских переводчиков; в кабинете, кроме вас, находился еще только товарищ Альбини, инспектор. Опускаю подробности, хотя некоторые из них очень живописны: например, перевод физико-математической терминологии. К счастью, вы скоро обнаружили, что проще объясняться по-французски. Профессор Льюис Думбартон настаивал, чтобы ему разрешили поговорить со мной. Вы объясняли ему, очень терпеливо и убедительно, что при той критической ситуации, в которой я нахожусь, его визит может иметь фатальные последствия. Профессор на убеждение не поддавался. В какой-то момент — я думаю, после он о том сожалел,— в какой-то момент он стал угрожать вам, что устроит скандал. Конечно, этого слова он не произносил, но смысл был ясен: он поднимет на ноги всю мировую науку — академии, научные общества и прочее,— заявит, что меня силой, против моей воли поместили в психиатрическую лечебницу... И тогда вы, с большим тактом, ответили ему, что можете предоставить в распоряжение международной комиссии психиатров полный комплект материалов по истории моей болезни, в том числе все магнитофонные пленки с приложением их перевода на французский и отчет о курсе лечения: какого рода инъекции мне были прописаны и так далее. Более того, на прощанье вы заверили его, что готовы допустить ко мне любого компетентного и авторитетного американского психиатра. «Вот только,— добавили вы,— исключен допуск физиков и математиков». — «Да ведь нас-то именно эта сторона интересует,— профессор Думбартон даже перешел на английский,— *что́ он имел в виду!* И мы должны узнать это как можно скорее!

— Так же, как и мы,— включился Альбини, входя и с протянутой для приветствия рукой приближаясь к постели. — Как удачно, что я попал в

разгар беседы. Рад, что товарищ Оробете еще раз предоставил нам доказательства необыкновенной остроты своих чувств — или своих экстрасенсорных возможностей. В которые я тем не менее не верю, — присовокупил он с улыбкой и обратился к профессору: — Вы не считаете, что лучше продолжить дискуссию в узком кругу?

Оба доктора и сестра без лишних слов устремились к двери.

— Вы останетесь в коридоре, — бросил профессор сестре.

— А ты, — сказал Альбини молодому человеку в штатском, — подождешь меня внизу. Воспользуемся тем, что товарищ Оробете в хорошей форме, — продолжал он, садясь на стул у кровати и приглашая профессора занять стул рядом. — Воспользуемся этим, чтобы прояснить хотя бы одну из проблем.

— Пациент утверждает, что якобы слышал все, что обсуждалось утром в моем кабинете.

— Знаю, — кивнул Альбини. — Я был уже за дверью, когда речь зашла об этом. Отложим на потом сию загадку. Пока что я решил задачу с часовней на еврейском кладбище.

— Ну, вот видите — обрадовался Оробете. — Я же с самого начала сказал вам, что понятия не имею...

— Итак, — перебил его Альбини, — ты вошел туда вместе со стариком, который тебя сопровождал. Доказательство тому — найденная там книга Пушкина. Но вы пробыли там недолго. В любом случае — не более получаса.

— Как же вы это установили? — чрезвычайно довольный, спросил Оробете.

Альбини пронзительно, чуть ли не с укоризной взглянул на него, но сумел улыбнуться и продолжал доверительным тоном:

— Наш агент, который стоял, плотно прижавшись к двери, признался, что был момент, когда безотлагательная физиологическая нужда заставила его несколько отдалиться от часовни в направлении кустов. Вероятно, в эти несколько минут вы и покинули часовню. Впрочем, — добавил он, видя, что Оробете смотрит на него как очарованный и в то же время весело, будто его разбирает смех, — впрочем, трое свидетелей, которые живут поблизости, припомнили, что видели вас обоих, когда вы выходили с кладбища и направлялись к Монументу Волонтерам. Вероятно, вы вошли в один из близлежащих до-

мов — в который, мы узнаем — и оставались там оба, а может быть, ты один, три дня и три ночи... В конечном итоге ничего сверхъестественного. «Тайна» улетучилась.

— Гордиево познание, — заметил Оробете.

— Совершенно верно, — согласился Альбини. — Лучшее средство от чудес — это *пренебречь* ими и поискать самое простое объяснение, самое *terre-à-terre*, как говорят французы.

— В нашем случае физиологическая нужда. И тогда все остальные проблемы решаются сами собой.

Альбини взглядом спросил у профессора, можно ли приступить к главному.

— Ну, положим, не все. — Его голос приобрел суровые нотки. — Кое-какие загадки остались. К примеру, я хотел спросить тебя, что ты знаешь — или что ты думаешь — об этом вот документе.

Он достал из портфеля брошюру и протянул юноше. Бросив взгляд на заголовок, тот покраснел.

— Constantin Orobete. «Quelques observations sur le théorème de Gödel». Когда она вышла? — спросил он сдвинуто. — И кто ее напечатал?

— Это-то я и хотел у тебя узнать, — сказал Альбини. — И если ты прочтешь выходные данные внизу страницы...

— Bulletin de l'Académie des Sciences de la République Socialiste de Roumanie, — прочел Оробете, все так же волнуясь, — N.S., tome XXIII, fasc. 2, mai-juin 1973. Тысяча девятьсот семьдесят третий? — испуганно повторил он, переводя взгляд на Альбини.

— Очень рад, что ты тоже заметил эту, скажем так, оплошность. Как тебе прекрасно известно, сейчас семидесятый год, и, если помнишь — ты ведь регулярно его получаешь, — последний номер бюллетеня вышел несколько месяцев назад: том двадцатый, выпуск пятый.

Оробете улыбнулся блаженной улыбкой и рассеянно потер лоб.

— Это чья-то шутка, — сказал он. — Кто-то шутки ради напечатал мою работу, не поставив меня в известность.

Он осекся, прочтя первые строчки, и судорожно перелистнул несколько страниц.

— Но это вовсе не моя докторская, — прошептал он. — Только название совпадает.

— То же мне сказал и товарищ Доробанцу, — подхватил Альбини.

— И это не та теорема, которая занимает меня последнее время. Если позволите, я прочитаю, разберусь, в чем тут дело.

Альбини снова вопросительно взглянул на профессора.

— Пожалуйста, — разрешил тот. — Вы даже сделаете нам одолжение.

Оробете стал жадно читать, и его лицо временами освещалось странным сиянием. После первых двух страниц у него задрожали руки.

— Значит, я решил конечное уравнение, — прошептал он глухо. — Но когда?.. Когда мы с вами познакомились в кабинете господина декана, я знал, что решу его, но понятия не имел как! И вот здесь, — он поднял брошюру и ткнул пальцем в страницу, покрытую математическими знаками, — самое простое и самое красивое, *самое элегантное* решение, которое может породить человеческий разум. Где вы это взяли? — живо спросил он Альбини.

— Тут нет никакого секрета. Брошюру получили все наши математики, но только сегодня утром, а значит, много позже, чем крупные математики всего мира.

— Возможно, ее привез в страну наш сегодняшний гость, — предположил профессор.

— Вполне возможно. Тем более что все доставлены по почте в конвертах румынского производства и с румынскими марками. На штампе стоит: «Бухарест, семнадцатое июня тысяча девятьсот семидесятого года».

— Значит, еще три дня, — произнес Оробете с меланхолической улыбкой.

Альбини взглянул с удивлением.

— То есть? Что ты хочешь этим сказать?

— Если их отправили вчера, значит, сегодня — восемнадцатое июня. Три дня до летнего солнцестояния, до Купальской ночи, — проговорил Оробете, не глядя на него. — И ровно двенадцать лет с того момента, как я дочитал последнюю страницу «Вечного жид» в полутемном амбаре... Это было до несчастного случая. Я тогда читал быстрее. Двумя-то глазами...

Альбини снова переглянулся с профессором, сказал:

— Итак, все экземпляры отправлены из Бухареста. Завтра мы узнаем, распространены ли они по стране, в Клуже, Яссах и других университетских центрах. И проверим, откуда отправлены.

Оробете перевернул страницу и полностью ушел в формулы.

— Сенсация за сенсацией, — шептал он, — и понимать все труднее. Аксиомы — мои, и анализ разворачивается так, как я и чувствовал сначала, как только открыл двойственность теории Гёделя. Но при этом столько нового...

— Только не для тебя нового, — вклинился Альбини. — Если хочешь знать, только теперь, имея на руках эту брошюру, математики, с которыми я консультировался, смогли разобрать часть твоих физико-математических выкладок, зарегистрированных магнитофоном, пока ты спал.

— После правдивых прививок, — с улыбкой уточнил Оробете.

— Именно. И это означает, что *ты уже знал* содержание «*Quelques observations...*»

— Это не первое научное открытие, сделанное во сне, — заметил Оробете.

— Но что еще интереснее, — продолжал Альбини, — и это уже настоящий курьез: у твоей «записки» нет конца. Взгляни еще раз на выходные данные: Bulletin и так далее, страницы триста двадцать пять — триста сорок один. А теперь взгляни в конец. Последняя страница — триста тридцать семь. *Четыре страницы*, выходит, отсутствуют.

Оробете проверил и побледнел.

— И в самом деле... И это не ошибка в нумерации, потому что последняя фраза не окончена: «*Une des premières conséquences serait...*»* Что бы это могло значить? Как это получилось?

Альбини впился в него глазами, потом перевел взгляд на профессора, улыбнулся.

— Если ты согласишься внимательно, то увидишь, что последние четыре странички, то есть два листка, вырваны.

Оробете рассеянно провел пальцами по корешку брошюры.

— Я подумал было, — продолжал Альбини, — что мне попался негодный экземпляр. Кто-то в типографии или где-то еще случайно вырвал два листка. Но я обзвонил всех, кто получил «Записку» сегодня утром, и все в один голос заявляют, что и у них два последних листка вырваны.

— Вот почему наш сегодняшний гость во что бы то ни стало хотел... — начал было профессор.

* Одним из первых последствий было бы... (франц.)

— Именно, — перебил его Альбини. — Все до единого экземпляра, которые к нему попали, были без концовки.

Оробете приложил ладонь ко лбу.

— Но тогда?.. — прошептал он и безвольно откинулся на подушку. Альбини еще раз переглянулся с профессором и разочарованно встал.

— Тогда, по мнению специалистов, его нельзя пустить в ход, это уравнение. Оно не доделано.

Профессор нагнулся над постелью.

— Не думаю, что больной вас слышит. Он уснул...

VIII

Он давно чувствовал чье-то чужое присутствие в комнате и наконец усилием воли проснулся. У его постели, в ногах, стояла какая-то женщина с грустным взглядом.

— Мама, — прошептал он, приподнимая голову с подушки. — Не бойся, они меня не убьют!

Женщина глядела на него неотрывно и молчала.

— Не бойся, родная, — повторил он, протягивая к ней руки. — Меня не убьют...

Легкая улыбка чуть тронула лицо женщины.

— Ты очень изменилась с тех пор, как ушла, — сказал он. — И все-таки это ты. Мама.

От улыбки лицо женщины неуловимо менялось. Оробете прикрыл глаз правой рукой и смолк, трудно дыша. Потом решил и резко отнял руку. Женщина неподвижно стояла на том же месте, глядя на него с любовью и жалостью. Да, с жалостью, понял Оробете, заметив тихие слезы на ее щеках.

— Не надо, не бойся, — повторил он в смятении. — Я же сказал, меня не убьют... — Он провел рукой по лицу. — Но как ты изменилась! Ты похожа на Божью Матерь! На икону Божьей матери из Белой Церкви... Или нет... или нет...

Лицо женщины вдруг засветилось изнутри, и еще ярче засверкали на нем, сквозь улыбку, слезы. Ее взгляд излучал такую мощь, что он не выдержал и склонил голову.

— Почему ты не хочешь мне ничего сказать? — спросил он шепотом. А когда поднял голову, содрогнулся и осенил себя крестом.

— Это не ты, мама, — прошептал он. — Это образ Божьей Матери. Такого еще никто на свете не видел. Одна. Во весь рост. Неподвижная... Только слезы живые, только слезы.

Но снова неуволимо сдвинулись ее черты, и Оробете зажал рукой рот, чтобы не крикнуть, не позвать сестру. Застывшая, как статуя в золотом сиянии, она была похожа теперь на средневековую Мадонну; он видел такую в альбоме, который его сосед по комнате купил в канун Рождества у антиквара. Только слезы все текли, поблескивая перламутром.

— Madonna Intelligenza! — вскричал он, счастливый, и снова перекрестился. — Сбылось, маэстро! Мудрость, любовь и бессмертие... Но слезы, Мадонна, откуда эти слезы?

В тот же миг свет отхлынул от лица женщины, а улыбка незаметно увяла.

— Ты меня не узнал, Прекрасный-витязь-весь-в-слезах! — тихо проговорила она, делая шаг к нему. — А ведь прошло не так уж много лет. Восемь, девять? Быстро же ты меня забыл! Помнишь, как ты дулся, когда у нас во дворе все хором кричали:

Оробете Константин
очень важный господин!

Это тебе не нравилось, — продолжала она, подступая еще не шаг. — Но не нравилось и когда я звала тебя Прекрасный-витязь-весь-в-слезах.

— Ах, так вот ты кто! — заволовался Оробете. — Иринел! Иринел Костаке... Но как ты сюда попала?

— Я здесь работаю, недалеко от тебя, на том конце коридора. В ночную смену, с полуночи... Прекрасный-витязь-весь-в-слезах, — повторила она. — Таких красивых глаз я больше не встречала.

— Не помню, не помню, — сказал Оробете. — Так мне было на роду написано... Но зачем они хотят меня убить? — вдруг вскинулся он. — Не то чтобы я боялся смерти. Напротив. Но я еще не все сказал. И я не имею права уйти, пока не скажу, что нас ждет.

— Каждый знает, что его ждет, — прошептала Иринел, смахивая слезы.

— Иринел! — вскрикнул Оробете. — Попроси их отпустить меня хо-

тя бы на месяц — на два, мне нужно кое-кого найти. Клянусь могилой моей матери, что вернусь, как только его найду, передай им. Будет трудно, потому что тут не обойтись одной физикой и математикой, тут нужно еще и воображение, поэзия, мистика... Будет трудно, — повторил он, преодолевая внезапную усталость, — но я его найду. Скажи им, чтобы они меня выпустили! Это очень важно. На карту поставлена наша жизнь. На карту поставлено *все*...

Тут он увидел, как в палату входит доктор Влэдуц, и в изнеможении откинулся на подушку.

— Что он говорит?

— Бредит, — шепнула сестра, не отрывая взгляда от юноши. — Вы послушаете на пленке, — добавила она, украдкой отирая уголки глаз. — Что-то про Божью Матерь и про какую-то девушку, Иринел, в которую он был влюблен...

— Сколько минут прошло со второй инъекции?

— И пяти не прошло.

Оробете блаженно улыбнулся. Его так и подмывало сказать: «Совершенно верно, четыре минуты и восемнадцать секунд». Но зачем говорить? К чему?

Он знал, что на него смотрят, но притворился, что спит.

— Его нельзя разбудить? — услышал он голос Альбини, потом его же шепот: — Уколы кофеина или что-нибудь такое?

— Не исключен риск... — пробубнил доктор Петреску.

— Оставьте, — оборвал его Альбини. — Риск не риск, но больше откладывать допрос я не могу. Приказ сверху.

Он услышал, как шаги доктора удаляются по коридору, и, открыв свой глаз, улыбнулся.

— Я к вашим услугам, господин инспектор. Но я тоже хочу попросить вас об одной вещи. Это не условие, а именно просьба.

— Пожалуйста, — отозвался Альбини, садясь.

— Вы, конечно, отдаете себе отчет, — начал Оробете, — что речь идет о вопросе как нельзя более важном...

— Потому-то я и настаивал на разговоре. Вопрос не только очень важный, но и очень срочный.

— Знаю, — улыбнулся Оробете. — Если даже товарищ Павел Бога-

тырев прибыл... Они тоже проводили, — добавил он весело. — Но, несмотря на все их меры предосторожности, вы все-таки поймали товарища академика с поличным, то есть с подслушивающим устройством. В коридоре.

Альбини побледнел и, пригнувшись к юноше, шепотом спросил: — Как ты узнал?

— Академик зашел в туалет, — объяснил Оробете, — но сразу же вышел — и ко мне. План клиники он знает, на нем белый халат, как на всех докторов, и, конечно, у него были сообщники... Но сейчас речь не о том. Моя просьба очень проста: выпустите меня на несколько недель, самое большее — на пару месяцев. Мне надо разыскать человека, который бы все понял и помог нам. Я не про Агасфера, — поспешно предупредил он. — Должен быть *кто-то* (и, возможно, не придется далеко ходить), — кто-то, у кого такой математический ум и такое поэтическое воображение, что он доведет уравнение до конца...

— Четыре вырванные странички, — с кислой улыбкой дополнил его Альбини. — Именно о них я и хотел с тобой поговорить...

— Я догадался, — сказал Оробете. — Но позвольте мне выйти отсюда. Даю вам слово чести, что, как только я его найду...

— Да, да, — перебил его Альбини, — я слушал пленку и знаю, что ты говорил сестре... Я сообщу куда следует.

Оробете откинулся на подушку и с покорной улыбкой произнес:

— Я выполнил свой долг, я сказал. Сказал и во сне, и в ясном сознании... Но это грех перед Господом — дать нам всем погибнуть или вернуться назад, во вторичный период, только потому, что...

Он осекся и вздернул плечами. Альбини, повертев в руках портсигар и помолчав в нерешительности, наконец начал:

— Считаю своим долгом проинформировать тебя сразу, чтобы не было никаких недоразумений, когда ты вернешься домой. Так вот, информирую тебя, что наши специалисты вскрыли сундучок, проверили все книги, листок за листком, перефотографировали твои тетради с математическими записями и расчетами... Обыскали буквально все, с помощью соответствующей аппаратуры. Но не нашли ничего, что хотя бы отдаленно могло сойти за вывод твоих «Записок», который, по-видимому, был изложен на последних четырех страницах.

Оробете слушал с любопытством, не лишенным иронии.

— Если бы вы сначала меня спросили, я избавил бы вас от таких хлопот. Что они могли найти, когда я и сам не знал содержания своих «Записок»? Это же все дело сна...

— Вот то-то и оно, — подхватил Альбини. — На основе имеющегося текста часть пленок наши математики смогли расшифровать. Но часть осталась нерасшифрованной — вероятно, та, что соответствует последним четырем страничкам. И мы уверены, что с ней не справится никому, кроме тебя.

— Кроме меня? — переспросил Оробете, слегка бледнея. — Каким же образом?

— А очень просто, — ответил Альбини, открывая портфель. — У меня с собой перепечатка всего, что было записано на магнитофоне с первого дня твоего пребывания здесь до вчерашнего вечера. Я выбрал, разумеется, только страницы, касающиеся математики и физики. Но оставил контекст. Например, пророчество мексиканских чародеев. Все, что обрамляет анализ и доказательства «Записок», внесено в текст красными чернилами.

Оробете смотрел на него в полной растерянности, потирая лоб.

— Видите ли, — прошептал он, — я так накачан лекарствами, что ослаб. В умственном смысле, я имею в виду. Я едва сумел разобраться, и то не вполне, в собственной брошюре.

— Попробуем, попробуем, — ободрил его Альбини. — Ты представляешь себе, какой это произведет фурор, — добавил он, поднимаясь, — если мы первые выдадим разгадку того, что оказалось не под силу ни одному математическому гению мира?

— Это будет трудно, — возразил Оробете. — Очень трудно, — повторил он, роняя голову на подушку.

Когда несколько минут спустя он очнулся, в комнате никого не было. Он поискал на столике папку, которую оставил ему Альбини, пошарил по одеялу, взглянул на ковер и наконец нажал кнопку звонка.

— Когда ушел товарищ инспектор? — спросил он вошедшую сестру.

Та заморгала, глядя на него с опаской.

— Он сегодня еще не приходил.

— Он только что был здесь и оставил мне папку с рукописью. На расшифровку.

— Сейчас спрошу господина доктора,— сказала сестра, быстро выходя из палаты.

Оробете закрыл лицо руками.

— Мне осталось всего два дня,— пробормотал он.— Если только осталось. Может, один. Может, и того меньше...

Итак, если Альбини не приходил, значит, и не придет, подумал он, а вслух громко сказал, чтобы получше записалось:

— Вероятно, распоряжение отменили... Сначала посчитали, что, если разыщут четыре последние странички, получат а руки решение. Но потом испугались, и их можно понять. Та же история, что с последними словами Эйнштейна и с ответом ему Гейзенберга. Если бы мир узнал, началась бы паника, какой человечество еще не ведало. Жить под постоянной угрозой, что нас вот-вот отбросит назад, во вторичный период! Рассудок не выдерживает, начинаются массовые самоубийства, беспрецедентный разгул преступности. А так, может, оно и лучше: святое неведение! Все познаваемо, кроме будущего. По крайней мере *сейчас*, на сегодняшний день,— добавил он, горько усмехнувшись.— Итак, вполне вероятно, что досье, составленное Альбини, все экземпляры брошюры, равно как и магнитофонные записи, будут уничтожены. Повторяю: может, это и к лучшему... Хотя,— продолжил он после паузы,— есть же и другое решение: выпустить меня, чтобы я его разыскал. *Он должен быть!* — вырвался у него крик.— *Как же иначе?* И не исключено, что даже где-то здесь, в Бухаресте — если не под одной крышей со мной! Никто не понял того, что следовало понять с самого начала: я не более чем посланник. Предтеча. Я открыл конечное уравнение, не более того. *Решения*, которое защитило бы нас от последствий этого открытия, я не знаю. Господь дал мне гений математика, но не поэта. Я с детства любил поэзию — но чужую. Мне бы поэтический дар — может, тогда я и нашел бы *решение*...

Он надолго смолк, потом снова заговорил, повернувшись лицом к приоткрытой двери:

— Но это все пустое. Просто вопрос с самого начала был неверно поставлен: они приняли меня за *Другого*. За того, кто должен прийти, и очень скоро, чтобы мы не скатились, за долю секунды, до уровня репти-

лий вторичного периода. Разумеется, в конце концов они умертвили бы и его, но, если бы он успел провозгласить *решение*, его смерть была бы уроком, а не трагедией.

...Это моя смерть — трагедия, потому что я не выполнил свою миссию. Посланник, который не сумел передать послание! Нет, с трагедией я преувеличиваю. Вернее будет назвать эту смерть трагикомической. Трагикомедия ошибок и недоразумений...

Он снова надолго умолк, неотрывно глядя на дверь.

— Что-то они никак его не убедят, — твердым голосом возобновил он монолог. — Бьются с ним сегодня с трех часов пополудни — и вот уже смеркается... Сколько раз они ему твердили: «Таков приказ, товарищ доктор. Дело не только в нас, румынах, не в нашей маленькой стране. На карту поставлена судьба всего мира. В игру вступили все великие державы, с Запада до Востока. Если мы не подчинимся приказу, придут они, и результат будет тот же... И, повторяю, речь не идет о преступлении, это просто-напросто эвтаназия. Как и великий Эминеску, наш гениальный математик потерял рассудок. По крайней мере так значится в рапортах вашего отделения, подписанных профессором Маноле Дрэгичем: мозг Константина Оробете неизлечимо болен. В лучшем случае он проведет остаток жизни в специальном приюте для неизлечимо больных, полупарализованный и слабоумный».

Так оно и есть, товарищ доктор, — продолжал он, передохнув. — Правы они, а не вы. И не ваша инъекция умертвит меня. Доза и так уже превысила допустимые пределы. Последний укол, который они скоро убедят вас мне сделать, просто ускорит конец. Конец, который начался давно, как только меня поместили сюда. Доктор Влэдуц, я благодарю вас, что вы начинаете сдаваться. Надеюсь, вам тоже дадут прослушать эту последнюю пленку, прежде чем уничтожить ее вместе со всеми остальными, и вы увидите, как я вам признателен...

А теперь пора ставить точку. Раз я не сумел передать послание — единственное, на что я был годеи, — мне больше нечего добавить. Я сирота, у меня нет семьи, нет друзей. Если сможете, передайте мой привет профессору Доробанцу и скажите ему, что он был прав, он поймет, о чем я говорю. И последнее, последнее, — прибавил он скороговоркой, бледнея, потому что услышал шаги в коридоре. — Попросите господина декана восстановить на факультете моих коллег, Думитреску и Добридора. Заверьте

его, что они ни в чем не виноваты. Прошу вас, умоляю! Они не виноваты! Они не ведали...

Он устало склонил голову на подушку и минуту спустя услышал голос доктора Влэдуца, обращавшегося к кому-то, кто остался на пороге:

— Спит. Он очень крепко спит.

IX

Счастливый, он спускался по санаторской лестнице, хотя ему казалось, что спускается он слишком долго и что, сколько бы этажей ни было у этого легендарного здания, все равно ему пора бы уже очутиться внизу, в саду или на улице.

— Я бы предпочел сад, — прошептал он. — В этот час там никого нет. И стоит Купальская ночь. Даже в центре столицы она та же, какой была изначально: лесная, волшебная, ночь духов...

Он очнулся в саду, на скамейке, и, не поворачивая головы, почувствовал, что старик сел рядом с ним.

— Вы были правы, маэстро, — сказал он. — Я должен был вернуться... Хотя бы для того, чтобы удостоверить подлинность истории про комнату с приоткрытой дверью.

— Только для этого, Даян? — переспросил старик. — Хотя, — добавил он, улыбнувшись, — пожалуй, больше нет оснований называть тебя Даяном. У тебя снова здоровы оба глаза, как от рождения...

— Правда? — Он обернулся к старику. — Я даже не заметил...

— И все же я как звал, так и буду звать тебя Даяном... Ты ведь догадываешься, зачем я пришел?

— Боюсь, что да, — с горечью улыбнулся Оробете.

— Только один вопрос, единственный, на который я сам не могу ответить. Ты знаешь о чем... Теперь, когда ты вывел конечное уравнение и, к счастью для меня (видишь, я эгоист, но неужели я не имею права, как обычные смертные?..), к счастью для меня, еще не найдено спасения от его последствий, я спрашиваю тебя: та надежда, которую я возлагал на пророчества ацтекских визионеров...

— Тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год, — кивнул Оробете.

— Да. Это пророчество — оно исполнится или мне снова ждать? Снова и снова ждать?

Оробете посмотрел на него с бесконечной печалью. Старик покачал головой, улыбнулся.

— Понимаю, — сказал он, помолчав, — и не ропщу... Но теперь мы должны расстаться, — добавил он, тяжело поднимаясь со скамейки. — Ты знаешь дорогу?

— Знаю, — прошептал Оробете. — Знаю и место. Это недалеко...

Палм-Бич — Чикаго, декабрь 1979 — январь 1980 г.



LES TROIS GRÂCES*

— Подумать только, его последние слова: Les trois Grâces. Подумать только...

...Тридцать девять лет назад. Тридцать девять без малого, без трех недель. Окрестности Веве, лес. Если бы не внезапный лай собак, он прошел бы мимо них, не заметив. Вероятно, бился, по своему обыкновению, над рифмой. Непременно хотелось сохранить полное название цветка: эвфорбия молдавика... добавим-ка, добавим-ка... Он вздрогнул и повернул голову. Огромная черная собака трусила по гравию прямо к нему, а поодаль, за высокими вербами и елями, стояли те самые три виллы. У него даже дух захватило: они стояли совершенно по отдельности и все же будто бы общались между собой, но каким образом, он не мог уловить. Зрелище было столь чарующим, что он даже перестал моргать. (Как-то раз, потом, Сидония сказала ему с еле сдерживаемым раздражением: «Я понимаю, это просто нервный тик, только где же твоя сила воли? Извини, что я повторяюсь, но для того, кто на тебя смотрит...» — «Я же не все время моргаю, — мягко возразил он. — Когда меня что-то интересует: картина, пейзаж, цветок, — я...» — «Не будем о цветах, — отрезала Сидония. — Это твое ремесло...» Вот чем, наверное, она его тогда задела, этим словечком, «ремесло». «Это — твое ремесло». Он пожал плечами. «Ботаника для меня в первую очередь страсть, во вторую — очень точная наука. Так или иначе, уверяю тебя, то, что ты называешь «тик», — не мое. Ему не подвержен ни поэт, ни натуралист...»)

* Три грации (франц.).

— Да, просто удивительно, — подхватил Хаджи Павел. — Надо же ему было вспомнить именно про них в ту минуту, когда... — У него дрогнул голос. — Господи помилуй.

Он утопил губы в стакане с вином.

— *Les trois Grâces*, — машинально повторил Заломит. — *Les trois Grâces*.

...Дом из мечты! Прожить тут лето — писать и ни о чем больше не думать!.. Вот только эта вздорная собака! Вертится вокруг и лает все надрывнее, не смея глядеть ему в глаза и только угрожающе задирая вверх морду. Он беззлбно прикрикнул на нее: «Уймись, псина!» И тут его взгляд упал на медную табличку с надписью «*Les trois Grâces*». «Ну да, конечно, а как же иначе, — прошептал он. — Конечно...»

— И все-таки, — напомнил Николяну, — что он хотел сказать?

Хаджи Павел, с грустной улыбкой взглянув на Заломита, ответил:

— Воспоминания. Воспоминания юности. Наши студенческие годы в Швейцарии.

Он в неловкости отер глаза и со вздохом снова наполнил свой стакан.

— Открыл их я, — сказал Заломит, — но уже в следующее воскресенье сводил к ним приятелей. *Les trois Grâces*. Вот уж нарекли так нарекли. Хотя их было три, они составляли единое целое, не знаю, как вам это объяснить. Приятелям они тоже, конечно, понравились, но я-то был просто-напросто влюблен в каждую по отдельности и во всю троицу вместе. Навещал их обычно по воскресеньям. Раз мы приехали всей компанией, когда шел снег. Пухлый белый слой уже лежал, а сверху все валило и валило. Мы стояли под елками — был январь, темноло рано, — и когда в окнах зажегся свет, очнулись посреди волшебной норвежской сказки...

— Мы и еще к ним наведывались, когда шел снег, — проронил Хаджи Павел. — Но так красиво больше не было.

Заломит покачал головой.

— Ты путаешь. Снег шел только один раз, в то воскресенье, в январе двадцать девятого или тридцатого.

Хаджи Павел недоуменно помолчал.

— В двадцать девятом меня еще не было в Женеве. А в тридцатом на зимние каникулы я уезжал домой...

— Может быть, вы говорите о разном, — вмешался Николяну. — Знаете, как с этими воспоминаниями, тем более когда прошло столько лет.

— *No Les trois Grâces* — это больше чем воспоминание юности, — возразил Заломит. — Для меня по крайней мере. Я опубликовал книжечку стихов — на свои деньги, естественно. Да ее и не заметили. В то лето я работал над второй книгой, рассчитанной на гораздо больший эффект. Я был тогда без ума от Поля Валери... Когда я нашел их, под прикрытием елок и верб, я подумал: «Вот бы замкнуться здесь на целое лето и писать, только писать, в полном уединении...»

Хаджи Павел смотрел на него, хмурясь все больше и больше.

— Я узнал и фамилию архитектора, — продолжал Заломит, — и помнил ее очень долго, лет, может быть, десять — пятнадцать. Потом забыл — при всем моем восхищении этим человеком. Как, впрочем, и многое другое, — добавил он, натянуто улыбнувшись.

Хаджи Павел, слушая, пожимал плечами.

— К чему ты клонишь, никак не пойму, — проворчал он.

— В любом случае интересно, что это были его последние слова, — заметил Николяну.

— Еще бы не интересно! — подхватил Хаджи Павел. — У каждого из нас было достаточно приключений в юности. Что-то забылось, что-то осталось. Почему Аурелиан выделил из всех воспоминаний именно *les trois grasses**? Может, наша компания напомнила ему добрые старые времена, Женеву, где мы подружились?.. Однако у нас была уйма общих женевских воспоминаний. Отчего же именно три толстушки? Тем более что настоящими-то толстушками были только две, так мы рассудили, и другие коллеги с нами соглашались. Ивонна была вполне такой, какой положено быть швейцарской девушке в двадцать пять лет.

Заломит резко подался вперед и налег грудью на стол.

— Я вижу, мы толкуем о совершенно разных, не имеющих между собой никакой связи вещах. Я — о трех виллах подле Веве, они назывались *Les trois Grâces*. Мы в тех краях гуляли. Один раз — в январе, в воскресенье, кода шел снег.

— Кажется, припоминаю, — кивнул Хаджи Павел. — Там были во дворе гномики и такой маленький бассейн из синей глазури...

Заломит досадливо помотал головой.

* Три толстушки (франц.).

— Ты путаешь. У Les trois Grâces не было никаких гномиков и никакого бассейна.

— Ладно, — согласился Хаджи Павел. — Пусть я путаю. Но ты-то, надеюсь, помнишь Ивонну, Генриетту и третью, как ее, сейчас запамätовал. Нам с ними было хорошо, а кое-кому из нас даже очень хорошо, и это длилось почти два года. Тебе сначала нравилась Ивонна, но, кажется, вы не зашли далеко...

— Ивонна... Имя помню, а внешность... нет... И тех двух других тоже...

— Генриетта хоть и кубышка, но в ней сидел чертенок! Что-то в ней было. А умница! Помнишь, как она тебя дразнила, когда мы приходили к ним на свидание в Кафе-де-Вож? Сначала кричала нам всем: «Vive la Roumanie!» А потом лично тебе: «Vivent les alliés!»*

Заломит снова помотал головой, смущенно усмехнулся.

— Мне очень и очень жаль, но этого я не помню.

— Ну да, ну да, — закивал Хаджи Павел. — Ты был одержим поэзией и цветами: Ты видел мир иначе, чем мы... К тому же, — добавил он с паузой, — прошло почти сорок лет...

— Но ведь я не забыл ни лес под Беве, ни Les trois Grâces, хотя, признаться, о некоторых моментах своей юности не думал лет так уже двадцать пять...

Они замолчали, избегая смотреть друг на друга. Наконец Хаджи Павел взялся за вторую бутылку вина и разлил ее по стаканам с большой осторожностью, словно боясь, как бы не дрогнула рука.

— À propos de Yvonne**, — начал он. — Ты все-таки помнишь, как Аурелиан называл их вначале? Он называл их Deux ou trois grasses***.

Заломит смерил его пристальным взглядом.

— Он не мог их так называть, потому что тогда еще не перевели на французский «Two or Three Graces»**** Олдоса Хаксли. Если он их так и называл, то это потом...

— Ну-ну, — примирительно сказал Николяну. — Мы все знаем, что

* Да здравствует Румыния!.. Да здравствуют союзники! (франц.)

** Кстати, об Ивонне (франц.).

*** Две-три толстушки (франц.).

**** Две-три грации (англ.).

память, как и все остальное в человеке, работает с перебоями и подвержена износу. Вернемся лучше к последним словам Аурелиана Тэтару. Что же он все-таки хотел сказать, как вы думаете?

— Упокой, Господи, душу его, — пробормотал Хаджи Павел. — Может, это из-за того, что мы снова были вместе все трое, столько лет спустя и именно здесь, в горах. Помнишь наше восхождение на Шамони?

— Карпаты здесь не слишком напоминают Швейцарские Альпы, — задумчиво возразил Заломит. — Если он хотел нам что-то сказать, то, может быть, вот что: «Я прекрасно понимаю, что погиб, но мне не страшно, пусть и вам будет не страшно в миг смерти». И еще, может быть, что смерть есть полное раскрытие тех лучших способностей, которыми мы были наделены, сведение их воедино. И ему не пришло в голову другого образа — или он уже не мог говорить... открыл глаза, увидел, что мы оба с ним, и вспомнил совершенную гармонию трех вилл, отдельных и все же составляющих единое архитектурное тело. И напомнил нам этот образ: *Les trois Grâces*.

— Ты же у нас поэт, — сказал Хаджи Павел. — Ты видишь то, что от нас, простых смертных, скрыто.

Заломит, нахмурившись, помолчал, потом его лицо разгладилось.

— Если хочешь знать, я давным-давно не поэт. С того июльского дня, когда в первый раз увидел *Les trois Grâces*, я ни разу даже не попытался писать стихи. Я остался тем, чем должен был быть с самого начала: ботаником. Никакой поэзии не достигнуть совершенства и глубокомыслия самого скромного цветка... — Он поднялся и пожал всем руки. — Вы меня простите, если я вас оставляю? Пойду к себе, прилягу. Устал.

* * *

Он вздрогнул, услышав шаги, и резко обернулся. Кто-то шел по тропинке: берет надвинут на лоб, плащ внакидку.

— Вам тоже, я вижу, не спится, — сказал, подходя, Николяну.

Сел рядом на траву, аккуратно прикрыв полами плаща колени.

— Тут, в горах, даже в разгар лета ночи всегда холодные. Вы бы лучше побереглись...

— Я привычный, — отвечал Заломит, глядя перед собой. — Это мой

ареал. Я специализируюсь на флоре Карпат... На том, что от нее осталось,— добавил он тихо.

— Вы нарочно расположились здесь? Отсюда рукой подать до того места, где...

— Сколько сейчас может быть времени? — не дал ему договорить Заломит. — Я забыл свои часы в номере.

— Около трех, вероятно. Через часок взойдет солнце.

— Значит, прошло не более полусуток... Как это могло случиться, хоть убей, не пойму...

Николяну поплотнее запахнулся в плащ.

— Я тоже. Я просто глазам своим не поверил, когда подбежал на ваши крики. Так упасть — это надо ухитриться. Будто городское несмышленное дитя, которое первый раз очутилось в горах. Разве что внезапная потеря сознания. Ведь он катился метров двадцать — двадцать пять и даже не попытался за что-нибудь ухватиться. Тут же и корни, и высокая трава, камни, в конце концов...

— Наверное, обморок. А может, сердечный приступ или что-нибудь вроде того... Выяснится, я думаю.

— Выяснится,— кивнул Николяну,— если вскрытие будет сделано вовремя и кем следует...

— Вы давно с ним познакомились? — спросил, глядя искоса, Заломит.

— Давно, но подружились в последние три-четыре года, когда он уже отошел от своей специализации. А тогда, в первой половине шестидесятых, мы работали по разным профилям, и у нас просто не было возможности часто видеться и узнать друг друга.

— Отошел от своей специализации, говорите? — спросил Заломит.

Николяну, скрывая замешательство, долго оправлял на себе плащ. Потом встал, просунул руки в рукава, застегнулся под подбородок и только тогда ответил вопросом на вопрос:

— Вы давно не виделись?

— Да, и вообще мы виделись не каждый год. Переписывались и того реже, оба были по горло загружены, у каждого своя жизнь... Держали связь через общих знакомых. И тем не менее, когда он узнал от Хаджи Павла, что я собираюсь в горы, сюда, в Пояна-Дорней, во второй половине июня, он написал мне и предложил провести не-

сколько дней вместе, нам втроем, здесь, на турбазе... Но почему вы спрашиваете?

Николяну в неловкости потер руки.

— Я просто хотел знать, были ли вы в курсе его исследований, а точнее сказать, открытий. Лет десять назад в наших кругах многие подозревали, что доктор Тэтару вот-вот откроет, если уже не открыл, как лечить рак.

— Да, я был в курсе. Мы даже говорили с ним на эту тему. Вернее, я приставал к нему с расспросами, и он наконец, при всей своей замечательной скромности, признался, что если ему не помешают обстоятельства, то самое большее через два-три года смертность от рака будет ниже, чем от туберкулеза и сифилиса.

— Ну, это неизбежно. Кто же сомневается, что рано или поздно средство против рака будет найдено — так же, как, например, против чумы или бешенства. Вся соль в подробностях. Доктор Тэтару вас не посвящал в подробности?

— Да нет, сказал просто, что эксперименты чрезвычайно обнадеживают.

— Обнадежить не шутка, — возразил Николяну. — Многие обнадеживали, а что толку? У доктора Тэтару была революционная методика, и ничего общего ни с какими предыдущими разработками по лечению рака она не имела. Конечно, как водится в подобных случаях, полагалось сохранять секретность, пока методика не опробована в так называемых минимальных сериях, то есть по крайней мере в трех-пяти клиниках. Поэтому никто из нас в те времена десятилетней примерно давности не знал, в чем состояли эксперименты. Но и от того, что мы разузнали про методику, дух захватывало. А последние два-три года, когда мы с доктором Тэтару сошлись поближе и он рассказал мне кое-что — не все, но достаточно, — я понял, что наши сведения были не просто слухами, как утверждали позже... Да, представьте, позже так утверждали...

Он запнулся, и несколько секунд прошло в колебаниях.

— Э, да что там, сейчас уже можно говорить, — отважился он наконец. — Во-первых, Аурелиана Тэтару больше нет в живых. А потом — хотя в таких вещах никогда не знаешь, что правда, что пропаганда, что досужие выдумки, — так вот, вроде бы подобные же эксперименты проводятся в России и в Соединенных Штатах. В общем, если коротко, идея доктора Тэтару такова: канцерпровоцируется чрезмерным и анархическим раз-

растанием клеток ткани или органа. В смысле физиологии этот процесс парадоксален и даже противоречив, поскольку сам по себе феномен стремительного размножения клеток — признак хороший, то есть показатель регенерации соответствующей ткани или органа. Сама по себе неоплазия — безостановочное разрастание клеток — должна была бы привести к тотальной регенерации тканей и, в конечном итоге, к омоложению всего человеческого тела. Но благо этой позитивной органической пульсации сводится на нет безумным ритмом, в который она впадает, хаосом и анархией в построении новых клеток на микро- и макроуровнях. Можно сказать, что налицо тенденция к созиданию, внезапно потерявшему меру, физиологический процесс, утративший целесообразность, «созидание» в беспамятстве и наугад, без цели, без порядка, без программы...

— Потрясающе! — не выдержал Заломит. — Ну просто потрясающе! Гёте был бы в восторге от такой интерпретации: болезнь как хаотическое творчество, творчество, потерявшее меру!.. А Гётев «Метаморфоз растений»! Ведь он адресован лично Аурелиану! И я не настаивал! Я не добился от него подробностей! Никогда себе этого не прощу!..

— Думаю, тут дело не в вашей настойчивости. Он страдал — я один раз даже так прямо ему и сказал, — страдал скромностью, доходящей до патологии.

— Да, но что же все-таки стряслось? Такие многообещающие эксперименты — и вдруг о них перестали говорить. И он сам, когда мы потом встречались, больше не упоминал о них ни словом.

Николяну приподнял руку, будто хотел указать на что-то, но, тяжело вздохнув, уронил ее на колени.

— Я сам толком не знаю, что стряслось. Его вдруг перевели в районную больницу, в Джулешты, главврачом. Ну и все эксперименты побоку. Вы случайно не встречали его в тот год — с шестидесятого на шестьдесят первый?

Заломит с минуту подумал.

— Нет. Ни в шестидесятом, ни в шестьдесят первом, ни в шестьдесят втором мы не виделись.

— Зато те, кто с ним тогда виделся, уверяли, что никаких горьких настроений у него заметно не было. Он только посмеивался — беззвучно, на свой манер, и говорил: «Это никуда не денется. Не я, так другие». И менял тему.

...Да, конечно, это было обречено. Зачем я спрашиваю? С моим-то опытом. Проект регионального атласа, три монографии, готовые к печати, и чем все это кончилось: улыбочка Урсаке, когда он переглядывался с Катастрофой-в-Трех-Святых, но главное, их молчание, когда взяла слово сама Непорочное Зачатие...

Кровь бросилась ему в лицо, он встряхнул головой.

— Ладно, но как все же Аурелиан собирался подправить процесс разрастания клеток? В чем состоял эксперимент?

— Насколько я могу это реконструировать из того, что знаю сам и слышал от него, он предполагал довести до кондиции какой-то органический раствор (или сыворотку, точнее не скажу), в общем, препарат, инъекция которого в неблагополучную зону заставляла бы организм «опамятоваться», как мы шутили, — будила бы инстинкт целесообразности, изначально ему присущий. Но это так, метафора. Он сам считал, что разрабатывает средство для коррекции органических процессов. Раз даже сказал мне: «По сути, открытие будут использовать в медицине больше для омоложения организма, чем для лечения рака. Потому что рак (это его слова) как социальный бич через поколение-другое отомрет, а вот дегенерация клеток и старение — этот бич еще останется...»

— Разбудить инстинкт целесообразности, изначально присущий каждому организму, — отдельно произнес Заломит. — Если он это понял, он понял все... — И добавил, решительно поднимаясь: — Я как во сне со вчерашнего вечера.

— Да, — согласился Николяну, тоже, хотя и тяжело, вставая. — Не могу поверить, что он просто споткнулся и прокатился по всему склону, ведь это даже не обрыв...

— Как во сне, — повторил Заломит, опуская голову, — как в бреду. «Скорая» увозит тело Аурелиана Тэтару, а мы, посмотрев ей вслед, возвращаемся на базу, и Хаджи Павел заказывает пару бутылок вина... В голове не укладывается. *Неужели это было? Неужели это правда с нами было?*

* * *

Только он уснул — так ему показалось, — его разбудил Хаджи Павел.

— Быстренько одевайся. Следователь прибыл. Au fond, mon vieux, nous sommes suspects*, — добавил он шепотом.

Во дворе его ослепил свет летнего утра. Народ теснился вокруг смутного молодого человека со строгостью в лице.

— Товарищ Заломит, не так ли? — спросил молодой человек, вертя в руках блокнот. — Филип Заломит, профессор. Вы приехали позавчера вечером из Пояна-Дорней на машине вашей лаборатории по физиологии растений, верно? Доктор Аурелиан Тэтару ожидал вас на террасе вместе с товарищем Хаджи Павлом, инженером, и товарищем Николяну, врачом, не так ли?

— Так, — проронил Заломит, не решаясь взглянуть на «товарищей».

— Тогда по коням. То есть в пикап, чтобы сэкономить время.

— Товарищ Чуботару, это очень близко, — возразил Хаджи Павел, — меньше чем в километре отсюда.

— Теряем время, — отрезал Чуботару.

Когда все выбрались из пикапа, он прокашлялся и, тоном подчеркивая важность момента, начал:

— Чтобы исключить разного рода недоразумения, попрошу между собой не переговариваться. Сейчас вы пройдете по этой тропинке в том же порядке, что и вчера, двадцать второго июня, между двумя и двумя тридцатью дня. При составлении протокола вы утверждали, что доктор Аурелиан Тэтару быстрым шагом пошел вперед, то есть удалился от вас. На сколько примерно метров?

Вопрос был обращен к Николяну, тот ответил:

— Трудно сказать с точностью. Метров на сорок-пятьдесят, от силы на сто, но уж никак не больше. Мы не видели его только потому, что тут деревья.

— Никто из вас его не видел?

Чуботару буравил глазами всех поочередно.

— Нет.

— Значит, никто из вас его не видел, — подытожил молодой человек и, послунив палец, аккуратно перелистнул страничку блокнота. — Теперь, чтобы исключить разного рода недоразумения, ответьте, как вы шли, на каком расстоянии друг от друга. Начните вы, товарищ профессор.

* Как-никак, а мы, друг мой, под подозрением (франц.).

— Сначала все рядом, — сказал Заломит. — Потом, когда тропинка сузилась, друг за другом. Я оказался впереди, но...

— Минуточку, — перебил его Чуботару. — Подтвердите, пожалуйста, — обратился он к остальным. — Товарищ профессор оказался впереди?

— Совершенно верно, — подтвердил Хаджи Павел. — А непосредственно за ним — я, но минут через пять Филип... профессор Заломит, который, как вам известно, ботаник, остановился и стал разглядывать какое-то растение. И тогда я прошел вперед, а за мной — доктор Николяну.

Чуботару окинул всех испытующим взглядом.

— Ну что ж, начнем, — сказал он. — Постарайтесь по возможности соблюдать очередность, как вчера. Я буду замыкающим... И попрошу не переговариваться.

Минут через десять Николяну шагнул в сторону со словами:

— Вот тут я вчера остановился и сказал, чтобы шли, я догоню. Поднялся немного вверх, вон в тот ельник. — Он взмахнул рукой и добавил, видя, что Чуботару хмурится: — Вы же понимаете, живая природа, а я не только медик, но и биолог.

— Значит, поэтому вы не присутствовали при инциденте?

— Позвольте, они тоже не присутствовали...

Чуботару заглянул в блокнот.

— Они тоже, да. По крайней мере так записано с их слов в протоколе. И сколько времени вы там пробыли?

— Ну, минут восемь-десять. Потом быстрым шагом пустился за нами вдогонку...

— Вы их видели?

— Нет. Как вы можете заметить, человек тут пропадает из виду через пару минут. Тропа все время петляет, и лес довольно густой...

— Что ж, пройдемте, — сказал Чуботару.

Там, где лес редел, их ждали в молчании Заломит и Хаджи Павел.

— Вот отсюда, — сказал Хаджи Павел, — мы услышали приглушенный вскрик и какой-то непонятный шум — вероятно, это был шум падения...

— Мы побежали... — подхватил Заломит.

Чуботару, ни слова не говоря, обогнул их и знаком пригласил следо-

вать за собой. Выйдя на большую поляну, они прибавили шагу. На другом ее конце дежурил милиционер, лениво покуривая.

— Вот отсюда мы его увидели, — сказал Хаджи Павел, подходя к краю склона. — Бросились к нему, ничего не понимая. Что дело серьезное, нам и в голову не пришло. Мысль работала: как его поднять и донести до базы. Но когда я к нему прикоснулся, он зажмурил глаза и застонал.

— Так? — потребовал Чуботару подтверждения у остальных. — Застонал?

— Да, — подтвердил Заломит, — правда, потом открыл глаза и даже попытался улыбнуться. Мы ничего не соображали и только твердили: «Что случилось? Как это тебя угораздило?» А он посмотрел на нас с таким выражением, которое невозможно описать, и сказал шепотом, но совершенно отчетливо: «Les trois Grâces».

— Хм, три грации, — перевел Чуботару. — Это есть и в протоколе. Хотя что-то еще он прибавил к этому?

— Ни слова. Мы ждали, и вдруг я понял, что он уже мертв.

— Умер на наших глазах, — добавил Хаджи Павел.

— Как вы определили, что умер?

— Мы оба фронтовики, — сказал Хаджи Павел. — Я приложил руку к его груди, к сердцу — на всякий случай. Я, конечно, не верил, что он мог умереть...

— Тут подошел и я, — вступил Николяну. — Тоже послушал сердце. Никаких сомнений. Он был мертв.

...Когда они вернулись на базу, оказалось, что процедура допроса еще не окончена.

— Чтобы не было никаких недоразумений, — обратился к ним Чуботару, — я хотел бы прояснить еще пару-тройку деталей. Пройдемте на минутку в дирекцию.

Милиционер пропустил их в дверь, а сам остался снаружи. Чуботару, предложив всем стулья, сел за стол и полистал блокнот.

— Из ваших письменных показаний следует, что вы, будучи близкими друзьями, тем не менее собирались вместе довольно редко. Как же тогда получилось, что с перерывом в столько лет вы вдруг назначили сбор, да еще в горах? Товарищ Заломит утверждает, что доктор Тэтару, узнав о его намерении отдохнуть в Пояна-Дорней, написал ему письмо, предлагая провести вместе несколько дней здесь, на

турбазе в Шештине. Надеюсь, письмо у вас сохранилось, — добавил он, взглянув на Заломита.

Затем резко обернулся к Хаджи Павлу.

— А вы, товарищ инженер? В Бухаресте вы виделись нечасто — по крайней мере вы так показали.

— Верно. Втроем мы собирались нечасто. С профессором Заломитом мы одновременно были соседями по кварталу. А с доктором Тэтару действительно встретились после очень долгого перерыва только прошлой зимой — вернее, начали встречаться. Я рассказал ему про строительство комплекса в Фараоне, это в ста двадцати километрах отсюда, мне предстояло переехать туда в середине марта, а на вторую половину июня Аурелиан пригласил меня сюда. Сказал, что наконец-то мы снова побудем вместе, втроем... Проект вполне осуществимый. — Он грустно усмехнулся. — Потому что волею судеб двое из нас были холостяками, а третий развелся много лет назад. Свободные кадры, так сказать. В летние отпуска могли бы встречаться где угодно. Видите, довольно было, чтобы кто-то один принял решение и заранее оповестил других.

— Меня, например, — сказал Николяну. — Доктор Тэтару заранее меня оповестил... Я вдовец, — добавил он.

* * *

Он услышал за дверью незнакомый голос:

— Не стоит, я сам представляюсь.

И дверь тут же открылась. Человек средних лет, высокого роста, сухопарый, с тщательно распределенными по всему черепу редкими белесыми волосами, протянул Заломиту руку для приветствия.

— Эмануил Альбини. Информационно-аналитический отдел.

И присел к длинному столу, рассеянно скользя взглядом по ящичкам с образцами.

— Ископаемые растения, — сказал Заломит. — В основном папоротник и хвойные породы палеозойской эры.

Во взгляде Альбини затлело любопытство, как будто он пытался разгадать, что за намерения камуфлирует эта в меру научная терминология.

— Увлекаетесь? — спросил он, собравшись наконец выпустить из рук портфель и пристраивая его на полу, у ножки стула.

— Чем, палеоботаникой? — улыбнулся Заломит. — Нет, палеобота-

ника интересует обычно сыщиков от ботаники, а я числюсь среди поэтов от ботаники. Но я занимаюсь флорой Карпат и заодно...

— Почему вы перестали публиковать свои стихи, товарищ профессор? — ласково перебил его Альбини.

В некотором замешательстве — потому что знал, что краснеет, — Заломит придвинул свой стул к столу.

— Вот уж не думал, что кто-нибудь о них вспомнит, сорок-то лет спустя.

— «Запятнанные лепестки». Я прочел их в лицее. И с тех пор перечитывал по меньшей мере раз пять...

— Верится с трудом, — сказал Заломит, чувствуя, как запульсировала кровь в висках. — Юношеские опыты, бледные, слабенькие, перепевы Иона Барбу и Поля Валери...

— И Дана Ботта, и кое-кого еще. Но вовсе не бледные, вовсе не слабые. Иначе меня не тянуло бы их перечитывать... Я стал следить за журналами, но ни разу больше не встретил имя Филипа Заломита. Может быть, вы печатались под псевдонимом?

— Нет, не печатался. Я просто вообще перестал писать, с того самого лета.

— А я печатался под пятью псевдонимами, — глухо сказал Альбини. — Еще с лицейских времен. — Он улыбнулся воспоминанию. — Но я тоже давно не пишу стихов. Как вы выразились на прошлой неделе в разговоре с друзьями, вы остались тем, кем должны были быть с самого начала: исследователем. Если чуть подправить, получится мой случай: следователем.

С минуту он пристально и твердо глядел Заломиту в глаза, потом вынул из нагрудного кармана пачку сигарет.

— Знаю, что вы не курите. Однако надеюсь, что дым английских сигарет не повредит ископаемым?

— Не повредит, — сказал Заломит, подвигая к нему керамическое блюдце. — Они привычные.

Альбини с коротким смешком повертел в пальцах зажигалку.

— Должен вам заметить, что вы неправы насчет *deux ou trois grasses*, — сказал он, закулив. — Позвольте вам напомнить одно ваше письмо Аурелиану Тэтару. Январь шестидесятого. У меня с собой фотокопия.

Он достал из портфеля папку, слегка вылинявшую по краям, и протянул Заломиту листок.

— Лучше прочтите сами.

Пробежав глазами первые строчки, Заломит перестал улавливать смысл. «В сущности, мы оба подозрительные субъекты. Даже когда остаемся наедине друг с другом. Но бояться не стоит. Да я и не боюсь. По счастью, мне уже за шестьдесят, и, как всякий интеллект, которому за шестьдесят, я стал хлипкий. Тронь меня пальцем — и готово: инфаркт, аневризма, инсульт, чего изволите? По счастью, я уже немолод. Они ничего не могут мне сделать...»

— Ну, вы убедились, что товарищ Николяну был прав? — сказал Альбини. — Память коварна в своих изменах... Кстати, неплохое начало для стихотворения.

— Да, — тихо проронил Заломит, еще не очнувшись, — пожалуй... Начало неплохое...

— Мне очень жаль, — продолжал Альбини, — но я вынужден опровергнуть обе гипотезы, и вашу, и товарища Хаджи Павла. Последние слова доктора Тэтару не имеют ни малейшего отношения к вашим студенческим воспоминаниям: ни к трем виллам в горах, ни к *les trois grasses*...

— Вот как, — сказал Заломит, — и тем не менее...

— В бумагах доктора Тэтару, — не замечая его реплики, вел свое Альбини, — обнаружены точные сведения. *Les trois Grâces* — это три пациентки доктора Тэтару, он занимался ими в больнице Бранкович в шестидесятом году, когда начал эксперименты с сывороткой.

— Но при чем тут...

— Это подтверждают и доктор Кэпэцынэ, хирург, который работал в то время с доктором Тэтару, и другие свидетели: доктор Хуцан, ближайший помощник доктора Тэтару, две медсестры и профессор Неделку, заведующий онкологическим отделением.

Он выждал несколько секунд, рассеянно глядя на Заломита, потом отвернулся к окну и продолжал:

— Если я правильно понял доктора Николяну, вы были не в курсе исследований Аурелиана Тэтару. Но теперь-то вы знаете их суть: терапия, которая должна была заменить как облучение, так и хирургическое вмешательство. *Должна была*, но сыворотка находилась в стадии эксперимента, и доктор Тэтару не решался отказаться ни от рентгеновских лучей, ни

от операций. В апреле шестидесятого профессор Неделку отвел одно крыло больницы для трех прооперированных пациенток. Другими словами, предоставил их в распоряжение доктора Тэтару и его ассистентов. По случайности, которая нас, поэтов, пусть даже бывших поэтов, не слишком удивляет, этих пациенток, пятидесяти восьми, шестидесяти и шестидесяти пяти лет, звали... — Он порывлся в папке и прочел: — Аглая Ирмеску, Фрусинель Киперий и Италия Гылдэу. Когда доктор Тэтару взял в руки медицинские карты, он, по словам доктора Хуцана, воскликнул: «Les trois Grâces! Те самые, коллеги! Аглая, Евфросина и Талия! Последняя, правда, с опечаткой — *Италия*»... (Замечу в скобках, что опечатки не было, женщину действительно звали Италия.) Вот вам и грации — то ли две, то ли три. Почему вы перестали моргать, товарищ профессор? Вам плохо?

— Невероятно... — прошептал Заломит, протирая глаза.

— Погодите, то ли еще услышите, — заверил его Альбини. — Как следует из отчетов, результаты оказались отличными. А если верить доктору Хуцану, результаты превзошли самые оптимистические ожидания. И при всем том курс лечения был прерван через три недели, точнее — через двадцать два дня. Доктору Тэтару предложили место главврача в Джулештах, в только что открывшейся больнице.

— Но почему? — сдавленно спросил Заломит, подаваясь вперед.

Альбини медленно расплющил окурок о дно блюда.

— Потому что у некоторых людей нет воображения... Когда мы научимся *в массовом порядке* пользоваться воображением, — эти слова он отчеканил особенно тщательно, — революция восторжествует в масштабах всей планеты. Эксперименты прекратились за отсутствием воображения у шефа больницы, профессора Неделку, и за отсутствием такового у тех, кто заразился его страхом. Они забеспокоились, что успех лечения спровоцирует взрыв религиозного обскурантизма...

— Не понимаю, — выдохнул Заломит.

— В докладной записке, составленной для отдела кадров, профессор Неделку пишет, что Аурелиан Тэтару отпускал шуточки и намеки с религиозной подкладкой. Приводит примеры. Дескать, однажды, в компании коллег, доктор Тэтару сказал, что Адам и Ева, будучи в раю, периодически регенерировались, то есть омолаживались, через неоплазию; что, если бы не первородный грех, человеческое тело не утратило бы секрета периодической регенерации — той самой сказочной юности без старости; те-

перь же, если тело во внезапном необъяснимом порыве «вспоминает» и пытается повторить забытый процесс, разрастание клеток идет вслепую и дает злокачественную опухоль...

— Но это просто шутка, просто метафора, на худой конец! — возразил Заломит.

— Может, и не просто, но не в том дело. Зачем обращать внимание на метафоры, даже теологические, если они не подстрекают к контрреволюционной деятельности? Будь у профессора Неделку и у кадровиков хоть капля воображения, они бы поняли, что в расчет надо принимать однуединственную вещь: результат научного эксперимента. Но когда воображения нет, легко подпасть под гипноз ярлыков и лозунгов. Религиозный обскурантизм! — Альбини даже повеселел, как будто удачно скаламбурил. — Само собой разумеется, суеверия любого порядка, магические или религиозные, чрезвычайно опасны. Смотрите: русские ученые не погнушались изучить практику йогов и шаманов. А психометрические и парапсихологические исследования? Самые весомые достижения зарегистрированы тоже в советских лабораториях... — Он помолчал, многозначительно глядя на Заломита. — Мы потеряли десять лет. И шансы восстановить формулу сыворотки теперь минимальны. Когда доктора Тэтару перевели в Джулешты, его лабораторию расформировали, запасы сыворотки уничтожили; в довершение всего доктор Хуцан, опасаясь за свою карьеру, сжег все записи времен сотрудничества с доктором Тэтару и перепрофилировался. Десять лет занимается исключительно педиатрией...

Альбини вновь неспешно заскользил взглядом по доскам свежeverкрашенного забора за окном и дальше, по засохшим, почти безлистным вишневым деревьям, которые сохранили на себе, как бы из жалости, редкие сморщенные вишни. Похлопал по карманам, ища зажигалку.

— И все же, — решил Заломит нарушить неестественно затянувшееся молчание, — это какой-то абсурд: из-за невинной шутки заподозрить выдающегося ученого в религиозном обскурантизме...

— Шутки шутками, но из донесений, с которыми я ознакомился на прошлой неделе, явствует, что доктора Тэтару действительно интересовали теологические вопросы. Точнее, один теологический вопрос, а именно...

Он щелкнул зажигалкой, затянулся.

— Мне трудно в это поверить, — воспользовался паузой Заломит. —

Да, мы встречались не слишком часто, но, сколько мы были знакомы, я никогда не замечал за ним ничего похожего на богословские настроения.

— То же показали доктор Николяну, инженер Хаджи Павел и еще несколько человек, контактировавших с доктором Тэтару. Тем не менее в шестидесятом году, когда запустили его эксперимент, он позволял себе проводить теологические параллели, особенно с Ветхим заветом, хотя порой такие заковыристые, что и не растолкуешь. — Альбини порылся в досье. — Есть, например, свидетельство одного врача-рентгенолога. Тэтару раз сказал ему, цитирую: «Странно, как это никто до сих пор не додумался... ведь вот оно, самое веское доказательство того, что первородный грех извратил всю природу в целом: *и у животных может быть рак...*»

— Интересно все же, что он никогда...

— Вполне возможно, что с прекращением эксперимента теология перестала его волновать. Не волнует же она нас... Впрочем, скажу вам откровенно, про всю эту историю никто бы и не вспомнил, если бы с недавних пор не возникли некоторые новые факторы. Я имею в виду прежде всего информацию — достаточно надежную, поскольку она поступает на протяжении двух лет, — что в России и в Америке проводятся под большим секретом сходные эксперименты.

— А каким образом можно установить сходство?

— Установлено по крайней мере, что там не используют ни одного из общепринятых методов лечения и сосредоточены на вмешательстве в сам процесс размножения клеток. Это-то и заставило кое-кого вспомнить об экспериментах доктора Тэтару и поинтересоваться, как дела у тех пациентов, назовем их тоже *trois Grâces*.

— Да, хотелось бы знать, — глухим от волнения голосом сказал Заломит.

— По нашим сведениям, все три операции прошли в высшей степени удачно. Выздоровление — полное. Это данные медицинского контроля, которому пациентки подвергались в течение шести лет. Но начиная с шестидесяти седьмого года они перестали являться на контрольный осмотр. В больнице Бранкович утверждают, что потеряли их из виду. Мы взяли за дело и установили, что Италия Гылдэу в шестидесяти девятом году попала под машину и умерла в «скорой» по дороге в больницу. А двумя годами позже Аглая Ирмеску эмигрировала в Штаты, где у нее были родственники. Не напали пока на след только Фрусинели Киперий. Правда, мы

давно знаем, что Фрусинель, или Евфросина, любит менять фамилии. Она была замужем два раза, с первым мужем в разводе, со вторым — нет, и документы товарищ Евфросина меняет по своему усмотрению. Если она жива, мы ее, конечно, найдем. Но что толку? — Он раздраженно сунул папку в портфель. — Узнать от нее формулу сыворотки — исключено... Это разве что через вас, товарищ профессор, и можно узнать, — добавил он, прямо взглянув Заломиту в глаза.

— Через меня?

Альбини рассмеялся с нескрываемым удовольствием.

— Я сказал: *разве что* через вас. Не наверняка. Но наш единственный шанс, шанс румынской науки — это вы... Иначе зачем бы я по такой жаре тащился через полстраны в это село с красивым названием, но с хворыми вишнями?.. Почему вы не распорядитесь их вырубить?

Заломит пожал плечами и криво усмехнулся.

— Мы не вправе вмешиваться. Плодовые деревья — собственность коллективного хозяйства.

Альбини не спускал с него пристального, изучающего взгляда.

— Ну, наконец-то, — жестко сказал он. — Я хотел добиться от вас улыбки. Вы уж не знаю сколько времени совершенно не моргаете. Я смотрел и думал: вот такой же, вероятно, был у вас вид, когда ваши коллеги, скажем Урсаке или Катастрофа-в-Трех-Святых, официально, в письменном виде, оповестили вас, что ваши работы изъяты из типографии. У вас тогда вот так же застыл взгляд?.. К сожалению, в вашем случае речь идет даже не об отсутствии воображения у ваших коллег. Это всего-навсего зависть, да еще крупных масштабов — академическая зависть, великолепно проиллюстрированная товарищами Катастрофа-в-Трех-Святых и Непорочное Зачатие. Ну а уж товарищ Урсаке... — Он не dokonчил, переложил портфель на колени и стал оглаживать его обеими руками. — Когда доктор Николяну рассказывал вам о методологическом демарше доктора Тэтару, вы с энтузиазмом воскликнули: «Как бы это понравилось Гёте!» И еще прибавили, что его «Метаморфоз растений», дескать, адресован лично Аурелиану Тэтару.

— Так оно и есть, — тихо отозвался Заломит.

— И это единственная наша зацепка.

— За что же тут можно зацепиться, не понимаю. Меня просто тогда поразило...

— Согласен, с виду это несерьезно, — перебил его Альбини, — но мы обязаны испробовать все... Перечтите «Метаморфоз растений» — но все время держа в голове то сопоставление, которое вы сделали тогда в Шештине. Постарайтесь припомнить все образы, повторяю: *образы*, — которые навели на вас признания доктора Николяну, и сопоставьте их с методологическими ходами Гётева «Метаморфоза растений»... С завтрашнего дня вы освобождаетесь от рутинной работы в лаборатории палеоботаники. Университет предоставляет вам бессрочный отпуск для исследований вклада Гёте в ботаническую науку. Считайте, что вы уже в Бухаресте. Телеграмму получите сегодня вечером, самое позднее — завтра утром.

Он поднялся, протянул Заломиту руку и шагнул было к двери, но приостановился, достал из нагрудного кармана визитную карточку.

— Мой домашний телефон. Как только захотите что-нибудь сообщить, независимо от степени важности, звоните по этому номеру... Даже ночью, — добавил он с тенью усталости во взгляде.

* * *

Он метался по постели бурно, как в детстве, когда хотел уйти от преследования, отбиться от навязчивой мысли. Метался, чтобы не слышать, как ему шепчут в ухо:

— Повторяйте за мной. Повторяйте же...

— Да кто вы? — спросил он наконец.

— Калиник, — шептал тот. — Знакомый доктора Тэтару, я с ним виделся здесь за несколько дней до вашего приезда. Повторяйте за мной, но только громко, как можно громче: «Ты, говорят, хорошо знаешь Крэчунский лес...»

— Ты, говорят, хорошо знаешь Крэчунский лес! — заорал он, как будто обращался к глухому. — Мне нужен проводник. Вечером я отвезу тебя обратно!

Вокруг никого не было, но на его крик кто-то зашевелился на террасе, выглянул с любопытством. «Вот теперь-то мы оба точно под подозрением. Зачем ему это понадобилось? На шоссе пусто, он мог бы без лишних слов попроситься ко мне в машину...»

— Я вас видел в ту Купальскую ночь, — начал Калиник, когда машина тронулась. — Сначала рядом со «скорой», потом наверху, на террасе. Но подойти не решился. Вы были не одни.

Как же он его тогда не заметил? Такого трудно не заметить. Словно с иконы сошел, типичный аскет, ученик святого Антония. Это издали. Вблизи же оказалось, что Калиник стар, за семьдесят. Изжелта-белые волосы, а бородка такая хилая, что напомнила ему заглавие одной сказочки времен начальной школы: «Борода безбородого». К чему он вспомнил эту сказочку? Не затем ли, чтобы отгородиться от взгляда, которым его жгли пугающе огромные, цинково-серые глаза Калиника, глубоко запавшие в орбиты под густыми, как бы навек удивленными бровями? От своей худобы Калиник казался даже высоким. Левая рука безжизненно висела, будто ее пытались вырвать из плеча, да раздумали.

— Некоторые говорят, что это меня в тюрьме отделали, вы им не верьте. Такова была воля Господня, а Он знает, что делает, знает, зачем человеку посланы муки и мытарства. Чтобы пробудиться... Вот я и пробудился сегодня до рассвета, — добавил он как нельзя более серьезно. — Мне как кто подсказал: сегодня приезжает друг Аурелиана Тэтару. И я — видите — поспел. Я-то живу за перевалом, при овчарне. Не знаю уж, как о том проведаль доктор Тэтару, но он ко мне захаживал... Вот здесь свернемте налево. Дорога неважная, зато напрямик попадем на поляну, а там можно будет говорить без опаски, никто нас не услышит.

Однако, выйдя из машины, Калиник в беспокойстве огляделся.

— Нарвем-ка травок с корешками и цветочек-другой. Разложим, и, если кто появится, я притворюсь, что рассказываю вам разные поверья-суеверья про травки-цветочки.

Он снова заворочался в постели, напрасно тщась освободиться. Слова Калиника стояли в ушах, повторяясь в мозгу по нескольку раз, прежде чем тот проговаривал их вслух.

— Поверья-суеверья, поверья-суеверья... О них меня все выспрашивал доктор Тэтару. Начнет, бывало: «Отец Калиник...» Я тогда был монах. Да я и теперь монах, хотя, как вышел из тюрьмы, ни в один монастырь меня не взяли. На земляные работы, на железную дорогу в Алмаше — взяли. А когда рука совсем отказала, вывели на пенсию... «Отец Калиник...» — говорит, бывало...

— Вы его близко знали?

— Было два года, с пятьдесят восьмого по шестидесятый, когда он навещал меня каждый месяц. Я жил тогда в ските Антим.

— Навещал — и что?

Калиник ответил не сразу. Взял в руки колокольчик и печально протянул его Заломиту.

— Вянет на глазах, смотрите. Сколько же мы грешим, дабы защитить себя от злобы человеческой!.. Если позволите, я расскажу вам все с самого начала. У меня степень доктора богословия, я кончал Страсбургский университет по кафедре протестантской теологии. Это я к тому, чтобы вы поняли, зачем я понадобился доктору Тэтару...

Мгновенно и неуволимо у него изменился не только голос, манера говорить, но даже как бы само качество физического присутствия.

— Диссертация моя была о ветхозаветных апокрифах, опубликована много лет назад. Так вот, является ко мне в скит доктор Тэтару и говорит: «Отец Калиник, у меня к вам нижайшая просьба. Я изучил все апокрифы об Адаме и Еве, а потом — вашу книгу, и я уверен, что вы сказали не все, что знаете...» Я на него смотрю, а он смеется. «Не поймите меня неправильно, — говорит, — но из вашей книги я усвоил вот что: что в апокрифах, да и в иных ересях тоже, сохранился ряд основополагающих истин, и сохранились они потому, что были зашифрованы тайным эзотерическим кодом...» — «Это я так сказал?!» — говорю. «Ну, не напрямую, — говорит, — может быть, теперь скажете». Я ему: «Я давно уже отошел от прежних занятий. Эрудиция для меня не существует, существует только богословие и мистика. Оттого и избрал я монашество...» Он сник, доктор Тэтару. «Надеюсь, древнееврейский и древнегреческий вы все-таки не забыли, — говорит. — Меня тоже не эрудиция сама по себе интересует. Однако я не знаю нужных языков, главное же — у меня нет богословского образования...» Я призадумался, а он: «Это очень серьезно и очень важно, святой отец. Богословскую трактовку первородного греха я знаю, но ставлю вопрос шире. Дело в том, что у вашей богословской трактовки есть биологическая и медицинская подоплека...» Тут он дух перевел и стал вышагивать взад и вперед по комнате. «Не мог Господь — я знаю, не мог — уничтожить собственное творение. Человек остался *тем же* — мы такие же, какими были Адам и Ева в раю до грехопадения. В человеческом теле все сохранилось, святой отец, а значит, сохранилась и тайна Адамовой вечной жизни...»

Он в отчаянии перевернулся на бок и притиснул голову сверху подушкой.

— Слушайте меня, господин профессор. — Калиник повысил го-

лос. — Слушайте внимательно, у нас больше не будет случая побеседовать спокойно, чтоб никто не мешал.

Он с яростью надавил рукой на подушку, но не смог избавиться от этого «Слушайте меня, господин профессор!». Когда ярость отлегла, он поймал себя на том, что все равно не слушает, а припоминает, не подсказка ли это Альбини — по дороге в Бухарест остановиться на Шештинской турбазе.

— Простите, отец Калиник, я отвлекся. Вспомнил одну важную вещь, тоже в связи с доктором Тэтару, и отвлекся... Так вы говорите, в человеческом теле все сохранилось...

— Это доктор Тэтару так говорил, и говорил много раз. Мы удивительным образом подружились, доктор стал часто ко мне навещать. И все со своей аксиомой: что Господь не до конца упразднил базовую систему жизни человека и жизни его тела. Система же эта, по словам доктора Тэтару, подразумевает продление молодости и жизни до бесконечности — по той простой причине, что у этой системы есть свойство саморегулирования, да и саморегенерации тоже... Следствие первородного греха — не разрушение, а только камуфляж механизма регенерации — чтобы его нельзя было распознать. Более того, он закамуфлирован в такие физиологические процессы, которые представляют собой очевидную противоположность регенерации, а именно: в болезни и прежде всего в самую опасную — разрастание клеток, неоплазию.

— Да, это и я слышал. Но не от него, не от Аурелиана Тэтару, это мне сказали совсем недавно, уже после катастрофы. Сначала — доктор Николяну... Я только не улавливаю, какая тут связь с ветхозаветными апокрифами, с неканоническими Адамом и Евой?..

— Я как раз вам об этом и толковал, но вы, хоть и смотрели мне прямо в глаза, не мигая, мыслями были не здесь. А связь такова. Доктор Тэтару считал, что апокрифические писания сохранили, хотя и в отрывочном, ущербном виде, искомое откровение. И хотел узнать, не владею ли я ключом к этому запятанному и забытому в веках откровению. Он допытывался, в частности, нет ли в апокрифических жизнеописаниях Адама и Евы намеков на болезни, которыми страдали они и их потомство после изгнания из рая...

Калиник запнулся, взгляд его выразил сомнение.

— Говорите, святой отец, я слушаю.

— Знаю, я только подумал, имею ли право говорить дальше. Я раскрыл все только своему духовнику, и он велел мне молчать до лучших времен, пока я не встречу того, кто будет готов это воспринять. Но я уже стар, и если не скажу вам, другу доктора Тэтару, все его признания десятилетней давности умрут вместе со мной. Никому другому он не решился их сделать: не знал и не хотел знать никаких других богословов.

Калиник снова смолк, задумавшись.

— Если вы предпочитаете сохранить тайну, я не буду настаивать.

— Нет. Вы, человек ученый и друг его юности, должны знать. Я расскажу все так, как мне запомнилось из наших долгих бесед с доктором Тэтару. У него была совершенно особенная концепция болезней. По доктору Тэтару, болезни представляют собой наш единственный шанс вернуть то, что утратили наши прародители, Адам и Ева, а именно: вечную молодость и бесконечно долгую жизнь. У меня он все добивался, что говорят ветхозаветные апокрифы о генезисе и назначении болезней. Потому что, видите ли, он не мог увязать свою концепцию с Божественным промыслом. Почему, говорит, почему все раковые больные в скором времени не только излечатся, но и омолодеют, тогда как медицине понадобятся еще годы и годы, чтобы поставить процесс периодической регенерации на службу здоровым людям? Вы понимаете, к чему он клонил?

— По-моему, да. Пока что единственный шанс омоложения дает неоплазия. И он, наверное, считал, что это несправедливо.

— Про несправедливость я от него не слышал. Его волновал боготайный смысл такого мироустройства, при котором только те, кому грозит напуганнейшая опасность, имеют шанс обрести юность без старости...

— ...и жизнь без смерти*, — не удержался Заломит.

— Ну, это вы хватили — жизнь без смерти. Он вот что выпытывал у меня: не допускает ли богословская мысль, что по самой диалектике Творения толчком к началу регенерации служит *единственно* угроза смерти? А не то его искушали еретические мысли. Скажет, бывало: «Лютер же призывал нас грешить — «Ресса fortiter»**. Не согрешишь — не спасешься.

* «Без старости юность, без смерти жизнь» — название румынской народной сказки, которой трудно найти толкование.

** Греша вволю (лат.).

и здесь точно так же...» Я его осаживал: «Остановитесь, доктор, не впадайте в грех гордыни...»

— Простите, святой отец, перебью. Мне непонятно, как он, Аурелиан Тэттару, медицинское светило, — как он дошел до увлечения богословием?

— Я тоже сначала не понимал и однажды спросил его напрямик. А он: «От отчаяния, святой отец. Я подался в теологию от отчаяния. Никакая иная система не давала мне свести воедино постулаты и выводы моего открытия. Теперь у меня нет никакого сомнения, что разрастание клеток в первозданном своем виде представляло процесс регенерации, который впоследствии был заблокирован амнезией. Амнезия же объясняется не иначе как тем, что человек в своей биологической истории прошел через катастрофу мутации. Но когда это могло быть? Только у начала начал, поскольку все найденные до сих пор при раскопках останки первобытных людей сохранили свидетельства того, что те были, как мы, подвержены болезням и старению. Значит, мутация имела место в эпоху — мифическую или нет, мне все равно, я ученый и обаянию слов не поддаюсь, — так вот, в эпоху, следующую непосредственно за изгнанием из рая. Кара, о коей говорится в третьей главе Книги Бытия, — это амнезия. Человеческое тело просто-напросто забыло главное: свою способность к саморегенерации...»

Он наконец решился, рывком соскочил с кровати и включил свет. Двадцать пять минут третьего. «Можно не стараться, до рассвета все равно уснуть не получится. Лучше запишу, прямо как придется...»

Он на скорую руку оделся, ежась от холода. Сел на край кровати, раскрыл тетрадь. «Надо начать вот с этого: что Аурелиан сказал ему про амнезию...» Черкнул несколько строк и наморщил лоб. «Что-то еще было сказано про амнезию, в другом контексте, но тоже значительно... А, Вавилонская башня». Он поспешно перелистнул страницу. «Вавилонская башня, отец Калиник, — самый яркий пример амнезии. Люди принялись за дело дерзкое, абсурдное, кощунственное, если угодно. Но они знали, чего хотят. Они хотели возвести башню до самого неба. Бог помешал им очень простым способом: подверг их мутации, на сей раз ментального порядка. Раздробил их общий язык так, что они перестали понимать друг друга. Цели, даже, предположим, незабытой, им было уже не достичь, поскольку деятельность этой тысячной толпы превратилась в хаос, в ме-

тание без смысла, без порядка — точь-в-точь гигантское, чудовищное разрастание клеток...»

Он записал: «Вавилон, самый яркий пример амнезии...» Остановился. Пожалуй, гораздо проще будет продиктовать все на диктофон, завтра или послезавтра, на работе. И тут сообразил, что отец Калиник так ничего и не сказал про их последнюю встречу с Аурелианом Тэтару, за пару дней до несчастного случая. Он судорожно вскочил. «Надо будет вернуться завтра утром, разыскать Калиника...» Но он-то хорош, даже не спросил! А ведь просидели два часа на поляне! Как раз шла речь про благотворность болезней («Только у последней черты, — говорил доктор Тэтару, — прорастают ростки спасения...»), когда сверху, от турбазы, налетела целая эскурсия.

— С этим цветком связана наикрасивейшая легенда, — произнес Калиник. — Я от многих ее слышал.

Кое-кто из туристов остановился послушать.

— Однако нам пора, — закончил Калиник, рассказав легенду, — если мы хотим до темноты попасть в Крэчуну...

В машине он вдруг вспомнил, с каким удовольствием развернул телеграмму из Бухареста. Как перечел ее несколько раз, а потом пошел в лабораторию оповестить начальника. Ключевые дни в жизни натуралиста, как сказал Линней... Линней? Да, точно, он. Ключевые дни в жизни натуралиста — это...

— Я вас слушаю, батюшка.

Он очнулся, произнося эти слова. Старик сидел молча, придерживая здоровой рукой парализованную.

— Давно не слушаете, господин профессор. Да и не стоит сейчас разговаривать, дорога трудная. Вот выедем из лесу...

Однако на опушке их остановила юная пара. Девушка подвернула ногу и кусала губы, чтобы не заплакать. Он взялся подбросить их до деревни, где они ночевали накануне. Но отец Калиник попросил высадить его раньше.

— Тут мне совсем близко, — сказал он, пожимая ему руку, с плотной глядя прямо в глаза.

«Может, он рассказывал о встрече с Аурелианом как раз тогда, когда я не слушал, а вспоминал про телеграмму и Линнея. Но я попрошу у него

прощенья. Его нетрудно будет найти. «Я живу за перевалом, при овчарне». «Батюшка,— скажу,— простите меня. Вчера в машине я отвлекся...»

* * *

Он не мог оторваться от окна. *Снаружи тихо снег идет, а печка пышет жаром...* Ребенок от шести до десяти лет лучше не скажет. И с грамматикой все в порядке, и даже поэтично. *Снаружи тихо снег идет...* Висит завесой. О, кажется, она заколебалась. Предчувствие ветра? Может быть. Еще два дня, двадцатое и двадцать первое. А двадцать второе потеряно, не отвертишься. Сидония опять его пригласила. Сидония, как всегда, верна себе. Тридцать пять лет, по всем торжественным случаям, он получает от нее приглашение в письменном виде. Правда, торжественные случаи бывают не каждый год. Но вот в четверг, двадцать второго декабря, свадьба у Исидоры, ее единственной дочери от третьего брака. Отказаться нельзя.

Звонок в дверь пронзил его внезапной тревогой, он поспешно ринулся открывать. За дверью стояла с улыбкой на лице пожилая женщина в пальто бурого цвета и в мохеровом берете.

— Вы уж простите, Бога ради,— сказала она, отирая со щек снежинки,— я только сегодня утром ваш адресок раздобыла...

Она сняла и встряхнула берет. При черных как смоль волосах дряблость ее кожи выглядела кричащей. Она вошла, робко ступая по ковру.

— Господин Заломит, да? Я вас сразу узнала, хоть и видела всего один раз, этим летом, когда вы с другим господином неслись сломя голову — как только не споткнулись. К нему, вниз. — Она вдруг разрыдалась. — Господин профессор, это я его убила! Нечаянно, вот вам крест, нечаянно! По глупости, по недоумию, но убила-то я!

— Сядьте, пожалуйста,— сказал он дрогнувшим голосом. — Успокойтесь. Как это может быть? Доктор Тэтару потерял сознание и упал с высоты...

Она рыдала, уткнувшись лицом в свой берет.

— Я сейчас принесу вам воды,— сказал он, скрываясь на кухне.

Пока он наливал воду, она притихла и, сложив руки на коленях, уставилась в окно. Отпила несколько глотков, со вздохом поблагодарила и вернула ему стакан.

— Вы не догадались, кто я такая есть? — начала она. — Я — Фрусинель Минку, это меня лечил доктор Тэтару.

— Вот как... — проронил Заломит, садясь на диван напротив.

— Он лечил меня после операции. Меня и еще двух. У нас было по отдельной палате, и с нами цацкались как с барынями.

— Три грации, — пробормотал Заломит.

— Амазонками он нас звал, доктор Тэтару.

Она вынула платочек и отерла глаза.

— Вот как? — повторил Заломит. — Рассказывайте, пожалуйста, мы с ним были добрые друзья.

— Как лечение началось, он с каждой из нас нянчился по отдельности и амазонками звал, чтобы мы привыкали. Он нам обещал чудо, так вот, чтобы мы не испугались. А главное, чтобы были готовы. Дескать, нам будут все завидовать: чем мы заслужили, три старые несчастные женщины с такой болезнью, да после операции, почему мы, а не кто другой...

Она улыбнулась ему со слезами на глазах. Его поразило, какие у нее здоровые красивые зубы. То, что они собственные, не было сомнения, потому что с каждой стороны не хватало по одному.

— Простите, господин профессор, если я закурю, я вас не беспокою?

— Ну что вы, что вы, — выговорил он не без усилия, у него вдруг пересохло в горле. — Там подле вас, — добавил он, судорожно сглотнув, — пепельница.

Она закурила и после первой глубокой затяжки снова вздохнула.

— Амазонками нас звал, чтобы подготовить. Говорил, что, пока его лечение начнет помогать и здоровым людям тоже, еще ждать и ждать...

— Чем он вас лечил? — перебил ее Заломит. — Сывороткой? Колол ее в вену или как-то по-другому?

— Уколы нам делали два раза в день: утром, натошак, и к вечеру, как начинало темнеть. Колол его помощник, доктор Хуцан, но доктор Тэтару всегда при этом был. А перед обедом приходила сестра и брала у нас кровь. Доктор Тэтару смотрел, как она берет кровь, а когда она уходила, давал нам по полстакана чего-то выпить и всегда улыбался.

— Что это было? — с замиранием сердца спросил Заломит. — Какое на вкус? Какое на цвет?

— Безвкусное. Как вода, чуть солоноватое. И по цвету — как вода.

Может, это и была дистиллированная вода. Хотя он, доктор Тэтару, раз мне сказал, что вода эта родниковая. И засмеялся, ужасно довольный. «Но родник не простой,— говорит,— называется так-то и так-то...» Я не запомнила, потому что не по-нашему.

— La Fontaine de Jouvence*?

— Вот-вот, что-то вроде того.

— Он ее с собой приносил или держал где-то в палате?

— Точно не скажу. Мне когда сестра кровь брала, я к стене отворачивалась. Не могу кровь видеть, плохо мне делается...

— Ну а дальше? — допытывался Заломит. — Что он дальше делал, что говорил?

— Да я с этого и начала, как он нас подготавливал... А потом как-то раз приходит утром, вроде улыбается, только я сразу поняла: расстроено в пух и прах, на душе кошки скребут. «Ефросинья,— говорит (это вроде мое настоящее имя — я от него узнала),— Ефросинья, пришел сверху приказ лечение наше прекратить. Но ты в голову не бери. Ты после операции и после всего прочего теперь здоровая. Вот только...» И тут я гляжу, он думает: говорить — не говорить? Потом решился, все-таки хотелось ему меня предупредить. «Поклянись,— говорит,— что это будет наша тайна. Как на Рождество поют: «Звезда вверху сверкает, как тайна святая...»

Она опустила голову, приложила платочек к глазам.

— Говорите,— тихо попросил Заломит,— говорите, я слушаю. Мы с ним дружили смолodu, вместе учились за границей.

— Ну, я поклялась. Да даже если б он меня не попросил, я все равно бы никому не сказала. А слова его были такие: «Ефросинья, лечение мое хорошо, только приходится бросать его на полпути. То бишь: что я задумал, сделано наполовину. Я тебе это говорю, чтобы ты не пугалась: вы, три амазонки, будете теперь жить, как цветы, вслед за солнышком...»

— Не понимаю,— прошептал Заломит.

— Я тоже долго не понимала, ну хоть убей не понимала, что он хотел сказать. Правда, когда я вернулась домой, все так и ахнули, как я помолодела. Мне, господин профессор, за шестьдесят перевалило, а больше сорока никто бы не дал. «Так содержали,— говорю,— что твою барыню». В тот год я еще не прочухала хорошенько, что со мной сотворилось. Люди

* Молодильный источник (франц.).

ко мне скоро попривыкли, а осенью, когда я на работу вышла, и тем паче зимой я снова была старуха старухой, как когда в больницу попала... Да только настал месяц март... Позвольте, я еще закурую?

— Конечно, конечно.

У нее слегка дрожала рука, подносящая спичку к сигарете...

— В марте месяце я стала себя чувствовать — как бы это сказать — по-другому, что ли. Как бы я стала молодая и весь мир стал мой. Вы не поверите, господин профессор, но у меня даже голос новый прорезался. Я пела, как молодлица, соседи только диву давались. Вы не поверите, господин профессор, но я как вспять пошла: что ни день, соком наливалась. Извините за выражение, но когда я раз осмотрела себя голышом, с головы до пят, я глазам своим не поверила. Ну, баба лет тридцати пяти — сорока, никак не больше. Вот тогда-то до меня и дошло, что хотел сказать доктор Тэтару: «будете жить, как цветы, вслед за солнышком». Я, правду сказать, струхнула. Что, как люди узнают? Засрамят меня, старую женщину, вроде бы я из тех, ну, вы понимаете, есть такие старухи, которые из себя молодых корчат. И я давай таиться. Скрывать, значит, какова я есть... Я когда в школе училась, страсть как любила сказку про Золушку. Если она, пацанка семнадцатилетняя, ухитрялась скрывать свою молодость и красоту, так мне и сам Бог велел. Я стала ходить как лахудра: нечесаная, лицо мазала какой-то дрянью, чтобы оно было землистое, и все такое прочее. А страх не отпускает. И тут случилась оказия, Женский конгресс, я попала на три дня в Бухарест и разыскала доктора Тэтару.

— Так, так, — взволнованно прошептал Заломит, — вот был ему подарок...

— Разыскала — и зря, никогда я его таким злющим не видала...

— Злющим? — переспросил Заломит. — Он что, был недоволен, что вы к нему пришли?

— Просто рвал и метал. «Ефросинья, — говорит, — чтоб ты ко мне больше ни ногой, иначе нам обоим не поздоровится. Лечение запрещено приказом сверху, и если они узнают, что мы видимся, оба загремим за решетку».

— Может, он преувеличивал?

— Может. Чтоб меня настращать. И сам чуть не трясся от страха. Даже слушать меня не захотел. Только повторил то же, что тогда, в больнице: что я поправилась раз и навсегда и волноваться мне нечего.

— А ваша внешность его не удивила? То, что вы выглядели много моложе, чем есть?

— Да он меня и не рассмотрел хорошенько. И потом, дело было осенью, я уже на сорокалетнюю не тянула.

— И, однако же, я знаю, что вы, все три, еще лет пять-шесть после больницы регулярно являлись туда на осмотр.

Женщина улыбнулась и кокетливо поправила прядку волос, спустившуюся на лоб.

— Я тех своих товарок больше не встречала. А сама приезжала на контроль только зимой, в декабре, ближе к праздникам.

Она вдруг помрачнела и, уже не прося позволения, закурила третью сигарету.

— Годы-то шли, и было все тяжелее. Не смейтесь только надо мной, господин профессор, и не думайте, что я полоумная. Я вам все скажу как на духу. А то не поймете, как это все случилось... — Она вздохнула и продолжала, отведя глаза: — Годы шли, и таиться стало ох как трудно. Я в свою пору была хороша и до мужчин охочая. У меня их много было, и венчанных, и так. И вот — как солнце на лето сворачивает, к концу мая месяца, так я себе места не нахожу. Простите, что я, старуха, вам такое рассказываю, но я — все как есть. К лету мне и сон не в сон, и до дома — до хозяйства дела нет, а в голове одни мужики. Ну, и повадилась я из дому убегать. Соседям говорила, что еду туда-то и туда-то, к родным, и пропадала когда на три недели, а когда и на все три месяца... На работу мне уже не надо было, и денег я прикопила достаточно. Отойду подальше от дому, в укромном месте переоденусь, причешусь, всю дрянь с лица сотру — и в автобус или поезд, знакомства завязывать. И ей-Богу, уже на другой день знала, где и с кем лягу. Ох, грехи мои тяжкие, да разве ж это моя вина? Такая уж я уродилась, оттого-то меня второй муж и бросил, обозвал вертихвосткой смазливой и ушел из дому... — Она с жадностью затянулась, не поднимая глаз. — Вот и прошлое лето. Причалила я на две недели к одной стройке в Поткоаве, но раз вечером мужики поцапались из-за меня, потому что тот, у которого я жила, прознал про других... Слово за слово, пошли в ход кулаки, один выхватил нож, все — на него. Я перепугалась — и потихонечку в дверь, пока они там разбирались. Мой дом был рядом, я заскочила за вещичками, я с собой много не таскала, — и давай Бог ноги.

Она раздавила окурок в пепельнице и вздохнула, так и не глядя на него.

— Ну-ну, говори, — прошептал Заломит.

— Ну и попала в Шештину. Вы не поверите, господин профессор, что бывают такие бабы беспутные. Познакомилась по дороге с молодым парнем и опять голову потеряла. Осталась у него на ночь. Он работал механиком на турбазе. Утром, перед работой, он велел мне ополдень ждать его в лесу, там-то и там-то. Я дождалась, и мы часа два были вместе, прямо на траве. Потом он вернулся на работу, а мне не захотелось одеваться. День, если помните, был жаркий, даже очень. Я — платье подмышку и пошла бродить голая, волосы распущены — что твоя юродивая. Вдруг гляжу — передо мной сам доктор Тэтару. Стоит белый как мел, смотрит. «Неужели ты, Ефросинья?» — говорит. Это, значит, он глазам своим не поверил. «Она самая, господин доктор», — говорю и вся нежностью исхожу, больно уж мне хорошо было. «Тебе ведь скоро семьдесят?» — спрашивает. А я ему: «В феврале стукнуло, господин доктор». И ну смеяться. Смеюсь, волосы по плечам разбросала, гляжу ему в глаза и все ближе, все ближе придвигаюсь. Лишил меня Господь разума. Не знаю, что уж на меня в ту минуту нашло. Отблагодарить его захотелось, утешить — он же ведь, доктор Тэтару, это чудо сотворил. Я смеюсь и иду на него, а он стал пятиться и не заметил, что дошел до края, где пригорок обрывался, а я тоже не заметила, Господь меня разума лишил. Вдруг вижу — он руками взмахнул и повалился. Я вскрикнула, да тут же рот рукой зажала, слышались мне мужские голоса, я бегом-бегом, потихоньку вернулась в наше травяное гнездышко — и в слезы. Я со стыда плакала. Что он умер, я и подумать не могла. После оделась и пошла домой, к Думитру, к своему любезному. От него и узнала...

* * *

Он провожал ее глазами сквозь снегопад, пока она не пересекла улицу и не скрылась за углом. «Другой раз приеду летом, чтоб вы сами убедились...» Он прижался лбом к стеклу в мучительной тоске. «Нет, Ефросинья, меня ты больше не застанешь. Мое научное любопытство не безгранично, а богословия с его проблемами я боюсь. Пусть тобой занимается информационно-аналитический отдел...»

Он задумчиво отошел от окна, включил свет и сел за стол. «Итак,

теперь известно — скажем так, мне известно, — что произошло. В строгом смысле слова — не самоубийство. Что же тогда?» Он выдвинул ящик, отыскал визитную карточку и, чуть поколебавшись, снял телефонную трубку. Ответила секретарша.

— Кто его спрашивает?

Он назвал и услышал в ее голосе нотки страха.

— Секундочку!

В самом деле, совсем скоро любезный молодой человек, прямо-таки истекая елеем, сообщил:

— А товарищ полковник отбыли десять минут назад. К вам поехали, господин профессор. Ждите с минуты на минуту.

Заломиту понадобилось усилие, чтобы положить трубку на рычаг, так у него дрожали руки. Он замер, дожидаясь, пока уймется сердцебиение. Когда раздался звонок, провел рукой по волосам и, приготовив подбавляющую случаю улыбку, пошел открывать.

— Какое совпадение! — воскликнул он.

— Не правда ли? — отвечал Альбини.

Повесив на крючок пальто, он направился напрямик к телефону, снял трубку и, ловко орудуя острием перочинного ножичка, вывернул несколько шурупов.

— Отныне в них нет необходимости.

— То есть вы... — начал Заломит с насильственной улыбкой.

— Небольшое чисто техническое вмешательство — чтобы облегчить вам задачу. Разговор записан на пленку — вернее, свидетельское показание. Отпечатанный текст вы получите завтра-послезавтра... Но каково, а? Кто бы мог подумать?

Заломит ерошил волосы в раздражении, что никак не может унять дрожь в руках.

— Я честно признаюсь, мне бы такое и в голову не пришло, — продолжил Альбини, и тут его взгляд упал на пепельницу с окурками. — Эту деталь не стоит упускать, — заметил он. — Будем всегда предлагать ей сигареты, и хорошие сигареты... — Он рывком подался к Заломиту, заглянул ему в глаза. — Вы взволнованы, господин профессор, и я вас прекрасно понимаю. Мы ожидали чего угодно, но попытка соблазнить как следствие лечения...

— Нет, я думал о другом, — твердо сказал Заломит. — Я думал, само-

убийство это или нет... и мне кажется, я понял, что произошло. Вряд ли Аурелиан, каким я его знал, побоялся бы ответить на зов молодой и красивой женщины, даже если она когда-то была его пациенткой. Однако же он при виде ее испугался и сделался белым как мел. Вероятно, в тот самый миг он проникся ее трагедией: полгода на земле, полгода в аду...

— Как Персефона, — с улыбкой вставил Альбини.

— Если угодно. Только Ефросинья к лику богинь не причислена. Так вот, еще не было произнесено ни слова, а он уже знал: перед ним вакханка, юная, нагая, прекрасная, — но знал он и то, что пять-шесть месяцев в году эта вакханка обречена жить семидесятилетней старухой. Он понял, какой, в сущности, ад — ее существование. И хотя прямая ответственность за это лежала не на нем, потому что он не по своей воле приостановил эксперимент, но ему никуда было не уйти от мысли, что трагедия Ефросиньи — дело его рук... Мне даже кажется, что, если бы не несчастный случай, Аурелиан Тэтару все равно покончил бы с собой.

— Вы преувеличиваете, — возразил Альбини. — Доктор Тэтару был ученым до мозга костей. Он считал — по крайней мере надеялся и верил, — что его сыворотка непременно даст желаемые результаты. Но в свое время результатов увидеть не успел. И теперь, очень может быть, просто не поверил своим глазам... Так или иначе, не стоит увязать в гипотезах, которые нельзя проверить. Лучше поздравим друг друга с тем, что узнали сегодня. Это большой успех. И этим успехом мы обязаны вам.

— Мне?

— Ну а кому же еще? По мотивам, нам не известным, товарищ Ефросинья выбрала для исповеди вас, а не инженера Хаджи Павла. Таким образом, на сегодня мы располагаем единственным подопытным экземпляром — поостерегусь назвать ее персоной, — так вот, единственным экземпляром, содержащим хоть какую-то информацию об открытии доктора Тэтару. Я имею в виду информацию, которую нам даст обследование. Но это уже не наши заботы... А вы, вероятно, корректуру держите в лаборатории, — добавил он, — что-то я на столе ничего не вижу.

— В лаборатории, — рассеянно подтвердил Заломит. — Надо проверить и таблицы, и библиографию, и...

— Три тома сразу! — не дослушал Альбини. — Три толстенных тома! Это произведет впечатление.

Заломит почувствовал, как у него запыхали щеки, и натянуто улыбнулся.

— Я, помнится, изложил вам свою признательность в письменном виде, еще осенью, — выговорил он, несколько раз сглотнув.

— О, я только привлек внимание соответствующих органов, это моя единственная заслуга. И, признаюсь, то, что вы нам открыли в Гётевом «Метаморфозе растений»...

Заломиту удалось со скромным торжеством рассмеяться.

— Это мои давнишние открытия.

— Только вот неизвестно, что дальше, — продолжал Альбини. — А нас прежде всего интересует дальнейшее... *À propos*. — Он улыбнулся. — Не ваша вина, что вы не нашли летом отца Калиника. И искали вы его на пастушьих стоянках напрасно. Он умер, бедняга, в ту же ночь, как вы расстались. То ли от усталости, то ли от старости — умер на обочине дороги...

— Информация и анализ, — после молчания прошептал Заломит с мучительной улыбкой и прибавил, стараясь вложить в свой тон вызов: — Он был святой!

— Совершенно с вами согласен. Святой. Потому что никому не рассказывал, как его пытали и за что. Помните, летом в Пояна-Дорней мы говорили про ущербность воображения? Они вообразили, что у него что-то выведает. Однако к чему ворошить былые ошибки, пустое занятие... Вернемся к доктору Тэтару. Тут ясно по крайней мере одно: секрет формулы он не разгласил никому, ни друзьям, ни коллегам, ни отцу Калинику. И что самое любопытное, в его бумагах тоже не найдено ни слова, ни намек. А ведь лабораторные эксперименты на медицинском факультете продолжались несколько лет, это факт. Вероятно, он сжег все записи.

— Вероятно, сжег, — машинально повторил Заломит.

— Итак, у нас есть одна Ефросинья, а это все же кое-что. Тем более что у нас есть и вы.

— Я? — вскинулся Заломит. — Я?

Альбини рассмеялся и неторопливо вынул из кармана пачку сигарет и зажигалку.

— Именно вы, профессор Филип Заломит, доктор наук и автор трех солидных томов по флоре Карпат.

— А, вот вы куда... — краснея, сказал Заломит.

— Тем более что речь, в сущности, идет о задании легком и в определенном смысле даже приятном. Вы могли бы ассистировать нам время от времени при... как бы это сказать... при метаморфозах одной из трех граций.

Заломит судорожно глотнул воздух, но голос не вернулся к нему.

— Повторяю: время от времени. Например, в марте, потом еще раз im wunderschönen Monat Mai* и затем ближе к летнему солнцестоянию.

— Но почему я? — удалось выдавить из себя Заломиту. — Я ничего не смыслю в биомедицине.

— Вы — потому что Ефросинья вам доверяет. Если вмешаемся мы, это будет грубо, мы ее спугнем: она подумает, что ее хотят привлечь к ответственности за несчастный случай с доктором Тэтару. Вам легче будет объяснить ей, в чем дело, и внушить, что она должна, что это в ее интересах и в интересах науки — румынской науки в первую очередь — целиком и полностью отдать себя в распоряжение исследователей.

— Для нее это будет сложно, — сказал Заломит вдруг окрепшим голосом. — Не уверен, что смогу взять на себя такую ответственность...

— Подумайте, потом поговорим, — остановил его Альбини. — Не обязательно решать прямо сейчас.

Он смолк и некоторое время курил, глядя на Заломита с лукавством, которое не пытался скрыть.

— Простите за нескромный вопрос, госпожа Сидония Вылчану — она не была одно время вашей супругой?

Невольно и сам не понимая почему, Заломит рассмеялся.

— Что же тут нескромного? Мы поженились совсем молодыми. Я даже диссертацию еще не защитил. И развелись, не прошло и года... Но дружеские отношения сохранили.

— Знаю, знаю, — сказал Альбини, давая окуроч в пепельнице. — Знаю про ваши дружеские отношения. Кстати, мы встретимся через несколько дней. На свадьбе Исидоры.

— Двадцать второго декабря, — с замороженной улыбкой откликнулся Заломит. — Через три дня.

* «В чудесном месяце мае» (нем.; строчка из Гейне).

— Счастливого жених приходится мне кузеном. Мы с ним добрые друзья, несмотря на разницу в возрасте... Но не буду вас больше задерживать, — вдруг спохватился он, поднимаясь с кресла. — Я рад, что мы в определенном смысле станем членами одной семьи.

— Семьи исследователей, — широко улыбаясь, подхватил Заломит.

— Совершенно верно. Эмиль Бутнару, мой родственник и друг, очень силен в химии.

Уже на пороге он резко обернулся.

— А как же поэзия?

Заломит фамильярно похлопал его по плечу и со смешком ответил:

— Разве мало «Запятнанных лепестков»? Ты когда-нибудь встречал более пророческое название — «Запятнанные лепестки?»

Альбини, улыбнувшись, пожал ему руку.

— Не поздравляю тебя пока что с Рождеством, до тех пор мы еще увидимся, через три дня, на свадьбе...

Как только дверь захлопнулась, Заломит расхохотался, сам не зная, что с ним, откуда эта неумемная радость, какой он не помнил с дней юности. «Как будто весь мир — мой!» — пришли в голову слова Ефросиньи. «Как это верно! Теперь весь мир — мой!»

Он упал на стул, с трудом подавляя последние взрывы смеха, отирая счастливые слезы. «Аурелиан! — громко сказал он, как будто тот стоял перед ним. — Аурелиан, я тебя прекрасно понимаю, ты поступил единственно верно. Другого решения не было».

Он вскочил вытряхнуть пепельницу. Но прежде распахнул окно. А когда вернулся с кухни, воздух был холодный, чистый, веяло снегом. «Они тоже знали про Калиника, — вспомнил он, борясь со створками окна. — Про Калиника тоже... Только не понимаю, зачем он вынул микрофон на моих глазах. Показать, что они всемогущи, что хотят, то и делают? Что ж, в каком-то смысле он прав. С той минуты как я принял их услуги... Теперь мы — члены одной семьи... И те оправдания, которые я для себя придумал — что я должен все это принять от них — ради восстановления утраченной формулы... — Он вдруг вспомнил про старую женщину и содрогнулся. Сел за стол, отмечая, что и вправду весь дрожит. — Слишком долго держал окно открытым, это от холода. Но неужели Альбини думает, что я смогу глядеть ей в глаза?.. К счастью, мои шестьдесят лет позади, а главное счастье — у меня есть «фиал». Меланхолично улыба-

ясь, он припомнил весь ритуал: как в тот летний день извлек из портфеля склянку, посмотрел ее на свет, мелодраматическим жестом отставив руку и декламируя из монолога Фауста: «Ich grüße dich, du einzige Phiole»*. Тогда еще ничего не было: ни кошмара с Аурелианом Тэтару, ни Альбини, ни отца Калиника, ни Ефросиньи, — и все же он предусмотрительно запасся самым концентрированным раствором аконитина, какой только мог втайне изготовить в своей лаборатории.

Он дрожал все сильнее, будто его трясла лихорадка. Рванул на себя ящик стола и стал шарить под большими желтыми конвертами, в которых хранил важные письма. Внезапно укол тревоги подбросил его на ноги, он принялся выгребать конверты на стол, один за другим. Блуждающим взглядом оглядел пустой ящик. Прошептал: «Забрали. И здесь они тоже рылись...» Не чуя под собой ног, тяжело дыша, опустился на стул. «Вот и все, — сказал он себе. — Выхода нет», — сказал он, еле шевеля губами, в непонятном, забирающем его изнеможении.

...Он очнулся и в испуге вскочил, озираясь и не понимая, где он. «Эвфорбия молдавика. Добавим, добавим-ка». Он искал рифму, но сосредоточиться не мог, его раздражал собачий лай. Огромный черный пес вертелся вокруг на расстоянии. «Уймись, псина», — в шутку прикрикнул он, пытаясь урезонить собаку. И тут его взгляд упал на медную табличку с надписью: Les trois Grâces. «Ну да, теперь понимаю, — прошептал он, счастливый. — Их три, но они — одно. Одно тело, хотя каждая — сама по себе. Совершенная, первозданная красота. Нельзя было назвать их лучше...»

Париж, август 1976 г.



* Приветствую тебя, фиял бесценный! (нем.; перевод В. Брюсова.)

БЕЗ ЮНОСТИ ЮНОСТЬ*

Сибилле

I

Только когда забухал колокол Митрополии, он вспомнил, какая сегодня ночь — под Святое Воскресенье. И сразу же утратил всякую естественность дождь, который поджидал его у выхода с вокзала, норовя превратиться в ливень. Он торопливо зашагал, горбясь под зонтиком, глядя под ноги, чтобы не попасть в лужи. Незаметно для себя он прибавлял и прибавлял шаг, но метров через двадцать, на переходе, его придержал красный свет. Переминаясь с ноги на ногу, он с унынием озирает бульвар, быстро превращающийся в русло реки. Светофор мигнул, и в ту же секунду грохнул взрыв, сопровождаемый вспышкой ослепительно белого света. Раскаленный смерч, налетев сверху, всосал его в себя. Он заморгал, с трудом разлепляя веки, судорожно сжимая ручку зонтика. «Молния где-то рядом ударила», — мелькнуло в голове. Дождь хлестал как будто со всех сторон сразу, только тело ничего не чувствовало. И тогда снова бухнул колокол Митрополии, а за ним — все остальные колокола. Но сквозь звуки праздничного благовеста, совсем рядом с ним, отдельно, звонил по ком-то колокол одинокий и безнадежный. «Я просто испугался, — подумал он, и тут его охватила дрожь. — Это от холода, — решил он миг-другой спустя, сообразив, что лежит прямо в луже на краю тротуара. — Я промок...»

* Перефразированное название сказки «Без старости юность, без смерти жизнь».

— Это его молнией, я сам видел, — услышал он хриплый от возбуждения мужской голос. — Насмерть, надо думать. Я все видел: он стоял под самым светофором — и вдруг как вспыхнет, весь, в одну секунду, с головы до ног. И зонтик, и шляпа, и пальто. Хорошо — дождь, а то сгорел бы, как сухостой. Неужели еще жив?

— А если и жив, что с ним делать?

Второй голос был далекий, усталый, совсем уж панихидный.

— Видно, грешил много — ишь как его трахнуло: в самую Святую Ночь, да еще на задах церкви... Ладно, посмотрим, что скажут в дежурке.

Он с любопытством отметил, что ничего не чувствует, как будто у него нет тела. Из разговора двух голосов явствовало, что его доставили в больницу. Но как? На руках? На носилках? На колесах?

— Надежды никакой, по-моему, — услышал он вскоре третий голос, тоже будто бы издавека. — На нем живого места нет. Ни сантиметра кожи. Как он еще дышит, ума не приложу. Обычно в таких случаях...

Ну да, кто ж этого не знает: если обожжено больше пятидесяти процентов кожи, выжить невозможно. Но ему показалось нелепым и даже унижительным вступать в мысленный разговор с теми, кто хлопотал вокруг него. Слава Богу, он их не видел, веки его были крепко сомкнуты. И не хотел больше слышать... Он был уже далеко-далеко — и счастлив, если можно это определить так.

— Так что же потом стряслось? — чуть насмешливо спросила она. — Какая еще трагедия?

— Трагедия не трагедия, но что-то в этом роде. Когда человек сосредоточен на одном — посвятить жизнь науке...

— Что ты называешь наукой? — перебила его она. — Математику или китайский?

— И то, и другое, и еще множество всего. Я открывал для себя науки и языки и влюблялся в них поочередно...

Она тронула его за рукав, чтобы не обиделся.

— Математика — это я еще понимаю; если нет призвания, нечего к ней даже подступаться. Но китайский?

Он невольно рассмеялся. Уж очень выразительно она произнесла «но китайский».

— Мне казалось, я тебе говорил. Два года тому назад, осенью, когда я был в Париже, я пошел на лекцию Шаванна. А после зашел к нему в

кабинет. Он спросил, сколько времени я учу китайский и какие еще знаю восточные языки. Не буду пересказывать всю нашу беседу. Суть ее была в том, что, если я за несколько лет — понимаешь, за *считанные годы* — не овладею, кроме китайского, еще и санскритом, тибетским и японским, мне никогда не стать настоящим востоковедом.

— А ты бы сказал ему, что тебе хватит и одного китайского.

— Вообще-то я так и сказал. А он возразил, что китаисту тоже не обойтись без японского и без ряда южноазиатских языков и диалектов. Но дело даже не в этом. Когда он узнал, что я учу китайский пять месяцев, он написал на доске десятка два иероглифов и попросил меня их прочесть и перевести. Я прочел, как умел, и кое-что, не все, перевел. Он вежливо улыбнулся. «Неплохо, — говорит, — но если за пять месяцев... По сколько часов в день?» — «По шесть как минимум», — говорю. «В таком случае китайский язык не для вас. Тут должна быть особая зрительная память... Друг мой, — говорит, и улыбка такая двойственная, вроде и дружелюбная, но и насмешливая, — друг мой, чтобы овладеть китайским языком, нужна память, как у мандарина, фотографическая память. Если вам такая не дана, придется делать в три, в четыре раза больше усилий. Стоит ли?»

— Так, значит, это вопрос памяти.

— Фотографической памяти, — поправил он, нажимая на каждый слог.

Дверь отворилась и затворилась, он услышал шум шагов, шорохи, чужие голоса.

— Посмотрим, что скажет Профессор. Если спросят меня, я вам по честному...

Опять они за свое, сколько же можно! Но этот голос ему понравился. Он выдавал молодость, живую, отзывчивую натуру, одержимость своей профессией.

— ...эпидерма обожжена на сто процентов, а он живет уже двенадцать часов, и, судя по всему, боль его не мучает. Вливание делали?

— Одно, утром. Мне показалось, он стонет. Но, может, это было произвольно, сквозь сон.

— Личность установлена? Что-нибудь нашли рядом с телом?

— Только ручку от зонтика, все остальное обуглилось. Причем ручка, представляете, деревянная. Одежда сгорела дотла. Чего не смыл дождь, то рассыпалось по дороге, в машине...

Он знал, что по-другому и быть не могло, но все же доклад дежурного врача его окончательно успокоил: значит, сгорели и оба конверта в кармане пиджака... Он недостаточно плотно закрыл за собой дверь и потому нечаянно услышал: «Совсем одряхлел наш Досточтимый. Он это уже в пятый раз говорит...» А почему бы и нет? Если его потрясла информация в «Ла фьера леттерариа» о том, что Папини почти ослеп и ни один хирург не берется его оперировать? Для такого человека, как Папини, который не мыслил себе жизни без чтения, трагедия была в самом деле беспримерной. Но, может, Ваян и прав: я впадаю в маразм...

И снова девичий голос спросил:

— Ну, так какая еще трагедия с тобой стряслась? Ты бросил китайский, а еще?

— Не то чтобы бросил. Я продолжал учить по десять-пятнадцать иероглифов в день, больше для собственного удовольствия, и потом это помогало разбирать переводы китайских текстов... Я был, конечно, дилетант, что там говорить...

— Тем лучше, — сказала Лаура, снова легко прикасаясь к его руке. — Нужны же и просто умные люди с воображением, чтобы было кому радоваться открытиям, которые делают великие эрудиты. Бросил китайский, и хорошо... Но ты намекал на какие-то трагедии...

Он молча смотрел на нее. Никакой особенной красотой среди других студенток она не выделялась — видимо, она сама была *особенной*. Иначе как объяснить, отчего его тянет к ней, отчего он постоянно ищет ее по аудиториям, куда не входил уже три-четыре года, с тех пор как защитил диплом? Наверняка ее можно было застать на лекциях Титу Майореску. Там он и подстерег ее час назад и, как обычно, пошел провожать до дому. По дороге они зашли в Чишмиджиу, посидеть на лавочке у пруда.

— Ну же, признавайся, какие еще трагедии? — повторила она, со спокойной улыбкой выдерживая его взгляд.

— Я тебе говорил, что мне еще в лицее нравились математика и музыка. Но и история, и археология, и философия — тоже. Я хотел превзойти все науки. Положим, специалистом я бы не стал. Но я много работал, штудировал тексты в оригинале, потому что мне претят импровизации и культура понаслышке...

Она по-мальчишески подняла руки вверх.

— Ты самый честолюбивый человек из всех, кого я знаю. И одержимый к тому же. Просто одержимый.

Он уже привык к их голосам и научился их различать: три дневные сиделки и две ночные.

— Если ему повезет, он этими днями кончится. Говорят, кто умрет на Светлой неделе, попадет прямо в рай.

«У этой доброе сердце, она меня жалеет, не то что другие. Заботится о спасении моей души. А что, если она из лучших чувств перекроет капельницу? Протяну я до утра, до прихода дежурного? Правда, он может и не заметить. Зато Профессор-то уж заметит наверняка. Его честь задета, он один переживает, что не в состоянии объяснить мой случай, он один хочет любой ценой сохранить мне жизнь — в интересах науки». Однажды — он уже устал гадать, когда с ним что происходит, — Профессор легким, бережным касанием потрогал его веки и пробормотал: «Похоже, что глаза целы, но ослеп он или нет, мы не знаем. Впрочем, мы вообще ничего не знаем».

Он слышал это не впервые. «Мы не знаем даже, в сознании он или нет, — сказал как-то Профессор, — слышит ли он нас и, если слышит, понимает ли». Он слышал, узнавал его голос и прекрасно все понимал. Но что с того? «Если вы понимаете, что я говорю, — громко произнес Профессор, — пожмите мой палец!» Он рад был бы подать им знак, но не чувствовал ни своих, ни чужих пальцев.

На сей раз Профессор добавил: «Продержаться бы еще пять дней...» Через пять дней, по словам одного из ассистентов Профессора, тут обещал быть проездом в Афины доктор Жильбер Бернар, парижское светило.

— Нет, до чего честолюбив, — повторила Лаура. — Ты хочешь делать все за всех: за философов, за ориенталистов, за археологов, за историков и не знаю еще за кого. То есть ты хочешь жить чужой жизнью вместо того, чтобы быть собой, Домиником Матеем, и культивировать исключительно свой собственный дар.

— Культивировать дар? — Скрывая радость, он сделал вид, что смущен. — Чтобы что-то культивировать, надо это иметь...

— Дар у тебя точно есть. В некотором роде. Ты ни на кого не похож. Живешь ты не так, как мы, и не так понимаешь жизнь...

— Но ведь до сих пор, а мне уже двадцать шесть, я ничего не сделал,

разве что экзамены сдавал на отлично. Хотя бы одно открытие, хотя бы оригинальная интерпретация одиннадцатой песни «Purgatorio»*, которую я перевел и прокомментировал...

В глазах Лауры он заметил тень грусти и словно бы разочарования.

— Зачем же тебе что-то открывать? У тебя дар — жить. И тут ни при чем открытия и оригинальные интерпретации. Твоя модель — сократовская или гётевская. Представь себе Гёте, но *без его сочинений!*

— Не понимаю, — взволнованно проронил он.

— Все понимают? — спросил их Профессор.

— Я — нет, особенно когда вы говорите быстро...

А он все понимал прекрасно. Французский, на котором говорил Профессор, был безупречен — уж конечно, докторскую он защищал в Париже. Пожалуй, он перещеголял элегантностью своего французского даже заезжее парижское светило. Доктор Бернар явно не принадлежал к исконным уроженцам Франции. По его медлительной, с запинками речи видно было, что он — из той же породы людей, что их последний директор, о котором Ваян говорил: когда надо срочно принять решение, на него находит оторопь.

— Как давно вы убедились, что пациент в сознании?

— Только позавчера, — отозвался Профессор. — До этого я неоднократно предпринимал соответствующие попытки, но безрезультатно.

— И вы уверены, что он пожал ваш палец? И пожал именно в ответ на ваш вопрос? Может, это был непреднамеренный, рефлекторный жест, которому не стоит придавать значения?

— Я повторил опыт несколько раз. Советую вам попробовать тоже — убедитесь сами.

В который раз за последнее время он почувствовал, как чужой палец осторожно, с преувеличенной деликатностью просовывается в его сжатый кулак. Потом голос Профессора произнес:

— Если вы понимаете, что я говорю, сожмите этот палец.

Он сжал, и, вероятно, с излишним рвением, потому что доктор Бернар испуганно отдернул руку. Однако миг спустя, шепнув профессору:

* «Чистилище» (итал.).

«Traduisez, s'il vous plaît»*, — снова вдел палец в его кулак. Раздалась четкая французская речь: «Celui qui vous parle est un médecin français. Accepteriez-vous qu'il vous pose quelques questions?»** Не дав Профессору перевести до конца вторую фразу, он снова энергично пожал чужой палец. На сей раз доктор Бернар не убрал руку, а спросил: «Vous comprenez le français?»*** Он повторил свое пожатие, но без прежней убедительности. С минуту поколебавшись, доктора Бернар решил уточнить: «Voulez-vous qu'on vous abandonne à votre sort?»**** Он испытал чуть ли не сладострастное чувство оттого, что рука его осталась неподвижной, словно гипсовая. «Vous préférez qu'on s'occupe de vous?»***** Он с силой пожал палец. «Voulez-vous qu'on vous donne du chloroforme?»***** Снова расслабив мышцы, он больше не напрягал их, пока шли остальные вопросы: «Êtes-vous Jésus Christ?.. Voulez-vous jouer du piano?.. Ce matin, avez-vous bu du champagne?»*****

Бокалы с шампанским, вечерний перрон, веселый, развязный ор, ужаснувшийся их своей *заурядностью*: «До Венеции больше капли в рот не берите, а то мало ли что может случиться!» — «Боюсь, шампанское не пошло им впрок», — печально заметила Лаура, когда поезд тронулся.

Но все перекрыл голос Профессора:

— Попробуем еще раз. Может быть, он не понял вопроса. Я спрошу по-румынски. — И повысил тон: — Мы хотим узнать ваш возраст. На каждый десяток лет пожимайте мне палец.

Он шесть раз с растущим энтузиазмом повторил пожатие, потом, сам не зная почему, остановился.

— Шестидесят лет? — удивился Профессор. — Я бы не дал ему столько.

* Переведите, пожалуйста (*франц.*).

** С вами говорит французский медик. Вы согласны, чтобы вам задали несколько вопросов? (*франц.*)

*** Вы понимаете по-французски? (*франц.*)

**** Может быть, вы предпочитаете, чтобы вас оставили в покое? (*франц.*)

***** Вы предпочитаете, чтобы вами занимались? (*франц.*)

***** Не хотите ли, чтобы вам дали хлороформу? (*франц.*)

***** Вы — Иисус Христос?.. Хотите поиграть на рояле?.. Вы пили сегодня с утра шампанское? (*франц.*)

— Когда человек в таком промежуточном состоянии, — услышал он французский Бернара, — трудно определить возраст. Спросите его, не устал ли он, можем ли мы продолжать...

Беседа продолжалась еще полчаса, в течение которых выяснилось, что он живет не в Бухаресте, что у него только один дальний родственник, которому вовсе не обязательно сообщать о несчастном случае, что он согласен на любой, самый рискованный тест, чтобы проверить, цел ли глазной нерв. По счастью, на том и кончилось, потому что мысли его уже ускользнули вдаль. Слепота Папини была первым звонком. Он битую неделю убеждал себя, что дело тут не в неизбежных старческих явлениях, что если он пять раз повторил рассказ о Папини (которого не решается оперировать ни один хирург), то только потому, что его потрясла трагедия, обрушившаяся на любимого писателя. Но в конце концов признался себе, что пытается сам себя обмануть. Годом раньше доктор Некулаке намекнул ему, что атеросклероз лечению не поддается. Правда, он не поставил ему такой диагноз, но заметил с горькой улыбкой: «В определенном возрасте можно ждать чего угодно. И у меня бывают провалы в памяти. С недавних пор я ничего не могу выучить наизусть, а ведь сколько есть прекрасных стихов у молодых поэтов!..» — «Я тоже, — подхватил он. — Когда-то я знал наизусть почти весь «Paradiso»*, теперь же... А из молодых поэтов вообще ничего не запоминается, сколько ни читаю».

И тем не менее... Сейчас, лежа в постели с закрытыми глазами, он без труда перебрал в памяти множество недавно прочитанных книг, строфы из Унгаретти, Иона Барбу и Дана Ботта. Как будто бы он их никогда наизусть не учил, а вот поди ж ты... Что касается «Paradiso», то он не раз засыпал под свои любимые терцины... Страх пронизал его внезапно — непонятный страх, потому что проистекал он словно бы из самой радости сделанного открытия. «Больше не думать об этом! — приказал он себе. — Переключись на что-нибудь другое!..» И все же он снова и снова читал про себя стихи и пересказывал прочитанные книги. «Какой же я дурак. Ложная тревога...» Хотя ведь было: он вышел раз из дому и, оказавшись на улице, обнаружил, что не помнит, куда собирался пойти... «Ну и что, мало ли каких случайностей не бывает. Может, я просто устал... хотя с чего мне было уставать?..»

* «Рай» (итал.).

— Не так уж и много толку от парижского светила, — услышал он голос дежурного врача.

Кто-то, кого он не мог определить по голосу, возразил:

— По крайней мере он сказал, что известны такие случаи. Вот тот швейцарский пастор, например, у которого тоже был почти сплошной ожог от молнии, а прожил он еще дай Бог сколько. Правда, онемел. Как и наш бедолага.

— Тише, может, он нас слышит, — прошептал дежурный.

— А пусть слышит, это даже лучше. Посмотрим, как он будет реагировать. Немой он или нет?

Непроизвольно, не сознавая, что делает, он медленно разжал губы. В ту же секунду в ушах у него загрохотало, как будто и справа, и слева под откос пошли вагоны, груженные металлоломом. И хотя его оглушал непрерывный грохот, он неуклонно продолжал раздвигать губы. И вдруг услышал сам себя: «Нет! Нет! Нет! — И, передохнув, добавил: — Не... немой!» Он хотел бы выразиться попространнее, но что-то ему мешало. По шорохам в комнате, по хлопанью двери он понял, что произнесенные им звуки произвели фурор. Рот его был широко раскрыт, но он почему-то не решался больше шевельнуть языком. Когда его любимый доктор Гаврила, прирожденный медик, как он определил с самого начала, подошел к постели, он снова повторил свое мычание и только тут понял, почему речь дается ему с таким трудом: при каждом движении языка шатались, словно собираясь выпасть, чуть ли не все его зубы.

— Вот оно что, — озабоченно прошептал Гаврила. — Зубы. И даже коренные... Вызовите по селектору доктора Филипа, пусть срочно кого-нибудь пришлет — а в идеале придет сам, и главное, со всем необходимым инструментом.

Как издалека, донесся чуть позже снова его голос:

— Еле держатся. Если бы посильнее глотнул, мог бы подавиться каким-нибудь зубом... Сообщите Профессору.

Он почувствовал, как один из его передних зубов подцепили пинцетом и вынули без всякого усилия. Он начал считать. За несколько минут доктор Филип с той же легкостью удалил у него девять передних зубов и пять коренных.

— Не пойму, что произошло. Корни здоровые. Такое впечатление,

что их подтолкнули снизу зубы мудрости. Но это нонсенс. Надо будет сделать рентгенограмму.

Профессор, приблизясь к постели, коснулся двумя пальцами его правой руки.

И тогда, на сей раз без страха, он зашевелил языком, но, как ни старался, не сумел выговорить то, что хотел, и наконец, смирясь, стал набум выдавливать из себя односложное: день, ночь, хлеб, вещь, сон...

На третью ночь после этого ему приснился сон, который он запомнил от начала до конца. Как будто он вернулся в Пятра-Нямц и направляется к лицу. Но чем ближе лицей, тем больше его обгоняет прохожих. Он узнает одного за другим своих бывших учеников разных лет выпуска, которые ничуть не постарели кто за десять, кто за двадцать, кто за двадцать пять лет. Он хватается кого-то из них за руку. «Ты, Теодореску? Куда вы все идете?» Юноша смотрит на него, неловко улыбаясь, явно не узнавая. «В лицей. Сегодня столетний юбилей нашего учителя, Доминика Матея».

«Не нравится мне этот сон, — повторил он про себя несколько раз. — Не знаю почему, но не нравится». Дождавшись, когда вышла сиделка, он осторожно попытался, не в первый раз за последние дни, приоткрыть глаза. Как-то ночью он вдруг обнаружил, что видит светящееся голубоватое пятно. Сердце затравленно заколотилось, и, не сообразив, что произошло, он поспешно зажмурился. Но на другую ночь снова очнулся с тем же светящимся пятном перед глазами и, растерявшись, принялся считать в уме. Дойдя до семидесяти двух, он внезапно понял, что это свет звезды, который проникает сквозь узкое окно под потолком в глубине комнаты. Справляясь с приливом радости, он без спешки оглядел, метр за метром, помещение, куда его перевели накануне приезда доктора Бернара. С тех пор, оставаясь один, особенно по ночам, он открывал глаза, легонько поворачивал голову в ту и в другую сторону и постепенно изучал формы и краски, тени и полутени. Он и представить себе не мог, что раньше в его распоряжении всегда было такое блаженство: просто-напросто разглядывать близлежащие предметы.

— Почему же вы утаили от нас, что можете открывать глаза? — услышал он мужской голос, и в фокусе возник дежурный врач.

Врач был таким, каким и казался по голосу: высокий сухощавый брюнет с начатками лысины.

Выходит, его подозревали и выследили.

— Сам не знаю, — отвечал он, глотая слюги. — Может, хотел сначала сам убедиться, что не потерял зрение.

Врач смотрел на него с задумчивой улыбкой.

— Интересный вы человек. Когда Профессор спросил, сколько вам лет, вы ответили: шестьдесят.

— Мне больше, виноват.

— Бросьте. Вы, вероятно, слышали, что говорили санитарки?

Смирненным жестом кающегося школяра он склонил голову. Что говорили санитарки, он слышал. «Сколько, он сказал, ему лет — шестьдесят? Темнит, голубчик. Ты сама видела, когда мы его давеча мыли: молодой мужик, в соку, ему и сорока не будет...»

— Мне не хочется, чтобы вы думали, что я за вами шпионю и хочу донести на вас начальству. Но Профессора я должен поставить в известность, а уж он решит...

В другой раз он бы обиделся — или испытал страх, но сейчас вместо этого обнаружил, что читает, сначала про себя. а потом вслух, шепотом, одно из своих любимых стихотворений, «La morte meditata»* Унгаретти:

Sei la donna che passa
Come una foglia
E lasci agli alberi un fuoco d'autunno...**

Он открыл для себя эти стихи лет через двадцать пять после развода. И все же, читая их, думал о ней. Была ли это все та же любовь, в которой он признался ей утром 12 октября 1904 года, когда они вышли из здания суда и направились к Чишмиджиу? Тогда, на прощанье, целуя ей руку, он сказал: «Желаю тебе... да что там, все, что я могу сказать, ты знаешь... Но я хочу, чтобы ты знала и еще одно: что я буду любить тебя до конца жизни...» Любил ли он ее по-прежнему, он уже не знал, но о ней он думал, читая:

Sei la donna che passa...

* «Замедленная смерть» (итал.).

** Ты, донна, исчезаешь,
Словно лист,
Огонь осенний оставляя деревьям... (итал.)

— Убедились, значит, что вы вне опасности?

Так приветствовал его наутро Профессор, с улыбкой возникнув у постели.

Профессор оказался на вид внушительнее, чем он себе представлял. Недостаток роста восполняла выправка, как на параде, и гордая посадка головы — можно было оробеть от его вельможного вида, от почтенных седин. Даже улыбаясь, он сохранял дистанцию и не терял суровости черт.

— Вы теперь не просто «интересный случай», вы — «казус». До сих пор никто не дал ему правдоподобного объяснения, ни у нас, ни за границей. При прямом попадании молнии человек погибает мгновенно... ну или через десять-пятнадцать минут. В редчайших случаях остается лежать в параличе, немой или слепой. А с вами — сплошные загадки, час от часу не легче. Мы еще не выяснили, благодаря какому рефлексу вы не раскрывали рот целых двадцать три дня и вас надо было кормить искусственно. Возможно, вас заставила открыть рот необходимость удалить зубы, которые уже не держались в деснах. Мы намеревались сделать вам протезы, чтобы вы могли есть и, что очень важно, нормально говорить. Но пока ничего сделать нельзя, рентген показывает, что у вас режутся новые зубы, полный набор в два ряда.

— Не может быть! — прошепелявил он в изумлении.

— То же самое говорят в один голос все терапевты и дантисты: что этого просто-напросто не может быть. Но рентген не оставляет сомнений. Одним словом, казус. Больше и речи нет о «живом мертвеце», тут совсем другое, но что именно, нам еще не ведомо.

«Надо поосторожнее, не сделать бы какой ошибки, чтобы они меня не разоблачили. Не сегодня завтра начнут выпытывать имя, адрес, профессию. Но, в сущности, чего мне бояться? Я же ничего не сделал. Ни одна душа не знает ни про белый конверт, ни про голубой». И, однако же, он хотел во что бы то ни стало сохранить анонимность, остаться на уровне пожатия чужого пальца в ответ на вопрос: «Вы меня слышите?» К счастью, пока что, без зубов, он говорил плохо. Пока что легко будет притворяться и комкать даже те немногие слова, которые у него получались... А вдруг его попросят что-нибудь написать? Он, словно в первый раз, пристально взглянул на свою правую руку. Кожа была гладкая и явно начинала наливаться свежестью. Он тщательно ощупал левой рукой правую, двумя пальцами потрогал бицепс. Вот это да! Неужели полный, чуть ли не четырехнедельный от-

дых и питательные растворы, которые ему вводили в вену... «Молодой мужик, в соку!» Так сказала санитарка. А днем раньше он услышал осторожный скрип двери, шаги и шепот дежурного врача: «Тихо, не разбудите». И вслед за тем чужой, приглушенный голос: «Нет, не он... Хотя все же надо будет взглянуть на него без бороды... Мы-то ищем студента, не старше двадцати двух лет, а этому будет, пожалуй, под сорок...»

Он почему-то вспомнил грозу.

— И что любопытно, — говорил один врач, — дождь шел только там, где шел он: от Северного вокзала до Елизаветинского бульвара. Проливной дождь, как летом, затопило весь бульвар, а подальше на сотню метров — ни капли.

— Да, — подхватил другой, — мы там тоже проходили, когда возвращались из церкви, вода на бульваре еще не успела стечь.

— Говорят, была попытка покушения, нашли якобы заготовленный динамит, но из-за ливня затея провалилась.

— Сигуранца могла это и придумать, чтобы оправдать аресты среди студентов.

Голоса вдруг стихли.

«Надо поосторожнее, — повторил он. — Как бы меня не приняли за подпольного легионера, которого ищет Сигуранца. Тогда придется сказать им, кто я такой. Они отвезут меня в Пьятра-Нямц для проверки, а там...» Но ему удалось и на этот раз выбросить из головы беспокойные мысли. Сама собой пришла на ум XI песнь «Purgatorio», потом он попытался припомнить из «Энеиды»: *Agnosco veteris vestigia flammae...**

— Беда с тобой, Доминик, скачешь с одной книги на другую, с языка на язык. То-то она от тебя и ушла.

Он не обиделся. Никодим говорил не со зла: добрый, прямой и тихий молдаванин.

— Да нет, Никодим, учебник японского к нашему разводу отношения не имеет.

— Почему японского, какого японского? — от неожиданности сбивчиво переспросил Никодим.

— Я думал, ты на это намекаешь, злые языки чего только не натреплют.

* Узнаю следы старого пламени... (лат.)

— Ты о чем?

— Ну, что якобы я заявился однажды домой с учебником японского. И когда Лаура увидела, как я с порога уткнулся в него носом, она сказала... в общем, что я берусь за сто вещей сразу и ничего не довожу до конца. И что с нее хватит.

— Про учебник не слышал, а вот что ей надоели твои амурные похождения, поговаривают. Особенно то, прошлым летом, в Бухаресте, когда ты приударил за одной француженкой, уверяя, что, мол, знакомы еще по Сорбонне и все такое.

— Чушь, — перебил он с легкой досадой, пожимая плечами. — Не в том дело. Да, у Лауры были кое-какие подозрения, потому что она узнала про одну давнюю историю, но она же умная женщина, она знает, что я всегда любил только ее, а если что и было... то это... В общем, так или иначе, мы остались добрыми друзьями.

Кое-что он все же скрыл от Никодима. Впрочем, не только от него, но даже и от Даду Рареша, своего лучшего друга, который умер от туберкулеза двенадцать лет спустя. Хотя Даду, может быть, единственный отгадал правду. Или сама Лаура ему что-то рассказала, между ними было взаимопонимание.

— Я вас слушаю-слушаю, — заговорил Профессор не без раздражения, — и в толк не возьму, что происходит. За несколько дней — никакого прогресса. Мне кажется даже, что на прошлой неделе некоторые слова вам удавалось выговаривать лучше, чем сейчас. Вы должны нам помогать. И не бойтесь газетчиков. Приказ совершенно четкий: никаких интервью. Конечно, ваш случай настолько из ряда вон выходящий, что о нем не могли не прослышать в городе. В газетах появляются измышления, одно нелепее другого... Но, повторяю, вы должны нам помочь, нам надо узнать еще очень много: кто вы, откуда, кто по профессии и прочее.

Он послушно закивал и прощамкал: «Конечно, конечно». «Дело зашло далеко. Надо глядеть в оба». По счастью, на другое утро он нащупал, пройдясь языком по деснам, острие первого нового зуба. С невинным видом он предъявил его сначала сиделке, потом врачам, притворяясь, что теперь решительно потерял дар членораздельной речи. Но зубы стали прорастать с поразительной быстротой, один за другим. До конца недели прорезались все. Каждое утро приходил для осмотра дантист, который вел за-

писи и уже готовил статью. Несколько дней ушло на воспаление десен, и при всем желании он не смог бы нормально разговаривать. Счастливые были денечки, он снова чувствовал себя в безопасности, защищенным от неприятных сюрпризов. Чувство это сопровождалось приливом энергии и уверенности в себе, каких он не помнил со времен войны, когда организовал в Пьятра-Нямц движение «За возрождение культуры» (как его окрестили местные газеты), уникальное в масштабах Молдовы. О движении похвально отозвался сам Николае Йорга, будучи приглашен к ним в лицей прочесть лекцию. После лекции, уже у него дома, маэстро был приятно удивлен зрелищем тысяч томов по ориенталистике, классической филологии, древней истории и археологии.

— Почему же вы не пишете, коллега? — несколько раз повторил Йорга.

— Пишу, господин профессор, уже десять лет тружусь над одной работой.

Тут вмешался Давидоглу со своей дежурной остротой:

— Спросите, спросите его, господин профессор, что это за работа! De omni re scibili!.. *

С легкой руки Давидоглу этой остротой встречали его всегда, когда он входил в учительскую с охапкой новых книг, полученных поутру то из Парижа, то из Лейпцига, то из Оксфорда.

— Когда вы намерены остановиться, Доминик? — пытали его сослуживцы.

— О какой остановке речь, я в лучшем случае на полпути...

Увы, потратив еще до войны свое небольшое наследство на редкие книги и путешествия с познавательной целью, он был вынужден по-прежнему преподавать в лицее латынь и итальянский, которые давным-давно его не интересовали, и убивать на уроки уйму времени. Если уж что и преподавать, он предпочел бы историю цивилизации или философию...

— С вашим замахом и на то, и на другое, и на третьи десяти жизней не хватит.

Раз он все-таки ответил, почти твердо:

— Можно быть уверенным по крайней мере в одном: что на философию десяти жизней не понадобится.

* Обо всем познаваемом!.. (лат.)

— Habe nun, ach! Philosophie... durchaus studiert!* — с пафосом процитировал учитель немецкого. — Продолжение вам известно.

Из обмолвок ассистентов он понял, почему нервничает Профессор. Доктор Бернар бомбардировал его вопросами. «En somme, qui est ce Monsieur?»** — напрямую спрашивал он в одном из писем. Правда, письма этого никто не видел, даже доктор Гаврила, со слов которого о нем было известно. Доктор Бернар явно проведаль, что неопознанный пациент, которого он обследовал в начале апреля, не потерял зрение и что к нему постепенно возвращается дар речи. Любопытство парижского светила было возбуждено более чем когда-либо. Он запрашивал не только сводки об этапах физического выздоровления, но и требовал подробных сведений об умственном состоянии пациента. То, что последний понимал по-французски, заставляло предполагать определенный культурный уровень. Доктор жаждал установить, что сохранилось, что утрачено. Он предлагал серию тестов: на словарный запас, синтаксис, вербальные ассоциации.

— Но конец работы уже виден?

— Конец у нее есть, загвоздка за началом. Античность, средние века и новое время почти завершены. Первая же часть — истоки — происхождение языка, общества, семьи и прочих институтов — тут, вы сами понимаете, нужны годы на сбор материалов. А с нашими провинциальными библиотеками... Когда-то, пока были средства, я покупал книги, но теперь, при такой бедности...

По мере того как проходило время, он все яснее понимал, что не успеет закончить свою единственную книгу, труд всей жизни. Однажды утром он прорснулся со вкусом пепла во рту. Приближалось его шестидесятилетие, а все, что он начинал, осталось незавершенным. Ученики же, как ему нравилось называть тех из своих очень юных коллег, преисполненных восхищения, которые собирались каждую неделю в библиотеке послушать речи о громадности подлежащих его разрешению проблем, — «ученики» с течением лет разъехались по другим городам. Все до одного — так что некому было оставить хотя бы рукописи и собранные материалы.

С тех пор как он узнал, что в кофейне «Селект» его называют за глаза

* См. примеч. к «Ивану», с. 524.

** Кто этот господин, в конце-то концов? (франц.)

Досточтимый и Папа Доминик, он понял, что его престиж полинял — престиж, которым он пользовался со времен войны, когда Николае Йорга похвалил его в своей лекции, а потом присылал к нему из Ясс то одного, то другого студента за книгами. Он и сам не заметил, как и в учительской, и в кофейне перестал блистать, перестал быть центром всеобщего внимания. После того же, как вслед ему полетели слова Ваяна: «Совсем одряхлел наш Досточтимый», — он уже не осмеливался заговаривать о новых книгах, о статьях в «N.R.F.», «Критерионе» и в «Ла фьера леттерариа». А потом на него стало находить то, что он назвал про себя «затмения».

— Что вы тут делаете, господин Матей?

— Гуляю. У меня разыгралась мигрень, и я решил пройтись.

— Однако в пижаме, под Рождество, не простудились бы!

На другой день это стало известно всему городу. Наверняка вечером весь «Селект» ждал, когда он придет, чтобы на него поглазеть, и он не пошел в кофейню — ни в тот вечер, ни на другой.

— При первом же удобном случае! — со смехом воскликнул он как-то раз на пороге «Селекта». — При первом же!

— Что вы собираетесь сделать при первом удобном случае? — поинтересовался Ваян.

«В самом деле, что?» Он в замешательстве смотрел на собеседника, силясь припомнить. Но в конце концов пожал плечами и поплелся домой. Только взявшись за ручку двери, он вспомнил: при первом же удобном случае он вскрыет голубой конверт. «Но только не здесь, где меня все знают. Уеду подальше, в другой город. Хотя бы в Бухарест».

Однажды утром он попросил у сиделки лист бумаги, карандаш и конверт. Написал несколько строк, запечатал и попросил передать Профессору. Потом с замиранием сердца стал ждать. Когда он еще так волновался? Может быть, в то утро, когда в Румынии объявили всеобщую мобилизацию? Нет, пожалуй, еще двенадцатью годами раньше, когда застал в гостинной поджидавшую его Лауру со слишком блестящими — не от слез ли? — глазами.

— Я должна тебе кое-что сказать, — начала она, заставляя себя улыбнуться. — Должна. Я чувствую это давно, но с некоторых пор не могу ни о чем другом думать. Я чувствую, что ты больше не мой... Нет, нет, не перебивай, прошу тебя. Это вовсе не то, о чем ты думаешь... Я чувствую, что ты не мой, что ты не здесь, рядом, а в другом, своем мире — я не

имею в виду твою работу, которая, что бы ты ни думал, меня интересует, — нет, ты в каком-то чужом для меня мире, куда мне вход заказан. И для меня, и для тебя, думаю, будет лучше, если мы расстанемся. Мы оба молоды, оба любим жизнь. Ты потом сам убедишься...

— Хорошо, — сказал Профессор, аккуратно сложив листок и спрятав его в записную книжку. — Я приду немного погодя.

Через час, заперев дверь, чтобы им не помешали, Профессор придвинул стул к постели.

— Слушаю вас. Не прилагайте чрезмерных усилий. Слова, которые не выговариваются, можно написать. Бумага у вас под рукой.

— Вы поймете, почему я должен был прибегнуть к такой уловке, — начал он, волнуясь. — Я хочу избежать огласки. Свидетельствую, как на духу: меня зовут Доминик Матей, восьмого января мне исполнилось семьдесят лет, я преподаю латынь и итальянский в лицее «Александру Иоан Куза» в Пьятра-Нямц и живу там же, в доме номер восемнадцать по улице Епископии. Этот дом — моя собственность, так же как библиотека из восьми тысяч томов, которая по завещанию отойдет лицее.

— Вот это да, — выдохнул Профессор, глядя на него чуть ли не со страхом.

— Проверить меня вам не составит труда. Но, заклиная, никакого шума. Меня знает весь город. Если нужны еще доказательства, я начерчу вам план дома, скажу, какие книги лежат сейчас на моем письменном столе, сообщу любую подробность, какую пожелаете. Но нельзя, чтобы кто-нибудь там проведал, что со мной случилось. По крайней мере пока. Ведь уже одно то, что я остался цел и невредим, вы сами говорили, — сенсация. А если узнают, что я сбросил сколько-то лет... представляете себе?... Ведь агенты Сигуранцы, которые здесь уже побывали, ни за что не поверят, что мне семьдесят. Не поверят, что я — тот, кто я есть, и займутся мной. А если человеком заняться, мало ли к чему это может привести... Поэтому я прошу вас: если вы считаете, что мой случай стоит изучать, то есть стоит изучать и дальше здесь, в больнице, пожалуйста, запишите меня под вымышленным именем. Разумеется, временно. И если вы будете недовольны моим поведением, сможете в любой момент разгласить истину...

— Ах, о чем вы, — отмахнулся Профессор. — Пока что самое главное — уладить формальности. Надеюсь, это будет нетрудно. Только вот

какой возраст вам написать? Без бороды вы будете выглядеть лет на тридцать. Напишем тридцать два?...

Еще раз переспросив название улицы и номер дома, Профессор занес их в записную книжку.

— Дом сейчас без присмотра?

— Нет, моя старая экономка, Вета, живет там, в двух комнатках за кухней. У нее ключи и от всех остальных комнат.

— Вероятно, у вас есть альбом с фотографиями — вы в юности, я имею в виду.

— Всё в верхнем ящике стола. Три альбома. Ключ от ящика — прямо на столе, под коробкой для сигарет... Но только если тот, кого вы пошлете, поговорит с Ветой, об этом будет знать весь город.

— Не беспокойтесь, мы сумеем обойтись без нее.

Профессор задумчиво положил записную книжку в карман и, выжидательно помолчав, поднялся.

— Признаюсь, ваш случай не дает мне покоя. Когда ничего не понимаешь и никто ничего не понимает... Может быть, физические упражнения по ночам?..

Он пожал плечами.

— Один раз у меня онемели ноги, и тогда я встал с постели — вот сюда, на ковер...

— Вас ничего не удивило?

— Как же! Я проверил все свое тело: мышцы как в молодости, сильные, налитые. Не ожидал. За столько недель почти абсолютной неподвижности они должны были... как бы это сказать...

— Да, должны были, — не стал ему подсказывать Профессор, направляясь к двери. Но вдруг обернулся и взглянул ему прямо в глаза. — Вы забыли дать мне ваш бухарестский адрес.

Он почувствовал, что заливается краской, и, пересиливая себя, улыбнулся.

— Адреса нет, я был прямо с поезда из Пятра-Нямц. Поезд пришел около полуночи. В Пасхальную ночь.

Профессор не спускал с него недоверчивого взгляда.

— Но все равно куда-то ведь вы направлялись... И подле вас, на тротуаре, не нашли никакого чемодана.

— Чемодана и не было. При мне ничего не было, кроме голубого

конверта. Я имел в виду покончить с собой. Мне казалось, что я приговорен: атеросклероз. Я терял память...

— Вы приехали сюда, чтобы покончить с собой? — переспросил Профессор.

— Да. Мне казалось, что другого выхода нет. Все решения были в голубом конверте: несколько миллиграммов стрихнина, припасал для такого случая...

II

Он знал, что это сон, но, сколько ни тер левой рукой свежесбритые щеки, проснуться не сумел. Только когда машина въехала на бульвар, он узнал места: прежде всего по запаху цветущих лип. «Едем к Шоссе», — понял он, со щемящим чувством глядя на старые дома, погружаясь снова в студенческие годы. Сколько уж лет он не бывал здесь! Затем началась аллея из высоких деревьев. Отворились ворота, щебень заскрипел под тормозами, и машина остановилась у высокого крыльца с серыми каменными ступенями. «Почему вы не выходите?» — услышал он незнакомый голос и с удивлением выглянул наружу. Никого. Только наверху, как ему показалось, приоткрылась дверь. Похоже, его тут ждали. «Надо выйти», — сказал он себе.

И проснулся в ослепительном свете утра. Еще не было шести. Видимо, забыли с вечера задвинуть шторы. Скоро пришла сиделка.

— Костюм вам принесла.

В руках она держала целый ворох одежек и улыбалась. Звали ее Анетта, была она вполне молодая и самая смелая (несколько дней назад, глядя ему прямо в глаза, сказала: «Когда вы отсюда выйдете, пригласите меня как-нибудь вечером в кино?»). Она помогла ему одеться, хотя необходимости в том не было. По ее разочарованному взгляду он понял, что пиджак сидит на нем плохо. «В плечах тесно», — заключила она, поправляя голубой галстук в серую крапинку, который никак не вязался с полосатой рубашкой. Подошедший дежурный врач зорко оглядел его и сделал кислую мину.

— Сразу видно, что костюм с чужого плеча. Это может вызвать подозрение. Надо бы подыскать вам что-нибудь другое. Доктор Гаврила го-

ворил, что у него осталось от дяди несколько костюмов отменного качества.

— После дядиной смерти, — уточнила Анетта. — А носить одежду чужих покойников не положено. Своих — другое дело, это в память о них...

— Сойдет и так, — сказал он, улыбнувшись. — Сейчас уже нет времени переодеваться. Может быть, я еще заеду, в другой раз.

— Однако в таком пиджаке, — заметил дежурный врач, — вы будете привлекать к себе внимание. Еще увяжутся следом...

— Если сесть поглубже, на заднее сиденье, может, и обойдется.

Он спустился во двор, сопровождаемый доктором Кирилой, который был ему менее всех симпатичен, потому что явно за ним шпионил. Наткнувшись взглядом на машину, он резко остановился.

— Я уже видел эту машину, — шепотом проронил он. — Сегодня ночью я видел ее во сне... Кое-кто сказал бы, что это дурной знак, что это к несчастному случаю.

— Я не суеверный, — четко и безапелляционно произнес доктор Кирила, распахивая дверцу. — Так или иначе, нас ждут.

Когда машина направилась к бульвару, он погрузился в странное душевное затишье, перемежавшееся мощными приливами радости.

— Откройте окно, — попросил он, — сейчас начнутся цветущие липы... Подъезжаем к Шоссе, — продолжал он немного погодя. А потом: — Вот увидите, какое красивое здание за высокими деревьями, какая аккуратная аллея, мощенная щебнем. И лестница из серого камня...

Доктор Кирила все это время поглядывал на него с озадаченным видом. У подножия лестницы машина остановилась.

— Почему вы не выходите? — раздался голос.

— Ждем дежурного, отметить прибытие, — ответил шофер.

Скоро по щебню зашоркали торопливые шаги, и к машине сзади подошел по-военному стриженный человек со смутлым, изъеденным оспой лицом. Доктор Кирила открыл дверцу.

— Вот пациент, о котором вас проинформировали. Вы его с другими не мешайте. Впредь вся ответственность лежит на вас.

— Понял, — буркнул человек. — Можете не беспокоиться. Я с него глаз не спущу.

— Что он делает в палате или в саду, — уточнил доктор Кирила, — вас не касается. Вы за воротами следите...

Палата ему понравилась: просторная, с окнами в сад и, как было обещано Профессором, с деревянным столом и с полками для книг. Он подошел к открытому окну, сделал вдох и учуял запах цветущего шиповника. И хотя он улыбался, левой рукой потирая гладкие щеки, уже не впервые за последнее время он испытал странное чувство: что все это на самом деле не имеет к нему отношения, что это происходит с кем-то другим.

— Попробуйте описать как можно точнее, как можно подробнее, что для вас значит «кто-то другой», — попросил его раз Профессор. — В каком смысле вы чувствуете себя чужим самому себе? В том смысле, что вы «не обосновались» еще в своей новой ситуации? Это крайне важно. Записывайте все, что приходит в голову. Если нет расположения писать или слишком многое просится на язык, включайте магнитофон, только всегда называйте день, час и место и уточняйте, диктуете ли в постели или на ходу.

В последние дни своего пребывания в больнице он исписал почти целиком толстую тетрадь. Записывал все подряд: названия книг, которые когда-либо читал (ему особенно нравилось указывать год и место издания и год, когда он впервые прочел каждую, — так он проверял чудесное возвращение памяти), стихи на всех языках, которые когда-либо изучал, алгебраические задачи, сны, которые представлялись ему знаменательными. Но что-то удерживало его от записи последних открытий. Что — он сам не понимал и раз поделился с Профессором своими ощущениями.

— Очень важно установить подоплеку вашего внутреннего сопротивления, — отвечал тот. — Попробуйте, хотя бы приблизительно. То, что вы не хотите говорить («не могу!» — мысленно поправил он), относится к определенным событиям вашего прошлого или, наоборот, связано с вашим нынешним положением, которое для нас по-прежнему загадка?..

Он отступил от окна и, пройдясь взад и вперед по комнате — как в молодости, заложив руки за спину, — растянулся на постели и уставился в потолок.

— Я принес вам ваш семейный альбом, — сказал ему Профессор как-то утром. — Тут ваши лицейские и университетские фотографии, путешествие по Италии. — И добавил, выждав с минуту: — Вам не любопытно взглянуть?

— Откровенно говоря, нет.

— Но почему?

— Сам не знаю почему. Такое ощущение, что я оторвался от прошлого. Что я уже не я.

— Интересно,— заметил Профессор. — Но хорошо бы в этом разобраться...

В конце концов он сдался и согласился перелистать альбомы. Профессор, сев на стул у постели и молча вперив в него пытливым взглядом, внезапно спросил:

— Что вам приходит в голову? Какого рода воспоминания? Какие ассоциации?

Он в нерешительности мямлил левой рукой щеку, про себя повторяя: «Ей-Богу, это уже нервный тик».

— Я прекрасно помню, когда и где они сняты, каждая. Не только год, но, кажется, и день. Я слышу голоса, различаю слова, чувствую особый запах того места и того дня... Вот, например, здесь, где мы с Лаурой в Тиволи. Стоило мне взглянуть на карточку, я погрузился в утреннее тепло, в благоухание олеандра, но тут же в нос ударила химическая вонь, и я вспомнил, что по дороге туда мы прошли мимо двух котлов с разогретым мазутом.

— Гипермнезия с латеральными эффектами,— пробормотал Профессор.

— Чудовищно,— подхватил он. — И совершенно ни к чему.

— Это только так кажется, что ни к чему, потому что мы еще не знаем, что с этим делать, с этой фантастической рекуперацией памяти... — Профессор улыбнулся. — У меня для вас хорошие новости. Через несколько дней вы получите из вашей домашней библиотеки книги по первому списку, то есть все грамматики и словари, которые вы заказали. Бернар полон энтузиазма, он сказал мне, что это будет самый лучший тест. Особенно интересными ему кажутся ваши отношения с китайским языком: тот факт, что вы начинали учить китайский в юности, потом забросили его лет на десять-двенадцать, еще до войны, после войны опять за него взялись, а потом внезапно бросили насовсем. Таким образом, речь идет о нескольких слоях памяти. Если вы дадите себе труд прислушаться к себе и все записать, мы увидим, какой пласт реанимируется первым...

Некоторое время они помолчали, глаза в глаза, словно ожидая, пока заговорит другой.

— Что думают в Пятра-Нямце о моем исчезновении? — не выдер-

жал он. — Я не из любопытства, мне просто надо уже сейчас знать, какие у меня шансы...

— Шансы на что? — спросил Профессор.

Он неловко усмехнулся. Произнеся это выражение, он уже ощущал его неуместность.

— Шансы начать жизнь сначала, не рискуя приплести к ней мою прежнюю биографию.

— Пока я не могу сказать вам ничего определенного. Там ходят слухи, что вы находитесь в больнице, где-то в Молдове, без памяти. Кто-то припомнил, что под Пасху, в субботу, видел вас на вокзале, но не знает, в какой поезд вы сели: свидетель торопился домой...

— Кажется, я знаю, кто видел меня на вокзале, — прошептал он.

— Чтобы собрать книги по вашему списку, полиция инсценировала обыск. На том основании, что, дескать, один легионер, зная о вашем исчезновении, укрывается у вас в библиотеке... — Профессор замялся, говорить ли дальше, И все-таки решил: — Но, очевидно, с течением времени проникать в дом будет все сложнее. Скоро и в Пьятра-Нямц узнают то, что знает уже весь Бухарест: что в какого-то человека преклонных лет попала молния, и вот, через десять недель, он не только совершенно здоров, но и вернул себе молодость... Лишь бы не узнали остального...

Неделю-другую спустя, выйдя в сад, он столкнулся лицом к лицу с хорошенькой девушкой. Неизвестно из каких соображений она хотела замаскировать свою природную красоту, с нарочитой вульгарностью размалевав лицо. Улыбка незнакомки, в которой вызов мешался с невинностью; напомнила ему один из его последних снов. Он слегка поклонился и сказал:

— У меня впечатление, что мы где-то встречались.

Девушка прыснула. «Жаль, — подумал он. — Она смеется так же вульгарно, как красится».

— Какой ты деликатный, — протянула она с интонацией плохой актрисы. — Что было, то было. Встречались.

— Где и когда?

Девушка слегка нахмурилась, заглядывая ему в глаза.

— Последний раз сегодня ночью, в палате номер шесть... Твоя соседняя, номер четыре, — бросила она, уходя.

Профессор зашел к нему в тот же вечер, чтобы взять на прочтение очередную тетрадь, и выслушал его без улыбки, пряча глаза.

— Я полагал, вы знаете, в чем дело, и понимаете, как бы это сказать, научную направленность эксперимента. Анализ не может быть полным без индекса сексуальной потенции. Вы ведь помните, какой вопрос задал вам в последний свой приезд доктор Бернар.

Едва удержавшись от смеха, он покачал головой.

— Помню ли я!.. Да я готов был со стыда сквозь землю провалиться. Выставили голого на всеобщее обозрение. Вокруг стола одни иностранцы...

— Я вас предупреждал, что соберется международный консилиум. Все приехали, чтобы лично убедиться... Информация, которую я опубликовал в «Ла пресс медикал», не внушила им доверия.

— Я не ожидал подобного вопроса... К тому же я был тогда еще в больнице и просто не имел случая никаким образом проверить свои сексуальные возможности.

Профессор криво усмехнулся.

— Но мы кое-что узнали — косвенным образом, конечно, через сиделок.

— Через сиделок?

— Мы полагали, что инициатива исходила от вас... В иных обстоятельствах пациент и соответствующая сиделка понесли бы наказание. Но в вашем случае мы не только закрыли глаза на нарушение, но и оценили всю весомость информации. В конце концов, тут важен не контекст, а сам факт... Что же касается барышни из шестого номера, — продолжил Профессор после паузы, — тут есть привходящие обстоятельства. Лучше я скажу вам сразу, чтобы не возникло осложнений потом. Эту барышню нам навязала Сигуранца.

— Сигуранца? — переспросил он испуганно. — Но зачем?

— Не буду делать вид, что мне все известно, но я знаю точно, что Сигуранцу ваш случай весьма интересует. Вполне возможно, там не убеждены, что я сказал им всю правду; и, по сути дела, они правы. В любом случае Сигуранца *не верит* в вашу метаморфозу. Там убеждены, что история, которая у всех на устах, про молнию в Пасхальную ночь, про ваше коматозное состояние, а затем полное выздоровление и омоложение, — это утка. И что пустили ее легионеры в

целях камуфляжа личности одного из своих лидеров, которому они готовят побег за границу.

Его испуг сменился спокойным любопытством.

— Значит, мое положение серьезней, чем я это себе представлял. Но поскольку никакого выхода пока что нет...

— Выход найдется в свое время, — перебил его Профессор. — А пока вам следует знать, что Сигуранца за вами следит и следила с самого начала. Поэтому мы и снабдили вас костюмом, в котором вы не осмелитесь выйти на улицу, иначе вас немедленно арестуют. И в больничной униформе, какой бы она ни была элегантной, вы тоже не пойдете гулять по городу. Вы поняли намек: гуляйте на здоровье, но только до ворот. Вот то, что мы знаем. Но мы не знаем даже, какая часть персонала клиники — информаторы Сигуранцы...

Он рассмеялся и левой рукой помял щеки.

— В сущности, может, это и к лучшему. Здесь, взаперти, я по крайней мере огражден от сюрпризов.

Профессор смерил его долгим, сомневающимся взглядом, затем решительно сказал:

— Вернемся к более важной проблеме. Вы абсолютно уверены, что принимали свой сексуальный опыт за эротические сны?

Он задумался.

— Вот сейчас у меня уже нет абсолютной уверенности. До сегодняшнего вечера я был уверен, что речь идет о снах...

— Я спрашиваю, потому что при всем разнообразии ваших снов в них нет ярко выраженных эротических элементов — сколько я помню по прочтении тетради.

— Вероятно, мне следовало записать сны и такого рода, но я не считал их заслуживающими внимания... В любом случае, — добавил он, выдержав паузу, — если я спутал реальные события с эротическими снами, дело обстоит хуже, чем я предполагал.

Он приложил руку к виску, таким наивным жестом давая понять, что хочет собраться с мыслями.

— Я вас слушаю, — сказал наконец Профессор. — В каком смысле хуже?

Он поднял на Профессора глаза и смущенно улыбнулся.

— Не знаю, уловили ли вы некоторые намеки в той тетради, я гово-

рю об ощущении, которое меня не покидает с недавних пор, ощущение, что я учусь во сне... или мне снится, что я учусь — например, открываю какую-нибудь грамматику, прочитываю и запоминаю пару страниц или листаю какую-нибудь книгу...

— Весьма интересно, — заметил Профессор. — Но вы не удосужились записать это в ясном и точном изложении. По крайней мере в той тетради, которую я читал.

— В ясном и точном у меня бы не получилось. Это какой-то многосерийный сон, можно сказать, образовательный: я и во сне вижу грамматические правила, иностранные слова и их этимологии. Я думал сначала, что тому виной сильные дневные впечатления от занятий. Но сейчас я думаю: а что, если я, наподобие сомнамбулы, вставал среди ночи и в самом деле принимался за книги?

Пока он говорил, Профессор не спускал с него глаз и хмурил лоб — знак, как он давно заметил, что в мозгу маэстро теснится множество вопросов сразу.

— Не знаю, не знаю, — сказал Профессор, — вы не выглядите усталым и не производите впечатление интеллектуала, который полночи проводит за книгами... Да и как могли не заметить света, если бы он горел по ночам в вашей комнате?... Это какой-то парадокс — что расплывчатость ваших впечатлений, а точнее, стирание грани между тем, что с вами происходит во сне и наяву, развилось параллельно с гипермнезией... Помните, как вы рассказали мне о запахах олеандра и мазута, когда взглянули на фотографию сорокалетней давности...

— Но сейчас я больше в этом не уверен, — воскликнул он, — не уверен, что помню! Я ни в чем больше не уверен!

Оставшись один, он поймал себя на мысли: «Молодец, что сказал, что больше ни в чем не уверен. Теперь у тебя всегда есть отговорка — дескать, спал и видел сон. А если понадобится, можно и сон выдать за явь. Только будь начеку, никогда не говори им всей правды!»

Он покрутил головой, напряженно озираясь, и тихо сказал, как будто обращался к кому-то невидимому:

— Даже если бы я захотел, я бы не мог! Не знаю почему. — Он понизил голос до шепота: — Есть вещи, говорить о которых выше моих сил.

В ту ночь он долго боролся с бессонницей (впервые с тех пор, как ушел из дому, и это его встревожило. Бессонницей он страдал чуть ли не

всю жизнь, но в последнее время решил было, что с ней покончено). Как обычно, он думал о загадке чудесного возвращения памяти. Впрочем, он уже давно понял, что речь идет ни о каком не возвращении, потому что нынешняя его память была куда острее и обширнее, чем прежняя. Память мандарина — как раз такая, какую, по словам Шаванна, следует иметь синологу. Только он, пожалуй, уже перещеголял любого мандарина: донельзя странная гипермнезия. Ему еще не привезли из Пятра-Нямц грамматику и словарь, а он уже проговаривал про себя китайские тексты, отчетливо видя каждый иероглиф и по мере чтения перевода. Несколько дней спустя он проверил написание, произношение и перевод, лихорадочно пролистав антологию и словарь Жилия. Он не сделал ни единой ошибки. С легким сожалением он черкнул несколько строк в тетради: бедный Бернар не сумеет определить, который пласт памяти восстановился первым, пациент обнаружил, что владеет китайским языком в таких пределах, в каких никогда им не владел. Он открывал теперь любой текст, читал и понимал его с той же легкостью, с какой латынь или староитальянский.

Стояла теплая-теплая ночь, окно в сад было открыто. Ему слышались шаги. Не включая света, он спустился с кровати, высунулся из окна и увидел охранника. Как он понял, тот тоже увидел его.

— Не спится? — тихо, чтобы не будить соседей, спросил он.

Охранник вздернул плечами и, попятившись, растворился в темноте сада. «Спросить его завтра — так, пожалуй, скажет, что это мне приснилось,— подумал он. — А я тем не менее *уверен*, что не сплю». Вернулся в постель, закрыл глаза и сказал себе, как когда-то, перебарывая бессонницу: «Через три минуты я усну!..» «Засыпай же,— непроизвольно потекли дальше мысли,— во сне ты лучше усваиваешь ученье. Образовательные сны, как ты сказал давеча Профессору. Увидишь еще серию образовательных снов. Не с китайским, нет. Кое-что другое, поважнее, кое-что другое...»

Ему нравилось слушать свои мысли, но сейчас к ним примешивалась невнятная тревога, и он тихонько пригрозил себе: «Считаю до двадцати. Если не засну на счет двадцать, встаю и иду гулять по саду». Но досчитать сумел только до семи.

Пару дней спустя Профессор, пришедший за второй тетрадью, спросил его, не поднимая глаз от страниц:

— Вы случаем не помните, как позавчера ночью вылезли в окно и ушли в ту отдаленную часть сада, где разбиты клумбы с розами?

Чувствуя, что заливается краской, он пробормотал:

— Если я что и помню, так это что я не мог заснуть и сказал себе: «Если я не засну на счет двадцать, встаю и иду гулять по саду». Но после этого — провал. Вероятно, заснул мгновенно.

На губах Профессора играла загадочная улыбка.

— Однако же вас видели у розовых клумб. Отнюдь не спящим.

— Неужели я стал лунатиком? — ужаснулся он. — За мной такого раньше никогда не водилось!

Профессор резко встал, отошел к окну и постоял, глядя в сад. Потом вернулся к креслу, снова сел.

— Я так и думал. Дело плохо. Когда охранник поднял тревогу, двое из персонала, вероятно агенты Сигуранцы, бросились на улицу — они не знали, что охранник вас уже засек, — и увидели машину с погашенными фарами — за оградой, как раз напротив розовых клумб, где находились в тот момент вы. Машина, разумеется, тут же скрылась, номера они не разглядели...

Он потер рукой лоб.

— Если бы я услышал это не от вас...

— Знаю, в это трудно поверить, — не дал ему договорить Профессор. — Однако есть три свидетеля, люди простые, но надежные и с кое-каким опытом...

— А что они сделали со мной? Взяли под белые руки и отвели обратно в палату?

— В саду с вами был один охранник. Он утверждает, что когда вы встретились с ним глазами, то тут же повернулись и ушли... Забрались в палату через окно, тем же путем, что вышли... Лунатизм это или нет, неважно. Главное: Сигуранца больше не сомневается, что готовился ваш побег. Тот факт, что вас застигли именно там, где за оградой ждала машина, — прямое свидетельство против вас; по их мнению, вы прекрасно знали, в чем дело, и спустились в сад не случайно... Нам пришлось обратиться в самые высокие инстанции, чтобы вас не арестовали.

— Благодарю, — в полном смущении промямлил он, отирая пот со лба.

— Пока что усилили охрану. С наступлением темноты улицу непре-

рывно патрулируют. Сержант в штатском будет курировать вас со стороны сада. — Профессор понизил голос. — Он уже на часах... А охранник будет по ночам спать под вашей дверью на раскладушке.

Профессор вскочил и зашагал по комнате, рассеянно перекладывая тетрадь из одной руки в другую. Потом, остановившись подле него, посмотрел ему прямо в глаза.

— А вы как объясняете эту череду совпадений? Неожданная бессонница, внезапно открывшийся лунатизм, в приступе которого вы устремляетесь к клумбам с розами, *точно* к тому месту, где за оградой вас ждет машина с потушенными фарами... каковая скрывается при первом же сигнале тревоги... Как вы все это объясняете?

Он пожал плечами в полной растерянности.

— Никак не объясняю... До прошлой недели я вообще с трудом примирялся с мыслью, что путаю, где сон, где явь. Если бы не бесспорные доказательства... Но чтобы дойти до лунатизма, да еще какая-то машина...

Профессор открыл свой портфель, набитый журналами и брошюрами, и аккуратно засунул между ними тетрадь.

— Если бы это были не вы — возвращая вам вашу формулу, — если бы я не видел ваши семейные альбомы, ваши фотографии от тридцати до шестидесяти с лишним лет, я бы, пожалуй, признал гипотезу Сигуранцы: что вы тот, за кого она вас принимает...

«Что ты дергаешься? — услышал он свои мысли, как только погасил свет. — Все идет нормально. Так и должно быть: пусть тебя с кем-то путают, пусть думают, что ты не можешь отличить, где сон, где явь, и бродишь лунатиком. Лучшего камуфляжа не найти. В конце концов ты убедишься, что нет никакой опасности. Что о тебе заботятся...»

Мысль оборвалась, и он, подождав, прошептал: «Кто обо мне заботится?» Подождал еще и услышал не в своем, в каком-то незнакомом ему тоне: «А ты думал, что все, через что ты прошел, — дело случая?» — «Неважно, что я думал, — нетерпеливо перебил он сам себя. — Кто обо мне заботится?» И, притихнув в страхе, услышал: «Узнаешь после. Сейчас не это главное... К тому же ты кое о чем догадываешься, и давно. Иначе почему ты никогда не доверяешь Профессору *некоторые мысли*? Ни Профессору, ни бумаге. Если бы ты не знал, что существует *что-то другое*, почему бы тебе не намекнуть на свои открытия последних двух не-

дель?...» — «Вернемся к моему вопросу», — попытался он перебить течение мысли. Смолк и, когда ему показалось, что он различает ответ, уснул.

«Лучше будем разговаривать во сне, — услышал он. — Во сне скорее схватываешь, глубже понимаешь. Ты говорил Профессору, что во сне нить твоих дневных занятий не прерывается. На самом деле все не так, и ты давно в том убедился. Ты ничего не выучил ни во сне, ни бодрствуя. Ты просто убедился, постепенно, что владеешь китайским. В один прекрасный день ты очнешься со знанием и других языков, каких только пожелаешь. Разве ты просто вспоминаешь то, что знал в юности, а потом забыл? Полно! Как насчет албанской грамматики?..»

Это напоминание встряхнуло его так сильно, что он проснулся и зажег лампу. Ему с трудом верилось в случившееся, даже теперь, неделю спустя. Никогда в жизни он не учил албанский язык. Лет двадцать тому назад купил грамматику Г. Мейера, но дальше предисловия дело не пошло, и с тех пор он ни разу в нее не заглядывал. На прошлой неделе, распаковывая ящики с книгами из дому, он наткнулся на эту грамматику и открыл ее наугад, где-то ближе к концу. С волнением и страхом обнаружил, что все понимает. Поискал перевод параграфа и убедился: да, все верно...

Он вскочил с постели и шагнул к книжным полкам, так ему захотелось во что бы то ни стало еще раз проверить свое открытие. И тогда из-за распахнутого окна его одернул незнакомый голос:

— Вам что, не спится?

Он вернулся в постель, с яростью зажмурил глаза, твердя шепотом:

— Не думать, ни о чем не думать.

«А я тебе что говорю — с самой первой больничной ночи?» — услышал он мысленное.

И тут в нем забрезжило понимание того, что же произошло. Электрический заряд огромной силы, разрядившись прямо над ним и пронизав его насквозь, регенерировал все клетки его организма и сказочно расширил возможности мозга. Но тот же электрический заряд сотворил в нем новую личность, что-то вроде двойника, с которым они, чаще всего во сне, мирно беседуют, а иногда и пререкаются. Вполне возможно, что эта новая личность складывалась, пока шло выздоровление, в самых глубоких пластах его подсознания. Повторив про себя несколько раз это объяснение, он услышал: «Хорошо най-

дено — двойник! Точно и пойдет тебе впрок. Но не торопись докладывать Профессору».

Он не понимал — и это вызывало в нем легкое удивление и досаду, — зачем постоянно напоминает себе о мерах предосторожности, когда и так решение уже давно принято (в сущности, решения и не было нужды принимать, он просто знал, что *по-другому не сможет*). Разговоры с ним Профессор неизменно сводил на гипермнезию и прогрессирующее отрицание прошлого.

— Хотите, вам привезут рукописи и папки с вашими материалами, — предложил он раз. — При нынешних ваших возможностях вы могли бы завершить работу за несколько месяцев...

Он панически поднял вверх обе руки и даже не сказал, а вскрикнул: — Нет! Нет! Меня это больше не интересует.

Профессор опешил, проронил разочарованно:

— Но это же труд всей вашей жизни...

— Его следует переписать с первой до последней страницы, а я не уверен, что игра стоит свеч. Пусть останется, как есть, *opus imperfectum**... Я вот что хотел вас спросить, — сменил он тему, — если это не секрет. За мной ничего такого не замечали в последнюю неделю? Что докладывает охранник и все прочие?

Профессор встал с кресла, постоял несколько мгновений у окна, потом в задумчивости вернулся на место.

— Умеют быть невидимыми, когда надо, но, конечно, все бдят... Ничего сенсационного не докладывали: только что вы по многу раз за ночь включаете свет. Включаете и через пару минут гасите... По крайней мере так мне сказали... Подозреваю, что мне всего не говорят, — добавил Профессор, понизив голос. — Подозреваю, что они узнали еще о чем-то немаловажном — или вот-вот узнают...

— В связи со мной? — спросил он, переборов волнение.

Профессор призадумался, потом снова рывком встал и отошел к окну.

— Не знаю, — сказал он немного погодя. — Может быть, и не только в связи с вами...

* Незавершенный труд (лат.).

Утром 3 августа Профессор пришел неожиданно, после ощутимого перерыва.

— Не знаю, радоваться или нет. Вы прославились на всю Америку. Один иллюстрированный журнал опубликовал интервью с вами — конечно, фальшивку: «Как в меня попала молния». Фальшивка произвела сенсацию, все наперебой принялись ее перепечатывать. Комитет по печати проинформировал нас, что трое корреспондентов крупных американских газет прибыли в страну вчера вечером и хотят непременно с вами встретиться. Им ответили, что доктора пока не разрешают посещений. Но сколько времени еще удастся вас скрывать? Возможно, в эту минуту газетчики уже развернули свою деятельность. Младший персонал больницы расскажет им все, что знает, и много сверх того, от себя. Найдутся информаторы и здесь... Что же касается фотографий, тут у меня иллюзий нет. Вас, бесспорно, снимали, и неоднократно: на прогулке, у окна, может быть, даже в постели... Но я вижу, это известие вас отнюдь не ошеломило, — заметил Профессор, просверлив его взглядом. — Вы ничего не говорите.

— Я ждал продолжения.

Не сводя с него испытующих глаз, Профессор подошел ближе.

— Откуда вы знаете, что есть продолжение?

— Догадался, потому что вы нервничаете. Я вас таким никогда не видел.

Профессор с горечью усмехнулся.

— Вы, может, и не видели, тем не менее похвастаться крепостью нервов я не могу... Однако к делу. Возник целый ряд осложнений, особенно в те две недели, что я отсутствовал.

— Из-за меня?

— Нет, не из-за вас. И не из-за меня. Вы не покидали территорию (я это знаю, потому что звонил каждый день). Я же за две недели, проведенные в Пределе, не обсуждал ситуацию ни с кем, кроме двоих-троих коллег, в чьей надежности не могу усомниться... Но кое-что стряслось. Барышня из шестого номера, которую нам подсунула Сигуранца, исчезла десять дней назад. В Сигуранце давно подозревали, что она — двойной агент. Но что она работает на гестапо, даже они не догадывались...

— Надо же, — тихо сказал он. — Но как могли это так скоро установить?

— Раскрыли шпионскую сеть, куда она входила, и арестовали троих агентов, как раз тех, что подстерегали вас несколько ночей подряд в машине с погашенными фарами. Сигуранца не без оснований предполагала, что вас должны были похитить и переправить через границу, в Германию. Они ошиблись только в одном: речь шла не о ком-то из вождей легионеров, а о вас лично.

— Да зачем я им? — улыбнулся он.

Профессор шагнул к окну, но замер на полпути, обернулся и с минуту вглядывался в него.

— Затем, что вы — то, что вы есть, после всего случившегося. — Профессор стал медленно прохаживаться между дверью и креслом. — Я никогда не строил себе иллюзий. Знал, что когда-нибудь информация просочится. Потому-то и писал регулярно в «Ла пресс медикал» — хотел, чтобы по крайней мере сведения были из первых рук. Конечно, всего я не раскрывал. Довольствовался сводками об этапах восстановления физической и умственной нормы. Только раз позволил себе аллюзию, и то довольно расплывчатую, на процесс омоложения. А о гипермнезии — ни слова... Но они вывели все: и про вашу феноменальную память, и про то, что вы вспомнили все языки, которые учили в юности. Таким образом, вы стали самым ценным экземпляром человеческой породы из имеющихся сейчас на земном шаре. Все медики мира желают заполучить вас, хотя бы на время, к себе в университеты.

— В качестве морской свинки? — снова улыбнулся он.

— Можно сказать и так. Вполне понятно, почему гестапо хочет похитить вас любой ценой — в его руках информация, добытая барышней из шестого номера.

Профессор на минуту смолк, потом неожиданно заулыбался.

— Ваша подруга — на одну ночь или на несколько?...

— Боюсь, что не на одну, — признался он, краснея.

— Так вот, ваша подруга оказалась смышленнее, чем думала Сигуранца. Она не ограничилась одной только проверкой потенции и не только, пользуясь вашим парасомнамбулическим состоянием, выпытала у вас, кто вы такой. Она поступила по-научному: записала на крохотный магнитофон все ваши с ней разговоры, а вернее, ваши длинные монологи, и передала их Сигуранце. Там были интересные вещи. Например, вы читали стихи на очень многих языках, а когда она задавала вам вопросы по-не-

мецки или по-русски, вы отвечали впопад и без всяких затруднений. Кроме того, она составила список всех грамматик и словарей, которые вы получили из дому. И всю собранную информацию предусмотрительно продублировала для своих шефов из гестапо. Вероятно, кто-то из высших чинов последнего, прослушав пленки, и распорядился похитить вас.

— Понятно,— проронил он, потирая лоб.

Профессор выглянул в окно, долго осматривал сад, прежде чем продолжить:

— Разумеется, охрану удесятерили. Вы, может, и не заметили, но уже несколько дней все соседние комнаты заняты агентами. А по ночам — можете себе представить, как патрулируется улица... И при всем том вскоре вам предстоит эвакуация.

— Жаль,— сказал он. — Я привык... и мне даже нравилось.

— Нам посоветовали уже сейчас начать вас маскировать. Во-первых, надо отпустить усы. Потом, мне сказали, над вашей внешностью поработают; я думаю, перекрасят волосы и изменят стрижку, чтобы вы не были похожи на фотографии, тайком снятые в последние недели. Меня уверяли, что смогут прибавить вам лет десять-пятнадцать. При выходе из клиники вам на вид будет за сорок... — Профессор устало смолк и опустил-ся в кресло. — К счастью, у вас больше не повторялись кризы парасомнамбулизма. По крайней мере так сказали мне...

День обещал быть жарким. Он снял больничную куртку и, облачившись в самую тонкую пижаму, какую только нашел в шкафу, растянулся на постели. «Ты, конечно, прекрасно понимаешь,— взошла в мозг мысль,— что ты не лунатик. Ты вел себя так, как было надо, чтобы устроить путаницу. Но теперь необходимость в этом отпала...»

— Двойник,— прошептал он. — Предупреждает вопросы, которые я собираюсь задать. Как настоящий ангел-хранитель.

«Что ж, эта формула тоже точна и плодотворна.» — «А есть и другие?» — «Есть, и много. Некоторые уже вышли из употребления и стали анахронизмом, некоторые — вполне действенны, особенно там, где христианство сумело сохранить в теологии и на практике древнейшие мифологические традиции». — «К примеру?» Он с любопытством улыбнулся. «К примеру, наряду с ангелами и ангелами-хранителями, силы, архангелов, серафимов, херувимов. Существ по преимуществу промежуточ-

ных». — «Промежуточных между областью сознательного и бессознательного?» — «Разумеется. Но также и между природой и человеком, между человеком и божеством, рацию и эросом, началом женским и мужским, тьмой и светом, материей и духом...»

Он заметил, что смеется, и приподнялся на локтях. Внимательно оглядел палату, потом проговорил тихо, но отчетливо:

— Итак, мы вернулись к моей старой страсти: к философии. Сумеет ли мы когда-нибудь *логическим* путем продемонстрировать реальность внешнего мира? Метафизика пока что представляется мне единственной безупречно логической конструкцией.

«Мы отделились от темы дискуссии, — услышал он снова свою мысль. — Суть не в реальности внешнего мира, а в объективной реальности «двойника», или ангела-хранителя — как тебе больше нравится. Не так ли?» — «Именно так. Я не могу поверить в *объективную* реальность личности, с которой беседую; я считаю ее своим двойником». — «В определенном смысле так оно и есть. Но это не означает, что личность сия не существует и сама по себе, независимо от сознания, чьей проекцией, по всей видимости, является». — «Хотел бы в это верить, однако...» — «Знаю, в метафизических спорах эмпирические опыты — не доказательство. И все же — не хочешь ли получить, прямо сейчас, розы из сада?»

— Розы? — воскликнул он, встрепенувшись. — Розы я всегда любил.

«Куда мне их поставить? Не в стакан же?» — «В стакан — ни в коем случае. Вложи одну розу мне в правую руку, другую — положи на колени, а третью, скажем...»

В ту же секунду его пальцы сжали прекрасную розу цвета алой крови, а на коленях заколыхалась, клонясь вниз, вторая.

«Куда третью? — услышал он мысль. — Куда мне положить третью розу?..»

— Положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали.

Голос Профессора доносился то ли из-за плотной завесы, то ли из далекого далека, но сам Профессор сидел перед ним, в кресле, с портфелем на коленях.

— Серьезнее, чем мы предполагали? — машинально откликнулся он. Профессор подался вперед и потрогал его лоб.

— Что с вами? Плохо спали?

— Нет, нет. Но как раз в тот момент, когда вы входили в палату, мне показалось... Впрочем, неважно...

— А я к вам по важному и срочному делу, — объявил Профессор. — Вы пришли в себя? Можете меня выслушать?

Он потер лоб и с усилием улыбнулся.

— Мне просто не терпится вас выслушать.

Профессор откинулся на спинку кресла.

— Я сказал, что положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали, потому что теперь мы знаем точно, что гестапо не остановится ни перед чем — повторяю, ни перед чем, — лишь бы заполучить вас. Вы сейчас поймете почему. Среди приближенных Геббельса есть одна темная лошадка, некто доктор Рудольф. Он выдвинул теорию, на первый взгляд безумную, но, по сути, не лишенную элементов научного обоснования. Дескать, если через человека пропустить электрический заряд по меньшей мере в миллион вольт, это может вызвать в организме радикальную мутацию. Заряд такой силы якобы не только не убивает, но, напротив, оказывает тотальное регенерирующее воздействие... Как в вашем случае... К счастью ли, к несчастью, но эту гипотезу нельзя проверить экспериментальным путем. Сам Рудольф признается, что не установлено, какой точно мощности должен быть электрический заряд, чтобы произошла мутация. Миллион вольт как минимум, а может быть, и два миллиона... Понимаете теперь, какой интерес для них представляет ваш случай?

— Понимаю, — откликнулся он.

— Вся информация, которую они собрали о вас, а собрали они достаточно, подтверждает их гипотезу. Окружение Геббельса преисполнено энтузиазма. Предприняты кое-какие дипломатические шаги: дескать, во имя науки, на благо человечества и прочая. Очень многие университеты и научные центры зазывают нас на конференции: приглашают меня, вас, доктора Гаврилу и всех, кого нам будет угодно взять с собой. Одним словом, хотят заполучить вас хотя бы на время. А поскольку мы неуступчивы, гестапо может пустить в ход свои методы.

Профессор вдруг смолк, как будто ему не хватило дыхания, и он вдруг заметил, как тот постарел, осунулся.

— Нам пришлось предоставить им копию медицинской карты, заведенной на вас в больнице. В научных кругах это дело обычное, отказать

мы не могли. Но, конечно, кое-что мы утаили. Последние материалы, в том числе фотокопии ваших тетрадей и дубликаты магнитофонных пленок, отправлены в Париж. Сейчас их изучает доктор Бернар со своими сотрудниками, а потом они будут переправлены в одну из лабораторий Рокфеллеровского фонда... Но вы, я вижу, меня не слушаете. Вы устали. Я продолжу в другой раз.

Продолжение показалось ему бесконечным. Иногда оно не вызывало у него ни малейшего интереса, иногда было впечатление, что он слышит вещи, которые ему уже известны — но откуда, он не мог бы сказать. Например, подробности про ту молнию в Пасхальную ночь. Установили, что ливень не переходил за строго очерченные пределы и что молния была одна-единственная, причем странного вида, похожая на гигантское раскаленное копьё — так говорили верующие, которые пережидали дождь на паперти. Кроме подосланных доктором Рудольфом специалистов, которые собрали по крохам всю информацию относительно формы и интенсивности молнии, объявился один известный дилетант, состряпавший несколько книжек по *etrusca disciplina**. Менее чем за неделю ему удалось вычислить площадь, на которой выпал дождь, и теперь он толковал символику пространства, на котором разрядилась молния.

— Но все эти опросы и изыскания имеют не более чем анекдотическую ценность, — заключил Профессор. — Seriously тут одно — решение доктора Рудольфа начать эксперимент с высоковольтным током, как только досье укомплектуется вашими личными показаниями.

— Но что я могу добавить к уже известному? — недоуменно спросил он.

— Понятия не имею. Возможно, он хочет восполнить недостаток информации лабораторными опытами: например, произведет серию искусственных разрядов в надежде, что вы узнаете, по интенсивности вспышки, молнию, которая попала в вас. А может, хочет услышать непосредственно из ваших уст, что вы ощутили в ту самую минуту, помните — как вас всосал смерч, который обрушился сверху вам на макушку. Не знаю. Есть только подозрение, что эксперименты с электричеством будут производиться на политзаключенных. А это преступление надо предотвратить во что бы то не стало...

* Наука об этрусках (лат.).

Он отпустил усы, как ему было предложено.

— К изменению вашей внешности приступят позже, — сказал ему Профессор вечером 25 сентября.

Он с трудом сдержал волнение.

— Чемберлен и Даладьё — в Мюнхене, — выпалил с порога Профессор. — Со дня на день может начаться. — Опустился в кресло. — Те, кто вами занимается, переменили планы. Сегодня же ночью вас эвакуируют, втайне, но так, чтобы кое-кто заметил машину, на которой вас будут транспортировать. Затем, километрах в двадцати — двадцати пяти отсюда...

— Позвольте я подскажу, — с улыбкой перебил он Профессора. — В двадцати — двадцати пяти километрах от Бухареста будет инсценирована авария.

— Совершенно верно. Найдутся и свидетели. В прессе появится сообщение о рядовом дорожном происшествии, в котором погибли три человека. Их тела будут обожжены до неузнаваемости. Тем не менее разные информационные службы проводят, что жертвами стали вы и двое охранников, сопровождавших вас в надежное и безопасное место... Собственно, в такое место вы и попадете. Не знаю, где вас спрячут. Но именно там и совершится преобразование вашей внешности, о котором я вам говорил. Самое позднее через месяц вас переправят в Женеву — не знаю каким образом, меня не посвятили. Паспорт у вас будет в полном порядке, а Женеву предложил Бернар. Он полагает, что в данный момент Париж не самое надежное место. При первом же удобном случае он выберет вас проводить... Я тоже, — добавил Профессор, помолчав. — Хочу надеяться...

III

Профессора он больше не увидел, потому что тот умер в конце Октября. Он боялся, что так и будет, с того самого дня, когда Профессор вошел в палату со словами: «Положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали...» А он увидел тогда, как Профессор схватился за сердце и со стоном рухнул на пол. Кто-то завизжал, хлопнула дверь, шаги застучали по коридору. И только когда Профессор нагнулся к нему и спро-

сил: «Что с вами? Плохо спали?» — он пришел в себя. Но видение с тех пор преследовало его. И когда доктор Бернар начал: «Я к вам с печальным известием...» — он чуть не брякнул: «Знаю, умер Профессор».

Доктор Бернар приезжал проводить его раз в месяц, не реже, и проводил с ним почти целый день. Иногда, задавая ему разных вопросов, включал магнитофон и просил повторить ответы. К счастью, вопросы вертелись вокруг памяти, вокруг новой модели поведения (отношение к людям, к животным, к событиям — в сравнении с тем, что было раньше), вокруг адаптации личности к парадоксальной ситуации (как он считает — мог бы он влюбиться соответственно тому возрасту, в который вернулся?). На подобные вопросы он отвечал безбоязненно. Каждый раз Бернар привозил ему некоторую сумму денег (выделяемых для него Рокфеллеровским фондом). Бернар же помог ему получить место в университете и поручил собирать материалы по истории медицинской психологии.

После оккупации Франции он надолго остался без известий от доктора Бернара, хотя до декабря 1942-го продолжал получать, каждые три месяца, чек непосредственно из Рокфеллеровского фонда. В начале 1943-го к нему пробилась весточка из Португалии. Доктор Бернар обещал в скором времени написать «длинное письмо, потому что накопилось много разных новостей». Но письмо так и не пришло. Только после освобождения Франции, адресовавшись к одному из ассистентов доктора, он узнал, что Бернар погиб в авиакатастрофе над Марокко в феврале 1943-го.

Каждый день он ходил в библиотеку и заказывал груды книг и старых журналов. Внимательно их перелистывал, делал выписки, составлял библиографические карточки. Но вся эта работа была не более чем камуфляж. Бросив взгляд на первые же строчки, он уже знал, что там дальше. Ему стоило только *захотеть* — и оказывалось, что ему известно содержание раскрытого перед ним текста. В суть анамнеза, как он называл это про себя, он не вникал. Однажды ему приснился длинный и драматический сон — он запомнил его лишь фрагментарно, потому что не раз просыпался по ходу событий и прерывал их. Особенно сильное впечатление произвела на него следующая подробность: от воздействия мощного электрического заряда его умственные способности достигли такого порога, какой человечеству предстоит достигнуть лишь через десятки тысяч лет. Главной характеристикой нового человечества будет иная структура психоментальной жизни: все достижения человеческой мысли, вы-

раженные когда бы то ни было устно или письменно, становятся достоянием индивидуальной памяти с помощью определенного упражнения по концентрации. Собственно, образование будет состоять в обучении методе концентрации под контролем инструкторов.

«Короче, я мутант, — заключил он, проснувшись. — Прообраз пост-исторического человека. Этакий герой science-fiction». Он весело улыбнулся. Иронические замечания он отпускал главным образом для «сил», которые о нем заботились. «Так оно и есть в каком-то отношении, — всплыла мысль. — Только в отличие от персонажа science-fiction ты сохранил свободу принимать или не принимать свое новое качество. Захочешь обрести прежнее — ты волен сделать это в любой момент...»

«Волен?» Он глубоко перевел дух и, оглянувшись по сторонам, произнес:

— Итак, я свободный человек!.. Однако же... — Но не посмел облечь свою мысль словами.

Еще в 1939 году он решил завести отдельную тетрадь только для самого себя. И открыл ее тем, что назвал про себя свидетельством в пользу гуманной сути постисторического человека: «Спонтанное, автоматическое усвоение знаний не убивает ни вкуса к исследованию, ни радости открытия. Вот пример, легко поддающийся проверке: любитель поэзии берет в руки томик любимых стихов с неубывающим удовольствием. Он знает их наизусть — и все же нет-нет да и припадает к книге. Потому что повторное чтение знакомого текста дает возможность раскрыть в нем то, что до тех пор ускользало, — новую красоту, новый смысл. Так же и знания, которые получаешь в готовом виде, все эти языки и литературы, которые вдруг оказываются в голове, нисколько не умаляют радость ученья, исследовательского процесса».

Сейчас, несколько лет спустя, перечитывая тогдашнее, он временами одобрительно кивал: «Выучить основательно и с удовольствием можно только то, что уже знаешь». Или: «Не уподобляйте меня электронному калькулятору. Да, если его правильно питать — как и меня, — он сможет прочесть наизусть «Одиссею» или «Энеиду». Но я читаю их всякий раз иначе». Или: «Каждое творение культуры (подчеркиваю: культуры, не одного только искусства) есть источник неисчислимых блаженств».

Он всегда волновался, вспоминая эпифанию тех двух роз. Время от времени, правда, ему нравилось оспаривать их пригодность в качестве

философского аргумента. Следовали длинные, упоительные диалоги; он все собирался записать их, особенно за литературные, так ему чудилось, достоинства. Однако в последний раз диалог закруглился, если не сказать оборвался, довольно скоро. «В сущности,— повторил он еще раз в тот зимний вечер 1944-го,— подобные парапсихологические феномены могут быть результирующими каких-то сил, нам неизвестных, но которыми, предположим, владеет наше подсознание». — «Спору нет,— услышал он мысленное,— любое действие производится более или менее известной силой. Но ты накопил уже столько опыта, тебе стоит пересмотреть свои философские принципы. Понимаешь, на что я намекаю?..» — «Кажется, да»,— признал он с улыбкой.

В последние военные годы он не раз обнаруживал, что на его счету в банке кончаются деньги, и начинал с любопытством предвкушать разрешение кризиса. В первый раз ему пришел почтовый перевод на тысячу франков от неизвестного лица. Благодарственное письмо вернулось с надписью: «Адресат по указанному адресу не числится». В другой раз он случайно встретил в привокзальном ресторане знакомую, коллегу по университету. Узнав, что она едет на неделю в Монте-Карло, попросил ее пойти на третий день в казино и ровно в семь вечера (*ровно* в семь), в первом зале с рулеткой на первом столе поставить сто франков на определенное число. Еще он попросил ее сохранить это в тайне и повторил просьбу, когда молодая дама, потрясенная, привезла ему три тысячи шестьсот франков.

Но больше всего ему понравился последний случай. Его он имел в виду, отвечая на мысленное: «Понимаешь, на что я намекаю?» По дороге из библиотеки он всегда проходил мимо лавки филателиста. На этот раз, сам не понимая почему, он остановился и стал по очереди разглядывать все три витрины. Филателия никогда его не занимала, и он недоумевал, почему никак не может расстаться с одной из витрин, причем наименее привлекательной на вид. Наткнувшись взглядом на затрепанный, неприметный альбом, он понял, что должен его купить. Альбом стоил пять франков. Придя домой, он стал его перелистывать с живым любопытством, хотя не знал, что он там ищет. Это была явно коллекция начинающего, возможно какого-нибудь лицеиста. Даже человек, далекий от филателии, разобрался бы, что тут только банальные марки недавних выпусков. Внезапно рука его потянулась за ножом, и он принялся вспарывать картон-

ные страницы. Потом осторожно извлек из их толщи несколько целлофановых конвертов со старыми марками. Было нетрудно догадаться, в чем дело: кто-то, преследуемый режимом, попытался, и с успехом, вывезти из Германии коллекцию раритетов.

На другой день он снова зашел в лавку и спросил владельца, кто продал ему этот альбом. Тот не знал, альбом был куплен вместе с партией других на аукционе, несколько лет назад. Когда он показал коммерсанту марки, извлеченные из тайника, тот побледнел.

— Это раритеты не только для Швейцарии, вы таких сейчас нигде в мире не найдете. За них можно выручить по меньшей мере сто тысяч франков. А если подождете до международных торгов, то и все двести.

— Поскольку я купил их у вас за бесценок, считаю, что прибыль следует разделить пополам. Сейчас я бы взял у вас в задаток несколько тысяч франков наличными. Остальное — по мере того, как будете продавать марки, — кладите на мой счет в банке.

«Как бы взбудоражили Лейбница подобные происшествия! — весело сказал он себе. — Когда приходится пересматривать свои философские принципы, поскольку каким-то таинственным, каким-то непостижимым образом...»

Еще в 1942 году он почувствовал, что версия с дорожной аварией не провела ни гестапо, ни другие разведывательные службы, которые по разным мотивам интересовались его случаем. Вероятно, в Бухаресте кто-то проболтался, а потом в Париже подробности добавили ассистенты доктора Бернара. Но даже если стало известно, что он живет в Женеве, то под чьим именем и как он теперь выглядит, знать не мог никто. К своему удивлению, однажды вечером, выйдя из кафе, он обнаружил за собой слежку. Ему удалось оторваться, и неделю он провел в селе под Люцерном. Вскоре после возвращения инцидент повторился: двое мужчин без возраста, в серых плащах, поджидали его напротив библиотеки. Вместе с ним как раз выходил один из библиотекарей, и он напросился к нему в провожатые. Через некоторое время, когда и библиотекарь тоже убедился, что за ними следят, они взяли такси. Шурин библиотекаря, по счастливому совпадению, служил чиновником в Управлении по делам иностранных граждан и, наведя справки, сообщил, что его спутали с кем-то то ли из секретных агентов, то ли из информаторов. Его позабавило, что, разыскиваемый гес-

тапо и, возможно, другими службами тоже, он чуть не попался из-за банального недоразумения.

Почти с самого начала, по совету доктора Бернара, он хранил свои тетради в банковском сейфе. Потом отказался от тетрадей и стал писать в блокноте, который всегда носил при себе. Некоторые страницы с записями совсем уж личного порядка отправлял в сейф тотчас же.

В первый вечер своей добровольной ссылки под Люцерном он решил упорядочить автобиографические заметки:

«Я не *clairvoyant**, не оккультист и не вхожу ни в какое тайное общество. Одна из тетрадей, хранящихся в сейфе, содержит краткое описание той жизни, которую я начал весной 1938-го. Происшедшие во мне на первых порах перемены были описаны и проанализированы в отчетах профессоров Романа Стэнчулеску и Жильбера Бернара и отправлены последним в какую-то из лабораторий Рокфеллеровского фонда. Однако отчеты эти касаются лишь внешних аспектов процесса мутации, начавшегося во мне с апреля 1938-го. Все же я упоминаю о них, поскольку они дают научное подтверждение другой хранящейся в сейфе информации.

Не сомневаюсь, что возможный исследователь, перебирая эти документы, задаст себе вопрос: «*почему он?*» Вопрос, который задавал себе и я в последние годы: почему эта мутация произошла именно со мной? Из краткой автобиографии (см. папку А) явствует, что еще до угрозы полной амнезии я ничего особенного в жизни не совершил. Увлекался с ранней юности самыми разными науками и дисциплинами, но дальше начитанности дело не пошло — я не закончил ни одного начинания. Так почему же я? Не знаю. Может быть, потому, что у меня нет семьи? Правда, я не единственный бобыль среди интеллектуалов. А может, я избран, потому что с юности тяготел к универсальному знанию — и оно было даровано мне в тот момент, когда я уже начал терять память, — универсальное знание, которое станет доступным человечеству разве что через многие тысячи лет?..

Пишу об этом на тот случай, если, вопреки всем мерам предосторожности, я внезапно исчезну — дабы было известно, что у меня нет никаких особых заслуг, могущих навлечь на меня благодать того преображения, которое я постарался описать в материалах папки А».

* Ясновидящий (франц.).

На другой день он продолжил:

«По мотивам, изложенным в материалах папки В, меня перевезли в Швейцарию и «закамуфлировали» в октябре 1938-го. Каким образом до сих пор — а сегодня 20 января 1943-го — меня еще не разоблачили (и не арестовали), может показаться совершенно непонятным. Каким образом, спросит гипотетический читатель, ему удалось прожить незамеченным столько лет, если он представлял собой нечто экстраординарное — мутант, располагающий средствами познания, человечеству пока недоступными? Тот же вопрос задавал себе и я в первые два швейцарских года. Но скоро понял, что не рискую «засветиться» — и быть разоблаченным — по той простой причине, что веду себя как простой средний интеллектual. В 1938—1939 годах я боялся выдать себя в разговоре с профессорами и другими моими коллегами по университету: ведь я знал больше, чем кто бы то ни было из них, и прозревал то, о существовании чего они даже не подозревали. Но, к моему удивлению и величайшему облегчению, я обнаружил, что в присутствии других просто не могу показать себя таким, каков я есть; точно так, как взрослый, разговаривая с ребенком, знает, что нельзя — и потому даже не пытается — касаться вещей, недоступных пониманию ребенка. Это постоянное сокрытие безграничных возможностей, которые достались мне в распоряжение, вовсе не принудило меня вести «двойную жизнь». Ведь никому не придет в голову обвинить родителей или педагогов, что они ведут двойную жизнь в присутствии ребенка.

Мой опыт в определенном смысле имеет ценность примера. Если бы мне теперь сказали, что среди нас живут святые, волшебники или бодхисатвы, вообще любые существа, наделенные сверхъестественными свойствами, я бы поверил. Непосвященные никак не могут опознать их, потому что по образу жизни они не выделяются из толпы».

Утром 1 ноября 1947 года он принял решение не вести больше записи по-французски, а прибегнуть к искусственному языку, конструированием которого увлекался в последние месяцы. Особенно его восхищала экстраординарная гибкость грамматики этого языка и бесконечные возможности словаря (он ухитрился ввести в лексикологическую систему коррективу, позаимствованную из теории множеств). Теперь он мог позволить себе описывать парадоксальные, открыто противоречивые ситуации,

не поддающиеся выражению на существующих языках. Получилась сложнейшая лингвистическая структура — по зубам разве что сверхсовершенствованной электронно-вычислительной машине, которая, по его подсчетам, должна была появиться где-то в восьмидесятые годы, не раньше. Не опасаясь, что его письма расшифруют, он пускался теперь в такие откровенности, какие до тех пор не доверял бумаге.

Как обычно, проведя утро в трудах, он отправился на прогулку к озеру. На обратном пути зашел в кафе «Альберт». При виде его кельнер мгновенно заказал буфетчику чашку кофе и бутылку минеральной, а сам принес ему газеты. Но просмотреть их он не успел. Высокий господин с благородными чертами (прямо с полотна Уистлера!), на вид моложавый, хотя костюм старомодного кроя прибавлял ему лишних пять-шесть лет, остановился у его столика и попросил разрешения сесть.

— Любопытно, что мы встретились именно сегодня, в столь знаменательный для вас день, — сказал господин. — Я — граф Сен-Жермен. — И с легкой горечью в улыбке добавил: — По крайней мере так меня называют... Не правда ли, любопытно, что мы встретились всего несколько дней спустя после находки эссеистских манускриптов? Вы, конечно, осведомлены...

— Знаю только то, что в газетах, — ответил он.

Господин пристально взглянул на него и улыбнулся, потом знаком подозвал кельнера.

— Двойной и без сахара. — А когда кельнер принес кофе, продолжил: — Встречи, подобные нашей, встречи таких, как мы, неправдоподобных личностей, отдают литературщиной. Следствие второсортной, псевдоокультурной литературы. Отнесемся к этому со смирением: с фактором посредственного качества ничего не поделаешь. Легенды, которые покоряют умы иных наших сограждан, отличаются дурным вкусом. Помню беседу с Матилой Гика — в Лондоне, летом сорокового, вскоре после падения Франции. Этот замечательный ученый, писатель и философ (замечу в скобках, что ценю не только общепризнанное «*Le Nombre d'or*»*, но и его юношеский роман «*La Pluie d'étoile*»**), так вот этот несравненный Матила Гика сказал мне, что вторая мировая война, которая тогда

* «Златое число» (франц.).

** «Звездный дождь» (франц.).

была в самом начале, есть на самом деле война оккультная — между двумя тайными обществами: Орденом тамплиеров и кавалерами Тевтонского ордена... Если это говорит человек такого ума и культуры, как не отнестись с пренебрежением к оккультным традициям? Но вы, я вижу, молчите...

— Я слушаю. Очень интересно...

— Впрочем, я совершенно не принуждаю вас говорить. Попрошу только в конце ответить мне на один вопрос... — Господин помолчал. — Не стану утверждать, что знаю, кто вы. Но я вхожу в число тех немногих, которые с тридцать девятого года знают о вашем существовании. То, что вы появились внезапно и вне связи с традициями, наводит на кое-какие мысли: во-первых, что вы явились с особой миссией; а во-вторых, что вы располагаете более мощными средствами познания, чем наши... — И добавил: — Вам нет нужды ничего подтверждать. Я пришел повидать вас сегодня, потому что находка есеевских манускриптов с берегов Мертвого моря есть первый знак известного синдрома. Вскоре последуют и другие открытия того же порядка...

— То есть? — с улыбкой подал он реплику.

Господин напряженно и с некоторой укоризной взглянул на него.

— Вижу, вы хотите меня испытать. Возможно, вы и правы. Но значение этих открытий недвусмысленно: кумранские рукописи выводят на свет Божий доктрины есеев, тайного общества, о котором мало что известно. Точно так же найденные недавно в Египте и еще не расшифрованные гностические манускрипты разгласят эзотерические доктрины, почти восемнадцать веков пребывавшие в забвении. Последуют другие подобные же открытия, и тайные до сих пор традиции станут явными. Об этом-то синдроме я и говорил: открытие, одно за другим, тайных доктрин. Верный знак приближения Апокалипсиса. Цикл замыкается. Известно это было давно, но после Хиросимы мы знаем и как он замкнется...

— Верно, верно, — рассеянно пробормотал он.

— Вот вопрос, который я хотел вам задать: располагая вам одному данным знанием, вы можете сказать что-нибудь определенное о том, как будет устроен... ковчег?

— Ковчег? — переспросил он. — Вы имеете в виду подобие Ноева ковчега?

Во взгляде господина любопытство смешалось с досадой.

— Это только метафора, — сказал он — ставшая расхожей. Вы найдете ее во всей этой макулатуре, которая называет себя оккультной... Я же имел в виду трансмиссию традиции. Я знаю, что стержневое утратиться не может. Но есть ведь и многие другие вещи; не будучи стержневыми, они, как мне кажется, необходимы для истинного человеческого бытия. Например, сокровищница западного искусства, прежде всего музыка и поэзия, отчасти — классическая философия. Потом некоторые науки...

— Вообразите, что будет думать о науке горстка людей, переживших катаклизм! — с улыбкой перебил он господина. — Вероятнее всего, у исторического человека, если я правильно его называю, будет аллергия на науку по крайней мере сотню-другую лет...

— Вполне вероятно, — подхватил господин. — Но я думал про математику... В сущности, это и есть мой вопрос.

Он надолго задумался.

— В той мере, в какой я понял ваш вопрос, могу сказать только, что...

— Спасибо, я вас понял! — воскликнул господин, не скрывая радости.

Низко поклонился, с чувством пожал ему руку и направился к двери с поспешностью, наводящей на мысль, что на улице его ждут.

— Я вам делал знаки, — сказал вполголоса хозяин кафе, — но вы на меня не смотрели. Когда-то он был у нас завсегдатаем. Мсье Оливье, а некоторые говорят: доктор. Доктор Оливье Бриссон. На самом деле он тут учительствовал, но потом бросил школу и уехал из города, никому не сказавшись. Боюсь, он не в своем уме. Пристает к людям с разговорами и представляется графом де Сен-Жерменом...

Он вспомнил об этой встрече, когда заметил, что сценарий начинает странным образом повторяться. В тот год он сблизился с Линдой Грей, молодой калифорнийкой, которая имела среди прочих достоинств одно очень важное для него — она была неревнива. Как-то вечером, за второй чашечкой кофе, она вдруг выпалила:

— Я узнала, что ты был дружен с одним известным французским врачом...

— Его уже нет, — поспешно перебил он ее. — Несчастный случай. Погиб в авиакатастрофе зимой сорок третьего...

Линда Грей закурила и после первой затяжки продолжила, не глядя на него:

— А кое-кто считает, что катастрофа была не случайной. Что самолет сбили, потому что... Да я, в общем-то, толком не поняла почему, но ты скоро все узнаешь из первых рук. Я пригласила его сюда, — добавила она, взглянув на часы.

— Кого ты пригласила сюда? — поинтересовался он с улыбкой.

— Доктора Монро из Нью-Йоркского геронтологического центра, он там то ли директор, то ли просто какое-то важное лицо...

Он сразу узнал доктора. Тот много раз попадался ему на глаза в библиотеке и один раз в кафе. Сейчас, попросив разрешения присесть к их столу, доктор без предисловия начал:

— Вы знали профессора Бернара?

— Знал, и очень хорошо. Но я дал зарок никогда не говорить об истории и подоплеке нашего знакомства...

— Прошу простить за такой напор. — Доктор Монро протянул ему руку. — Разрешите представиться: доктор Ив Монро. Я изучал материалы профессора Бернара в Нью-Йорке и, как биолог и геронтолог, особенно озабочен тем, чтобы прекратить распространение некоторых опасных мифов. В частности, мифа о том, что жизнь и молодость можно продлить иными средствами, нежели те, которые мы употребляем сегодня, — не биохимическими. Вы знаете, что я имею в виду?

— Нет.

— Я имею в виду прежде всего метод, предложенный доктором Рудольфом, — омоложение с помощью электрического разряда мощностью в один-полтора миллиона вольт... Это извращение!

— Хочется надеяться, что этот метод ни на ком не испытывали.

Доктор рассеянно повертел в руках стакан виски и заговорил, не отрывая глаз от кубиков льда:

— Нет, не испытывали. Но ходит легенда, что доктору Бернару был известен аналогичный случай: омоложение, спровоцированное ударом молнии. Однако материалы, переданные в Рокфеллеровскую лабораторию, так расплывчаты и разрозненны, что по ним никакого заключения сделать нельзя. Часть фонограмм, мне сказали, вообще утеряна, а вернее, их стерли случайно, при попытке переписать на более совершенные диски... Так или иначе, то, что осталось от материалов доктора Бернара, от-

носится исключительно к фазам восстановления психической и умственной формы пациента, пораженного молнией... — Не пригубив виски, доктор аккуратно поставил стакан на столик и продолжил: — Я позволил себе искать встречи с вами в надежде, что вы прольете свет на интересующие меня обстоятельства. Вы говорите, что хорошо знали профессора Бернара. Есть мнение, что он вез с собой в двух чемоданах самые важные документы и что самолет, на котором он должен был пересечь Атлантику, из-за этих-то чемоданов и сбили. Никто толком не знает их содержимого, но говорят, какая-то из соперничающих секретных служб на всякий случай решила подстраховаться, исключить, так сказать, фактор риска... Может быть, вам известно, что было в тех чемоданах?

Он пожал плечами.

— Это могут знать только ассистенты доктора Бернара в Париже...

Доктор Монро натянуто улыбнулся, не в силах скрыть разочарования.

— Одни отпираются, утверждают, что им ничего не известно, другие делают вид, что вообще не понимают, о чем речь... Я читал и статьи профессора Романа Стэнчулеску в «Ла пресс медикал». К сожалению, он умер осенью тридцать восьмого. Один из моих коллег, который отправился в Бухарест по делам, недавно написал мне, что все попытки что-нибудь выведать у ассистентов профессора ни к чему не привели...

Доктор снова взялся за стакан, снова повертел его в руках и, поднеся к губам, стал не спеша потягивать виски.

— По ходатайству доктора Бернара вы три-четыре года получали грант от Рокфеллеровского фонда. Под какие исследования?

— Сбор материалов по истории медицинской психологии, — отвечал он. — В сорок пятом я выслал их в Париж, сотрудникам доктора Бернара...

— Очень интересно, — произнес доктор Монро, оторвавшись от стакана и меряя его пристальным взглядом.

В тот вечер он вернулся домой в настроении задумчивом и печальном. Уверенности, что Монро угадал, кто он такой, не было. Но, с другой стороны, за кого же он его принял? За личного друга Бернара? За кого-то из его пациентов? Если же Монро слушал женеvские записи 1938—1939 годов, он должен был узнать его по голосу...

На другой день его успокоил вопрос Линды:

— На что, интересно, намекал вчера доктор, когда отозвал меня

в сторонку и шепнул: «Если он тебе скажет, что ему за семьдесят, не верь»?..

Некоторое время спустя его окликнули на улице по-румынски:

— Домнул* Матей! Домнул Доминик Матей!

Вздрыгнув, он обернулся. Высокий молодой блондин с непокрытой головой торопливо шел к нему, на ходу расстегивая портфель.

— Я немного учил румынский, — сказал блондин на плохом французском, — но не осмеливаюсь говорить. Я знал, что вы здесь, в Женеве, а у меня столько ваших фотографий, что узнать вас не составило труда...

Нервно порывшись в портфеле, молодой человек предъявил ему несколько фотографий анфас и в профиль. Они были сняты осенью 1938-го — тем самым хирургом, который так удачно поработал над радикальным изменением черт его лица.

— А на всякий случай, — продолжал молодой человек, улыбнувшись, — я ношу в портфеле и ваш семейный альбом. Зайдемте в кафе. Вы себе не представляете, как во мне все взыграло, когда я вас увидел. Я страшно боялся: а вдруг вы не повернете головы, когда я вас окликну: «Домнул Матей!».

— Да, не следовало бы оборачиваться, — отвечал он с улыбкой. — Но, признаюсь, мне было очень любопытно...

Они сели за столик в ближайшем кафе, и незнакомец, заказав теплого лимонада и бутылку пива, устремил на него восхищенный и в то же время недоверчивый взгляд.

— Подумать только: какой-нибудь месяц назад, восьмого января, вам исполнилось восемьдесят! — прошептал незнакомец. — А выглядите вы на тридцать — тридцать два. И то потому, что стараетесь скрыть вашу молодость...

— Я еще не знаю, с кем имею честь...

— Прошу прощения, — извинился незнакомец, отхлебнув пива. — Никак не приду в себя. Я, как говорится, поставил все на одну лошадь и выиграл!.. Тед Джонс Младший, корреспондент журнала «Тайм»... Все началось лет десять назад, когда я прочел интервью с вами, «Being Struck by the Thunder». На меня оно произвело потрясающее впечатление, даже

* Господин (рум.).

после того как я узнал, что это фальшивка. Но потом началась война, она собой все заслонила.

Джонс Младший допил пиво и осведомился, нельзя ли продолжить по-английски и можно ли при нем курить трубку.

— Два года назад, когда раскрыли знаменитый секретный архив доктора Рудольфа, снова заговорили о вашем деле — конечно, в рамках материалов, собранных Жильбером Бернаром. Но за их пределами не было известно ничего — даже живы вы или нет. К сожалению, доктор Рудольф был матерый нацист — впрочем, он покончил с собой в последнюю неделю войны, — и все, что связано с его опытами, сомнительно.

— С какими опытами?

— На животных, особенно на млекопитающих. Он пропускал через них электрический ток. Миллион двести тысяч вольт минимум — и до двух миллионов.

— А результаты?

Джонс Младший нервно хмыкнул и налил себе еще пива.

— Это долгая история.

История в самом деле показалась ему долгой, темной и неубедительной. Первые исследователи архива доктора Рудольфа утверждали, что в некоторых случаях подопытные животные не погибали от электрического удара, однако по прошествии нескольких месяцев никаких утешительных результатов выявлено не было. Разве что в отдельных случаях изменения в генетической системе. Некоторые даже склонялись к тому, чтобы интерпретировать эти изменения как предвестие мутации. Но при неизвестных обстоятельствах часть материалов архива, наиболее ценных, исчезла. Так что за отсутствием каких бы то ни было указаний на опыты над людьми теория доктора Рудольфа оказывается ничем не подкрепленной. С другой стороны, подавляющее большинство американских ученых априори отвергают гипотезу регенерации с помощью электричества.

— Единственным аргументом в ее пользу были и остаетесь вы! — подытожил Джонс Младший. — Поэтому следовало ожидать, что те немногие материалы, которые спас доктор Бернар, подвергнутся критическим нападкам, если не физическому уничтожению.

— Вы думаете, так оно и было?

Джонс Младший с улыбкой смотрел на него.

— У меня есть серьезные мотивы в этом не сомневаться. По счастью, меня послали корреспондентом в Румынию...

Готовясь к поездке, Джонс Младший засел за румынский язык, так что по приезде в Бухарест он уже умел читать и объясняться на улице и в магазинах. Ему повезло: он свел знакомство и даже сошелся накоротке с доктором Гаврилой, который хранил его семейный альбом и все собранные Профессором материалы.

— Вышла бы классная статья! «Человек, которого омолодила молния!» С фотографиями, документами, свидетельствами профессора Романа Стэнчулеску, доктора Гаврилы и тех, кто вас vyhаживал. А интервью лично с вами! А нынешние, женевские фотографии февраля сорок восьмого!..

Джонс смолк, повозился с трубкой, тщетно пытаясь ее раскурить, и заглянул ему в глаза.

— Хотя ваш английский безупречен, вы что-то молчите.

— Жду продолжения.

— Вы верно угадали. Продолжение такое же таинственное и интригующее, как то, что произошло с вами. По мотивам этического и политического порядка опубликовать статью невозможно. Все, что дало бы повод для кривотолков, то есть все, что так или иначе подтверждает теорию доктора Рудольфа, не пропустят в печать. Особенно сейчас, — Джонс усмехнулся, — когда стоит вопрос о выделении дотаций геронтологическим институтам... Вам нечего сказать?

Он пожал плечами.

— По-моему, все идет так, как должно. Сожалею о потерянном вами времени, но последствия статьи были бы катастрофическими. Если люди, точнее, некоторые люди уверятся, что с помощью электрического шока можно разрешить проблему регенерации и омоложения организма, представляете, что будет?... Лучше уж пусть биохимики и геронтологи продолжают свои исследования. В ближайшем — или в отдаленном — будущем они все равно придут к подобному же результату.

Джонс курил трубку, глядя, как он потягивает теплый лимонад, и наконец сказал:

— В общем-то, надо было подумать и о вас. Во что превратилась бы ваша жизнь по выходе моей статьи?

— В каком-то смысле, — возразил он со смешком, — превращение уже началось. Как получилось, что вы так легко нашли меня? Я полагал, что в Румынии меня не числят в списках живых — ни доктор Гаврила, и никто другой. Я давным-давно погиб в автомобильной катастрофе.

— Совершенно верно. И доктор Гаврила так считал до того самого дня, пока я не сказал ему по большому секрету, что вы живы и поселились в Женеве... Не думайте, что меня кто-то проинформировал. — Джонс загадочно улыбнулся. — Я сам до этого дошел, когда узнал, что доктор Монро отправился в Женеву, обсудить кое-какие дела с другом профессора Бернара. Я тут же догадался, что этот друг — не кто иной, как вы. Но, конечно, ни сам Монро, ни его сотрудники из Геронтологической лаборатории в такое не верят, не могут поверить.

— Утешительно.

— Правда все равно выйдет наружу, — с нескрываемым торжеством продолжал Джонс. — Уж больно хороша история. Нельзя такую замалчивать. Я напишу роман, — добавил он, принимаясь чистить трубку. — Я уже начал. Никакой опасности для вас. Действие происходит в Мексике, до и во время войны, и герои по большей части мексиканцы. Я вам, конечно, его пришлю — надеюсь, вы к тому времени будете по-прежнему в приятельских отношениях с Линдой. Я хорошо знал ее брата, он был пилот, погиб на Окинаве...

Джонс вдруг спохватился и с озабоченным видом полез в портфель.

— Чуть не забыл. Ваш семейный альбом. Я пообещал доктору Гавриле, что, если все-таки вас разыщу, верну его вам... Ценные документы: память о вашей... как бы получше выразиться... о вашей *первой* молодости.

Дома он завернул альбом в голубую бумагу, вложил в большой конверт и запечатал. В левом верхнем углу сделал надпись: «Получено 20 февраля 1948 года от доктора Гаврилы через Теда Джонса Младшего, корреспондента журнала «Тайм» в Бухаресте».

«Все упрощается и одновременно усложняется», — думал он, открывая блокнот. Записал по-французски впечатление от встречи с Джонсом. Прибавил: «Он подтверждает информацию доктора Монро о планомерном уничтожении документов 1938—1939 годов. А ведь это единственные свидетельства физиологического восстановления и анамнеза, это уникальный научный эксперимент по регенерации и омоложению через элек-

трический шок. Выходит, генезис такой мутации никого не интересует. Почему?»

Он приостановился, подумал. «Конечно, из автобиографического очерка и из других записей, сгруппированных в папках А, В и С, гипотетический читатель сможет узнать главное. Но, не подкрепленные материалами и научным анализом профессора Стэнчулеску и Бернара, мои свидетельства теряют ценность документа. Я описывал главным образом последствия анамнеза, расширения памяти — другими словами, ощущения мутанта, который есть прообраз постисторического человека. Документы Стэнчулеску — Бернара хотя и не содержали информации о моих ощущениях, но косвенным образом подтверждали их достоверность. Вывод напрашивается только один: мои свидетельства адресуются отнюдь не читателю из ближайшего будущего, из двухтысячного, скажем, года. Но тогда — кому?

Можно вчерне ответить так: вследствие ядерных войн, которые грядут, многие цивилизации, и западная в первую очередь, будут уничтожены. Вне сомнения, эти катастрофы нанесут человечеству неведомый дотоле духовный урон, вызовут волну всеобщего пессимизма. Даже если не все оставшиеся в живых поддадутся соблазну покончить с собой, немногие найдут в себе силы поверить в человека и в возможность появления человечества, высшего по сравнению с гомо сапиенс. Если мои свидетельства обнаружат и расшифруют *тогда*, они смогут уравновесить безнадежность и общее желание прекратить человеческий род. Документы, содержащие пример ментальных возможностей человечества, которое зародится в далеком будущем, — эти документы наглядно продемонстрируют реальность постисторического человека.

Такая гипотеза предполагает сохранность всех материалов, помещенных мною в сейф. Не могу себе представить, как будет осуществлена их сохранность. Но не могу и усомниться в ней. В противном случае мой опыт не имел бы смысла».

Он запечатал исписанные страницы в конверт и отправился в банк. Запирая за собой дверь, услышал телефонную трель и слышал ее все то время, что спускался по лестнице.

Лето 1955 года было необыкновенно дождливым, в Тичино грозы гремели каждый день. И все же такого черного неба, как 10 августа после полудня, он еще никогда не видел. Едва первые молнии скрестились над городом, электростанция перестала подавать ток. Почти полчаса небо полыхало без передышки. Он наблюдал из окна, как молнии вонзались в скалистые предгорья, которыми обрывалась на западе цепь гор. Затем ливень постепенно пошел на убыль, и к трем часам мазутный цвет неба стал бледнеть. Зажглись фонари, и теперь из окна улица просматривалась до самого собора. Подождав, пока стихнет дождь, он спустился вниз и направился в полицейский участок.

— Перед полуднем, — начал он нейтральным, чисто информативным тоном, — две дамы ушли в горы, намереваясь подняться к Тренто. Они спросили меня, не знаю ли я дороги покороче, чем серпантин. Я показал им направление, но посоветовал отложить экскурсию, поскольку собиралась гроза и они могли не успеть дойти до Геливальского приюта. Они ответили, что не новички в горах и грозы не боятся и вообще отложить поход не могут, потому что через несколько дней у них кончаются каникулы.

Полицейский слушал его вежливо, но без особого интереса.

— Дамы мне совершенно незнакомые, — продолжал он. — Но я слышал, как пожилая назвала молодую по имени: Вероника. Мне кажется, я знаю, что произошло. Гроза, вероятно, застала их по дороге на Валлино, туда особенно часто ударяли молнии. Я стоял у окна и видел, — добавил он, заметив, что в глазах полицейского зажглось недоверчивое любопытство. — Я думаю, там был камнепад. Боюсь, что женщин засыпало или покалечило...

Он понимал, что убедить полицейского будет нелегко, и, помолчав, продолжил:

— Я бы взял такси и поехал сам. Но если случилось то, что я подозреваю, мы вдвоем, шофер и я, не сумеем вытащить их из-под завала. Понадобятся кирки и лопаты...

В конце концов они столковались, что он поедет сам, а в случае необходимости позвонит с ближайшего поста, и полиция пришлет «скорую» и все, что нужно. При подъезде к Валлино небо прояснилось, но на шоссе стали попадаться камни, и шофер сбавил скорость.

— Не думаю, что они успели дойти до приюта, — сказал он. — Вероятно, укрылись от грозы в какой-нибудь расщелине.

— Тут есть такие, что как пещеры, — заметил шофер.

Они увидели ее одновременно. Она могла умереть просто от страха, когда рядом ударила молния. Это была женщина в летах, седая, с короткой стрижкой. Вряд ли ее убило каменной лавиной, хотя одна глыба докатилась до нее, прищемив край юбки. Ему послышался стон, и он начал внимательно разглядывать скалы и близлежащие камни.

— Вероника! — звал он, медленно продвигаясь вдоль отвесной стены.

Они оба услышали стон, потом короткие вскрики, сопровождаемые речитативом на незнакомом языке. Звуки доносились из-за огромного камня. Обвалившись, он загородил щель, в которой укрылась Вероника. Если бы она не подала голос, никто не догадался бы, что ее замуровало. Только на высоте двух с лишним метров был зазор между камнем и скалой. С трудом вскарабкавшись туда и заглянув в щель, он увидел девушку, помахал ей рукой и окликнул по имени. Та взглянула с испугом и радостью и попыталась подняться. Ее не ранило, но расщелина была такая тесная, что выпрямиться во весь рост она не могла.

— Скоро подоспеет полиция, — сказал он по-французски.

И, поскольку она смотрела на него непонимающе, повторил то же самое по-немецки и по-итальянски. Вероника приложила ладони к щекам и заговорила. Сначала ему показалось, что она говорит на каком-то диалекте Центральной Индии, потом он стал различать фразы на санскрите. Припав к расщелине, он прошептал: «Shanti, shanti»*. Потом произнес несколько канонических формул умиротворения. Девушка расцвела счастливой улыбкой и подняла к нему ладони, словно желая что-то показать.

Он оставался на скале, слушая девушку, пытаясь успокоить и подбодрить ее набором известных ему санскритских выражений, пока не приехала «скорая» и пикап с полицейскими. Им удалось сдвинуть камень, подкапав его со стороны дороги. Через какой-нибудь час девушка уже выбралась наружу с помощью веревочной лестницы. Увидя полицейских и автомобили, она что-то испуганно выкрикнула и спряталась за его спину.

* Покой, мир (санскр.).

— У нее был шок, — объяснил он в некотором замешательстве, — и, вероятно, в результате этого — потеря памяти.

— А на каком языке она говорит? — спросил кто-то.

— Похоже на какой-то индийский диалект, — осторожно ответил он.

Из документов девушки выяснилось, что ее зовут Вероника Бюлер, что ей 25 лет, что она учительница и живет в Листале, кантон Баль-Кампань. Ее спутница, Гертруда Франк, была немкой из Фрайбурга, сотрудницей одного издательства. Результат вскрытия подтвердил первоначальное предположение: смерть наступила от разрыва сердца.

Поскольку, кроме него, никто не мог объяснить с Вероникой и только при нем она успокаивалась, он много времени проводил в клинике. Тайком приносил с собой магнитофон и часто включал его, особенно когда она начинала рассказывать о себе. Она утверждала, что ее зовут Рупини, что она дочь Нагабхаты из касты кшатриев, что происходят они от одной из первых фамилий Магадхи, принявших буддизм. Без малого двенадцати лет от роду она с согласия родителей решила посвятить жизнь изучению Абхидхармы и была принята в общину Ихикунни. Она изучила санскритскую грамматику, логику и метафизику махаяны. Пятьдесят с лишним тысяч сутр, которые она знала наизусть, создали ей авторитет не только в глазах профессоров и студентов знаменитого университета в Наланде, но и в глазах многих гуру, аскетов и созерцателей. В сорок лет она стала ученицей знаменитого философа Чандракирти. По многу месяцев в году проводила в пещере, медитируя и переписывая труды учителя. Там она и пребывала, когда разразилась гроза. Она услышала раскаты грома, потом лавина камней прокатилась с гор и заслонила устье пещеры. Все ее попытки выбраться были напрасны. Потом через щель вверху она увидела его — он махал ей рукой и говорил что-то на незнакомом языке.

Он не всегда был уверен, что понимает ее, но и то, что наверняка понимал, хранил в основном для себя. Доктора знали с его слов: девушка полагает, что она — буддийская отшельница, которая жила в Центральной Индии двенадцать веков назад. Благодаря успокоительным она очень много спала. Самые разные медики и психологи из Цюриха, Базеля и Женевы приезжали ее обследовать. Газеты, как водится, не пропускали ни дня без статьи, и число иностранных корреспондентов, кружащих вокруг клиники и пристающих с расспросами к докторам, неуклонно росло.

К счастью, выход из ситуации, придуманный им с самого начала, как

будто бы удавался. Прослушав первую ленту с ее биографическими признаниями, он тут же послал в римский Восточный институт длинную телеграмму. А на другой день, в час, указанный в телеграмме, частично дал им послушать пленку по телефону. Одновременно он связался с одним из ближайших сотрудников К.Г. Юнга. И вот из Рима прибыл профессор Туччи в сопровождении ассистента. В первый раз Рупини получила возможность по-настоящему, пространно побеседовать со знатоком о философии мадхьямика и, главное, о своем учителе Чандракирти. Все беседы были записаны, ассистент выборочно переводил некоторые пассажи на английский — для докторов и журналистов. В дискуссии случались щекотливые моменты — когда Рупини спрашивала, что же все-таки с ней произошло, где она находится, почему никто ее не понимает, хотя она пробовала, кроме санскрита, заговаривать на нескольких индийских диалектах.

— А вы что ей отвечаете? — спросил его как-то вечером профессор.

— Как положено, я начинаю с того, что напоминаю ей про майю, великую чародейку, космическую иллюзию. Это не сон в собственном смысле слова, говорю я ей, но это имеет отношение к иллюзорной природе сна, потому что речь идет о будущем, а значит, о времени. Время же по преимуществу ирреально... Не уверен, что я ее убедил. Но, слава Богу, она привержена логике и диалектике, к тому и сводятся наши дискуссии...

Когда он предложил отправиться в Индию, в штат Уттар-Прадеш — искать пещеру, где предавалась медитации Рупини, — профессор Туччи согласился, чтобы Восточный институт патронировал эту экспедицию. Благодаря вмешательству Юнга расходы взял на себя один американский фонд. Прослышав о проекте, газеты тоже наперебой стали предлагать свои услуги в покрытии расходов при условии предоставления им эксклюзивных прав на репортажи. Избежать огласки было почти невозможно, тем более что требовалось заручиться согласием клиники, индийского правительства и семьи Вероники Бюлер. С семьей оказалось сложнее всего. В Листале Вероника поселилась несколько лет назад, одна, без родных. Ее знакомые и коллеги знали только, что она родилась в Египте, что ее родители развелись, когда ей было пять лет; отец остался в Египте, женился вторично и с тех пор как в воду канул, а мать, с которой Вероника никогда не находила общего языка, обосновалась в Соединенных Штатах. Ее адреса они не знали.

В конце концов дирекция клиники дала согласие на путешествие в

Индию, приставив к пациентке врача и сестру и обговорив, что весь путь — до самого Горакхпура — она должна проделать спящей.

В Горакхпур их доставили из Бомбея военным самолетом. Там их ждали полдюжины машин с корреспондентами, специальные технические службы и пикап индийского телевидения. Они двинулись в горы, к границе с Непалом, к тому месту, где, по словам Рупини, находилась пещера ее медитаций.

В тот момент, когда она очнулась от сна, у ее изголовья очень кстати оказался некий пандит из Уттар-Прадеша, знаток философии мадхьямика. По настоянию доктора все остальные укрылись за деревьями метрах в десяти от места ее пробуждения. Словно увидев знакомое лицо, она обратилась к пандиту с укоризной в голосе. Задала несколько вопросов, но ответов дожидаться не стала, а быстро пошла по тропе в гору, глядя прямо перед собой и повторяя свои любимые мантры, которые столько раз слышали от нее в клинике. Минут через двадцать она побежала, трудно дыша и указывая рукой на гранитную глыбу, лениво прислонившуюся к каменному боку горы. Затем стала необыкновенно проворно карабкаться напрямик по склону, цепляясь руками за камни. Добравшись до глыбы, с силой рванула тщедушный куст, разбросала сухие листья, соскребла мох с камня, прикинула лицом к расчищенному отверстию и надолго неподвижно застыла.

— Обморок! — крикнул кто-то, когда он проделывал вслед за ней путь наверх по откосу.

— Так и есть, обморок, — подтвердил он, осторожно приподымая ее голову.

На носилках, с невероятным трудом ее спустили вниз и донесли до машины. В дело вступила команда подрывников. Когда машина отъехала километров на десять, раздался первый взрыв. Через полчаса в пещеру уже можно было проникнуть по веревочной лестнице. При свете фонаря публика увидела скелет женщины в позе лотоса, как будто смерть настигла ее в момент йогической медитации. Рядом, на земле — глиняный кувшин, пара деревянных мисок и стопка рукописей. Только когда к ним прикоснулись, стало ясно, что они давно превратились в прах.

Сестра милосердия остановила его у двери со словами:

— Она проснулась, но не открывает глаз, боится...

Приблизясь, он положил руку ей на лоб, шепотом позвал:

— Вероника...

Она резко раскрыла глаза и, узнав его, впервые за все время просияла. Попыталась сесть, схватившись за его руку и приговаривая:

— Это ты? Я тебя узнала, мы сегодня у тебя спрашивали дорогу... Но где Гертруда? Где? — повторила она, заглядывая ему в глаза.

Как и все в экспедиции, он прекрасно понимал, что избежать шумихи будет невозможно. Индийское телевидение запечатлело самые драматические сцены, и десятки миллионов зрителей, сперва послушав, как Вероника говорит на санскрите и на одном из гималайских диалектов, в конце репортажа могли наблюдать, как она же на ломаном английском заявляет, что ее зовут Вероника Бюлер, что она владеет только немецким и французским, никогда даже не пыталась учить какой бы то ни было восточный язык и знает об Индии и индийской культуре только по самым популярным книгам. Как и следовало ожидать, именно этот факт особенно взбудоражил публику сначала в Индии, а двадцать четыре часа спустя весь мир. Подавляющее большинство индийских интеллектуалов сочли, что более зримого свидетельства метемпсихоза не найти: в прежней жизни Вероника Бюлер была Рупини.

— Но я не верю в переселение душ, — испуганным шепотом сказала она ему однажды, беря его за руку. — Я не была Рупини! Может, меня просто кто-то гипнотизировал? — добавила она, ища его взгляда.

И поскольку он не знал, что ей ответить, а только задумчиво гладил ее руку, Вероника устало поникла головой и прошептала:

— Я боюсь сойти с ума.

Как гостей индийского правительства, их поселили в шикарном отеле. Спасаясь от фотографов, корреспондентов и назойливых зевак, вся их компания завтракала, обедала и ужинала в специально отведенном для них, охраняемом зале. Каждый день они посещали музеи, достопримечательности, встречались с разными знаменитостями. Их возили на лимузинах с эскортом мотоциклистов, иначе было невозможно. Они боялись даже выходить в коридор. Один раз, вместе с доктором и сестрой, далеко за полночь попытались выбраться на прогулку по Дели, но у входа их караулила целая толпа, так что пришлось чуть ли не бегом, под прикрытием полицейских, вернуться обратно.

— Боюсь сойти с ума, — повторила она, выходя вместе с ним из лифта.

На другой день они договорились с одним американским корреспондентом, которому не удалось сопровождать их в Горакхпур, что дадут ему эксклюзивное интервью и предоставят некоторые неизвестные материалы, если он сумеет втайне переправить их на какой-нибудь из островов Средиземного моря, где они смогли бы пробыть несколько месяцев в уединении.

— Пока не схлынет печатно-телевизионный бум. Надеюсь, меньше чем через год все забудется и мы сможем вернуться каждый к своим делам...

Две недели спустя они облюбовали послевоенной постройки виллу на холме под Ла-Валлеттой и поселились там. Но подготовка к интервью заняла больше времени, чем они ожидали. Вероника стала подавать признаки нетерпения.

— Мы столько и о стольком рассуждаем, но суть мне не ясна.

— Я тебе объясню, когда мы останемся одни.

Она взглянула на него потеплевшими глазами.

— Неужели мы когда-нибудь останемся одни?

Как-то раз в Дели она сказала ему:

— Когда я открыла глаза и увидела тебя и ты мне сказал про Гертруду, я подумала сразу о двух вещах. Во-первых, что хотя у меня, по всей вероятности, живы и отец и мать, но без Гертруды я осталась сиротой... И во-вторых, тут же: что, если бы я была старше лет на пять-шесть и ты попросил меня в жены, я бы согласилась.

— Мне восемьдесят семь лет, — сказал он с улыбкой и впервые увидел, как она смеется.

— Больше, чем нам с Рупини, вместе взятым. Но я же говорю: я не верю в Рупини. Не могу поверить...

— В каком-то смысле ты права. Но, повторяю, только в каком-то смысле. Мы еще вернемся к этой проблеме.

Эту проблему ему удалось обойти в интервью. Он заговорил корреспондента, нанизывая друг на друга классические индийские доктрины, от Упанишад до Гаутамы Будды, привел и некоторые современные интерпретации, прежде всего комментарии Туччи.

Он лихо играл роль молодого ориенталиста, приятеля Вероники, и

успешно сохранял внешность, над которой работал с августа: копна светлых волос, спадающих на лоб, густые усы.

Однажды вечером, когда они вдвоем расположились на террасе, Вероника придвинула к нему свой шезлонг.

— Ну же, объясни мне все... И главное: *как ты узнал?*..

— Уж очень издалека придется начинать... — ответил он.

В первых числах октября все наконец прояснилось. Они сидели друг подле друга на террасе, через балюстраду любуясь огнями порта. Он почувствовал, что Вероника искоса поглядывает на него.

— Ты хочешь что-то мне сказать, но не решаешься. Смелее.

— Я подумала: если люди все время видят нас вместе и знают, что мы живем под одной крышей, они могут решить, что мы любовники...

Он нашел ее руку, легонько пожал.

— Но так оно и есть, Вероника. Мы спим в одной комнате, в одной постели...

— Правда? — прошептала она.

Со вздохом склонила голову ему на плечо и на минуту закрыла глаза. Потом вдруг резко вскочила и, глядя на него, но не узнавая, заговорила на абсолютно не знакомом ему языке! «Итак, вот оно! — сказал он себе. — Вот почему я должен был ее встретить. Вот зачем случилось все, что случилось». Тихонько, чтобы не спугнуть ее, он сходил в кабинет за магнитофоном. Она все говорила, уже скороговоркой, с удивлением разглядывая свои наручные часы. Потом на ее лице появилось выражение счастья, она сияла, готовая рассмеяться. Но внезапно все кончилось: всхлипнув, она принялась тереть глаза. Размякшая, сонная, шагнула к дивану и пошатнулась — он едва успел подхватить ее на руки. Отнес в комнату по соседству и уложил в постель, прикрыв шалью.

Она очнулась после полуночи.

— Мне страшно! Какой страшный сон!

— Что тебе снилось?

— Не хочу даже вспоминать! А то снова перепутаюсь. Я была на берегу широкой реки, и кто-то шел ко мне — у него вместо головы была собачья морда. А в руке он держал... Нет, не хочу вспоминать, — повторила она, обнимая его.

С той ночи он больше не оставлял ее одну. Боялся, как бы с ней снова не случился парамедиумический криз. К счастью, садовник и

две девушки-мальтезианки, которые вели хозяйство, уходили сразу после ужина.

— Ну, когда же ты расскажешь? — просила она каждый вечер, стояло им остаться одним. — Объясни наконец! Иногда мне так жаль, что я не помню ничего из того, что знала Рупини.

Раз утром, когда они вернулись из сада, она вдруг спросила:

— Тебе не показалось странным, что они стояли за забором? Как будто подстерегали нас.

— Я ничего не заметил, — отвечал он. — Где за забором?

Она засмеялась, избегая его взгляда.

— Там, у наших ворот, как будто шпионили за нами. Двое, и так странно одеты! Но, может быть, я ошибаюсь, — добавила она, трогая лоб рукой. — Может, не у наших ворот.

Он взял ее за руку, повел в дом и, уложив на диван, сказал:

— Боюсь, ты слишком долго была на солнце с непокрытой головой.

А сам подумал: «Прошла неделя, следовательно, таков ритм. Сие означает, что все может продлиться месяц. А что будет с нами?..» Уверившись, что Вероника крепко уснула, он принес из кабинета магнитофон. Некоторое время не слышно было ничего, кроме пения дроздов и ее слегка неровного дыхания. Потом лицо девушки осветила улыбка. Она что-то произнесла, очень тихо, и погрузилась в молчание, сосредоточенное, напряженное, как будто ждала ответа, а ответ запаздывал — или его трудно было расслышать. Наконец она заговорила, спокойно, словно сама с собой, повторяя некоторые слова многократно, на разные лады, но неизменно с глубокой печалью. При виде первых слез, робко скатившихся по ее щекам, он выключил магнитофон и задвинул его под диван. Потом стал поглаживать ее по руке и утирать слезы. Потом перенес в спальню и оставался рядом, пока она не проснулась. Встретясь с ним глазами, она судорожно сжала его руку.

— Мне снился сон. Очень красивый, но невероятно грустный! Про такую же молодую пару, как мы. Как будто они любили друг друга, но им не суждено было остаться вместе. Не понимаю почему, но этого им было не дано...

Он не ошибся: ритм в самом деле оказался семидневный, хотя парамедиумические экстазы (как он их окрестил) случались в разное время

суток. «Документальные материалы по истории языка, — думал он, перебирая четыре своих кассеты. — После египетского и угаритского идут образцы, по всей вероятности, протоэламского и шумерского. Мы все глубже спускаемся в прошлое... Материалы для Ковчега. — Он улыбнулся. — Что бы дали лингвисты за право доступа к ним *сейчас*. Но до каких пределов они дойдут? До неартикулируемых протоязыков? А что потом?..»

В середине декабря с ней случился самый странный криз. Случился, по счастью, незадолго до полуночи, когда он еще не спал. Она разразилась чередой гортанных, нечеловеческих криков. Он слушал с ужасом и стыдом, думая, что такой спуск в звериное состояние следовало бы испытывать на добровольцах, а тут — ни о чем не ведающая женщина. Но несколько мгновений спустя последовали отчетливые гласные фонемы бесконечного разнообразия, перемежаемые краткими лабиальными взрывами, — он даже не представлял себе, что европейцу под силу воспроизвести такие. Через полчаса Вероника, вздыхая, уснула. «Ну уж дальше-то они не пойдут», — сказал он себе, выключая магнитофон. Потом приготовился ждать. Ему бы не хотелось уснуть, пока не проснется она и не увидит его рядом с собой. Все же под утро сон его сморил.

Когда около восьми он открыл глаза, Вероника по-прежнему спала, и он не решился ее разбудить. Проспав почти до одиннадцати и узнав, сколько времени, она испуганно вскочила с постели.

— Что со мной?

— Ничего. Наверное, ты просто очень устала. А может, приснилось что-то неприятное.

— Мне ничего не снилось. По крайней мере я ничего не помню.

Они решили провести Сочельник и Рождество в Ла-Валлетте, в самом лучшем ресторане. Вероника заказала столик на имя мсье и мадам Геральд Верней. Имя придумала она сама, и она же выбрала себе вечернее платье, а ему — парадный костюм.

— По-моему, мы не очень рискуем, появляясь на публике, — рассуждала она. — Даже если наши фотографии печатались на первых полосах всех иллюстрированных журналов, то это было осенью.

— Может, они и до сих пор не утомонились, — заметил он.

Она засмеялась — но с польщенным видом.

— Хотелось бы на них взглянуть — на фотографии в журналах. Ку-

пить несколько штук на память. Только, наверное, рискованно спрашивать по киоскам — вдруг меня узнают...

— Я сам поспрашиваю.

Однако, хотя он обошел много киосков и книжных магазинов, ему попался только один журнал, итальянский, с тремя фотографиями Вероники, сделанными в Индии.

— Как будто бы я была тогда помоложе и лучше собой, три месяца назад, — сказала она.

Довольно скоро он понял, что Вероника права. С некоторых пор свежесть молодости как будто стала покидать ее. «Это дела с Ковчегом ее истощили, — решил он, — парамедиумические экстазы».

— Я все время чувствую себя усталой, — пожаловалась она ему как-то утром, — и не понимаю почему. Ничего не делаю, а устаю.

В начале февраля ему удалось убедить ее показаться врачу в Ла-Валлетте. Потом они с тревогой ждали результатов множества анализов.

— Мадам ничем, абсолютно ничем не больна, — заверил его доктор, когда Вероника вышла. — Я пропишу ей на всякий случай курс тонизирующих уколов... Возможно, это нервы, иногда у женщин так бывает перед климаксом.

— Сколько же ей, по-вашему, лет?

Доктор покраснел, в смущении потер руки, пожал плечами.

— Что-нибудь около сорока, — сказал он наконец, не глядя ему в глаза.

— Но уверяю вас, она не солгала: ей неполных двадцать шесть!

Инъекции не дали ожидаемого эффекта. С каждым днем силы Вероники убывали. Часто он заставлял ее у зеркала в слезах.

Раз, по дороге в парк, услышав за спиной торопливые шаги, он обернулся.

— Professore, — испуганно зашептала их кухарка, — la Signora ha il malocchio!*

«Мне надо было сообразить с самого начала, — подумал он. — Мы оба выполнили свою миссию и должны расстаться. И поскольку убедительных аргументов не так много — разве что несчастный случай со смер-

* Профессор... синьору сглазили! (итал.)

тельным исходом или самоубийство, — выбор пал на это: процесс скоро-течного старения».

Все же он не решился ей ничего сказать до самого утра, когда она показала ему свою поседевшую за ночь голову. Она плакала, прислонясь к стене, пряча лицо в ладонях. Он стал перед ней на колени.

— Вероника, — начал он, — это все из-за меня. Слушай и не перебивай. Если ты останешься со мной до осени, ты погибнешь! Я не могу сказать тебе больше, мне не дозволено, но, поверь мне, на самом деле ты вовсе не постарела! Как только я уйду из твоей жизни, к тебе вернется и молодость, и красота...

Вероника в ужасе нашла его руку, сжала в своих и покрыла поцелуями.

— Не бросай меня, — шептала она.

— Выслушай, умоляю, и не перебивай. Мне было суждено потерять все, что я любил. Но я предпочитаю лучше потерять тебя молодой и красивой, какой ты была и какой снова станешь без меня, чем видеть, как ты угасаешь у меня на руках... Послушай меня! Я уеду, и если через три-четыре месяца после моего отъезда ты не станешь снова такой, какой была этой осенью, я вернусь. Вернусь, как только получу от тебя телеграмму. Прошу тебя об одном: выжди три-четыре месяца вдали от меня...

На другой день в длинном письме он объяснил ей, почему больше не имеет права быть с ней. Вероника дала наконец себя уговорить, и в целях эксперимента они решили разъехаться: она проведет первые недели в монастыре, в доме для гостей, а он самолетом отправится в Женеву.

Через три месяца он получил телеграмму: «Ты был прав. Буду любить тебя всю жизнь. Вероника». — «Ты еще будешь счастлива. Прощай».

На той же неделе он уехал в Ирландию.

Сббив свои пшеничные усы и зачесав назад волосы, которые раньше, падая на лоб, придавали ему сходство с поэтами заката романтизма, он мог больше не опасаться быть узнанным. Впрочем, по возвращении с Мальты он сменил круг знакомств и водился теперь главным образом с лингвистами и литературными критиками. Иногда в разговоре заходила речь о казусе «Вероника-Рупини». По вопросам, которые он задавал, все скоро понимали, как плохо и неверно он информирован. Летом 1956-го

он согласился участвовать в издании документального альбома, посвященного Джеймсу Джойсу. Согласился, потому что это давало ему возможность поехать в Дублин, один из немногих городов, куда его тянуло. С тех пор он стал наезжать в Дублин каждый год — под Рождество или в начале лета.

В пятый свой приезд, в июне 1960-го, он встретил Коломбана. Произошло это как-то вечером, когда он случайно забрел в один маленький паб на задворках улицы О'Коннелл. Только он вошел, какой-то человек бросился к нему, схватил его руку обеими руками и с чувством пожал. Потом пригласил за свой столик.

— Я вас давно поджидаю! — Восклицание прозвучало патетически, почти театрально. — Уже в пятый раз нарочно захожу сюда, чтобы вас встретить...

Человек был без возраста, конопатый, с большой лысиной и остатками выцветших волос — по контрасту с медно-красными бакенбардами.

— Если я скажу, что я вас знаю, что мне известно, кто вы такой, вы мне не поверите. Так что я промолчу. Но поскольку я тоже, вполне вероятно, обречен дожить до ста лет, хочу задать вам только один вопрос: «Как нам быть с Временем?» Внесу ясность незамедлительно...

Он выдержал этот натиск молча, с улыбкой. Коломбан неожиданно встал из-за стола и со словами: «Нет, лучше спросить Стивена» — направился к стойке, откуда привел тощего, неряшливо одетого паренька. Паренек робко пожал ему руку и, присев на стул напротив, начал, четко выговаривая слова:

— Простите Коломбану его маленькие чудачества. Он, видимо, считает, что у меня лучше дикция, и поэтому поручает мне произнесение этой фразы: «Как нам быть со Временем?» Он пришел к выводу, что в ней заключена вся двойственность человеческой природы. С одной стороны, люди — все до единого! — хотят жить долго, хотят перевалить за столетний рубеж; но в огромном своем большинстве, как только им исполняется шестьдесят — шестьдесят пять и они выходят на пенсию, то есть получают *свободу делать, что им угодно*, они начинают скучать: обнаруживают, что им некуда девать свободное время. А с другой стороны — по мере того как человек набирает годы, его внутренний маховик крутится все быстрее, так что даже

те единицы, которые знают, что делать со свободным временем, больших дел уже не совершат... Вдобавок ко всему...

Коломбан осадил юношу, хлопнув его по плечу.

— Ну хватит. Ты нынче что-то не в ударе. — И добавил, обернувшись к нему: — У нас еще будет случай обсудить проблему Времени. Пока же взгляните — не попадалась ли вам на глаза вот эта статья?

Он взял протянутую страничку. Она была из американского журнала. «Иной раз он говорил о новом качестве жизни, уверяя, что его можно и нужно открыть каждому из нас. Просыпаясь по утрам, он окунался в радость без слов и без границ. Радость оттого, что он жив, цел и невредим, — бесспорно. Но не только. Его радовало, что существуют другие люди, что чередуются времена года, что ни один день не похож на другой, что можно смотреть на зверей и цветы и ласкать деревья. На улице, даже не глядя по сторонам, он чувствовал себя частицей огромного сообщества, атомом мироздания. Даже от безобразного, от какой-нибудь свалки на пустыре с горами хлама и старого железа, исходила таинственная фосфоресценция».

— Любопытно, — сказал он, пробежав столбец до конца. — Но как будто обрывается на полуслове.

— Да, это отрывок из довольно-таки длинной статьи. Под заглавием «Юноша в семьдесят лет», за подписью Линды Грей.

Он на секунду опешил. Потом улыбнулся.

— Не знал, что она принялась за статьи.

— Она давно пишет, и пишет очень хорошо, — отвечал Коломбан. — Но я хотел удостовериться, что правильно понял: долгожительство терпимо и даже интересно, только если оно подготовлено техникой простых радостей?..

— Не думаю, что это можно назвать техникой, — с улыбкой перебил он Коломбана.

— При всем моем к вам уважении вынужден возразить. Вы знаете еще примеры столетних старцев, которым было бы доступно блаженство, описанное Линдой Грей, за исключением даосских отшельников, дзэн-буддистов, йогов и христианских монахов? Иначе говоря, приверженцев различных духовных дисциплин?

— Примеров достаточно. По большей части это, естественно, земледельцы, пастухи, рыбаки — простые люди, как говорится. Техники в

собственном смысле слова у них нет. Но, конечно, они практикуют определенную духовную дисциплину: молитву, медитацию...

Он смолк, потому что к их столу подошел пожилой человек, абсолютно лысый, дымящий сигаретой в длинном янтарном мундштуке.

— Вы напрасно спорите, — сказал человек, обращаясь к Коломбану. — Так или иначе, проблема одна: без того нового качества жизни, о котором пишет Линда Грей, долгожительство — это скорее бремя, если не проклятие. И в таком случае — *как быть нам?*

— Доктор Гриффит, — представил его Коломбан. — Тоже был там с нами, когда это произошло...

Они с доктором переглянулись.

— Не лучше ли будет объяснить ему все по порядку?

Доктор сел, не переставая сосредоточенно дымить сигаретой, впериw глаза в пожелтевшую гравюру на противоположной стене.

— Объясни, — проронил он наконец. — Только начни с главного. Не с биографии Брэна, а со столетнего юбилея.

Коломбан всплеснул руками — то ли аплодируя, то ли возмущаясь.

— Ни слова больше, доктор, а то мне придется начать с конца. — Потом повернулся к нему с некоторым лукавством во взгляде. — Хотя у вас репутация всезнайки, держу пари, что вам ничего не говорит имя Шон Брэн. Даже тут, в Дублине, о нем мало кто помнит. Это был поэт, но, кроме того, маг и революционер, точнее, ирредентист. Умер в тысяча восемьсот двадцать пятом году, а тридцать лет спустя, в июне тысяча восемьсот пятьдесят пятого, его поклонники — тогда их у него было еще достаточно — установили в одном скверике памятник ему: весьма посредственной работы бюст на морском валуне в качестве постамента. Метрах в трех за ним в тот же день посадили дуб.

— Двадцать третьего июня тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, — уточнил доктор Гриффит.

— Совершенно верно. А пять лет назад мы, последние почитатели поэта и мага Шона Брэна, решили устроить в память о нем торжественную церемонию в том самом скверике, который носит его имя. Мы надеялись, что это привлечет внимание к его персоне. Мы были во власти иллюзии — потому что те немногие, кто еще ценит сегодня его поэзию, не приемлют его магическую ипостась, политические же деятели, которые в восторге от его ирредентизма...

— Ты забыл главное, — перебил его доктор, — про Джеймса Джойса.

— Самое главное, — вставил Стивен.

— Да, правда, — признал Коломбан. — Если бы надежды, которые мы связывали с «Поминками по Финнегану», оправдались, имя Шона Брэна было бы ныне знаменитым. Ведь все, что касается бытия или творений Великого Человека, сами понимаете, не может избежать славы. Устная традиция, корни которой нам проследить не удалось, утверждает, что Джойс якобы сделал в «Поминках по Финнегану» ряд аллюзий на эстетику и прежде всего на магические концепции Брэна. Согласно той же традиции, Джойс не пошел дальше — не стал облегчать поиски этих аллюзий указанием страниц или хотя бы контекста. Многие годы несколько наших бились над расшифровкой. Безрезультатно. Но если традиция не лжет, сто восемьдесят девять страниц «Поминок по Финнегану» таят в себе искомые аллюзии...

— Когда мы были вынуждены признать свое поражение, — подхватил доктор Гриффит, — только тогда мы решились отметить юбилей. Возможно, мы допустили ошибку, привязав торжество не к биографической дате, а к столетию памятника.

— Так или иначе, — снова вступил Коломбан, — но, сошедшись в сквере, мы сразу поняли, что нас ждет сокрушительное фиаско. С утра стояла необычайная жара...

— Это было двадцать третье июня, — вставил доктор Гриффит.

— Необычайная жара, — повторил Коломбан, — и вскоре после полудня, когда мы пришли в сквер, собралась гроза, небо как свинцом налилось. Это спутнуло даже тех немногих газетчиков, что пообещали оказать нам поддержку. Редкая публика тоже разошлась при первых же раскатах грома, при первых же каплях дождя. Только мы, полдюжины энтузиастов, оставались на месте, когда разразилась гроза...

Доктор резким движением встал из-за стола.

— Полагаю, самое время отправиться в сквер. Это недалеко.

— Но если подвернется такси, возьмем, — прибавил Коломбан.

Такси подвернулось в конце улицы.

— Итак, осталось только нас шестеро, — продолжал Коломбан. — И поскольку дождь лил как из ведра, мы укрылись под дубом...

— И, конечно, в какой-то момент, — с улыбкой перебил он, — в какой-то момент...

— Да. В какой-то момент, когда, впрочем, мы ничего такого не ожидали, поскольку считали, что гроза уже уходит, и прикидывали — стоит ли открыть церемонию через пять-десять минут или подождать, пока окончательно прояснится и, может быть, вернется хотя бы кое-кто из приглашенных...

— Как раз в этот момент, — подхватил доктор Гриффит, — молния ударила прямо в дуб, и он загорелся сверху донизу...

— Но ни один из нас не пострадал, — продолжил Стивен. — Только пекло было страшное — от близости огня...

— Дуб сгорел не весь, — вступил Коломбан, расплатившись с таксистом. — Как видите, часть ствола уцелела...

Они сделали несколько шагов до решетчатой ограды памятника. Специального освещения тут не было, но при свете садовых фонарей хорошо просматривался внушительный валун, косо посаженный в землю, и бюст, облагороженный патиной. Все это — на фоне изувеченного ствола векового дуба, кое-где сильно обугленного, кое-где с побегими робкой листвы.

— Да почему же его так оставили? — взволнованно спросил он. — Почему не выкорчевали и не посадили другой?

Коломбан иронически хмыкнул и порывисто огладил свои бакенбарды.

— Муниципалитет считает его — дуб — тоже историческим памятником. Шон Брэн популярности не приобрел, зато только и разговору, что про этот дуб — как молния отметила ударом день его столетнего юбилея...

Они медленно обошли вокруг ограды.

— То-то нас так и занимает проблема Времени, — продолжил Коломбан. — Говорят — и я в этом не сомневаюсь, мой отец знал тому множество примеров, — говорят, что тот, кто стоял под деревом, в которое попала молния, и остался в живых, доживет до ста лет...

— Я не знал такого поверья, — сказал он. — Но в нем есть логика.

Вид на монумент с тыльной стороны был столь живописен: огромный валун и трехметровый обрубок дерева, оголенный, обугленный и все же — с порослью живых побегов, — что он с разрешения спутников вернулся взглянуть на него еще раз.

— И вот что еще любопытно, — сказал доктор Гриффит, когда они

снова огибали памятник, — любопытно и вместе с тем печально: на другой день полиция обнаружила подложенную под камень бомбу. Если бы не дождь, во время церемонии был бы взрыв, и памятник разнесло бы на куски.

Он даже приостановился, ища взгляд доктора, глухо спросил:

— Но зачем? Кому это могло понадобиться — разрушать исторический памятник?

Доктор Гриффит и Коломбан со значением переглянулись, но отвечать стал Стивен:

— Многим. Во-первых, ирредентистам: они возмущены, что революционера Брэна записали в свои ряды и чествуют какие-то поэтишки, философы и оккультисты.

— Во-вторых, церкви, — подхватил Коломбан, — точнее, ультрамонтанистам и обскурантистам, которые видят в Брэне прообраз сатанинского мага, что само по себе абсурд, поскольку Брэн следовал традиции ренессансной магии в концепции Пико или Джамбаттисты Порты...

— Не стоит вдаваться в подробности, — перебил его Гриффит. — Главное — что служители культа не расположены его признавать.

Они шли теперь вчетвером посреди пустынной, слабо освещенной улицы.

— Однако вернемся к сути, — напомнил Коломбан, — то есть к нашей проблеме. Как нам быть с Временем, если мы обречены жить сто лет?

— Давайте обсудим это в другой раз, — предложил он. — Завтра, если угодно, или послезавтра. Встретимся ближе к вечеру в городском саду или в парке...

Он решил встретиться с ними еще раз, главным образом с тем, чтобы выяснить, за кого его принимает Коломбан. Разговаривал он с ним как со знатоком «Поминок по Финнегану». Но при этом хранил фрагмент из «Юноши в 70 лет» и знал, кто такая Линда Грей (и о ее успехах на литературном поприще)...

Стивен проводил его до отеля. На прощанье, оглянувшись по сторонам, шепотом сказал:

— Коломбан — это псевдоним. Вам лучше бы знать, что он практикует черную магию — вместе с доктором Гриффитом. Спросите их, что стало с остальными тремя, которые тоже стояли под дубом, когда ударила молния. И спросите, как будет называться книга, которую они пишут

в соавторстве. Да я вам и сам скажу. «Теология и демонология электричества»...

Заглавие ему понравилось, и он занес его в дневник, описав вкратце новое знакомство и порассуждав о смысле инцидента 23 июня 1955 года. Чего стоил один только факт, что взрыву, который по политическим мотивам должен был поднять на воздух памятник, помешал дождь и вместо этого молния подожгла столетний дуб! Элемент современности, динамит, привносил в инцидент краску пародии, чуть ли не карикатуры на эпифанию молний. А вот подмена объекта — дуб вместо памятника — оставалась для него загадочной. И три последующие встречи ясности не прибавили.

Он вспомнил о заголовке той книги летом 1964-го, когда на коллоквиуме по «*Mysterium Conjunctiones*»* Юнга один молодой человек, вступивший в дискуссию, произнес формулу «Эсхатология электричества». Молодой человек начал с того, что напомнил о слиянии в единое целое противоположностей, каковой психологический процесс, по его словам, следовало бы интерпретировать в свете индийской и китайской философии. Для веданты — так же, как для даосизма, — грань между противоположностями стирается, если смотреть на них в определенной перспективе, добро и зло теряют смысл, и бытие сливается с небытием в Абсолюте. Так почему же никто не осмеливается произнести, продолжал молодой человек, что на просторах этой философии атомные войны должны быть если не оправданы, то по крайней мере приняты как данность?

— Однако я, — добавил молодой человек, — иду дальше. Я оправдываю мировую ядерную войну во имя эсхатологии электричества!

Публика зашумела, и председательствующий был вынужден лишить оратора слова. Несколько минут спустя, когда молодой человек покинул зал, он вышел следом и, нагнав его на улице, сказал:

— Мне очень жаль, что вам не дали изложить до конца вашу точку зрения. Лично меня весьма интересует понятие «эсхатология электричества». Что конкретно вы имеете в виду?

Молодой человек взглянул на него искоса и передернул плечами.

— Нет настроения для дискуссий. Эта трусость современной мысли невыносима. Я лучше выпью кружку пива.

* Тайна соединения (лат.).

— Если позволите, я с вами.

Они уселись на веранде ближайшего кафе. Молодой человек, даже не попытавшись скрыть своего раздражения, начал:

— Я, как видно, последний оптимист в Европе. Как все, я знаю, что нас ждет: водород, кобальт и прочее. Но, в отличие от других, я пытаюсь отыскать какой-то смысл за этой неизбежной катастрофой — и, следовательно, примириться с ней, как учит старик Гегель. Так вот, провиденциальная цель термоядерной войны — не что иное, как мутация рода человеческого, появление сверхчеловека. Да, я знаю: эти войны сотрут с лица земли целые народы, целые цивилизации и превратят полпланеты в пустыню. Но такова цена, которую мы должны заплатить за то, чтобы радикально порвать с прошлым и форсировать мутацию, то есть появление высшего человека, по всем статьям неизмеримо превосходящего нынешнего. Только гигантский заряд электричества, который разрядится за несколько часов — или минут, — сможет преобразить психику и разум несчастной породы гомо сапиенс, до сих пор вершившей историю. При безграничных возможностях постисторического человека возрождение цивилизации на планете наверняка пройдет в рекордные сроки. Конечно, выживут только считанные миллионы населения. Но это будут миллионы сверхлюдей. Потому я прибегнул к формуле «эсхатология электричества». От электричества человек примет и *гибель, и спасение*.

Не глядя на него, молодой человек допил свое пиво.

— Но почему вы так уверены, что это электричество, когда его высвободит ядерный взрыв, приведет к мутации высшего порядка? С таким же точно успехом оно может спровоцировать полное вырождение вида.

Юноша вскинул на него строгие, чуть ли не злые глаза.

— Ни в чем я не уверен, я только *хочу* верить, что так будет. В противном случае ни человеческая жизнь, ни история не имеют смысла. И нам придется принять идею космических и исторических циклов, миф о вечном повторении. Кроме того, моя гипотеза — не просто плод отчаяния, она основывается на фактах. Не знаю, слышали ли вы об экспериментах одного немецкого ученого, доктора Рудольфа?

— Представьте, кое-что слышал. Но его опыты неубедительны — поражение электричеством животных...

— Так считается, — перебил его молодой человек. — Однако судить об этом трудно, поскольку архив Рудольфа почти полностью утерян. Те

же, кто имел к нему доступ, не нашли никаких упоминаний о биологической регрессии. Ну и потом — роман Теда Джонса «Омоложение молний». Вы, конечно, читали.

— Даже не знал, что такой роман существует.

— Если проблема вас занимает, вам следует его прочесть. В послесловии автор дает понять, что сюжет не вымышлен, только география и имена персонажей изменены.

— А о чем там речь? — невинно спросил он.

— Джонс описывает омоложение старика, которого поразила молния. Важная деталь: молния попала ему точно в темя. В восемьдесят лет этот персонаж — реальный, повторяю, — выглядит не старше чем на тридцать. В общем, бесспорно одно: в определенных случаях мощный электрический заряд может вызвать тотальную регенерацию в человеческом организме, то есть его омоложение. К сожалению, на психоментальных метаморфозах роман не останавливается — только мельком упоминает что-то о новых возможностях памяти. Ну а электричество, высвобожденное взрывом десятков, сотен водородных бомб, — представляете, какой основательный переворот оно может произвести!

На прощанье, когда, поднявшись из-за стола, он поблагодарил молодого человека, тот впервые посмотрел на него с интересом и даже, пожалуй, с симпатией. Дома он записал в блокнот: «18 июля 1964 г. Эсхатология электричества. Наверное, стоит добавить: *Finale**». После такой встречи вряд ли меня ждут события, достойные записи».

Тем не менее двумя годами позже, 10 октября 1966 года, он записал: «Сдача архива. Получаю новый паспорт». Тут было бы о чем порассказать. Особенно его восхитила великолепная (и таинственная) организация дела. Он получил через свой банк письмо из одной авиакомпании, уведомлявшей его, что расходы по транспортировке ящиков с рукописями и фонограммами уже оплачены филиалом банка в Гондурасе, а к нему на дом пришлют специалиста по упаковке именно такого рода материалов. Из банка к нему привезли два чуть ли не доверху набитых ящика, и они вместе со специалистом проработали до вечера. За исключением дневниковых тетрадей и нескольких личных вещей, все было упаковано в мешки и коробки, запечатано и

* Конец (*итал.*).

пронумеровано. Вначале он опасался, что сдача архива может означать близость неизбежной катастрофы, но его успокоил последовательный ряд снов.

Далее записи несколько участились, хотя более распространенными и вразумительными не стали. Декабрь 1966-го: «Надо будет все-таки написать ему, поблагодарить. Книга получилась толковая, на что я не надеялся». Это — о романе, который прислал ему Джонс. Он хотел добавить: «Как, скажите на милость, он узнал мое новое имя и адрес?» — но воздержался. Февраль 1967-го: «Следствие по делу уничтожения архива доктора Рудольфа». Апрель: «Р.А. при случайной встрече сообщил мне по секрету, что предварительное следствие окончено и теперь *точно известно*, что в тех двух чемоданах доктор Бернар вез наиболее ценные документы (как я подозреваю, фонограммы и фотокопии отчетов Профессора и моих тетрадей 1938—1939 гг.)».

3 июня 1967 года он записывает: «В Индии возобновилась полемика «Рупини — Вероника». Все больше и больше ученых ставят под сомнение подлинность магнитофонных записей, сделанных в клинике. Решающий аргумент: Вероника и ее спутник бесследно исчезли вскоре по возвращении экспедиции в Дели. Один большой ученый-материалист считает, что теперь, по прошествии двенадцати лет, свидетельские показания добыть невозможно». 12 октября: «Линда удостоена Пулитцеровской премии за новую книгу «Одна биография». Чья, интересно?» Затем, 12 июня 1968-го: «Вероника. К счастью, она меня не заметила». Подумав, дописал: «На вокзале в Монтрё, с двумя прелестными детьми, за чтением туристического проспекта. Выглядит на свои лета, даже моложе. А главное: она счастлива».

День своего столетия, 8 января 1968 года, он отмечал в роскошном ресторане Ниццы, в обществе молодой шведки Сельмы Эклунд, которая пленила его своим умом и оригинальными идеями по средневековому театру. Сельме только что исполнилось двадцать восемь. Он полушутя признался, что ему под сорок. Но вечер не удался: его спутница оказалась непривычной к шампанскому, и пришлось, бросив десерт, проводить ее в отель. Далеко за полночь он бродил один по пустынным улицам.

Все же он был бы не прочь отметить «свое первое столетие» (ему понравилась такая формула) каким-нибудь экзотическим путешествием. Много лет назад он побывал в Мексике, потом в Скандинавии. Теперь

можно было наметить поездку в Китай или на Яву. Но он не спешил принимать решение и повторял про себя: «Целый год впереди».

Как-то осенним вечером он вернулся домой раньше обычного: дождь с градом вынудил его отказаться от привычной прогулки по парку. Хотел было позвонить одной своей приятельнице, но раздумал и подошел к полке с пластинками. «В такую непогоду, как сегодня, только музыка... Только музыка», — машинально повторил он, натываясь среди пластинок на свой забытый семейный альбом. Как будто внезапно распахнулись окна — холодок пробрал его насквозь. Он растерянно стоял с альбомом в руках, пока не услышал мысленное: «А *третью* розу? Куда положить третью? Оставь свой альбом и покажи мне, где ты хочешь ее увидеть. *Третью* розу...»

Он рассмеялся, не без горечи. «Все же я свободный человек», — сказал он себе, садясь в кресло. С замиранием сердца, очень осторожно раскрыл альбом. Свежесрезанная роза лилового оттенка, какой он видел в жизни всего раз, ждала его на развороте листа. Он взял ее в руки, счастливый. Кто бы мог подумать, что одна-единственная роза способна насытить бальзамом целую комнату! После долгих колебаний он устроил розу рядом с собой, на краю кресла, и опустил глаза на первую карточку. Изображение было бледное, смазанное, тронутое временем, но он без труда узнал родительский дом в Пятра-Нямц.

V

Уже несколько часов шел снег, а когда миновали Бакэу, поднялась метель; но стоило поезду подойти к перрону вокзала, как снег перестал, на свежоомытом небе застеклились первые звезды. Он узнал площадь, одетую белой порошей, хотя она была обстроена блочными домами. Станным ему показалось только, что в предрождественские дни так мало освещенных окон. Он простоял долго, с чемоданом в руке, замороженно глядя вперед, на открывавшийся перед ним бульвар, и очнулся в тот момент, когда семейство, с которым он делил купе, заняло последнее такси. По счастью, гостиница, в которой ему заказали номер, была не так уж далеко. Он поднял воротник пальто и, не спеша перейдя площадь, вступил на бульвар. Уже дойдя до места, заметил, что у него онемела левая рука: чемодан оказался тяжелее, чем он думал.

— Вы очень хорошо говорите по-румынски, — заметила дама за конторкой, проверяя его паспорт и бумагу из туристического бюро.

Она производила впечатление: приятный голос, благородство черт, седые волосы и очки без оправы.

— Я лингвист. Специально изучал романские языки. И бывал в Румынии. В Пьятра-Нямц тоже, — добавил он, улыбаясь. — В студенческие годы... А пророс, кафе «Селект» еще сохранилось?

— Конечно! Это же исторический памятник. Его посещал сам Калистрат Хогаш — возможно, вы о нем слышали.

— Еще бы!

— Он посещал «Селект» с тысяча восемьсот шестьдесят девятого по восемьдесят шестой, пока был тут учителем. Есть и мемориальная доска... Ваша комната номер девятнадцать, третий этаж. Поднимитесь на лифте.

— Наверное, я сначала загляну в «Селект». Это недалеко. За час—полтора обернусь.

Дама в некотором удивлении взглянула на него поверх очков.

— Не простудились бы. Намело сугробов, и снова обещают снег.

— Час, самое большее — полтора, — повторил он с улыбкой.

Минут через десять он убедился, что дама была права: ему пришлось прокладывать путь сквозь снежные заносы. Но ближе к кафе тротуар был расчищен, и он прибавил шагу. У дверей остановился — перевести дух, подождать, пока уляжется сердцебиение, — и вступил в знакомый запах пива, свежесмолотого кофе и дешевых сигарет. Прошел сразу в дальний зал, где они некогда собирались. Там было почти пусто, только за одним столиком трое допивали свои кружки. «То-то всего одна лампочка горит под потолком, — подумал он, — экономят электричество». Сел на мягкую скамью у стены и уставился в пустоту, поджидая официанта и еще не зная, что заказать — тоже кружку пива или бутылку минеральной и кофе. Скоро тройца с шумом задвигала стульями, поднимаясь из-за стола.

— И на сей раз ни к какому выводу мы не пришли! — воскликнул один, обматывая шею серым шерстяным шарфом.

— Вот то-то и оно! — подхватил второй.

— Вот то-то и оно, — согласился третий, хмыкая и со значением поглядывая на товарищей. — Поняли намек?

Оставшись один, он засомневался, стоит ли ждать официанта, — и

тут ему показалось, что кто-то робко, боком подвигается к нему, бросая на него пытливые взгляды. Только вблизи он узнал подошедшего — это был Ваян.

— Вы, учитель? — воскликнул тот, обеими руками сжимая и трясая его руку. — Слава Богу, вернулись! Значит, поправились. — И крикнул через плечо, не выпуская его руки: — Доктор! Сюда, скорее, маэстро вернулся!

В два счета вся компания, во главе с доктором Некулаке и с Никодимом: в левой руке бутылка «Котнарского», в правой — недопитый стакан, — ворвалась в зал. Они теснились вокруг него — каждый хотел протолкнуться поближе — и на все лады повторяли его имя. Он был так растроган, что боялся прослезиться, и решил перебороть слезы смехом.

— Итак, — выговорил он, — история начинается сначала. Вы мне снится, а когда я проснусь, окажется, что только тогда и начинается сон. Как в той притче у Чжуан-цзы, про бабочек.

— У Чжуан-цзы? — тихо повторил Ваян. — Притча про бабочек Чжуан-цзы?

— Я же столько раз ее вам рассказывал! — напомнил он, вдруг приходя в веселое расположение духа.

Из глубины комнаты раздался голос:

— Пошлите кого-нибудь оповестить Вету.

Он крикнул:

— Оставьте Вету в покое! При чем тут Вета! Я и так прекрасно понимаю, что это сон и что через минуту-другую проснусь!

— Не волнуйтесь, дорогой Доминик, — сказал доктор, кладя руку ему на плечо. — Вы через столько прошли. Не волнуйтесь.

Он снова рассмеялся, потом начал, осторожно, словно стараясь не обидеть их:

— Я знаю, что такая наша встреча и все, что за ней последует, могло бы на самом деле произойти в декабре тридцать восьмого...

— Все на самом деле, учитель, — возразил Ваян. — Сегодня двадцатое декабря тридцать восьмого года.

Он взглянул на Ваяна с жалостливой иронией.

— Я даже боюсь вам сказать, какой сейчас год для нас, остальных, для тех, кто живет вне этого сна. Как бы не проснуться от такого усилия.

— Но вы не спите, Доминик, — заметил доктор, — вы просто устали... — И добавил: — Да и вид у вас очень усталый.

— Ну ладно! — взорвался он, теряя терпение. — Знайте же, что между двадцатым декабря тридцать восьмого года и сегодняшним вечером кое-что произошло. Вторая мировая война, например. Вы не слыхали про Хиросиму? Про Бухенвальд?

— Вторая мировая война? — спросил кто-то, стоящий поодаль. — Да, мы на волосок от войны.

— Тут так много всего случилось, пока вас не было и вы не давали о себе знать, — вступил Никодим. — Прошли обыски. Рылись у вас в библиотеке, что-то забирали...

— Помню, помню, — отмахнулся он. — Я им сказал, какие книги брать, они мне все привезли. Но это было давно, очень давно...

Его стало раздражать, что он не может проснуться. Ему уже хотелось вырваться из этого сна.

— Где мы вас только не искали, — раздался чей-то знакомый голос. — Доктор так даже по больницам искал.

— Мы прослышали, что вы попали в Бухарест, — сказал Некулаке, — и что вас там с кем-то спутали.

— Так оно и было, — кивнул он, — именно так. Спутали, потому что я сбросил не один десяток лет... — Он с минуту помедлил, потом продолжал с плохо скрытым торжеством, напустив на себя загадочность: — Теперь я могу сказать вам всю правду. В меня ударила молния, попала в самое темное — и я от этого омолодился. Я стал выглядеть лет на двадцать пять — тридцать и с тех пор не изменился. Уже тридцать лет я не старею...

Заметив, что они переглядываются, он с досадой передернул плечами, деланно хмыкнул.

— Знаю, вам трудно в это поверить. Но если бы я вам рассказал, сколько всего еще со мной случилось, тоже из-за молнии, сколько восточных языков я выучил — да мне их даже учить не приходилось, просто оказывалось, что я ими владею. Я вам признаюсь, потому что это сон и никто ничего не узнает.

— Это не сон, Доминик, — мягко сказал Никодим. — Вы здесь, среди друзей, в нашем кафе. Мы так это себе и представляли. Когда наш Доминик поправится, говорили мы, когда придет в память и возвратится, вот увидите, первым делом он отправится в «Селект».

Он засмеялся было, но вдруг обвел компанию напряженным взглядом, как будто испугался, что проснется именно в этот миг и потеряет их всех без возврата.

— Если бы это был не сон, вы бы знали про Хиросиму и водородную бомбу, и про Армстронга — про американского астронавта, который высадился на Луне этим летом, в июле.

Они все молчали, не смея даже переглянуться.

— Значит, так оно и было, — наконец пробормотал доктор. — Вас с кем-то спутали...

Он хотел ответить, но почувствовал, что устал, и прошелся ладонью по лицу.

— Это как в той истории у... у китайского философа, ну вы знаете, я вам ее тысячу раз рассказывал...

— У которого философа, учитель? — спросил Ваян.

— Ну я же давеча вам говорил, — занервничал он. — Имя выпало из головы. История с бабочками... В общем, она слишком длинная, не хочется еще раз повторять...

Все его тело налилось непонятной тяжестью, и на миг он испугался, что потеряет сознание. «Но, может, оно бы и к лучшему, — подумалось ему. — Потеряю сознание, зато проснусь...»

— Мы заказали сани, чтобы отвезти вас домой, домнул Матей, — сказал кто-то. — Вета уже затопила печь...

— Не нужны мне сани, — еле выговорил он, поднимаясь. — Пойду пешком. Когда встанет вопрос, я знаю, как на него ответить.

— Какой вопрос, домнул Матей? — поинтересовался Никодим.

Он хотел было сказать: «Да тот, который нас всех волнует!» — но почувствовал, что у него шатаются сразу все зубы, и, в ярости от унижения, крепко стиснул их. Потом шагнул к выходу. К его удивлению, компания расступилась, не препятствуя ему. У дверей он сделал попытку обернуться, поднять руку в прощальном взмахе, но каждое движение его изнуряло. Пошатываясь, тяжело дыша и сжимая зубы, он выбрался на улицу. Морозный воздух взбодрил его. «Начинаю просыпаться», — сказал он себе. Решив, что его никто не видит, он поднес пригоршню ко рту и стал по два, по три выплевывать зубы. Смутно, как картинку из полузабытого сна, он припомнил, что раз с ним такое уже случилось: некоторое время он не мог говорить, пото-

му что у него шатались все зубы. «Итак, все тот же вопрос», — подумал он, погружаясь в ясность и покой.

В ту ночь гостиничный швейцар допоздна ждал возвращения постояльца из № 19. Когда пошел снег, он протелефонировал в кафе «Селект». Ему сказали, что какой-то иностранный господин в самом деле зашел к ним вечером и напрямик направился в дальний зал. Но очень скоро — вероятно, оттого что освещение было слабым, а публики — никого, ушел, не попрощавшись, зажимая рот рукой.

Утром на улице Епископии у дома № 18 нашли замерзшего человека. Он был очень стар и буквально утопал в элегантном костюме и дорогом пальто на меху — вне всякого сомнения, с чужого плеча. При этом в кармане его пиджака лежал бумажник с иностранной валютой и швейцарский паспорт на имя Мартина Одрикура, родившегося в Гондурсе 18 ноября 1939 года.

Париж, ноябрь — декабрь 1976 г.



ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ...

Едва он отнял руку от кнопки звонка, как дверь мгновенно распахнулась. Он безотчетно перехватил бутылку с вином за горлышко, словно для защиты, но опомнился и покраснел.

— Ты меня не помнишь? — спросил он, выдавив из себя улыбку.

Открывший смотрел на него подозрительно, насупясь, с непонятной досадой.

— Я же Постэвару, Ионел Постэвару, твой одноклассник по лицу Святого Саввы. — И, поскольку открывший только пожал плечами, решил уточнить: — Вы разве не Енаке Мэргэрит, адвокат из Бухареста?

— Положим...

— Ну так мы же вместе учились, с первого по четвертый класс. — И повторил: — В лицее Святого Саввы.

Мэргэрит вяло улыбнулся и снова пожал плечами.

— Глубокая древность.

— Очень глубокая. Мы поступили туда сорок восемь лет назад. Однако у нас с тобой была и еще одна встреча, перед войной, тоже в Бухаресте. Я даже могу сказать тебе точно, когда: в марте тридцать девятого. Мы встретились на Бульваре, у книжного. У «Картя Ромыняскэ».

— Мне очень жаль, — нехотя произнес Мэргэрит, — но я этого не помню.

— Извини, что я настаиваю, — возобновил Постэвару свой натиск после паузы. — Ты человек занятой, я прекрасно понимаю...

— Просто жду одного знакомого, — сказал Мэргэрит. — Я думал, это

он, когда услышал звонок, и даже удивился, потому что он обычно опаздывает.

Постэвару в смущении вынул платок и отер лоб.

— Еще раз прошу прощения, но речь идет об очень важных вещах. То есть для меня очень важных. Я только вчера узнал твой новый адрес. А завтра утром мне уже ехать, и я не знаю, когда еще выпадет случай побывать в Париже... Для меня это крайне важно, — повторил он, — а у тебя займет не больше чем пять-шесть, от силы десять минут. Вот, кстати, вино. — Он неловко протянул бутылку. — В магазине клялись, что это лучшее, чем они располагают. Мне, правда, не понравилась упаковка, я ее содрал и оставил в такси...

— Благодарю, но, право, не стоило. Входи, пожалуйста. У меня тут кавардак, как видишь. Только что переехали...

Он равнодушно отставил вино в сторону, но, скользнув взглядом по этикетке, снова взял бутылку в руки и с изумлением на нее уставился.

— Чистое безумие, — прошептал он. — Эта бутылка обошлась тебе в целое состояние!

— Ну так что ж, — возразил Постэвару. — Я сказал себе: надо отметить нашу встречу в Париже. Сорок восемь лет знакомства! И потом, для меня это, повторяю, крайне важно. Я хочу тебя кое о чем спросить...

Он сел на кушетку и снова вытащил носовой платок.

— Спрашивай, — согласился подобревший Мэргэрит и придвинул к кушетке стул. — Только имей в виду: особых новостей у меня нет. Я девять лет как отъехал. С тех пор все еще больше изменилось. К худшему...

— Да-да, знаю, — вздохнул Постэвару. — Но я не про то, совсем не про то. Я про нашу последнюю встречу, в марте тридцать девятого. Я увидел тебя, когда ты вел спор, весьма оживленный, с одним человеком, мы стояли у книжного, ну и я подошел пожать тебе руку. Я и раньше тебя мельком видел, но либо сам куда-нибудь опаздывал, либо меня смущало твое окружение...

Он внезапно осекся и принялся складывать платок и запихивать его обратно в карман.

— Ты будешь смеяться, — сказал он, покончив с этой процедурой, — но я тебя уверяю, что те несколько слов, собственно, фраза, которую произнес твой знакомый, а может быть, и друг... Может, вы дружите и сей-

час... если он еще жив. Все-таки прошло тридцать пять лет. Война и все, что за ней воспоследовало...

— Я не совсем понимаю, — перебил его Мэргэрит, — не понимаю, к чему ты клонишь.

Постэвару, вконец оробев, взглянул на него, пытаясь держать улыбку.

— Виноват, прости. Я все утро мотался по городу, устал... И признаться, это ожидание, что с минуты на минуту кто-то придет... право, я не знаю, как подступиться к делу и побыстрее с ним покончить.

Мэргэрит улыбнулся.

— Ну, это пустяки, придет мой старый приятель. Тоже румын, тоже эмигрант. Если ты не захочешь говорить при нем, я попрошу его подождать в соседней комнате.

— Нет, нет! Пусть остается. Ты увидишь, тут нет никакой тайны... Однако теперь, когда ты меня успокоил, осмелюсь спросить: не найдется ли у тебя бутылочки пива? Холодного. Страшно хочется пить. Во рту пересохло...

Мэргэрит молча поднялся и пошел на кухню. Вернулся с бутылкой пива и стаканом, которые и водрузил с подчеркнутой вежливостью на столик у кушетки.

— Ничего проще, — сказал он, собираясь налить.

Но Постэвару, смущенно улыбаясь, перехватил его руку.

— Я слышал! Ты взял его прямо из холодильника. Оно слишком холодное, не даст пены. Пусть чуть постоит, придет в себя. Как говаривал наш физик, он же химик, Василе Сафирим — ты его помнишь, Сафирима? Помнишь, он говаривал: все может обледенеть вокруг нас, даже пиво...

Мэргэрит отпрянул как от удара, и его взгляд наконец-то зажегся живым любопытством, будто до него только сейчас дошло, кто к нему пожаловал.

— Ну да, Василе Сафирим, — изменившимся голосом сказал он. — Бедный Сафирим. Я как-то проходил через кладбище Белу. Осенью, денек был, как сейчас помню, чудный. Остановился закурить — я тогда много курил — и только собрался бросить спичку, как вижу — свежая могила, вся в цветах. И табличка: *Учитель Василе Сафирим. 1880—1943*. Бедняга! Это был первый и последний раз, когда я видел его могилу. Очень

скоро случилась американская бомбежка — помнишь, конечно, — и ту часть кладбища всю разворотило...

— Да, бедняга Сафирим! — поддакнул Постэвару. — Большой был ученый. Он имел в виду, очевидно, охлаждение земли: *все может обледенеть вокруг нас...* Но, чтобы не слишком пугать детей, добавлял в шутку: *все, даже пиво...* Кстати, теперь можно и налить, вот увидишь, какая будет пена. Ого!

Мэргэрит заворочался на стуле.

— Так вернемся к тому моему знакомому. Опиши мне его. Блондин, брюнет, какого роста, элегантный или так себе?..

— Ну как же ты не помнишь? — перебил его Постэвару. — Ведь это, повторяю, была наша единственная встреча, в марте тридцать девятого. На бульваре, у «Картя Ромыняскэ». Вы говорили оба одновременно, с таким жаром, будто вот-вот разругаетесь вдрызг. Твой друг...

— Да как же он выглядел, хоть примерно? Моложе нас, старше?

— Я бы сказал, что он нам ровесник. Блондин, шляпа сдвинута чуть на затылок, шляпа с узкими полями, и жестикулировал так своеобразно...

— А именно?

— Трудно объяснить... Не знал, что делать с руками: то и дело вскидывал их, будто волосы пригладить, но тут же совал в карманы, как бы вспоминая, что на нем шляпа. Видно было, что он на пределе, даже по тону... Все еще не припоминаешь?

— Да нет... Шляпа с узкими полями...

— Главное здесь — то, что он сказал, — продолжал Постэвару. — Повторяю, вы оба были на взводе и готовы к ссоре. Насколько я понял, ты пытался убедить его примириться с каким-то вашим общим приятелем. Из-за чего они повздорили, я не понял, потому что ни ты, ни он об этом не упоминали. Но то, что он сказал, меня глубоко потрясло. Я никогда ничего подобного не слышал. Каких-нибудь несколько слов, а по сути — философская или даже мистическая концепция. И он обронил их походя, без всяких предисловий...

— Да что же он такого сказал? — теряя терпение, взмолился Мэргэрит.

Постэвару взял было бутылку пива, но раздумал и снова опустил ее на поднос.

— Он сказал... Нет, погоди, надо добавить одну подробность. Ты, уже вне себя, спросил, окончательно ли его решение не мириться с тем вашим общим другом. Он посмотрел на тебя пристально, с грустью и вдруг улыбнулся. По-моему, иронически. Улыбнулся и сказал: «Почему же? Мы помиримся под тенью лилии, в раю!» Представляешь: *под тенью лилии!*..

— Ну хоть убей, не помню! Блондин в шляпе с узкими полями, говоришь?

— И все время жестикулировал, — напомнил Постэвару. — То и дело засовывал руки в карманы пальто, как бы с досады, что не может пригладить волосы... Прошу тебя, одно усилие памяти! Март тридцать девятого, на тротуаре перед «Картя Ромыняскэ». Когда вы расстались, мы с тобой немного прошли вместе, буквально несколько шагов, потому что ты был слишком взволнован и не расположен к разговорам... Но ты даже не представляешь себе, как на меня действовали эти слова: что примирение состоится под тенью лилии в раю! А позже они стали меня преследовать. Да, просто как идея-фикс. Это когда меня прошило из пулемета на переправе через Днестр. Точнее, когда я упал лицом в грязь на дороге и не сразу потерял сознание. С тех пор они меня преследуют. Особенно в минуты большой опасности — а их у меня было достаточно, как и у всех, — особенно в эти минуты я всегда видел твоего приятеля в шляпе с узкими полями и слышал: «Почему же!.. Под тенью лилии, в раю...»

Мэргэрит резко крутанулся на стуле, придвигая его ближе к кушетке.

— Вот досада! — воскликнул он. — Как же я мог забыть!

— Я прошу тебя, умоляю! — гнул свое Постэвару. — Сделай усилие памяти! Ты даже не представляешь, какую мне окажешь услугу. Может, ты вспомнишь попозже, когда я уйду. Я оставлю тебе свой телефон в здешнем отеле и цюрихский. Звони в любой момент. Вопрос насущнейший!

Мэргэрит слушал уже рассеянno, потирая правой рукой то одно, то другое колено.

— Однако же, — с внезапным раздражением проговорил он, — я не совсем понимаю, в чем может заключаться моя помощь...

— Если ты вспомнишь, о ком идет речь, ты вспомнишь и все остальное: помирились они или нет, живы они или нет и все прочее... Для меня это крайне, крайне важно! — патетически повторил Постэвару.

Тут под окнами раздались шаги, и Мэргэрит сорвался с места, чтобы открыть дверь.

— Слава тебе Господи, — пробормотал он.

Постэвару в смущении встал и вышел на середину комнаты.

— Вот и долгожданный господин Ефтимие, — представил Мэргэрит. — А это — Ионел Постэвару... мой однокашник по лицу Святого Саввы, — присовокупил он с улыбкой.

Ефтимие пожал бывшему лицеисту руку, пытливо и даже строго заглянув ему в глаза.

— Рад познакомиться, — сказал он, опускаясь в кресло, которое подвинул ему хозяин. — Вы, я вижу, предпочитаете кушетку, — добавил он, не спуская глаз с Постэвару.

— Меня усадил сюда наш милый хозяин, — стал оправдываться Постэвару. — Вообще-то...

— Значит, лицей Святого Саввы, — перебил его Ефтимие. — Какой лицей! — воскликнул он, поудобнее откидываясь на спинку кресла. — Оттуда все и пошло. Не далее как неделю назад рассуждали об этом с доктором Тэушаном. Какого рожна ему понадобилось говорить молокососам, четырнадцати-пятнадцатилетним мальчишкам, про такую штуку, как тень лилии в раю? Ведь с этого все и пошло...

Постэвару почувствовал, что краснеет, и сконфуженно полез за платком. Поднять глаза на хозяина, который пытался саркастически рассмеяться, он не посмел.

— Я не знал, — начал Мэргэрит отчетливо, — я не знал за тобой привычки подслушивать под дверь, прежде чем нажать на кнопку звонка.

— О чем ты? — спокойно откликнулся Ефтимие. — Кто подслушивает под дверь?

— О чем? А как же с тенью лилии в раю?

— Да это мы с доктором Тэушаном на прошлой неделе, пока ждали в метро... И оба согласились, что с его стороны было довольно-таки глупо...

Постэвару взглянул наконец на Мэргэрита и решительно встал с кушетки.

— Позвольте мне, — вмешался он. — Прошу прощения, что я вас перебиваю, но, должен признаться, я потрясен не меньше, чем Мэргэрит. Потому что — он подтвердит — я приехал к нему (а мы не виделись с мар-

та тридцать девятого), я приехал, повторяю, специально из-за этой фразы: *под тенью лилии, в раю...*

— Ну да, — сказал Ефтимие, — это мы от него слышали, от учителя, в Саввином лицее.

— Нет, мой милый, — с раздражением возразил Мэргэрит, — ты нас не путай. Мы с Постэвару были как-никак однокашниками в Саввином лицее...

— Сорок восемь лет назад, — уточнил Постэвару.

— А история с тенью лилии и прочим имела место гораздо позже, — продолжил Мэргэрит.

— В марте тридцать девятого, — опять уточнил Постэвару.

— Так что Саввин лицей тут ни при чем, по крайней мере лицей нашего отрочества, — закончил Мэргэрит и в изнеможении опустил на стул.

— Я вам скажу, о чем мы говорили с доктором Тэушаном, когда вышли из кафе, — невозмутимо взял слово Ефтимие. — Мы, все наши, встречались прошлое воскресенье в «Эксцельсиоре». Жаль, тебя не было. Так вот, тучи сгущаются. — Он понизил голос. — И это может сказаться на нас, на румынской диаспоре, я имею в виду...

Мэргэрит вскочил.

— Нет, тут любое терпение лопнет, я сейчас волком завою! О чем речь, в конце-то концов?

Ефтимие в недоумении уставился на него, потом его лицо прояснилось.

— Простите, — сказал он, — я думал, ты в курсе, я забыл, что прошлое воскресенье ты с утра не был в церкви.

— Пришлось съездить в провинцию. Очень уж докучают. И все с одним и тем же!

— Да, да, теперь я вспомнил... Короче, мы встретились, как я уже говорил, в «Эксцельсиоре», чтобы решить, чем мы можем помочь Илиеску.

— Это которому Илиеску? И что с ним стряслось? — нетерпеливо спросил Мэргэрит.

— Сейчас, сейчас. Разве ты не знаешь инженера Илиеску?

— Это про которого писали в газетах, как ему удалось добраться до Вены — пять дней в заколоченном ящике?..

— Да с ним и не такие были страсти, но об этом потом...

— Так что же все-таки с ним стряслось? — напомнил Мэргэрит.

— С его слов, вот что. Представьте себе, что его отстранили от дел в Бриансоне и пообещали перевести в другой департамент, но в какой именно, не сказали. Пока что он, по его собственному выражению, «на вакациях», в Париже. Что еще хуже, он попал под подозрение. За ним следят, он чувствует. Да что там чувствует — знает. И все из-за этого Валентина!..

— Нет, я больше не могу! — остановил его Мэргэрит, не садясь и опираясь обеими руками о спинку стула. — Еще какого-то Валентина приплел!

— Но я же не дорассказал!

— Да я вижу, что до конца еще далеко, и поэтому позволю себе спросить, что ты предпочитаешь: кофе, оранжад, вино?..

— Пожалуй, сейчас впору будет немного вина.

Мэргэрит с важным видом отправился на кухню.

— Для тебя захвачу бутылочку пива, — бросил он Постэвару, улыбаясь со значением.

Чем дольше длилось молчание, тем суровее новый гость поглядывал на Постэвару.

— Та же фраза! — не выдержал тот. — Нас, румын, десятки или, может быть, сотни тысяч в изгнании, мы рассеяны по всему миру, и надо же: как раз в тот день, когда я проездом в Париже разыскиваю Мэргэрита, чтобы спросить его об одной фразе из тридцать девятого года, вы — только в дверь, как раз с ней на устах. Какое совпадение!..

— Только не говорите о совпадениях при Илиеску, если с ним встретитесь. Для математика и такого спеца по статистике, как он, самые экстраординарные совпадения столь же естественны, как дважды два четыре.

— С математической точки зрения он, вероятно, прав, но...

Он вскочил, чтобы помочь Мэргэриту установить на столике поднос с напитками.

— Я вижу, ты меня балуешь, — сказал Ефтимие, церемонно поднимая бокал.

— Так о чем я, — вернулся к прерванной мысли Постэвару, — с математической точки зрения он, может быть, и прав. Однако: *та же самая фраза...*

— Но фраза-то не его, — сказал Ефтимие, таинственно улыба-

ясь. — Отличное! — похвалил он, пригубив вино. — Нет, право, ты меня балуешь!

Мэргэрит подвинул к себе стул, сел и решительно вынул из кармана пачку «Голуаз».

— Позволю себе сигарету, — сказал он виновато. — Вообще-то я бросил. Но одну пачку всегда держу под рукой. На случай, если нервы расшатываются. Прошлого воскресенье, — он повернулся к Ефтимие, — выкурил почти всю!

— Ну и плохо сделал, — пожурил его Ефтимие. — Лучше бы остался в Париже и познакомился с Илиеску... Узнал бы, что нас ожидает!

— Да что, что нас ожидает? — уже с раздражением вырвалось у Мэргэрита.

— Узнаешь в свое время, если не будешь больше меня перебивать. Итак, начнем сначала. То есть с момента двухлетней давности, когда Илиеску приютил у себя Валентина Иконару. Илиеску, да будет тебе известно, работал в Центре автомобильного контроля, в Бриансоне. У него там дом, а поскольку он человек холостой, то он и приютил у себя этого молодого человека, лет двадцати пяти, взял его как бы секретарем. Я лично самого Валентина не знаю, но, по словам Илиеску и других румын, которые его навещали в Бриансоне, умом он явно не блещет. По-французски двух слов связать не может, читать, слава Богу, научился, но читает исключительно про всякую живность, а больше всего про насекомых. Вообще на слова скуп, вот про букашек и козявок — пожалуйста. К тому же человек ненадежный, имеет привычку пропадать по два-три дня, а когда объявляется, то всегда повторяет одно и то же: дескать, увязался за бабочкой, или за жуком, или еще за чем-нибудь таким и заблудился в горах.

— Надо было отчитать его хорошенько и отослать обратно в Париж, пусть бы узнал, почем фунт лиха на чужбине, — сердито заметил Мэргэрит.

— У Илиеску золотое сердце, — возразил Ефтимие, снова наливая себе. — К тому же он нам признался, этот простофиля его очень позабавил — после того как чуть ли не в первый же вечер закатил речь о том, как, видите ли, следует переписать сегодня «Энтомологические наблюдения» Фабра... Однако события начали развиваться после одного случая, на вид вполне банального. Месяца два назад сидят они в горах, на солнышке, и Валентин держит на ладони голубую ящер-

ку, любителю. И вдруг Илиеску слышит: «Когда мы все будем в раю, под тенью лилии, я пойму, что говорит мне сейчас эта ящерка»... Илиеску на него поглядел и спрашивает, так, в шутку: «Откуда же ты знаешь, какой вышины лилии в раю?» А Валентин с улыбкой: «Так говорил один учитель в Саввином лицее. Вообще-то он по профессии был не учитель, жил под чужим именем, с фальшивыми документами, пока его все-таки не забрали...»

Мэргэрит вскочил и, шлепнув себя ладонью по лбу, воскликнул:

— Ну конечно! Это Флондор, Эманоил Флондор, архитектор! Как же я сразу не вспомнил? В шляпе с узкими полями. В ту весну он носил шляпу. Почему-то. После снова стал ходить, как всю жизнь, с непокрытой головой.

Постэвару в волнении встал и перекрестился.

— Слава тебе Господи, вспомнил! А они помирились?.. Я затем и приехал, — объяснил он Ефтимие, — чтобы узнать, помирился он со своим приятелем или нет.

— С Санди Валаори, газетчиком, — отвечал Мэргэрит. — Они были добрыми друзьями, а повздорили из пустяка. Да, помирились в конце концов. И даже решили отпраздновать это дело, тет-а-тет, в своем любимом ресторане, сразу как кончится война. Но не пришлось. Санди впутали в процесс Маниу и приговорили к двадцати пяти годам строгого режима. Тогда-то исчез и Флондор — раздобыл каким-то образом фальшивые документы и диплом и заделался учителем истории, сначала где-то в провинциальной гимназии, потом подвернулось место в Бухаресте, в Саввином лицее, там как раз историк попал в автомобильную катастрофу. Но буквально через полгода его взяли — по доносу, не иначе, и дали ему пятнадцать лет.

— А с тех пор о них что-нибудь было слышно? — спросил Постэвару. — Живы они?

Мэргэрит машинально опустился на стул и снова нашарил в кармане сигареты.

— Мне говорили, что Санди Валаори отсидел несколько лет и умер в тюрьме. Во всяком случае, я его больше не встречал. А про Флондора ничего определенного не известно. Ходят разные слухи: кто говорит, что он вроде бы тоже умер, но когда, при каких обстоятельствах, никто не знает...

Ефтимие, который не пытался скрыть раздражения, что его перебили, на этих последних словах оживился.

— ...А есть версия, что он бежал из тюрьмы и переправился через границу, но опять-таки неизвестно когда и как...

— Это вы узнаете от Илиеску... — объявил Ефтимие. — А он узнал от Валентина, от того самого молодого человека, про которого мы толкуем. Этот Валентин утверждает, что ваш Флондор якобы жив-здоров, что он с ним много раз виделся и даже беседовал...

— Вот это да, — прошептал Мэргэрит.

— ...Однако где и когда виделся, — продолжал Ефтимие, — и о чем беседовал, умалчивает, говорит, ему все равно не поверят.

— Это как же понимать? — спросил Мэргэрит, потирая лоб.

— Понимай как знаешь. Я говорю со слов Илиеску, а ему столько надо было сказать, что он не мог расписывать подробности. Так или иначе, Илиеску — технарь и крепко стоит на земле. На всяких там миражах, призраках его не проведешь. И когда Валентин раз все-таки признался ему, что на загородном шоссе есть место, где после полуночи исчезают грузовики: сразу за поворотом, не знаю, на каком километре, — Илиеску только улыбнулся. «Весьма любопытно, — говорит, — я тоже хочу посмотреть, как они якобы исчезают за поворотом. А для точности эксперимента возьмем с собой Марка (Марк — это его сослуживец, очень надежный малый) и расположимся метрах в десяти-пятнадцати друг от друга, до и после поворота...» Так они и сделали. Незадолго до полуночи попрятались за деревьями. Только грузовик появится — Илиеску свистит специальным свистом. — Ефтимие взял бокал и, прежде чем поднести к губам, добавил: — Такой короткий и пронзительный свист ночной птицы, они все трое его заранее освоили... — Потягивая вино, он поудобнее утонул в кресле. — Первые два часа все было нормально. Потом выскакивает грузовик — видно, что здорово нагруженный, — и на полном ходу сворачивает, а через десять-пятнадцать секунд Илиеску слышит свист Марка, означающий, что мимо него грузовик не проехал. Илиеску бросается проверять. В самом деле, на шоссе, которое сразу за поворотом идет вверх через лес, никакого грузовика нет. Только далеко-далеко, за деревьями, виднеются фары предыдущего, который прошел пятью минутами раньше.

— Вот это да, — опять прошептал Мэргэрит.

— Мы тоже, конечно, ахнули, — продолжал Ефтимие. — Но Илиеску — человек точных знаний. Валентин ему: «Вот видите, я был прав», — а он спокойненько: «Пока что выводы делать рано. Понаблюдаем еще». Они поменялись местами, Илиеску засел в рощице прямо у поворота, а Валентин свистом оповещал его о приближении грузовиков. В ту ночь, по словам Илиеску, их исчезло три. Валентин ему: «Ну, убедились? Убедились, что я ничего не придумывал?» А Илиеску: «Я еще не видел твоего учителя из Саввина лица. Пока не увижу его собственными глазами, не поверю!» Марк, самый младший из них, впал в панику. «Надо, — говорит, — немедленно заявить, куда следует!» А Илиеску: «Ни в коем случае! Никому ни слова. Иначе у нас могут быть неприятности...»

— Но какого порядка? — удивился Мэргэрит.

Ефтимие прокашлялся, допил свой бокал и, понизив голос, объяснил:

— Илиеску с самого начала заподозрил, в чем дело. При Валентине он ничего не сказал, но Марку на другой день намекнул, что тут наверняка что-то секретное, военное, — новая система камуфляжа с помощью... какой-то штуковины, не знаю, я не силен в технических терминах. В общем, Илиеску велел им держать язык за зубами: ни их коллеги, ни власти, ни тем паче газетчики не должны были проникнуть об их открытии. А что это было открытие, он не сомневался. Они караулили еще три ночи и увидели, что все без обмана: грузовики действительно исчезают, хотя и выборочно. В первую ночь — два, во вторую — пять, а на третью ночь — только один. Правда, на третью ночь они уже стоя засыпали и разошлись по домам много раньше...

— Однако, выходит, информация все-таки просочилась, — перебил его Мэргэрит, — раз ты говоришь, что Илиеску, а с ним и все мы, здешние румыны, взяты под подозрение..

— По несчастной случайности! — воскликнул Ефтимие. — Как-то вечером, недели две назад, в одном баре в Бриансоне зашла речь о летающих тарелках, они сейчас называются «неопознанные летающие объекты». Так вот, Марк возьми и брякни — вероятно, выпил лишнего, — что он тоже видел кое-какие неопознанные объекты на загородном шоссе. Правда, сразу опомнился и в детали пускаться не стал. Но слово вылетело — его подхватил один местный газетчик и дал информацию, что под Бриансоном видели новый тип летающих таре-

лок, и несколько дней все на эту тему чесали языки. Теперь представьте себе...

Мэргэрит рывком поднялся и, приложив палец к губам, пошел к двери. Как только раздался звонок, он отпер, выглянул в щель и, повернув голову к гостям, объявил:

— Доктор Тэушан!

— Прости, дорогой мой, — извинился доктор, входя. — Но за мной следят. Очень может быть, что и за тобой тоже, — обратился он к Ефтимие. — За всеми нами следят! Я пришел предупредить: если нас будут спрашивать, что мы обсуждали в «Эксцельсиоре», давай договоримся, чтобы не противоречить друг другу.

— То есть? — спросил Ефтимие. — Это в каком же смысле?

— Будем все говорить одно и то же: что Илиеску с нами особенно не откровенничал, а просто сказал, что по чистому недоразумению появилась статья в одной провинциальной газете и что...

Мэргэрит снова приложил палец к губам и крадучись направился к двери. Доктор Тэушан сел на кушетку. Не дождавшись звонка, Мэргэрит спросил по-французски:

— Кто там?

И поскольку тягостное молчание длилось, повторил вопрос тоном более суровым.

— Мы от мсье Илиеску, — ответили по-французски же.

— Но у меня гости... — начал Мэргэрит.

— Мы только посоветоваться, мсье Илиеску попросил!

Приосанясь, Мэргэрит широко распахнул дверь. Увидев первого из входящих — высокого, корректно одетого молодого человека с почти бесцветными волосами и любезным выражением лица, — Тэушан нагнулся к Ефтимие и шепотом сказал:

— Нет, за мной следили не эти...

С некоторой церемонностью Мэргэрит представил:

— Мсье Жан Буасье (молодой человек вежливо склонил голову), мсье Жеральд Ласказ. — И принес еще пару стульев из столовой.

— О чем же посоветоваться? — спросил по-французски Тэушан.

— Давайте говорить по-румынски, — предложил, приветливо улыбаясь, Жеральд Ласказ. — Мне нечасто представляется такой случай, а я очень люблю румынский язык.

— Если бы не чуть заметный акцент, я бы поклялся, что вы румын! — воскликнул Ефтимие.

Ласказ весело переглянулся с Буасье и совершенно непринужденно рассмеялся.

— Я провел в Румынии детство. И жена у меня румынка... Очень сожалею, что я вас беспокоил, — продолжал он, обращаясь к доктору и к Ефтимие, — но, как вы уже догадались, дела плохи. Поэтому мсье Илиеску подсказал нам попросить у вас совета. Мы знаем, что вы обсуждали прошлое воскресенье в «Эксельсиоре», а это еще больше осложняет ситуацию...

— Но отчего же? — хором спросили Ефтимие и Тэушан.

Ласказ, оглянувшись на Буасье, снова рассмеялся и снова весьма добродушно.

— Оттого, что вы были в кафе не одни. Кое-кто еще понимает порумынски. И мы рискуем опять влипнуть в историю, как с Бриансоном, ну, со статьей в «Ла депеш» про НЛО и прочее...

— Но ведь Илиеску как раз и утверждает, что летающие тарелки и все прочее — ерунда! — заметил Ефтимие.

— Вот то-то и оно, — подхватил Ласказ уже официальным тоном. — Мсье Илиеску говорил вам о другом, о некоторой, по его мнению, военной тайне, а это будет похлеще, чем неопознанные летающие объекты. В результате мы были вынуждены принять меры. Предупредительные. Вы, конечно, знаете, что уже сутки, как движение в соответствующей зоне запрещено, контроль строгий, и мы не делаем из этого секрета, потому я и говорю так свободно. Но боюсь, придется прибегнуть и к другим мерам. Сообщаю вам конфиденциально, что мы, возможно, будем вынуждены пригласить — о, всего на несколько дней! — пригласить на Корсику, в один отель, всех, кто узнал от Илиеску, непосредственно или через третье лицо, про утверждение Валентина Иконару, будто бы он видел в автомобиле своего бывшего учителя истории и даже разговаривал с ним...

— Да он же дурачок, этот Валентин! — вмешался Ефтимие, подскочив в кресле. — Как можно делать выводы на основании болтовни мальчишки, который и по-французски-то ни бельмеса не знает?

Ласказ с иронической улыбкой обернулся к коллеге. Зазвучала французская речь:

— Валентин бегло говорит по-французски, — сказал Буасье, — и его

очень ценят в Музее. Он сделал сенсационные наблюдения над отрядом жесткокрылых альпийской зоны. Опубликовал несколько статей... Под псевдонимом, разумеется, — добавил он, многозначительно переглянувшись с Ласказом.

— Во всяком случае... — тоже по-французски начал доктор Тэушан.

— Продолжим по-румынски, — перебил его Ласказ. — Я тогда чувствую себя «больше как дома», если вы позволите мне так выразиться...

— В любом случае, — поправился Тэушан, — мне кажется по меньшей мере преувеличенным, если не противозаконным, подозревать нас и «приглашать» на Корсику только на том основании, что Валентин утверждает, будто он видел своего бывшего учителя истории, который что-то там такое им говорил...

— «Когда мы встретимся... — подсказал Ласказ, — когда мы встретимся под тенью лилии, в раю...»

Постэвару покраснел и полез за платком. Он снова не смел поднять глаз на Мэргэрита.

— Значит, вам и это известно, — прошептал Ефтимие, — про лицей Святого Саввы...

— От самого мсье Илиеску, — отвечал Ласказ.

— Оттуда все и пошло, — продолжал Ефтимие, — это все их историк. Какой смысл было говорить лицеистам, мальчишкам, про тень райских лилий?

— Вот и я тоже думаю — зачем? — подхватил Ласказ. — Но пока проблема нас интересует в другом аспекте... — он украдкой взглянул на часы, — а именно: сама фраза. Мой коллега, который понимает по-румынски, но говорить стесняется, предоставил мне спросить вас, нет ли в этом выражении, «под тенью лилии», нет ли тут для вас, румын, какого-то особого смысла — не метафора ли это?

— Метафора? — переспросил доктор. — То есть нет ли тут подтекста?.. Но какой же тут может быть подтекст?

Ласказ смерил его долгим испытующим взглядом, потом бегло оглядел всех присутствующих.

— Ну например, возврат из изгнания, — произнес он наконец. — Жан Буасье много беседовал с Валентином (что скрывать, энтомология и его «тайная страсть»), и в ходе этих бесед у него сложилось впечатление, что для Валентина *Изгнание* означает гораздо больше, чем положение эмигранта.

ранта, как мы его понимаем. Так, его однажды поразило утверждение Валентина, что «весь мир живет в изгнании, но что об этом знают очень немногие...»

— Ничтожное меньшинство, — по-французски уточнил Буасье.

— И вот мой коллега интересуется, не намекает ли встреча под тенью лилии в раю на благодать триумфального возвращения из Изгнания, подобного исходу израильтян из вавилонского плена... Конечно, — добавил он после паузы, — в этом случае речь идет не только об изгнанниках из Восточной Европы, но и о подавляющем большинстве европейцев вообще...

— Мне бы такое и в голову не пришло, — сказал доктор.

— И мне тоже, — присоединился к нему Ефтимие.

Ласказ, выждав минуту-другую, продолжал:

— Знаете, что говорил Валентин всякий раз, как мсье Илиеску пробовал выпросить у него, при каких обстоятельствах он встретил своего бывшего историка? Он говорил, что не смеет сказать, потому что его не примут всерьез.

— Но как может Илиеску, человек науки... — начал было доктор Тэушан.

— Может не может, — перебил его Ласказ, — но это вам не шутки. Последний раз Илиеску видел Валентина ровно неделю назад. Тот позвонил ему из Музея (замечу в скобках, что он никогда не информировал Илиеску, куда едет, а просто исчезал). И вот неделю назад он звонит, что приехал в Париж поработать в Музее. А когда они встречаются, дает все-таки согласие рассказать про свои свидания с учителем, но только какой-нибудь важной персоне, священнослужителю или научному светилу...

— Какая наглость! — вырвалось у Ефтимие.

Ласказ взглянул на него с улыбкой.

— Это, конечно, поставило вас в затруднительное положение, — продолжал он. — Мы проконсультировались с кем следует и выбрали крупного религиозного деятеля, который бы вызвал у Валентина доверие. Но на это ушло несколько дней. И когда мы связались с мсье Илиеску и вместе с ним отправились самолетом в Бриансон за Валентином (в Париже он пробыл всего пару дней), того уже не было. Мы по крайней мере его не нашли...

— Хотя, — с улыбкой вставил доктор Тэушан, — я думаю, что за ним следили.

— Естественно. Как и за мсье Илиеску — сразу после статьи в «Ла депеш», — как и за всеми вами. Следили и следят.

— Мы знаем, — прошептал Ефтимие.

— Но долго он не сможет скрываться, — сказал Мэргэрит. — Все-таки иностранец, и неопытный. Найдется непременно.

— Конечно, мы его найдем, — согласился Ласказ. — Но время уходит. Мы уже потеряли слишком много времени. Никто из вас, сколько я понял, не встречал его последние дни...

— Нет, нет! — сказали все в один голос.

Зазвонил телефон, Буасье взглянул на часы и, резко поднявшись, бросил Мэргэриту:

— Пардон, это нам.

Взял трубку и несколько секунд слушал, не произнося ни слова. Потом кивком подозвал Ласказу и передал трубку ему. Слушая, Ласказ менялся в лице — от неприкрытого удивления до откровенной радости.

— Прекрасно! — воскликнул он раз, бросив многозначительный взгляд на Буасье, и снова смолк, время от времени посматривая на часы. Наконец, прошептав «тем лучше», аккуратно положил трубку на рычаг. Помедлил, выжидая, буравя взглядом всех четверых по очереди, потом вернулся на свой стул, ближе к кушетке.

— Итак? — выдохнул доктор Тэушан.

— Последние новости неплохие, но в то же время дело осложняется. Довожу до вашего сведения, что Валентин получил аудиенцию у Его Высокопреосвященства архиепископа Парижского. Каким образом Валентину передали, что аудиенция была назначена на сегодня, на три часа дня и именно у архиепископа Парижского, мы узнаем потом. Пока что Его Высокопреосвященство позвонил ответственному лицу и пересказал всю встречу с Валентином. Я не могу входить в подробности, позволю себе только отметить, что на Его Высокопреосвященство произвели сильное впечатление... Э... признания нашего милого натуралиста. Впрочем, — с улыбкой добавил Ласказ, — Валентин проведет эту ночь в Архиепископстве, Его Высокопреосвященство попросил позволения, чтобы тот сопровождал его завтра, когда он полетит в Рим.

— Итак, старик понял, — пробормотал Буасье.

— Увы, не он один! — в тон ему процедил Ласказ. — Бедняга пилот!.. — И снова по-румынски, ко всем: — Похоже, аудиенция у архиепископа была подстроена гораздо раньше...

— Но какого рода «признания» сделал ему Валентин? — осмелился спросить доктор.

Ласказ пожал плечами, не заботясь больше о любезном выражении лица.

— Это уже нам доложат. Пока по крайней мере Его Высокопреосвященство заверил нас, что выражение «под тенью лилии, в раю» не содержит в себе ничего еретического. Он предложил нам перечитать Евангелие и Святых Отцов...

— Ну а бывший Валентинов учитель, они правда встречались? — напомнил Ефтимие.

— Во всяком случае, Его Высокопреосвященство заверил, что причин сомневаться в этом нет.

— Жив, значит! — воскликнул Мэргэрит. — Но где же он сейчас? В какой стране?

— Узнаем в свое время. Пока для нас и для вас, эмигрантов из Румынии, практический интерес в том, что вам не придется провести следующие пять-шесть суток в отеле на Корсике...

— Что ж, и на том спасибо! — съязвил доктор.

— Не за что, лишние хлопоты нам тоже ни к чему, — парировал Ласказ.

Ефтимие заерзал в кресле, собираясь задать вопрос.

— А грузовики? — опередил его Мэргэрит.

— Вот-вот, я тоже хотел спросить, — подхватил Ефтимие. — Что с грузовиками, которые *исчезают*, — это правда? — И, видя, что Ласказ переводит взгляд на коллегу, добавил: — Или, как считает Илиеску, речь идет о военной тайне?

— Я же сказал: новости хорошие, но дело в то же время осложняется. Осложняется, поскольку уходит из-под нашего контроля. Отныне этой загадкой — с машинами, которые становятся невидимыми в определенной точке пространства в определенный момент времени, — этой загадкой займутся теперь другие.

— То есть? — спросил Ефтимие.

— Валентин уверил Его Высокопреосвященство, что сии таинствен-

ные машины изменили маршрут. Теперь он будет пролегать через нейтральную страну.

— Через нейтральную страну? — вскинулся Буасье.

Взгляд Ласказа остался спокойным, ясным.

— Именно так он выразился. И повторил: нейтральная страна.

Буасье, вскочив, разразился взволнованной французской тирадой:

— Но речь идет о метафоре! Я-то Валентина знаю! Мы можем его упустить, скорее за ним!

Ласказ тоже встал, зараженный его волнением. Зазвонил телефон, и, чуть поколебавшись, Мэргэрит снял трубку.

— Кто, кто? О!.. Да, он здесь. Даю его вам.

Он сделал знак Ефтимие.

— Инженер Илиеску. Просит тебя.

Все поднялись с места и застыли. Ефтимие слушал с торжественным выражением лица, кивая. Иногда он нервно передергивал плечами, но не осмеливался вставить ни слова. Только напоследок робко пробормотал:

— Но они тоже здесь... Я им передам. Вообще нас тут много. Я скажу всем... Да, да, хорошо!

Он оглядел присутствующих с победоносным, хотя и несколько озадаченным видом. Пошел было к креслу, но раздумал и остался стоять, как и все остальные.

— Это был Илиеску, — начал он. — Четверть часа назад ему позвонил Валентин, сообщил, где мы, и попросил передать нам послание. Но разрази меня Бог, если я понял, что он хотел сказать этим своим посланием! Я уяснил одно: пока нам не грозит никакая опасность. Тем не менее мы не должны забывать, что близится Исход и что нам надо уже сейчас готовить себя к этому. Илиеску ему: «Как же себя готовить?» А Валентин: «Каждый готовит себя по-своему. Тот, кто никогда, допустим, не любил цветов, пусть научится их любить. И тогда они снова откроют ему свою тайну, которая открыта детям, но очень скоро забывается...» А что дальше, — в смущении добавил Ефтимие, — вылетело из головы, слишком мудрено...

— Что-нибудь про тень райских лилий? — подсказал Постэвару.

— Нет! — отрезал Ефтимие. — Про это я бы не забыл. Но погодите, не перебивайте, а то я перепутаю все Валентиновы рекомендации. Значит, так: сначала эта штука с цветами; потом: «Кто раньше говорил только со

своей собакой или кошкой, пусть попробует поговорить с другой живностью, хотя бы с птицами в парках или со змеями в ботаническом саду. Пусть его не обескуражит, если сначала он не поймет, что ему отвечают. Пусть наберется любви и терпения — и так постепенно прозреет и увидит, сколь великолепна данная ему жизнь» (это приблизительно, дословно сказать не могу). А остальное, — продолжал Ефтимие, немного помолчав, — я вообще не понял. Например — Илиеску повторил мне эту фразу дважды, упирая на ее важность, — например: «Давайте смотреть и на небо без звезд и на пустые вагоны без огней, давайте улыбаться при встрече всем, а первым — старикам и старушкам...» Ну и дальше в таком же роде, разве все упомянешь?..

— А сам Илиеску? — спросил доктор Тэушан. — Какая реакция была у Илиеску?

Ефтимие устало облокотился о спинку кресла и, покосившись на Ласказ, ответил:

— Мне показалось, что Илиеску под сильным впечатлением. Он сказал: «Валентин был прав, а не я. Он понял...»

— Что именно? — спросил Мэргэрит.

— Не знаю. «Он понял», и все.

— А как насчет грузовиков, которые исчезают после полуночи? — вступил Тэушан.

Ефтимие оторвался от спинки кресла, достал платок и отер лоб.

— Намеками. Сказал, что, благодаря Валентинову посланию, вот этому самому, телефонному, он понял — и мы тоже поймем, он уверен, — почему *одни* грузовики исчезают, а *другие* нет и что с ними происходит. А значит, поймем и то, что нас ждет, то есть некоторых из нас.

— Я пока что ничего не понимаю! — провозгласил Ласказ, направляясь к двери. Но вдруг, приостановясь, спросил у Ефтимие: — Откуда он звонил, Илиеску?

— Из автомата. Он сказал, что там очередь, два-три человека, и что поэтому он так торопится.

— Мы тоже! — Ласказ улыбнулся, подавая Ефтимие руку.

У дверей он обернулся на Буасье, который озабоченно листал записную книжку.

— Надо поторапливаться, дорогой!

— Но это еще не все, — пробормотал Ефтимие. — Он сказал, что уезжает, прямо сейчас...

Ласказ засмеялся.

— Ну и что? Мы едем с ним. И он не удивится, когда нас увидит. Инженер Илиеску давно знает, что за ним следят, за каждым его шагом следят...

Ефтимие покачал головой и, помявшись, проговорил через силу:

— Вообще-то я не хотел повторять, что он сказал мне на прощанье...

Ласказ с любопытством вскинул на него глаза.

— Что же?

— Он сказал, чтобы вы больше не утруждали себя слезкой, что он выполнил свой долг, передал вам послание...

— Ну, это он так считает, — заметил Ласказ. — Есть и другие проблемы, которые нам надо обсудить вместе.

Ефтимие машинально вытер ладони носовым платком.

— ...И еще он сказал: если инспектор Ласказ захочет во что бы то ни стало меня увидеть, пусть ждет послезавтра между двумя и тремя часами ночи на сто девятом километре шоссе Базель — Шафхаузен. Но поговорить мы не сможем. Я буду в третьем грузовике, вместе с Валентиновым учителем истории...

— Серьезно? — воскликнул Ласказ, чрезвычайно развеселившись. — А больше он ничего не сказал?

Ефтимие ответил не сразу, глядя на инспектора с ласковой грустью.

— Сказал. Он сказал: поблагодари мсье старшего инспектора Ласказа за его любезность, и пусть вспомнит нашу первую беседу. Если бы в тот вечер он не сказал мне на прощанье: «Блаженны кроткие!» — что случилось бы с моей душой?..

Когда отстучали их быстрые шаги по ступеням и хозяин, вернувшись, бессильно опустился на стул, Ефтимие произнес чуть слышно:

— Не знаю, хорошо ли я сделал, что не все им сказал.

Мэргэрит в удивлении обернулся к нему.

— Я только повторил послание Валентина, — продолжал Ефтимие, — но скрыл, к какому выводу пришел Илиеску относительно исчезающих грузовиков... Илиеску сказал: «Валентин был прав, опять готовится Ноев ковчег».

— В каком смысле? — завокнулся Мэргэрит.

— Этими таинственными машинами перевозят людей, отобранных по всем странам. Грузовики не пропадают совсем, а просто переходят в пространство с другими, нежели у нас, измерениями...

— Выражайся, будь добр, яснее! — призвал его Мэргэрит.

Ефтимие грустно усмехнулся.

— Да я и сам толком не разобрался, могу только повторить за Илиеску: по сути дела, речь идет о камуфляже, и у него такие же функции, как у всякого камуфляжа, а именно — замаскировать, но в то же время дать знать предупрежденным. Илиеску сказал, и это я запомнил слово в слово, что путь к Ноеву ковчегу, то есть к пространству с другими измерениями, может быть мгновенным и невидимым, но, для нашего же блага, иногда прибегают к такому вот транспортному камуфляжу, в виде машин...

— А почему «для нашего же блага»? — спросил доктор.

— Он не успел объяснить. Но из всего им сказанного я понял, что речь может идти о знаках, которые нам подают и которые кто-то из нас различает, а кто-то нет. Он дважды повторил: «Дорогой Ефтимие, нам постоянно подают самые разные знаки. Раскрой же глаза и потрудись их расшифровать».

— Вот оно что! — с горечью воскликнул Мэргэрит. — Выходит, скоро конец света. Всемирный потоп. Апокалипсис!..

— Нет, нет! — остановил его Ефтимие. — Илиеску сказал, что знаки нам подают давно, много веков. Только камуфляж меняется в соответствии с эпохой. Сейчас, когда во главе угла стоит техника...

— Ну-ну, — Мэргэрит даже подошел поближе. — Этого-то тебе Илиеску не говорил, про главенство техники в нашу эпоху...

Ефтимие покраснел.

— Положим, не говорил, просто не успел. Но я сам дошел. В сущности, Валентин и Илиеску правы: нам подают знаки, а мы проходим мимо, оставляя их без внимания...

И, поскольку Мэргэрит смотрел на него все так же недоверчиво, считая нужным распространиться:

— Взять хотя бы нашу сегодняшнюю встречу: четверо румын, двое французов и два телефонных звонка. И все это: встреча, разговор и звонки — вокруг одной фразы: «под тенью лилии, в раю». Вам это не кажется любопытным?

Все взгляды сосредоточились на нем.

— Ну и каков же вывод? — первым нарушил тревожное молчание доктор. — Что, по-твоему, с нами будет?

Ефтимие спокойно расположился в кресле.

— Подождем, — ответил он и улыбнулся. — Вдруг нам еще позвонят. По телефону или в дверь...

— А если даже и позвонят, — начал Мэргэрит, — если и позвонят...

Но тут же, поблдев, бросился к телефону и схватил трубку.

— Алло! Алло!

Подождал секунду, потом еще раз крикнул:

— Алло!

Все подошли и сгруппировались вокруг него.

— Молчат, — прошептал Мэргэрит и медленно опустил трубку на рычаг. — Никого...

Чикаго, 1982 г.



«Никто не понял того, что следовало понять с самого начала: я не более чем посланник... Я открыл конечное уравнение, не более того. *Решения*, которое защитило бы нас от последствий этого открытия, я не знаю. Господь дал мне гений математика, но не поэта. Я с детства люблю поэзию — но чужую. Мне бы поэтический дар — может, тогда я и нашел бы *решение*...»

Таковы ключевые фразы из предсмертного (или посмертного) монолога молодого румынского ученого Константина Оробете по прозвищу *Даян*, гибнущего (или уже погибшего) в «санатории», где содержатся подлинные (или мнимые) противники режима Чаушеску. Мне кажется, что, создавая этот образ и описывая эту трагическую ситуацию («...моя смерть — трагедия, потому что я не выполнил свою миссию», — признается Оробете), Мирча Элиаде (1907—1986) как бы проигрывал в форме пространной новеллы один из возможных вариантов собственной судьбы. В самом деле, разве не могло случиться, что этот всемирно известный историк религий, исследователь архаических форм сознания, знаток и толкователь тайных доктрин Востока и Запада не исколесил полсвета, как оно было в так называемой «действительности», а провел всю жизнь в Румынии, стал свидетелем диктатуры маршала Антонеску, а затем его казни в 1946 году, пережил отречение от престола короля Михая I, был вынужден хотя бы внешне примириться с захватом власти коммунистами и, наконец, с превращением Румынии в вотчину клана Чаушеску, где все «внутренние враги давно пущены в расход или приведены в негодность». И кто знает, не угодил ли бы тогда автор новеллы «Даян» в тот самый санаторий, где гибнет от «превышающих все допустимые пределы» инъекций герой этой лишь с виду фантастической притчи?

Но судьба распорядилась иначе. Студент Бухарестского университета, послушник индийского ашрама, дипломат, преподаватель Сорбонны, профессор кафедры истории религий Чикагского университета, Элиаде сумел не только открыть свой вариант «конечного уравнения», но и найти *решение* — ведь ему, в отличие от его героя, были дарованы и проницательность ученого, и подлинный поэтический дар, который, как известно, в иных случаях неотделим от дара пророческого.

Пройдя, подобно Гильгамешу, все двенадцать поприщ нижнего мира, Орбете обретает сверхъестественные способности вроде тех, что вырабатывают в себе йогины и шаманы: из своей «палаты смертника» он слышит разговор двух медицинских светил, происходящий в другом крыле «санатория», на другом этаже; он предсказывает появление в этом зловещем корпусе лиц, о которых местное начальство еще слыхом не слыхало. Точно так же Мирча Элиаде, навсегда покинувший Румынию перед второй мировой войной, необъяснимым образом прозревал и запечатлевал на бумаге этапы ее последующей «тайной истории», дотошно и достоверно описывая как характер и менталитет своих земляков военной и послевоенной эпохи, так и мельчайшие подробности их жутковатого быта, хотя находился подчас за тысячи километров от свершавшихся на его родине больших и малых трагедий.

В этой магической «дальнозоркости», в этих отнюдь не экстатических, а скорее нарочито приземленных видениях с несомненной убедительностью сказывается духовный опыт, накопленный автором во время пребывания в гималайских монастырях и явным образом преломленный в таких его «духовидческих» произведениях, как «Серампорские ночи» и «Загадка доктора Хонигбергера». Напомню, что равновеликий ему по художественному дару Бунин, таким опытом не обладавший, даже не пытался фантазировать, представляя себе inferнальную конкретику «трудовых будней» и «всенародных праздников», — он ограничивался тем, что шлифовал — с каждым годом все искусней — драгоценные осколки прежней России, навеки засевшие в его сердце. Не было такого опыта и у другого русского гения — Набокова, писавшего о «слепых наплываниях» Родины, о невозможности прочесть само имя России на обломке, найденном «в дыре огромной»: «Р, О, С, — нет, я букв не различаю»...

Находясь в добровольном изгнании, Элиаде вряд ли мог иметь иную информацию о социалистической Румынии, кроме обычной, газетной, т. е. заведомо лживой; к этому, пожалуй, можно присовокупить рассказы знакомых, посетивших Бухарест, — но что может увидеть в «заповедном» городе случай-

ный турист и даже дипломат? Только то, что власти предрежащие сочтут нужным ему показать. Тем более поразителен «фантастический реализм» Элиаде, его диковинно точное бытописание «солнечной» преисподней, где «с пяти утра до самого вечера светло», но «никогда не видно солнца, *самого солнца*», где один замордованный страхом персонаж, только понизив голос до шепота, осмеливается предложить другому: «Пошли пивка попьем»⁽¹⁾, а декан института может приказать студенту, потерявшему *левый* глаз, привести свою внешность в соответствие с опечаткой в медицинской справке и явиться на занятия с повязкой на *правом* глазу...

Но, разумеется, «конечное уравнение» Элиаде ни в коей мере не сводится к диссидентскому сюрреализму с региональным привкусом; намеренно кафкианские приемы в описании послевоенной Румынии призваны лишь оттенить и подчеркнуть вневременную и внепространственную субстанцию его повестей и рассказов, подлинными героями которых следует считать не реальных людей, а их символично-мифологические прообразы. Казалось бы, к примеру, что Агасфер, или Вечный жид, — фигура и без того скорее символическая, нежели историческая, однако в том же «Даяне» автор уточняет, что «Агасфер — это своего рода *anima mundi*, мировая душа, но все и гораздо проще, и гораздо глубже. Потому что на самом деле Агасфер может быть любым из нас». Если с такой же точки зрения взглянуть на Андроника из повести «Змей», то этот молодой человек в темных очках окажется не только лунным андрогином, избегающим солнечного света, но и воплощением Мирового Змея, тогда как бенгальская девушка Майтрейи из одноименного романа предстанет парадоксальной инкарнацией позитивных, «солнечных» сторон женской натуры. Художник-сновидец Егор из «Девы Кристины» — огненная, героическая ипостась мужского естества, а его возлюбленная-суккуб Кристина — олицетворение зловещих, мертвенных аспектов Луны-Гекаты. Читатель сам без труда отыщет множество примеров такого раздвоения героев в текстах румынского писателя-эзотерика.

(1) Примечательно, что «пролы» (пролетарии) из романа Джорджа Оруэлла «1984», живущие, как и герои «Пелерины» Элиаде, в «стране победившего социализма», никаких проблем с потреблением пива не испытывают и голоса в пивной не понижают: «Пинту хочу, — не унимался старик. — Трудно, что ли, нацедить пинту? В мое время никаких ваших литров не было».

Исходя из этой принципиальной неоднозначности всего сущего, можно попытаться осмыслить, к чему же сводится, в конце концов, «конечное уравнение» Элиаде. Оно, как мне кажется, состоит в постижении глубинного тождества таких вроде бы противоположных понятий, как жизнь и посмертное существование, сон и явь, пространство и время, память и беспамятство; иными словами, мы имеем здесь дело с пресловутой формулой «единство и борьба противоположностей», набившей оскомину, быть может, именно потому, что она подавалась нам как одна из заповедей материализма. В действительности же нет ничего более враждебного диалектике, чем материалистический, механистический взгляд на мир, — и в этой вражде не может быть места никакому «единству». Диалектика — категория прежде всего духовная, она состоит, по словам Элиаде, в «необходимости преодоления противоречий, в устранении двойственности, присущей человеческому состоянию, без чего невозможно постижение высшей реальности»⁽¹⁾. В повести «Без юности юность» он высказывается еще определеннее: «Для веданты — так же, как для даосизма, — грань между противоположностями стирается, если смотреть на них в определенной перспективе, добро и зло теряют смысл, и бытие сливается с небытием в Абсолюте». Эти истины, на мой взгляд, и являются тем *решением*, которого не знал гениальный математик Константин Оробете. Построенные на основе такого, по сути дела, *бесконечного* уравнения, шедевры Мирчи Элиаде допускают неоднозначную трактовку хотя бы потому, что *решение* обычно заключено в одной-двух последних строках и вряд ли может быть предугадано заранее. Невозможно со всей определенностью судить, погибают ли герои рассказов «У цыганок» и «Даян» уже в самом начале повествования, остаются ли в живых вплоть до развязки или текст описывает их переход в инобытие, сопровождающийся видениями более конкретными и яркими, чем сама реальность, ибо в них сквозит единый для сущего и не-сущего символический стержень. «Благодаря символам мир становится прозрачным, сквозь него просвечивает трансцендентность», — писал сам Элиаде в своем знаменитом трактате «Священное и мирское»⁽²⁾.

Как бы развивая эту мысль, современный математик и теолог, знаток каббалы Адин Штайнзальц утверждает: «Весь мир состоит из моделей и символов, объединенных по воле Творца в единую картину, совершенство которой исключает возможность любых заведомо неадекватных изображений ее фрагмен-

(1) Eliade M. Le sacré et le profane. P., 1965, p. 110.

(2) Eliade M. Images et symboles. P., 1979, p. 109.

тов. Не только человеческое тело, но и любой предмет в материальном мире служит неким символом. Тем, кому известно внутреннее значение этих символов, реальность представляется более ясной и постижимой»⁽¹⁾. Этим бесспорным высказываниям позволительно противопоставить утверждение обратного порядка, согласно которому наш художочный трехмерный мир благодаря живой воде символов расцветает, невероятно усложняется, превращаясь в поистине непостижимый многослойный, полнокровный, таинственный универсум, каждое проявление которого, будучи по-своему уникальным и неповторимым, воспроизводит в миниатюре тот или иной аспект целокупности бытия.

Обе формулы кажутся взаимоисключающими лишь с точки зрения современного менталитета, вскормленного пресным картезианским дуализмом; для традиционного (архаического, магического) сознания, исследованием которого всю жизнь занимался Элиаде, «прозрачность» и «многомерность» мира, насыщенного символами, не только не исключают, но и дополняют друг друга: «Символы включают в себя совокупность идей, объединенных не аналитическим, а синтетическим способом. Они дают основание для бесконечного множества толкований и ассоциаций, вплоть до взаимодополняющих и противоположных»⁽²⁾.

Мифологизированная мысль не выносит лишь одного — упрощения, уплощения космоса, превращения его в тот самый блин, что вышел комом. Действительность для «дологического» мышления — это прежде всего волшебное действо, призрачный карнавал, одновременно устрашающий и чарующий, ристалище судеб, игрище существ и сущностей, непостижимых для «чистого разума», созданных из того же материала, что и наши сны. На космических подмостках сказки, сна и мифа нет четких границ между живым и мертвым, мыслимым и реальным, грезами и явью. Если бы мы обратились к индийцу ведической эпохи, чтобы выведать у него истинную сущность бога Сомы и одноименного ритуального напитка, он ответил бы нам, что Сома — это «самославный вритроубийца», «сок троякий, сладостно-крепкий», «гусь — предводитель стаи», «гимнотворец, творящий гимны», и т. д.⁽³⁾. Каждый из этих ответов был

(1) Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. Иерусалим—Москва—Рига, 1990. С. 151—152.

(2) Benoist L. L'Esoterisme. P., 1965, p. 17.

(3) Да услышат меня земля и небо. Из ведической поэзии. М., 1984. С. 47—51.

бы стопроцентно верным и в то же время нисколько не умалял бы достоверности всех прочих объяснений, ибо мифологическая, сотканная из символов вселенная по определению схожа с математическим понятием бесконечности, наималейшая часть которой равна любой другой ее части, а также всему целому.

Здесь нельзя не вспомнить выдвинутую Нильсом Бором «концепцию дополнительности», согласно которой достоверное описание многих объектов внешнего мира можно дать «только путем одновременного соположения, казалось бы, противоречащих друг другу образов и слов; например, свет — это одновременно и поток частиц, и волновое явление. <...> Поэтому сейчас возможность, а часто и настоятельная необходимость использования двух и более различных способов описания одного и того же явления не подлежит сомнению»⁽¹⁾. Такого рода концепции обычно трактуются как доказательство общности целей, стоящих перед позитивной наукой и мифопоэтическим осмыслением бытия, как довод в пользу «мирного сосуществования» идей Парасельса и Парсонса, Якоба Бёме и Эриха Фромма. Мне же кажется, что подобные «примиренческие» теории — всего лишь запоздалое признание торжества архаического сознания над мешаниной современных научных гипотез, капитуляция исчерпавшего свои возможности, бесплодного менталитета XX века перед неисчерпаемой традиционной мудростью.

Текущесть, пластичность, сложносочиненность и бездонность бытия, каким его видели наши предки, отражается в наших снах и явственно проступает в фольклорных образах, в сказочных мотивах, которые можно считать обломками, черепками древних мифологических систем, отданными теперь на забаву детям. Все мы сызмальства помним стремительную и забавную побасенку «Терем-теремок» (первоначально — «Череп-терем», «Кобылья голова»), но многие ли из нас догадываются, что эта потешка с трагическим, в сущности, финалом есть не что иное, как отголосок космогонических мотивов Брихадараньяка-упанишады, где вселенная мыслится жертвенным конем: небо — его хребет, звезды — кости, страны света — бока, ветер — дыхание, трава и деревья — шерстинки на шкуре⁽²⁾. Мироздание может быть конем или конским черепом, что, в полном соответствии с Нильсом Бором, вовсе не ис-

(1) Иванов Вяч. Вс. До — во время — после? Предисловие к кн.: Франк-форт Г. и др. В преддверии философии. М., 1984. С. 8.

(2) Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963. С. 139.

ключает представления о нем как о бобовом стебле, великане, змее, зеркале, золотом ларце — всего не перечислишь.

И в научных трудах, и в художественной прозе Мирчи Элиаде рассматриваются разнообразные модели вселенной, многим из которых присущи свои категории пространства и времени. Эти «всеобщие формы бытия материи» на самом деле неоднозначны и непредсказуемы. Мифологическое время способно замедлить свой ход или ускорить его, оно может забегать вперед и пятиться назад — вспомним опрокинутый кувшин Мухаммада, из которого не успело пролиться ни капли, пока Пророк свершил полет на небеса и вернулся обратно; вспомним историю семи отроков эфесских, что проспали в пещере несколько столетий, показавшихся им одной-единственной ночью. «Время, — пишет уже цитированный выше Штайнзальц, — не является рекой, текущей лишь в одном направлении, это процесс, в котором прошлое, настоящее и будущее тесно связаны между собой не только в результате причинно-следственных отношений, но и как уравнивающие друг друга полярные тенденции: устремленность настоящего к будущему, но в то же время и к прошлому. Иными словами, это поток, циркулирующий по кругу и периодически возвращающийся к исходной точке»⁽¹⁾, т. е. то, что Элиаде именoval «вечным возвращением»⁽²⁾.

Мифологическое пространство может свертываться, сжиматься или безмерно расширяться, как о том свидетельствуют, например, русские сказки: «королевна махнула красным платком — золотое царство в ячичко скатилось»; «мужик открыл золотой ларчик, и только успел открыть — как стал перед ним золотой город». Миры иных измерений, известные нам по таким далеким друг от друга источникам, как индуистские пураны, хасидские трактаты или необъяснимо конкретные видения Даниила Андреева в «Розе мира», соседствуют с нашим миром, обступают его сверху и снизу. Инобытийное, сакральное может предстать перед человеком в любом виде, в любом обличье или даже вторгнуться в естественное пространство и время как некая безличная и оттого еще более устрашающая или просветляющая сила. Элиаде называл это столкновение мирского и священного *иерофанией*, подчеркивая, что «не существует никакого разрыва между самой элементарной иерофанией — напри-

(1) Штайнзальц А. Указ. соч., с. 95.

(2) См. «Миф о вечном возвращении» в кн.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987.

мер, проявлением божества в камне или дереве — и иерофанией наивысшего порядка, воплощением Бога в Иисусе Христе»⁽¹⁾.

«Все вышло из Меня и все вернулось ко Мне. Разруби дерево — Я там; подними камень, и ты найдешь меня там», — гласит стих гностического Евангелия от Фомы, как бы предвосхищающий концепции современного мыслителя.

Когда священное приоткрывается нам посредством иерофании, то сквозь зазор между различными модальностями пространства и времени мы хотя бы на миг обретаем доступ к высшим слоям бытия, чтобы воочию убедиться: «Мир существует потому, что он создан богами, сам факт его существования что-то значит, он — не бесцельное, бессмысленное и глухонемое нечто, а «живой» и «говорящий» космос»⁽²⁾.

Человечество никогда не довольствовалось этими случайными, не зависящими от нас прорывами в царство Абсолюта. В разные эпохи, у разных народов вырабатывались сходные психофизические приемы, позволяющие человеку по собственной воле пересечь границу двух миров, воссоздать связь, некогда существовавшую между небом и землей. Область первопричин, пишет в одной из своих новелл Мирча Элиаде, «скрыта от глаз человеческих не Бог весть какими природными препятствиями — высокими горами или глубокими водами, — а пространством духовного опыта, качественно отличным от пространства других человеческих знаний». Исследованию этих магических приемов он посвятил свои монографии «Техника йоги» (1948), «Шаманство и архаические техники экстаза» (1951), «Кузнецы и алхимики» (1956), в которых рассматриваются как символические, так и конкретные проблемы, связанные с достижением экстатических состояний, дающих возможность посвященному миновать «узкие врата» и увидеть «оборотную сторону мрака».

Все эти, да и многие другие работы Элиаде отнюдь не являются плодом чисто кабинетных раздумий. И прежде всего это относится к его художественной прозе, писавшейся исключительно на родном румынском языке, «на языке моих снов», как он сам выражался. Волшебный мир сновидений, образы народных сказок, слышанных еще в детстве (позднее Элиаде серьезно занимался румынским и южнославянским фольклором), органически сплавлены в его романах и повестях с духовным опытом, обретенным в Индии, куда он отправился в 1928 году, получив степень лиценциата философии Бухарестского университе-

(1) Eliade M. *Mythes, rêves et mystères*. P., 1972, p. 157.

(2) Eliade M. *Le sacré et le profane*. P., 1965, p. 139.

та. Помимо занятий санскритом и традиционной философией, он осваивает там теорию и практику тантра-йоги в горных монастырях северо-востока страны, в Хардваре и Ришикеше. Одним из его духовных учителей был знаменитый *саньясин* (странствующий монах) Свами Шивананда Сарасвати, в свое время отказавшийся от карьеры врача и целиком посвятивший себя изучению тайных доктрин индуизма. Перу Шивананды принадлежит около полусотни работ мистико-дидактического характера, которые отчасти переведены на европейские языки. Элиаде, кстати сказать, выводит его в качестве действующего лица своей новеллы «Серампорские ночи» (1940), где тот раскрывает перед рассказчиком метафизическую подоплеку приключившихся с ним необычайных событий.

Итогом этого непосредственного знакомства молодого румынского ученого с древними верованиями стали не только теоретические исследования, такие, как «Эссе о происхождении индийской мистики» (1936), «Йога. Бессмертие и свобода» (1954), «Патанджали и йога» (1965) и др. Тайноведческий опыт, обретенный в Индии, так или иначе отразился и в целом ряде его художественных произведений: в романе «Майтрейи» (1933), в рассказе «Загадка доктора Хонигбергера» (1940) и в упомянутых выше «Серампорских ночах». Здесь важно отметить, что все эти вещи отнюдь не являются беллетризированными иллюстрациями к тем или иным положениям восточной эзотерики или вариантами мифологических концепций самого автора — перед нами прежде всего плоды его творческого воображения, свободно манипулирующего как доктринальными понятиями, так и драгоценными свидетельствами собственного опыта. Не менее важно и другое: Элиаде, при его-то феноменальной компетентности, при его живом знании этнографического, мифологического и фольклорного материала, мог бы поразить наше воображение описанием диких обрядов и мрачных святилищ, заморочить голову калейдоскопом имен, фактов и малоизвестных реалий — словом, нагородить массу той экзотической мишуры, которая так пленяет всеядного читателя. Но Элиаде-художник столь же требователен к себе, столь же далек от рисовки, от дешевых эффектов, как и Элиаде-ученый. «Мы занимаемся демистификацией наизнанку, — писал он, — мы прозреваем священное в обыденном»⁽¹⁾. Именно обыденность — индийская, румынская или какая-нибудь еще — составляет основу его романов, повестей и рассказов. Это обстоятельство в конце кон-

(1) Eliade M. The Quest. History and Meaning in Religion. Chicago, 1969, p. 126.

цов оказывается весьма выигрышным и с чисто художественной точки зрения: фантастические конструкции, символические параллели и метафизические заключения произрастают из почвы повседневности, как цветы лотоса из болотной тины, с особенной отчетливостью выделяясь на ее фоне. Автор заставляет нас поверить в полную реальность происходящего, поскольку она то и дело подтверждается десятками и сотнями конкретных деталей, к тому же зачастую описанных от первого лица.

Взять хотя бы роман «Майтрейи» — первый значительный опыт художественного преломления тех впечатлений, что обрушились на автора в Индии. Роман этот принято считать автобиографическим, реалистическим, поскольку в нем «священное», «инобытийное» не явлено так откровенно, как в более поздних произведениях Элиаде. При поверхностном чтении, да еще с оглядкой на Джозефа Конрада и Сомерсета Моэма, можно воспринять его как очередной вариант сентиментально-трагической истории о любви белого человека к «прекрасной туземке» — истории, одобренной к тому же сатирическими нотками, призванными обличить все духовное ничтожество пресловутых «пионеров», проводящих время в ночных попойках с веселыми девушками. Элиаде и впрямь не жалеет черной краски для описания такого рода второстепенных действующих лиц, но краску эту можно считать той самой «тиной», из которой пробивается мистическая или, лучше сказать, метафизическая суть романа. Весь этот местный колорит, все эти «одноногие столики с латунными столешницами», «кушетки, покрытые тканями Кашмира», «изнурительные оранжерейные запахи», «балконы, густо заросшие красной глицинией», — оттеняют вневременную, сакральную сердцевину повествования, тантрический миф о слиянии Шакти, женского начала вселенной, с началом мужским, которое в индуистских учениях рассматривается как его отраженный, пассивный, «лунный» аспект.

Поначалу героиня романа кажется ее будущему избраннику лишь олицетворением переизбытка плоти, созданием, близким даже не к животной, а к растительной, вегетативной сфере мира: «Эти слишком большие и слишком черные глаза, эти толстые, вывороченные губы, эта литая грудь, — словом, бенгальская девушка с преувеличенной плотью, как набухший зрелостью плод». Свое родство с природой и, в частности, с флорой Индии сознает и сама Майтрейи: «Я влюбилась в одно дерево, могучее, высокое, ужасно нежное... Мы с ним... ласкались, целовались, разговаривали, я ему посвящала стихи... оно гладило меня листьями по лицу». Однако она смотрит на растительное царство

совсем иными глазами, чем британский инженер Аллан. Для нее вся природа одухотворена, пронизана пульсацией незримых космических сил: «...у всех деревьев есть душа». Человек может превратиться в цветок и снова обрести изначальное свое обличье, но лишь после того, как перед ним изорвут в клочья книгу «с примерами и наставлениями против лжи», т. е. против магического, тайновидческого взгляда на мироздание.

Поселившись под одной крышей с Майтрейи, каждодневно общаясь с ней, слушая ее стихи и рассуждения о природе красоты, входя в быт, «где все читалось... как тайнопись», Аллан незаметно для себя начинает прозревать за внешними чертами девушки ее «надчеловеческое» начало. В тексте романа прослеживается мотив чистоты, святости, божественной благодати, связанный с образом Майтрейи, которая, оставаясь вполне реальным и более чем телесным существом, мало-помалу превращается в «богиню из восточной сказки», от которой исходят «мистические эманации» и представления которой теряются «в бездне времен».

Немудрено, что миг телесной близости с Майтрейи Аллан осмысливает как мистический опыт, контакт со сверхъестественным: «Я ощущал полноту и непрерывность своего существа, огромный вал поднял меня из ничего, не отрывая при этом от корней, не сбивая с пути. Я никогда не жил так мощно и непосредственно, так вне времени, как в эти минуты».

Такого рода впечатления и представления, связывающие воедино мистический и эротический опыт, могут показаться кощунственными только неподготовленному читателю, незнакомому даже с трактатами Екатерины Сиенской и Терезы Авильской, где пути богопознания намечены с помощью смелых образов, исполненных почти плотской чувственности. Что же касается Индии и сопредельных с нею стран, там эти понятия еще в глубокой древности сложились в целую философско-магическую систему, именуемую тантра-йогой. Мирча Элиаде вкратце излагает ее в своей книге «Мифы, сновидения и мистерии» (1957): «Мир был сотворен при участии двух полярных принципов — Шивы и Шакти. Но поскольку Шива представляет собой абсолютную пассивность, неподвижность Духа, то движение, а следовательно, Созидание и Жизнь, на всех космических уровнях предстает проявлением Шакти. Освобождение может быть достигнуто лишь посредством слияния обоих этих принципов в теле адепта. Уточним: именно в теле, а не только в психоментальном опыте»⁽¹⁾. Еще

(1) Eliade M. *Mythes, rêves et mystères*. P., 1972, p. 179.

более определенно высказывается по этому вопросу итальянский эзотерик Юлиус Эвола: «Шактистская метафизика вдохновляется архаическим образом Дэви, Великой Богини, понимаемой как наивысшее божество, как первопринцип, одухотворяющий вселенную. “Лишь благодаря ей,— гласит Дэви-Бхагавата-Пурана,— Брахма творит, Вишну хранит, а Шива в конце времен разрушает мироздание. Без нее они бессильны, она и есть истинная зиждительница, покровительница и губительница мира»⁽¹⁾.

Только реальное соитие с земным воплощением Богини позволяет адепту тантризма осознать иллюзорность своей природы, пробудить дремлющие в нем тайные силы и преобразить свою тленную плоть в «мистическое тело», неподвластное старению и смерти. В романе Элиаде полунамеками даются кое-какие понятия об эротической стороне тантра-йоги, но делается это крайне деликатно, ибо художественное произведение несет совсем иную нагрузку, нежели эзотерический трактат или научная монография. Куда шире эта тема отражена в упомянутых выше работах «Техника йоги» и «Йога. Бессмертие и свобода», к которым я и отсылаю любознательного читателя.

Здесь же уместнее вспомнить о некоторых символических деталях, подтверждающих толкование «Майтрейи» как текста, навеянного тантрическими доктринами. Сюда относятся колористические характеристики героини, неизменно намекающие на ее солнечную, активную, жизнотворную природу. Майтрейи питает пристрастие к ярким тонам, отсветам золота, небесной голубизне. Автор упоминает о шоколадном или пунцовом покрывале, шитых золотом туфельках, сари небесного шелка с золотым орнаментом. Этой солнечной гамме противопоставляется лунная, «алебастровая» белизна Аллана, он выглядит как бы бледным отражением своей тантрической пары. Можно упомянуть и о парадоксальной полярности их темпераментов: Аллан безволен, нерешителен, готов идти на поводу у первого встречного; Майтрейи, при всей ее внешней мягкости и полудетской застенчивости, берет на себя роль активного начала. Решительность и страстность сочетаются в ней с тонким эстетическим чутьем и поэтической одаренностью: «Она пишет философские стихи, они очень нравятся Тагору». А в эпизоде обручения с Алланом она предстает уже не просто поэтессой, а подлинной жрицей, изрекающей вдохновенные формулы космического обета верности.

Следует, однако, признать, что тантрические аллюзии не получают в пер-

(1) Evola J. *Le Yoga tantrique*. P., 1975, pp. 38—39.

вом романе Элиаде законченного художественного воплощения, мало-помалу их пересиливают тенденции психологического и даже, как уже говорилось, сатирического толка. В характерах обоих любовников перевешивают земные, чисто человеческие аспекты; драма сводится к конфликту между кастовыми предрассудками родителей девушки и ее неумным темпераментом, — конфликту, усугубленному пассивной, «лунной» природой Аллана. В конце повествования он встречается с финской еврейкой из Южной Африки, чьи метания явно пародируют его собственные духовные поиски. Эта экзальтированная девица, начитавшаяся «английского паяца с псевдонимом Рамачарака», тоже ищет Абсолют, мечтает «все забыть, поселиться в ашраме, обрести истину, жизнь, бессмертие». Но их мимолетная любовная связь ни к чему не обязывает и ни к чему не приводит: это встреча двух ущербных планет, двух ипостасей одного и того же бесплодного, умствующего начала, воплощающего всю однобокость и малокровие западной цивилизации.

Совершенно по-иному мотивы столкновения двух культур, двух образов мышления отразились в пространной новелле «Серампорские ночи». В ней также присутствует «лунный аспект», даже еще более отчетливый, чем в «Майтрейи», где он только намечен отдельными штрихами. «Был канун полнолуния, — уточняет автор в завязке повествования. — Сейчас все было возможно, любое чародейство». Герои новеллы, трое европейских энтузиастов, самонадеянно полагающих, будто они что-то смыслят в навях чарах тантрических ритуалов, на поверку оказываются ничем не лучше озерных раков, целыми полчищами выползающих на берег, куда их влечет колдовской лунный свет. «Мы пали жертвой дьявольской галлюцинации», — говорит один из персонажей, не в силах подыскать лучшего объяснения происшествиям в Серампорском лесу. «Мы сами невольно вторглись, куда не следует», — вторит ему другой.

В «Серампорских ночах» обыгрываются темы обратимости времени и смещения пространства, излагаемые в таких трудах Элиаде, как «Мефистофель и андрогин» (1962) или «Аспекты мифа» (1963), однако он и не думает повторяться, используя в качестве сюжета подробности экзотических обрядов «второго рождения», «возвращения в материнское лоно», уже описанных в этих монографиях. Он совершает неожиданный и весьма эффектный ход: его герои оказываются в ином пространстве и времени не потому, что стремились преодолеть грань земного бытия, а по той простой причине, что их присутствие в Серампорском лесу помешало некоему шиваитскому фанати-

ку (он же почтенный профессор Калькуттского университета) заниматься там некрофильскими медитациями и он своей оккультной силой отбросил их в другое время и пространство. Осуществить этот поразительный феномен было не особенно трудно, так как, согласно учениям тантра-йоги, «все, что происходит в этом космосе, иллюзорно... А в мире видимостей... — объясняет рассказчику Свами Шивананда, — кто угодно может стать владыкой над теми силами, которые вы зовете оккультными...» Не случайно остающаяся за кулисами героиня рассказа, свидетелями гибели которой стали удивившие в прошлое персонажи, носит имя *Лила* — на санскрите этим словом обозначается иллюзия, морок, игра теней.

Но можно ли полностью доверять рассуждениям рассказчика, полагающего, что его и других попросту вытолкнули в иное измерение? В Серампорском лесу не было никаких кладбищ и, соответственно, мертвецов, необходимых для совершения зловещего обряда. Нельзя ли предположить, что профессор-шиваит предавался медитации не на реальном трупе, а, ведя более тонкую игру, устремился в прошлое, к телу убитой полтора-два года назад Лилы, чтобы использовать ее посмертную энергию в своих колдовских целях? Образованный, логически мыслящий европеец, столкнувшись с подобными явлениями, не в силах подыскать им адекватное объяснение. Чары полнолуния, волшебство ночи духов, сделали его готовым к любому чуду. Так или иначе, автор дает нам почувствовать не только всю драматичность коллизии разных модальностей пространства и времени, но и разницу в ее восприятии пришлыми учеными-книжниками и местными уроженцами, будь то простой шофер или профессор, который, вопреки всему, «держится веры предков».

Рассказ «Загадка доктора Хонигбергера», также построенный на индийском материале, не столь живописен и парадоксален, но особенно ценен в том отношении, что в нем отразился глубоко личный подход Элиаде к явлениям трансцендентного порядка, воплотился его собственный мистический опыт, его уникальная визионерская практика. Обычно писатели-визионеры, от Якоба Бёме до Рудольфа Штайнера, от Эммануила Сведенборга до Даниила Андреева, знакомят нас лишь с результатами своего опыта, предпочитая умалчивать, каким образом он был приобретен. Что же до Элиаде, то он приглашает читателя хотя бы умозрительно принять участие в процессе медитации, конечной целью которой является самоотождествление с Абсолютом, полное освобождение (*мокиша*). Позабыв о «галиматье Рамачараки», как непочтительно выражается сам Элиаде, мы получаем редкостную возможность вместе с

героем — и автором — новеллы пережить все этапы мистического транса (*туррийя*), о котором лишь вскользь упоминают Густав Майринк и Петр Успенский: «Созерцая огонь, я думал о нем, я причащался к нему, проникая мыслью в собственное тело, распознавая в себе все виды горения. Мышление, таким образом, было не застывшим, а просто цельным, то есть оно не дробилось по разным направлениям, не делило себя между множеством предметов, не отвлекалось ни на какой внешний зов, ни на какие игры подсознания. Огонь был лишь точкой опоры для цельного мышления; однако оно проводило меня всюду, где мне надо было опознать огонь».

Важно помнить и о том, что в этом «фантастическом» рассказе нет, собственно, вымыслов. «Никакая самая раскованная фантазия адекватно не воспроизведет» подобных свидетельств.

Не стану множить примеры — а то, глядишь, процитирую большую часть новеллы, — остановлюсь лишь на тех тонкостях, которые могут ускользнуть. В своей книге «Практика медитации» Свами Шивананда напоминает о том, что жажда овладения паранормальными способностями (*сиддхи* и *риддхи*) не только не является целью йогических упражнений, но может стать главным препятствием к достижению освобождения: «Не забивайте себе голову этим вздором. Ни ясновидение, ни левитация не заслуживают того, чтобы мы к ним стремились; озарение и внутренний мир достигаются и без них. Страсть к паранормальному подобна порыву ветра, способному погасить пламя йогического светильника»⁽¹⁾. Такого рода предупреждения, полностью, кстати, согласующиеся с наставлениями православных аскетов, пронизывают весь текст Элиаде: «Аскеза нужна не для того, чтобы разбудить в себе оккультные силы, а чтобы не пасть их добычей». Герой новеллы обретает эти сверхъестественные качества помимо собственной воли: «Я снова проснулся невидимым. Обнаружив это, пришел в ужас, потому что никаких усилий к тому не приложил. Несколько часов я расхаживал по двору, пока случайно не понял, что невидим». Как тут не вспомнить о потугах современных «экстрасенсов», готовых продать душу дьяволу, лишь бы он помог им хоть несколько секунд продержаться в воздухе карандаш или спичечный коробок!

Второе, что мне хотелось бы подчеркнуть в данной связи, — это объективный характер свидетельств Элиаде, подтверждаемых сообщениями других визионеров. В числе прочих необыкновенных способностей герой Новеллы об-

(1) Swami Sivananda Sarasvati. La pratique de la méditation. P., 1964, p. 349.

ретает дар *внутреннего зрения*: «Я содрогнулся, обнаружив, что с закрытыми глазами вижу так же, как с открытыми... смотреть или не смотреть было все равно; я видел все, что хотел, не обращая глаз в ту или иную сторону, я бросал не взгляд, а мысль». Этот пассаж интересно сопоставить с фактами биографии упомянутого выше австрийского писателя Густава Майринка (1868—1932): «Третий случай еще более невероятен. Сидя долгими часами на скамье над Влтавой, Майринк однажды ночью добился необычайного замедления пульса: к тому времени он уже обладал кое-каким опытом по части йогических упражнений. Результатом был феномен ясновидения более общего характера, подобный тем, что происходят с адептами, преодолевшими телесные ограничения и обретшими «внутреннее око»: Майринк ясно видел перед собой циферблат уличных часов, находившихся за его спиной, и мог по нему следить за движением времени. В ходе последующих опытов ему случалось наблюдать на небе россыпь таинственных геометрических знаков, причем он уверяет, что видел одновременно весь небосвод целиком, как будто стал одним огромным оком, обозревающим всю вселенную...»⁽¹⁾

Как бы предчувствуя возможные сомнения читателя относительно правдоподобности такого рода свидетельств, Элиаде вкладывает в уста своего героя следующую тираду: «Вот что меня по-прежнему изумляет: люди проходят мимо этого опыта! Самые видные из ученых довольствуются тем, что просто отвергают подлинность подобных экспериментов — пусть при них присутствуют сотни свидетелей, — предпочитая оставаться на своих ретроградных позициях. Это все равно что признавать передвижение по воде только вплавь и отвергать возможность пересечь море лишь на том основании, что не признаешь лодок».

Великий русский визионер Даниил Андреев, по всей вероятности не слышавший даже имени Мирчи Элиаде, рассматривает эту проблему под точно таким же углом зрения. «Дух нашего времени не замедлит с вопросом: “Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую объективную значимость, чем «опыт» обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?” <...> Нет гарантий в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии — все

(1) Abelio R. Preface in: Meyrink G. *La nuit de Walpurgie*. P., 1963, p. 14—15.

равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязательности принятия этих гарантий настаивает только наука, забывая при этом, как часто ее выводы сегодняшнего дня опрокидывались выводами следующего»⁽¹⁾.

Если пока оставить в стороне чисто документальную ценность мистических свидетельств румынского Йогина, а задуматься только над необычностью, неожиданностью их появления в самой сердцевине беллетристического текста, осмыслить впечатление, которое они производят, то нам станет ясной вся самобытность Элиаде-прозаика. Поразительно искусство, с каким он готовит читателя к встрече с труднейшими духовными понятиями, мало-помалу завораживая его псевдореалистическим антуражем, вовлекая в крут своих тем, представляя ему своих подчас не совсем обычных героев. Поначалу кажется, будто читаешь этакую добротную социально-психологическую прозу с региональным привкусом — именно так воспринимаются первые страницы романа «Девушка Кристина» (1936) или повести «Змей» (1937). Мелькают детали «старосветского» быта, слегка окрашенные сатирическими тонами, действующие лица обмениваются пустыми, ничего не значащими репликами, — кто бы мог подумать, что каждая из этих подробностей тщательно обдумана и выверена, помещена именно в то место повествования, где ей обеспечен наибольший эффект, наделена глубоким символическим смыслом?

Взять хотя бы своеобразную заставку к «Змею» — строку из романса, звучащую в самом начале произведения: «Змеится прядка серебра». Эка невидаль, думаем мы и, перевернув две-три страницы, забываем душещипательный рефрен. И только дочитав повесть примерно до середины, где он звучит вновь, спохватываемся: да ведь эта формула как нельзя лучше определяет таинственную суть главного героя, Андроника!

Двойная змеящаяся черта — общечеловеческий, известный еще со времен неолита, иероглиф водной стихии, а серебро — металл, посвященный Луне.

Змея—Вода—Луна—Серебро: целый слиток образов, заключенный в одной-единственной строке! Андроник (отметим сразу же, что его имя — анаграмма слова *андрогин*) и впрямь служит воплощением земной влаги и лунных чар; на протяжении повести автор то и дело подчеркивает его связь с акватическим пространством и ночным светилом: он нежится «под серебристым свечением лунного ока», он говорит о том, «как приятно купаться в озере ночью, при луне».

(1) Андреев Д. Роза мира. М., 1991. С. 35.

Еще одна «проходная» с виду деталь мелькает в описании внешности Андроника, когда он внезапно появляется на проселке перед едущей в монастырь⁽¹⁾ развеселой компанией: на нем темные солнцезащитные очки. Он боится солнца, прячется от его лучей. Вплоть до самого финала, когда Андроник и Дорина сливаются в тесном недвижном объятии, словно превращаясь в единое существо, сочетающее в себе как лунарные, так и солярные аспекты, — вплоть до рассветной зари над волшебным островом, где свершается иерогамия, священный брак Солнца и Луны, Золота и Серебра, Андроник остается отражением ночных сторон мироздания. Его можно сравнить с белой точкой на черной половине графического символа «ин—янь»; он — сама Луна, вернее, таинственный *Deus lunus*, олицетворяющий мужское начало Луны, ее колдовскую магнетическую мощь.

«Лунный магнетизм, — писала в своей «Тайной доктрине» Елена Блаватская, — порождает жизнь, охраняет ее и уничтожает, как психически, так и физически. И если в астрономии Луна есть одна из планет Древнего Мира, то в теогонии она является одним из правителей его»⁽²⁾. Сам Элиаде посвятил лунной символике несколько еще более убедительных страниц. «Благодаря ей, — читаем мы в «Священном и мирском», — человек смог сопоставить обширные области явлений, не имеющих между собой видимой связи, и в конце концов свести их в единую систему. В эту разнородную символику сплавлены мотивы рождения, становления, смерти и воскрешения, сюда же относятся образы воды, растительного мира, женского начала, плодородия, бессмертия, космического мрака, пренатального и посмертного существования, а также судьбы, времени, смерти и т. д., то есть множество идей, связанных с понятиями цикличности, полярности, дуализма, оппозиции, конфликта, но в то же время и примирения этих противоположностей, осмысленных или уточненных именно благодаря лунной символике. Можно говорить о «лунной метафизике» как совокупности истин, касающихся определенного модуса существования всего живого, всего, что в Космосе причастно Жизни, то есть становлению, росту, старению, смерти и воскрешению»⁽³⁾.

В повести Элиаде особо подчеркнута причастность лунного змея Андро-

(1) Сходство этого эпизода с известными сценами из «Братьев Карамазовых» напрашивается само собой.

(2) Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Л., 1991. Т. I, ч. 2—3, с. 117.

(3) Eliade M. Le sacré et le profane. P., 1965, pp. 133—134.

ника ко времени и вечности: ведь Луна — это естественное мерило временных циклов, от смены ее фаз зависит не только биоритм каждого земного существа, но и макрокосмическая пульсация всей нашей планеты. Светящийся циферблат часов, с помощью которых главный герой «хронометрирует» лесные ристалища остальных персонажей, то и дело по-разному обыгрывается во многих эпизодах текста. И когда одному из действующих лиц снится, что с оборотнем покончено, что его убили, Змей-Хронос продолжает существование в самом изначальном из своих воплощений — в виде унизанного бисером циферблата.

«Луна сегодня будет чудная», — как бы невзначай бросает Дорина за несколько минут до появления загадочного незнакомца, бросает, не подозревая, сколь пророческой окажется ее реплика: чудеса не заставят себя ждать. Рассеянные то тут, то там подробности постепенно складываются в единую картину, но как же она двусмысленна и темна, несмотря на отчетливый лунный колорит! Глядя на нее, даже сами действующие лица только руками разводят: «Совершенно невозможно установить, что было, чего не было»; «Я так и не понял, что же все-таки произошло».

А произошло то, о чем говорилось выше в связи с мифологическими трудами автора: мы стали свидетелями иерофании, вторжения в обычный человеческий мир инобытийной, сакральной силы, ставящей под сомнение его, казалось бы, незыблемые законы: «само пространство стало неоднородным, то сгущаясь, то разверзаясь опасными провалами»; «в таких обстоятельствах время уплотняется, дело обычное».

Так или иначе поданный, мотив иерофании является тайной пружиной почти всех фантастических произведений румынского мастера. Девушка Кристина из одноименного романа воплощает в себе не только вампирические стороны женского характера, она — Луна, которая «ушла глубоко вниз», во мрак крошечный... Учитель музыки из рассказа «У цыганок» (1959), забредя в «какой-то сомнительный сарай», сталкивается там с тремя богинями судьбы, тремя Мойрами (или грациями), принявшими обличье проказливых девушек. Высокий и смуглый молодой человек в темных очках, организатор подозрительных ночных игр, оказывается, как говорилось выше, сгустком лунной энергии, водяным царем, вернувшимся с кладбища мертвецом, воплощением Мирового Змея.

Фольклорные истоки этого образа очевидны. «Змей, — писал А. Афанасьев, — оборачивается молодцем несказанной красоты. С воздушных высот он

высматривает красных девушек, и если очарует какую любовным обаянием — то зазноба его неисцелима вовеки: зазнобу эту ни заговорить, ни отпоить нельзя»⁽¹⁾. Брак девы со змеем — древнейший мифологический сюжет, который, однако, не сводится, как полагал наш великий фольклорист, ни к «любовой связи бога-громовника с облачными девами и женами», ни тем более к банальным интрижкам нечистой силы с ведьмами и чародейками. «Змей, — напоминает нам современный отечественный исследователь, — олицетворял мужское начало водной стихии, тогда как девушка — ее женскую сторону, и в их союзе как бы осуществлялось единство этих двух начал: смерть жертвы была в то же время ее бракосочетанием с духом воды»⁽²⁾. В контексте повести этот жертвенный процесс следует понимать еще шире: это воссоединение элемента «инь» с элементом «ян», взаимное обретение первозданной полноты бытия, его завершенности и целостности, т. е. космическое действо, в личностном порядке аналогичное процессу инициации, посвящения.

Столь же очевиден в повести и мотив змеборства, преподнесенный, однако, чуть ли не в виде фарса: бравый капитан Мануила, играющий роль змеборца, терпит поражение в психологической схватке с оборотнем, расписывается в собственной несостоятельности: «Страх снова стал забирать его, и веки снова набрякли тяжестью. Надо крикнуть! Но он не смог даже застонать, даже пальцем пошевелить». В сказках тоже говорится о неодолимом сне, наваливающемся на богатыря перед битвой со змеем, но там его обычно будит девушка, предназначенная в жертву чудовищу. В повести Элиаде змей околдовывает всех без исключения действующих лиц, превращая их в подобие марионеток, восковых фигур, жмущихся по углам, и Дорина не делает никаких попыток выручить своего незадачливого кавалера.

Но автор не ограничивается этой явной, лежащей на поверхности фольклорной подоплекой. Сказать, что он реконструирует, воссоздает наиболее архаические пласты человеческого сознания, — значит не сказать ничего. Повесть Элиаде — единственная известная мне попытка взглянуть на бесчисленные аспекты мифа о змее глазами самого змея, попытка влезть в его шкуру, вместе с ним «поиграть» с людьми, обнажить их подлинную суть, в буквальном смысле слова «вывести на чистую воду».

(1) Анафасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1868. Т. II, с. 577.

(2) Иорданский В. Звери, люди, боги. М., 1991. С. 155.

Вы не верите в Бога, бахвалитесь своим атеизмом («религия хороша для крестьян, для черни»), вы, прихватив с собой патефон, едете в монастырь, чтобы потанцевать и поиграть в картишки? Ну так получайте же: «игра продолжается, хотим мы того или нет». Непросветленное, безблагодатное сознание неминуемо воспринимает иерофанию змея только в ее негативном, зловещем плане: Андроник-андрогин предстает перед самонадеянными атеистами в облике «игреца»: на многих языках именно так именуют дьявола. Туповатый Жорж Соломон раньше всех подмечает эту ипостась незнакомца, в сердцах обозвав его «чертякой». Темная, свинцовая, бесовская сторона человекозмея (и, разумеется, человека как такового) раскрывается уже в сцене игры в фанты, постепенно выявляющей в каждом из «благородной компании» его тайные инстинкты: «Весь лес был пронизан теперь разгулом плоти, обдавал испариной обнаженных тел. И под каждым кустом переплелись в объятиях пары». Далее следует описание символического «спуска в преисподнюю» — в монастырский погреб, где Андроник знает каждый камень, как будто жил здесь от начала начал. В этом эпизоде явлена его хтоническая, подземельная природа, а заодно намечена связь с дохристианскими культами, обожествлявшими змею. Известно, что все более или менее значительные церковные сооружения воздвигались на месте древних языческих святилищ: в этом отношении история собора Парижской Богоматери не отличается от истории Софии Киевской или Софии Новгородской. Надо думать, и православная Румыния не была здесь исключением. Я хочу сказать, что Андроник, судя по всему, жил в этом подземелье еще в ту пору, когда оно было не монастырским погребом, а языческой криптой, — жил в обличье храмового змея, которому благоговейно подносили «молоко или вино с медом», почитая в нем живой образ довременной мудрости. Теперь он внушает распутным безбожникам лишь «омерзение, ужас и тайное желание», ощущение «мертвечины и любовного возбуждения» — им чужда и непонятна богатая символика, которая связана со змеем у всех народов. Только перед Дориной выявляется иной, сокровенный смысл мифа о змее.

Змей, как уже говорилось выше, соприроден водной стихии. Владимир Пропп, упоминая об этой связи, ничем ее не мотивирует, а принимает как данность: «Змей не только огненный царь, но и водяной царь. Эти две черты не исключают друг друга, они часто соединяются»⁽¹⁾. Между тем причина этой

(1) Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 217.

связи ясна как день, как первый день творения. В первобытном сознании змей — прежде всего демиург, создатель вселенной, разделяющий «верхние» и «нижние» воды, о которых говорится в первых стихах книги Бытия. Дух Божий, носящийся над водою и представляющийся чем-то вроде птицы, — это позднейшая замена куда более древнего символа, который, по мнению Елены Блаватской, мыслился в «образе Огненного Змея, выдыхающего огонь и свет на предвечные Воды до тех пор, пока он не приведет космическую материю в состояние инкубации и не придаст ей кольцообразную форму змея, закусившего свой хвост»⁽¹⁾. Близкий друг и единомышленник Элиаде, его сотрудник по Чикагскому университету Ананда Кумарасвами писал о «бесконечном змее, в чьих извивах заключены Огонь жизни и Вода жизни (Агни и Сом, Сухое и Влажное), все боги, все существа, все знания и все блага»⁽²⁾. Этой ведической формуле вторит древнеегипетская «Книга мертвых», где упоминается змей Мехен «длиной в миллионы лет, несравненный владыка, в чьем лоне покоятся все боги»⁽³⁾. Стоит, наконец, вспомнить и об изображениях Мирового Змея, самым впечатляющим из которых можно считать так называемый Большой Змеиный курган в американском штате Огайо — извилистую и узкую земляную насыпь длиной около полутора десятков метров, которая при взгляде сверху, с борта самолета или вертолета, принимает очертания исполинского змея, держащего в пасти яйцо — символ вселенной⁽⁴⁾.

«Архаическое сознание вознесло змея до огромных высот — в древних мифологиях он предстает то олицетворением мужского начала водной стихии, то символом небесной радуги, а иной раз и ипостасью бога молний. Обычно мифический змей обитает в своей родной стихии — воде, но зачастую его царство располагается в чащобе, в глубоких пещерах, а то и в подземном мире, где находятся «деревни умерших». Из этих глубин мифического пространства змей является людям как хранитель мудрости, посвященный в таинства жизни и смерти. Его могущество огромно»⁽⁵⁾.

Все эти определения в полной мере приложимы к герою повести. Анд-

(1) Блаватская Е.П. Указ. соч. Т. I, ч. I, с. 116.

(2) Coomaraswamy A. Hindouisme et bouddhisme. P., 1949, p. 20.

(3) Le livre des morts des anciens égyptiens. P., 1907, p. 337.

(4) Феест К.Ф. Искусство коренных народов Северной Америки. М., 1985. С. 195—196.

(5) Иорданский В. Указ. соч., с. 117.

роник — утопленник, жилец могилы, которую он покидает под личиной змеи, владыка лесных трущоб, кудесник, оборачивающийся то птицей, то барсуком, то обезьяной, и в то же время — вспомним «концепцию дополнительности» — целитель Асклепий, вечно юный царь зеленого острова, частицы «земного рая», чудом уцелевшей на окраине обмирщенного, обезбоженного пространства. Эта деталь повести явно соотносится с древнеегипетской сказкой «Змеиный остров», где описан затерянный среди моря клочок суши, остров Ка⁽¹⁾, принадлежащий бородатому золотому змею, «любящему людей богу из далекой страны, неведомой людям»⁽²⁾. Этот остров — вселенная в миниатюре: «не существует ничего такого, чего бы не было на нем; он полон всякого добра», а его владыка наделен чертами всемогущества и всеведения. «Бородатые змеи, — поясняет переводчик и комментатор сказки, — изображались египтянами на памятниках, связанных с культом мертвых, они упоминаются в заупокойных текстах»⁽³⁾. В повести Элиаде эта связь между водой, змеем и «навным царством» лишний раз подчеркивается сквозным мотивом лодки, известным почти во всех мифологических системах мира. Ладья, барка служит средством переправы в загробный мир. Во многих древних обществах покойника не хоронили в земле, а укладывали в погребальную ладью, которую затем спускали на воду, в надежде, что она причалит к волшебному острову, где обитают души умерших⁽⁴⁾. Увеселительная для посторонних глаз прогулка, затея явно эротического характера становится мистерией «перехода в иное бытие» («она больше ничего не чувствовала, даже просто радости. Сейчас они отплывут от берега и не расцепят рук, а может быть, свернутся друг подле друга на дне лодки, как в гнезде»), инициатическим обрядом погребения и нового рождения, который должна пройти невеста змея, чтобы вслед за тем одарить своего избранника всей полнотой собственной солнечной природы, получив от него взамен недостающие ей «лунные» черты. В одной из сонных грез Дорина попадает в подводную область, в волшебное зазеркалье, где, в полном соответствии с классическим обрядом посвящения встречается со своей двойницей, Аргирой, мерт-

(1) Ка — одна из модальностей духовного существа человека, соответствующая, скорее всего, «астральному телу» оккультистов. Змей издревле отождествлялся с душой, покидающей тело.

(2) Сказки и повести Древнего Египта. Л., 1979. С. 34.

(3) Там же, с. 200.

(4) См.: Афанасьев В. Указ. соч. Т. I, с. 578—579.

вой женской ипостасью Андроника, его серебряным «линовищем». Только побывав в «глубокой, холодной, черной пучине», символически приобщившись к таинству смерти, она вместе с Андроником «проклянулась в другой жизни», и тогда «огненное око солнца раскрылось прямо на них».

Автор лишь пунктиром намечил алхимическую трактовку развития сюжета. В начале повести проскальзывают фразы, соотносимые с первым этапом «великого деяния»: «тяжелый свинцовый блеск», «лодка пошла ко дну, как свинцом налитая»; вся центральная ее часть пронизана серебряным светом луны, напоминающей о «млечной деве», красавице Аргире, которую можно считать олицетворением *аргиропеи* — трансмутации свинца в серебро, и только ближе к финалу все сильнее звучат мотивы *хризопеи*, связанные с золотом и луной: вспомним сон Дорины, где Андроник предстает перед ней в набедренной повязке с золотой оторочкой и вручает ей символический «фант» — золотое яблоко.

И вот *великое деяние* свершилось: свинец стал золотом, темные, «свинцовые» стороны человеческой души, омытой водами смерти, просияли солнечным блеском, «инь» и «ян» слились воедино. Заключительная сцена повести решена в духе тех алхимических гравюр, где «соитие» вселенских начал представлено в виде четы нагих любовников, брачным ложем которых служит островок и окружающая его водная чаша...

Ощущение мертвечины и любовного желания, внушаемое оборотом, — вот главная тема романа «Девушка Кристина», вышедшего на год раньше «Змея». Здесь лунная символика раскрывается в самом зловещем из своих аспектов — безжалостном и мертвенном; здесь Луна-Кристина выведена противным природе созданием, «пришелецкой из иных краев», чье призрачное существование поддерживается за счет жизненных сил тех, кто попал под ее власть. Если Андроник — это смерть, «нерасторжимо связанная с жизнью, смерть неокончательная, неизменно ведущая к новому рождению»⁽¹⁾, то Кристина — олицетворение негативных сторон инобытия, не таящего в себе ростки новой жизни, а вампирически паразитирующего на ней. Кристина — вампир, и этим сказано если не все, то очень многое. Вникая в детальную разработку ее образа, не следует упускать из виду фольклорные традиции Восточной Европы и, в частности, Румынии, согласно которым «вампиром может стать человек, скончавшийся в состоянии смертного греха, безбожник, отлученный от церкви, колдун, убийца, самоубийца и т. д., хотя в иных случаях вампиризм пере-

(1) Eliade M. Le sacré et le profane. P., 1965, p. 134.

дается по наследству или обуславливается рождением в «несчастливый» день. Тело вампира, не принятое в обитель мертвых, не подвержено гниению, а его душа не знает успокоения. Каждую ночь он встает из гроба и, силясь поддержать в себе остатки призрачной жизни, сосет кровь живых во время сна или наведя на них сонный морок. Восточноевропейские упыри — бруколаки, волкудлаки — мало чем отличаются от других демонических существ той же породы — античных стриг и ламий или арабских гулей. Их жертвами прежде всего становятся близкие родственники, затем соседи и, наконец, домашний скот. Укушенные вурдалаком люди чахнут, сходят с ума и умирают, а иногда сами превращаются в ненасытных оборотней, так что в старинных хрониках встречаются описания настоящих «эпидемий» вампиризма. Этих «живых мертвецов» можно отпугнуть ярким пламенем, крестом, запахом чеснока, но избавиться от них навеки можно, лишь вогнав в сердце чудовища заступ или осиновый кол, а затем предав его останки огню»⁽¹⁾.

Элиаде предельно точен в интерпретации этих фольклорных подробностей, хотя, как мы увидим, они служат ему лишь точкой опоры для дальнейшего углубления темы. Погибшая страшной смертью Кристина осталась в памяти живых воплощением садизма и разврата, ее именем пугают детей. «Эта девица благородного звания заставляла управляющего именем бить плетью крестьян в своем присутствии, бить до крови. <...> Сама срывала с них рубаху», «любила взять цыпленка и живьем свернуть ему шейку», а когда мужики взбунтовались, она «принимала их голая, на ковре, по двое, одного за другим. Пока не пришел управляющий и не застрелил ее»; словом, в ней сидел дьявол.

Она и после смерти продолжает наводить ужас и порчу на всю округу. В Евангелии говорится, что «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Посмертная судьба Кристины является как бы сатанинской пародией на эту евангельскую истину: Кристина — не живое, но и не мертвое семя зла, посеянное не в землю, а в под-земелье, в преисподнюю, откуда прорастают, облекаются чужой плотью его бредовые побег. Г-жа Моску, считающая, что Кристина умерла вместо нее, постоянно находится в чудовищной переключке с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным, она изо всех своих слабых сил старается походить на покойницу: и голосом, который идет «как будто из сна, из иных миров», и литературными пристрастиями, декламацией «люциферических» стихов из ее

(1) Goimard J. et Stragliati R. *Histoires de morts-vivants*. P., 1978, pp. 21—22.

библиотеки, и даже кровожадными повадками — она ловит неоперившихся птенцов и сладострастно их душит. Что же касается ее младшей дочери, Симины, то это девятилетнее серафическое существо — просто-напросто «белая тень» Кристины, ее перевоплощение (*similis* по-латыни значит «похожий, подобный»). Власть могильной нежити, призрака, дышащего «фиалковым дурманом», распространяется и на кормилицу с «глазами, как голубая плесень», и на домашнюю птицу — «была одна гусыня, да я ее сегодня утречком околемши нашла», — и на весь дом, пропитанный «промоглым, неестественным холодом», в чьи окна так и ломятся целые тучи комаров-кровососов, как бы расчищая путь своей хозяйке.

Но Кристина отнюдь не вульгарный вурдалак, охочий только до свежей крови. Она из породы тех демонических тварей, которых в средние века называли суккубами — эти мучимые инфернальной похотью существа искушали по ночам мужчин, насыщаясь их сокровенной энергией. И ей недостаточно лишь сумеречных, фантоматических встреч с Егором, главным героем романа. Приняв обличье Симины, она среди бела дня увлекает его в погреб, где томятся ее окаянные мощи, чтобы там вступить с ним в связь, которую трудно даже обозначить словами: это своего рода «черная месса», где храмом служит подземелье, престолом — тело маленькой колдуньи, а «святыми дарами» — человеческая кровь и мужское семя.

Кристина — это ночная, хтоническая ипостась все той же Великой Богини, ипостась, которую в Древней Греции именовали Гекатой, в Индии — Кали-Дургой, а в талмудических писаниях — Лилит, первой женой Адама. Если Шакти в своем благом обличье — Матерь всего сущего, «корень бытия», покровительница жизни и плодородия, то Лилит — олицетворение мертвящей, бесплодной похоти, способной порождать лишь призрачное и нечистое подобие жизни. «Из семени, пролитого впустую, — гласит трактат великого каббалиста Исаака Луриа «О круговращении душ», — Лилит и Нахема творят тела демонов, духов и лемуров»⁽¹⁾. Лилит-Кристина — это черная часть символов «инь—ян», поправшая светлую половину и возмнившая себя владычицей мира; это, как уже говорилось, Луна, ушедшая глубоко вниз, во мрак преисподней.

Элиаде, как всегда, точно рассчитывает хронологию своего романа по лунному календарю. Если действие «Змея» и «Серампорских ночей» приходится на полнолуние, то события, описанные в «Кристине», начинаются в

(1) Loria I. Traité des Revolutions des Ames. P., 1905, p. 218.

полном мраке, таком осязаемом, что на него можно натолкнуться. А когда луна наконец появляется, Егор тут же связывает ее восход с особенной бледностью вторгшегося к нему призрака: «Это от луны. Как внезапно взошла луна». Луна безжалостная, мертвенная, безжизненно-белая...

Ее загробному гнилоственному свечению с первой же страницы романа противопоставляется живой земной свет, будь то лампа с белой калильной сеткой, карманный фонарик или слабый огонек спички. Еще не подозревая о спасительной и очищающей роли огня, который должен разбушеваться в финальных сценах, действующие лица бессознательно, как дети, тянутся к малейшему проблеску пламени, постоянно окликают, заывают его: «Я боюсь в темноте наткнуться на мебель. Тут нет спичек?», «Следовало бы зажечь лампу...», «У вас есть спички? — Там, на столе, коробок...», «Все его помыслы сосредоточились на электрическом фонарике...», «Нашел спички, зажег большую лампу...» и т. д.

Нежить и нечисть, в какой бы личине она ни являлась, не выносит света: «Погаси лампу, иди ко мне!» — приказывает Егору Кристина. Но он, пройдя все жуткие этапы инициации — ведь выпавшие на его долю испытания вполне можно трактовать как посвятительные обряды, — мало-помалу причащается огню, который становится для него такой же точкой опоры, как и для героя «Загадки доктора Хонигбергера». «Даже луны, даже ее не боюсь, — восклицает Егор. — Впрочем, она скоро сгинет... Луна заходит после полуночи». А когда огненная стихия, вроде бы случайно вырвавшаяся на волю из опрокинутой лампы, уже начинает пожирать заколдованный мирок Кристины, он вспоминает еще о двух символах — железе и кресте: «...мне не страшно, потому что при мне и железо, и крест. К тому же рассвет близко. И тогда уже ничего плохого не сможет случиться». Оба эти символа явственно соотносятся с именем героя: Егорий, Георгий, — это и землепашец, железным оралом оплодотворяющий лоно матери-Геи, и змееборец, вгоняющий железное копьё с крестом на древке в пасть хтонического чудовища.

В финальном эпизоде расправы с вампиром отражен двуединный аспект мифа о пахаре-змееборце, ратае-ратнике: Егор вновь нисходит в подземный мир, в «средостение чертовщины», но уже не как пассивная жертва темных сил, а как олицетворение торжествующего мужского начала. С яростью вонзая железный посох в сердце Кристины, он окончательно «овладевает» ею, тем самым пытаясь избавиться от ее дурманных чар. Вместе с Кристиной гибнут в огне все ее исчадия и отражения, ибо они давно уж лишены самостоятельного бытия, независимого от ее ядоносных веяний...

«Девница Кристина» и «Змей» открывают «румынский» цикл художественной прозы Элиаде, продолженный новеллой «У цыганок» и целым рядом произведений 70—80-х годов, которые, бесспорно, являются вершиной его творчества. Вчитываясь в эти внешне скупые, аскетически строгие вещи (вся их духовная энергия ушла в сердцевину, в подспудную и особенно многозначную внутреннюю суть), невольно вспоминаешь цветистую лексику «Майтрейи» или замысловатые композиционные хитросплетения «Змея» — и понимаешь, сколько воды (или крови?) утекло с тех пор, когда молодой Элиаде создавал свои первые вещи. Убеждаешься, как изменился за это время мир, насколько перелицован и обезличен был человек, угодивший под ножницы бравых портняжек с погонами на плечах и партбилетами в кармане. Взять хотя бы рассказ «Пелерина» (1975), само название которого невольно наводит на мысли о перелицовке: «пелерина, да еще с заплатами на месте эполет...» И здесь, как в «Серампорских ночах» и «Змее», луна не только сияет на земном небе, но и предстает в качестве центрального символа, вокруг которого свивается подлинный сюжет. И здесь, как в ранних произведениях Элиаде, светящийся циферблат Луны отсчитывает истинное время, не совпадающее с мнимым временем часов, настроенных по Москве. Это реальное и символическое расхождение, бездонный зазор между правдой и ложью объясняет, помимо прочего, и необъяснимую для агентов тайной полиции псевдозагадку с передатировкой газет, дающую толчок сюжету повествования, как внутреннему, так и внешнему.

Пелерина (одеяние паломника) происходит от французского слова *pelerine* и, далее, от латинского *peregrinus* (паломник, странник). Многозначительная лексика! Зеvedей, временный владелец пелерины, как раз и является паломником, свершающим мысленное *хождение* к святым местам. Он политически нейтрален, хотя и отсидел когда-то пятнадцать лет в лагерях: «На политику у меня ушло пятнадцать лет, на тюрьму еще пятнадцать, и я хочу понять смысл этих тридцати лет, потому что обе фазы, вместе взятые, составляют целое. Поэтому-то меня и занимает время как проблема... Такие, как я... абсолютно безопасны в политическом плане». Но не в метафизическом. Не будем забывать, что св. Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбака Зеvedей. Преимство имен указывает на тему апостольского служения, посланничества в мир с поручением (вспомним схожую миссию Оробете-Даяна), и потому подозрительность тайной полиции небезосновательна, хотя ей невдомек, откуда исходит главная угроза. Так, по версии старшего беса, Гиберчи, Зеvedей — связанной, потерявший связь с центром, и эта бредовая догадка в некотором смысле верна!

Ибо угроза исходит от подлинно сущего, от того, что воистину есть. И потому складывающаяся из будто бы бессмысленных фрагментов шифрограмма считывается именно с циферблата лунных часов, поверяющих как биоритмы каждого живого существа, так и макрокосмическую пульсацию всей планеты. «Космическая жизнь во всей ее полноте еще ощущается как некий божественный шифр», — писал Элиаде в «Священном и мирском», лишний раз прибегая к мистико-математической терминологии, которой свободно оперирует все тот же Константин Оробете, странник по нижнему миру.

Стоит, пожалуй, отметить явственную параллель между образами Майтрейи и Аллана из самого раннего романа Элиаде — и символическими характеристиками главных героев «Пелерины». Санда Ириней, невеста Пантелимона, после разрыва с ним становится «невозвращенкой». Но шведский климат ей претит, и она перебирается на юг, в Уганду, что, по мере удаления от Румынии, как бы усиливает солнечный аспект ее существа по отношению к Пантелимону, пребывающему в лунном пространстве. Единственное послание, внятно читаемое по-румынски, закодировано в лунных фазах Уганды и, несомненно, адресовано Пантелимону, будучи излюбленной цитатой Ириней из евангельских «Заповедей о Блаженствах». Таким образом, разрыв с Сандой вырастает до масштабов космической катастрофы, оказываясь разрывом между Шивой и Шакти, неминуемо ведущим к гибели (пусть отдаленной) того мира, где остается герой.

Несколько замечаний по части оптики. Мир подлинный, откуда нисходит *Сообщение*, «божественный шифр», а на взгляд тайных агентов — пустая абракадабра, по отношению к нижнему миру совершенно абсурден, ибо бесконечно значительней его. Искаженное его отражение в мелководных головах агентов тайной полиции абсолютно не соответствует объекту, как в перевернутом бинокле, и, следовательно, не может быть осмыслено. Так, все происходящее представляется неизменно жующему зубочистку Пантази, который умнее своих соратников, диковинным сговором, имеющим целью свержение государственного строя: «Если моя гипотеза верна, это — испытания чрезвычайной важности... Их организаторы ищут пути: как передавать информацию, а на более позднем этапе, не исключено, инструкции... военного порядка». И он, как это ни парадоксально, по существу прав. Ибо дыхание Абсолюта, даже едва ощутимое, потрясает самую основу миропорядка, охраняемого секуритате; так, по свидетельству Сведенборга, духи, укоренившиеся во зле, не выдерживают даже слабого света, нисходящего с внутренних небес:

«...если только несколько небесного света проникает к ним [бесам. — Ю.С.], то их человеческие образы превращаются в чудовищные, ибо при небесном свете все показывается тем, что оно есть в себе самом. Вот почему они бегут от небесного света и обращаются к своему, более грубому свету, который является как бы светом от раскаленных углей...»⁽¹⁾

Развязка рассказа в смысловом отношении рифмуется с финалом набоковского «Приглашения на казнь», когда декорации кошмара расплзаются и Цинцинат выходит на свет. Герои «Пелерины», как бы ни были они слабы, боязливы, даже безбожны, все же оборачиваются к небесам. И небо отвечает им. Так Егор-Георгий-Змееборец, вспомнив о кресте и железе, вступает в мучительное единоборство с нечистью и побеждает ее, видя, как рушатся и горят «заставы сновиденья». Так в рассказе «Иван» солдаты, потерявшие во времени (или во вневременных измерениях?), справляются с обволакивающим их мороком и по светозарному мосту переходят в мир блаженства. Так, в отличие, скажем, от персонажей Кафки, обреченных вечно блуждать в лабиринте между пустым небом и отчаявшейся землей, Пантелимону мерещится проблеск надежды. И даже агент секуритате Пантази скрывается за кулисы, «слегка запрокинув голову, как будто его только что коснулось благоухание лип». «Пелерина» — самое, если можно так выразиться, идиллическое произведение «румынского» цикла. В нем нет ни смертей, ни арестов (разве что за сценой), ни внезапного и устрашающего вторжения в сиюминутную действительность инобытийных сил. Это своего рода детектив с мистической подоплекой и тщательно прописанным инфернально-бытовым фоном. Суховатые, шуршащие и перешептывающиеся интонации «Пелерины», ее нарочито казенный раскрой и настрой — все это звучит как сдержанная прелюдия к сумрачным и грозным мотивам последующих рассказов: «Les trois Grâces» (1977), «Без юности юность» (1977), «Даян» (1980).

Хотя прозаические шедевры Элиаде разрабатывают общую для них совокупность образов и символов, все же можно сказать, что одна из тем в каждой вещи доминирует. Это тема очистительного йогического пламени в «Загадке доктора Хонигбергера», тема противостояния солнечного и лунного первоэлементов в «Майтрейи», «лунная метафизика» и мотивы иерофании в «Змее», образы промежуточного между бытием и инобытием состояния (они, кстати сказать, подробно описываются в «Бардо тодол», тибетской Книге мерт-

(1) Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. Киев, 1993. С. 305.

вых) в новеллах «У цыганок» и «Иван». «Les trois Grâces» посвящены совершенно неожиданной и парадоксальной даже для Элиаде теме взаимосвязи грехопадения, бессмертия и... проблемы злокачественных опухолей. Хотя, пишет автор, «смерть есть полное раскрытие тех лучших способностей, которыми мы были наделены, сведение их воедино», а предшествующая ей болезнь — это «физиологический процесс, утративший целесообразность, “созидание” в беспамятстве и наугад, без цели, без порядка, без программы», «хаотическое творчество, творчество, потерявшее меру», но «сказочная юность без старости», которую праотец Адам и праматерь Ева утратили в результате первородного греха, в продолжение всей истории рода человеческого была тайной мечтой и целью магиго-физиологической практики даосов и каббалистов, йогингов и тантристов. Возврат к эдемскому, адамическому состоянию — вот ради чего европейские алхимики разрабатывали рецепты *питьевого золота*, а их китайские собратья писали об *эликсире бессмертия*, *образовании бессмертного зародыша* и *трех киноварных полях*, где выплавляется золотая пилюля и взращивается *золотой цветок* — символы и средства слияния с пустотой, превращение в бессмертного.

Однако, если китайские мудрецы считали, что если «вы решили добиться бессмертия, вы должны быстро уничтожить все болезни, дремлющие в теле»⁽¹⁾, то Элиаде, великий знаток мистических учений (его перу принадлежат такие трактаты, как «Йога. Бессмертие и свобода», «Кузнецы и алхимики», «Патанджали и йога»), в своих «Les trois Grâces» предлагает совсем иную постановку вопроса: Адам и Ева, будучи в раю, периодически регенерировались, т. е. омолаживались, за счет неоплазии, безостановочного разрастания клеток; если бы не оказавшийся смертельно ядовитым плод с дерева познания добра и зла, человеческое тело не утратило бы секрет периодического самообновления. «Теперь же, если тело во внезапном необъяснимом порыве “вспоминает” и пытается повторить забытый процесс, разрастание клеток идет вслепую и дает злокачественную опухоль...»

Обуздать этот слепой и страшный порыв, направить его в русло бессмертия (вспомним герметическое выражение «повернуть вспять воды Иордана») — такую задачу поставил перед собой гениальный медик Аурелиан Тэтару, погибший при загадочных обстоятельствах на карпатской турбазе, — об этой кончине беседуют в начале рассказа три его друга, о подробностях этой

(1) Лу Куань Юй. Даосская йога, алхимия и бессмертие. СПб, 1993. С. 95.

трагедии допрашивают их срочно прибывшие на место происшествия сотрудники секуритате. Не буду напоминать детали клинического эксперимента, в результате которого были возвращены к жизни, буквально воскрешены «три грации», три старухи, пораженные раком; вряд ли нужен и пересказ приемов той медико-полицейской акции, что привела в конце концов к прекращению небывалого опыта: доктора Тэтару перевели в Джулешты, его лабораторию расформировали, запасы сыворотки уничтожили, рукописи сожгли... Такого рода произвол памятен нам хотя бы по событиям, последовавшим за печально знаменитой сессией ВАСХНИЛ 1948 года.

Важно другое. Ограничясь автор полужантовым сюжетом о небывалом научном открытии, приведи он еще несколько фактов касательно нелегкой судьбы румынских ученых в пору диктатуры Чаушеску, мы имели бы еще один текст, скроенный по модели «Пелерины». Но Элиаде, сохраняя верность своим научным теориям, политическим убеждениям и общему духу своих художественных произведений, никогда не повторялся в приемах, не проигрывал дважды уже прозвучавшие мелодии. «*Les trois Grâces*» — диковинная вещь, в которой сплавлены черты психологической новеллы, кратких тезисов дерзкой научной гипотезы, экскурса в область мифологии, заметок по истории религии, а также — из песни слова не выкинешь — политического памфлета. В начале статьи я вскользь упомянул о том, что настоящими героями Элиаде нужно считать не реальных людей, а их символично-мифологические прототипы. Автор учит нас, «как на лету схватывать условный язык под камуфляжем обыденного», как сквозь замутненное стекло мирского прозревать священное.

Ведь пациентки доктора Тэтару — это и в самом деле три грации, три хариты, богини, олицетворяющие бессмертное, вечно юное, самообновляющееся начало бытия. В древней Элладе их звали Евфросина («благомыслящая»), Аглая («сияющая») и Талия («цветущая»). У Элиаде они носят имена Евфросина-Фрусинель, Италия (и Талия) и Аглая. После не доведенного до конца лечения одна из них гибнет в автокатастрофе, вторая эмигрирует в Штаты, а третья — Фрусинель — остается в Румынии, где из года в год, как бы повторяя за солнцем его путь от Купальской ночи, ночи духов, когда все в природе цветет и молодеет, до зимнего солнцеворота, осенью, а тем паче зимой выглядит старуха старухой, а к весне что ни день наливается юными соками. Так сбывается предсказание Тэтару, пообещавшего своим пациенткам: «Будете теперь жить, как цветы, вслед за солнышком». В нескольких местах новеллы автор еще больше проясняет (и усложняет) природу Фрусинель, называя ее то вак-

ханкой, то амазонкой, то, наконец, Персефоной-Деметрой, супругой бога мертвых Аида, вынужденной зиму проводить в подземном мире и лишь с наступлением весны возвращаться в мир живых: «пять-шесть месяцев в году эта вакханка обречена жить семидесятилетней старухой», чтобы в колдовскую ночь летнего солнцестояния вновь стать юной и прекрасной. «Их три, — думает один из героев рассказа, — но они — одно. Одно тело, хотя каждая — сама по себе. Совершенная, первозданная красота. Нельзя было назвать их лучше...» Три грации, но в то же время одна богиня, Персефона-Деметра, покровительница мертвых и живых, древняя учредительница Элевсинских мистерий, в которых «символизируется вечность души и ее вечное превращение в смене рождения и смерти. Душа ведет свое начало от бессмертного, от Деметры. Но она увлекается преходящим и сама становится причастной судьбе преходящего. Она вкусила от плода в преисподней: душа человека насытилась преходящим и поэтому не может долго пребывать на вершинах божественного. Она должна постоянно возвращаться в царство преходящего. Деметра — представительница того существа, от которого возникло человеческое сознание; но это сознание надо мыслить таким, каким оно могло произойти благодаря духовным силам земли. Таким образом, Деметра есть изначальное существо земли; и одарение ею земли семенными силами полевых плодов указывает еще на иную, более глубокую сторону ее существа. Это существо хочет даровать человеку бессмертие»⁽¹⁾. Так писал о символике Элевсинских мистерий Рудольф Штайнер; Элиаде, развивая и углубляя его бесспорные для меня положения, делает главным персонажем своего рассказа не Фрусинель-Кору-Деметру, а доктора Тэтару, *нашедшего* эликсир бессмертия, лекарство, по вкусу и цвету схожее с обычной родниковой водой. Но это не простая вода: она черпается из молодильного источника, *Fontaine de Jouvence*, — этот символ был знаком не только герметистам и художникам средних веков и Возрождения — о нем говорится и во многих волшебных сказках.

Кто же такой доктор Аурелиан Тэтару? В реальном мире он, как уже говорилось, гениальный ученый-медик, вдобавок интересующийся мистическим богословием. Он считал, что «в апокрифах, да и иных ересях тоже, сохранился ряд основополагающих истин, и сохранились они потому, что были зашифрованы тайным эзотерическим кодом... Следствие первородного греха — не

(1) Штайнер Р. Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван, 1991. С. 77.

разрушение, а только камуфляж механизма регенерации — чтобы его нельзя было распознать. Более того, он закамуфлирован в такие физиологические процессы, которые представляют собой очевидную противоположность регенерации, а именно: в болезни и прежде всего в самую опасную — разрастание клеток, неоплазию...» Доктора Тэтару «волновал боготайный смысл такого мироустройства, при котором только те, кому грозит напуганнейшая опасность, имеют шанс обрести юность без старости...»

Но вспомним, что говорят древнегреческие мифографы об Асклепии, воспитаннике мудрого кентавра Хирона, который вырастил его и научил искусству врачевания: «Став искусным врачевателем и накопив в этом занятии большой опыт, Асклепий не только спасал от смерти, но и воскрешал уже умерших. Он получил от богини Афины кровь, вытекшую из жил Горгоны, и использовал ту кровь, которая вытекла из левой части тела, людям на погибель, ту же кровь, которая вытекла из правой части, для спасения людей; этой же кровью он воскрешал мертвых <...> Зевс испугался, как бы люди не стали спасать друг друга, позаимствовав у этого врачевателя его искусство, и поразил его перуном»⁽¹⁾.

Известно, что всем дерзнувшим посмотреть в лицо Горгоны грозила «напуганнейшая опасность»: ее взгляд обращал в камень неосторожных смельчаков. А кровь мертвой титаниды стала «живой и мертвой водой» волшебных сказок, тем самым эликсиром бессмертия, который был открыт в лаборатории доктора Тэтару. Повинуясь магии «конечного уравниения», смерть сделалась молодильным источником, Fontaine de Jouvence. Однако кровь Горгоны не только воскрешает, но и убивает. Чудо порождает чудовище. Тэтару-Асклепий погиб от одного взгляда на Фрусинель-Деметру, в чьих жилах струилась двустихийная кровь Горгоны, которую он сам вспырынул в них. «Отблагодарить его захотелось, утешить, — признается Фрусинель одному из героев рассказа, — он же ведь, доктор Тэтару, это чудо сотворил. Я смеюсь и иду на него, а он стал пятиться и не заметил, что дошел до края, где пригорок обрывался, а я тоже не заметила, Господь меня разума лишил. Вдруг вижу — он руками взмахнул и повалился». Иными словами, ни перун Зевса, ни громы и молнии секуритате не имеют отношения к гибели доктора: «смертию смерть поправший» Тэтару стал жертвой вакханки Фрусинель (не ее ли неистовые сестры растерзали когда-то Орфея?). Ко всему этому стоит добавить, что один из вариантов мифа об Асклепии повествует о его посмертной судьбе следую-

(1) Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972. С. 63—64.

щим образом: «Однако позднее Зевс вернул Асклепия к жизни. Так сбылось неосторожное пророчество дочери Хирона Эвиппы, которая объявила, что Асклепий станет богом, умрет, а затем к нему снова вернется божественность, то есть он дважды повторит свою судьбу. Образ Асклепия, держащего целительного змея, Зевс поместил между звезд»⁽¹⁾. Змей, обвиняющий чашу, издревле считался эмблемой медицины; в античности его признавали не только атрибутом, но и воплощением бога-целителя. И как знать, не эликсир ли вечной молодости, заново открытый Аурелианом Тэтару, наполняет этот таинственный сосуд, суля смерть одним, бессмертие и вечную юность другим: «Только у последней черты, — говорил доктор, — прорастают ростки спасения...»

«Юность без старости и жизнь без смерти» — таков лейтмотив «*Les trois Grâces*»; заглавие повести «Без юности юность» — перефразированное название загадочной румынской сказки, которой навеяны сюжеты обоих произведений. Выше, говоря об основных мотивах итоговых шедевров Мирчи Элиаде, я не ради красного словца назвал эти мотивы «сумрачными и грозowymi». «Без юности юность» начинается картиной небывалой грозы в предпасхальную ночь, почти полчаса без передышки полыхает небо в середине повествования, а завершается оно описанием метели накануне Рождества. Вопреки тому, что с формальной точки зрения сюжет повести разворачивается на протяжении тридцати лет, символическим образом он укладывается в промежуток между Пасхой и Рождеством 1938 года. Да оно и неудивительно, поскольку автор считает, что «время способно сжиматься так же, как и расширяться». Оно мгновенно раздается вширь, когда в ночь под Святое Воскресенье над головой Доминика Матея «грохнул взрыв, сопровождаемый вспышкой ослепительно белого света», и неторопливо, в течение целого вечера, сворачивается в метельный Сочельник 1938 года над оледеневшим телом столетнего старца Мартина Одрикура, «родившегося в Гондурасе 18 ноября 1939 года». Молния, поразившая пожилого преподавателя, приехавшего в Бухарест накануне Пасхи, чтобы принять там заранее припасенную смертельную дозу стрихнина, не была обычным атмосферным явлением. В своей монографии «Образы и символы» Элиаде пишет о подобных вспышках так: «Озарение, постижение сути вещей знаменует собой чудо исхода из Времени. Парадоксальный миг озарения в ведических текстах и текстах упанишад сравнивается с молнией. Брахман познается мгновенно, молниеносно. “Это поучение

(1) Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 135.

[Брахмана], — гласит Кена-упанишада (IV, 4), — это то, что сверкает как молния". "Истина в молнии", — вторит ей Каушитаки-упанишада (IV, 2). Известно, что тот же образ — молния духовного озарения — встречается в греческой метафизике и христианской мистике»⁽¹⁾. Иными словами, такого рода молния — это истина, нисходящая с небес, божий перун, поражающий изгнанника прямо в темя, в то место, где, по тантрическим понятиям, распускается тысячелепестковый лотос, чакра *сахасрара*, духовный центр, символизирующий собой высшее «Я», именно здесь, в области теменного глаза, покидает пределы человеческого существа, чтобы устремиться навстречу молнии Абсолюта, «Дэви Кундалини, сверкающая как молния, как цепь бриллиантовых огней...»⁽²⁾.

Момент озарения — это мгновенное слияние двух молний, восходящей и нисходящей, встреча Атмана и Брахмана, в результате которой человек постигает ирреальность времени и призрачность материального мира — они так же фантоматичны, как наши сны, а поэтому мы, в принципе, можем постигать суть вещей и явлений — как настоящих, так и прошедших и будущих — непосредственно, без всякой подготовки, как это иногда случается во сне. Пораженный (и омоложенный) молнией Доминик Матей начинает читать книги на языках, прежде ему вовсе неизвестных, прозревать будущее, встречаться с людьми, которые либо давно умерли, либо считаются бессмертными, — в этом отношении особенно красноречив его диалог с графом Сен-Жерменом за чашкой кофе в заурядном кафе «Альберт» — диалог, во время которого обсуждается значение находок кумранских рукописей и гностических манускриптов Наг-Хаммади, устройство Ноева ковчега, передача традиции, грядущая атомная катастрофа и оккультный смысл второй мировой войны, что велась, оказывается, между двумя тайными обществами — Орденом тамплиеров и кавалерами Тевтонского ордена...

Ничего удивительного во всем этом нет, особенно если припомнить, скажем, вторую главу из Деяний апостолов, где повествуется о том, как в день Пятидесятницы апостолы собрались вместе и с ними произошло чудо, весьма схожее с озарением, осенившим провинциального учителя в грозовую предпасхальную ночь: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяю-

(1) Eliade M. Images et symboles. P., 1979, p. 97.

(2) Авалон А. Зменная сила. Т. I. М. 1992. С. 92.

щиеся языки, как бы огненные, и почтили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2—4). В сравнительно короткой статье нет возможности процитировать и прокомментировать многочисленные тексты, на которые так или иначе ссылается Элиаде, подкрепляя ими свои лишь на первый взгляд фантастические теории, однако нельзя не привести то место из платоновского «Менона», которое автор вполне мог бы взять эпиграфом к своей повести, где так часто идет речь о взаимосвязи воспоминания и познания: «А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди называют это познанием, — самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать»⁽¹⁾.

В повести «Без юности юность» тождество (или, в буквальном смысле слова, *уравнение*) памяти и знания отображено в главе IV — она, как и глава I, начинается сценой грозы, заставшей на горном перевале двух туристок, молодую и пожилую. Старшая погибла от разрыва сердца, младшая осталась в живых, но напрочь утратила и свою личность, и знание родного языка. Удар молнии превратил Веронику Бюлер из швейцарского кантона Баль-Кампань в индийскую девушку Рупини, жившую двенадцать веков назад и говорившую на санскрите. «По многу месяцев, — пишет Элиаде, — [она] проводила в пещере, медитируя и переписывая труды учителя. Там она и пребывала, когда разразилась гроза. Она услышала раскаты грома, потом лавина камней прокатилась с гор и заслонила устье пещеры. Все ее попытки выбраться были напрасны». Рупини оказалась в неведомой стране, среди людей, говоривших на незнакомом наречии, — только Доминик, наделенный, как мы помним, «даром языков», мог ее понимать. Ее озарение оказалось, если можно так выразиться, однобоким: она утратила всякую память о настоящем, о том, кем она была в XX веке, приобретя взамен воспоминания и знания, относящиеся не только к VIII веку, но уходящие в толщу минувших тысячелетий. Раз в неделю, во сне, ее посещали видения отдаленных времен, видения, во время которых она говорила на

(1) Платон. Соч. в 4-х т. Т. I. М., 1994. С. 589.

языках, неизвестных даже Доминику, а однажды ночью разразилась чередой гортанных, нечеловеческих криков, спустившись, как можно думать, в такие пучины времени, когда люди еще мало чем отличались от животных. Можно высказать предположение, для читателя вовсе необязательное, что в образе Вероники-Рупини автор в который раз воплотил лунные, предельно женственные черты, настолько несовместимые с мужской, солярной природой Доминика, что, находясь рядом с ним, она начала катастрофически быстро стареть — так слабый свет луны блекнет и тускнеет в лучах солнца. Лишь разлука с любимым спасает ее от неминуемой смерти...

Моя жена посоветовала мне хотя бы в двух словах провести параллель между «вымыслом» и «реальностью», сославшись в качестве примера на судьбу болгарской прорицательницы Ванги, которая еще маленькой девочкой получила откровение в грозе и буре. Ее подхватил смерч и отнес километра на два от дома. Во время полета она ощутила прикосновение чьей-то ладони и потеряла сознание. Когда девочку нашли на земле, глаза ее были запорошены песком, она ослепла. «С тех пор Ванга обрела пророческий дар. Она может рассказывать прошлое и будущее обращающимся к ней людям, читать человеческие мысли независимо от расстояния и языка, на котором мыслит и говорит человек. Как считают ученые, изучающие необычные способности Ванги, из каждых ста ее прогнозов верными оказываются восемьдесят. Болгарская ясновидица Ванга поддерживает общение с умершими, задает им вопросы, получает от них ответы, видит перед собою их образ»⁽¹⁾. Сходство между судьбами героев Элиаде и судьбой болгарской пророчицы, отличающейся, кстати, завидным долголетием — она родилась в 1910 году, — не подлежит сомнению. Но еще поразительней совпадение некоторых деталей, относящихся к духовному прозрению Ванги и Вероники-Рупини. Первая во время одного из своих «парамедиумических экстазов» (так называет это состояние Элиаде) видела незримое для простых смертных существо «кики» и «описывает его похожим на человека, с умными человеческими глазами, но с птичьей головой. По словам Ванги, «кики» открыл ей, что его разгадку надо искать в Древнем Египте, во времена, когда люди изображали богов с птичьими головами...»⁽²⁾. Ванга видела Тота, ибисоголового бога Луны и мудрости, исчислителя времени, «перевозящего души умерших через ночное небо в потусторонний мир — за гори-

(1) Дороги, ведущие в ад. СПб., 1996. С. 69.

(2) Там же, с. 70.

зонт»⁽¹⁾. Веронике-Рупини привиделся другой проводник мертвых в загробный мир — бог Анубис с головой шакала, и она проснулась среди ночи с криком: «Мне страшно! Какой страшный сон!» Когда же Доминик спросил, что ее так напугало, она ответила: «Не хочу даже вспоминать! А то снова перепугаюсь. Я была на берегу широкой реки, и кто-то шел ко мне — у него вместо головы была собачья морда. А в руке он держал... Нет, не хочу вспоминать...» Вероника-Рупини предвидела свою скорую смерть — отвратить ее могла лишь немедленная разлука с Домиником. А бог Анубис, ведавший погребальными мистериями, мог держать либо каменный нож для вскрытия покойника, либо погребальную пелену, которой он облакает набальзамированное тело...

Совсем не случайно небо полыхает мощной молнией, а в воздухе не стихают раскаты грома на первых же страницах рассказа «Даян». Это отголоски и отблески предпасхальной грозы 1938 года, когда все существо Доминика Матея было опалено молниеносной вспышкой духовного озарения. Декан Ириною то и дело недовольно поглядывает в окно: разбушевавшаяся стихия мешает ему вести допрос выпускника математического факультета Константина Оробете, когда-то в результате несчастного случая потерявшего один глаз и вынужденного носить на нем черную повязку — за это он и был прозван Даяном. Студент объясняет высокому начальству, что ему пришлось перевязать повязку с одного глаза на другой после того, как его окликнул «старый, очень старый господин с седой бородой и престранно одетый: в какой-то длиннополый кафтан, довольно-таки потрепанный». Господин оказался Агасфером, или Вечным жидом, — тем самым, который когда-то не позволил Христу, несущему свой крест на Голгофу, передохнуть у его дома и за это был осужден до скончания веков безостановочно скитаться по свету, ожидая второго пришествия Спасителя, который один может снять с него зарок. «Агасфер, — пишет С.С. Аверинцев, — это враг Христа, но в то же время свидетель о Христе, грешник, пораженный таинственным проклятием и пугающий одним своим видом как привидение и дурное знамение, но через само проклятие соотнесенный с Христом, с которым непременно должен встретиться еще в «этом мире», а в покаянии и обращении способный превратиться в доброе знамение для всего мира. Структурный принцип легенды — двойной парадокс, когда темное и светлое дважды меняются местами: бессмертие, желанная цель человеческих усилий (ср. этот момент в эпосе о Гильгамеше), в данном случае

(1) Рак И.В. Мифы Древнего Египта. СПб, 1993. С. 55.

оборачивается проклятием, а проклятие — милостью (шансом искупления)⁽¹⁾. Самый важный для меня акцент этого отрывка состоит в тонко подмеченной связи между образами Агасфера и Гильгамеша: именно это очередное *уравнение* составляет основу сюжетной канвы и мистической сути «Даяна». В рассказе Элиаде Агасфер изображен уже покаявшимся и обратившимся; он предстает как воплощение Мировой Души, ведущей по запредельным областям душу человеческую, чтобы она обрела наконец свет посвящения, — такая трактовка роднит его с только что упомянутыми образами древнеегипетских богов-психопомпов — Тота и Анубиса.

Еще во время первой встречи, когда Агасфер, как считает Оробете, исцелил его правый глаз и поразил слепотой левый, таинственный скиталец напоминает ему подробности их заочного знакомства, совершившегося в канун той Купальской ночи, когда будущий великий математик, тогда еще подросток, читал в сельском амбаре дешевое издание романа Эжена Сю «Вечный жид». «Я еле разобрал последнюю страницу, — говорит декану студент, — потому что в амбаре стало темно, а бумага на самом деле была не ахти — макулатурная; на такой в старые времена печатали брошюрками романы...» Эта темнота — предвестие будущей травмы, символически усугубившей «однобокость» личности Оробете; потеряв один глаз, он стал *циклопом*, т. е. существом, которому свойствен односторонний взгляд на мир: «Господь дал мне гений математика, но не поэта». Известно, что математические, рассудочные способности сосредоточены главным образом в левом полушарии головного мозга, а поэтические дарования — в правом, но зрительные нервы, идущие от полушарий к глазам, перекрещиваются, так что правый глаз смотрит на вещи с «математической» точки зрения, а левый — с «поэтической». Из дальнейшего мы узнаем, что в «реальном» мире все осталось так, как есть: травма правого глаза — это всего лишь оплошность машинистки, перепечатавшей медицинскую справку. В мире же духовном Агасфер и впрямь наделил искалеченный левый глаз Оробете сверхъестественным зрением: именно благодаря этой магической операции Даян и смог воочию увидеть таинства потустороннего мира. Сам Оробете считает эту путаницу правого и левого подобием «гордиева узла», распутать который можно лишь с помощью «гордиева познания», которым обладал, как известно, Александр Македонский, решивший загадку одним ударом меча. А Оробете не нуждается и в этом уда-

(1) Мифы народов мира. Т. I. М., 1980. С. 34.

ре, поскольку наглядная, убедительная реальность инобытия открылась ему уже после первой встречи с Агасфером.

Вторая их встреча едва не кончается (или все-таки кончается?) смертью Даяна от сердечного приступа: «сердце так застучало, что пришлось на минуту остановиться»; «из последних сил, держась за сердце, Оробете прибавил шагу»; «страшно колотится сердце, того и гляди разорвется», «со мной в первый раз такое». Как и в других своих вещах, автор предоставляет читателю возможность толковать эту сцену в меру его собственного разумения. «...еще две-три минуты, — говорит Даяну Вечный жид, — и ты свалился бы в обмороке, а пока дождешься «скорую», мало ли что может случиться...» Если *это* и впрямь случилось, все дальнейшее можно считать описанием посмертных странствий и мытарств души молодого математика, если же нет — он с не меньшей реальностью переживает их в своем сознании, а затем возвращается в телесную оболочку, которой предстоит испытать куда большие мытарства в «санатории» для инакомыслящих.

Так или иначе, Агасфер и Оробете пускаются в путь, о котором нельзя даже сказать, короток он или долог, потому что пролегает по тем областям, где неприменимы наши обычные понятия о пространстве и времени: они идут в центр мира, в сферу *конечного уравнения*. Идут вслед за солнцем, совершающим свои суточные и годовые обращения, то поднимаясь в зенит, то опускаясь за горизонт, в царство мертвых; то набирая полную силу накануне Купальской ночи, то изнемогая и слабея в ночь перед Рождеством. Время от времени Агасфер — скорее для читателя, чем для своего спутника, — вслух отмечает этапы их пути: «сейчас поторопимся, нам нужно миновать зиму...», «Если ты заблудишься во сне, выбираться придется не один год», «Осталась минута до заката», «Свет и правда убывал прямо на глазах», «я подскажу тебе, что происходит далеко за полночь», «начался спуск, а сейчас, когда стемнело...»

Они идут, как подчеркивает сам автор устами Агасфера, подземным путем шумерского героя Гильгамеша, который отправился на поиски травы бессмертия и «дошел до ворот, через которые солнце каждый день спускается во тьму, а ворота стерегли два чудовища — полулюди, полускорпионы...» Это — «стражи порога», спрашивающие у посвящаемого о цели его путешествия, как полагается в начале каждого инициатического обряда, будь то древние Элевсинские мистерии или порядком театрализованные к нашему времени масонские ритуалы приема в ложу. Он отвечает им:

К Ут-напишти, отцу моему, я иду неспешно,
К тому, кто, выжив, в собрание богов был принят
и жизнь обрел в нем:
Я спрошу у него о жизни и смерти⁽¹⁾.

Люди-скорпионы, опять же в полном соответствии с ходом мистериального действия, предупреждают его о тяготах предстоящего пути:

Человек-скорпион уста открыл и молвит,
Вещает он Гильгамешу:
Никогда, Гильгамеш, не бывало дороги,
Не ходил никто еще ходом горным:
На двенадцать поприщ простирается внутрь он:
Темнота густа, не видно света —
При восходе Солнца закрывают ворота,
При заходе Солнца открывают ворота,
Выводят оттуда только Шамаша боги,
Опаляет живущих он сияньем, —
Ты же — как ты можешь пройти тем ходом?
Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь!

В новелле «Даян» эти «поприща», символизирующие двенадцать зодиакальных созвездий, которые минует солнце в своем космическом круговороте, и двенадцать стадий посвящения, проходимых душой неопита, обозначены четкой сменой двенадцати призрачных декораций: железная калитка в ограде старого особняка, гостиная без ковров и мебели («Мне здесь не нравится, — сказал старик, окинув помещение взглядом»), старомодная столовая совсем уже другого дома, крытая галерея и так далее... Это подземный мир, царство мертвых: «Кого ты хотел встретить, Даян? — спрашивает у него провожатый. — Чей гомон услышать? Тех, кто жили когда-то в этих домах, давно нет. Самые младшие умерли в конце прошлого века».

В середине пути странники минуют полуоткрытую дверь в помещение, из окон которого *никогда не виден закат*. Эти покои, признаюсь, самое для меня таинственное место во всем рассказе, тем более что автор устами Вечного жи-

(1) Цитаты из «Эпоса о Гильгамеше» даны по изданию: Я открою тебе сокровенное слово. М., 1981. С. 170 сл.

да говорит, что в них скрыта некая «заветная тайна», «трагедия с преступлением в конце, причем с преступлением столь загадочным, столь искусно утаенным, что никто ничего не заподозрил...» Единственное подобие подсказки заключено в словах того же Агасфера по поводу «невероятной истории», связанной с покаянием незакатного солнца: «Оставим же ее такой, какой она была для всех тех, кто совпал с ней по времени: не поддающейся объяснению...» Тем не менее мне кажется, что здесь содержится намек на Голгофскую мистерию («заветная тайна»), на предательство Иуды («загадочное преступление») и на те формулы православной литургии, в которых Христос называется «Солнцем правды», «Праведным Солнцем», «Просветителем» и просто «Светом». Но срок встречи Вечного жиды с Христом (а следовательно, и Оробете-Даяна) еще не наступил, и поэтому они проходят мимо таинственных покоев, спускаются все глубже в сердцевину тьмы («Седьмое поприще пройдя, он прислушался к мраку: темнота густа, не видно света», — говорится в «Эпосе о Гильгамеше»).

Наконец подземный туннель закончился, «они как бы вынырнули на свет» («На одиннадцатом поприще перед рассветом брезжит, на двенадцатом поприще свет появился»). Перед ними два тихих источника среди топодей и кипарисов — ключ памяти и ключ забвения. Кто изопьет из первого, обретет воспоминание, а следовательно, знание и бессмертие, будет причислен к сонму богов; кто по неосторожности или поспешности утолит жажду из второго, сделав, как писал Платон, «глоток забвения и злобы», тому придется вступить в круг очередного перевоплощения, снова вернуться на землю. «Не кидайся к первому попавшемуся», — остерегает юношу Агасфер. То же самое предупреждение можно прочесть на золотых пластинках из погребений в Южной Италии:

Слева от дома Аида ты найдешь источник,
Рядом с ним стоит белый кипарис.
К этому источнику даже близко не подходи.
Найдешь и другой: из озера Мнемосины
Текущую холодную воду, перед ним — стражи.
Скажи: «Я дитя Земли и звездного Неба,
Но род мой — небесный, об этом вы знаете и сами.
Я иссохла от жажды и погибаю — так дайте же мне скорей
Холодной воды, текущей из озера Мнемосины»⁽¹⁾.

(1) Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 44.

Оробете-Даян не ошибается в выборе — и после нескольких глотков из источника Мнемосины-Памяти обретает дар ясновидения и всеведения. Воспоминание стало для него знанием, а знание равносильно бессмертию. Уподобившись Гильгамешу и повторив путь солнца, он сошел в преисподнюю и выбрался из нее — теперь ему (или его развоплощенной и просветленной душе) не страшен ад «санатория», где «с пяти утра до самого вечера светло», но «никогда не видно солнца, самого солнца». Элиаде описывает «крестный путь» Оробете, вернувшегося в земное пространство и время, как некую зловещую пародию на его странствия по иным мирам. Приглашая юношу в загробное царство, «Агасфер взял его под локоть и повлек за собой». Милиционер, сопровождающий молодого математика на новый допрос к декану, «крепко взял его за руку выше локтя». Агасфер и Оробете-Даян *спускаются* в царство теней, Оробете и милиционер *возносятся* в кабинет декана на лифте. По ходу странствий Вечный жид наставляет своего спутника, поясняет ему символический смысл увиденного и пережитого; в ходе нового допроса декан Ириною «слушал его, нахмурясь», «бессильно упал в кресло», стучал «по столу кулаком», смотрел на него «затравленно, с тайным страхом», а допрашиваемый, как и подобает посвященному, слушал его брань и угрозы «с кроткой таинственной улыбкой». В сущности, они поменялись ролями: декан стал обвиняемым, жертвой собственного сумасбродства, своеволия и трусости, а Даян — если не обвинителем, то обличителем подлинной природы Ириною. Чуть позже, уже в «санатории», Константин Оробете в беседе с профессором Доробанцу вспоминает свой первый допрос у декана, проходивший во время страшной грозы. Молния может просветить, озарить и преобразить (пример тому — история Доминика Матея), но может лишить человека последних остатков разума, обратить его в беснующегося мертвеца: «Вы знаете, господин декан боится грозы, особенно молний. А в то утро молнии так и сыпались, и все поблизости. Последняя, по-моему, ударила в двух шагах от его окна... Господин декан занервничал, растревожился и наконец впал в ярость. Потому-то он и не пове-рил моей истории со стариком, который переменял мне повязку».

Гроза стала для Оробете архангельским трубным гласом, зовущим его к постижению разгадки космического «гордиева узла», к решению «конечного уравнения», а для Ириною и ему подобных — вспышкой небесного огня, грозящего им если не физической, то духовной гибелью: «всякое древо, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Матф. 7:19); «если только несколько небесного света проникает к ним, то их человеческие образы

превращаются в чудовищные, ибо при небесном свете всё показывается тем, что оно есть в себе самом».

«Мистерии вели человека через смерть преходящего, то есть в преисподнюю; и они же через посвящение спасали его вечное от смерти»⁽¹⁾, — пишет в уже цитированной мною работе Рудольф Штайнер. «Преходящее» в героях Мирчи Элиаде — это их земные страсти, их неспособность противостоять земным, посюсторонним невзгодам, их колебания, промахи, слабости. «Вечное» в этих людях проявляется в том, что они в конце концов осознают свое небесное начало, могут сказать о себе, как та душа из орфических гимнов, начертанных на золотых табличках: «Я дитя Земли и звездного Неба, но род мой — небесный, об этом вы знаете и сами».

Томящийся в зловещем «санатории» Константин Оробете мечтает об одном — дожить до дня летнего солнцестояния, чтобы перейти в инобытие в тот миг, когда солнце находится в зените своей силы. И еще одна показательная деталь: в предсмертном бреду, покидая свою телесную оболочку, он мысленно обращается к профессору Доробанцу, чтобы тот помог восстановить на факультете его коллег, Думитреску и Добридора тех самых предателей, которые донесли на него декану: «Заверьте его, что они ни в чем не виноваты. Прошу вас, умоляю! Они не виноваты! Они не ведали...»

...И вот Оробете спускается по санаторской лестнице в сад: «В этот час там никого нет. И стоит Купальская ночь. Даже в центре столицы она та же, какой была изначально: лесная, волшебная, ночь духов...» Рядом с ним оказывается Агасфер, который выступает теперь не в роли наставника, а в роли вопрошателя — ведь в посмертии гениальный математик прозрел на оба глаза, стал поистине всеведущим: «Только один вопрос, единственный, на который я сам не могу ответить. Ты знаешь о чем...» Вечный странник хотел бы узнать, близок ли конец света, а вместе с ним — конец его бесконечным мытарствам. Оробете глядит на него с бесконечной печалью. Ведь в соответствии с *бесконечным уравнением*, всякий конец таит в себе новое начало...

Юрий Стефанов

(1) Штайнер Р. Указ. соч., с. 68.

СОДЕРЖАНИЕ

Сорин Александреску. Диалектика фантастичес

Перевод Анастасии Старостиной

5

Мирча Элиаде

ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ

Перевод Анастасии Старостиной

У ЦЫГАНОК

Девушка Кристина

41

Змей

171

У цыганок

261

МАЙТРЕЙИ

Загадка доктора Хонигбергера

299

Серампорские ночи

343

Майтрейи

378

ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ

Иван

519

Окопы

557

Пелерина

577

Даян
615
Les trois Grâces
667
Без юности юность
705
Под тенью лилии...
788

Юрий Стефанов. Конечное уравнение, или Ночь
811



Издательство «Энигма»
представляет новую серию

—
“МАНДРАГОРА”



Человек всегда стремится вырваться за границы обыденного. Легендарный корень мандрагоры давал нашедшему его человеку силы для пути в неведомое. Новая серия “Мандрагора” объединяет мистические произведения известнейших писателей, которые своим талантом и провидением сумели выйти за эти границы. В их книгах мистика и реальность настолько тесно переплетены, что отделить их друг от друга невозможно. Образы, рожденные подсознанием, и божественные откровения, облеченные в изящную литературную форму романов и новелл с динамичным, интригующим, а подчас и лирическим сюжетом, — вот мир серии. Наши книги помогут Вам открыть в своей душе таинственную вселенную, научиться лучше слушать и понимать Человека.



Следующие книги серии
“МАНДРАГОРА”

Франц Верфель ПЕСНЬ БЕРНАДЕТТЕ

“Песнь Бернадетте” (1941) знаменитого австрийского писателя Франца Верфеля (1890—1945) — не вымысел. Все те замечательные события, которые описаны в романе, произошли в действительности. Простой французской девочке Бернадетте вправду являлась Мадонна. “Я осмелился пропеть хвалебную песнь Бернадетте, — пишет Ф. Верфель в предисловии к своей книге, — хотя я не католик, более того, я еврей. Отвагу для этого мне дал гораздо более ранний и куда более неосознанный обет. Уже в ту пору, когда сочинял свои первые стихи, я поклялся себе всегда и везде прославлять своими творениями божественную тайну и человеческую святость — вопреки нашему времени, которое с насмешкой, злобой и равнодушием отворачивается от этих величайших ценностей нашей жизни”.

Перевод с немецкого, ок. 28 а. л.



Следующие книги серии
“МАНДРАГОРА”

Клод Сеньоль МАТАГОТ

Клод Сеньоль — один из интереснейших французских писателей нашего века, неутомимый собиратель фольклора — родился в древней провинции Перигор. Старинные замки и поместья родного края, фантастические предания про под-земелья и королевства еще в ранней юности вызвали у К. Сеньоля горячий интерес к археологии и фольклору, что впоследствии вылилось как в многочисленные научные работы, так и в оригинальные повести и рассказы — магическую вселенную, созданную его воображением, где древний камень способен давать дьявольскую силу, старый неказистый комодик — исполнять любые желания, где грубоватый сельский кузнец оказывается хранителем тысячелетних ведовских тайн, а обычный на первый взгляд кот — Матаготом, котом-колдуном: у него семь запасных жизней и семь временных смертей... Переплетение мистики и реальности, детали будничного крестьянского быта и магические перевоплощения, возвышенная любовь и дьявольская ненависть — этот страшный, причудливый мир фантазии К. Сеньоля безусловно привлечет внимание читателей и заставит их прочесть книгу на одном дыхании.

Перевод с французского, ок. 24 а. л..



Следующие книги серии
“МАНДРАГОРА”

Дино Буццати 99 РАССКАЗОВ ДИНО БУЦЦАТИ

Итальянская критика называет Дино Буццати (1906—1972) среди наиболее читаемых в настоящее время авторов. Самобытность стиля в прозе этого писателя определяется сплавом конкретного реалистического повествования с гротеском и сложнейшей символикой. Рассказы, включенные в сборник, очень разные, но все они проникнуты верой в человека, которого писатель считал красой Вселенной, венцом всего живущего. Надеемся, что творчество одного из самых интересных и значительных писателей XX века — Дино Буццати — привлечет внимание самого широкого круга читателей.

Перевод с итальянского, ок. 20 а. л.

Мирча Элиаде
ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ

Составитель
Анастасия Анатольевна Старостина

Редактор
Н.Н. Федорова
Художественный редактор
И.М. Казеева
Корректоры
Г.Н. Иванова, Н.И. Маркелова
Компьютерная верстка
А.С. Аракелян

ЛР № 064543 от 16.04.96
Подписано в печать 5.08.1996. Формат 60×90/16
Бумага офсетная №1. Гарнитура «Миньон»
Печать офсетная. Физ.печ.л. 54
Тираж 10 000 экз. Зак.№ 123
ООО Издательство «Энигма»,
123022, Москва, ул. Пресненский вал, 1/2, а/я 428
Отпечатано с оригинал-макета издательства
в типографии В/О «Внешторгиздат»
127576, Москва, ул. Илимская, д. 7.